


Н. К. Козминъ.

Николай Ивановичъ  
НАДЕЖДИНЪ.

---

ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

1804—1836.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. А. Александрова (Надеждинская, 43).

1912.

Печатается по опредѣленію Историко-Филологическаго Факультета  
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета.

Деканъ *Θ. Браунъ.*

14 апрѣля 1912 г.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловіе . . . . .	Стр. V
I.	
Предки и родители Надеждина.—Вліяніе отца, С. Д. Нечаева и графа Д. И. Хвостова.—Первые литературные опыты.—Годы ученья въ Рязанской семинаріи и Московской Духовной Академіи . . .	1
II.	
Преподавательская дѣятельность въ Рязани.—Увольненіе отъ занимаемыхъ должностей и изъ духовнаго званія.—Переѣздъ въ Москву.—Мѣсто у Самариныхъ.—Пополненіе пробѣловъ полученнаго образованія.—Періодъ усиленнаго чтенія. . . . .	22
III.	
Московская журналистика двадцатыхъ годовъ прошлаго вѣка.—Обособленное положеніе <i>Вѣстника Европы</i> .—Сотрудничество Надеждина въ органѣ М. Т. Каченовскаго и другихъ періодическихъ изданійхъ: а) стихотворенія; б) научныя изслѣдованія; в) критическіе очерки и рецензіи: ихъ оригинальная внѣшняя форма, характеръ литературнаго анализа и требованія, предъявляемыя къ поэтическому произведенію.—Недоброжелательное отношеніе къ Надеждину современниковъ.—Статьи полемическія.—Избраніе Надеждина въ члены Общества исторіи и древностей російскихъ.—Мечты объ ученой карьерѣ.—Испытаніе на степень доктора.—Выборъ темы для диссертациі . . . . .	35
IV.	
Вопросъ о новой и древней поэзіи въ освѣщеніи западно-европейскихъ философовъ, поэтовъ и критиковъ.—Мысль о синтезѣ классицизма съ романтизмомъ.—Отраженіе этой мысли въ русскихъ сочиненіяхъ.—Диссертациія „De Poësi Romantica“: степень ея оригинальности, содержаніе и основныя идеи.—Отзывы критики о диссертациі —Участіе Надеждина въ конкурсѣ на кафедру археологии и теоріи изящныхъ искусствъ и утвержденіе его въ должности ординарнаго профессора . . . . .	134

## V.

Московскій университетъ въ началѣ 1830-хъ годовъ.—Отзывы студентовъ о Надеждинѣ, какъ профессорѣ.—Лекціи по исторіи и теоріи изящныхъ искусствъ.—Вліяніе этихъ лекцій на воззрѣніа Станкевича и Бѣлинскаго.—Участіе Надеждина въ трудахъ Общества любителей россійской словесности.—Визитаціи . . . . . 251

## VI.

Ходатайство Надеждина о разрѣшеніи издавать *Телескопъ*.—Программа *Телескопа* и его сотрудники.—Вліяніе иностранной журналистики.—Статьи издателя: публицистическія и литературныя.—Вліяніе М. Т. Каченовскаго на развитіе скептицизма Надеждина.—Очерки, посвященные вопросу о русской народности.—Полемика съ Полевымъ, Гречемъ, Булгаринымъ и Сенковскимъ . . . . . 362

## VII.

Сухова-Кобылины и ихъ отношенія къ Надеждину.—Любовь учителя къ ученицѣ.—Недовольство родныхъ послѣдней.—Поѣздка Надеждина въ Петербургъ.—Отставка.—Поиски новаго мѣста.—Возвращеніе въ Москву.—Неудачное сватовство.—Отъѣздъ за границу . . . . . 457

## VIII.

Странствія по чужбинѣ.—Возвращеніе въ Россію.—Разлука съ Е. В. Сухово-Кобылиной.—Продолженіе журнальной дѣятельности.—Статья Чаадаева и запрещеніе *Телескопа*.—Ссылка . . . . . 507

Указатель личныхъ именъ. . . . . 553

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Среди писателей, имена которых занесены на страницы исторіи, есть любимцы судьбы, есть и пасынки. «Завидень прекрасный удѣлъ» первыхъ. Имъ, по словамъ поэта, всѣ рукоплещуть; ихъ называютъ великими, и «далеко и громко разносится ихъ слава». Иной удѣлъ вторыхъ, тѣхъ, которые «не собираютъ народныхъ рукоплесканій». Имъ «не избѣжать лицемѣрно-безчувственного современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими ими лелѣянные созданія». Къ числу послѣднихъ слѣдуетъ отнести и Николая Ивановича Надеждина.

Надѣленный блестящимъ умомъ, широко и разносторонне образованный, работавшій въ разнообразнѣйшихъ областяхъ, начиная съ философіи, кончая археологіей, и вездѣ пролагавшій новые пути и проливавшій новый свѣтъ, Надеждинъ болѣе, чѣмъ кто-либо другой, имѣлъ право рассчитывать на сочувствіе и признательность современниковъ и потомковъ. Но они отказали ему въ этомъ.

Надеждинъ былъ «увлеченъ искреннимъ и безкорыстнымъ усердіемъ ко благу нашей словесности»—его «встрѣтили воплями, бранью, ругательствами, никогда и нигдѣ имъ неслыханными»... Враждебные вопли не смолкали, пока онъ не закончилъ своей литературно-критической дѣятельности; а неприязнь къ нему не стихала, пока онъ не закончилъ своего земнаго пути. Лишь въ 1856 году помянули его добрымъ словомъ: смерть была «печальной возстановительницей общаго уваженія» къ тому, кого «не чтили при жизни». Однако одо-

бреніе и сочувствіе проявлялись недолго... «Жаль, что хвалы не проникаютъ въ могилы», писалъ нѣкогда Чернышевскій,— а теперь слѣдуетъ радоваться, что въ могилы не проникаютъ та хула, тѣ легкомысленныя порицанія, которыя стали снова съ избыткомъ расточать по адресу выдающагося человѣка многіе журнальные критики. Надеждина не оцѣнили въ свое время, такъ какъ литература «страдала чрезвычайною поверхностностью». Аналогичное явленіе повторяется на нашихъ глазахъ. «Надеждинъ—олицетвореніе пошлости и безвкусія, брюзга, педантъ, склонный къ напыщенности и семинарской риторикѣ, не оставившій послѣ себя ничего прочнаго въ наукѣ», твердятъ одни; «онъ—ретроградъ, человѣкъ безъ убѣжденій и нравственныхъ принциповъ», заявляютъ другіе. Огульное, голословное порицаніе поражаетъ изслѣдователя и наводитъ на грустные думы...

Судьба бумагъ Надеждина не менѣе печальна. Частію затеряныя, частію сгнившія либо сгорѣвшія, онѣ не были извѣстны историкамъ литературы. Библіотека Надеждина съ значительнымъ количествомъ рукописей, сваленная въ подвалѣ одного изъ столичныхъ соборовъ, до половины 1880-хъ годовъ подвергалась всѣмъ случайностямъ, какимъ подвергаются оставленныя безъ присмотра, заброшенныя вещи. Другую половину документовъ, уцѣлѣвшихъ въ частныхъ рукахъ въ Рязани, легко могла постичь та же участь. Длительная въ теченіе пяти лѣтъ, упорная переписка съ владѣльцемъ бумагъ лишь недавно привела къ желаннымъ результатамъ, и только тогда представилась возможность основательно изучить дѣятельность Надеждина, освѣтить нѣкоторые эпизоды его жизни, уяснить его личность.

Заканчивая свое изслѣдованіе, авторъ вполне сознаетъ трудность задачи, разрѣшить которую онъ взялся; допуская возможность ошибокъ и промаховъ, онъ находитъ утѣшеніе въ сознаніи, что, по мѣрѣ силъ и способностей, старался выполнить эту задачу добросовѣстно. Онъ будетъ счастливъ, если его книга привлечетъ вниманіе позднѣйшихъ изслѣдова-

телей, дать имъ нѣсколько новыхъ мыслей для опредѣленія мѣста Надеждина въ исторіи русскаго просвѣщенія и хотя отчасти посодѣйствуетъ измѣненію ложныхъ о немъ представленій. Создавая эту книгу, авторъ принужденъ былъ продумать многое изъ того, надъ чѣмъ работалъ Надеждинъ: изучая послѣдняго, онъ учился самъ. Пусть же настоящій трудъ будетъ данью его уваженія къ памяти замѣчательнаго русскаго ученаго и литературнаго критика.

За оказанную ему поддержку и отзывчивое отношеніе къ его работѣ авторъ приноситъ глубокую благодарность Историко-Филологическому Факультету Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, Отдѣленію Русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ и всѣмъ лицамъ, безъ содѣйствія которыхъ онъ былъ бы лишенъ возможности написать и напечатать свою книгу.

---



## I.

Предки и родители Надеждина. — Вліяніе отца, С. Д. Нечаева и графа Д. И. Хвостова. — Первые литературные опыты. — Годы ученья въ Рязанской семинаріи и Московской духовной академіи.

«Съ самаго устья Москвы рѣки подъ Коломною Ока отбивается влѣво» отъ «цѣпи возвышенностей, проходящихъ живописной каймой по ея правому берегу», и «на просторѣ широкой долины, открывающейся передъ ней, кружится, какъ рѣзвая дѣвушка, разыгравшаяся въ хороводѣ. Это продолжается версть съ сорокъ по прямой линіи. Но, поровнявшись съ Перевитскою горою, своенравная рѣка одолѣвается какъ-будто какой-то силою: что-то тянетъ ее, и она со всего размаха крутымъ изгибомъ поворачивается направо и стремглавъ бросается подъ гору. На мѣстѣ ея излома клубится сѣдая пучина, которую туземцы называютъ Бѣлымъ Омучомъ: волны рѣки, всегда тихой и кроткой, здѣсь глухо ропщутъ, какъ-будто жалуясь на насиліе, чужую неволю. И, въ самомъ дѣлѣ, она скоро видитъ себя пресмыкающейся у ногъ гордаго холма, который безчувственно глядится въ ея прозрачныя струи, словно какъ дремлющій султанъ — въ свѣтлыя очи наскучившей ему одалиски...»<sup>1)</sup> Въ этой мѣстности, любовно описанной Надеждинымъ, раскинулось село Бѣлоомуть<sup>2)</sup>, гдѣ въ теченіе долгаго времени жили и священствовали его предки. Происходившіе, по преданію, отъ какого-то дворянина Чудина, волею судьбы нѣкогда заброшеннаго въ это село, они, говорятъ, не имѣли опредѣленной фамиліи, а носили данное народомъ прозвище «Бѣлоомутскихъ» или «Бѣловодскихъ». Многіе изъ нихъ назывались Іоаннами; по крайней мѣрѣ, это было имя дѣда и отца Надеждина<sup>3)</sup>. О первомъ сохранилось не-

1) «Двѣ главы исторической повѣсти» (рукопись).

2) Зарайскаго уѣзда Рязанской губерніи.

3) Свѣдѣнія о предкахъ Надеждина заимствованы изъ бумагъ послѣдняго.

много свѣдѣній. Извѣстно только, что онъ двадцать лѣтъ служилъ въ Преображенской церкви и умеръ сравнительно не старымъ, сорока трехъ лѣтъ, въ санѣ іерея <sup>1)</sup>). При той же церкви съ малолѣтства пристроился причетникомъ его сынъ, впоследствии діаконъ и, наконецъ, священникъ.

Атлетическаго тѣлосложенія и крѣпкаго здоровья, онъ терпѣливо выносилъ тѣ житейскія невзгоды, которыя выпадали на долю сельскаго духовенства Екатерининской эпохи: самъ строилъ себѣ жилище, рубилъ дрова, занимался полевыми работами. Умный и сообразительный, онъ долженъ былъ рѣзко выдѣляться въ окружавшей его средѣ. Не получивши никакого образованія, онъ «самоучкой выучился читать даже по-латыни и по-гречески, зналъ нѣсколько латинскихъ поговорокъ, имѣлъ понятіе о ботаникѣ, минералогіи и астрономіи, собиралъ травы и камешки, древнія монеты и умѣлъ отличать ихъ такъ же, какъ и главныя звѣзды» <sup>2)</sup>). Онъ имѣлъ особенное влеченіе къ чтенію. Для удовлетворенія этой страсти онъ, «не смотря на крайнюю недостаточность домашнихъ средствъ и на тяжкіе физическіе труды, къ которымъ долженъ былъ прибѣгать изъ насущнаго хлѣба, тратилъ послѣднія добываемыя имъ копейки на приобрѣтеніе книгъ, какія попадались ему подъ руку на базарахъ, бывавшихъ ежедневно въ селѣ Бѣлоомутѣ, и у носящихъ, а иногда собственноручно переписывалъ тѣ, которыя удалось ему достать гдѣ-нибудь для прочтенія. Такимъ образомъ накопилась у него собственная библіотека, книгъ до ста или болѣе. Разумѣется, это были книги все русскія и притомъ безъ всякаго выбора, даже нерѣдко оборванныя, безъ начала или безъ конца, и разрозненныя, если книги были въ нѣсколькихъ томахъ, — отъ иной одинъ первый или одинъ послѣдній томъ, или нѣсколько изъ среднихъ». Онъ «преимущественно любилъ книги историческія, но не пренебрегалъ и другими, какого бы онѣ ни были содержанія» <sup>3)</sup>). Въ домашней жизни отецъ Іоаннъ слылъ хорошимъ и добрымъ семьяниномъ, и, по мѣрѣ силъ, поддерживалъ сиротъ, «оставшихся на его рукахъ» послѣ смерти его родителя и дѣда. Самъ онъ женился рано, еще будучи несовершеннолѣтнимъ; задушевнымъ желаніемъ его было имѣть сына, и оно исполнилось: кромѣ двухъ

<sup>1)</sup> См. стихотворенія Надеждина «Епитафіи дѣду моему» (рукопись).

<sup>2)</sup> Бумаги Н. И. Надеждина.

<sup>3)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 51.



дочерей: Анастасіи и Ирины, у него 5 октября 1804 года родился сынъ, названный Николаемъ <sup>1)</sup>.

Ребенокъ сразу сдѣлался предметомъ нѣжнѣйшихъ попеченій; на него были возлагаемы великія упованія; «его не употребляли ни для какихъ физическихъ работъ», какъ бы предчувствуя, что въ будущемъ ему предстоитъ иное поприще дѣятельности <sup>2)</sup>. Мальчика рано начали учить грамотѣ, къ которой онъ отнесся съ несвойственнымъ его возрасту интересомъ; онъ проявилъ необыкновенную любознательность и съ жадностью сталъ зачитываться книгами изъ отцовской библіотеки. Онъ знакомился со всѣмъ, что попадалось подъ руку: и съ сочиненіями Ломоносова, Хераскова, Карамзина, и съ тѣми «рукописными сборниками», которые привозили въ село «пріѣзжавшіе на вакаціи родственники семинаристы». Лѣтъ съ восьми обнаружилась у него и склонность къ писательству: онъ любилъ, отъ нечего дѣлать, строчить перомъ и, въ особенности, «излагать свои мысли стихотворнымъ размѣромъ» <sup>3)</sup>. Часть дѣтскихъ тетрадей уцѣлѣла отъ времени.

Дѣйствительность нашла себѣ отраженіе въ этихъ литературныхъ опытахъ. По собственному признанію юнаго поэта, его первыми руководителями и учителями были отецъ и помѣщикъ Рязанской губерніи, сотрудникъ Московскихъ періодическихъ изданій, С. Д. Нечаевъ, впоследствии оберъ-прокуроръ Св. Синода <sup>4)</sup>. Важная роль, которую отецъ сыгралъ въ начальномъ воспитаніи сына, выясняется въ слѣдующихъ еще неумѣло на писанныхъ виршахъ:

„Родитель мой еси двоякій,  
Отецъ почтеннѣйшій ты мой!

<sup>1)</sup> Есть указанія, что Надеждинъ родился 1 декабря 1803 г. (Библиографическій словарь писателей, ученыхъ и художниковъ, уроженцевъ Рязанской губерніи. Рязань, 1910, стр. 154). Эти свѣдѣнія не подтверждаются ни автобіографіей, ни надгробной надписью.

<sup>2)</sup> Бумаги Н. И. Надеждина.

<sup>3)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 52.

<sup>4)</sup> О С. Д. Печасвѣ см. Остафьевскій архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1908, т. III, стр. 380—382; Библиографическій словарь писателей, ученыхъ и художниковъ, уроженцевъ Рязанской губерніи. Рязань, 1910, стр. 165; *Русскій Архивъ*, 1881, т. II, стр. 98; *И. А. Чистовичъ*. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія въ Россіи. Спб., 1894, стр. 312—313. Произведенія его помѣщены въ *Московскомъ Телеграфѣ*, 1825, №№ 1, 7, 10, 17.

Ты въ свѣтъ мя произвелъ и, мраки  
Разгнавши, разумъ мой младой  
Образовалъ, не какъ учитель,  
Но какъ любезнѣйшій отецъ.  
О, ты, прехвальный мой родитель!  
Мнѣ сплелъ ты изъ наукъ вѣнецъ.  
Ты не въ ученюмъ многословіи  
Возмогъ мнѣ много преподавъ;  
Не бывъ студентомъ философіи,  
Умѣлъ меня образовать“ <sup>1)</sup>.

Не меньшее значеніе для Надеждина имѣлъ и Нечаевъ. Богатый, съ большими связями въ высшемъ свѣтѣ, онъ, видимо, пользовался почетомъ и уваженіемъ въ Бѣлоомутѣ; его вниманіе было тѣмъ дороже, что онъ самъ былъ литераторъ. Этого «благодѣтеля», «мужа, прославленнаго своей щедротой» и «сіяющаго между почтеннѣйшихъ людей», за его «милости» «восхваляетъ» «безопытный, незрѣвшій музъ пѣвецъ».

„Ты путь къ познанью мнѣ открылъ  
Неоцѣненными дарами:  
Меня въ поэзіи просвѣтилъ  
И озарилъ наукъ лучами.  
Объ чемъ я прежде не слыхалъ,  
Подробно нынѣ то узналъ.  
И ты одинъ сему виною,  
Науки я позналъ тобою“ <sup>2)</sup>.

Влеченіе Надеждина къ поэзіи было поддержано еще извѣстнымъ метроманомъ графомъ Д. И. Хвостовымъ, который, случайно познакомившись съ его стихотвореніями, былъ не прочь выказать себя покровителемъ способнаго мальчика и отправилъ ему, въ видѣ подарка, свои «Посланія». Какъ ни плохи были произведенія самого графа, его поощреніе имѣло свое воздѣйствіе. Было чему радоваться въ сельской глуши, было отъ чего приходитъ въ восторгъ и «ощущать душевну въ сердцѣ радость». Хвостову выражается самая искренняя признательность.

„Ты самъ меня, о графъ, къ Парнассу призываешь,  
На оной чтобъ взойти, стихами поощряешь,  
Чтобъ Фебу воскурить на Пиндѣ ѳиміамъ

---

<sup>1)</sup> «Отцу моему» (неизданное стихотвореніе).

<sup>2)</sup> «Благодѣтелю» (неизданное стихотвореніе).

И древнимъ подражать пѣтамъ и творцамъ.  
Я, ободрившись твоимъ благоволеньемъ,  
Чту оно себѣ вѣрнѣйшимъ побужденьемъ  
Къ тому, чтобы итти ко храму свѣтлыхъ Музъ“ <sup>1)</sup>.

И, при каждомъ удобномъ случаѣ, Надеждинъ спѣшилъ «напиться Кастанальскихъ водъ» и «посвящать жаръ фантазіи Парнассу». Несмотря на свои юные годы, онъ отличался необыкновенной вдумчивостью и воспримчивостью: ни крупныя историческія событія, ни мелкія мѣстныя происшествія не ускользали отъ его вниманія; свои впечатлѣнія онъ заносилъ на бумагу. Составлялись стихи и на «взятіе Парижа», и на «привезеніе колокола» въ Преображенскую церковь, и на могилу дѣду <sup>2)</sup>. Въ мѣрной же рѣчи перечисляются тѣ книги изъ отцовской библіотеки, которыя были прочтены Надеждинымъ.

„На свѣтѣ я живя о томъ лишь и пекусь,  
Чтобъ книги все читать: вотъ то, о чемъ я тшусь!  
Теперь же я хочу составить всѣхъ ихъ цензъ  
И отвратить чрезъ то судьбины перевѣсъ (sic);  
Дабы, дескать, не могъ никто тихонько взять  
Одну иль двѣ изъ нихъ, и послѣ не отдать“.

Кромѣ сочиненій духовныхъ, здѣсь помѣщенъ «реестръ» «гражданскихъ». Подъ руками былъ знаменитый въ свое время Ролленъ, который «насъ наградилъ богатыми дарами», затѣмъ слѣдуютъ:

„Исторія Кураса;  
Наука усмирять и объѣзжать Пегаса;  
О разореніи, паденіи Царьграда  
И разрушеніи Ерусалимска храма;  
Надира шествіе къ великому Моголу  
И нанесенный страхъ имъ оттоманску трону;  
Кремлевска храма цензъ; еще Меморіаль;  
Саксонскій молодець, носатый Совѣстрдаль;  
Милордъ Георгъ; Херсонъ; Баниза; Пересмѣшникъ;

---

<sup>1)</sup> «Посланіе къ сочинителю посланій графу Хвостову» (1814?) [Неизд. стих.].—Ср. «Чувствованіе благодарности» («Прійми, природа, новый видъ»...).— О Хвостовѣ см. статью П. О. Морозова въ *Русской Старинѣ*, 1892, №№ 6—8.— Въ Зарайскомъ уѣздѣ графъ бывалъ проѣздомъ изъ Владимирской губерніи, гдѣ находилось его имѣніе Слободка (Переяславль-Залѣскаго уѣзда).

<sup>2)</sup> «Стихи на взятіе Парижа», «Стихи на привезеніе колокола», «Эпитафіи дѣду моему» (неизд. стих.).

Игралище судьбы, да Лазариль утѣшникъ;  
Любовный вертоградъ и Францыль Венціанъ;  
Да мальчикъ у ручья; о древности славянъ;  
Помпиіева жизнь; жизнь донъ-Фигероаса;  
Арабски повѣсти—вотъ книги для показа!<sup>1)</sup>

Но увлекаться этими книгами и безопасно витать въ мірѣ грезъ и фантазіи пришлось очень недолго. Въ родной семьѣ пробыль Надеждинъ лишь «до десятилѣтняго возраста, когда, по обычаю и по закону, въ то время существовавшему, дѣтямъ духовнаго званія слѣдовало поступать въ духовныя учебныя заведенія». Отецъ его сталъ колебаться: съ одной стороны, онъ «понималъ важность и необходимость» образованія, съ другой—опасался за нравственность ребенка, «оторваннаго отъ родительскаго дома и надзора»; помимо того, онъ съ грустью сознавалъ, что «дороговизна содержанія въ далекомъ губернскомъ городѣ» будетъ ему не по средствамъ. Какъ ни было горько, онъ, наконецъ, отказался отъ излюбленной мечты, осуществить которую такъ страстно хотѣлось, и въ 1815 году рѣшилъ пристроить сына причетникомъ въ той церкви, гдѣ онъ самъ былъ священникомъ. Начались сборы въ дорогу; хлопотъ было не мало: надо было не только собрать нужные пожитки, но еще написать прошеніе преосвященному и «сочинить родъ рѣчи, для устнаго предъ нимъ произнесенія стихами». Послѣднее было «исполнено» мальчикомъ «съ посильнымъ усердіемъ», и онъ поѣхалъ въ Рязань одинъ, такъ какъ отецъ, «за недосугомъ», не могъ отлучиться изъ своего села.

Прибывъ въ незнакомый ему городъ, Надеждинъ не растерялся: разыскалъ архіерейскій домъ; въ числѣ другихъ просителей, смѣло представился архіепископу Теофилакту и «возбудилъ его удивленіе» своей рѣчью и своимъ ходатайствомъ<sup>2)</sup>. Въ про-

---

<sup>1)</sup> «Реестръ книгъ». Стихотвореніе переписано рукою Надеждина на бумагѣ 1816 г. со слѣдующимъ примѣчаніемъ: «Какъ слогъ сей піесы, такъ и малое число книгъ, упоминаемыхъ въ ней, свидѣтельствуесть о ея древности (!): она найдена на одной старой тетради и, по всѣмъ признакамъ, написана, кажется, около 1812 года». Повидимому, находясь въ семинаріи, Надеждинъ не разъ пересматривалъ свои старыя тетради.

<sup>2)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 51—52. Нѣсколько иначе изложены упомянутыя событія въ «Запискахъ» Д. И. Ростиславова (*Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 96): «Отецъ (Надеждина), видя такіе таланты въ сынѣ, подумалъ, что нѣтъ надобности отдавать его въ семинарію счелъ за

читанномъ Надеждинымъ стихотвореніи просто и наивно разсказы затруднительныя жизненныя условія, въ которыя поставлена его семья, и выражены его личныя желанія:

„Прошеніе сіе дерзаю приоситъ  
Рязани города первѣйшему отцу  
Феофилакту, и его хочу просить,  
Чтобъ внялъ онъ слабому, незрѣлому птенцу.

.....  
Земной кругъ времена разъ десять облетѣли,  
Когда глаза мои свѣтъ Феба — дня узрѣли.  
Путеводитель кто ко счастью будетъ мнѣ?  
Къ кому я прибѣгу, къ кому, какъ не къ тебѣ?  
Я бѣденъ въ знаніяхъ и есмь гонимъ судьбою,  
Надѣюсь разогнать препятства всѣ тобою.  
Дай милости твоей мнѣ каплю лишь испить,  
Чтобъ могъ я въ юности тебя благодарить.

.....  
Въ отечествѣ моемъ чинъ остается празденъ,  
По вашей милости кой клирикомъ оставленъ.  
Расположеніе ко мнѣ прихожанъ есть,  
Всѣ въ чинѣ семь меня они желаютъ зрѣть:  
Чему свидѣтелемъ прихожанъ сихъ прошенъе.  
Потребно, Пастырь, мнѣ твое благоволенъе, —  
И привилегію на тамошни чины,  
Которы клирникомъ тѣмъ суть оставлены,  
Позволь, о Пастырь, дать, дерзаю я просить,  
Не въ тягость мнѣ своимъ родителямъ чтобъ быть.

.....  
О, мудрый Пастырь нашъ! о, новый Меценатъ!  
Полезное теперь къ ученію есть время,  
Но я еще ношу заботъ, печалей бремя.  
Прошу тебя теперь, любезнѣйшій Отецъ!  
Сплети изъ милостей мнѣ миртовый вѣнецъ“<sup>1)</sup>.

Феофилактъ, «отличавшійся любовью къ литературѣ», принявъ Надеждина ласково, вступилъ съ нимъ въ разговоръ, задавалъ ему разные вопросы и «былъ пораженъ» его «мѣткими и остроумными отвѣтами» и «особенно его свѣдѣніями въ исто-

---

лучшее пристроить его дьячкомъ въ своемъ селѣ и явился вмигъ съ нимъ къ тогдашнему архіерею Феофилакту, чтобы просить о дьячковскомъ мѣстѣ и т. д.» Мы отдаемъ предпочтеніе автобіографіи Надеждина.

1) «Прошеніе Феофилакту, архіепископу Рязанскому».

ріи и географіи, которыми онъ смѣло могъ похвастаться передъ многими старыми семинаристами». Преосвященный не пожелалъ, чтобы дарованіи мальчика заглохли въ деревнѣ, и заявилъ послѣднему, что въ причетники его не опредѣлить, а оставить въ городѣ для дальнѣйшаго обученія, предоставляя ему «право» «пользоваться доходами съ просимаго причетническаго мѣста» и «исправлять обязанности» чтеца и пѣвца въ церкви только во время вакацій. Надеждинъ былъ немедленно подвергнутъ испытанію по всѣмъ извѣстнымъ ему предметамъ и, по окончаніи его, зачисленъ въ списки учениковъ высшаго класса Рязанскаго духовнаго уѣзднаго училища, откуда черезъ годъ перешелъ въ классъ риторки мѣстной семинаріи; здѣсь впервые онъ названъ своей настоящей фамиліей <sup>1)</sup>. Говорятъ, этой фамиліей онъ былъ обязанъ архіепископу Теофилакту, который взялъ его подъ свое особое покровительство и, возлагая на него большія надежды, далъ ему въ русскомъ переводѣ имя Сперанскаго <sup>2)</sup>.

Въ 1815 году Рязанская семинарія была только что реформирована согласно «Докладу о усовершеніи духовныхъ училищъ», утвержденному императоромъ Александромъ въ началѣ минувшаго столѣтія. Кромѣ руководящаго «центрального надзора» и матеріальныхъ средствъ, было обращено вниманіе на «недостатокъ учителей съ высшимъ образованіемъ», на «неопредѣленность и смѣшанность курсовъ», на «преобладаніе формализма и схоластики въ обученіи при господствѣ латинскаго языка». Были приняты мѣры къ устраненію этихъ недостатковъ, и общій строй заведенія нѣсколько измѣнился къ лучшему. Наставники, примѣняясь къ новому уставу, должны были «возбуждать самостоятельность» учениковъ, «вызывать ихъ на размышленіе и «требовать отчетности въ усвоеніи» пройденнаго; при этомъ, не было никакого стѣсненія въ выборѣ руководствъ и

<sup>1)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 52; *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 96.

<sup>2)</sup> *Русскій Архивъ*, 1882, книга III, № 5, стр. 88; *Н. П. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина, книга 2, стр. 342—343. Ср. *Д. Аглицевъ*. Исторія Рязанской духовной семинаріи Рязань, 1889, стр. 289—290: «Съ разрѣшенія семинарскаго начальства, ученики, по волѣ родителей и по собственному желанію, перемѣняли фамиліи, а иногда само начальство назначало фамилію ученику». Одному воспитаннику, Михаилу Злобину, желавшему получить прозвище «Гомеровъ», семинарское правленіе предписало именовать Добронравовымъ. Очевидно, случай съ Надеждинымъ былъ обычнымъ явленіемъ.

пособій, такъ какъ рекомендовалось «всегда держаться на одной линіи съ послѣдними открытіями и успѣхами въ каждой наукѣ». Но трудно было сразу отрѣшиться отъ прежнихъ традицій, съ которыми сжились педагоги: схоластическіе пріемы преподаванія и грубое отношеніе къ воспитанникамъ еще въ теченіе многихъ лѣтъ то и дѣло напоминали доброе старое время и бурсацкіе нравы <sup>1)</sup>).

Семинарія дѣлилась на три отдѣленія: высшее, среднее и низшее, или на классы: богословскій, философскій и риторическій. Названія классовъ указывали на тѣ предметы, которые считались наиболѣе важными и которымъ посвящалось наибольшее число уроковъ. Особое вниманіе было обращено также на изученіе классическихъ языковъ; по-латыни часто велось преподаваніе всѣхъ главныхъ предметовъ. Философія проходила по учебникамъ Баумейстера (*Philosophia demonstrativa*), Карпе (*Institutiones philosophiae*), Бруккера (*Institutiones historiae philosophiae*); логика—по Бахману; словесность—по риторикамъ Бургія, Лежая и Мейнерса <sup>2)</sup>). Семинарское ученіе, вообще, не было богато содержаніемъ: несмотря на требованія новаго устава, оно мало знакомило съ «современнымъ состояніемъ наукъ» и «даже не развивало любознательности»; до 1823 г. не было особой кафедры гражданской исторіи; по математикѣ «давались понятія о многомъ, но едва ли глубокія»; исторія русской литературы преподавалась не всегда и въ сокращенномъ видѣ <sup>3)</sup>); съ изящной словесностью знакомили мало, и въ семинарской библіотекѣ, даже въ концѣ двадцатыхъ годовъ, съ трудомъ можно было достать сочиненія Карамзина <sup>4)</sup>). Указанные пробѣлы восполнялись ознакомленіемъ учениковъ съ главнѣйшими философскими системами и строгой логичностью преподаванія. Отъ письменныхъ работъ не требовали «легкости» стилиа, а отчетливаго

1) *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 98—99: По рассказамъ современниковъ, одинъ изъ педагоговъ, Д. Арсепитскій, часто называлъ учениковъ «шельмами» и «канальями»; «самъ по себѣ онъ былъ добрый человекъ, но, получивши грубое, бурсацкое воспитаніе, думалъ», что ему «нѣтъ нужды слишкомъ церемониться, что мягкое, деликатное обращеніе» къ семинаристамъ «не примѣнимо» и для нихъ «нужна гроза».

2) *Д. Агнцевъ*. Исторія Рязанской духовной семинаріи. Рязань, 1889, стр. 159, 160; 197—235. По словесности, кромѣ Мейнерса, были въ употребленіи риторики Ивана Рижскаго и Якова Толмачева.

3) Тамъ же, стр. 225, 226, 229; *Русскій Архивъ*, 1876, № 6, стр. 227 и слѣд.

4) *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 105.

доказательства выставленных положений, последовательного изложения мыслей. Была соблюдаема величайшая точность въ переводахъ съ классическихъ языковъ на русскій и обратно, въ составленіи «латинскихъ задачекъ» и такъ называемыхъ «подражаній». Въ сочиненіяхъ «никакъ не дозволяли разглагольствовать и распространяться о предметѣ произвольно»: «прежде чѣмъ борзописецъ пустится въ пространное море своего сочиненія, его обязываютъ представить планъ», и въ послѣднемъ «должно быть показано: какая мысль будетъ въ приступѣ, какъ онъ раздѣлитъ свои доказательства и въ чемъ состоятъ доказательства». Изъ воспитанниковъ хотѣли сдѣлать хорошихъ діалектиковъ и проповѣдниковъ; ихъ учили «словопреніямъ», и вторая часть риторики была посвящена изложенію правилъ ораторскаго искусства. Устраняли особые коллоквиумы и диспуты: кто-нибудь «объявлялъ себя защитникомъ избранной темы», другой возражалъ; логика процвѣтала: всѣ доказательства приводились въ видѣ силлогизмовъ; нужно было уловить противника на невѣрности большей либо меньшей посылки (*praemissa major, praemissa minor negatur*), либо на неправильности заключенія (*consequentia non valet*)<sup>1)</sup>.

Надеждинъ быстро освоился съ семинарскимъ бытомъ и, по своей даровитости, легко приноровился къ утвердившимся тамъ педагогическимъ приемамъ. Въ училищѣ, вслѣдствіе плохой подготовки по нѣкоторымъ предметамъ, онъ сначала отставалъ отъ товарищей и былъ «отданъ подъ надзоръ лучшихъ» воспитанниковъ, изъ которыхъ А. Д. Модестовъ (впослѣдствіи протоіерей Рязанскаго дѣвичьяго монастыря) обязался «учить его греческому языку и еженедѣльно докладывать владыкѣ объ успѣхахъ своего питомца»<sup>2)</sup>. Занятія съ Надеждинымъ не представляли никакихъ затрудненій: онъ, безъ всякихъ усилій, черезъ мѣсяць-другой, сравнялся со своими коллегами и, поступивъ въ 1816 году въ классъ риторики, сразу выдѣлился среди окружающихъ и проявилъ «замѣчательныя способности».

Онъ постигъ семинарскую премудрость. Твердо помня по запискамъ преподавателей, что «человѣкъ особенно отличается отъ прочихъ животныхъ мыслию и словесностью», онъ обстоятельно изучалъ и «науку, наставляющую правильно» «снискивать

<sup>1)</sup> *Русскій Архивъ*, 1876, № 6, стр. 227—229.

<sup>2)</sup> *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 96.



о вещах основательное познание», и «науку, наставляющую краснорѣчиво и убѣдительно говорить»; онъ былъ прекрасно освѣдомленъ о всѣхъ хитроумныхъ тонкостяхъ, къ которымъ прибѣгали для выясненія «понятія», «сужденія», «заключенія»; зналъ, что «rhetor est qui tradit praecepta eloquentiae», а «orator»—«qui dicit bene, ornate, copiose sapienterque»<sup>1)</sup>. . . Но, вѣроятно, не очень занимало его заучиванье этихъ школьныхъ тетрадокъ; онъ больше любилъ писать сочиненія, испытывалъ прежнее влеченіе къ стихотворству. Ораторъ и поэтъ—вотъ люди, на долю которыхъ, съ его точки зрѣнія, выпалъ высшій человѣческій жребій; ихъ завидный удѣлъ—удѣлъ немногихъ избранниковъ; быть на ихъ мѣстѣ, имѣть силу ихъ вліянія—его тайное, но страстное желаніе. «Между главнѣйшими совершенствами»,—писалъ онъ въ эпитимеѣ «Краснорѣчіе полезно»—«каковыми Всевышнее Существо одарило человѣка, даръ слова есть несовершеннѣйшій, и, кажется, небо, изливая дары свои, замѣнило онымъ всѣ недостатки смертнаго. Поразить умъ и сердце, проникнуть въ душу слушателей, плѣнить воображеніе, представить ужасныя и трогательныя картины и, наконецъ, восторжествовать надъ противниками—вотъ что значитъ быть витіею, имѣть даръ слова». Важное значеніе краснорѣчія выясняется исторіей. «Съ униженіемъ онаго постепенно унижалась и слава» народовъ, приходили въ упадокъ ихъ «нравы и благосостояніе»; но «когда сіе благотворное свѣтило восходило на горизонтѣ ученаго міра, тогда лучами его все оживлялось, миръ и тишина водворялись». «Прошедшее» указываетъ, «сколь сильно и сколь благотѣльно вліяніе изящнаго вкуса на устроеніе, на благо гражданства». . . «Тамъ въ вечернемъ мерцаніи сіяютъ начертанныя эфирнымъ перстомъ безсмертія дѣла любителей краснорѣчія». «На тихихъ берегахъ Иллиса», «гдѣ, подъ развѣсистыми деревьями, бесѣдовалъ нѣкогда Геній, любимецъ Истины, съ простотою, съ невинностью», «очаровательное искусство изливалось устами Есхиновъ и Демосееновъ». Краснорѣчіе—«зерцало души нашея дѣйствій»; оно «увѣковѣчило» имена Златоустовъ и Платоновъ, занеся ихъ на «мраморныя скрижали исторіи»; оно—солнце, «насъ согрѣвающее и оживляющее»,—«святилище» великихъ «истинъ, насъ назидующихъ»<sup>2)</sup>. . .

1) «Oratoria»—семинарскія тетради Недеждина.

2) Эпитимема: «Краснорѣчіе полезно».

Не менѣ высоко и призваніе поэта.

„Творить, плѣнить, разить и колебать сердца—  
Вотъ даръ поэзіи, удѣлъ ея пѣвца!  
Поеть—вездѣ восторгъ—и горестъ утихаетъ;  
Поеть—подземный міръ и Церберъ засыпаетъ,  
И камни, древеся подъ нимъ оживлены,  
И лирой золотой сердца поражены“.

«Стрѣлы», которыми чародѣй насъ «поражаетъ» и «возвышаетъ нашу душу»,—высокое, изящное, полезное, забавное. Высокое «паритъ къ вершинамъ эмпирея», «потрясаетъ умъ». «Все нами зримое»—«одно предвозвѣщанье неизглаголаемыхъ верховныхъ совершенствъ»; «природа» — «символь невидимыхъ естествъ»; высокое, «отблескъ Высшаго владыки», «изумляетъ» «величіемъ, быстротой». Изящное, наоборотъ, «плѣняетъ»; его «источникъ»— «фигура, цвѣтъ, движенье, простота»; оно заключаетъ въ себѣ красоту. «Нѣжныя черты изящества» являетъ намъ «подруга смертнаго».

„Супруга нѣжная, какъ другъ, какъ дочь, какъ мать,  
Достойна смертнаго печали раздѣлять.  
Взгляните на нее—она въ объятыхъ друга!  
Стыдливо нѣжная и робкая подруга  
Старается его желанья предузнать,  
Его сердечну грусть разсвѣять и разгнать!  
Какой огонь въ ея невинныхъ разговорахъ!  
Какая красота въ ея открытыхъ взорахъ!  
Склоняся къ милому на нѣжну милу грудь,  
Старается тихомъ стерть слезку и вздохнуть“.

Поеть видитъ въ природѣ—«вѣрный образецъ» для творчества; его поприще—велико: онъ—общественный дѣятель.

„Учить народъ добру—обязанность поэта!  
Онъ истины герольдъ, учитель грозный свѣта,  
Его удѣлъ порокъ разить и обличать,  
Людей на правый путь наставить, научать.  
Поеть христіанинъ есть органъ истинъ вѣчныхъ“<sup>1)</sup>.

Величественная роль поэта сливается съ ролью оратора.

Надеждинъ хотѣлъ совмѣстить въ себѣ того и другого. Онъ увлекается «Метаморфозами» Овидія и старается точно передать

---

<sup>1)</sup> «Разсужденіе о предметахъ поэзіи» (1818; неизд. стих.).

на русскомъ языкѣ первую книгу <sup>1)</sup>); пишетъ разсужденіе, въ которомъ доказываетъ, что «простота вѣры, противоположная излишнему довѣрію разуму, есть необходимое средство для того, чтобы съ пользою читать Священное Писаніе» <sup>2)</sup>). Онъ не прочь щегольнуть своей «ученостью»: не разъ встрѣчаются ссылки на «Пиндара русскихъ странъ», «изобразившаго Петрову дочь»; на «Барда Фелицы», Хераскова, Богдановича, Дмитріева, Нелединскаго-Мелецкаго и Карамзина; либо упоминаются, кромѣ обычныхъ сопутниковъ семинарскихъ упражненій: Гомера, Пиндара, Горация, — Корнель, Расинъ, Шиллеръ. По всей вѣроятности, здѣсь сказалось вліяніе отповской бібліотеки, гдѣ, наряду съ русскими, было не мало переводныхъ сочиненій.

Литературныя занятія Надеждина поощрялись его наставниками. Соборный іеромонахъ Филошей, просматривавшій тетради, дѣлалъ на нихъ похвальныя помѣтки: «хорошо», «одобренія всякаго достойно», «видно въ сей піесѣ очень довольно піитическихъ познаній». Одно только смущало почтеннаго бакалавра: свѣтскій характеръ иныхъ стихотвореній и вольность, которую позволялъ себѣ Надеждинъ, противорѣчили традиціямъ духовнаго учебнаго заведенія, въ стѣнахъ котораго было неумѣстно «слишкомъ говорить о женской красотѣ» <sup>3)</sup>). Но послѣднее было вполнѣ свойственно бойкому и рѣзвому мальчику, который не особенно боялся учителей и не стѣснялся открыто заявлять о своемъ вкусѣ и мнѣніи <sup>4)</sup>).

Въ 1817 году архіепископъ Теофилактъ былъ назначенъ экзархомъ Грузіи; на его мѣсто въ Рязань былъ переведенъ преосвященный Сергій. Положеніе Надеждина въ семинаріи сдѣлалось неопредѣленнымъ: новый начальникъ могъ отмѣнить постановленія предшественника, и доходы съ причетническаго мѣста могли быть переданы другому лицу. Зная бѣдственное положеніе своей семьи, юный авторъ преподнесъ Сергію стихотворное «Преложеніе канона въ день пятидесятницы» съ посвященіемъ, гдѣ просилъ «призрѣть его молодость», быть его покровителемъ.

<sup>1)</sup> «Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon liber primus» — переводъ Н. И. Надеждина (1818).

<sup>2)</sup> Разсужденіе «Объ опасности излишняго довѣрія разуму при разъясненіи Св. Писанія».

<sup>3)</sup> Семинарскія тетради Н. И. Надеждина (passim).

<sup>4)</sup> Ср. *Русскую Старину*, 1894, № 6, стр. 97.

„Досель защитникомъ мнѣ былъ Теофилактъ,  
Но онъ оставилъ всѣхъ, оставивши сей градъ.  
Подобно оному, благопріятнымъ окомъ  
Возри на сущаго въ невѣжествѣ глубокомъ!  
Отъ бури вынетъ цвѣтъ весною средь полей:  
Не дай увянуть мнѣ среди цвѣтущихъ дней!“

Да простится ему дерзость: онъ «приложитъ труды къ трудамъ», начнетъ усердно «усиживать въ полезнѣйшихъ наукахъ», «образовывать умъ, сердце». Онъ извиняется за несовершенства «слабого плода его занятій».

„Двѣнадцать лѣтъ добра немного общають,  
Двѣнадцать лѣтъ еще птенца не просвѣщаютъ.  
Неопытность моя ручается за то,  
Когда найдешь ты здѣсь неправильное „что“!  
Я то писалъ, что мнѣ повелѣвали чувства,  
Здѣсь сердце говорить, ни мало нѣтъ искусства“ <sup>1)</sup>.

Заинтересованный Сергій взялъ это произведеніе, внимательно прочиталъ и посоветовалъ «обратить талантъ на дѣло богоугодное и именно заняться поэзіею священною» <sup>2)</sup>. Нѣсколько времени спустя, объѣзжая свою епархію, архіерей посѣтилъ Бѣлоомуть, гдѣ ему была устроена торжественная встрѣча мѣстнымъ духовенствомъ. Находившійся въ отпуску (вѣроятно, по случаю лѣтнихъ вакацій) Надеждинъ, въ качествѣ причетника, произнесъ привѣтственное слово. — «Для хладнаго замерзшаго сѣвера», говорилъ онъ: «одно пришествіе юной весны, румяной дщери года, бываетъ источникомъ всѣхъ благъ, всѣхъ удовольствій: одинъ лучъ животворнаго солнца производитъ великолѣпныя перемѣны: зеленѣютъ поля, украшенныя благоухающими цвѣтами, скачутъ (sic) земледѣльцы, уповая собрать обильную жатву; веселятся утомленные путники, обрѣтая прохладу подъ тѣнью столѣтняго дуба: словомъ все въ мірѣ оживляется; равно и для насъ, сыновъ твоихъ, одно твое присутствіе, одинъ взоръ твой есть удовлетвореніе всѣмъ нашимъ желаніямъ; одно твое слово есть разительная молнія, пронзающая

---

<sup>1)</sup> «Господину нашему Преосвященному Епископу Сергію Рязанскому и Зарайскому и Кавалеру—всепокорнѣйшій рабъ Рязанской Семинаріи низшаго отдѣленія Николай Надеждинъ» (1817; неизд. стих.).

<sup>2)</sup> Тетрадь стиховъ, написанныхъ на темы, взятыя изъ Библіи и Евангелія (Заглавіе первой страницы: «Развращеніе вселенныя») [1821].

сердца всѣхъ твоихъ вѣрныхъ, горящихъ къ тебѣ чистѣйшимъ жаромъ благодарности. Се тысячи къ тебѣ благоговѣютъ, и, кажется, взоры ихъ силятся изобразить то, что скрыто въ ихъ сердцахъ» 1).

Сергій, видимо, былъ тронутъ и, съ тѣхъ поръ, подобно Теофилакту, сталъ относиться съ особеннымъ вниманіемъ и отеческой заботливостью къ новому «вигіи». Прошло два-три года; наѣзжавшіе въ Рязань академическіе ревизоры тоже замѣтили выдающіяся способности Надеждина, уже воспитанника философскаго отдѣленія и, по рекомендаціи семинарскаго начальства, рѣшили отправить его въ Московскую академію, минуя богословскій классъ 2). Въ 1820 году Надеждину былъ выданъ правленіемъ аттестатъ, въ которомъ значилось, что онъ, «при способностяхъ отличныхъ», «прилежаніи постоянномъ» и «поведеніи весьма честномъ», «обучался наукамъ философскимъ и словеснымъ» «отлично», — «историческимъ и математикѣ» «очень хорошо» и языкамъ: «латинскому, греческому, еврейскому и французскому» — «хорошо, отлично и похвально» 3). — Съ такимъ аттестатомъ въ карманѣ и съ пылкими мечтами въ головѣ, шестнадцатилѣтній юноша не безъ грусти простился съ роднымъ краемъ, гдѣ такъ долго безвыѣздно жили его предки, и смѣло пустился въ далекій невѣдомый путь искать счастья и удачи 4).

Въ Москвѣ нужно было немедленно держать пріемные экзамены вмѣстѣ съ другими семинаристами, съѣхавшимися въ академію чуть не «со всѣхъ концовъ Россіи». Экзамены не были очень строги, и рѣдко случалось, чтобы не выдержавшаго отправляли обратно въ его епархію. Испытаніе «ограничивалось

1) «Рѣчь на прибытіе Архипастыря въ Бѣлоомуть». — Всѣ сочиненія, посвященныя Сергію, сохранились не въ оригиналѣ, а въ копіяхъ, составляющихъ небольшую четко написанную тетрадь.

2) Визитаторомъ изъ академіи пріѣзжалъ въ 1820 году архимандритъ и ректоръ Спасо-Виноанской духовной семинаріи Никаноръ, впоследствии митрополитъ Новгородскій и Петербургскій (*Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 53. — *Макарій*. Историко-статистическое описаніе Рязанской духовной семинаріи. Новгородъ, 1864, стр. 85).

3) Архивъ Московской духовной академіи. Дѣло о составѣ четвертаго академическаго курса, 1820 г., № 84. — Ср. *Русскую Старину*, 1908, № 2, стр. 407—409.

4) Пресвященный Сергій разрѣшилъ Надеждину пользоваться доходами съ причетническаго мѣста на время пребыванія въ академіи (*Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 53).

вопросами только изъ наукъ богословскихъ и философскихъ и двумя экспромтами: латинскимъ и русскимъ. На этотъ разъ тема латинскаго экспромта была слѣдующая: «Perpendatur pretium atque eruantur desiderata systematis Wolfiani tam in toto, quam in singulis partibus considerati», — иными словами, отъ экзаменующагося потребовали «полнаго» «отчета въ томъ, чему его до тѣхъ поръ учили», такъ какъ упомянутая философская система «господствовала во всѣхъ семинаріяхъ». Надеждинъ, «уже читавшій Канта и другихъ новыхъ философовъ нѣмецкихъ», «со всѣмъ юношескимъ жаромъ возсталъ на Вольфа и вообще на эмпиризмъ, главную характеристическую черту основанной имъ школы»<sup>1)</sup>; ему «удалось написать довольно обширную диссертацию, которая заслужила одобреніе»<sup>2)</sup>—и онъ былъ принятъ въ академію.

Это высшее учебное заведеніе, находившееся подъ непосредственнымъ наблюденіемъ знаменитаго Филарета (Дроздова), переживало пору «юношескаго развитія». Старые авторитеты были поколеблены; схоластическія традиціи постепенно утрачивали свое значеніе: науку рѣже заключали въ «тѣсныя рамки готоваго сбора вопросовъ, принятыхъ во всѣхъ системахъ»; мысль менѣе «связывали путями формы»; вводились новые предметы (эстетика и литература) и новые приемы преподаванія; были изъяты изъ употребленія прежніе учебники, выписывались въ бібліотеку сочиненія Канта, Шеллинга, Фихте. Измѣнилось чтеніе лекцій по богословію; началась «историко-критическая разработка источниковъ», обращено вниманіе на «правила строгаго изслѣдованія и изъясненія священнаго текста»; учреждены особыя каедры для «изученія церковныхъ постановленій»; филологія выдвинулась впередъ: для уясненія смысла Св. Писанія введено чтеніе подлинниковъ на греческомъ и еврейскомъ языкахъ. Значительно усильшиѣ пошло и преподаваніе философіи, которую считали «приготовительнымъ средствомъ» къ разрѣше-

---

1) Неточность этого выраженія была отмѣчена М. М. Филипповымъ, который объяснял ее болѣзненнымъ состояніемъ Надеждина въ то время, когда онъ писалъ автобіографію (*Русское Богатство*, 1894, № 9, стр. 159).

2) С. Смирновъ. *Исторія Московской духовной академіи до ея преобразованія (1814—1870)*. М., 1879, стр. 150—151, 155—156. (Ср. *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 53—54).—*Русская Старина*, 1908, № 2, стр. 409.

нію «богословскихъ вопросовъ»<sup>1)</sup>. На первыхъ порахъ филосо-  
фами-любимцами оказались Плотинъ, Якоби, Баадеръ. Возникла  
старая задача—примиреніе вѣры и знанія, устраниеніе между  
ними противорѣчій, согласованіе философскихъ воззрѣній съ  
догматами христіанской религіи. Дверь широко распахнута для  
вѣры, предметомъ которой является дѣйствительность. Плѣняетъ  
протестъ «философа вѣры» (Якоби) противъ Спинозы: вмѣро-  
вой Богъ существуетъ. Въ людяхъ можетъ не быть самопроиз-  
вольной дѣятельности ни теоретической, ни практической; за то  
они дѣятельны воспріимчиво, — испытываютъ нужду въ выс-  
шемъ, принимаютъ участіе въ знаніи божественномъ; слѣдуетъ  
свободно признать авторитетъ и убѣдиться въ истинѣ церков-  
наго ученія. Знаніе вытекаетъ изъ вѣры.

Выдающимися профессорами философіи были В. И. Кутне-  
вичъ и Ѡ. А. Голубинскій. Первый, ученикъ Фесслера, человѣкъ  
«весьма даровитый и трудолюбивый», раскрылъ «своимъ слуша-  
телямъ высокое значеніе науки» и «способствовалъ развитію въ  
нихъ строгаго и основательнаго мышленія». Второй, эклектикъ  
по характеру своей системы, далъ лекціямъ направленіе теоло-  
гическое; «восходя къ началамъ древней мудрости, онъ, вмѣстѣ  
съ нѣкоторыми изъ отцовъ церкви, допускалъ, что лучшее въ  
ученіи древнихъ философовъ не могло быть порождено самостоя-  
тельною дѣятельностію разума, но было заимствовано отъ іудеевъ,  
которымъ было сообщено Божественное откровеніе». Голубинскій  
не питалъ довѣрія къ авторитету Шеллинга или Гегеля; въ  
«новыхъ открытіяхъ» любилъ «указывать проявленіе идей, давно  
господствовавшихъ въ философіи Востока». Соединяя съ большою  
начитанностію и ясностію ума «глубокое смиреніе и поэтическую  
нѣжность души», онъ производилъ обаятельное впечатлѣніе своей  
личностію; владѣя прекраснымъ даромъ слова, онъ увлекалъ сту-  
дентовъ, которые «съ жаромъ записывали всѣ его лекціи по  
метафизикѣ» и хранили ихъ, какъ «драгоцѣнность». — Нѣсколько  
меньшей популярностію, чѣмъ Голубинскій, пользовался профес-  
соръ общей словесности П. И. Доброхотовъ, «преподававшій съ  
знаніемъ дѣла и съ живымъ одушевленіемъ». Широкая поста-  
новка предмета далеко выходила изъ предѣловъ, свойственныхъ  
учрежденію, гдѣ читалъ этотъ талантливый лекторъ-декламаторъ,

1) С. Смирновъ. Исторія Московской духовной академіи до ея преобра-  
зованія. М. 1879, стр. 64—68.

умѣвшій въ красивой формѣ излагать философско-эстетическія воззрѣнія, которыя онъ проводилъ въ своемъ курсѣ стройно и послѣдовательно <sup>1)</sup>).

Послѣ семинаріи, академическія лекціи показались Надеждину особенно интересными. «Слушать» Голубинскаго было для него «высочайшее наслажденіе»: «вдохновенныя импровизаціи» выясняли «обще-историческій взглядъ на развитіе рода человѣческаго»; дѣлалось понятно, что въ «событіяхъ, составляющихъ содержаніе исторіи, есть мысль, что это не сцѣпленіе простыхъ случаевъ», а постепенная «выработка идей», «согласно съ условіями мѣста и времени». Направленіе способностей Надеждина опредѣлилось. Студентъ математическаго отдѣленія, онъ выказывалъ мало любви къ своей спеціальности; поэтому начальство «поручило ему заняться церковно-историческимъ изслѣдованіемъ о значеніи въ Православной церкви символа св. Софіи, которой посвященъ извѣстный храмъ въ Константинополѣ» <sup>2)</sup>). Крупныя дарованія Надеждина, сказавшіяся и въ сочиненіи, и въ отличныхъ отвѣтахъ на такъ называемыхъ «внутреннихъ испытаніяхъ» (переходныхъ экзаменахъ) <sup>3)</sup>, привлекли вниманіе профессоровъ, отзывавшихся о немъ съ похвалой и отмѣчавшихъ его талантливость <sup>4)</sup>).

Но наука не поглощала всѣхъ духовныхъ силъ Надеждина: она имѣла большое значеніе лишь для запросовъ ума; помимо которыхъ были иные, не находившіе себѣ удовлетворенія.

Стремленіе къ самостоятельности, къ проявленію своей личности было стѣснено; академическій режимъ ставилъ человѣка въ извѣстныя опредѣленныя рамки. Живой и энергичный юноша

---

<sup>1)</sup> С. Смирновъ. Исторія Московской духовной академіи до ея преобразованія (1814—1870). М., 1879, стр. 45—54; 183—184. Филаретъ, архіепископъ Черниговскій. Обзоръ русской духовной литературы. Черниговъ, 1863, книга II, стр. 271—272.—Ибервегъ-Гейнце. Исторія новой философіи. Спб., 1890, стр. 580 (замѣтка Я. Н. Колубовскаго).

<sup>2)</sup> Русскій Вѣстникъ, 1856, мартъ, книга I, стр. 54.

<sup>3)</sup> Архивъ Московской духовной академіи. Дѣло о производствѣ внутренняго испытанія студентамъ за 1822 г., № 93.

<sup>4)</sup> Въ низшемъ отдѣленіи академіи Надеждиныхъ, по успѣхамъ, занималъ «второе мѣсто перваго разряда», а, съ переходомъ въ высшее отдѣленіе, въ сентябрѣ 1822 года былъ избранъ «старшимъ» для надзора за поведеніемъ студентовъ (*Русская Старина*, 1908, № 2, стр. 409—411).



не могъ примириться со всѣми общеобязательными условностями; ему было душно, онъ рвался на волю, а монахи старались привить аскетическое міровоззрѣніе, увѣщавали надѣть черный клобукъ. И не мало надо было усилій, чтобы оказать противодѣйствіе... Недовольство условіями жизни, борьбу за свою независимость Надеждинъ, уже перешедшій на IV курсъ, старательно скрывалъ отъ семьи и долго не давалъ о себѣ вѣстей изъ боязни обнаружить свою тайну; но, узнавъ о безпокойствѣ отца, онъ не выдержалъ. «Не подумайте», писалъ онъ домой въ 1824 г.: «чтобы я былъ равнодушенъ къ такому, можно сказать, безмолвію съ моей стороны! Я очень чувствовалъ пагубныя его послѣдствія — и былъ принужденъ не прерывать онаго. Да и чѣмъ бы я могъ прервать его? Что бы я избралъ предметомъ для моего письма? Новаго ничего не случилось со мною: все шло по старому, и утѣшительнаго для васъ не могло бы ничего доставить письмо мое. Такъ! Батюшка! и повинѣ жизнь моя тянется въ мучительной однообразности: она походитъ на плѣнь узника, который, бывъ осужденъ не видѣть никогда дневного свѣта, находитъ, по крайней мѣрѣ, горестное удовольствіе въ томъ, чтобы считать дни своего узничества. Не подумайте, чтобы я говорилъ это въ разсужденіи моего внѣшняго благосостоянія! нѣтъ! оно для меня совсѣмъ неизвѣстно, и я — откровенно сказать! — объ немъ мало забочусь. Душа моя, опутанная нитями, которыя я самъ для себя сплелъ, чувствуетъ необходимость прогрызть оныя и содѣлаться крылатою бабочкою: она похожа теперь на птенца, которому яичная скорлупа уже наскучила, но котораго носикъ столько еще слабъ, что не можетъ раздробить ее совершенно, и открыть себѣ свободный выходъ на бѣлый свѣтъ. Можетъ быть, для васъ покажутся темны загадки, которыми теперь я говорю съ вами: но послѣдствія объяснять все, и объяснять очень скоро: яко время близъ есть! Время дорогое, возжелѣнное, — котораго я жажду, и отъ котораго, впрочемъ, еще не смѣю ничего надѣяться»... «Остается мнѣ теперь поговорить съ вами о нашихъ новостяхъ! Вотъ онѣ! У насъ передъ Рождествомъ четверо изъ моихъ товарищей постриглись въ монахи и уже іеродиаконами. Къ числу ихъ принадлежатъ: Михайло Алексѣевичъ Зиминъ, который нынѣ уже отецъ *Макарій*, и извѣстный вамъ Стефанъ Ѳедоровичъ Орловъ, коего нынѣшнее имя отецъ Сергій. *И мнѣ было внушено тоже, да и не безъ успѣха*: такъ что я совсѣмъ было написалъ просьбу! но... подумалъ и положилъ ее въ комодъ,

\*

впредь до разсмотрѣнія. Для меня лучше оставаться всегда покорнымъ вашимъ сыномъ» 1).

Раздраженіе противъ начальства не могло стихнуть; наоборотъ, ежедневныя мелочныя столкновенія способствовали его усиленію; накипѣвшая горечь должна была излиться наружу: умѣнье сразу подмѣчать слабыя стороны людей и врожденная насмѣшливость сослужили, на этотъ разъ, Надеждину плохую службу. Замѣтивъ неудовлетворительность лекцій ректора Кирилла, «не отличавшагося ни правильнымъ изложеніемъ мыслей, ни изяществомъ слога», Надеждинъ сталъ, въ присутствіи товарищей, «пародировать» чтеніе своего профессора богословія, былъ обвиненъ чуть не въ «невѣріи» и едва избѣжалъ исключенія изъ.

1) Письмо отъ 23 января 1824 г. (неизд.). Желая уклониться отъ постриженія, Надеждинъ ссылался на «крайнее истощеніе и слабость здоровья», препятствующія ему «съ подобающимъ благоговѣніемъ въ настроеніи духа воспринять монашескій чинъ» (Θ. Буслевъ. Мои воспоминанія. М., 1897, стр. 123—124).—Въ «Запискахъ» Д. И. Ростиславова постриженіе въ монахи товарищей Надеждина освѣщено иначе: «Шаловливость перешла вмѣстѣ съ нимъ (Надеждинимъ) и въ академію; ему, избалованному еще въ домѣ отца своего и видѣвшему снисхожденіе къ себѣ въ пятнадцатилѣтнее обученіе въ Рязани, некогда было выдисциплинироваться, приучиться, хоть по наружности, къ той притворной, а часто и приторно скромной маскѣ, какую приучились и умѣли надѣвать въ свое время семинаристы»... «Разсказываютъ особенно одинъ случай, при которомъ его страсть посягаться надъ товарищами уже очень далеко заходила. Между ними былъ одинъ — Дроздовъ, который въ 1841—1847 гг. былъ ректоромъ Петербургской духовной академіи, а потомъ архіереемъ въ Саратовѣ и Астрахани. Они считались между собою пріятелями. Надеждинъ уговорилъ Аванасія подать вмѣстѣ прошеніе о поступленіи въ монашество, что такъ нравилось академическому начальству. Оба просителя явились къ ректору, или инспектору, не знаю, съ одною просьбою; обоихъ, какъ отличныхъ по способностямъ и успѣхамъ студентовъ, начальство очень радо было завербовать подъ клобукъ. Но просьбы о желаніи принять ангельскій чинъ не могли быть подаваемы коллективнымъ порядкомъ; каждый долженъ былъ написать особое прошеніе; имъ это и посоветовали сдѣлать поскорѣе, чтобы какъ-нибудь мысли не приняли другого направленія. Надеждинъ успѣлъ убѣдить Аванасія, что имъ уже все сдѣлано. Аванасій подалъ прошеніе и постриженъ въ монашество, а Надеждинъ и не думалъ о томъ; слышалъ я, что даже все это было сдѣлано только изъ желанія подшутить надъ пріятелемъ» (Русская Старина, 1894, № 6, стр. 97—98). Наше толкованіе тѣмъ правдоподобнѣе, что, по словамъ самого Д. И. Ростиславова, съ 1821 года архіепископъ Филаретъ «началъ придавать академіи суровый аскетическій характеръ».

академіи <sup>1)</sup>. Этотъ эпизодъ оказалъ воздѣйствіе и на дальнѣйшую судьбу Надеждина: несмотря на «отличные» успѣхи по *всѣмъ* предметамъ, онъ пониженъ въ выпускномъ спискѣ и не былъ оставленъ при академіи <sup>2)</sup>.

Онъ получилъ званіе магистра и кончилъ курсъ восьмымъ, тогда какъ многіе товарищи, значительно уступавшіе ему по способностямъ, имѣли лучшіе аттестаты <sup>3)</sup>. «Хорошее», а не «отличное» поведеніе помѣшало ему сдѣлаться бакалавромъ. Отброшена мечта о научной карьерѣ; поприще сузилось, приходилось удовлетвориться малымъ. Впереди предстояла скромная дѣятельность преподавателя словесности въ Рязанской семинаріи. Нѣжная семейная ласка, родимыя мѣста, наплывъ старыхъ впечатлѣній, соединенныхъ съ золотымъ временемъ дѣтства, скрасть будущее, развѣютъ тихую грусть.

---

---

<sup>1)</sup> С. Смирновъ. Исторія Московской духовной академіи до ея преобразования (1814—1870). М., 1879, стр. 18, 379. Филаретъ. Обзоръ русской духовной литературы. Черниговъ, 1863, книга II, стр. 243.

<sup>2)</sup> Архивъ Московской духовной академіи. Дѣло съ приложеніемъ копій съ аттестатовъ студентовъ, кончившихъ IV академическій курсъ, 1824 г. № 107.

<sup>3)</sup> Русская Старина, 1894, № 6, стр. 98 (отзывъ Д. И. Ростиславова).

## II.

Преподавательская дѣятельность въ Рязани.— Увольненіе отъ занимаемыхъ должностей и изъ духовнаго званія.—Переѣздъ въ Москву.—Мѣсто у Самариныхъ.—Пополненіе пробѣловъ полученнаго образованія.—Періодъ усиленнаго чтенія

Упованіямъ на благотворное вліяніе мѣста родины не суждено было оправдаться.—Вернувшись въ Рязань, Надеждинъ попалъ въ хорошо извѣстную ему среду, вошелъ въ прежнюю колею. Та же семинарія, гдѣ протекли его дѣтскіе годы; тѣ же педагоги, которые при немъ начали преподаваніе <sup>1)</sup>; тѣ же воспитанники, какъ младшіе по курсу, такъ и сверстники, засидѣвшіеся долго въ одномъ и томъ же классѣ и не кончившіе ученія вовремя <sup>2)</sup>; тѣ же знакомые, съ которыми нѣкогда онъ весело короталъ вечера; наконецъ, отецъ и мать, любовавшіеся и гордившіеся своимъ сыномъ и осыпавшіе его ласками,—словомъ, все было по-старому, и, казалось, ничто не измѣнилось: ни обстановка, ни люди. Но прежнія жизненныя условія произвели на Надеждина

---

<sup>1)</sup> Семень Красильниковъ, Дмитрій Ареопагитскій и нѣкоторые другіе (*Д. Аглицевъ*. Исторія Рязанской духовной семинаріи. Рязань, 1889, стр. 176—177).

<sup>2)</sup> Не надо забывать, что Надеждинъ поступилъ въ академію не изъ богословскаго класса, а изъ философскаго, или предпоследняго, и потому окончилъ курсъ двадцати лѣтъ, тогда какъ обыкновенно кончали лѣтъ двадцати четырехъ. По словамъ И. И. Срезневскаго, «онъ былъ гораздо моложе всѣхъ своихъ сослуживцевъ; даже многие изъ учениковъ его, студентовъ, были гораздо старше его» (*Вѣстникъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества*, 1856, ч. 16, отд. 5, стр. 1—16). Къ младшимъ товарищамъ, съ которыми Надеждинъ, повидимому, долженъ былъ встрѣтиться въ семинаріи, можно отнести: профессоровъ И. Т. Глѣбова и А. И. Кикина, доктора А. А. Лунина и П. Г. Ситковскаго (*Библиографическій словарь писателей, ученыхъ и художниковъ, уроженцевъ Рязанской губерніи*. Рязань, 1910, стр. 47, 99, 121, 236).

менѣе благопріятное впечатлѣніе, чѣмъ раньше, и причина этого крылась въ немъ самомъ. Онъ не могъ втянуться въ провинціальную жизнь; не могъ найти удовлетвореніе и въ педагогической дѣятельности, о которой живо и интересно разсказалъ одинъ изъ его современниковъ.

Извѣстіе о назначеніи Надеждина <sup>1)</sup>, повидимому, было встрѣчено въ Рязани съ радостью. Особенно сильное впечатлѣніе оно произвело на семинаристовъ, уже освѣдомленныхъ о выдающихся способностяхъ будущаго учителя. Они волновались. Воспитанники тѣхъ классовъ, въ которыхъ предстояло преподавать Надеждину, гордились «выпавшей на ихъ долю привилегіей» и вызвали чувство зависти въ товарищахъ, учившихся у другихъ профессоровъ.

Первый урокъ былъ данъ Надеждинымъ въ концѣ ноября или въ началѣ декабря 1824 года. «Поутру, часу въ девятомъ», пишетъ Д. И. Ростиславовъ <sup>2)</sup>: «Иліодоръ <sup>3)</sup> по обычаю ввелъ его къ намъ. Мы увидѣли человѣка невысокаго роста, немножко сгорбленнаго, съ блѣдноватымъ лицомъ, съ очень большимъ орлинымъ носомъ, съ живыми, пронизательными глазами. Ректоръ сказалъ обычное въ такихъ случаяхъ поученіе, и ушелъ; остался одинъ Надеждинъ. У насъ былъ урокъ изъ консольціи Циперона. Надеждинъ не сталъ заниматься переводомъ ея, а далъ намъ, какъ мы выражались тогда, «подражаніе»... Начали мы читать ему свои предложенія и увидѣли, что имѣемъ дѣло съ профессоромъ, не похожимъ на Ареопагитскаго <sup>4)</sup>. вмѣсто того, чтобы, подобно этому 10—12 пудовому господину, сидѣть на своемъ стулѣ, щедро разсыпать оттуда свои: «каналы» и «шельмы», «къ двери, на колѣни», «на конецъ парты», Наде-

---

<sup>1)</sup> Назначеніе Надеждина профессоромъ словесности и нѣмецкаго языка послѣдовало 20 октября 1824 г., а 23 ноября семинарскимъ правленіемъ ему поручена должность библіотекаря, въ которой и утвердилъ его 14 февраля слѣдующаго года епископъ Рязанскій Филаретъ (*Русская Старина*, 1908, № 2, стр. 416; *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 55).

<sup>2)</sup> Профессоръ Спб. духовной академіи, тогда воспитаникъ риторическаго класса Рязанской семинаріи.

<sup>3)</sup> Архимандритъ Иліодоръ съ 21 августа 1823 г. былъ назначенъ ректоромъ семинаріи (*Макарій. Историко-статистическое описаніе Рязанской духовной семинаріи и подвѣдомыхъ ей духовныхъ училищъ. Новгородъ, 1864, стр. 68—69.—Д. Аглицевъ. Исторія Рязанской духовной семинаріи. Рязань, 1889, стр. 172—173).*

<sup>4)</sup> Предшественникъ Надеждина, профессоръ словесности.

ждинъ быстро переходилъ отъ одного стола къ другому, внимательно выслушивалъ «подражаніе», спокойно исправлялъ недостатки и больше говорилъ: «хорошо, спасибо», никого не ругнулъ, не сказалъ никому грубаго или оскорбительнаго замѣчанія, былъ снисходителенъ, привѣтливъ, даже вѣжливъ. Конечно, это былъ первый классъ, спрашиваемы были лучшіе ученики, но Ареопагитскій успѣлъ бы накричаться до самой высокой фистулы. Поэтому мы были въ восхищеніи отъ своего новаго профессора»<sup>1)</sup>).

Надеждинъ не послѣдовалъ примѣру профессоровъ, преподававшихъ риторику по учебнику Бургія; онъ отнесся къ этой книгѣ свободно и началъ составлять свои лекціи на русскомъ языкѣ. Эти лекціи, по отзывамъ слушателей, «не заключали въ себѣ ничего особеннаго» и мало отличались отъ риторикъ Рижскаго и Толмачева. Онѣ представляли собою первый опытъ молодого человѣка, только что окончившаго академію и не успѣвшаго еще выработать вполне самостоятельныхъ, оригинальныхъ воззрѣній. Несмотря на это, семинаристы съ большимъ интересомъ слушали чтенія Надеждина и цѣнили его за «свѣтлый, пронизательный умъ, самобытное соображеніе и столько же самобытный даръ увлекать живымъ словомъ», охотно прощая ему нѣкоторую высокость стиля, иногда затруднявшую усвоеніе какого-либо сложнаго вопроса<sup>2)</sup>.

Въ первый годъ Надеждинъ закончилъ изложеніе первой части риторики, т. е. стилистики съ присоединеніемъ элементарныхъ свѣдѣній изъ логики. Въ своемъ курсѣ, послѣ предварительныхъ разсужденій о словесности вообще и изящной—въ частности, Надеждинъ переходилъ къ опредѣленію понятія риторики и выяснялъ ея «первоначальныя основанія», причемъ особенно подробно останавливался на «распространеніи предложеній». Онъ характеризовалъ «внутренній составъ» и «внѣшнюю обширность» періодовъ, касался «образа составленія» ихъ, указывалъ «различіе между простыми и сложными періодами по внутреннему содержанію и по внѣшнему строенію», говорилъ о «строчныхъ знакахъ, какъ внѣшнихъ условіяхъ ясности и выразительности»

<sup>1)</sup> *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 99—100.

<sup>2)</sup> «Впрочемъ высокостью слога отличались весьма немногіе параграфы (риторики); все прочее было изложено ясно и просто» (*Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 100—101). Ср. *Вѣстникъ Русскаго Географическаго Общества*, 1856, ч. 16, отд. 5, стр. 1—16.

и, наконецъ, объ украшеніи распространенныхъ предложеній: тропакъ и фигурахъ<sup>1)</sup>, причеъ «примѣры на разныя формы бралъ изъ русскихъ поэтовъ»<sup>2)</sup>).

На слѣдующій годъ Надеждинъ долженъ былъ ознакомить семинаристовъ съ «обязанностями оратора», которыя перечислялись во второй части риторики. Эта часть состояла изъ двухъ отдѣловъ: 1) о рѣчахъ вообще; 2) о приложеніи правилъ краснорѣчія и о проповѣдническомъ краснорѣчіи въ особенности. Надеждинъ, по примѣру предыдущаго года, вѣроятно, предполагалъ написать весь курсъ на русскомъ языкѣ, но ему не удалось выполнить своего намѣренія, такъ какъ въ 1825 году, передъ каникулами, было получено въ Рязани предписаніе комиссіи духовныхъ училищъ о томъ, чтобы словесность «читалась по учебнику Бургія». Впрочемъ, Надеждинъ, и въ этомъ случаѣ, не преминулъ сдѣлать къ руководству свои дополненія, а къ концу учебнаго года даже далъ слушателямъ «листа два—три своихъ записокъ объ ораторахъ». Въ своемъ курсѣ, сдѣлавъ опредѣленіе «науки краснорѣчія», Надеждинъ весьма обстоятельно указывалъ «качества, необходимыя для оратора», который, съ его точки зрѣнія, долженъ быть надѣленъ здравымъ умомъ, хорошими воображеніемъ и памятью, чувствительнымъ сердцемъ, благонамѣреннымъ характеромъ, благородной наружностью и серьезнымъ «образованіемъ въ наукахъ, вспомошествоющихъ краснорѣчію». Одною изъ самыхъ важныхъ для оратора наукъ является «dogmatica doctrina краснорѣчія, въ которой болѣе или менѣе подробно говорится: 1) о изобрѣтеніи (de inventione), 2) о расположеніи (de dispositione), 3) о слововыраженіи (de elocutione), т. е. о слогахъ, его достоинствахъ и недостаткахъ, и 4) о произношеніи (de actione, seu pronunciatione), именно: о голосѣ, акцентѣ, жестахъ»<sup>3)</sup>.

Занятый подготовкой проповѣдниковъ, Надеждинъ нѣсколько лекцій посвятилъ вопросу объ упражненіяхъ будущаго оратора. «И естественныя дарованія—разъяснялъ онъ семинаристамъ—

1) Обзорѣніе предметовъ по классу словесности, преподаваемыхъ ученикамъ семинаріи низшаго отдѣленія въ теченіе перваго года учебнаго курса, отъ 1-го сентября 1824 года до іюня 1825 года (рукопись). — *Д. Агнцевъ*. Исторія Рязанской духовной семинаріи. Рязань, 1889, стр. 217—224.

2) *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 101.

3) *Д. Агнцевъ*. Исторія Рязанской духовной семинаріи. Рязань, 1889, стр. 217—224. — *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 101.

останутся безплодными, и приобретённые познания будутъ бесполезны, ежели посвящающей себя краснорѣчію не присоединить къ нимъ *собственной дѣятельности* и не будетъ употреблять оныхъ надлежащимъ образомъ. *Usus est optimus magister!*»— Вступающіе на ораторское поприще «должны трудиться и дѣйствовать». Они должны «живо и дѣятельно соревновать образцамъ, оставленнымъ предшественниками», «неослабно и благоразумно упражнять собственные силы въ различныхъ опытахъ изящной словесности» и своимъ сердцемъ постоянно обращаться къ «единому Источнику всякой мудрости и Подателю всѣхъ даровъ совершенныхъ—Богу».

*Ars longa, vita brevis*, говорили древніе. Поэтому никто изъ смертныхъ, какъ бы ни былъ богато одаренъ отъ природы, «не можетъ однѣми собственными силами объять вполне какую-либо науку или усвоить себѣ совершенно какое-нибудь искусство». Пользоваться трудами предшественниковъ значитъ «сокращать труды новыхъ подвижниковъ и предотвращать бесполезное употребленіе времени на открытіе того, что уже прежде было открыто». Желающимъ выработать изъ себя ораторовъ слѣдуетъ «читать лучшія произведенія образцовыхъ писателей», отмѣчать ихъ достоинства и недостатки и «усваивать себѣ тѣ совершенства, чрезъ которыя они сдѣлались бессмертными и драгоценными для потомства».

«Чтеніе писателей тогда можетъ быть только полезно для молодыхъ ораторовъ, когда оно ограничивается одними достойными чтенія произведеніями и подчиняется извѣстнымъ правиламъ, предписываемымъ опытностію и благоразуміемъ». А достойны чтенія тѣ «произведенія, которыя, будучи занимательны по внѣшнему образу изложенія, поучительны и назидательны вмѣстѣ и по внутреннему содержанию своему, и которыхъ достоинство опредѣляется не преходящимъ вліяніемъ моды, не рукоплесканіями суетнаго свѣта, но постояннымъ уваженіемъ цѣлыхъ вѣковъ и народовъ». Къ числу такихъ произведеній принадлежатъ книги Св. Писанія, творенія отцовъ и учителей Церкви, классическихъ, отечественныхъ <sup>1)</sup> и нѣкоторыхъ новѣйшихъ иностранныхъ ораторовъ и поэтовъ.

---

<sup>1)</sup> Кромѣ писателей духовныхъ, Надеждинъ упоминаетъ Ломоносова, Державина, Хераскова, Мерзлякова, Жуковского, Батюшкова, Муравьева, Карамзина.



Намѣтивши матеріаль для чтенія, слѣдуетъ начать знакомиться съ сочиненіями, по заранѣ составленному плану. Надо читать не спѣша и внимательно. притомъ «не многихъ вдругъ писателей, но постепенно, съ соблюденіемъ извѣстнаго между ними порядка», иными словами «начинать чтеніе съ писателей самыхъ легкихъ, незатруднительныхъ и мало-по-малу восходить къ труднѣйшимъ и болѣе возвышеннымъ». Чтеніе избранныхъ отрывковъ лишено всякаго смысла и значенія; имѣетъ цѣнность изученіе сочиненій «въ полной связи и въ цѣломъ объемѣ», такъ какъ только оно можетъ дать читателю понятіе о «духѣ» того или иного писателя. Да и «предметами соревнованія для молодыхъ ораторовъ должны быть не столько частныя красоты и совершенства, сколько внутреннее направленіе, тонъ и характеръ писателей». «Драгоцѣнныя стяжанія предшественниковъ» молодой ораторъ «можетъ и долженъ обратить въ свою собственность чрезъ искусное имъ *подражаніе*, или, лучше, *соревнованіе*», не опасаясь «подвергнуться укору въ похищеніи и неправедномъ завладѣніи». Онъ «усвоить себѣ чужія красоты и совершенства» тогда, когда «перенесетъ ихъ въ собственные свои творенія такъ, что они получаютъ особенный цвѣтъ и будутъ представляться съ новыми отливами и оттѣнками». «Истинное подражаніе должно быть совершенно свободно»; оно не имѣетъ ничего общаго съ подражаніемъ рабскимъ, «слѣдующимъ строго и точно избраннымъ образцамъ въ изобрѣтеніи, ходѣ и связи мыслей» и свойственнымъ только тѣмъ, «кои едва успѣли вступить на порище краснорѣчія».

Но одного подражанія, «сколь бы оно ни было удачно и искусно», недостаточно; нужны еще «собственныя усилія, собственныя занятія, собственные опыты» лицъ, «посвящающихъ себя ораторскому служенію». «Ни богатыя дарованія, ни твердое изученіе правилъ, ни обиліе знаменитыхъ образцовъ» не помогутъ тому, кому скучно трудиться. Напротивъ, трудолюбіе «преодолѣваетъ самую природу и восполняетъ ся недостатки». Поучительный примѣръ Демосоена наглядно показываетъ, что «собственныя упражненія должны составить главную и существенную принадлежность ораторскаго образованія».

Наконецъ, еще одной важной мыслью долженъ проникнуться начинающій витія. Онъ долженъ помнить, что «всякое далнє благо» «нисходитъ свыше отъ Отца свѣтовъ», и, потому обязанъ «постоянно сердечно обращаться къ Верховному Источнику

всѣхъ совершенствѣ»,—Тому, Кто «одинъ только можетъ растворить слово человѣческое солию живого и вседѣйственнаго краснорѣчія» <sup>1)</sup>).

Не ограничиваясь одними теоретическими указаніями, Надеждинъ старался предоставить своимъ слушателямъ случай проявить и совершенствоваться ораторскія способности. Для этой цѣли могли служить семинарскія «собранія» и публичные экзамены.

Устраивая собранія, Надеждинъ и мѣстное начальство имѣли въ виду пробудить соревнованіе въ воспитанникахъ и такимъ образомъ содѣйствовать развитію ихъ дарованій. Незадолго до собранія каждый профессоръ «обязанъ былъ представлять на усмотрѣніе ректора лучшія ученическія задачи». Ректоръ, прочитавъ ихъ, отбиралъ наиболѣе выдающіяся, и онѣ включались въ программу засѣданія. Въ назначенный для собранія день ученики класса риторики собирались въ особомъ помѣщеніи. «Для приданія торжественности чтенію, устроена была особая кафедра въ родѣ ящика, открытаго съ двухъ сторонъ». Сюда-то «вѣзали» семинаристы, «клали свои витіеватыя хрїи и рѣчи на выдававшуюся впередъ дощечку и полупроповѣдническимъ тономъ читали ихъ, стараясь даже жестикулировать и особенно поднимать одну или обѣ руки къ Творцу Создателю».

Публичные экзамены были обставлены съ бѣльшею пышностью. Это были своеобразныя «сценическія представленія». Еще за нѣсколько недѣль къ нимъ начинали приготовляться; наканунѣ торжественнаго дня «украшали стѣны разными гирляндами изъ цвѣтовъ, усыпали полы цвѣтами». Во время экзаменовъ, «въ промежуткахъ между предметами, читали рѣчи, стихи, пѣли кантаты, концерты». По словамъ современника, Надеждинъ «захотѣлъ отличиться новостью, небывалою въ Рязанской семинаріи». «Онъ написалъ стихами разговоръ между четырьмя учениками, которые, выслушавъ курсъ словесности, разсуждаютъ о превосходствѣ духовнаго просвѣщенія надъ всѣми другими родами просвѣщенія. Двое изъ разговаривавшихъ были главными дѣйствующими лицами,—почти одни попеременно разсуждали; другіе двое только кое-гдѣ вставляли свое словечко». Діалогъ утраченъ. Отъ него сохранились лишь нѣсколько отрывочныхъ стиховъ; но и они характерны, какъ образ-

---

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 16, стр. 241 — 260: «Объ упражненіяхъ будущаго оратора. Изъ уроковъ, писанныхъ для воспитанниковъ Рязанской семинаріи».

чики тогдашняго семинарскаго краснорѣчія. «Титъ Ливій, Оукидидъ, Полибій, Ксенофонтъ»,—говорилъ съ паѳосомъ юный защитникъ преимуществъ духовной литературы:—«могли ль огнемъ и силою сравниться съ Моисеемъ? Не безконечно ли возвышеннѣй Орфея, Пиндара—Давидъ?.. И можно ли Платона назвать ученикомъ хоть Соломона?»<sup>1)</sup>.

Подготовка будущихъ проповѣдниковъ интересовала Надеждина, и едва ли не на ней одной сосредоточилъ онъ свое вниманіе. Другіе отдѣлы семинарскаго курса его мало привлекали; видимо, служба не могла захватить его всего, и онъ не желалъ отдаться ей всецѣло. Самі семинаристы замѣчали, что онъ «тяготился пустотою и мелочностью риторическихъ занятій», и потому нѣсколько небрежно относился къ письменнымъ работамъ: переводамъ и сочиненіямъ, которые иногда по нѣскольку мѣсяцевъ лежали у Надеждина не прочитанными. Во второй годъ своей педагогической дѣятельности, получивъ мѣсто учителя латинскаго языка въ Рязанской гимназіи, Надеждинъ сталъ удѣлять задачкамъ еще менѣе времени, и изрѣдка, не имѣя терпѣнія прочесть и исправить ихъ къ сроку, поручалъ исполненіе этой скучной обязанности «аматерамъ—философамъ и богословамъ».

Исторія русской литературы была исключена изъ курса риторики, и Надеждину приходилось волей-неволей примѣняться къ семинарскимъ требованіямъ и заниматься латинскимъ языкомъ гораздо больше, чѣмъ русскимъ. На это сѣтовали впоследствии его ученики, на это ропталъ въ душѣ онъ самъ; и, вѣроятно, здѣсь надо искать причину его охлажденія къ преподаванію, заключенному въ узкія схоластическія рамки.

Изъ создавашагося тяжелаго положенія могло быть два выхода: изученіе какой-либо науки или развлеченія «въ живой бесѣдѣ съ людьми, съ которыми сблизила судьба». Недостатокъ книгъ препятствовалъ удовлетворенію потребности знанія; поэтому оставалось «расширить кругъ знакомыхъ», что было весьма нетрудно сдѣлать такому «замѣчательному собесѣднику», какимъ былъ Надеждинъ. «Слушая его, нельзя было не увлечься разговоромъ; да и онъ самъ развязывалъ свой языкъ и, замѣчая общее къ себѣ вниманіе» слушателей, «увлекался». Легко представить, какое впечатлѣніе онъ производилъ въ Рязани. Отъ желающихъ сой-

<sup>1)</sup> *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 104—105.

тись съ нимъ поближе не было отбою: и у него на квартирѣ собиралось много народу, и его приглашали въ гости.

Разсѣянный образъ жизни пришелся по душѣ молодому чело-вѣку, «недавно освободившемуся изъ-подъ монашеской фѣрулы», но вызывалъ нареканія со стороны семинарскаго начальства, которое недолюбливало его за живость характера, а главное за его «безпощадный языкъ, жестокия и колкія насмѣшки надъ мона-хами». А Надеждинъ, замѣчая неудовольствіе строгихъ блюсти-телей нравственности, не только не прекращалъ своего «пред-осудительнаго» поведенія, но еще позволялъ себѣ иногда чисто мальчишескія выходки въ отношеніи своихъ недоброжелателей.

«Сначала квартира Надеждина была въ сосѣдствѣ съ квар-тирою ректора; въ деревянной, но оштукатуренной перегородкѣ, раздѣлявшей между собою обѣ квартиры, было будто бы даже небольшое окно, въ которое, какъ тогда говорили, ректоръ, побуждаемый отеческою заботливостію о нравственности молодого своего подчиненнаго, любилъ наблюдать за нимъ. Естественно, что такое вниманіе, да и вообще близкое сосѣдство съ благоче-стивымъ начальникомъ не очень нравилось Надеждину. Нашедши щель у окна или въ самой перегородкѣ, онъ любилъ туда пускать табачный дымъ, выбирая для этого такое время, когда, по его предположенію, никого не было въ сосѣдней съ его квартирою комнатѣ. Ректоръ былъ неумолимый гонитель табаку и потому приходилъ въ негодованіе, ощущая запахъ его въ своей квар-тирѣ. Но подозрѣніе его падало на братьевъ его и на прислугу до тѣхъ поръ, какъ однажды Надеждинъ ошибся въ своихъ расчетахъ и далъ возможность самому ректору увидѣть, какъ контрабандный дымъ воровски пробирался сквозь щель въ его комнату отъ сосѣда. Окно и щель, разумѣется, были задѣланы.— Нерѣдко также случалось, что Надеждинъ, или по требованію ректора, или по собственному побужденію, являлся къ нему. Но въ этомъ случаѣ онъ не любилъ стѣснять себя; являлся къ своему чопорному начальнику въ домашнемъ неглиже. А дома онъ сидѣлъ большею частію въ халатѣ, какихъ-либо башмакахъ, безъ галстука и жилета». И когда Илюдоръ выражалъ свое не-удовольствіе, Надеждинъ обыкновенно говаривалъ: «Извините меня, пожалуйста, отецъ ректоръ! Какъ только вы потребуете меня къ себѣ, я тотчасъ же бѣгу къ вамъ, какъ сынъ къ своему отцу».

Подобныя проказы раздражали семинарскихъ властей, уси-ливая въ нихъ чувство непріязни къ Надеждину, и достаточно

было незначительнаго повода, чтобы затаенная вражда выразилась въ рѣзкихъ мѣрахъ, клонящихся къ обузданію безпокойнаго подчиненнаго. Поводъ далъ самъ Надеждинъ во время устныхъ испытаній по риторикѣ. На экзаменахъ обыкновенно присутствовали всѣ наставники и отъ нечего дѣлать, а, можетъ быть, согласно преданіямъ старины, «дѣлали возраженія противъ читанныхъ лекцій». Между возражателемъ и профессоромъ часто завязывался споръ, переходившій въ серьезную «словесную битву».

«И Иліодоръ, и Гедeonъ <sup>1)</sup> считали себя хорошими профессорами, по крайней мѣрѣ вовсе не желали быть сконфуженными предъ своими учениками. Между тѣмъ Надеждинъ своими остроумными замѣчаніями умѣлъ ставить въ тупикъ особенно Иліодора, котораго уже въ такихъ случаяхъ выручалъ Гедeonъ». Тогда было рѣшено «поприжать говоруна косвеннымъ образомъ».

«По весьма достовѣрнымъ слухамъ», начальство «выставило Надеждина съ очень дурной стороны» предъ тогдашнимъ Рязанскимъ епископомъ Филаретомъ. Данныхъ для обвиненія было болѣе, чѣмъ достаточно, «если смотрѣть на людей съ аскетической точки зрѣнія». «Филаретъ пригласилъ къ себѣ обвиненнаго, котораго впрочемъ любилъ» за его прекрасныя способности. «Надеждину не много стоило труда опровергнуть предъ старцемъ, мало знакомымъ съ жизнію мірянъ, возведенное на него обвиненіе; онъ вышелъ чистъ, какъ изъ воды, но, вмѣстѣ съ тѣмъ», «успѣлъ навлечь подозрѣніе насчетъ жизни самихъ ихъ высокопреподобій, которые не всегда-то жили по монашескимъ правиламъ Василія Великаго. Вражда чрезъ это не уменьшилась, а увеличилась» <sup>2)</sup>,—и Надеждинъ былъ вынужденъ разстаться съ Рязанской семинаріей.

Переходъ изъ духовнаго званія въ свѣтское до выслуги четырехъ лѣтъ въ семинаріи былъ крайне стѣсненъ. Было строго запрещено подавать прошенія въ гражданскія вѣдомства помимо своего ближайшаго начальства, а въ глазахъ послѣдняго только болѣзнь, засвидѣтельствованная врачебной управой, являлась достаточной причиной для увольненія. Наболѣе даровитымъ профессорамъ было особенно трудно добиться отставки, и Надеждину

<sup>1)</sup> Инспекторъ семинаріи (*Макарій*. Историко-статистическое описаніе Рязанской духовной семинаріи. Новгородъ, 1864, стр. 68—69. — *Д. Аглицевъ*. Исторія Рязанской духовной семинаріи. Рязань, 1889, стр. 172—173).

<sup>2)</sup> *Русская Старина*, 1894, № 6, стр. 107—110.

слѣдовало дѣйствовать весьма энергично, чтобы сломить упорство Илюдора и Филарета. Послѣ продолжительныхъ хлопотъ, 9 октября 1826 года Надеждинъ былъ «уволень отъ занимаемыхъ должностей и изъ духовнаго званія». Какъ лицо, заявившее о своемъ желаніи «поступить въ свѣтскую службу», Надеждинъ не только лишался права на полученіе класснаго оклада по ученой степени, но даже долженъ былъ возратить всѣ оклады, полученные до дня заявленія и обыкновенно зачислявшіеся въ награду, въ размѣрѣ 641 р. 66 коп. Въ выданномъ ему аттестатѣ значилось: «поведенія честнаго, въ должности очень исправнаго и благонадежнаго; суду и штрафу не подлежалъ»<sup>1)</sup>.

Въ концѣ 1826 года Надеждинъ покинулъ Рязань. Какъ и шесть лѣтъ назадъ, онъ ѣхалъ въ Москву въ довольно бодромъ настроеніи, хотя и сознавалъ перемѣну, происшедшую въ его положеніи: прежде онъ имѣлъ въ виду извѣстную цѣль—академію; теперь у него не было опредѣленнаго плана. Онъ строилъ въ умѣ всевозможные проекты, и ни на одномъ изъ нихъ не могъ остановиться; а между тѣмъ онъ чувствовалъ, что ему надо какъ-нибудь пристроиться, «избрать карьеру».

Въ большомъ городѣ, среди незнакомыхъ людей, ему было трудно пробить себѣ дорогу; но его выручилъ землякъ профессоръ І. Е. Дядьковский, который приютилъ его у себя на квартирѣ<sup>2)</sup>, и, вѣроятно, помогъ ему подыскать мѣсто «домашняго наставника». О пребываніи Надеждина у Самариныхъ<sup>3)</sup> не сохранилось никакихъ свѣдѣній, кромѣ сообщенныхъ имъ самимъ въ автобіографіи.

«У меня», пишетъ онъ: «не лежало сердце къ службѣ по гражданской части; да и способовъ къ вступленію въ оную не было безъ связей и покровительства. Баринъ, въ домѣ котораго я жилъ, былъ большой баринъ; но онъ посвятилъ себя

<sup>1)</sup> Д. Аглицевъ. Исторія Рязанской духовной семинаріи. Рязань, 1889, стр. 185—186.—*Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 3.—*Русская Старина*, 1908, № 2, стр. 416.

<sup>2)</sup> *Москвитянинъ*, 1856, т. I, № 3, стр. 225: «Я узналъ Надеждина лично», пишетъ М. А. Максимовичъ: «еще въ первый (на самомъ дѣлѣ второй) приѣздъ его изъ Рязани въ Москву, 1827 года, когда онъ проживалъ недалеко отъ Сухаревой Башни, у профессора Дядьковского, который не могъ довольно налюбоваться своимъ даровитымъ землякомъ».

<sup>3)</sup> Домъ Самаринныхъ находился, кажется, подлѣ Страстнаго монастыря (*Библиотечка для Чтенія*, 1859, № 12, стр. 13).

исключительно воспитанію своихъ дѣтей, и потому я не могъ никакъ надѣяться, чтобы онъ помогъ мнѣ своимъ вліяніемъ найти гдѣ-нибудь внѣ его дома другое для себя мѣсто. Тутъ у меня мало-по-малу стала развиваться и крѣпнуть мысль о продолженіи своего умственного образованія. Къ этому, по счастію, были у меня подъ руками средства. Въ домѣ была богатая бібліотека, составленная преимущественно изъ новѣйшихъ французскихъ книгъ, такихъ, которыхъ я дотолѣ и въ глаза не видывалъ. Я принялся ихъ читать, и началъ, какъ теперь помню, съ Гиббонова «*Décadence et chute de l'Empire Romain*», во французскомъ переводѣ Гизо. Я обратился на это многотомное сочиненіе потому, что еще въ домѣ родительскомъ имѣлъ случай читать въ русскомъ переводѣ отрывокъ изъ него объ Юстиніанѣ Великомъ, найденный мною въ нѣсколькихъ разорванныхъ книжкахъ *Вѣстника Европы*. Мнѣ тогда этотъ отрывокъ понравился чрезвычайно. Теперь начавши читать все твореніе Гиббона подъ—рядъ, я не могъ оторваться отъ него и прочелъ дважды отъ доски, до доски, отъ первой страницы до послѣдней. Удивленіе мое было неописанное, когда я на каждой страницѣ, или лучше на каждой почти строкѣ, видѣлъ имена и факты, совершенно мнѣ извѣстные, но въ свѣтѣ такомъ, который никогда, не былъ мной и подозрѣваемъ. Весь образъ мыслей моихъ, который уже сомкнуть былъ въ нѣкоторую систематическую цѣлость и стройность, вдругъ перевернулся; я понялъ, что одна и та же вещь совершенно измѣняется по мѣрѣ того, какъ будешь ее разсматривать. Значительные интересы, которые я считалъ уже вполне удовлетворенными академическимъ курсомъ, воскресли во мнѣ съ новою силою. Я не остановился на Гиббонѣ. Отъ него перешелъ я къ Гизо, котораго курсы тогда только начали лишь выходить въ свѣтъ. Это новое чтеніе своею краткостью и намеками только лишь раздражило меня; чтобы ознакомиться съ подробностями средневѣковой исторіи, я принялся за двѣнадцать томовъ «*Исторіи итальянскихъ республикъ*» Сисмонди, и можно сказать проглотилъ ихъ. Потомъ все это обобщилъ при помощи и руководства Галлама (*Le Moyen âge*). Все это дало мнѣ способы переработать прежній запасъ историческихъ моихъ свѣдѣній по новымъ взглядамъ. Но и прежнее было во мнѣ заложено такъ прочно, что не разрушилось, а только просвѣтлилось и украсилось новою, облагородствованною фізіономією. Вспоминая теперь (въ 1854 г.) минувшее, я сознался, какъ важна была въ исторіи

моего образованія его первоначальная двойственность, шедшая путемъ правильнаго развитія. Не будь положенъ во мнѣ сначала школьный фундаментъ старой классической науки, я бы потерялся въ такъ называвшихся тогда высшихъ взглядахъ, новыхъ романтическихъ мечтаніяхъ, которые были à l'ordre du jour. Теперь, напротивъ, эти новыя приобрѣтенія вѣка настигались во мнѣ на прочное основаніе, и дѣло шло своимъ чередомъ»<sup>1)</sup>).

Такъ жилъ въ теченіе двухъ лѣтъ Надеждинъ, всецѣло отдавшись умственной работѣ. Томимый жаждой знанія, онъ упорно занимался, старался пополнить пробѣлы полученнаго образованія; желая сосредоточиться, онъ сталъ избѣгать увеселеній, сторонился людей, не заводилъ знакомствъ. Въ своемъ строгомъ уединеніи онъ подготовлялъ себя къ той дѣятельности, въ которой нашелъ свое призваніе.



•

---

<sup>1)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 55—57. — Ср. *Русскій Архивъ*, 1876, № 6, стр. 229: Ю. О. Самаринъ рассказывалъ Д. Протопопову, что «Надеждинъ, живя у нихъ въ домѣ въ должности учителя, прочелъ въ два года огромную ихъ библіотеку на русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, не упуская и текущей литературы, и новѣйшихъ иностранныхъ сочиненій



### III.

Московская журналистика двадцатых годовъ прошлаго вѣка.—Обособленное положеніе *Вѣстника Европы*.—Сотрудничество Надеждина въ органѣ М. Т. Каченовскаго и другихъ періодическихъ изданіяхъ: а) стихотворенія; б) научныя изслѣдованія; с) критическіе очерки и рецензіи; ихъ оригинальная внѣшняя форма, характеръ литературнаго анализа и требованія, предъявляемыя къ поэтическому произведенію.—Недоброжелательное отношеніе къ Надеждину современниковъ; статьи полемическія.—Избраніе въ члены Общества исторіи и древностей російскихъ.—Мечты объ ученой карьерѣ.—Испытаніе на степень доктора.—Выборъ темы для диссертации.

Безотраденъ и печаленъ былъ конецъ правленія Александра Перваго. «Все, чему радовалось общество въ началѣ вѣка, въ началѣ царствованія, всѣ стремленія къ реформамъ, къ пробужденію умственной жизни, все это было задавлено», и передъ русскими людьми «разстилалась бы пустыня, потому что сама реакція была бесплодна, если бы рядомъ съ нею, въ глухой и, къ сожалѣнію, неравной борьбѣ, не зрѣли сѣмена лучшаго, болѣе свободнаго развитія», поддержаннаго сознательными и просвѣщенными «представителями нашего общества»<sup>1)</sup>. И чѣмъ сильнѣе давили либеральные порывы, чѣмъ болѣе старались желѣзной рукою сковать свободную мысль, тѣмъ безудержнѣе, нервнѣе и стремительнѣе рвалась она впередъ, несмотря на преграды, и въ области политики, и въ области литературы. Настроеніе эпохи не могло не отразиться и на московской журналистикѣ. Здѣсь также замѣтно броженіе юношескихъ силъ, исканіе новыхъ путей, ведущихъ къ осуществленію новыхъ идеаловъ. Правда, мнѣнія еще не установились; вкусы не опредѣлены; многое схватывалось скорѣе чувствомъ, чѣмъ умомъ; строгихъ теорій не было; су-

---

<sup>1)</sup> *Н. Н. Булгачъ*. Очерки по исторіи русской литературы и просвѣщенія. Спб., 1905, т. II, стр. 329.

ждения отливались иногда въ наивныя формы,—но, во всей этой сумятицѣ взглядовъ и мнѣній, подчасъ навѣянныхъ Западомъ, въ горячей полемикѣ, въ столкновеніяхъ противоположныхъ воззрѣній сказался сильный умственный подъемъ, сказалась страстная жажда нашихъ поэтовъ и критиковъ разрѣшить жгучіе вопросы о смыслѣ и значеніи ихъ призванія.

«Можетъ быть, недалеко уже то время»,—писали сотрудники *Мнемозины*—«когда сужденія, основанныя на законахъ непремѣняемыхъ, произведенія, блистающія порядкомъ и свѣтлостью мыслей, займутъ мѣсто нашихъ обыкновенныхъ, пустыхъ, сбивчивыхъ журнальныхъ теорій и литературныхъ уродовъ; когда истина восторжествуетъ надъ заблужденіями и умолкнутъ наши ничтожные судіи въ наукахъ». Старое отжило свою пору; ему пора въ могилу. Надо «положить предѣлы нашему пристрастію къ французскимъ теоретикамъ»; надо сбросить иго чужеземнаго владычества. Исторія даетъ поучительные уроки. Во Франціи «долго господствовало» «вялое племя» стихотворцевъ, представителей «мнимо-классическаго» направленія. «Лучше, истинные поэты сей земли»: Расинъ, Корнель, Мольеръ, «несмотря на свое внутреннее омерзѣніе, должны были угождать имъ, подчинять себя ихъ условнымъ правиламъ, одѣваться въ ихъ тяжелые кафтаны, носить ихъ огромные парики и нерѣдко жертвовать безобразнымъ идоламъ, которыхъ они называли вкусомъ, Аристотелемъ, природою, поклоняясь подъ сими именами одному жеманству, приличію, посредственности. Тогда ничтожные расхитители древнихъ сокровищъ частымъ, холоднымъ повтореніемъ умѣли оподлить лучшія изображенія, обороты, украшенія оныхъ: шлемъ и латы Алкидовы подавляли карловъ, не только не умѣющихъ въ нихъ устремляться въ бой и поражать въ сердца и души, но лишенныхъ подъ ихъ бременемъ жизни, движенія, дычанія». «Подражатели» «говорили не изъ глубины собственной души, а принуждали себя пересказывать чужія понятія и ощущенія». «Отыскивая въ чужихъ странахъ бездѣлки», русскіе увлеклись примѣромъ французовъ и «забыли о сокровищахъ, вблизи нихъ находившихся»; они забыли также, что «сила и свобода»—необходимыя условія всякаго творчества; что «вѣрнѣйшій признакъ души поэтической—страсть къ высокому и прекрасному». «Вѣра праотцевъ, нравы отечественныя, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя»—вотъ «лучшіе, чистѣйшіе источники для нашей словесности». Лишь «для холоднаго, для вя-

лаго, для сердца испорченного необходимы правила, какъ цѣль для злой собаки, а хлысть для лѣнливой лошади; но поэтъ дѣйствуетъ по вдохновенію и столь же мало гордится своею жизнію, какъ своими твореніями, ибо чувствуетъ, что все, ему данное есть даръ свыше, а онъ только бранный сосудъ той божественной силы, которая обновляетъ и возрождаетъ человѣчество». Таковъ былъ Шекспиръ, «знавшій все: и адъ, и рай, и небо, и землю»; «неисчерпаемо глубокій и до безконечности разнообразный, мощный и нѣжный, сильный и сладостный, грозный и плѣнительный». Этому новому кумиру надлежитъ поклоняться, и невозвратно прошли годы, когда «слѣпо припадали передъ каждымъ французомъ, римляниномъ или грекомъ, освященнымъ приговоромъ Лагарпова Лицея»<sup>1)</sup>.

«Художникъ не долженъ списывать своихъ произведеній», вторилъ *Мнемозинъ Московскій-Вѣстникъ*. «Искусство состоитъ не въ рабскомъ подражаніи природѣ, но въ свободномъ преображеніи того, что въ ней находится». «Разнообразіе» изящныхъ предметовъ не отрицаетъ существованія «единого закона для изящнаго», котораго надо «искать не въ частныхъ явленіяхъ», а въ своей собственной душѣ. «Въ ея внутреннемъ святилищѣ» является «богиня красоты безъ покрова, въ томъ чистомъ свѣтѣ», въ какомъ она недоступна «чувственнымъ очамъ смертнаго» Поэтъ выражаетъ «сверхземное въ маломъ мірѣ искусства»; онъ «воленъ, какъ сама природа, въ созданіи людей и, какъ судьба въ созданіи происшествій, картинъ порока или добра»: не задаваясь никакою внѣшнею цѣлью, онъ благотворно вліяетъ на читателя, «представляетъ жизнь въ истинномъ, лучшемъ ея видѣ, миритъ съ нею»; «убѣждаетъ», что «противорѣчія мірскія» — «оптический обманъ, происходящій отъ нашей низкой точки зрѣнія». Поэтъ «любитъ и цѣнитъ» читателя; «но, къ сожалѣнію, тогда только его удовлетворяетъ, когда нисходитъ въ кругъ его понятій; лишь только предавшись порыву своего генія, пріемлетъ полетъ высшій и обнимаетъ свое произведеніе въ его цѣлости, — тогда бѣдный читатель остается на землѣ и не въ силахъ взнестись великимъ». Большинство людей не можетъ возвыситься до художника.

---

<sup>1)</sup> *Мнемозина*, 1824, ч. II, стр. 30, 36, 39—42; ч. IV, стр. 73—74, 233—234.

„Кто никогда въ душѣ земной  
Не чувствовалъ сего священнаго волненья,  
Тотъ или видитъ въ немъ простое изстуженье,  
Или не вѣруеть сей власти надъ душой“.

Зато счастливы избранники небесъ: имъ раскрыты тайны поэзіи.

„Ея гармонія святая  
Изъ дивныхъ звуковъ сложена;  
Въ нихъ блещетъ вѣчная весна,  
Благоухаетъ воздухъ рая.

. . . . .

Перунамъ Зевсовымъ равны  
Съ душевной, пламенной струны  
Поэтовъ сорванные звуки!  
Имъ все отверсто: рай и адъ,  
Душа—сосудъ живыхъ отрадъ,  
И сердце—кладязъ хладной муки!“ 1).

Такая поэзія не укладывается въ рамки «французскаго корана»; поэтъ не терпитъ узъ, которыя хотять наложить на него «диктаторы нашего Парнасса», заявляютъ критики *Московского Телеграфа*. «Источникъ всѣхъ» старыхъ «пѣтикъ и основаніе законовъ такъ называемой классической поэзіи, пѣтика Аристотелева дошла до насъ не вполне, въ сомнительныхъ спискахъ. Но изъ оставшагося видно, что Аристотель смотрѣлъ на поэзію глазами не философа. Онъ вездѣ видитъ въ ней средство, находитъ постороннюю цѣль и распространяется только о внѣшнихъ формахъ. Не въ наше время доказывать ложность сего положенія, ибо кому неизвѣстно, что поэзія есть свободное изліаніе духа, цѣль сама себѣ; внѣшнія формы ея образуются по внутренней идеѣ, а не идея по формамъ. Такимъ образомъ, принявъ формы, описанныя Аристотелемъ», за основаніе прекраснаго, «плѣняющаго насъ въ твореніяхъ древнихъ грековъ, теоретики сдѣлали величайшую ошибку. Они не поняли, что въ поэзіи плѣняетъ насъ преимущественно не механическое, правильное строеніе частей, а божественная идея красоты, разлитая въ цѣломъ. Она является въ безчисленно-разнообразныхъ формахъ. Можно ли требовать отъ красоты, нашему вѣку свойственной, формъ кра-

---

1) *Московский Вѣстникъ*, 1827, № 1, стр. 46—47; № 7, стр. 233—234; № 8, стр. 341—342, 346; № 9, стр. 7; № 21, стр. 91; 1828, № 1; № 18, стр. 105—107.

соты греческой?» «Древніе оставили намъ превосходные образцы», но «ихъ поэзія невозможна для насъ», и изъ нея невысказано «извлекать правила для внѣшней формы нашей лиры, поэмы и драмы». Аристотель «снялъ мѣрку съ нѣсколькихъ человѣкъ, по которой нельзя для всѣхъ шить платья, такъ же, какъ французовъ и русскихъ нельзя судить по спартанскимъ законамъ. Въ платьѣ надо соображаться съ климатомъ и понятіями народа, въ законахъ—съ мѣстными и современными обстоятельствами». «Французы односторонне поняли изящное», и «всѣ просвѣщенные народы шли по ихъ слѣдамъ» до тѣхъ поръ, пока нѣмцы (А. Шлегель и др.) не объяснили «законовъ» романтической поэзіи. Эта поэзія «оправдывается философическимъ разсмотрѣніемъ, когда взираемъ на сущность, а не на образы; она правильна, ибо формы ея сообразны съ идеями. «Мнимое безобразіе романтиковъ, которое старались найти въ томъ, что они смѣшиваютъ различные роды, есть слѣдствіе духа времени», которому подвластны всѣ писатели. Оттого поэту невозможно не «отозваться» Байрономъ, а романисту—Вальтеромъ Скоттомъ. «Такое сѣчувствіе, согласіе нельзя назвать подражаніемъ: оно, напротивъ, невольная, но возвышенная *стачка* геніевъ, которые, какъ ни отличаются отъ сверстниковъ своихъ», подчиняются общему настроенію эпохи. «Одни посредственные люди избѣгаютъ сего *наитія въка* которое падаетъ сначала только на вершины, и уже послѣ съ нихъ разливается по дольнымъ отлогостямъ». «Звукъ, не сливающийся въ общую гармонію,—звукъ фальшивый». Горе тому, чья пѣснь—причина диссонанса; «жалокъ тотъ, qui n'a pas l'esprit de son âge». Изященъ не простой «снимокъ съ человѣка или природы», а твореніе, созданное по «способамъ, изъ природы заимствованнымъ». Изъ «самопознанія» выводятся законы творчества. Высокъ удѣлъ художника: въ словѣ, образѣ или звукѣ онъ выражаетъ «безконечныя идеи истины и доброты». Поэзія—«самое свободное, неуловимое изъ всего проявляющагося въ человѣчествѣ»; она плодъ «невольнаго волненія души», «волшебнаго изступленья», «порыва въ страну несбыточныхъ мечтаній»<sup>1)</sup>.

Такъ рассуждало поколѣніе нашихъ молодыхъ литераторовъ, поклонниковъ «свободныхъ и пламенныхъ музъ». Ярые приверженцы новыхъ теорій стремились къ поправленію прежнихъ tradi-

<sup>1)</sup> *Московский Телеграфъ*, 1825, № 4, стр. 306—309; № 5, стр. 43; 1827, № 7, стр. 193—194; № 8, стр. 283—290; № 20, стр. 237—251.

цій, нѣкогда общеобязательныхъ условностей. Было высоко поднято знамя во имя абсолютной независимости творчества, и подъ сѣнью этого знамени завязалась упорная борьба съ закоренѣлыми старовѣрами, желѣявшими въ душѣ завѣты прошлаго. Къ числу старовѣровъ принадлежалъ Михаилъ Трофимовичъ Каченовскій. Отрицатель «величія и могущества нашей начальной исторіи», считавшій «одинаково подозрительными» и лѣтопись, и Русскую Правду, и договоры съ греками, перенесъ свой скептицизмъ и въ литературную область. Еще съ раннихъ юношескихъ лѣтъ, онъ выказалъ интересъ къ изящной словесности. Въ университетскихъ журнальныхъ органахъ, выходившихъ подъ редакціей П. А. Сохацкаго и П. В. Побѣдоносцева: *Иппокренъ и Новостяхъ русской литературы*, появились его первые переводы, число которыхъ, съ теченіемъ времени, значительно увеличилось. Онъ переводилъ драмы Коцебу, романы Леонарда, поэмы Байрона и Вальтера Скотта; сдѣлавшись профессоромъ по кафедрѣ искусства и археологіи, онъ произносилъ рѣчи, въ которыхъ развивалъ свои взгляды на «художественныя произведенія, какъ памятники древнихъ народовъ», и издалъ свои лекціи подъ заглавіемъ: «Опытъ начертанія общей теоріи изящныхъ искусствъ»; въ 1805 году онъ принялъ отъ П. П. Сумарокова *Вѣстникъ Европы*, на страницахъ котораго позволилъ себѣ нападать на Карамзина, указывать недочеты басенъ Дмитріева и, что самое главное, неодобрительно отзываться о Пушкинѣ; избранные редакторомъ сотрудники поддерживали своего патрона. «Посмотрите на нашъ Парнассъ», съ негодованіемъ восклицали литературные старовѣры: «это кладбище, гдѣ валяются черепы, кости, полуразвалившіяся гробницы и кресты могильные; гдѣ бродятъ духи, привидѣнія, мертвецы въ саванахъ и безъ савановъ; гдѣ слышны крики врановъ, шипѣніе змѣй, вой волковъ». Развилось «безмѣрное подражаніе не безсмертнымъ красотамъ классиковъ», но «блестящимъ, нерѣдко ложнымъ прелестямъ романтизма» «германческаго»; многіе поэты «уклонились отъ пути истиннаго», «пустились въ неизмѣримую бездну мистицизма»; забыли все на свѣтѣ, твердя имена Гёте, Шиллера, Шлегеля. Публика «ослѣплена блесками подражательнаго остроумія»; объ Аристотелѣ и Горациі твердятъ всѣ, и чаще тѣ, которые ихъ не читали. «Суцность и причину романтической поэзіи» усмотрѣли въ «неопредѣленномъ, неизъяснимомъ состояніи челоуѣческаго сердца». Но «можно ли опредѣлять неопредѣленнымъ, объяснять не-

изъяснимымъ? Чтò такое неопредѣленное состояніе сердца, какъ не отсутствіе всякаго дѣйствительнаго чувства, всякой страсти?» Давно должно «понять, что неопредѣленное состояніе сердца подобно неопредѣленному состоянію ума, которому видимъ дѣйствительные примѣры—состоянію, когда человѣкъ мыслить и вмѣстѣ не мыслить, говорить и вмѣстѣ ничего не говорить. Состояніе жалкое! Причина романтической поэзіи бѣдная!» Но особенное вниманіе обращаетъ на себя «новый, ужасный предметъ, который, какъ у Камюэнса мысль бурь, выходитъ изъ нѣдръ морскихъ и показывается посреди океана россійской словесности»—это увлеченіе «нашихъ словесниковъ» народной поэзіей. Они видятъ въ послѣдней не «невинную забаву», «составлявшую нѣкогда все богатство познаній» нашихъ предковъ; нѣтъ, они «громко закричали о величіи, плавности, силѣ, красотѣ нашихъ старинныхъ пѣсень, начали переводить ихъ на нѣмецкій языкъ, и, наконецъ, такъ влюбились въ сказки и пѣсни, что въ стихотвореніяхъ XIX вѣка заблестали Ерусланы и Бовы *на новый манеръ*». «Чего добраго ждать отъ повторенія болѣе жалкихъ, нежели смѣшныхъ лепетаній?»<sup>1)</sup>

На такіе презрительные вопросы члены пушкинскаго кружка не замедлили отвѣтить цѣлымъ градомъ эпиграммъ и сатирическихъ посланій. Каченовскій—не «строгій критикъ»; онъ—«наглый оскорбитель талантовъ», «развратитель вкуса», пагубно вліяющей на юношество, способствующій размноженію «пачкуновъ въ литературѣ». «Осмѣянные» поэты должны взяться за перо, отомстить, хотя бѣ ихъ отговаривалъ отъ этого намѣренія самъ Карамзинъ, молившій «оставить», по крайней мѣрѣ, его «въ покоѣ».

Возможно ли «малодушно молчать» и «оробѣть потому только, чтобы самимъ не попасть подъ критику»; съ обидчикомъ надо «воевать его оружіемъ», «драться шутками!» «Публика наша еще сама на себя не полагается. Смѣлость въ печати всегда покоряетъ ее». Князь Вяземскій сочиняетъ «эпистолу»; его «Посланіе» должно поразить въ самое сердце «негодяя».

„Передъ судомъ ума сколь, Каченовскій! жалокъ  
Талантовъ низкій врагъ, завистливый Зоилъ.

---

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1820, № 11, стр. 213—214, 217 — 218; № 16, стр. 287, 289; 1824, № 5, стр. 57; 1825, № 17, стр. 25—26.—Ср. *Русскій Филологическій Вѣстникъ*, 1907, № 4, стр. 331—337: «Литературный дебютъ М. Т. Каченовскаго» (статья Е. А. Боброва).

Какъ оный вѣчный огонь при алтарѣ весталокъ,  
Такъ втайнѣ вѣчный ядъ, даръ лютой адскихъ силъ,  
Въ груди несчастнаго неугасимо тлѣеть.  
На немъ чужой успѣхъ, какъ ноша, тяготѣеть;  
Счастливица свѣжій лавръ—колочій тернъ ему;  
Всегда онъ ближняго довольствомъ недоволенъ,  
И вольный мученикъ, чужимъ здоровьемъ боленъ.

Насъ учитъ Карамзинъ презрѣнью клеветы.  
На вызовъ крикуновъ со степени изящной  
Сходилъ ли онъ въ ряды, гдѣ битвой рукопашной  
Предъ праздною толпой, какъ жадные бойцы,  
Свой унижаютъ санъ прекраснаго жрецы?  
Нѣтъ! презря слабыхъ душъ корыстныя управы,  
Онъ мелкой личностью не затмеваетъ славы.  
Пусть скукой и враньемъ торгующій Зоиль,  
Безсильный поражать плодъ зрѣлый зрѣлыхъ силъ,  
*Что день, подъ остріе кладетъ тупого жала*  
*Досуговъ молодыхъ счастливыя начала;*  
Пусть сей оцѣнщикъ словъ и въ азбукѣ знатокъ  
Теребитъ трудъ ума съ профессорскихъ досокъ,  
Какъ посѣдѣвшая въ углахъ архивы пыльной  
Мышь хартіи грызетъ со злостью щепетильной“.

Ссылаться на Карамзина легче, чѣмъ слѣдовать его при-  
мѣру. Самъ Дмитріевъ привѣтствуетъ «эпистола», цѣль кото-  
рой «дѣлаетъ честь благородному сердцу» автора. «Да посты-  
дятся Батюшковъ и Жуковский» за то, что не уняли своевре-  
менно «глумящагося деспота», «плюгаваго крохобора», кото-  
рый «самъ бранить», а «возраженій не принимаетъ!» Конечно,  
нападать на такого врага надо не спроста; необходимы особые  
полемицескіе приемы. Пушкинъ неудовлетворенъ стихами Вя-  
земскаго. «Бранюсь съ тобою», пишетъ онъ пріятелю 2 января  
1822 г.: «за одно посланіе къ Каченовскому. Какъ могъ ты  
сойти въ арену вмѣстѣ съ этимъ хилымъ кулачнымъ бойцомъ? Ты  
сбилъ его съ ногъ, но онъ облилъ безславный твой вѣнокъ кровью,  
желчью и сивухой. Какъ съ нимъ связываться? Довольно было  
съ него легкаго хлыста, а не сатирической твоей палицы». «Лег-  
кимъ хлыстомъ» служила эпиграмма, которую Сверчокъ готовъ  
былъ «крикнуть» при каждомъ литературномъ «безчинствѣ». И  
онъ «бранился, какъ торговка на рынкѣ», съ «клеветникомъ безъ  
дарованья, ищущимъ чутьемъ палокъ, а ежемѣсячнымъ  
враньемъ—дневного пропитанья».



„Хавроніось, ругатель законсѣлый,  
Во тѣмѣ, въ пыли, въ презрѣньи посѣдѣлый,  
Уймись, дружокъ! Къ чему журнальный шумъ  
И пасквилой томительная тупость?  
Затѣйникъ золь, съ улыбкой скажетъ Глупость,  
Невѣжда глупъ, зѣвая, скажетъ Умъ“.

Одолѣть «курилку-журналиста» — дѣло нелегкое. Несмотря на получаемые имъ удары справа и слѣва, онъ—«еще живъ»,

„Живехонекъ! Все такъ же сухъ и скучень,  
И грубъ, и глупъ, и завистью размучень;  
Все тискаеть въ свой непотребный листъ  
И старый вздоръ, и вздорную новинку.  
Фу! надоѣлъ курилка журналистъ!  
Какъ загасить вонючую лучинку?  
Какъ уморить курилку моего?  
Дай мнѣ совѣтъ.—Да. . . плюнуть на него“.

Мнѣніе Пушкина раздѣляли сотрудники разныхъ періодическихъ изданій. Имъ ненавистенъ былъ и Каченовскій, и издаваемый имъ *Вѣстникъ Европы*. Они всегда смотрѣли на «старого педанта», какъ на человѣка, «засѣвшаго на одномъ мѣстѣ и неподвижно просидѣвшаго болѣе двадцати лѣтъ». На «педантѣ» лежала «обязанность поддержать» въ журналѣ, «драгоцѣнное заглавіе» котораго связано съ дорогими именами Карамзина и Жуковского, дѣло, «начатое гигантами нашей словесности». Обязанность осталась невыполненной: *Вѣстникъ Европы* сталъ «гнѣздилищемъ всѣхъ браней, всѣхъ несправедливостей», набрасывавшихъ тѣнь на «людей съ дарованіями», «на каждого трудолюбиваго писателя»; съ огульнымъ порицаніемъ «всего, что только есть славнаго, знаменитаго въ Россіи», соединялась «проповѣдь безвкусія». Здѣсь отрицались достоинства произведеній Пушкина, князя Вяземскаго; здѣсь печатались «топорной работы остроты противъ Исторіи Государства Россійскаго»; здѣсь излагались «обветшалыя теоріи словесности, изгнанныя даже изъ школъ напскихъ владѣній»; помѣщались скучныя компіляціи, «диссертаци изъ чужихъ матеріаловъ», переводы «вздорныхъ романовъ». «Смѣшные споры», которыми «пестрился» журналъ, надоѣдали; «несправедливая» оцѣнка поэтическихъ твореній, порицаніе «благородныхъ стремленій» вызывали негодованіе. «Юноши, обгоняющіе старца», «не виноваты, что они идутъ впередъ!» Романтизмъ не «дурочитъ людей», не «потчуетъ ихъ

всякимъ вздоромъ», не «уничтожаетъ законовъ науки и разсудка»; «божественный, Шекспиръ—не «идолъ черни, ею жившій и ей хотѣвшій нравиться», а его «драмы» не могутъ быть названы самыми дурными, противными цѣли театра». И стыдно «просвѣщенному литератору XIX вѣка» отрицать значеніе англійскаго генія и «съ презрительнымъ смѣхомъ говорить» о «романтическихъ красотахъ». «*Вѣстникъ Европы*», писалъ въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* О. М. Сомовъ: «съ нѣкотораго времени потерялъ прежнюю свою занимательность и, кажется, не слишкомъ заботится снова пріобрѣсти ее»<sup>1)</sup>.

Позаботиться о занимательности было, однако, необходимо; журналъ приходилъ въ упадокъ, нуждался въ обновленіи. Открывая подписку въ концѣ 1827 года, Каченовскій прекрасно сознавалъ затруднительность своего положенія. Пересмотрѣ литературнаго и научнаго матеріала, заготовленнаго въ редакціи, не могъ дать утѣшительныхъ результатовъ. Очеркъ И. М. Снегирева: «Старинныя народныя святки и Коляда», трактатъ Н. Ч. «О варягахъ вообще и въ особенности о варягахъ Руси» или разсужденіе Ѳ. Арефьева о томъ, «Что должно разумѣть подъ видами права письменнаго и неписьменнаго и сколько было въ разные періоды видовъ права римскаго», отрывки изъ книги Клапрота «*Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus jusqu'à nos jours*», сочиненіе Рюса «Объ источникахъ и пособіяхъ шведской исторіи»—могли заинтересовать лишь очень немногихъ читателей. Нельзя было рассчитывать и на успѣхъ переводовъ изъ *Journal Asiatique*, *Journal des Débats*, *Morgenblatt* и польскихъ газетъ: чье любопытство могли возбудить свѣдѣнія о происхожденіи хозаръ, о поверхности воды на Каспійскомъ морѣ, о лотереѣ и объ азартной игрѣ во Франціи? Беллетристика находилась въ жалкомъ состояніи: повѣсть Клаурена «Бабушка», стихотворенія С. И. Висковатова или М. П. Крюкова не позволяли надѣяться на лучшее будущее. Какъ ни распинался передъ

---

<sup>1)</sup> *Сѣверные Цвѣты* на 1828 г., стр. 18; *Московскій Телеграфъ*, 1827, № 21, стр. 74; 1828, № 20, стр. 490—493; № 23, стр. 374, 375 (ср. *Вѣстникъ Европы*, 1819, ч. 104, стр. 195, 276, 300); *Сынъ Отечества*, 1821, № 2, стр. 76—81; 1824, № 16, стр. 72—85; № 45, стр. 212—220; 1829, № 17, стр. 168—172.—«Остафьевскій архивъ князей Вяземскихъ», Спб., 1899, т. II, стр. 113—114; 437—438. Сочиненія И. И. Дмитриева, Спб., 1895, т. I, стр. 240; т. II, стр. 56—58; 62; 201—207; 235; 239; 245—250; 254—261; 271—273. Сочиненія А. С. Пушкина (passim).

своими подписчиками Каченовскій, заявляя, что для его журнала намѣчены лишь статьи «приличнаго содержанія», что «при печатаніи стиховъ предположено наблюдать строгую разборчивость», а въ историческихъ «описаніяхъ» и «замѣчаніяхъ»— «всячески избѣгать повторенія того, что помѣщается въ другихъ изданіяхъ»,—онъ не могъ ограничиться одной широковыщательной рекламой <sup>1)</sup>. Не рекламой, а сотрудничествомъ молодыхъ, энергичныхъ, образованныхъ литераторовъ можно было поддержать обветшавшій *Вѣстникъ Европы*; содѣйствіемъ такихъ людей долженъ былъ заручиться редакторъ. и его выборъ палъ на Надеждина.

Сближенію «достопочтеннаго старца» съ «домашнимъ наставникомъ» Самариныхъ, повидимому, много содѣйствовалъ Рязанскій уроженецъ, профессоръ І. Е. Дядьковскій, оцѣнившій способности своего земляка. Глубокій и ясный умъ, склонный столько же къ анализу, сколько и къ синтезу: несомнѣнныя ораторскія способности; необыкновенная чуткость и воспріимчивость; умѣнье быстро усваивать мысли другого лица и критически къ нимъ относиться; значительная начитанность; наконецъ, нѣкоторый житейскій навыкъ, практическая смѣтка—результатъ неудачно слагавшихся жизненныхъ условій—все эти качества, соединенныя въ двадцати-трехъ-лѣтнемъ молодомъ человѣкѣ, невольно обращали на него вниманіе. Пусть онъ не успѣлъ еще «скоблить съ себя семинарскую кору», казался свѣтскимъ людямъ «простонароднымъ, vulgar», «безъ всякаго приличія»; журналистъ и ученый не осудятъ его за то, что на званой вечеринкѣ онъ неуклюже поднялъ уроненный сосѣдомъ платокъ; они цѣнятъ въ немъ иное, предугадываютъ въ немъ «звѣзду большой величины». Дѣйствительно, полтора—два года прошло съ тѣхъ поръ, какъ переѣхалъ онъ въ Москву; онъ жилъ «удаленный отъ свѣта, никому неизвѣстный и самъ никого не зная, кромѣ членовъ того семейства, въ которомъ находился»; но онъ уже приглядѣлся ко всему, происходящему въ литературномъ мірѣ, все обдумалъ, все взвѣсилъ, все оцѣнилъ. Человѣкъ уравновѣшенный отъ природы, онъ не терпѣлъ ни въ чемъ крайностей: онъ готовъ былъ привѣтствовать смѣну стараго новымъ, но не могъ не «досадовать», когда «топтали въ грязь все, чѣмъ, по справедливости, нѣкогда «гордилась отечественная словесность»; онъ готовъ

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, №№ 1, 3, 5—6, 8, 10. 21 и др.

былъ одобрить всякую новую, *лучшую* теорію, но не могъ примириться съ неясными, сбивчивыми, запутанными разсужденіями о полномъ произволѣ въ области творчества; онъ требовалъ отчетливаго знанія, не терпѣлъ «невѣжества», «проповѣди вовсе не по убѣжденію, но съ чужого, дурно понятаго голоса». Онъ искренно скорбѣлъ о томъ, что «всему у насъ суждено быть заимствованнымъ». «Жаркая битва между такъ называемымъ романтизмомъ и классицизмомъ» «на Западѣ, преимущественно во Франціи» — «явленіе естественное», разсуждалъ онъ: «оно имѣетъ смыслъ не въ одномъ только приложеніи къ литературѣ». «У насъ не было ничего подобнаго. Не было классицизма, потому что не было строгаго классическаго образованія въ томъ смыслѣ, какъ это понимала Западная Европа; тѣмъ болѣе не было романтизма, ибо это также было чуждо Россіи. Но, по привычкѣ называть все свое именемъ европейскимъ, слова эти зашли къ намъ, и тотчасъ утвердилось мнѣніе, что и у насъ есть свои «классики», то есть всѣ тѣ писатели, которые признавались образцовыми, какъ-то: Ломоносовъ, Державинъ и прочіе покойники, о которыхъ говорилось ученикамъ въ классахъ, изъ которыхъ брались примѣры въ риторикахъ и піитикахъ. Есть и «романтики», въ число которыхъ помѣщались писатели новые, въ особенности Жуковскій и Пушкинъ». «Споръ, открывшійся по поводу нововышедшей поэмы: Бахчисарайскій фонтанъ», раздѣлилъ критиковъ на два враждебные лагеря. Надеждинъ не способенъ примкнуть ни къ тому, ни къ другому; для него удобнѣе нейтральное положеніе. *Вѣстникъ Европы* «осуждалъ поэму по старинной рутинѣ, по правиламъ Батте и другихъ учебниковъ, имѣвшихъ краснорѣчиваго истолкователя въ Московскомъ университетѣ въ лицѣ» А. Θ. Мерзлякова; *Телеграфъ* «принялъ подъ свою защиту» Пушкина и «тутъ же далъ ему полную абсолюцію во всѣхъ замѣчаемыхъ грѣхахъ, на томъ основаніи, что это-де романтизмъ, а романтизмъ не подлежитъ правиламъ». Но немислимо запальчиво «завлекаться слишкомъ далеко въ ученіи о несовмѣстности романтизма съ какими бы то ни было правилами», «обнаруживать ненависть» «ко всему ученому и основанному на преданіи», «забивать» стариковъ - литераторовъ «голословными фразами, взятыми изъ нѣмецкихъ учебниковъ, на которыя они отвѣчать не могли, потому что не знали, откуда онѣ взяты!» «Сознательное творчество, руководствующееся отчетливымъ пониманіемъ минувшаго», съ точки зрѣнія новаторовъ, могло

сойти за классицизмъ; но за *такой* классицизмъ готовъ подать голосъ Надеждинъ. Его «за живо взялъ» происходившій на его глазахъ споръ. Онъ «видѣлъ, что все происходило отъ недоразумѣнія, что спорщики не понимали, о чемъ они спорятъ, и потому, будучи съ одной стороны правы, большею частію несли дичь»,—и ему пріятно было высказать свои собственныя воззрѣнія въ печати на страницахъ того журнала, сотрудничать въ которомъ его пригласилъ Каченовскій<sup>1)</sup>. Начинающій писатель быстро пріобрѣтаетъ извѣстность; съ 1829-го года онъ помѣщаетъ статьи и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ — и дѣлается присяжнымъ Московскимъ литераторомъ.

Произведения, вышедшія въ это время изъ-подъ пера Надеждина, не ограничивались критическими очерками и рецензіями по русской словесности; намъ извѣстны нѣсколько научныхъ этюдовъ историческаго и философскаго характера и цѣлый рядъ стихотвореній, въ которыхъ отразилось тогдашнее душевное настроеніе автора.

Ему было немного лѣтъ; но онъ многое видѣлъ въ теченіе своей жизни; судьба его не баловала, онъ не разъ испытывалъ на себѣ ея тяжелые удары. Всецѣло предаться наукѣ трудно; нужда непрестанно давала знать о себѣ. Мыкаться по чужимъ людямъ изъ-за куска хлѣба, вдали отъ родныхъ—не завидная доля. Юношескій пылъ охладѣвалъ; мечты разбивались о прозу дѣйствительности; прошла пора «наслажденій» и блаженства: «дѣвственный май» переживается человѣкомъ однажды. «Волшебныя видѣнія» прежнихъ лѣтъ посѣщаютъ рѣже; въ сердцѣ «гаснетъ огонь». Томитъ одиночество: кругомъ все пусто; нѣтъ родной души, нѣтъ друга—«спутника» въ «горестномъ пути», который ведетъ неизвѣстно куда, навѣваетъ грусть. «Будущее рисуется въ мрачныхъ краскахъ; это—«безбрежное море»; на немъ ходятъ бушующія волны, одна смѣнная другую:

„И во вѣки море бурное  
Не престанетъ бушевать;  
И во вѣки сердце юное  
Не устанетъ тосковать“.

---

<sup>1)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 57—59; *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 4; *Н. П. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина*, кн. 2, стр. 341; кн. 3, стр. 81. Ср. «Анекдоты» А. С. Пушкина [«Я встрѣтился съ Надеждинымъ у Погодина...»].

Прошедшее идеализуется; съ нимъ соединено столько дорогихъ воспоминаній:

„Ни смутныя думы, ни мрачныя бури  
Мятежныхъ страстей  
Осеннею мглою не тмили лазури  
Весны моихъ дней.  
Текла она мирно въ мечтахъ непрерывныхъ,  
Въ надеждахъ златыхъ,  
Въ предчувствіяхъ сладкихъ, въ видѣніяхъ дивныхъ,  
Въ восторгахъ святыхъ“.

Что было, то не вернется. «Свѣтъ» смѣняется «тьмою», «радость» — «печалью», «улыбка» — «слезою», — и въ этомъ чередованьи заключенъ законъ мірозданья. Если «навѣки утрачено право обрѣсти счастье» *здѣсь*, не надо приходить въ отчаянье. Ему можно поддаться лишь на время. Надо «страдать, терпѣть» и ждать «блаженства» въ «таинственной дали», за гранью здѣшней жизни.

„И тамъ сыны земли  
Должны искать себѣ покою“.

Этотъ дивный покой предвкушаетъ человѣкъ въ тѣ минуты, когда онъ созерцаетъ явленія природы, поклоняется красотѣ. Природа одухотворена; за ея внѣшней оболочкой скрытъ невѣдомый, недоступный взору обыкновеннаго смертнаго, міръ. Но поэтъ прозорливъ: вѣкій «геній», «пришлецъ неземной», «вскрываетъ» предъ нимъ завѣтную «пелену» природы.

„Я видѣлъ въ ней *отсветъ незримыя жизни*  
И тайную нить  
Повсюду въ предѣлахъ небесной отчизны  
Умѣлъ находить“.

Солнце, горящее «яркимъ пламенемъ», — «златая лампада небеснаго храма»; «сверкающія» звѣзды — «огни изъ области горней предѣловъ безвѣстныхъ»; «грохотъ грома», «рокотъ бури» — проявленія могучей, вѣчной Силы; «вечерній зефиръ», «лобзающій спящій долъ», — «дыханіе Любви», «лелѣющей» вселенную. Поэтъ смотритъ «сквозь прозрачный кристаллъ волшебной призмы»; передъ нимъ чудесный эдемъ; тамъ обитаютъ «всѣ сонмы существъ».

„Мнѣ видѣлись всюду безсмертныя души,  
Росящіе міръ;  
Мнѣ чудились всюду знакомые звуки  
Ихъ сладостныхъ міръ!  
И роза, дочь мая, и кедръ, сынъ столѣтій,  
Казались мнѣ,

На творческомъ лонѣ, какъ нѣжныя дѣти  
Въ единой семьѣ!  
И бурный шумъ моря, и сладостный ропотъ  
Струй тихихъ ручья,  
И сѣней дубравныхъ таинственный шопотъ,  
И трель соловья—  
Въ одну трисвятую, мнѣ мнилось, сливались  
Пѣснь горнихъ торжествовъ<sup>1)</sup>.

Поэтъ «возносится за порогъ тлѣнія», о который обыкновенно «преломляется мысль»; его «пытливый» взглядъ «расторгъ неприступный мракъ», и «духъ, скованный туманнымъ кругозоромъ», «умѣетъ находить» во всемъ окружающемъ «черты» невыразимой прелести. Поэтъ не жалкая «скудель», не «персть ничтожная»; онъ — «святилище харитъ»; онъ предугадываетъ, «гдѣ корень нашъ, источникъ и начало», «откуда» мы произошли и «куда всѣ идемъ»; «разламываетъ печать неизвѣстности», ибо онъ — «любимый первенецъ, дражайшій сынъ» «Святой Красоты»,

---

<sup>1)</sup> «Шиллеровское направление» въ стихахъ Надеждина отмѣчено Чернышевскимъ (Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 187). Ср. Philosophische Briefe. Theosophie des Julius: «Wie merkwürdig wird mir nun alles!—Jetzt, Raphael, ist alles bevölkert um mich herum. Es giebt für mich keine Einöde in der ganzen Natur mehr. Wo ich einen Körper entdecke, da ahne ich einen Geist—wo ich Bewegung merke, da rate ich auf einen Gedanken: «Wo kein Todter begraben liegt, wo kein Auferstehn sein wird», redet ja noch die Allmacht durch ihre Werke zu mir, und so verstehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes»... «Alle Vollkommenheiten im Universum sind vereinigt in Gott. Gott und Natur sind zwei Grössen, die sich vollkommen gleich sind. Die ganze Summe von harmonischer Thätigkeit, die in der göttlichen Substanz beisammen existiert, ist in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Massen und Stufen vereinzelt. Die Natur (erlaube mir diesen bildlichen Ausdruck), die Natur ist ein unendlich geteilter Gott. Wie sich im prismatischen Glase ein weisser Lichtstreif in sieben dunklere Strahlen spaltet, hat sich das göttliche Ich in zahllose empfindende Substanzen gebrochen. Wie sieben dunklere Strahlen in einen hellen Lichtstreif wieder zusammenschmelzen, würde aus der Vereinigung aller dieser Substanzen ein göttliches Wesen hervorgehen. Die vorhandene Form des Naturgebäudes ist das optische Glas, und alle Thätigkeiten der Geister nur ein unendliches Farbenspiel jenes einfachen göttlichen Strahles. Gefiel'es der Allmacht dereinst, dieses Prisma zu zerschlagen, so stürzte der Damm zwischen ihr und der Welt ein, alle Geister würden in Einem Unendlichen untergehen, alle Akkorde in einer Harmonie ineinander fließen, alle Bäche in Einem Ocean aufhören» (Deutsche National-Litteratur, 129, 1. Schillers Werke. Zwölfter Teil, erste Abteilung, SS. 11, 18). Ср. *Кунно Фишеръ*. Публичныя лекціи о Шиллерѣ. М., 1890, стр. 82—85).

отразившейся, какъ въ «зеркалѣ», въ природѣ<sup>1)</sup>). И да не смущается поклонникъ Красоты, если звуки, слетѣвшіе съ «золо-

<sup>1)</sup> Ср. «Phantasien über die Kunst, von einem kunstliebenden Klosterbruder». Herausgegeben von L. Tieck. Berlin, 1814, SS. 75—80: «Ich kenne aber *zwei wunderbare Sprachen*, durch welche der Schöpfer den Menschen vergönnt hat, die *himmlischen Dinge in ganzer Macht, so viel es nämlich (um nicht verwegen zu sprechen) sterblichen Geschöpfen möglich ist, zu fassen und zu begreifen*. Sie kommen durch ganz andere Wege zu unserm Inneren, als durch die Hülfe der Worte; sie bewegen auf einmal, auf eine wunderbare Weise, unser ganzes Wesen, und drängen sich in jede Nerve und jeden Blutstropfen, der uns angehört. Die *eine dieser wundervollen Sprachen redet nur Gott; die andere reden nur wenige Auserwählte unter den Menschen, die er zu seinen Lieblingen gesalbt hat Ich meine: die Natur und die Kunst*.

Seit meiner frühen Jugend her, da ich den Gott der Menschen zuerst aus den uralten heiligen Büchern unserer Religion kennen lernte, *war mir die Natur immer das gründlichste und deutlichste Erklärungsbuch über sein Wesen und seine Eigenschaften. Das Säuseln in den Wipfeln des Waldes, und das Rollen des Donners, haben mir geheimnissvolle Dinge von ihm erzählt, die ich in Worten nicht aufsetzen kann. Ein schönes Thal, von abentheuerlichen Felsengestalten umschlossen, oder ein glatter Fluss, worin gebeugte Bäume sich spiegeln, oder eine heitere grüne Wiese von dem blauen Himmel beschienen,—ach diese Dinge haben in meinem inneren Gemüthe mehr wunderbare Regungen zuwege gebracht, haben meinen Geist von der Allmacht und Allgüte Gottes inniger erfüllt, und meine ganze Seele weit mehr gereinigt und erhoben, als es je die Sprache der Worte vermag*. Sie ist, dünkt mich, ein allzu irdisches und grobes Werkzeug, um das Unkörperliche wie das Körperliche damit zu handhaben.

Ich finde hier einen grossen Anlass, die Macht und Güte des Schöpfers zu preisen. Er hat um uns Menschen eine unendliche Menge von Dingen umhergestellt, wovon jedes ein anderes Wesen hat, und wovon wir keines verstehen und begreifen. Wir wissen nicht, was ein Baum ist; nicht, was ein Wiese, nicht, was ein Felsen ist; wir können nicht in unserer Sprache mit ihnen reden; wir verstehen nur uns untereinander. *Und dennoch hat der Schöpfer in das Menschenherz eine solche wunderbare Sympathie zu diesen Dingen gelegt, dass sie demselben, auf unbekanntem Wegen, Gefühle, oder Gesinnungen, oder wie man es nennen mag zuführen, welche wir nie durch die abgemessensten Worte erlangen*.

Die Weltweisen sind, aus einem an sich löblichen Eifer für die Wahrheit, irre gegangen; sie haben *die Geheimnisse des Himmels aufdecken*, und unter die irdischen Dinge, in irdische Beleuchtung stellen wollen, und *die dunkeln Gefühle von denselben, mit kühner Verfochtung ihres Rechtes, aus ihrer Brust verstossen*.—*Vermag der schwache Mensch die Geheimnisse des Himmels aufzuhellen? Glaubst er verwegen ans Licht ziehen zu können, was Gott mit seiner Hand bedeckt? Darf er wohl die dunkeln Gefühle, welche wie verhüllte Engel zu uns herniedersteigen, hochmüthig von sich weisen?—Ich ehre sie in tiefer Demuth; denn es ist grosse Gnade von Gott, dass er uns diese ächten Zeugen der Wahrheit herabgesendet. Ich falte die Hände und bete an*.

*Die Kunst ist eine Sprache ganz anderer Art, als die Natur; aber auch ihr ist, durch ähnliche dunkle und geheime Wege, eine wunderbare Kraft auf das*



ТЫХЪ СТРУНЪ»,—«НЕВНЯТНЫ» ТОЛПѢ, НЕ ВЫЗЫВАЮТЬ «УЛЫБКИ ПРИВѢТНОЙ»; ЕСЛИ «ГОЛОСЪ ПѢВЦА» НЕ ИМѢЕТЪ УСПѢХА НА СУЕТНОМЪ «ТОРЖИЩѢ», ГДѢ БЕЗУМСТВУЕТЪ ЧЕРНЬ! СЛУЖИТЕЛЬ ВЕЛИКОЙ БОГИНИ СПОСОБЕНЪ «РАЗДРУЖИТЬСЯ СЪ ЗЕМЛЕЙ», ЧУЖДАТЬСЯ ЕЯ. «ВРЕМЕННЫЙ ГОСТЬ СРЕДЬ ДОЛЬНИХЪ ПУСТЫНЬ», СМѢЛО БЕРИ ВЪ РУКИ ЛИРУ!

„Пусть вѣтры разносятъ невнемлемый звукъ

По стогнамъ мятежнымъ!

Не вѣдаетъ зябликъ, манить ли онъ слухъ

Чиликаньомъ нѣжнымъ.

Пробудится ль. . . нѣтъ ли—подъ звонъ твой на часъ,

Сегодня—безпечность?

Что нужды! . . . Твой вѣщій, пророческій гласъ

Подслушаетъ вѣчность!“<sup>1)</sup>

Современное общество — непривлекательно; отдаляясь отъ него, пѣвецъ обращается къ «преданьямъ старины глубокой». Въ туманѣ прошлаго передъ нимъ постепенно обрисовываются ве-

---

*Herz des Menschen eigen. Sie redet durch Bilder der Menschen, und bedient sich also einer Hieroglyphenschrift, deren Zeichen wir dem Äussern nach, kennen und verstehen. Aber sie schmelzt das Geistige und Unsinnliche, auf eine so rührende und bewunderswürdige Weise, in die sichtbaren Gestalten hinein, dass wiederum unser ganzes Wesen, und alles, was an uns ist, von Grund auf bewegt und erschüttert wird.* «Die Lehren der Weisen setzen nur unser Gehirn, nur die eine Hälfte unseres Selbst, in Bewegung; aber die zwei wunderbaren Sprachen, deren Kraft ich hier verkündige, rühren unsre Sinne sowohl als unsern Geist; oder vielmehr scheinen dabei, (wie ich es nicht anders ausdrücken kann) alle Theile unsers (uns unbegreiflichen) Wesens zu einem einzigen, neuen Organ zusammenzuschmelzen, welches *die himmlischen Wunder, auf diesem zwiefachen Wege, fasst und begreift.*

Die eine der Sprachen, welche der Höchste selber von Ewigkeit zu Ewigkeit fortredet, die ewiglebende, unendliche Natur, *ziehet uns durch die weiten Räume der Lüfte unmittelbar zu der Gottheit hinauf.* Die Kunst aber, die, durch sinnreiche Zusammensetzungen von gefärbter Erde und etwas Feuchtigkeit, die menschliche Gestalt in einem engen, begränzten Raume, nach innerer Vollendung strebend, nachahmt, (eine Art von Schöpfung, wie sie sterblichen Wesen hervorzubringen vergönt ward)—sie schliesst uns die Schätze in der menschlichen Brust auf, richtet unsern Blick in unser Inneres, *und zeigt uns das Unsichtbare, ich meine alles was edel, gross und göttlich ist, in menschlicher Gestalt.* «Die Kunst stellet uns die höchste menschliche Vollendung dar. Die Natur, so viel davon ein sterbliches Auge sieht, gleicht abgebrochenen Orakelsprüchen aus dem Munde der Gottheit. Ist es aber erlaubt, also von dergleichen Dingen zu reden, so möchte man vielleicht sagen, dass *Gott wohl die ganze Natur oder die ganze Welt auf ähnliche Art, wie wir ein Kunstwerk, ansehen möge.*»

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 14, стр. 117—118; № 17, стр. 30—37; 1829, № 1, стр. 22—27; № 16, стр. 286—291.

личественные образы славныхъ русскихъ героевъ. Среди нихъ выдѣляется князь — храбрый воинъ, патриотъ и истинный христіанинъ, умерщвленный въ ордѣ. Имъ восхищались и другіе поэты—декабристы. Передъ страданіями и добродѣтелью этого князя преклонялся въ своей «думѣ» Рылѣвъ; томленія невиннаго мученика въ темницѣ, его пламенная вѣра въ Божественный Промыселъ поразили Бестужева <sup>1)</sup>. Надеждинъ, въ свою очередь, составляетъ планъ большой исторической поэмы, подъ заглавіемъ: «Михаилъ Ярославичъ Тверской»; ей не суждено быть законченной—до насъ дошла лишь сцена, изображающая хижину на горахъ Валдайскихъ. Обстановка слѣдующая: Зима. «Ночь. Старуха сидитъ подлѣ ветхаго деревяннаго свѣтца и прядетъ. Внукъ ея, лѣтъ пятнадцати мальчикъ, щепаетъ лучину. Деревенскія утвари разбросаны по хижинѣ. Въ углу большая крестьянская печка». Между внукомъ и старухой происходитъ разговоръ. Ихъ рѣчь сближается съ рѣчью народной; встрѣчаются выраженія: «одинъ, какъ порохъ въ глазѣ», «окорениться, перемякать горе, зобница, мурава, задъ Твери, вѣстимо, поплужное, куны, некрестъ. Старуха, родомъ изъ Кіева, доживаетъ осьмой десятокъ лѣтъ и жалуется на свою судьбу; она съ грустью вспоминаетъ пышную природу юга: «узорчатые дуга», «шелковыя долины»; «какъ золото, волнующуюся жатву»; вспоминаетъ эпизоды изъ ранняго дѣтства, когда она «ходила пѣшкомъ, по обѣщанію», въ Печерскій монастырь и любовалася «золотыми главами Божьихъ храмовъ», «горѣвшими на солнышкѣ, какъ жаръ». Угрюмый сѣверъ ей не милъ; «среди лѣсовъ, однимъ звѣрямъ доступныхъ», «въ лютомъ горѣ», «безъ радости» и безъ «утѣхи», «печальную жизнь мыкать» «привелъ» Господь. Куда ни обернись, «сѣдая мгла лежитъ вездѣ, какъ вдовье покрывало»; «все мрачно, пусто, сыро»; «снѣга смѣняють мхи, уныло спящіе на сѣрыхъ камняхъ»; изъ зелени встрѣчается лишь «ржа» «невянущихъ и нецвѣтущихъ елей». «Неблагодарная земля мертва», подобна «гробу пустынному и безотвѣтному»; «напрасно льется кровавый потъ, напрасно за сохою гибнуть силы». «Послѣдній вѣкъ насталъ; знать, скоро будетъ конецъ всему и свѣту преставленью».

Есть знаменья плохія! «Вотъ Три Святителя уже прошли,— а срѣтенскихъ морозовъ нѣтъ, какъ нѣту!» «Не даромъ на небѣ

<sup>1)</sup> К. О. Рылѣвъ. Сочиненія. Спб., 1895, стр. 13—15; *Сынъ Отечества* 1824, № 39, стр. 277—279.

такія дива; не даромъ мѣсяць гибѣ, не даромъ звѣзды такъ часто падаютъ! Война иль голодъ—ужь что-нибудь, а будетъ непременно!»—Мальчикъ спрашиваетъ старуху о Кіевѣ, который она «такъ часто поминаетъ и въ сказкахъ, и въ заунывныхъ пѣсняхъ»: видѣла ли она князя Владиміра? «Чай, Краснымъ Солнышкомъ не даромъ названъ? Сіяетъ весь?» А Богатырь Чурила, навѣрно, ростомъ съ колокольню?—Бабка нѣсколько разочаровываетъ внука, знакомя его съ тогдашнимъ положеніемъ Руси.

„Нѣтъ, дитятко! не тѣ ужь времена!  
Владиміръ князь давнымъ давно скончался;  
Богатырей и слѣду не осталось.  
Богъ обуялъ людей за ихъ грѣхи;  
Народъ весь измелѣлъ, какъ крошка.  
И, Господи, прости меня! Князья  
Теперь совсѣмъ не то, что князь Владиміръ.  
Грѣхъ осуждать владыкъ! но какъ же быть!  
Дурного ужь нельзя назвать хорошимъ!  
Ахъ, дитятко! вотъ я теперь почти  
Осьмой уже десятокъ отживаю,  
И много, много на бѣлѣмъ мнѣ свѣтѣ  
Досталось увидѣть и услышать!  
Нѣтъ правды на землѣ! Въ святой Руси  
Погасла искра Божія повсюду!  
Кровь христіанская рѣкою льется  
Отъ христіанъ самихъ; за пядь земли  
Братъ возстаетъ на брата, другъ на друга.  
Повсюду рѣзанье; пылаютъ села  
И города; людьми прудятся рѣки.  
Земли лоскутъ напашешь, а не знаешь,  
Придется ль снять съ него хоть снопикъ!  
Иль кони ратные истопчутъ ниву,  
Иль вражескій огонь пожнетъ всю жатву,  
Или сосѣдъ недобрый все отниметъ!  
Ложася спать, не знаешь, живъ ли встанешь!  
За это-то Господь и покаралъ  
Всю землю Русскую; за то-то вдругъ  
Нахлынули на насъ, изъ странъ безвѣстныхъ,  
Какъ стаи жадныя волковъ, татары.  
И запусѣла наша мать родная,  
Святая Русь, какъ мертвое кладбище!  
.....  
Охъ, дитятко! вѣстимо, сами мы  
Ввели во гнѣвъ небеснаго Владыку.

Онъ, Батюшка, все терпитъ, терпитъ, терпитъ . . .

Да ужъ, какъ громъ, проснется вдругъ и грянетъ“<sup>1)</sup>).

Разговоры двухъ собесѣдниковъ прерываются стукомъ въ двери хижины: какой-то заблудившійся, полузамерзшій путникъ, застигнутый вьюгой, ищетъ пріюта. Рѣшаютъ впустить его. «Велико дѣло» «пригрѣть и напитать въ день черный человѣка», хотя бъ онъ былъ татаринъ: «всѣмъ братъ, всѣмъ другъ при нуждѣ христіанинъ». «Внукъ отпираетъ двери. Входитъ незнакомецъ въ полномъ воинскомъ вооруженіи». Съ этого момента сцена дѣйствія должна расширяться; надо ожидать появленія историческихъ личностей; но поэма обрывается, и мы можемъ только строить догадки о замыслахъ автора. У него, вѣроятно, было стремленіе набросать рядъ яркихъ бытовыхъ картинъ изъ русской жизни; хотѣлось уловить отбѣнки народнаго стиля, «*couleur locale*», а при изложеніи историческихъ событій быть, по возможности, точнымъ. Насколько удалось выполнить задачу, хотя бы въ предѣлахъ приведеннаго отрывка—иной вопросъ; но попытка—на лицо; она интересна для насъ, какъ характерный показатель литературнаго вкуса и постепенно слагавшихся теоретическихъ воззрѣній писателя, проявившаго свои способности не только въ оригинальныхъ стихотвореніяхъ, но и въ цѣломъ рядѣ переводовъ лучшихъ твореній античныхъ и современныхъ ему поэтовъ.

Прекрасное знаніе классическихъ и новѣйшихъ языковъ дало Надеждину возможность ознакомиться въ оригиналѣ съ выдающимися произведеніями европейской литературы и вполне насладиться ихъ красотами. Склонность къ стихотворству, при чтеніи любимыхъ авторовъ, не разъ побуждала его братья за перо: было трудно удержаться отъ стремленія переложить на русскій языкъ тѣ піесы, которыя вызывали въ душѣ чувство симпатіи, пробуждали работу мысли, способствовали смѣлому полету фантазіи. Гимны Орфея, оды Горация читались вперемѣшку съ «Размышленіями» Ламартина, рапсодіями Козегартена, эгюдами Жанъ-Поля Рихтера; быть можетъ, многое переводилось для себя, но немного попало въ печать. Какъ же смотрѣлъ Надеждинъ на задачу переводчика?—Къ началу прошлаго вѣка достаточно опредѣлились два діаметрально противоположныхъ взгляда на этотъ вопросъ: одинъ создавался подъ француз-

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 8, стр. 255—265.

скимъ вліяніемъ, другой—подъ нѣмецкимъ. «Самый пріятный переводъ есть, конечно, и самый вѣрный», заявилъ Флоріанъ, въ своей передѣлкѣ «Донъ-Кихота» не постѣснявшійся переводѣтъ испанца во французскій костюмъ; тѣ же мысли повторялъ и Жуковский. Съ этой точки зрѣнія, допускается ослабленіе сильныхъ выраженій, перемѣна многихъ стиховъ, выбрасыванье повтореній — вообще всякое приспособленье оригинала ко вкусамъ той націи, для которой онъ переводится. Все вниманіе приковано лишь къ «плавности и чистотѣ языка»; «переводъ долженъ быть вѣренъ гармоніи»; ради нея «можно иногда жертвовать и точностью, и силою»; поэзія сходна съ «музыкальнымъ инструментомъ, въ которомъ вѣрность звуковъ должна уступить ихъ пріятности»<sup>1)</sup>. Подобныхъ французскихъ теорій не признавалъ А. В. Шлегель, знаменитый переводчикъ Шекспира. Нѣмецкіе романтики смотрѣли на дѣло серьезнѣе, глубже. «Безпощадное извращеніе» предается осужденію; слѣдуетъ «какъ можно строже придерживаться» «и духа, и содержанія, и внѣшней формы» подлинника; всего необходимѣе «отречься отъ своей самостоятельности», отъ своего «я», «совершенно забыть себя». «По мнѣнію Шлегеля, переводчикъ не долженъ сглаживать никакихъ характеристическихъ различій въ формѣ изложенія; онъ долженъ, по мѣрѣ возможности, передавать всѣ красоты чужой поэзіи, ничего къ нимъ не прибавляя и даже не исправляя шероховатостей слога. Переводчику бываетъ иногда нелегко соблюдать такую вѣрность передачи, потому что ему приходится прибѣгать къ самому вольному употребленію нѣмецкаго языка; но его переводъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть неизящнымъ. Лучше пропустить ту мелочную подробность, которая не поддается переводу, чѣмъ позволять себѣ перефразировку. Не всегда можно переводить одинъ стихъ вслѣдъ за другимъ, но послѣ такого отступленія надо немедленно снова итти шагъ за шагомъ вслѣдъ за авторомъ. Неріемованные ямбы должны быть изящны, но отъ нихъ не требуется чопорной правильности. Отъ ріемованныхъ стиховъ требуется менѣе точная передача каждаго слова подлинника. Вѣдь дѣло идетъ не о копіи, а о переводѣ; наконецъ, надо имѣть въ виду и непереводимую игру

---

<sup>1)</sup> Ср. *Н. С. Тихонравовъ*. Сочиненія. М., 1898, т. III, ч. I, стр. 441—445; *Отечественныя Записки*, 1853, № 6, стр. 64—66 (статья А. Д. Галахова: «В. А. Жуковский»).

словъ»<sup>1)</sup>. Мысли Шлегеля раздѣляя Надежди́нь, высоко цѣнившій и другого «знаменитаго германца» Фосса, который умѣлъ передать по-нѣмецки «во всей прелести эстетическаго изящества» «высочайшее простосердечіе» Гомера. Переложеніе твореній великаго «меонійскаго слѣпца» хорошо тогда, когда «пред-

<sup>1)</sup> *Р. Гаймъ. Романтическая школа. М., 1891, стр. 147—153* Ср *A. W. Schlegel. Sammtliche Werke. Leipzig, 1846. Siebenter Band, SS. 61 — 64*: «Eine poetische Uebersetzung, welche keinen von den charakteristischen Unterschieden der Form ausloschte, und seine Schonheiten, so viel möglich, bewahrte, ohne die Anmassung ihm jemals andre zu leihen; welche auch die missfallenden Eigenheiten seines Stils, was oft nicht weniger Muhe machen durfte, mitübertrug, wurde zwar gewiss ein Unternehmen von grossen, aber in unsrer Sprache nicht unubersteiglichen Schwierigkeiten sein». «Ich wage zu behaupten, dass eine solche Uebersetzung in gewissem Sinne noch treuer als die treueste prosaische sein konnte. Denn nicht gerechnet, dass diese eine entschiedne Unahnlichkeit mit dem Original hat, welche sich uber das Ganze verbreitet, so stellt sich dabei sehr oft die Verlegenheit ein, entweder den Ausdruck schwachen, oder sich in Prosa erlauben zu müssen was nur der Poesie, und auch ihr kaum ansteht Ferner wurde es erlaubt sein, sich dem Dichter in seiner Gedrungenheit, seinen Auslassungen, seinen kühnen und nachdrucklichen Wendungen und Stellungen weit naher anzuschmiegen. Hart mochte die Treue des Uebersetzers zuweilen sein, und er musste sich den freiesten Gebrauch unsrer Sprache in ihrem ganzen Umfange (eine alte Gerechtsame der Dichter, was auch Grammatiker einwenden mogen) nicht vorwerfen lassen; aber nie dürfte sie schwerfällig werden Er überhufte lieber eine widerspenstige Kleinigkeit, als dass er in Umschreibungen verfallen sollte In der Kurze wetteifere er mit seinem Meister, obgleich die englische Sprache wegen ihrer Einsilbigkeit, welche sonst der Schönheit des Versbaues nicht sehr gunstig ist, hierin Vieles voraus hat, und ruhe nicht eher, als bis er sich überzeugt, er habe darin alles im Deutschen Thunliche geleistet Nicht immer wird er Vers um Vers geben können, aber doch meistens, und den Raum, den er an einer Stelle einbusst, muss er an einer andern wieder zu gewinnen suchen. Diess ist sehr wichtig, denn geht er in einem Verse über das Mass hinaus, so muss er es auch in den folgenden, bis er sich wieder in gleichen Schritt gesetzt hat. Dadurch werden dann Satze, welche im englischen eine Zeile mit schoner Rundung umschliesst, in zwei aus einander gerissen, und die bedeutenden Schlusse der Verse, worauf bei ihrem harmonischen Falle so viel beruht, verandert. Es beweist die grosse Uebereinstimmung der beiden Sprachen, dass manche Zeilen Shakspeares, wenn man die wortlich und mit beibehaltner Ordnung uberträgt, sich wie von selbst in dasselbe Mass fügen; hingegen stehe ich dem Uebersetzer nicht dafür, dass bei manchen andern auch die vielfaltigsten Versuche nur ein halbes Gelingen zu Wege bringen mochten. Er hute sich von einer zu steifen Regelmassigkeit in seinen reimlosen Jamben: aber zu schon können sie schwerlich sein. Es ist in unsrer Sprache nicht so leicht, als man sich gewöhnlich einbildet, diesem Silbenmasse alle Vollkommenheit, deren es empfänglich ist, zu geben, wie schon daraus erhellet, dass wir so wenig Vortreffliches darin besitzen. In den gereimten Versen wird man sich mit einer weni-

ставляетъ его въ неповрежденной первобытной цѣлости», когда «Гомеръ, облакаясь въ формы чуждыя новаго языка, остается вполне древнимъ добрымъ Гомеромъ», со всѣми его «отличительными свойствами»: «важнымъ спокойствіемъ», «силой», «простотой», съ его стихомъ, «едва отличающимся отъ гармонической прозы легкими выпуклостями мѣрнаго стопосложенія», съ «роскошнымъ обиліемъ многосоставныхъ словъ и многознаменательныхъ выраженій»<sup>1)</sup>. Задача тяжела; но однородную задачу должны разрѣшить переводчикъ всякаго античнаго поэта, — ее задумалъ разрѣшить и Надеждинъ, перелагая на русскій языкъ гимны Орфея и оды Горация.

Полурелигиозное, полуфилософское ученіе, извѣстное подъ именемъ орфизма, не было достаточно изучено въ концѣ двадцатыхъ годовъ прошлаго вѣка. Правда, монографіи Тидемана (*Griechenlands erste Philosophen*, 1780), Снедорфа (*De hymnis veterum Graecorum*, 1786), Герляха (*De hymnis Orphicis*, 1797), Германа (*De aetate scriptoris Argonauticorum*) иначе,

---

ger wortlichen Treue begnügen müssen: ihr eigenthümliches Kolorit ist die Hauptsache, und dieses kann nur durch Beibehaltung des Reimes übertragen werden. Vielleicht wird es hier oft unvermeidlich sein, wenn man nicht zu viel weglassen oder gar ein Paar Verse in zwei ausdehnen will, statt des funtfussigen den sechsfussigen Jamben zu gebrauchen. wodurch Sentenzen und Schilderungen weniger verlieren, als die eigentlich dialogischen Stellen.

Uebrigens wäre alles sorgfältig zu entfernen, was daran erinnern konnte, dass man eine Kopie vor sich hat. Die Wortspiele, welche sich nicht übertragen, oder durch ähnliche ersetzen lassen, mussten zwar wegbleiben, aber so, dass keine Lucke sichtbar wurde. Eben so hatte es der Uebersetzer mit durchaus fremden und ohne Kommentar unverstandlichen Anspielungen zu halten. Von bloss zufälligen Dunkelheiten durfte er den Text befreien; aber wo der Ausdruck seinem Wesen nach verworren ist, da konnte auch dem deutschen Leser die Muhe des Nachsinnens nicht erspart werden. Schon Wieland hat treffend dargethan, warum man Shakspeare nirgends und in keinem Stucke muss verschonern wollen. Ein ganz leichter Anstrich des Alten in Wortern und Redensarten würde keinen Schaden thun. Nicht alles Alte ist veraltet, und Luthers Kernsprache ist noch jetzt deutscher, als manche neumodige Zierlichkeit. Obgleich Shakspeares Sprache in dem Zeitalter, worin er schrieb, neu und gebräuchlich war, so trägt sie doch das Gepräge der damaligen noch einfaltigeren Sitten, und in der Sprache unsrer biedern Voraltern drucken sich dergleichen ebenfalls aus. Solche Worter und Redensarten, welche unsre heutige Verfeinerung bloss zu ihrem Behufe ersonnen, waren wenigstens sorgfältig zu vermeiden. Die dramatische Wahrheit musste überall das erste Augenmerk sein: im Nothfall wäre es besser, ihr etwas von dem poetischen Werth aufzuopfern, als umgekehrt.

<sup>1)</sup> *Московский Вѣстникъ*, 1830, ч. I, № 4, стр. 372—381 (passim)

чѣмъ прежде, освѣтили вопросъ о происхожденіи сборника гимновъ и относили его составленіе къ сравнительно позднему времени (послѣ Р. Х., послѣ Павзанія),—но взгляды ученыхъ были плохо обоснованы, чувствовались недостатки эрудиціи, методологіи, и многое было оставлено необъясненнымъ. Наиболѣе солидный трудъ Х. Лобека (*Aglaophamus*) появился въ 1829 г., и потому не могъ быть извѣстенъ Надеждину, какъ разъ въ ту же пору напечатавшему переводъ гимновъ въ *Русскомъ Зрителѣ*<sup>1)</sup>. Подобно многимъ своимъ современникамъ, нашъ критикъ заинтересовался Орфеемъ, жившимъ, по преданію, не опровергнутому тогдашней критикой, задолго до Гомера, и «слышалъ» въ гимнахъ «отголосокъ древней таинственной лиры Фракійскаго пѣсногѣвца». Гимны плѣняли не только своею древностью, но и своимъ содержаніемъ. Орфизмъ «затрагивалъ глубочайшіе вопросы человѣческой мысли», — «о нравственномъ очищеніи человѣка», «о возможности избавленія отъ мученій послѣ смерти»; въ немъ «горѣли яркіе лучи надежды на лучшее загробное бытіе»; «въ немъ нашли свой отзвукъ и суевѣрія греческаго народа, которыя иногда властвуютъ надъ толпою не менѣе вѣры, и магическіе заговоры, и, наконецъ, астрологія, заманчиво обещающая поднять таинственную завѣсу будущаго»; космогоническія и теологическія ученія переплетаются другъ съ другомъ; замѣтны пантеизмъ, отношеніе къ стоицизму и системамъ пифагорейцевъ и Гераклита, отождествленія боговъ съ стихіями природы, вѣра въ привидѣнія, боговъ-животныхъ и явленія умершихъ<sup>2)</sup>. «Сія пѣсни»—писалъ Надеждинъ—«сколь ни утомительны могутъ казаться по чрезмѣрному изобилію, съ коимъ расточаются въ нихъ эпитеты,—драгоценны не только для антикварія, но и для всѣхъ любящихъ прекрасное и высокое въ природѣ и искусствахъ». Это—«цвѣты изъ міра, для насъ погибшаго,—и мы можемъ судить по нимъ, сколь прекрасна была весна древности, коей одолжены они бытіемъ своимъ. Тогда поэзія не была игрушкою бездѣльной фантазіи, но откровеніемъ высокихъ божественныхъ таинствъ. Гимны Орфея воспѣваютъ всеоживляющую вѣчную жизнь, дышащую во всѣхъ явленіяхъ видимаго міра. Сія великая громада представляется въ нихъ населенною живоносными существами»: это—«олице-

<sup>1)</sup> Н. И. Новосадскій. Орфическіе гимны. Варшава, 1900, стр. 31—35.

<sup>2)</sup> Тамъ же стр. 98—99, 241.



творенныя силы природы! Имъ, какъ орудіямъ, черезъ которыя благоизволить проливаться вѣчная жизнь, воскуряется имиамъ, и возсылается хвалебное пѣніе, дабы они ниспосылали молящимся здравіе, питаніе, миръ, душевныя радости, благочестивый смыслъ и тихое безмятежное отшествіе отъ міра. Для Орфея истинный Богъ былъ Великій Невѣдомый; посему онъ стремился, съ поэтическимъ одушевленіемъ, обнимать Его своею любовію въ видимыхъ представителяхъ Его мудрости и благости—въ силахъ природы!»<sup>1)</sup>

Надеждинъ, вѣроятно, прекрасно зналъ переложенія на русскій языкъ гимновъ Орфея, помѣщенные въ періодическихъ изданіяхъ екатерининской эпохи<sup>2)</sup>; но онъ стремился къ научной обоснованности, хотѣлъ дать читателю хорошее понятіе о любопытныхъ литературныхъ памятникахъ. Своему переводу онъ предпослалъ введеніе, въ которомъ высказываетъ свое мнѣніе о гимнахъ. Его мнѣніе, какъ и объяснительныя примѣчанія къ каждому стихотворенію, въ данный моментъ филологъ-классикъ сочтетъ устарѣвшими, но онъ не рѣшится отрицать ихъ значеніе, если будетъ оцѣнивать съ исторической точки зрѣнія. Надеждину были извѣстны сочиненія, касающіяся предмета изслѣдованія: онъ пользовался венеціанскимъ изданіемъ гимновъ XVI-го вѣка, изданіемъ Германа, нѣмецкимъ переводомъ, помѣщеннымъ во франкфуртскомъ журналѣ *Der Lichtbote* (1806), критически относился къ тексту, отмѣчалъ разночтенія, для комментарія наводилъ справки въ «Символикѣ» Крейцера. Онъ отлично понималъ, что разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ изученіемъ орфизма, «требуетъ слишкомъ обширнаго изслѣдованія», и свои собственныя сужденія считалъ не непреложно-истинными, но только «*весьма вѣроятными* положеніями». Эти положенія слѣдующія. «Еще въ прекраснѣйшіе дни греческой древности существовали пѣсни Орфеевы, которыя, конечно, имѣли сходство съ нашими и пѣвались обыкновенно при тапнствахъ или мистеріяхъ. Сія пѣсни, естественно, должны были

<sup>1)</sup> *Русскій Зритель*, 1829, ч. V, стр. 145—146.

<sup>2)</sup> *Утренній Свѣтъ*, ч. IX, стр. 84: «Изъ Орфея: Гимнъ о Богѣ»; *Растущій Виноградъ*, 1786, августъ, стр. 34: «Пѣснословіе о Богѣ и вселенной» Орфея, съ греческаго. Ср. *Итокрену*, ч. VI, стр. 65: «Гимны изъ пѣсенъ безсмертнаго» (См. А. Н. Неустроевъ. Указатель къ русскимъ повременнымъ изданіямъ. Спб., 1898, стр. 459). Сл. «Срѣтеніе Орфеемъ солнца» Державина и «Смерть Орфееву» Карамзина.

составлять исключительное достояніе посвященныхъ и, слѣдовательно, не прежде могли сдѣлаться гласными и всеобще извѣстными, какъ по уничтоженіи таинствъ». Большая часть «подлинныхъ пѣсень Орфеевыхъ», нѣкогда передаваемыхъ отъ поколѣнія къ поколѣнію, «для насъ погибла», а «тѣ, кои могли уберечься, потерпѣли великія измѣненія»: «позднѣйшіе мистагоги подвергали ихъ многимъ преобразованіямъ или даже замѣняли новыми подражаніями». «Если же обратить вниманіе: со стороны мыслей—на логическое образованіе и иногда слишкомъ нагое выраженіе философическихъ понятій; со стороны поэзіи—на аллегорическую отдѣлку, на отзывающуюся новизною пламенность, чувствительность и напряженную возвышенность, на сіе слишкомъ безформное объятіе безконечнаго, принадлежащее временамъ позднѣйшимъ; со стороны изложенія—на очевидную молоджавость языка и нечистоту просодіи,—то нельзя не признаться, что настоящее собраніе Орфеевыхъ таинственныхъ пѣснопѣній заклеявлено глубоко печатію тѣхъ временъ, въ кои духъ древней Эллады уже состарѣлся и поэзія уступила мѣсто наукѣ. Средство вѣющаго въ нихъ духа съ неоплатоническою и стоическою философіею даетъ поводъ подозрѣвать, что сіи послѣднія имѣли на нихъ дѣятельное вліяніе, хотя, конечно, невозможно утверждать, чтобы все то, что находится въ нихъ сходнаго съ позднѣйшими мудрованіями, не могло произойти ранѣе. Не должно также забывать и того, что извѣстныя черты, кои кажутся намъ признаками новости, могутъ быть слѣдами глубокой древности и оригинальности, и что весьма трудно изрекать рѣшительный судъ о вещахъ, для которыхъ мы имѣемъ такъ мало пунктовъ сравненія. Намъ еще такъ мало извѣстенъ образъ мыслей и выраженій, употреблявшійся въ древнихъ мистеріяхъ»<sup>1)</sup>. Надеждинъ, очевидно, не былъ удовлетворенъ тѣми научными изслѣдованіями, которыми онъ руководствовался, высказывая свои «положенія»<sup>2)</sup>; онъ предъявлялъ строгія требова-

<sup>1)</sup> *Русскій Зритель*, 1829, ч. V, стр. 143—144.

<sup>2)</sup> «Положенія» Надеждина нѣсколько напоминаютъ мнѣнія западно-европейскихъ ученыхъ конца XVIII-го вѣка. Тидеманъ полагалъ, что «вступленіе къ гимнамъ написано пифагорейцемъ или неоплатоникомъ»; по мнѣнію Снедорфа, «основой дошедшаго до насъ сборника гимновъ послужили стихотворенія, которыя распѣвались «мистами во время совершенія религіозныхъ обрядовъ» и «не оставались безъ измѣненія въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ», «подвергаясь различнымъ передѣлкамъ». «Къ очень сходнымъ со Снедорфомъ вы-

нія къ комментатору и, въ особенности, переводчику гимновъ. «Предлагаемые здѣсь переводы»—заявлялъ онъ—«стоили великихъ трудовъ. Надлежало бороться съ упорностью нашего языка, отученнаго отъ составленія сложныхъ словъ, бывшаго прежде столь свойственнымъ языку славянскому. Еще бѣльшая трудность предстояла—умѣстить сіи многосоставныя слова въ измѣренной рамкѣ гекзаметра»<sup>1)</sup>.

Вотъ образецъ одного переложенія, подъ заглавіемъ: «Воскуреніе облакамъ».

„Сонмъ облаковъ плодотворныхъ, воздушныхъ, блудящихъ по небу,  
Дожденосящихъ, гонимыхъ по тверди дыханіемъ вѣтровъ,  
Громочреватыхъ, пламенетныхъ, ревущихъ, всевлажныхъ,  
Въ лонѣ воздушномъ клубящихся грозно съ грохотомъ яримъ,  
Вихрями рѣемыхъ всюду, рокочущихъ въ бурныхъ раскатахъ,—  
Васъ я молю, росоносныя! кроткимъ дыханьемъ зефировъ  
Плодообильныя ниспосылать дожди на мать-землю“<sup>2)</sup>.

Этотъ переводъ, по точности, стоитъ наравнѣ съ переводомъ «Иліады» Гнѣдича. Шлегелевскіе завѣты соблюдаются свято; уклоненіе отъ подлинника можетъ быть вызвано лишь необходимостью соблюсти стихотворный размѣръ.

водамъ пришелъ Герляхъ», полагавшій, что гимны «составлены какимъ-нибудь мистомъ изъ сохранившихся въ его памяти отрывковъ стихотвореній, приписывавшихся Орфею. Къ этимъ отрывкамъ были присоединены вставки, отчасти сочиненныя самимъ составителемъ сборника, отчасти заимствованныя имъ изъ другихъ источниковъ». Ср. Н. И. Новосадскій. Орфическіе гимны, стр. 31—35.

<sup>1)</sup> Русскій Зритель, 1829, ч. V, стр. 146.

<sup>2)</sup> Ср. греческій текстъ: «Νεφέλων θυρίαμα:

Ἡέριοι νεφέλαι, καρποτρόφοι, οὐρανόπλαγκτοι,

Ἵμβροτόχοι, πνοιῆσιν ἐλαυνόμενοι κατὰ κόσμον

Βρονταῖαι, πυρόεσσαι, ἐρίβρομοι, ὑδροκέλευθοι

Ἡέρος ἐν κόλπῳ πάταγον φρικώδε' ἔχουσαι

Πνεύμασιν ἀντίσπαστοι ἐπιδρομάδην παταγεῦσαι,

Ἵμέας νῦν λίτομαι, δροσοείμονες, εὐπνοοὶ αὔραις,

Πέμπειν καρποτρόφους ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαίαν.

(Orphica. Cum notis H. Stephani, A. Chr. Eschenbachii, I. M. Gesneri, Th. Tyrwhitti. Recensuit G. Hermannus. Lipsiae, 1805, pars prima, p. 283).

Подобные приемы замѣтны и въ переводѣ оды Горація, лю бимаго поэта Надеждина. Творенія римскаго лирика тщательно изучаются; подмѣчены и своеобразно освѣщены особенности его міровоззрѣнія — и сдѣлана его характеристика. Горацій — «по таенный романтикъ» — опредѣленіе, вызывающее на размышле нія; оно требуетъ доказательствъ. «Какъ пѣвецъ вѣка Августа», разсуждалъ Надеждинъ, «Горацій принадлежитъ хронологически къ греко-римскому міру»; и потому онъ «природный классикъ», «переложившій эолийскую гармонію» — «эхо чистаго классиче скаго одушевленія — на италійскія ноты», «перевявшій» у дре внихъ эллиновъ «вѣшнія формы», въ которыхъ онъ «изливалъ» свои чувства. «Но ритмъ не составляетъ еще поэзіи, и эолийская лира, подъ перстами авзонійскаго пѣвца, могла весьма легко издавать чуждые звуки». «Дирпейскій лебедь, торжественно пла вающій за облаками», не имѣетъ ничего общаго со «скромной ма тинской пчелою», «трудолюбиво собирающей сладкую росу» съ ду шистыхъ «цвѣтовъ по рощамъ и берегамъ влажнаго Тибура». «Выспреннее царенье» смѣнилось тихимъ «порханьемъ» съ одного растенія на другое; наслажденіе не только въ «пучинѣ» лазур ныхъ небесъ; можно вкушать «нѣгу» въ зеленѣющей рошѣ, у журчащаго ручья. «А откуда далеко ли до Петрарки?» «Такъ, а не иначе и надлежало быть по ходу обстоятельствъ». «Золотой вѣкъ Августа», когда жилъ Горацій — «золотая осень древняго классическаго міра». Исчезъ патріотизмъ, началось «гниеніе нра вовъ»... «Зловѣщая эпоха!»

„Quid nos dura refugimus  
 Aetas? quid intactum nefasti  
 Liquimus? unde manum juventus  
 Metu deorum continuit? quibus  
 Pepercit aris?“

«Все благородное, все высокое, все священное» въ эту «злополучную годину» «замираетъ въ Римскомъ колоссѣ». Заро ждается «недовольство дѣйствительностью, еще повидимому цвѣ тущую, которое такъ же часто срывается со струнъ, какъ и съ языка ветшающаго человѣчества». Жизнь уклонилась отъ идеала, въ которомъ «надлежало ей искать своего блаженства»; антич ный геній томился «пресыщеніемъ», «скукой», которая «разрѣ шалась сатирической брюзгливостью» «либо веселыми возліянiями Вакху и Эроту въ блаженной идиллической нѣгѣ и беззаботности». «Сладострастные напѣвы», «лелѣявшіе» изнѣженный слухъ, пе-

реплетались съ рѣзкими проявленіями желчнаго раздраженія, негодованія. Какъ эхо, повторилъ Горацій современные ему мотивы. «Живо чувствуя поврежденіе, царствующее всюду вокругъ себя, онъ и вооружился противъ него бичемъ сатиры, и отвѣвался безпечностью идиллическаго самодовольствія. Но у него не было ни слишкомъ кипучей желчи, ни слишкомъ горячей крови. Натура удѣлила ему довольно терпѣнія для того, чтобы щадить человѣческую природу въ самыхъ отвратительнѣйшихъ ея искаженіяхъ; и довольно степенности для того, чтобы сохранять мѣру, предписываемую благоразуміемъ, въ самыя соблазнительныя минуты сладчайшаго упоенія». Поэзіи Горація «принадлежитъ собственная, характеристическая, такъ сказать, Гораціанская фізіономія. Золотая умѣренность (*aurea mediocritas*) составляла отличительное ея свойство. Римскій поэтъ не считалъ грѣхомъ посмѣяться надъ нечесаною головою, обвислою тогою и уродливой обувью», но считалъ «ужаснѣйшимъ преступленіемъ обносить ближнихъ злобною клеветою и, на счетъ чужой чести, смѣша толпу, приобрѣтать славу красною». «Подъ сѣнію мирнаго Тибура, въ кругу друзей, за стаканомъ фалернскаго, любилъ онъ погулять и повеселиться», «но, между тѣмъ, завѣщаль всегда хранить мѣру при наслажденіи упоющими дарами Вакха». «Такая умѣренность, естественно, должна была предохранять его отъ цинической строптивости и отъ эпикурейскаго распутства»: она оказала «рѣшительное вліяніе» не только на лиру поэта, но и на всю его жизнь. «Въ критическія минуты послѣдняго издыханія римской свободы Горацій не былъ Брутомъ, но провожалъ Брута на поле битвы, въ качествѣ трибуна военнаго, и ежели, по собственному добродушному признанію, бросилъ щитъ и далъ тягу при Филиппахъ, то не прежде, по крайней мѣрѣ, какъ увидѣлъ мужество сокрушенное и грозныхъ поборниковъ свободы, распростертыхъ въ кровавомъ прахѣ». — Простившись «съ шумною дѣятельностью гражданской жизни, онъ не закутывался торжественно въ мантию философа, но любилъ скромно заниматься изученіемъ истиннаго и добраго». Философъ житейскаго благоразумія, мудрецъ опыта, Горацій имѣлъ «въ душѣ» достаточно «поэтическаго огня»: его «благоразуміе» не застывало въ холодныхъ эгоистическихъ «расчетахъ», «согрѣвалось» «теплотою чувства». Его «мечтанія» «осребрялись блѣднымъ, но неподдѣльнымъ мерцаніемъ изъ внутренняго святилища идеальной, незримой жизни»; онъ умѣлъ «проникать внутрь себя», и

открыто признавалъ «земные призраки», среди которыхъ «ликowało древнее челоуѣчество».

„Quid brevi fortes jaculamur aevo  
Multa?

Aequa lege Necessitas  
Sortitur insignes et imos;  
Omne сарах movet urna nomen“.

Горацийъ «искалъ убѣжища отъ грызущихъ заботъ опостылѣвшей жизни въ мирномъ содружествѣ съ благою природою», но «душѣ, разочарованной горькой опытностью», «идиллическая Аркадія» не давала полного удовлетворенія. Безъ сомнѣнія, «прохлада, дышащая на цвѣтущихъ берегахъ» Аніена, «освѣжала»; «уголокъ Тибурскій ласково улыбался», но «мысль о суетѣ и ничтожности всякаго земного наслажденія преслѣдовала тайно всюду»; веселыя думы смѣнялись «незваннымъ уныніемъ». Отчаяніе, неминуемо, должно было бы овладѣть Горациемъ, если бы онъ не успѣлъ хотя нѣсколько разсѣять мракъ, окутывающій царство идей, составляющихъ исключительное достояніе челоуѣческаго духа, и—«по ту сторону тлѣнной дѣйствительности— не зажегъ для себя» «звѣзды утѣшенія». Онъ «не постигъ еще вполне достоинства челоуѣческой своей природы», но, все же, «умѣлъ оцѣнить идеальную высоту своего поэтического служенія». Оно возвеличивало его въ «собственныхъ глазахъ»; онъ какъ-бы прозрѣвалъ въ грядущемъ свое безсмертіе: «Non omnis moriag»! И сердце умиротворялось, «настраивалось» болѣе спокойно. «Пѣвецъ Августа, хладнокровный къ настоящимъ рукоплесканіямъ дружескаго потворства и наемной лести, восхищался» при мысли, что нѣкогда престарѣлыя римлянки «будутъ вспоминать съ удовольствіемъ время, когда онѣ, еще на зарѣ дней своихъ, воспѣвали, на вѣковомъ празднествѣ, угодную богамъ пѣснь, сложенную сладкозвучнымъ пѣвцомъ Горациемъ».

„Nupta jam dices: „ego dis amicum,  
Saeculo festas referente luces,  
Reddidi carmen docilis modorum  
Vatis Horati“.

«Подъ виноградными Тибурскими сѣнями» поэтъ «любилъ мысленно представлять прахъ свой, орошаемый слезами вѣрной, забывчивой дружбы».

„Ibi tu calentem  
Debita sparges lacrima favillam  
Vatis amici“.

«Не прелюдіи ли это вѣщей романтической арфы?» Горацій понималъ бренность земного существованія: «Pulvis et umbra sumus»; но онъ умѣлъ находить себѣ утѣшеніе:

„Non ego, quem vocas,  
Dilecte Maecenas, obibo  
Nec Stygia cohibebor unda“.

Умѣнье скрасить «сладкими предчувствіями» невѣдомую будущность»—«не есть ли завѣтная тайна» генія эпохи христіанства, генія, который «одинъ—жилецъ незримаго міра»? «Догорающей вечеръ» античности «встрѣчается съ затепливающимся утромъ» романтизма.

«Классическій кругозоръ» — узокъ для Горація. Возлагая упованіе на будущее, онъ находилъ себѣ отраду и въ «дивныхъ», «умилительныхъ» воспоминаніяхъ о быломъ величіи Рима; ихъ «умѣлъ цѣнить», отъ нихъ заимствовалъ душевную бодрость. Онъ «воскрешалъ въ поэтическихъ видѣніяхъ память минувшихъ временъ»; «смирная негодованіе», вызываемое «срамомъ потомковъ», «гордился добродѣтелями предковъ» и «съ благородной признательностью» взывалъ къ «величественнымъ тѣнямъ Регуловъ и Скавровъ, Эмилиевъ и Фабрицевъ, Куріевъ и Камилловъ», которые «въ суровомъ убожествѣ, подъ скудною кровлею прародительскихъ хижинъ, научались—по его прекрасному выраженію—расточать души свои за отечество». И невольно поэтъ заставляетъ читателя любить и уважать себя еще прежде, чѣмъ успѣетъ «изумить воображеніе» своими пѣснями, которыя «всегда останутся утѣшительнымъ прибѣжищемъ» для лицъ, «ищущихъ спасти свое человѣческое достоинство среди бурь житейскаго тревоженія вѣрою въ сіе достоинство». «А это не дѣло классической поэзіи». Она «укрѣпляла» людей «противъ враждебной непріязни» неумолимаго рока или «стойческимъ безстрашіемъ, или анакреонтической беззаботностью». Самъ Горацій иногда изображаетъ «праведника, безтрепетно погибающаго подъ развалинами вселенной», или «приглашаетъ гостей своихъ дожидаться смерти съ тирсомъ, обвитымъ плющемъ, (за круговою кипящею чашей)». «Но когда изъ праха», въ который обращается все земное, возстаютъ предъ нимъ «священныя тѣни благочестиваго

Энея, могущественнаго Тулла и Анка», а съ ними воскресаютъ чудныя преданія, побуждающія Римлянина «радоваться» своему славному происхожденію, своей кровной связи съ «вѣчнымъ градомъ»,—«кто не признаетъ здѣсь прикосновенія чуждаго волшебнаго жезла», по «манію» котораго «должна была воздвигнуться на развалинахъ сокрушившагося классицизма новая поэтическая вселенная со своими таинственными предчувствіями, радужными мечтами, эфирными надеждами—вселенная романтическая».

«Внутреннее уклоненіе къ романтизму» отразилось и на «внѣшней формѣ» твореній Горация. Стиль его уже не «отличается той мраморной бѣлизною, усѣянной развѣ своими природными блестками, которая составляла существенный характеръ выраженія безцвѣтной классической пластики»; онъ «расцвѣченъ, напротивъ, со всею роскошью живописи», «не имѣетъ недостатка въ живомъ колоритѣ», «въ высочайшей степени картинный». «Что ни мысль, то образъ; что ни слово, то цвѣтъ, и цвѣтъ яркій»; тропы чередуются съ фигурами. Самый «механизмъ стихосложенія» отличается «роскошнымъ обиліемъ разнообразныхъ метровъ, переплетающихся между собою со всею прелестью музыкальной гармоніи».

Латинскій языкъ возводится до совершенства. Лира Венузіискаго поэта слыветъ «нарядной»; дружить съ мѣрой; ей чужда напыщенность, свойственна естественность, «веселая прелесть свободной граціи». «Lyricorum Horatius fere solus legi dignus», сказалъ Квинтиліанъ.

«Несмотря на тайное сродство» поэзіи Горация «съ романтическимъ духомъ, подъ влияніемъ котораго образовались новѣйшіе европейскіе языки, переложеніе ея на каждый изъ нихъ есть работа, сопряженная съ величайшими затрудненіями и неудобствами. Весьма легко подстраивать новыя арфы подъ тонъ лиры Горацианской, но для того, чтобы *соблюсти вѣрно самый тактъ ея*, надлежало бы изломать и исковеркать европейскія нарѣчія, непокоряющіяся, по натурѣ своей, классическому образовательному ритму, даже и безъ того высочайшаго утонченія, въ которое возведенъ онъ мастерствомъ Горация. А это, между тѣмъ, необходимо», если переложеніе должно вѣрно отразить «оригинальную гармонію». «Свободныя переложенія въ прозѣ и стихахъ произвольнаго размѣра, при всемъ своемъ самобытномъ изяществѣ, не могутъ удовлетворить вполнѣ своему имени: они остаются всегда болѣе или менѣе удачными подражаніями». «Въ отно-



шеніи къ Горацію» надо быть особенно осторожнымъ, ибо «его метрика составляетъ характеристическую черту поэтической его фізіономіи». «Нѣмецкій переводъ знаменитаго Фосса, кажется, обреченъ былъ на преодоленіе всѣхъ затрудненій. Горацій переложень имъ, со всѣми принадлежностями поэтическаго механизма, тѣмъ же ритмомъ и тактомъ». Переводъ отличается «наистрожайшею вѣрностью» и можетъ быть названъ «противустрочнымъ»: въ немъ «слово не вездѣ приходитъ подъ слово, зато стихъ въ стихъ всюду приходится». Но, къ сожалѣнію, вѣрность сохранена въ ущербъ поэзіи: исчезли «свободное одушевленіе», «легкая грація» оригинала. На лицо признаки «тяжелой работы»; произведено «насиліе» надъ языкомъ, затемняющее мысль, препятствующее ея усвоенію. Такой трудъ напоминаетъ «пляску циклоповъ».—Русскія переложенія тоже неудовлетворительны. Надеждинъ даже не удостоиваетъ вниманія переводы Поповскаго и Баркова и останавливается на «опытахъ» болѣе или менѣе извѣстныхъ поэтовъ. Причины неудачъ нашихъ соотечественниковъ или въ маломъ сродствѣ таланта переводчика съ дарованіемъ римскаго лирика, или въ слишкомъ произвольномъ отклоненіи отъ латинскаго текста, или, наконецъ, въ неопозволительномъ смѣшеніи «русскихъ звуковъ» съ чужеземными «отголосками». Каждый переводчикъ сносно выполнялъ задачу, когда *«попадалъ на созвучныя себѣ струны»*. Державинъ подражалъ тѣмъ «пѣснопѣніямъ» Горація, въ которыхъ «торжествуетъ» фантазія, встрѣчаются «блестящія картины и яркіе образы»; Дмитріевъ, надѣленный «равновѣсіемъ поэтическаго благоразумія» и тщательно слѣдившій за отдѣлкой слога, пренебрегалъ точностью; Капнистъ, слишкомъ чувствительный и склонный къ мечтательности, не «закаленный въ грозныхъ политическихъ буряхъ до совершеннаго разочарованія въ жизни», «добродушно переводилъ древняго римлянина съ береговъ Аніена на берега Псела и, угощая шампанскимъ вмѣсто кампанскаго, заставлялъ благословлять небо Украйны, которое, отогрѣвая насъ, сыновъ сѣвера, могло бы заморозить разгульнаго Тибурскаго помѣщика»; Востоковъ «умѣлъ вѣрно подслушать и передать *одинъ только метръ* Горація»; Мерзляковъ, прекрасно понимавшій «искреннюю любовь», «чистую вѣру въ жизнь и природу», не могъ усвоить «легкомысленнаго кощунства», «вакхическаго неистовства»,—былъ черезчуръ пламенный въ чувствахъ и болѣе цѣломудренъ, чѣмъ требовалось; Орловъ, какъ переводчикъ, стоитъ ниже многихъ своихъ пред-

ществениковъ. Гораций «еще ожидаетъ русскаго Фосса!»<sup>1)</sup>. Но «*paulatim summa petuntur*», «каждый дѣльный опытъ»—«новая ступень къ совершенству»,—Надеждинъ рѣшаетъ самъ перевести четырнадцатую оду первой книги:

„О, несчастный корабль! снова влечешься ты  
Въ бурное море! . . Ахъ! что ты! . . куда твой бѣгъ?

О, спѣши, спѣши въ пристань!

Иль не видишь ты? . . . гдѣ твои

Весла? . . . мачту твою буйный воюетъ вихрь;

Райны стонуть, трещать; снасти оборваны . . .

И тебѣ устоять ли

Противъ бурныхъ, кипящихъ волнъ?

Нѣтъ вѣтриль у тебя . . . и покровители

Боги воплямъ<sup>2)</sup> твоимъ внять отрекаются!

Тщетно, тщетно надменный

Дубравъ мрачныхъ понтійскихъ сынъ,

Ты гордишься теперь древнею славою!

Нѣтъ, кормы пестротой не обольститъ тебѣ

Робкихъ плавателей!—бойся (*sic*)

Быть игралищемъ ярыхъ волнъ!

Ахъ! давно ль по тебѣ духъ сокрушался мой?

И опять съ тоской должно дружитья мнѣ!

О! бѣги пучинъ грозныхъ,

Воющихъ вокругъ Цикладскихъ скалъ!“<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> *Московский Вѣстникъ*, 1830, ч. IV, стр. 255—294. Ср. *Сборникъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской академіи наукъ*. Сиб., 1885, т. XXXVI: «Отчетъ о присужденіи Пушкинской преміи въ 1884 г.», стр. 3—7 (отзывъ И. В. Помяловскаго о переводахъ Мерзлякова, Орлова и др.).

<sup>2)</sup> Въ текстѣ: «волнамъ»—очевидная опечатка.

<sup>3)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 14, стр. 116. Ср. латинскій оригиналь:

O navis, referent in mare te novi

Fluctus. O quid agis? Fortiter occupa

Portum. Nonne vides, ut

Nudum remigio latus

Et malus celeri saucius Africo

Antennaeque gemunt, ac sine funibus

Vix durare carinae

Possunt imperiosius

Aequor? Non tibi sunt integra lintea,

Non di, quos iterum pressa voces malo:

Quamvis Pontica pinus,

Silvae filia nobilis,

Можно быть разныхъ мнѣній о стилистическихъ достоинствахъ даннаго переложенія, но нельзя отказать Надеждину въ хорошемъ пониманіи латинскаго текста и въ справедливомъ желаніи сохранить размѣръ подлинника.

Переводы Надеждина съ классическихъ языковъ, по своимъ качествамъ, однородны съ переводами новѣйшихъ произведеній. Изъ французскихъ—его заинтересовали «Размышленія» Ламартина, вышедшія въ свѣтъ въ 1820 году. Выборъ былъ естественъ и удаченъ. Небольшая книжечка стихотвореній Ламартина, произвела чарующее впечатлѣніе на современниковъ: Сентъ-Бевъ нашелъ въ ней поэзію, «дѣйствительно отражавшую внутренній міръ», «возвышенную и божественную»; самъ Талейранъ былъ «растроганъ» и «провелъ часть ночи за ея чтеніемъ»; министръ иностранныхъ дѣлъ далъ автору мѣсто *attaché* при посольствѣ въ Италіи; король назначилъ ему пенсію. Слѣдуя примѣру французовъ, и наши литераторы увлеклись Ламартиномъ и помѣщали его піесы въ періодическихъ изданіяхъ<sup>1)</sup>. Настроенію эпохи подчинился Надеждинъ, переложившій на русскій языкъ «*Réponse de la providence à l'homme*».

Вотъ начало «Промысла челоуѣку».

„Какъ! . . . сынъ ничтожества! и жизнь тебѣ не въ радость?

Несчастный! тяготитъ тебя любовь моя?

Тебѣ горька моихъ лобзаній нѣжныхъ сладость?

Ты ропщешь на меня? . . .

Несмысленный! ты былъ еще ничто, и мною

Тебѣ блаженства путь уже начертанъ былъ!

Ты въ лонѣ спѣлъ моему, а духъ мой надъ тобою!

Ты былъ уже мнѣ милъ!

---

*Jactes et genus et nomen inutile:*

*Nil pictis timidus navita puppibus*

*Fidit. Tu, nisi ventis*

*Debes ludibrium, cave.*

*Nuper sollicitum quae mihi taedium,*

*Nunc desiderium curaque non levis,*

*Interfusa nitentes*

*Vites aequora Cycladas.*

(*Q. Horatii Flacci carmina*. Съ примѣчаніями Лукіана Миллера. Спб., 1889, стр. 25—27).

<sup>1)</sup> См. *Московский Телеграфъ*, 1825, №№ 6, 8, 22; 1826, №№ 3, 10, 12. Напечатаны слѣдующія піесы: «Къ Эльвирѣ», «Озеро», «Вечеръ», «Счастливецъ», «Байскій заливъ», «Уныніе», «Элегія». Изъ переводчиковъ извѣстны: Бороздна, Волковъ, Грековъ, Познанскій, Степановъ, Тюринъ.

Так! . . . счастье твое я искони готовилъ:  
Ты жилъ во мнѣ,—и я трудился для тебя!  
Насталъ твой день! . . . Я рекъ: „Родись! Я все устроилъ!  
Будь счастливъ, чти меня!“  
Ты родился! и что жъ? . . . Рука моя благая  
Не предала тебя въ игральнице судьбѣ,—  
Персть хладную твою незримо согрѣвая,  
Мой огонь горить въ тебѣ.  
Изъ нѣдръ моихъ млеко эеирное струится;  
И ты воспитанъ имъ!—Составъ твой я соткалъ;  
Мой перстъ помогъ твоей зѣницѣ округлиться  
И въ ней весь міръ вписалъ!  
Твой духъ слѣпотствовалъ въ темницѣ мрачной персти;  
Я рекъ тебѣ: „Прозри!“—и умъ отверсая твой;  
Проснулася мысль въ тебѣ: звучать уста отверсты;  
Ты носишь образъ мой!“ и т. д. 1).

---

1) *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 8, стр. 293—297.—Ср. французскій оригиналь:

Quoil le fils du néant a maudit l'existence!  
Quoil tu peux m'accuser de mes propres bienfaits!  
Tu peux fermer tes yeux à la magnificence  
Des dons que je t'ai faits!  
Tu n'étais pas encore, créature insensée,  
Déjà de ton bonheur j'enfentais le dessin;  
Déjà, comme son fruit, l'éternelle pensée  
Te portait dans son sein.  
Oui, ton être futur vivait dans ma mémoire;  
Je préparais les temps selon ma volonté.  
Enfin ce jour parut, je dis: «Nais pour ma gloire,  
Et ta félicité!»  
Tu naquis: ma tendresse, invisible et présente,  
Ne livra pas mon œuvre aux chances du hasard;  
J'échauffai de tes sens la sève languissante  
Des feux de mon regard.  
D'un lait mystérieux je remplis la mamelle;  
Tu t'enivras sans peine à ces sources d'amour.  
J'affermis les ressorts, j'arrondis la prunelle  
Où se peignit le jour.  
Ton âme, quelque temps par les sens éclipsée,  
Comme tes yeux au jour, s'ouvrit à la raison:  
Tu pensas; la parole acheva ta pensée,  
Et j'y gravai mon nom»...

(*Alphonse de Lamartine*. Méditations poétiques. Bruxelles, 1820, pp. 32—36).

Кромѣ Ламартина Надеждинъ интересовался Жанъ-Полемъ Рихтеромъ<sup>1)</sup> и Козегартеномъ<sup>2)</sup>. Изъ «Картинъ» перваго переведена «Ночь несчастнаго подъ новый годъ»; изъ рапсодій второго—гимнъ «Восходящему солнцу», недурной по стилю.

„Солнце, ко сну!

Солнце, ко сну!

Сладкій сонъ тебѣ, солнце!“

Большое свѣтило «со славою» потрудилося въ теченіе дня для вселенной: оно разгоняло тьму, грѣло, «оплодотворяло влагой лоно земли», «румянило почки, чреватая жизнью», раскрыло цвѣтку «молодую скорлупку», «наполнило сокомъ зеленую жатву», «любовь вездѣ сѣя, любовь и пожало». По своемъ закатѣ, солнце уносить съ собой «благословенія людей», которые ждуть его восхода и обращаются къ нему съ воззваніемъ.

„Встань, пробудися на новые подвиги!

Тебя ожидаетъ міръ, жажущій жизни;

Тебя ожидаютъ поля и луга;

Тебя ожидаютъ и птицы, и звѣри;

Тебя ожидаетъ путникъ во мракѣ;

Тебя ожидаетъ кормчіи средь бури;

Тебя ожидаетъ недужный на ложѣ“.

Въ честь солнца поютъ пѣсни народы, шелестятъ по листьямъ деревьевъ зефиры, «поля благодарный курятъ оиміамъ».

Прославленіе красоты природы, поклоненіе ей—сближали переводчика съ нѣмецкимъ поэтомъ.

---

Научные интересы Надеждина, проявившіеся уже въ переводахъ съ классическихъ языковъ и въ характеристикѣ Горация,

---

1) *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 15, стр. 199—203. — До 1829 года переводы произведеній Жанъ-Поля Рихтера встрѣчаются въ *Московскомъ Телеграфѣ* (1827, №№ 9, 11) и *Московскомъ Вѣстникѣ* (1827, №№ 3, 12). Напечатаны: «Полиметры», «На кончину», «Обѣты друга», «Описаніе Изолы-Беллы». Ср. *Мнемозину*, 1824, ч. I, стр. 182: «Многомѣры» (изъ Жанъ-Поля Рихтера).

2) *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 4, стр. 303—305. Козегартена переводили еще въ концѣ XVIII-го вѣка въ *Пріятномъ и Полезномъ* (ч. VIII, стр. 329) и *Иппокренѣ* (ч. III, стр. 17). Здѣсь помѣщены: «Гробы въ Дустрѣ» и «Эдальвина». Ср. «Ритогара и Ванду», въ переложеніи Г. П. Каменева (*А. Н. Неустровъ. Указатель къ русскимъ повременнымъ изданіямъ*. Спб., 1898, стр. 300; *Е. А. Бобровъ. Къ біографіи Г. П. Каменева*. Варшава, 1905, стр. 82).

были весьма разносторонніе. Статьи историческаго и философскаго характера свидѣтельствуя объ эрудиціи автора. Одна изъ нихъ написана по совѣту Каченовскаго, занимавшагося въ это время «исторіей средневѣковой торговли». «Разговаривая съ нимъ объ этомъ любимомъ предметѣ», Надеждинъ «замѣтилъ ему однажды, что онъ напрасно упускаетъ вовсе изъ виду «торговья колоніи» на сѣверномъ Черноморьѣ, въ предѣлахъ нынѣшней Новой Россіи. Каченовскій, ухватясь за это, тотчасъ подстрекнулъ его заняться даннымъ вопросомъ и «написать статью для *Вѣстника*»<sup>1)</sup>. Таково происхожденіе большого, помѣщеннаго въ пяти книжкахъ журнала, изслѣдованія «О происхожденіи, существованіи и паденіи Итальянскихъ торговыхъ поселеній въ Тавридѣ»<sup>2)</sup>. Въ своемъ изслѣдованіи Надеждинъ обнаружилъ удивительную начитанность. Ему были прекрасно извѣстны въ оригиналь сочиненія Геродота, Діонисія Галикарнасскаго, Страбона, Діодора Сицилійскаго, Діона Хризостома, Плинія, Арріана Флавія, Кассіодора; использованы византійскія хроники Никиты Хоніата, Кедрина, Зонары, Пахимера, трактаты Константина Багрянороднаго; пересмотрѣны итальянскія изысканія Каффаро, Виллани, Парута, Формалеони; изучены новѣйшіе труды Сисмонди, Рауль-Рошетта, Дарю, Галлама, Гиббона, Геерена и др. Внимательное отношеніе къ работѣ, строгая повѣрка документовъ, точныя ссылки съ приведеніемъ цитатъ изъ первоисточниковъ на греческомъ, латинскомъ, итальянскомъ и др. языкахъ должны были поражать читателя. Надеждинъ хорошо выяснилъ историческое значеніе Таврическаго полуострова, который «весьма рано является въ лѣтописяхъ», «какъ звено торговыхъ сношеній между народами», и былъ яблокомъ раздора для «воинственной и торгошеской» Венеціи и не менѣе ея «корыстолюбивой» и смѣлой Генуи. Особенно подробно, ярко и живо ведется разсказъ о соперничествѣ этихъ двухъ республикъ, «соствязавшихся о единоластительствѣ надъ всею средиземною системою водъ древняго міра», объ ихъ козняхъ, интригахъ и проискахъ, о той роли, какая выпадала въ ихъ распряхъ на долю разлагающейся Византійской имперіи, о борьбѣ съ татарами и турками, закончившейся паденіемъ Каффы, разгромленной въ XV вѣкѣ пашей Ахметомъ и представлявшей «последнее убѣжище» генуезцевъ.

<sup>1)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 59.

<sup>2)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, №№ 15—19.

Историческимъ изысканіямъ Надеждинъ удѣлялъ, повидимому, гораздо менѣе времени, чѣмъ философіи. Изученію этой науки онъ отдался съ большимъ увлеченіемъ; она маняла его къ себѣ, когда онъ былъ студентомъ академіи; старыя симпатіи сохранились и позднѣе. Надѣленный умомъ глубокимъ и точнымъ, стремящійся къ выработкѣ опредѣленнаго міросозерцанія на прочныхъ основахъ, еще на семинарской скамьѣ ознакомившійся съ разными системами, Надеждинъ изъ всѣхъ мыслителей античнаго міра отдавалъ предпочтеніе Платону. Фактъ—вполнѣ понятный. Съ одной стороны, вліяло богословское образованіе, сказывалось стремленіе согласовать философскія положенія съ истинами Св. Писанія (личное Божество, безсмертіе души, ученіе о нравственности); съ другой, самое имя Платона было окружено извѣстнымъ ореоломъ съ конца восемнадцатаго вѣка<sup>1)</sup>. «Еще за нѣсколько лѣтъ до Типографическаго общества», писалъ И. И. Дмитріевъ: «мы уже имѣли въ переводѣ съ греческаго «Творенія велемудраго Платона»<sup>2)</sup>. Переводчикомъ былъ священникъ Иванъ Сидоровскій. Духовныя лица, видѣвшія въ Платонѣ—«христіанина до Христа» или «Аттическаго Моисея», могли восхищаться разсужденіями «о праведномъ, о святости, безсмертіи души, молитвѣ», либо «добродѣтели»<sup>3)</sup>; пылкіе юноши мечтатели, съ душой чувствительной и нѣжной, въ родѣ Карамзина, бредили ученіемъ о государствѣ, которое представлялось въ разрывѣ свѣтѣ. То были грезы наяву, возвышенныя утопіи; казалось возможнымъ обставлять жизнь такъ, что люди будутъ отрѣшаться отъ чувственнаго, земного и подготавливаться къ сверхчувствен-

<sup>1)</sup> Въ журналахъ этого времени помѣщено не мало статей о Платонѣ. Ср. *Утренній Свѣтъ*, ч. V, стр. 1: «Жизнь Платона»; ч. V, стр. 83: «Ширъ Платоновъ о любви, разговорѣ»; *Растущій Виноградъ*, 1786, апрѣль, стр. 53: «Надгробное слово великомудраго Платона, съ эллинскаго»; *Чтеніе для вкуса*, ч. II, стр. 145: «Аллегорія Платонова о естествѣ души»; *Безоудующій Гражданинъ*, ч. III, стр. 344: «Науки, аллегорическое подражаніе Платону»; *Дѣтское Чтеніе*, ч. IV, стр. 80: «Ананичерисъ и Платонъ». (А. Н. Неустровъ. Указатель къ русскимъ повременнымъ изданіямъ и сборникамъ. Спб., 1898, стр. 494).

<sup>2)</sup> И. И. Дмитріевъ. Сочиненія. Спб., 1895, т. II, стр. 28.

<sup>3)</sup> «Творенія велемудраго Платона, преложенныя съ греческаго языка на російскій священникомъ Іоанномъ Сидоровскимъ и коллежскимъ регистраторомъ Матеемъ Пахомовымъ, находящимся при обществѣ благородныхъ дѣвиць». Спб., 1780—1785. Часть первая, предувѣдомленіе отъ переводившихъ стр. I—XIV.

ному, божественному подъ мудрымъ руководствомъ правителей-философовъ. Поэты «воскрешали Платоновъ», «изоощряли съ ними свой умъ», «давали законъ республикамъ», «превращали землю въ небо», пока суровый «опытъ» не «разрушалъ воздушнаго замка юныхъ лѣтъ»<sup>1)</sup>. . . Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго вѣка интересъ къ Платону перешелъ въ новую стадію развитія; политика была отставлена въ сторону<sup>2)</sup>; вниманіе приковано къ «идеологіи»; міръ чувственный, тѣлесный, какъ призрачное отраженіе безсмертнаго міра идей; поэтическое творчество—актъ вдохновенія, ниспосланнаго свыше, воодушевленія, граничащаго съ изступленіемъ, недоступнымъ для простаго смертнаго<sup>3)</sup>—вотъ

1) *Н. М. Карамзинъ*. Сочиненія. Спб., 1848, т. I, стр. 38, 65.—Ср. «Пантеонъ иностранной словесности». М., 1818, ч. I, стр. 41—57: «Платонъ, или о происхожденіи міра. Переводъ изъ Анахарсиса».

Херасковъ въ «Бахаріанѣ» (1803) также отмѣчаетъ увлеченіе Платономъ:

«Захочу ли философствовать,  
Со Платономъ древнимъ мудрствую,  
Съ Анахарсисомъ я странствую...  
.....  
Вдругъ явилась мнѣ волшебница,  
Покровенна съ головы до ногъ:  
Весь ея покровъ исписанъ былъ  
Разными, какъ атласъ, красками...  
.....  
Тамъ Платонова республика  
Тонкой краскою написана,  
Времени рукой повытерта;  
Тамъ свобода безразсудная  
Обѣщаетъ людямъ равенство;  
Но себѣ престолы дѣлаетъ,  
Только лъзя прочесть въ глазахъ у ней,  
Что она готовить узы тѣмъ,  
Кто свободой ослѣпляется»...

2) Переведенные въ 1827-мъ году В. Оболенскимъ «Платоновы разговоры о законахъ», повидимому, не пользовались популярностью.

3) *Platonis Phaedrus*. Lipsiae, 1810, p. 21: «Τρίτη δὲ ἀπὸ Μουσῶν κατοχῆ τεκαὶ μανία, λαβοῦσα ἀπαλήν καὶ ἄβατον ψυχὴν, ἐγεῖρουσα καὶ ἐκβακχεύουσα, κατὰ τε ψῆδᾶς καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ποιήσιν μυρία τῶν παλαιῶν ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπιγιγνομένους παιδεύει. ὅς δ' ἂν ἀνευ μανίας Μουσῶν ἐπὶ ποιητικὰς θύρας ἀφίκηται πεισθεὶς, ὡς ἄρα ἐκ τέχνης ἰκανὸς ποιητὴς ἐσόμενος, ἀτελὴς αὐτὸς τεκαὶ ἡ ποιήσις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἢ τοῦ σωφρονοῦντος ἠφανίσθη». — Эти мысли подхвачены римскими поэтами.

«Ingenium misera quia fortunatius arte  
Credat et excludit sanos Helicone poetas



пункты, которые сблизятъ древняго философа съ новыми литературными теоретиками. Быть можетъ, такъ думали русскіе поклонники нѣмецкихъ и французскихъ романтиковъ. Платонъ является дѣйствующимъ лицомъ въ произведеніяхъ Веневитинова<sup>1)</sup>; въ «питикѣ» Галича, написанной «на нѣмецкій ладъ», Боратынскій усматриваетъ «подновленныя» и «приведенныя въ систему» «откровенія Платоновы» и увлекается ихъ «поэзіей»<sup>2)</sup>; Полевой изъ *Journal des Savants* заимствуетъ для *Московского Телеграфа* статью подъ заглавіемъ: «Филебъ, или разговоръ Платона о высочайшемъ благѣ»<sup>3)</sup>. «Я получилъ первую часть прекраснаго перевода Платона par Cousin, прочелъ, но отдалъ читать императрицѣ», сообщаетъ А. И. Тургеневъ князю Вязем-

---

Democritus, bona pars non unguis ponere curat,  
Non barbam, secreta petit loca, balnea vitat»,

пишетъ Горацій (*Q. Horatii Flacci carmina*. Lipsiae, 1881, p. 236. De arte poetica liber, 295—298). Ювеналь ему вторитъ:

«Sed vatem egregium, cui non sit publica vena,  
Qui nihil expositum soleat deducere, nec qui  
Communi feriat carmen triviale moneta,  
Hunc, qualem nequeo monstrare et sentio tantum,  
Anxietate carens animus facit, omnis acerbi  
Impatiens, cupidus silvarum avidusque bibendi  
Fontibus Aonidum. Neque enim cantare sub antro  
Pierio thyrsumque potest contingere sana  
Paupertas atque aeris inops, cui nocte dieque  
Corpus eget: satur est, cum dicit Horatius euhoe!  
Qui locus ingenio, nisi cum se carmine solo  
Vexant et dominis Cirrae Nysaeque feruntur  
Pectora vestra, duas non admittentia curas?  
Magnae mentis opus nec de lodice paranda  
Attonitae, currus et equos faciesque deorum  
Aspicere et qualis Rutulum confundat Erinys».

*D. Junii Juvenalis satyrae*. Leipzig, 1873, SS. 173—174.—*Saturarum liber tertius, satyra VII*, 53—68). — Выраженіе «sana paupertas» приведено Weidнеромъ, въ числѣ вариантовъ, на стр. 313).

1) *Д. В. Веневитиновъ*. Полное собраніе сочиненій. Спб., 1862, стр. 151—156: «Всѣда Платона съ Анаксагоромъ».

2) Сочиненія Пушкина. Изданіе Императорской Академіи наукъ. Переписка. Подъ редакціей и съ примѣчаніями В. И. Саитова. Спб., 1906, т. I, стр. 317. Ср. А. Галичъ. Опытъ науки изящнаго. Спб., 1825, стр. 8: «Періодъ полного владычества разума открытъ Платономъ».

3) *Московский Телеграфъ*, 1826, №№ 1—2: «Филебъ, или разговоръ Платона о высочайшемъ благѣ». Ср. статью: «Платонъ и Аристотель» (Тамъ же 1828, № 22, стр. 174).

скому<sup>1)</sup>. Сочиненіями того же Платона, не въ переводѣ, а въ оригиналѣ, зачитывался и Надеждинъ.

«Идеи», писалъ онъ: «составляютъ величайшее таинство мудрости» греческаго мыслителя, «какъ по своему достоинству, такъ и по символической мрачности, которою угодно было ему окружить святилище своей философіи. Сколько можно видѣть сквозь густоту сего священнаго мрака, идеи были для Платона началомъ бытія и познанія». Существуютъ два міра: видимый, или тѣлесный, и невидимый, безтѣлесный. Вещи, воспринимаемыя чувствомъ, непостоянны, мѣняются, «представляютъ только являемое». Идеи, постигаемыя умомъ, «неизмѣняемы и вѣчны», «изображаютъ сущность вещей, настоящее бытіе, τὰ ὄντως ὄντα», онѣ—тотъ «узелъ», которымъ «связываются различные безчисленные признаки, разсѣянные въ чувственныхъ предметахъ»; онѣ «представляютъ разнообразное какъ-бы совокупленнымъ» въ одно цѣлое. «Область идей»—«святилище непреложной истины»; поскольку «чувственныя представленія могутъ быть возводимы къ идеямъ и разсматриваемы въ чистомъ ихъ свѣтѣ», постольку они «могутъ быть причастны истины». «Источникъ идей» — «Умъ Божественный», «коего всезидательною силою произведена вселенная». Было время, когда «духъ человѣческой, еще прежде сочетанія съ грубымъ тѣломъ, ограничивающимъ горній полетъ его къ безконечному, существовалъ отрѣшенно отъ тѣла; тогда онъ наслаждался вполнѣ общеніемъ съ Богомъ и созерцалъ Божественныя идеи въ первообразной чистотѣ». «Подобенъ составъ человѣческой колесницѣ, везомой конями; душа уподобляется возницѣ, держащему бразды». Коней два: одинъ— «бодрый, живой, стремится туда, куда должно, — въ горняя»; другой, хотя и силенъ, мчится «безпорядочно», порывается не туда, куда слѣдуетъ. «Центръ или средоточіе», котораго должна придерживаться колесница, — Премудрость (Σοφία), Правда (Δικαιοσύνη) и Красота (Κάλλος)... Какое «прекрасное и усладительное зрѣлище!» Пока «душа ввѣрялась преимущественно первой влекущей ее силѣ»—уму, до тѣхъ поръ «теченіе ея было правильно, созерцанія чисты, блаженство полно». «Но какъ скоро низшая сила»—бурная страсть «взяла верхъ надъ первою», колесница совратилась съ пути, и душа, «неискусный воз-

<sup>1)</sup> Остафьевскій архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. II, стр. 321: Письмо отъ 8 мая 1823-го года.

лица», «въ наказаніе заключена въ тѣло, какъ въ темницу» («Федръ»). И «настоящія умпредставленія человѣка» — лишь «воспоминанія непосредственныхъ созерцаній Божественнаго Свѣта: Истины, Правды и Красоты». Это — «искры, таящіяся подъ пепломъ *плотского огрубѣнія*»<sup>1)</sup>. Печальное состояніе человѣческаго духа, заключеннаго въ матеріальную оболочку, изображено въ VII книгѣ «Республики». Передъ нами «мрачная и обширная пещера», «которая имѣетъ отверстіе на поверхность земли». «Въ самомъ отдаленномъ углу» сидятъ узники; ихъ шея и ноги связаны; «лицо обращено къ стѣнѣ, противоположной отъ отверстію». «На поверхности земной происходятъ различныя явленія»: «проходятъ взадъ и впередъ люди, проносятъ различныя изображенія; видны яркіе цвѣты, слышны различныя бесѣды», — а «несчастные узники видятъ однѣ только мелькающія» передъ ними «тѣни и слышатъ только» слабые «отголоски»; они «уже привыкли находиться въ такомъ бѣдственномъ положеніи», и потому все, доступное ихъ слуху и зрѣнію, считаютъ «дѣйствительною вещественностью». «Теперь пусть какой-нибудь благодѣтель сошелъ бы къ нимъ, убѣдилъ бы одного изъ нихъ итти съ собою, разрѣшилъ бы его отъ узъ и повелъ бы его — конечно, постепенно и мало-по-малу, ибо иначе онъ могъ бы ослѣпнуть — на землю, гдѣ сначала показалъ бы ему отраженія лучей свѣта, потомъ далъ бы видѣть свѣтъ небесъ, покрытый еще ночнымъ мракомъ, затѣмъ слабое сіяніе вечерняго сумрака и, наконецъ, возвелъ бы его къ совершенному созерцанію свѣта, истолковалъ бы ему истинное положеніе видимыхъ вещей и научилъ бы совершенно разумѣть языкъ, коимъ бесѣдуютъ люди, — не почелъ ли бы» это бывший узникъ «для себя величайшимъ благодѣяніемъ». И если, наученный такимъ образомъ, онъ «послѣшилъ бы обратнo къ оставшимся плѣнникамъ и началъ бы имъ доказывать, что они видятъ однѣ только» «тѣни» и «слышатъ» слабые «отголоски», — они, «навѣрно, назвали бы его сумасшедшимъ». «Таково положеніе человѣка на землѣ! Земля» — «пещера»; «пробываніе въ тѣлѣ» — «согбеніе»; «то, чтò онъ видитъ и слышитъ на землѣ и о чемъ бесѣдуетъ съ другими», — только «тѣни» и туманные отблески «идей ясныхъ и свѣтлыхъ». «Но не здѣсь находится истина вещей: она тамъ обитаетъ, гдѣ обитаетъ Боже-

---

<sup>1)</sup> Ср. *Platonis Phaedrus*. Lipsiae, 1810, pp. 22—34.

ство. Истинный свѣтъ»—«*ιδέα τοῦ ἀγαθοῦ*»<sup>1)</sup>. «Иное есть солнце, иное—сіяніе солнца, иное—око. Солнце есть Божество; свѣтъ, вокругъ него разливающійся, есть *ιδέα τοῦ ἀγαθοῦ*»; «самое Божество не можетъ быть объято душою», ибо безпредѣльное объемлется только безпредѣльнымъ»,—потому «*ιδέα τοῦ ἀγαθοῦ* объемлется ею: око есть умъ».—«Такимъ образомъ, самосуцая Истина, Правда и Красота»—эти «цвѣты или краски преломленнаго Свѣта» (*Σοφία τε καὶ Δικαιοσύνη καὶ Κάλλος ἐστὶ ἐγγύτατα*)—«неприступны нынѣ для огрубѣвшаго взора души; она ослѣпилась бы ихъ блескомъ, подобно какъ ночная птица сіяніемъ солнца, если бы даже онѣ сами благоволили себя явить ей. Но между тѣмъ душа можетъ восходить къ ихъ созерцанію чрезъ разсматриваніе Истины, Правды и Красоты, являющихся въ разныхъ степеняхъ подъ чертами видимыми и ограниченными во вселенной». Отъ образа можно возвышаться къ первообразу, и въ минуты «превыспренняго» полета души въ «горняя», въ минуты невыразимаго «восторга», передъ человѣкомъ «разверзается таинственная область» идей (*τόπος νοητός*) и является «въ первоначальномъ чистомъ и всеблаженномъ сіяніи»; въ такіе моменты умъ «обнимаетъ сущность вещей» и приближается къ Божеству, «источнику всѣхъ существъ»<sup>2)</sup>.

Божество—великій Зодчій, *Δημιουργός*. Созданіе міра—художественное дѣйствіе. «Истинный художникъ, не механически, но свободно и творчески дѣйствующій, прежде дѣйствительнаго изображенія вещи въ какихъ-либо чертахъ, имѣетъ уже въ себѣ болѣе или менѣе раскрытую идею, по которой образуетъ свое произведеніе»<sup>3)</sup>. Въ ходѣ дѣятельности его, въ отношеніи къ сей

<sup>1)</sup> Ср. *Platonis Politia sive de re publica libri decem*. Lipsiae, 1814, pp. 190—204.

<sup>2)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 11, стр. 161—182: «Идеологія по ученію Платона».

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 170—171: «Неоплатоньки, основываясь на томъ, что въ Богѣ нѣтъ раздѣленія между мыслию и существованіемъ, вообразили себѣ, яко бы прежде устроенія міра существовалъ міръ идей, или первообразовъ, какъ особенныхъ самостоятельныхъ субстанцій, и сію мысль хотѣли навязать Платону, дабы тѣмъ болѣе дать ей видъ достовѣрности. Но Платонъ не имѣлъ таковой мысли; онъ даже и не могъ имѣть ее сообразно своимъ началамъ! Предсуществованіе идей въ Умѣ Божественномъ для того принято въ его системѣ, чтобы устранилъ ложное понятіе матеріалистовъ о случайномъ и слѣпломъ устроеніи вселенной, чрезъ показаніе того, что Богъ образовалъ ее по единому, отъ вѣчности предначертанному въ Себѣ и слѣдственно ассо-

идеѣ можно примѣчать различныя степени. Сначала увлекаетъ его общая родовая идея физическихъ явленій, естественныхъ силъ или нравственныхъ добродѣтелей и страстей; она объемлетъ его во всей своей цѣлости, дѣйствуетъ на него со всею силою и потрясаетъ его душу. Потомъ уже онъ старается осуществить ее, разрѣшить цѣлость ея на частныя черты, и придумать планъ изобразить ее въ недѣлимой формѣ. Этотъ планъ будетъ тогда нѣчто среднее между идеею и недѣлимымъ произведеніемъ. *Точно такъ происходитъ и въ Божественномъ Разумѣ*. «*Τόπος νοητός*, или міръ идей, есть не что иное, какъ полный, всеобъемлющій чертежъ будущаго устройства міра, съ его законами и рядами существъ; и это-то есть совокупность вещей самихъ въ себѣ». «Міръ явленій»—«отпечатокъ идей или самое произведеніе Всемогущаго Художника»<sup>1)</sup>.

Соревнованіе съ Великимъ Зодчимъ—задача всякаго поэта. Для смертнаго созданіе искусства то же, что для Божества природа.

Мысли о значеніи художественнаго творчества были развиты болѣе подробно въ критическихъ статьяхъ, написанныхъ знаменитымъ «экс-студентомъ» Никодимомъ Аристарховичемъ Надоумкомъ. Внѣшняя форма, въ которую «экс-студентъ» облакалъ свои воззрѣнія,—весьма оригинальна. Авторъ рѣдко говорилъ отъ своего имени; онъ больше любилъ изобразить сценку, гдѣ дѣйствующими лицами являются люди, причастные литературѣ и принадлежащіе къ разнымъ лагерямъ и партіямъ. Среди этихъ людей есть приверженцы и противники самого Надоумка, который, соглашаясь съ первыми, старается осмѣять вторыхъ. Фамиліи ихъ отзываютъ ложно-классицизмомъ и указываютъ на характерныя особенности склада ихъ ума и понятій. Знакомые

---

*вершенному первообразу. Теперь введеніе ипостатическаго міра идей разрушило бы совершенно намѣренія Платоновы. Если бы вся творческая дѣятельность всемогущаго Архитектора, при устройствѣ вселенной, ограничивалась однимъ только подражаніемъ существовавшему уже внѣ Его міру первообразовъ и какъ бы художественнымъ снятіемъ съ него искусственныхъ слѣпковъ,—то Богъ содѣлался бы существомъ чисто страдательнымъ, и Его свобода и разумъ, составляющіе краеугольный камень всей Платоновой философіи, совершенно бы уничтожились».*

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 13, стр. 6—7 (изъ статьи «Метафизика Платонова»).

Надоумка, обыкновенно, собираются для литературных споровъ въ его «выспренный чертогъ», находящійся въ третьемъ этажѣ одного дома, расположеннаго около Патріаршаго Пруда. Живущій здѣсь отшельникъ, отстранившійся отъ мірской суеты, любитъ въ дурную весеннюю и зимнюю погоду погрузиться въ сладкія грезы либо поразсуждать на отвлеченныя темы, пофилософствовать. За стѣнами «уединенной каморки» «глухо шумитъ» вѣтеръ, «заносающій снѣжными хлопьями окна» и покрывающій «ледянымъ ковромъ» «сонныя воды» Патріаршаго Пруда, а «хозяинъ» «пріютится послѣ обѣда въ большихъ зыбучихъ креслахъ съ трубкой во рту, вслушивается въ гулъ сѣверной эоловой арфы», погружается въ «блаженное состояніе небрежнаго сочувствія съ брызжащею природою» и находитъ, что «уединенное затворничество для него не совѣмъ безъ прелестей». «Правда, вещественный кругозоръ его не очень обширенъ. Изъ оконъ его скромной камер-обскуры» «виднѣется одинъ только небольшой уголокъ Москвы, да и то самый незавидный, обшонъ-поль шумнаго вала. Но зато, у кого нѣтъ своего услужливаго хромоногаго бѣса, который, по магическому заклинанію фантазіи, не готовъ былъ бы вскрыть предъ нами всѣ кровли отъ скромной Кудринской хижины до высокихъ палатъ на Дмитровкѣ?.. И такъ, благодаря Бога! жаловаться не на что! Была бы лишь охота наблюдать и размышлять, а былей довольно!»<sup>1)</sup>

Потолковать о литературныхъ «быляхъ» особенно пріятно съ «любезнѣйшимъ», «добрѣйшимъ» Пахомомъ Силичемъ Правдивинымъ, желаннымъ гостемъ Надоумка. Это былъ «почтенный старикъ, оснѣженный, но не изможденный временемъ». «На его челѣ, изрытомъ глубокими браздами, лежала печать опытности, и во взорѣ его, не погашенномъ лѣтами, свѣтилось кроткое величіе, плодъ заслуженнаго довѣрія къ самому себѣ». Онъ много видѣлъ на своемъ вѣку, многому научился и многому можетъ научить другихъ. Онъ служилъ когда-то корректоромъ въ университетской типографіи; потомъ вышелъ въ отставку, поселился въ маленькомъ домикѣ «у Спаса въ Чигасахъ, за Язуою», сталъ вести замкнутый образъ жизни, слѣдя за развитіемъ русской литературы и въ то же время почитывая «орега omnia» Платона, Аристотеля, Цицерона и другихъ античныхъ писателей. Въ

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 21, стр. 6—7; 1829, № 1, стр. 9; № 8, стр. 290; № 10, стр. 114—115; № 22, стр. 104; 1830, № 7, стр. 183—184.

немъ можно видѣть резонера—выразителя мнѣній автора.—Непохожи на Пахома Силича другіе собесѣдники Надоумка. Одинъ изъ нихъ, Флюгеровскій, «старинный землякъ, товарищъ и другъ дѣтства» экс-студента, «юноша не безъ талантовъ и не безъ познаній, подававшій о себѣ самыя блестящія надежды, по несчастію, увлекся всеобщимъ вихремъ мнимо-философическаго науконенавидѣнія, вознегодоваль на ученіе, сбросилъ съ себя тяжкую узду систематической дисциплины, и, не дожидаясь окончанія студенческаго курса, выѣхалъ ратовать на чистое поле подѣ знаменами литературнаго неологизма, проповѣдующаго безъ наукъ всезнаніе, безъ трудовъ славу, безъ заслугъ безсмертіе. Между тѣмъ, онъ сохранилъ еще кое-какіе остатки прежняго своего образованія и тихомолкомъ иногда позволялъ себѣ прошептать нѣсколько цитаций изъ Горація и Виргилія тамъ, гдѣ не боялся измѣны».—Этой похвальной привычки не имѣетъ третій гость Надоумка—Тлѣнскій, «заметная птаха», «драгоценный образчикъ нашихъ литературныхъ матадоровъ», съ которыми трудно «ладить», такъ какъ они «рады все изломать, все исковеркать, лишь бы надѣлать болѣе шуму». Тлѣнскій ненавидитъ «старинныя бредни», приходитъ въ ярость при упоминаніи о «добрыхъ грекахъ», за то не «отстаеетъ отъ своего вѣка»: онъ—свой человѣкъ въ «дружескомъ кругу» славныхъ поэтовъ: Эoirскаго, Вѣтрогонова и другихъ.—Таковы знакомые Надоумка, въ бесѣдѣ съ которыми онъ находитъ своеобразное развлеченіе и любить коротать длинные унылые вечера за чашкою чаю <sup>1)</sup>. Литература—любимая тема ихъ разговоровъ и споровъ.

Литература—заявляетъ Пахомъ Силичъ, а за нимъ и самъ гостепріимный хозяинъ — «блистательнѣйшее проявленіе», или «цвѣтъ человѣчества». † «Она вмѣстѣ съ нимъ прозябаетъ, распускается и возрастаетъ. Но само человѣчество есть не что иное, какъ непрестанное развитіе. Его каждое явленіе условливается предыдущимъ и условливаетъ послѣдующее. Настоящее есть плодъ прошедшаго и сѣмя будущаго». <sup>1)</sup> Поэтому и литература «подлежитъ тому же закону постепенности»; «ея духъ, въ каждомъ моментѣ ея существованія», представляетъ собою «органическое развитіе воплощающагося духа человѣческаго» и «не

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 21, стр. 9—11; № 22, стр. 106—107; 1829, № 1, стр. 12; № 8, стр. 290—296; № 9, стр. 46; № 10, стр. 115, 117—118, 121—122; № 22, стр. 106; 1830, № 7, стр. 184, 204.

иначе можетъ быть постигнуть, уловенъ и изложенъ, какъ только чрезъ непрерывное преслѣдованіе его постепеннаго образованія». «По представительной системѣ, составляющей вѣчный законъ бытія вселенной», все современное «предображалось» въ минувшемъ,—«и кто хочетъ обнять» человѣчество «въ настоящемъ полномъ раскрытіи, долженъ прежде видѣть оное въ миниатюрномъ стеклѣ прошедшаго». Историческая точка зрѣнія необходима для истолкованія и политическихъ событій, и судебъ внутренней, духовной жизни народовъ. «Шеллингъ изъясняется Плотиномъ такъ же, какъ Наполеонъ Цезаремъ. Гете есть новое изданіе Эврипида, Шиллеръ—второй экземпляръ Virgilia. Возвести сію непрерывную систему повторенія ко всеобщимъ законамъ духа человѣческаго—вотъ задача теоріи изящной словесности, вотъ философія литературы». Но построеніе исторической поэтики—дѣло большой трудности, дѣло будущаго. Надумко не берется разрѣшить эту задачу, онъ только намѣчаетъ пути для дальнѣйшихъ поколѣній, намѣренъ положить въ основу критики философскія начала. «Здравый вкусъ», «безотлучный дядька рѣзвой и своевольной фантазіи, обоснованный на прочныхъ и мудрыхъ правилахъ, извлеченныхъ изъ внутреннихъ законовъ творящаго духа и повѣренныхъ вѣковыми опытами достойнѣйшихъ изъ представителей» науки и искусства, охранить нашего мыслителя отъ заблужденій.

Что такое поэзія?—Поэзія—«языкъ боговъ», выразительница красоты, или гармоническаго сліянія истины съ доброю. Она есть плодъ того состоянія души избранника небесъ, когда послѣдняя, «повинуясь высшему неземному влеченію таинственнаго вдохновенія, восторгается за тѣсныя предѣлы обыкновенной посредственности» и, «исполненная вакхическаго упоенія», охвачена «неукротимымъ восторгомъ» (*amabilis insania, dulce periculum*). И въ этомъ «высочайшемъ безуміи», по словамъ Горация, проявляется высочайшій умъ.

„Nil parvum aut humili modo,  
Nil mortale loquar“.

Природа—источникъ изящныхъ искусствъ, и въ поэзіи отражается «божественная гармонія», «величественные и торжественные» отзвуки которой «тонкій слухъ Пивагоровъ» уловить «во всѣхъ неисчислимыхъ явленіяхъ дошняго міра». «Дѣло искусства — подслушивать таинственные отголоски сей вѣчной



гармоніи и представлять ихъ внятными» для обыкновеннаго смертнаго «въ согласныхъ ритмическихъ аккордахъ. Это должно составлять первоначальную и существенную тему всякой поэзіи! Отчего мраморъ, одушевленный подъ рѣзцомъ Фидіевъ и Лизипповъ, растворяетъ души зрителей сладкимъ восторгомъ? Оттого, что рука художника, совокупивъ въ немъ различныя черты, коихъ союзъ неощутителенъ въ природѣ, освѣтила ихъ магическимъ свѣтомъ, пробуждающимъ предощущеніе ихъ внутренняго сокровеннаго единства. . . И чѣмъ легче, чѣмъ свободнѣе душа постигаетъ «сіе единство, — тѣмъ совершеннѣе произведение! Это-то называется на мистическомъ языкѣ нѣмецкихъ эстетиковъ—*идеализированіемъ* или твореніемъ по *идеаламъ!*.. Идеаль у нихъ означаетъ фантастическую *цѣлость идеи*, воплощаемой художникомъ въ его творческомъ произведеніи». Итакъ, изъ природы почерпаются идеи; ея соревновательницей является поэзія, которая, «изображая природу въ ея первообразной красотѣ и лучезарности», пробуждаетъ въ людяхъ чувства любви и наслажденія. «Природа есть безпредѣльное зданіе, проникнутое однимъ духомъ во всѣхъ безчисленныхъ частяхъ своихъ. Въ ней вездѣ жизнь—вездѣ поэзія! Величественныя Альпы и мшистый камень—равно говорятъ воображенію; только одинъ нашептываетъ то, что другія проповѣдуютъ велегласно. Не въ одномъ только грозномъ рокотѣ грома слышится эхо вѣчной гармоніи, одушевляющей вселенную; ухо чуткое чувствуетъ ее и въ щебетаніи ранней ласточки, и въ жужжаніи вечерняго жука, и въ чиликаньи запоздалаго кузнечика». *Ut pictura poësis!* Пусть же она *«изображаетъ намъ вѣрно то, что видитъ и слышитъ въ природѣ»*. «Безъ сомнѣнія, великая картина природы составлена изъ смѣшенія свѣта съ тѣнями; часто также заблужденія и страсти людскія покрываютъ ее мрачными пятнами»; иногда «сама природа забываетъ свою важную степенность до того, что пародируетъ самое себя». А *«гдѣ жизнь окисаетъ и плѣснѣетъ, тамъ поэзія имѣетъ полное право морщиться и гримасничать»*. Художнику не запрещается *«оттѣнять свои эскизы по примѣру великой первохудожницы—природы»*; но онъ не долженъ забывать, что *«изящество картинъ составляется изъ свѣтлотѣни, а не изъ одной только тѣни мутной и грязной»*. И даже *«въ отребіи рода человѣческаго гений поэта умѣетъ заронить искры нравственнаго достоинства, свидѣтельствующія о неизгладимости величія природы человѣческой подъ самымъ позорнѣйшимъ*

*клеймомъ уничиженія». Вотъ въ чемъ состоитъ «поэтическая реальность»!*

Изображать отрицательныя явленія необходимо съ *выборомъ*. Не всегда можно оправдаться отъ нареканій читателя словами: «Все это правда! все это вѣрный снимокъ съ природы!» Вѣдь, «въ натурѣ» есть много «вещей, которыя совсѣмъ нейдутъ для показу». Иныя «безпутства» слишкомъ сильно «оскорбляютъ» и унижаютъ человѣческое достоинство, и потому желательно, «чтобы они не выходили никогда изъ того мрака, въ коемъ обыкновенно и совершаются». Наоборотъ, иная «изнанка вещественной нашей жизни» можетъ быть «предметомъ творческой дѣятельности», но зато нуждается въ соотвѣтствующемъ *освященіи*. «Буйная игра страстей, какъ извращенное отраженіе величія человѣческаго», либо «карикатурные гротески смѣшныхъ слабостей и заблужденій» должны изображаться подъ извѣстною «точкою зрѣнія». Нельзя «любоваться изведенною на позоръ срамотою наилучшаго созданія Божія»; пороки слѣдуетъ представлять «въ идеальномъ свѣтѣ состраданія о несообразности ихъ съ нашимъ достоинствомъ и назначеніемъ». Поэзія «не балуетъ, а *очищаетъ вкусъ*»; отсюда—«эстетическая полировка ощущеній (*κάθαρσις φόβου καὶ ἐλέου*), которую нѣкогда старикъ Аристотель поставлялъ въ необходимый законъ ужасающей трагедіи»<sup>1)</sup>.

Какъ «вѣрное зеркало» природы, поэзія отличается «естественностью, оригинальностью и народностью». *Естественность* есть непремѣнное «условіе искусственнаго изящества — требованіе вѣковъ, а не... вѣка». Подъ ней разумѣется не то, что «разсказываемыя событія *могутъ случиться* со всякимъ. Для истинно поэтической естественности не довольно одной возмож-

---

<sup>1)</sup> Ср. Deutsche National-Littetatur, 129, 1. Schillers Werke. Zwölfter Teil, erste Abteilung, S. 404: «Freilich darf der Dichter auch die schlechte Natur nachahmen, und bei dem Satirischen bringt dieses ja der Begriff schon mit sich aber in diesem Fall muss seine eigne schöne Natur den Gegenstand übertragen und der gemeine Stoff den Nachahmer nicht mit sich zu Boden ziehen. Ist nur er selbst, in dem Moment wenigstens, wo er schildert, wahre menschliche Natur, so hat es nichts zu sagen, was er uns schildert; aber auch schlechterdings nur von einem solchen können wir ein treues Gemälde der Wirklichkeit vertragen. Wehe uns Lesern, wenn die Fratze sich in der Fratze spiegelt, wenn die Geißel der Satire in die Hände desjenigen fällt, den die Natur eine viel ernstlichere Peitsche zu führen bestimmte, wenn Menschen, die, entblösst von allem, was man poetischen Geist nennt, nur das Affentalent gemeiner Nachahmung besitzen, es auf Kosten unsers Geschmacks greulich und schrecklich üben».

ности, — нужна нравственная *необходимость* событій; нужно, чтобы происшествія, составляющія историческую цѣлость» романа, драмы или поэмы, «были такого рода, что *не могли бы не случиться* съ дѣйствующими лицами *въ силу даннаго имъ характера* и обстоятельствъ, въ коихъ они поставлены; нужно, чтобы сіи самыя обстоятельства не снижывались въ одно пестрое ожерелье по капризному своеволію автора, а развивались сами изъ себя по законамъ всеобщаго порядка нравственной вселенной». — *Оригинальность* важна потому, что выражается въ «покушеніяхъ итти новою непроторенною дорогою»; а «каждый новый шагъ духа человѣческаго, хотя бы онъ былъ самый ошибочный, обогащаетъ лишнимъ фактомъ исторію человечества и—слѣдовательно—имѣетъ цѣну въ глазахъ наблюдателя». «*Оригинальность* или *самообразцовость* сколь бы ни была уродлива и безобразна сама въ себѣ, можетъ спасти запечатлѣнное ею произведеніе отъ забвенія и дать ему уголокъ въ археологическомъ музеемъ». — Не меньшее значеніе, чѣмъ оригинальность, имѣетъ *народность*, которая состоитъ не «въ искусствѣ накидывать русскія пословицы и поговорки, гдѣ ни попало», не въ «именахъ и нарядахъ», а въ отраженіи «внутренняго духа великаго человѣческаго семейства, составляющаго націю. Этотъ духъ отливается на каждомъ народѣ особенною характеристическою фізіономіей, коей черты, раздробленныя въ многочисленныхъ и многоразличныхъ звеньяхъ, изъ которыхъ онъ составляется, бывъ возведены подъ одинъ всеобъемлющій взоръ, представляютъ одно полное цѣлое». Знаніе исторіи способствуетъ точному отраженію народности; характеры историческихъ лицъ должны быть «развиты и объяснены» правдиво, «безъ искаженія».

«*Соразмѣрность съ цѣлію безъ цѣли*» (Zweckmässigkeit ohne Zweck) является «началомъ эстетическаго изящества». Этому положенію «знаменитаго» Канта вполне удовлетворяетъ поэзія. Изыщное произведеніе «имѣетъ единственную цѣль свою въ самомъ себѣ, не подчиняясь никакимъ внѣшнимъ постороннимъ видамъ»; оно—«свободное изліяніе свободнаго духа», не создается «на заказъ, по ремесленническимъ расчетамъ». «Сію-то глубокую мысль, облеченную Кантомъ въ трансцендентальный туманъ, великій Шиллеръ выразилъ съ поэтической силою въ прекрасномъ отвѣтѣ Рудольфа престарѣлому пѣснопѣвцу:

„Nicht gebieten werd'ich dem Sanger. .  
. . . . .  
Er steht in des grosseren Herren Pflicht,  
Er gehorcht der gebietenden Stunde:  
Wie in den Lufften der Sturmwind saust,  
Man weiss nicht von wannen er kommt und braust,  
Wie der Quell aus verborgenen Tiefen:  
So des Sangers Lied aus dem Innern schallt,  
Und wecket der dunkeln Gefuhle Gewalt,  
Die im Herzen wunderbar schliefen“.

Творецъ поэтического произведенія — «оригинальный» и «самобытный» *геній*, «сжидительный духъ, воззывающій изъ нбдръ своихъ собственныя самородныя и самообразныя изящныя формы для воплощенія вчныхъ идей, созерцаемыхъ имъ во всей небесной ихъ лпотѣ». Геній—«Deus in nobis». «Его солнце есть идеаль вчной красоты. Онъ можетъ составлять звено въ планетной системѣ геніевъ, обращающихся вокругъ одного средоточнаго начала, но никогда не можетъ и не долженъ быть спутникомъ другого генія!» Какъ могучая сила, геній «неудобомыслимъ безъ *законовъ*, сообщающихъ опредѣленное направление его дѣятельности и опредѣленный характеръ бытію его. Для силъ физическихъ, мертвыхъ и слѣпыхъ, сіи законы суть непреложныя уставы верховнаго міроправительнаго порядка, коимъ онѣ повинуются съ безусловною покорностью, непрекословно и неуклонно. Но силы, составляющія духовный организмъ человѣческой, суть *силы свободы*. *Онѣ дѣйствуютъ сами изъ себя, по собственнымъ своимъ представленіямъ, навлреніямъ, расчетамъ и даже прихотямъ*,—почему вчные законы, предначертанныя имъ благою матерію природою, не имѣютъ для нихъ столь же безусловно обязательной силы, какъ для безжизненныхъ сестеръ ихъ. *Пользуясь правомъ свободнаго выбора, онѣ властны располагать своею дѣятельностію, какъ имъ угодно; властны настраивать ее въ любые тоны, направлять по любымъ дорогамъ, устремлять къ любой цѣли*. Отсюда безпрестанныя волнованія умовъ, воли и вкусовъ, составляющія существенный характеръ исторіи духа человѣческаго! . . Но, вѣдь, истинный то путь можетъ быть только одинъ; безчисленны лишь распутія. Тогда только свобода, составляющая стихію бытія человѣческаго, есть истинная свобода, достойная разумно-нравственныхъ существъ, а не капризное своеволие,

когда она сама изъ себя, не по рабскому инстинкту, но по благородному самоотверженію, добровольно подчиняетъ себя вѣчнымъ законамъ мудрой природы. Сіе благоговѣнное самоподчиненіе должно составлять высочайшее достоинство генія, какъ любимаго первенца природы и свободы въ дѣйствіяхъ разума». По опредѣленію Шеллинга, *«геній есть высочайшее гармоническое сліяніе въ человѣкѣ безконечнаго съ конечнымъ, свободы съ необходимостію»*, то-есть онъ «долженъ состоять въ сообразности высочайше-свободныхъ творческихъ силъ духа чело-вѣческаго съ необходимостію вѣчнаго порядка міродержавной законодательницы природы». Яснѣе говоритъ Кантъ, «называя геній *естественнымъ дарованіемъ души, чрезъ которое природа даетъ искусству правила*. Это значитъ, что генію принадлежитъ только высшая исполнительная власть уставовъ природы, единой верховной законодательницы искусства. Итакъ, *для генія существуютъ свои непреложные законы, коимъ онъ долженъ покоряться и за невыполненіе коихъ подлежитъ суду и отвѣту. Хранилище сихъ священныхъ законовъ, неоспоримо, есть самъ духъ чело-вѣческой—этница отображающая и созерцающая въ самой себѣ всю природу*».

Геній легко читаетъ «великую книгу природы», почерпая изъ нея «матеріалы и краски»; онъ «смотритъ на вселенную не сквозь одноцвѣтный микроскопъ ученыхъ системъ, но сквозь радужную призму живыхъ, младенчески простыхъ и довѣрчивыхъ ощущеній». А чтобы имѣть «чувство зоркое и здоровое, изощренное надлежащимъ образомъ, чтобы постигнуть и усвоить прелести природы» геній долженъ «выдержать строжайшій искусъ». «Посвящающимся въ таинства творческаго искусства» «ничто не достается даромъ».

„Qui studet optatam cursu contingere metam,  
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit,  
Abstinit venere et vino; qui Pythia cantat  
Tibicen, didicit prius extimuitque magistrum“.

«Но, говорятъ, поэтический инстинктъ можетъ замѣнить для генія всю школьную пыль учености! Природа де познается не изъ книгъ и не за скамьями: сердце свое можно изучать самому, безъ указки профессорской»: «вѣдь, Гомеръ и Шекспиръ не учились въ университетахъ».—Подобное возраженіе не выдерживаетъ критики. «Гомеръ учился всю жизнь свою: его «Иліада» и «Одиссея» написаны не по однимъ слухамъ, а съ собствен-

ныхъ долговременныхъ наблюдений надъ обычаями различныхъ странъ и народовъ. Что до Шекспира», то на него немислимо «ссылаться какъ на образецъ генія-неуча. Шекспиру не совѣмъ была чужда классическая древность, составляющая издавна родовое наслѣдіе всѣхъ европейскихъ націй». «Творецъ Генриха IV и двухъ Ричардовъ» «смелъ» не мало «пыли со старинныхъ отечественныхъ лѣтописей». «Гомеръ и Шекспиръ знали, слѣдовательно, природу и сердце не по одному только инстинкту. Оттого-то ихъ творенія дышатъ поэтической истиною и составляютъ наслѣдственное богатство всего человѣчества».

Такъ «извлекаются изъ наблюдений» надъ бессмертными художественными произведеніями «законы искусническаго творчества». Подобные «законы, будучи собраны и приведены въ систематическій порядокъ, составляютъ» особое «уложеніе», «содержащее въ себѣ правила», которымъ «должны быть безпрекословно подчиняемы» всѣ наши «творческія дѣйствія и по которымъ должны судиться всѣ преступленія» «противъ добраго вкуса». Этими законами, обыкновенно, руководствуется критикъ, жаждущій истины и желающій быть полезнымъ обществу. Хорошій критикъ не можетъ «принадлежать ни къ какой партіи», ибо «партіи въ области изящныхъ искусствъ», отражающихъ «вѣчную гармонію»,—явленіе глубоко ненормальное, причина «раздора и междоусобій въ святилищѣ кроткихъ харитъ»<sup>1)</sup>; онъ можетъ быть лишь приверженцемъ извѣстной «школы художества», имѣющей свои «особенные отгѣнки въ способахъ воплощать единое прекрасное». Внѣпартійнымъ считалъ себя и нашъ мыслитель, приступая къ оцѣнкѣ современной ему русской литературы. Къ ней предъявлялъ онъ свои строгія требованія,— и сразу увидѣлъ, насколько теорія расходится съ практикой, какъ далека дѣйствительность отъ намѣченнаго имъ идеала. Съ неумолимою логическою послѣдовательностію пришелъ онъ къ самымъ печальнымъ выводамъ, и не могъ не разочароваться<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Ср. А. W. Schlegel. Sämmtliche Werke. Leipzig, 1846. Fünfter Band, S. 12: «Die einseitige unwillkürliche Vorliebe macht keineswegs den Kunstkenner, sondern im Gegenteil die freie Haltung über abweichenden Ansichten mit Verläugnung persönlicher Neigungen».

<sup>2)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 21, стр. 14—24; № 22, стр. 83—85; 89—103; 1829, № 1, стр. 18—19; № 3, стр. 220—227; № 7, стр. 200—201, 204—205; 210—211; № 8, стр. 295—296, 299—301; № 9, стр. 17—22, 25, 38—40, 42—

Въ самомъ дѣлѣ, «какое странное зрѣлище представлялъ нашъ Парнасъ?» «Истинная красота, кажется, одна,—и посему всѣ посвящающіе себя ей служенію не должны бѣ ли были составлять одинаго священнаго братства, проникаемаго и оживотворяемаго единымъ духомъ любви?» Но между тѣмъ «сыны благодатнаго Феба, жрецы кроткихъ музъ, только что не вцѣпляются другъ другу въ волосы. Куда ни обернись—вездѣ шумъ и крикъ, вездѣ смуты и сплетни, вездѣ свары и брани. Кровь чернильная льется потоками въ междуособныхъ сѣчахъ», и перья-стрѣлы «изощряются только на взаимное поражение и истребленіе. Это чудное состояніе нашей литературы имѣетъ, однако, свои основанія, изъ коихъ легко изъясняется. Времена безначалія и самоуправства были всегда временами междуособій и въ политическомъ мірѣ. По ниспроверженіи всѣхъ законовъ и правъ, назидующихъ всеобщее благоденствіе на сосредоточеніи всѣхъ умовъ и воли въ единое гармоническое цѣлое, остается только одно *кулачное право (Faustrecht)*! Имъ сопровождалась нѣкогда анархія, порожденная политическимъ романтизмомъ среднихъ вѣковъ,—и, по естественному порядку вещей, оно же является теперь и въ нашей литературѣ, увлеченной во всѣ ужасы безначалія лживымъ призракомъ романтической свободы. Послѣ того, какъ законодательная власть здраваго вкуса признана торжественно несомвѣстною съ безусловною свободою генія и отвергнута, какъ широкое злоупотребленіе; послѣ того, какъ освященныя древностью и оправданныя вѣковыми опытами правила, составлявшія доселѣ коренное уложеніе критическаго судопроизводства, провозглашены постыдными оковами, осрамляющими безграничное самодержавіе творящаго духа, и отринуты съ поруганіемъ и презрѣніемъ, какъ ребяческія погремушки, забавляющія работѣльную посредственность; послѣ того, удивительно ли, что каждая оторви-голова» «безбоязненно восхищается себѣ право литературнаго Робеспьера и готова отстаивать возвышенный постъ, захваченный ею въ смутныя времена всеобщаго тревоженія? . . . Своя рука владыка, когда законы теряютъ владычество! И ежели правда, ограждаемая всею силою законовъ, рѣдко находитъ благоприятный доступъ къ слуху обличаемаго самолюбія, то чего должно ожидать ей въ сіи

---

46; № 10, стр. 128 — 129; № 11, стр. 198 — 202, 207, 213 — 214, 216 — 217; №№ 22—23; 1830, № 7, стр. 213—215; 219, 224.

бурныя времена своеволя и самоуправства, когда каждое литературное насѣкомое расправляетъ съ гордостію свое крапивное жало, чтобы колоть всякаго, осмѣливающагося отказывать въ незаслуженномъ удивленіи его великимъ подвигамъ, которые дивятъ весь, обитаемый имъ, муравейникъ». Оттого русская литература, эта «бѣдная Пенелопа»—«предметъ опасеній, надеждъ и желаній» нашего критика—«во цвѣтѣ юности повита вдовымъ печальнымъ крепомъ». Лихая бѣда приключилась съ нею! «Долго придется ей оставаться безплодною пустынею», если особаго типа «штукари безнаказанно будутъ наѣздничать по полямъ ея! Затопчутъ послѣднія добрыя сѣмена, ввѣряемая имъ рукою благомыслящихъ дѣлателей».

«Геніи - скороспѣлки», «автодидактическіе всезнайки», «не оперившись», «уже выпорхнули изъ гнѣзда» и «перетряхиваютъ грузинъ архивъ своихъ чудо-богатырскихъ вдохновеній, въ коихъ умъ заходитъ за разумъ, и оба зги не видятъ, дабы выбрать наиэирнѣйшія изъ нихъ для украшенія новаго альманаха, угрожающаго немедленнымъ появленіемъ литературному небосклону». «Безуміе» скороспѣлокъ «есть настоящее безуміе. *Ихъ восторги суть подлинныя грезы—безъ связи, порядка и цѣли*», такъ какъ для этихъ «грезъ они не поставляютъ никакой цѣли», чтобы «пустить пыль въ глаза добрымъ людямъ, которые, не довѣряя себѣ, ставятъ все безсмысленное, несвязное и нелѣпое на счетъ собственной непроницательности и глубокомыслія авторовъ. Итакъ, нынѣшніе поэты, вопреки Кантову законоположенію, *безцѣльны съ цѣлію*». Они *«знаютъ природу и сердце лишь по наслышкѣ*: вотъ почему и творенія ихъ представляютъ не исторіи природы и сердца, а различныя исторіи о природѣ и о сердцѣ. *Неестественность и нелѣпость составляютъ ихъ отличительное качество*». «Самобытность и самозаконность генія» выражается отнынѣ въ томъ, что *«кругъ его дѣйствования не ограниченъ тѣсными предѣлами возможности*». «Скучные вопросы: какъ? и почему?—позволительны только на диспутахъ: вдохновеніе отвергаетъ ихъ съ жалкимъ презрѣніемъ. Поэзія простираетъ таинственный покровъ на желѣзную цѣпь причинъ и дѣйствій; она отвѣчаетъ на всѣ розыски и разспросы брюзгливаго разсудка съ истинно Сократическимъ чистосердечіемъ: *не знаю!* И это: *не знаю!* имѣетъ высочайшую поэтическую прелесть!» «У насъ живутъ, дѣйствуютъ и абонируются на славу и на безсмертіе, не *потѣя*, по старинному, *въ тяжелькихъ трудахъ*»,



а «попросту — припѣваочи». «Самозаконные геніи, закусивъ узду правилъ, пустились со всѣхъ четырехъ ногъ, на славу, не взвидя свѣта, ни дорогъ», и «смѣшно было бы измѣрять циркулемъ и подводить подъ математическія формулы бурный бѣгъ ихъ. Произведенія подобныхъ геніевъ всегда бываютъ *изъ роду вонъ*. А ни одинъ еще Кювье не составилъ доселѣ полной систематической классификаціи для всѣхъ выродковъ, коихъ произведеніемъ иногда бываетъ угодно забавляться природѣ».—Наши «записные писаки безпрестанно бредятъ идеалами», декламируютъ отрывки изъ нѣмецкихъ эстетическихъ теорій о поэзіи»<sup>1)</sup>, а сами, между тѣмъ, «разрождаются безъ всякихъ болѣзней и трудовъ недоношенными» твореніями. И «въ толпѣ безчисленныхъ метеоровъ, возгорающихся и блуждающихъ въ нашей литературной атмосферѣ», почти не встрѣчаются такіе, въ которыхъ бы «открылось сіе таинственное пареніе генія въ горнюю страну вѣчныхъ идеаловъ». Да и «не безсовѣстно ли требовать отъ творенія единства и сообразности съ идеею, когда самъ творецъ не имѣетъ часто въ головѣ яснаго и опредѣленнаго понятія о томъ, что онъ хочетъ писать; а просто пишетъ то, что на умъ взбредетъ?»<sup>2)</sup>.

«Романтическія завыванія, именуемая мелодіями; безалаберныя туры на колесахъ, называющіяся поэмами и отрывками изъ поэмъ; уродливыя фарсы, слывущіе національными повѣстями, и другія подобныя штуки»—не оригинальны ни по содержанию, ни по формѣ. «Все взято на прокатъ! Все до нитки чужое!». . . Содержание заимствуется обыкновенно изъ «обшир-

<sup>1)</sup> Часто раздаются «пышные возгласы, составленные изъ высокопарныхъ фразъ, вытянутыхъ со грѣхомъ пополамъ изъ иноземныхъ программъ и журналовъ» (*Вѣстникъ Европы*, 1830, № 7, стр. 196).

<sup>2)</sup> «Мы сдѣлали бы ужасный литературный анахронизмъ, вздумавъ искать въ разбираемыхъ нами повѣстяхъ идеи, которая составляла бы ихъ эстетическую душу, и по мѣрѣ сообразности съ коею можно было бы произнести сужденіе о внутреннемъ поэтическомъ достоинствѣ самой наружной ихъ отдѣлки. Это значило бы искать *порожняго мѣста*. Сотни Пигмалионовъ самыми жарчайшими лобзаніями не могли бы пробудить малѣйшей жизненной искорки въ этихъ разряженныхъ куколкахъ. Да и къ чему это?.. Статочное ли дѣло налагать на поэта тяжелую обязанность говорить о *чемъ-нибудь*?—Эта смѣшная quidditas годна только для студенческихъ диссертаций! У насъ главный законъ: пиши, пока пишется, ... не размышляя о томъ, что пишется! Чѣмъ менѣе холоднаго смысла, тѣмъ огненнѣе поэзія» (*Вѣстникъ Европы*, 1829, № 2, стр. 154—155).

наго архива уголовныхъ дѣлъ, составляющаго нынѣ, по несчастію, единственную сокровищницу поэтическихъ вымысловъ». Парнассъ, «обитель небесныхъ музъ», «превращается въ острогъ» либо «лобное мѣсто». «Душегубство есть любимая тема нынѣшней поэзіи, разыгрываемая въ безчисленныхъ варіаціяхъ: рѣзанья, стрѣлянья, утопленничества, давки, замороженья. . . et sic in infinitum! Самый изобрѣтательнѣйшій инквизиторъ вѣка Филиппа II подивился бы неистощимому разнообразію убійствъ и самоубійствъ, измышляемыхъ настоящими геніями въ услажденіе и назиданіе наше!» «Поэзія съ какимъ-то неизъяснимымъ удовольствіемъ бродитъ по вертепамъ злодѣяній, омрачающихъ природу человѣческую; съ какою-то безстыдною наглостью срываетъ покровъ съ ея слабостей и заблужденій», — и невольно становится «жаль, что не существуетъ поэтической уголовной палаты». . . Забѣты старины забыты. Нѣтъ болѣе влеченія ко «всему доброму, свѣтлому, мелодическому—радующему и возвышающему душу». Не прославляются «великіе подвиги и невинныя наслажденія человѣчества!» Стихло пѣніе Орфея, укрощавшаго лютыхъ звѣрей; смолкли волшебные звуки Амфіоновой лиры, оживлявшей могучею силой бездушные камни; пѣвецъ не поетъ «о любви благодатной»,

О всемъ, что святого есть въ мірѣ,

Что душу волнуетъ, что сердце манитъ.

«Наши пѣвцы воздыхаютъ тоскливо о блаженномъ состояніи первобытной дикости и услаждаются живописаніемъ бурныхъ порывовъ неистовства. Богъ судья покойнику Байрону», который своимъ «мрачнымъ спиною заразилъ» всю современную изящную словесность, «преобразилъ ее изъ улыбающейся Хариты въ окаменяющую Медузу» и далъ образецъ литературной формы, — «богатое поэтическою гармоніею платье», пришедшее такъ «не въ пору» злополучнымъ созданіямъ русскихъ стихотворцевъ. «Правда, самого Байрона винить не за что. Онъ былъ то, чѣмъ сотворили его природа и обстоятельства. Невозможно не преклонить колѣнъ предъ *величіемъ его генія*; но невозможно, вмѣстѣ, и удержать горестнаго вздоха о томъ, что сія исполинская сила души, для которой рамы дѣйствительности были столь тѣсны, не просвѣтлялась яснымъ взоромъ на вселенную и не согрѣвалась кроткою теплотою братской любви къ своимъ земнымъ спутникамъ». Но «мрачное человѣконенавидѣнье» поэта, его «враждебная апатія ко всѣмъ кроткимъ и мирнымъ наслажденіямъ, пред-

ставляемымъ намъ благою природою», способность «проливать окрестъ себя ужась и трепеть»—принадлежали собственно ему самому и составляли *оригинальную печать его генія*. Посему Байронъ есть и останется навсегда великимъ, хотя и зловѣщимъ, свѣтиломъ на небосклонѣ литературнаго міра. — То бѣда, что сія грозная комета, изумивъ появленіемъ своимъ вселенную, увлекла за собой всѣ безчисленные атомы, вращающіеся въ литературной атмосферѣ, и образовала изъ нихъ хвостъ свой. Всѣ наши доморощенные стиходѣи, стяжавшіе себѣ лубочный дипломъ на имя поэтовъ дюжиною звонкихъ и богатообриемованныхъ строчекъ, помѣщенныхъ въ альманахахъ и расхваленныхъ журналами, загудѣли à la Byron.

Запѣли молодцы: кто въ лѣсъ, кто по дрова;

И у кого чтò силы стало!“

У нихъ есть непреодолимое тяготѣніе къ «туманной безднѣ пустоты, безъ протяженья и границъ, безъ неба, свѣта и свѣтиль, безъ времени, безъ дней и лѣтъ, безъ промысла, безъ благъ и бѣдъ»,—но они никогда не переживали и не были способны пережить тягчайшій «нравственный кризисъ», выпавшій на долю Байрона; они не въ силахъ были постичь «страшный хаосъ, созданный его гигантской фантазіей»; они—бездарны, произведенія ихъ — ничтожны; ихъ Парнасъ — «желтый домъ»! «Всѣ ихъ герои суть или ожесточенные изверги, или заматорѣвшіе въ бездѣльничествѣ повѣсы. *Главнѣйшими изъ пружинъ, приводящими въ движеніе весь поэтический машинизмъ ихъ*, обыкновенно, бываютъ: пуншъ, ай, бордо, дамскія ножки, будуарное удалство, площадное подвижничество<sup>1)</sup>. Самую любимую *сцену дѣйствія* составляютъ: муромскіе лѣса, подвижные бессарабскіе наметы, магическое уединеніе овиновъ и бань, спаленные закоулки и Чермопилы. Оригинальные *костюмы* ихъ:

Копыта, хоботы кривые,  
Хвосты хохлатые, клыки,  
Усы, кровавы языки,  
Рога и пальцы костяные!

---

<sup>1)</sup> Спусти семь лѣтъ Пушкинъ писалъ: «Уже «словесность отчаянія» (какъ назвалъ ее Гёте), «словесность сатаническая» (какъ говоритъ Соутей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр.,—эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинаетъ упадать даже и во мнѣніи публики» (*Современникъ*, 1836, т. III, стр. 100).

Торжественный оркестръ ихъ—

Визгъ, хохотъ, свистъ и хлопъ,  
Людская молвь и конскій топъ!<sup>а</sup>

Однимъ словомъ, «наши байронисты» изображаютъ «все, что только можно выдумать самаго чудовищнаго, отвратительнаго и грязнаго»—«всѣ подонки природы!»

*Стиль* новѣйшихъ произведеній и *версификація*—убоги. «Богатая сокровища нашего языка, теряющагося своими корнями въ неистощимомъ рудникѣ языка славянскаго—благодаря гортанобѣсью, слывущему у насъ вкусомъ гостиныхъ—предаются спокойно въ добычу ржѣ и тлѣнью. Ухо нашихъ витязей ломбернаго стола и вертячей мазурки, пріучившись слышать звуки русскаго языка изъ однихъ эпиграммъ, мадригаловъ и поэмъ новаго фасона, избаловалось до такой степени, что спотыкается на каждомъ выраженіи, не освященномъ фирмою *Дамскаго Журнала* или, по крайней мѣрѣ, *Сѣверной Пчелы* съ компаніей. И что изъ этого должно выйти? Совершенное обнищаніе языка русскаго, которое и теперь уже для многихъ слишкомъ ощутительно, несмотря на хвастовство, съ коимъ мы вездѣ и всегда рассказываемъ о нашемъ богатствѣ».—«Обнищаніе» замѣтно и въ «музыкальной сторонѣ» произведеній. «Искусственные диссонансы» «дразнятъ и тиранятъ угрюмый вкусъ нарочно произведенною дисгармонією». Поэты - деспоты, «самодержавные гении», проявляютъ необыкновенное «самовластіе», «не стѣсняются принятыми правилами просодіи: они смѣло отсѣкаютъ у словъ слишкомъ длинные хвосты, которые не умѣщаются на прокрустовомъ ложѣ четверстопаго ямба».

Литературныя неурядицы огорчаютъ критика. — Кажется, «сердца наши отверсты для ощущеній прекраснаго и высокаго, и если не мы, то, по крайней мѣрѣ, добрые старики наши умѣютъ восхищаться величественнымъ пареніемъ Ломоносова, бурнымъ одушевленіемъ Державина, таинственною мечтательностію Жуковскаго, нѣжной уныlostью Батюшкова, несмотря на ихъ классическую кровобоязнь и антиромантическое миролюбіе. Отчего бы нашимъ поэтамъ не попытаться приобѣгнуть къ другому, менѣ шумному, но болѣе надежному средству возбуждать эстетическое участіе! Отчего бы не допустить имъ въ поэтическій машинизмъ свой, кромѣ кинжала и яда, другихъ пружинъ, менѣ смертоносныхъ, но не менѣ дѣйствительныхъ? . . . Не могло ли бы съ избыткомъ замѣнить всю эту романтическую сту-

котню и рѣзню — существенное достоинство и величіе изображаемыхъ предметовъ, наставительная знаменательность драпировки, не ослѣпительная для умственного взора свѣтлость мыслей, не удушительная теплота ощущений? . . А этого-то, по несчастію, и не достааетъ въ нашихъ новыхъ поэтическихъ произведеніяхъ! Они обращаются около предметовъ совершенно ничтожныхъ: одѣваются въ маскарадные костюмы, представляющіе уродливое смѣшеніе этнографическихъ и хронологическихъ противорѣчій; блестятъ пошлыми двуличными остротами; дышатъ чадными и нерѣдко смрадными чувствами», — и передъ глазами критика «развертывается страшная фантазмагорія чудовищнаго *нигилизма*», «со всѣми гибельными его послѣдствіями». «Правда твоя, добрый старикъ Аскрейскій: Ἐκ Χάεος δ' Ἐρεβός τε μέλαινά τε Νύξ ἐγένοντο!». «Еще со временъ Талеса ведется философическая поговорка: изъ ничего ничего не бываетъ. Она оправдывается и теперь непреложными опытами» . . . Невольно «стѣсняется сердце», и спрашиваешь самого себя: «Неужели для бѣдной нашей литературы никогда не будетъ возврата съ зимы на лѣто? Неужели ей вѣчно мыкаться въ мрачной преисподней губительнаго нигилизма? . . ». «Нѣтъ, это невозможно!

Какъ бы ночь

Ни длилася и неба ни темнила,

А все разсвѣта намъ не миновать!

Не можетъ быть, чтобы слово, наилучшее произведеніе наилучшаго созданія Божія, оставалось всегда добычею безсмыслія и органомъ развращенія. Будетъ время, когда животворный свѣтъ кроткой и смиренной мудрости озаритъ мрачный хаосъ буйнаго и всепрезирающаго невѣжества; когда чувства, притупленные черезъ сладострастное пресыщеніе преступными наслажденіями, обновятся дѣвственною непорочною чистотою и сдѣлаются достойными органами внятія горнихъ таинственныхъ впечатлѣній; когда фантазія, сія радужная Ирида вѣчной превыспренней красоты, перестанетъ скитаться блудящимъ огнемъ по грязнымъ болотамъ, но, раскинувшись золотою дугою мира въ свѣтлыхъ эфирныхъ странахъ, будетъ соединять небо съ землею, горная съ дольными; когда слово проливаться будетъ отъ избытка сердца чистаго, раствореннаго святою любовью ко всему доброму, истинному и прекрасному! . .

Еще лежитъ на небѣ тѣнь!

Еще далеко свѣтлый день!

Но живъ Господь! Онъ знаетъ срокъ!  
Онъ вышлетъ утро на востокъ!<sup>1</sup>

Среди ночного мрака уже начинается брезжить разсвѣтъ: какъ лучъ денницы, блеснулъ талантъ Пушкина, предвѣщая восходъ яркаго солнца<sup>1</sup>).

«Мощный, богатый» талантъ Пушкина есть «сокровище неподдѣльное, съ котораго цѣна никогда спастись не можетъ»; онъ поражаетъ «цвѣтущею игривостью воображенія», «плѣнительной гармоніей» «гладкихъ, плавныхъ, легкихъ стиховъ»; его удѣлъ— «играть блестящей звѣздой на горизонтѣ нашей словесности» и «не зависѣть отъ прихотей моды». «Возвышаясь *безжонечно* надъ тѣми, кои сами себя нахально выдаютъ за Кузней и Гизотовъ» съ пѣлюю «заполонить общее мнѣніе безстыдною дерзостью»; умѣя «двумя словами обрисовать характеръ дѣйствующаго лица лучше, вѣрнѣе и полнѣе», чѣмъ иной писака—«въ четырехъ полновѣсныхъ томахъ»<sup>2</sup>), Пушкинъ все-таки не долженъ быть признанъ гениемъ, такъ какъ «вступилъ въ планетную систему Байрона и, слѣдовательно, обращается не окрестъ самого себя, а окрестъ высшаго солнца». Уваженіе къ поэту проявляется не въ томъ, что его «присосѣдятъ къ Шекспиру, Данту или Байрону». «На поэтическомъ ристалищѣ не одни только сильные могучіе атлеты, съ богатырскою силой и колоссальными мышцами,

<sup>1</sup>) Въ своихъ взглядахъ на положеніе современной ему русской литературы Надеждиныхъ имѣли единомышленниковъ. «У насъ нѣтъ еще ни словесности, ни книгъ», заявилъ Пушкинъ (1824 г.); «у насъ есть критика, и нѣтъ литературы», писалъ Марлинскій (1825 г.); «мы богаты именами поэтовъ, но бѣдны твореніями», по мнѣнію князя П. А. Вяземскаго (1822 г.); зданіе нашей литературы—«мнимое», и «положеніе въ литературномъ мірѣ— совершенно отрицательное», съ точки зрѣнія Д. В. Веневитинова (писано до 1827 г.).

О взглядахъ Надеждина см. *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 21, стр. 4—5, 8—9, 11—14, 16, 19, 24; № 22, стр. 83—89, 107; 1829, № 1, стр. 8—9, 20—21; № 2, стр. 102—105, 112—114, 151—152, 154—155, 161, 165, 168—169; № 6, стр. 151; № 7, стр. 202—204; № 8, стр. 287—290; 1830, № 6, стр. 202—204.—*Московский Вѣстникъ*, 1830, ч. I, № 4, стр. 401.

<sup>2</sup>) Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 7, стр. 224: «И я признаюсь охотно, искренно, что дожидаюсь семи новыхъ главъ Онѣгина съ бѣльшимъ нетерпѣніемъ и надѣюсь отъ нихъ большаго удовольствія, даже бѣльшей *чести* нашей литературѣ, чѣмъ отъ одиннадцати толстыхъ грудъ сумбуру, посвященнаго Нибуру».—Или: «Непонятно, за что про что кн. Вяземскаго *Сынъ Отечества* и *Сѣверный Архивъ* ватащилъ на одну доску съ *Пушкинымъ*» (Тамъ же, 1829, № 9, стр. 66).

могли имѣть право на вѣнцы и рукоплесканія!»... Скарронъ и Пирронъ, Берни и Аретинъ создавали поэтическія творенія и заняли хорошее «мѣсто на Парнасѣ». Аристофанъ и Апулей, Аріостъ и Вольтеръ, Свифтъ и Виландъ «истощали геній свой на построеніе чудныхъ гротесковъ», которымъ суждено «жить долго-долго» и пережить многое. И неужели для Пушкина «оскорбительно», если ему «предскажутъ ту же судьбу и ту же славу»?

Пѣвецъ «Руслана и Людмилы» можетъ «выработать изъ себя русскаго Аріоста», но, къ сожалѣнію, онъ иногда уклоняется отъ «своей дороги» и свой талантъ, свое сокровище, растрчиваетъ въ «угожденіе вѣтреному легкомыслію»<sup>1)</sup>. Съ замѣчательнымъ «своеволіемъ грязнить онъ часто лучшія свои изображенія», и, несмотря на то, его «своенравная кисть рисуетъ картинки, на которыя нельзя не засмотрѣться». Лишь «время и опытность» въ силахъ «угомонить рѣзвое скаканіе разгульной фантазіи» для блага поэта. «Эта необузданная шаловливость воображенія, помыкающая природою, какъ игрушкою, и уродующая безжалостно ея стереотипныя пропорціи, какъ бы для потѣхи надъ ея педантическою чиновностію и аккуратностію, чтò могла бы произвести, если бъ заключилась въ предѣлахъ эстетическаго благоразумія?»

Къ несчастію, жизненныя условія, въ которыя былъ поставленъ поэтъ, препятствовали нормальному развитію его дарованія. «Юный талантъ былъ замѣченъ слишкомъ скоро, оцѣненъ слишкомъ опрометчиво. Наша добродушная публика при видѣ новаго литературнаго явленія, пришедшагося ей совершенно по плечу, разахалась отъ удивленія, а услужливые прихлебатели «поддакивали общему мнѣнію». «Явленіе Бахчисарайскаго Фонтана, снабженное лихимъ предисловіемъ отъ извѣстнаго автора предисловія къ пріятельскимъ сочиненіямъ, произвело такую тревогу въ нашемъ литературномъ муравейникѣ, какой не производила въ Германіи Клопштокова Мессіада. Загорѣлась жестокая война на перьяхъ, и предисловщикъ, изувѣченный смертельно стрѣлами логики, изнесенъ былъ съ поля сраженія подъ щитомъ *Дамскаго Журнала*, купивъ, однако, своей неудачей Пушкину почетное

---

<sup>1)</sup> Пушкинъ, по его собственному признанію, «пародировалъ въ *угожденіи черни* дѣвственное поэтическое созданіе Жуковскаго («Двѣнадцать спящихъ дѣвъ») и подражалъ Аріосту (Критическія замѣтки, 1830, октябрь и ноябрь).

имя романтическаго поэта. Вскорѣ выстроился *Телеграфъ* заужжала *Пчела*. И тотъ, и другая наперерывъ старались расхваливать Пушкина, дабы прикрытъ его романтическою славою антиклассическое невѣжество. Такимъ образомъ, слава Пушкина—если можно назвать такъ молву, скитающуюся по гостинымъ и будуарамъ на крыльяхъ журнальныхъ листковъ, вмѣстѣ съ модами и извѣстіями о Лебедянскихъ скачкахъ»—*«созрѣла прежде, нежели онъ самъ успѣлъ развернуться!»* Разные «невѣжды» и «вертопрахи», знающіе поэта по-наслышкѣ, «хвалили въ немъ самихъ себя»; расчетливые «барышники» «сбирали жидовскіе проценты съ наемныхъ похвалъ своихъ, поддерживая на литературной биржѣ курсъ достоинства Пушкина» «изъ собственныхъ видовъ». Хвалители были «лютѣйшими врагами» того, кого хвалили, ибо «поднимать выше, нежели гдѣ можно держаться, значить заставлять падать больнѣе». Дѣйствительно! Прошло немного времени, и тѣ самые люди, которые, бывало, «крикивали больше всѣхъ и громче всѣхъ», стали «увѣрять, что на Пушкина была. . . мода и что теперь сія мода начинаетъ изживать вѣкъ свой. . . Не есть ли это торжественное признаніе, что имъ торговали доселѣ, какъ модной вещицею!»

Пушкина «огласили великимъ геніемъ, неподражаемымъ поэтомъ, представителемъ современнаго человѣчества, *русскимъ Байрономъ*—вѣроятно прежде еще, чѣмъ онъ узналъ о Байронѣ». . . И «можно ли быть слишкомъ строго и взыскательну къ молодому поэту за то, что онъ имѣлъ слабость—столь простительную нашей бѣдной человѣческой природѣ—повѣрить безразсуднымъ ласкательствамъ, вокругъ него раздававшимся? . . . Его зачадили дымнымъ куревомъ невыслуженной славы, *обайронили насильно*,—и онъ, увлекаясь своей слишкомъ талантливой звѣздой, началъ и въ самомъ дѣлѣ *байронить*. . . безталанно». Поэтъ сдѣлалъ большую ошибку: онъ постарался «придать» своему дарованію «фальшивый блескъ насильственной примѣсью веществъ чуждыхъ» и совѣтъ не подумалъ о томъ, что «*между нимъ и Байрономъ нѣтъ ни малѣйшаго сходства*». Пушкинъ не способенъ съ «сатаническимъ величіемъ» «святотатски обнажать дѣвственныя таинства неба и земли» и «ненавидѣтъ» все окружающее; онъ не въ силахъ рисовать «безотрадныя картины сиротствующаго бытія, коего летаргическое усыпленіе» нарушается «буйными порывами» бунтующихъ страстей; онъ «еще не переросъ скудной мѣры человѣчества, и душа его—даже



слишком—дружна съ земною жизнію. Ни отъ одной изъ его поэмъ не пышетъ этою могильною сыростью, отъ которой кровь стынетъ въ жилахъ при чтеніи Байрова. Его герои—въ самыхъ мрачнѣйшихъ произведеніяхъ его фантазіи», именно: «Братьяхъ разбойникахъ» и «Цыганахъ»—«не дьяволы, а бѣсенята. И ежели иногда случается ему понегодовать на міръ, то это бываетъ просто съ сердцовъ, а не изъ ненависти». Пушкинъ и Байронъ «не имѣютъ ничего общаго, кромѣ развѣ внѣшней формы изложенія», которая «никогда и нигдѣ не составляетъ главнаго». Русскій талантъ не могъ быть «соревнователемъ» англійскаго генія, и «жажды истинно прекраснаго» «не утолить тысяча фонтановъ, подобныхъ Бахчисарайскому»<sup>1)</sup>.

«Чародѣйская муза» Пушкина—«рѣзвая шалунья»; ей «не дано видѣть и изображать природу поэтически съ лицевой ея стороны, подъ прямымъ угломъ зрѣнія; она можетъ только мастерски выворачивать ее на изнанку». «Ея стихія—пересмѣхать все худое и хорошее» не изъ злобы или презрѣнія, а изъ желанія посмѣяться. «Это сообщаетъ особую фізіономію поэти-

<sup>1)</sup> Надеждинъ осуждалъ наклонность Пушкина «цыганить по-романтически» и съ искренней грустью писалъ: «О, бѣдная, бѣдная наша поэзія! долго ли ей скитаться по Нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбойническимъ вертепамъ» («Вѣстникъ Европы», 1828, № 22, стр. 83)?— Впрочемъ, и самъ Пушкинъ былъ недоволенъ своими произведеніями, и подчасъ не прочь былъ надъ ними «вдоволь посмѣяться». Поэмой «Кавказскій плѣнникъ»—сообщалъ онъ въ письмахъ своимъ друзьямъ—не будетъ «доволенъ» строгій цѣнитель, ибо въ ней «найдетъ малое, очень малое». «Просто плана близко подходитъ къ бѣдности изобрѣтенія; описаніе нравовъ черескескихъ не связано ни съ какимъ происшествіемъ и есть не что иное, какъ географическая статья, или отчетъ путешественника. Характеръ главнаго лица (а всего-то ихъ двое) прилпченъ болѣе роману, нежели поэмѣ, да и что за характеръ?» Онъ—«неудачень». Это доказываетъ, что авторъ «не годится въ герои романтическаго стихотворенія». Подтвержденіемъ справедливости этой мысли служить «Бахчисарайскій фонтанъ», который еще «слабѣе *Плѣнника*», представляетъ собою «безсвязные отрывки» и сильно «отзывается чтеніемъ Байрона». Въ поэмѣ замѣтно «неумѣніе изображать физическія движенія страстей», отчего трагическія сцены становятся «смѣшны, какъ мелодрама». Что касается «Цыганъ», то они «годятся для публики, но друзьямъ поэтъ «надѣется представить что-нибудь болѣе достойное вниманія» (Письма: барону А. А. Дельвигу отъ 23 марта 1821 г. и отъ 16 ноября 1823 г.; Н. И. Гнѣдичу отъ 24 марта 1821 г. и отъ 29 апрѣля 1822 г.; В. П. Горчакову 1821 г.; Л. С. Пушкину 1822 г.; кн. П. А. Вяземскому отъ 14 октября и 4 ноября 1823 г.; П. А. Катенину отъ 4 декабря 1825 г. — Критическія замѣтки, октябрь и ноябрь, 1830).

ческому направленію Пушкина, отличающую оное рѣшительно отъ Байроновой мизантропіи и отъ Жанъ-Полева юморизма» Пушкинъ—творецъ художественныхъ «пародій» и «блистаетъ только въ арабескахъ». Послѣ поэмы «Русланъ и Людмила», «представляющей прекрасную галлерей физическихъ арабесковъ»<sup>1)</sup>, онъ наиболѣе «на своемъ мѣстѣ» въ «Евгеніи Онѣгинѣ», «арабескѣ міра нравственнаго»<sup>2)</sup>. Въ романѣ Пушкина есть недостатки: мало глубокихъ, оригинальныхъ мыслей, дающихъ «новый способъ разрѣшенія труднѣйшихъ задачъ сердца человѣческаго»; замѣтно мѣстами подражаніе Байрону<sup>3)</sup>, Казимиру Делавиню<sup>4)</sup>, Державину<sup>5)</sup>, Жуковскому<sup>6)</sup>,—но зато встрѣ-

<sup>1)</sup> «Вообще я своей поэмой («Кавказскій плѣнникъ») очень недоволенъ», писалъ Пушкинъ В. П. Горчакову въ 1821 г.: «и почитаю ее *гораздо ниже*, Руслана, хотъ стихи въ ней зрѣлѣе». При этомъ не слѣдуетъ забывать, что «Бахчисарайскій фонтанъ», согласно отзыву поэта, еще «слабѣ Плѣнника».

<sup>2)</sup> Ср. письма Пушкина.—«Можетъ быть», сообщалъ онъ брату въ январѣ 1824 г.: «я пришло ему (Дельвигу) отрывки изъ Онѣгина; *это лучшее мое произведеніе*. Не вѣрь Н. Н. Раевскому, который бранить его—онъ ожидаль отъ меня *романтизма*, нашель *сатиру* и *цинизмъ*, и порядочно не разчуhalъ». Отзывы объ Онѣгинѣ очень интересовали поэта «Бестужевъ пишетъ мнѣ много объ Онѣгинѣ», увѣдомляетъ онъ Рылѣева: «Скажи ему, что онъ неправъ. Ужели хочеть онъ *изгнать все легкое и веселое изъ области поэзіи*? Куда же дѣнутся *сатиры* и комедіи? Слѣдственно, должно будетъ уничтожить и Orlando furioso, и Гудибразы, и Руселлы, и Веръ-Вера, и Рейнеке-фуксъ, и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова и проч. и проч. Это немного строго. Картины свѣтской жизни также входятъ въ область поэзіи» (Письмо отъ 25 января 1825 г.).

<sup>3)</sup> Ср. VII главу:

«Или, не радуясь возврату  
Погибшихъ осенью листовъ,  
Мы помнимъ горькую утрату,  
Внимая новый шумъ лѣсовъ».

«Только Байронъ могъ жалѣть о веснѣ, какъ объ утратѣ зимы» (*Вѣстникъ Европы*, 1830, № 7, стр. 208—209).

<sup>4)</sup> Описаніе могилы Ленскаго:

«На вѣтви сосны преклоненной,  
Бывало, ранній вѣтерокъ  
Надъ этой урною смиренной  
Качалъ таинственный вѣнокъ.  
Бывало, въ поздніе досуги,  
Сюда ходили двѣ подруги,  
И на могилѣ при лунѣ,  
Обнявшись, плакали онѣ».

чаютя «вѣрно набросанныя», «прелестныя» фламандскія картинки, «описаніе Москвы сдѣлано истинно Гогартовски»; «*plus ultra*» карикатурнаго изящества есть пародіальное изображеніе блаженной неизмѣняемости московскихъ антиковъ, запоздавшихъ отъ послѣдняго (XVIII) столѣтія; «прекрасными чертами» обрисована «деревенская Таня»... «Пальма поэтическаго живо-

---

Но нынѣ... памятникъ унылый  
Забить. Къ нему привычный слѣдъ  
Заглохъ. Вѣнка на вѣтви нѣтъ;  
«Одинъ, подъ нимъ, сѣдой и хилый  
Пастухъ по-прежнему поетъ  
И обувь бѣдную плететъ».

Здѣсь «слышится» подражаніе прекрасному заключенію прекрасной «Мессени» Казимира Делавина о Наполеонѣ:

«Et le pêcheur le soir s'y repose en chemin;  
Reprenant ses filets qu'avec peine il soulève,  
Il s'éloigne à pas lents, foule ta cendre, et rêve...  
A ses travaux du lendemain».

(*Вѣстникъ Европы*, 1830, № 7, стр. 211).

<sup>5)</sup> Изображеніе зимы:

«Вотъ сѣверъ, тучи нагоняя,  
Дохнулъ, завылъ—и вотъ сама  
Идетъ волшебница зима.  
Пришла, рассыпалась; клокамъ  
Повисла на сукахъ дубовъ;  
Легла волнистыми коврами  
Среди полей, вокругъ холмовъ;  
Брега съ недвижною рѣкою  
Сравнила пухлой пеленою;  
Блеснулъ морозъ. И рады мы  
*Проказамъ матушки зимы!*»

«Пышное описаніе» въ державинскомъ духѣ невыдержано, на чтó ясно указываетъ послѣдній стихъ приведеннаго отрывка. Пушкину не свойственна торжественность «пѣвца Фелицы».

<sup>6)</sup> Ср. VII главу:

«Быть можетъ, въ мысли намъ приходитъ,  
Средь поэтическаго сна,  
Иная, старая весна,  
И въ трепеть сердце намъ приводитъ  
*Мечтой о дальней сторонѣ,  
О чудной ночи, о лунѣ!*»

Вѣроятно, *подражанія*, встрѣчающіяся въ романѣ, побудили Надеждина еще въ 1829 году написать: «Для *генія* не довольно смастерить Евгенія» (*Вѣстникъ Европы*, 1829, № 8, стр. 301

писца», по праву, принадлежит Пушкину. Не одинъ «Онѣгинъ»<sup>1)</sup>, и другія «произведенія его исполнены картинами, схваченными съ натуры рукою мастерскою, одушевленною и—даже иногда слишкомъ—вѣрною». Въ «Графѣ Нулинѣ» цѣлый рядъ подобныхъ картинъ; читатель, увлеченный ими или мелодіей чудныхъ стиховъ, «невольно негодуешь» на ничтожность содержанія поэмы, которое заключается въ изображеніи «разстроенныхъ сердечныхъ дѣлъ» графа, совершающаго «ночное пилигримство». Несмотря на этотъ очень крупный недостатокъ, «Нулинъ»—одно изъ «лучшихъ» и удачныхъ твореній Пушкина. Но бывали случаи, когда поэтъ терпѣлъ неудачу. Это происходило, если онъ нарушалъ совѣтъ Горация:

„Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam  
Viribus“.

«Въ мірѣ все устроено по числу, мѣрѣ и вѣсу; каждая сила имѣетъ свой кругъ, свой масштабъ, свои пропорціи. Чтò жъ мудренаго, если и для духа человѣческаго, *на какой бы степени ни стоялъ онъ*,—одно по силамъ, а другое не по силамъ». Не можетъ быть удовлетворительнымъ выполненіе того произведенія, сюжетъ котораго не соотвѣтствуетъ дарованію поэта. Вотъ почему «Полтава» есть «настоящая Полтава для Пушкина», «испытавшаго здѣсь судьбу Карла XII». Авторъ поэмы въ своей «неистощимой веселости» переходитъ всякіе «предѣлы»: «шутить» ужасными «зрѣлищами» (казнь Кочубея); допускаетъ неестественность, заставляя «не любящаго ничего» старца «на порогѣ гроба вѣдать любовь»<sup>2)</sup>; плохо отражаетъ «народный духъ», безуспѣшно «поддѣływаясь» подъ «простонародный разговоръ»; на-

---

1) Романъ Пушкина вызвалъ много бездарныхъ подражаній: «къ фамиліи Онѣгинныхъ» принадлежитъ Арсеній (Изъ «Бала» Боратынскаго), «коего фізіономія теряется во мракахъ мистической неопредѣленности»; Борскій (герой поэмы Подолинскаго) тоже «достойный спутникъ Евгеньевъ», «которыхъ, по справедливости, надлежало бы назвать како-геніями или вырожденцами добраго вкуса» (*Вѣстникъ Европы*, 1828, № 22, стр. 81 — 82; 1829, № 2, стр. 158; № 6, стр. 144).

2) Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 37—38: «Статочное ли дѣло, чтобъ этотъ бѣлоусый Селадонъ, который, по собственному своему признанію, любилъ Марію *«больше славы, больше власти»*,—пожертвовалъ такъ безчеловѣчно отцомъ ея и рѣшился осудить его на пытку—для удовлетворенія низкому корыстолюбію?»

конецъ, становится «витіеватымъ»<sup>1)</sup> и употребляетъ неправильныя обороты рѣчи<sup>2)</sup>). Свои пробѣлы поэтъ, до нѣкоторой степени, искупаетъ «прекраснымъ отвѣтомъ Кочубея Орлику», хорошимъ «описаніемъ гонца, посланнаго къ Петру», и изображеніемъ самаго императора передъ Полтавской битвой. — Примѣръ «Полтавы» неволью наводитъ на мысль, что и начатый Пушкинымъ «Борисъ Годуновъ» не будетъ отвѣчать всѣмъ требованіямъ строгой критики. Превосходныя отдѣльныя сцены, уже напечатанныя въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* и *Денницѣ*<sup>3)</sup>, не давали гарантіи, что вся драма, какъ поэтическое цѣлое, будетъ превосходна. Исходя изъ своей оцѣнки пушкинскаго таланта, основанной на анализѣ байроническихъ поэмъ, «Руслана и Людмилы», «Нулина» и семи главъ (восьмая напеча-

1) «Его щедротою безмѣрной  
Осыпанъ, *дивно вознесенъ*...  
О, какъ слѣпа, безумна злоба:  
Ему ль теперь у двери гроба  
Начать *ученіе измѣнъ*».

2) «И потемнять *благую* славу?...  
Не онъ ли помощь Станиславу  
Съ негодованьемъ *отказалъ*?

У насъ, кажется, можно *отказывать что-нибудь* только въ завѣщаніяхъ послѣ смерти! Но куда, правда, соваться намъ съ подобными замѣчаніями, когда въ Полтавѣ—*самъ Мазепа сваталъ свою крестницу и былъ отказанъ*?

Стыдясь, отвергъ вѣнецъ Украйны,  
И договоръ, и письма тайны...

Вѣрно, уцѣченія опять входятъ въ моду!..

Къ царю, по долгу отослалъ?  
Не онъ ли *науценьямъ* хана  
И цареградскаго султана  
Былъ *глухъ*?

Кажется, можно быть *глухимъ къ чему-нибудь*, а не чему-нибудь!..

Такъ было время: съ Кочубеемъ  
Былъ другъ Мазепа: *въ оны дни*,  
Какъ солью, хлѣбомъ и *елеемъ*,  
Дѣлились чувствами они.

У насъ на Руси *аллобъ* точно неразлученъ съ *солью*; но о *елеѣ* упоминается только вмѣстѣ съ виномъ—да и то въ однихъ святцахъ» (*Вѣстникъ Европы* 1829, № 9, стр. 42—45).

<sup>3)</sup> Въ *Московскомъ Вѣстникѣ* (1827, № 1, стр. 3) напечатана «сцена лѣтописца», иначе «Келья въ Чудовомъ монастырѣ»; въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ на 1828 г.* (стр. 25)—«Граница литовская»; въ *Денницѣ на 1830 г.* (стр. 1—9)—двѣ первыя сцены изъ трагедіи «Борисъ Годуновъ» (Кремлевскія палаты; Красная площадь).

тана въ 1832 г.) «Онѣгина», Надеждинъ попробовалъ предсказать судьбу драмы и совѣтовалъ автору «разбайрониться добровольно и добросовѣстно, сжечь Бориса Годунова и докончить Онѣгина». Такъ судилъ онъ, не зная піесы Пушкина<sup>1)</sup>; узнавъ ее, онъ счелъ своимъ долгомъ отмѣтить ея большія достоинства и отъ чистаго сердца привѣтствовалъ «измѣненный тонъ» лиры «остепенившагося» поэта<sup>2)</sup>.

Въ отѣнкѣ Пушкина казался вѣрный своимъ эстетическимъ принципамъ критикъ *Вѣстника Европы*. Онъ выступилъ на литературное поприще въ пору «юныхъ, сладкихъ, наивно-прекрасныхъ» мечтаній, когда было сильно развито «самообольщеніе», «упоеніе нашими дивными подвигами» въ области поэзіи. Но «златыя игры первыхъ дней» не могутъ продолжаться долго; «всякое самообольщеніе должно имѣть свой срокъ», или оно сдѣлается вреднымъ. «Срокъ этотъ приближался», и насталъ съ появленіемъ первой статьи Надоумка. Онъ «нѣсколькими годами опередилъ поколѣніе, которое должно было понять его», не вызывалъ ни въ комъ сочувствія и «долго былъ предметомъ общаго изумленія». «И самъ онъ не могъ указать ни на кого, кто былъ бы человѣкомъ, какихъ желалъ онъ. Все, что видѣлъ онъ вокругъ себя, было достойно только разрушенія и отрицанія. И онъ явился какимъ-то злымъ духомъ отрицанія и разрушенія. Таково было положеніе Надоумка въ нашей литературѣ».

«Онъ одинъ тогда понималъ вещи въ ихъ истинномъ видѣ. Его не понималъ никто: и потому, что онъ высказывалъ истину, очень горькую для тѣхъ, кому говорилъ ее, и потому, что высказывалъ ее горько, и, болѣе всего, потому, что основанія, на которыя опирались его приговоры», были плохо извѣстны нашимъ

<sup>1)</sup> «Мы не знаемъ трагедіи Пушкина «Борисъ Годуновъ»; но, судя по известнымъ намъ отрывкамъ, видимъ въ ней переходъ къ этому идеалу, который уже выразительнѣе осуществленъ въ *Полтавѣ*», писалъ Кс. А. Полевой въ 1829 году (*Московский Телеграфъ*, 1829, № 10, стр. 231). — Въ 1830 году Надеждинъ могъ судить о «Борисѣ Годуновѣ» лишь предположительно, ибо даже 1 января 1831 года у самого автора не было ни одного экземпляра его драмы. «Жалѣю», писалъ поэтъ Н. А. Полевою: «что еще не могу доставить вамъ Бориса Годунова, который уже вышелъ, но мною не полученъ».

<sup>2)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 3, стр. 215—219, 230; № 8, стр. 293, 295—302; № 9, стр. 17—24, 30—33, 40—41; 1830, № 7, стр. 193—203, 207—212, 216, 224.—Ср. *Телескопъ*, 1831, ч. I, № 4, стр. 573.

писателямъ. «Всѣмъ показалось, что онъ только хочетъ бранить и унижать нашу литературу», и «его объявили безумцемъ». А на самомъ дѣлѣ онъ былъ недоволенъ «тѣми поэмами, надъ сочиненіемъ которыхъ тратились всѣ наши силы, восхищеніе которыми отнимало всякую мысль о возможности чего-нибудь лучшаго. Нынѣ кто не называетъ этихъ поэмъ дѣтскими произведеніями? Онъ возставалъ противъ Пушкина; но извѣстны ли были тогда созданія Пушкина, передъ которыми мы теперь преклоняемся? «Бориса Годунова», «Каменнаго Гостя», «Мѣднаго Всадника», повѣстей въ прозѣ,—ничего этого еще не было <sup>1)</sup>. Были только поэмы въ байроновскомъ родѣ, надъ которыми потомъ смѣялся самъ Пушкинъ,—поэмы не прочувствованныя, странныя подражанія байроновской формѣ, безъ всякаго пониманія байроновскаго духа. И развѣ потому возставалъ онъ противъ этихъ поэмъ, что хотѣлъ унижить талантъ Пушкина <sup>2)</sup>? Напротивъ, никто такъ рѣзко не замѣчалъ безграничной разницы между Пушкинымъ и другими тогдашними знаменитостями... И развѣ онъ унижалъ въ поэмахъ Пушкина то, что въ нихъ есть хорошаго? Напротивъ, онъ безусловно хвалилъ въ нихъ отдѣльныя картины природы и граціозныя сцены изъ современнаго быта,—единственное, что мы теперь находимъ въ нихъ прекраснымъ. Онъ такъ хорошо понималъ это, что «Графа Нулина» ставилъ выше «Бахчисарайскаго Фонтана». Но онъ все-таки осуждалъ Пушкина? Однако,

---

<sup>1)</sup> Вотъ перечень наиболѣе выдающихся пушкинскихъ произведеній, появившихся въ печати *послѣ 1830 года*: поэма «Мѣдный Всадникъ» (1837); драмы: «Борисъ Годуновъ» (1831), «Скупой рыцарь» (1836), «Моцартъ и Сальери» (1832), «Каменный гость» (1839), «Пиръ во время чумы» (1832), «Русалка» (1837); повѣсти: «Капитанская дочка» (1836), «Дубровскій» (1841), «Пиковая дама» (1834), «Повѣсти Бѣлкина» (1831), «Рославлевъ» (1836); сказки: «О мертвой царевнѣ» (1834), «О золотомъ пѣтушкѣ» (1835), «О рыбацкѣ и рыбкѣ» (1835).

<sup>2)</sup> Удивляемся, какъ одинъ почтенный литераторъ, не обращая вниманія ни на полемическія выходки, ни на цѣлос впечатлѣніе, получающееся отъ внимательнаго чтенія статей Надоумка, ухитряется усмотрѣть въ послѣднихъ «глушленіе» надъ Пушкинскимъ и, составивъ изъ отдѣльныхъ, выхваченныхъ съ явнымъ нарушеніемъ логической связи, искусственно подобранныхъ фразъ «букетикъ наиболѣе яркихъ цвѣтовъ семинарскаго краснорѣчія и эстетическаго пониманія» критика, рѣшается поднести этотъ «букетикъ» свѣдущему читателю въ подтвержденіе своего якобы обоснованнаго мнѣнія (См. Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, изданное подъ редакціей С. А. Венгерова, т. I, стр. 412).

за что же? за то, что предполагалъ, будто Пушкинъ удовлетворяется своими прежними произведеніями и не думаетъ о томъ, что еще не создалъ произведеній, вполне достойныхъ своего великаго таланта. Вѣдь, это недовольство, котораго источникъ— очень высокое мнѣніе о талантѣ Пушкина. А когда Пушкинъ издалъ «Бориса Годунова», онъ одинъ оцѣнилъ это произведеніе, въ послѣдней статьѣ, подписанной именемъ Надоумка<sup>1)</sup>. И, наконецъ, развѣ онъ возставалъ именно противъ Пушкина? Онъ доказывалъ только, что вся наша тогдашняя литература вовсе не такъ богата, какъ тогда всѣ были увѣрены. И если мы вникнемъ въ сущность его статей, мы увидимъ, что если никто не судилъ о нашей литературѣ такъ строго, какъ онъ, то и никто не превозносилъ такъ Пушкина, какъ онъ. Онъ *первый*<sup>2)</sup> высказалъ о характерѣ и силахъ его таланта тѣ понятія, которыя господствуютъ до сихъ поръ. Кажется, этого довольно, чтобы не считать его зоиломъ».

«Статьи Надоумка были печальны—онъ ли виноватъ въ томъ? Но онъ содѣйствовали приготовленію лучшей будущности». Онъ «первый *прочно* ввелъ въ нашу мыслительность глубокой философскій взглядъ», «далъ нашей критикѣ всеобъемлющія принципы, открытые для эстетики нѣмецкою наукою», и «показалъ примѣры, какъ прилагать эти принципы къ сужденію о поэтическомъ произведеніи»; затѣмъ, онъ подвергъ суровому анализу пушкинскій періодъ русской поэзіи, «громко высказалъ свои выводы», объясняя непонятное, пріучая къ «справедливой оцѣнкѣ», и «тѣмъ приготовилъ возможность дальнѣйшаго литературнаго развитія для нашей публики»<sup>3)</sup>.

---

«Статьями Надоумка была рѣшена участь Надеждина». «Онъ возсталъ противъ всей литературы, — вся литература возстала

---

<sup>1)</sup> Ср. изданное нами письмо Надеждина къ А. А. Краевскому отъ 29 января 1840 г.: «Не я ли первый, не я ли одинъ, вступился еще при жизни Пушкина за его «Бориса Годунова», не я ли отдалъ честь этому его творенію, въ то время какъ все, стоявшее предъ нимъ на колѣняхъ, встрѣтило его змѣннымъ шипѣніемъ» (*Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ*, 1905, кн. 4, стр. 309—310).

<sup>2)</sup> Статьи Н. А. Полевого появились нѣсколько позднѣе. См. наши «Очерки изъ исторіи русскаго романтизма», стр. 427—429; 550—551.

<sup>3)</sup> *Н. Г. Чернышевскій*. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 181—182, 193—196, 202—204.



противъ него» <sup>1)</sup>. «Говорить правду», съ грустью писалъ нашъ критикъ: «значить не только терять дружбу, но еще наживать лютѣйшую, непримиримѣйшую ненависть» <sup>2)</sup>. Эта «ненависть» выразилась въ жестокой, яростной полемикѣ, «составляющей едва ли не важнѣйшій эпизодъ этого рода въ исторіи пушкинскаго періода. Всѣ журналы, кромѣ *Атенейя*», «почти всѣ альманахи единодушно ополчились противъ *Вѣстника Европы*. Всѣ затронутые Надеждинымъ литераторы соединились противъ его статей. *Московский Телеграфъ* и *Сѣверные Цвѣты* были главными дѣйствующими въ этой борьбѣ за собственную честь и жизнь. Пушкинъ и Полевой (были предводителями нападающихъ», среди которыхъ находились и «бойцы, недостойные памяти»: Гречъ и Булгаринъ, безславно подвизавшіеся въ *Сынѣ Отечества* <sup>3)</sup>. Одной изъ главныхъ причинъ чрезмѣрнаго раздраженія противъ Надеждина являлись его разборы пушкинскихъ произведеній. Лишь очень немногіе находили въ нихъ «мысли свѣжія и глубокія», понимали, что критикъ, «имѣющій обширныя познанія не только въ своей, но въ древнихъ и новѣйшихъ иностранныхъ литературахъ», отдаетъ полную справедливость Пушкину, и что только вѣлѣпныя похвалы и вредное для словесности направленіе его послѣдователей», вмѣстѣ со «строгимъ» взглядомъ самого взыскательнаго критика на «нѣкоторые предметы», «увлекли его въ излишество» <sup>4)</sup>. Доброжелательные отзывы С. Т. Аксакова и М. П. Погодина затерялись въ дружномъ хорѣ враждебныхъ голосовъ.

«Издатель *Вѣстника Европы*»—негодовалъ въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* О. М. Сомовъ—«пустилъ въ свой журналъ, на раздолье, буквы *ѳ*, *ѳ*, да *г*. экс-студента Никодима Надоумка, и сей послѣдній, ломая греческіе и латинскіе стихи въ своихъ эпиграфахъ и цитатахъ, *пустился толковать и ежось, и вкривь о*

<sup>1)</sup> Н. Г. Чернышевскій. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 198.

<sup>2)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 8, стр. 287, 290.

<sup>3)</sup> Н. Г. Чернышевскій. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 182.

<sup>4)</sup> С. Т. Аксаковъ. Полное собраніе сочиненій. Спб., 1886, т. 4, стр. 157.— Ср. письмо М. П. Погодина къ С. П. Шевыреву: «Надеждинъ вооружился противъ Пушкина и говорилъ много дѣла между прочимъ, хотя и семинарскимъ тономъ» (Н. П. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1889, кн. 2, стр. 346).

поэмах Пушкина и Боратынскаго, о романѣ Булгарина. . . Напрасно этотъ г. экс-студентъ отвергаетъ маленькую пере-мѣну буквъ въ своей подписи, сдѣланную по аналогіи въ нѣко-торыхъ журналахъ: *Недоумокъ*, повидимому, должно быть на-стоящее его названіе»<sup>1)</sup> Негодование Сомова раздѣляяъ и Пуш-кинъ, слѣдившій за журнальными «толками» «не ради исправле-нія своего, но ради смиренія кичливости своей»<sup>2)</sup>. Онъ, конечно, готовъ иногда согласиться съ сужденіями критиковъ<sup>3)</sup>, но не можетъ безъ «досады» читать «разговоры между дьячкомъ, про-свирней и корректоромъ типографіи», которые «всячески бранили его и его стихи»<sup>4)</sup>. Особенно задѣлъ его конецъ одного разго-вора, гдѣ «дьячекъ» заявлялъ слѣдующее: «Александру Сергѣевичу безусловныя похвалы вѣрно прискучили. Можетъ быть, и *голосъ истины* будетъ ему приятенъ, по крайней мѣрѣ, для разнообразія» . . . А «ежели пѣвцу «Полтавы» вздумается швырнуть въ меня эпиграммой, то это будетъ для меня незаслуженное удо-вольствие»<sup>5)</sup>. Вызовъ былъ сдѣланъ въ то время, когда Пушкинъ, вѣроятно, уже составилъ нелестное мнѣніе о дарованіяхъ Наде-ждина, которое занесено на бумагу позднѣе. «Критики его», го-воритъ поэтъ: *очень глупо* написаны, но съ живостью, а иногда и съ краснорѣчіемъ; въ нихъ *не было мыслей*, но было движеніе; шутки были плоски»<sup>6)</sup>. Съ такимъ рецензентомъ церемониться не-чего; въ него стоитъ «швырнуть эпиграммой», которая не замедлила появиться.

„Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ.

„Охота есть, да мало мозгу!

А сколько лѣтъ ему?“ вопросъ.

— Пятнадцать. „Только-то? Эй, розгу!“

Засимъ принесъ *семинаристъ*

Тетрадь *лакейскихъ* диссертаций,

И Фебу вслухъ прочелъ Гораций,

Кусая губы, первый листъ.

Отяжелѣвъ, какъ отъ дурмана,

Сердито Фебъ его прервалъ

1) *Сѣверные Цвѣты* на 1830 г., стр. 32—34.

2) Письмо Л. С. Пушкину отъ 18 октября 1822 г.

3) Предисловіе ко 2-му изданію «Кавказскаго плѣнника», 1828 г.

4) Путешествіе въ Арзрумъ. Глава пятая (1829). Ср. *Русскій Архивъ*, 1882, № 5, стр. 88.

5) *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 47—48.

6) Анекдоты (1830—1836). XXVIII.

И тотчасъ *взрoслаго болвана*  
Поставить въ палки приказалъ<sup>1)</sup>.

Недовольство поэта росло; онъ не нашелъ себѣ удовлетворенія въ приведенныхъ стихахъ. На досугѣ создавались и другія эпиграммы, которыя почему-то, довольно долго лежали въ портфель автора и не были переданы немедленно въ редакцію какого-либо журнала. Неприятный критикъ позволялъ себѣ слишкомъ много; «строгий на словахъ», онъ — не знатокъ въ литературѣ и, видимо, забылъ рассказъ объ Апеллесѣ и зазнавшемся сапожникѣ: беретъ онъ «судить о свѣтѣ», когда его удѣлъ «судить о сапогахъ»<sup>2)</sup>. Поведеніе Надоумка непозволительно; ему не мѣшаетъ почитывать поучительныя сказочки, изъ которыхъ можно набраться ума. Одна «дѣтская сказочка» пишется услужливымъ поэтомъ специально для «исправленія забѣяки». Вотъ ея содержаніе. «Ванюша, сынъ приходскаго дячка, былъ ужасный шалунъ. Цѣлый день проводилъ онъ на улицѣ съ мальчиками, валяясь съ ними въ грязи и марая свое праздничное платье. Когда проходилъ мимо ихъ порядочный человѣкъ, Ванюша показывалъ ему языкъ, бѣгалъ за нимъ и изо всѣхъ силъ кричалъ: «пьяница,

---

1) *Сѣверные Цвѣты на 1830 г.*, стр. 50. Ср. *Н. П. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина*. Спб., 1890 г., кн. 3, стр. 77 — 78: «Погодина возмутили не статьи Надеждина о Пушкинѣ, а эпиграмма, которую швырнулъ послѣдній въ своего критика. Толкуя объ этой эпиграммѣ у Аксакова, рѣшили: «гадко», конечно со стороны Пушкина».

2) Притча: «Картину разъ высматривалъ сапожникъ», помѣщенная въ *Современникъ*, 1836, № 3, стр. 204. По словамъ Н. Г. Чернышевскаго, она «была напечатана много лѣтъ спустя послѣ того, какъ написана» («Очерки гоголевскаго періода русской литературы». Спб., 1893, стр. 185). — Въ пылу гнѣва Пушкинъ величалъ Надеждина «журнальнымъ шутомъ», «лукавымъ колопомъ».

«Надѣясь на мое презрѣнье,  
Сѣдой Зонъ меня ругалъ,  
Но, потерявъ уже терпѣнье,  
Я эпиграммой отвѣчалъ.  
И, возгоря желаньемъ славы,  
Теперь, надѣясь на отвѣтъ,  
Журнальный шутъ, холопъ лукавый,  
Ругать бы также сталъ... О, нѣтъ!  
Пусть онъ, какъ бѣсъ передъ обѣдней,  
Себѣ покоя не даетъ:  
*Лажей*, сиди теперь въ передней,  
А будетъ съ баринномъ расчетъ!» (1829).

уродъ, развратникъ, зубоскалъ, писака, безбожникъ, нигилистъ» — и кидалъ въ него грязью. Однажды степенный человѣкъ, имъ замаранный, разсердился и, поймавъ его за вихорь, больно побилъ его тросточкою. Ванюша въ слезахъ побѣждалъ жаловаться своему отцу. Старый дѣячекъ сказалъ ему: «подѣломъ тебѣ, негодяй; дай Богъ здоровья тому, кто не побрезгалъ поучить тебя». Ванюша сталъ очень печаленъ и, почувствовавъ свою вину, исправился» <sup>1)</sup>).

Но сынъ дѣячка исправился лишь въ сказочкѣ, которая оказалась складкой, а не былью. Какъ ни вышучивалъ Пушкинъ своего противника, какъ иронически ни величалъ его «однимъ изъ великихъ писателей, приносящихъ истинную честь и своему вѣку, и журналу, въ коемъ они участвуютъ» <sup>2)</sup>), — въ концѣ концовъ онъ былъ принужденъ считаться съ «очень глупыми» рецензіями. Въ альманахѣ *Денница* на 1831 г. помѣщена статья поэта, въ которой онъ защищаетъ свою «Полтаву» отъ обвиненій въ неестественности и искаженіи историческихъ фактовъ. Онъ признается, что былъ «избалованъ пріемомъ, оказаннымъ его прежнимъ, гораздо слабѣйшимъ произведеніямъ», почему ему особенно больно видѣть неуспѣхъ «оригинальнаго» сочиненія. Любовь Маріи къ Мазепѣ не менѣе естественна, чѣмъ любовь Дездемоны къ «старому негру» Отелло, а Мазепа «дѣйствуетъ въ поэмѣ точь въ точь, какъ и въ исторіи» <sup>3)</sup>; характеристика Карла XII, сдѣланная старымъ гетманомъ, называвшимъ короля «мальчишкой и сумасбродомъ», не даетъ права критикамъ укорять автора въ «неосновательномъ мнѣніи о шведскомъ королѣ» <sup>4)</sup>. Нѣтъ особыхъ недочетовъ и въ стилѣ: никогда нельзя «жертвовать искренностію и точностію выраженія провинціальной чопорности, изъ боязни казаться простонароднымъ, славянофиломъ» <sup>5)</sup>. Справедливымъ является лишь замѣчаніе, что «заглавіе поэмы ошибочно» и что, вѣроятно, она не названа Мазепой, «чтобъ не напомнить о Байронѣ». «Но была тутъ и другая причина: эпитафья. Такъ и Бахчисарайскій Фонтанъ въ рукописи названъ былъ Харемомъ,

---

<sup>1)</sup> Дѣтская сказочка: «Исправленный забіяка» (Н. И. Надеждинъ) [1830].

<sup>2)</sup> Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтописей (1829).

<sup>3)</sup> Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 25—28, 38.

<sup>4)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 29—30.

<sup>5)</sup> Тамъ же, стр. 36, 41—46.

но меланхолическій эпиграфъ, который, конечно, лучше всей поэмы, соблазнилъ» автора <sup>1)</sup>).

Энергичная защита наиболѣе раскритикованныхъ произведеній и страстное желаніе болыѣе уязвить противника въ эпиграммахъ позволяютъ видѣть въ Пушкинѣ главнаго застрѣльщика, занимавшаго самую видную позицію во время жаркой литературной схватки съ экс-студентомъ; вторымъ застрѣльщикомъ былъ издатель *Московского Телеграфа*. Въ семьѣ Полевыхъ не любили Надеждина: онъ слылъ «клеветомъ» Каченовскаго, «пройдохой», который изъ корыстныхъ цѣлей «прикидывался поборникомъ» стараго профессора и «не гнушался никакими средствами» для достиженія своихъ цѣлей. Въ «длинныхъ и многоглаголивыхъ» рецензіяхъ ненавистнаго хулителя Пушкина развивалась «какая-то путаная теорія», проповѣдывалась «какая-то иезуитская или тартюфская нравственность», а «тяжелый, фигурный» языкъ обличалъ «кутейника» <sup>2)</sup>. — Прочитавъ «Литературныя опасенія за будущій годъ», Н. А. Полевой рѣшилъ, что «эта драгоценная статья стоитъ особаго разбора» <sup>3)</sup>. Послѣдній, однако, не явился въ свѣтъ; вмѣсто него, напечатаны «Литературныя опасенія кое за что», гдѣ «выведенъ былъ Желтякъ (житель желтаго дома, сумасшедшій) <sup>4)</sup>, который усиливался защищать ученые труды Каченовскаго и говорилъ фразами Надеумка, но принужденъ былъ соглашаться, что Каченовскій—самый плохой ученый» <sup>5)</sup>. Насмѣхаясь надъ экс-студентомъ, По-

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 18.—Въ «Критическихъ замѣткахъ» (1830), не напечатанныхъ при жизни поэта, онъ защищаетъ отъ нападокъ Надеждина поэму «Графъ Нулинъ». Она написана не съ «цѣлью горячить воображеніе любострастными описаніями, унижающими поэзію» и «превращающими ея божественный нектаръ въ воспалительный составъ»; она—«шутка, вдохновенная сердечною веселостію и минутною игрою воображенія», и «можетъ показаться безнравственною только тѣмъ, которые о нравственности имѣютъ дѣтское или темное понятіе, смѣшивая ее съ нравоученіемъ, и видятъ въ литературѣ одно педагогическое занятіе».

<sup>2)</sup> *К. А. Полевой*. Записки. Спб., 1888, стр. 218—219, 251, 253, 255—257.

<sup>3)</sup> *Московский Телеграфъ*, 1828, № 20, стр. 492—493.

<sup>4)</sup> «Желтякомъ (т. е. желчнымъ?) обзывали Каченовскаго», пишетъ С. А. Венгеровъ (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1900, т. I, стр. 439), не вчитавшійся въ статью Полевого и не принявшій во вниманіе объясненій Н. Г. Чернышевскаго.

<sup>5)</sup> *Н. Г. Чернышевскій*. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 186—187.

левой выписалъ двѣ цитаты изъ Эліана и Цицерона и вышучивалъ виѣшнюю форму произведеній своего врага. «Нельзя безъ греческаго и безъ латинскаго эпиграфа начать статьи, которая составляетъ pendant къ «Литературнымъ Опасеніямъ» *Вѣстника Европы*, нельзя»,—заявлялъ онъ. «Предшественникъ мой бросилъ въ заглавіе своихъ Опасеній три стиха Эврипида; надобно блеснуть Эліаномъ и Цицерономъ, латинью и греческимъ языкомъ: мы имѣемъ дѣло съ людьми учеными—à pédant, pédant et demi. . ». Послѣ небольшого предисловія начинается пародія.

«Теперь слѣдовало бы мнѣ описать, какъ сидѣлъ я въ своемъ кабинетѣ, въ квартирѣ моей, чтó на Якиманкѣ, какъ мой Ѳедоръ стучалъ чашками въ ближней комнатѣ, а я, прислушиваясь къ кипѣнію самовара, наслаждался ожиданіемъ китайскаго нектара (Ѳедоръ мой большой мастеръ готовить чай) и между тѣмъ перебиралъ Ювенала, лежавшаго передъ мною въ старинномъ пергаментномъ переплетѣ—все это очень важно въ ученой критической статьѣ; такое вступленіе радуется, веселитъ читателя: оно похоже на ракеты, которыя хлопаютъ въ воздухѣ, пока не загорится величественный щитъ. Такъ началъ статью свою и предшественникъ мой г-нъ *экс-студентъ Никодимъ Надоумко, между студентства и вступленія въ службу*<sup>1)</sup>. Но боясь уступить ему въ краснорѣчіи при описаніи такихъ любопытныхъ подробностей, оставляю читателя при томъ, что уже сказано мною—*arrive se qu'il pourra*. . иду далѣе».

«Нежданно, недуманно, раздался стукъ, трескъ и крикъ въ передней. Ѳедоръ мой испугался, бросился, разбилъ прекрасную чашку, которую нарочно заказывалъ я на заводѣ г-на Гарднера и на которой было написано правило мудраго Хафыза: «*Если хочешь быть спокоенъ, оставь дураковъ въ покоѣ*». Дверь въ кабинетъ моемъ затрещала, зашаталась, растворилась, точно такъ, какъ трещала, шаталась и растворялась дверь на 9-й страницѣ *Вѣстника Европы*, № 21. Роксовая енотовая шуба мелькнула мнѣ въ глаза, загремѣли страшныя слова: *Que diable!* и предо мною стоялъ—*Глѣнскій!* Читатели *Вѣстника Европы* знаютъ уже этого удальца-поэта, записнаго романтика и отчаяннаго спорщика; но до сихъ поръ неизвѣстно имъ было, что этотъ романтическій кликуша мой старинный знакомецъ. Я не видался съ нимъ лѣтъ пять, едва узналъ его, и—предоставляю другимъ

<sup>1)</sup> См. *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 22, стр. 108.

угадывать, какъ мы обрадовались, обнялись. Енотовая шуба Тлѣнскаго сронила пять фоліантовъ съ моего дивана, и тогда только, какъ эта огромная декорація была положена на стулъ, я увидѣлъ другого моего гостя, человѣка въ сѣромъ фракѣ, въ большихъ серебряныхъ очкахъ, искривленно наклонившагося на столъ и смотрѣвшаго на Теоокритовы идилліи, изданныя Томасомъ Уартономъ, въ Оксфордѣ, въ 1770 году, gr. in 4, случайно тутъ бывшія»<sup>1)</sup>.

Человѣкъ въ сѣромъ фракѣ, «добрый пріятель» Тлѣнскаго, «изъ ученыхъ», Тома Томичъ Желтякъ, говоритъ на какомъ-то странномъ нарѣчьи, представляющемъ смѣсь русскаго языка съ латинскимъ, и любитъ античныхъ писателей,—словомъ, съ точки зрѣнія Полевого, является точной копіей переводчика Орфеевыхъ гимновъ экс-студента Надоумка, который, видимо, не доучился, худо понимаетъ греческій текстъ<sup>2)</sup>, еще хуже владѣетъ стихомъ и написалъ переводъ «Воскуреніе Протогону» «такими виршами», что онъ кажется «заимствованнымъ изъ ненапечатанныхъ донинѣ бумагъ покойнаго профессора элоквенціи В. К. Тредьяковскаго, а не сочиненнымъ въ наше время»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> *Московский Телеграфъ*, 1828, № 23, стр. 349—351.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1828, № 20, стр. 492—493: «Въ 21 № (журнала Каченовскаго) едва ли не начато преобразование, и—безъ смѣха нельзя читать испещренной греческими, латинскими, французскими, нѣмецкими цитатами статьи о литературѣ русской. Въ греческомъ эпиграфѣ въ трехъ строкахъ пять ошибокъ (самъ издатель *Вѣстника Европы* знаетъ по-гречески очень плохо; на это есть вѣрныя доказательства, а г-нъ Надоумко, сочинитель статьи, какъ студентъ, разумѣется небольшой знатокъ греческихъ трагиковъ)».

<sup>3)</sup> Тамъ же, 1829, № 14, стр. 255—258. Ср. *Н. Г. Чернышевскій*. Очерки гооголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 186—188.—*Атеней* отнесся съ порицаніемъ къ рѣзкой выходкѣ Полевого: «Одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ, Н. И. Надеждинъ, вздумалъ ознакомить насъ съ пѣснями отца древнихъ греческихъ поэтовъ, Орфея, котораго имя на языкѣ у всякаго, но котораго твореній и существованіе рѣдкіе, конечно, подозрѣвали. Онъ переложила нѣкоторые изъ его гимновъ на русскій языкъ и напечаталъ въ послѣднихъ номерахъ *Русскаго Зрителя*. Во Франціи, Германіи, Англии и во всѣхъ просвѣщенныхъ европейскіихъ государствахъ столь похвальный трудъ не оставленъ бы былъ безъ должнаго вниманія. Тамъ занялись бы сличеніемъ перевода съ подлинникомъ, стали бы преслѣдовать каждое выраженіе, каждое слово, употребленное переводчикомъ; и обличили бы безъ всякаго лицепріятія малѣйшую невѣрность, ослабляющую или затмевающую силу подлинника, столь драгоцѣннаго по своей достоятимой древности. У насъ дѣло

Пользуясь каждымъ удобнымъ случаемъ, Полевой слѣшилъ поговорить о невѣжествѣ и бездарности Надоумка. Злые рѣчи распространяются быстро: слова Полевого сналету подхватывались и одобрялись почти всѣми тогдашними журналистами, составившими грозное ополченіе противъ общаго врага. . .

Бываютъ моменты, когда лица разныхъ воззрѣній дѣйствуютъ сообща, въ одномъ направленіи; когда прежнія распри и недоразумѣнія на время забываются, и одна могучая сила сплачиваетъ недавнихъ враговъ<sup>1)</sup>. Такъ было и въ описываемую нами эпоху,—Гречъ и Булгаринъ дѣйствовали за одно съ Полевымъ: ненависть, которую они всѣ питали къ Надеждину, объединила ихъ<sup>2)</sup>. Конечно, полемическій задоръ «почтенныхъ» издателей *Сына Отечества* и *Сѣвернаго Архива* носилъ своеобраз-

---

обошлось безъ дальнихъ церемоній. Въ 15 № (?) *Московского Телеграфа*, подъ рубрикою: *Живописецъ*, переводчика осмѣяли безъ всякихъ справокъ и okolичностей, не сказавши даже, за что и про что. Выписали только одинъ изъ переложенныхъ гимновъ и отпустили на счетъ его нѣсколько шуточекъ, которыя, какъ говоритъ нашъ баснописецъ, хотя не новы, да благо ужъ готовы. Очевидно, Полевой «претендовалъ лишь на удовольствие посмѣшить читателей». писалъ неосновательно, безъ «любви къ истинѣ», ибо стоить сличить греческій подлинникъ «Воскуренія Протогону» съ хорошимъ нѣмецкимъ переводомъ и русскимъ переложениемъ, чтобы убѣдиться въ большой точности послѣдняго. Изъ примѣчаній и предисловія къ гимнамъ «видно, что нашему литератору знакома философія мифологіи. Но это для немногихъ! Всѣмъ лишь бросается въ глаза странный языкъ, странныя выраженія и странный мѣтръ перевода. А эта-то странность и составляетъ его существенное достоинство, которое всякій благомыслящій оцѣнить долженъ. Переводчикъ хотѣлъ намъ представить древняго Орфея въ его, такъ сказать, естественной наготѣ — истиннымъ Орфеемъ...». «Переводить древнихъ надобно такъ, какъ они есть, а не представлять изъ нихъ московскихъ щеголей. Не переводчика вина, если это не всѣмъ нравится...». Отъ литературныхъ судей, «кромя способности трунить и балагурить, требуется еще *нѣсколько учености и понятія о приличіяхъ образованнаго общества*. Одинъ изъ золотыхъ стиховъ Писагора, переложенный тѣмъ же самымъ переводчикомъ гимновъ Орфесевыхъ, можетъ служить для нихъ истинно золотымъ правиломъ: «Возбраняя себѣ *безъ разсужденія* братья за дѣло» (*Атеней*, 1829, ч. 4, стр. 95—103).

<sup>1)</sup> О полемикѣ Греча и Булгарина съ Полевымъ см. наши «Очерки изъ исторіи русскаго романтизма». Спб., 1903, стр. 59—60.

<sup>2)</sup> Враги Полевого начинаютъ хвалить его журналъ: «Неужели противопоставятъ *Телеграфу* юсы, ижицы и другія каракули черножелтаго *Вѣстника* не *Европы*, а *Барабинской степи*» (*Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ*, 1829, № 27, стр. 62—63)?



ный отпечатокъ: если Полевой былъ рѣзокъ и подчасъ «игралъ жалкую роль въ спорахъ со своимъ противникомъ»<sup>1)</sup>, то они были грубы и нравственно нечистоплотны.—Въ *Сынъ Отечества* появилось любопытное извѣщеніе: «Въ дверяхъ типографіи, гдѣ печатается сей журналъ, устроенъ ящикъ, въ который изъ сѣней бросаютъ корректуры, письма, посылки и т. п., чтобы не отворять безпрестанно дверей и не беспокоить работающихъ. Издателямъ случалось находить въ этомъ ящикѣ *презабавныя вещи*, доставляемые имъ особами, желающими сохранить строгое инкогнито. Нынѣ вознамѣрились они печатать нѣкоторыя изъ получаемыхъ такимъ образомъ статей, прося любителей словесности и впредь пользоваться *типографскимъ ящикомъ*»<sup>2)</sup>. «Презабавныя вещи» оказались плоскими, пошлыми статьями, направленными противъ Надоумка, котораго, прежде всего, подвергли формальному допросу: «зачѣмъ, если у него нѣтъ денегъ», «не беретъ онъ съ издателя *Вѣстника Европы* платы» за свои критическіе очерки? «зачѣмъ ходитъ съ «Патріаршихъ прудовъ» въ «дурное общество», изображенное «подъ именемъ *Сонмища нигилистовъ?* зачѣмъ подслушиваетъ тамъ всякій вздоръ, зачѣмъ помнитъ его, и пухлымъ, дурнымъ слогомъ передаетъ другимъ? зачѣмъ перенимаетъ у Чадскихъ, Угаровыхъ, Вѣтрогоновыхъ et autres gens de cet acabit, грубыя мужицкія поговорки, площадныя выраженія, шутовскую игру словъ и другія замашки дурного тона?» зачѣмъ все это «набираетъ» онъ въ свои рецензіи и «щеголяетъ такими диковинками въ *Вѣстникѣ Европы?*»<sup>3)</sup>.

Надоумко «уже вышелъ изъ ребячь», такъ какъ ему двадцать три года<sup>4)</sup>; но въ его сужденіяхъ «незамѣтно возмужалости» «Жаль, что въ эти лѣта онъ или близорукъ, или опрометчивъ, и не можетъ различить кошки съ мышью: иначе онъ не сдѣлалъ бы той грубой ошибки, которую помѣстилъ въ примѣчаніи къ своей критикѣ на графа Нулина<sup>5)</sup>. Изъ челоуѣколюбія совѣтуемъ ему

1) Н. Г. Чернышевскій. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 192.

2) *Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ*, 1829, № 11, стр. 253—254.

3) Тамъ же, 1829, № 11, стр. 254—255.

4) См. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 3, стр. 228.

5) *Вѣстникъ Европы* (1829), кн. 3, стр. 216. «Тамъ сказано: «Въ превосходной эпизодической картинѣ *кота*, поэтъ подмѣнилъ нынѣ, если не обманываетъ насъ память, *кошку мышью*. Это переодѣло жеманнаго крысоловскаго Селадона въ старинный обыкновенный костюмъ *васьки*, прожоры, бо-

надѣть очки, читать повнимательнѣе, помнить получше прочитанное и писать не наобумъ»<sup>1)</sup>. Надоумко «на дѣлѣ оправдываетъ» справедливость «латинской поговорки: подобный подобнымъ и любитъся», ибо «жалѣетъ», что въ «широкой рамѣ чернаго барскаго двора (описаннаго Пушкинымъ) не умѣстились двѣ-три хавроньи», и «что баба, идучи развѣшивать бѣлье, не приподымала выстроченный подолъ своей пестрой понявы». . .<sup>2)</sup>. «Кстати о хавроньяхъ! Вспомнимъ, какъ въ баснѣ Крылова отвѣчаетъ хавронья пастуху на вопросъ, что она видѣла въ богатомъ и пышномъ барскомъ домѣ:

Хавронья хрюкаетъ: ну, право, поржеть вздоръ;  
Я не примѣтила богатства никакого:  
Все только лишь навозъ да соръ;  
А, кажется, ужъ не жалѣя рыла,  
Я тамъ изрыла  
Весь задній дворъ!

Вспомнимъ также и прекрасный стихъ, которымъ баснописецъ нашъ начинаетъ мѣткое примѣненіе своей басни:

Не дай Богъ никого сравненъемъ мнѣ обидѣть!<sup>3)</sup>

Разные «недоучившіеся студенты, настоящіе недоумки»<sup>4)</sup>, вмѣстѣ съ г. Каченовскимъ, «въ эстетическомъ своемъ *Вѣстникѣ*, съ паоетическимъ ощущеніемъ, курятъ ѳвміамъ поэтамъ древности: Омѣру и Піндару», «окропляютъ золотыя дѣры ихъ вѣсопомъ Ипокрены изъ раструбистой вжицы» и, «чтобы не придать своимъ твореніямъ мустической фвзюноміи, которою запечатлѣны анти-эстетическія и дусгармоническія произведенія варваровъ роман-

лѣе шадящій чувство приличія, но менѣе оригинальный и не совѣмъ гармонизирующій съ ходомъ цѣлага.—Здѣсь что слово, то спасибо. *Крысолопкій Селадонъ* и *Васька прожора*—все это очень хорошо и гармонируетъ съ понятіями, вкусомъ и *чувствомъ приличія* г. критика съ Патріаршихъ прудовъ Жаль только, что построенные имъ городки сами собою рассыпаются: придуманной такъ удачно г. критикомъ *кошки* нѣтъ и не бывало ни въ Нулинѣ, помѣщенномъ въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ*, ни въ Нулинѣ, напечатанномъ въ особой книжкѣ Охотники до справокъ и повѣрокъ могутъ взглянуть на 16 страницу стихотвореній въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* 1828 г. и на 23 стр. повѣсти: Графъ Нулинъ, напечатанной вмѣстѣ съ повѣстью: Балъ». Примѣчаніе сотрудника *Сына Отечества*.

1) *Сынъ Отечества*, 1829, № 12, стр. 318—320.

2) Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 3, стр. 222—223.

3) *Сынъ Отечества*, 1829, № 12, стр. 318—320.

4) Тамъ же, 1829, № 17, стр. 168—172.

тиковъ», «хотятъ оживить окаменѣлый свой журналъ греческою етимологіей» <sup>1)</sup>. «Корюеямъ новой мѳоды правописанія», «великимъ эллинистамъ въ русскомъ языкѣ». подъ перомъ которыхъ «распѣтаютъ» *ѳ* и *г*, подобало бы «разрѣшить два сомнѣнія». «Во-первыхъ, почему, для бѳльшаго сходства» съ «приснопоминаемымъ профессоромъ елоквенціи», «не пишутъ они, подобно ему: *пѳма, пѳта, великій, стѳхъ, хорѳическій, Делфѳическій Аполлѳнъ, мусѳія* и пр.? Во-вторыхъ, вмѣстѣ съ пакивведеніемъ <sup>2)</sup> въ наше правописаніе *ижицы* и возстановленіемъ *ѳиты* въ тѣхъ словахъ, которыхъ мы доселѣ съ этою буквою не писывали, почему не учатъ они насъ выговаривать въ русскомъ языкѣ греческія слова такъ, какъ эллины ихъ выговаривали? Почему бы, напримѣръ, не заставить насъ въ словахъ: *ѳгміамъ, мѳоода, паѳетическій*, произносить букву *ѳ*, какъ сами эллины и хотя какъ англичане свое *th*; а въ словахъ: *Одѳссей, дѳсгармонія*, букву *ѳ*, какъ греки нынѣшніе произносятъ *ѳ*, т. е. чѣмъ-то среднимъ между *ѳ* и *ѳ*! Этимъ оказали бы они новыя услуги чистотѣ русскаго языка и поправили бы русскую *ѳреозпѳю* въ томъ же смыслѣ, въ какомъ ими исправлена русская *ѳреографія*» <sup>3)</sup>.

Причина всѣхъ злостныхъ выходокъ Греча и Булгарина—за исключеніемъ упомянутыхъ нападокъ на правописаніе *Вѣстника Европы* <sup>4)</sup>, — ихъ неспособность «возвыситься до пониманія новыхъ идей», неспособность, которую обнаружило, къ сожалѣнію, «огромное большинство публики и литераторовъ». «Всѣ ахнули и возопили»: «зоилъ, педантъ, шарлатанъ!» <sup>5)</sup>. «Нечестивый гробокопатель» «перетряхиваетъ на бездѣльи старую труху»; «подъ носомъ» у «вандала» «развивается новый мѳръ чудесъ дивныхъ, неслыханныхъ, небывалыхъ», а онъ «заставляетъ поэзію повер-

<sup>1)</sup> *Сынъ Отечества*, 1829, № 11, стр. 253—254.

<sup>2)</sup> «Какъ вамъ нравится сіе новосоуженное реченіе? достоинъ ли ему въ русскомъ слогѣ занять мѣсто съ *любоиспытательностію* и слухомъ *любо-значительнымъ*, или оно просто кумвалъ бряцающій и мѣдъ звенящая?». Примѣчаніе сотрудника *Сына Отечества*.

<sup>3)</sup> *Сынъ Отечества*, 1829, № 12, стр. 317—318.

<sup>4)</sup> Въ «замысловатой ѳреографіи» надо, безусловно, больше винить редактора журнала Каченовскаго, чѣмъ сотрудника Надеждина, подчинившагося установленнымъ традиціямъ. Такъ смотрѣли на дѣло Пушкинъ съ Боратынскимъ (см. «Очерки гоголевскаго періода», стр. 184—185, 199) и сами издатели *Сына Отечества* и *Сѣвернаго Архива*.

<sup>5)</sup> *Н. Г. Чернышевскій*. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 182, 192.

нуться оглоблями назадъ въ мрачный вѣкъ школярнаго педантизма<sup>1)</sup>, хочеть видѣть въ ней «ориентованную схоластику и педагогику» либо «скучную аллегорію». «Только Батте и Лагарпамъ могло зайти въ голову, что будто изъ всѣхъ пѣитическихъ произведеній должно выжимать посредствомъ логической пытки какую-нибудь нравственную апофеюгму». . . <sup>2)</sup>. «Слава Богу!» эпоха «деспотизма Аристотеля и Буало—сихъ Магометовъ литературнаго міра, прошла уже»; теперь «слыть классикомъ то же, что бывало во времена терроризма носить бѣлую кокарду»!... И «крики негодованія» раздавались все сильнѣе; критика повсюду «осыпала бранью»: «оскорбленное самолюбіе литературныхъ временщиковъ» оказалось «неумолимѣе презрѣнной любви» престарѣлой «кокетки». . . <sup>3)</sup>. Но Никодимъ Надоумко «былъ не такой человекъ, котораго легко запугать или переспорить: на выходки противъ его статей отвѣчалъ онъ *въ томъ же тонѣ*» <sup>4)</sup>. Ему очень не понравилось, что литературный «Карлъ XII» «изволилъ послѣ Полтавы забавляться»: «ударился въ язвительные стишонки и ругательства» <sup>5)</sup>, — и онъ поспѣшилъ, подъ псевдонимомъ Орлино-Когтева и Львино-Зубова, воспѣть «Хлоуцкина»:

<sup>1)</sup> Выраженіе, повторенное двѣнадцать лѣтъ назадъ С. А. Венгеровымъ: «Но то, что у Надеждина было *школярскимъ и педантскимъ* слѣдованіемъ за священными традиціею «правилами»,—у Бѣлинскаго и членовъ его кружка было страстнымъ исканіемъ истины» (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1900, т. I, стр. 417).

<sup>2)</sup> Ср. слова С. А. Венгерова: «Но то, что у Бѣлинскаго было идейностью, у Надоумки было дидактизмомъ и *школярски-угодническою проповѣдью благонравія*» (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, т. I, стр. 411).

<sup>3)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 21, стр. 10—11, 14, 20—21; 1829, № 8, стр. 290—292; № 9, стр. 47; 1830, № 7, стр. 184.

<sup>4)</sup> *Н. Г. Чернышевскій*. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 176.—Слыша, большею частію, отрицательные отзывы о своей журнальной дѣятельности, Надеждинъ высоко цѣнилъ всякое доброжелательное слово; отсюда его глубокая привязанность къ Погодину, считавшему его «истиннымъ литераторомъ». «Пусть всякъ», писалъ Надеждинъ пріятелю: «говорить то, что думаетъ, во что вѣрить, чего ищетъ—лишь бы только это было одушевлено безкорыстною и искреннею любовью къ истинѣ. Старикъ (Пахомъ Свличъ), какъ всѣ мы, принадлежитъ къ одному великому приходу. въ коемъ старостою и старостихою—любовь ко благу отечественнаго просвѣщенія» (*Н. П. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1889, кн. 2, стр. 350—352).

<sup>5)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 40.

I.

Младый пѣвецъ Фактыдура!  
Хвала тебѣ, Евгенийъ нашъ, хвала!  
Ты, глухой скуки ядъ по каплѣ выпивая,  
Неопытнымъ сердцамъ надѣлалъ много бѣ зла. . .  
Но, къ счастью, ты великъ. . . на малыя дѣла <sup>1)</sup>.

II.

О, геній геніевъ! неслыханное чудо! <sup>2)</sup>  
Стишки ты пишешь хоть куда! <sup>3)</sup>  
Да только вотъ бѣда:  
Ты чувствуешь и мыслишь очень худо! <sup>4)</sup>  
Хвала тебѣ, Евгенийъ нашъ, хвала!  
Великій человѣкъ на малыя дѣла <sup>5)</sup>.

Полемика съ Пушкинымъ не отвлекала вниманія Надеждина отъ «телеграфической пращи», изъ которой летѣли въ него камешки.. «Худыя времена! худыя надежды! А дѣлать нечего!.. Завяжись»

---

<sup>1)</sup> Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 31: «И ежели можно быть великимъ въ малыхъ дѣлахъ, то Пушкина можно назвать по всѣмъ правамъ геніемъ на карикатуры».

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1829, № 8, стр. 301: «Для генія не довольно смастерить Евгения».

<sup>3)</sup> Тамъ же, 1829, № 3, стр. 229—230: «О стихосложеніи Графа Нулина и говорить нечего. Оно по всѣмъ отношеніямъ прекрасно. Стихи гладкіе, плавные, легкіе, какъ бы сами собою сливаются съ языка у поэта. Это — пугае сапогае! Увлекаясь ихъ плѣнительною гармоніею, невольно иногда негодуешь и спрашиваешь: «Зачѣмъ эти прекрасные стихи имѣютъ смыслъ? Зачѣмъ они дѣйствуютъ не на одинъ только слухъ нашъ?» Истинно, завидна участь Графа Нулина! За проглоченную имъ пощечину его сіятельство купилъ счастье быть воспѣтымъ въ прелестныхъ стихахъ, которыми не погнушались бы знаменитѣйшіе герои».

<sup>4)</sup> Тамъ же, 1830, № 7, стр. 209: «Нѣтъ! воля ваша! а Пушкинъ не мастеръ мыслить». — То же утверждалъ Бѣлинскій, заявившій, что «творческій элементъ» въ Пушкинѣ «несравненно сильнѣе мыслительнаго» (Сочиненія М., 1860, ч. VIII, стр. 453, 471).

<sup>5)</sup> Тамъ же, 1830, № 1, стр. 73. — Эпиграммы Надеждина, по всей вѣроятности, были отнесены членами пушкинскаго кружка къ самымъ дерзкимъ выходкамъ противъ величайшаго изъ нашихъ поэтовъ (ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 9, стр. 47). «Любителей русской поэзіи», проницески замѣтилъ князь Вяземскій: «можно поздравить съ двумя дебютантами-близнецами на сценѣ *Вѣстника Европы*. Вотъ имена ихъ: Орлино-Когтевъ и Львино-Зубовъ. Впрочемъ, они только именемъ страшны, а стихи ихъ такъ же незлобивы, какъ и всѣ эпиграммы *Вѣстника Европы*» (Полное собраніе сочиненій, т. II, стр. 129).

съ нашими «штукарями» «въ дѣло—самъ же въ дуракахъ останешься! Эти всесвѣтные пустозвяки телеграфически огласятъ тебя студентомъ! А добрые люди, которымъ не слишкомъ досужно пускаться въ дальнія разбирательства, принимая громогласіе за достаточное доказательство праваго дѣла, съ удовольствіемъ подтакнуть на ихъ шумныя анаомы!» Особенно много «пустозвякъ», «клокочущихъ ревностію къ истинѣ», среди «подвижниковъ пресловутой Каланчи» — интереснаго періодическаго изданія энциклопедическаго характера, гдѣ можно найти рѣшительно *все*. . . Но «les extrémités se touchent»: «за всѣмъ погнаться, ни за чѣмъ не угнаться». «Тучность» журнала — «признакъ не полноты», а «водяной болѣзни», которая «сушитъ жизнь человѣческую не менѣе чахотки». Каланчу «то и погубило, что она, не спросясь броду, сунулась въ воду. Вѣдь, океанъ человѣческихъ знаній не сороковая бочка. Его крючкомъ, хотя бы онъ былъ и гривенный, не вычерпать!» Каланча «разсуждаетъ вмѣстѣ и о философіи, и о Грипусе, защищаетъ въ одно время байронизмъ въ поэзіи и нечистоту въ канцеляріяхъ, придирается съ равною назойливостію къ Карамзину и желтой краскѣ. Мудрено ли въ такомъ смѣшеніи, какому со временъ вавилонскаго столпотворенія не видано подобнаго, затеряться? Мудрено ли, по простой русской поговоркѣ, сбиться съ *нахвей* и принять дѣло за вздоръ, а вздоръ за дѣло? Такъ и случилось» съ Каланчей. Она «называетъ Гомерову Илиаду—бойнею, а Ивана Выжигина—настоящимъ русскимъ романомъ!! Можно ль оскорбительнѣе отозваться объ имени Гомера и Россіи?.. А все отъ смѣшенія понятій! Въ какой головѣ не переболтается всякая всячина, если валить ее безъ разбора».

«Громогласный бирючъ» Каланчи, онъ же «романтическій гудочникъ», неистово «освистывающій» «съ высоты своего подфлюгернаго зданія» всѣхъ непріятелей своего «околотка», — любитъ шумъ и трескъ, перемѣшиваетъ полемику съ бранью, занимается «скалозубствомъ», «вцѣпляется по-телеграфски» въ противника. Онъ изъ тѣхъ «словесныхъ фабрикантовъ, кои сами записались въ гильдію и перекидываются литературой, надуваясь изъ всѣхъ силъ, чтобы расхвалить свой товаръ и приманить покупателей» <sup>1)</sup>. «Романтическій гудочникъ» — авторъ «Исторіи рус-

<sup>1)</sup> Съ «романтическимъ гудочникомъ», или «Бенignoю» у Надоумка есть свои особые счеты изъ-за отзыва о «Литературныхъ опасеніяхъ». «Г-ну Бе-

скаго народа». . . Еще до выхода въ свѣтъ этого сочиненія, «знаменитый своею расторопностью» издатель громко «выкликалъ о своей затѣѣ», а его «вѣжливые» друзья, «задобренные взаимнымъ радушіемъ и услужливостью», «разсыпались въ возгласахъ и припѣвахъ», «дружно зазывая» «праздношатающееся любопытство». И что же?.. «Свѣтъ увидѣлъ, какъ расчетливость не стыдится играть и тѣшиться надъ простодушнымъ легковѣріемъ; какъ невѣжество не запинается ни благоразуміемъ, ни скромностію въ притязаніяхъ своихъ на соблазнительную славу; какъ задорное самолюбіе ослѣпляетъ смѣшную глупость; какъ дерзкая бессмысленность, заносщая святотатскую руку на заповѣдныя сокровища истины, безбоязненно можетъ уничтожать высокое достоинство человѣческое! Негодованію нашему есть причина: книга, называющаяся первымъ томомъ «Исторіи русскаго народа», предъ нами!» «На развалинахъ великаго труда незабвеннаго Карамзина» «рука, упражнявшаяся донинѣ только въ подпусканіи шутихъ», не «соорудила новаго зданія», хотя былъ обѣщанъ «новый опытъ отечественной исторіи, начертанный съ новой высшей точки зрѣнія, по новой высшей идеѣ о человѣ-

нигнѣ», пишетъ онъ: «статья моя показалаcя испещренною греческими, латинскими, французскими и нѣмецкими цитатами. Не имѣвъ чести знать, что подобная пестрота не по глазамъ г-на Бенигна, я прошу у него милостиваго извиненія за неумышленное оскорбленіе, причиненное оптическому его нерву, и вмѣстѣ позволяю себѣ со всею скромностію замѣтить, что *французскихъ цитатъ* въ статьѣ моей не находится. Двѣ или три французскія поговорки суть цитаты—изъ Французскихъ Разговоровъ. Есть же точно, по несчастію, одна англійская цитата изъ Байрона, которую г. Бенигна, вѣроятно *по сходству буквъ*, счелъ неумышленно за французскую». Кромѣ того, «будучи близорукъ, очень долго понапрасну искалъ» Надоумко «пяти ошибокъ въ трехъ строкахъ греческаго эпиграфа, избраннаго имъ изъ Софокла, и едва съ помощью микроскопа успѣлъ, наконецъ, открыть, что, дѣйствительно, въ послѣднемъ стихѣ, по несчастію, вмѣсто частицы *χα* напечатано *χι*. Г. Бенигна, вѣроятно, отыскивая въ лексиконѣ сіе мудреное слово и утомившись отъ безполезныхъ трудовъ, грянулъ на него съ сердцовъ упятеренною гиперголою». «Провозглашеніе же Надоумко небольшимъ знатокомъ греческихъ трагиковъ потому только, что онъ не стыдится называть себя почтеннымъ именемъ студента, кажется, есть плодъ излишней ревности г-на Бенигна. Какъ студентъ, окончившій курсъ ученія въ одномъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ высшихъ училищъ, Надоумко могъ имѣть, кажется, болѣе возможности и средствъ ознакомиться съ греческими трагиками, чѣмъ самый искусный винокуръ (говорится вообще) и самый глубокомысленнѣйшій цифирщикъ».—См. *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 22, стр. 107; № 24, стр. 300—304; 1829, № 9, стр. 41; № 10, стр. 124; №№ 22—23; 1830, № 7, стр. 190—191, 194, 215, 223.

чествѣ». Авторъ не выполнилъ принятаго на себя обязательства и не сумѣлъ «снять мѣрку» съ историческихъ произведеній Гизо и Тьерри, не использовалъ твореній Гердера и Кузена, имена которыхъ «не сходили у него съ языка». «Такъ называемая «Исторія русскаго народа» не отличается даже новостью систематическаго фасона. Это не болѣе, какъ безобразный хаосъ уродливыхъ словъ, скрипящихъ подъ тяжестью уродливыхъ мыслей, нахватанныхъ и оттуда, и отсюда, безъ разбора, плана и цѣли: пустомысліе, оправленное пустословіемъ, не имѣющимъ даже жалкаго преимущества одурять вниманіе чаднымъ куревомъ философическаго обскурантизма; однимъ словомъ, старая ветошь, даже не перешитая по новому покрою». Причина столь прискорбнаго явленія понятна! «Величіе Карамзина куплено двадцатилѣтними трудами мощнаго и дѣятельнаго таланта; можно ль было покуситься перегнуть его въ три года съ одной «Рѣчью о невественномъ капиталѣ» въ запасѣ? . . . Надлежало подняться на хитрости тамъ, гдѣ не беретъ сила: взгромоздиться на ходули и поддѣлать себѣ фальшивую рослость». «И нашъ витязь, вздумавъ сдѣлаться историкомъ, разсудилъ пріодѣться въ очарованные доспѣхи туманнаго пустословія. Дабы ошеломить вниманіе простодушнаго любопытства, онъ изволилъ прикинуться философомъ! Величественная мантія мудреца должна была прикрывать всю бѣдную наготу его; завернувшись въ нее, онъ считалъ себя уполномоченнымъ на безсудное проповѣдываніе всякаго вздора». . . Поэтому «Исторія русскаго народа есть печальный опытъ судьбы, ожидающей самолюбивое невѣжество, ищущее прикрыть свою ничтожность безстрашною дерзостію. У сочинителя ея нельзя отрицать бѣглости понятія и задорности воображенія, но онъ имѣетъ несчастіе быть влюбленнымъ въ самого себя до жалкаго ослѣпленія. Оставайся въ своихъ границахъ, и онъ могъ бы пригрѣть себѣ порядочное мѣстечко въ литературномъ нашемъ мірѣ. Взаяся не за свое»,—и передъ нами развернулось «море великое и пространное: тамо гады, ихъ же нѣсть числа; животныя малыя съ великими».

«Грозная армада» противъ перваго тома исторіи не смутила «сочинителя»; «ожесточеніе» критики «только вскипятило его желчь». Полевой рѣшилъ продолжать свое дѣло, и на этотъ разъ не безуспѣшно. Выпущенный имъ второй томъ уже показалъ, что издатель «не принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые дерзновенно тѣшатся легковѣріемъ толпы и забавляютъ простаковъ



ничтожными фокус-покусами. Нѣтъ! надъ вторымъ томомъ онъ, дѣйствительно, работалъ, и работалъ изъ всѣхъ силъ». Удивительное усердіе выказалъ «живописецъ», когда рисовалъ «картину Руси до XIII вѣка въ географическомъ, политическомъ, общественномъ и нравственномъ отношеніяхъ». Картина—«настоящій мозаикъ: она составлена изъ безчисленнаго множества разнородныхъ крупинокъ», для собиранія которыхъ надо имѣть огромное терпѣніе. «Кажется, какъ будто новый нашъ историкъ устроилъ здѣсь главное депо», куда—«какъ курочка, по зернышку»—«сложилъ все, что ни удалось ему гдѣ-нибудь вычитать или у кого-нибудь подслушать. Само собою разумѣется, что сія попечительная ревность дѣлиться малѣйшими крохами съ любознательностью читателей сообщаетъ новое достоинство трудамъ составителя сей картины. И не пріобрѣтаетъ ли онъ тѣмъ правъ на сугубую признательность? Благодаря сей ревности, читатели Исторіи русскаго народа знакомятся не только съ русскою исторіею, но и со множествомъ другихъ вещей, не имѣющихъ къ русской исторіи ни малѣйшаго отношенія». . . «Недоброжелатели могутъ, конечно, возразить и на это, что для собиранія сихъ крупицъ не могли быть употреблены труды слишкомъ большіе», ибо, «судя по очевиднымъ предметамъ, всѣ онѣ забраны изъ историческихъ закровъ Гизо и Тьерри, заключающихся въ *трехъ* или *четырехъ* небольшихъ книжкахъ. Это, кажется, и правда! Но—пробѣжать три или четыре книжки, особенно на чужеземномъ языкѣ, всетаки не бездѣлица! . . . Отъ одной выписки голова можетъ пойти кругомъ,—и историкъ русскаго народа, несмотря на дознанную крѣпость умственнаго своего сложенія, долженъ былъ заплатить дань слабости бѣдной нашей природѣ, не терпящей излишняго напряженія за слишкомъ дробною работою. Отъ этого и случились многія обмолвки, недомолвки и перемолвки <sup>1)</sup>, за которыя публика, безъ всякаго сомнѣнія, не будетъ въ большой претензіи на добросовѣстнаго, достойнаго всякой похвалы труженика <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Эти недомолвки обстоятельно перечислены Надеждинымъ, указавшимъ въ трудѣ Полевого повторенія, логическіе недочеты, неудачныя заимствованія и параллели между Россіей и западными государствами п т п См. *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 1, стр. 37—72; №№ 15—16, стр. 276—302.—Неодобрительный отзывъ о первой рецензіи Надеждина помѣщенъ въ *Литературной Газетѣ*, 1830, т. I, № 31, стр. 251.

<sup>2)</sup> Нѣкоторыя выходы противъ Полевого (ср. Конторкина въ «Сонмищѣ

Нежданые союзники историка русскаго народа въ генеральномъ сраженіи, которое онъ далъ Надеждину, также не были забыты послѣднимъ: онъ хотѣлъ по квитаться со своими врагами— «всѣмъ сестрамъ дать по серьгамъ». И онъ прочелъ не одну хорошую отповѣдь «неумытымъ» или «неумытнымъ» критикамъ, «воюющимъ при подошвѣ нашего Парнасса». . . *Сынъ Отечества* «въ совокупленіи» съ *Сѣвернымъ Архивомъ*, несмотря на старанія союзниковъ, возбуждаетъ чувство жалости: въ немъ нѣтъ ровно «ничего». «Развѣ значить что-нибудь — перепечатывать піесы изъ другихъ журналовъ, сокращать газетныя извѣстія изъ *Сѣверной Пчелы* (тоже питающейся медомъ изъ чужихъ ульевъ) и предавать второму тисненію; заставляя пріятелей ковать себѣ похвалы и выдавать ихъ за теорію изящной словесности? . . . А это-то и составляетъ *весь* вещественный капиталъ этой журнальной двуутробки». Но къ чувству жалости, вызываемому бѣднотой содержанія, начинается примѣшиваться чувство гадливости и брезгливости, когда подписчикъ заглянетъ въ злополучный хозяйственный ящикъ, заведенный редакціей. Экс-студентъ въ долгу передъ «рыцаремъ ящика» и считаетъ себя обязаннымъ дать отвѣты на предложенные ему вопросы. Отвѣты тѣмъ болѣе ему по сердцу, что, живя на Патріаршихъ прудахъ, онъ полюбилъ «пугать *грачей*, которые водятся больше по захоlustьямъ, и бить острогою *сомовъ и болгарскихъ угрей*, до которыхъ онъ страстный охотникъ». Нескромное желаніе узнать, не получаетъ ли Надоумко платы съ издателя *Вѣстника Европы* за свои статьи и «по скольку именно за каждую»,—крайне подозрительно. Вывѣдать этого не удастся! Пускай себѣ «грозятъ» чѣмъ-угодно, «судятъ похвалы новымъ поэтамъ и поэмкамъ, — но оставятъ

---

Нигилистовъ»), допущенныя въ разгарѣ полемики, Надеждинъ впоследствии публично порицалъ, какъ бы раскаиваясь въ томъ, чего нельзя было поправить. «Издѣвки надъ семинаристами и семинаріями — писалъ онъ — странно слышать отъ Полевого, «коего званіе, несправедливо осмѣиваемое, возбуждало, бывало, невольное въ немъ участіе всѣхъ благородно мыслящихъ» (*Галатея*, 1830, ч. 17; *Аргусъ*, стр. 98). Въ виду этого, С. А. Венгеровъ совершенно неосновательно обвиняетъ Надеждина въ «преслѣдованіи съ неслыханной (?) грубостью враговъ своего главнаго университетскаго покровителя» (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1900, т. I, стр. 403). Почтенному литератору должно быть извѣстно, что Полевой и Пушкинъ въ обращеніи съ Надеждинымъ не отличались особой деликатностью и, повидимому, не жалѣли, что въ пылу раздраженія у нихъ срывались не очень лестные эпитеты, въ родѣ: *болванъ, дуракъ, желтыйякъ* (сумасшедшій), *лакей* и проч.

въ покоѣ смиреннаго экс-студента, трудящагося, по возможности, для общей пользы, не изъ постыднаго корыстолюбія! Не всѣ вѣдь купцы; не всѣ торгуютъ литературою» и находятъ несказанное удовольствіе во всевозможныхъ придиракахъ: «онъ де ходитъ въ дурное общество—въ сонмище нигилистовъ; стало быть онъ и самъ нигилистъ!» «Э! государь мой!» восклицаетъ Надоумко: «Побойтесь Бога! за что жъ оглашать такъ честнаго человѣка!.. Вѣдь вы сами знаете, что я тамъ былъ не по собственной волѣ: меня затацилъ туда вѣтреникъ Флюгеровскій, который не знакомъ ли полно и съ вами. Притомъ же, что и за бѣда, если я побывалъ тамъ однажды!.. Право, нигилистическаго ничего ко мнѣ не пристало!.. Если бъ случилось мнѣ, пріѣхавъ въ Петербургъ, забрести какъ-нибудь въ то почтенное общество, которое вы собой украшаете, то неужели бы я въ одинъ разъ напитался тамъ вашимъ духомъ и возвратился оттуда рыцаремъ ящичка?.. У меня, слава Богу! натура не имѣетъ особеннаго предрасположенія къ эпидеміи. . . Что жъ касается до моего слога, который имѣлъ несчастіе показаться вамъ пухлымъ и дурнымъ, то я очень жалѣю, что доселѣ не имѣлъ удовольствія быть короче знакомымъ съ вами и научиться у васъ секрету измощать краснорѣчивой чахоткой пухлый слогъ свой. . . Вы упрекаете меня въ употребленіи грубыхъ мужицкихъ поговорокъ—еще болѣе грубою мужицкою рѣчью. . . Да и что это за площадныя выраженія, оскорбившія такъ чувствительно нѣжный слухъ вашъ?.. Это не что иное, какъ старинныя присловія и поговорки нашихъ добрыхъ дѣдовъ, которыхъ отнюдь не должно стыдиться и презирать, но которыя, напротивъ, слѣдуетъ чтить и хранить, какъ родное наслѣдственное наше богатство».—Лишь однажды сказалъ «сущую правду» «рыцарь»: статейки Надоумка «точно диковинки въ наше время, потому что въ нихъ слышится голосъ истины, слишкомъ рѣдко раздающійся нынѣ на литературныхъ торжищахъ».

По поводу «страннаго восторга», съ которымъ «незванный пріятель» превозноситъ «тонкое чутье» сотрудника *Вѣстника Европы*, экс-студентъ вынужденъ замѣтить, что, «роясь на заднемъ дворѣ нашей поэзіи, онъ не могъ не ощутить господствующаго тамъ зловонія», и «не только не гордится сею незаслуженно восхваленною чуткостью, но еще завидуетъ г-ну неизвѣстному, коего залегшее обоняніе оставляетъ воображенію его полную свободу ощущать благоуханіе розъ—тамъ, гдѣ только навозъ и

сорь». . . «При всемъ чутѣ своемъ», однако, экс-студентъ не «дочуялся, почему Патриаршіе пруды, близъ которыхъ находится скромное его жилище, залегли на сердцѣ у г-на неизвѣстнаго, начавшаго удостаивать его еженедѣльно своимъ разглагольствованіемъ. . . Вѣрно, чутеся ему, при всей его нечуткости, что водамъ ихъ суждено смывать грязь и нечисть съ нашей литературы, запачканной тщаніемъ и трудами нашихъ великихъ гениевъ», а это «не можетъ быть ни для него, ни для подобныхъ ему находкою! Благомыслящіе, конечно бы, тому порадовались, но человѣкъ въ человѣка не приходитъ!»—Г-нъ «подкидыватель» всякой дряни въ ящикъ *Сына Отечества* толкуеть еще о молодости лѣтъ Надоумка и «объявляетъ его уже вышедшимъ изъ ребятъ», ибо онъ «недавно завалился за двадцать три года». «Сколь ни сомнительны восхищаемыя» «подкидывателемъ» «права на утверженіе литературнаго совершеннолѣтія, критикъ съ Патриаршихъ прудовъ не можетъ однако не быть признательнымъ къ столь обязательной благосклонности и усиленно просить дать знать ему, сколь велика пошлина, взимаемая обыкновенно за подобное провозглашеніе. Но, между тѣмъ, онъ почитаетъ за грѣхъ скрывать отъ добрыхъ людей, что, по собственному его сознанію, онъ не возмужалъ еще въ литературныхъ сплетняхъ и каверзахъ, составляющихъ нынѣ необходимую принадлежность всякаго литературнаго мужа *comme il faut*, и опасается даже остаться навсегда въ семъ отношеніи ребенкомъ. Что жъ касается до очковъ, которыя ему столь убѣдительно совѣтуется надѣть въ сіи молодые лѣта, то критикъ считаетъ обязанностію извѣстить всѣхъ, кому вѣдать о томъ надлежитъ, что онъ уже запасся прекраснѣйшими очками, при помощи коихъ надѣется различить не только кошку съ мышью, но и *пчелу со шмелемъ, сына съ пасынкомъ, архивъ съ запльснѣвшей пылью*. Сверхъ того, онъ обѣщается впредь читать внимательнѣе, помнить прочитанное лучше и писать не наобумъ, а на надоумъ».

«Плоскія шуточкі» «вкладчиковъ» ящика вообще «ничего не доказываютъ, ни въ чемъ не убѣждаютъ и даже не достигаютъ своей цѣли—не вызываютъ улыбки удовольствія на уста человѣка здравомыслящаго. Угодать же зубоскаламъ и угождать пустяками — дѣло недостойное благонамѣреннаго журналиста». Между тѣмъ этимъ дѣломъ занялись разные Еруславы Арсалаповы и Ипполуты Филупсілооѣгинскіе, «издѣвающіеся надъ ижицами и другими буквами». Не желая толковать съ «клеветрами»

Греча, Ипполитъ Междоветный <sup>1)</sup> обращается къ самому издателю *Сына Отечества* и хочет съ нимъ побесѣдовать на тему, которую нельзя «не принимать больно къ сердцу». «Сломленная кость въ живомъ человѣкѣ»,—говоритъ онъ—«если она срощена не надлежащимъ образомъ, ломается снова и срощивается. На временную боль не смотря, когда желаютъ предотвратить недугъ продолжительный и неисцѣлимый. Наше правописаніе донынѣ еще не установилось, и, къ счастью, сызнова ломать нечего: неоднобразное употребленіе буквъ показываетъ уже, что есть недовольные чужимъ правописаніемъ, и что, несмотря на издаваемые законы творцами грамматикъ, размышляющіе люди продолжаютъ дѣлать опыты, въ чаяніи когда-нибудь попасть на путь истины или, по крайней мѣрѣ, подойти къ ней, сколько можно, ближе. Они говорятъ, что мы, перенявъ многое у просвѣщенныхъ иностранцевъ, должны бы перенять у нихъ и полезный во многихъ отношеніяхъ способъ отличать слова греческаго происхожденія буквами *ѳ* и *ѳ*, для нихъ существующими въ нашей азбукѣ. Вы сами, допустивъ *ѳиту* для именъ собственныхъ и для нѣкоторыхъ нарицательныхъ (Практ. Грамм., стр. 556, 557 и слѣд.), не скрываете отъ насъ, что въ азбучный міръ допущена *ижица*, и даже съ великодушнымъ безпристрастіемъ показываете примѣры, какъ употребляется она въ письмѣ церковно-славянскомъ. Васъ беспокоитъ неутомимая забота о произношеніи слова точь въ точь по писанному; но это ни въ какомъ языкѣ невозможно. Самое слово «конекъ», столько вамъ знакомое, и вы, и клеветъ вашъ такъ ли произносите, какъ оно пишется? Почему же не допустить сего необходимаго исключенія и въ пользу словъ греческихъ, когда въ алфавитъ нашъ издревле введены и приняты буквы, только лишь въ греческихъ словахъ и употребляемыя? Выговоръ подверженъ измѣненію, смотря по мѣсту, времени и обстоятельствамъ, но письменныя формы языка установившагося передаются поколѣніямъ, какъ наследственное достояніе народа. . . Вы же, почтеннѣйшій Николай Ивановичъ,—тогда какъ изъ вашей Практической русской грамматики можно затвердить не мало греческихъ вокабулъ — что я говорю? можно выучиться почти столько же по-гречески, какъ и по-русски — вы, показавши все доброзачіе сихъ буквъ (*ѳ*, *ѳ*) между церковно-славянскими ихъ клеветами, полагаете русской

<sup>1)</sup> Псевдонимъ Надеждина.

*вить* предѣлъ, его же да не преидеть, а *ижжцу*, безгрѣшную *ижжцу*, совѣмъ изгоняете изъ алфавитнаго эдема <sup>1)</sup>. . . *Впро-*

<sup>1)</sup> Въ шутовомъ стихотвореніи Надеждина изображена гонимая всѣми ижжца, нѣкогда игравшая видную роль, подъ именемъ ипсилона и игрека; она молитъ «державнаго первенца письменъ» Аза «не отказать въ своей десницѣ послѣдней спицѣ въ колесницѣ»:

«И въ тихой, тихой, скромной долѣ  
Я не сносила головы!  
Враги наши меня, наперли,  
Надали... стиснули, шумять...  
Анаематствуютъ, кричатъ,  
И въ азбукѣ мой ликъ затерли...  
За чтѣ.. сама не знаю я!

. . . . .  
И такъ нѣтъ нужды, нѣтъ предлога  
Изъ алфавитнаго чертога  
Меня такъ злобно изгонять!..  
Быть можетъ, правда, не подстать  
Я новымъ нынѣшнимъ писакамъ!  
Быть можетъ, этимъ пустозвьякамъ,  
Во мглѣ всевѣдчества святой,  
Взрывающимъ всѣ корни знаній,  
И низко заниматься мной,  
Какъ вѣткой малой и простой!  
Быть можетъ, что въ пылу мечтаній  
Высокой жизни неземной,  
Имъ недосужно и постыдно  
Знакомство съ греками сводить,  
Справляться съ Памвою Берындой,  
Чтобъ знать, гдѣ должно помѣстить  
Твою покорную рабыню!..  
Не тѣ, конечно, времена:  
Сошла съ учености дѣна,  
Ее не чтутъ ужъ за святыню;  
И удалые мудрецы  
Готовы, ежели случится,  
Гомеру въ бороду вцѣпиться  
И взять Софокла за усы!  
Гдѣ жъ мнѣ стоять противъ злодѣевъ?  
Но развѣ въ томъ моя вина?  
Учиться надо безъ меня!  
Вѣдь, грамота—для грамотеевъ!..  
О, Азъ! Мой вѣрный братъ и другъ!  
Вступишь за честь сестры родимой,  
Склони на горькій вопль мой слухъ  
И будь защитникомъ гонимой». •

(*Вѣстникъ Европы*, 1828, № 23, стр. 187—194).

чемъ, не любя споровъ, мы не станемъ питать въ души своей вражды за мертвыя буквы. Подождемъ годъ, другой; станемъ наблюдать, какъ пишутъ грамотеи, какимъ слѣдуетъ правиламъ и на чемъ ихъ основываютъ; размыслимъ хладнокровно, испытаяемъ себя ревностно, не еретичествомъ ли въ истинномъ правописаніи, и (почему знать?), быть можетъ, прибѣгнемъ съ покаяніемъ подъ спасительную стѣну грамматическихъ догматовъ вашихъ»<sup>1)</sup>.

Письмомъ о правописаніи закончилась полемика съ Гречемъ и Булгаринимъ. Язвительность Надоумка или какія другія обстоятельства оказали свое вліяніе, неизвѣстно,—но только «Типографскій ящикъ, состоявшій при *Сынъ Отечества*», на время прекратилъ свое существованіе, и экс-студентъ напутствовалъ его прощальнымъ словомъ. «Бѣдные прихожане! бѣдные вкладчики *Сына Отечества и Ствернаго Архива!*.. Не придется ли имъ теперь затянуть пѣсню, которую заставляли, было, пѣть читателей *Вѣстника Европы* ихъ почтенные старосты:

О, горе намъ!

О, страшная для насъ невзгода!

Но—нѣтъ! Напрасныя опасенія!.. Есть старинная русская поговорка: лихое спѣро, не умираетъ скоро! Типографскій ящикъ, назначавшійся, было, служить сборною кружкою всѣхъ ругательствъ и браней, долженствующихъ поддерживать дряхляющее бытіе *С. О.* и *С. А.* точно закрылся; но зато—весь *С. О.* и *С. А.* превратился... въ ящикъ!.. Подобные факты въ настоящій вѣкъ превращеній—не диковинка; и если бы классическій энтузіазмъ не былъ преслѣдуемъ у насъ съ такимъ остервенѣніемъ, то иному Овидію, при взглядѣ на литературное житье-бытье наше, не мудрено было бы написать дюжины двѣ-три оригинальныхъ *Metamorphoseon*, не истощивъ своего предмета!—За недостаткомъ поэтическаго одушевленія, можно бѣ было просто любоваться подобными литературными оборотами и оборотнями, если бѣ они не кидались на всякаго встрѣчнаго и поперечнаго, дабы изумить простяковъ и напугать добродушныхъ,—а это

---

<sup>1)</sup> Можетъ быть въ этихъ словахъ С. А. Венгеровъ усмотрѣлъ упорную «теоретическую защиту» «комической орфографіи» Каченовскаго «противъ нападокъ противниковъ»? (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1900, т. I, стр. 403).

можетъ, наконецъ, истощить всякое терпѣніе!—Такъ изволилъ тѣшиться С. О. и С. А. при вскрытіи Типографскаго ящика, и сія потѣха такъ пришла ему по сердцу, что не прекратилась закрытіемъ этой посудыны. Съ неизъяснимымъ ожесточеніемъ грызеть онъ теперь самъ, собственною своею особою, каждый листокъ, носящій имя журнала, и сколь ни толста бумага *Московскихъ Вѣдомостей* и *Прибавленій къ Казанскому Вѣстнику*, она не спасла ихъ отъ зубовъ, изощренныхъ на все журнальное и газетное. *Вѣстникъ Европы*, по естественному порядку вещей, долженъ былъ подвергнуться той же участи»; однако онъ имѣетъ достаточно твердости, чтобы, «не содрогаясь, высказывать всегда свое искреннее мнѣніе по совѣсти и внутреннему убѣжденію, не только о произведеніяхъ Пушкина и князя Вяземскаго, но и о другихъ, можетъ быть, еще ближайшихъ къ сердцу почтеннаго своего содруга», и «скорѣ приметъ на себя имя *Африканскаго Вѣстника*, чѣмъ откажется отъ единственнаго начала, коимъ онъ всегда руководствовался и которое, по несчастію, стерлось такъ же съ внутренности, какъ и съ главнаго листка *Сына Отечества*, у *Сѣвернаго* же *Архива* и на оберткахъ никогда не существовало: *vitam impendere vero!*»<sup>1)</sup>.

---

Легко выдерживая непріятельскіе натиски и, безъ особаго труда, отражая даже бѣшенныя атаки, Надеждинъ ловко уклонялся отъ наносимыхъ ему ударовъ, и самъ удачно переходилъ въ наступленіе. Но полемическія схватки были ему противны, и побѣда надъ врагомъ не радовала его: она могла тѣшить другое, болѣе мелкое самолюбіе Спокойный и ровный, Надеждинъ умѣлъ хорошо владѣть собой, и замыкался въ себѣ, сторонясь отъ своихъ недоброжелателей. Враждебный приѣмъ, оказанный ему московскими и петербургскими литераторами, не ослабилъ его энергіи; наоборотъ, она усиливалась и крѣпла по мѣрѣ накопленія препятствій, которыя преодолѣть было необходимо. Не оставляя журнальной работы, Надеждинъ захотѣлъ расширить область своихъ научныхъ разысканій. Избранный 8 марта

---

<sup>1)</sup> См. *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 23, стр. 187—194; 1829, № 6, стр. 152—162; № 7, стр. 233—243; № 9, стр. 57—66; № 11, стр. 226—227; № 13, стр. 67—68; № 22.



1829 года въ члены-соревнователи Общества исторіи и древностей російскихъ, онъ въ торжественномъ засѣданіи прочелъ вступительную рѣчь на тему: «Предначертаніе исторически-критическаго изслѣдованія древне-русской системы удѣловъ»<sup>1)</sup>. «Единственное начало», говорилъ онъ въ этой рѣчи: «одушевляющее всѣ мои дѣйствія, есть желаніе воспитать и образовать себя на пользу отечества, и почтеннѣйшее Общество, воспріявъ меня подъ знаменитую сѣнь свою, расширяетъ для меня возможность и умножаетъ средства къ достиженію цѣли, составляющей послѣдній край всѣхъ надеждъ моихъ».

Желанная цѣль была достигнута при содѣйствіи М. Т. Каченовскаго, «внушившаго» своему сотруднику «мысль примкнуться къ университету»; въ моментъ произнесенія рѣчи Надеждинъ, по всей вѣроятности, уже закончилъ свои экзамены на степень доктора словесныхъ наукъ<sup>2)</sup> и подготавливалъ диссертацию, стремясь скорѣе пріобрѣсти необходимыя права для занятія профессорской каѳедры.

Путь, по которому шелъ Надеждинъ, былъ тяжелый: слѣдовало испытать не мало мытарствъ, чтобы осуществить завѣтную мечту. Рѣшеніе подвергнуться экзамену на высшую ученую степень казалось Надеждину «шагомъ важнымъ и тѣмъ болѣе страшнымъ, что въ Московскомъ университетѣ давно уже не было примѣровъ докторскихъ экзаменовъ, кромѣ какъ по медицинскому факультету».

«Я однако не оробѣлъ», рассказываетъ объ этомъ эпизодѣ своей жизни Надеждинъ<sup>3)</sup>: «и вотъ въ одно прекрасное утро явился къ тогдашнему ректору университета И. А. Двигубскому съ просьбою о допущеніи меня къ испытанію на степень доктора по словесному факультету. Старикъ Двигубскій смотрѣлъ на меня во всѣ глаза, тѣмъ болѣе, что я былъ до тѣхъ поръ<sup>4)</sup>

---

1) *Труды и мѣтописи Общества исторіи и древностей російскихъ, учрежденнаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ*, 1830, ч. V, стр. 92—105; ч. VIII, стр. 100, 132—133.—Торжественное засѣданіе происходило 14 мая 1829 года.

2) Прошеніе о допущеніи къ испытаніямъ было подано въ апрѣлѣ 1828 г. (*Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 4).

3) *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 59—61.

4) Т. е. до апрѣля 1828 года.

никому неизвѣстенъ. Онъ однако принялъ мою просьбу и внесъ ее въ совѣтъ. Совѣтъ затруднился по той причинѣ, что счелъ себя не въ правѣ допустить на испытаніе для степени доктора по словесному факультету магистра богословія. По счастью, въ дипломъ моемъ стояла фраза, что я имѣлъ степень *magistri sanctionum humaniorumque litterarum*. Это послѣднее слово выручило меня. Рѣшено было впрочемъ представить этотъ казусъ на благоусмотрѣніе и рѣшеніе министра народнаго просвѣщенія, которымъ былъ тогда князь Ливенъ. Пошло въ Петербургъ. Прошли мѣсяцы,—ничего. Я началъ сомнѣваться въ успѣхѣ; профессеры же рѣшительно отчаивались. Въ это время случилось одно обстоятельство, которое могло бы совершенно измѣнить мою судьбу. Тогда составлялась новая миссія въ Китай и требовалось для нея нѣсколько молодыхъ людей. Я рѣшился было рискнуть ѣхать туда и уже началъ, сколько могъ, приготовляться къ тому; взялъ даже нѣкоторыя мѣры, и уже назначенъ былъ день, въ который долженъ я былъ подать официально просьбу объ этомъ, какъ вдругъ удивленъ былъ пріѣздомъ ко мнѣ Каченовскаго, до тѣхъ поръ никогда меня не посѣщавшаго, который заѣхалъ ко мнѣ прямо изъ университетскаго совѣта съ извѣстіемъ, что о докторствѣ моемъ пришло разрѣшеніе министра, и что дѣло передано въ словесный факультетъ съ тѣмъ, чтобы онъ началъ испытаніе по всѣмъ правиламъ. Все тотчасъ перемѣнилось. Я явился къ Мерзлякову, который былъ тогда деканомъ факультета. Тотъ понапугалъ меня порядочно разговоромъ о томъ, чего отъ меня будутъ требовать. Но я устоялъ и, наконецъ, получилъ приглашеніе на экзаменъ словесный. Страшно было мнѣ предстать предъ ученый ареопагъ, къ лицамъ, большею частію мнѣ неизвѣстнымъ. Меня экзаменовали устно сначала профессеры Мерзляковъ, Каченовскій, Снегиревъ, Ивашковскій и Побѣдоносцевъ, въ присутствіи профессоровъ Цвѣтаева и Чумакова, какъ депутатовъ отъ прочихъ факультетовъ университета. По тогдашнему положенію слѣдовало выдержать два устные экзамена; другой я выдержалъ уже смѣлѣе. Затѣмъ слѣдовалъ экзаменъ письменный, гдѣ я долженъ былъ, въ присутствіи экзаменаторовъ, написать на двухъ языкахъ: латинскомъ и русскомъ, отвѣты на нѣсколько вопросовъ, вынутыхъ мною по жребію изъ всѣхъ наукъ факультета. Тутъ спросили меня, выбралъ ли я себѣ предметъ для окончательной диссертациі, которая, по положенію, отъ доктора требовалась непременно на

латинскомъ языкѣ. У насъ уже прежде рѣшено было съ Каченовскимъ, чтобы писать диссертацию о животрепещущемъ тогда вопросѣ,—о романтизмѣ. Факультетъ утвердилъ для меня эту задачу въ слѣдующемъ видѣ: *De origine, natura et fatis Poëseos, quae Romantica audit, dissertatio historico-critico-elenctica*»<sup>1)</sup>.

---

---

<sup>1)</sup> Въ автобіографіи заглавіе диссертациі измѣнено: «*De Poëseos, quae Romantica audit, origine, indole et fatis*».

#### IV.

Вопросъ о древней и новой поэзіи въ освѣщеніи западно-европейскихъ философовъ, поэтовъ и критиковъ. — Мысль о синтезѣ классицизма съ романтизмомъ.—Отраженіе этой мысли въ русскихъ сочиненіяхъ.— Диссертация „De Poësi Romantica“: степень ея оригинальности, содержаніе и основныя идеи. — Отзвывы критики о диссертации.—Участіе Надеждина въ конкурсѣ на кафедре археологіи и теоріи изящныхъ искусствъ и утвержденіе его въ должности ординарнаго профессора.

Слово «романтизмъ»—самое употребительное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самое неясное и туманное; оно одно изъ тѣхъ, которымъ каждый считаетъ себя въ правѣ давать особый смыслъ, особое значеніе <sup>1)</sup>). Терминъ пущенъ въ оборотъ, но съ нимъ не связано никакого опредѣленнаго понятія. Одинъ усматриваетъ романтизмъ тамъ, гдѣ проявляются извѣстныя душевныя свойства человѣка, вѣчныя и неизмѣнныя, какъ сама природа; ищетъ его вездѣ: въ античной поэзіи, въ твореніяхъ новѣйшихъ писателей, и находитъ вездѣ или, вѣрнѣе, не находитъ нигдѣ, такъ какъ, при подобной постановкѣ вопроса, самое понятіе становится столь расплывчатымъ, что утрачивается какая-либо возможность отмежевать романтизмъ отъ не-романтизма; другой соединяетъ романтизмъ съ общественнымъ и литературнымъ движеніемъ конца XVIII и начала XIX вѣковъ; наконецъ, третій видитъ въ романтизмѣ теорію... Часто создается характерный заколдованный кругъ: предполагая даннымъ то, что требуется доказать, изслѣдователи обнаруживаютъ «раннія романтическія вѣянія», толкуютъ о почвѣ романтизма и его дальнѣйшемъ развитіи, и въ то же время не знаютъ, что должно разумѣть подъ загадочнымъ словомъ. Очевидно, заманчивый ярлыкъ наклеивается каждымъ произвольно на все, что ему понравится; задача упрощается чрезвычайно...

---

<sup>1)</sup> Сл. *F. Brunetière. Études critiques*, III, p. 294.

но, къ сожалѣнію, только для автора изслѣдованія, а не для читателя, который осужденъ пребывать въ недоумѣніи.

Такое недоумѣніе было знакомо и французамъ въ эпоху расцвѣта романтизма. Объ этомъ свидѣтельствуетъ В. Гюго <sup>1)</sup>, твердятъ его современники <sup>2)</sup>. Желаящіе понять, что такое романтизмъ,—заявляютъ Мюссе,—принуждены были перескакивать съ одного опредѣленія на другое. Двое такихъ смѣльчаковъ, Dupuis и Cotonet, въ теченіе двухъ лѣтъ полагали, что романтизмъ имѣетъ отношеніе лишь къ театру и отличается отъ классицизма тѣмъ, что можетъ обходиться безъ единствъ; затѣмъ, послѣ появленія «знаменитаго предисловія», въ продолженіе цѣлаго года считали его сочетаніемъ веселаго и серьезнаго, смѣшнаго и ужаснаго, т. е. комедіи и трагедіи; позже слово «romantique» стало казаться имъ синонимомъ слова «romanesque»; вплоть до 1830 года романтизмъ былъ для нихъ подражаніемъ англичанамъ и нѣмцамъ, съ 1830 по 1831—жанромъ историческимъ, съ 1831—«интимной» поэзіей, съ 1832 по 1833—философскою системою...

Насмѣшка Мюссе имѣетъ болѣе серьезныя основанія, чѣмъ можно подуматъ; мы имѣемъ дѣло не съ чистой фантазіей, но съ

---

<sup>1)</sup> *M. Souriau. La préface de Cromwell. Paris, p. 192: «... nous venons d'indiquer le trait caractéristique, la différence fondamentale qui sépare, à notre avis, l'art moderne de l'art antique, la forme actuelle de la forme morte, ou, pour nous servir de mots plus vagues, mais plus accrédités, la littérature romantique de la littérature classique».*—Припомнимъ, что въ Германіи сторонники новаго направленія подвергались нареканіямъ: «Da indessen einseitige Bewunderer der Alten immer fortfahren zu [behaupten, alle Abweichung von ihnen sei nichts als eine Grille der neuesten Kritiker, welche geheimnissvoll davon sprächen, ihm (dem Romantischen) aber keinen gültigen Begriff unterzulegen wüssten etc». (*A. W. Schlegel. Sämmtliche Werke. Leipzig, 1846. Fünfter Band, S. 12*).

<sup>2)</sup> *Bibliothèque Universelle des sciences, belles-lettres et arts, 1826, t. XXXIII, pp. 218—219: «Au premier coup d'œil que l'on jette sur l'état actuel de cette question dans la république des lettres, on n'aperçoit qu'un chaos d'opinions incohérentes et contradictoires. Il n'y a peut-être pas, en France, un seul journal qui n'ait donné son avis sur la fameuse querelle. Les hommes de tous les partis, les écrivains de tout rang, depuis l'académicien titré jusqu'à l'humble journaliste, ont parlé pour ou contre le romantique. On l'a loué, prôné, exalté, condamné, décrié, bafoué, en prose et en vers, dans des traités et des brochures, des satires et des vaudevilles, des discours académiques et des épi grammes; et, au milieu de cette masse de jugemens divers, on a peine à trouver deux idées concordantes, deux opinions qui soient le résultat d'une même manière de voir».*

злой карикатурой, касающейся дѣйствительности. «На первых порахъ ни приверженцы, ни противники романтизма не знали навѣрно, въ чемъ онъ состоитъ. Они соглашались, конечно, признать, что онъ—нѣчто другое, чѣмъ классицизмъ; но каковъ его характерный признакъ, каково его основное начало, они не были въ состояніи открыть. Каждый ухищрялся придумать свою формулу—и всѣ формулы были различны и часто непримиримы между собой». «Обратите вниманіе»,—говорилъ Л. Вите,—«на тѣхъ писателей, которые впервые занесли къ намъ изъ-за Рейна слово «романтизмъ», самое большее лѣтъ двадцать тому назадъ<sup>1)</sup>. Какимъ условіямъ нужно было удовлетворять, съ ихъ точки зрѣнія, чтобы быть романтикомъ? Нужно было порвать всѣ связи съ языческой миологіей и съ античными греческими и римскими преданіями; нужно было черпать вдохновеніе только въ таинствахъ христіанства и въ великихъ событіяхъ средневѣковья; романтизмъ былъ поэзіей сѣверныхъ народовъ, противоположной поэзіи народовъ южныхъ,—романской поэзіей и *продолженіемъ пѣсенъ труверовъ и трубадуровъ*. Другія лица, явившіяся, быть можетъ, пять-шесть лѣтъ назадъ, смотрѣли иначе на дѣло и утверждали, что романтизмъ—точное изображеніе вещей такими, каковы онѣ есть на самомъ дѣлѣ; что классикъ находитъ удовлетвореніе въ идеалѣ, романтикъ—въ дѣйствительности: одинъ пребываетъ въ сферѣ обобщеній, другой анализируетъ личность, рисуетъ характеръ, не страсти, людей, не идеи... Иные усмотрѣли въ спорѣ классиковъ и романтиковъ отголоски старины: *la vieille querelle des anciens et des modernes*; иные раздѣляли всѣ литературы на оригинальныя и подражательныя, считая первыя романтическими, а вторыя—классическими. Мы не говоримъ уже о тѣхъ, кто обратилъ романтизмъ въ школу, отличающуюся неологизмами, дѣланымъ энтузіазмомъ, ложной чувствительностью, приторной и туманной меланхоліей».

Понятіе о романтизмѣ, какъ и понятіе о либерализмѣ, сдѣлалось относительнымъ. По мнѣнію Стендаля, романтизмъ—искусство создавать литературныя произведенія, способныя доставлять наиболѣе удовольствія современному обществу, классицизмъ—прадѣдамъ. Поклонники старыхъ традицій попросту разумѣютъ подъ классицизмомъ нѣчто хорошее, подъ романтизмомъ дурное. Раздаются голоса, что суть романтизма заключается въ неопредѣ-

<sup>1)</sup> Писано въ 1825 г.

ленности мыслей, въ забвеніи того, что называли «les éternelles proportions du beau». Освѣтить пренія, вызвать читателей на размышленія и вообще «разогнать облака, окутавшія важный вопросъ», брался журналъ *Le Globe*. Здѣсь можно найти цѣлую коллекцію опредѣлений романтизма, сдѣланныхъ въ Германіи и Англии. Романтизмъ является то «поэзіей душевныхъ впечатлѣній, а не образовъ», то поэзіей религіозной, то поэзіей, гдѣ образы прекрасны единственно чрезъ посредство идей, которыя соединяются съ ними, тогда какъ въ классицизмѣ они прекрасны сами по себѣ; то поэзіей, не имѣющей подходящей формы для выраженія своего идейнаго содержанія, тогда какъ классицизмъ всегда можетъ получить таковую. «Историческими источниками» романтизма, не менѣе многочисленными, чѣмъ его опредѣленія, считаются: 1) христіанство и рыцарство (Stäel, Schlegel; отчасти W. Scott); 2) вліяніе мавровъ (Bouterwek); 3) нравы и обычаи саксонскіе (Mackintosh) и нормандскіе (Coleridge); 4) вліяніе завоеваній вообще (Sismondi); 5) вліяніе религіозныхъ идей Реформаціи (Villers).

Подписчики *Le Globe* не могли жаловаться: у нихъ было даже слишкомъ много опредѣлений романтизма. И сотрудники журнала чувствовали, что читателямъ было трудно выпутаться изъ этого хаоса и выбрать одну формулу изъ массы другихъ. Вотъ почему они рѣшили представить свои собственныя. Эти формулы слѣдующія: романтизмъ—1) поэзія новыхъ народовъ, отражающая характерныя черты новѣйшей цивилизаціи; 2) введеніе спиритуализма въ литературу; 3) протестантизмъ въ литературѣ и искусствѣ и т. д. Но подобныя мнѣнія не могли, конечно, считаться рѣшающими; было очевидно, что легче указать недостатки классиковъ, чѣмъ опредѣлить достоинства романтиковъ <sup>1)</sup>.

Неясность и запутанность сужденій, высказанныхъ въ двадцатыхъ годахъ истекшаго столѣтія, свидѣтельствуютъ о томъ, что серьезное изученіе романтизма еще только начиналось. Какъ лучше провести грань между романтизмомъ средневѣковымъ и новѣйшимъ, какіе направленія и оттѣнки замѣтны въ послѣднемъ, каково отношеніе романтизма къ классицизму, изъ какихъ

---

<sup>1)</sup> *Revue des Lettres Françaises et Etrangères*, 1900, t. II, pp. 129—136 (G. Michaut. Sur le romantisme. Une poignée de définitions).—*Th. Ziesing*. Le Globe de 1824 à 1830 considéré dans ses rapports avec l'école romantique. Zurich, 1881, pp. 9—13, 59—75.—*Alfred de Musset*. Oeuvres complètes. Paris, t. VI, pp. 269—302.—*Ch.-M. Des Granges*. La Presse Littéraire sous la Restauration. Paris, 1907, pp. 187—245.

элементовъ должна сложиться поэзія будущаго?—вотъ вопросы, которые волновали съ конца XVIII в. нѣмецкихъ и французскихъ философовъ, поэтовъ-теоретиковъ и литературныхъ критиковъ. Тогдашнія постановка и разрѣшеніе этихъ вопросовъ, не утратившихъ интереса и въ настоящее время, любопытны для историка.

Въ Германіи Шиллеръ въ 1795—1796 гг. сдѣлалъ попытку опредѣлить особенности старой и новой литературы въ трактатѣ «О наивной и чувствительной поэзіи».

Задача поэзіи,—писалъ Шиллеръ,—состоитъ въ изображеніи эстетическаго идеала, т. е. «человѣческой природы въ счастливомъ и совершенномъ созвучіи своихъ силъ, въ гармоническомъ единствѣ ея духовныхъ и чувственныхъ способностей, въ томъ состояніи свободы, которой ищетъ моральный человѣкъ и которой недостаетъ чувственному» <sup>1)</sup>. Эстетическій идеалъ или существуетъ въ дѣйствительности, или не существуетъ; онъ «живетъ въ насъ или какъ природа, или какъ страстное желаніе». *Наивная* поэзія отражаетъ прекрасную природу, какъ существующую дѣйствительность; *чувствительная*—изображаетъ идеалъ. Оба рода поэзіи противоположны другъ другу. По мѣрѣ того, какъ человѣкъ перестаетъ быть наивнымъ, онъ становится чувствительнымъ. Природа мало-по-малу исчезаетъ изъ жизни, какъ опытъ, и «восходитъ» въ поэзіи, какъ идея. Пока чувственность согласуется съ разумомъ, не противорѣчитъ ему, человѣкъ дѣйствуетъ какъ нераздѣльное единство, какъ органическое цѣлое, и бываетъ наивенъ; но когда цивилизація накладываетъ на человѣка свою руку, гармонія чувствъ съ разумомъ уничтожается: она «уже болѣе не въ человѣкѣ, но внѣ его, какъ мысль, которая должна еще осуществиться, а не какъ жизненный фактъ»,—на смѣну наивности является чувствительность. И въ природѣ мы начинаемъ видѣть «только счастливую сестру, оставшуюся въ отеческомъ домѣ, изъ котораго, гордые своею свободою, мы бурно выбѣжали на чужбину. Едва взглянули мы на всѣ передраги цивилизаціи, какъ уже съ тоскливымъ желаніемъ хотимъ вернуться назадъ, и изъ далекой области искусства слышимъ трогательный зовъ матери». Древніе поэты плѣняютъ насъ «природою, живымъ настоящимъ», новые—только идеями; первые

---

<sup>1)</sup> *Кюно-Фишеръ*. Публичныя лекціи о Шиллерѣ. М., 1890, стр. 151.



наивны, вторые — чувствительны. *Наивное* — существенный признак *классицизма*; *чувствительное* — существенный признак *романтизма*.

Наивная поэзія имѣетъ свой предметъ, который данъ ей въ природѣ; она — абсолютное изображеніе конечной величины, объективна по своему характеру. «Объектъ владѣетъ наивнымъ поэтомъ совершенно; сердце его не лежитъ, подобно неблагородному металлу, тотчасъ подъ поверхностью, но, подобно золоту, хочетъ, чтобы его искали въ глубинѣ. Какъ божество — позади мірозданія, такъ и онъ стоитъ позади своего произведенія». Наивный поэтъ, въ родѣ Гомера, «моцень искусствомъ ограниченія» и исключительно подражаетъ дѣйствительности.

Иного характера чувствительная поэзія. Она не имѣетъ предмета, который ей былъ бы данъ, а должна его создать. Создается идеалъ, который развивается до безконечной величины, и сама поэзія становится изображеніемъ абсолютнаго. Не природой, а своей фантазіей живетъ чувствительный поэтъ, неизбѣжно сознающій контрастъ между идеаломъ и дѣйствительностью. Таковъ Клопштокъ. «Его сфера—всегда царство идей, и все, чтѣ обрабатываетъ, онъ умѣетъ перевести въ безконечное». Онъ рѣшительно со всего матеріальнаго «совлекаетъ тѣлесную оболочку, чтобы сдѣлать его духомъ, въ то время, какъ другіе поэты все духовное облакаютъ тѣломъ».

Наивный поэтъ «имѣетъ преимущество передъ чувствительнымъ въ реальности: онъ доводитъ до дѣйствительнаго существованія то, къ чему послѣдній возбуждаетъ только живое влеченіе»; но и чувствительный поэтъ имѣетъ выгоду сравнительно съ наивнымъ, ибо «въ состояніи дать этому влеченію бѣльшій предметъ». «Всякая дѣйствительность, какъ извѣстно, уступаетъ идеалу, такъ какъ все существующее имѣетъ свои границы, а мысль безгранична. Это ограниченіе, которому подвержено все чувственное, вредитъ наивному поэту, тогда какъ безусловная свобода мышленія выгодна для чувствительнаго». Вообще мы «охотнѣе погружаемся черезъ созерцаніе въ самихъ себя, гдѣ мы находимъ пищу для возбужденнаго влеченія въ міръ идей, чѣмъ изъ самихъ себя устремляемся за чувственными предметами. Чувствительная поэзія есть порожденіе затворничества и тишины, къ которымъ и манитъ насъ; наивная—дита жизни, и возвращаетъ насъ къ жизни».

Наивный гений «нуждается въ помощи *извнѣ*», «долженъ

видѣть вокругъ себя богатую формами природу, поэтической міръ». При отсутствіи этихъ условій, когда онъ «окрыженъ одной бездушной матеріей», онъ рискуетъ сдѣлаться *пошлымъ*. Чувствительный геній «питается и очищается изъ *самого себя*»; его «сфера и задача—абсолютное, но въ извѣстныхъ «предѣлахъ, заключающихся въ самомъ понятіи о человѣческой природѣ». Генію грозитъ опасность: онъ не долженъ переходить этихъ предѣловъ. Въ противномъ случаѣ, онъ будетъ не идеализировать, но «выйдетъ изъ границъ всякой возможности», станетъ мечтать и сдѣлается *высокопарнымъ*.

«Ни наивный, ни чувствительный характеръ, разсматриваемые порознь, не исчерпываютъ вполне идеала прекраснаго человѣчества, который можетъ возникнуть только изъ ихъ взаимнаго тѣснаго соединенія». Наивный характеръ, по отдѣленіи отъ него всего поэтическаго, обращается въ реалистическій; чувствительный въ идеалистическій. Для истиннаго пониманія вещей идеализмъ и реализмъ должны дополнять и проникать другъ друга. И поэтъ будущаго, представитель прекраснаго человѣчества, не можетъ быть ни романтикомъ, ни классикомъ, а явится лицомъ, въ которомъ чувствительность соединится съ наивностью: онъ-то и создастъ высокое художественное твореніе, гдѣ элегія обратится въ идиллію. Онъ станетъ «преслѣдовать идеаль до конца, до полной чистоты и не остановится до тѣхъ поръ, пока не достигнетъ наибольшаго результата, не обращая вниманія на то, поспѣваетъ ли за нимъ дѣйствительность». Онъ «отвергнетъ недостойную уловку унижить идеаль, чтобы подогнуть его подъ мѣрку человѣческой нужды и исключить духъ, чтобы тѣмъ легче подѣйствовать на сердце». Онъ «поведетъ насъ не обратно къ нашему дѣтству, чтобы цѣною драгоценнѣйшихъ приобрѣтеній ума заставить насъ купить покой, который прекращается съ пробужденіемъ нашихъ духовныхъ силъ, но поведетъ насъ впередъ, къ нашему совершеннѣттю, чтобы дать намъ почувствовать высшую гармонію, которая награждаетъ борца, дѣлаетъ счастливымъ побѣдителя». Онъ «поставитъ себѣ задачей идиллію, которая изображаетъ пастушескую невинность также въ субъектахъ культуры и при всѣхъ условіяхъ самой здоровой, самой пламенной жизни, самаго разносторонняго мышленія, самаго чистаго искусства, самой высокой общественной утонченности. Словомъ, онъ поведетъ въ Элизій человѣка, который уже не можетъ болѣе возвратиться въ Аркадію». Но все-таки идеаль

будеть не вполнѣ достигнуть... Поэтому человекъ долженъ вѣчно помнить тѣ границы, въ которыхъ онъ можетъ дѣйствовать:

An dem Eingang der Bahn liegt die Unendlichkeit offen,  
Doch mit dem engesten Kreis höret der Weiseste auf<sup>1)</sup>.

Тема, затронутая Шиллеромъ, привлекала вниманіе поколѣнія молодыхъ литераторовъ. Живо откликаясь на запросы современной жизни, Фр. Шлегель и Новалисъ тоже задумывались надъ разрѣшеніемъ однородной задачи; имъ также хотѣлось подмѣтить отличительныя черты новаго искусства.

Поэзія сродни философіи съ точки зрѣнія Шлегеля, пытавшагося разграничить литературы классическую и новѣйшую и называвшаго послѣднюю субъективной, а первую объективной. Идеаль, который греки хотѣли выразить въ своемъ искусствѣ, конеченъ, и поэтому они достигли своей цѣли; идеаль новѣйшихъ писателей неуловимъ, безконеченъ,—отсюда незаконченность ихъ произведеній. Насъ поражаетъ роковое несоотвѣтствіе между тѣмъ, что мы дѣлаемъ, и тѣмъ, что мы хотѣли бы сдѣлать; наши желанія остаются неудовлетворенными. Художникъ не забываетъ, что его истинная цѣль—абсолютное начало; отдѣльный предметъ для него—только средство достичь «всеобщаго», и зоркій глазъ усматриваетъ въ немъ «безконечное», которое онъ выражаетъ. Абсолютное начало и есть прекрасное, существующее лишь для лицъ, способныхъ созерцать его. Прекрасное вліяетъ на все существо, даетъ полное удовлетвореніе чувствамъ и уму и приводитъ душу въ гармоническое состояніе. На крыльяхъ своего воображенія поэтъ поднимается выше «реальнаго» міра, гдѣ сталкиваются различные интересы и мы разъединяемся другъ съ другомъ, и достигаетъ умиротворяющей и все объединяющей красоты. Фр. Шлегель принадлежалъ къ числу такихъ людей, которые постоянно чувствуютъ потребность выйти за предѣлы конечнаго міра, чтобы потеряться въ безконечности. Но лишь въ рѣдкіе моменты «душевной экзальтаціи» онъ приближается къ Божеству, которое пока не проявило себя во вселенной<sup>2)</sup>.

Символистъ, въ родѣ Новалиса, признаетъ особую высшую

---

1) Deutsche National-Litteratur. B. 129, 1. Schillers Werke. Zwölfter Theil, erste Abtheilung, SS. 341—429.—Ср. *Кун-Фишеръ*. Публичныя лекціи о Шиллерѣ. М., 1890, стр. 66—193.

2) *I. Rouge*. Frédéric Schlegel et la genèse du romantisme allemand. Paris, 1904, pp. 72, 76, 80, 94, 96—97, 150—151, 232, 236, 297—304.

математику, посредствомъ которой мы можемъ вскрыть не ви́шнія соотношенія, но сокровенныя свойства существъ. «Поэтическая математика», или «философія», даетъ возможность видѣть во вселенной алгебраическое уравненіе, которое слѣдуетъ рѣшить. «Философія» приобщаетъ насъ къ высшему сознанію; намъ становится понятнымъ значеніе идеи, которая обнаруживается въ мірозданіи (теофанія). Въ мірѣ ви́шнемъ, видимомъ, призрачномъ, мѣняющемся, скрытъ другой сокровенный, невидимый міръ духовъ, существованіе котораго оправдывается вѣрой. Въ этотъ міръ высшаго порядка трудно проникнуть ученому, но *проникнетъ поэтъ*.

Новались читалъ Канта и Шиллера, но онъ не могъ удовлетвориться относительнымъ знаніемъ человѣчества. Онъ хотѣлъ сдернуть покрывало, окутывающее таинственный истуканъ въ Саисѣ и постичь истину. «Смертный долженъ попытаться сдѣлаться безсмертнымъ». Истуканъ—природа, на которую накинута загадочный покровъ, усѣянный гіероглифами. И тщетно ученые стараются разгадать ихъ значеніе. Они анализируютъ природу, но всѣ ихъ кропотливыя изысканія даютъ ничтожные результаты. Они изучаютъ бездушный автоматъ, безжизненный механизмъ, «*carut mortuum*» природы; они безсильны соединить въ одно цѣлое разъятые члены ея, возсоздать божественный первообразъ, сообщить ему трепетаніе жизни. Прошелъ золотой вѣкъ, прошла эпоха райской невинности, когда человѣкъ стоялъ ближе къ природѣ, приходилъ съ нею въ непосредственное общеніе, былъ ея органомъ, стоялъ у творческаго источника, былъ надѣленъ чудесными дарами волшебства и пророчества, когда природа говорила прямо его сердцу на языкѣ простомъ и ему знакомомъ. Разрывъ между природой и человѣкомъ сдѣлалъ послѣдняго одинокимъ. И лишь немногіе *избранники* (поэты) теперь понимаютъ, что природа одухотворена, что у ней есть душа, едва ли не та вѣчная субстанція, въ которой примирены всѣ земныя противорѣчія, разрѣшена загадка бытія. Природа—цѣлая поэма, на страницахъ которой можно прочесть о многихъ чудесахъ. Надо, чтобы эти страницы сдѣлались доступны для всякаго. «Когда-нибудь не будетъ болѣе природы, и все преобразуется въ духовный міръ»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> *E. Spenlé. Novalis. Essai sur l'idéalisme romantique en Allemagne. Paris, 1904, pp. 143, 145—146, 159, 179—180, 188, 191—194, 205, 212—217, 235. 242.*

Читающему сочиненія Фр. Шлегеля и Новалиса выясняется то сильное влеченіе къ идеалу, которое побуждало видѣть въ новой поэзіи неполное разоблаченіе тайнъ бытія, отраженіе безконечнаго начала; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, также сразу бросается въ глаза крупный недостатокъ: туманность, расплывчатость и разбросанность мыслей; отсутствіе точности, опредѣленности. Знакомство съ философскими системами не сдѣлало ихъ умовъ строго систематическими, философскими... Беспорядочность и сбивчивость изложенія уступаютъ мѣсто системѣ въ Эстетикѣ Фр. Аста (1805).

Искусство, — полагаетъ Астъ, — возможно при наличности двухъ элементовъ: безконечности и конечности, абсолютная гармонія которыхъ порождаетъ красоту. Противоположность обоихъ элементовъ не только обнаруживается въ каждомъ художественномъ произведеніи, но сама опредѣляетъ роды искусства. Въ одномъ родѣ господствуетъ безконечное, въ другомъ — конечное. Въ одномъ родѣ безконечное является какъ реальное, образованное символически и позитивно, въ другомъ — какъ идеальное, образованное аллегорически и отрицательно. Первый родъ искусства, гдѣ прекрасное возникаетъ въ видѣ чистой, объективной гармоніи безконечнаго и конечнаго, есть античное искусство, *реализмъ* искусства. Наоборотъ, другой родъ, гдѣ прекрасное носитъ характеръ субъективный и идеальный и безконечное проявляется только отрицательно въ безграничной любви и тоскѣ по безконечному, есть романтическое искусство, *идеализмъ* искусства. Но прекрасное, въ силу своего совершенства, основывается на согласованіи безконечнаго и конечнаго; поэтому необходимо, чтобы объективное и субъективное творчество согласовались между собой. *Идеаль искусства есть романтическое преображеніе античнаго искусства.*

Противоположность древняго и романтическаго искусства вполне объясняется противоположностью религій грековъ и романтическаго міра. Греки созерцали высочайшее начало въ символахъ безконечнаго (въ чувственныхъ образахъ), соответственно своей мифологической религіи; они сами жили уже въ реальномъ божественномъ мірѣ. Романтическіе художники, напротивъ, жили, сообразно особенностямъ христіанской религіи, только въ идеѣ, въ подъемѣ духа къ божественному началу, которое превращалось въ идеальное. Мифологія грековъ происходила изъ вдохновеннаго созерцанія объективно образовавшагося абсолюта, види-

мага всеобщаго начала—природы, и была сама по себѣ поэтической, какъ символическое представленіе созерцаемой безконечности; греки постоянно испытывали на себѣ вліяніе поэтической стихіи. Мифологія была для нихъ полна безконечныхъ художественныхъ зачатковъ, которые нуждались только въ прикосновеніи поэтическаго чувства, чтобы развиться въ художественный міръ. Религія романтиковъ, наоборотъ, пребывала единственно въ глубинѣ человѣческаго духа, а ея основой была идея незримаго, чисто духовнаго міра. Принципъ греческой религіи—естественное, уже само по себѣ поэтическое; принципъ романтической—нравственное, само по себѣ философское. Слѣдовательно, божественное было для грековъ реально созерцаемымъ; для романтиковъ оно было идеально воспринятымъ и субъективно созданнымъ, пребывающимъ не въ реальной вселенной, но въ подъемѣ духа.

Мифологія грековъ—міръ реально представленныхъ символовъ божественнаго начала, изъ которыхъ каждый отличается законченностью. Ихъ Олимпъ—группа боговъ. Греки разсматривали божественное начало, какъ распадающееся на безконечное число составныхъ частей и органически образованное, то есть какъ живую природу. Каждое изображеніе безконечнаго создавалось по-человѣчески, каждый кумиръ казался отдѣльнымъ отъ другихъ, особеннымъ и ограниченнымъ существомъ,—греческая религія была политеизмъ. Въ христіанской религіи нѣтъ ничего подобнаго. Здѣсь конечное, какъ реальное, противопоставлено безконечному; оно—не символъ безконечнаго и не существуетъ само собою, но только мыслится какъ аллегорія безконечности. Поэтому безконечное—чисто божественное начало; оно объективно созерцается только какъ безконечное во времени, и можетъ быть понято исторически. У грековъ божественное обнаруживается въ согласіи съ конечностью, есть множество, природа; въ христіанской религіи божественное—сама идеальность, единство, духъ, какъ таковой, котораго сущность состоитъ въ отрицаніи, уничтоженіи и распинаніи конечнаго. Любовь, центръ христіанства,—не что иное, какъ самъ себя пожирающій огонь, который обрѣтаетъ успокоеніе только въ божественномъ, слѣдовательно, въ умерщвленіи конечнаго. Матерія и духъ греческаго искусства—реальны, объективны и какъ бы образованы въ пространствѣ, слѣдовательно, мифичны и пластичны; матерія и духъ христіанскаго искусства—идеальны, субъективны и образованы во времени, слѣдовательно, характера историческаго и музыкальнаго.

Искусство должно изображать символы абсолютнаго начала и лишено возможности обойтись безъ мифологіи. Последняя для него столь необходима и существенно важна, какъ само реальное изображеніе абсолюта. Безъ мифологіи недостаетъ искусству крѣпости, опредѣленнаго центра, и оно *находится въ опасности затеряться въ произвольныхъ вымыслахъ, которымъ не хватаетъ объективной реальности.* Для нашего искусства, котораго основаніе и источникъ идеальны, мифологія не можетъ, подобно мифологіи греческой, происходить изъ непосредственнаго созерцанія абсолюта, какъ реально образованнаго въ природѣ, но, согласно характеру новаго искусства, можетъ быть возсоздана только изъ глубины собственнаго духа. *Нашъ идеализмъ долженъ развиться въ реализмъ; идеаль долженъ перейти въ объективно созданный міръ, чтобы получить тѣло и образъ, причемъ подходящимъ уборомъ (Staat) для идеала можетъ служить усовершенствованная нравственная природа человѣка.* Утренняя заря истиннаго искусства займется лишь тогда, когда свѣтъ философіи, отъ которой зависитъ образованіе, основанное на самопознаніи, озаритъ души всѣхъ людей. Созерцаніе божественнаго міра, исходящее изъ внутренняго просвѣтленія человѣчества, реализуется въ символахъ философіи, которая превратится въ общій образъ мышленія,—и появится объективный символизмъ искусства—мифологія. Наступитъ моментъ, когда художникъ, способный гармонически сочетать природу съ любовью, красоту съ истиной, окажется творцомъ новой, собственной мифологіи и истинной поэзіи, гдѣ произойдетъ *взаимное проникновеніе и слияніе античнаго и романтическаго искусства* (die absolute Durchdringung der griechischen und romantischen Kunst) <sup>1)</sup>.

За трудомъ Аста послѣдовалъ рядъ другихъ трудовъ по эстетикѣ. Бутервекъ (1806, 1824), Штутцманъ (1808), Бахманъ (1811) разносторонне разсматривали романтизмъ и сопоставляли его съ классицизмомъ.

Для опредѣленія романтической поэзіи Бутервекъ считаетъ нужнымъ коснуться характеристики романтическаго стиля.

На возможности безконечно разнообразнаго смѣшенія элементовъ прекраснаго въ искусствѣ,—пишетъ онъ,—какъ другъ съ другомъ, такъ и съ индивидуальностью художника, съ его вѣ-

<sup>1)</sup> *Fr. Ast. System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik. Leipzig, 1805 SS. 59—71.*

комъ и артистическими склонностями,—основывается стиль. Стиль является впервые тамъ, гдѣ въ границахъ одного изящнаго искусства есть безконечное разнообразіе видовъ изображенія, которые могутъ настолько уклоняться другъ отъ друга, какъ, примѣръ, стиль Рафаэля отъ стиля Микеля Анджеоло, стиль Клопштока отъ стиля Гете, итальянскій стиль въ музыкѣ отъ нѣмецкаго, и все-таки согласуются между собой въ томъ, что вообще относится къ красотѣ опредѣленнаго рода художественныхъ произведеній. Хорошій стиль не имѣетъ ничего общаго съ педантическимъ стилизмомъ, пренебрегающимъ лиліей потому, что она не выглядитъ какъ роза; онъ также чуждъ манерности, вычурности; онъ—твореніе духа, желающаго двигаться въ границахъ хорошаго вкуса *со свободою*, которая не должна быть сдержана *никакимъ педантическимъ правиломъ*, и не имѣющаго возможности отречься отъ своихъ особенностей. Если индивидуальный стиль мастера оригиналенъ и отличнаго качества, онъ неизбѣжно побуждаетъ къ подражанію,—и образуется хорошій стиль школы, причѣмъ большую роль играетъ вкусъ вѣка, въ которомъ жилъ художникъ, и націи, къ которой онъ принадлежалъ.

Греческій стиль, безусловно, красивъ, но—какъ все земное—не можетъ считаться образцовымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Настоятельной заботой греческаго художника было сохранить въ своей душѣ первообразъ человѣческой жизни, или чисто человѣческое, и заставить его проявиться въ художественныхъ произведеніяхъ. Все, что противорѣчитъ этому первообразу, слѣдовательно, также все непомѣрное и преувеличенное, было ему противно въ искусствѣ, какъ и въ жизни. Онъ не погружался никогда въ мрачное созерцаніе самого себя. Свѣтло смотрѣлъ онъ на міръ, радовался своей силѣ, охватывалъ природу, какъ она есть, съ любовью къ ней; возвышалъ типъ естественности до чистѣйшей идеальности и наслаждался искусствомъ безъ мечтаній. Сообразно своей художественной потребности, грекъ самое важное для человѣка—его религію—преобразовалъ въ эстетическую грезу, но не для того, чтобы забавляться ею. Мифологическія изобрѣтенія художниковъ должны были свести божественное въ кругъ человѣческаго и олицетворить его въ прелестныхъ формахъ. Изящное искусство грековъ должно было припомнить людямъ самымъ интереснѣйшимъ образомъ жизненные отношенія, воспринять въ себя все прекраснѣйшее изъ жизни и примирить само сердце съ неизбѣжнымъ зломъ, угнетающимъ человѣчество.



Греческому стилю новая критика противопоставила романтической. Стиль вытекает из духа, и между духом греческого и романтического искусства есть, конечно, контраст. Греческий дух стремится безконечно стянуть в рамки конечного; романтической—охотнее теряется в чувствах безконечного. Греческий вкус избѣгалъ всякой мистики, а романтической развивался подѣ постояннымъ вліяніемъ христіанскаго мистицизма. Прекраснѣйшей стороной романтики является ея мечтательно-нѣжная нравственность, особенно въ выраженіи чувства любви. Посредствомъ этого выраженія собственной природы, романтика раскрыла искусству, особенно поэзіи, совершенно новый и неисчерпаемый, неизвѣстный грекамъ міръ. Во всѣхъ греческихъ формахъ является твердая склонность къ простому и правильному, вплоть до пластической округлости. *Въ романтическихъ формахъ преобладаетъ разнообразіе надъ единствомъ, произволъ смѣлой фантазіи надъ склоннымъ къ порядку художественнымъ чутьемъ, и такъ сильно, что нередко естественность и правдивость, а вмѣстѣ съ ними истинная красота, совершенно исчезаютъ изъ этихъ формъ.* Чтобы избѣжать подобной опасности, требуется самообытный особенный вкусъ, какой выказали итальянскіе живописцы и поэты, когда они, *выражая романтическія идеи и чувства, греку неизвѣстныя, не забывали, во многихъ отношеніяхъ поучительной, греческой художественной школы* <sup>1)</sup>.

Штутцманъ начинаетъ свои разсужденія съ анализа античнаго искусства. Искусство грековъ—говоритъ онъ—носитъ отпечатокъ ихъ языческихъ воззрѣній. Оно имѣетъ общее реальное направленіе и, хотя обладаетъ идеальной стороной, непремѣнно склоняется къ объективному и внѣшнему; оно можетъ быть разсматриваемо, какъ твореніе природы, его форма—объективно-пластическая. Душа греческаго художника, скрытая въ его созданіи,—наивна. При господствующемъ направленіи отъ безконечнаго къ конечному, общее въ искусствѣ является частнымъ, или родъ—индивидуумомъ: божественное начало объективируется, какъ царство боговъ. Въ античномъ искусствѣ все проникнуто и оживлено возвышеннымъ покоемъ природы. Языческому міру соотвѣтствуетъ природа планетъ, у которыхъ есть индивидуальность и которыя, будучи относительно оторваны отъ центра и поддерживая собственную жизнь въ центробѣжности, все-таки остаются

---

<sup>1)</sup> Fr. Bouterwek. Aesthetik. Göttingen, 1824. Erster Theil, SS. 214—226.

близки началу ихъ жизни и двигаются въ одинаковомъ размѣрѣ и въ совершенной гармоніи вокругъ этого начала. Красота— центральный пунктъ греческаго искусства: здѣсь все доходитъ до совершенной индивидуальности и образности.

Искусство христіанской эпохи объясняется духомъ христіанской религіи. Особенность этой эпохи—направленіе отъ внѣшняго къ внутреннему, отъ реального къ идеальному, почему все искусство должно было принять субъективный, идейный характеръ. Въ античныхъ твореніяхъ господствовала природа, въ новыхъ— исторія; тамъ все получило прочное ограниченіе конечности, здѣсь созданія *расплылись въ неопредѣленныхъ формахъ* субъективности. Тамъ божественное начало ниспускалось въ сферу конечнаго и восприняло ясность объективнаго бытія; здѣсь проявляется божественное начало, какъ безконечное и неопредѣленное. Тамъ царитъ искусство природы; здѣсь—изображеніе субъективности и свободы личности. Тамъ существуетъ болѣе объективно-пластическая форма природы; здѣсь—болѣе субъективно-живописный и выражающійся въ гораздо менѣе опредѣленныхъ границахъ міръ души. Тамъ было нѣчто конечное само по себѣ и приведенное въ единство съ безконечнымъ; здѣсь, наоборотъ, конечное только намекало на безконечное. Потому тамъ возникалъ символъ; здѣсь—аллегорія. Тамъ, дѣйствительно, существуетъ общее въ частномъ, и потому древнее искусство имѣетъ для себя примѣръ и первообразъ; здѣсь же проявляется особенное, какъ общее, и потому оригинальность и субъективная сентиментальность свойственны новому искусству. Въ силу объективности античнаго искусства, послѣднее является какъ неизмѣнное, само въ себѣ; въ силу субъективности, новое искусство подчинено прогрессу и переменамъ. Въ античной міоологіи вселенная становится природой; съ христіанской точки зрѣнія, вселенная разсматривается какъ міръ Провидѣнія и исторіи. Античная міоологія представляется замкнутымъ міромъ боговъ; христіанство, наоборотъ, возводитъ все къ безконечному цѣлому: тамъ—ограниченность, здѣсь—безграничность; тамъ господствуетъ бытіе, здѣсь—становленіе,—одни образы пребываютъ, другіе переходятъ. Въ первомъ случаѣ, по необходимости, зарождается политеизмъ; во второмъ—монотеизмъ, ибо тамъ характерный признакъ—конечность и множество, здѣсь—безконечность и единство. Возникшее изъ стремленія къ идеальному началу, новое искусство должно было преимущественно выказать субъективность и под-

чинить ваятельное творчество поэзіи, или краснорѣчію. Драммы Шекспира—символы абсолютной жизни новаго міра, изліянія свободнѣйшаго духа, который имѣетъ надо всѣмъ неограниченное владычество и самъ разрушаетъ священный реализмъ, чтобы не допустить никакихъ предѣловъ для своей свободной силы. Борьба между конечнымъ и безконечнымъ разрѣшается отрицательнымъ образомъ посредствомъ *гибели конечнаго, которое не могло перейти въ безконечное*. Очевидно, апофеозъ искусства Штутцманъ усмотрѣлъ бы въ иномъ разрѣшеніи этой борьбы, когда форма не расплылась бы въ неопредѣленности, а съ чисто классической ясностью и отчетливостью отразила бы возвышенный идеалъ христіанства. Но пока противорѣчія не примирены, и бывшая гармонія составляетъ лишь предметъ сильныхъ, но едва ли осуществимыхъ желаній <sup>1)</sup>).

Параллель, проведенная Штутцманомъ между поэзіей грековъ и поэзіей христіанской эпохи, проводится также и въ сочиненіи Бахмана, который слѣдитъ за развитіемъ художественнаго творчества и признаетъ его зависимость отъ различныхъ жизненныхъ условій. Религія, философія, законы, нравы, языкъ, климатъ оказываютъ вліяніе на художника и характеръ его произведеній. Поэтому, различіе, существующее между міромъ греческимъ и нашимъ, является причиной противоположности искусства древняго и новаго, классическаго и романтическаго.

Географическое положеніе Греціи прекрасное. Прибрежная страна, завязавшая торговыя сношенія съ чужеземными государствами, привлекавшая вниманіе мореходцевъ-промышленниковъ, Греція находится въ одномъ изъ лучшихъ мѣстъ Европы. «При благорастворенномъ воздухѣ, подѣ свѣтлымъ небомъ, она не испытывала ни оцѣняющей стужи сѣвера, ни губительнаго зноя юга». «Она занимала прекрасную средину, въ коей Аристотель полагаетъ сущность всякой добродѣтели». Почва Греціи изобиловала растительностью. Здѣсь можно было наслаждаться красотами природы, и все порождало и воспитывало чувство изящнаго. Самый языкъ, «составленный не по мертвымъ правиламъ», но сложившійся подѣ воздѣйствіемъ музыки, пѣнія, былъ «благозвучнѣйшимъ по гармоническому сліянію гласныхъ и согласныхъ, по богатству оборотовъ, по своей нѣжности».

---

<sup>1)</sup> J. Stutzmann. Philosophie der Geschichte der Menschheit. Nürnberg, 1808, SS. 287—291; 452—457.

Политическое состояніе и законодательство грековъ «способствовало успѣхамъ» искусствъ, которыя не были изолированы, а представляли какъ бы «потребность быта гражданскаго». Для таланта раскрывалось обширное поприще дѣятельности; все его возбуждало, онъ «повсюду встрѣчалъ одобреніе, награду, почести, славу, и творецъ произведенія, повидимому, самаго маловажнаго могъ прославить и увѣковѣчить свое имя». Прощѣтанію искусства содѣйствовало и воспитаніе грековъ, которое основывалось на томъ мудромъ правилѣ, *«что тѣло и душа должны составлять одно, тѣснѣйшими узлами связанное, нераздѣльное цѣлое»*. Гимнастика имѣла цѣлію развивать тѣлесныя силы, а музыка—духовныя. Но «средоточіемъ и основой» всего образованія была религія—«вдохновенное созерцаніе природы, поэтическое ей поклоненіе». «Дѣти природы въ благороднѣйшемъ значеніи этого слова», греки «смотрѣли на нее съ нѣжностью, какъ влюбленный смотритъ на предметъ своей страсти». Ихъ божества «являлись въ человѣческихъ образахъ», либо «люди просвѣтлялись до обоготворенія». «Растенія, животныя, люди, герои, боги составляли одно чудное цѣлое», надъ которымъ «простиралось мрачное царство судьбы». Греки дорожили лишь *настоящимъ*. «Безпечная, свѣжая» жизнь «всегда и вездѣ растворялась у нихъ полнымъ, чистымъ наслажденіемъ. Подъ благотворнымъ вліяніемъ обстоятельствъ они сдѣлали все, что только можетъ сдѣлать человекъ, заключенный въ предѣлахъ конечнаго. Художественныя и поэтическія ихъ произведенія, вмѣстѣ взятыя, выражаютъ сознаніе *гармоніи всѣхъ силъ*». Природа казалась имъ самодѣлющею, «существующею по своимъ собственнымъ законамъ, чуждою недостатковъ, стремящеюся къ такому совершенству, какого она можетъ достигнуть своею дѣятельностью. Смерть для нихъ была переходомъ въ безмолвную печальную страну подземнаго міра», царство призраковъ и тѣней. «Словомъ, вся жизнь грековъ представляетъ собою» *«величественный эпосъ, измѣняющійся въ формѣ и составѣ по различію временъ и обстоятельствъ. Объективность составляетъ господствующій характеръ грековъ и имѣетъ перевѣсъ во всѣхъ ихъ искусствахъ и наукахъ»*.

Очаровательный античный міръ былъ разрушенъ христіанствомъ. «Надъ развалинами прекрасной чувственности возникло безпредѣльное *стремленіе*, пламенная любовь къ созерцанію *вѣчнаго*». «Могущество, мудрость, благость, всѣ благородныя, необык-

новенныя, возвышенныя явленія, которыя раздроблялись у грековъ на *множество* божествъ и въ которыхъ каждое божество, сообразно понятію, объ немъ составленному, принимало большее или меньшее участіе—все это «въ христіанской религіи, подобно множеству лучей, слилось въ понятіи *единого, вѣчнаго, неисповѣдимаго* Существа. На природу, отдѣльныя силы которой подъ художественной рукой грека являлись въ *прекрасныхъ образахъ божествъ*, начали взирать какъ на *слабое твореніе* всемогущей воли тріедиаго Бога». На самыхъ ничтожныхъ и самыхъ величественныхъ частяхъ природы Онъ «*напечатлѣлъ слѣды вездѣсущаго своего Промысла*», но «пути Его сокрыты отъ насъ священнымъ мракомъ». «По своему величію Богъ *недоступенъ для усилій искусства*»; «по всей таинственности—непостижимъ для ума, и только чистой, исполненной вѣры души христіанина является во всей своей славі». Христіанинъ не цѣнитъ настоящаго, не считаетъ загробное существованіе «крѣпкимъ сномъ послѣ шумнаго веселаго дня жизни», заточеніемъ въ темномъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ ни пѣсенъ, ни плясокъ. Земная жизнь въ глазахъ христіанина—«странствіе путника къ святому гробу», «школа для высшаго бытія, царство мрака и ночи, а тѣло—темница, могила души». Лишь свергнувъ «бренный покровъ», душа возносится въ высшія сферы, и тамъ, за рубежомъ земли, для нея «восходитъ новый торжественный день». «Всякое здѣшнее счастье—кратковременно», и «никакой вѣншній предметъ не въ состояніи совершенно наполнить нашего сердца».

Отсюда -- «вѣчное *томленіе*», борьба, упованіе и «*какая-то неопредѣленная грусть*»; отсюда—«*совершенное раздѣленіе между міромъ внѣшнимъ и внутреннимъ*». «Въ язычествѣ все движется какъ будто на *поверхности міра внѣшняго*», и «чувственные склонности человѣка настраиваются» легко и гармонично. Христіанство—напротивъ—проникаетъ въ *тайники сердца*, «трогаетъ сокровеннѣйшія и нѣжнѣйшія его струны», развиваетъ *самоуглубленіе, пареніе ввысь, къ Божеству «на крыльяхъ молитвы и вдохновенія*». «Характеръ греческой религіи есть *прекрасное, христіанской—высокое*».

Религіозныя возрѣвія повліяли на искусство. Въ твореніяхъ грековъ замѣтно «*воплощеніе вѣчной идеи*», «*тожество безконечнаго съ конечнымъ*», — поэтому «они приводятъ душевныя силы человѣка въ *игру стройную и тихую*». Въ твореніяхъ христіанскихъ «*перевѣтъ* бываетъ на сторонѣ безконечнаго: *идея не мо-*

жетъ въ нихъ найти себѣ полного проявленія, «осуществиться» во всемъ своемъ величіи, а «между тѣмъ сильно овладѣваетъ нашимъ духомъ», «пробуждаетъ въ насъ чувство недосягаемаго, неизъяснимаго», «потрясаетъ» все существо наше. Греки преуспѣвали въ *пластикѣ*, «объективнѣйшемъ изъ всѣхъ искусствъ», «выражающемъ идею изящнаго въ пространствѣ посредствомъ вещественныхъ образовъ»; христіане имѣютъ преимущество въ *музыкѣ*, «искусствѣ болѣе внутреннемъ и субъективномъ», «выражающемъ идею изящнаго во времени посредствомъ звуковъ».

Объективное и субъективное, вещественное и духовное—противоположны другъ другу и неполны, а слѣдовательно несовершенны. Очевидно, должно быть нѣчто третье, гдѣ бы противоположности слились вмѣстѣ. Чѣмъ-то среднимъ между образомъ и звукомъ является «живое слово», «членораздѣльный, видимый звукъ и звучащій образъ». А выраженіе идеи изящества посредствомъ слова есть *поэзія*, «сопроникновеніе музыки и пластики», которымъ она «предшествовала». «Едва человекъ вышелъ на свѣтъ изъ творческихъ рукъ Создателя, онъ ощутилъ непреодолимую потребность въ языкѣ, а сей языкъ его, при всемъ своемъ несовершенствѣ, былъ *поэтическимъ*».

Какъ изъ первобытной поэзіи, съ теченіемъ времени, выдѣлились пластика и музыка, такъ изъ эпоса, какъ основного единства, получили начало лирика и драма. Оба литературные рода страдаютъ неполнотой: одинъ нуждается во внѣшней изобразительности, другой—во внутренней. Гдѣ же оба противоположныхъ полюса сольются вмѣстѣ и, сливаясь, исчезнутъ? Въ какомъ видѣ предстанетъ предъ нами первоначальное единство? Вѣроятно, въ *формѣ романа, который совмѣщаетъ въ себѣ драму и лирику, примиряя объективность съ субъективностью, или, върнѣе, главные принципы языческаго и христіанскаго искусства* <sup>1)</sup>).

Эстетики нѣмецкихъ философовъ, нѣсколько освѣтившія взаимныя отношенія классицизма и романтизма и доказывавшія, что новая поэзія, въ силу историческихъ условій, не можетъ похо-

---

<sup>1)</sup> *Бахманъ*. Всеобщее начертаніе теоріи искусствъ. Переводъ М. Чистякова. М., 1832, ч. I, стр. 31—46, 54—55; ч. II, стр. 4, 7—8, 27, 33—39, 79—80, 86—87, 101, 113—114, 117—118, 121—124.

Ссылаемся на русскій переводъ книги Бахмана, такъ какъ нѣмецкаго оригинала мы не нашли въ столичныхъ бібліотекахъ.

дять на древнюю, видимо, не казались убѣдительными для всѣхъ, кто воспиталъ свой вкусъ на образцовыхъ произведеніяхъ XVII и XVIII вѣковъ. По мнѣнію сторонниковъ классицизма, литературные критики глубокомысленно говорили о романтизмѣ, не имѣя о немъ опредѣленнаго понятія. Подобное мнѣніе казалось несправедливымъ А. В. Шлегелю, и онъ взялся въ «Чтеніяхъ о драматическомъ искусствѣ» (1809—1811) дать разъясненія относительно происхожденія и характера этого рода творчества, представляющаго полный контрастъ античной поэзіи.

Еще Hemsterhuys замѣтилъ, что новѣйшіе скульпторы болѣе походятъ на живописцевъ, тогда какъ древніе живописцы напоминали скульпторовъ, и онъ правъ: склонность къ ваянію проявляется во всѣхъ античныхъ, а пристрастіе къ живописи во всѣхъ новѣйшихъ искусствахъ. Культура грековъ заключалась въ усовершенствованіи физической природы. Происходившіе изъ благороднаго и прекраснаго племени, воспримчивые и веселые, они процвѣтали подъ чуднымъ, яснымъ небомъ, пользуясь съ избыткомъ всѣми благами бытія. Баловни судьбы, они совершили все, что дано совершить человѣку въ здѣшнемъ мірѣ, въ предѣлахъ земной жизни. Во всѣхъ ихъ искусствахъ и поэзіи выражалось чувство гармоніи всѣхъ ихъ способностей: была изобрѣтена поэтика счастья. Ихъ религія—обогащеніе силъ природы и земной жизни. Но этотъ культъ, который у другихъ народовъ былъ мрачнымъ и зловѣщимъ. ужасалъ и черствилъ душу суровыми обрядами, у грековъ отличался благородствомъ, величіемъ, мягкостью. Суевѣріе. заставляющее обыкновенно талантъ гложуть, здѣсь способствовало его развитію, покровительствовало искусствамъ: алтари боговъ были разукрашены, а изображенія послѣднихъ — идеально прекрасны.

Но какіе успѣхи ни сдѣлали греки въ области искусства и нравственной философіи, ихъ культура носитъ характеръ очищенной и облагороженной чувственности. Это относится, конечно, лишь къ общему направленію умовъ и не исключаетъ возможности тѣхъ великихъ откровеній, которыхъ удостоивались пронипательные мыслители либо вдохновенные поэты.

Религія—истинная основа нашего бытія, и если бы человѣкъ могъ отречься отъ нея совершенно, въ немъ не осталось бы ничего серьезнаго и глубокаго. Потому, когда этотъ центръ перемѣщается съ одного мѣста на другое, измѣняется направленіе дѣятельности всѣхъ духовныхъ силъ. Подобное явленіе произо-

шло въ Европѣ съ принятіемъ христіанства. Благотворно вліяющая, возвышенная религія переродила истощенный и разложившійся старый міръ и сыграла рѣшающую роль въ судьбѣ новыхъ народовъ. вмѣстѣ съ христіанствомъ, сильное воздѣйствіе на ходъ европейской цивилизаціи оказали воинственные завоеватели, давшіе новые жизненные принципы одряхлѣвшимъ національностямъ. Суровая природа сѣвера побуждаетъ человѣка уходить въ самого себя, и, проигрывая въ развитіи чувствъ, онъ выигрываетъ въ развитіи богѣ благородныхъ свойствъ духа. Съ искреннимъ сердечнымъ влеченіемъ отнеслись къ христіанству древніе германскіе народы, и оно глубоко запало имъ въ сердце. Смѣшеніе грубаго, но честнаго героизма сѣверныхъ завоевателей съ христіанскими идеями способствовало возникновенію рыцарства. Необходимо было связать священными обѣтами жестокаго воина и предотвратить злоупотребленіе силою, къ чему онъ имѣетъ склонность. Съ рыцарскими доблестями соединяется новое понятіе о цѣломудренной, возвышенной любви; возникаетъ благоговѣйное поклоненіе женщинѣ, которую возводятъ на пьедесталъ и считаютъ существомъ совершеннѣйшимъ; религія какъ бы освящаетъ такія отношенія, дѣлая предметомъ почитанія смертныхъ то, что является на землѣ самымъ чистымъ и самымъ трогательнымъ,—невинность дѣвы и любовь матери.

Христіанство не довольствовалось, подобно язычеству, внѣшними обрядами, оно обращалось къ сердцу человѣка и хотѣло властвовать надъ самыми сокровенными его побужденіями. Тогда зарождается чувство внутренней свободы, нравственная самостоятельность; и въ этой области подчиняются лишь голосу чести. Житейская мораль кое въ чемъ расходится съ религіозной, но имѣетъ съ ней и точки соприкосновенія: религія и честь не взвѣшиваютъ послѣдствій поступковъ, но освящаютъ безусловные принципы и ставятъ ихъ выше посягательствъ разсудка.

Рыцарство, любовь и честь воспѣвались въ безчисленныхъ произведеніяхъ безыскусственной средневѣковой поэзіи. Эта эпоха имѣла свою міеологию, основанную на рыцарскихъ легендахъ и сказаніяхъ; но героическій и чудесный элементъ, здѣсь преобладающіе, не имѣютъ ничего общаго съ мотивами античной міеологии. Меланхолія была существеннымъ признакомъ поэзіи сѣвера.

Древній грекъ чувствовалъ себя вполне удовлетвореннымъ, не испытывалъ ни въ чемъ недостатка и не желалъ другого совершенства кромѣ того, котораго онъ могъ достигъ, полагаясь



на свои силы. Между тѣмъ, высшая мудрость разъясняетъ христіанамъ, что родъ человѣческій, впавъ въ великое заблужденіе, лишился первоначально предназначеннаго ему мѣста и имѣетъ лишь одну цѣль въ земной жизни—отыскать его вновь; но не достичь ему этой цѣли, пока онъ предоставленъ лишь своимъ собственнымъ силамъ. Чувственная религія грековъ не обѣщала иныхъ благъ, кромѣ внѣшнихъ и временныхъ; безсмертіе представлялось имъ въ видѣ царства тѣней въ невѣдомой дали, оно было тусклымъ отраженіемъ прекрасной здѣшней жизни. Христіанское ученіе иное. Размышленіе о безконечномъ привело къ отрицанію всего конечнаго; здѣшняя жизнь—міръ призраковъ, погруженный въ глубокую тьму, и лишь по ту сторону могилы брезжить разсвѣтъ, и начинается истинное существованіе. Такая религія пробуждаетъ всѣ предчувствія, которыя дремлютъ въ глубинѣ чуткой, отзывчивой души, убѣждаетъ насъ, что мы жаждемъ невѣдомаго, высшаго блаженства, что ничто тлѣнное не можетъ заполнить пустоту въ нашемъ сердцѣ, что всякая радость есть мимолетная иллюзія... И, подобно плѣнному еврею, подъ плакучей вавилонской ивой, оглашающему жалобными напѣвами берега чужеземной рѣки, наша душа, изгнанная на землю, тоскуетъ по своей отчизнѣ и изливаетъ свое горе въ меланхолическихъ звукахъ. Поэзія древнихъ выражаетъ наслажденіе счастьемъ, поэзія христіанская—душевную тоску: одна имѣетъ основаніе въ настоящемъ, другая колеблется между воспоминаніемъ прошедшаго и предчувствіемъ грядущаго.

Не слѣдуетъ, однако, думать, что меланхолія постоянно изливается въ монотонныхъ сѣтованіяхъ и выражается слишкомъ рѣзко. Какъ у грековъ была возможна, несмотря на свѣтлый взглядъ на жизнь, ужасающая трагедія, такъ романтическая поэзія мѣняетъ одинъ тонъ на другой и отъ грустныхъ мотивовъ переходитъ къ радостнымъ. Въ ней есть что-то неопредѣлимое, указывающее на ея происхожденіе: чувство болѣе глубоко, воображеніе менѣе чувственно, мысль болѣе созерцательна... Но все это трудно строго разграничить, точно опредѣлить и подогнать въ рамки понятія.

Греки видѣли идеаль челоѣческой природы въ совершенной соразмѣрности всѣхъ силъ, въ естественной гармоніи. Новѣйшіе писатели, наоборотъ, страдаютъ отъ глубокаго внутренняго *разлада, что дѣлаетъ античный идеаль недостижимымъ. Отсюда стремленіе ихъ поэзіи къ примиренію духовнаго и чувственнаго*

*міровъ, къ ихъ полному сляянню.* Чувственныя воспріятія освѣщаются посредствомъ таинственной связи съ высшими проявленіями духа, а самыя неизяснимыя движенія, самыя неопредѣленныя склонности сердца находятъ себѣ соотвѣтствующіе символы.

Въ греческомъ искусствѣ и поэзіи есть первоначальное безотчетное единство содержанія и формы; въ новѣйшемъ—если оно остается вѣрнымъ своему настоящему духу—лишь отыскивается глубокое взаимное проникновеніе обоихъ, какъ двухъ противоположностей. Греческое искусство въ совершенствѣ разрѣшило свою задачу; новѣйшее иногда только, и то не вполнѣ, удовлетворяетъ своему стремленію къ безконечному и—вслѣдствіе обнаруживающагося несовершенства—тѣмъ скорѣе подвергается опасности быть непризнаннымъ.

Поэзія будущаго должна, повидимому, заключать въ себѣ достоинства *античнаго* и *средневѣкового* искусства, не имѣя ихъ недостатковъ. Языческій матеріализмъ одностороненъ и устарѣлъ; романтическимъ творчествомъ, несмотря на очевидную склонность къ нему, мы не можемъ *вполнѣ* удовлетвориться: стремясь выразить безконечное начало и приблизиться къ нему, авторы рискуютъ стать непонятными; ихъ фантазія легко становится разнузданной, и они начинаютъ увлекаться странными химерами... Значеніе романтической поэзіи для насъ утрачено; ее надо возстановить, облагородить... Но какъ? Возникаетъ мысль о гармоническомъ объединеніи духовнаго и матеріальнаго начала, безъ нарушенія основъ христіанской религіи<sup>1)</sup>.

Изложеніемъ взглядовъ А. В. Шлегеля можно заключить обзоръ нѣмецкихъ теорій романтизма, такъ какъ Гейне и Тикъ, съ нѣкоторыми варіаціями, развивали уже извѣстные намъ мотивы. Гейне (1833) утверждалъ, что романтическая школа въ Германіи—«не что иное, какъ пробужденіе средневѣковой поэзіи», рѣзко отличающейся отъ греческой. «Классическое искусство стремилось воспроизвести только *конечное*, и его образы могли *тождествляться съ идеей художника*; у романтическаго искусства была цѣль *изображать, или, вѣрнѣе, указывать на безконечное* и только на спиритуалистическія отношенія, а потому оно *прибѣгло къ системѣ традиціонныхъ символовъ, или, скорѣе, параболъ, какъ и*

---

<sup>1)</sup> А. W. Schlegel. Sämmtliche Werke. Leipzig, 1846. Fünfter Band, SS. 3—20; sechster Band, SS. 432—434.

самъ Христосъ высказывалъ свои спиритуалистическія идеи въ формѣ всевозможныхъ прекрасныхъ притчъ. Отсюда мистическое, загадочное, чудесное и причудливое въ произведеніяхъ средневѣкового искусства; *воображеніе тамъ дѣлаетъ страшнѣйшія усилія, чтобы выразить въ чувственныхъ образахъ чисто духовное*, и чтобы достигнуть неба, оно придумываетъ самыя гигантскія причуды, оно громоздитъ Пеліонъ на Оссу, «Парциваля» на «Гитуреля»<sup>1)</sup>. Но, какъ рѣзко ни отличается средневѣковая поэзія отъ античной, Тикъ (1828) надѣется, что наступитъ моментъ, когда выдающійся критикъ примиритъ сужденія Аристотеля съ данными, добытыми новѣйшимъ опытомъ<sup>2)</sup>.

Литературное движеніе, развившееся въ Германіи, не могло не оказать воздѣйствія на Францію, гдѣ также возникли пренія по поводу романтизма. Трактатъ «О наивной и чувствительной поэзіи», кажется, пользовался здѣсь большою популярностью: на него ссылались, съ нимъ сводили счеты<sup>3)</sup>. Ансильонъ (1809) выступаетъ противникомъ Шиллера.

Геніальный художникъ предполагаетъ, что поэзія древняя существенно отличается отъ новой: первая, съ его точки зрѣнія, наивна, такъ какъ рисуетъ природу въ состояніи совершенства, съ полнымъ примиреніемъ всѣхъ контрастовъ и противорѣчій человѣческой натуры, которые не слиты въ трогательную гармонію въ поэзіи новой — чувствительной. Сужденія Шиллера болѣе остроумны, чѣмъ основательны.

Прежде всего, терминъ «природа» часто подвергается злоупотребленіямъ. Говорятъ: созданія природы, законы природы, какъ бы отличая природу отъ нея самой, такъ какъ она представляетъ совокупность этихъ созданій и законовъ. Затѣмъ, противопоставляютъ природу искусству: находятъ природу въ дѣтяхъ, въ дикихъ народахъ, — и не хотятъ признать ее въ человѣкѣ зрѣлыхъ лѣтъ и въ націяхъ цивилизованныхъ. Но человѣкъ, въ какую бы историческую эпоху его ни взяли, не отрывается отъ человѣческой природы. Природа состоитъ въ ус-

---

1) *G. Geyne*. Полное собраніе сочиненій. Спб., 1904, т. III, кн. 8, стр. 264, 269—270.

2) *L. Tieck*. Schriften. Berlin, 1828. Erster Band, S. XII.

3) *M-me de Staël-Holstein*. De l'Allemagne. Paris et Leipzig, 1814. Tome III, p. 245: «Schiller a écrit deux traités sur le naïf et le sentimental, dans lesquels le talent qui s'ignore et le talent qui s'observe lui-même, sont analysés avec une sagacité prodigieuse».

вершенствованіи, слѣдовательно, и въ искусствѣ. Искусство не что иное, какъ человѣческая природа, развивающаяся подѣ постояннымъ вліяніемъ мѣста, времени, обстоятельствъ. Золотой вѣкъ невинности, когда нравственная свобода и естественныя наклонности представляли гармоническое цѣлое, существовалъ въ древнемъ мірѣ не болѣе, чѣмъ въ нашемъ, и принадлежалъ античной поэзіи не болѣе, чѣмъ новѣйшей. Міръ и поэзія всегда являли намъ борьбу страстей и нравственной свободы, съ безчисленными оттѣнками и видоизмѣненіями. Поэтому нельзя вообще сказать, что древніе поэты ближе новѣйшихъ стояли къ природѣ. Было бы произвольно соединять имя природы съ первыми моментами цивилизаціи, исключая послѣдующіе.

Древняя поэзія, говорятъ, наивна въ высшей степени. Справедливо, что наивность придаетъ большое очарованіе античной литературѣ. Но не надо забывать, что многія вещи въ этой литературѣ кажутся намъ наивными потому, что мы присваиваемъ лицамъ, которыя ихъ высказали, нашъ образъ мыслей и чувствованій и сближаемъ настоящее положеніе общества съ прошедшимъ.

Извѣстный писатель, кажущійся намъ наивнымъ, не казался наивнымъ своимъ современникамъ, которые слишкомъ на него походили, чтобы считать его такимъ. Нѣтъ ничего болѣе относительнаго и произвольнаго, чѣмъ впечатлѣніе, которое мы получаемъ, въ данномъ случаѣ, отъ древней поэзіи.—Съ другой стороны, Мольеръ, Лафонтенъ, Аріостъ, Тассъ, Шекспиръ — всѣ наивны въ томъ же смыслѣ, какъ и древніе поэты, ибо, по примѣру послѣднихъ, часто незамѣтно для самихъ себя, рисуютъ картины со всею неподражаемою свѣжестью красокъ и откровенною правдивостью выраженія. Существа, ими созданныя, индивидуальны въ такой высокой степени, что они кажутся существующими или дѣйствительно существовавшими, такъ какъ они имѣютъ характеръ и всѣ необходимыя условія для существованія.

Новѣйшая поэзія, говорятъ, чувствительна. Наши поэты смягчаются при видѣ природы. Они скорѣе рисуютъ съ тайнымъ вожделѣніемъ чувства, внушаемыя имъ природой, чѣмъ самую природу. Греки обладали въ бѣльшей мѣрѣ воображеніемъ; предметы природы или тѣ, которые они творили по божественному образцу, ихъ интересовали непосредственно и производили на нихъ глубокое впечатлѣніе. Сильные и живые образы, гармоническіе звуки достаточно говорили ихъ сердцу. Теперь, чтобы

намъ нравиться, предметы должны возбуждать мысли въ умѣ нашемъ. Эти мысли волнуютъ и трогаютъ насъ гораздо болѣе, чѣмъ образы.

Если бы такое расположеніе ума было всеобщимъ у новѣйшаго поколѣнія, оно доказывало бы, что поколѣніе не имѣетъ воображенія и что нынѣшніе поэты исключительно ораторы и переряженные философы. Оттѣнокъ чувствительности, сдѣлавшійся обыкновеннымъ въ Европѣ только за послѣднее время, есть болѣзнь воображенія или, по крайней мѣрѣ, признакъ особаго рода новой поэзіи, а не ея общій характеръ. Итальянцы, испанцы, французы, въ золотой вѣкъ ихъ литературы, очень приближались къ грекамъ и римлянамъ по манерѣ, съ которой они рисовали природу; они обрабатывали иные сюжеты, отдѣлывали ихъ по инымъ образцамъ, придавали имъ инныя формы, но не сообщали имъ чувствительнаго оттѣнка.

Склонность къ чувствительности и мечтательности у многихъ новѣйшихъ поэтовъ происходитъ отъ недостатка силы и живости воображенія и чувства. Она является отличительнымъ свойствомъ выдающихся людей въ тѣ вѣка, когда распространеніе нравственной испорченности идетъ наравнѣ съ развитіемъ ума. Въ подобныя эпохи потребности сильны, а средства къ ихъ удовлетворенію дороги и мало доступны; созданія искусства порождаютъ желанія и утонченный вкусъ; привычка къ роскоши и тщеславіе разжигаютъ страсти, которыя умъ дѣлаетъ болѣе опасными и вредными. Подобныя бѣдствія—результаты злоупотребленія цивилизаціей. Люди, одаренные обширнымъ умомъ, глубиною чувства и пылкимъ воображеніемъ, быстро постигаютъ зло со всѣми его послѣдствіями и, пораженные въ самое сердце, воспроизводятъ дѣйствительность. Если они поэты, они *изливаютъ свои чувства въ элегіяхъ или сатирахъ*. Ихъ негодованіе и печаль тѣмъ живѣе и глубже, чѣмъ болѣе они страдаютъ не только какъ свидѣтели пороковъ другихъ, но еще отъ губельнаго вліянія, которое на нихъ оказываетъ цивилизація. Ихъ умъ развитъ, душа возвышенна; имъ дороги идеи духовнаго совершенствованія, чистой нравственности, абсолютнаго блага,—эти идеи они противопоставляютъ тому, чтѣ ихъ окружаетъ, и получающійся контрастъ рѣзко выдѣляетъ всѣ недочеты и несовершенства дѣйствительности. Проницательность ихъ ума разсѣиваетъ всѣ иллюзіи, украшающія жизнь, и лишаетъ въ ихъ глазахъ предметы той прелести, какую они имѣютъ при первомъ на нихъ

взглядѣ. Достигши предѣловъ знанія, такіе люди находятъ тамъ сомнѣнія, которыя тревожатъ, либо глубокой мракъ, приводящій въ уныніе. *Ихъ душа жаждетъ дѣятельности, но ей не соответствуетъ ничто во внѣшнемъ мірѣ; она снѣдаетъ самое себя,—и среди конечныхъ предметовъ, которые не могутъ ее удовлетворить, она безпрестанно тоскуетъ о безконечномъ.* Недовольные обществомъ, они бросаются въ объятія природы; они живутъ съ нею; она становится наперсницей ихъ чувствъ, причиной ихъ мрачныхъ думъ, хранительницей ихъ жалобъ, сѣтованій и желаній. Природу они предпочитаютъ обществу, ибо она совершенна въ любой моментъ своего существованія, тогда какъ общество только способно къ усовершенствованію и, слѣдовательно, несовершенно. Сама природа не найдетъ у нихъ пощады и вызоветъ ихъ ропотъ, разъ они отдѣлятъ ее отъ *безконечнаго религіи.*

Въ подобную эпоху, когда лучше люди проявляютъ склонность къ мечтательности, мрачной задумчивости, поэзія не будетъ наивной; появится новый родъ поэзіи и краснорѣчія, не чуждый великихъ красотъ, но чуждый античному міру.

Различіе между древней и новой поэзіей состоитъ какъ въ различіи предметовъ, которыхъ онѣ касаются, такъ и въ различіи общаго тона и способа изложенія. Такое различіе зависитъ отъ несходства нравовъ и духа вѣковъ въ эти двѣ эпохи исторіи человѣчества. Идеализмъ является характерной чертой новой поэзіи, въ которой замѣтно стремленіе къ безконечному, обусловливаемое христіанской религіей. Законченность формы достигла наивысшаго совершенства въ древней литературѣ, что способствовало развитію пластики. Поэтическая истина болѣе поражаетъ въ твореніяхъ древнихъ; поэтическая сила встрѣчается чаще у писателей новѣйшихъ. Первые все приносятъ въ жертву прекрасному; высокое—божество послѣднихъ.

Есть роды поэзіи, въ которыхъ поэтъ забываетъ самъ себя, живетъ исключительно въ мірѣ тѣхъ предметовъ, которые рисуетъ его кисть; чѣмъ менѣе авторъ проявляетъ свою личность, чѣмъ болѣе онъ ступшевывается, тѣмъ удивительнѣе и совершеннѣе его созданія. Подобное движеніе души, которое увлекаетъ ее впередъ и направляетъ чувства и воображеніе къ міру внѣшнихъ предметовъ—самое первичное и самое естественное. Именно ему предавались древніе поэты въ минуты восторга и вдохновенія, и оно надежно приводило ихъ къ цѣли. Вотъ почему они

имѣли большой успѣхъ въ тѣхъ родахъ поэзіи, гдѣ преобладаетъ эта точка зрѣнія,—именно въ области эпоса и драмы.

Есть другіе роды поэзіи, въ которыхъ поэтъ проявляетъ себя, говоритъ самъ, живетъ въ мірѣ своихъ чувствъ и идей, и изображаетъ всѣ предметы сообразно впечатлѣнію, которое они на него производятъ. Это возвратное движеніе души, которое побуждаетъ ее замкнуться въ самой себѣ, препятствуетъ поэту отражать и представлять предметы, какъ бы въ вѣрномъ зеркалѣ. Тогда предметы, которые онъ творитъ или наблюдаетъ, даютъ ему только поводъ развить свои собственныя мысли и выказать свои собственныя чувства. Новые поэты часто смотрятъ съ этой точки зрѣнія; отсюда понятны ихъ выдающіеся успѣхи въ области лирики, элегической или дидактической.

По мѣрѣ развитія своего ума, человѣкъ мѣняетъ образъ дѣйствій. Дитя развиваетъ свою дѣятельность во внѣшнемъ мірѣ, и націи, въ періодъ ихъ юности, живутъ преимущественно среди природы и общества. Человѣкъ возмужавшій сосредоточиваетъ вниманіе на самомъ себѣ; націи, созрѣвшія или состарившіяся, любятъ внутренній міръ мысли. *И будетъ счастлива эпоха, которая соединитъ оба рода творчества и сблизитъ обѣ точки зрѣнія*<sup>1)</sup>.

Почти въ одно время съ Ансильономъ дѣйствовала на литературномъ поприщѣ г-жа Сталь. Въ книгѣ «De l'Allemagne» (1813), гдѣ она заплатила значительную дань Шлегелю, романтизму отведено не послѣднее мѣсто. Слово «романтический»—говоритъ она—стало употребляться недавно въ Германіи для обозначенія поэзіи, возникшей пѣз пѣсенъ трубадууровъ во времена рыцарства и христіанства. Нельзя судить съ «философской точки зрѣнія» о вкусѣ античномъ и новѣйшемъ, не признавъ, что язычество и христіанство, сѣверъ и югъ, древность и средніе вѣка подѣлили между собой всю литературу. Въ различныхъ нѣмецкихъ сочиненіяхъ сравнивали античную поэзію со скульптурой, а романтическую—съ живописью, и всячески характеризовали развитіе человѣческаго ума, который постепенно переходилъ отъ матеріалистическихъ религій къ спиритуалистическимъ, отъ природы—къ Божеству.

<sup>1)</sup> F. Ancillon. Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 1809. Tome I, pp 181—234.—Ср. Ансильонъ. Эстетическія разсужденія. Спб., 1813, стр. 153—198.

Эпическія поэмы и трагедіи грековъ отличаются простотой, свидѣтельствующей, что люди нѣкогда были способны слиться съ природой и вѣрить въ свою зависимость отъ судьбы. Человѣкъ размышлялъ мало и всегда относилъ къ внѣшнему міру движенія собственной души; даже угрызения совѣсти были изображены чисто внѣшнимъ образомъ: вмѣстѣ съ яркими искрами сыпались съ факеловъ фурій всевозможныя бѣдствія на голову преступника. Происшествія играли громадную роль въ древности; характеръ преобладаетъ въ новѣйшее время; и безпокойная мысль, которая терзаетъ насъ, какъ коршунъ Прометея, показалась бы безуміемъ греку, привыкшему къ ясности и опредѣленности—характернымъ чертамъ гражданской и общественной жизни древнихъ народовъ.

Только великое разнообразіе фактическаго матеріала даетъ поэту возможность уловить безконечныя оттѣнки процесса душевной жизни. Если бы въ наше время изящныя искусства отличались античной простотой, они не производили бы сильнаго впечатлѣнія и не отразили бы сокровенныхъ и сложныхъ движеній человеческого духа. Простота искусства у новѣйшихъ поэтовъ легко можетъ сдѣлаться холодной и отвлеченной, тогда какъ у древнихъ она была полна жизни. Честь и любовь, храбрость и состраданіе—вотъ тѣ чувства, которыя были свойственны рыцарству и нашли себѣ выраженіе въ цѣломъ рядѣ подвиговъ, сопряженныхъ съ большими опасностями, въ сердечномъ томленіи, въ романтическихъ приключеніяхъ и ужасающихъ бѣдствіяхъ,—вслѣдствіе чего фонъ поэтическихъ картинъ не постоянный, а вѣчно мѣняется. Различны и источники сценическихъ эффектовъ въ классической и романтической поэзіи: въ одной парить судьба, въ другой—Провидѣніе: судьба ни во что не ставитъ чувства людей, Провидѣніе оцѣниваетъ ихъ поступки только сообразно съ чувствами. Въ новой поэзіи, естественно, былъ созданъ новый міръ. Иное дѣло представить дѣйствія слѣпого рока, гнетущаго смертныхъ; иное дѣло изобразить мудрое устройство вселенной, управляемой Верховнымъ Существомъ, къ которому человѣкъ возноситъ моленія и которое краснорѣчиво говоритъ его душѣ.

Поэзія языческая должна быть проста и рельефна, какъ внѣшніе предметы; поэзія христіанская нуждается во всѣхъ цвѣтахъ радуги, чтобы не пропасть въ облакахъ. Поэзія древнихъ представляетъ собою болѣе чистое искусство; новѣйшая—заставляетъ



проливать болѣ слезъ. Вопросъ, который подлежитъ разрѣшенію, заключается не въ томъ, чтобы выбрать классическую, либо романтическую поэзію, а въ томъ, чтобы подражать первой, либо вдохновляться второй. Литература древнихъ для новѣйшихъ поэтовъ—чужеземное, пересаженное растѣніе; литература романтическая, или рыцарская для нихъ—туземнаго происхожденія, ибо наша религія, наши государственныя и общественныя учрежденія способствовали ея расцвѣту. Классическая поэзія доходитъ до насъ лишь чрезъ воспоминаніе о язычествѣ; нѣмецкая поэзія относится къ христіанской эрѣ изящныхъ искусствъ, волнуетъ насъ и затрагиваетъ наше сердце. Одна романтическая литература можетъ быть усовершенствована, такъ какъ пустила корни въ нашей почвѣ; она воскрешаетъ въ памяти важныя моменты изъ нашей исторіи; ея происхожденіе связано съ отдаленными вѣками, но не съ античнымъ міромъ. Послѣдній, однако, не долженъ быть совершенно забытъ современнымъ поколѣніемъ. Средневѣковыя литературныя произведенія не безусловно прекрасны. Хотя они возбуждаютъ сильный интересъ своими достоинствами, но знакомство съ античностью и съ прогрессомъ цивилизаціи дало намъ такія преимущества, къ которымъ нельзя отнестись пренебрежительно. Конечно, надо не отодвигать назадъ искусство и не задерживать его развитіе, а *соединять, насколько возможно, различныя свойства, проявленныя человѣческимъ умомъ въ разныя эпохи*. Тогда исчезнетъ туманность мысли—характерный недостатокъ нѣмецкихъ писателей; она будетъ замѣнена ясностью, свойственною французской поэзіи, какъ болѣе классической, и самыя отвлеченныя понятія найдутъ себѣ точныя и опредѣленныя выраженія. Народы должны указывать другъ другу пути, ведущіе къ знанію, и дѣлиться взаимно плодами просвѣщенія, которое есть общее достояніе человѣчества <sup>1)</sup>.

Послѣ г-жи Сталь число лицъ, пишущихъ о романтизмѣ, значительно увеличивается; къ половинѣ двадцатыхъ годовъ обсужденіе столь важнаго предмета переносится на страницы французскихъ періодическихъ изданій.

По словамъ Ампера (1825 ?), есть два литературныхъ направленія: классическое и романтическое, но они менѣе различны, менѣе противоположны, чѣмъ думаютъ; «далекія отъ того, чтобы отвер-

---

<sup>1)</sup> *M-me de Staël-Holstein*. De l'Allemagne. Paris et Leipzig, 1814. Tome I, pp. 172—173; t. II, pp. 32—38; t. III, pp. 245—246, 252—258.

гать и исключать другъ друга, они часто сливаются вмѣстѣ для созданія образцовыхъ произведеній». Нѣтъ творенія, авторъ котораго былъ бы всецѣло поглощенъ подражаніемъ, и нѣтъ творенія, на которомъ бы вовсе не отразилось никакого иностраннаго вліянія; но есть много промежуточныхъ комбинацій, гдѣ классицизмъ сочетается съ романтизмомъ, удачно либо неудачно, въ зависимости отъ таланта и вкуса поэтовъ <sup>1)</sup>).

Объясненіе «сущности» обоихъ сближающихся и переплетающихся другъ съ другомъ поэтическихъ родовъ дано Адольфомъ Пикте (1826). На его взглядъ, вопросъ о романтизмѣ, возбуждвшій споръ между литераторами, не получилъ удовлетворительнаго рѣшенія. Одни усматриваютъ въ романтическомъ жанрѣ отсутствіе всякихъ правилъ, изысканность языка, туманность мысли и необузданность воображенія; другіе говорятъ, что романтизмъ есть изображеніе старыхъ временъ и нравовъ; третьи полагаютъ, что онъ характеризуетъ эпоху начала XIX вѣка; четвертые смѣшиваютъ его съ чувствительностью... «Мечты, уныніе и радость, ужасное и трогательное, томный свѣтъ луны и сіяніе солнца,—все это было попеременно приводимо, какъ несомнѣнное доказательство романтическаго жанра». Иногда странное смѣшеніе понятій обнаруживали даже извѣстные писатели. Такъ, Киприанъ Демаре совершенно искажилъ слова Сталь, заявивъ, что она сравнила классицизмъ съ живописью, а романтизмъ съ ваяніемъ, и началъ доказывать вѣрность подобнаго сравненія.

Чтобы избѣгнуть противорѣчій, слѣдовало разрѣшить великую задачу—основательно выяснить противоположность между древней и новой литературой. Починъ въ этомъ направленіи былъ сдѣланъ Германіей. Шиллеръ «первый началъ разсматривать этотъ вопросъ съ философской точки зрѣнія». Въ древней поэзіи—думалъ онъ—господствуетъ наивность, т. е. проявленіе духа, который «живетъ во внѣшности и предается ей, не обращаясь въ самого себя»; напротивъ, чувствительность, т. е. стремленіе человѣка углубляться въ самого себя, есть характерная черта поэзіи новѣйшихъ народовъ. Различіе намѣчено справедливо, но оно страдаетъ неполнотой. Вѣдь, наивность—«одинъ изъ отличительныхъ признаковъ всякой возникающей поэзіи; она равно принадлежитъ произведеніямъ и среднихъ вѣковъ, и классической

---

<sup>1)</sup> *Th. Ziesing*. Le Globe de 1824 à 1830 considéré dans ses rapports avec l'école romantique. Zurich, 1881, pp. 67—68.

древности». А чувствительность является всюду, гдѣ «образованность достигаетъ извѣстной степени развитія» и гдѣ поэтъ, болѣе или менѣе отдалившійся отъ природы, стремится къ послѣдней, жаждетъ слиться съ нею.

Взглядъ, высказанный Шиллеромъ, скоро привелъ къ другой точкѣ зрѣнія. Начали разсуждать о вліяніи, производимомъ религіею на изящныя искусства и особенно на поэзію: происхожденія новѣйшей поэзіи искали въ христіанствѣ, начала древней—въ греческой мифологіи. Не отдавая преимуществъ ни той, ни другой, «стали думать о томъ, какъ бы понять и надлежащимъ образомъ оцѣнить» ихъ. Тогда въ первый разъ были употреблены выраженія: *классицизмъ* и *романтизмъ*. Явились сочиненія Шлегелей, Тика, Новалиса, Жанъ-Поля, и госпожа Сталь ознакомилась съ ихъ идеями французскую литературную публику.

Положительная теорія классицизма и романтизма не была выработана, такъ какъ главное вниманіе было обращено на «историческія данныя» и на «внѣшнія свойства» поэтическихъ родовъ безъ объясненія «сущности» послѣднихъ. «Отдѣльныя наблюденія надъ литературою извѣстнаго народа, извѣстной эпохи» не могли привести къ «общему разрѣшенію вопроса». «Опредѣленія, составленныя по такому способу изслѣдованія, были всегда неполны и нерѣдко противорѣчивы». «Говорили, напримѣръ, что романтизмъ есть поэзія христіанская»; но «справедливѣе было бы сказать наоборотъ», что поэзія христіанскихъ народовъ, имѣющая нѣчто общее съ поэзіей языческихъ народовъ сѣверной Европы и востока,—романтическая. Подобное недоразумѣніе есть результатъ неправильной постановки вопроса, который, по необходимости, долженъ быть «заключенъ въ тѣснѣйшіе предѣлы», ибо, въ противномъ случаѣ, отдѣльныя, хотя бы и глубокомысленныя, «замѣчанія и сравненія» не будутъ «приведены къ *одному* началу и останутся безъ всякой связи».

Цѣль поэзіи—воспроизведеніе изящнаго, которое, «при всемъ своемъ единствѣ, допускаетъ различіе родовъ и притомъ такъ, что само *не иначе* можетъ обнаружиться, какъ являя упомянутое различіе». Изящное «обнаруживается» только при наличности двухъ элементовъ: умственнаго и вещественнаго, или *идеи* и *формы*. Идея—«планъ художника, предшествующій исполненію»; форма—«выраженіе, проявленіе идеи, въ мраморѣ, краскѣ, языкѣ поэтическомъ». «Идея владычествуетъ надъ формою и даетъ ей извѣстное направленіе; форма проявляетъ идею ощутительнымъ

образомъ и приводитъ ее изъ состоянія отвлеченности въ вещь—«причина»; форма—«слѣдствіе». Идея безъ формы—чистая отвлеченность; форма безъ мысли—«нестройная масса». Твореніе художника—результатъ сліянія этихъ двухъ элементовъ.

Послѣдніе сами по себѣ, а также и отношенія ихъ между собою подвержены различнымъ измѣненіямъ,—отсюда возникаютъ «различныя отрасли, составляющія область изящныхъ искусствъ». Отношеніе идеи къ формѣ можетъ быть троякимъ: «или идея превышаетъ форму, или обѣ онѣ находятся въ равновѣсіи, или, наконецъ, форма превышаетъ идею». Форма, будучи вещественна, «по свойству своему ограничена и никогда не можетъ выступить изъ предѣловъ конечнаго»; идея, напротивъ, равно можетъ и заключаться въ предѣлахъ міра вещественнаго, и возвыситься до безконечнаго. Двойному характеру идеи соотвѣтствуетъ двойной характеръ формы.

«Когда идея не превышаетъ сферы видимаго міра, тогда легко находитъ она выраженіе въ формѣ, ее облекающей». Созданія искусства, являющіяся слѣдствіемъ этого первоначальнаго отношенія, «представляютъ совершенное соединеніе, тѣснѣйшее сліяніе идеи и формы», достигаютъ высшей степени изящества. Въ данномъ случаѣ форма доходитъ также до наибольшаго совершенства, такъ какъ *вполнѣ* проявляетъ идею. Отличительныя особенности этого рода изящнаго—единство и простота, такъ какъ идея, воплощающаяся въ формѣ, едина и проста.

«Но когда идея, оставляя міръ вещественный, стремится къ безконечному, тогда представляется новая задача, неразрѣшимая по своей сущности». Какимъ образомъ форма, всегда ограниченная, «въ состояніи выразить то, что отвергаетъ всякое ограниченіе»? Какимъ образомъ конечное будетъ служить внѣшней оболочкой для безконечнаго? {Между тѣмъ это чудо должно совершиться, и безконечное должно сдѣлаться видимымъ. «Обязанная повиноваться» двумъ противоположнымъ началамъ, форма «стремится приблизиться къ безконечному: ослабляя и расширяя границы, отъ которыхъ никогда не можетъ совершенно освободиться, она дѣлается исполинскою, неопредѣленною», или «распадается, такъ сказать, на части и силится посредствомъ разнообразія выразить то, что всегда ускользаетъ» отъ всякаго ограниченія и формы. Конечно, «задача остается не вполнѣ разрѣшенною». Какъ бы ни была обширна форма, какъ бы она ни

мѣняла свой видъ, безконечное въ ней не можетъ вмѣститься, и идея не находитъ для себя полнаго выраженія. Поэтому впечатлѣніе, производимое изящнымъ этого рода, отличается какой-то неопредѣленностью, таинственностью и уныніемъ. Здѣсь также есть единство, ибо безъ него нѣтъ изящнаго, но это единство выражается разнообразными формами, оно—гармонія въ противоположностяхъ.

Третій родъ изящнаго не существуетъ, хотя и есть третье отношеніе идеи къ формѣ: перевѣсъ послѣдней надъ первой всегда остается несовершенствомъ и не можетъ быть признанъ источникомъ красоты. А противоположность разсмотрѣнныхъ родовъ изящнаго не что иное, какъ противоположность классицизма и романтизма; она имѣетъ свою теорію и укрѣплена на прочномъ основаніи.

Литература всякой націи принимаетъ извѣстное направленіе не въ силу случайныхъ обстоятельствъ: на нее вліяютъ «географическое положеніе, климатъ, фізіологическія свойства породы», общеніе съ другими народами и—прежде всего—религія, которая можетъ различно дѣйствовать на человѣка.

Религія, которая представляетъ собою «обогащеніе силъ природы», «нисколько не возвышаетъ человѣка надъ видимымъ міромъ», а «новыми узами соединяетъ его съ нимъ». Такъ было въ древней Элладѣ во время ея расцвѣта и славы. Могъ ли грекъ обладать способностью углубляться въ самого себя, отвлекаться отъ земной жизни и «теряться» въ мечтахъ? Чувственность слишкомъ говорила его сердцу: онъ не могъ отъ нея отрѣшиться. «Религія представляла ему всю природу въ прелестнѣйшемъ свѣтѣ. Онъ видѣлъ боговъ, которые сходили съ неба на землю и жили въ храмахъ», воплощаясь «въ изящнѣйшихъ формахъ». «Радостными торжествами, плясками и гимнами» чествовалъ онъ «небожителей, и самыя жертвы, влекомыя къ алтарю, были увѣнчаны цвѣтами». Онъ былъ патріотично настроенъ; его личныя выгоды зависѣли отъ судьбы отчизны. «Поэтъ Греціи, вмѣстѣ и воинъ, и мужъ государственный, и витія, воспѣвалъ то, что видѣлъ, и почти не имѣлъ нужды украшать природу. Мысли и чувства, всегда *находясь въ гармоніи* съ блестящимъ, окружавшимъ его міромъ, какъ бы произвольно облекались въ простыя, прекрасныя формы. Въ произведеніяхъ его все было точно и ясно, подобно свѣту дневному; все, имъ описываемое, было очевидно, осязаемо, и въ этомъ отношеніи весьма основательно сравниваютъ греческую поэзію съ ваяніемъ».

Искусство романтическое не похоже на классическое. Христианская религія, прямо противоположная греческой, «перевернула полюсы человѣческаго существованія». «Направивъ умъ къ міру духовному», она сосредоточила вниманіе всѣхъ на безконечномъ, и «жизнь земная исчезла, какъ тѣнь». Старое забывалось; все «требовало преобразованія»,—искусство приняло новыя формы. Измѣнилось качество основныхъ элементовъ, а въ зависимости отъ этого, измѣнилось и ихъ взаимное отношеніе. «Грекъ не иначе могъ видѣть совершенство изящнаго, какъ въ гармоніи, тѣсномъ сліяніи идеи съ формою». Христианинъ сразу почувствовалъ глубокое противорѣчіе между конечностью формы и безконечностью идеи, которую онъ силился выразить. Пытаясь проявить одно посредствомъ другого, примирить крайности, выразить невыразимое, онъ «отнялъ у формы свойственный ей характеръ единства и опредѣленности». Отсюда съ одной стороны явилось множество разнообразныхъ выраженій, съ другой—полная неопредѣленность формы, стремящейся сдѣлаться безконечною; отсюда въ области искусствъ пластическихъ пренебреженіе къ ваянію и предпочтеніе живописи, какъ формы менѣе осязаемой, менѣе вещественной; отсюда «таинственная необязанность въ твореніяхъ зодчества»; отсюда, наконецъ, въ поэзіи «совершенно духовное стремленіе, унылость чувствъ», возвышенность мыслей, «неограниченность воображенія», — что представляетъ рѣзкую противоположность греческой поэзіи.

Унылость чувствъ есть результатъ стремленія осуществить возвышенныя мысли. Безконечная христианская идея пока тщетно ищетъ для себя *полнаго* выраженія, которое нашла себѣ «не превышающая сферы видимаго міра» идея язычества. Будетъ ли когда-либо конецъ этимъ исканіямъ? Повторится ли гармоническое сліяніе идеи съ формою? На этотъ вопросъ Пикте не даетъ и, видимо, не можетъ дать отвѣта<sup>1)</sup>.

Журнальные толки о романтизмѣ и полемика были въ самомъ разгарѣ, когда Викторъ Гюго выпустилъ знаменитое «Предисловіе къ Кромвелю» (1827). Великому художнику было угодно высказать нѣсколько своихъ соображеній.

Развитіе поэзіи—думаетъ онъ—находится въ тѣсной связи съ развитіемъ общественныхъ вкусовъ и взглядовъ, съ разви-

---

<sup>1)</sup> *Bibliothèque Universelle des sciences, belles-lettres et arts*, 1826, t. XXXIII, pp. 217—244.—Ср. *Московскій Телеграфъ*, 1828, № 17.

тіемъ цивилизаціи. Поэзія зародилась и созрѣвала вмѣстѣ съ человѣческимъ родомъ; ей суждено, подобно всему земному имѣть свою юность, свой расцвѣтъ и свой закатъ.

Первобытный человѣкъ былъ первымъ поэтомъ. Пораженный красотой новосозданнаго міра, онъ почувствовалъ приливъ вдохновенія, и его первыя слова слились въ торжественный гимнъ. Ничто не стѣсняетъ пѣвца; пастухъ и кочевникъ, онъ, въ уединеніи, предается созерцанію природы и причудливымъ грезамъ: онъ ощущаетъ свою близость къ Богу, находится часто въ экстазѣ; его посѣщаютъ видѣнія, и со струнъ его лиры срываются звуки, славословящіе Творца, душу, твореніе... Молодости свойственъ *лиризмъ*: излюбленной формой поэзіи является *ода*... Книга Бытія была одой временъ первобытныхъ.

Но патріархальный періодъ кончается: семья становится племенемъ; глава семьи—царемъ. Образуются государства. Мало-помалу одна нація сталкивается съ другой,—отсюда войны, переселенія народовъ... Поэзія отражаетъ великія событія; она воспѣваетъ вѣка, народы, царства, становится *эпической*... Рождается Гомеръ. Эпопея принимаетъ многія формы, но не утрачиваетъ своего характера: она замѣтна въ исторіи (Геродотъ), въ трагедіи... То, что воспѣвали рапсоды, актеры декламируютъ на сценѣ.

Съ паденіемъ Рима замираетъ эпопея. Начинается новая эра для всей вселенной и для поэзіи. Языческой матеріализмъ уступаетъ мѣсто христіанской религіи. Эта религія истинная; она проповѣдуетъ мораль. Она указываетъ, что человѣку предстоитъ прожить двѣ жизни: одну временную, другую вѣчную; одну на землѣ, другую на небѣ; что онъ двойственъ, какъ и его судьба, ибо состоитъ изъ духа и тѣла. Божественное откровеніе проясняетъ ту ночь, среди которой блуждали представители античной философіи; христіанство порождаетъ въ человѣкѣ чувство грусти, *меланхолю* и пылливость ума, выдвигаетъ на первый планъ *личность*, затертую въ древнемъ обществѣ, и приводитъ поэзію къ *истинѣ*. Въ Греціи и Римѣ изучали природу только съ одной стороны, безпощадно исключая изъ области искусства все, что не подходитъ подъ извѣстный типъ *прекраснаго*: теперь начинаютъ сознавать, что въ Божьемъ твореніи наряду съ прекраснымъ существуетъ безобразное: неприглядное чередуется съ граціознымъ, уродливое съ высокимъ, зло съ добромъ, тѣнь со свѣтомъ, и поэзія старается приблизиться къ природѣ. Особен-

ностью христіанскаго искусства оказывается *уродливо-комичное*, его литературной формой—*комедія*.

Взятое само по себѣ, отдѣльно, уродливо-комичное разнообразіе высокаго и прекраснаго; усиленіе уродливаго—шагъ къ дальнѣйшему совершенству, къ сліянію въ одно цѣлое двухъ разнородныхъ элементовъ. Это высшая ступень, которой можетъ достигнуть искусство. Красота—монотонна; она много выигрываетъ, будучи сопоставлена съ безобразіемъ. Уродливое должно отгнать свойства высокаго. Здѣсь богатый источникъ, открытый природой для искусства. Рубенсъ понялъ значеніе контраста и изображалъ королевскія торжества, коронаванія, пышныя церемоніи, на которыхъ рѣзко выдѣлялась отвратительная фигура придворнаго карлика. Франческа да-Римини и Беатриче не были бы такъ восхитительны, если бы поэтъ не привелъ насъ въ Башню голода и не показалъ ужасную трапезу Уголино. Но самый лучший образецъ въ этомъ отношеніи—драма Шекспира, совмѣщающая въ себѣ трагедію и комедію и представляющая собою типичное произведеніе современной литературы. Драма — истинная, совершенная поэзія; ея характерный признакъ—реализмъ, какъ результатъ *скрещенія прекраснаго и безобразнаго, высокаго и уродливо-комичнаго*, которыя переплетаются въ драмѣ такъ же, какъ въ жизни и во всемъ мірозданіи. Все, что есть въ природѣ, есть въ искусствѣ! Передъ нами гармоническое сочетаніе двухъ противоположныхъ началъ, нѣкогда господствовавшихъ въ античной и средневѣковой поэзіи <sup>1)</sup>!

Промежутокъ въ тридцать слишкомъ лѣтъ раздѣляетъ «Предисловіе къ Кромвелю» отъ трактата «О наивной и чувствительной поэзіи». За этотъ періодъ мѣнялись литературные вкусы; создавались вышеизложенныя теоріи о романтизмѣ.—Какіхъ же результатовъ достигли разсуждавшіе на злободневную тему? Пришли ли они хоть въ чемъ-нибудь къ соглашенію? Какіе итоги можно подвести ихъ критической работѣ?

Нѣтъ сомнѣній, что вопросъ о романтизмѣ не получилъ надлежащаго разрѣшенія, что онъ продолжалъ оставаться открытымъ. Предложенныя «формулы» нуждались либо въ исправленіяхъ, либо въ дополненіяхъ и не могли вполнѣ удовлетворить

<sup>1)</sup> *M. Souvieu. La préface de Cromwell Paris, pp. 169—223.—Ср. Московскій Телеграфъ, 1832, №№ 19, 20.*



самихъ взыскательныхъ литераторовъ прошлаго вѣка. Къ вопросу подходили то съ одной, то съ другой стороны; иногда недоумѣвали, иногда слишкомъ поспѣшно дѣлали обобщающія заключенія; не разъ впадали въ противорѣчія... Однако, несмотря на неясность и колебанія неустойчивыхъ мыслей, въ ученіяхъ о новомъ искусствѣ намѣчены общія идеи: а) романтизмъ иногда считается пробужденіемъ средневѣковой поэзіи христіанскихъ народовъ, и б) въ «синтезѣ» классицизма съ романтизмомъ усматривается надежный залогъ дальнѣйшаго процвѣтанія художественнаго творчества.

Шиллеръ одинъ изъ первыхъ устанавливаетъ, что «ни наивный, ни чувствительный характеры, разсматриваемые порознь, не исчерпываютъ вполнѣ идеала прекраснаго человѣчества, который можетъ возникнуть только изъ ихъ взаимнаго тѣснаго соединенія». Фр. Шлегель и Новалисъ (позже Гейне) не дѣлаютъ подобнаго вывода; они согласны съ Шиллеромъ лишь въ томъ, что идеалъ новѣйшихъ поэтовъ—безконеченъ, и потому не можетъ вполнѣ проявиться. Начиная съ 1805 г. философы-эстетики опять возвращаются къ мысли Шиллера, но доходятъ до нея независимо, путемъ самостоятельныхъ разсужденій. Они признаютъ верховъ совершенства «романтическое преображеніе античнаго искусства» (Астъ); рекомендуютъ для лучшаго выраженія идей и чувствъ, греку неизвѣстныхъ, воспользоваться приемами греческой художественной школы (Бутервекъ); неудовлетворены расплывчатой неопредѣленностью романтической формы, хотятъ, чтобы послѣдняя съ чисто классической ясностью и точностью отразила возвышенный идеалъ христіанства (Штуттманъ); придаютъ особое значеніе примиренію главныхъ принциповъ языческаго и христіанскаго искусства: объективности и субъективности (Бахманъ). А. В. Шлегель подчеркиваетъ важность гармоническаго объединенія духовнаго и матеріальнаго начала, идеи и формы, и указываетъ, что новѣйшіе писатели могли бы научиться у грековъ мастерскому разрѣшенію задачи поэзіи. Въ свою очередь, Тикъ мечтаетъ о критикѣ, который пойметъ сужденія Аристотеля и примиритъ ихъ съ данными, добытыми новѣйшимъ опытомъ.

Во Франціи Ансильонъ предсказываетъ наступленіе счастливаго времени, когда античная точка зрѣнія сблизится съ новѣйшей, а г-жа Сталь утверждаетъ, что поэты должны соединять, насколько возможно, различныя свойства, проявленныя человѣче-

скимъ умомъ въ разныя эпохи. Романтизмъ можетъ сочетаться съ классицизмомъ — заявляютъ журналисты двадцатыхъ годовъ (Амперъ); христіанская поэзія достигла бы высшей степени изящества, если бы, подобно античной, могла найти форму, вполне проявляющую безконечное начало (Пикте). И уже въ драмахъ Шекспира замѣтно своеобразное скрещеніе характерныхъ элементовъ древняго и средневѣкового искусства (Гюго).

Итакъ, пресловутый «синтезъ» представляется весьма желательнымъ; но реализація его—дѣло нелегкое.

Въ христіанскомъ искусствѣ измѣненіе характера идеи повлекло за собою измѣненіе въ отношеніяхъ ея къ формѣ, которая могла лишь весьма слабо отражать идею. Отсюда природа, являющаяся прекраснымъ художественнымъ твореніемъ Божества<sup>1)</sup>,—«неполное, призрачное» отраженіе безконечнаго, либо идеала<sup>2)</sup>, постичь который можетъ только человѣкъ высшей духовной организаціи, надѣленный даромъ прозрѣнія, тогда какъ идеалъ античнаго міра былъ доступенъ всякому. «Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid», пишетъ Тикъ<sup>3)</sup>. В. Гюго ему вторитъ: «Sous le monde réel, il existe un monde idéal qui se montre resplendissant à l'œil de ceux que des méditations graves ont accoutumés à voir dans les choses plus que les choses»<sup>4)</sup>. Видѣть незримое, по мнѣнію Новалиса,—удѣлъ одного поэта. Онъ, какъ пророкъ, дѣйствуетъ безотчетно, подъ влияніемъ наитія, въ экстазѣ; прорицатель грезить, погружается въ волшебные сны, надѣленъ ясновидѣніемъ<sup>5)</sup>. Поэтъ-мудрецъ знаетъ тайны міра; его взоръ проникаетъ въ нѣдра природы; ему знакомъ высокій идеалъ, тускло просвѣчивающій сквозь земную оболочку.

<sup>1)</sup> *L. Tieck. Phantasien über die Kunst von einem kunstliebenden Klosterbruder.* Berlin, 1814, SS. 79—80.—Ср. *Кюно-Фишеръ.* Публичныя лекціи о Шиллерѣ. М., 1890. стр. 85: Природа—отпечатокъ Божественнаго Существа.

<sup>2)</sup> «По отношенію къ нравственному идеалу красота есть чувственный образъ, т. е. несовершенное отраженіе, которое, изображая намъ тотъ сверхчувственный идеалъ, въ то же время затемняетъ его» (*Кюно-Фишеръ.* Публичныя лекціи о Шиллерѣ. М., 1890, стр. 93).—Ср. стихотвореніе Шиллера «Покрытый истуканъ въ Сапсѣ»; также *E. Spenlé, Novalis.* Paris, 1904, pp. 145—146.

<sup>3)</sup> *L. Tieck. Schriften.* Berlin, 1828. Zweiter Band, S. 177.

<sup>4)</sup> *V. Hugo. Odes et ballades.* Paris, 1829, t. 1, p. X.

<sup>5)</sup> *E. Spenlé. Novalis.* Paris, 1904, pp. 144, 147, 151—152, 188, 192, 212.

„Wer die Weisheit kennt, kennt keinen Zügel,  
Er sieht die ganze Welt in jedem Zeichen,  
Zur Sternenwelt trägt ihn der kühne Flügel“ <sup>1)</sup>.

Онъ—чародѣй, волшебникъ. Объ этомъ говоритъ Винфреда Тика.

„Ich bin so sündig, wie die andern Menschen,  
Doch wurde mir seltsamer Weis' verliehn,  
In innre Tiefe der Natur zu schaun.  
Da seh ich, was getrennt, zusammenhängen,  
Und was dem *blöden* Auge einig scheint,  
In ferne Gränzen aus einander fliehn“ <sup>2)</sup>.

Въ духовномъ развитіи человѣчество стоитъ гораздо ниже поэтовъ. Они одни могутъ поучать обыкновенныхъ смертныхъ <sup>3)</sup>, которые, безъ этой поддержки, безпомощны и жалки: они—слѣпы, утратили счастье древняго грека.

Безконечное пока не находитъ выраженія въ конечномъ; форма не способна вполне отразить идею. Чтобы *всѣ* могли постичь идею, проникнуться ею, необходимо или усовершенствованіе всего человѣчества, которое должно возвыситься до *зрячаго* поэта, или *полное* проявленіе безконечнаго въ природѣ, а затѣмъ и въ созданіяхъ искусства. И вѣра въ прогрессъ не покидала философовъ и художниковъ, мечтавшихъ о совершенномъ искусствѣ будущаго. Когда-нибудь—думали они—должно разрешиться ихъ мучительное томленіе, ихъ страстная тоска по идеалу, когда-нибудь должна быть удовлетворена жажда знанія. Классики завѣщали потомству *абсолютное изображеніе* (eine absolute Darstellung) конечнаго, романтики—*изображеніе абсолютнаго* (Darstellung eines Absoluten) <sup>4)</sup>; въ созданіяхъ новаго искусства *абсолютное начало найдетъ себѣ абсолютное выраженіе*. И плѣнительная, смѣлая мысль о воплощеніи невоплотимаго невольно мелькала въ повышенно настроенныхъ умахъ нашихъ теоретиковъ. Эта мысль не могла получить развитія, но отъ нея было трудно

---

<sup>1)</sup> *L. Tieck*. Schriften. Berlin, 1828. Zweiter Band, S. 67.

<sup>2)</sup> *L. Tieck*. Schriften. Berlin, 1828. Zweiter Band, S. 176.—Ср. *E. Spenté*. Novalis, pp. 214—215: «On peut dire qu'il contraint alors les Esprits invisibles à lui apparaître, à se révéler à lui etc.».

<sup>3)</sup> *E. Tieck*. Schriften. Zweiter Band, S. 68.

<sup>4)</sup> Ср. Deutsche National-Litteratur, 129, 1. Schillers Werke. Zwölfter Theil, erste Abtheilung, S. 397.—*Кунно-Фишеръ*. Публичныя лекціи о Шиллерѣ, стр. 159.

отказаться. Такъ покорила сердца поэтовъ чудная и—увы!—неосуществимая греза.

Вопросъ о древней и новой поэзи, бывшій на Западѣ предметомъ страстныхъ, ожесточенныхъ журнальныхъ преній и послужившій яблокомъ раздора для многихъ писателей, естественно, долженъ былъ найти себѣ отраженіе и въ русской литературѣ, конечно, съ нѣкоторымъ запозданіемъ. Однимъ изъ первыхъ высказался въ пользу синтеза классицизма съ романтизмомъ А. И. Галичъ. «Совершеннѣйшее откровеніе безусловной красоты», писалъ онъ въ своемъ «Опытѣ науки изящнаго»: «возможно только въ романтической пластикѣ, которая предметагъ лучшаго, неземнаго міра умѣетъ давать яственныя, опредѣленныя очертанія. Но сей родъ искусства, предугаданный нѣкоторыми гениями итальянскихъ живописцевъ и нѣмецкихъ поэтовъ, есть идеалъ, коего осуществленіе предоставлено будущему періоду счастливѣйшаго человѣчества»<sup>1)</sup>. Увлеченный идеей Галича, Н. А. Полевой сталъ мечтать о «философѣ-дѣписателѣ» — «примири-телѣ классиковъ и романтиковъ»<sup>2)</sup>, а издатель *Московского Вѣстника*, желая подкрѣпить мнѣніе русскаго мыслителя ссылкой на иностранный авторитетъ, напечаталъ «Основное начертаніе эстетики» Аста, въ сокращенномъ изложеніи. «Три рода художественнаго представленія не только опредѣляютъ основныя формы искусства: пластику, музыку и поэзію, но и въ историческомъ образованіи искусства означаютъ различные его моменты. Объективное, или пластическое представленіе господствуетъ въ древнемъ (эллинскомъ) искусствѣ; напротивъ, музыкальное въ романтическомъ; и поелику пластическое и музыкальное представленія взаимно дополняются и совершенствуются въ цѣлитическомъ, какъ вышшемъ ихъ единствѣ, такъ равно и искусство въ историческомъ своемъ образованіи только чрезъ соединеніе музыкальнаго романтизма и пластическаго антицизма можетъ достигнуть совершенства и содѣлаться поэзіею искусства»<sup>3)</sup>.

Мысль о «соединеніи музыкальнаго романтизма и пластиче-

<sup>1)</sup> А. Галичъ. Опытъ науки изящнаго. Спб., 1825, стр. 56.

<sup>2)</sup> *Московский Телеграфъ*, 1826, ч. 8, № 8, стр. 329.

<sup>3)</sup> *Московский Вѣстникъ*, 1829, ч. IV, стр. 18—81 (§ 24).—Ср. *Fr. Ast. System der Kunstlehre, oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik*. Leipzig, 1805, §§ 33, 52, 54, 101.

скаго антицизма», черезъ годъ послѣ появленія «Начертанія», была положена Надеждинымъ въ основу знаменитой диссертациі: «De Poësi Romantica» (1830).

Объ этомъ трудѣ писали многіе литераторы, но ихъ статьи не столько указывали качества книги, сколько свидѣтельствовали о плохомъ знакомствѣ съ ней критиковъ, отличавшихся необыкновенной смѣлостью сужденій и слабымъ знаніемъ латинскаго языка<sup>1)</sup>. Никто не подвергъ диссертациі безпристрастному разбору, котораго она вполне заслуживала.

Исслѣдованіе «De Poësi Romantica» распадается на двѣ части: «историческую» и «теоретическую»<sup>2)</sup>. Объ историческихъ разысканіяхъ Надеждина новѣйшій специалистъ по русскому романтизму даетъ слѣдующій отзывъ: «Первая часть работы, представляющая историческую справку о происхожденіи и развитіи романтической поэзіи, построена на трудахъ Бутервека, Сисмонди и обоихъ Шлегелей; объ этомъ свидѣтельствуетъ въ своихъ граefanda самъ авторъ<sup>3)</sup>. Такимъ образомъ, «историческая часть» диссертациі, при анализѣ труда Надеждина, *не заслуживаетъ особаго вниманія, какъ компилятивная*; даже для современниковъ его она, видимо, была *мало интересна* и не попала въ рускомъ переводѣ ни въ «*Вѣстникъ Европы*»<sup>4)</sup>, ни въ *Атеней*<sup>5)</sup>; въ послѣднемъ журналѣ на нее сдѣлана была только небольшая ссылака въ примѣчаніи. И это понятно: съ средневѣковой поэзіей, которою, главнымъ образомъ, касается здѣсь Надеждинъ, его современники могли знакомиться и по *болѣе обстоятельнымъ* сочине-

---

1) См. *Н. Г. Чернышевскій*. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 197: «Къ сожалѣнію, она (диссертациія) у насъ очень мало извѣстна, потому что написана на латинскомъ языкѣ. Его называли за то педантомъ; но латинской диссертациі требовали правила докторскаго экзамена,—слѣдовательно, Надеждинъ не виноватъ въ томъ, что написалъ свое разсужденіе не по-русски. Зная, что латынь не найдеть у насъ много читателей, онъ перевелъ любопытнѣйшіе отрывки своего исслѣдованія на русскій языкъ и помѣстилъ въ журналахъ: чего же требовать больше? Только эти отрывки и были прочитаны людьми, которые такъ рѣшительно судили о его диссертациі».—Слова Чернышевскаго—*mutatis mutandis*—примѣнны и къ вѣкоторымъ крптикамъ позднѣйшаго времени.

2) *N Nadeždin*. De Poesi Romantica. Mosquae, 1830, pp. 4—5.

3) Тамъ же, 4: «Bouterwekium, Sismondium, utrumque Schlegelium imprimis cito, quibus multa debeo».

4) *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 1, стр. 3—37; № 2, стр. 122—151.

5) *Атеней*, 1830, № 1, стр. 1—33.

нямъ (напр., по «Исторіи древней и новой литературы» Фр. Шлегеля)»<sup>1)</sup>.

Такое мнѣніе нельзя признать научно обоснованнымъ. Въ тѣхъ же «Praefanda», на которыя сдѣлана ссылка, Надеждинъ заявляетъ: «Nunquam tamen testimoniis eorum (virorum eximiorum) fidem credulam me prodegit, verum semper *genuinos fontes*, quotquot sub manu habui, consulisse, solenniter protestari non erubescio»<sup>2)</sup>. Руководствуясь первоисточниками<sup>3)</sup>, Надеждинъ не компилировалъ, а подвергалъ строгой критикѣ взгляды упомянутыхъ выше ученыхъ; эти взгляды онъ признавалъ правильными лишь послѣ тщательной провѣрки. Соглашаясь съ однимъ выводомъ, онъ не принималъ другого; часто отвергалъ то или иное положеніе, если анализъ литературнаго явленія либо какія-нибудь фактическія данныя побуждали его сдѣлать несходныя, даже противоположныя заключенія.

Нагляднымъ доказательствомъ самостоятельности сужденій Надеждина можетъ служить его отношеніе къ важному вопросу о восточномъ вліяніи на средневѣковую поэзію.

Западно-европейскіе ученые начала истекшаго столѣтія высказали по этому поводу далеко несходныя воззрѣнія. По словамъ Аста, романтическое искусство—восточнаго происхожденія; оно—восточный цвѣтокъ, выросшій послѣ сарацинскаго и мавританскаго нашествія<sup>4)</sup>. Въ преобладаніи разнообразія надъ единствомъ, въ произволѣ смѣлой фантазіи усмотрѣлъ Бутервекъ «направленіе, общее у романтическаго вкуса съ восточнымъ, которому онъ сродни во многихъ отношеніяхъ»<sup>5)</sup>. Характерныя особенности новой поэзіи, утверждалъ Сисмонди, даютъ понятіе о томъ, какъ она образовалась. Вліяніе Востока замѣтно и въ ея содержаніи, и во внѣшней формѣ.

---

1) *И. И. Замотинъ*. Романтизмъ двадцатыхъ годовъ XIX столѣтія въ русской литературѣ. Варшава, 1903, стр. 304—305.

2) *N. Nadeždin*. De Poësi Romantica. М., 1830, р. 4.

3) Въ диссертациі приводятся цитаты изъ сочиненій Виргилія, Лукреція Кара, Діонисія Галикарнаскаго, Авла Геллія, Плинія, Тацита, Горнанда, Эгингарда, монаха Отфрида, Данте, Петрарки, Торквато Тассо, Гарсилассо де-ла Вегги, Саа де Миранды, Мендозы, Кальдерона, Шекспира, многихъ средневѣковыхъ романтиковъ и т. д.

4) *F. Ast*. System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik. Leipzig, 1805, S. 69.

5) *F. Bouterwek*. Aesthetik. Göttingen, 1824. Erster Theil, S. 223.

Несмотря на распространенное представленіе о свирѣпой ревности мусульманъ и пагубныхъ слѣдствіяхъ полигаміи, нѣжность чувства, мистическая любовь тѣснѣе связаны съ арабской поэзіей и восточными нравами, чѣмъ обыкновенно полагають. Женщины были въ глазахъ мусульманина божествами, гаремъ былъ не только темницей, но и храмомъ. Мусульманинъ старательно оберегаетъ женщину отъ всѣхъ жизненныхъ заботъ. Гаремъ, наполненный предметами искусства, поражаетъ своей роскошью. Цвѣты, благовопія, музыка, танцы,—все, что только можетъ доставить удовольствіе, окружаетъ кумиръ, которому онъ поклоняется. Мусульманинъ никогда не позволялъ женщинамъ трудиться; его пѣсни, прославляющія любовь, отражаютъ то самое обожаніе, которое мы находимъ въ рыцарской поэзіи; и наиболѣе прекрасныя персидскія газели и арабскія кассиды кажутся переложеніями провансальскихъ пѣсней и стихотвореній. Страстно любя женщинъ, арабы предоставляли имъ возможность пользоваться свободой, и изъ всѣхъ странъ, покоренныхъ арабами, Испанія была той, гдѣ ихъ нравы, кажется, наиболѣе приближались къ вѣжливости и учтивости европейскаго рыцарства,—той, которая оказала самое сильное вліяніе на умственное развитіе христіанской Европы.

Что касается внѣшней формы новой поэзіи, то отличительной чертой ея является *риома*. Незнакомое грекамъ созвучіе окончаній стиховъ или середины послѣднихъ съ концомъ пороку встрѣчается, правда, въ латинскихъ, даже классическихъ стихотвореніяхъ. Но это созвучіе допускается здѣсь совсѣмъ не съ тою цѣлью, какую мы усматриваемъ въ употребленіи риомы. Дѣло идетъ скорѣе о томъ, чтобы выразить смыслъ, чѣмъ о томъ, чтобы обозначить стихъ. Сходство въ построеніи фразъ даетъ въ результатѣ риому; глаголы встрѣчаются съ глаголами, существительныя съ существительными, и отъ воздѣйствія этого повторенія на слухъ получается впечатлѣніе, что поэтъ въ продолженіе двухъ—трехъ созвучныхъ стиховъ высказываетъ однородныя мысли, а затѣмъ уже не риомуетъ. Гораздо чаще попадаются риомованныя латинскія стихотворенія въ средніе вѣка, даже начиная съ восьмого или девятаго столѣтія; но съ восьмого вѣка началось наибольшее сліяніе арабовъ съ латинами, и можетъ возникнуть предположеніе, не заимствованы ли отъ арабовъ первыя латинскія риомы<sup>1)</sup>. То же приходится сказать и о нѣ-

<sup>1)</sup> Ср. *Московский Телеграфъ*, 1828, № 24, стр. 465: «Мы совсѣмъ не

мецких риомахъ, такъ какъ древнѣйшіе нѣмецкіе стихи, риомованные черезъ два, появились значительно позже арабскихъ и послѣ первыхъ сношеній арабовъ съ нѣмцами. Весьма возможно, что готы, переселившись въ Европу, ввели обычай употреблять риому, занесенную ими съ Востока. Но старѣйшая и необходимая форма стихосложенія германскихъ народовъ—аллитерація, не риома, то-есть тройное повтореніе однихъ и тѣхъ же согласныхъ въ началѣ слова, а не однихъ и тѣхъ же звуковъ въ концѣ.

Риома, свойственная всей арабской поэзіи и комбинируемая тамъ весьма различно, чтобы ласкать слухъ, была введена трубадурами въ языкъ провансальскомъ. Арабскіе писатели имѣли обыкновеніе риомовать по двустишіямъ, не такимъ образомъ, что два соединенные стиха риомуютъ другъ съ другомъ, не будучи связаны съ предыдущими и послѣдующими, но такъ, что и другіе стихи риомуютъ вмѣстѣ, и одна риома выдерживается въ продолженіе всей строфы или даже поэмы. Подобный пріемъ встрѣчается съ древнѣйшихъ временъ въ испанской поэзіи<sup>1)</sup>.

Сходившійся съ Сисмонди въ признаніи вліянія Востока на средневѣковую поэзію, Бутервекъ не счелъ возможнымъ, подобно ему, преувеличивать роль, сыгранную арабами въ исторіи. Не арабы, а германцы измѣнили положеніе женщины: они усмотрѣли въ ней нѣчто сверхчеловѣческое, божественное и надѣлили ее даромъ пророчества. Только у такого народа, какимъ были германцы, легко могла возникнуть особая любовная поэзія, неизвѣстная въ античномъ мірѣ. Правда, въ обыденной жизни германцы обращались съ женщинами, которымъ они приписывали родство съ высшими существами, такъ же грубо, какъ другіе дикіе и необразованные народы<sup>2)</sup>; но все же въ складѣ харак-

находимъ риомы въ произведеніяхъ цвѣтущаго вѣка Греціи; нѣкоторые слѣды оной примѣтны у латинскихъ поэтовъ; но классицизмъ тогда не существовалъ болѣе въ природной чистотѣ своей, и риома явилась въ языкѣ латинскомъ уже послѣ совершеннаго упадка пинтического духа древности».

1) *S. Sismondi. De la littérature du Midi de l'Europe. Paris, 1829. Tome premier, pp. 95—96; 101—106.*

2) «Намъ кажется»,—говоритъ ак. А. Н. Веселовскій,—«что германскую женщину слишкомъ идеализировали вслѣдъ за «Германіей» Тацита... Надо помнить, что Тацитъ писалъ сатиру на римское общество и, во что бы то ни стало, долженъ былъ находить похвальнымъ въ германскомъ устройствѣ многое такое, что само въ себѣ не имѣло ничего хорошаго, и чего, можетъ



тера древнихъ германцевъ, въ ихъ образѣ мыслей таились зачатки поэтического почитанія женщинъ. И какъ только къ подобному образу мыслей присоединились христіанскія представленія о святости Пречистой Дѣвы, родившей Сына Божія,—все элементы, необходимые для образованія новой любовной поэзіи, были налицо. Нельзя сомнѣваться, что этотъ родъ поэзіи, развившейся вмѣстѣ съ рыцарствомъ въ эпоху среднихъ вѣковъ, обязанъ происхожденіемъ германцамъ, которые, въ качествѣ завоевателей, перенесли въ культурныя страны южной Европы свои національныя привычки. Эти завоеватели, смѣшавшись съ туземнымъ населеніемъ, быстро обратились въ итальянцевъ, французовъ, испанцевъ, португальцевъ. Но хотя они и перегнали на пути прогресса своихъ сородичей, оставшихся въ Германіи, однако, нѣмецкій отпечатокъ остался замѣтенъ и на ихъ поэзіи, и на гражданскихъ учрежденіяхъ. И никто не относитъ къ романтической поэзіи съ такимъ благоговѣніемъ, какъ германцы, даже въ новѣйшія времена <sup>1)</sup>).

---

быть, онъ самъ не понималъ, потому что не все ему было показано. Намъ, по крайней мѣрѣ, которые не вѣрнмъ въ необъяснимые историческіе скачки, забытая семейная жизнь средневѣкового рыцарства кажется только органическимъ продолженіемъ германской семьи, какъ существовала она въ до-христіанскую эпоху» (Собраніе сочиненій. Спб., 1908, т. III, стр. 98—99).— «Несмотря на рыцарское уваженіе къ женщинѣ», средневѣковая литература, по указанію А. Н. Пыпина, «представляетъ цѣлый рядъ забавныхъ рассказовъ, основанныхъ на правилѣ, что тѣлесное наказаніе необходимо для укрощенія злыхъ женщинъ и для подкрѣпленія добродѣтельныхъ. Рассказы о томъ, какъ мужа находили въ палкѣ лучшее средство къ поддержанію домашняго счастья, съ одобреніемъ повторяются у многихъ итальянскихъ новеллистовъ, даже у Боккаччо, въ новеллѣ о Соломоновомъ судѣ, Decameron, IX, 9. Такая же мораль не разъ проповѣдывается и въ фавльо, напр., de la dame, qui fut corrigée Въ романѣ Milles et Amys, написанномъ въ самую блестящую пору рыцарства, развивается мысль, что—la mauvaise femme convient-il battre et la bonne aussi afin qu'elle ne se change,—дурную жену надобно бить, да и хорошую также, чтобы она не переимѣнилась (ср. Dunlop, 249) [Очеркъ литературной исторіи старинныхъ повѣстей и сказокъ русскихъ. Спб., 1857, стр. 273—274].

<sup>1)</sup> Fr. Bouterwek. Geschichte der Poesie und Beredsamkeit. Göttingen, 1812. Neunter Band, SS. 24—27.—Ср. F. Ancillon. Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 1809. Tome I, p. 210: «On prétend que déjà au sein de leurs forêts les Germains avaient une espèce de vénération religieuse pour les femmes... La chevalerie acheva l'ouvrage de la religion; en prêtant à la plus impétueuse des passions une beauté morale, elle lui donna presque les traits de la vertu, et les femmes acquirent un plus haut degré d'élévation et de pureté».

Несмотря на вѣкоторыя разногласія въ сужденіяхъ, Бутервекъ, Астъ и Сисмонди представляли собою группу писателей, которые отмѣтили восточное вліяніе, сказавшееся въ средневѣковыхъ литературныхъ произведеніяхъ. Проводимая ими точка зрѣнія показалась ошибочной А. В. Шлегелю, попытавшемуся опровергнуть ее въ статьѣ: «Observations sur la langue et la littérature provençales» (1818).

Женгене и Сисмонди,—писалъ онъ,—видятъ въ провансальской поэзіи подражаніе арабской. Но подобную гипотезу могутъ поддерживать лишь малосвѣдущіе люди. Весьма трудно доказать, что отличительныя черты поэзіи, въ основѣ которой лежитъ поклоненіе женщинѣ и признаніе за ней права на полную свободу въ общественной жизни, могли быть заимствованы у народа, привыкшаго видѣть въ женщинѣ рабыню и затворницу. Такъ же невѣроятно, чтобы христіанскіе рыцари стали искать себѣ учителей среди невѣрныхъ, съ которыми они сражались не на животъ, а на смерть. Въ древнѣйшихъ романахъ о Карлѣ Великомъ, весьма распространенныхъ начиная съ XII вѣка, короли и воины мавританскіе изображены, какъ особаго рода чудовища, распаленныя дьявольской ненавистью къ вѣрѣ христіанской. Конечно, были ученые, которые увидѣли въ рыцарствѣ и въ готической архитектурѣ слѣды арабскаго происхожденія. Но ихъ заблужденіе слишкомъ очевидно. Близкое сосѣдство съ христіанами на Пиренейскомъ полуостровѣ и крестовые походы, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, сблизили арабовъ съ европейцами, особенно въ способѣ веденія войны. Съ другой стороны, арабы сообщили Европѣ свѣдѣнія по математикѣ, медицинѣ, химіи и познакомили ее съ ихъ вздорнымъ переводомъ Аристотеля. Но послѣдователи Магомета никогда не имѣли ни малѣйшаго вліянія на оригинальный характеръ среднихъ вѣковъ.

Поэзія арабская—думаютъ иные—является прародительницей испанской и провансальской уже по одному тому, что арабы изобрѣли риему. Но они изобрѣли ее такъ же, какъ и многіе другіе народы, каждый для себя. Склонность къ риэмѣ коренится въ природѣ человѣческой и основывается на музыкальномъ принципѣ; элементы созвучія находятся болѣе или менѣе во всѣхъ языкахъ. Поэзія требуетъ, согласно законамъ языка, симметріи, ощутительной для слуха: если стихъ недостаточно обозначенъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же стопъ и размѣра, онъ опредѣлится вслѣдствіе повторенія однихъ и тѣхъ же звуковъ. Послѣ

того, какъ стихи перестали измѣряться слогами долгими и краткими, въ латинскомъ языкѣ началось употребленіе стиховъ римо-ванныхъ. Нелегко сказать, въ какомъ европейскомъ языкѣ риома впервые получила право гражданства. Поэзія германскихъ народовъ въ старину была подчинена правиламъ аллитераціи, т. е. созвучію начальныхъ буквъ. Въ Англіи риома была введена только послѣ завоеванія, но въ Германіи мы встрѣчаемъ ее совершенно установившейся въ девятомъ вѣкѣ. Въ этомъ отношеніи особенно интересны стихотворенія любовныя. Естественно предположить, что потомки завоевателей Римской имперіи, появившіеся въ Галліи, продолжали воспѣвать любовь и войну на ихъ родномъ языкѣ, а спустя нѣкоторое время попытались сдѣлать то же самое на языкѣ романскомъ. По мѣрѣ того, какъ рыцарская вѣжливость смягчала нравы, это искусство, первоначально грубое, совершенствовалось и стало предметомъ особыхъ попеченій. Въ наиболѣе древнихъ дошедшихъ до насъ пьесахъ трубадуровъ замѣчательная правильность внѣшней формы наводитъ на мысль, что много менѣе совершенныхъ опытовъ должно было имъ предшествовать.

Многимъ кажется, что припѣвы (*refrains*), тенсоны и обычай трубадуровъ выдерживать однѣ и тѣ же риомы въ продолженіе пѣлой пьесы свидѣтельствуютъ о поразительномъ сходствѣ между поэзіей провансальской и арабской. Провансальскіе поэты пѣли, употребляя однѣ и тѣ же риомы, ибо множество словъ имѣло одинаковыя окончанія. Однообразіе всѣхъ строфъ пѣсни облегчало запоминаніе ихъ, и менестрели должны были знать наизусть много стиховъ. Но это правило не соблюдалось строго: бывали случаи, когда каждая строфа имѣла различныя риомы.

А. В. Шлегель признается, что онъ не знаетъ арабской поэзіи, и потому вынужденъ ограничиться приведеніемъ аргументовъ отрицательнаго характера, т. е. доказывать, что восточное влияніе на средневѣковую поэзію невѣроятно само по себѣ и недостаточно обосновано. Безъ сомнѣнія, въ исторіи цивилизаціи надо тщательнѣе подмѣчать слѣды отношеній между народами, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, надо воздерживаться отъ смѣшенія аналогій, имѣющихъ начало въ человѣческой природѣ, и сходства, какъ результата подражанія <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> *A. W. Schlegel. Essais littéraires et historiques. Bonn, 1842, pp. 270—275.*

Статья Шлегеля вызвала отвѣтъ Сусмонди, который отстаивалъ свои взгляды; «Dans un petit ouvrage publié en 1818, sur la Langue et la Littérature»  
[lib.pushkinskijdom.ru](http://lib.pushkinskijdom.ru)

Таковы были противорѣчивыя теоріи иностранныхъ ученыхъ, съ которыми пришлось считаться Надеждину. Осторожный и точный изслѣдователь, онъ не признавалъ правильными мнѣнія, отличавшіяся излишней односторонностью; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не хотѣлъ ихъ игнорировать, отлично понимая, что и въ нихъ можетъ быть известная доля правды, что *du choc des opinions jaillit la lumière*.

Онъ не могъ согласиться съ А. В. Шлегелемъ, «старавшимся слишкомъ ослабить вліяніе, которое арабская поэзія имѣла на обновившуюся Европу»; не могъ одобрить и Сисмонди, впаваго въ другую крайность и «производившаго отъ подражанія» арабамъ «всю поэзію возрожденнаго міра». «Еще доселѣ хлопочуть ученые», пишетъ онъ, «изъ какихъ далекихъ странъ могла зайти въ міръ романтической любовь, сія небывалая гостья челоувѣческаго сердца (*novus hospes cordis humani*)». «Одни думаютъ, что она занесена на Западъ съ Востока», и, подобно Сисмонди, «всѣми силами доказываютъ, что арабы были нашими учителями въ любви»; «другимъ хочется, напротивъ, отыскать ея коренное жилище въ лѣсахъ древней Германіи». Вслѣдъ за Бутервекомъ, они приводятъ свидѣтельство Тацита: «*inesse etiam sanctum aliquid et providum (mulieribus) putant (Germani)*», и «отсюда заключаютъ, что почтеніе къ женщинамъ, на коемъ основывается

---

turo provençales, M. A. W. Schlegel cherche à infirmer cette influence des Arabes sur la civilisation et la poésie des Provençaux. Il prête aux Espagnols du moyen âge, et il l'avait déjà fait dans d'autres occasions, l'intolérance et les haines religieuses que leurs descendants ont manifestées sous le règne des trois Philippe. L'histoire ne nous montre point cette aversion entre les peuples des deux dominations. Jusqu'au temps d'Alphonse X de Castille, il n'y a pas de règne où l'on ne voie quelque prince chrétien fugitif à la cour d'un roi maure, quelque prince maure réfugié à la cour d'un roi chrétien. De même, pendant cent cinquante ans, on avait vu à la cour des deux Rogor et des deux Guillaume de Sicile, comme à celle de Frédéric II, les courtisans arabes mêlés aux courtisans italiens, et les juges de toutes les provinces des deux Sicile, pris parmi les Sarrasins... On reconnaît l'influence des Maures sur les Latins dans l'étude des sciences, la philosophie, les arts, le commerce, l'agriculture, et même la religion; il serait bien étrange qu'elle ne se fût pas étendue aux chansous qui animaient toutes les fêtes où les deux peuples se rencontraient, tandis qu'on sait que tous deux étaient également passionnés pour la musique et la poésie. Le même air employé tour à tour pour des paroles arabes et romanes devait appeler nécessairement la même coupe de la strophe, le même enchaînement de rimes» (*S. Sismondi*. De la littérature du Midi de l'Europe. Paris, 1829. Tome I, pp. 101--102).

любовь романтическая, было наследственной собственностью германцев». Защитники обоих возрѣній одинаково ошибаются. «Всѣмъ извѣстно, что любовь у арабовъ—болѣе неистовство, нежели чувство чистое и святое. Посему ихъ поэзія всегда дышитъ сладострастною нѣгою», «вся совершенно горитъ и растопляется отъ пламени страсти». А германское уваженіе женщинъ «было болѣе религиозное, нежели сентиментальное». «Это подтверждаетъ и самъ Тацитъ, говоря, что Велледа почиталась божествомъ и чувствуема была божескими почестями». «Гораздо естественнѣе сознаться, что корень сего дивнаго чувства сокрывается въ самомъ святилищѣ сердца человѣческаго». «Изъ нѣдръ послѣдняго прорывается самъ собою живой источникъ» любви и «изливается на женщину, на которую благодатная рука Самого Верховнаго Всехудожника разсыпала всѣ прелести красоты въ неистощимомъ величій».

Какъ нѣтъ основаній признавать арабовъ «учителями въ любви», такъ нѣтъ нужды спрашивать: отъ нихъ или отъ «тевтонскихъ ордъ» заимствовала Европа созвучіе слоговъ? «Происхожденіе созвучія надо отыскивать въ самой природѣ человѣческаго духа, который любитъ, когда внутреннее согласіе оцущеній отглашается вѣшнимъ созвучіемъ словъ». Сисмонди можно указать, что арабскому влиянію «противорѣчатъ примѣры», находимые у латинскихъ, даже классическихъ, писателей.

Ученые любятъ «пускаться въ крайности», тогда какъ «безопаснѣе держаться середины». «Толчокъ», данный арабами европейской поэзіи, «долженъ быть принимаемъ не за *динамическій*, а за *механическій*». Они «возбудили въ націяхъ возрожденной Европы благородное соревнованіе и ускорили развитіе поэтическаго генія, что, можетъ быть, случилось бы гораздо позднѣе, если бы было оставлено на волю судьбы. Что касается до фантастическаго убранства, которымъ украшалъ себя геній европейскій, то этотъ блескъ и живость свою онъ заимствовалъ, безспорно, отъ Востока; этому противорѣчить станетъ только тотъ, кто не знаетъ хода дѣла <sup>1)</sup>».

«Во времена, послѣдовавшія за паденіемъ древняго міра»,

---

<sup>1)</sup> N. Nadeždin. De Poësi Romantica, pp. 29, 75, 89.—Всѣ цитаты изъ диссертациі приводятся въ переводѣ ея автора. За предоставленіе намъ возможности ознакомиться съ текстомъ означеннаго перевода приносимъ искреннюю благодарность Ильѣ Александровичу Шляпкину.

«горнило священнаго огня (поэзіи) находилось въ средоточіи новаго восточнаго міра, воздвигнутаго преемниками и намѣстниками мекксккаго пророка». Послѣдній былъ самъ «одушевленъ поэтическимъ восторгомъ, и его коранъ есть не иное что, какъ въ высочайшей степени упоеніе разыгравшагося воображенія». Поэзія арабовъ «пламенна, какъ та страна, въ которой они кочуютъ; ярковучна, какъ степи, ими пробѣгаемыя; отрывиста, какъ скалы, ими перепрыгиваемыя; смѣла и неукротима, какъ крылатые кони, на которыхъ они носятя; быстра и стремительна, какъ серна, ими преслѣдуемая, и любитъ чудеса и чары, дабы ими наполнить и населить пустыню, ее окружающую».

«Поэтическое одушевленіе, соединенное тѣснѣйшими узами съ самой религіей, отнюдь не отставало отъ бѣшенной страсти къ господству, овладѣвшей въ то время арабами». «И этому народу, подобно пескамъ его первоначальнаго отечества, мгновенно разсѣянному по всей вселенной, въ таинственномъ совѣтѣ судьбъ предназначена была завидная доля—*извлечь искры священнаго огня въ Европѣ и пробудить въ ней жизнь поэтическую*. «Арабо-маврская Испанія сіяла всѣми лучами генія и была великолѣпнымъ святилищемъ наукъ и искусствъ... Царскіе дворы въ Гренадѣ, Севильѣ, Кордовѣ, Толедѣ, Валенціи, Сарагоссѣ были фокусами, гдѣ сосредоточивался духъ поэтической. И не одни только пришлецы арабы и мавры принимали въ немъ участіе. Знакомство и дружество, сведенное и укрѣпленное продолжительностью времени, мало-помалу смирило ту непримиримую вражду, съ какою прежде гнали христіане и магометане другъ друга. Туземцы, потомки древнихъ визиготовъ, не теряя совершенно собственнаго своего характера, такъ приноровились къ нравамъ и обычаямъ своихъ побѣдителей, что вездѣ стали именовать ихъ полу арабами. Они съ такимъ же раченіемъ изучали арабскій, какъ и отечественный языкъ, и охотно пріучались ко всѣмъ тѣмъ удовольствіямъ духа, коими наслаждались арабы. Въ хорахъ поэтовъ, окружавшихъ дворы сарацинскихъ государей, было весьма много такихъ, которые по ближайшему родству имѣли двоякій языкъ и, какъ бы, двоякое отечество. Они безпрестанно переселялись отсюда ко дворамъ маленькихъ христіанскихъ королевствъ, начинавшихъ образовываться изъ обломковъ распадающейся маврской имперіи. Даже изъ странъ обновляющейся Европы, лежащихъ по сю сторону Пиренейскихъ горъ, многіе ищущіе просвѣщенія добровольно стекались въ области арабо-испанскія, дабы въ академіяхъ, тамъ про-

цвѣтавшихъ, образовать свой умъ и вкусъ. Они, если сами возвращались домой не поэтами, то, по крайней мѣрѣ, приносили съ собою вкусъ и потребность поэзій, пріятность коею они тамъ ощущали. *Тамъ образомъ, искры арабскаго пламени были занесены и брошены въ тотъ способнѣйшій къ принятію и питанію поэтическаго огня трутъ, который такъ давно былъ приготовленъ въ Европѣ. Творческая сила уже была тамъ готова: все находилось подъ ея рукою. Языки юные и нетронутые ожидали только электрическаго удара, дабы развернуться. Ударъ сдѣланъ. Тяжелый Сѣверъ и бурный Югъ столкнулись, и отсюда открылся яркій свѣтъ новой поэтической жизни, прекрасной и очаровательной».*

За постепеннымъ развитіемъ этой жизни внимательно слѣдить Надеждинъ, начиная свой обзоръ съ поэзій провансальской. Онъ старается отмѣтить всѣ историческія условія, которыя могли оказать вліяніе на поэтическое творчество въ Испаніи, Франціи, Италіи, Англии, Германіи, но не даетъ характеристики средневѣковой литературы, такъ какъ подобная характеристика, согласно его плану, сдѣлана въ теоретической части диссертации. Историческій обзоръ Надеждина не могъ бытъ малоинтереснымъ для современниковъ и еще менѣе могъ уступать въ обстоятельности изложенія «Исторіи древней и новой литературы» Фр. Шлегеля, особенно въ отдѣлѣ средневѣковой поэзій. Вопреки утвержденіямъ г. Замотина, самъ Шлегель говоритъ, что его лекціи *общаго* характера и ничуть не претендуютъ на *обстоятельность*: «Eine eigentliche Litteraturgeschichte, mit einer Fülle von wiederholten Citaten, oder biographischen Nachrichten, wird man hier nicht erwarten. Meine Absicht war, und konnte keine andere seyn, als den Geist der Litteratur in jedem Zeitalter, das Ganze derselben, und den Gang ihrer Entwicklung bei den wichtigsten Nationen vor Augen zu stellen. Für ausführliche kritische Nachforschungen über einzelne Gegenstände, wie ich sie in *andern* Schriften häufig versucht habe, war hier zunächst der Ort nicht, wo es nur auf die Darstellung des Ganzen ankam» <sup>1)</sup>.

Стоитъ пересмотрѣть тѣ главы, въ которыхъ нарисована картина развитія поэзій и просвѣщенія въ средніе вѣка, чтобы согласиться съ авторомъ.

---

<sup>1)</sup> *Fr. Schlegel. Sammtliche Werke. Wien, 1822. Erster Band, SS. XVI—XVII.*  
*lib.pushkinskijdom.ru*

Излагая исторію происхожденія средневѣковой литературы, Надеждинъ высказывалъ мимоходомъ свои теоретическія воззрѣнія: онъ хвалилъ античныхъ писателей, отнесся съ одобреніемъ къ націонализму, самобытности, порицалъ подражательность и признавалъ необходимость «неспремѣнныхъ законоположеній чистаго вкуса» (*gustus puri solida constitutio*)<sup>1)</sup>. Эти мысли онъ неуклонно проводилъ во второй части своей диссертациі, гдѣ, прежде всего, поставленъ вопросъ о различіи между классицизмомъ и романтизмомъ.

Въ литературныхъ произведеніяхъ, относящихся къ средневѣковой эпохѣ,—пишетъ Надеждинъ,—при всемъ ихъ разнообразіи, «видно присутствіе одного и того же духа, который напечатлѣлъ на нихъ одну и ту же физиономію». «Но какой этотъ духъ?» «Какое внутреннее характерное свойство обновленной поэзіи? Съ перваго внимательнаго взгляда становится очевиднымъ, что духъ возрожденнаго поэтическаго міра рѣшительно не тотъ, коимъ нѣкогда одушевленъ былъ древній умершій міръ». Вслѣдствіе этого, «нѣкоторымъ знатокамъ наукъ словесныхъ угодно было всю поэзію обновленнаго міра назвать произвольнымъ и неопредѣленнымъ именемъ поэзіи романтической», ибо она «особенно процвѣтала на нарѣчіяхъ, такъ называемыхъ, романскихъ, между тѣмъ какъ за поэзіей древняго міра осталось названіе поэзіи классической—названіе также не собственное и двусмысленное, потому что само въ себѣ значитъ ни болѣе, ни менѣе, какъ приписъ къ первому классу какого-нибудь разряда».

Вопросъ о различіи между классицизмомъ и романтизмомъ уже «намѣченъ и сталъ предметомъ разысканій» специалистовъ. Среди «невѣжественной толпы болтуновъ и шарлатановъ» выдѣляются «многіе ученые мужи», которые, «если не рѣшили дѣла», то, по крайней мѣрѣ, «озарили его привѣтнымъ свѣтомъ съ различныхъ сторонъ». «Представимъ же ихъ мнѣнія предъ судилище разума и станемъ поучаться предосторожности изъ ошибокъ другихъ».

Въ трактатѣ Шиллера, посвященномъ анализу наивной и сентиментальной<sup>2)</sup> поэзіи, высказанъ «взглядъ ума свѣтлаго и чистаго, глубоко чувствующаго злоупотребленія общественнаго образованія, коими изобилуютъ новѣйшія времена, и негодующаго на

• 1) *N. Nadeždin. De Poesi Romantica*, pp. 23, 38, 40, 46, 52, 55, 61—62.

2) Т. е. чувствительной Надеждинъ неудачно перевелъ слово: «sentimentalisch».



нихъ». Подобный взглядъ достоинъ похвалы, «но, несмотря на то, не долженъ быть принимаемъ и единодушно одобряемъ». «Мнѣніе, будто наивная простота есть исключительная принадлежность древняго міра, рѣшительно несомѣстима съ раздорами и противорѣчіями міра возрожденнаго,—это мнѣніе ложно. Безспорно, древнее человѣчество, выразившееся въ грекахъ и римлянахъ, кажется болѣе равно самому себѣ и менѣе разстроено насильственнымъ произволомъ буйнаго духа, а посему и озарено какою-то благородною простотою; но мы жестоко ошибемся, если станемъ измѣрять древнѣйшія времена нашею мѣрою и заключать къ нимъ отъ нашего духа и нашихъ нравовъ. Древніе поэты кажутся намъ простодушными и въ высочайшей степени искренними» постольку, поскольку они «почитали приличнымъ представлять природу болѣе обнаженною», чѣмъ «позволили бы условія нашего времени». «Но и самая эта нагота была не болѣе, какъ истинное и вѣрное выраженіе дѣйствительности. А можемъ ли отказать въ этомъ поэзіи возрожденнаго міра? Нѣтъ—этого не допустилъ и самъ великій Шиллеръ. Представленіе Навзикаи, которая, идя мыть платье на рѣку, нашла на Улисса, потерпѣвшаго кораблекрушеніе, сидящаго на берегу, нагого, прикрытаго одними прутьями, и умоляющему дала одежду и привела въ палаты своего отца,—это представленіе болѣе ли наивно и искренно, нежели изображеніе Эрминіи, которая, надѣвъ тяжелые доспѣхи Клоринды на свое нѣжное тѣло, подъ кровомъ благодатной ночи, бѣжитъ изъ стѣнъ Іерусалима и робко вступаетъ во вражескій станъ, неся цѣлительныя лекарства къ ранамъ возлюбленнаго Танкреда? Болѣе ли простоты въ Ахиллѣ, уподобляющемъ пастыря царей нечистой собакѣ и робкому оленю, нежели въ добромъ Сидѣ, который, въ присутствіи своего короля, въ собраніи вельможъ, откровенно говоритъ графу Гарцію, что онъ нѣкогда вырвалъ у него бороду и полной горстью раздавалъ мальчишкамъ растеребивать ее? У новѣйшихъ свобода изображать природу нагую иногда доходитъ до того, что нарушаетъ заповѣди стыда и приличія болѣе, нежели у пѣвцовъ древнѣйшаго міра. Жаръ любви Лесбосской дѣвы выраженъ умѣреннѣе, нежели жаръ, дышаній въ любовныхъ кантиленахъ почтенной жены графа Поату. Мученіе Филоктета Софоклова представлено ли въ грубѣйшей и суровѣйшей наготѣ, нежели муки Шекспирова Отелло?»

«Съ другой стороны, и сентиментальности нельзя приписать исключительно поэзіи новѣйшей. Безспорно, возрожденный по-

*lib.pushkinskijdom.ru*

этический гений любить, такъ сказать, высасывать полноту жизни внутреннимъ чувствомъ болѣе, нежели обнимать быстрымъ вооб-  
 раженіемъ, подобно древнимъ. Но отсюда отнюдь не слѣдуетъ,  
 что съ нимъ соединена сентиментальность *неразрывно*. Въ сказ-  
 кахъ и романахъ галловъ оильскихъ есть много «поэтическихъ  
 картинъ, гдѣ природа представляется въ собственномъ ея видѣ,  
 не подкрашенная никакимъ цвѣтомъ сентиментальности». «Эта  
 жалкая доля—сознавать уклоненіе человѣческаго духа отъ наив-  
 ной простоты и естественной наивности и вздыхать о блажен-  
 номъ соединеніи съ дѣвственною природою, какъ о высочайшемъ  
 благѣ—есть доля не одного новаго міра. Древній міръ имѣлъ свой  
 періодъ порчи и нравственной, и эстетической. Еще Эврипидъ бо-  
 гатъ исправительными (sic) сентенціями, вопіющими противъ без-  
 порядковъ нравственнаго міра; еще Виргилій пламенно желалъ  
 возвращенія Сатурнова царства. Да и самъ Шиллеръ признаетъ  
 творцомъ сентиментальной поэзіи Горация».

Гораздо поверхностнѣе сужденія Фр. Бутервека, полагавашаго,  
 что поэзія классическая «болѣе пристрастна къ художественному  
 единству» и «представляетъ болѣе правильности», между тѣмъ  
 какъ въ поэзіи романтической «преобладаетъ разнообразіе и про-  
 изволь смѣлаго воображенія отвергаетъ всякую художественную  
 правильность». Не нужно глубокаго изслѣдованія, чтобы указать  
 ложность такого мнѣнія. «Конечно, поэтический гений романтиче-  
 ского міра болѣе давалъ себѣ свободы и осуществлялъ типъ бо-  
 лѣ запутанный. Но это отнюдь не можетъ быть доказательствомъ  
 того, что онъ не покорялся правиламъ эстетическаго искусства». Искусство—«соревнованіе природѣ или лучше сама природа, вос-  
 производящая себя рукою любимѣйшаго своего созданія» и ни-  
 когда не «нарушающая своихъ законовъ». Если же «Ариаднина  
 нить», которая «ведетъ къ лабиринту ея изящнѣйшихъ произве-  
 деній, скрывается отъ нашего вниманія, то это надобно вмѣнить  
 въ вину не ей, а намъ самимъ». Притомъ, неосновательно было бы  
 утверждать, что «внѣшній видъ неправильности» болѣе «свой-  
 ственъ» твореніямъ романтическимъ, чѣмъ классическимъ. Болѣе ли  
 единства и порядка представляетъ Гомерово «Иліада», нежели  
 «Освобожденный Иерусалимъ» Тасса или «Потерянный рай» Миль-  
 тона? Ужели полетъ необузданной фантазіи Пиндаровой менѣе  
 запутанъ и переплетенъ, нежели пареніе благочестиваго энту-  
 зиазма Понціева или кипѣніе сладострастнаго чувства Петрарки?»  
 Чуждая неистоваго «своевольства», поэзія романтическая была

«дружна съ мудрымъ порядкомъ» и «умѣла подчинять себя суду здраваго вкуса».

Глубже Бутервека «проникнулъ въ различіе между двумя сферами поэтическаго міра» Фр. Ансильонъ, который усмотрѣлъ въ древнемъ художественномъ творествѣ большую «наклонность къ формѣ», въ новомъ — «преобладаніе идеи», и отсюда заключилъ, что античные писатели заботились преимущественно о «благолѣпіи» и преуспѣвали въ эпосѣ и драмѣ, а позднѣйшіе, поклонники высокаго, — въ поэзіи лирической, элегической и дидактической.

Воззрѣніе Ансильона «не устоитъ противъ строгаго разбора». Далеко не во всѣхъ «классическихъ» произведеніяхъ «художественныя формы такъ выразительно явны и живо обрисованы, что идея, ихъ одушевляющая, какъ бы поглощается ими»; напротивъ, во многихъ памятникахъ «безтѣлесный свѣтъ идеи весьма ясно проглядываетъ сквозь внѣшній покровъ», причемъ идея «иногда даже расторгаетъ» послѣдній и «является совершенно обнаженною». «Виргиліевъ эпосъ, при всей пышности его поэтическихъ цвѣтовъ, едва не переходитъ въ чистую аллегорію, а хоръ древняго театра чѣмъ былъ, если не вопіющимъ гласомъ, воспрещавшимъ вниманію блуждать въ толпѣ призраковъ и вѣчно заставлявшимъ смотрѣть далѣе»? Съ другой стороны, никакъ нельзя сказать, что «геній романтическаго міра» въ своихъ твореніяхъ сосредоточилъ вниманіе на идеѣ «ко вреду внѣшнихъ формъ». Нѣтъ такого прозорливца, который умѣлъ бы найти внутреннее единство въ «Неистовомъ Роландѣ» Аріоста и составить о немъ ясное понятіе? Точно также не всегда возможно найти основную идею среди вымысловъ, наполняющихъ драматическія сочиненія Лопе де Веги. Наконецъ, невѣрны разсужденія Ансильона о классическомъ эпосѣ и драмѣ и романтической лирикѣ и дидактикѣ. Вега, Кальдеронъ и Шекспиръ могутъ соперничать съ Эсхиломъ, Софокломъ и Эврипидомъ, и въ области дидактики «нѣтъ ничего такого, что бы поспорило о пальмѣ первенства» съ «Трудами и Днями» Гезіода, «Георгиками» Виргилія и поэмою Лукреція «О естествѣ вещей».

Не избѣгъ противорѣчій и Адольфъ Пикте, задумавшій «ограничить» мнѣніе Ансильона о поэзіи классической и объяснявшій отличіе античнаго творчества отъ романтическаго «различнымъ соотношеніемъ двухъ элементовъ творенія»: идеи и формы. Идея якобы преобладаетъ надъ формой въ новыхъ про-

*lib.pushkinskijdom.ru*

изведеніяхъ и равносильна съ ней въ древнихъ. Преобладаніе формы надъ идеей, съ точки зрѣнія Пикте, есть случай «возможный только въ представленіи умственномъ, а не на самомъ дѣлѣ», ибо здѣсь «уничтожается эстетическая прелесть» и возникаетъ «рѣшительное безобразіе». Правильность толкованій ловкаго француза только кажущаяся, и его хитрую увертку не очень трудно вывести на свѣжую воду. «Конечно, чрезмѣрное преобладаніе внѣшней формы совершенно чуждо эстетическаго достоинства, но ужели другая противоположная крайность менѣе опасна»? «Сцилла безуспѣшной пустоты идей» не менѣе опасна, чѣмъ «Харибда чрезмѣрнаго взгроможденія формъ», ибо «всякая красота есть ощущаемая гармонія», а послѣдняя «не можетъ быть представляема безъ симметрической соразмѣрности цѣльныхъ членовъ». Безспорно, «три пути сама природа назначаетъ творческому духу. но ни одного изъ нихъ онъ не оставилъ неприкосновеннымъ въ оба періода своей жизни». Въ гномической и философской поэзій древнихъ писателей «идеальная стихія преобладаетъ точно такъ же, какъ матеріальная — въ сказкахъ и романахъ трубадуровъ». И несправедливо было бы не признать въ пьесахъ Кальдерона и канцонахъ Петрарки того «гармоническаго соответствія обѣихъ стихій», которому «мы удивляемся въ трагедіяхъ Софокла или стихотвореніяхъ Горация».

Мнѣніе Пикте, только съ другой точки зрѣнія, развилъ А. В. Шлегель. Онъ полагалъ, что «въ произведеніяхъ древней поэзій остается первобытное единство между формою и идеей, еще не освѣщенное лучомъ сознанія», а въ новой поэзій замѣтно стремленіе вернуть первоначальное единство и устранить ту противоположность, которую уже созналъ духъ. Воззрѣніе Шлегеля есть не что иное, какъ взглядъ Шиллеровскій, «лишенный прагматической очевидности и доведенный до философской утонченности», отъ которой, однако, нисколько «не выигрываетъ самое дѣло». «Первобытное тожество двухъ элементовъ жизни, недоступное для нашего мышленія, есть удѣлъ дѣтства человѣческаго духа, но древній міръ грековъ и римлянъ представляетъ возрастъ чело-вѣчества уже мужающей». Стоитъ только «прислушаться къ ученію древней философіи», — и «призракъ всякаго сомнѣнія» относительно этого исчезнетъ. «Гдѣ сильнѣе чувствовали, изслѣдовали и старались согласить различіе между двумя полюсами міра, какъ въ этихъ безчисленныхъ философскихъ школахъ грековъ, гдѣ важная задача согласенія противоположностей міра всесторонне

была разсматриваема и пересматриваема такимъ множествомъ великихъ мыслителей? Почему же поэзии ихъ откажемъ въ сознаниі этого различія, особенно когда многіе изъ поэтовъ были напитаны философскимъ духомъ?» Не произвела ли на самого Шлегеля неприятное впечатлѣніе «излишняя ученость» Эврипида, «перенесшаго на сцену и нерѣдко съ хвастливостью выставившаго важныя мнѣнія Анаксагора, къ школѣ коего онъ принадлежалъ? И кому можетъ быть приписано это дѣтское невѣдѣніе менѣе Клазоменійскаго философа?» Сверхъ того, изъ самыхъ поэтическихъ памятниковъ грековъ видно, что у нихъ «силѣ творческой небезызвѣстно было различіе между двумя сферами міра». «Еще самъ Гомеръ различаетъ Божеское отъ человѣческаго, хотя у него не слишкомъ рѣзко обозначены предѣлы того и другого міра и часто нарушаются и смѣшиваются». И если примѣры такого смѣшенія болѣе часты въ классической, чѣмъ въ романтической поэзіи, то это слѣдуетъ приписать тому, что первая «была весьма близка ко временамъ первобытнаго дѣтства и не могла вдругъ очиститься отъ ихъ пятенъ».

Несмотря на недостатки, сужденія Шлегеля гораздо серьезнѣе взгляда Виктора Гюго, который, выдумывая для своихъ стихотвореній особенную поэтику, приступилъ къ рѣшенію мудренаго вопроса съ изумительнымъ легкомысліемъ. «Пресловутый» французскій поэтъ задумалъ «разсѣчь Гордіевъ узелъ однимъ ударомъ». Древняя муза,—писалъ онъ,—односторонне смотрѣла на міръ и, «безъ милосердія, отвергала все, въ чемъ она не находила никакого согласія съ извѣстнымъ типомъ красоты». Муза новыхъ временъ стала глядѣть на вещи иначе, ибо «почувствовала», что на свѣтѣ не все прекрасно. Поэтому, подражая природѣ, художникъ долженъ смѣшать въ своихъ твореніяхъ безобразное съ прелестнымъ, смѣшное съ высокимъ. Смѣшное—типъ поэзіи возрожденнаго міра, комедія—ея оригинальная форма. Такой «чудовищный парадоксъ»—«совершенно достоинъ пѣвца, съ горячимъ энтузіазмомъ воспѣвшаго на звонкой лирѣ летучую мышъ и ночное удушье (cauchemar)»—вѣроятно, съ цѣлью прослыть романтикомъ. «На какомъ основаніи онъ утверждаетъ, что типъ смѣшного не былъ извѣстенъ классической поэзіи», что античнымъ художникамъ было незнакомо искусство соединять свѣтъ съ тѣнью? «Это искусство понималъ очень хорошо тотъ гений, который Афродитѣ, идеалу прелестнаго, далъ въ мужья хромого, и безобразнаго Ифеста». Но «мудрая древность» «никогда

не употребляла смѣшного и чудовищнаго, какъ типъ эстетическаго совершенства», но пользовалась тѣмъ и другимъ, какъ средствомъ, чтобы лучше «отразить красоту, составляющую единственный первообразъ поэзіи». «Гюго приписываетъ романтической поэзіи противное этому безъ всякаго основанія. Ужели самое блистательнѣйшее украшеніе «Освобожденнаго Іерусалима» состоитъ въ томъ, что тамъ представляется страшный царь преисподней съ косматою, всклокоченною бородою, изъ смраднаго рта своего, какъ изъ ужасной бездны, изрыгающій сѣрный дымъ? Отвратительнымъ ли вѣдьмамъ и ихъ ужаснымъ оргіямъ одолженъ своимъ эстетическимъ достоинствомъ «Макбетъ» Шекспира?» Гюго «не устыдился это подтвердить торжественно», «превознесъ до небесъ» «отчаянные припадки больного воображенія» и указалъ на нихъ, какъ на «примѣръ для подражанія».

Суровый анализъ, которому подвергъ Надеждинъ сужденія западно-европейскихъ поэтовъ и критиковъ, свидѣтельствуешь, насколько онъ былъ неудовлетворенъ сдѣланными опредѣленіями романтизма. Онъ старательно выискивалъ слабыя мѣста этихъ опредѣленій и, какъ искусный діалектикъ, именно на нихъ направилъ свои удары. Шиллеръ, Бутервекъ и другіе оцѣнщики романтизма старались, по мѣрѣ силъ, подмѣтить существенные признаки послѣдняго и провести грань между нимъ и классицизмомъ. Уничтоженіе грани было цѣлью, къ которой стремился Надеждинъ. Онъ доказывалъ, что почти всѣ характерныя черты, признанныя исключительно романтическими, можно найти въ произведеніяхъ классическихъ и, наоборотъ, черты классическія—въ твореніяхъ романтическихъ. «Наивную простоту» легко усмотрѣть у Тасса, а «сентиментальность» <sup>1)</sup> у Горация; въ эпосѣ Виргилія, въ греческой трагедіи, въ гномической и философской поэзіи древнихъ видно преобладаніе идеи, тогда какъ трудно уловить основную мысль въ драмахъ Лопе де Веги. Въ сказкахъ и романахъ новѣйшихъ трубадуровъ господствуетъ даже «матеріальная стихія», которая находится въ «гармоническомъ соотвѣтствіи» съ идеальной у Петрарки и у Софокла, а творчество Эврипида служитъ нагляднымъ доказательствомъ того, что «первобытное единство между формой и идеей, еще не освѣщенное лучомъ сознанія», не было удѣломъ грековъ. Наконецъ, и античная, и новая поэзія

---

<sup>1)</sup> Вѣрнѣе: чувствительность —Ср. *Кюно-Фингеръ*. Лекціи о Шиллерѣ. М., 1890, стр. 156.

*одинаково* подчинены «правиламъ эстетическаго искусства» <sup>1)</sup>), хотя въ послѣдней это свойство легко можетъ ускользнуть отъ нашего вниманія.

Разобравъ и оцѣнивъ возрѣнія «знаменитѣйшихъ людей», Надеждинъ долженъ былъ высказать свое собственное мнѣніе о романтизмѣ. Онъ отлично сознавалъ, что критика какъ ни трудна, но легче творческой работы, что указывать ошибки другихъ проще, чѣмъ избѣгнуть ихъ самому,—и онъ приступилъ къ разрѣшенію задачи, принявъ всѣ мѣры предосторожности. Насколько удалось Надеждину выяснить вопросъ, остаться оригинальнымъ и уклониться отъ промаховъ предшественниковъ, можетъ выяснитъ только детальное изложеніе взглядовъ нашего ученаго.

«Различіе между классическою и романтическою поэзіею объясняется изъ ихъ происхожденія»—вотъ положеніе, которое выставляетъ Надеждинъ. Но прежде, чѣмъ приступить къ развитію своей главной мысли, онъ пускается въ общія философскія разсужденія, во многомъ напоминающія теорію Штутцмана.

«Духъ человѣческій есть гражданинъ двухъ противоположныхъ міровъ». Эта двойственность становится ясной человѣку по мѣрѣ развитія его самосознанія: «себя, какъ представителя міра невидимаго, безтѣлеснаго, внутренняго, противопоставляетъ онъ природѣ, какъ совокупной дѣлости видимаго, тѣлеснаго, внѣшняго міра, и отъ нея отличаетъ». Въ первую эпоху своей жизни духъ человѣческій «едва только предощущаетъ двойственность существа своего». Отсюда «младенческое невѣдѣніе всякаго различія, ограниченія и противоположенія», которое изумляетъ насъ въ памятникахъ первобытной *индійской* поэзіи, гдѣ «все представляется въ одномъ чистомъ, нераздробленномъ свѣтѣ первоначальнаго тождества». Тогда «не существовало различія между видимымъ и невидимымъ, матеріею и духомъ, природою и разумніемъ»; не было границы «между временемъ и вѣчностью, пространствомъ и безпредѣльностью»: «небо сливалось съ землею, Божество съ человѣчествомъ». Но чѣмъ болѣе мужааетъ духъ человѣческій «въ школѣ опыта», «тѣмъ ошутительнѣе становится для него собственная двойственность». Куда бы ни направилъ онъ свою дѣятельность, всюду натыкался онъ на природу, и, «по естественному противо-

---

<sup>1)</sup> Сл. *F. Ancillon*. *Mélanges de littérature et de philosophie*. Paris, 1809. Tome I, p. 216: «Les deux littératures sont soumises aux mêmes règles du goût».

дѣйствію», долженъ былъ углубляться въ самого себя. И возникли два различныя стремленія: «стремленіе внѣ себя, расширительное, *средобъжное*, и стремленіе внутрь себя, самовозвратное, *средостремительное*». Въ первомъ случаѣ «предметомъ изслѣдованія» являлась внѣшняя *природа*; во второмъ—самъ духъ человѣческой. «Средобъжное расширеніе духа» отразилось въ поэзіи классической; «средостремительное самовозвращеніе»—въ романтической. Но основная задача творческой силы, испытавшей на себѣ вліяніе двойственныхъ дѣйствій духа человѣческаго, состоитъ въ приведеніи ихъ къ «дружественному единству», въ уничтоженіи различія двухъ міровъ и въ возстановленіи между ними «таинственной гармоніи» <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Чернышевскій въ своихъ «Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы» (Спб., 1893, стр. 198) замѣтилъ, что приведенныя разсужденія не могутъ имѣть никакого отношенія къ «Philosophie der Geschichte der Menschheit». «Книги Штутцмана Надеждинъ и не видывалъ, потому что не считалъ его заслуживающимъ вниманія, въ чемъ и не ошибался». Мнѣніе Чернышевскаго основано на словахъ самого Надеждина, утверждавшаго, что о Штутцманѣ онъ «ничего не знаетъ, кромѣ имени, весьма не славнаго въ лѣтописяхъ германской учености» (*Молва*, 1833, № 115, стр. 459). Несмотря на такое заявленіе, нельзя отрицать хотя бы случайнаго сходства между воззрѣніями Надеждина и теоріей нѣмецкаго философа. Въ доказательство можно привести отрывокъ изъ статьи, помѣщенной въ *Московскомъ Телеграфѣ* (1830, № 3, стр. 345—355), гдѣ находится краткій пересказъ содержанія вышеупомянутой книги Штутцмана. «Первый вѣкъ челоѣчества представляетъ простое созерцаніе; второй—силу чувственности, стремленіе внѣ себя (средобъжное); третій—силу разумѣнія, стремленіе внутрь себя (средостремительное); наконецъ, четвертый вѣкъ челоѣчества соотвѣтствуетъ старости, періоду мудрости. Въ первомъ вѣкѣ бытія челоѣкъ не различаетъ вещественнаго отъ духовнаго; во второмъ вѣкѣ (классическомъ) примѣтно предпочтительное направленіе къ вещественному; третій вѣкъ (романтическій) представляетъ противоположное стремленіе къ духовному; наконецъ, четвертый и послѣдній вѣкъ челоѣчества есть соединеніе двухъ послѣднихъ» (§ 39), ибо, «при высшемъ образованіи и совершенствованіи, челоѣкъ сведеть въ единство двѣ противоположныя силы своего духа» (§ 42).—Ср. *J. Stutzman. Philosophie der Geschichte der Menschheit. Nurnberg, 1808, SS. 50—55; 62—64*: «Wie in den himmlischen Sphären zugleich und auf einmal eine *centrifugale*, eine *centripetale* und eine diese beiden *vereinigende* Richtung und Kraft ist; so giebt es auch unter den Volkern welche, die im Ganzen die centrifugale, so wie es andere giebt. welche die centripetale Richtung in sich tragen und befolgen. Wie die Sonne in der centrifugalen Richtung die Planeten um sich her pflanzt, und diese nun in sich selbst zu ruhen und von dem Centrum sich loszureissen streben; eben so war die *alte Welt*, deren Culminationspunkt Griechenland war, durchaus von der *centrifugalen* Richtung durchdrungen, von dem Princip, der



Взглядъ на взаимное отношеніе между «главными вѣтвями поэтической дѣятельности» уясняется вполнѣ лишь при сравненіи «духа и характера» среднихъ вѣковъ, нашедшихъ выраженіе въ романтическомъ творчествѣ, съ «духомъ и характеромъ» античнаго міра, ярко обнаружившимися въ творчествѣ классическомъ. Тогда всякій «убѣдится не только въ дѣйствительности, но и въ необходимости» «полярной» противоположности двухъ литературныхъ направленій <sup>1)</sup>.

Слѣдуя примѣру западно-европейскихъ ученыхъ, Надеждинъ «обращаетъ вниманіе на а) состояніе естественное, б) состояніе гражданское и с) состояніе религіозное средняго міра сравнительно съ древнимъ» <sup>2)</sup>.

---

Anschauung und Erkenntniss des Einen unendlichen Wesens sich loszureissen, die Gottheit in die Welt der Endlichkeit und Vielheit herabzuziehen, das Eine in einer Mehrheit von Göttern sich objectiv zu bilden, das Unendliche zu verendlichen, das Eine für die Phantasie zu objectiviren, in dem Staaten-Organismus das reale und ideale Leben öffentlich zu machen, die Wissenschaft und die Kunst dem Staate einzuverleiben, folglich das Ideale und Unendliche real und endlich zu machen und darzustellen, und selbst in Allem nicht nach Innen und nach dem Unendlichen oder dem Centrum hin, sondern nach Aussen, nach dem Realen und Endlichen hin, zu streben und zu wirken... Diese umgekehrte Richtung der *neuern Welt* ist nämlich eine *centripetale*: denn der Christianismus dieses Grundelement der gesammten neuropäischen Bildung, weist von dem Endlichen und Aeussern zu dem Unendlichen und Idealen hin; er reisst die Gemüther von der Liebe der Welt hin zu der Liebe Gottes, und nur durch diese zu der Liebe gegen die Menschen; er stehet also mit dem Heidenthum im direktesten Gegensatze, und setzet an die Stelle der Mythologie den Monotheismus, an die des öffentlichen Lebens das ideale oder stille Leben, an die des Heroismus die Tugend der Demuth und der Gottesliebe, und an die Stelle des hohen Styls und der Natürlichkeit der alten Kunst die Manier und Sentimentalität der neuern. Die *älteste Welt* des Orients, aber gleicht jener Stufe in den Himmelsphären, wo *die genannten entgegengesetzten Richtungen derselben im Einzelnen noch nicht ausgebildet sind*; sondern wohl nur hie und da eine Andeutung dieser Trennung vorkommt. Die *vierte Periode wird beide Richtungen in sich vereinigen, aber nicht auf die Weise der Orientalier, sondern vielmehr so dass die Gegensätze bey der vollkommensten Ausbildung dennoch in Einheit neben einander bestehen*». (Сл. также Н. Полевой. Очерки русской литературы. Спб., 1839, ч. II, стр. 294).

<sup>1)</sup> «Подъ именемъ романтической поэзіи разумѣется здѣсь вездѣ, не болѣе и не менѣе, поэзія среднихъ вѣковъ, начавшаяся, при возрожденіи Европы, прованскими трубадурами, кончившаяся съ паденіемъ рыцарства, составлявшаго душу Средняго міра, и съ началомъ новаго порядка вещей, принадлежащаго собственно послѣднимъ двумъ столѣтіямъ» (*Атенеи*, 1830, № 1, стр. 7).

<sup>2)</sup> Ср. *F. Ancillon. Mélanges de littérature et de philosophie*. Paris, 1809,

Греки и римляне «пришли первые во вселенную», которая была еще «цѣла, неприкосновенна, дѣвственна». Стихія природы еще «не вступали ни въ содружество, ни въ борьбу ни съ какимъ чуждымъ могуществомъ»; земля не была воздѣлана, на волнахъ океана «не рисовался ни одинъ строптивый парусъ». Человѣкъ «видѣлъ въ природѣ одну природу, безпредѣльную дочь безпредѣльной жизни,—и ничего не видалъ болѣе». «Его собственное бытіе поглощалось въ этой неизмѣримой безднѣ, какъ малая капля, и ускользало отъ собственныхъ глазъ его. Онъ мыслилъ только о природѣ, любилъ только природу. Она была для него святилищемъ истины, сокровищницею блаженства, источникомъ вдохновенія».

Въ иныхъ условіяхъ находились люди «при возрожденіи средняго міра». Пришельцы изъ чуждыхъ странъ основали свои жилища на гробахъ погибшихъ народовъ, предсмертной агоніи которыхъ они были безжалостными свидѣтелями. Куда ни обращали они взоры, вездѣ замѣчали слѣды рукъ человѣческихъ, «напечатлѣнныхъ на осиленной уже природѣ». «Поля были ископаны острымъ плугомъ»; «нога смѣлаго путника прочертила тропы на неприступнѣйшихъ хребтахъ высокихъ горъ, и дерзкое весло мореходца избородило непроходимый океанъ до безвѣстнѣйшихъ предѣловъ». «Древняя фантазія, покушаясь поднимать таинственное покрывало, коимъ повито лицо природы, обрѣтала тамъ грозныхъ *Титановъ*, сверстниковъ ветхаго Крона, первородныхъ чадъ Земли и Неба»; «фантазіи среднихъ вѣковъ, по вскрытіи таинственной завѣсы, всюду видѣлись тѣни минувшаго однокровнаго *человѣчества*». «И куда, какъ не *внутрь* себя, должна была обращаться она», чтобы уловить эти призраки и облечь ихъ въ доступные для чувствъ образы?

Предрасположеніе «обращаться внутрь себя» обуславливалось общественнымъ строемъ и политической организаціей средне-вѣковья.

«Граждане міра древняго, какъ первенцы , благодатной природы, были привязаны кровными, тѣснѣйшими узами къ своей родной обители. Мать-земля была ихъ общею питательницею,

---

Tome I, p. 191: «Quand on veut expliquer la différence de la poésie ancienne et de la poésie moderne, c'est sur la différence de la religion, de l'organisation sociale et de la condition des femmes à ces deux époques, qu'il faut surtout insister».

общимъ жилищемъ и общимъ достояніемъ... Отсюда любовь къ *отечеству*, составлявшая для древнихъ грековъ и римлянъ единственное начало, основаніе и укрѣпленіе гражданской жизни. При всемъ уваженіи, неоспоримо принадлежащемъ сему благородному чувству», нельзя не сознаться, что оно было «чисто матеріальное побужденіе и не возвышалось никогда за предѣлы вещественной природы. Древній грекъ и древній римлянинъ любили отчизну свою какою-то слѣпою, инстинктуальною, дикою любовью точно такъ, какъ звѣрь любитъ свою пещеру, какъ птица — свое гнѣздо, какъ младенецъ — материнское лоно». «Идея *человѣчества* поглощалась для него въ идеѣ *отечества*», и всякій чужестранецъ носилъ прозвище варвара.

Совѣтъ иное было «гражданское устройство» средневѣковья. Когда «толпы сѣверныхъ пришельцевъ» устремились въ предѣлы Римской имперіи, онѣ «должны были встрѣтиться съ туземными старожилами и расположиться въ домахъ ихъ неожиданными и незванными гостями». «Насильно вынужденное гостепріимство не могло быть для нихъ безопасно и покойно: они должны были всегда стоять насторожѣ противъ самихъ своихъ хозяевъ и противъ новыхъ пришельцевъ, разманенныхъ ихъ примѣромъ къ подобнымъ вторженіямъ». Это способствовало развитію воинственности, и «все гражданское ихъ устройство было не что иное, какъ военное становище». «Образовалась такъ называемая феодальная система правленія», являющаяся отличительнымъ свойствомъ *романтическаго міра*. «Для гражданъ этого міра не было собственно *отечества*, ибо не было уголка, который бы они могли назвать *своимъ* въ собственномъ смыслѣ. Человѣкъ былъ связанъ не къ землѣ, а къ человѣку. На немъ лежала обязанность защищать не пенатовъ и ларовъ отеческаго крова, но властелина», котораго онъ чтилъ и любилъ, какъ благодѣтеля, ибо «все, чѣмъ только владѣлъ онъ, не иначе принадлежало ему, какъ подъ именемъ благодѣянія (*beneficium*)». «Такой порядокъ вещей не могъ не имѣть существеннаго вліянія на направленіе духа человѣческаго. Сердце, сіе таинственное святилище внутренней жизни, было растрогано, пробуждено и развито», и человѣкъ позналъ «чисто духовныя ощущенія». «Вся іерархическая лѣствица феодальнаго правленія опиралась на взаимной *довѣренности* между властелиномъ и вассалами. Огражденіемъ и порукою всеобщей безопасности было внутреннее чувство *чести*... Здѣсь-то находится основаніе «различія между *героизмомъ* древняго міра

и рыцарскимъ духомъ», которому міръ средній «обязанъ своею нравственною фізіономією». Древніе герои «изумляютъ однимъ величіемъ физической ихъ природы». Паладины средневѣковья— «торжественные провозвѣстники *человѣчества*». «Чувство чести, вѣрный стражъ и ревнитель внутренняго достоинства человѣческаго, укрощало въ нихъ ярость», «растворяло храбрость великодушіемъ, суровость снисходительностью, удалство нѣжностью, величіе кроткою благосклонностью». «Ихъ закованная въ желѣзо твердость, не доступная ни для какого страха, преклонялась предъ румянцемъ цѣломудренной стыдливости, и одна слеза могла погасить пожаръ, котораго не затушили бы потоки крови. Бессиліе было свято и неприкосновенно для могущества» <sup>1)</sup>).

И не только общественная жизнь гражданъ «участвовала въ славномъ торжествѣ *человѣчества* надъ слѣпою мощью *природы*». Измѣнилось также отношеніе къ женщинѣ: «грубое побужденіе» превратилось въ высокое «духовное чувство». Греки и римляне не знали чистой *любви*, которая «составляла душу романтическаго міра». «Отношеніе между обоими полами основывалось у нихъ на одномъ физическомъ влеченіи, возвышавшемся нѣсколько надъ сферою чистой животности только чрезъ взаимное участіе въ

---

<sup>1)</sup> Приведенное мѣсто изъ диссертациі Надеждина можно сопоставить съ тѣмъ отдѣломъ «Курса эстетики» Гегеля, гдѣ нѣмецкій мыслитель, характеризуя романтическую форму искусства, говоритъ о рыцарствѣ и о трехъ чувствахъ, или неотъемлемыхъ свойствахъ человѣческой личности въ эпоху христіанства: чести, любви и вѣрности. Но подобное сопоставленіе еще не даетъ права изслѣдователю признать вліяніе труда Гегеля на книгу Надеждина, хотя это, видимо, кажется очень заманчивымъ нынѣшнимъ специалистамъ по русскому романтизму. «Vorlesungen uber die Aesthetik» появился въ свѣтъ въ 1835—1838 гг., тогда какъ диссертациія «De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit» издана въ 1830 г., и нѣтъ никакихъ основаній утверждать, что Надеждинъ имѣлъ подъ руками рукописный экземпляръ изслѣдованія Гегеля, къ которому нашъ ученый «приблизился силою самостоятельнаго мышленія», но котораго «не изучалъ» (*Н. Г. Чернышевскій. Очерки гоголевскаго періода русской литературы. Спб., 1893, стр. 197, 222*). И если нужно непременно говорить о неоригинальности взглядовъ Надеждина, то придется скорѣе указать заимствованія, сдѣланныя изъ «Чтеній о драматическомъ искусствѣ» А. В. Шлегеля. Въ виду этого, мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ И. И. Замотина, что Надеждинъ «сгруппировалъ» въ своей книгѣ «на тему о романтизмѣ почти все» наиболѣе яркія мысли западно-европейской философіи и критики», въ томъ числѣ и мысли *Гегеля* (Романтизмъ двадцатыхъ годовъ XIX стол. въ русской литературѣ. Варшава, 1903, стр. 307, 309).

устроении домашней жизни... Всѣ семейственныя связи ограничивались дѣтскимъ почтениемъ, супружескою вѣрностью и родительскою попечительностью», да и эти чувства «слишкомъ отзывались матеріальностью». Любовь Гекубы — «ярость львицы», отстаивающей похищаемыхъ дѣтей; сыновняя нѣжность дѣлаетъ Ореста преступникомъ. «Неистовство Федры, изображенное Эврипидомъ, раскалено, кажется, не человѣческимъ, но! адскимъ пламенемъ; Сафо горѣла огнемъ клокочущей чувственности, Анакреонъ расплывался въ сладострастїи. Овидіева наука любить представляетъ полный кодексъ всѣхъ тайнъ сердца человѣческаго, какія только наполняли пустоту его на закатѣ древняго міра. Одинъ только выпрєннїй Платонъ предощутилъ идеальную чистоту духовной любви, сей божественной дочери Афродиты Уранїи; одинъ только цѣломудренный Виргилїй покусился возложить на нее художническую руку въ прекрасномъ образѣ своей Дидоны»... <sup>1)</sup>.

Совсѣмъ иное «зрѣлище» представляетъ міръ романтическій.

---

<sup>1)</sup> Ср. *F. Ancillon. Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 1809. Tome I, pp. 207—209*: «Il n'est donc pas étonnant que le sentiment moral de l'amour occupe si peu de place dans la littérature ancienne: Virgile est le seul poète de l'antiquité qui ait peint cette passion avec vérité et avec force; les autres n'ont peint que l'ivresse du désir. En lisant le quatrième livre de l'Énéide, on ne peut se défendre de croire que Virgile avait aimé, ou que du moins son âme sensible lui avait fait deviner ce que les mœurs générales ne lui avaient pas permis d'observer et de connaître. Sapho exprime le délire des sens; Anacréon chante le plaisir; l'art d'aimer d'Ovide n'est que l'art de séduire et de jouir; Horace, Catulle, Tibulle, Propertius décrivent, désirent ou regrettent des jouissances, restant fidèles au caractère de leur talent et de leur génie, ils célèbrent la volupté tantôt avec feu, tantôt avec grâce et avec mollesse. Dans la tragédie ancienne, l'amour, bien loin d'être le roi de la scène, ose à peine s'y montrer, et quand il y paraît, c'est sans noblesse et sans force. Eschyle, Sophocle, Euripide ont dédaigné d'employer ce ressort; ou plutôt ils ne l'ont pas connu, et quand ils essayent de le faire jouer, ils n'y réussissent pas. Euripide est le seul qui ait exercé ses pinceaux sur ce sujet. Phèdre aime Hippolyte, mais cet amour est une véritable frénésie; c'est une malédiction des dieux bien plutôt qu'une passion... Les anciens n'ont donc pas pu ou n'ont pas voulu peindre l'amour; ce n'était pas faute de sensibilité, car ils ont peint avec des touches brûlantes la piété filiale, l'amour conjugal, la tendresse maternelle, l'héroïsme de l'amitié. Antigone, Andromaque, Hécube, Oreste et Pylade seront à jamais l'idéal de ces douces et profondes affections de la nature. S'ils n'ont pas peint l'amour, c'est qu'à cette époque de l'histoire de l'espèce humaine ce sentiment n'existait pas, comme il a existé dans le moyen âge et dans les siècles suivants».

«Здѣсь животное побужденіе, влекущее одинъ полъ къ другому, воспріимлетъ черты небеснаго величія»: возникаетъ «святое общеніе душъ, вѣчный союзъ цѣломудреннаго соединенія между чистыми сердцами». Женщина, «на которую благодатная рука Верховнаго Всехудожника рассыпала всѣ прелести красоты въ неистоцимомъ величіи», становится предметомъ особаго почитанія. «Самая скудельная слабость, составляющая родовое наслѣдіе женщины, пріобрѣтаетъ ей благосклонность и уваженіе» «благороднаго мужа», проникнутаго «возвышеннымъ чувствомъ чести». «Отсюда обоготвореніе предметовъ любви», «безкорыстное самоотверженіе»: «любящій теряетъ какъ бы самого себя въ своей возлюбленной для того, чтобы послѣ обрѣсти себя въ ней снова». «И на какіе высокіе помыслы, на какіе великіе подвиги окрыляло это блаженное расширеніе сердца, отрѣшеннаго отъ всѣхъ чувственныхъ узъ и освященнаго высшимъ идеальнымъ свѣтомъ»!

Подобное настроеніе человѣческаго духа было бы невозможно, если бы послѣдній не испыталъ на себѣ вліянія «божественной религіи». «Святая вѣра, возвѣщаемая христіанствомъ», рѣзко отличается отъ «дѣтскаго суевѣрія» античнаго міра. Вниманіе древнихъ сосредоточено на «внѣшней природѣ». «Гармоническое развитіе всѣхъ потребностей и силъ животной жизни» казалось имъ «идеаломъ верховнаго блаженства». Видимая красота вселенной плѣняла ихъ взоры до такой степени, что они не могли вообразить себѣ «ничего прекраснѣе, усладительнѣе, драгоцѣннѣе». Безсмертіе было для нихъ «предметомъ темнаго предощущенія» и «представлялось имъ въ туманномъ отдаленіи, какъ блѣдный призракъ сей лучезарной вещественности». «Ихъ небо не превышало вершинъ земнаго Олимпа», и само Божество было «облагороженной и просвѣтленной матеріей».

Религія христіанская—противоположна языческой. Она положила конецъ «безумному скитанію по распутіямъ видимаго міра» и побудила духъ человѣческой сосредоточить вниманіе на себѣ *самомъ* и создать «новое таинственное царство», «преддверіе небесъ». Духъ человѣческой «естественно долженъ былъ почувствовать, сколь безконечно ниже его» видимая вселенная, которая препятствуетъ ему «наслаждаться вполнѣ вышею, внутреннѣйшею жизнію», для чего «собственно и сотворенъ онъ». «Міръ вещественный, какъ мрачная темница, отчуждающая его отъ блаженной страны», мѣстопробыванія «живого, но незримаго Бога», лишь потому имѣлъ нѣкоторое значеніе, что въ немъ еще

виднѣются кое-гдѣ слѣды небеснаго происхожденія. «Все видимое было не что иное, какъ тѣнь и отраженіе невидимаго, коего святилице ощущалъ духъ *внутри* себя». Все, съ чѣмъ только соприкасался онъ, возвращало его обратно къ самому себѣ. Человѣческое существованіе приняло новое направленіе, «разрѣшалось въ новой гармоніи помышленій чистѣйшихъ», чувствованій духовныхъ, стремленій свободныхъ. «И никто не можетъ оспаривать, что самыя ощущенія *чести и любви*, на которыхъ опиралось все зданіе общественной жизни» среднихъ вѣковъ, «одолжены своею возвышенностью и чистотою» христіанской религіи.

Въ эту эпоху духъ человѣческой «былъ самъ всѣмъ для себя: и высочайшимъ предметомъ изслѣдованія, и высочайшимъ побужденіемъ дѣйствованія, и высочайшимъ первообразомъ творчества. Это доказываетъ исторія». Схоластическая философія была «анатомической работой духа надъ самимъ собою»; внѣшняя природа считалась «низкою и недостойною» серьезнаго анализа. «Всѣ благородныя начинанія, высокіе порывы, славные подвиги» были чужды матеріальнаго расчета, «корыстнаго побужденія». «Не похищеніе золотого руна, не возвращеніе обманутому мужу вѣроломной жены причинили великія потрясенія» въ средніе вѣка, но «благочестивое желаніе освободить отъ поноснаго ига св. Гробъ, священный залогъ вѣчнаго спасенія, или водрузить знамя креста, символъ истинной вѣры, на отдаленныхъ рубежахъ земнаго шара»<sup>1)</sup>.—«Само собою разумѣется, что и въ творческихъ произведеніяхъ искусства» духъ человѣческой «столько же былъ связанъ съ самимъ собою, какъ въ помышленіяхъ и дѣйствіяхъ». «Его могло утѣшать и радовать только то, въ чемъ изображалось его внутреннее достоинство», которое «составляло высочайшій идеалъ *романтическаго искусства*». «Общественныя игры среднихъ вѣковъ» не похожи на «олимпійскія ристанія древней Эллады», на «колизейское гладиаторство ветхаго Рима», гдѣ «проворство и крѣпость силъ физическихъ, не совлекшихъ еще съ

<sup>1)</sup> Ср. *F. Ancillon. Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 1809. Tome I. pp. 190—191: «La différence des événements qui forment, dans la littérature ancienne et dans la littérature moderne, les principaux thèmes de la poésie, a dû amener de grandes différences dans le ton et le caractère de la poésie à ces deux époques. Le sol, le climat, les amours, les armes, les costumes, les idées régnantes, la vie domestique et la vie sociale, tout est différent, pour ne pas dire opposé entre l'expédition des Argonautes et la guerre contre les Maures, entre la guerre de Troie et les croisades».*

себя коры первобытнаго дикаго звѣрства», вызывали «всеобщее удивленіе и одобреніе». «Рыцарскіе турниры возрожденной Европы представляли величественное зрѣлище мужества, достойнаго *духовной* природы человѣческой», ибо рѣзкое проявленіе силы здѣсь смягчалось понятіемъ о чести и чувствомъ любви. Но лучше всего преобладаніе духа надъ матеріей отразилось въ произведеніяхъ искусства. Рафаэлева Мадонна имѣетъ такъ же мало общаго съ Медицейской Венерой, какъ Микель—Анджеловъ Моисей—съ Геркулесомъ Фарнейскимъ. У древнихъ творческая сила была «соревновательницею *внѣшней* жизни, струящейся въ нѣдрахъ видимаго міра»; у христіанскихъ народовъ, напротивъ,—«провозвѣстницею» *внутренней*, духовной жизни. Пареонъ аѳинскій и Пантеонъ римскій были «прекрасными изображеніями великолѣпнаго храма природы», тогда какъ Вестминстерское аббатство и Кельнскій кафедральный соборъ являются «величественными символами таинственнаго святилища духа человѣческаго». Потому и поэзія въ средніе вѣка выражала «*внутреннюю* гармонію *духовнаго* бытія, какъ высочайшій первообразъ всесовершеннаго изящества»,—что должно было придать поэтическимъ твореніямъ «отличительный характеръ какъ въ отношеніи къ а) *внутреннему* составу поэтическихъ формъ, такъ и въ отношеніи къ б) *внѣшнему* строенію *механической* версификаціи».

«*Внутренній составъ*» «слагается изъ тройнаго процесса, замѣченнаго еще древними учителями краснорѣчія: а) «изобрѣтенія, б) расположенія и с) изложенія».

Романтичскій поэтъ «почерпалъ предметы всѣхъ своихъ вымысловъ» изъ внутренняго «міра понятій, ощущеній и пожеланій». «Любовныя и героическія пѣсни» трубадуровъ и менестрелей—«изліянія *внутренней* полноты духа». За Петраркой, который «своимъ возвышеннымъ гениемъ освятилъ» подобную «игру поэтическаго одушевленія», послѣдовалъ цѣлый рядъ петраркистовъ, болѣе или менѣе удачно подражавшихъ своему корифею, и «сонетъ, мѣрное выраженіе чувства, получилъ вездѣ право поэтическаго гражданства». «Это расширеніе сердца не ограничивалось однимъ лишь вдохновеніемъ любви и воинскаго одушевленія», но принимало и религіозный оттѣнокъ, «парило» къ высочайшему идеалу. Такъ, вниманіе Данте сосредоточено на Спасеніи, Любви и Доблести (Salus, Venus, Virtus). Романтикъ не только считалъ «доступными» для себя «внутреннія движенія» души, но «относилъ къ своему завѣдыванію и внѣшнее ея раскрытіе и проявленіе». Было



трудно уклониться отъ «общенія» съ видимою природою до такой степени, чтобы «не входить съ нею ни въ какое соотношеніе»; она интересовала художника, ея «неистощимыя сокровища» усиливали поэтическое вдохновеніе (ср. пастушескія стихотворенія). Природа казалась достойной творческой обработки въ той мѣрѣ, въ какой она «по тайной симпатіи сочувствовала» душѣ творца и «согласовалась съ внутренними ея ощущеніями». Въ эклогѣ Гарсиласо де-Веги пастушокъ Галицій, «горько оплакивающий вѣроломство своей возлюбленной, простосердечно сознается, что онъ любилъ безмолвіе и мракъ лѣсовъ только для нея, для нея любилъ и зеленую мураву, и прохладный воздухъ, и бѣлую лилію, и прекрасную розу, и упоительное время весеннее». А въ «райскихъ садахъ» Армиды «яркій блескъ цвѣтовъ, безмолвное помаванье деревьевъ и мелодичное пѣніе птицъ, кажется, условились не давать герою, упоенному сладострастіемъ, — ни видѣть, ни чувствовать, ни желать ничего, кромѣ сладострастія». И часто романтическая поэзія «переступала надлежаліе ей предѣлы»: «не обуздывая своихъ чувствованій, она или разрѣшалась въ мыльные пузыри напыщенной чувственности, либо погружалась въ густой мракъ непроницаемаго мистицизма, или, не обращая никакого вниманія на законы видимой природы, рѣшительно разрушала самую поэтическую истину въ чудовищныхъ и уродливыхъ вымыслахъ, составленныхъ по капризной прихоти причудливой фантазіи». Слѣдовательно, «поэзія романтическая отличается отъ классической въ отношеніи къ поэтическому *изобрѣтенію* тѣмъ, что она болѣе *человѣческая*, тогда какъ послѣдняя болѣе *естественна*. Міръ поэзіи классической есть міръ *героическій*, или облагороженная природа, а міръ поэзіи романтической есть міръ *рыцарскій*, или челоѣчество просвѣтленное».

Въ «расположеніи» поэтическаго матеріала еще рельефнѣе обнаружались особенности романтизма. Классикъ «имѣлъ предъ глазами своими первообразъ изящества» въ «видимой вселенной». и «всѣ свои творенія располагалъ по образцу его». Этотъ первообразъ «могъ и долженъ былъ представляться художнической фантазіи ясно, раздѣльно, опредѣленно». «Совершеннѣйшая соразмѣрность великаго зданія» вселенной исполнѣ «очевидна какъ въ цѣломъ ея составѣ, такъ и во всѣхъ самыхъ мельчайшихъ частяхъ», а потому «неудивительно, что классическая поэзія ревностная ея подражательница, явилась, въ сооруженіи своихъ произведеній, привязанною къ гармоническому устройству и со-

отвѣтствію». «Отсюда это точнѣйшее единство, строжайшій порядокъ и правильнѣйшая стройность», которой мы удивляемся въ памятникахъ античнаго искусства. Не такъ дѣйствовалъ романтикъ. «Высочайшимъ первообразомъ изящества былъ для него внутренній міръ человѣческаго духа»—«неизмѣримая бездна, волнующая неукротимымъ вихремъ самовластной свободы». Безспорно, всѣ ощущенія, которыя испытываетъ человѣкъ, какъ бы бурны и порывисты ни были, «подслушанныя разборчивымъ чувствомъ эстетическимъ, разрѣшаются въ какое-то мелодическое согласіе»; но послѣднее едва ли можетъ быть «выражено ясно, точно и опредѣленно». Романтическая поэзія была «изліяніемъ движеній преизбыточествующей жизни, подчиненнымъ, конечно, какимъ-нибудь непреложнымъ законамъ, коихъ, впрочемъ, невозможно обозначить извѣстными признаками и заковать въ опредѣленные формулы». Отсюда это отсутствіе единства, порядка и соразмѣрности въ «частяхъ», замѣтное иногда въ «самыхъ блистательнѣйшихъ» романтическихъ произведеніяхъ и «возбуждающее скуку либо сожалѣніе»<sup>1)</sup>. Въ пѣсняхъ проявляется «разгоряченное чувство»; въ повѣствованіи замѣтны «продолжительные эпизоды, длинные и запутанныя отступленія» отъ основной темы, а въ области драмы—стремленіе «насилъно столкнуть съ Аристотелева треножника единствъ (e tripodio Aristotelico unitatum) сценическое дѣйствіе и отвергнуть границы пространства и времени». Вообще, «поэзія романтическая, въ отношеніи къ методу ея *расположенія*, есть болѣе *фантастическая*, нежели поэзія классическая, которая, ни на шагъ не отступая отъ природы, дѣйствовала осмотрительнѣе и благоразумнѣе».

Способъ *изложенія* мыслей, который усвоили себѣ романтики, не менѣе характеренъ, чѣмъ «методъ расположенія». «Поэзія классическая была вѣрнымъ подражаніемъ видимой природы», которая настолько бываетъ «причастна эстетическаго изящества», насколько «ясная и свѣтлая форма симметрической гармоніи облекаетъ собою грубую массу матеріи, ее составляющей». «Вы-

---

<sup>1)</sup> Cp *F. Bouterwek*. Aesthetik. Gottingen, 1824. Erster Theil, S. 223: «In allen griechischen Formen zeigt sich *eine gehaltene Neigung zum Einfachen und Regelmässigen*, bis zur plastischen Abrundung. In den romantischen Formen herrscht *die Mannigfaltigkeit über die Einheit, die Willkür einer kühnen Phantasie über den ordnenden Kunstverstand*, so mächtig, dass nicht selten Natur und Wahrheit, und mit ihnen die wahre Schönheit, aus diesen Formen ganz verschwinden».

пуклость линий, круглота очертаний, изящество пропорцій составляютъ основаніе, на коемъ зиждется благолѣпіе всего видимаго міра, и поэзія древняя была чистымъ и прозрачнымъ зеркаломъ, отражавшимъ его въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ есть,— безъ отношенія къ человѣческой природѣ». «Отсюда эта простая и, такъ сказать, монохроматическая живопись», являющаяся «отличительнымъ свойствомъ» поэтическихъ произведеній грековъ и римлянъ. И «ни мало не ошибаются тѣ, кои утверждаютъ, что поэзіи классической болѣе приличествовало выраженіе *скульптурное*. Чрезвычайно скупая на краски и цвѣты, она особенно старалась о той ясной простотѣ, которая все обнажаетъ предъ наблюдательнымъ умомъ». Такъ кристалльная поверхность спокойнаго моря отражаетъ въ себѣ «голубые небесные своды» во всей ихъ дивной красотѣ. «Напротивъ, выраженіе поэзіи романтической было по преимуществу *живописное*. «Желая представить внутреннюю природу человѣческую, въ чемъ другомъ она могла уловить и воплотить эфирную ея невещественность, какъ не въ смѣси и переливѣ *радужныхъ* цвѣтовъ? Природу довольно очертить; человѣкъ долженъ быть нарисованъ». «Внутренняя его физиономія состоитъ изъ такого разнообразія очертаній, едва примѣтныхъ», что «все богатство свѣтлотѣни» едва ли достаточно для точнаго ихъ воспроизведенія <sup>1)</sup>. «Отсюда выраженіе поэзіи романтической, естественно, долженствовало быть болѣе разнообразно и запутанно, нежели выраженіе поэзіи классической. Самая видимая природа представлялась не въ естественномъ свѣтѣ своей неподдѣльной простоты, но преломленною и оцвѣченною (*colorata*) въ призмѣ внутренняго чувства». Поэтому романтики имѣли особое пристрастіе къ «убранству и украшенію рѣчи». «Вся область троповъ и фигуръ была ими измѣрена, и все бо-

---

<sup>1)</sup> А. W. Schlegel. Sämmtliche Werke. Leipzig, 1846. Fünfter Band, S. 10: «Ueber die bildenden Künste thut Hemsterhuys den sinnreichen Ausspruch: die alten Maler seien vermuthlich zu sehr Bildhauer gewesen, die neueren Bildhauer seien zu sehr Maler. Diess trifft den eigentlichen Punkt; denn, wie ich es in der Folge deutlicher entwickeln werde, der Geist der gesammten antiken Kunst und Poesie ist *plastisch*, so wie der modernen *pittoresk*».

Ср. *M-me de Staël-Holstein*. De l'Allemagne. Paris et Leipzig, 1814. Tome II, pp. 32—33, 36: «On a comparé aussi dans divers ouvrages allemands la poésie antique à la *sculpture*, et la poésie romantique à la *peinture*... «La poésie païenne doit être simple et saillante comme les objets extérieurs; la poésie chrétienne a besoin *des mille couleurs de l'arc-en-ciel* pour ne pas se perdre dans les nuages».

гатство ея пущено въ оборотъ; всѣ источники риторическаго украшенія исчерпаны и истощены». Даже сокровища древней миѳологіи расточались ими ради «внѣшняго блеска и великолѣпія». И «нерѣдко случалось, что эта излишняя страсть къ украшенію переходила въ напыщенность и нерасчетливое щегольство, въ чемъ можно упрекать особенно полуденныя страны Европы, какъ болѣе другихъ живыя и менѣе умѣренныя». «Пустая и дѣтская игра словъ»—неизбѣжное слѣдствіе «изысканной замысловатости мыслей»—распространилась среди итальянскихъ поэтовъ и «заразила весь міръ романтической». «Отсюда поддѣльная пышность выраженій, поддвѣченныхъ всѣми прелестями придворнаго великолѣпія (courtoisie)», чѣмъ особенно грѣшили «пѣвцы и сказочники испанскіе, не исключая и позднѣйшихъ трубадуровъ»; отсюда «аллегорическій цвѣтъ представленій (allegorica tinctura representationum), въ силу коего все, входившее въ какое-нибудь поэгическое твореніе, должно было заключать въ себѣ скрытый и таинственный смыслъ», ибо романтики, «какъ во всѣхъ вещахъ, такъ и въ своихъ собственныхъ созданіяхъ», подъ наружной оболочкой «любили открывать что-нибудь непосредственно относящееся къ своей внутренней природѣ». Романтическія произведенія были «увиты аллегорическими покровами образовъ и загадокъ, болѣе или менѣе прозрачными, такъ что передъ умственнымъ взоромъ они всегда какъ-бы двоились» (ср. французскіе аллегорическіе романы). Писатели пытались «тирански вымучить любезную имъ двойственность» даже изъ античныхъ художественныхъ памятниковъ и «считали миѳологію древнихъ не болѣе какъ за двусмысленный составъ аллегорій». «Сообразивъ все это», каждый ясно увидитъ, что «выраженіе поэзіи возродившагося міра» отличается не «эпической свѣтлостью и ровностью», но «лирическимъ блескомъ и пышностью»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> F. Ancillon. Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 1809. Tome I, pp. 230—231: «Ce mouvement de l'âme qui la porte en avant, et qui dirige les sens et l'imagination sur le monde des objets, est le premier et le plus naturel. C'est celui auquel la plupart des grands poètes anciens, et de ceux d'entre les modernes qui méritent d'être rangés avec eux, se sont abandonnés dans les heures de la verve et de l'inspiration, et il les a conduits sûrement au but. Aussi ont-ils surtout excellé dans les genres de poésie où ce point de vue est le seul véritable, comme dans la poésie épique et dans la poésie dramatique... Ce mouvement rétrograde de l'âme qui fait qu'elle se replie sur elle même, empêche que le poëte ne réfléchisse et ne peigne les objets comme une glace

«Этой же самой лирической организаціи» романтическаго искусства «одолжено своимъ началомъ и *внѣшнее строеніе* его *версификаціи*». «Симметрическое сочетаніе и стройность слоговъ», образующихъ «гармоническое единство численнаго стиха», не могутъ быть «приписаны слѣпой судьбѣ и случайному произволу». «Внѣшняя мелодія стиха есть эхо», воспроизводящее «внутреннюю мелодію поэтическаго изступленія (*internam melodiam extaseos poëticæ recantans*). Классики считали «высочайшимъ первообразомъ симметрію видимой природы», и «основаніе, на которомъ воздвигалось все внѣшнее устройство ихъ поэзіи, былъ *ритмъ*, или гармоническая соразмѣрность просодическаго количества слоговъ». «Этотъ способъ сочетать стихи вполнѣ соотвѣтствовалъ пластическому характеру древняго искусства, ибо «стихъ, волновавшійся симметрическимъ разнообразіемъ чисель (*numerorum varietate symmetrica tanquam undulatus*), ясно и округло ваялъ всѣ выпуклости поэтическихъ образовъ и дѣлалъ ихъ ощутительными для внимательнаго слуха». «Совсѣмъ иначе было въ области поэзіи романтической. Здѣсь средоточіемъ поэтическихъ вымысловъ была мелодія внутренней природы человѣческой, которая, не подлежа сама никакому протяженію, но образуя количество, отрѣшенно напряженное (*quantitatem absolute intensivam formans*), могла и должна была выражаться не симметрическою соразмѣрностью, но гармоническимъ созвучіемъ слоговъ. Отсюда различіе между классическою и романтическою версификаціей. Первая, какъ подражательница формамъ природы, основывалась на соразмѣрности протяженія, а вторая, какъ истолковательница движеній душевныхъ, на созвучіи напряженія». Древніе поэты «останавливались болѣе на формѣ рѣчи, дабы симметрическою круглотою ея положить печать идеальности на чисто вещественныхъ представленіяхъ»; новые писатели «обращали вниманіе болѣе на матерію рѣчи, дабы ея гармоническимъ сочетаніемъ облачить, какъ тѣлеснымъ покровомъ, и воплотить въ немъ духовность идеальныхъ ощущеній». «Потому тамъ пространство, здѣсь удареніе; тамъ число, здѣсь тонъ; тамъ *симметрия*, здѣсь *симфонія*, или гармоническое

---

fidèle. Alors les objets qu'il crée ou ceux qu'il recueille par observation, ne sont plus pour lui que des occasions de développer et de peindre ses propres idées et ses propres sentiments. *Les poètes modernes* se placent souvent dans ce point de vue, et de là vient qu'ils réussissent éminemment dans *la poésie lyrique*, élégiaque, didactique, à laquelle ce point de vue est le plus favorable».

эхо слоговъ, созвучающихъ взаимно (*inter se invicem concinentium*)»<sup>1)</sup>. Итакъ *созвучіе* (*symphonesis*) было главнымъ основаніемъ версификаціи романтической. Оно «могло приниматьъ двоякій видъ, являясь или при *согласныхъ*, или при *гласныхъ* буквахъ, какъ двухъ начальныхъ стихіяхъ слоговъ». «И въ первомъ случаѣ образуетъ оно *аллитерацію*, которая въ древности употреблялась преимущественно въ *стѣверныхъ* странахъ романтическаго міра (*Das Niebelungenlied* въ преданіяхъ исландскихъ); а во второмъ *ассонансъ*, особенно процвѣтавшій на югѣ (многія драмы Кальдерона) и доселѣ находящійся въ любимомъ употребленіи у испанцевъ»<sup>2)</sup>. Соединеніе той и другого есть *риѐма*, или *подобоокончаніе*, гдѣ какъ гласныя, такъ и согласныя стихіи слоговъ гармонически между собою созвучны. Сія-то риѐма составляетъ отличительное свойство поэзіи романтической и осталась отъ нея намъ въ наслѣдство, какъ законнымъ и ближайшимъ наслѣдникамъ *романтическаго міра*. Этотъ новый способъ сочетать стихи совершенно согласовался съ духомъ романтическимъ. Древній *ритмъ* улаждалъ духовное зрѣніе ума, раскрывая предъ нимъ мѣрный рядъ чѣселъ и стопъ, какъ живое изображеніе симметріи природы; новая *риѐма* чаруетъ внутренній слухъ сердца мелодическимъ *созвучіемъ* удареній и тоновъ, какъ бы возбуждая въ немъ гармоническую симфонію ощущеній»<sup>3)</sup>. «Созвучіе риѐмъ можетъ быть

---

1) Сл. *A. W. Schlegel*. Sämmtliche Werke. Leipzig, 1846. Fünfter Band, S. 10: «In der Musik hat Rousseau den Gegensatz anerkannt, und gezeigt, wie Rhythmus und Melodie das herrschende Princip der antiken, Harmonie der modernen Musik sei».—См. также *F. Ast*. System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik. Leipzig, 1805, S. 99: «Darum ist in der griechischen Musik... der Rhythmus das vorherrschende Princip, so wie hingegen in der romantischen Musik... die Harmonie vorwaltet».

2) *S. Sismondi*. De la littérature du Midi de l'Europe. Paris, 1829. Tome I, p. 104: «Les consonnes tiennent une place beaucoup plus importante dans les langues du Nord, qui en sont remplies, et les voyelles dans celles du Midi; aussi *l'allitération*, qui est la répétition des consonnes, est-elle l'ornement des langues du Nord, et *l'assonance*, ou la rime dans les voyelles seules, est-elle propre à toutes les chansons populaires des langues du Midi, quoiqu'elle n'ait été soumise à des règles qu'en espagnol».

3) *F. Ast*. System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik. Leipzig, 1805, S. 133: «Der Rhythmus stellt sich demnach in seiner vollendetsten Ausbildung in der objectiven Poesie (der Griechen) dar, und der Reim, das ideale Element der praktischen Sprache, in der subjektiven (der romantischen)».

выполняемо только въ совокупности многихъ стиховъ». «Отсюда различныя сцѣпленія стиховъ, коихъ сочетаніемъ, расположеніемъ и размѣреніемъ» романтики «занимались съ особенною охотою и раченіемъ»; отсюда «употребленіе *строфъ* или *стансовъ* (*stanzia*) не только въ лирическихъ стихотвореніяхъ, назначенныхъ собственно для пѣнія съ музыкою, но и въ стихотвореніяхъ эпическихъ и драматическихъ». Романтики были «плодовиты и неистощимы въ строеніи, переплетеніи и сцѣпленіи разнообразныхъ формъ ихъ». «Ретруанжи провансальскіе, сонеты и канцоны итальянскіе, виланцики и глоссы испанскія, вольты португальскія, рондо французскія, ромбоиды англійскія» замѣчательны по «мелодическому созвучію римоу и симметрическому устройству стиховъ». Излишнее пристрастіе къ «подобнымъ забавамъ» вызывало иногда «изысканность и принужденность, особенно у неискускаго художника», и «доказывало, что характеръ *романтической поэзіи* относительно строенія своей версификаціи былъ, по преимуществу, *музыкальный*, и тѣмъ самымъ рѣзко отличалъ ее отъ поэзіи *классической*, которая была, по преимуществу, *пластическая*»<sup>1)</sup>.

Такимъ образомъ, поэзія романтическая «была въ отношеніи къ *матеріи* болѣе *человѣческая*; въ отношеніи къ *организаци*—болѣе *фантастическая*; въ отношеніи къ *внѣшнему строенію*—болѣе *музыкальная*. И всѣ эти свойства нигдѣ не отражаются въ такомъ ясномъ свѣтѣ и дивномъ сочетаніи, какъ въ истинно Божественной Комедіи Данта, въ которой представляется полный и

---

<sup>1)</sup> *F. Ast. System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik.* Leipzig, 1805, SS. 63—64: «Der Stoff und Geist der *griechischen Kunst* ist folglich ein realer, objectiv und gleichsam im Raume gebildeter, also mythisch und *plastisch*; der Stoff und Geist der *romantischen Kunst* ein idealer, subjectiv und in der Zeit gebildeter, also historisch und *musikalisch*».

*Бахманъ.* Всеобщее начертаніе теоріи искусствъ. Переводъ съ нѣмецкаго Михаила Чистякова. М., 1832, ч II, стр. 27, 33—35: «Въ религіи и вообще въ духѣ міра древняго преимущественно обнаруживается объективная, *пластическая* сторона жизни»; «греки остались единственными въ *ваяніи*». Въ новѣйшее время христіанская вѣра пзмѣнила міровоззрѣніе челоуѣчества, побуждая каждаго «погружаться въ самого себя» и стремиться къ безконечному. «Тайные порывы и неизяснимыя чувства сердца» нашли себѣ проявленіе въ *музыкѣ*, «глубочайшемъ, духовнѣйшемъ, собственно *христіанскою* искусствѣ».

*Московскій Телеграфъ*, 1828, № 24, стр. 467: «Рѣша сообщаетъ *романтической поэзіи* нѣчто мелодическое, заставляющее насъ находить въ ней сходство съ *музыкою*».

цѣльный отпечатокъ всего *романтическаго* міра. Это единственное въ своемъ родѣ твореніе есть какъ бы великолѣпное зеркало въ которомъ отразился духъ романтическій во всей своей цѣлости» <sup>1)</sup>. Божественная Комедія — «великая панорама человѣчества въ высочайшей чистотѣ духовнаго его организма», или «біографія человѣческаго духа», «какъ гражданина незримаго отечества», гдѣ онъ, предоставленный самому себѣ, «и радуется, и плачетъ». Здѣсь изображена не временная жизнь, но вѣчное волненіе *внутренней* жизни, «подъ неподвижнымъ небомъ, цвѣтъ коего, по словамъ поэта, не можетъ измѣнить никакое время»,—волненіе «во всей его обширности, отъ глубины ада до высоты рая» (*изобрѣтеніе*). «Здѣсь раскрывается безмѣрная пучина сердца человѣческаго», «подъ всѣми видами и образами, отъ ангельской цѣломудренности Беатрисы до ангельскихъ заблужденій Франчески, отъ мрачной суровости Каччагвида или серафимской достолюбезности Аквината до грубой гордости Убертія или ужасной свирѣпости Уголина». «И въ какой *фантастической* залѣ размѣстила рука художника такую дивную галерею картинъ?» «Таинственная лѣствица степеней», по которымъ «силятся пройти всѣ три духовные міра», «безъ сомнѣнія, основана на какомъ-нибудь началѣ, невысказанномъ отъ творящаго генія»; но даже «самый зоркій глазъ» не въ силахъ найти «Ариаднину нить», съ которой

---

1) Считаая средневѣковую поэзію романтической, Надеждиныхъ долженъ былъ признать представителемъ романтизма именно Данта, «стоявшего на почвѣ средневѣковой науки и цѣликомъ вносившаго ее въ величественное зданіе Божественной Комедіи», «содержавшаго въ себѣ все свое время и многое изъ прошлаго», «просвѣтившаго единствомъ поэтической мысли символическую космогонію среднихъ вѣковъ, отъ ада и земли до вершинъ христіанскаго Олимпа» (*А. Н. Веселовскій*. Собраніе сочиненій. Спб., 1908, т. III, стр. 107—108, 361). Такъ думали и современники Надеждина. «Но что такое поэзія *романтическая*?» писалъ Кюхельбекеръ. «Она родилась въ Провансѣ и *воспитала* Данта, который далъ ей жизнь, силу и смѣлость, отважно свергъ съ себя иго рабскаго подражанія римлянамъ, которые сами были единственно подражателями грековъ, и рѣшился бороться съ ними» (*Мнемозина*, 1824, ч. II, стр. 34—35). Съ мнѣніемъ Кюхельбекера согласенъ Галичъ. По его словамъ, «каждый изъ относительныхъ періодовъ (въ исторіи человѣческаго искусства) долженъ имѣть *свой* сомкнутый кругъ идеаловъ, опредѣляемыхъ какъ образомъ мыслей и чувствованій цѣлой націи, такъ и мѣстными влияніями окружающей ее природы. Для греческаго искусства сей кругъ идеаловъ есть Гомеръ и его Иліада, для *романтическаго*—Данте и живописное его *представленіе* ада, чистилища и рая, для скандинавскаго—Эдды» (Опытъ науки изящнаго. Спб., 1825, стр. 59).



онъ могъ бы неуклонно слѣдовать за поэтомъ въ «самыхъ сокровеннѣйшихъ закоулкахъ этого лабиринта». «Этотъ дикій, густой и мрачный лѣсъ (*sylva aspera, densa et fera*), съ котораго началъ свое *фантастическое* поприще самъ поэтъ, есть вѣрное изображеніе творенія, въ коемъ каждый пришлецъ заблуждается и, чѣмъ далѣе идетъ, тѣмъ болѣе видитъ себя принужденнымъ оставить всякую надежду, при руководствѣ одного своего ума, направить стопы свои къ выходу» (*расположеніе*) <sup>1)</sup>. И читателю «не остается ничего болѣе, какъ смотрѣть на развитіе этой дивной фантазмагоріи и любоваться ея сверхъестественнымъ блескомъ», который настолько яркъ. «что невольно останавливаетъ и ослѣпляетъ умственный взоръ». «По всему творенію расточены всѣ сокровища поэтического *украшенія* безъ всякой бережливости и часто съ излишнею роскошью. Содержаніе его, какъ ни чуждо вещественности и какъ ни возвышается надъ предѣлами чувствъ,— но съ видимаго міра въ немъ обобраны всѣ прелести и украшенія, дабы безплотныя идеи творческаго генія воплотились въ формы блестящія и великолѣпныя». И это даже показалось недостаточно. «Сокровища человѣчества, — тѣ самыя, кои древность завѣщала безсмертію въ высокихъ своихъ произведеніяхъ, были похищены, присвоены и расточены на украшеніе этого великаго зданія. Отсюда эта чудовищная смѣсь *миѳологическихъ* образовъ и картинъ съ *христіанскими* идеями и чувствованіями». Наряду съ подобной смѣсью мы находимъ въ Комедіи необычайную «тонкость въ сентенціяхъ пустыхъ и безуспѣшныхъ», за которыя поэтъ въ старину получилъ прозвище «великаго философа и божественнаго богослова»; «ощущаемъ и упоительную сладость чувства, образованнаго въ школѣ святой любви до свѣтской утонченности»; «наконецъ, мы погружаемся въ непроницаемый мракъ *аллегорическаго мистицизма*», къ уразумѣнію котораго надо «отыскивать ключъ не въ однѣхъ только современныхъ лѣто-

---

<sup>1)</sup> Съ такимъ же взглядомъ на планъ Божественной Комедіи русскіе литераторы могли ознакомиться изъ «Исторіи древней и новой литературы» Фр. Шлегеля, переведенной съ нѣмецкаго В. Д. Комовскимъ (Спб., 1829, 1834): «Недостатокъ творенія заключается именно въ томъ, что связь и единство въ ономъ не довольно ясно и удобопонятно представляются взорамъ, и что, напротивъ, потребно большое приуготовленіе, обширный запасъ разнообразнѣйшихъ знаній и наукъ для того, чтобъ совершенно понимать стихотвореніе Данте, какъ въ цѣлости, такъ и въ частностяхъ» (Исторія древней и новой литературы. Спб., 1834, ч. II, стр. 12).

писяхъ Италиі, но въ лѣтописяхъ человѣческаго духа». «Самый цвѣтъ (tinctura) Джигеллинства, такъ искусно наведенный на это твореніе<sup>1)</sup>, имѣеть, безъ сомнѣнія, высшее значеніе, и долженъ быть понимаемъ не какъ пятно кровавыхъ распрей низкой ненависти, но какъ таинственная печать великой борьбы между Гвельфами и Джигеллинами внутренняго міра, между дерзкимъ коварствомъ своевольства и благороднымъ героизмомъ свободы,—борьбы, непрерывно усматриваемой въ человѣческомъ сердцѣ». Поэтому неудивительно, что читатель испытываетъ «святое чувство благоговѣнія» и ощущаетъ «біеніе всѣхъ самыхъ сокровеннѣйшихъ струнъ своего внутренняго организма» (*выраженіе*). «Къ этому же самому приспособлено и механическое строе-ніе стихосложенія», ибо «непрерывное *сцѣпленіе троестимій*, созвучныхъ между собою (*terza rima*), всегда держитъ вниманіе въ напряженіи, такъ что оно, волею или неволею, должно слѣдовать всюду, гдѣ блуждаетъ творческая фантазія». Итакъ, «кто посвященъ въ таинства Божественной Комедіи, тотъ можетъ сказать, что онъ открылъ для себя входъ во внутреннѣйшее святилище поэзіи романтической».

Твореніе Данта «было и осталось единственнымъ: ему принадлежитъ собственная оригинальная форма, которой не можетъ дать никакого названія эстетическая технология». Но прочія романтическія произведенія «подчиняются всеобщимъ законамъ поэтическаго развитія и ознаменованы *формами*, для нихъ предписанными и опредѣленными», «имѣющими свою частную физиономію», которая «отличаетъ ихъ, съ перваго взгляда, отъ твореній классическихъ того же имени и разряда». И эпосъ, и лирика, и драма въ «романтическомъ мірѣ» имѣютъ свои характерныя особенности.

«Чудодѣйственный машинизмъ» «всегда служилъ основаніемъ

1) Въ примѣчаніи на стр. 93 Надеждинъ пишетъ: «Id quod Danti praecipit Frid. Schlegelius exprobrat». — *Фр. Шлегель*. Исторія древней и новой литературы. Спб., 1834, т. II, стр. 13—14: «Единственный недостатокъ, въ которомъ можно укорить его (Данте) въ семь отношеніи, заключается въ какой-то Гибеллинской жесткости, распространенной по всему творенію»... «Эта Гибеллинская жесткость, — хотя у Данте является она безъ сомнѣнія не въ низкомъ, а, напротивъ, даже въ возвышенномъ видѣ, — навлекаетъ порицаніе на поэта, потому особенно, что она простираетъ свое суровое вліяніе не только на внѣшнюю прелесть и форму, но и на внутреннюю красоту, на самый образъ мыслей и чувствованій».

эпическихъ вымысловъ». «Древній классическій геній, обработывавшій все по первообразу природы, изъ ея сокровенныхъ нѣдръ развивалъ цѣпь поэтическихъ машинъ, на коихъ должноствовало воздвигаться и держаться эпическое зданіе. Чудодѣйствовавшія лица, коимъ онъ ввѣрялъ управление всѣхъ движеній земной жизни, были мощные *боги* или силы природы, олицетворенныя въ образѣ человѣческомъ». «Человѣкъ былъ игралицемъ слѣпыхъ предстоятелей физической необходимости (*ludibrium saecorum antistitum necessitatis physicae*), кои, не владея сами собою, не заботились и о ходѣ дѣлъ человѣческихъ». «Совершенно другое было въ романтическомъ мірѣ. Здѣсь двигатели и устроители чудеснаго порядка вещей, на коемъ зиждется эпическое зданіе, были *люди*»—«волшебники и волшебницы», подчинившіе себѣ «силы физическія». «Эти наперсники таинственнаго могущества, управлявшаго земною жизнью, были вымышлены по первообразу человѣчества, свободнаго и мыслящаго». Они имѣли «не только образъ человѣческій, но и помышленія человѣческія, страсти человѣческія, пожеланія человѣческія»; они «принимали самое живое участіе въ дѣлахъ человѣческихъ, потому что сами были того же происхожденія, того же свойства и той же природы». «Самый способъ проявленія ихъ чудодѣйственной силы состоялъ не въ ужасномъ расширеніи силъ физическихъ, но въ какомъ-то духовномъ искусствѣ давать магическое могущество тѣлодвиженіямъ, словамъ, чертамъ лица, и другимъ безчисленнымъ вещамъ, кои сами по себѣ не имѣютъ никакой силы. Нашептыванья, наговариванья, талисманы, наколдованныя зелія, ладонки—вотъ арсеналъ *magi*, доставлявшій снаряды и орудія романтическому эпосу: снабженное этими слабыми орудіями, разумнѣе человѣческое самовластно владѣствовало надъ всею природою. «И эта страсть вездѣ видѣтъ человѣчество такъ далеко завлекала духъ романтическій, что самимъ геніямъ, по понятію среднихъ временъ,—правителямъ физическихъ силъ природы, онъ сообщилъ что-то духовное, въ силу коего они—не такъ, какъ нимфы, орады и наяды древняго міра, отличавшіяся только благообразіемъ человѣческимъ безъ всякой малѣйшей черты нравственной личности,—свѣтили искрометною позолотою внутренняго характера, тогда какъ внѣшняя ихъ форма всегда исчезала въ воздушныхъ парахъ (ильфы, саламандры, ондины)». «Этотъ процессъ утонченія доведенъ Мильтономъ до того, что въ его ангелахъ нѣтъ никакой тѣлесности, и духовная природа является въ отрѣщеннѣйшей

своей невестственности. Такимъ образомъ, *эпосъ романтической* самую чудодѣйственную экономію своею торжественно возвѣщалъ побѣду свободнаго *разумнiя* надъ бездѣйственною массою *природы*.

«Во времена древняго міра внутренняя жизнь человѣческая была потокомъ чувствованій, которыя исторгаются изъ лона сердца, преизбыточествующаго своею полнотою. Посему и *лирическая* поэзія древняя была не иное что, какъ радостный и торжественный возгласъ. Высочайшій первообразъ изящества, привлекавшій къ себѣ и очаровывавшій сердце человѣческое, духъ классической отыскивалъ не далѣе природы вещественной; но природа вещественная, при всей своей безпредѣльности, не превышаетъ пріемлемости сердца человѣческаго и легко имъ исчерпывается. Такимъ образомъ, онъ не встрѣчалъ въ ней нигдѣ никакихъ препятствій и затрудненій, и посему неудивительно, что всегда веселый и радостный, всегда самодовольный, выражалъ свое удовольствіе звуками то свѣтлыми и чистыми, то пріятными и усладительными, то стремительными и порывистыми». — «Какъ отличенъ тонъ поэзіи лирической въ романтическомъ мірѣ! Лира классическая прославляла удовольствіе пресыщенное; лира романтическая воспѣвала пожеланія ненасытимыя. И могло ли быть иначе? Здѣсь внутренняя жизнь была бурною пучиною, насильственно поглощающею саму (sic) себя. Первообразъ изящества должно было сердце человѣческое отыскивать не во внѣшности природы вещественной, но во внутренности природы духовной. Посему оно не могло уловить его и заключить въ извѣстную форму. Чѣмъ выше оно возносилось въ пламенныхъ своихъ порывахъ, тѣмъ живѣе чувствовало неизмѣримое разстояніе, отдѣляющее его отъ высшей цѣли своихъ пожеланій. Вслѣдствіе того, оно собственно тяжестію низвергалось оянь въ пучину мучительныхъ скорбей и страданій, — подобно тому живоному (употребимъ прекрасное изображеніе Петрарки), которое, увлеченное несмысленнымъ пожеланіемъ, часть найти отраду въ пламени, предъ нимъ блистающемъ, и приблизившись, испытываетъ иную, ужасную силу, его жгущую»... «Бряцаніе *романтической лиры* всегда было неровное, глухое, отрывистое, потому что она своими стонами отглашала восторженіе сердца человѣческаго надъ всѣми предѣлами животной жизни, чѣмъ смѣлѣйшее, тѣмъ менѣе счастливое».

*Романтическая драма* также рѣзко отличается отъ класси-

*lib.pushkinskijdom.ru*

ческой. Древняя муза, сосредоточившая свое внимание на «физической природѣ—своей наставницѣ», «подчинила и всю человѣческую природу неумолимой мощи желѣзнаго рока». «На древней сценѣ челоѣкъ представляется жалкимъ и игралищемъ безжалостной необходимости, подъ тяжкимъ игомъ коей преклоняются сами божественные предстоятели природы. Тщетно, пылая огнемъ внутренней жизни, вопіялъ онъ противъ этого тиранскаго угнетенія и бодростію неустрашимаго духа покушался отражать ея враждебную силу, безчелоѣчно его угнетающую. Всѣ его усилія и покушенія—тщетны; истощенная бодрость его падаетъ и отдается во власть непреклоннаго рока. Вотъ источникъ трагическаго паѣоса, коимъ одушевленная древняя Мельпомена поражала ужасомъ и вмѣстѣ возбуждала сожалѣніе».—«Не такова *драма романтическая*. Она представляла челоѣка, какъ челоѣка, владыкою и рабомъ самого себя, другомъ и недругомъ самого себя, побѣдителемъ и побѣжденнымъ. Сознаніе внутренней своей свободы есть священное знамя, подъ коимъ онъ безпрестанно борется съ собственными своими страстями, пожеланіями, бунтующими противъ святаго могущества разума. Такимъ образомъ, восторжествоетъ ли онъ, или падетъ побѣжденнымъ,—вездѣ самъ причина своей судьбы. Отсюда печать нравственной личности, которую ознаменованы всѣ дѣйствующія лица, выходящія на сцену театра романтическаго. Каждое изъ нихъ должно дѣйствовать само собою и изъ себя, а потому и имѣть свою собственную фізіономію. Отсюда же надо изъяснять весьма употребительную въ романтической драмѣ вольность смѣшивать съ возвышенною важностью *трагическою* площадную низость *колическую*, ибо свободный духъ не постоянно одинаковъ и является въ различныхъ вещахъ и, оставленный на произволь самому себѣ, безпрестанно борется между крайностями высокаго и смѣшнаго». Но «самозаконность и самовластіе свободной воли еще недостаточны къ разрѣшенію всѣхъ загадокъ челоѣческой жизни», которая «управляется какою-то таинственною высшею десницею». Романтикъ «чистосердечно вѣрилъ, что эта рука движется не желѣзною мышцею слѣпой необходимости, но служитъ свободнымъ орудіемъ разумнѣишему высшему, благодатнѣйшему и премудрому. Посему все, выводимое на сцену драматическую, онъ представлялъ совершающимся подъ распоряженіемъ благодатнаго существа, повелѣвающаго судьбамъ челоѣческимъ проходить по несповѣдимымъ путямъ своего предвѣдѣнія (*fata humana imperspicuis viis revolvī jubentis*). Вотъ точка

отправленія двухъ отраслей театра романтическаго, т. е. *испанской и англійской*. «*Жизнь есть сонъ*, изъясненіе коего должно быть отыскиваемо и обрѣтаемо на небѣ,—вотъ любимая тема драматической за-пиренейской музыки. *Жизнь есть греза*, смыслъ коей тщетно отыскиваютъ здѣсь на землѣ,—вотъ символъ того, что выводили на театрѣ британскій. Но въ томъ и другомъ случаѣ человѣкъ, сколько ни впутанъ въ безмѣрную ткань несокрушимыхъ совѣтовъ Промысла, сохраняетъ свою свободную волю цѣлою и невредимою». И, «по справедливости, можно сказать, что *романтическая драма* всегда признавала и воспроизводила рѣшительную независимость разумной свободы отъ узъ физической необходимости».

«Все это явно показываетъ безпрестанное обращеніе вниманія романтическаго духа къ самому себѣ. Однако жъ, если мы прислушаемся къ главному тону, господствующему во всѣхъ его твореніяхъ, то замѣтимъ странное явленіе, повидимому, совершенно противорѣчащее нашему положенію». Поэзія *романтическая*, «постоянно доискивающаяся высочайшаго первообраза въ самомъ духѣ человѣческомъ, всѣ свои произведенія оживляла любезностью и милостью *идиллическою*», т. е. «научала человѣка нисходить съ своего духовнаго величія. покоиться въ благодатномъ лонѣ природы и наслаждаться ея благами». Напротивъ, поэзія *классическая*, «обрабатывающая все по первообразу природы», удержала тонъ *дидактическій*, т. е. «учила человѣка надлежащему употребленію его духовныхъ силъ, учила слѣдовать во всемъ истинѣ и нравственному достоинству».—Подобное явленіе, конечно, «удивительно, но безъ труда можетъ быть объяснено». «Какъ скоро духъ человѣческій, сознавши свое внутреннее двойство, раздвоится и стремится то туда, то сюда»,—онъ «огнюдь не пристаетъ совершенно къ одному которому-нибудь полюсу своего организма», но — «по безпрестанному противодѣйствию» — чѣмъ сильнѣе направляется къ одному, тѣмъ сильнѣе отвлекается къ другому, такъ что «жизнь его есть всегдашній синтезъ противоположныхъ стремленій». «Юность завидуетъ старости; старость вздыхаетъ о юности». Такъ какъ въ древнемъ классическомъ мірѣ «вся дѣятельность творческой силы расточалась на воспроизведеніе великаго типа природы», «то, по внутренней противоположности, по какому-то тайному влеченію, духъ обращался къ самому себѣ, и старался содѣлать свою волю природою для него избыточно—черезъ приложеніе ея къ умственному и нравствен-

ному употребленію». «То же самое и въ *романтическомъ* мірѣ: творческая сила, воспламененная святой любовью къ духовной красотѣ», «хотя и парила неудержимо къ небеснымъ странамъ духовнаго міра, но своею собственною тяжестью погружалась въ лоно природы вещественной и старалась тамъ предать сладкому забвенію неудачи и трудности своего тяжкаго странствованія». «Такимъ образомъ, *идиллическій* тонъ *романтической* поэзіи отнюдь не препятствуетъ признать ее свободнѣйшимъ изліяніемъ духа, самодовольнаго и старающагося отглашать свою внутреннюю гармонию въ гармоническомъ сочетаніи стиховъ».

*Романтическая* поэзія—вполнѣ самостоятельна. «Она образуетъ особую отрасль эстетическаго міра, составляющую украшеніе возмужавшаго челоуѣчества; притомъ она родная сестра той *классической* поэзіи, которой мы удивляемся въ великолѣпныхъ памятникахъ грековъ и римлянъ. Невозможно не согласиться, что эта классическая поэзія обладаетъ очень многими совершенствами, которыхъ нѣтъ у сестры ея, романтической. Такъ, напри- мѣръ, тщетно мы будемъ искать въ произведеніяхъ поэзіи романтической этой прелестной простоты изложенія, этого усладительнаго сочетанія и единства звуковъ, этой естественной и живой красоты вымысловъ, которая чаруетъ насъ въ произведеніяхъ древней поэзіи и сближаетъ съ изящной природою, ими выраженной. Не должно, однако же, думать, чтобы самую природою дано было древнему міру исключительное преимущество, такъ что будто онъ одинъ можетъ производить изящное въ области поэтическаго творчества. Сила творческая, производящая всѣ изящныя созданія, принадлежитъ равно всѣмъ вѣкамъ и народамъ. Романтическій міръ породилъ великихъ геніевъ, произведшихъ собственною силою много удивительнаго и высокаго—такого, что было неизвѣстно самому древнему міру. Этотъ огонь чувства, эта глубина мыслей, этотъ свѣтъ идей, обращающій душу на самую (sic) себя и напоющій ее высренними предоцущеніями,— все это есть наслѣдіе романтической поэзіи».

«Но эта достойная сестра поэзіи *классической*, какъ и по- слѣдняя, уже скончалась. Шестнадцатое столѣтіе, бывшее для нея золотымъ вѣкомъ, было вмѣстѣ и свидѣтелемъ ея быстраго паденія». Паденіе совершилось вполнѣ естественно, ибо «міръ, въ которомъ мы живемъ, рѣшительно различествуетъ и духомъ, и обычаями, и органическимъ устройствомъ отъ того міра, коего эхо мы подслушиваемъ въ романтической поэзіи».

«Животворнымъ духомъ романтическаго міра былъ геній воинскій, или рыцарскій (chevalerie), опиравшійся на чувствѣ (sic) чести, оживленный дыханіемъ любви, озаренный свѣтомъ религіи. Этотъ геній составлялъ начало поэзіи самой жизни человѣчества въ этомъ періодѣ,—поэзіи жизни, безъ которой неудобомыслима никакая поэзія слова; или, лучше, онъ былъ deus ex machina въ этой великой поэмѣ, которую представилъ въ дѣйствіяхъ родъ человѣческій въ теченіе среднихъ вѣковъ. Ему одолженъ онъ этимъ фантастическимъ образомъ мышленія, чувствованія и дѣйствованія, чего свидѣтели его лѣтописи. Чадомъ и образомъ сего-то генія была поэзія, которою гордился міръ романтическій. Она родилась вмѣстѣ съ нимъ въ высокихъ башняхъ рыцарей, воспиталась въ военныхъ станахъ подъ стукомъ оружія (sic) и взлелѣяна на нѣжномъ лонѣ любви, защитницы и спутницы храбрости. Посему она могла существовать и процвѣтать дотолѣ, пока жилъ и крѣпился этотъ геній. Но его бытіе и цвѣтущее состояніе подверглось общей участи дѣлъ человѣческихъ. Мы ни мало не ошибемся, если его мужественный и цвѣтущій возрастъ ограничимъ пространствомъ только трехъ вѣковъ, ознаменованныхъ святымъ энтузіазмомъ крестовыхъ походовъ (croisades). Это былъ періодъ безкорыстнаго и высокаго героизма», «покушавшагося на все, презиравшаго все, расточавшаго все съ величайшимъ самопожертвованіемъ и самоотверженіемъ въ святомъ дѣлѣ чести, любви и вѣры». «Еще XIII вѣкъ увидѣлъ ослабленіе и охлажденіе этого святого одушевленія. Оскверненіе святого знамени креста, преступнымъ честолюбіемъ папъ безбожно употребленнаго на низкіе расчеты и виды, низвело героическій пылъ души изъ идеальныхъ странъ и научило его прилѣпляться къ низкимъ земнымъ выгодамъ. Чрезмѣрное усиленіе власти вассаловъ возродило справедливое подозрѣніе въ государяхъ и произвело междоусобныя войны внутри самого рыцарскаго міра,—войны, въ которыхъ искали удовлетворенія чувственнымъ потребностямъ эгоизма, а не общихъ выгодъ христіанства. Такимъ образомъ, рушилась эта первоначальная связь взаимной довѣренности, скрѣплявшая устройство феодальнаго правленія, благодѣтельно поддерживавшее рыцарство. Самая благоговѣйная привязанность къ религіи, освящавшая его постановленія божественною печатію, мало-по-малу стала въ сердцахъ людей уменьшаться и ослабѣвать, благодаря неслыханному тиранству двора римскаго и вопіющимъ на небо утѣсеніямъ, кои причиняемы были мірянамъ отъ духовныхъ



особь. XIV вѣкъ былъ эпохою потрясеній политическихъ и расколовъ религіозныхъ, кои были симптомами внутренняго разстройства міра рыцарскаго; оно и обнаружилось въ XV вѣкѣ повсюду».

«Рыцарскій духъ не совсѣмъ исчезъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ онъ былъ принимаемъ съ особеннымъ жаромъ (Испанія); но, подобно замерзшей, внезапно наводнившейся рѣкѣ, оцѣпенѣлъ. Въ другихъ странахъ міра, имъ одушевлявшася, какъ-то: въ Германіи, Франціи и Британіи, и слѣда его не осталось... Тридцатилѣтняя война, открывшаяся въ началѣ XVII вѣка и воспламенившая всю Европу, была послѣднимъ судомъ, гдѣ окончательно рѣшено дѣло міра рыцарскаго, давно состарѣвшася и изможденнаго. Послѣдняя искра этого благороднаго и безкорыстнаго энтузіазма, одушевлявшая старинное время рыцарскаго героизма, потухла съ Густавомъ Адольфомъ на поляхъ Лютценскихъ. И когда Вестфальскій миръ примирилъ вражды и неудовольствія Европы,— «тогда совершенно другой порядокъ вещей общественныхъ и частныхъ, одушевленный и поддерживающійся совершенно другимъ духомъ, явился въ сѣверныхъ ея странахъ, между тѣмъ какъ югъ погруженъ былъ въ мертвый сонъ». «Все, чѣмъ гордился міръ рыцарскій, исчезло вмѣстѣ съ недостатками и пороками, его погубившими. Духъ человѣческій, искушенный въ школѣ кровавыхъ опытовъ, высвободился отъ обольстительныхъ очарованій, чаяній и призраковъ, питавшихъ его и поддерживавшихъ его бытіе. Пламенному энтузіазму разгоряченнаго чувства наслѣдовали холодные расчеты разсудка. Честь и вѣрность, на коихъ основывалось зданіе феодальной общественной жизни, погрязли въ мрачной безднѣ замысловъ и обмановъ, на коихъ должно было держаться политическое равновѣсіе европейскаго міра, составляющее существенную форму его новой жизни. Оружіе уступило перу, рука мозгу, храбрость уму. Это преобразование политическаго состоянія имѣло величайшее вліяніе на всю жизнь человѣчества и сообщило совершенно новое направленіе, характеръ и видъ его образу мышленія, чувствованія и дѣйствованія. Беконъ низвелъ науку съ неба идеальныхъ созерцаній на землю опыта и наблюдений; Декартъ научилъ наблюдательный умъ поменьше довѣрять себѣ и начинать всякое вѣдѣніе съ сомнѣнія. Такимъ образомъ, философія стала благоразумнѣе, осмотрительнѣе, точнѣе». Вмѣстѣ съ тѣмъ, и «общественные нравы оставили прежнюю простоту и непринужденность, озаренную фантастическимъ свѣтомъ и столько

удивительную въ жизни и бытѣ рыцарей. Принужденныя обыкновенія напыщенной городской жизни и чинность церемоній оледенили искреннюю прямодушность, отличающую всѣ дѣйствія древнихъ паладиновъ. Той же самой участи подверглось и самое сердце, этотъ священный фокусъ человѣческаго организма, въ коемъ содержится и хранится весь его животворный воздухъ. Самое милое его чадо, живительный огонь любви, невозвратно утратило ту идеальную чистоту и фантастическій блескъ, коимъ оно сіяло въ цѣломудренныхъ сердцахъ романтическаго міра».

«Семейственное сожителство обоихъ половъ, подъ позолоченымъ игомъ услужливой вѣжливости, ввело въ общественную жизнь самыя изысканнѣйшія тонкости, переплавившія чувствовапіе до того, что въ немъ нельзя было узнать ни прежняго вида, ни капли прямоты. Почтительная робость мужей, по уничтоженіи идеальныхъ побужденій, измѣнилась въ поддѣльное и искусственное притворство и услужливость; а женскій полъ, упоенный чувствомъ ложной важности, приучился къ надменности, обманамъ и кознямъ. Отсюда на мѣсто любви чистой и цѣломудренной, вползло это смрадное животное, извѣстное подъ именемъ кокетства (*coquetterie*), или страсти нравиться. Ко всему этому, въ добавокъ бѣды, присовокупилось охлажденіе любви религіозной, которое, въ теченіе времени (*sic*), превратилось въ рѣшительное отступничество». Итакъ, «два предшествовавшіе вѣка, если представляли на югѣ Европы летаргическое опѣпенѣніе рыцарскаго духа, то на сѣверѣ показывали печальное зрѣлище постепеннаго изнеможенія его, которое, наконецъ, довело его до совершеннаго уничтоженія. Даже XVIII вѣкъ былъ не иное что, какъ *carut mortuum* человѣчества, откуда насиліе холоднаго эгоизма изгнало весь сокъ и кровь; онъ поставлялъ величіе въ тщеславіи, доблесть—въ огромности силъ, свободу—въ вольности, повиновеніе—въ рабствѣ, великодушіе—въ гордости»; очевидно, «ему былъ по сердцу одинъ призракъ жизни, когда уже всѣ органы движенія его были попорчены и основаніе подкопано».

«Какимъ же образомъ нѣжные цвѣты романтической поэзій могли уцѣлѣть подъ атмосферою столько суровою и холодною?.. Конечно, плодovitая и тучная почва, приученная въ теченіе столькихъ вѣковъ къ оплодотворенію ввѣренныхъ ей сѣмянъ, могла удержатъ въ себѣ производительную силу долго еще и послѣ того, какъ начала терять питательные соки и лишилась животворной росы. Даже зрѣлая ея жатва могла настать не прежде, какъ при

наступленіи осени, долженствовавшей собрать ея золотые плоды. Посему ни мало не удивительно, что XVI вѣкъ, свидѣтель упадка рыцарства, былъ еще озаренъ блескомъ славы романтической поэзіи. Вѣкъ Льва X въ Италиі, вѣкъ Франциска I во Франціи, вѣкъ Елисаветы въ Англіи, наконецъ самого Филиппа II въ Испаніи и Португаліи, относящійся также къ XVI столѣтію, не безъ права носить названіе *золотого*. Но въ этомъ самомъ золотѣ, коимъ каждый изъ нихъ блисталъ, можно уже видѣть признаки внутренней ржавчины... Золотой вѣкъ, при всемъ своемъ обиліи и богатствѣ въ изящныхъ поэтическихъ произведеніяхъ, былъ чадомъ романтическаго духа, родившимся уже послѣ его смерти, а потому жизнь его была непродолжительна и истребила сама себя. И чѣмъ далѣе пойдемъ мы отселѣ, тѣмъ въ безуцнѣйшую пустоту будемъ погружаться. Мы какъ будто предъ нашими глазами видимъ повсюду удивительное соотвѣтствіе постепеннаго приближенія романтической поэзіи къ смерти съ состояніемъ и духомъ дѣлъ общественныхъ».

«Подобно древнимъ титанамъ», итальянскіе и испанскіе поэты «истощали свои силы на взгроможденіе гигантскихъ образовъ и высокопарныхъ фразъ, изъ-подъ коихъ нерѣдко съ трудомъ можно выкопать какой-нибудь смыслъ». Съ другой стороны, во Франціи и Англіи «свѣточъ погаснувшаго поэтическаго пламени рассыпалъ туда и сюда искры напыщеннаго убранства или приторной учтивости. Наконецъ, по опорожненіи всего козчана шутокъ и остротъ, тамъ переступили даже предѣлы стыда и приличія и не устыдились осквернить священный языкъ музъ гнусными изображеніями и словами»... «Такимъ образомъ, романтическая поэзія, по уничтоженіи рыцарскаго духа», «безпрестанно перерождавшаяся и портившаяся, стала, наконецъ, позоромъ и посмѣшищемъ для самой себя, а посему и неудивительно, что имя *романическаго* (*romanesque*), приписываемое обыкновенно поддѣльнымъ его остаткамъ, до сихъ поръ почиталось и почитается чѣмъ-то смѣшнымъ и поноснымъ».

«Но природа человѣческая никогда не можетъ совершенно истощиться или прійти въ рѣшительное бездѣйствіе. Ей ничто столько не противно, какъ косная неподвижность». «Если недостатокъ силы и крѣпости препятствуетъ ей итти далѣе, то она лучше хочетъ отступать назадъ, нежели оставаться на одномъ мѣстѣ. Это случилось и съ поэтическимъ гениемъ на старости романтической поэзіи». «Въ то время, какъ ослабѣвшая ея сила уничто-

жала свое прежнее достоинство въ жалкихъ вырождахъ и возбуждала отвращеніе,—на сценѣ новѣйшаго міра явились мужи сильные и благородные, кои, негодуя на порчу своего вѣка, обратили свою дѣятельность вспять, и тамъ, въ нѣдрахъ почтенной древности классической, искали новаго священнаго огня, дабы имъ снова оживить мертвый и лишенный животворнаго начала трупъ».

«Невозможно не сознаться, что это изученіе древнихъ памятниковъ имѣло величайшее вліяніе на образованіе и усовершенствованіе самого романтическаго духа какъ въ Италіи, такъ и во всѣхъ странахъ романтическаго міра; хотя, съ другой стороны, должно согласиться, что излишняя и неумѣренная ревность къ этому изученію дала поводъ къ искаженію оригинальнаго романтическаго вкуса и нѣкоторымъ образомъ ускорила его паденіе. XV столѣтіе, особенно въ Италіи, давшей убѣжище, вмѣстѣ съ греками, бѣжавшими изъ своего завоеваннаго турками отечества, памятникамъ древней Эллады,—это столѣтіе устремило всю свою дѣятельность на то, чтобы извлечь памятники древніе изъ праха забвенія и очистить отъ всѣхъ пятенъ, положенныхъ на нихъ временемъ». Поэты, «одаренные чувствомъ изящнаго и сознающіе достоинство и высококость этихъ сокровищъ, обратились къ нимъ и пытались вознаградить угрожающую романтической поэзіи гибель вѣрнымъ ихъ воспроизведеніемъ».

«Завидная и славная доля быть счастливою покровительницею ревности къ возстановленію древней поэзіи» «была предназначена собственно Франціи». «Учрежденіе французской академіи, подъ вѣдѣніемъ знаменитаго Ришелье, рѣшило вкусъ націи, невозвратно подвергнувъ поэзію игу учености... Когда же остроумный Буало собралъ законы новаго поэтическаго уложенія, освященнаго примѣрами гениальныхъ мужей, и совокупилъ въ одну стройную систему, то этотъ кодексъ законовъ пріобрѣлъ важность номоканоническую и былъ принятъ не только въ его отечествѣ, но и во всѣхъ странахъ образованнаго міра, какъ высочайшій и единственный символъ поэтическаго православія... Всѣ даровитые поэты всѣхъ народовъ начали и мыслить, и чувствовать, и говорить по-французски».

«Этому поэтическому генію», развившемуся подъ вліяніемъ античныхъ писателей, «обыкновенно даютъ наименованіе *классическаго*, и не безъ основанія». Каждый согласится, что классическая древность служила для него величайшимъ первообразомъ

эстетическаго совершенства, и что въ *лучшихъ* его произведеніяхъ виднѣются многія черты очаровательной красоты, которой мы удивляемся въ безсмертныхъ твореніяхъ грековъ и римлянъ. Та же свѣтлость выраженія, правильность тона, точность объема, единство содержанія. Самая матерія, составляющая любимый его предметъ, берется изъ сокровищницы древняго міра, и основную ткань его вымысловъ составляетъ древняя міоологія. Онъ благоговѣнно хранитъ и почитаетъ священною для себя обязанностью соблюдать даже условные законы, не принадлежащіе къ внутреннему свойству поэзіи классической, но введенные по внѣшнимъ обстоятельствамъ или по произволу поэтовъ. Несмотря на то, *невозможно утверждать, что поэзія, отъ него протекающая, есть вѣрное изображеніе той оригинальной классической поэзіи, которую гордился міръ древній. Напротивъ, надобно искренно сознаться, что настоящей духъ поэзіи древней очень мало или даже совсѣмъ не постигнутъ новымъ духомъ, усвоившимъ себѣ имя классическаго.* Древняя поэзія была простымъ и безыскусственнымъ освѣщеніемъ природы. Ея міоологія была не иное что, какъ поэтическая *физиологія*; ея боги—препрославленные силы природы; ея герои—орудія ихъ неодолимаго могущества; ея люди—игралница ихъ неистощимой дѣятельности. Такимъ образомъ, бряцала ли она по звонкимъ струнамъ лиры, рисовала ли огромныя картины въ эпическомъ зеркалѣ (*sive tabulas grandes speculo epico adumbraret*), уставляла ли сцену драматическими фигурами,—вездѣ и всегда развивала одну великую панораму природы, непреложной во всѣхъ своихъ измѣненіяхъ, равной во всѣхъ колебаніяхъ, одинаковой во всѣхъ воспроизведеніяхъ. Объ этомъ-то самомъ и не было, и не могло быть даже ни малѣйшаго предощущенія у новѣйшей *ново-классической* поэзіи<sup>1)</sup>,

---

<sup>1)</sup> Французской поэзіи XVII и XVIII вв. Надеждинъ присвоилъ имя *ложноклассической*. «Г. Надеждинъ», пишетъ Бѣлинскій: «понимая, что классическое искусство было только у грековъ и римлянъ, называлъ французскую поэзію *псевдоклассическою*, неестественною и надутою» (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Спб.. 1903, т. VI, стр. 232). Бѣлинскій, очевидно, имѣлъ въ виду слѣдующее мѣсто изъ рѣчи Надеждина: «О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ»: «Разумію не тотъ *лживый*, поддѣльный *классицизмъ французской школы осмнадцатаго вѣка*, гдѣ священныя воспоминанія Греціи и Рима, раздавленные тяжестью париковъ, подпертыя фальшивыми ходулями, засыпанныя пудрой, обезображены румянами, представляли пзъ себя жалкія, смѣшныя карикатуры; но то искреннее, благо-

ибо нынѣ человѣкъ столь далеко подался и возрастомъ, и внутреннею крѣпостію, и возмужалостію, что ни за что не рѣшится уступить верховную власть и преимущество природѣ на счетъ своего собственнаго достоинства. Посему, не причиняя себѣ насилія, онъ никогда не изваяетъ себя, какъ статую, прикованную къ пьедесталу вселенной, безъ движенія, цвѣта и души, какъ обыкновенно дѣлала поэзія древняя. Вслѣдствіе того, въ произведеніяхъ *ново-классической* поэзіи и перенесенныя на сцену древняго міра фигуры имѣютъ совершенно другую фізіономію, ознаменовывающую ихъ видомъ гораздо болѣе человѣческимъ (*quae iis multo humaniorem speciem imprimit*). Не нужно, кажется, повторять давно всѣмъ извѣстнаго упрека, обыкновенно дѣлаемаго въ наше время *ново-классическому* духу, т. е. что онъ въ своихъ представленіяхъ преобразовалъ героевъ древности въ

---

родное, могучес соревнованіе древности, которос подъ вліяніемъ энтузіазма, возбужденнаго Винкельманомъ, съ высокимъ самоотверженіемъ, отрекалось отъ всѣхъ современныхъ причудъ и странностей, дабы воскресить въ безусловной чистотѣ лучезарное изящество классическаго міра» (Ученыя записки Императорскаго Московскаго университета. М., 1833, ч. I, стр. 427—428).—*Ложнымъ* называлъ французскій классицизмъ не одинъ Надеждинъ, но и Пушкинъ, который, «читая мелкія стихотворенія, величаемыя романтическими, не видѣлъ въ нихъ и слѣдовъ искренняго и свободнаго хода романтической поэзіи,—но жеманство *ложе-клас(сицизма) фр(анцузскаго)*» [Сочиненія Пушкина. Изданіе Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1908, т. II, стр. 18]. Мы были весьма удивлены тѣмъ, что С. А. Венгеровъ счелъ приведенныя выше слова Бѣлинскаго «*однимъ изъ проявленій слабости памяти*» послѣдняго, категорически заявилъ *объ отсутствіи въ сочиненіяхъ Надеждина термина «псевдоклассицизмъ»* и усмотрѣлъ въ этомъ терминѣ «*совсѣмъ свѣжее, сейчасъ (въ 1840 г.) придуманное оскорбленіе*», «брошенное Бѣлинскимъ въ лицо ненавистной ему тогда французской литературѣ». «Чтѣ въ самомъ дѣлѣ принадлежитъ ему въ исторіи *изобрѣтенія термина «псевдоклассицизмъ»?*» задаетъ вопросъ С. А. Венгеровъ. «Отнюдь не инициатива, не новость мысли, а исключительно сила чувства Въ 1840 г. паденіе классицизма, разрушеннаго ударами Полевого, Надеждина и всѣмъ литературнымъ движеніемъ 20-хъ и 30-хъ годовъ, было уже совершившимся фактомъ. Но еще надо было ему нанести послѣдній ударъ, чтобы окончательно стереть его съ лица литературы русской, нужно было эффектно завершить долготѣнную борьбу чѣмъ-нибудь особенно яркимъ. И вотъ тутъ-то, по обыкновенію, необузданность Бѣлинскаго и сыграла свою роль. Не сказавъ ничего новаго по существу, онъ сказалъ нѣчто чрезвычайно сильное по страстности выраженія, и теперь классицизмъ былъ убитъ навсегда» (Полное собраніе соч. В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1901, т. V, стр. 542—544).—Разсуждая такимъ образомъ, почтенный редакторъ сочиненій Пушкина и Бѣлинскаго сдѣлалъ досадную ошибку.

придворныхъ Версаля, убралъ ихъ въ щегольской нарядъ по французской модѣ и всѣ ихъ слова и дѣйствія принаровилъ къ церемоніямъ и обычаямъ свѣтскости французской. Не въ этомъ главное; да это не можетъ быть и вмѣнено ему въ большую вину, ибо такова сила поэтическаго духа, что къ чему онъ ни прикоснется своимъ скипетромъ, все старается уподобить самому себѣ и преобразовать на свой манеръ. Посему самые оригинальные поэты классическіе, равно какъ и романтическіе, многократно подвергались этому же недостатку и погрѣшности. У грековъ, на примѣръ, самые небожители чтѣ иное были, какъ не знаменитые и богатые греки, мыслящіе и говорящіе по-гречески, чувствующіе и живущіе по-гречески? И удержимся ли мы отъ смѣха, увидѣвъ въ романтическихъ пѣсняхъ Александра Великаго преобразованнымъ въ настоящаго паладина или добраго Орфея, проименованнаго громкимъ названіемъ *сира*? Итакъ, *ново-классическая* поэзія воспользовалась тѣмъ правомъ, которое составляетъ родовое наслѣдіе творческаго искусства. Совершенно другое и притомъ гораздо важнѣйшее различіе между древними первообразами и новѣйшими отобразами (*естура*), кои она старалась обрабатывать. Здѣсь древніе боги и герои не менѣе, какъ великіе предстоятели природы: въ ихъ жилахъ течетъ кровь человѣческая; въ ихъ груди бьется сердце человѣческое. Слѣдственно они причастны *человѣчества*. И вотъ причина, почему ихъ представленіе не могло быть таково же, какъ и прежде, хотя оно и удержало всѣ внѣшнія формы древней классической поэзіи. Сколько бы ни были сильны и дѣйствительны поэтическія украшенія, коими оно убрано, но тайное чувство этой несоотвѣтственности между внутреннимъ духомъ и внѣшними формами никогда не умолкаетъ и разрушаетъ эстетическое очарованіе. Это то же самое, какъ если бы кто-нибудь вздумалъ великолѣпную галерею древнихъ статуй раскрасить различными цвѣтами, хотя бы съ величайшимъ искусствомъ расположенными и смѣшанными. Тогда всякій подумалъ бы, что онъ видитъ прекрасныя куклы, а не превосходные памятники пластическаго искусства. Такимъ образомъ, отнюдь не удивительно, что обаяніе, которымъ французская поэзія обморочила весь образованный міръ, не могло быть дѣйствительно и, позванное предъ судилище строгой критики, исчезло подобно воздушному призраку. Этотъ звучный и сильный тонъ, который издавала древняя лира, благоговѣйно прославляя тайны природы, могъ ли возбудить такое же святое изступленіе, бывъ низведенъ на

выраженіе безнравственныхъ оболъщенийъ или утонченныхъ злоухищреній похоти? Простота и торжественное величіе, ознаменовывающее древній эпосъ, какъ высокій образъ божественныхъ дѣлъ въ природѣ, какъ могли приличествовать біографическому повѣствованію дѣлъ человѣческихъ, коего опытъ такъ неудаченъ въ Вольтеровой «Генриадѣ»? Правильность и спокойное пресѣченіе драматическаго содержанія, къ коему была привязана и трагедія, и комедія древняя,—вѣрныя истолковательницы мертвой бездѣйственности неподвижныхъ судебъ,—не должны ли были задерживать подвижность и быстроту дѣлъ человѣческихъ, представляемыхъ нынѣшнею драмой? *Итакъ, не должно быть обвиняемо возмущеніе, вспыхнувшее подъ знаменами германцевъ противъ поэтическаго деспотизма французовъ въ наше время. Въдь, «для повсюднаго принятія этой прекрасной формы, выработанной по образцу древней поэзіи классической, за единственный первообразъ и канонъ поэтическаго изящества,—надлежало бы прежде воскресить самый духъ классической древности въ его оригинальной чистотѣ и цѣлости. Но духъ человѣчскій, безпрестанно идущій впередъ, не можетъ снова вспять возвращаться и приходить въ прежнее состояніе. Въкъ, однажды умершій, не воскреснетъ<sup>1)</sup>. Посему этотъ метемпсихозъ (sic) поэзіи классической, который замышлялъ французскій геній и навязывалъ всему поэтическому европейскому міру, какъ смѣлое и благородное покушеніе и усиліе творческой силы,—совершенно похваленъ, но никакъ не можетъ и не долженъ быть признанъ единственнымъ и повсюднымъ правиломъ эстетическаго совер-*

---

<sup>1)</sup> Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 11, стр. 199—200: «Міръ, въ коемъ мы нынѣ живемъ, мыслимъ и чувствуемъ, не есть міръ древній, классическій. Не то, чтобы природа человѣческая измѣнилась: она, не въ осудъ новыхъ нашихъ умниковъ, всегда одна и та же! Измѣнились ея отношенія къ природѣ внѣшней, а слѣдовательно и къ самой себѣ. Мы нынѣ иначе смотримъ... иначе и видимъ! Отсюда то, что для древняго классическаго міра было роднымъ, приснымъ, свѣтымъ,—для насъ нынѣ есть... чужое, заимствованное, не наше. Тщетно старались бы мы воспроизвести теперь древнюю классическую жизнь во всей первообразной чистотѣ ея,—это экзотическое растеніе, которое не приметя никакъ на нашей литературной почвѣ. То, что въ древнихъ искусственныхъ произведеніяхъ составляло естественный румянецъ цвѣтущей жизни, у насъ теперь будетъ поддѣльными румянами! Это-то и расположило умы къ возмущенію противъ теорій, проповѣдывавшихъ рабскую привязанность не только къ духу, но даже къ самымъ внѣшнимъ формамъ классической древности».



шенства. Итакъ, прощайте, великія тѣни Корнеля и Расина! Прощай, громогласная лира, по коей ударили могучіе персты Руссо и Помпиньяна! Прощай, очаровательная свирѣль Флоріана и Делиля! Но да не допустятъ Камены—почтенію, достождному великимъ мужамъ, превратиться въ суевѣрное жертвоприношеніе, и французскому трауру имѣть рѣшительное первенство въ дѣлахъ поэтической совѣсти!»<sup>1)</sup>

«Но какая благодѣтельная власть должна была заступитъ мѣсто ниспроверженной тираніи французскаго вкуса? Кому надлежало отдать скипетръ владычества, исторгнутый у поэзіи классической? Можетъ быть, не романтической ли?» Эту послѣднюю мысль, дѣйствительно, стали развивать новѣйшіе германскіе мыслители. Классицизмъ «опостылѣлъ», а «предрасположеніе» къ романтизму должно было усилиться, такъ какъ «духъ, вѣющій въ произведеніяхъ романтической поэзіи», «сроднѣе съ духомъ настоящихъ временъ, чѣмъ тотъ, коимъ дышитъ классическая древность, отдѣленная отъ насъ столь многими вѣками». «Зная возмущенія было поднято во имя романтической поэзіи, какъ единственной хранительницы истиннаго изящества», и самое возмущеніе, произведенное сначала подъ благовиднымъ предлогомъ

---

<sup>1)</sup> Приведенныя цитаты прекрасно характеризуютъ литературныя воззрѣнія Надеждина. Ученаго критика, беспощадно разоблачившаго слабыя стороны французской поэзіи XVII—XVIII вв. и заклеймившаго французскій классицизмъ прозвищемъ «*лживаго*», никоимъ образомъ нельзя назвать *классикомъ*, употребляя это слово въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребилъ С. А. Венгеровъ въ своемъ отзывѣ о Надеждинѣ (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1900, т. I, стр. 432). Признаніе талантовъ Корнеля, Расина и Мольера не есть еще оправданіе псевдоклассической теоріи, которой Надеждинъ, подобно Лессингу, нанесъ смертельный ударъ.—«Кто—писалъ Надеждинъ—въ «Россіадѣ» или «Владимірѣ» Хераскова, образованныхъ по корану Буало и Батте, видитъ нѣчто большее, чѣмъ достопочтенные памятники неусыпаго трудолюбія, которое никогда не можетъ замѣнить скудость гения (*qui tamen ingenii inopiam vincere nullomodo potuerit*)? Кому нравится рабская подражательность (*imitatio pedisequa*) въ трагедіяхъ Сумарокова и Княжвина, если бѣ даже она и не столь уродливо скрипѣла подъ тяжестію языка ржаваго, обветшавшаго? Самому Озерову рукоплещемъ больше по снисхожденію, ибо онъ только одинъ, какъ порохъ въ глазѣ,—у насъ на театрѣ» (*Вѣстникъ Европы*, 1830, № 2, стр. 147—148).—Напомнимъ кстати, что и С. А. Венгеровъ, впадая въ противорѣчіе съ самимъ собою, въ другомъ мѣстѣ говоритъ о «паденіи классицизма, разрушеннаго ударами Надеждина» (Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1901, т. V, стр. 543).

«любви и ревности къ поэтической свободѣ», «превратилось вскорѣ въ фанатическое изступленіе и прорвалось за предѣлы Германіи». «Вся Европа взволновалась. И добро бы только тѣ народы, на которыхъ тяготѣло чуждое французское иго, приняли участіе въ сей революціи: сама Франція вооружилась противъ самой себя и добровольно приняла сторону измѣнившихъ ей мятежниковъ. Неблагодарная къ своимъ великимъ гениямъ, коихъ славѣ одолжена была вѣковымъ владычествомъ надъ Европою, она отрекается отъ должнаго имъ благоговѣнія и стыдится уже чести быть отчизной Корнелей и Расиновъ. «Долой, долой классицизмъ! Мы романтики!»... Такой возгласъ раздается повсюду на «родинѣ *ново-классическаго* поэтическаго направленія».

Но поэзія романтическая, какъ и сестра ея — классическая, выражаетъ «одну только половинную сторону человѣчества», и «вопреки всѣмъ покушеніямъ и усиліямъ привить ее къ настоящей почвѣ, не можетъ удачно приняться». Для романтической поэзіи «верховнымъ первообразомъ изящества была внутренняя природа человѣческая, предоставленная одной себѣ», и этотъ первообразъ «воплощался въ бурномъ кипѣніи страстей», собственномъ паладинамъ среднихъ вѣковъ. Эти «прекрасныя времена рыцарскаго одушевленія уже не существуютъ болѣе; они прошли, и прошли невозвратно», — и «романтическая односторонность, составлявшая тогда верхъ эстетическаго достоинства, нынѣ будетъ уже совершеннымъ анахронизмомъ». «И дѣйствительно! Сіе беззаботное удалство, заставлявшее нѣкогда рыцарей мыкаться по бѣлому свѣту и доискиваться приключеній, нынѣ будетъ уже возбуждать не почтительное изумленіе и благоговѣйную любовь, но улыбку сожалѣнія, если еще не презрѣнія. Сіи тоскливыя жалобы и грустныя томленія безутѣшной мечтательности скорѣе сами нагоняютъ тоску, чѣмъ вымолятъ привѣтный отзывъ изъ оглушаемаго ими сердца.. Сіи любопытные рассказы о дивахъ дивныхъ и чудахъ чудныхъ — о сильныхъ, могучихъ богатыряхъ, коимъ море было по колѣно; о черноглазыхъ и чернобровыхъ красавицахъ, коихъ взоромъ угашался огонь и притуплялось желѣзо; о колдунахъ и колдуньяхъ, пошучивающихъ спокойно законами и порядкомъ природы; о привидѣніяхъ и домовыхъ, разгуливающихъ безпрѣпятственно по кладбищамъ и старымъ замкамъ ночью порою, — сіи рассказы совершенно другую имѣютъ цѣну, или лучше никакой не имѣютъ нынѣ, когда назначаются уже не для того только, чтобы укорачивать длинные вечера скром-

ной семьи суроваго барона, уединяющейся въ стѣнахъ древней башни, которая составляетъ для ней кругозоръ всей знакомой вселенной. Сіи сладкія мечтанія восторженнаго сердца, плѣняющія насъ своей безыскусственною естественностью въ пѣсняхъ трубадуровъ, становятся приторными бреднями» въ произведеніяхъ современныхъ писателей. «Для того, чтобы воскресить нынѣ снова романтическую поэзію, надлежало бы измѣнить весь настоящий порядокъ вещей и воззвать къ жизни святую старину времени среднихъ. Пусть повѣсятся опять высокія башни и грозныя замки на неприступныхъ утесахъ; пусть поселится въ нихъ та же скудость опытности и то же обиліе простодушія; пускай стануть снова протекать землю странствующіе рыцари объ руку со скитающимися трубадурами,—тогда романтическая арфа можетъ опять издавать подобныя прежнимъ звуки и чаровать сердца съ равною силою. Иначе—она не достигнетъ до внутренняго слуха души человѣческой... *Распухленныя Агамемноны не болѣе приторны, какъ и обмундированныя Донъ-Кихоты.* И заставлятъ поэтическую фантазію безпрестанно скитаться со странствующими рыцарями по вертепамъ колдуновъ, страшилищъ и привидѣній—не менѣе бессмысленно и смѣшно, какъ принуждать ее вертѣться до упаду вокругъ Иліонскихъ стѣнъ и отпѣвать безконечную фамилію Атридовъ и Пріамидовъ».

Сторонники романтической поэзіи говорятъ, что они «требуютъ не полнаго и совершеннаго возстановленія ея, какою нѣкогда была она», а «только соревнованія внутреннему ея духу». Возможно ли, однако, въ XIX столѣтіи, «уловлять и оковывать сей духъ въ произведеніяхъ эстетическихъ?» Романтическая поэзія, въ средніе вѣка, «была *втрннмъ эхомъ дѣйствительности*, когда, растекаясь по безмѣрному океану человѣческой жизни, не поставляла себѣ никакихъ предѣловъ и отвергала всякую мѣру, прорывалась изъ всякаго порядка, посмѣвалась всякому устройству. Для ней всѣ изображаемая ею блужданія и скитанія духа имѣли важность естественности, и само собою разумѣется, что, изображая ихъ, она должна была сама блуждать и скитаться». «Ея существенное назначеніе было—быть свидѣтельницею и исповѣдницею верховной свободы духа человѣческаго. Но таково ли положеніе настоящаго міра, въ коемъ живемъ мы? Человѣкъ *классическій* былъ покорный рабъ влеченія животной своей природы; человѣкъ *романтический* былъ своенравный самовластитель движеній своей природы. И тамъ, и здѣсь ушрался онъ въ

*крайности*: или какъ невольникъ вѣщественной необходимости, или какъ игралище призраковъ собственнаго своего воображенія. *Нашъ вѣкъ какъ будто соединяетъ или, по крайней мѣрѣ, стремится къ соединенію сихъ двухъ крайностей*, чрезъ упроченіе, просвѣтленіе и торжественное, на алтарѣ истинной мудрости, освященіе узъ общественныхъ. Человѣкъ, искусившійся въ школѣ кровавыхъ опытовъ, научился укрощать свою свободу силою сей же самой свободы и покоряться спасительному игу гражданскаго устройства, безъ всякой опасности для внутренняго своего достоинства. Нынѣ онъ хочетъ быть рабомъ самого себя; и сіе-то рабство есть безусловное владычество, коего ничто возвышеннѣе, ничто изящнѣе, ничто святѣе измыслено быть не можетъ. Такимъ образомъ, стремленіе къ установленію, возвышенію и просвѣтленію *гражданственности* составляетъ существенный характеръ періода, въ которомъ живемъ мы. Во времена первобытныя чело-вѣчество образовало собою семейство; во времена классическія—мірской сходъ; во времена романтическія—ставъ воинскій; въ наши дни хочетъ быть истиннымъ гражданскимъ обществомъ. Но въ благоустроенномъ гражданскомъ обществѣ царствуетъ только свобода, управляемая разумомъ; и посему есть *предѣлы*, изъ которыхъ насильственно выбиваться не слѣдуетъ и не должно. И именно гражданину *настоящаго міра* не слѣдуетъ сія неумѣренная расточительность внѣшней жизни, по силѣ коей все классическое бытіе рода чело-вѣческаго было не что иное, какъ веселое пированіе въ роскошномъ лонѣ природы; но, съ другой стороны, онъ не долженъ позволять себѣ и того бурнаго кипѣнія жизни внутренней», подъ влияніемъ котораго «духъ романтическаго міра необузданно скитался по распутіямъ мечтаній и призраковъ (*per avia et devia regionum idealium*)». «Есть много вещей, коихъ не стыдилась прстодушная классическая древность», но которыя теперь оскорбляютъ «чувство, утонченное приличіемъ»; «равнымъ образомъ, есть не менѣе и такихъ, кои составляли гордость и красу неугомоннаго романтическаго міра, нынѣ же заклеимены поношеніемъ и объявлены преступленіями предъ судилищемъ законовъ и совѣсти (*infamiae et criminis macula inunguntur*)». Поэтому неудачны попытки возстановить романтизмъ. «Кровь стынетъ въ жилахъ отъ ужасовъ, расточаемыхъ нынѣ столь добродушною щедростію во имя романтической поэзіи. Нѣтъ столь лютаго злодѣйства, которое признавалось бы недостойнымъ составлять узелъ или развязку поэтическаго произве-

денія; нѣтъ столь гнусной мерзости, которая бы считалась несовмѣстною съ предѣстами эстетическаго изящества... Насилія, грабежи, разбои, убійства, братоубійства, отцеубійства, самоубійства—однимъ словомъ, всѣ неистовства, до какихъ только можетъ низвергаться человѣческая природа въ минуты преступнаго самозабвенія, составляютъ вѣнецъ и украшеніе настоящей поэзіи, величающейся несправедливо похищаемымъ именемъ *романтической*. И эти «мрачныя пятна, огрязняющія небесную чистоту безсмертной души», «представлены въ лживомъ соблазнительномъ свѣтѣ»<sup>1)</sup>. «Мы живописцы природы, и хотимъ живописать все ея! Ничто естественное не зазорно!» заявляютъ «поборники лжеромантическаго раскола». «Сей поэтическій цинизмъ тогда бѣ только могъ быть допущенъ, когда бы поэзія была не болѣе, какъ работоропная подражательница и списчица природы. Но сія первородная дщерь безсмертнаго духа, по сознанію самихъ раскольниковъ, есть священнослужительница вѣчнаго изящества. Всѣ произведенія ея должны быть ознаменованы таинственною печатію божества, предъ алтаремъ коего она священнодѣйствуетъ. Что же есть изящество, какъ не *всесовершеннѣйшая гармонія*? И какая гармонія можетъ бытъ подслушиваема въ буйныхъ вихряхъ неистовыхъ страстей?»... «Искусство должно быть живымъ зеркаломъ природы; но природа человѣческая, какъ совершеннѣйшее дѣло зиждительныхъ перстовъ верховнаго всехудожника, такъ устроена, что всѣ частныя ея разногласія и перекоры спасаются во всеобщей гармоніи великой драмы судебъ человѣческихъ. Дѣло было бы другое, если бѣ поэзія смогла окинуть однимъ всеобъемлющимъ взглядомъ весь безпредѣльный океанъ человѣческой жизни и умѣстить въ рамы одной великой поэтической картины. Тогда бѣ невозбранно было ей передавать со всею точностію и тѣ пятна, коими загрязнена она отъ собственныхъ рукъ человѣческихъ. Но это безконечно превышаетъ мѣры силъ сотвореннаго духа». Зачѣмъ же изображать въ поэтическихъ произведеніяхъ «одни только мутные, грязные затоны» вмѣсто «чистыхъ, хрустальныхъ струй, въ коихъ рисуется ясно голубое небо и играетъ весело золотой лучъ солнечный?» Зачѣмъ «представлять жизнь человѣческую въ ужасныхъ конвульсіяхъ» и

<sup>1)</sup> Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1828, № 22, стр. 88: «Пошли безпрестанныя рѣзанья, стрѣлянья, душегубства—ни за что, ни про что... для одного романтическаго эффекта».

«омрачать» «природу человѣческую», какъ это сдѣлалъ знаменитый Байронъ, «попустившій овладѣть собою такому *лже-романтическому* неистовству?» «Великій геній», слава котораго прогремѣла по «всей литературной вселенной», увлекъ за собою «безмысленное стадо подражателей», «передразнивающихъ» его «съ жалкимъ умысломъ». И смѣхъ и горе должны возбуждать въ насъ «эти суетливые рои ничтожныхъ пигмеевъ поэтического міра, толкущіеся въ лучахъ славы Байроновой, подобно весеннимъ мошкамъ, и ихъ пискливыя жалобы и кислыя гримасы на все» окружающее.

«Менѣ негодованія, но не болѣе извиненія заслуживаютъ фигляры, кои думаютъ воскресить романтическую поэзію въ китайскихъ тѣняхъ мертвецовъ и привидѣній. Въ наши времена это фокусничество еще обыкновеннѣе сумасброднаго выкликанья байронистовъ. Не умѣя иначе зазвать (sic) на себя вниманіе, пѣвцы наши укутываются ночными мраками, заводятъ знакомство съ колдунами и вѣдьмами, шарятъ на кладбищахъ, перегряхиваютъ истлѣвшіе остовы, однимъ словомъ, растревоживаютъ всю бѣсовщину, дабы взять, по крайней мѣрѣ, испугомъ, когда не беретъ сила»... «Конечно, нельзя оспаривать, что романтическая поэзія дѣйствительно любила строенія чаръ и пированія тѣней (*incantamentorum machinationes spectrogrumque bacchanalia*); но они составляли для нея положительный догматъ не только эстетическаго, но и религіознаго вѣрованія... А этого-то именно въ настоящія времена нѣтъ, да и быть не можетъ. Одни только дѣти у насъ нынѣ вѣрятъ сказкамъ о духахъ и мертвецахъ—изъ добродушной довѣренности къ своимъ нянямъ и кормилицамъ». И «одинъ призракъ романтической поэзіи, и притомъ самый безобразнѣйшій, представляютъ намъ стиходѣи», растрчивающіе «богатства воображенія на возбужденіе сатанинскихъ ужасовъ». «Океанъ жизни человѣческой самъ въ себѣ такъ глубокъ и неистощимъ, что *вдохновенію поэтическому представляетъ безконечное поприще, на которомъ оно можетъ собирать роскошную жатву, столь же мало имѣя нужды забиваться въ преисподнюю пучину адскихъ мраковъ, какъ и залетать на увядшія давно вершины состарѣвшагося Олимпа*».

«Остается еще сказать о той *поэтической свободѣ*, коей возстановленіе и утвержденіе добывается нынѣ подъ именемъ романтизма». «Нельзя, конечно, отрицать, что *рабское ярмо французскаго вкуса, возлагаемое на поэзію, во имя Аристотеля и Буало,*

насмлуетъ ея истинное достоинство и посему отнюдь не можетъ и не должно быть терпимо». «Подобно какъ природа въ произведеніяхъ своихъ безконечно разнообразна и безусловно самовластна, точно такъ и поэзія—ея соревновательница и содѣйственница. Свобода, высочайшая свобода составляетъ ея необходимую стихію, безъ которой она превращается въ мертвое механическое ремесло пустозвучнаго риторства. Но та ли это свобода, о которой проповѣдуютъ намъ лжеромантическіе гаеры?.. Это не свобода мудрая и благодѣтельная, состоящая въ неукоснительной покорности вдохновенію просвѣтленнаго умоу генія, но пагубное безначаліе—истинной свободы растлѣніе; обреченіе на позорное рабство своевольному буйству—въ перекоръ уму и въ гибель воображенія!.. И именно имъ хочется, чтобы поэзія не ограничивалась никакими предѣлами, не вѣдала никакихъ законовъ, не подчинялась никакимъ правиламъ <sup>1)</sup>). Какъ будто бы искусство можетъ быть удобомыслимо безъ органическаго законоположенія! Какъ будто бы природа, коей оно соревнуеть, не есть вѣчный порядокъ, развивающійся по непреложнымъ законамъ!.. *Поработать силу генія какому-нибудь кодексу, хотя бы онъ былъ освященъ авторитетомъ многихъ столѣтій—Фебъ да сохранитъ насъ!* Тѣмъ не менѣе, однако, мы не можемъ позволить ей и блуждать по распутьямъ своевольства безъ всякаго вниманія и уваженія къ кореннымъ законамъ поэтическаго благоустройства!.. Странное дѣло! Искусство, коего отличительное характеристическое свойство состоитъ въ гармоническомъ сочетаніи звуковъ по законамъ соразмѣрности, можетъ ли позволять внутреннему своему 'духу обходиться безъ того, что такъ строго соблюдаетъ во внѣшнихъ формахъ? Къ чему послужитъ ему сія механическая просодія словъ безъ органической, такъ сказать, просодіи самыхъ образовъ, коихъ слова составляютъ только кору и оболочку (*sine organica, ut sic dicamus, prosodia ipsarum idearum, quarum verba non sint, nisi corpora*)? Позволительно ли тѣмъ, кои мастерски умѣютъ оковывать звуки мелодической мѣрой, не умѣть внести стройный порядокъ ум-

---

<sup>1)</sup> Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 8, стр. 287—290; № 10, стр. 130: Русскій романтизмъ начала XIX вѣка—«литературная анархія», т. е. разрушеніе стараго, «ниспроверженіе всѣхъ законовъ и правъ», отрицаніе «закондательной власти здраваго вкуса» и провозглашеніе «безусловной свободы генія», безъ всякаго творчества, созиданія. Между тѣмъ «романтизмъ въ своемъ чистомъ знаменованіи, долженъ имѣть свои правила».

ственной связи въ составъ своихъ мыслей? Прилично ли тѣмъ, коихъ языкъ боится оскорбить слухъ малѣйшею шероховатостью, издѣваться умышленно надъ законными требованіями здраваго разума и добраго вкуса?»

Чтобы создать прекрасныя художественныя произведенія, слѣдуетъ «учиться... непременно учиться». Изъ «круга ученія» не должны быть исключены ни романтическая поэзія, ни «священные памятники классической древности,—разумѣется, *не въ поддѣльныхъ французскихъ слѣткахъ, но изъ самыхъ чистѣйшихъ оригинальныхъ источниковъ*». «Родъ человѣческой, уже дважды жившій и отживавшій полную жизнь мужества, по всѣмъ примѣтамъ, вступаетъ нынѣ въ новый, *третій* періодъ существованія». Предъ современнымъ человѣчествомъ «распространяются два великіе міра»: «древній» и «средній». Они «изобилуютъ всѣми богатствами просвѣщенія, дѣятельности и творчества». И кажется, сама природа предлагаетъ великую задачу—«*возвести полярную* противоположность, ими выражаемую къ *средоточному единству*, не чрезъ механическое ихъ сгроможденіе, но чрезъ внутреннее динамическое соприкосновеніе (сопроникновеніе=*per dynamicam quasi compenetrationem*)», «такъ, чтобы всѣ мраки противорѣчій, чреватые пагубными заблужденіями, разсѣялись—и воцарился ясный день тишины, мира и гармоніи».—Какой же націи удастся выполнить это «великое требованіе природы?»<sup>1)</sup> Весьма вѣроятно, что «святая мать Русь, дочь и представительница великаго славянскаго племени, назначается маниемъ несповѣдимаго Промысла разыгрывать первую роль въ новомъ дѣйствіи великой драмы судебъ человѣческихъ; и что, можетъ быть, она будетъ для временъ грядущихъ тѣмъ же, чѣмъ нѣкогда были пелазги для классическаго міра и тевтоны для міра романтическаго. Почему жъ нельзя гадать того же и о поэтической ея жизни? Кто знаетъ, не соблюдается ли, можетъ быть, для ней слава того *внутреннѣйшаго соединенія между обоими полюсами творческой дѣятельности*, котораго требуетъ, жаждетъ нынѣ духъ человѣческой»<sup>1)</sup>?

<sup>1)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 1, стр. 4—37; № 2, стр. 122—151.—Ср. *N. Nadeždin. De Poesi Romantica*, pp. 140, 145: «Duo itaque mundi, divitiis omnibus ingenii et culturae affluentissimi, coram nobis jacent. Problemaque gravissimum nobis videtur ab ipsa natura praepositum esse, *utriusque ingenium*, ex



Внимательно прочитавъ диссертацию Надеждина, тщательно взвѣсивъ и опѣнивъ высказанныя имъ мысли, всякій признаетъ большую эрудицію автора и его прекрасныя критическія способности. Сторонникъ національной поэзіи, Надеждинъ былъ врагъ всего фальшиваго, наноснаго, плохо усвоенныхъ и переработанныхъ чужеземныхъ теорій и легкомысленнаго подражанія иностраннымъ образцамъ <sup>1)</sup>. Ясность и точность ума и блестящее знаніе западно-европейскихъ языковъ дали ему возможность быстро ориентироваться въ массѣ извѣстнаго ему поэтическаго матеріала, воздать должное великому и развѣнчать мнимыхъ гениевъ, не по заслугамъ возведенныхъ на пьедесталъ легкомысленными читателями и модой. Онъ старался быть безпристрастнымъ и послѣдовательнымъ въ своихъ заключеніяхъ и настойчиво проводилъ свои твердо установившіеся литературныя взгляды. Эти взгляды нѣсколько сближаютъ его съ Лессингомъ. Какъ и знаменитый нѣмецкій писатель, онъ порицаетъ псевдоклассицизмъ, преклоняется передъ Гомеромъ и приходитъ въ восхищеніе отъ Шекспира. «Вся поэзія эллиновъ», пишетъ онъ: «вѣчно кружилась около стѣнъ Иліонскихъ и была не болѣе, какъ вѣрною спутницею Гомера. Здѣсь (въ «Иліадѣ») неизсякаемый источникъ, изъ котораго почерпнуто все, что въ послѣдующіе вѣка рапсоды пѣли на звучныхъ струнахъ (*fidibus sonoris recinebant*) и актеры представляли въ великолѣпныхъ театрахъ». Равнымъ Гомеру по

---

*oppositione polari, ad centralem unitatem, non per mechanicam coagmentationem, sed per dynamicam quasi compenetrationem, revocandi: ita ut omnes repugnantiarum nubes, funestissimis malis, tanquam tempestatibus, gravidae evanescent, diesque aeterna serenitate resplendescens oriatur.* «Comprimique non potest gratum praesagium, aliam Rossiam, antiquiorum Slavorum prolem splendidissimam, Providentiae supremae numine impervio destinatum esse ad priores partes in novo actu dramatis magni fatorum humanorum agendas: idque fortasse temporibus subsecuturis fore, quod Graeci mundo Classico Teutonisque mundo Romantico fuerant. Quam ob causam idem de poetica ejus vita non sit ominandum? Quis sciat, an forsitan ei reservata sit quoque gloria illius unionis intimae, quam inter utramque ingenii poetici ditionem desideramus et concupiscimus?»

<sup>1)</sup> *Ученыя записки Императорскаго Московскаго университета.* 1833, ч. I, стр. 443—444: «Геній чувствуетъ, что онъ можетъ жить и дышать свободно только въ своей родной атмосферѣ, своимъ роднымъ воздухомъ. И дѣйствительно, здравый смыслъ и очевидные опыты удостовѣряютъ, что изящныя формы, переносимыя подъ иное небо, на чужую землю, подобно пересаженнымъ растеніямъ, вянуть и умираютъ»... Искусство не можетъ «ожидать для себя блистательной будущности, оставаясь закованнымъ въ чужія, заносныя формы».

силѣ дарованія и вліянію на послѣдующія поколѣнія въ позднѣйшія времена является только Шекспиръ, «могучій представитель идеальнаго генія *среднихъ вѣковъ*» <sup>1)</sup>. «Этотъ великій человѣкъ», «краса всего поэтическаго міра», «измѣрилъ всю сферу драматическаго машинизма» (*totam sphaeram dramaticae machinationis*) и «такъ хорошо понялъ отечественный *національный* духъ и уловилъ въ своихъ твореніяхъ, что длинный рядъ англійскихъ драматурговъ былъ не болѣе, какъ его поколѣніемъ». — Читая эти строки, нельзя не припомнить прекрасныхъ словъ Лессинга: «Про Гомера говорили, что легче отнять палицу у Геркулеса, чѣмъ отвоевать у Гомера стихъ. Это можно вполнѣ примѣнить къ Шекспиру. Малѣйшая изъ его красотъ отмѣчена такою печатью, что провозглашаетъ на весь свѣтъ: «Я принадлежу Шекспиру! И горе чужой красотѣ, дерзающей стать со мною рядомъ» <sup>2)</sup>).

Была, однако, и разница въ воззрѣніяхъ Лессинга и Надеждина. Авторъ «Гамбургской драматургіи» въ своихъ статьяхъ обращалъ большое вниманіе на самобытность древнихъ и англійскаго трагика и высказывалъ мысль, что даровитый поэтъ «можетъ сравняться съ греками и Шекспиромъ не тогда, когда будетъ передразнивать ихъ, а когда будетъ такимъ же, какими были они, т. е. когда останется вѣренъ самому себѣ и будетъ изображать то, что чувствуетъ и переживаетъ» <sup>3)</sup>. Такую же идею развивалъ и Надеждинъ; но онъ шелъ далѣе и, увлеченный нѣмецкими и французскими теоретиками начала XIX вѣка, сталъ мечтать о пресловутомъ синтезѣ классицизма и романтизма. Подобно нѣкоторымъ изъ этихъ теоретиковъ, онъ видѣлъ въ произведеніяхъ современныхъ ему писателей попытку воскресить средневѣковую поэзію христіанскихъ народовъ, и эту попытку онъ считалъ неудачной. Онъ называлъ новое направленіе «*псевдоромантизмомъ*» и порицалъ его наряду съ «*ложивымъ классицизмомъ*». Мы не греки и не римляне и не паладины среднихъ вѣковъ,—разсуждалъ онъ,—слѣдовательно, ни классическая, ни романтическая литература намъ не годятся. Но мы можемъ

<sup>1)</sup> *Ученныя записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч. I, стр. 430.

<sup>2)</sup> Г. Э. Лессингъ. Гамбургская драматургія. Переводъ И. П. Рассадина. М., 1883, стр. 360.—Ср. *N. Nadeždin. De Poësi Romantica*, pp. 16—17, 53—54.

<sup>3)</sup> *Кунно-Фишеръ*. Лессингъ, какъ преобразователь нѣмецкой литературы. Переводъ И. П. Рассадина. М., 1882, стр. 20—21.

использовать для себя и наслѣдіе античнаго міра, и наслѣдіе рыцарства. Задачей новыхъ поэтовъ является «возведеніе полярной противоположности двухъ великихъ міровъ къ средоточному единству». «Геніи-исполины, разсѣянные по лицу Европы», «соединяютъ идеальное одушевленіе среднихъ временъ съ изящнымъ благообразіемъ классической древности, уравниваютъ душу съ тѣломъ, идею съ формами, просвѣтляютъ мрачную глубину Шекспира лучезарнымъ изяществомъ Гомера <sup>1)</sup>... Соединеніе сіе отнюдь не должно быть механическое; не должно состоять въ мелкомъ, крохоборномъ эклектизмѣ, проповѣдуемомъ теперь во Франціи для ума и для воли. Нѣтъ! Это должно быть внутреннее живое сліяніе обоихъ полюсовъ бытія, обоихъ элементовъ творчества». «Греко-римское древнее искусство стремилось къ осуществленію одного идеала *внѣшней природы*; ново-европейское искусство имѣло своимъ исключительнымъ первообразомъ *міръ духовный*. Но ни природа внѣшняя, ни міръ духовный отдѣльно не составляютъ цѣльнаго бытія»; «они изображали, если можно такъ выразиться, *поль-міра, поль-жизни, поль-бытія*. Нельзя *односторонне* сосредоточить вниманіе лишь на «матеріальномъ изяществѣ контуровъ»; нельзя и игнорировать «пластическую обработку формъ», допуская, чтобы «вещество исчезало въ духѣ». «Не таково совре-

---

<sup>1)</sup> Ср. *Молву*, 1833, № 115, стр. 457—458: «Бой между классицизмомъ и романтизмомъ, одушавшій мыслящую Европу въ послѣднее десятилѣтіе, на томъ пменно и основывался, что современная молодежь, со всѣмъ жаромъ фанатизма, усиливалась возвратить творческую дѣятельность къ готическимъ формамъ среднихъ вѣковъ, тогда какъ старое поколѣніе упорно куталось въ пеленахъ древняго греко-римскаго искусства. Не очевидное ли это доказательство, что никто изъ обѣихъ сторонъ и не подозрѣвалъ о наступленіи другого самобытнаго періода жизни для современнаго генія, въ отношеніи къ коему оба предыдущіе должны быть въ равной степени анахронизмами? Скажу, не хвастаясь, что я первый (дурно ли, хорошо ли, только *первый*) изложилъ мою мысль въ моей диссертациі о романтической поэзіи, при защищеніи коей я выставялъ для публичнаго состязанія тезисъ: «Міръ, въ которомъ живемъ мы, отъ временъ среднихъ совершенно различествуетъ (*Mundus, quo vivimus, a temporibus mediis omnino discrepat*)».—Признавая, что выставленный Надеждинымъ тезисъ подчеркнуть имъ болѣе рѣзко, чѣмъ другими писателями, должно отмѣтить, что мысль о необходимости замѣнить романтическую поэзію другою, въ которой «полярная противоположность двухъ великихъ міровъ» будетъ «возведена къ средоточному единству»,—мысль не новая. Ее высказалъ, какъ указано выше, даже тотъ Астъ, который, по словамъ Надеждина, былъ «совершенно противныхъ съ нимъ (?) мнѣній» о романтизмѣ (*Молва*, 1833, № 115, стр. 459).

менное эстетическое направлѣніе. Оно требуетъ отъ художественныхъ созданій *полнаго сходства съ природою*, равно чуждаясь поддѣльнаго излишества, какъ въ наружныхъ матеріальныхъ формахъ, такъ и во внутренней идеальной выразительности. Оно спрашиваетъ у образа: гдѣ твой духъ? у мысли: гдѣ твое тѣло?» Взоръ *геніальнаго* художника «распространяется до всеобъятности»: «океанъ бытія предстаетъ предъ нимъ *весь* (т. е. міръ физическій и духовный), въ своей нераздѣльной цѣлости», и художникъ «смиряется предъ нимъ и въ самыхъ дерзновеннѣйшихъ мечтаніяхъ ищетъ только уравниваться съ его безпредѣльнымъ величіемъ»<sup>1)</sup>. Соревнованіе съ природою и дастъ въ результатъ «внутреннѣйшее соединеніе между обоими полюсами творческой дѣятельности». Но *какъ* произойдетъ подобное соединеніе? Этотъ вопросъ, не порѣшенный представителями западно-европейской критики, не былъ выясненъ и въ книгѣ русскаго ученаго.

Появленіе въ печати латинской диссертациі Надеждина и русскій переводъ двухъ ея отрывковъ, сдѣланный на страницахъ *Атеней и Вѣстника Европы*, были, безспорно, крупнымъ событіемъ въ московскомъ литературномъ мірѣ. Авторъ касался злободневной темы, надъ которой ломали головы мѣстные записные критики и поэты, и смѣлостью своихъ сужденій сильно смутилъ приверженцевъ старыхъ литературныхъ традицій и поклонниковъ новизны. Классицизмъ и романтизмъ одинаково устарѣли, заявлялъ Надеждинъ, приводя въ недоумѣніе нашихъ «классиковъ» и нашихъ «романтиковъ».

Съ упраздненіемъ классицизма примириться еще было возможно, но отпѣтъ вѣчную память романтизму въ 1830 году оказалось прямо немислимо. На защиту послѣдняго выступили лица, давшія отзывы о диссертациі «*De Poësi Romantica*».

«Г. Надеждинъ доказываетъ», писалъ И. Ср. Камашевъ: «что романтизмъ уже кончился, доказываетъ тѣмъ, что мы не имѣемъ ни Дантовъ, Тассовъ, Кальдероновъ, Камознсовъ и Шекспировъ, ни трубадуровъ, менестрелей и миннезингеровъ; тѣмъ, что это романтическое рыцарство среднихъ вѣковъ намъ уже чуждо совершенно и что рушилось феодальное правленіе; тѣмъ, что исчезъ въ народахъ европейскихъ тотъ воинскій духъ, въ которомъ

<sup>1)</sup> *Ученыя записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, т. I, стр. 426—446.

будто бы воспитался романтизм и безъ котораго будто-бы существовать не могъ; и, наконецъ, тѣмъ, что Реформація имѣла большое вліяніе на политическое и религиозное бытіе народовъ, и что измѣнилась самая даже философія. Все это совершенная правда. *Дѣйствительно, нашъ вѣкъ весьма отличается отъ среднихъ вѣковъ рыцарства. обнаружившихъ романтизмъ въ полнѣйшемъ его развитіи; но отличаться и почти ни въ чемъ не сходствовать—большая разница.* Г-ну Надеждину, дабы оправдать свое положеніе, должно бы доказать, что въ насъ не осталось, или, лучше сказать, очень мало осталось тѣхъ чертъ характера вѣковъ среднихъ, такъ къ намъ близкихъ, осталось, по крайней мѣрѣ, не болѣе, сколько въ Гомеровоѣ «Иліадѣ» вы отыщете слѣдовъ индійской «Магабараты». Но справедливо-ли это? Мы до сихъ поръ еще тѣ же европейцы, которые были за пять столѣтій тому назадъ; у насъ та же религія, несмотря на то, что Реформація была причиною многихъ измѣненій; политическая жизнь наша есть непосредственное слѣдствіе феодализма, и мы до сихъ поръ не забыли еще графствъ и баронствъ съ ихъ замками и огромными титулами; наконецъ, самая философія наша вполне еще носитъ на себѣ признаки происхожденія ея изъ формъ человѣческаго духа; мы до сихъ поръ тѣ же еще рыцари, но только охладѣвшіе; если у насъ и нѣтъ Дантовъ, Тассовъ, Шекспировъ, то мы имѣемъ Байроновъ, Гете, хотя не представляющихъ романтизма въ цветущемъ его состояніи, но, по крайней мѣрѣ, ясно носящихъ на себѣ признаки романтическаго происхожденія». «Гдѣ жъ этотъ переломъ, открывающій намъ міръ новый? Авторъ, безъ сомнѣнія, согласится, что римляне и по духу, и по внѣшнему бытію своему были совсѣмъ не то, что жители Эллады, но и тѣ, и другіе считаются классиками, ибо носятъ на себѣ въ главномъ одну общую черту».

Очевидно, «мы не можемъ сказать еще, будто романтизмъ кончился; у насъ нѣтъ нашего Гомера, который, подобно Гомеру древнему, открывшему поприще классицизма, заключалъ бы въ XIX столѣтіи поприще романтизма. Можетъ быть, это Гете. Но гдѣ же новый пѣвецъ вѣковъ будущихъ? Его мы не знаемъ; думаемъ, что онъ не извѣстенъ также и самому автору. Слѣдуютъ нити своихъ умозаключеній, г. Надеждинъ называетъ современную намъ поэзію бездушнымъ подражаніемъ романтизму, служащимъ намъ въ укоръ и униженіе. Находимся въ необходимости спросить у себя, что бы разумѣлъ г. Надеждинъ подъ современ-

ною поэзіей?—Поэзію Байрона, Гете? Стыдно и грѣшно назвать ихъ подражателями! Они имѣютъ слишкомъ много самостоятельности, слишкомъ много души, образованной изъ началъ романтическихъ, приуроченныхъ непосредственно къ духу нашего времени и обстоятельствамъ; они неподдѣльные органы поэтической жизни нашего столѣтія! Если же авторъ имѣетъ въ виду мелочныхъ писакъ, наводняющихъ литературу, то стыдно и грѣшно опредѣлять ими современное направленіе эстетической жизни цѣлой Европы!»

«Какъ бы то ни было, мы охотно приняли бы положеніе г. Надеждина, если бы онъ согласился ограничить его, сказавъ только, что мы не чистые романтики, говоря въ его смыслъ. Но невозможно допустить совѣтовъ его поправлять классицизмомъ то, чтò должно считать недостаткомъ возраста человѣческаго духа. Мы не больны, а лечить можно только болѣзнь! Авторъ въ первомъ основномъ положеніи своемъ сказалъ: *ibi vita, ibi poësis*, гдѣ жизнь, тамъ и поэзія. Какой же жизни хочетъ онъ отъ какого-то механическаго соединенія классицизма съ романтизмомъ? Повторяю — механическаго, несмотря на оговорки сочинителя; потому что въ творческомъ духѣ нѣтъ ни классицизма, ни романтизма, потому что онъ въ каждое мгновеніе воссоздаетъ новое сообразно вѣчно измѣняющимся условіямъ своего бытія. Чтò произвела французско-классическая школа? Надутость, и только,—въ этомъ соглашается самъ авторъ! Чтò же было причиною этой надутости? Неестественное, или, лучше сказать, непрямое, ненастоящее направленіе, болѣзнь утомленнаго духа, растерявагося въ мечтаніяхъ. Неужели тѣмъ же хочетъ лечить насъ и теперъ г. Надеждинъ? Нѣтъ! Это видно изъ собственныхъ его мыслей.—*Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы не отдавать должнаго классицизму; въ поэтическомъ отношеніи, по всему праву, онъ становится выше направленія романтическаго,—и мы первые отъ души готовы совѣтовать каждому со всевозможнымъ прилежаніемъ изучать писателей классическихъ, но совѣтъ не для того, чтобы по образцу ихъ клеить что-нибудь; столько же, повидимому, далеки отъ этого внутренно и самъ г. Надеждинъ.* Въ чемъ же дѣло? Въ томъ, что вмѣсто совѣтовъ его изучать классицизмъ и романтизмъ въ его смыслѣ, какъ старыя формы, онъ забылъ о главномъ—объ изученіи сущности человѣческаго духа, современнаго направленія нравственнаго міра и той одежды идей, въ которую облакаются онъ по

*потребностямъ вѣка, указующаго возрастъ челоѣчества.* Иначе и классицизмъ, и романтизмъ, и всѣ возможные соединенія ихъ останутся пустою игрушкою, забавою мелочныхъ умовъ, не согрѣтыхъ ни малѣйшею искрою истиннаго поэтическаго пламени, постигающаго внутренно то, чтѣ выше и классицизма, и романтизма,—*природу*, или, чтѣ все равно, *жизнь* въ безчисленныхъ могущественныхъ измѣненіяхъ ея, которыхъ классицизмъ и романтизмъ суть только утлые немногіе остатки, выкинутые океаномъ бытія на берегъ историческихъ воспоминаній. *Ubi vita, ibi poësis*».

«Далѣе, въ послѣднемъ положеніи своемъ, сочинитель говоритъ, что нашему отечеству предоставлена радостная надежда соединенія классическаго и романтическаго міровъ. Доказавъ, что такое соединеніе есть химера, или, по крайней мѣрѣ, не сдѣлало бы чести странѣ, гдѣ получило бы свое начало, мы и жалѣемъ, и не жалѣемъ, что должны разочаровать нашихъ читателей отъ патріотическаго предчувствія автора касательно возвышенія такимъ образомъ Россіи на степень литературной законодательницы будущихъ вѣковъ. Лучше не сдѣлать ничего, чѣмъ сдѣлать дурно».

«Сии немногія замѣчанія на разсужденіе Надеждина» Ср. Камашевъ «заключаетъ желаніемъ въ скоромъ времени прочесть другое равнаго съ нимъ достоинства», ибо «вмѣняетъ себѣ въ обязанность» высказать, что «множество прекрасныхъ мыслей въкупаетъ вполнѣ недостатки, на которые онъ хотѣлъ обратить вниманіе читателей потому, что они касаются весьма важнаго предмета въ области словесности»<sup>1)</sup>.

Иначе, чѣмъ Ср. Камашевъ, отнесся къ книгѣ Надеждина Николай Полевой. Онъ не могъ написать свою статью въ сдержанномъ тонѣ и не усмотрѣлъ въ трактатѣ «De Poësi Romantica» ни «гибкости ума и начитанности сочинителя», ни «остроумія» и послѣдовательности въ развитіи мыслей,—достоинствъ, указанныхъ первымъ рецензентомъ. Заклятый врагъ сотрудника *Вѣстника Европы*, Полевой обрушился на него съ тѣмъ полемическимъ задоромъ, который исключалъ всякую возможность безпристрастія. Повидимому, и къ чтенію диссертациі онъ приступилъ съ извѣстнымъ предубѣжденіемъ, съ предвзятою мыслью объ ея негодности. Охваченный чувствомъ непримиримой вражды,

<sup>1)</sup> *Московскій Вѣстникъ*, 1830, ч. III, № 9, стр. 44—50.

руководимый страстнымъ желаніемъ уничтожить своего недруга, Полевой дѣйствовалъ въ какомъ-то ослѣпленіи: онъ не вникъ хорошо въ содержаніе книги, привязывался къ мелочамъ, деталямъ—и въ своихъ страстныхъ нападкахъ, очевидно, хватилъ черезъ край, поставивъ самого себя въ весьма невыгодное положеніе. Конечно, невыгодность этого положенія не была замѣчена современниками, увлеченными хлесткими, ѣдкими рѣчами своего журнальнаго любимца и неспособными правильно оцѣнить мало доступное для нихъ сочиненіе Надеждина, предназначавшееся въ своемъ цѣломъ видѣ «для немногихъ». Но теперь ошибка Полевого становится все яснѣе и яснѣе для безпристрастнаго изслѣдователя.

Полевой начинаетъ свою статью характеристикой «русскихъ классиковъ», къ числу которыхъ онъ относитъ Надеждина.

«Русскій классикъ долженъ, во-первыхъ, *украсть* что-нибудь у нѣмцевъ, французовъ, англичанъ, *перевернуть* это и потомъ утверждать что-нибудь самое *нелѣпое*, самое *пошрое*, передъ чѣмъ Лагарповы, Баттевы, Бауръ-Лорміановы сужденія казались бы солнцемъ свѣтозарнымъ; во-вторыхъ, онъ долженъ цитоваться, и особливо латинью (если же можно по-гречески, то еще выше), и засыпать свои доказательства фразами, нахватаанными изъ Горация, Лукана, Буало, Блера и проч. Третье—и самое важнѣйшее—онъ долженъ громко вопіять о развратѣ, о погибели вкуса; долженъ искусно соединять съ этимъ мысль, что *романтизмъ есть то же, что атеизмъ, шеллингизмъ* <sup>1)</sup>, *либерализмъ, терроризмъ, чадо безвѣрія и революціи*; долженъ сильно *вопить* о славѣ Державина, Ломоносова, Хераскова, Поповскаго, Кострова, Петрова, Майкова. Къ этому надобно съ горестію прибавлять, что нынѣ пишутъ разбойническія поэмы, а не гремятъ торжественными одами... Въ заключеніе—четвертое: надобно, какъ можно надутѣе, заговорить о славѣ Россіи вообще, о возвышеніи нашемъ надъ всѣми народами, о величіи предковъ и т. д.». «Боимся, однако жъ, чтобы не подумалъ кто-нибудь, будто мы говоримъ о нашихъ классикахъ небывальщину. Къ счастью, одно свѣжее доказатель-

---

<sup>1)</sup> Приведенныя слова Полевого далеки отъ истины, такъ какъ для Надеждина шеллингизмъ и атеизмъ не были равнозначащими понятіями. Профессора Московскаго университета Ивашковскій и Снегпревъ порпцали Надеждина за излишнюю приверженность ученію Шеллинга, но не могли упрекнуть его въ безбожіи.



ство у насъ подъ руками; это доказательство—диссертація о романтической поэзіи».

«Входитъ въ подробное изложеніе и опровергать мнѣнія г-на Надеждина было бы бесполезно: его не убѣдишь; это видно по складу его диссертаціи, а зла въ литературѣ она причинить не можетъ, ибо чтò смѣшно, то уже не опасно. Вотъ основаніе этой диссертаціи, *годной въ кунсткамеру литературныхъ рѣдкостей*: г-нъ Надеждинъ начиталъ гдѣ-то, что доньнѣ поэзія бывала перво-бытная, классическая и романтическая; начиталъ онъ еще, что классическая поэзія кончилась съ греками; узналъ онъ въдобавокъ, что поэзія, начавшаяся въ новомъ мірѣ среднихъ временъ, названа новыми мыслителями романтическою. Тутъ началъ г-нъ Надеждинъ самъ мыслить, и—чтò же вымыслилъ? Что и романтическая поэзія рѣшительно кончилась: онъ заставилъ Лукреція отпѣть классиковъ, а Юнга—романтиковъ, и въ тезисы своей диссертаціи поставилъ: *Romantica poësis exstitit et jam non existit*».

«Чтò же такое, спросятъ насъ, новая англійская, германская, французская, итальянская, даже русская *романтическая* поэзія? Чтò такое творенія Гете, Байроновъ, Муровъ, Тегнеровъ, Пушкиныхъ; эта народность, нынѣ всюду изыскиваемая; этотъ Востокъ, съ нами сближающійся; *это предвѣщаніе новыхъ великихъ созданий духа человѣческаго въ поэзіи, по неизмѣннымъ законамъ развивающейся изъ первоначальной романтической поэзіи среднихъ зременъ, такъ какъ все новое образованіе развилось изъ среднихъ временъ и, испытавъ нѣсколько измѣненій, является въ новыхъ современныхъ формахъ?* Г-нъ Надеждинъ отвѣчаетъ: *Quae Romanticae sibi nomen vindicare auditur, poësis simulata illius est species*. Г-нъ Надеждинъ пускается въ доказательства, что европейцы нынѣ «развратились, испортились», говоритъ о «лже-романтическихъ гаерахъ», о «нелѣпыхъ бредняхъ, выдаваемыхъ (въ Россіи) подъ фирмою романтизма».

«Предчувствуемъ, что безпристрастный читатель готовъ спросить послѣ того у г-на Надеждина: «М. Г.! Да изъ чего же вы бѣснуетесь столько? Положимъ, что вы правы, но чего же вы хотите? Что вамъ угодно?»—Не беремся рѣшить этого вопроса и признаемся, что, со вниманіемъ перечитавъ на стр. 132—151 № 2-го *Вѣстника Европы*, и въ диссертаціи стр. 138—146-ю, мысли г-на Надеждина, изложенныя въ отвратительной русской, и еще болѣе отвратительной латинской прозѣ, мы ничего не поняли! Кажется, что г-нъ Надеждинъ хочетъ какого-то соединенія

романтизма съ классицизмомъ, но какъ, для чего, пусть это разгадываютъ другіе. Видимъ, что мысль въ основаніи нелѣпа <sup>1)</sup>, но, за всѣмъ тѣмъ, лучше сознаться, что мы худо ее понимаемъ. Гдѣ нѣтъ ни логическаго, ни грамматическаго смысла, тамъ не стыдно сознаться въ незнаніи. Одно только весьма явно замѣтно у г-на Надеждина: слѣды школьной фѣрулы, и подъ эту фѣрулу хочется ему подвести всѣхъ. Неудачный опытъ ея надъ г-мъ Надеждинымъ едва ли можетъ быть доказательствомъ справедливости его словъ». «Прежде, нежели приниматься за письмо»,—проповѣдуетъ онъ—«должно учиться, учиться, непремѣнно учиться». Очень рады и совѣтуемъ; только надобно доучиться, а иначе будемъ походить на какого-нибудь недоумку, который, что слово скажетъ, то и видно, что онъ въ бурсѣ и недосѣченъ, и недоученъ!»

«Сказавъ читателямъ нашимъ о сущности диссертациі г-на Надеждина», «спросимъ: стоитъ ли это литературное созданіе опроверженія? Кажется, нѣтъ! И потому приводимъ мы сочиненіе г-на Надеждина только въ примѣръ схоластическихъ возгласовъ и образчиковъ русскаго классицизма». «Диссертациа г-на Надеждина во всѣхъ отношеніяхъ, рѣшительно выдерживаетъ представленный нами выше сего планъ для русской классической диссертациі, ибо 1) основныя мысли въ ней чужія, взятая у Штутцмана и Аста»; 2) «сіи мысли не поняты г-мъ Надеждинымъ»; 3) «пустыхъ и ненужныхъ разноязычныхъ цитатъ въ диссертациі его конца нѣтъ»; 4) «романтизмъ новѣйшій представляется исчадіемъ безбожія и революціи»; 5) «говорено вкривь и вкось о всѣхъ европейцахъ, всѣ обруганы, и указано на Россію, на упадокъ патріотизма» и т. д.

«И такое созданіе осмѣлился онъ представить на судъ почтенныхъ профессоровъ Московскаго университета, и изъ этого созданія помѣстили отрывки два почтенные профессора въ издаваемыхъ ими журналахъ!! Не говоримъ о сущности диссертациі, но пусть прочтаетъ кто-нибудь латинскій подлинникъ, и рѣшить: такъ ли долженъ выражаться ученый критикъ, безпристрастный наблюдатель? Положимъ, что нашъ вѣкъ заблуждается;

---

<sup>1)</sup> Полевой, видимо, забылъ, что онъ самъ мечталъ о «*философѣ-примирителѣ классиковъ и романтиковъ*» (*Московскій Телеграфъ*, 1826, ч. 8, № 8, стр. 329). Называя мысль Надеждина «нелѣпой», онъ разошелся во мнѣніи съ Бѣлинскимъ, который призналъ ту же мысль «справедливой и глубоко-мысленной» (*Отечественныя Записки*, 1841, т. XVII, № 7).

что цѣлыя народы на романтизмъ съ ума сошли; что Шлегели, Вильмены, Штутцманы, Гете, Байроны, Асты, всѣ сами не знали, что говорили, и что только одинъ г-нъ Надеждинъ угадалъ истину; что романтизмъ точно приказалъ долго жить, и что *его можно оживить только классическими пластъями*, или выжимками изъ классицизма,—неужели *такъ, какъ высказалъ г-нъ Надеждинъ*, должна быть высказана эта истина?»

«Языкъ русскій варварскій, шутки неприличныя, присвоеніе чужого непостижимо безстыдное, измѣненіе чужого неслыханное, совершенное отсутствіе всѣхъ приличій—вотъ характеръ сочиненія г-на Надеждина.—Неужели за схоластическую выходку, за похвалу ферулѣ, за то, что онъ совѣтуетъ читать греческихъ и латинскихъ классиковъ и пишетъ свою диссертацию на латинскомъ языкѣ, должно уважать г-на Надеждина?»... «Какова же латинь» его? «Эти ли варварскія фразы языкъ Цицерона? И г-нъ Надеждинъ осмѣливается морочить насъ своею классическою ученостью? Procul, o procul! Стыдимся за почтенныхъ издателей *Вѣстника Европы* и *Атenea* и предоставляемъ диссертацию г-на Надеждина ученикамъ латинскаго класса въ уѣздныхъ училищахъ»... <sup>1)</sup>

Публичное вышучиванье книги Надеждина не могло пройти безслѣдно: оно вызвало небольшую полемику, въ которой принялъ участіе самъ авторъ диссертации. Въ № 4 *Аргуса* <sup>2)</sup> появилась замѣтка нѣкоего В. В., подъ заглавіемъ: «Письмо къ Никодиму Аристарховичу Надоумкѣ».—«Въ разборѣ Разсужденія о романтической поэзіи, сочиненнаго на латинскомъ языкѣ магистромъ богословія Николаемъ Надеждинымъ для полученія докторской степени», пишетъ В. В., «издатель *Московского Телеграфа*, безъ зазрѣнія совѣсти, бранитъ и магистра Надеждина, и Императорскій Московскій университетъ, дозволившій г. Надеждину

<sup>1)</sup> *Н. Полевой* Очерки русской литературы. Спб., 1839, ч. II, стр. 284—298.—Ср. *Московский Телеграфъ*, 1830, №№ 3, 10.

Даже враждебно относившіеся къ Надеждину и несогласные съ его взглядами члены пушкинскаго кружка не допускали подобныхъ рѣзкостей въ отзывѣхъ о диссертации. Князь П. А. Вяземскій позволилъ себѣ только замѣтить, что еще не время надѣяться на полное выясненіе поставленнаго вопроса и что «въ изысканіи началъ классической и романтической поэзіи, въ началѣ двоякой природы нашей: вещественной и духовной, внѣшней и внутренней и такъ далѣе, видно болѣе мистицизма, чѣмъ лучезарной критики» (Полное собраніе сочиненій. Спб., 1879, т. II, стр. 131—132).

<sup>2)</sup> *Галатей*, 1830, ч. 15. *Аргусъ*, № 4, стр. 69—81.

публично читать и защищать свое сужденіе. Умные люди говорятъ, что издателю *Московского Телеграфа* не слѣдовало этого дѣлать. Диспутъ г. Надеждина на латинскомъ языкѣ происходилъ публично, о чемъ предварительно объявлено было въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*. Если издателю *Московского Телеграфа* хотѣлось опровергнуть сужденіе докторанта, онъ могъ прийти на диспутъ и поспорить съ диссертантомъ по-латыни; но бросать камнемъ изъ-за угла! Это непохвально и даже неблагородно. Издателю *Московского Телеграфа* можно и должно сказать то же, что онъ сказалъ г-ну Надеждину: «Да изъ чего же вы бѣснуетея столько?»

На письмо В. В. успѣшилъ откликнуться старый знакомый Полевого Пахомъ Силичъ Правдивинъ, считавшій обязанностью вступить за своего пріятеля Никодима Аристарховича, опровергнуть злые толки по его адресу и положить предѣлъ нареканіямъ, бросающимъ тѣнь на литературную репутацію Надоумка. «Историкъ Русскаго Народа», заявилъ Правдивинъ: своей критикой «только забавлялъ публику насчетъ ненавистной ему учености, показывая новымъ торжественнымъ опытомъ, что самоучкѣ-генію ничего не стоитъ осрамить ее и тогда, когда она укрывается за неприступною для невѣжества эгидою *латини*. Онъ совсѣмъ не разбиралъ красотъ латинскаго языка, а только выписалъ нѣсколько строкъ изъ диссертациі и, воскликнувъ: «какова латинь!», поставилъ три латинскія, изъ нея же взятыя, слова: Bene est! Salutamus! «Онъ не умѣлъ или, можетъ быть, не хотѣлъ потрудиться выбрать смыслящаго переводчика, для того, чтобы переложить *заглавіе* диссертациі по-русски, и исковеркалъ оное вѣроятно для дебюта мистификаціи, кое-какъ, по наслышкѣ и наговоркѣ. Отъ того-то у него *судьба* (fata) превратилась въ *участь*, *обличительное* (elenctica) сдѣлалось *состязательнымъ*, *богословскія* и *изящныя науки* (sanctiores humanioresque litterae) сократились въ болѣе знакомое употребительное имя *богословія*; и самого г. Надеждина, вѣроятно, для насмѣшки, заставили домогаться степени доктора изящныхъ *искусствъ*, хотя, по простому и буквальному смыслу заглавія, онъ объявилъ себя ищущимъ докторства въ изящныхъ *наукахъ* (humaniorum litterarum), а не *искусствахъ...*» <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> *Галатей*, 1830, ч. 17. *Аргусъ*, стр. 83—103.

Противъ Полевого выступилъ также нѣкто Прямыковъ, въ своей обшир-

Изъ полемики, возникшей между Пахомомъ Силичемъ, г. В. В. и Полевымъ, видно, какимъ нападкамъ рисковалъ подвергнуться всякій, дерзнувшій открыто высказать смѣлое слово противъ романтизма. Самъ Московскій университетъ, въ глазахъ литературныхъ «либераловъ», заслуживалъ порицанія, разъ Надеждину было «дозволено публично защищать свое разсужденіе». «Почтенные» профессора, въ которыхъ металъ грома Полевой, отнеслись къ новому изслѣдованію иначе, чѣмъ онъ, и признали Надеждина достойнымъ степени доктора, хотя многіе изъ нихъ далеко не сходились во взглядахъ съ молодымъ ученымъ. Вотъ, что сообщаетъ о диспутѣ Надеждина Костенецкій: «Въ университетѣ, обыкновенно, часто происходили защиты диссертаций, особенно на степень докторовъ медицины, но онѣ не возбуждали никакого интереса между студентами не медицинскаго факультета; но диссертация Надеждина, извѣстнаго уже студентамъ по своимъ полемическимъ статьямъ, помѣщаемымъ въ *Вѣстникъ Европы*, издаваемомъ Каченовскимъ, заранѣе возбуждала сильное движеніе между студентами, и еще заранѣе были у насъ горячіе споры о классицизмѣ и романтизмѣ, въ которыхъ почти всѣ студенты были на сторонѣ романтизма. Поэтому на диспутъ Надеждина собралось много какъ профессоровъ, такъ и студентовъ и даже постороннихъ посѣтителей. Оппонентовъ было много. Возражали Погодинъ, профессоръ медико-хирургической академіи Дядьковский, но въ особенности сильно и энергически защищалъ классицизмъ добрый и почтенный профессоръ русской словесности Мерзляковъ. Надеждинъ очень умно и краснорѣчиво опровергалъ возраженія этого достойнаго оппонента. Студенты, разумѣется, были на сторонѣ Надеждина; но съ тѣмъ вмѣстѣ намъ жалко было и добраго Мерзлякова, почти до истощенія силъ защищавшаго любимый свой классицизмъ. Это, можно сказать, была у насъ послѣдняя битва романтизма<sup>1)</sup> съ отжившимъ уже свой вѣкъ классицизмомъ, въ которой классицизмъ окончательно по-

---

ной статьѣ, между прочимъ, писавшій: «Истинная критика, при разборѣ какого бы то ни было сочиненія, требуетъ на все ясныхъ, сильныхъ и неопровергаемыхъ доказательствъ, а здѣсь просто и сочиненіе, и сочинитель только что обруганы» (*Вѣстникъ Европы*, 1830, №№ 21—22, стр. 121).— Ср. *Телескопъ*, 1831, № 12, стр. 552.

<sup>1)</sup> Костенецкій неправильно считаетъ Надеждина сторонникомъ романтизма.

терпѣль пораженіе, и въ которой, сражаясь храбро, палъ со славою самый доблестный его защитникъ»<sup>1)</sup>.

24 сентября 1830 года Надеждинъ былъ утвержденъ въ степени доктора этико-филологическаго отдѣленія<sup>2)</sup>. Препграда, препятствовавшая ему проникнуть въ Московскій университетъ, была уничтожена: невозможное для магистра богословія стало вполне доступнымъ вновь утвержденному доктору. Передъ нимъ открывались двери храма науки, и счастье ему улыбнулось.

Послѣ смерти профессора М. Г. Гаврилова, въ Московскомъ университетѣ освободилась кафедра теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи. Для пріисканія хорошаго профессора рѣшено было прибѣгнуть къ конкурсу, программа котораго была напечатана въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* отъ 8 февраля 1830 г., и срокомъ представленія конкурентами ученыхъ трудовъ и конспекта лекцій назначался послѣдній день іюня. Лицъ, пожелавшихъ принять участіе въ конкурсѣ, кромѣ Надеждина, было двое: евангеличeskій пасторъ, имѣвшій дипломъ доктора философіи и магистра вольныхъ наукъ отъ Кенигсбергскаго университета, К. А. Зедергольмъ и адъюнктъ, магистръ А. М. Гавриловъ, сынъ покойнаго профессора, уже полтора года читавшій въ университетѣ.—Надеждинъ представилъ въ совѣтъ свою книгу «De Poësi Romantica» и рукописный трудъ: «Предначертаніе учебнаго изложенія теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи для публичнаго преподаванія»<sup>3)</sup>, и сталъ терпѣливо ожидать рѣшенія своей участи.

Ждать пришлось долго. Только 14 февраля 1831 года были рассмотрѣны всѣ сочиненія, и тогда выяснилось, что члены отдѣленія словесныхъ наукъ разошлись въ оцѣнкѣ ихъ достоинствъ: профессоръ Болдыревъ, Каченовскій и Ульрихсъ отдали преимущество «Предначертанію» Надеждина, а Ивашковскій, Снегиревъ и Побѣдоносцевъ—лекціямъ Гаврилова. Когда дѣло о разности перешло на обсужденіе совѣта, Болдыревъ присоединилъ къ донесенію отдѣленія особое мнѣніе. По глубокому убѣжденію декана, докторъ Надеждинъ долженъ быть предпочтенъ магистру

---

<sup>1)</sup> *Русскій Архивъ*, 1887, кн. III, стр. 346.

<sup>2)</sup> Диспутъ происходилъ, повидимому, въ концѣ іюня или въ первыхъ числахъ іюля, когда еще былъ живъ Мерзляковъ (*Московскія Вѣдомости*, 1830, 12 іюля, № 56, стр. 2514).

<sup>3)</sup> Къ сожалѣнію, мы не могли разыскать это сочиненіе ни въ архивѣ Московскаго университета, ни въ бумагахъ Н. С. Тихонравова, хранящихся въ Румянцовскомъ Музеѣ.

Гаврилову, который не въ срокъ <sup>1)</sup> представилъ свои лекціи, трудился надъ ними нѣсколько лѣтъ, а не мѣсяцевъ, какъ его конкурентъ, и имѣетъ низшую ученую степень. Болдыревъ указывалъ и неправильности, допущенныя при производствѣ конкурса: 1) экстраординарный профессоръ Побѣдоносцевъ не имѣлъ права давать свой отзывъ наравнѣ съ ординарными профессорами; 2) поступающія сочиненія «должны быть представляемы безъ подписи имени сочинителя, а означаемы приличными эпитафиями», чтобы «могли быть разсматриваемы и оцѣняемы безъ всякаго посторонняго вліянія».

Ознакомившись съ донесеніемъ отдѣленія и признавъ нарушеніе формальностей, перечисленныхъ Болдыревымъ, совѣтъ постановилъ допустить, въ видѣ исключенія, къ конкурсу Гаврилова и поручить профессорамъ словеснаго отдѣленія, за исключеніемъ Побѣдоносцева, сдѣлать болѣе обстоятельную оцѣнку представленныхъ трудовъ.

Новые отзывы были заслушаны въ чрезвычайномъ засѣданіи совѣта, состоявшемся 6 мая, и тогда же послѣдовало рѣшительное сужденіе о конкурсѣ. Деканъ, поддержанный Каченовскимъ и Ульрихсомъ, забраковавъ сочиненія Гаврилова и Зедергольма, высказалъ слѣдующее мнѣніе о работѣ Надеждина: «Сочинитель подводитъ обѣ части (теорію изящныхъ искусствъ и археологію) подъ одинъ взглядъ; обдумавъ предметъ свой тщательно, излагаетъ оный въ системѣ надлежащимъ образомъ. Нашедъ существенныя точки соприкосновенія между теоріей изящныхъ искусствъ и ихъ исторіей по памятникамъ, то-есть археологіей, онъ подчиняетъ первой изъ нихъ эстетику, для которой назначаетъ и приличное мѣсто, и надлежащее пространство. Сущность науки изложена въ полнотѣ и стройной соразмѣрности. Планъ и метода достойны ученаго трактата; источники оцѣнены съ удовлетворительною вѣрностью, а потому и весь трактатъ вполне соотвѣтствуетъ требованіямъ устава и программы».

Ивашковскій и Снегиревъ не согласились съ Болдыревымъ, отдавая предпочтеніе лекціямъ Гаврилова. Они нападали и на общее направленіе въ сочиненіи Надеждина, и на «темноту и несообразность» изложенія, не свидѣтельствующаго объ изящномъ вкусѣ, который «предполагается въ истолкователѣ изящнаго». Въ особую вину была поставлена Надеждину его привер-

---

<sup>1)</sup> 9 іюля 1830 г.

женность учению Шеллинга. «Хотя самъ сочинитель», говорили они: «не упоминаеть, какому учению предпочтительно слѣдовалъ, но весьма очевидно, что оно принадлежитъ Шеллингу, какъ сіе можно видѣть въ его «трансцендентальномъ идеализмѣ», и потому желательно прежде всего знать, можетъ ли сіе ученіе быть допущено въ нашемъ университетѣ. Что касается до системы сего разсужденія, то она дѣйствительно представляетъ нѣчто цѣлое и полное, но достоинство ея условливается справедливостію и точностію основанія самаго ученія, и потому если сіи основанія допущены быть не могутъ, то и самая система сего ученія достоинства никакого имѣть не можетъ».

Мнѣніе Ивашковскаго и Снегирева не показалось убѣдительнымъ большинству членовъ совѣта, изъ которыхъ многіе сами были шеллингистами. Совѣтъ рѣшилъ, что «недостатки однихъ частныхъ выраженій нисколько не уменьшаютъ существеннаго достоинства сочиненія Надеждина», и, находя послѣдняго наиболѣе достойнымъ изъ всѣхъ конкурентовъ, предложилъ ему прочитатъ пробную лекцію. Лекція была съ успѣхомъ прочитава<sup>1)</sup>, постановленіе совѣта доведено до свѣдѣнія министра, и 26 декабря 1831 г. Надеждинъ былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Лекція была напечатана въ *Телескопъ* (1831, № 10, стр. 131—154) подъ заглавіемъ: «Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія».

<sup>2)</sup> Въ началѣ декабря Надеждинъ былъ утвержденъ еще въ должности преподавателя логики, російской словесности и мѣологии при Московскомъ театральномъ училищѣ. См. *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 4—14.



## V.

Московский университетъ въ началѣ 1830 годовъ.—Отзывы студентовъ о Надеждинѣ, какъ профессорѣ.—Лекціи по исторіи и теоріи изящныхъ искусствъ.—Вліяніе этихъ лекцій на воззрѣнія Станкевича и Бѣлинскаго.—Участіе Надеждина въ трудахъ Общества любителей россійской словесности.—Визитаціи.

Начало тридцатыхъ годовъ минувшаго вѣка было «настоящею эрою, которая отдѣляетъ древній періодъ исторіи Московскаго университета отъ новаго». «По ту сторону этой грани старое зданіе университета, старые профессора съ патріархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрація, доведенная къ концу до самоуправства, а по эту сторону—новое зданіе университета, отмѣченное и на его фронтонѣ 1835 годомъ, цѣлая фаланга новыхъ и молодыхъ профессоровъ, только что воротившихся изъ-за границы, гдѣ обучались, каждый по своей специальности». Въ 1832—1834 годахъ университетъ «еще далеко отстоялъ отъ послѣдующаго своего развитія», но уже «во всемъ своемъ составѣ, и особенно въ студенческой части, какъ будто предчувствовалъ эпоху обновленія»; онъ «началъ первый вырѣзываться изъ-за всеобщаго тумана», которымъ была окутана русская жизнь послѣ печальныхъ декабрьскихъ событій, заставившихъ заглохнуть «сильно возбужденную дѣятельность ума въ Петербургѣ». Старые профессора-энциклопедисты, по нѣскольکو разъ мѣнявшіе свою специальность въ теченіе своей долголѣтней службы и скучно, монотонно читавшіе свои курсы по какимъ-нибудь иностраннымъ учебникамъ, грубые и дерзкіе въ обращеніи со студентами и «отечественно-рабочіе» передъ начальствомъ, доживали свое послѣднее время; вмѣстѣ съ тѣмъ, постепенно вырождался и тотъ разрядъ слушателей, которые вдохновлялись только «одною мыслію—выспидѣть себѣ, такъ или иначе, аттестатъ и степень» и проявляли удачу своей натуры исключительно въ буйныхъ про-

казахъ и шалостяхъ. Умственные запросы и интересы новаго поколѣнія были иные: ему такъ же мало дѣла до дикихъ выходовъ и скандаловъ, какъ и до «табели о рангахъ»; оно «не принимаетъ больше науку за необходимый, но скучный проселокъ, которымъ скорѣе объѣзжаютъ въ коллежскіе ассессоры». «Не довольствуясь однимъ формальнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, оно поставляетъ своей задачей—дополненіе официального преподаванія, бодро продолжая развитіе основаній, полученныхъ съ кафедры, и вводя въ сферу своихъ занятій предметы, еще не тронутые въ аудиторіи. Вѣра въ науку, тоска по ней и молодое предчувствіе истины помогали тутъ неопытности». Въ извѣстные годы и въ извѣстныхъ условіяхъ «люди, при возбужденной страсти къ познанію, столько же учатся другъ отъ друга, сколько и отъ учителя. Тогда-то образуется особенный родъ взаимнаго и весьма широкаго воспитанія, гдѣ одушевленная передача открытій, сдѣланныхъ однимъ, толки о результатахъ, къ которымъ пришелъ другой, открываютъ новые пути и новыя соображенія для всѣхъ». Именно въ эту пору «пробуждались» у молодежи «больше и больше теоретическія стремленія»; «научный интересъ не успѣлъ еще выродиться въ доктринаризмъ: наука не отвлекала отъ вмѣшательства въ жизнь, страдавшую вокругъ». И университетъ «ростъ своимъ влияніемъ: въ него, какъ въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ; въ его залахъ онѣ очищались отъ предрасудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собой и снова разливались во всѣ стороны Россіи, во всѣ слои ея».

Послѣ реформы вступительныхъ экзаменовъ, проведенной въ 1833 году, по желанію императора Николая, С. С. Уваровымъ, совѣтъ университета «учредилъ» для вновь принятыхъ «слушателей всѣхъ факультетовъ *общій предварительный курсъ*, состоящій изъ наукъ, коимъ необходимо должны учиться всѣ, желающіе быть полезными себѣ и отечеству, какой бы родъ жизни и какую бы службу ни избрали. Въ составъ этого общаго курса входили: чтенія св. Писанія, русская словесность, всеобщая исторія, физика и языки латинскій, французскій и нѣмецкій. Съ этихъ поръ къ слушанію спеціальныхъ факультетскихъ лекцій допускались только тѣ, которые доказали на экзаменѣ свои успѣхи въ этихъ предметахъ». «Долгое время держался въ Московскомъ университетѣ этотъ общеобразовательный курсъ, такъ могуще-

ственно поддерживавший въ студентахъ идеальныя стремленія, гуманныя начала и охранявшій ихъ отъ безсердечнаго и черстваго спеціализма». «Прежде выработай въ себѣ человѣка, которому не чуждо было бы ничто человѣческое, а потомъ выработывай ученаго спеціалиста», — «думали наши идеалисты тридцатыхъ годовъ». Университетъ «не долженъ оканчивать научное воспитаніе»; его дѣло—поставить человѣка на ноги; «его дѣло—возбудить вопросы, научить спрашивать». «Именно это-то и дѣлали такіе профессора, какъ М. Г. Павловъ», «читавшій сперва физику, потомъ теорію сельскаго хозяйства и въ обоихъ случаяхъ распространявшій границы своихъ предметовъ до включенія въ нихъ цѣлаго философскаго созерцанія». Онъ излагалъ «космогоническую теорію, основанную на гипотезѣ чисто философскаго свойства и развитую съ замѣчательною послѣдовательностью, съ высокимъ діалектическимъ талантомъ. Гипотеза вытекала изъ философскаго положенія о сродствѣ или тожествѣ безграничной свободы съ хаосомъ, небытіемъ,—этомъ тожествѣ, которое было разорвано благимъ, всемогущимъ: «Да будетъ»! Отвлеченное понятіе, силлогизмы и послышки котораго образуются изъ силъ и стихій природы, преобладаетъ надъ всею теоріею, а объясненіе самаго вещества, какъ взаимнаго дѣйствія свѣта и тяжести, тоже превращенныхъ въ понятія, ясно указываетъ профессору мѣсто между европейскими «Natur-Philosophen»—философами природы». «Съ натуръ-философіей, съ многообъемлющими взглядами на науку и, въ особенности, съ динамической физикой» «сроднился» Павловъ въ Германіи, и потому «открылъ студентамъ сокровищницу германскаго мышленія», «направилъ ихъ умъ на несравненно высшій способъ изслѣдованія и познанія природы, нежели тотъ, которымъ они могли почерпнуть что-нибудь въ наукѣ, изъ преподаванія до Павлова»; наконецъ, «что еще важнѣе», онъ «своей методой навелъ на самую философію», официально не преподававшуюся. «Вслѣдствіе этого, многіе принялись за Шеллинга и за Окена, и съ тѣхъ поръ московское юношество стало все больше и больше заниматься философіей, заниматься отчетливо и успѣшно». На лекціяхъ Павлова «студентамъ часто трудно найти себѣ мѣсто. Его публичные курсы, построенные на тѣхъ же началахъ, привлекали постоянно массу слушателей даже изъ высшаго московскаго общества, въ которомъ пробужденъ былъ интересъ къ нѣмецкой философіи. Особенно могущественно дѣйствовалъ Павловъ на развитіе студентовъ въ математическомъ

отдѣленіи, потому что онъ преподавалъ тамъ не только общій курсъ физики, но и спеціальныя курсы» <sup>1)</sup>).

Роль Павлова для студентовъ словеснаго отдѣленія сыгралъ Надеждинъ, «примѣнившій» «широкую философскую точку зрѣнія къ вопросамъ искусства и литературы». Онъ читалъ лекціи недолго, не болѣе трехъ лѣтъ (1832—1835), но имѣлъ колоссальное вліяніе на аудиторію, производилъ неизгладимое впечатлѣніе. Многочисленныя воспоминанія о немъ его учениковъ и знакомыхъ выясняютъ и его личность, и его профессорскую дѣятельность. «Въ моей памяти», пишетъ Буслаевъ: «онъ представляется молодымъ человѣкомъ средняго роста, худенькимъ», «съ вдавленной грудью, съ большимъ и тонкимъ носомъ и съ темными волосами, гладко спускающимися на высокой лобъ. Читая лекціи, онъ всегда зажмуривалъ глаза, точно слѣпой, и непрерывно качался, махая головою сверху внизъ, будто клалъ поясные поклоны, и это размахиваніе гармонировало съ его размашистою рѣчью, бойкою, рьяною, цвѣтистою и искрометною, какъ горный кипучій потокъ» <sup>2)</sup>). Этотъ «замѣчательный даръ краснорѣчія», въ связи съ «обширной начитанностью», давалъ ему возможность импровизировать на каедрѣ, увлекаться самому и «проводить со своими слушателями вмѣсто одного часа, положеннаго для каждой лекціи, часа по два, и долго еще послѣ обычнаго звонка текла его умная и плодovitая рѣчь, никогда не утомлявшая аудиторію. Вообще онъ имѣлъ сходство съ преподавателями извѣстнаго парижскаго Collège de France, гдѣ преимущественно царствуетъ импровизація и нѣкоторый дилетантизмъ, допускаемые, какъ противодѣйствіе строгости и сухости сорбоннскаго преподаванія» <sup>3)</sup>).

<sup>1)</sup> *А. И. Герценъ*. Сочиненія и переписка съ Захарыниной. Спб., 1905, т. II, стр. 78—95.—*Т. П. Пассекъ*. Изъ дальнихъ лѣтъ Спб., 1878, т. I, стр. 320, 326.—*Ө. И. Буслаевъ*. Мои воспоминанія. М., 1897, стр. 4—5, 108—128.—*П. В. Анненковъ*. Н. В. Станкевичъ. М., 1857, стр. 30—42.—*А. Н. Пылинъ*. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Спб., 1876, т. I, стр. 61—69.—*Н. С. Тихонравовъ*. Сочиненія. М., 1898, т. III, ч. 1, стр. 589—602.

<sup>2)</sup> *Ө. И. Буслаевъ*. Мои воспоминанія. М., 1897, стр. 123—124

<sup>3)</sup> *П. В. Анненковъ*. Н. В. Станкевичъ. М., 1857, стр. 34.—*Ср. Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, стр. 675—677: «Въ наукѣ, какъ и во всемъ, есть своя поэзія», писалъ Надеждинъ: «Эту-то поэзію науки долженъ схватывать университетскій профессоръ и сообщать своимъ слушателямъ. Но поэзія не можетъ передаваться въ сухихъ формахъ школьнаго, методическаго чтенія: она требуетъ живой, огненной импровизаціи. Какъ бы ни были отдѣланы фразы приготовленнаго урока, мысль всегда въ нихъ стынеть больше или меньше: c'est de

До насъ дошли особенно восторженные отзывы современниковъ о лекціи Надеждина, прочитанной въ присутствіи товарища министра Уварова, обозрѣвавшего въ 1832 году московскія учебныя заведенія и ежедневно посѣщавшаго университетъ.

Надеждинъ говорилъ объ «идеѣ безусловной красоты, являющейся подѣ схемою гармоніи жизни, о ея осуществленіи въ Богѣ подѣ образомъ вѣчной отчей любви къ творенію и проявленіи въ духѣ человѣческомъ стремленіемъ къ безконечному, божественнымъ восторгомъ, а въ душѣ художника образованіемъ идеаловъ». Кромѣ собственныхъ воззрѣній, онъ «пересказалъ ученіе Канта и Фихте объ изящномъ такъ ясно и красиво, какъ одинъ только Павловъ умѣлъ въ своихъ писанныхъ, округленныхъ лекціяхъ излагать глубокомысленныя, но темнословныя теоріи нѣмецкихъ геніевъ». «Студенты, записывавшіе лекціи, бросили свои перья, чтобы черезъ записыванье не проронить ни одного слова, и только смотрѣли на профессора, котораго глаза горѣли огнемъ вдохновенія; одушевленный голосъ сопровождался оживленностію фізіономіи, живостью движеній, торжественностью самой позы; даже посторонніе посѣтители (прибывшіе съ Уваровымъ), вмѣсто тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекціяхъ другихъ профессоровъ, невольно обратились къ профессору и смотрѣли на него, какъ будто на оракула». «Читаетъ лучше, чѣмъ пишетъ»— былъ краткій, но справедливый отзывъ Уварова, слушавшаго импровизацію около полуторыхъ часовъ, вмѣсто часа <sup>1)</sup>). На по-

---

la lave refroidie, по живописному выраженію Вильмена. Въ *живой рѣчи* всегда больше жизни: слово, выпадающее изъ устъ, сохраняетъ блескъ и теплоту чувства, какъ искра, отлетающая изъ костра; на бумагѣ, эта искра подергивается золою. И вотъ почему я предпочитаю *слышать* французскаго профессора, который импровизируетъ на кафедрѣ: невольно увлекаюсь его рѣчью, которая не тащится тяжелой скрипучей фурою, нагруженной всякаго рода ученостью, а летитъ воздушной, легкой колесницей; я не могу не почувствовать этой рѣчи, которая родится предъ моими глазами, идетъ и растетъ вмѣстѣ съ моимъ вниманіемъ, примѣняется къ нему, не отстаетъ и не выпереживаетъ: я отождествляюсь съ профессоромъ; мнѣ легко повторять его слова въ томъ естественномъ порядкѣ, въ какомъ они изливаются изъ его устъ, слѣдовать за его мыслью въ томъ свободномъ пареніи, въ какомъ она развивается въ его душѣ. Нѣтъ нужды, что въ подобныхъ импровизаціяхъ иногда страдаетъ систематическая строгость науки; «вотъ гдѣ система!» говаривалъ нашъ Мерзляковъ, указывая на сердце, и слушатели понимали эту систему единодушнымъ чувствомъ».

<sup>1)</sup> *Библиотека для Чтенія*, 1859, № 12, стр. 9—11 (воспоминанія П. Про-

добныхъ лекціяхъ молодежь могла, по выраженію К. С. Аксакова, «съ жадностью» вдыхать «воздухъ мысли», могла, слѣдую при- мѣру Станкевича, съ увлеченіемъ говорить, что «если она будетъ въ раю, то Надеждину за то обязана». «Лекціи Надеждина», пи- саль въ 1836 г. тотъ же Станкевичъ Т. Н. Грановскому: «раз- вили во мнѣ (сколько могло во мнѣ развиться) чувство изящ- наго, которое одно было моимъ наслажденіемъ, одно—моимъ до- стоинствомъ и, можетъ быть, моимъ спасеніемъ»<sup>1)</sup>. По словамъ И. А. Гончарова, Надеждинъ «былъ самый симпатичный и лю- безный человѣкъ, въ обращеніи, и, какъ профессоръ, онъ былъ дорогъ своимъ вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, которымъ вводилъ въ таинственную даль древняго міра, передавая духъ, бытъ, исторію и искусство Греціи и Рима. Чего только не ка- сался онъ въ своихъ импровизованныхъ лекціяхъ!.. Онъ одинъ за- мѣнялъ десять профессоровъ. Излагая теорію изящныхъ искусствъ и археологію, онъ излагалъ и общую исторію Египта, Греціи и Рима. Говоря о памятникахъ архитектуры, о живописи, о скульп- турѣ, наконецъ, о творческихъ произведеніяхъ слова, онъ ка- сался и исторіи философіи. Изливая горячо, почти страстно со- кровница знанія, онъ училъ и мастерскому владѣнью рѣчи. За- писывая только однѣ его лекціи, можно было научиться чистому и изящному складу русскаго языка»<sup>2)</sup>.

Популярность Надеждина росла. Въ сношеніяхъ со студен- тами, онъ всегда «чуждался полицейскихъ пріемовъ», которыми не брезговали въ тѣ времена; обходился съ юношествомъ вѣжливо, «деликатно», входилъ въ его положеніе, помогалъ въ затрудни- тельныхъ случаяхъ жизни, снабжалъ книгами и своими журналами: *Телескопомъ* и *Молвою*<sup>3)</sup>. Хорошій профессоръ оказался и хоро-

---

зорова).—*Москвитянинъ*, 1856, т. I, № 3, стр. 225 и слѣд. (воспоминанія М. А. Максимовича).—*Московскія Вѣдомости*, 1856, № 81, стр. 342—343 (воспоминанія Н. Лавдовскаго).

<sup>1)</sup> П. В. Анненковъ. Н. В. Станкевичъ. М., 1857. Переписка. стр. 196.—*Ср. День*, 1862, № 40.

<sup>2)</sup> И. А. Гончаровъ. Полное собраніе сочиненій. Спб., 1896, т. IX, стр. 118—119.—*Ср. Московскія Вѣдомости*, 1856, № 81, стр. 342—343: «Часы, проведенные мною на лекціяхъ Надеждина въ теченіе трехъ лѣтъ», пишетъ Лавдовскій: «конечно, принадлежать и будутъ принадлежать къ лучшимъ часамъ моей жизни, и воспоминаніе о нихъ я легѣю въ своей памяти, какъ золотой сонъ».

<sup>3)</sup> *День*, 1862, № 40, стр. 3 (воспоминанія К. С. Аксакова).—*Библиотека для Чтенія*, 1859, № 12, стр. 13—14.—А. Н. Пылинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Спб., 1876, т. I, стр. 77—80.

шимъ человѣкомъ. Аудиторія Надеждина всегда была полна народу. Лекціи его «привлекали толпы слушателей изъ всѣхъ факультетовъ», «особенно медиковъ», и даже «стороннихъ» лицъ <sup>1)</sup>. Общее настроеніе этой молодежи прекрасно характеризовано П. В. Анненковымъ: «Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческой въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума. Съ какою юношеской и благородною гордостью понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго сознанія, словомъ становился ея центромъ, судьей и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія. Какъ удовлетворялось высокое нравственное чувство сознаніемъ, что право на такую роль во вселенной не давалось человѣку по наслѣдству, какъ имѣніе, утвержденное давнимъ владѣніемъ! Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего возрѣнія стояли нравственныя обязанности, и одна изъ необходимѣйшихъ обязанностей—высвободить въ себѣ самъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобы имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существованія» <sup>2)</sup>.

Какъ ни восторженно отзывались, въ общемъ, представители молодого поколѣнія о Надеждинѣ, среди нихъ были и такіе, которые, отличаясь вдумчивымъ, серьезнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, старались анализировать и подвергать критикѣ всѣ жизненныя явленія, что не могло не отразиться на ихъ сужденіяхъ о лекціяхъ любимаго профессора. Стремленія этой группы молодежи были, конечно, весьма похвальные; вопросъ заключается лишь въ томъ, насколько вѣрно и основательно сдѣланы ею вы-

<sup>1)</sup> *Θ. И. Буслевъ. Мои воспоминанія. М., 1897, стр. 123—124.—Ср. Библиотеку для Чтенія, 1859, № 12, стр. 9—11.*

<sup>2)</sup> *П. В. Анненковъ. Н. В. Станкевичъ. М., 1857, стр. 38—39.*

воды и заключенія, на которые, обыкновенно, безъ всякой провѣрки, ссылаются многіе современные литераторы, задавшіеся цѣлью умалить значеніе Надеждина, какъ руководителя нашихъ идеалистовъ тридцатыхъ годовъ. Станкевичъ, весьма сочувственные отзывы котораго о Надеждинѣ приведены выше, признавалъ «недостаточность» его лекцій; онѣ были «не богаты содержаніемъ», и по замѣчанію Буслаева. «Молодое поколѣніе»—писалъ К. С. Аксаковъ—«съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи». Онъ «не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ занятій. Тѣмъ не менѣе, справедливо и строго оцѣнивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его рѣчь»<sup>1)</sup>. Всѣ изложенныя нареканія на Надеждина сводятся къ двумъ категоріямъ, одни касаются «небогатаго содержанія» лекцій, другія—«сухости словъ, собственнаго безучастія» лектора «къ предмету», «недостатка серьезныхъ занятій». Была ли, однако, «справедлива» эта «строгая оцѣнка»? Нареканія первой категоріи отпадаютъ сами собою, такъ какъ содержаніе лекцій было, несомнѣнно, «богато», въ чемъ мы могли непосредственно убѣдиться, пересмотрѣвъ, по счастливой случайности, уцѣлѣвшія отдѣльныя части курса по исторіи и теоріи изящныхъ искусствъ. Къ тому же, мы полагаемъ, что юные критики, при всѣхъ ихъ благихъ намѣреніяхъ и развитіи, не были и, никонимъ образомъ, не могли быть компетентны въ своихъ рѣшеніяхъ. По словамъ современника, «содержаніе лекцій» Надеждина, «его начала, взглядъ на предметы ученики его не могли тогда оцѣнить по достоинству; форма же его лекцій и частности, какъ дѣло, болѣе доступное понятіямъ студентовъ, и тогда были предметомъ ихъ разсужденій и разговоровъ, горячихъ и восторженныхъ»<sup>2)</sup>. Извѣстные намъ факты подтверждаютъ мнѣніе Лавдовскаго. Станкевичъ, лучший студентъ и составитель надеждинскихъ лекцій<sup>3)</sup>, владѣвшій языками, осенью 1834 года

<sup>1)</sup> П. В. Анненковъ. Н. В. Станкевичъ. М., 1857. Переписка, стр. 196.—  
 О. П. Буслаевъ. Мопъ воспомнанія. М., 1897, стр. 123—124.—*День*, 1862,  
 № 40, стр. 3

<sup>2)</sup> *Московскія Вѣдомости*, 1856, № 81, стр. 342—343.

<sup>3)</sup> *Библиотека для Чтенія*, 1859, № 12, стр. 13—14: «Изъ своекоштныхъ студентовъ занимался составленіемъ лекцій Надеждина Н. В. Станкевичъ, которому я (Прозоровъ) сообщилъ въ пособіе записки эстетики профессора Москов-



«плохо понималъ цементъ, которымъ связаны различныя части» системы Шеллинга, «потѣлъ» надъ нею, и лишь въ ноябрѣ 1835 года принялся за Канта, «выразумѣть» котораго «мѣшало незнаніе мелкихъ школьныхъ фактовъ»<sup>1)</sup>.

Нареканія второй категоріи относятся не къ курсу, а къ личности лектора. «Недостатка серьезныхъ занятій» не было, ибо лекція были содержательны и глубоко продуманы, что указывало на добросовѣстность и трудолюбіе ихъ составителя. Остаются неопровергнутыми лишь обвиненія въ «сухости словъ» и «собственномъ безучастіи къ предмету». Нѣкоторыя разъясненія по этому поводу даны И. И. Срезневскимъ. «Не разъ мнѣ удавалось слышать», пишетъ онъ: «о вліяніи» Надеждина «на слушателей отъ нихъ самихъ: инымъ не нравился его особенный слогъ, иногда цвѣтистый, неровно соединявшійся съ проблесками насмѣшливости; другимъ столько же не нравилась игра знаніями, казавшаяся хвастливостью; но всѣ должны были сознаться, что онъ возбуждалъ ученую пытливость и размышленіе, что не на время, а навсегда, хотя и незамѣтно, давалъ направленіе чловѣку»<sup>2)</sup>. Послѣдніе слова подтверждены Станкевичемъ; первыя—разъясняютъ причины неудовлетворенности той части юношества, о которой говоритъ К. С. Аксаковъ. Именно, «игра знаніями» и «насмѣшливость» наводили на мысль о «безучастіи къ предмету». Манера чтенія, зависѣвшая отъ темперамента, склада ума, особенностей натуры, смущала пылкихъ идеалистовъ, порождала сомнѣніе въ любви профессора въ наукѣ: допущенный имъ «дилетантизмъ» и импровизаціонный способъ изложенія, въ глазахъ студентовъ, свидѣтельствовали о яко бы небрежномъ исполненіи обязанностей.

Были недовольные и слогомъ, который иногда казался «цвѣтистымъ» или неяснымъ. Они, большею частію, порицали введенную Надеждинымъ «философскую терминологію». «Не приготовленные къ тому прежнимъ своимъ воспитаніемъ, не получившіе никакого философскаго образованія», они «не мало затруднялись этимъ и даже нѣкоторые не скрывали своего неудовольствія, на-

---

ской духовной академіи Доброхотова». Двѣ «записки лекцій» по теоріи изящныхъ искусствъ, составленныя Станкевичемъ, находятся въ нашихъ рукахъ.

<sup>1)</sup> И. В. Анненковъ. Н. В. Станкевичъ. М., 1857. Переписка, стр. 98—99; 101—102; 131; 153—155.

<sup>2)</sup> Въстникъ Императорскаго Географическаго Общества, 1856, ч. 16, отд. 5, стр. 1—5.

зывая это схоластикой, школярством»<sup>1)</sup>. «Совершенное незнакомство» этихъ лицъ «съ общими правилами умозрѣнія» лишило ихъ возможности слѣдить за теоріей» искусства и побудило Надеждина «отвратить неудобство собственнымъ безмезднымъ преподаваніемъ логики»<sup>2)</sup>.— Жалобы этой группы малоуспѣвающихъ, конечно, нельзя принимать во вниманіе, такъ какъ, по мнѣнію болѣе способныхъ, Надеждинъ читалъ «очень толково, понятно и ясно»<sup>3)</sup>, «своимъ свѣтлымъ умомъ и необыкновеннымъ даромъ слова умѣлъ самымъ отвлеченнымъ» «понятіямъ сообщить осязаемость»<sup>4)</sup>. «Ясность, какая-то прозрачность стройной и правильной логической ткани, строгая послѣдовательность мысли, неотразимый силлогизмъ, поразительность и неожиданность выводовъ изумляли слушателей», которые невольно подчинялись «діалектической силѣ» Надеждина. Составить его лекцію было чрезвычайно легко: «достаточно было запомнить или записать только точку отправленія его мысли, главные пункты и порядокъ; остальное» «являлось при помощи напоминанія какъ бы само собою легко и свободно»<sup>5)</sup>.— Казалось бы, порицать Надеждина въ этомъ отношеніи нѣтъ никакихъ основаній; между тѣмъ, жалобы на «туманный» и «цвѣтистый» стиль его слышались не только со стороны малоуспѣвающихъ студентовъ, но и со стороны тогдашнихъ профессоровъ. «Московскіе ученые чудныя вещи пишутъ», заносить въ свой дневникъ А. В. Никитенко 16-го февраля 1834 г.: «Вотъ, напримѣръ, рѣчь Надеждина: «О современномъ направленіи искусствъ»; вотъ вступительная лекція Погодина объ исторіи, напечатанная въ первой книжкѣ *Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія*. Всѣ эти господа кидаются на высокія начала: имъ хочется вывести все, все изъ вѣчныхъ идей, первообразовъ природы. Это бы ничего, если бъ у нихъ былъ ясный умъ и ясный языкъ. Тогда, по крайней мѣрѣ, мы увидѣли бы стройную систему, въ которой,

<sup>1)</sup> *Московскія Вѣдомости*, 1856, № 81.

<sup>2)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 64.

<sup>3)</sup> *Ө. П. Буслаевъ*. Мои воспоминанія. М., 1897, стр. 123—124.

<sup>4)</sup> *Библиотека для Чтенія*, 1859, № 12, стр. 9—11.

<sup>5)</sup> *Московскія Вѣдомости*, 1856, № 81.—Прозоровъ рассказываетъ, что на вопросъ Уварова: «понимають ли студенты преподаваемую имъ эстетику?»—Надеждинъ отвѣчалъ, что «по журналамъ (запискамъ) его лекцій онъ утвердительно можетъ сказать, что слушатели вполне его понимаютъ». Дошедшія до насъ части курса, дѣйствительно, составлены толково.

если бы и не было больше безусловной истины, чѣмъ въ другихъ системахъ, то, по крайней мѣрѣ, была бы поэзія.—Нѣтъ, они, какъ будто, стараются затмить одинъ другого пышностью варварской терминологіи и туманнымъ краснорѣчіемъ. Надеждинъ, напримѣръ, *столпъ вавилонскій почитаетъ изящнѣйшимъ произведеніемъ древняго зодчества, на коемъ почилли тайны вѣковъ,—первообразомъ древняго міра*»<sup>1)</sup>. Правильно ли освѣщаетъ факты А. В. Никитенко? Отвѣтъ будетъ ясенъ, если приведемъ соотвѣтствующее мѣсто изъ раскритикованной имъ рѣчи. «Отсюда повятно», пишетъ Надеждинъ: «почему памятники изящныхъ искусствъ, завѣщанные намъ представителями всемірнаго младенчества, ознаменованы непомѣрнымъ, исполинскимъ величіемъ, переходящимъ иногда въ *дикую, безобразную чудовищность*. «По свидѣтельству священнаго преданія, первымъ опытомъ человѣческаго искусства было зданіе столпа, долженствовавшего возвышаться до облаковъ. Сіе безразсудное начинаніе, конечно, не могло совершиться; но оно представляло собою типъ современной художественной дѣятельности»<sup>2)</sup>. И это все, что сказано въ рѣчи о столпѣ вавилонскомъ. Гдѣ же здѣсь «тайны вѣковъ», «первообразъ древняго міра»? вмѣсто упоминанія объ «изящнѣйшемъ произведеніи древняго зодчества» находимъ указаніе на «дикую, безобразную чудовищность». Очевидно, отзывъ Никитенка рѣзко расходится съ истиною.

Анализъ воспоминаній современниковъ, который полезно продѣлать, чтобы выяснитъ степень ихъ достовѣрности, приволитъ насъ къ заключенію, что нареканія, касавшіяся лекцій и личности Надеждина, вполне несостоятельны, и значеніе его, какъ выдающагося профессора, не можетъ быть ими унижено.

Въ своей автобіографіи Надеждинъ обстоятельно разсказалъ, какъ онъ приступилъ къ чтенію лекцій въ Московскомъ университетѣ и какого метода рѣшилъ держаться при изложеніи исторіи и теоріи изящныхъ искусствъ. «Еще въ сочиненіи моемъ на конкурсъ, равно какъ и въ пробной лекціи», пишетъ онъ: «я изъяснилъ, что цѣль моего преподаванія археологіи есть историческое оправданіе той теоріи изящныхъ искусствъ, которую я

<sup>1)</sup> А. В. Никитенко. Записки и дневникъ. Спб., 1893, т. I, стр. 321.

<sup>2)</sup> Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета, 1833, ч. I, № 1, стр. 107—108.

долженъ былъ читать моимъ слушателямъ, а потому буду излагать эту науку, то-есть археологію, какъ исторію искусствъ по памятникамъ. Это было одобрено, и отъ того моя археологія распространилась въ объемъ своемъ значительно противъ прежнихъ предъловъ. До тѣхъ поръ, въ кругъ ея допускались только памятники двухъ классическихъ народовъ: грековъ и римлянъ. Я предположилъ касаться памятниковъ искусствъ у всѣхъ древнихъ народовъ, какіе только оставили по себѣ памятники. Вслѣдствіе того, какъ начало моего курса приходилось въ половинѣ года, то я началъ съ сей послѣдней, то-есть съ археологіи, и именно съ древней *Индіи*. Руководство по этой части, которыми бы я могъ пользоваться, въ то время на русскомъ языкѣ не было, да и нынѣ (въ 1854 г.) нѣтъ. Я прибѣгнулъ къ единственнымъ, тогда бывшимъ у меня подъ рукою, источникамъ: *Герену*, къ его «*Ideen*», и къ другимъ изслѣдователямъ древностей. Методъ преподаванія моего былъ слѣдующій: я не писалъ лекцій, но предварительно обдумавъ и вычитавъ все нужное, передавалъ живымъ словомъ, чтó мнѣ было извѣстно, а студенты записывали и давали въ слѣдующій классъ мнѣ отчеты. Такимъ образомъ, ни одной лекціи моей не было напечатано; но сохранились у меня кипы тетрадей студентскихъ, которыя я обыкновенно просматривалъ по очереди и исправлялъ или пополнялъ, гдѣ было нужно. Такимъ образомъ, съ 1831 академическаго года до вакаціоннаго времени, я успѣлъ прочесть исторію памятниковъ всѣхъ древнихъ народовъ собственно до грековъ.—Съ наступленіемъ слѣдующаго 1832 года пришла очередь теоріи изящныхъ искусствъ. Слѣдуя тому же порядку, я постановилъ, и въ слѣдующіе классы преподаванія сей науки, держаться отчасти *Бутервека*, *Бахмана* и другихъ нѣмецкихъ эстетиковъ. При семъ не могу также не упомянуть, что мнѣ много послужили въ этомъ случаѣ лекціи эстетики, которыя я слушалъ въ духовной академіи у бакалавра, покойнаго *П. И. Доброхотова*, преподававшаго сей предметъ съ знаніемъ дѣла и съ живымъ одушевленіемъ. Чтобы имѣть твердую, положительную опору въ своихъ умозрительныхъ изслѣдованіяхъ, я начиналъ съ психологическаго анализа эстетическаго чувства и отсюда выводилъ идею изящнаго, показывая, какъ потомъ эта единая идея раздробляется и съ какими оттънками является въ міръ изящныхъ искусствъ подъ творческими перстами генія, сообразно требованіямъ вкуса. Изъ этихъ лекцій тоже не было ничего напечатано. Остались однѣ лишь студентскія записки.

Между тѣмъ я вскорѣ замѣтилъ, что, при этомъ преподаваніи, важнымъ препятствіемъ для студентовъ было совершенное незнакомство ихъ съ общими правилами умозрѣнія. Тогда не преподавалась въ университетѣ даже логика». «Я обратилъ на то вниманіе совѣта», который «исходатайствовалъ мнѣ разрѣшеніе высшаго начальства преподавать логику студентамъ всѣхъ факультетовъ университета перваго курса, что и исполнялось мною чрезъ цѣлый годъ, по два, а потомъ и по три раза въ недѣлю.— Преподаваніе шло тѣмъ же порядкомъ, то-есть импровизаціею; но *планъ* самой науки я расположилъ по своему, не придерживаясь никакого образца. Я велъ логику совершенно параллельно съ эстетикою, то-есть начиналъ съ психологическаго разбора чувства истины, или того, что называется убѣжденіемъ, удостовѣреніемъ, и, такимъ образомъ, восходилъ до идеи истины, которой извѣстныя формулы, называемыя иначе началами мышленія, разъяснял потомъ со всею подробностію; наконецъ, заключалъ теоріею науки вообще или архитектонику системъ, что обыкновенно относилось къ такъ называемой прикладной логикѣ»<sup>1)</sup>.

По свидѣтельству самого Надеждина, «ни одной лекціи его не было напечатано», но у него «сохранились кипы тетрадей студентскихъ». Вскорѣ послѣ его смерти, въ печати стали выражаться опасенія, что «кипы тетрадей» пропали безслѣдно. «Къ сожалѣнію, намъ ничего не осталось отъ его курса», писалъ П. В. Анненковъ; одинъ изъ учениковъ Надеждина Лавдовскій сомнѣвался, чтобы «гдѣ-нибудь уцѣлѣлъ» «списокъ лекцій»<sup>2)</sup> Счастливый случай далъ намъ возможность убѣдиться въ неосновательности этихъ сожалѣній и сомнѣній. Въ нашихъ рукахъ находится часть «тетрадей». Сообразно тремъ отдѣламъ курса, онѣ

<sup>1)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 62—64.

<sup>2)</sup> П. В. Анненковъ. Н. В. Станкевичъ. М., 1857, стр. 34.—*Московскія Вѣдомости*, 1856, № 81, стр. 342—343.—Ср. *Московскій Наблюдатель*, 1836, ч. VI, стр. 703: Надеждинъ, пишетъ С. П. Шевыревъ: «въ теченіе четырехъ лѣтъ преподавалъ эстетику и исторію изящныхъ искусствъ; но мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ его курса—почему?—потому что г. профессоръ импровизировалъ свои лекціи. А, конечно, любопытно бы намъ было прочесть этотъ курсъ, составленный такимъ ученымъ преподавателемъ: вѣроятно, онъ собралъ для него всѣ современныя свѣдѣнія по этимъ предметамъ—и всѣ эти разысканія, всѣ труды профессора потеряны для насъ. по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ остаются тайною для публики. Мы не имѣемъ даже ни одной его лекціи напечатанной—все почему?—потому что онъ не писалъ ихъ, а импровизировалъ, и потому, что въ Россіи нѣтъ стенографовъ».

могутъ быть раздѣлены на три группы: въ однѣхъ излагается археологія, въ другихъ—теоріи изящныхъ искусствъ, въ третьихъ—логика. Не всѣ лекціи имѣютъ хорошій внѣшній видъ, не всѣ одинаково составлены, такъ какъ записки вели лица разныхъ способностей и разнаго образованія, какъ напримѣръ: Станкевичъ, К. Аксаковъ, Самаринъ, Прозоровъ, Лавдовскій, Топорнинъ, Ходжаевъ, Горнъ, Михайловъ, Смирновъ, Плетеневъ, Налетовъ, Барсовъ, Шеншинъ, Знаменскій. Изъ отдѣла логики, читанной, кажется, по Бахману, уцѣлѣло всего четыре «журнала», на основаніи которыхъ еще нельзя судить о ходѣ преподаванія. Отдѣлъ археологіи даетъ больше матеріала, но для насъ неясно, чѣмъ онъ долженъ заканчиваться: разборомъ памятниковъ Греціи и Рима, или изложеніемъ искусства сравнительно новаго времени. Прозоровъ утверждаетъ, что слышалъ отъ своего профессора *не только объ исполинскихъ построеніяхъ пагодъ и пирамидъ, пантеона и коллизея*, но и *«о стразбургскомъ соборѣ и куполѣ Петра, объ Аполлонѣ Бельведерскомъ и Лаокоонѣ, и о Мадоннѣ и Преображеніи Рафаэля»* <sup>1)</sup>. Другіе современники упоминаютъ лишь о древнѣйшемъ періодѣ. По словамъ Лавдовскаго, Надеждинъ *«читалъ объ искусствѣ индійскомъ, персидскомъ и другихъ древнѣйшихъ азіатскихъ народовъ»*. «Начиная археологію», онъ *«счелъ нужнымъ сперва раскрыть передъ глазами слушателей сцену, гдѣ должна разыгрываться художественная драма искусствъ индійскаго, вавилонскаго, персидскаго и т. д. Для этого онъ прочиталъ двѣ лекціи о бытѣ, торговлѣ, сношеніяхъ и пр. этихъ древнѣйшихъ странъ, и въ двѣ лекціи умѣлъ представить все это въ прекрасной, яркой и вразумительной картинѣ»* <sup>2)</sup>. То же, что и Лавдовскій, говоритъ Гончаровъ, сдѣлавшій отъ себя лишь слѣдующія указанія: Надеждинъ *«вводилъ насъ въ таинственную даль древняго міра, передавая духъ, бытъ, исторію и искусство Греціи и Рима»* <sup>3)</sup>. Разказомъ объ искусствѣ Греціи и Рима, повидимому, и должна была заключаться археологія. Нововведенія Надеждина, сравнительно съ его предшественниками, по нашему мнѣнію, заключались не въ томъ, что онъ затрагивалъ художественное творчество позднѣйшей эпохи, но въ томъ, что,

<sup>1)</sup> Библиотека для Чтенія, 1859, № 12, стр. 9—11

<sup>2)</sup> Московскія Вѣдомости, 1856, № 81, стр. 342—343

<sup>3)</sup> И. А. Гончаровъ. Полное собраніе сочиненій. Спб., 1896, т. IX, стр. 118—119.

кромя «памятниковъ двухъ классическихъ народовъ», онъ «касался памятниковъ искусствъ у всѣхъ древнихъ народовъ», увлекалъ слушателей «въ таинственную даль» сѣдой старины <sup>1)</sup>.— Дошедшія до насъ рукописи не заключаютъ въ себѣ данныхъ, необходимыхъ для разрѣшенія интересующаго насъ вопроса: передъ нами студенческія записки: «О происхожденіи изящныхъ искусствъ», «Объ индійской архитектурѣ и ея памятникахъ», «О символикѣ финикіянъ», «Объ ассирійско-вавилонскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ», «О тоническомъ и сценическомъ искусствахъ у египтянъ», «Объ искусствахъ этрусскихъ»; здѣсь нѣтъ даже лекцій о греческомъ искусствѣ <sup>2)</sup>,—пробѣлъ важный: который можно восполнить лишь на основаніи рѣчи Надеждина: «О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ» <sup>3)</sup>.—Лучше археологіи сохранился отдѣлъ эстетики. «Журналовъ» сравнительно много; оглавленія ихъ самыя разнообразныя: «О теоріи изящныхъ искусствъ и ея возможности», «Психологія. или философія изящнаго», «Объ эстетическомъ чувствѣ», «Объ идеѣ красоты», «Аналитика изящнаго», «О явленіяхъ изящнаго, приближающихся къ чувству высокаго», «О геніи». Лекція о высокомъ, составленная К. С. Аксаковымъ, несодержательна; взгляды лектора на этотъ предметъ гораздо обстоятельнѣе изложены въ статьяхъ, помѣщенныхъ въ *Вѣстникъ Европы* <sup>4)</sup>. Замяна утраченныхъ лекцій нѣкоторыми напечатанными статьями даетъ возможность возстановить, хотя и не въ полномъ объемѣ, курсъ Надеждина по исторіи и теоріи изящныхъ искусствъ. Изложеніе курса мы начнемъ съ археологіи.

## Лекціи по археологіи.

### I. *Объ изящныхъ искусствахъ и ихъ дѣленіи.*

«Искусство есть не что иное, какъ умѣнье осуществлять мысли, рождающіяся въ умѣ, и представлять ихъ въ формахъ, озна-

<sup>1)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, книга I, стр. 63.

<sup>2)</sup> Сохранились лишь «Записки лекцій 18—20 марта 1833, пзъ теоріи (?) изящныхъ искусствъ», составленные «студентомъ Николаемъ Станкевичемъ». Въ запискахъ указаны общія положенія, и отсутствуютъ факты, пзъ которыхъ сдѣланы выводы.

<sup>3)</sup> *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, часть I, №№ 1—3.

<sup>4)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 3—6. «О высокомъ».

менованных печатію изящества. Слѣдовательно, изящныя искусства имѣютъ два элемента: мысль художника и форму, въ которую онъ ее облакаетъ. Мысли художника столь разнообразны, что по нимъ никакъ нельзя дѣлать искусства, а основаніемъ раздѣленія должны быть формы», «посредствомъ которыхъ мысль бываетъ намъ доступна». Художникъ беретъ формы или «изъ внѣшней природы», или «изъ самого себя». «Поэтому искусства дѣлятся на два рода: первый родъ называется *искусствами символическими*, ибо форма есть символъ, наружная оболочка, одѣвающая творческую мысль. Здѣсь можемъ мы поставить слово *художество*, которое, по своему употребленію, преимущественно относится къ искусствамъ символическимъ. Мы называемъ второй родъ *искусствами человѣческими*», ибо въ данномъ случаѣ «человѣкъ почерпаетъ и идею, и форму изъ самого себя; имъ можно дать названіе *поэзіи* въ ограниченномъ смыслѣ этого слова. Конечно, поэзія проявляется и въ художественныхъ произведеніяхъ, но она становится несравненно выше и обширнѣе, когда человѣкъ облакаетъ ее въ образъ, заимствованный изъ самого себя».

«Разсматривая *искусства символическія*, гдѣ художникъ заимствуетъ для себя формы изъ внѣшней природы», мы не должны принимать во вниманіе «различіе ихъ между собою *по различію вещества*, служащаго для ихъ выраженія, но должны смотрѣть *на самое выраженіе*, данное имъ ихъ творцомъ, *на форму*, подъ которой намъ предстаютъ они. Итакъ, сіи искусства дѣлятся по внѣшностямъ формъ».

«Все, что дѣйствуетъ на наши чувства, бываетъ гдѣ-нибудь и когда нибудь, слѣдовательно въ пространствѣ и времени. Явленія, подъ вліяніемъ пространства, представляются намъ какъ образы безъ движенія; подъ вліяніемъ же времени—какъ безпрестанное преемство»; «и то, и другое соединяются въ движеніи, которое есть преемство существованія въ пространствѣ. Если художникъ имѣетъ въ виду *пространство* и веществомъ для его произведенія служить *масса*, взятая имъ изъ царства природы, тогда искусства получаютъ наименованіе *образовательныхъ*. Когда же они являются *во времени*, бываютъ выраженіемъ преемственности и веществомъ для нихъ служить *звукъ*, единственный въ природѣ представитель гармоническаго преемства, тогда даютъ имъ имя *тоническихъ*. Наконецъ, оба эти рода соединяются въ одномъ, гдѣ особенно имѣется въ виду *движеніе*—это искусство *сценическія*».



Дѣленіе искусствъ *образовательныхъ* «явствуетъ изъ общаго ихъ характера». «Художникъ можетъ давать пространству такой образъ, который не сходенъ ни съ какою частностью природы, но подобенъ ей вообще, подобенъ цѣлому ея строенію,— тогда искусство называется *архитектурнымъ*; въ немъ дѣйствуетъ просто зиждательная сила человѣка, не подражая, а какъ бы соревнуя природѣ, которой миниатюрь представляетъ архитектура»—«первый видъ образовательныхъ искусствъ». Второй видъ возникаетъ тогда, «когда масса физическая, взятая художникомъ, получаетъ характеръ изящнаго и подходитъ къ частнымъ явленіямъ природы». Эти искусства, извѣстныя подъ именемъ *пластическихъ*, «могутъ быть раздѣлены на основаніи трехъ геометрическихъ измѣреній (разумѣется, мы говоримъ аналогически). Можно приложить измѣреніе тройное, когда художникъ обрабатываетъ цѣлую массу, отдѣльно взятую; двойное, когда онъ беретъ поверхность, и единое, когда выражаетъ свою мысль посредствомъ линій (чертъ)».

Такимъ образомъ, «*масса, поверхность и линія*—вотъ три выраженія пластическихъ искусствъ». «Въ первомъ случаѣ», искусство «называется *ваяніемъ*, а произведеніе его— вообще *статуей*», причемъ, подъ послѣдней разумѣется такое произведеніе, которое возсоздаетъ «частное явленіе природы, какъ оно въ ней находится, во всѣхъ трехъ измѣреніяхъ». Когда берется одна поверхность, то возникаютъ различныя виды пластики: «искусство *барельефное* изображаетъ различныя формы чрезъ выпуклость на какомъ-нибудь веществѣ, и другое искусство *рѣзьба* дѣлаетъ углубленіе на камнѣ, металлѣ» и иныхъ веществахъ. «Составленіе символовъ изъ однѣхъ линій» есть «искусство *черченія*, или *живопись*; здѣсь художникъ долженъ выразить на плоскости свою идею такъ, чтобъ форма ея казалась отдѣльною отъ вещества, на которомъ онъ творитъ, и была, повидимому, точно такова, какъ въ природѣ». — Всѣ перечисленные роды искусствъ образовательныхъ «соединяются въ *изящномъ садоводствѣ*, которое состоитъ въ наполненіи извѣстной части земли прекрасными произведеніями природы, расположенными въ гармоническомъ порядкѣ и соотношеніи. Особенно прелестно искусство ландшафтное, которое пользуется подобными произведеніями природы, употребляя ихъ не какъ матеріалъ, но уже какъ формы, и составляетъ изъ нихъ» красивый «ландшафтъ».

Веществомъ искусствъ *тоническихъ* является *звукъ*. «Мы не умѣемъ себя представить преемства физическаго, не сопрово-

ждаемаго какимъ-нибудь звукомъ; не можемъ представить сей, текущей мимо насъ, рѣки времени безъ шума, признака вещественнаго ея существованія». Звуки—«общая эмблема преемственности». «Они, какъ измѣренія времени, соединяются въ *гармонію* и составляютъ *мелодію*, основаніемъ которой» служить «*тактъ*». «Раздѣлить звукъ собственно въ отношеніи къ нему нельзя, ибо онъ имѣеть только измѣреніе продолжаемости. Слѣдовательно, должно раздѣлить его по *орудіямъ*, которыми онъ производится». Самое первое и естественное изъ нихъ—мы сами; «человѣкъ выражаетъ въ звукахъ чувства свои посредствомъ *пѣнія*. Прочія орудія заимствуются изъ вещественной природы, и *звуки*, ими издаваемые, называются общимъ именемъ *музыки*». Инструментовъ, которые мы можемъ употреблять, три рода: одни производятъ звуки посредствомъ нашего дыханія; другіе—посредствомъ «эластическаго напряженія веществъ», именно струнъ; третьи—«посредствомъ простыхъ ударовъ». Отсюда произошла музыка *духовая*, *струнная* и *бряцающая*. «Каждый изъ этихъ родовъ» музыки составляетъ особое «пѣлое»; соединеніе же ихъ образуетъ *оркестръ*, такъ же, какъ соединеніе голосовъ—*хоръ*, а соединеніе того и другого—*концертъ*.—«Кромѣ того, есть внутреннее различіе музыки, опредѣляемое намѣреніемъ художника. Оно можетъ служить основаніемъ раздѣленія тоническихъ искусствъ» на три новые вида. «Когда художникъ хочетъ выразить» свои личныя чувства, тогда возникаетъ музыка *лирическая*; «когда же сочинитель возбуждаетъ чувства въ душѣ слушателя и представляетъ ему происшествія, тогда—*эпическая*»; «наконецъ, когда художникъ не только представляетъ картину, но и одушевляетъ ее дѣйствіемъ, и слушатель дѣлается какъ бы зрителемъ,—тогда является музыка *драматическая*, гдѣ орудія, посредствомъ взаимнаго ихъ соотвѣтствія, какъ бы бесѣдуютъ между собою».

Искусства *сценическія* «даютъ гармонію движенію», причемъ орудіемъ долженъ быть самъ человѣкъ; «они имѣютъ свои подраздѣленія». «Человѣкъ можетъ привести себя въ положеніе неподвижное, но такъ, чтобъ оно выражало игру жизни. Это—искусство *живыхъ картинъ*». «Когда человѣкъ сходитъ съ своего мѣста и начинаетъ дѣлать стройныя движенія», онъ *танцуетъ*; а когда онъ, «сопровождая свое положеніе движеніями», «одушевляетъ» ту картину, въ которой занимаетъ извѣстное мѣсто,—онъ «*лицедѣйствуетъ*».—Какъ въ *концертѣ* можно соединить музыку лирическую, эпическую и драматическую, такъ въ *ди-*

*вертисментъ*—живыя картины, танцы и лицедѣйство; всѣ же искусства образовательныя, тоническія и сценическія соединяются вмѣстѣ въ *оперъ* <sup>1)</sup>).

Не изъ внѣшней природы, а изъ самого человѣка «почерпаются» идея и форма искусствъ *«человѣческихъ»*, которымъ «дается названіе *поэзіи*». Человѣкъ состоитъ изъ духа и тѣла; послѣднее, будучи «предметомъ міра физическаго», «можетъ служить матеріаломъ только для искусствъ символическихъ»; но человѣкъ «отличается отъ міра физическаго» *мыслью*, которая «является въ словѣ, какъ въ формѣ». «Какъ искусство, имѣющее средствомъ выраженія звукъ, поэзія подходитъ къ искусству тоническому»; но ея звуки не сходны съ музыкальными: они «имѣютъ собственное содержаніе», «между тѣмъ какъ въ музыкѣ мысль выражается только гармоніей». «Притомъ слово такъ роскошно, такъ гибко, что можетъ принимать живописность пластическихъ и выразительность сценическихъ искусствъ; имѣетъ цвѣтъ картины и живость дѣйствія». «Музыка углубляетъ человѣка въ безпредѣльность, она можетъ исчерпать всю его душу», но никогда не создастъ «картину съ опредѣленными чертами», никогда не «представитъ всѣ малѣйшіе оттѣнки различныхъ предметовъ. Чувство, къ которому она настраиваетъ душу, есть чувство безотчетнаго наслажденія». Слово — «переходъ отъ міра духовнаго къ міру вещественному, посему оно принимаетъ красоту тоническихъ, пластическихъ и сценическихъ искусствъ». «Въ искусствѣ словесномъ гений—независимый творецъ, и потому поэзія есть высочайшее, самобытное искусство»: «слово торжествуетъ надъ самою природою».

Основанія для дѣленія поэзіи должно искать въ *мысли*. Можно «мыслить или о себѣ, или о томъ, что внѣ насъ»; «слѣдовательно, и выражать» можно «или себя, или то, что внѣ насъ». «Отсюда два рода поэзіи: поэзія, выражающая внутренній міръ нашъ — *лирическая*», и поэзія, «живописующая міръ внѣшній—*эпическая*».

Такъ какъ «душевные способности наши могутъ различаться степенью напряженія ихъ, то отсюда, по отношенію *внутренней интенціи*, происходятъ различныя» виды *лирической* поэзіи, которые, «отъ простѣйшаго выраженія обыкновенныхъ чувствава-

---

<sup>1)</sup> Журналъ, составленный изъ лекцій профессора Надеждина 6 октября 1833 студентомъ Константиномъ Аксаковымъ.

ній, какова народная пѣснь, до изступленнаго возвышеннаго диѳирамба, составляютъ лѣстницу, гамму чувствованій души человѣческой въ постепенномъ порядкѣ ихъ».

«Поэзія *эпическая* представляетъ внѣшніе образы; она—картина, переведенная на слова». «Она совершенно противоположна лирической поэзіи. Ту раздѣляли мы по степени внутренней интенсіи, сію должны раздѣлить на основаніи *внѣшней экстенсіи*. Здѣсь также составляется лѣстница отъ самаго простаго разказа, отъ народной сказки до великолѣпнаго эпоса, описывающаго судьбу рода человѣческаго. Лирическая поэзія отличается жаромъ чувства; эпическая чѣмъ холоднѣе, тѣмъ выразительнѣе».

«Поэтъ можетъ неподвижность эпическую одушевить жизнью лирическою, событія возобновить въ душѣ» и «представить ихъ въ дѣйствиіи. Отсюда произошла поэзія *драматическая*. Она есть соединеніе поэзіи лирической и эпической; отъ нихъ заимствуетъ свои измѣненія: отъ лирической—одушевленіе, отъ эпической—важность».

Всѣ три рода искусствъ человѣческихъ «имѣютъ нѣкоторое сходство съ символическими». «Пѣснь есть символъ лирической поэзіи»; она «совокупляется» съ музыкой. «Эпопея состоитъ въ описаніяхъ, слѣдовательно во внѣшнихъ образахъ, соотвѣтственно пластикѣ, и ваятели предметы для своего искусства всегда заимствовали изъ эпопеи. Драма, соединяющая оба рода поэзіи, совокупляется съ искусствомъ сценическимъ» <sup>1)</sup>.

## II. О происхожденіи изящныхъ искусствъ.

«Начало изящныхъ искусствъ теряется во мракѣ вѣковъ отдаленныхъ, первыхъ въ жизни новосозданнаго міра». «Безотчетныя изліянія младенчествующаго человѣчества», «сей зародышъ искусствъ», не были отмѣчены современниками,—и «первыя произведенія первыхъ племенъ» «погибли въ неизвѣстности». «Но творческая дѣятельность пришла въ зрѣлость», «достигла извѣстной степени совершенства»; тогда люди, какъ бы пораженные своимъ невниманіемъ, обратились къ «баснословнымъ догадкамъ и предположеніямъ»; они вымышляли «случаи, чтобы объяснить

<sup>1)</sup> Журналъ лекціи, читанной 11-го октября 1833 г., составленный Д. Горькимъ.

себѣ начало изящныхъ искусствъ, и, теряясь въ лабиринтѣ догадокъ, прежде всего призывали на помощь божество и ему-то приписывали первое внушеніе искусствъ человѣку; далѣе, начиная отъ механическаго ремесла до высшаго проявленія творчества, отъ буквы, слова—до гениальнаго произведенія—все приписывалось не человѣку, но постороннимъ вѣшнымъ причинамъ». «Всѣ случаи, едва ли не произвольно назначенные быть причинами изобрѣтеній, сохранены потомству» на «завѣтныхъ страницахъ» произведеній позднѣйшихъ греческихъ писателей, «жившихъ уже во времена полного развитія творческой дѣятельности». Дѣлались «странныя и неудовлетворительныя предположенія», чтобы выяснить «происхожденіе разнообразныхъ отраслей творчества». Таковы преданія объ изобрѣтеніи лиры или музыкальнаго размѣра и другія, указывающія, что «случай былъ творцомъ и искусствъ образовательныхъ». Возможно допустить, что первая мысль о какомъ-нибудь изобрѣтеніи «безсознательно пробуждена была случаемъ»; но «все это никогда не возбудило бы мысли, не развилось бы, если бы искусство не составляло природы человѣка, если бы въ душѣ его не было образа всеизидительнаго творчества, возбуждающаго къ соревнованію».

«Человѣкъ рождается творцомъ, художникомъ; творчество вливается въ него вмѣстѣ съ бытіемъ и проявляется въ первыхъ движеніяхъ развивающейся жизни». Сначала «обремененный нуждами физическими, въ стихіи враждебной, онъ рабъ необходимости и не живетъ умственно»; «но лишь только преодолѣтъ непріязненную ему природу, отстранитъ препятствія, въ немъ рождается потребность изящнаго творчества»<sup>1)</sup>. «Полная, кипя-

---

1) Въ рѣчи «О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ» Надеждинъ выяснилъ значеніе своей терминологіи: «Исторія изящныхъ искусствъ начинается вмѣстѣ съ исторіей рода человѣческаго. Конечно, по буквальному грамматическому знаменованію, имя искусствъ предполагаетъ умѣніе, навыкъ и, слѣдовательно, извѣстную степень образованности; поему происхожденіе ихъ должно бѣ было относиться ко временамъ позднѣйшимъ. Но по злоупотребленію, вынуждаемому крайностію языка, въ условномъ, техническомъ смыслѣ, именемъ изящныхъ искусствъ означаются всѣ человѣческія дѣйствія, означенныя печатію творчества, для отличенія ихъ отъ явленій собственно естественныхъ, производимыхъ однѣми силами природы, безъ всякаго человѣческаго участія, и что сіе имя не точно, что понятія объ умѣніи и навыкѣ, обыкновенно съ нимъ сопрягаемыя, несущественны, даже часто несовмѣстны съ характеромъ разумѣмыхъ подъ нимъ явленій, сіе убѣдительно доказываетъ тѣмъ, что высочайшее совершенство произведеній, неоспоримо отно-

пая жизнь юнаго народа, освободившагося отъ тяжелыхъ оковъ физическихъ нуждъ, обнаруживается» въ «игрѣ силъ», въ творческой дѣятельности. «Ужасное пѣніе, вой прокеза надъ трупомъ замученнаго врага содержитъ первый зародышъ музыки и пѣнія, какъ изліянія чувствъ. Въ нестройныхъ движеніяхъ отдыхающихъ дикихъ, скачущихъ послѣ ловли, видно прообразование граціозныхъ движеній», которыя составляютъ впослѣдствіи искусства сценическія. «Прихотливое желаніе островитянъ (Южный Архипелагъ) украшаться перьями и красками, пестрить одежду и тѣло уже предзнаменуетъ пластику. Сломленныя вѣтви, составляющія шалашъ, едва способный укрыть отъ бурь»,—«уже матеріалы для будущей архитектуры». «Но сіи изліянія»—«только зародышъ изящной дѣятельности; они только прообразуютъ искусства, достойныя человѣка. Здѣсь можно предчувствовать, предугадывать»; и «если благоприятныя обстоятельства не будутъ содѣйствовать» «очищенію грубой коры, покрывающей творческое начало», то оно никогда не выйдетъ изъ первобытнаго состоянія и «подавитъ себя своею собственною тяжестью».

«Первая сила, освящающая сія начала изящной дѣятельности, есть чувство религіозное. Религія составляетъ все, весь міръ, всю жизнь младенчествующаго человѣчества, ибо первое чувство есть сознаніе отношенія къ силѣ всепроизводящей»; это чувство «кладетъ первую печать образованія и благородства на творческое начало, принимая подъ сѣнь свою изящныя искусства». Религіозный характеръ замѣтенъ въ первобытной архитектурѣ, пластикѣ, музыкѣ, мимикѣ, поэзіи.—Когда «начинается опредѣленіе силъ жизни», періодъ религіозный смѣняется политическимъ. «Здѣсь вниманіе народа, прикованное къ религіи, отторгается отъ существа верховнаго и увлекается внѣшностью; здѣсь человѣкъ становится гражданиномъ; изъ нѣдръ семейства онъ вступаетъ въ свѣтъ и дѣлается его членомъ, дѣятелемъ». Искусства считаются «занятіемъ общественнымъ, служатъ къ достиженію народныхъ цѣлей».—За этимъ «направленіемъ» слѣдуетъ «третій періодъ паденія искусствъ до частныхъ, домашнихъ цѣлей».

---

сящихся къ кругу изящныхъ искусствъ, состоитъ нерѣдко въ ихъ высочайшей безыскусственности. Такимъ образомъ, распространяя имя сіе на всякое проявленіе творческой дѣятельности, на всякое выраженіе играющей жизни, мы имѣемъ полное право повторить, что исторія изящныхъ искусствъ современна исторіи человѣческаго рода» (*Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч. I, № 1, стр. 98—99).

«Общество отживаетъ свою чреду», согласно общимъ законамъ «начинаетъ ослабѣвать»; «высокія идеи патріотизма исчезаютъ»; искусство, «послѣдняя забава умирающаго человѣчества», «скрывается въ семействахъ и при дворѣ владѣтелей, тщетно старающихся удержать его въ паденіи».—«Итакъ, жизнь изящныхъ искусствъ, подобно жизни всего въ мірѣ существующаго, проявляется въ трехъ главныхъ періодахъ. Начало пробужденія сей жизни находится въ самомъ духѣ, а главное къ сему средство есть религія» <sup>1)</sup>).

### *III. Объ индійскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ.*

«Всѣ безчисленныя семейства рода человѣческаго имѣютъ свое относительное младенчество, коимъ начинаются ихъ частныя біографіи; но въ развитіи общей жизни человѣческаго рода, по непреложнымъ уставамъ бытія, существовалъ періодъ общаго младенчества для всего человѣческаго рода. Въ сей періодъ, соприкасающійся съ безбрежною пучиною вѣчности, народы, бывшіе представителями всемірной жизни, возникали, цвѣли и созрѣвали, не переставая быть младенцами. Тайственный рай востока былъ ихъ колыбелью. Здѣсь, подъ роскошнымъ тропическимъ небомъ, среди весны, никогда не увядающей, сіи избранные первенцы міра, свободные отъ изнурительныхъ физическихъ нуждъ, ласкаемые благодатною природою, праздновали весело прекрасное утро жизни. Посему ихъ вѣчно-юное младенчество не исключало усовершенности, образованія: оно возвышалось до пробужденія ума и воли, допускало мерцаніе идей и цѣлей, только подъ рѣшительнымъ преобладаніемъ чувства, составляющаго первоначальную стихію жизни. Отсюда, естественно, долженъ былъ произойти особый характеръ, выразившійся во всѣхъ событіяхъ, наполняющихъ сей великій прологъ всемірной исторіи. То былъ періодъ совокупнаго, нераздѣльнаго кипѣнія всѣхъ элементовъ, изъ коихъ слагается цѣлость нашей человѣческой природы. Тогда все поглощалось чувствомъ,—и потому все было одушевленіе, восторгъ, религія» <sup>2)</sup>!

<sup>1)</sup> Журналъ лекцій: «О происхожденіи изящныхъ искусствъ», составленный Ефимомъ Смирновымъ.—Ср. *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч. I, № 1, стр. 95—114.

<sup>2)</sup> *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч. I, № 1, стр. 103—105.

Индійская архитектура посвящена служенію религіи и «возведена симъ религіознымъ характеромъ на степень изящества». Существуютъ три вида индійскихъ священныхъ памятниковъ: «святилища подземныя»; «храмы, изсѣченные изъ живого камня въ горахъ, на земной поверхности»; «пагоды, изсѣченные изъ подвижного камня». Святилища подземныя древнѣе храмовъ и пагодъ, такъ какъ у народовъ, находившихся въ «такихъ же условіяхъ мѣста и времени», какъ индусы, «зодчество начиналось изсѣченіемъ жилищъ» подъ землю. Желая защитить себя «отъ зноя и насильственного вліянія враждебныхъ стихій», дикіе народы «скрывались въ пещерахъ», «въ нѣдрахъ высочайшихъ горъ». Эти пещеры, съ теченіемъ времени, «преобразовывались въ храмы, съ соблюденіемъ той формы, какую дала имъ сама природа», или «служили первообразомъ зданій, посвященныхъ религіи». Различіе между обыкновенными пещерами и святилищами состояло въ томъ, что первыя «соразмѣрялись съ естественными нуждами человѣка», а вторыя какъ жилище божества, «обитающаго во мракѣ неприступномъ и являющагося въ образѣ величественномъ»,—отличались грандіозными размѣрами, были мрачны и ужасны. Географическое положеніе Индіи, «прорѣзанной въ различныхъ направленіяхъ хребтами горъ съ безчисленными пещерами и огромнѣйшими вертепами», «благоприятствовало сооруженію тамъ подземныхъ святилищъ», лучшія описанія которыхъ находятся у Нибура, лорда Валенція и Анкетилля Дюперрона.

«Подземные священные памятники индусовъ особенно уцѣлѣли на двухъ островахъ: Элефантъ и Сальсеттъ», расположенныхъ «недалеко отъ Бомбея». «Храмы, находящіеся на Элефантѣ, посвящены Шивѣ или Магадебѣ» и, по всѣмъ признакамъ, «относятся ко временамъ довольно отдаленнымъ». Самый большой храмъ «представляетъ огромную впадину въ скалѣ,—впадину», которая «простирается до 136 ф. <sup>1)</sup> въ длину и почти столько же въ ширину, и слѣдовательно образуетъ собой родъ квадрата <sup>2)</sup>. Сей храмъ поддерживался огромными столбами, или

<sup>1)</sup> Цифра указана въ рукописи невѣрно.

<sup>2)</sup> *C. Niebuhr. Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern.* Kopenhagen, 1778. Zweiter Band, SS. 32—33: «Verschiedene Reisebeschreiber haben des alten heidnischen Tempels auf der kleinen Insel Elephanta, nahe bey Bombay, zwar erwähnt, aber alle gleichsam nur beyläufig... Dieser Tempel liegt ziemlich hoch an, oder vielmehr in einem Berge, wo er in einen



пиластрами». «Стѣны зданія покрыты прекрасною шtukатуркою и обставлены колоннами и статуями боговъ и мифологическихъ героевъ Индіи». Статуи, большею частію, — «выпуклые барельефы, изображенія висячія и едва прикрѣпленные къ стѣнамъ» <sup>1)</sup>. «Въ глубинѣ сего святилища есть родъ алтаря, гдѣ находится символъ божества индійскаго. Весь четырехугольникъ, образуемый храмомъ, оканчивается кругообразнымъ углубленіемъ, имѣющимъ видъ купола». Вѣроятно, о подобномъ зданіи упоминаетъ александрійскій философъ Порфирій. «Въ его время приходили въ Римъ къ императору (Илиогабалу) индійскіе послы, изъ коихъ одинъ рассказывалъ, что у нихъ есть храмы внутри земли, имѣющіе форму овальную, украшенные статуями, колоннами» <sup>2)</sup>.

---

harten Felsen eingehauen worden. Seine Länge ist ungefähr 120 Fuss und seine Breite *eben so gross*, ohne die Nebenkammern oder Capellen an beyden Seiten.» — Ср. *A. H. L. Heeren*. Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. Göttingen, 1815. Erster Theil, 2 Abtheilung, SS. 312—314: «Der Haupttempel (auf der kleinen Insel Elephante, unweit Bombay) sowohl als die Nebenanlagen sind ganz in den lebendigen Felsen gehauen, und also vollkommne Grotten. Der Tempel selbst hat ohne die Nebenkammern oder Capellen etwa 120 Fuss in der Länge, und *eben so viel* in der Breite».

<sup>1)</sup> *C. Niebuhr*. Reisebeschreibung. Zweiter Band, SS. 33—34: «Die Seitenwände dieses Tempels sind auch mit ganz erhabenen Figuren angefüllt, die der Bildhauer von dem Felsen selbst hat stehen lassen. Diese sollen ohne Zweifel die Geschichte der indischen Götter und Helden vorstellen, und können daher den Gelehrten zu vielen Anmerkungen Anlass geben.» — Ср. *Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, SS. 312—314: «Der über der Tempelgrotte liegende Berg wird durch Pfeiler gestützt, die der Baumeister von dem Felsen selber hat stehen lassen. Die Nebenkammern oder Capellen sind etwas weniger hoch; sonst auf dieselbe Weise bearbeitet. Die Wände, ohne Inschriften, sind dagegen mit Reliefs bedeckt; zum Theil so erhaben gearbeitet, dass die Figuren nur mit dem Rücken an dem Felsen hangen. Es kann also kein Zweifel seyn, dass sie so alt wie der Tempel selber sind. Aehnliche Bildhauerarbeiten kommen auch auf den Wänden der übrigen Felsentempel vor; dieselben Figuren kehren auf ihnen wieder: sie sind also im Ganzen aus dem Kreise derselben Mythologie entlehnt».

<sup>2)</sup> *A. H. L. Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, SS. 323—324: «Die erste sichere Spur einer indischen Tempelgrotte findet sich, so viel ich weiss, in einem Bruchstücke aus einer Schrift des Porphyrs über den Styx, das uns Stobäus erhalten hat [Stob. Eclog. phys. I, p. 144, meiner Ausgabe. «Die indischen Gesandten», (sagt Bardesanes, ein Zeitgenosse des Heliogabalus) «berichten, in Indien sey eine grosse Höhle, in einem hohen Berge; und in derselben ein Götterbild, zehn bis zwölf Ellen hoch; mit kreuzweis gefalteten Armen, dessen rechte Seite männlich, die linke aber weiblich sey»]. Das colossalische Götterbild darin mit einer doppelten Natur, lässt sich leicht auf ein Bild des Schiva deuten, wie wir es oben kennen gelernt haben. Wenn aber gleich Niemand wird

«На Сальсеттѣ святилища индійскія представляются въ большіхъ размѣрахъ, нежели на Элефантѣ»<sup>1)</sup>. Они «собранны» вмѣстѣ въ срединѣ острова и поражаютъ «своею огромностью и величіемъ». Одинъ изъ храмовъ «именуется большою пагодою, а прочіе не имѣютъ особенныхъ названій». Кровь этого храма «округленъ», а не «плоскій», какъ на Элефантѣ; колонны его замѣчательны тѣмъ, что на однѣхъ изъ нихъ—капители съ изображеніемъ слоновъ, а на другихъ—шестиугольныя съ завитками, между тѣмъ какъ «пилястры» элефантскіе—только балки большія и толстыя. Въ большой пагодѣ «есть уже и надписи»<sup>2)</sup>.

Но Элефанта и Сальсетта менѣе интересны, чѣмъ Эллоре—этотъ «амфитеатръ гранитныхъ скалъ, въ коихъ высѣчены подземные храмы для всѣхъ индійскихъ божествъ, въ прежде бывшихъ владѣніяхъ Мараттской княжеской династіи Голькаровъ, подъ 20<sup>о</sup> с. ш. и 94<sup>о</sup> в. д. Мѣсто сіе можно назвать пантеономъ Индіи»<sup>3)</sup>. Горы, «расходясь отъ своего главнаго хребта по двумъ

behaupten wollen, dass in der dort gegebenen Beschreibung des Inders Bardesanes gerade von der Pagode von Elephante die Rede sey; so ist doch offenbar von einer ähnlichen, mit Bildwerk verzierten, Tempelgrotte die Rede, bei welcher zu gewissen Zeiten die Braminen sich versammelten um Feste zu feiern; und wobei zugleich jene gerichtlichen Proben oder Götterurtheile angestellt wurden; welche von mancherlei Art bei den Indern im Gebrauch waren».—Ср. *K. O. Müller*. Handbuch der Archäologie der Kunst. Breslau, 1830, S. 279: «Das älteste Zeugniß für die Existenz solcher Bauwerke ist Bardesanes (in Heliogabalus Zeit) Beschreibung einer indischen Tempelhöhle eines androgynen Gottes. Porphyry bei Stobäos. Ecl. Phys. I, p. 144».

<sup>1)</sup> *A. H. L. Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, SS. 326—327: «Aehnliche, aber noch grössere, Tempelgrotten finden sich auf der nahen Insel Salsette, gleichfalls Bombay gegenüber»... «Der Umfang und die Menge der Tempelgrotten auf Salsette ist um vieles grösser als auf Elephante».

<sup>2)</sup> Тамъ же, 327—328: «Die grosse Pagode ist gewölbt; hat 40 Schritt in der Breite, und 100 in der Länge. Ausser den 4 Säulen am Eingange zählt man 30 im Innern; von denen 18 Capitäle haben mit Elephanten; die andern haben bloss die Form von Sechsecken. Am Ende der Pagode, die in eine Ründung zuläuft, ist eine Art von Kuppel, so wie alles Andre aus dem lebendigen Felsen gehauen»... «Von den Denkmälern auf Elephante unterscheiden sie sich aber durch die Inschriften, welche man hin und wieder an ihren Wänden lieset».—Тамъ же, 338: «In den Felsengrotten von *Elephante* und Salsette, so wie zu Carli, so weit wir sie kennen, scheint der Cultus des Schiva oder Mahadeu der herrschende gewesen zu seyn; aber neben diesem auch der des Budda» (Ср. приведенное выше указаніе Надеждина на «посвященіе» элефантскаго храма «Шивѣ плл Магадебѣ»).

<sup>3)</sup> *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч. I, № 1, стр. 108—109.—Ср. *Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, S. 332:

направленіямъ», принимаютъ здѣсь «форму подковы, коей индійская миеологія даетъ символическое религиозное значеніе»<sup>1)</sup>). Величина самаго большого изъ всѣхъ здѣшнихъ храмовъ удивительна, такъ что, въ этомъ отношеніи, «нѣтъ ему равнаго ни одного готическаго собора». Онъ раздѣляется на три части: первая «есть родъ преддверія въ 88 ф. дл., 138 ф. шир. и 40 ф. выш.; потомъ—святилище въ 103 ф. дл. и 60 ф. шир., и, наконецъ,—родъ террасы въ 145 ф.»<sup>2)</sup>). Эта «огромнѣйшая масса держится на слонахъ, изсѣченныхъ также изъ гранита и на двухъ рядахъ пилястръ». «Касательно происхожденія святилища» индусы думаютъ, что оно создано «за 6000 лѣтъ до настоящаго времени»: по другимъ даннымъ, эта постройка относится къ эпохѣ болѣе поздней и сооружена «не далѣе, какъ за 900 лѣтъ»<sup>3)</sup>).

Всѣ описанные «подземные памятники священнаго индійскаго зодчества»—«произведенія оригинальныя, а не подражательныя». Въ нихъ «нѣтъ красоты наружной, нѣтъ лицевой стороны, или фасада, ибо, изсѣкая храмы внутри высочайшихъ горъ», индусы «не имѣли возможности обрабатывать наружность своихъ святилищъ и давать ей какую-нибудь форму». Съ наружной стороны,

---

«Aber auch in dem Herzen von Indien, in der Mitte der Ghaut-Gebirge, findet sich eine Anlage dieser Art, welche die bisher erwähnten noch weit übertrifft. Diess sind die berühmten Grotten von Ellore (unter 20° N. B. und 94° O. L.).»

<sup>1)</sup> *Anquetil Duperron (du Perron)*. Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre. Paris, 1771. Tome premier, p. 233—234: «J'arrivai sur les onze heures au haut de la montagne d'Iloora, et m'arrêtai quelques moments pour en considérer la situation. Cette montagne forme une espèce de fer à cheval creusé presque à pic, dont le centre est environ à l'Ouest».—Ср. *Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, S. 334: «Man denke sich ein Felsengebirge in der Form eines Halbkreises oder Hufeisens; dessen beyde Enden über eine halbe Meile von einander entfernt sind».

<sup>2)</sup> *Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, S. 334: «Nach den angegebenen Messungen hat der Vorplatz 88 Fuss Tiefe bey 138 Fuss Breite. Der Tempel selbst, von dem Thor des Porticus bis zur Hinterwand 103 Fuss Länge bey 61 Fuss Breite; und bis ans Ende der Platform hinter dem Tempel 142 Fuss; so dass das Ganze an Umfang mit mehreren grossen gothischen Kirchen die Vergleichung aushält».

<sup>3)</sup> Тамъ же, 336: «Das Alter der Felsengrotten zu Ellore ist auf historischem Wege so wenig als das der auf Elephanten und Salsette mit Sicherheit zu bestimmen. Nach dem Bericht der Braminen, den sie Malet gaben, sollte ihre Erbauung von 7894 Jahren durch einen Rajah Ilu geschehen seyn... das heisst, sie wird in fabelhafte Zeiten hinaufgerückt».—*K. O. Müller*. Handbuch der Archaologie der Kunst, S. 279: «Viel weiter ging Langlès, welcher die Entstehung von Ellora um 900 n. Chr. setzte».

произведенія индійской архитектуры—«ничтожны»; они не болѣе, какъ «огромныя глыбы».

Въ подземныхъ храмахъ «не было свѣта естественнаго. Они не были открыты для свѣта дневнаго», какъ постройки греческія. Впрочемъ, темнота «не есть исключительная принадлежность храмовъ подземныхъ»; она перешла и въ тѣ, «кои были созидаемы на поверхности земной». «Надобно думать, что обыкновеніе оставлять храмы мрачными произошло оттого, что мрачность» ихъ, «озаряемая только слабымъ мерцаніемъ свѣтильниковъ», имѣла для индусовъ высшій религіозный смыслъ.

«Внутреннее расположеніе» святилищъ «представляетъ самую простую геометрическую и, вмѣстѣ, изящную фигуру—продолговатый четырехугольникъ»<sup>1)</sup>, который или по механическому способу строенія, или по религіозному значенію, въ задней сторонѣ, «противоположной входу, изгибался въ линіи волнисто-овальныя, или въ эллипсисъ. Здѣсь, обыкновенно, находилось главное божество».

Мѣсто, гдѣ помѣщался «лингамъ—символь родотворной силы», занимало ббльшую, обширнѣйшую часть зданія, «къ которой непосредственно примыкало преддверіе». «Такимъ образомъ, подземные гроты» «представляли совершенно правильное цѣлое, гдѣ не скрывалась ни одна часть, гдѣ цѣлое не подавляло частей и части не затмевали цѣлаго».—Кровы почти всѣхъ храмовъ «плоскіе»<sup>2)</sup>, но «противоположная входу часть» ихъ «всегда оканчивалась куполомъ, что указываетъ на древность искусства округлять сводъ». «Нѣкоторые изъ подземныхъ храмовъ», позднѣйшаго происхожденія, имѣютъ кровь «формы конической», «оканчивающійся точкою». «Это намекаетъ на форму пирамиды», или на обычай придавать зданіямъ видъ столпа, башни. Подобный обычай указываетъ, что индусы продолжали изсѣкать храмы въ

---

<sup>1)</sup> *George, Viscount Valentia. Voyages and travels to India. London, 1809. Vol. II, pp. 194—195: «All the apartments were square, and the roof was flat, throughout; in the centre was a smaller building with a lingam; the whole was therefore probably dedicated to Mahadeo. Several groups of figures in basso relievo, adorned the walls. They were much decayed, and the whole had a very unpleasant appearance. The floor, being lower than the surrounding country, was extremely damp, and the light, admitted at the three entrances, was nothing better than darkness visible».*

<sup>2)</sup> Тамъ же, 196—198: «The innumerable caves, which have been formed in every part of the hill, are square, and flat roofed».

горахъ даже тогда, «когда начали созидать» строенія «пзъ подвижныхъ камней».—Колонны, которыя поддерживали святилица, первоначально были безформенны; эти гранитныя балки, «огромныя, толстыя, грубыя, необработанныя», «никогда не могли достигнуть» «совершенства колоннады греческой», несмотря на позднѣйшія украшенія: впослѣдствіи онѣ дѣлались «схожими съ священнымъ, въ понятіи индусовъ, растеніемъ—лотосомъ», а, «оставивъ форму растеній», сооружались въ видѣ слоновъ, обезьянъ и т. д.

«Индійское зодчество, вышедшее на поверхность земли, сохранило, большею частію, *прежній свой характеръ*, какимъ оно отличалось въ своихъ подземныхъ произведеніяхъ. Надземные памятники, очевидно, отстроены позднѣе подземныхъ, ибо въ нихъ «больше искусства и навыка». Особенно замѣчательны «развалины, извѣстныя подъ именемъ семи пагодъ (ибо со стороны моря онѣ представляютъ семь зданій), на Коромандельскомъ берегу, подъ 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup> с. ш., на день пути отъ Мадраса, къ югу. Дикая скала, на которой находятся и понынѣ сіи развалины, называется Мавалипурама». Здѣсь сохранились многіе огромные храмы, «высѣченные изъ живого камня». Положеніе мѣста—прекрасное: «оно занимаетъ возвышенность, далеко видимую и съ моря, и съ твердой земли,—это родъ каменнаго холма, который возникаетъ изъ утесовъ». Нѣкоторыя «обломки зданій» покрыты водою. Все пришло въ большое запустѣніе, что «надобно приписать землетрясенію». Смѣльчаки-путешественники «покушались пробраться въ развалины», но «тигры, змѣи и другіе плотоядные звѣри», а также густо разросшіяся кустарникъ «воспрепятствовали имъ исполнить это намѣреніе» <sup>1)</sup>. По всей вѣроятности, тутъ

---

<sup>1)</sup> *Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, SS. 349—351: «Die sogenannten sieben Pagoden, oder die Monumente von Mavalipuram, an der Küste von Coromandel»; «unter 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup> N. B., eine Tagereise südlich von Madrass». «Sie heissen die 7 Pagoden, weil man vom Meer her mehrere Pagoden erblickt, welche zum Theil bis ins Meer hereingehen, oder selbst von ihm bedeckt sind». «Sie scheinen in der Reihe menschlicher Kunstwerke einen der ersten Plätze einzunehmen; allein auch hier muss zuerst die Frage beantwortet werden, wie weit wir sie kennen?—Bisher nur sehr unvollkommen! Die Reisenden, die sie besuchten, scheinen wenig mehr als die Anlagen an der Küste gesehen zu haben; in das Innere derselben, über Felsenwände und durch Dickichte von Tigern und Schlangen bewohnt, wagte Keiner einzudringen; und der Einzelne vermag es auch nicht».

*J. Haafner*. Voyages dans la péninsule occidentale de l'Inde et dans l'île

нѣкогда была великолѣпная столица какого-нибудь монарха или первосвященника: до сихъ поръ уцѣлѣлъ огромный дворецъ и престолъ, вѣроятно, предназначенный «для торжественныхъ слу-чаевъ» <sup>1)</sup>).

---

de Ceilan. Traduits du hollandais. Paris, 1811. Tome second, pp. 468—482: «L'image de la destruction se présente là où une superbe ville faisait l'admiration des étrangers; et le bruit dont ses nombreux habitants faisaient retentir l'air, est succédé par un profond silence. Ses temples sont détruits et couverts de ronces et de mousse; le vent siffle au travers de leurs lézardes; des serpents et d'autres reptiles malfaisants habitent le sanctuaire des dieux. Toute leur splendeur se trouve anéantie!» «On trouve ici d'énormes masses de pierre, de profondes voûtes souterraines, qui servent actuellement de retraites aux hiboux et aux chauve-souris. Certainement aucun lieu de la terre ne présente sur un aussi petit espace de terrain, autant d'édifices rassemblés et taillés dans le roc, qu'on en voit à Maweliewarom (Maweliepouram)». «Des fragments considérables de rocher sont dispersés çà et là, comme si la commotion d'un tremblement de terre les eût fait rouler des montagnes, pour être employés à la construction de quelque immense édifice; et sur plusieurs, sont sculptées, en relief, toutes sortes de figures. — Ce qu'il y a de singulièrement remarquable, ce sont sept anciens temples, connus sous le nom des *sept pagodes*, qui, de la grève, se prolongent, en ligne droite à la suite les uns des autres, à plus d'un mille dans la mer, au-dessus de laquelle ils élèvent leur faite, semblable à une chaîne de rochers. Les vagues passent librement par-dessus les deux premiers; et ce n'est que quand la marée est fort basse, qu'on aperçoit leurs sommets». «Il y a lieu de croire que ces édifices souterrains contiennent plusieurs inscriptions, et peut-être y trouverait on, en fouillant, des manuscrits précieux; mais l'entrée en est rendue dangereuse par les serpents et les autres reptiles venimeux, qui y séjournent et qui me détournèrent de faire de pareilles recherches durant mon séjour à Sadras»... «On n'aime pas à passer la nuit à Maweliewarom, à cause des tigres, des jakhals et des hyennes, qui s'y tiennent en grande quantité dans des broussailles impénétrables, ainsi qu'entre les ruines et les fentes des rochers».

<sup>1)</sup> *Heeren*. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, SS. 350—351: «Die Ruinen von Mavalipuram bestehen nicht bloss in einigen Tempelgrotten; sondern das Ganze ist vielmehr eine meist ganz in Felsen gehauene Königsstadt. Ein grosser, vielleicht der grössere Theil derselben, scheint vom Meere verschlungen; aber noch ein paar Meilen in's Land herein erheben sich die Scheitel bearbeiteter Felsen; und allenthalben in ihnen Grotten, Säle, Gemächer und andere Anlagen. Denn nicht Alles sind Tempel; man sieht unter andern auch eine zu einer Tschultry oder Herberge ausgehauene Grotte... Auf einem der Gipfel der Berge ist ein Felsensitz, in dem man einen Königsthron erkennen will». — Cp. *J. Haafner*. Voyages, t. II, pp. 468—482: «Quand on approche de cette montagne, du côté du nord, on rencontre une telle quantité de monuments anciens, qu'au premier abord, on s'imagine entrer dans une ville pétrifiée»... «On monte par plusieurs marches à la cime de la montagne, sur laquelle on trouve une quantité de statues et de colonnes mutilées qui couvrent tout le dos de la montagne et prouvent qu'il y avait anciennement de grands palais et d'autres édifices».

«Что такое была Мавалипурама? Кто обиталъ въ ней и почему она оставлена жителями? Это еще не объяснено» и «пока остается неизвѣстнымъ». Есть, впрочемъ, «классическое указаніе», которое, какъ будто, можетъ разрѣшить сомнѣнія. «Знаменитый географъ» Птоломей «упоминаетъ о городѣ Малиарфѣ, который былъ въ его время столицей богатѣйшаго государя и служилъ перепутьемъ для торговцевъ. Сей городъ едва ли не оказывается Мавалипурамою» <sup>1)</sup>).

Для рѣшенія вопроса, имѣютъ ли индійскія святилища «какое-нибудь достоинство въ отношеніи эстетическомъ», необходимо обратить вниманіе на «тотъ эффе́ктъ, который они производятъ въ душѣ, способной ощущать изящное». Нѣтъ нужды «прибѣгать къ описаніямъ впечатлѣній» разныхъ путешественниковъ, противорѣчащихъ другъ другу въ показаніяхъ; «можно перенестись» въ индійскія святилища «своею мыслію»; «можно представить себѣ» ихъ, «живо вообразить» и «понять то чувство, которое должно потрясать и поражать» человѣка. Безформенность и мрачность храмовъ, имѣвшія «высшее религіозное значеніе», свидѣтельствуя о «чувствѣ страха», о трепетномъ поклоненіи непо-

<sup>1)</sup> *Heeren. Ideen. Erster Theil, 2 Abtheilung, SS. 353—354; 357—358:* «Mavalipuram war zu gleicher Zeit ein Hauptplatz des Cultus, der Sitz von Königen, und höchst wahrscheinlich auch ein bedeutender Handelsplatz. Die noch vorhandenen Anlagen scheinen es unzweifelhaft zu machen, dass es eine Stadt von grossem Umfange gewesen seyn muss». «In eben die Gegend, wo wir die Trümmer von Mavalipuram finden, setzt Ptolemäus eine Stadt Maliarpha. Er nennt sie eine Handelsstadt (Emporium), deren es nach seinem Berichte mehrere an jener Küste von Indien gab. Die Lage und die Namenähnlichkeit machen es allerdings sehr wahrscheinlich, dass diess keine andere Stadt als Mavalipuram sey; und ist dem so, so haben wir zugleich den historischen Beweis, dass Mavalipuram sowohl in dem Zeitalter des Ptolemäus vorhanden, als ein bedeutender Handelsplatz war. Dass dieses aber keinesweges es verhindert, dass diese Monumente schon in ein viel höheres Alter hinaufgehen, bedarf nicht erst eines Beweises».

*J. Haafner. Voyages, t. II, pp. 468—482:* «L'ancienne ville qui se trouvait ici doit avoir été fort grande». «On ignore à quelle époque et de quelle manière cette grande ville a pris fin; si c'est par la guerre ou par quelque révolution de la nature. Son antiquité se perd dans la nuit des siècles, et l'on n'en sait pas plus sur son origine que sur sa décadence». «On soupçonne que Maveliwarom est la Maliarpha de Ptolémée et d'autres anciens historiens».

Ср. *K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 278—280:* «Mavalipuram (Mahabalipur im Mahabarata, *Μαλιάρφα* bei Ptolem.) ein Felsen-gebirg über der Erde in ein Labyrinth von Monumenten verwandelt, an der Küste von Coromandel».

стижимому божеству и «производятъ эффектъ чрезвычайный, поразительный»: царящія внутри зданій безмолвіе и темнота, при «тускломъ блѣдномъ мерцаніи» кое-гдѣ прорывающагося свѣта, какъ бы уничтожаютъ «ограниченія пространства и предѣлы времени, знаменуютъ собою идею безпредѣльности и вѣчности, возвышаютъ душу» «къ предощупленію безконечной жизни» и «начала всякаго бытія и изящества»—и, безъ сомнѣнія, носятъ отпечатокъ «эстетической высокости». Поэтому-то въ индійскихъ капищахъ и церквахъ, въ этихъ созданіяхъ «творческаго одушевленія» древнихъ зодчихъ, всецѣло проникнутыхъ «чувствомъ неопредѣлимо-высокаго», «усматривается истинное значеніе изящныхъ искусствъ» <sup>1)</sup>).

#### IV. О финикійскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ <sup>2)</sup>).

Въ сказаніяхъ еврейскихъ и греческихъ писателей можно найти извѣстія о немногихъ памятникахъ финикійскаго зодчества. Пластическое искусство у этого народа «началось съ грубаго фетишизма», «но потомъ, по мѣрѣ всеобщаго усовершенствованія», «приняло лучшій видъ»: стали выдѣлываться человѣческія фигуры, и «мѣсто грубыхъ, изъ дерева высѣченныхъ болвановъ заступили золотомъ окованные кумиры» <sup>3)</sup>. Религія финикіявъ оказала «рѣшительное вліяніе на искусство»; ихъ «символика» заслуживаетъ вниманія. «Молохъ, грозное и ужасное божество ихъ, значить, собственно, царь»; онъ—«представитель времени», въ родѣ Сатурна. «Несмотря на двойственное значеніе сего божества, какъ силы разрушительной и родотворной, что явствуетъ» изъ установленныхъ въ честь его празднествъ,—«въ книгахъ св. Писанія осталось одно только разрушительное понятіе о немъ»; но лучшее изображеніе, знакомящее насъ съ тою ролью, какую игралъ Молохъ, «сохранилось на монетахъ, выбитыхъ въ первыя времена

<sup>1)</sup> Журналъ лекціи: «Объ индійской архитектурѣ и ея памятникахъ», составленный Николаемъ Лавдовскимъ.

<sup>2)</sup> Часть лекцій утрачена.

<sup>3)</sup> К. О. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 262—263: «Abgesehen von den alten Bätlyien-Bildern des einfachsten Idolen-Cultus, hatten die Phöniciëer und Cananäer, wie die stammverwandten Babylonier, gewöhnlich Holzbilder, über die gehämmertes Metallblech geheftet wurde; für welche Art Arbeit sich eine sehr regelmässige und sorgfältige Technik ausgebildet zu haben scheint».



Римской имперіи». «Здѣсь онъ представленъ мужемъ зрѣлымъ, величественно сидящимъ на земномъ шарѣ и съ львиною головою, можетъ быть, для означенія силы или вслѣдствіе астрологическихъ наблюденій». «Его опоясываетъ многообразно обвивающаяся змѣя, которая и доселѣ служить символомъ вѣчности<sup>1)</sup>; въ одной рукѣ держитъ онъ скипетръ», «раздѣленный на нѣсколько колѣнъ», «подобно хронометру; въ другой—ключъ, также символъ времени, отверзающаго врата вѣчности. Наконецъ, вся эта фантастическая фигура украшалась четырьмя крыльями, вѣроятно, для означенія четырехъ временъ года»<sup>2)</sup>.

Въ противоположность Молоху, олицетворяющему время въ «отвлеченномъ смыслѣ», «вѣчное и безусловное», Вааль — «время живое, дѣятельное, символъ солнца»; онъ—Зевсъ греческій. «Финикияне называли его Вааль Семень, то есть господь неба». «Изображеніе его подходило близко къ жизни дѣйствительной». Въ немъ уже нѣтъ смѣшенія тѣла человѣческаго съ звѣринымъ<sup>3)</sup>.

---

1) *G. Zoega. De origine et usu obeliscorum. Romae, 1797, p. 451: «Uraeus serpens aeternitatem significat, quoniam inter serpentes is solus creditus fuit immortalis, et quoniam pectore elato atque expanso arrectus stans caudam abscondere solet».*—«Aevum exprimere volentes, serpentem pingunt cujus cauda reliquo corpore tegatur. Hunc Aegyptii quidem *uraeum* appellant, Graeci autem *basiliscum*».

2) Пересматривая сочиненія Zoeg'и («De origine et usu obeliscorum» и «Numi Aegyptii imperatorii»), Надеждинъ могъ получить свѣдѣнія о древнефиникійскихъ религіозныхъ ученіяхъ, изложенныхъ Санхониатономъ и переведенныхъ на греческій языкъ Филономъ изъ Библи; эти ученія, не безполезныя для выясненія финикійской космогоніи и для ознакомленія съ древнѣйшими божествами, изложены также въ сочиненіяхъ Евсевія и въ англійскомъ переводѣ 1720 г. («Sanchoniatho's Phoenician history, translated from the first book of Eusebius «De praeparatione evangelica»). Въ огромномъ фоліантѣ Zoeg'и Надеждинъ нашелъ много данныхъ, на основаніи которыхъ онъ могъ судить о развитіи искусства на Востока: подробное описаніеobeliskовъ и прекрасные рисунки, приложенные къ изслѣдованію, являлись цѣннымъ матеріаломъ для университетскихъ лекцій.

3) Ср. *K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, S. 264: «In wie fern die Bilder der Götter bei diesen Volkerschaften durch charakteristische und bedeutsame Bildung einen angeborenen Kunstsinn bethätigten, ist bei dem Mangel von Monumenten der Art schwer zu sagen; soviel geht sicher aus den Nachrichten der Alten hervor, dass sie viel Combinationen mit Thieren hatten, theils halbthierische, theils auf Thieren sitzende und stehende Figuren: auch deuteten ihnen ungestalte und zwergartige Figuren das wunderbare Wesen der Gottheit an; und dem Charakter ihrer wilden und lasciven Naturreligion gemäss spielte die Bezeichnung des Geschlechts, auch der Doppelgeschlechtigkeit, an ihren Bildern eine grosse Rolle».*

«Ваалъ былъ болѣе юноша, нежели мужъ. Его сажали обыкновенно на вола—животное «крѣпкое» и «трудолюбивое»<sup>1)</sup>.—«За Вааломъ слѣдуетъ третье», національное божество финикянъ, Мелькартъ, которому были посвящены очень многіе храмы. «Это имя составлено изъ двухъ словъ: «mélec» и «kartha», изъ коихъ первое означаетъ «царь», а второе—«городъ», вмѣстѣ же «царь города». «Греки, любившіе все изъяснять изъ своей мифологіи, замѣтивъ нѣкоторое сходство между служеніями сему божеству въ Тирѣ и Геркулесу въ Греціи, смѣшали ихъ между собою и назвали божество тирское Геркулесомъ финикійскимъ». Мелькартъ является «идеаломъ мужества и силы», а «въ астрологическомъ значеніи» онъ—«солнце, достигшее зенита». Празднество, установленное въ честь его, совершалось по истеченіи каждаго пятилѣтія. «На сей, такъ сказать, юбилей тирскій стекались жители всѣхъ городовъ и колоній Финикіи, а тѣ, которые не присутствовали на немъ, присылали» къ этому времени свои «жертвы»<sup>2)</sup>. Мелькартъ «изображался сильнымъ и цвѣтущимъ юношею, сидящимъ на лвъѣ и имѣющимъ за спиною колчанъ, наполненный стрѣлами, въ означеніе своего могущества». — Кромѣ «тріады» главнѣйшихъ божествъ, нельзя не упомянуть о Дагонѣ и Адонисѣ.

---

<sup>1)</sup> Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris, 1751, t. II, p. 3: «*Baal* était le dieu de quelques peuples du pays Chanaan. Les Grecs disent que c'était Mars, et d'autres que c'était ou Saturne ou le Soleil. L'historien Joseph appelle le dieu des Phéniciens *Baal* ou *Bel*. dont Virgile parle dans l'Énéide comme d'un roi de Tyr: *Implevitque mero pateram, quam Belus, et omnes A Belo soliti*. Godwin, fondé sur la ressemblance des noms, croit que le *Baal* des Phéniciens est le même que *Moloch*: le premier signifie *seigneur*, et le second *prince* ou *roi*. Cependant d'autres pensent que ces peuples adoraient Saturne sous le nom de *Moloch*, et Jupiter sous celui de *Baal*: car ils appelaient ce dernier dieu, *Baal Semen, le seigneur du ciel*. Quoiqu'il en soit de ces différentes opinions, le culte de *Baal* se répandit chez les Juifs, et fut porté à Carthage par les Tyriens ses fondateurs».

<sup>2)</sup> Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Neufchastel, 1765, t. X, p. 312: «*Melcarthus*, dieu des Tyriens, en l'honneur duquel les habitants de Tyr célébraient tous les quatre ans avec une grande pompe les jeux quinquennaux». «*Melcarthus* est composé de deux mots phéniciens *mélec* et *kartha*, dont le premier signifie *roi* et le second *ville*, c'est-à-dire, le roi, le seigneur de la ville. Les Grecs trouvant quelque conformité entre le culte de ce dieu à Tyr, et celui qu'on rendait dans la Grèce à Hercule, s'imaginèrent que c'était la même divinité; et en conséquence ils appellèrent le dieu de Tyr, l'*Hercule* de Tyr: c'est ainsi qu'il est nommé par erreur dans les Macchabées d'après l'usage des Grecs».

Слово «Дагонъ» на еврейскомъ языкѣ значитъ «рыба». Внѣшній видъ этого бога слѣдующій: верхняя часть тѣла «имѣла форму человѣческую, а нижняя — рыбою, — хвостъ, покрытый чешуею»<sup>1)</sup>. Не таковъ Адонисъ, выразившій «чистѣйшее понятіе» финикіянь о верховной силѣ; «это тотъ же Ваалъ и Мелькартъ, то же время, но представленное» въ образѣ «болѣе изящномъ и граціозномъ, украшенное всѣми прелестями существованія». Адонисъ «былъ зачатъ въ деревѣ Мирры, съ нимъ распустился и расцвѣлъ, съ нимъ и погибъ отъ звѣря на охотѣ, обливъ кровію свою лугъ, отъ чего произрасли на томъ мѣстѣ прекраснѣйшіе цвѣты».—По красотѣ съ Адонисомъ не могутъ сравняться финикійскія богини, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны двѣ: Деркето, или Атергатисъ, и Астарта, или Астарота (Ашторетъ)<sup>2)</sup>.

«Изъ всего сказаннаго можно легко заключить, что идеи финикійской религіи общи съ идеями всего Востока», но форма, въ которой онѣ проявляются, иная. «Въ ней уже нѣтъ той колоссальности и чудовищности, которыми отличаются собственно индійскіе и египетскіе<sup>3)</sup> куміры; напротивъ, здѣсь все болѣе и болѣе низводится до естественности и миниатюрности, и отъ Молоха до Адониса—шагъ величайшій!»...<sup>4)</sup>. Слѣдуетъ также отмѣтить, что

---

1) *L. Moréri. Le grand dictionnaire historique. Basle, 1733, t. III, p. 483: «Dagon. Idole de Philistins, représentée sous la figure d'un homme, avait les jambes jointes aux aines, et n'avait point de cuisses. Depuis les reins et le bas du ventre, elle avait, à la reserve des jambes, la forme d'un poisson couvert d'écaillés, dont la queue relevait par derrière. Dagon en hébreu signifie poisson. Quelques modernes ont confondu Dagon et Atergatis; mais selon Bochart, il vaut mieux suivre le sentiment des anciens, qui les distinguaient comme le frère et la sœur. L'écriture nous apprend que les Philistins s'étant saisis de l'arche d'alliance, la placèrent dans le temple de Dagon; mais que cette idole n'en put soutenir l'aspect et fut brisée en morceaux».*

2) *K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, S. 264: «Dagon (Odakon) von Asdod, Atergatis in Assyrien, Oannes in Babylon, alle halb Fisch, halb Mensch».*

3) Лекціи о египетскихъ искусствахъ, кромѣ одной: «О тоническомъ и сценическомъ искусствахъ у египтянь», составленной Николаемъ Налетовымъ,—утрачены.

4) *K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 260—261: «Das erwerbthätige Volk der Phöniciers war offenbar weniger auf Colossalität und Unzerstörbarkeit bei Bauunternehmungen bedacht, als auf eine glänzende Auszierung. Die Tempel scheinen klein gewesen zu sein, wie der der Astarte zu Paphos auf Kypros; ihre eigenthümliche Anlage kann wohl am besten aus dem Tempel des Jehova zu Jerusalem beurtheilt werden, auf den offenbar die Phöniciersche Kunst mehr eingewirkt als die entfernter stehende Aegyptische».*

существовала тѣсная связь между финикіянцами и центральной Азіей: объ этомъ свидѣтельствуеъ св. Писаніе, а анализъ «остатковъ религіи» и сходство языковъ финикійскаго, еврейскаго и халдейскаго наводятъ на мысль, что финикіяне и вавилоняне собственно одинъ народъ <sup>1)</sup>.

*V. Объ ассирійско-вавилонскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ.*

«Глубокая древность скрываетъ отъ насъ историческую достовѣрность» «объ искусствахъ великой монархіи ассирійско-вавилонской». Источники, изъ которыхъ «мы почерпаемъ свѣдѣнія о состояніи сего первобытнаго государства», заключаются въ св. Писаніи и показаніяхъ древнихъ историковъ (Геродотъ). Нѣкоторые писатели, ѣздившіе на Востокъ, «сами были очевидцами достопамятныхъ остатковъ отъ славныхъ памятниковъ искусства, превращенныхъ разрушительнымъ временемъ и мощію судьбы въ руины, но, при всемъ томъ, самымъ своимъ безмолвіемъ вѣщающихъ намъ о силѣ и могуществѣ» нѣкогда жившаго здѣсь народа. «Въ этихъ цвѣтующихъ странахъ природа, обильная до роскошества, обеспечивала людей во всемъ, съ избыткомъ надѣляя ихъ своими дарами». У вавилонянъ «полнота внутренняя», излишекъ жизненной энергіи были «первымъ шагомъ къ развитію художественныхъ произведеній»,—причиной происхожденія у нихъ ремеслъ и искусствъ. «Желаніе завѣщать» что-либо послѣ себя потомству выражалось не разъ: то въ постройкѣ «великаго столпа», то въ «работахъ Семирамидскихъ», развалины которыхъ до настоящаго времени показываютъ путешественникамъ <sup>2)</sup>. «Изъ св. Писанія извѣстно, что первое собраніе людей», «пришедшихъ съ Востока», было въ Сеннаарѣ, гдѣ они «совѣщались о важномъ предпріятіи». Тогда «сказалъ человѣкъ ближнему своему»: «Надѣлаемъ кирпичей и обожжемъ

---

<sup>1)</sup> Журналъ лекціи: «О символикѣ финикіянъ», составленный Александромъ Плетневымъ.

<sup>2)</sup> К. О. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 254—257: «Wir ziehen entschieden Berossos Archivnachrichten über den Ursprung dieser Anlagen (bei Josephus; Berossi quae supersunt, ed. Richter, p. 65), mit denen sich auch Herodot wohl vereinigen lässt, den Fabeln bei Ktesias und Diodor vor, welche zum Theil auf der volkmässigen Benennung Σεμράμεια ἔργα für alle grossen Werke im Orient beruhen».

огнемъ». «И стали у нихъ кирпичи вмѣсто камней, а земляная смола вмѣсто извести». «И сказали они: построимъ себѣ городъ и башню высокою до небесъ, и сдѣлаемъ себѣ имя». Не нужда, а «произволь», жажда творческой работы, явившаяся результатомъ избытка силъ, руководили строителями, которые навлекли на себя «праведный гнѣвъ Божій», и утратили способность понимать другъ друга, заговоривъ на разныхъ языкахъ. «И разсѣялъ ихъ Господь оттуда по всей землѣ; и они перестали строить городъ (и башню). Посему дано ему имя Вавилонъ» <sup>1)</sup>.

Вавилонъ сдѣлался мѣстомъ, куда стали паломничать любознательные европейцы. «Въ новыя времена отъ Нибура доставили намъ извѣстія» о его странствованіяхъ по Востоку; Портеръ, Ричъ и Сенъ - Круа осматривали остатки древнихъ развалинъ, «сличали ихъ съ преданіями, съ исторіею и повѣряли ихъ по правиламъ археологической критики» <sup>2)</sup>. «Части Вавилона не всѣ образовались» одновременно: западная была гораздо древнѣе, и восточная—новѣе. Согласно историческимъ даннымъ, Навуходоносоръ «построилъ Неполисъ» «на восточной сторонѣ Ефрата», которая украсилась «удивительными шлюзами», «великолѣпными дворцами». «Все строилось изъ кирпичей, а не изъ камней», какъ въ Индіи, и «не изъ дерева, какъ въ Финикіи».

---

<sup>1)</sup> Библия, или книги священнаго Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта въ русскомъ переводѣ съ параллельными мѣстами. Спб., 1892. Первая книга Моисеева. Бытіе, глава 11, стр. 11.

<sup>2)</sup> G. E. J. Guilhem de Sainte-Croix. Dissertation sur la ruine de Babylone: «Les anciennes prophéties de l'Écriture n'étaient, suivant l'expression de l'illustre Bossuet, que l'histoire écrite *par avance*. En effet, ayant été accomplies, elles sont devenues pour nous des monuments qui, comparés avec les témoignages épars des auteurs profanes, répandent un grand jour sur le sort des nations et des villes les plus célèbres de l'antiquité» (*Mémoires de littérature, tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres*. Paris, 1808, t. 48, p. 3).

Ср. Robert Ker Porter. Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia etc. London, 1822, vol. II, pp. 387—390: «But, while thus actually contemplating these savage tenants (two or three majestic lions), wandering amidst the towers of Babylon, and bedding themselves within the deep cavities of her once magnificent temple, I could not help reflecting on how faithfully the various prophecies had been fulfilled, which relate, in the Scriptures, to the utter fall of Babylon, and abandonment of the place; verifying, in fact, the very words of Isaiah,—«Wild beasts of the desert shall lie there; and the houses shall be full of doleful creatures: owls shall dwell there; and dragons shall cry in the pleasant places».

Причиной этого были, безъ сомнѣнія, «мѣстныя обстоятельства»<sup>1)</sup>.

Равнина Сеннаарская совершенно безлѣсна; горь также нѣтъ; а если, по необходимости, требовались камни, то ихъ привозили изъ Арменіи. Очевидно, что сама дальность разстоянія не позволяла вавилонянамъ воздвигать огромныя зданія изъ камней. Поэтому «долженствовало усовершенствоваться искусство обжигать глины», для которыхъ матеріалъ былъ готовъ. Рѣка Исъ, имѣвшая асфальтовое дно, доставляла хорошій «цементъ»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> *K. O Muller* Handbuch der Archaologie der Kunst, SS. 254—257: «Die babylonischen Bauwerke zerfallen in zwei Classen Erstens altere der einheimischen Dynastien Dazu gehören die Anlagen der westlichen Seite, wo sich das alte Babylon mit unabsehbar langen sich rechtwinklich durchschneidenden Strassen ausbreitete, wo die alte Königsburg noch in einer Anhöhe von Backsteinen erkennbar ist und wo auch der grosse Tempel des Baal, der Thurm zu Babel, lag, der in Birs Nimrod durch dessen Grosse und terrassenformige Anlage mit Sicherheit erkannt wird Zweitens die Werke der chaldaischen Fürsten (von 627 v. Chr.), besonders des Nabuchodonosor, welcher der alten Stadt im Westen des Euphrat eine neue, ostlich vom Strome, zum Schutz dieser Seite hinzufügte, beide mit mehrern Befestigungslinien umgab. und besonders die Neustadt mit herrlichen Werken schmückte; unter denen eine Nachahmung eines persischen Berg-Paradeisos uns am genauesten bekannt ist».

<sup>2)</sup> *K O Muller* Handbuch der Archaologie der Kunst, SS 254—257. «Die Babylonier durch einen innern Trieb. wie andre Volker dieser Gegend, frühzeitig in grosse Massen zusammengedrängt, womit die Entwicklung einer strengen Monarchie zusammenhängt, und zugleich durch die Lage ihres niedrigen Flusslandes zu schützenden Bauunternehmungen hingetrieben, unternahmen schon in uralten Zeiten grosse Werke; wozu ihnen weit weniger Holz (fast nur Palmstämme) und Stein (der weit aus Armenien kommen musste), als der feine Thon ihres Bodens das Material gab, aus welchem die trefflichsten Backsteine, für die innern Theile der Gebäude an der Sonne getrocknete, für die aussern gebrannte, verfertigt, und durch Asphalt (der von Is am Euphrat kam) und Gyps mit dazwischen liegenden Rohrlagen zu einer fest zusammenhängenden Masse vereinigt wurden Leider hat aber auch diese Wahl des Materials, zumal da immer neue grosse Städte, namentlich das zur Veruichtung Babylons angelegte ungeheuere Selucien, hier ihren Baustoff suchten, bewirkt, dass es bis jetzt noch unmöglich gewesen, aus den unformlichen Trummerhaufen die bestimmten Formen der babylonischen Architektur herauszuerkennen» — *Ср. Heeren* Ideen Erster Theil, 2 Abtheilung, SS 161—163: «So wie in einem ursprünglichen Steppenlande Holzungen nicht zu erwarten sind, eben so gross pflegt dort der Mangel an Steinen zu seyn Die Quadersteine, wenn man damit in Babylon baute, mussten daher alle aus den nördlichen Gegenden auf dem Euphrat hergeschafft werden. Dort waren Steinbrüche, aus denen auch die Muhlsteine nach Babylon gebracht wurden. Allein diesen Mangel an Baumaterialien hatte die Natur auf eine andre Weise ersetzt Es fand sich bei Babylon ein unerschöpflicher Vorrath der besten Ziegel-

Сохранившіеся до нашихъ дней обломки сооруженій «всѣ изъ кирпичей, и цементъ ихъ» «такъ тверды, что, при всѣхъ возможныхъ способахъ механическихъ и химическихъ, не могли ихъ разрушить».—На западной сторонѣ Вавилона, на холмѣ находится «Бирсъ Нимврода». Тамъ расположено святилище, «сохраняющее пирамидальную форму башни (столпа)»; оно состоитъ «изъ восьми террасъ, или этажей», «имѣвшихъ назначеніе религиозное»; здѣсь помѣщался «серебряный (?) столъ, на который сходилъ богъ во время отдохновенія». «Нѣкоторыя глыбы этихъ развалинъ закопчены, можетъ быть, при разрушеніи отъ огня небеснаго» <sup>1)</sup>.—Кромѣ подобныхъ архитектурныхъ произведеній

---

erde; die theils an der Sonne gedörrt, theils in Oefen gebrannt, eine Festigkeit und Dauerhaftigkeit erhielt, welche noch bis jetzt die Ueberbleibsel der alten Gemäuer, wenn sie auch seit vielen Jahrhunderten eingestürzt sind, dennoch vor der Verwitterung sicherte; und sogar die Inschriften auf ihnen, welche, eine andre Art von Keilschrift, in den neusten Zeiten so sehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, unversehrt erhielt. Auch selbst den Mörtel hatte die Natur schon vorbereitet. Acht Tagereisen oberhalb Babylon fand sich ein\*kleiner Fluss Is, nebst einem Orte gleiches Namens, wo reiche Quellen von Naphtha oder Erdharz waren, welches man statt des Kalks gebrauchte. Es scheint keinem Zweifel unterworfen, dass diese Stadt keine andere als das Hit der Neuern sey; wo sich nach Herbelots Zeugniß selbst noch jetzt die Tradition erhalten hat, es sey mit diesem Erdharz einst Babylon gebaut. Man bediente sich desselben statt des Cements, indem man zugleich Lagen von Rohr oder Schilf, als eine andere Bildungsmaterie, dazwischen legte. Diese, bereits von Herodot beschriebene, Verfahrungsart zeigen noch jetzt die Ruinen von Babylon».

<sup>1)</sup> *K. O. Müller.* Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 254—257. «Birs Nimrod, 1½ deutsche Meilen vom Euphrat, und doch nach Herodot und Diodor mitten in der Stadt. Unten ein ungeheures ἱερὸν, welches aber nicht als zusammenhängendes Gebäude zu denken ist, 1200 Fuss im Quadrat, worin der T. des Baal mit der goldnen Bildsäule. Diesen schloss ein runder Thurm ein, der sich in 8 Terrassen erhob, unten 600 F. dick. Im obersten Stockwerke der heiligste T. ohne Bild; nur mit einem goldnen Tisch und Ruhebett für den Gott. Nach Herodot. 600 Fuss hoch nach Strabon».

*Claudius James Rich.* Memoir on the ruins of Babylon London, 1818, pp. 35—37: «The Birs Nemroud is a mound of an oblong figure, the total circumference of which is seven hundred and sixty-two yards». «The fine burnt bricks of which it is built have inscriptions on them; and so admirable is the cement, which appears to be limemortar, that, though the layers are so close together that it is difficult to discern what substance is between them, it is nearly impossible to extract one of the bricks whole. The other parts of the summit of this hill are occupied by immense fragments of brick-work of no determinate figure, tumbled together and converted into solid vitrified masses, as if they had undergone the action of the fiercest fire, or been blown up with

у вавилонянъ были распространены живопись и ваѳіе. Пророкъ Даниилъ упоминаетъ о поставленномъ на полѣ Деировомъ золотомъ истуканѣ, «на служеніе которому созывались люди» при звукахъ музыкальныхъ инструментовъ <sup>1)</sup>.

Вообще въ искусствахъ ассирійско-вавилонскихъ, точно такъ же, какъ и въ финикійскихъ, «видно стремленіе къ уравниванію идеи и формы». Но намѣченная художниками цѣль не была достигнута,—«символъ у нихъ всегда затемнялъ, поглощалъ идею»: искусство отличалось крайнимъ «матеріализмомъ», отсутствіемъ «идеальной чистоты», а философія и религія были «слишкомъ чувственны» <sup>2)</sup>.

### VI. О еврейскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ.

«Провидѣнію угодно было избрать» изъ среды восточныхъ племенъ «народъ еврейскій, и ему только оно предопредѣлило исполнѣ проявить высокую» идеальную чистоту «въ полномъ развитіи изящныхъ искусствъ», которыя «совершенно самобытны», чужды «матеріализма». Не финикіяне или вавилоняне, но другая вѣтшняя «причина сообщила имъ характеръ духовный, возвышенный». На народъ еврейскій надо «смотрѣть какъ на источникъ религіи народовъ позднѣйшихъ»: христіанъ и магометанъ. Въ этомъ народѣ мы видимъ «прообразъ всего человѣчества», которое онъ «представляетъ собою въ миниатюрѣ»; онъ—«идея міра», и въ его художественныхъ твореніяхъ замѣтна аллегорія. Его вѣра—чиста: идея «не затемнялась никакими символами».

---

gunpowder, the layers of the bricks being perfectly discernible,—a curious fact, and one for which I am utterly incapable of accounting». — Ср. *C. Niebuhr. Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Landern. Zweiter Band, SS. 289—290.*

<sup>1)</sup> Библія. Книга пророка Даниила, глава третья: «Царь Навуходоносоръ сдѣлалъ золотой истуканъ, вышиною въ шестьдесятъ локтей, шириною въ шесть локтей; поставилъ его на полѣ Деирѣ, въ области Вавилонской». «Тогда глашатай громко воскликнулъ: объявляется вамъ, народы, племена и языки! Въ то время, какъ услышите звукъ трубы, свирѣли, цитры, цѣвницы, гуслей и симфоніи, и всякихъ музыкальныхъ орудій, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставилъ царь Навуходоносоръ». — Ср. Посланіе Іереміи, 4: «Теперь вы увидите въ Вавилонѣ боговъ серебряныхъ и золотыхъ и деревянныхъ, носимыхъ на плечахъ, внушающихъ страхъ язычникамъ».

<sup>2)</sup> Журналъ лекціи: «Объ ассирійско-вавилонскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ», составленный Михаиломъ Смирновымъ.



«Безъ сомнѣнія, и у евреевъ были вещи, вводившія у нихъ матеріалистическій фетишизмъ»: былъ изваянь золотой телець <sup>1)</sup>, вѣроятно, по египетскому образцу. Но указанный фактъ — явленіе единичное. Особенная заповѣдь: «Не сотвори себѣ кумира», исключала возможность пластики.

Лишь изображенія херувимовъ были допущены Моисеемъ при устройствѣ скиніи <sup>2)</sup>. Изъ искусствъ образовательныхъ одна архитектура достигла извѣстнаго совершенства у евреевъ: «противъ нея не дѣйствовало» запрещеніе «Законодателя». Въ этой области евреи «чувственнымъ, но аллегорическимъ образомъ выражали истину идеи, не нарушая чистоты духовной религіи». «Идея Божественнаго самодержавія» была «основою всей ихъ жизни». По закону Моисееву, народъ составлялъ одно «политическое цѣлое», «коего царемъ былъ Богъ Израилевъ». «Единая идея предполагала и единство символа»; такимъ символомъ былъ храмъ,—и храмъ одинъ.

Этимъ храмомъ сначала была палатка, въ которой «находились символъ благосостоянія» евреевъ — ковчегъ завѣта и скрижали. Палатка являлась «типомъ божественнаго святилища» и заключала въ себѣ «зародышъ изящнѣйшаго» творенія — храма Соломонова. Скинія дѣлилась на три части Первая часть—«дворъ для молящихся»; вторая —«Святое», гдѣ «левиты приносили жертвы очищенія», и третья—отгороженное великолѣпною завѣсою «Святое святыхъ», куда «входилъ одинъ разъ въ годъ первосвященникъ». Расположеніе скиніи было символическое и соотвѣтствовало религіознымъ понятіямъ. Въ отдѣленіи «Святое святыхъ» «человѣкъ повергался съ благоговѣніемъ предъ Богомъ, живущимъ во мракѣ». «Для неприступной тьмы было устроено мѣсто

---

<sup>1)</sup> Библия. Исходъ, глава 32: «Ааронъ сказалъ (Моисею): да не возгарается гнѣвъ господина моего; ты знаешь этотъ народъ, что онъ буйный. Они сказали мнѣ: сдѣлай намъ бога, который шелъ бы передъ нами, ибо съ Моисеемъ, съ этимъ человѣкомъ, который вывелъ насъ изъ земли египетской, не знаемъ, что сдѣлалось. И я сказалъ имъ: у кого есть золото, снимите съ себя. (Они сняли) и отдали мнѣ; я бросилъ его въ огонь, и вышелъ этотъ телець».

<sup>2)</sup> Библия. Исходъ, главы 36—37: «И сдѣлали всѣ мудрые сердцецы, занимавшіеся работою скиніи, десять покрывалъ изъ крученаго виссона и изъ голубой, пурпуровой и червленой шерсти; и херувимовъ сдѣлали на нихъ искусною работою». «И сдѣлалъ (Вессилилъ) крышку (ковчега) изъ чистаго золота; длина ея два локтя съ половиною, а ширина полтора локтя. И сдѣлалъ двухъ херувимовъ изъ золота; чеканной работы сдѣлалъ ихъ на обоихъ концахъ крышки».

мрачное, которое освѣщалось присутствіемъ Божества — неприступнаго свѣта» <sup>1)</sup>).

Отдѣленіе «Святое» — «символическая страница изъ великой книги законовъ» — указывало на «всѣ важнѣйшія происшествія» еврейской исторіи: здѣсь были поставлены: «столъ съ хлѣбами предложенія, что устроилъ Моисей въ знаменіе благодарности и покорности Господу»; «сѣдмосвѣщникъ — свѣтильникъ благодати даровъ»; жезлъ Аароновъ; сосудъ, «хранившій манну» и т. д. «Совершенно матеріальное выраженіе храма — только въ третьей части — во дворѣ» <sup>2)</sup>).

При Соломонѣ скинія была преобразована. Для выполнения своего намѣренія мудрый повелитель евреевъ обратился къ Хираму, царю тирскому, и, отмѣтивъ «необходимость содѣйствія въ осуществленіи» «высокой мысли», хлопоталъ о присылкѣ хорошихъ мастеровъ. И Хирамъ «послалъ ему художника Хирама, искуснаго въ рѣзбѣ древесной и въ изсѣченіи камней» <sup>3)</sup>. Тогда Соломонъ воздвигъ храмъ на «удивленіе всего свѣта». Храмъ такъ же, какъ и скинія, состоялъ изъ трехъ частей; «въ давирѣ устроено святилище». «Наружная галерея» доведена до трехъ

<sup>1)</sup> Библия. Третья книга царствъ, глава восьмая: «Когда священники вышли изъ святилища, облако наполнило домъ Господень. И не могли священники стоять на служеніи, по причинѣ облака, ибо слава Господня наполнила храмъ Господень. Тогда сказалъ Соломонъ: Господь сказалъ, что Онъ благоволитъ обитать во мглѣ». — Ср. Псалтирь, псаломъ 17: «И мракъ сдѣлалъ покровомъ своимъ, сѣню вокругъ себя мракъ водъ, облаковъ воздушныхъ».

<sup>2)</sup> Библия. Исходъ, главы 35 — 40.

<sup>3)</sup> Тамъ же. Третья книга царствъ, главы 5 и 7: «И послалъ Соломонъ къ Хираму сказать: «Итакъ прикажи нарубить для меня кедровъ съ Ливана; и вотъ рабы мои будутъ вмѣстѣ съ твоими рабами, и я буду давать тебѣ плату за рабовъ твоихъ, какую ты назначишь; ибо ты знаешь, что у насъ нѣтъ людей, которые умѣли бы рубить деревья такъ, какъ сидоняне». — «И послалъ царь Соломонъ, и взялъ изъ Тира Хирама, сына одной вдовы изъ колѣна Нефеалимова. Отецъ его, тирянинъ, былъ мѣдникъ: онъ владѣлъ способностью, искусствомъ и умѣньемъ выдѣлывать всякія вещи изъ мѣди. И пришелъ онъ къ царю Соломону, и производилъ у него всякія работы». К. О. Мюллеръ говоритъ о финикійскомъ влияніи на еврейскую архитектуру: «Ueberall an der Bundeslade, der alten Stiftshütte und in dem Salomonischen Tempel, finden wir den für diese Völker charakteristischen Gebrauch wieder, Bretterwände oder das Getäfel an Steinwänden mit Goldblech zu überziehen. Auch Elfenbein zur Verzierung von Architektur-Theilen, wie zur Auszierung von Thronen und andern Geräthen, zu brauchen, war bei den syrischen Stämmen gewöhnlich» (Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 260—261).

этажей. «Храмъ былъ сложенъ» изъ обтесаннаго камня: «ни молота, ни тесла, ни всякаго другаго желѣзнаго орудія не было слышно» во время сооружеія. «Внутреннія стѣны съ низу до верху подбиты» кедровыми досками, а по кедру обложены золотомъ: весь давиръ тоже «покрытъ чистымъ кованнымъ золотомъ». Въ давирѣ сдѣланы изъ маслячнаго дерева «два колоссальныхъ херувима». Одни крылья ихъ «касались стѣны», а другія на самой срединѣ храма соединялись: крыло одного съ крыломъ другаго, и «образовали стѣну надъ алтаремъ», гдѣ помѣщенъ ковчегъ завѣта. Херувимы были обиты золотомъ; на всѣхъ стѣнахъ храма кругомъ вырѣзаны изображенія херувимовъ и пальмовыхъ деревьевъ; подобной же рѣзбой, крытой золотомъ, украшены двери; даже полъ былъ обложенъ золотомъ. Въ высотѣ «висѣли» хоры, какъ «сѣти, сплетенныя изъ золотыхъ вѣтвей», на подобіе пальмъ и иныхъ растений. Два литые столба, по восемнадцати локтей вышиною и по двѣнадцати въ окружности, «подпирали хоры», «имѣвшіе значеніе символическое». Столбы получили имена: Іахинъ и Воазъ. «При всемъ богатствѣ и великолѣпіи архитектуры, храмъ былъ наполненъ драгоценнѣйшими сосудами и утварью» <sup>1)</sup>.— Въ торжественные праздники еврейскаго народа подъ сводами величественнаго зданія раздавались величественныя пѣсни; онѣ сливались со звуками музыкальныхъ инструментовъ; гармонично и стройно звучали сладкія мелодіи «дѣвъ тимпаницъ», общее ликованіе охватывало присутствующихъ,—и самъ царь совершалъ служеніе <sup>2)</sup>!

Храмъ, исполненный глубокой поэзіи, казался «поэмой націи». Здѣсь ни одинъ предметъ, отдѣльно взятый, «не могъ быть буквою», передающею «*вполнѣ* какую-либо истину въ великой

<sup>1)</sup> Библія. Третья книга царствъ, главы 5—8.

<sup>2)</sup> Музыка особенно процвѣтала у евреевъ въ періодъ царей. Давидъ «является поэтомъ при стадахъ отца своего»; тогда «еще гусли его бряцали славу Бога Израилева; тѣ же гусли потомъ рокотали въ домѣ Саула».—Въ шестой главѣ второй книги царствъ читаемъ: «А Давидъ и всѣ сыны Израилевы играли предъ Господомъ на всякихъ музыкальныхъ орудіяхъ изъ кипарисоваго дерева и на цитрахъ и на псалтиряхъ, и на тимпанахъ, и на систрахъ, и на кимвалахъ».—Ср. первая книга царствъ, глава 10: «Послѣ того, ты (Саулъ) придешь на холмъ Божій, гдѣ охранный отрядъ филистимскій; и когда войдешь тамъ въ городъ, встрѣтишь сонмъ пророковъ, сходящихъ съ высоты, и предъ ними псалтирь и тимпанъ, и свирѣль и гусли, и они пророчествуютъ».

книгѣ судебъ еврейскаго народа»; здѣсь нужно «было цѣлое въ огромныхъ размѣрахъ для полнаго аллегорическаго выраженія идеи таинственной религіи». «Но требовалось изъясненіе сего дивнаго іероглифа, и вотъ явилось *слово*», «возведенное на высочайшую степень поэзіи», «раздробившееся на безчисленные отголоски», которые «въ своихъ несмѣтно разнообразныхъ аккордахъ составляли» чудный «гимнъ всего человѣчества». Аллегорія, характерная черта еврейской поэзіи, «была въ зависимости отъ религіи». «Цѣлью законодателя Моисея было показать чистое, истинное понятіе о Божествѣ»; такое понятіе могло быть прочувствовано, но не могло быть ясно выражено. Отсюда — иносказанія. Мощное «слово» пророка было «прозрачнымъ символомъ» «недостигаемой» истины <sup>1)</sup>.

---

Бросая общій взглядъ на развитіе восточнаго искусства, изслѣдователь долженъ признать, что «многообразныя проявленія первобытнаго генія», большею частію, «ознаменованы печатью безмѣрнаго изумительнаго величія». «Въ нихъ могущество творящаго духа какъ будто вступаетъ въ бой съ непредѣльностью природы, усиливаясь наполнить ее собою. Они выходятъ изъ обыкновенныхъ границъ человѣческихъ дѣйствій. И потому изумленное потомство пріучилось видѣть въ нихъ участіе высшей небесной силы. Ихъ созданіе приписывается исполинамъ и волшебникамъ, даже безплотнымъ духамъ и божествамъ. Имена Висвакармы, Таута, Ифеста, съ коими соединяется происхожденіе искусствъ, окружены божественнымъ сіяніемъ. Тѣ художники, коихъ чело-вѣчество запечатлѣло свидѣтельствомъ исторіи, по крайней мѣрѣ возвышены на міеологическіе пьедесталы, возведены въ званіе пророковъ и чудотворцевъ, близкихъ друзей и наперсниковъ божіихъ. Но сіе необычайное расширеніе генія за предѣлы, полагаемые природою, безъ сомнѣнія, должно было истощать и подавлять само себя. Расточая необузданно свою безграничную полноту, оно не могло сообщать произведеніямъ своимъ того гармоническаго устройства, той архитектурической правильности, того изящнаго благолѣпія, изъ коихъ слагается эстетическое совершенство. Художественныя произведенія первобытныхъ временъ»

---

<sup>1)</sup> Журналъ лекцій: «Объ ассирійско-вавилонскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ», составленный Михаиломъ Смирновымъ.

(за исключеніемъ произведеній еврейскихъ), «въ своемъ колоссальномъ величїи, были безобразны, уродливы, чудовищны. Жизнь, пролитая въ нихъ, не покоряясь естественнымъ пропорціямъ, выражалась насильственнымъ смѣшеніемъ разнородныхъ формъ, отвратительными гримасами искаженной фізіономїи, даже часто мертвымъ однообразіемъ совершеннаго безличїя. Первобытное зодчество проявлялось колоссальными громадами, безъ образа и лица, прокапывая нѣдра горъ мрачными вертепами или врѣзываясь въ облака безформными шпицами обелисковъ и пирамидъ; первобытная пластика изсѣкала безобразныя чудовища или воздвигала колоссальные трупы безъ движенія, безъ фізіономїи, безъ жизни; первобытная поэзія раздавалась глухимъ ропотомъ дикой гармонїи, подобно тяжелымъ ударамъ циклоповъ. И пока продолжалась дѣтская простота человѣчества, сіе безобразіе внѣшнихъ формъ поглощалось религіознымъ благоговѣніемъ. Но съ охладѣніемъ младенческаго энтузіазма, геній первобытныхъ временъ созналъ противоестественную чрезмѣрность своихъ усилій: разочарованный, изнуренный, расслабленный, онъ отрекся отъ своихъ безуспѣшныхъ замысловъ, воздремалъ и опочилъ непробуднымъ сномъ на своихъ исполинскихъ созданїяхъ. И, какъ бы въ отмщенїе за его прежнюю возмутительную дерзость, природа съ неумолимою яростію опрокинулась на сіи трупы, оставленные духомъ жизни, предала ихъ въ добычу разрушительнымъ стихїямъ, заткала погребальною пеленою мховъ и кустарниковъ, обрекла въ покоище дикимъ звѣрямъ и смертоноснымъ гадамъ. Въ продолженіе тысячелѣтїй, она безжалостно гложетъ величественныя ихъ кости, и никакая сила не воздвигнетъ ихъ! Весна жизни не бываетъ дважды: она прошла — и не возвратится! Теперь на развалинахъ первобытнаго младенчества, одряхлѣвшее потомство читается слабыми воспоминанїями минувшаго величїя. Оно живетъ мелкими блестками прежняго безпредѣльнаго энтузіазма, забавляясь воздушными очерками минаретовъ, живописными куполами мечетей, затѣйливой пестротой арабесковъ, радужными призраками Тысячаодной ночи!»<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета* 1833, часть I, № 1, стр. 111—114.

VII. О греческихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ.

Въ то время, когда на востокѣ «младенчество рода человѣческаго цвѣло, не созрѣвая, въ скромномъ, тѣсномъ уголкѣ земного шара» «приготавлился новый возрастъ жизни, новый періодъ всемірной исторіи»; «человѣчество должно было сдѣлать великій, рѣшительный шагъ на пути къ совершенству». Въ «благословенной странѣ Эллады» «укрѣплявшаяся жизнь наслаждалась впервые самобытностью возмужалаго юношества». «Природа щедро украсила» этотъ край «своими прелестями, но не съ тою безмѣрною расточительностью, не въ томъ подавляющемъ обилии и ослѣпительномъ блескѣ, какъ подъ знойнымъ небомъ тропиковъ. И какое-то неизъяснимое инстинктуальное влеченіе весьма рано созвало сюда разноплеменныхъ пришельцевъ, кои, изъ различныхъ странъ первобытнаго міра, принесли съ собою различныя стихіи младенческаго образованія, слявшіяся, наконецъ, въ одно стройное, могущественное одушевленіе». Разумѣется, прошли многіе годы, прежде чѣмъ «сей великій процессъ перерожденія совершился. Разнородныя стихіи, принесенныя съ утесовъ Тавра и береговъ Нила, даже занесенныя невѣдомыми путями изъ таинственной глубины Индіи, долго оставались въ хаотическомъ, нестройномъ броженіи, и потому древняя Эллада, въ продолженіе» нѣсколькихъ «вѣковъ, раздѣляла общую судьбу первобытнаго человѣчества». «Тогда дѣйствія ея не отличались никакою печатью индивидуальности. Точно такъ же, какъ и вездѣ, мысль дремала подъ игомъ суевѣрія; общественная жизнь управлялась вдохновеніями оракуловъ, выражалась чудесами боговъ и подвигами героев». «Художественные опыты», «коиими ознаменовалось младенчество эллиновъ», отличались «дикимъ, гигантскимъ величіемъ», «грубою чудовищною безобразностью». «Архитектура громоздила глыбы на глыбы въ исполинскихъ зданіяхъ, присвояемыхъ циклопамъ, или нисходила подъ землю мрачными излучинами лабиринта, приписываемаго отцу эллинскихъ образовательныхъ искусствъ» Дедалу, имя котораго, по мнѣнію Беттигера, «есть нарицательное имя художника, отъ δαίδαλλειν—искусно работать»<sup>1)</sup>. Пластика

1) C. A. Böttiger. Andeutungen zu vier und zwanzig Vorträgen über die Archäologie. Dresden, 1806, S. 48: «Dädalus, so viel als ein Kunstmensch, ist ein Gemeinname aller ersten Architekten, Metallurgen und Bildschnitzer in der griechischen Vorwelt. Diodor (IV, 76—78) hat aus alten Dädalusfabeln einen

создавала или «безформныхъ Ермесовъ»—«грубыя изваянія безъ рукъ и безъ ногъ», «ставившіяся на площадяхъ и большихъ дорогахъ», или—«исполинскія муміи»: «кумиръ эфесской Артемиды», весьма похожій на египетскую Изиду и «даже обезображенный, по примѣру ея, множествомъ сосповъ», и «колоссальнаго амиклейскаго Аполлона», металлическое туловище котораго «имѣло видъ колонны» <sup>1)</sup>. Зачатки пѣнія, «выражавшаго полноту внутренняго одушевленія», проявились «въ неистовомъ эвое вакханокъ»; «поэзія разливалась безбрежнымъ океаномъ нестройныхъ мѣловъ. Но сіе хаотическое броженіе творческой дѣятельности не должно было застыть и окаменѣть въ грубыхъ напряженіяхъ Дедалидовъ»: Дифа, Река и Скилиса, соорудившихъ, по преданію, «храмъ самосской Иры» и «эфесскій Артемизіонъ» <sup>2)</sup>. «Стѣсненіе разныхъ эллинскихъ племенъ въ скудномъ пространствѣ небольшого полуострова, подавая поводъ къ безпрестаннымъ столкновеніямъ, движеніямъ и переворотамъ, поддерживало въ нихъ непрерывное кровообращеніе жизни», «крѣпило ихъ силы». «Переселенія въ чужіе дальніе края, вынуждаемая сею тѣснотою, естественно должны были расширить ихъ умственный кругозоръ, пріучить

---

eigenen Cyclus gebildet, aus dem noch manche Spur der frühesten Kunstbestrebungen entwickelt werden könnte. Man setzt ihn 3 Menschenalter vor dem troianischen Krieg, also Zeitgenosse des Minos. Daher tritt er in den cretensischen Fabel-Cyclus. Aus phönizischen Bergwerken und Stollengängen entsteht dort der Labyrinth der später wohl auch zu Priestergaukeleien und Pagodendienst gebraucht wurde.

<sup>1)</sup> *K. O. Müller*. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 43—44: «Um das Zeichen in nähere Beziehung zur Gottheit zu setzen, fügt man einzelne besonders bezeichnende Theile hinzu, Köpfe, Arme welche die Attribute halten, Phallen bei den erzeugenden Gottheiten. Hierdurch entstand die Herme, welche sehr lange Zeit das Hauptwerk der Sculptur in Stein blieb. So bildete sich die Erzsäule des Amykläischen Apoll mit behelmten Kopf und bewaffneten Händen».

<sup>2)</sup> *C. A. Böttiger*. Andeutungen, SS. 50—53: «Aus Creta kommen Dipoenus und Scyllis, Schüler des Daedalus. Ueberall ist die Kunst erblich. Es giebt Daedaliden, so wie es Asclepiaden und Homeriden gab». «Zwei Tempel fallen in diesen Zeitraum, an welchen sich die grechische Kunst am meisten verherrlichte. I. Das Heräum oder der uralte Tempel der Here, der Juno zu Samos, den Herodot für den grössten erklärt, den er gesehen habe (III, 60)... Man muss übrigens eine samische Künstlerfamilie annehmen, Rhöcus und dessen zwei Söhne, Telecles und Theodorus. Letzterer ist noch berühmter als Rhöcus und wird vom Plato im Ion mit dem Daedalus und Epeus zugleich angeführt. II. Das Artemision zu Ephesus».

къ наблюденію, обогатить опытами, приготовить къ стройному систематическому развитію мыслей. Междоусобія, питаемая тѣмъ же столкновеніемъ нуждъ и интересовъ, были школою жизни общественной, вынуждая къ изслѣдованію пружинъ гражданскаго устройства, воспитывая практическую мудрость, узаконяя политическую гармонію дѣйствій. Такимъ образомъ, въ Элладѣ родилось систематическое знаніе и стройная гражданственность», — «жизнь просвѣтилась». Искусства, до сихъ поръ «медленно зрѣвшія къ совершенству», «подъ благодатными лучами просвѣщенія, развернулись вдругъ великолѣпными плодами, ознаменованными печатію роскошнаго изящества. Сія блистательная эпоха искусствъ, увѣковѣчившая славу Эллады, началась вмѣстѣ съ знаменитою персидскою войною; но ея полное развитіе занимаетъ собою позднѣйшій періодъ, простирающійся между Перикломъ и Александромъ, золотой вѣкъ эллинскаго просвѣщенія, торжество умственнаго образованія и гражданской дѣятельности, періодъ Сократовъ и Платоновъ, Алкивіадовъ и Эпаминондовъ». «Изящныя произведенія древняго греческаго генія» отличались «опредѣленнымъ единствомъ идей и формъ, ощутительно указывающимъ на одинъ положительный первообразъ изящества, въ нихъ выражавшійся»; они «обнаруживали добровольное самообузданіе, подчиняющее всѣ свои движенія разочтенной мѣрѣ, укладывающееся въ ограниченныя пропорціи, соображающееся съ опредѣленнымъ типомъ совершенства. Отсюда ихъ художественная, классическая доконченность<sup>1)</sup>. И сей опредѣленный типъ совершенства, сей положительный первообразъ изящества, очевидно, составляла для нихъ внѣшняя, матеріальная сторона бытія, чувственная гармонія физической жизни». «Первое юношеское торжество челоуѣческой самобытности», «по естественному порядку вещей», «должно было обнаружиться устремленіемъ всѣхъ силъ

---

<sup>1)</sup> *Winckelmann. Werke. Dresden, 1811. Vierter Band, S. 164:* «Nach der allgemeinen Betrachtung der Schönheit ist zum ersten von der Proportion, und zum zweiten von der Schönheit einzelner Theile des menschlichen Körpers, zu reden. Die Schönheit kann zwar ohne Proportion nicht gedacht werden, und diese ist der Grund von jener; da aber einzelne Theile des menschlichen Körpers schön gebildet seyn können, ohne schönes Verhältniss der ganzen Figur, so kann man füglich über die Proportion, als über einen abgesonderten Begriff und ausser dem Geistigen der Schönheit, besondere Bemerkungen machen, die ich nebst einigen Gedanken von der Gratie an die Zusätze von der Schönheit überhaupt hier anhänge».



къ наслажденію роскошнымъ богатствомъ внѣшней матеріальной природы, въ нѣдрахъ коей зачинается, растетъ и процвѣтаетъ человѣческое младенчество. Сіе юношеское направленіе отразилось ощутительно во всѣхъ дѣйствіяхъ древнихъ эллиновъ. Ихъ мыслительность, даже въ высреннихъ идеяхъ платонической философіи, оставалась прикованною къ внѣшней, матеріальной сторонѣ бытія; ихъ общественное устройство, въ самыхъ художественнѣйшихъ формахъ», «ограничивалось соглашеніемъ низшихъ, физическихъ потребностей жизни». Искусства «сдѣлались выраженіями одушевленія, исключительно любующагося зримой красотой вещественнаго міра. И отсюда ихъ стройная соразмѣрность, свѣтлое благообразіе, изящная прелесть <sup>1)</sup>! Еще задолго до полного развитія эллинской жизни, въ безсмертномъ эпосѣ таинственнаго слѣпца предобразилось во всей полнотѣ сіе направленіе». «Иліада» — «торжественнѣйшій образецъ поэтическаго просвѣтленія жизни, въ изящныхъ пропорціяхъ и формахъ, отлитыхъ по великолѣпному типу физической красоты. Это алмазная капля свѣжей утренней росы, въ коей лучезарный образъ внѣшней, матеріальной природы отразился всѣми своими лучами. И потому весь блистательный міръ греческихъ искусствъ» «былъ развитіемъ и продолженіемъ» «Иліады», «собранный изъ рапсодій въ одно цѣлое» во времена Пизистрата, когда наступала знаменитая эпоха въ исторіи греческаго художественнаго творчества. «Великолѣпный Олимпъ» «Иліады», «идеаль эстетическаго апоэоза вещественной природы, воплощался въ чудныхъ созданіяхъ могучаго рѣзца и волшебной кисти; ея смертные и безсмертные герои, представители поэтическаго просвѣтленія физическихъ силъ, славословились звучными струнами лиръ, возвышались на трагической котурнѣ въ изящныхъ зрѣлищахъ; ея художественная, архитектурическая стройность, свѣтлый образъ прекраснаго храма зримой вселенной, обрисовывалась прелестными пропорціями зодчества. Это не значить, чтобы въ произведеніяхъ греческаго генія не участвовала совершенно духовная сторона бытія, исключалось всякое вліяніе выс-

---

1) *Winckelmann*. Werke. Vierter Band, SS. 4—7: «Der Einfluss des Himmels muss den Saamen beleben, aus welchem die Kunst soll getrieben werden, und zu diesem Saamen war Griechenland der ausserwählte Boden». «Die Griechen erkannten und priesen den glücklichen Himmel». «Dieser Himmel war der Quell der Fröhlichkeit in diesem Lande, und diese erfand Feste und Spiele, und beyde gaben der Kunst Nahrung».

шаго незримаго міра идей: только сіе вліяніе поглотилось лучезарнымъ блескомъ матеріальныхъ формъ; незримый духъ исчезалъ въ ослѣпительномъ сіяніи преображеннаго вещества. И чѣмъ самобытнѣе, чѣмъ полнѣе, чѣмъ отрѣшеннѣе и чище развивалось творческое одушевленіе древнихъ грековъ, тѣмъ оцутительнѣе выражалось «торжество матеріи надъ духомъ, формъ надъ идеями». Стремленіе къ «матеріальному» благообразію «внѣшней природы» сказалось на памятникахъ эгинской школы, основателемъ которой «считается Смиллисъ, современникъ будто бы Дедала»<sup>1)</sup>. Дальнѣйшая «исторія постепеннаго развитія идеала физической красоты въ художественныхъ созданіяхъ греческой пластики» весьма интересна. «Суровый ликъ первобытной Экаты» «смягчался мало-по-малу въ величественныхъ фізіономіяхъ дорической Иры и аттической Паллады»: первое изваяніе, сдѣланное Поликлетомъ для Аргоса, представляло важную матрону и послужило «первообразомъ для статуй римскихъ императрицъ и весталокъ»<sup>2)</sup>; второе, работы Фидіа, предназначавшееся для Парѳенона, являлось «типомъ жены воинственной (*virago*)»<sup>3)</sup>. Наконецъ, «въ предст-

1) *Winckelmann*. Werke. Dresden, 1815. Sechster Band, S. 13: «Wenn man auf das Alter der Aeginetischen Schule von dem berühmten Smilis, aus dieser Insel, schliessen dürfte, so würde sie ihre Stiftung von den Zeiten des Dädalus herführen. Dass sich aber schon in ganz alten Zeiten eine Schule der Kunst in dieser Insel angefangen habe, bezeugen die Nachrichten von so vielen alten Statuen in Griechenland, die im Aeginetischen Style gearbeitet waren».

2) *C. A. Böttiger*. Andeutungen, SS. 122, 127—128: «Der alte Junotempel zu Argos war durch die Unvorsichtigkeit der Hohenpriesterin Chrysis zu Anfang des peloponnesischen Kriegs abgebrannt (Thucyd. IV, 133. Pausan. II, 17). Der Argiver Eupolemus baute ihn prächtiger wieder auf. Für diesen Tempel verfertigte Polyklet eine sitzende colossale Here, auch in Elfenbein und Gold, und trat dadurch mit dem Phidias selbst in unmittelbaren Wettstreit». «Bekanntlich liessen sich die römischen Kaiserinnen in einem höhern Alter gern als Junonen idealisiren».

3) Тамъ же, 82, 84: «*Die Männin* (*Virago*). Ideal der Pallas Minerva, die Krieg- und Kunstübende ewige Jungfrau. Sie hat keine Mutter und ist selbst nie Mutter, der verkörperte Schreckgedanke ihres Vaters in der frühern, die Schützgöttin jungfräulicher Zucht und athenischer Humanität in der spätern Zeit». — *K. O. Müller*. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 91—93: «Er selbst (Phidias) arbeitet besonders die aus Gold und Elfenbein zusammengesetzten Colossalstatuen, zu deren vollkommenerer Ausführung eine beispiellose Freigebigkeit der Staaten und eine erweiterte Technik sich die Hand boten». «Zu diesen gehört unter andern das sechs und zwanzig griechische Ellen hohe Standbild der Pallas Parthenos, welches als ein Bild einer gerüsteten, aber siegreichen, in ruhiger Majestät herrschenden Gottheit gedacht war».

номъ символѣ Афродиты - Анадіомены» Праксителя «апоѳеозъ чувственной красоты формъ» уничтожилъ «всякое выраженіе духовной, идеальной жизни». «Та же самая послѣдовательность замѣчается въ историческомъ развитіи идеала физическаго могущества, составлявшаго другую любимую тему греческаго генія. Идеальное величіе Олимпійскаго Зевеса, еще запечатлѣнное суровостью первобытныхъ временъ, сглаживалось постепенно въ атлетическихъ типахъ Ермія и Иракла», надъ которыми трудились Поликлеть и Миронъ, старавшіеся дать «образцы» юношеской крѣпости, развитой гимнастическими упражненіями, и въ другихъ статуяхъ: Діадумена, Дорифора и Дисковула <sup>1)</sup>). Но «совершен-

---

<sup>1)</sup> *C. A. Böttiger*. *Andeutungen*, S. 116: «In Polyclets gymnastischen Kreis gehören die Knaben auf dem Relief im *Pio-Clementino* (t. V, tav. 37).—Bei diesen Studien des Meisters lässt sich's gleichsam in voraus berechnen, dass er auch den Gott, in welchem das athenische Alterthum den wahren Repräsentanten aller seiner Jünglings- und Ephebenfiguren bildete und verehrte, den Mercur selbst mit allen Schönheiten eines durch die von ihm selbst erfundene Gymnastik ausgearbeiteten und geschmeidigten Jugendkörpers ausgeschmückt haben werde».—Тамъ же, 142: «Besonders war Hercules (Myrons) sowohl in der gewaltigen Musculatur und dem gediegenen Gliederbau, als in den Mitteln dazu zu gelangen, das höchste Vorbild aller Athleten».

*K. O. Müller*. *Handbuch der Archäologie der Kunst*, SS. 99—100: «Neben dieser Attischen Schule erhebt sich auch die Sikyonisch-argivische durch den grossen Polykleitos zu ihrem Gipfel.. Dagegen schwang sich durch ihn die im Peloponnes vorwaltende Kunst, Erzstatuen von Athleten zu bilden, zur vollkommensten Darstellung schöner gymnastischer Figuren empor, an denen zwar keineswegs ein eigenthümlicher Charakter vermisst wurde, aber doch die Darstellung der reinsten Formen und ebenmässigsten Verhältnisse des jugendlichen Leibes die Hauptsache war. Daher eine seiner Statuen, der Doryphoras, es sei nun nach der Absicht des Künstlers oder durch das Urtheil der Nachwelt, ein Kanon der Proportionen des menschlichen Körpers wurde, welche im Allgemeinen damals noch kürzer und stämmiger waren als später [*Diadumenum fecit molliter puerum* (Statue aus Villa Farnese, *Winckelm.* W. B. VI. Tf. 2).—*Doryphorum viriliter puerum-destringentem se, et nudum talo incessentem* (?), *duosque pueros item nudos talis ludentes* (*ἀστραγαλιζοντας*) *Plin. Sillig. C. A. p. 364 sqq.*].—Тамъ же, 101—102: «Noch körperlicher äussert sich die Kunst in Myron dem Eleuthereer, den seine Individualität besonders dahin führte, Kräftiges Naturleben in der ausgedehntesten Mannigfaltigkeit der Erscheinungen mit der grössten Wahrheit und Naivetät aufzufassen (*primus hic multiplicasse veritatem videtur*)». «Sein Diskobol, der im Moment des Abschleuderns aufgefasst war, und durch zahlreiche Nachbildungen seinen Ruhm beweist», «ging aus dieser Richtung hervor». «Von mythischen Gestalten sagte ihm besonders Heracles zu, den er nebst der Athena und dem Zeus in einer colossalen Gruppe für Samos bildete».

вѣйшее просвѣтленіе физическихъ силъ» замѣтно въ образѣ проіойскаго Аполлона—твореніи Пивагора Регіумскаго. «Такимъ образомъ, высочайшій зенитъ греческаго искусства обнаружился стремленіемъ къ безусловному выраженію матеріальнаго изящества внѣшней природы. Его послѣднимъ, заключительнымъ плодомъ былъ идеаль Вакха, идеаль чистѣйшаго упоенія блаженной полнотой физической жизни». Выразителю этого идеала Праксителю принадлежитъ изображеніе Эроса въ видѣ «прелестнаго юноши»: «одухотвореніе» любви «подъ чертами младенческой невинности было неизвѣстно древнимъ грекамъ; оно принадлежитъ христіанству»<sup>1)</sup>. «Дѣвственная свѣжесть и энергія неистощимаго могущества», свойственныя «юному гению» Эллады, позволяли проявлять пристрастіе къ матеріальному въ «непорочныхъ формахъ цѣломудреннаго изящества. Но, съ приближеніемъ къ апогею своего развитія, по естественному слѣдствію избытка силъ, онъ предался необузданно своему влеченію, опрокинулся въ крайность. И тогда въ его произведеніяхъ чувственная красота внѣшней природы разоблачилась до сладострастной нескромности, свободная игра физической жизни разметалась соблазнительнымъ неистовствомъ. Уже Пракситель совлекъ цѣломудренный покровъ съ Афродиты», извѣстной подъ именемъ Книдской: въ противополож-

---

<sup>1)</sup> C. A. Böttiger. *Andeutungen*, SS. 162—163: «*Ideal des Bacchus*. Stufenfolge von bartigen indischen Bacchus und Hebon bis zum zarten Junglings-Spross der griechischen Kunst. Weichheit ohne weibische Weichlichkeit, die nur den Ganymeden, Antinocn und Hermaphroditen gehört, ist doch in allen Abstufungen charakteristisch. Es ist die personificirte, ewige Frohlichkeit im siegreichen Gottersohne, die vergotterte Ruhe nach bezwungener Roheit in der holdesten Junglingsgestalt, die gleichsam zwischen den Knaben und Mädchen die Mitte halt, das würdevollste *far niente* im Spiel mit den scherzenden Umgebungen. Aber der wahre Triumph der Kunst in ihr liegt im Contrast mit den Umgebungen».—Тамъ же, 167: «*Ideal des Eros oder Amor*. Die alten Kunstler des hohen und schonen Stils bildeten fast gar keine Kinder. Die wahre Kinderbildung konnte erst im christlichen Kunstkreis stattfinden. Da wetteiferten Fiamingo und Algardi mit Michel Angelo. Darum war auch der Eros der Alten kein Kind, sondern ein zum Jungling reifender Knabe. Wir haben nur Amorios, die Alten hatten Amors».

K. O. Müller. *Handbuch der Archaologie der Kunst*, SS. 108—109: «Auch Praxiteles arbeitete besonders in Marmor, und that sich selbst am meisten in Gegenständen aus dem Cyclus des Dionysos, der Aphrodite, des Eros genug. In den zahlreichen Figuren, die er aus dem ersten Kreise bildete, war der Ausdruck Bacchischer Schwarmerei und Schalkheit mit der höchsten Anmuth und Lieblichkeit vereinbart».

ность Афродиты Косской, «одрапированной съ пояса до ногъ», она, «вся нагая», «погружается въ мраморный бассейнъ», «держа въ лѣвой рукѣ сброшенное покрывало» <sup>1)</sup>. А полное «торжество сладострастія надъ скромностью» олицетворено въ «изваянной для Фрины» группѣ, гдѣ «печальная матрона» проливаетъ горькія слезы передъ «гетерой, сіяющей прелестями и радостью» <sup>2)</sup>. «Съ

<sup>1)</sup> C. A. Böttiger. Andeutungen, SS. 169—171: «Noch immer waren alle Venusbilder bekleidet vorgestellt worden. Praxiteles wagte es zuerst sie ganz zu entkleiden und vollendete dadurch das neuere Ideal der Venus. Grossen Einfluss hatten darauf zwei berühmte Hetären, die Gratina und Phryne, die beide dem Praxiteles zu diesem Behuf ihre geheimsten Reize geoffenbart haben sollen». «Vor allen berühmt sind seine zwei Venusbilder, die zu Cos und die zu Cnidos; welche aber keineswegs ganz übereinstimmen. Man sieht, der Künstler wagte es selbst nur schrittweise, eine ganz nackte Venus-Statue aufzustellen. Er machte also eine von unten zu bis an die Hüften verhüllte und eine ganz entblösste Göttin, die oben aus dem Bade oder Meere hervorgestiegen ist».

K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 108—109: «Praxiteles war es, der in mehreren Musterbildern des Eros die vollendete Schönheit des Knabenalters darstellte, welches den Griechen grade das reizendste schien; der in der enthüllten Aphrodite die höchste sinnliche Reizfülle mit einem geistigen Ausdrucke vereinigte, in dem die Liebe von der sanftesten, heitersten Seite, ganz ohne Beimischung irgend eines verschiedenartigen und störenden Elements, es sei nun das Bewusstsein göttlicher Würde und Erhabenheit, oder niedrige und heftige Begierde, aufgefasst erschien. Doch konnten diese herrlichen Werke erst aus einer Gemüthsstimmung hervorgehn, in welcher die sinnlich reizende Erscheinung an der Stelle der höhern Gewalt, von der jene allein ihren Reiz hat, vergöttert wurde. Dazu wirkte das Leben mit den Hetären; manche unter diesen ganz Griechenland mit ihrem Ruhme erfüllenden Buhlerinnen erschien dem Bildner wirklich, und nicht ohne Grund, als eine in die Erscheinung getretne Aphrodite». — Тамъ же, 110: «*Aphrodite*. a) Von Kos, (die bestellte) *velata specie*, ganz bekleidet (Plin. XXXIV, 4, 5). b) Von Knidos, gekauft, beim Tempel der *Εὔφροια*, in einer besondern *adnicula quae tota aperitur* nach Plin., einem *νεὸς ἀμφίθυρος* nach Lukian Amor. 14. *περισκέπτω ἐνὶ χώρῳ Anthol. Pal. App. T. II, p. 674. Plan. IV, 160, aufgestellt, später nach Kedrenos in Byzanz. Aus Parischem Marmor: Σεισηρότι γέλωτι μικρὸν ὑπορειδῶσα (ὄφρων τὸ εὐγραμμὸν καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὸ ὑγρὸν ἅμα τῷ φαιδρῷ καὶ γεχαρισμένῳ). Πᾶν δὲ τὸ κάλλος αὐτῆς ἀνάλυπτον, οὐδεμιᾶς ἐσθῆτος ἀμπεγούσης, γεγύμνωται, πλὴν ὅσα τῇ ἐτέρᾳ χειρὶ τὴν αἰδῶ λεληθότως ἐπικρύπτειν.—Τῶν δὲ τοῖς ἰσχυρίαις ἐνεσφραγισμένων ἐξ ἑκατέρων τύπων οὐκ ἂν εἴποι τις ὡς ἡδὺς ὁ γέλως. Μηροῦ τε καὶ κνήμης ἐπ' εὐθὺ τεταμένῃς ἄχρι ποδῶς ἡκριβωμένοι ῥυθμοί. Lukian Amor. 14. Imag. 6».*

<sup>2)</sup> C. A. Böttiger. Andeutungen, SS. 175—176: «Allein es gnüge hier nur noch an der Bemerkung, dass wenn man jedem der grossen Meister, die bisher abgehandelt wurden, ihren eigenen Kreis zutheilte, der des Praxiteles kein anderer seyn kann, als der Hetärenkreis, der Kreis freier Weiber und Mädchen, welcher mit der allgemeinen Sittenauflösung im damaligen Griechenland völlig

этихъ поръ творческій геній началъ болѣе и болѣе терять свою стыдливость, унижаясь до оскорбительной наглости въ соблазнительныхъ изваяніяхъ вакханокъ и нимфъ, сатировъ и гермафродитовъ. Это было зловѣщимъ предвѣстіемъ для изящныхъ искусствъ. Они уклонились отъ своего, хотя ограниченнаго, но тѣмъ не менѣе высокаго, божественнаго первообраза; упустили изъ виду великолѣпный идеалъ свой, потерявшись въ подробности индивидуальныхъ формъ». Лизиппъ первый низвелъ искусство въ область прозаической дѣйствительности: «имъ изваянъ Александръ во всѣхъ эпохахъ своей жизни, съ удивительнымъ сходствомъ»<sup>1)</sup>.

---

im Einklang steht. Das ausdrucksvollste und frechste in dieser Art war wohl seine Gruppe in Bronze einer weinenden Matrone und lachenden Buhlerin, «matronae flentis et meretricis ridentis» (Plin. XXXIV, 19, 10). Er bezahlte damit, wie Plinius dort hinzusetzt, seiner Phryne eine Schäferstunde. Man kann sich leicht vorstellen, warum der Künstler diesen Contrast (κλασσιγέλως) aufstellte, indem er dadurch den Jammer des Ehestandes mit den Reizen der ungefesselten Lust aufs sinnlichste vergleichen wollte».

K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 110—111: «Er bildet nach Plinius signa flentis matronae et meretricis gaudentis (der Phryne): ein Gegensatz, der ganz aus dem attischen Leben gegriffen war».

<sup>1)</sup> C. A. Böttiger. Andeutungen, SS. 183, 188, 190—191: «Lysipp aus Sicyon, ursprünglich bloss zum Kupferschmidt bestimmt und wahrscheinlich ein Autodidactos, trat auf, und so wie Praxiteles sich mehr den Phidias zum Vorbild genommen hatte, so war Lysipps Muster Polyclet».—«Seine idealisirenden Grundsätze, nach welchen er die Menschen machte, nicht wie sie sind, sondern wie sie ihm erschienen, «non quales essent, sed quales viderentur esse», übte er nicht nur an seinen Zeitgenossen, sondern auch an Personen früherer Zeit».—«Die Art, wie er der fehlerhaften Angewöhnung, nach welcher Alexander den Kopf immer auf die rechte Schulter bog, die sublimste Deutung der den Zeus auffordernden oder ihn zur Theilung der Welt einladenden Mine gab, bewies einen Künstler, der die Veredlung zum Ideal als Meister versteht».—«Lysipp bildete seinen Helden in jeder Epoche seines Lebens («a pueritia eius orsus», Plin.) und in allen Situationen, auf Quadrigen, reitend, kämpfend, jagend, thronend, stehend. So ziemt es einem grossen Portraitisten!»

K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 112—113: «Die Athletenbilder nahmen die Künstler (Euphranor und Lysippos) jetzt nicht mehr so wie früher in Anspruch, obgleich auch sechs Statuen der Art als Werke des unglaublich thätigen Lysippos angeführt werden; dagegen waren es besonders idealisirte Porträte mächtiger Fürsten, welche die Zeit forderte; diese Bildungen und die Gestalten der Heroen beschäftigten die genannten Künstler am meisten, ob zwar beide auch herrliche Götterbilder aufstellten». «In der Gestalt des Alexander wusste Lysippos selbst den Fehlern Ausdruck zu verleihn, und, wie Plutarch sagt, allein das Weiche in der Haltung des Nackens und den Augen mit dem Mannhaften und Löwenartigen, was in Alexanders Mienen lag, gehörig zu

«Творческая дѣятельность съ высоты Олимпа сошла на землю; ея предметами сдѣлались дѣйствительныя существа; она стала подражательницею опредѣленныхъ явленій вещественной природы, а не соревновательницею безпредѣльной ея жизни. Тогда храмъ раздробился на портики; кумиры превратились въ бюсты; поэзія рассыпалась мелкою антологическою пылью,—геній позналъ свой западъ!» «Изящная отдѣлка формъ, оставшаяся, по преданію, наслѣдіемъ Греціи, таила подъ собою внутреннее оскуднѣніе творческой энергіи». «Скоро оказались покушенія возвратиться къ древнему колоссальному величію, дабы скрыть пустоту обмелѣвшей жизни,—но то было поздно, не во время» <sup>1)</sup>.

#### VIII. *Объ этрусскихъ памятникахъ изящныхъ искусствъ.*

Въ сѣверной Италіи «около времени основанія Рима», жили этруски — народъ, происхождение котораго не выяснено изслѣдователями древностей, но который, несомнѣнно, «имѣлъ близкія сношенія» съ греками <sup>2)</sup>. Еще въ седьмомъ вѣкѣ до Р. X. «коринвянинъ Демарать переселился въ Этрурію со многими художниками»; отсюда понятно, почему этрусскія произведенія изящныхъ искусствъ украшены изображеніями, «заимствованными изъ греческой мифологіи» <sup>3)</sup>. Всѣ оставшіеся памятники относятся къ области зодчества, ваанія, живописи.

---

verschmelzen; seine Bilder waren im höchsten Grade lebensvoll und geistreich gedacht».—Тамъ же, 113: «Lysipp fecit et Alexandrum Magnum multis operibus a pueritia eius orsus. Idem fecit Hephaestionem—Alexandri venationem—turmam Alexandri, in qua amicorum eius (ἑταίρων) imagines summa omnium similitudine expressit (Alexander, umher 25 Hetäroi, die am Granikos gefallen, 9 Krieger zu Fuss). Plin. Vgl. Vellej. Paterc. I, 11, 3; Arrian. I, 16, 7; Plut. Alex. 16.—Fecit et quadrigas multorum generum. Alexanders Edikt Sillig C. A. p. 66, № 24».

<sup>1)</sup> *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч. I, № 2, стр. 236—253.

<sup>2)</sup> *K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst*, SS. 150—152: «Dagegen verbreiten sich in Norditalien bis zur Tiber hinab die Etrusker oder Rasener, ein Stamm, der dem Zeugnisse der Sprache nach ursprünglich dem griechischen sehr fremd war, aber dessenungeachtet mehr wie irgend ein anderer ungriechischer in diesen früheren Zeiten, von hellenischer Bildung und Kunst angenommen hat». «Doch empfangen die Etrusker auch sehr viel Hellenisches durch den Verkehr mit den unteritalischen Colonien, besonders als sie sich selbst in Vulturum (Capua) und Nola niedergelassen hatten; so wie hernach durch den Handel mit Phokäa und Korinth».

<sup>3)</sup> *D. Raoul - Rochette. Cours d'archéologie. Paris, 1828*, pp. 100—101: «La

Памятники зодчества «наполняли собою весь Римъ», гдѣ всѣ лучшія зданія, къ которымъ «принадлежитъ и основаніе храма Юпитера Капитолійскаго, всѣ знаменитые водопроводы и стоки», были этрусской работы. Подобныя постройки, дошедшія до насъ въ развалинахъ, «разсѣяны по многимъ мѣстамъ Италиі»<sup>1)</sup>. Кромѣ

---

série entière des monuments étrusques, telle qu'elle existe aujourd'hui pour nous, se compose de sujets grecs, c'est-à-dire de sujets appartenant soit à la mythologie, soit à l'histoire grecques».—Тамъ же, 103—104: «Mais le fait capital, celui dont on ne peut ni révoquer l'authenticité, ni éluder la conséquence, c'est l'émigration du corinthien Démarate, qui vint s'établir en Etrurie avec toute une colonie d'artistes, dans le second siècle de Rome, environ 664 ans avant notre ère. Les noms donnés par Pline aux principaux de ces artistes, Euchir et Euphrasimus, peuvent être, comme on l'a soutenu avec plus ou moins de raison, des noms génériques, comme ils sont certainement significatifs; mais cela ne change rien à l'autorité du fait. Il n'en est pas moins constant que Démarate, en s'établissant dans la ville étrusque nommée depuis Tarquinie, y établit avec lui une école d'artistes grecs; que cette semence des arts de la Grèce, portée sur un sol déjà préparé sans doute à la recevoir, s'y développa rapidement; que, plus tard enfin, le fils de ce même Démarate, devenu roi de Rome sous le nom de Tarquin, y fit régner avec lui ces arts de l'Etrurie importés par des mains grecques».

*Winckelmann.* Werke. Dresden, 1809. Dritter Band, SS. 167—168: «Dass diese neuen Kolonien diejenigen gewesen, welche in Hetrurien ihre Art mit griechischen Buchstaben zu schreiben, nebst ihrer Mythologie, eingeführet, und den unwissenden ursprünglichen Hetruriern ihre Geschichte bis zu Ende des Trojanischen Krieges beygebracht, und dass dadurch die Künste in diesem Lande zu blühen angefangen, ist, nach meiner Meinung, offenbar aus den hetruischen Werken, die, wo nicht alle, dennoch die mehresten, eben dieselbe Mythologie und die ältesten Begebenheiten der Griechen vorstellen».

<sup>1)</sup> *D. Raoul-Rochette.* Cours d'archéologie, pp. 108--109: «Il est certain qu'il dut exister dans l'antiquité un grand nombre de monuments de l'art étrusque. Rome en fut ornée dans son berceau même; ce fut un Toscan, nommé Veturius Mamurius, qui fabriqua les boucliers anciles du temple de Numa, et qui fit en bronze la statue de Vertumne, dieu Toscan, dans le bourg toscan à Rome. Plus tard, toute l'architecture, toute la sculpture des édifices publics de Rome, étaient du style toscan, au témoignage de Pline. il est en reste encore d'admirables monuments dans la Cloaca maxima, le quai du Tibre et les substructions du Capitole, qui subsistent et qui datent des temps des deux Tarquins».

*K. O. Müller.* Handbuch der Archäologie der Kunst, SS. 151—153: «Die Etrusker erscheinen nun im Allgemeinen als ein industriöses Volk (φιλότεχνον ἔθνος), von einem kühnen, grossartigen Unternehmungseiste, welcher, durch ihre priesterlich aristokratische Verfassung sehr begünstigt wurde. Ihre Städte (nicht bloss die Burgen) sind mit gewaltigen Mauern, meist aus unregelmässigen Quadern, umgeben; die Kunst, durch Kanalbau und Seeableitungen Gegenden vor



городскихъ укрѣпленій, интересны сооруженія на могилахъ царей и героевъ. Плиній описалъ «великолѣпный памятникъ на могилѣ Порсены». Въ городѣ Корнето открыты три «изсѣченныя внутри скалы» гробницы, которыя «отличаются превосходною симметриєю всѣхъ частей», изящною отдѣлкою; «живопись, находящаяся на стѣнахъ ихъ», весьма древняя, едва ли не «первыхъ временъ существованія сего искусства въ Этруріи»<sup>1)</sup>.

---

Ueberschwemmungen zu sichern, wurde von ihnen sehr eifrig betrieben. Tarquinische Fürsten legten in Rom zur Entsepfung der niedrigen Gegend und Abführung des Unraths die Cloaken, besonders für das Forum die Cloaca Maxima, an». «Die italische Häuseranlage, mit einem Hauptzimmer in der Mitte, nach welchem der Tropfenfall des umliegenden Daches gerichtet ist, ging auch von den Etruskern aus, oder erhielt wenigstens durch sie eine feste Form». «Der Plan des Tempels erhielt durch die Rücksicht auf das etruskische Augural-Templum Modificationen; das Gebäude wurde einem Quadrat ähnlicher, die Colle, oder Cellen, in den Hintertheil (die postica) gebracht, Säulenreihen füllten die vordere Hälfte, so dass die Hauptthür grade in die Mitte des Gebäudes fiel. Nach dieser Regel war der Capitolinische Tempel, mit drei Cellen, von den Tarquinischen Fürsten gebaut worden».

<sup>1)</sup> *D. Raoul-Rochette*. Cours d'archéologie, pp. 117—118: «Il est un monument de l'architecture étrusque si singulier dans son genre, et qui porta si manifestement l'empreinte du génie de ce peuple, énergique jusqu'à l'excès, et hardi jusqu'à la bizarrerie, que je dois en dire aussi quelques mots, bien que ce monument n'existe plus depuis longtemps que dans l'histoire, et que même il soit devenu une sorte de problème historique. Je veux parler du tombeau de Porsenna, dont Pline nous a laissé une description si merveilleuse, qu'il semble lui-même en révoquer en doute le modèle. Des édifices d'un genre analogue qui subsistent encore, tels que le tombeau présumé des Curiaces, à Albano, à quelques milles de Rome, concourent cependant à prouver que la description de Pline est tracée, sinon d'après un monument réel, du moins d'après des traditions et des pratiques véritablement étrusques». Тамъ же, 148—152: «On a trouvé de ces tombeaux peints par toute l'Etrurie, et jusque dans la campagne de Rome, qui était primitivement un territoire étrusque. On en a trouvé particulièrement à *Falari*, à *Gubbio*, à *Cortone*, à *Perugia*, à *Chiusi*, à *Volterre*, mais surtout aux environs de *Corneto*, ville moderne, bâtie sur un emplacement voisin de celui qu'occupait l'antique et célèbre Tarquinie. Là, les sépultures antiques couvrent un espace d'environ six milles, ou deux lieues, de long, sur huit milles de large; elles ne sont point construites à la superficie du sol, mais bien taillées dans le roc même, à la profondeur d'une vingtaine de pieds, quelquefois à deux étages. Le plan de ces grottes sépulcrales est ordinairement carré, surmonté d'un toit pyramidal. Tout y est peint, les parois, comme le plafond». «Tout récemment, au mois de mai de l'année dernière, on découvrit trois de ces grottes sépulcrales, dont les peintures se trouvaient intactes»... «Le peu que je viens de dire donne sans doute un grand intérêt à ces peintures; et s'il pou-

Ваяніе было также въ «цвѣтущемъ состояніи». «Веществами, употребляемыми для ваянія», служили мѣдь, глина, гипсъ. Изъ нихъ выдѣлывались кумиры, вазы, урны. Кумиры—не изящны; но вазы, «предназначенныя для употребленія при торжественныхъ жертвоприношеніяхъ и въ домашнемъ быту», и урны, «скрывавшія прахъ умершаго»,—«превосходны во всѣхъ отношеніяхъ». Бронзовыя «блюда съ ручками, украшенныя рѣзными изображеніями борьбы или бѣга лошадей» и «употреблявшіяся при гада-ніяхъ и священнослуженіи», называются «патерами» или «мистическими зеркалами». «Наиболѣе замѣчательны» «патера Коспіана», «патера Борджіа» и многія другія; на нихъ выгравированы сцены изъ мнѳологій, фигуры боговъ и богинь: рожденіе Венеры (Минервы?), «Вулканъ съ лошадью» и т. п. <sup>1)</sup> Изъ кумировъ за-

---

vait être prouvé, comme je l'ai d'abord supposé, et comme l'a conjecturé de son côté un savant Allemand, qui a entretenu de ces peintures l'académie de Munich, qu'elles appartiennent à l'époque qui suivit immédiatement l'établissement du corinthien Démarate à Tarquinie, et l'importation des arts grecs en Etrurie, nous aurions là l'un des principaux éléments de l'histoire d'un art, sur lequel nous ne possédons encore que les renseignements vagues fournis par Pline, et que des peintures de décoration appartenant, pour la plupart, à des temps de décadence, à des pays de province, ou tout au moins à une branche subalterne de l'art».

<sup>1)</sup> *D. Raoul-Rochette*. Cours d'archéologie, pp. 132—133: «Je viens maintenant à une autre classe de monuments étrusques fort célèbres, et qui nous ont conservé un assez grand nombre de compositions du plus haut intérêt, sous le rapport archéologique et sous celui de l'art: je veux parler de ces *disques de bronze* avec un manche qu'on appelait autrefois *patères*, mais qui sont reconnus unanimement aujourd'hui pour être des *miroirs mystiques*. Ces miroirs sont décorés, dans la partie concave, d'une composition gravée au simple contour, par des procédés tout-à-fait analogues à ceux de la gravure moderne à la pointe; en sorte que si les anciens ne se sont pas trouvés conduits à la découverte et à l'emploi de la gravure, telle que nous la connaissons, il est bien évident qu'il ne leur a manqué pour cela que la volonté ou l'occasion. Les compositions gravées sur les miroirs appartiennent toutes, sans exception, aux fables grecques, comme elles paraissent tenir de l'art grec, dans le style du dessin: mais elles portent le plus souvent des inscriptions en langue étrusque; et les costumes des personnages, ainsi que le choix des principaux accessoires, appartiennent pareillement aux habitudes étrusques: en sorte qu'il est naturel et nécessaire de les ranger dans la classe des monuments étrusques, celles du moins qui offrent les caractères que j'ai indiqués. Les plus remarquables de ces miroirs sont la célèbre *patera Cospiana*, dans le musée de l'Institut de Bologne, représentant la *naissance de Minerve*; la *patera Borgia*, qui représente la *naissance de Bacchus*; celle où *Vulcain travaille au cheval de Troie*; *Hercule entre la Gloire et la Volupté*, et plusieurs autres dont l'énumération me mènerait trop loin».

служиваютъ упоминанія: «волчица, находившаяся въ Капитоліи», Химера, Аполлонъ. Извѣстенъ еще «сосудъ, сдѣланный на подобіе колесницы», съ прекрасной рѣзбой и барельефами<sup>1)</sup>.

Живопись встрѣчается на урнахъ, вазахъ и на стѣнахъ зданій и гробницъ. «Хроматическая скульптура» «состоитъ изъ мозаичныхъ картинъ» и свидѣтельствуемъ, что этрусскіе художники «постигли всѣ тайнства колорита».

Въ произведеніяхъ изящныхъ искусствъ вполне проявилась «гражданская жизнь этрусковъ, отличавшаяся свободою». Памятники зодчества выражаютъ «идею силы и могущества». За исключеніемъ «грубыхъ очертаній» въ нихъ нѣтъ ничего общаго со «стилемъ египетскимъ»; нѣтъ ни колоссальности, ни «непріятной

*K. O. Müller.* Handbuch der Archäologie der Kunst, S. 156: «Besonders geschätzt war ferner in Etrurien die Arbeit des Toreuten (des Ciseleur, Graveur, Orfèvre), ja Tyrrhenische aus Gold getriebene Schalen und allerlei Bronzearbeiten, wie Candelaber, wurden selbst in Athen, und noch in der Zeit der höchsten Kunstbildung gesucht. Silberne Becher; Throne von Elfenbein und edlem Metall, wie die sellac curules; Bekleidungen von Wagen (currus triumphales, thensae) mit Erz, Silber, Gold; verzierte Waffenstücke wurden hier in Menge und Vorzüglichkeit verfertigt, und Manches davon hat sich bis auf unsre Zeit erhalten. Auch gehören hierher die auf der Rückseite gravirten Spiegel (ehemals Pateren genannt), nebst den sogenannten cistae mysticae».

*C. A. Böttiger.* Andeutungen, S. 33: «Eherner figurirte Schaalen, paterae Etruscae (nur wenige in Thon) die Figuren theils Relief, theils ciselirt und eingegraben. Wahrscheinlich als Offertorien der Honigkuchen (liba) bei Opfern und Todtenspenden, einzeln wohl auch zum Auflegen der Eingeweide bei Extispicien gebraucht. Sie enthalten alle griechische Fabeln aus dem ältesten Cyclus und sind dem Inhalt und Vortrag nach für griechisch zu halten, doch, in wiefern sie mit etruskischer Schrift die Namen der Gottheiten enthalten, wie z. B. auf der berühmten in Bologna befindlichen patera Cospiana, die Geburt der Minerva vorstellend, in Etrurien von griechischen Künstlern gearbeitet».

<sup>1)</sup> *D. Raoul-Rochette.* Cours d'archéologie, pp. 134—135: «Je joins à ces monuments de bronze les figures, statues, groupes ou figurines de cette matière, qui composent la série la plus nombreuse des monuments étrusques. Dès les plus anciens temps, les Etrusques étaient renommés par leur habileté à fondre le bronze, à ciseler l'or et l'argent; et, indépendamment des témoignages des anciens, lesquels sont nombreux et positifs, il nous est resté des monuments mêmes de cette habileté, qui ne souffrent aucune contestation: tels sont, en première ligne, la fameuse *Chimère*, de la galerie de Florence, à côté de laquelle il faut placer la célèbre *Louve* du Capitole, ce dernier monument qui date des temps de la république, tandis que la *Chimère* est déjà de ceux de l'empire; la statue dite *du Harangueur*, ouvrage du siècle des Antonins; une statuette *d'Apollon*, du cabinet du roi, production du beau style et du bon temps de l'art étrusque».

тяжести». «Памятники египтянъ представляютъ собою какое-то мертвое бездѣйствіе, онѣмѣніе, безжизненность, а памятники этрусковъ—усиленное напряженіе, кривляніе, производящее столь непріятное» впечатлѣніе. Недостатокъ изящества замѣтенъ у нихъ и въ ваяніи, особенно при сравненіи ихъ статуй со статуями греческими <sup>1)</sup>). Несмотря на это, въ искусствахъ, и вообще въ просвѣщеніи и промышленности этруски стояли выше другихъ народовъ Италіи и оказали на нихъ вліяніе, какое оказываетъ, обыкновенно, народъ «образованный» на «невѣжественный» <sup>2)</sup>).

«Творческое одушевленіе» Эллады «постепенно замирало, когда Римъ, раздавивъ своей желѣзной пятой политическое бытіе» этой страны, «вздумалъ отогрѣть художественную ея жизнь въ своихъ исполнскихъ объятіяхъ. Онъ продолжилъ только на нѣсколько вѣковъ ея жалкую старость. Въ произведеніяхъ римскаго искусства выражаются послѣднія покушенія издыхающаго генія, тщетно

<sup>1)</sup> *D. Raoul-Rochette. Cours d'archéologie, pp. 114—115:* «Or, il n'est pas douteux qu'une manière de voir si diverse chez les deux peuples, n'ait dû imprimer un caractère tout différent aux productions de leurs arts. Ainsi, la grâce, qui domine toutes les qualités de l'art grec, à la fois comme l'attribut essentiel de cet art, et comme l'expression fidèle du génie national, est remplacée, dans les ouvrages de l'art étrusque, par une sorte de rudesse et d'énergie qui annonce un principe tout contraire. Un système osseux, robuste, fortement accusé; des muscles très-prononcés; des formes très-vigoureuses; des attitudes presque toujours tourmentées; en un mot, un jeu parfois pénible de tous les organes, avec une exécution souvent dure ou trop ressentie, une expression presque toujours outrée, une surabondance, une exagération de détails anatomiques, voilà ce qui caractérise les productions du style étrusque, qu'on peut appeler originales; et vous voyez, dans ce peu de mots, combien l'art étrusque diffère radicalement de l'art grec et de l'égyptien. Ainsi, dans ce dernier, tout est immobile et en repos; dans l'autre, pas un membre qui ne soit en action, pas un muscle qui ne soit en mouvement; dans l'un, point d'apparence d'études anatomiques; dans l'autre, luxe de science anatomique. En Egypte, toujours même pose monumentale, même disposition parallèle, même exécution rectiligne. En Etrurie, action énergique, jusqu'à la violence, exécution correcte, jusqu'à l'excès; effets hardis, jusqu'à la bizarrerie. En un mot, si l'on sent, dans les ouvrages de l'art égyptien, l'influence d'un système religieux qui avait enchaîné l'homme, sa pensée et sa main, on sent, dans ceux de l'art étrusque, l'influence d'un autre système sacerdotal, qui, dirigeant, dans son intérêt et à son profit, l'énergie naturelle et la liberté nationale du peuple, l'occupait à des jeux sanglants, à des spectacles atroces, et, ne demandant sans cesse à l'artiste que des objets et des images terribles, avait rendu, pour ainsi dire, l'art lui même dur comme la nation, et inhumain comme le culte».

<sup>2)</sup> Журналъ лекцій: «Объ искусствахъ этрусскихъ», составленный 9 июня 1834 г. Николаемъ Пастовымъ

слившагося скрыть свою дряхлость насильственнымъ напряженіемъ силъ, изысканною принужденностью манеръ. Вѣкъ Августа, золотой вѣкъ римской художественной производительности, еще сохранялъ остатки юношеской красоты въ своемъ старческомъ величіи. Но сознание внутренняго безсилія, непрестанно возрастая, раздражало болѣе и болѣе страсть къ наружнымъ поддѣльнымъ украшеніямъ, — и искусства, подавляемые ихъ безобразною тяжестью, наконецъ, совершенно исказились. Изъ священнаго служенія лучезарной красотѣ внѣшней природы, изъ одушевленнаго выраженія изящной игры физическихъ силъ, они превратились въ жалкія орудія прихотей одряхѣвшей чувственности. Архитектура должна была истощаться на сооруженіе приютовъ сладострастной вѣгѣ: «загородныхъ домовъ (виллъ) и публичныхъ или частныхъ банъ (термъ)»; а иногда, «на потѣху суетнаго тщеславія», воздвигались «пышные монументы», въ родѣ «тріумфальныхъ арокъ», «оставшихся отъ Тита, С. Севера и Константина» и «представляющихъ, своимъ возрастающимъ безвкусіемъ, живую лѣствицу паденія искусствъ». «Волшебное могущество пластики принуждалось завѣщать безсмертію черты Антиноевъ или тѣшить притупленный вкусъ соблазнительными картинами, шутовскими гримасами; поэзія превратилась въ припѣвы распутства или въ пошлую игру бездушнаго остроумія; музыка досталась во власть скоморохамъ; театръ посвятился безстыднымъ кощунствамъ гистріоновъ или кровавымъ битвамъ звѣрей гладіаторовъ. Такимъ образомъ, въ исполнскомъ трупѣ Рима окончательно догасло творческое одушевленіе, начавшее меркнуть еще въ своей благословенной отчизнѣ. Оно пало жертвою необузданнаго увлеченія направленіемъ, предписаннымъ ему духомъ современной жизни. Его погубило исключительное пристрастіе къ внѣшней, матеріальной природѣ, которое изъ чистой, дѣвственной любви, освящавшей первые его порывы, въ продолженіе вѣковъ, превратилось въ грубыя, соблазнительныя оргіи, заключившіяся, наконецъ, совершеннымъ притупленіемъ вкуса, совершенною одичалостью генія! Такъ совершился въ исторіи человѣчества второй блистательный періодъ творческой дѣятельности, когорый, по всеобщепризнанной образцовости своихъ безсмертныхъ памятниковъ, обыкновенно зовется періодомъ классическаго греко-римскаго искусства» <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч I, № 2, стр. 250 —253.

## Лекціи по теоріи изящныхъ искусствъ.

### I. Философія изящнаго.

*Изящными искусствами* называются «проявленія творческой силы нашего духа, созидающей внѣшніе осязаемые образы для выраженія незримой полноты міра идей». Несмотря на разнообразіе изящныхъ искусствъ, должна существовать «общая идея изящнаго». Правда, «гармоническій звукъ» и «оттѣнокъ рисунка» разнородны,—но «въ душѣ» человѣка «всегда существуетъ внутреннее сознаніе» прекраснаго. «Идея изящества есть неотъемлемая принадлежность всего человѣчества. Чтѣсть прекраснаго, то признается *всѣми* народами, и это согласіе доказываетъ, что въ человѣкѣ, въ духѣ его заключается первообразъ красоты». Выводъ «явленій міра изъ одной общей идеи изящества» есть *теорія изящныхъ искусствъ*; какъ наука, она «должна привести къ единству всѣхъ законы», «коими духъ нашъ руководствуется» при проявленіи «творческой силы» <sup>1)</sup>).

«*Изящное*, будучи разлито во всей природѣ, дѣлается намъ доступно чрезъ *чувство*», которое возникаетъ при «соприкосновеніи духа нашего съ дѣйствительностью. Оно есть основаніе изящнаго. и потому въ *философіи изящнаго* (т. е. наукѣ, «приводящей всѣхъ разнообразныя явленія въ природѣ и искусствахъ въ одно цѣлое, или отыскивающей идею, лежащую въ основаніи сихъ явленій») первое мѣсто занимаетъ *психологія эстетическая*. «Здѣсь невольно рождается вопросъ: чтѣ такое чувство?»—«При первомъ вступленіи человѣка въ жизнь, все бытіе его *потрясается*; при взглядѣ на окружающую природу» въ немъ рождается «боязнь, трепетъ; онъ страшится, чтобы колоссальное могущество не подавило его; но когда душа приходитъ въ самочувствіе, тогда въ человѣкѣ рождается *сознаніе* собственныхъ силъ, рѣзко отличающихся отъ силъ природы, *сознаніе* нашего назначенія, по которому не окружающая природа властвуетъ надъ человѣкомъ, но онъ становится ея властелиномъ». «Это-то *колебаніе, потрясеніе* нашего бытія» называется по-нѣмецки *Empfindung*

---

<sup>1)</sup> «О теоріи изящныхъ искусствъ и ея возможности». Журналъ изъ класса эстетики, составленный 2-го курса студентомъ Н. Горнь.

(изъ *selbst sich finden*). «Слѣдовательно, чувство есть сознание, взволнованное какимъ-нибудь фактомъ»<sup>1)</sup>.

«Какая же форма чувства?»—«При каждомъ измѣненіи духа нашего замѣчаемъ вліяніе чего-то чуждаго, а отсюда и рождается понятіе объ *отношеніи* («нашей души къ окружающей насъ природѣ»), которое можетъ быть двояко: или 1) *предметы*, дѣйствующіе на насъ, *находятся въ совершенной гармоніи съ душою*. отчего мы и испытываемъ *удовольствіе (удовлетвореніе)*, или 2) *вліяніе ихъ бываетъ насильственное*,—тогда возникаетъ *неудовлетвореніе (неудовольствіе)*. Именно удовольствіе «пробуждается въ насъ дѣйствіемъ изыщнаго»; потому оно есть *первое данное, съ котораго начинается изслѣдованіе чувства изыщнаго*. Удовольствіе достигаетъ *полнаго развитія*—«при совершенной сообразности природы съ нашимъ духомъ», т. е. при полномъ *удовлетвореніи человѣческихъ «потребностей»*.

«Какія же бываютъ потребности?»—«Существо челоѣка состоитъ изъ двухъ элементовъ: *духовнаго и вещественнаго*. Посему въ немъ господствуютъ двѣ системы силъ: *система силъ тѣлесныхъ* и *система силъ духовныхъ*. Смотря по тому, дѣйствуетъ ли сила тѣлесная, или сила духовная—рождаются два чувства: *физическое* и *духовное*.—«Въ духѣ челоѣческомъ», въ свою очередь, «проявляются двѣ способности: *средостремительная*, или *разумнѣе*, и *средобѣжная*, или *хотѣнѣе*, то-есть стремленіе духа углубиться въ самого себя и стремленіе духа выразиться внѣ своей сферы; и во время соприкосновенія нашего съ дѣйствительностью, рождаются въ насъ два чувства: *умственное* и *нравственное*.—Наконецъ, есть «третій высшій родъ чувства», «рождающагося тогда, когда душа наша, соприкасаясь съ дѣйствительностью, такъ настраивается, что сознаетъ безпредѣльность природы». «Это чувство высокаго благоговѣнія предъ безконечнымъ, возвышающееся надъ чувствомъ нравственнымъ и умствен-

<sup>1)</sup> Ср. *Fr. Bousterwek. Aesthetik. Göttingen, 1825. Erster Theil, SS. 27—28*: «Gefühl nennen wir den Zustand unsrer selbst, der aller Wahrnehmung, unsrer selbst sowohl, als einer Aussenwelt, zum Grunde liegt. Durch die Wahrnehmung oder den Anfang des Erkennens wird dieser subjective Zustand objectiv zu einer Empfindung. Wie die Empfindung objectiv entstehe, ob durch Eindrücke, die ein für sich bestehendes Aussending auf unsre Sinne macht, oder durch productive Kraft des empfindenden Wesens selbst, kümmert uns nicht, wenn wir die Gefühle nur als Thatsachen unsers Bewusstseyns mit der Wahrnehmung vergleichen».

нымъ», — *религіозное*. — Сообразно свойствамъ нашей природы и потребности бываютъ *физическія, умственныя, нравственныя и религіозныя*. Удовлетвореніе каждой изъ нихъ вызываетъ соответствующее удовольствіе. — Спрашивается: съ какимъ удовольствіемъ можно сблизить *удовольствіе эстетическое* и съ какимъ чувствомъ *чувство изящнаго* <sup>1)</sup>?

Чтобы отвѣтить на вопросъ, надо «разобрать» каждое чувство въ отдѣльности.

а) «*Чувство физическое* есть сознаніе соотношенія тѣла нашего съ внѣшнею природою»; гармоничность этого соотношенія даетъ въ результатъ *пріятное*. Для возникновенія же чувства изящнаго, «необходимо внѣшнее благообразіе», ибо «никакой предметъ или звукъ» не можетъ вызвать этого чувства безъ *симметріи* или *гармоніи*. Все «неподчиненное законамъ *гармоніи* и *симметріи*», все недоступное нашимъ чувствамъ не произведетъ «эстетическаго впечатлѣнія». «Такъ, при наблюденіи высокихъ явленій природы, благоговѣніе, ими возбуждаемое, превращается въ болѣзненное ощущеніе, какъ скоро сознаемъ невозможность обнять ихъ»; «самый прекрасный ландшафтъ, коего зрѣніе обнять и уловить не можетъ, для насъ теряетъ свою красоту». Вообще «природа тогда только дѣйствуетъ на насъ эстетически, когда бываетъ доступна нашимъ чувствамъ». Поэтому «удовлетвореніе чувства физическаго» должно быть необходимымъ условіемъ при проявленіи чувства изящнаго; но «само по себѣ чувство физическое» — не изящно, точно такъ же, какъ удовольствіе эстетическое, «имѣя тѣсную связь» съ

---

<sup>1)</sup> *Fr. Bouterwek. Aesthetik, SS. 30 — 33:* «Alle menschlichen Gefühle, so verschieden, oder verwandt sie auch seyn mögen, fallen unter zwei Hauptclassen. Sie sind entweder physische Gefühle, oder geistige... Das Gefühl des Schönen, muss nun entweder ein physisches, oder ein geistiges Gefühl seyn, oder gemischt aus beiden». «Die geistigen Gefühle, deren unsre Natur fähig ist, lassen sich wieder unter mehrere Abtheilungen bringen. Sie sind sämtlich entweder theoretischen, oder praktischen Ursprungs insofern, als unsre Geistesthätigkeit sich selbst in ein Erkennen und ein Wollen zersetzt. Alle Gesetze des Erkennens vereinigen sich in der Idee des Wahren, alle Gesetze des vernünftigen Wollens in der Idee des Guten. Aber über diesen und allen Ideen der Vernunft liegt die metaphysische Idee des Unendlichen. Auch aus dieser Idee entspringt unmittelbar ein Gefühl, das sich mit keinem anderen verwechseln lässt. Auf diese Idee beziehen sich auch die Ideen des Wahren und Guten. In dieser Beziehung nennen wir das Unendliche das Göttliche. Das wahrhaft religiöse Gefühl oder das Gefühl des wahrhaft Göttlichen ist das höchste aller geistigen Gefühle.»



пріятнымъ, не совпадаетъ съ послѣднимъ.—«Нѣкоторые ученые» «слишкомъ увлекались чувственнымъ воспріятіемъ изящнаго»; изъ нихъ «ревностнымъ защитникомъ сего мнѣнія былъ Баумгартенъ, который говоритъ, что красота состоитъ въ *чувственномъ совершенствѣ*. Допустить такое мнѣніе нельзя, такъ какъ, въ этомъ случаѣ, «должно отнести къ чувству изящнаго всѣ наслажденія физическія», которыя «не имѣютъ въ себѣ ничего изящнаго», и «всякій благовонный запахъ ароматическихъ цвѣтовъ или пріятный вкусъ сладкаго кушанья должны быть признаны также эстетическими».

б) «*Чувство умственное*» есть сознаніе «соотношенія дѣйствительности съ силами разумѣнія». «Потребностью» этого чувства «должно быть *единство*», которое, въ примѣненіи къ «разумѣнію», «составляетъ *истину логическую* или *метафизическую*»: «въ первой мы видимъ сходство предметовъ съ нашими понятіями, а во второй сообразность явленій съ ихъ началами». Удовольствіе возникаетъ, въ данномъ случаѣ, тогда, когда «умъ находитъ въ явленіи согласіе съ общими законами бытія»; «всякое же противорѣчіе явленій съ законами дѣйствительности» «составляетъ предметъ отвращенія для ума», «оскорбляетъ» его. «Оскорбленіе» ума влечетъ за собою не только уничтоженіе удовольствія умственнаго, но и эстетическаго. Напримѣръ, стихотвореніе, состоящее изъ «одного пустого набора» «словъ и римъ», «безъ порядка и стройности мыслей», «не произведетъ эстетическаго эффекта». Наоборотъ, природа, «точная и непремѣнная въ законахъ и явленіяхъ своихъ», и «возбуждаетъ въ насъ чувство изящнаго», и «удовлетворяетъ» чувство умственное. И, пожалуй, съ *одной стороны*, правы тѣ «исслѣдователи, которые полагали изящное въ пріятной игрѣ силъ познавательныхъ». Но, при всемъ этомъ, чувство умственное не совпадаетъ съ чувствомъ изящнаго, и удовольствіе умственное—съ эстетическимъ. «Самая математика» «не содержитъ въ себѣ» ничего изящнаго; когда люди, посвятившіе себя этой наукѣ, послѣ продолжительныхъ и упорныхъ трудовъ, наконецъ, рѣшали интересовавшую ихъ задачу (Архимедъ), они «приходили въ восторгъ», но послѣдній не «заключалъ въ себѣ эстетическаго достоинства».

в) «*Чувство нравственное*» выражается въ «удовлетвореніи воли», этой «способности средобѣжной или расширительной, стремящейся проявиться внѣ духа» въ «*неистощимой дѣятельности*» и направленной къ «*осуцествленію одной высокой идеи, идеи*

*достоинства человеческого*». Каждый поступокъ, удовлетворяющій волю, «есть уже наше наслажденіе»; но каждый «противорѣчащій» ей «возбуждаетъ въ насъ отвращеніе». Въ благомъ дѣлѣ вкушается блаженство, а омерзѣніе возникаетъ «въ такомъ случаѣ, когда дѣйствіе, противное благому», вызываетъ «укоръ внутренняго голоса—совѣсти (*conscientia*)». «Нарушеніе нравственнаго» «губить» чувство изящнаго: «гнусность и отвратительность какого-либо произведенія» уничтожаетъ эстетическое наслажденіе. Но одно удовлетвореніе «практической дѣятельности» не составитъ еще этого наслажденія. «Не высокій ли примѣръ удовлетворенія воли представляетъ намъ индусъ, покушающійся лишить себя жизни, бросаясь подъ колесницу? Или чтó можетъ быть возвышеннѣе поступка циника Діогена», «въ грязи и отрепьяхъ катающагося въ своей бочкѣ»? Правда, цинизмъ даетъ послѣдователямъ его «величайшее блаженство», но не эстетическое,—и въ другихъ онъ не можетъ пробудить ничего, кромѣ отвращенія. Чувство нравственное не есть чувство изящнаго и потому нельзя согласиться съ мнѣніемъ англичанъ школы Гетчесона, утверждавшихъ противное.

д) *Чувство религиозное*, «возвышающееся надъ умственнымъ и нравственнымъ», проявляется въ «благоговѣніи передъ безпредѣльнымъ», основаніемъ чему «служить безпредѣльность цѣлой природы»; оно сопровождается «настроенностью души къ дѣятельности благой и стремленіемъ къ безконечному» и представляетъ собою «неисчерпаемый источникъ» «величайшаго блаженства». Уничтоженіе чувства религиознаго неминуемо влечетъ уничтоженіе чувства изящнаго. «Всякое искусственное произведеніе, какъ бы оно ни было совершенно, если оскорбляетъ Провидѣніе», не даетъ эстетическаго удовольствія. Однако чувство религиозное не совпадаетъ съ чувствомъ изящнаго и часто «возбуждаетъ въ насъ одно только холодное удивленіе». «Въ доказательство можно представить религиозныхъ фанатиковъ, которые, обнажая религію отъ всѣхъ украшеній, преслѣдуютъ и гонятъ всякій изящный образъ». Дѣятельность иконоборцевъ ясно указываетъ, «сколь много чувство набожности» иногда «вредитъ эстетическому интересу».

Такимъ образомъ выясняется, что «ни физическое, ни умственное, ни нравственное, ни религиозное чувство, отдѣльно взятое, не заключаетъ въ себѣ изящнаго, хотя каждое, необходимо, должно входить въ составъ его». Наблюденіе же эффектовъ, про-

изводимыхъ «прекрасными явленіями», приводитъ къ заключенію. что «во время наслажденія вся природа наша дѣйствуетъ въ нераздѣльной своей цѣлости, полнотѣ», и «если какое-либо чувство, физическое или умственное, беретъ перевѣсъ»,—чувство изящнаго исчезаетъ. Последнее есть «результатъ дѣйствія гармонически настроенныхъ силъ». «Гармонія есть согласіе», или «возведеніе множества къ единству». «Двѣ составныя ея части: разнообразіе и соединеніе разнообразія. Разнообразіе, отдѣльно взятое, не произведетъ гармоніи; душа развлекается, запутывается имъ и не можетъ наслаждаться всецѣльнымъ полнымъ чувствомъ. Равнымъ образомъ, и монотонное единство, несмотря на свою чистоту, умерщвляетъ чувство изящнаго; необходимо ихъ взаимное соединеніе». Гармонія есть «разнообразіе въ единствѣ». «Плодъ гармоническаго развитія всѣхъ нашихъ способностей», чувство изящнаго «въ отношеніи къ намъ есть радованіе, наслажденіе своимъ бытіемъ, а въ отношеніи къ предмету, насъ интересующему, есть любовь чистая, безкорыстная,—и эта-то любовь есть чистѣйшая форма удовольствія, производимаго гармоніею»; она «составляетъ счастье человѣка, его отраду» <sup>1)</sup>).

---

1) Ср. *Fr. Bouterwek. Aesthetik. Erster Theil, SS. 40—41, 49—50, 56*: «Was kann das also nun für ein Gefühl seyn, das weder aus einem physischen, noch unmittelbar aus einem wissenschaftlichen, oder moralischen, oder religiösen Interesse entspringt, noch dadurch begreiflicher wird, dass wir es uns nur als ein gemischtes Gefühl denken? Es kann in der menschlichen Natur nichts anders seyn, als das ursprüngliche, noch unzertheilte Urgefühl unsers Daseyns, in welchem sich noch kein besonderes geistiges Interesse von dem andern, und selbst das geistige Interesse überhaupt noch nicht scharf von dem physischen geschieden hat; ein Gefühl, in welchem die menschliche Natur wie ein ungetheiltes Ganzes wirkt, indem sie ihrer selbst sich erfreuet und der denkende Geist, der sich über die Animalität erhebt, doch noch keine andere Richtung nimmt, als geradezu auf dasjenige, was ihn erfreuet, weil es unser Natur in der Vereinigung aller ihrer Kräfte ohne besondere Rücksicht auf Belchrung, oder Besserung, oder religiöse Erbauung, gemäss ist. Was nicht auf eine solche Art uns erfreuet, hat kein ästhetisches Interesse»... «Wie also auch übrigens der Begriff vom Schönen zu den Begriffen vom Wahren, Guten und Göttlichen sich verhalten mag; das unbestimmte ästhetische Interesse, auf dem er ruhet, kann nicht seine einzige Wurzel seyn. Was könnte es denn nun wohl für ein Gesetz seyn, das sich unmittelbar weder auf ein Wissen bezieht, noch auf ein Handeln, noch auf einen religiösen Glauben? Es kann kein anderes seyn, als das Gesetz einer harmonischen Thätigkeit aller geistigen Kräfte im freien Emporstreben zu dem Unendlichen, das kein Sinn erreicht»... «Allen Elementen des Schönen liegt zum Grunde eine Harmonie oder ästhetische Einheit im Mannigfaltigen».

«Жизнь есть непрерывное движеніе»; потому и «элементы гармоніи должны приходиться въ движеніе и сообщать» *чувству изящнаго* «тотъ или другой характеръ». Въ этихъ измѣненіяхъ важны три момента. «Первая ступень», или «*первый періодъ* чувства» есть «*сознаніе безотчетнаго наслажденія*, производимаго впечатлѣніями изящнаго, періодъ эстетическаго интереса». Это состояніе свойственно *всѣмъ*; но оно «не можетъ быть продолжительнымъ». Хотя, въ данномъ случаѣ, «зарождается» въ человѣкѣ «искра чистой любви къ предметамъ, но она можетъ скоро потухнуть».—*Иногда* же эта искра разгорается; въ эстетическомъ наслажденіи принимаютъ участіе *умъ и воля*, и начинается *второй періодъ* чувства: *игра силъ душевныхъ*, отличающаяся «стройностью, легкостью и непринужденностью, или свободой». «Подъ стройностью» (настроенностью) разумѣется «гармоническое соотношеніе» силъ, «когда всѣ онѣ дѣйствуютъ нераздѣльно и равносильно»; легкость «требуется, чтобы развитіе духа не походило на работу, а было бы игрою силъ». Какую же роль играетъ здѣсь умъ и воля? Въ «размышленіи» всегда замѣтна «какая-то тягость, которой не терпитъ чувство; когда наблюдатель погружается въ думу, то онъ скованъ тяжелыми логическими формами, онъ не можетъ дѣлать скачковъ въ мысляхъ, — это было бы нарушеніе логическое». «Въ чувствѣ же сила фантазіи быстрымъ полетомъ несетъ съ мысли на другую», «творитъ себѣ новый міръ», и это «составляетъ *эстетическую думу*, въ которой воображеніе принимаетъ исключительное участіе. Характеръ сей думы есть свободная, непринужденная дѣятельность. Разумъ, необходимо, сочетаетъ понятія по вѣчнымъ не преложнымъ для него законамъ, между тѣмъ какъ фантазія сплѣтаетъ идеи произвольно», «даетъ уму характеръ *свободной игры*, основаніемъ которой должна быть ненарушимая вѣрность законовъ мышленія». «Для произведенія истиннаго изящества» необходимо «присутствіе мысли», но «логическая обработка и послѣдовательность понятій рѣшительно не нужны въ эстетическомъ чувствѣ».—Вмѣсто этого, нужно «участіе воли», которое «должно быть стремленіемъ къ предмету, но стремленіемъ чистымъ, безкорыстнымъ». «Всякое изящное явленіе, дѣйствуя на нашу душу, влечетъ ее къ себѣ, но, если, при видѣ предмета, въ насъ рождается сильное желаніе овладѣть имъ, усвоить себѣ, тогда пѣлость, чистота эстетическаго чувства нарушается, и стремленіе воли обращается въ корысть, уничтожающую изящное наслажде-

ніе; напротивъ, воля» «должна отвлечь отъ себя всякую корыстную мысль» и проявиться въ стремленіи, соединенномъ съ любовью къ предмету. «Такъ стремятся поэты къ прекрасному и любятъ его любовью божественною; въ сіи свѣтлыя минуты они забываютъ все, что имъ драгоцѣнно, все, что привязываетъ ихъ къ землѣ». — *Третій періодъ* эстетическаго чувства — «*періодъ восторга, энтузіазма*», т. е. «состояніе», въ которомъ человѣкъ «сознаетъ въ себѣ силы сравнятся съ безконечнымъ, сознаетъ собственную безпредѣльность». Но онъ не всегда достигаетъ «сей вершины»: «чувство часто остываетъ въ низшихъ стремленіяхъ». Иногда же «душа его отъ физическаго воспаряется вверхъ»; «такъ, напримѣръ, при видѣ моря, переносится въ океанъ мыслей, не останавливаясь на разнообразныхъ проявленіяхъ своей дѣятельности». Въ этомъ «состояніи» есть «различные оттѣнки». «Первый образъ проявленія энтузіазма эстетическаго» — «*очарованіе*». «Оно есть чистое самозабвеніе, когда душа, соприкасаясь съ дѣйствительностью, вдругъ чувствуетъ себя перенесенною изъ того состоянія, въ которомъ сперва находилась, видитъ, что отношенія ея къ предмету измѣнились; оно не предполагаетъ особеннаго напряженія», а «означаетъ совершенное погруженіе въ предметъ»... Но «душа, проникая въ жизнь, чувствуетъ побужденіе устремляться далѣе и далѣе, и слѣдствіемъ сего бываетъ сознаніе безпредѣльности жизни; душа сознаетъ, что ей не извѣдать, не объять безбрежнаго океана, открывающагося передъ нею,—и здѣсь рождается ощущеніе скорби, таинственнаго сѣтованія; очарованіе разрѣшается въ тоску и грусть, но не мучительную, а тихую, сладкую. Такое состояніе называется *умиленіемъ*». «Третье и послѣднее измѣненіе восторга есть *изступленіе*», возникающее тогда, когда душа «стремится къ безконечному, стремится сбросить съ себя оковы и исчезнуть въ пустотѣ». Такъ говоритъ Давидъ: «что мнѣ земля, что небо для меня!» <sup>1)</sup>).

## II. Объ идеѣ красоты.

Ислѣдованіе изящнаго «въ явленіи» дало результатъ, что душа, наслаждаясь эстетически, «чувствуетъ гармонію всѣхъ силъ

<sup>1)</sup> «Психологія, или философія изящнаго». Журналъ, составленный студентомъ Д. Топорнымъ. — «Объ эстетическомъ чувствѣ». Журналъ, составленный Ив. Михайловымъ, 14 октября 1832 г.

своихъ». Это явленіе (phaenomenon), какъ и всякое другое, «предполагаетъ существованіе внутренней причины (noumenon), изъ коей оно истекаетъ»<sup>1)</sup>. Когда говорятъ: «это прекрасно», высказываютъ «сужденіе, въ которомъ уже ярко различаются два элемента: предметъ, возбудившій чувство, и наше опредѣленіе этого предмета, истекающее изъ внутренняго сознанія красоты», которое есть «причина всѣхъ феноменовъ чувства изящнаго». «Мы равно называемъ прекрасными *различныя* произведенія искусства и явленія природы», слѣдовательно, «не отъ предмета», дѣйствующаго на насъ, «не изъ частныхъ впечатлѣній, но изъ сущности духа нашего почерпаемъ мы сознаніе красоты, съ коимъ только сравниваемъ предметъ». «Равнымъ образомъ и не чрезъ логическое отвлеченіе составляется въ душѣ нашей понятіе изящнаго. Логическое понятіе, будучи приведеніемъ въ единство многоразличныхъ впечатлѣній внѣшности, требуетъ многихъ сравненій и сужденій, предшествующихъ его составленію; человекъ, видя прекрасное, тотчасъ называетъ его, прежде всякой логической опытности. По законамъ мышленія, чѣмъ обширнѣе кругъ понятія, тѣмъ менѣе оно имѣетъ признаковъ, тѣмъ болѣе становится сухимъ и безжизненнымъ; понятіе красоты «живо и свѣтло»—и «не можетъ быть одинаковаго происхожденія съ логическими понятіями».

«Платонъ предполагаетъ въ человекѣ существованіе высшей духовной силы, названной имъ *νοῦς*; эта сила есть око души, созерцающее жизнь вѣчную, обращенное къ духовному міру», тогда какъ «око тѣлесное обращено къ міру внѣшнему»; проявленіе этой «высшей силы» заключается въ познаніи «идей». «Сюда-то должно отнести понятіе изящнаго». «Если бы оно произошло чрезъ логическое отвлеченіе, то представляло бы только одну сторону, одинъ родъ красоты, и тогда могло бы подойти подъ логическое опредѣленіе; но высшее созерцаніе, будучи отраженіемъ безконечнаго, не можетъ быть опредѣленнымъ, ибо вѣтъ равныхъ ему понятій; оно можетъ быть только описаннымъ». «Жизнь духа есть непрестанный антагонизмъ его един-

---

<sup>1)</sup> Въ отзывѣ о переводѣ «Всеобщаго начертанія теорій изящныхъ искусствъ» Бахмана Надеждинъ писалъ: «Все, доступное нашему вѣдѣнію, слагается изъ двухъ элементовъ: идеальнаго, постижимаго уму чрезъ внутреннее созерцаніе (= ноуменъ), и вещественнаго, осязаемаго чувственностію чрезъ внѣшнее наблюденіе (= феноменъ)» [*Телескопъ*, 1832, № 6, стр. 536].

ства съ многоразличіемъ внѣшности и стремленіе къ гармонированію сего боренія. Духъ нашъ или покоряетъ себѣ міръ внѣшній, или подчиняется оному. Отсюда двѣ высшія идеи». «Когда духъ покоряетъ природу внѣшнюю, ищетъ въ ней полнаго выраженія», тогда возникаетъ «созерцаніе цѣлесообразности», идея блага, «коей феноменъ есть чувство нравственное». «Когда духъ подчиняется внѣшности, стремится отразить ея многоразличіе въ своемъ единствѣ, тогда рождается созерцаніе единства законовъ бытія съ законами мышленія, идея истины, коей феноменъ есть умственное убѣжденіе». Что касается идеи изящнаго, «коей феноменъ есть гармонія душевныхъ силъ», то она является «не иначе, какъ при совершенной гармоніи духа и природы, истины и блага». «Выводъ сей справедливъ, ибо могутъ быть только три состоянія духа нашего въ отношеніи къ природѣ и самому себѣ, равно какъ существуютъ только три основныя идеи: истины, блага и красоты. Идея красоты есть *совершенная гармонія жизни* <sup>1)</sup>, безъ преобладанія какого-либо изъ элементовъ, составляющихъ оную».

«Объективность сознанія красоты, какъ гармоніи жизни, сознанія, «найденнаго нами въ духѣ человѣческомъ», зависитъ отъ того, имѣетъ ли оно «предметъ» или нѣтъ. «Предметъ сей» существуетъ и заключается въ природѣ: «во всякомъ явленіи ея, эстетически насъ занимающемъ, находимъ мы стройность». «Представленная гармонія Лейбница совершенно справедлива» въ томъ смыслѣ, что «основа явленій одна и та же въ духѣ нашемъ и во внѣшности; природа всегда соотвѣтствуетъ человѣку съ тою разницею, что въ ней единство въ многоразличіи, въ насъ—многоразличіе въ единствѣ». «Дѣйствительно, потребность истины рождается въ насъ, когда природа рѣзко выказываетъ смыслъ высокій въ явленіи, гдѣ мысль преобладаетъ надъ формой; идея блага возбуждается при видѣ яркой цѣлесообразности въ мірѣ внѣшнемъ; наконецъ, когда природа проявляетъ гдѣ-либо полную гармонію жизни, тогда развивается въ насъ идея красоты». «Соответственность человѣка и природы въ отношеніи къ изящному» была отмѣчена нѣкоторыми учеными, и «общій законъ красоты» былъ опредѣленъ, какъ «приближеніе къ гармоніи природы».

---

<sup>1)</sup> Ср. *Телескопъ*, 1831, № 10, стр. 134: «Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія», гдѣ находимъ слѣдующее опредѣленіе: Красота «есть не что иное, какъ высочайшая гармонія жизни».

«Безъ сомнѣнія, общее понятіе гармоніи могло бы родиться въ насъ при созерцаніи совокупности творенія; но природа доступна намъ только по частямъ, и мы можемъ составлять изъ нея только частныя, относительныя понятія о красотѣ; слѣдовательно, хотя идея изящнаго и находить соотвѣтствіе во внѣшности, однако же происходитъ не изъ природы. Откуда же она является въ душѣ нашей? Гдѣ предметное, безусловное существованіе изящнаго? Откуда равныя природѣ идеи, не заимствованныя изъ нея?»

«Платонъ для объясненія сего вымыслилъ миръ предсуществованія души»; познаніе «высшихъ идей» есть, по его мнѣнію, «воспоминаніе, сохранившееся въ душѣ отъ лучшаго міра», гдѣ души «блаженствовали прежде земного бытія своего, созерцая Вѣчное Начало красоты, истины и блага; безпредѣльность идей указываетъ на божественный ихъ первообразъ» <sup>1)</sup>. «Мнѣніе сіе совершенно справедливо», если отбросимъ мифологическую форму, въ которой оно выражено.—«Въ природѣ находимъ мы гармонію жизни, условливающую изящное; но природа, по ученію

---

<sup>1)</sup> Ср. статьи Надеждина: «Идеологія по ученію Платона» и «Метафизика Платонова» (*Вѣстникъ Европы*, 1830, №№ 11, 13—14).—Въ отзывѣ о переводѣ «Всеобщаго начертанія теоріи изящныхъ искусствъ» Бахмана читаемъ: «Проникать въ таинственное святилище ума, гдѣ, въ свѣтозарной сѣни идей, почиваютъ вѣчные первообразы бытія, составляющіе небесное наслажденіе духа человеческого, и доводываться тамъ разрѣшенія тайнъ изящества, просиявающаго сквозь наружную кору искусственныхъ произведеній, есть безъ сомнѣнія дѣло великой и существенной важности для умозрительнаго изслѣдованія міра художествъ. Явленія изящныхъ искусствъ тогда только позволяютъ разгадывать истинное свое значеніе и достоинство, когда дышащая въ нихъ таинственная гармонія жизни открываетъ себя умственному взору въ превышечувственномъ созерцаніи идеи безусловнаго изящества. Иначе при видѣ Зевеса Фидіева пробуждалось бы одно добродушное сожалѣніе о сводѣ храма, долженствовавшемъ неминуемо сокрушиться о величественное чело возставшаго Громовержца. Мракъ, въ коемъ почиваетъ идея безусловнаго изящества, не совсѣмъ доступенъ вѣдѣнію. Отражаясь въ живомъ зеркалѣ сознанія боже или менѣе ясными отлучами, она дозволяетъ уловлять себя въ свѣтлые образы одушевленной фантазіи (идеалы), изъ которыхъ разумъ можетъ выработать логическіе абстракты, допускающіе себя развивать и свивать въ цѣлость систематическаго единства. Такимъ образомъ составляется метафизика изящнаго, довершающая, вмѣстѣ съ метафизикой истиннаго и добраго, цѣлость трансцендентальной философіи. Ея существенная необходимость для теоріи изящныхъ искусствъ не подлежитъ сомнѣнію, ибо она только одна можетъ сообщить ей философическую полноту, основательность и непреложность» (*Телескопъ*, 1832, № 8, стр. 538—539).



нашей религии, есть образъ Божества, выражающій невидимое, вѣчное и совершенное въ безконечномъ своемъ многообразіи,— слѣдовательно, начало истинной красоты въ самомъ Богѣ» <sup>1)</sup>. «Религіозная исторія духа нашего подтверждаетъ сіе: мы можемъ вѣровать въ Бога, уповать на Него, желать Его, но всѣ сіи чувствованія односторонни». «Вѣра можетъ перейти въ сомнѣніе, засушить и окаменить человѣка; надежда, встрѣчая препятствія, ожесточается и превращается въ отчаяніе: одна любовь, основанная на чувствѣ красоты, удовлетворяетъ человѣка». «Съ любовью повергаясь на лоно Божіе, душа наша переходитъ вдругъ чрезъ всѣ степени эстетическаго чувства и тутъ только можетъ вполнѣ постигнуть красоту въ ея предметномъ безусловномъ существованіи. Здѣсь открывается истинное назначеніе изящныхъ искусствъ,—они опредѣлены на служеніе Богу: святость не можетъ быть безъ благочестія, благочестіе требуетъ обрядовъ, а сіи, необходимо, должны быть изящными для прославленія Первообраза всякой красоты» <sup>2)</sup>.

### III. Аналитика изящнаго.

Красота вселенной, «носящей на себѣ слѣды высочайшей гармоніи», для насъ не вполнѣ постижима. «Много находится въ природѣ явленій, которыя недоступны для нашего разума и пѣль которыхъ» кажется «темною загадкою». Причина этого— «чрезвычайная ограниченность» нашихъ чувствъ; мы признаемъ изящными только тѣ явленія, въ которыхъ «рѣзко обнаруживается гармонія жизни».

«Всѣ явленія прекрасныя, постигаемыя нашими чувствами, необходимо должны состоять» изъ идеи и формы, находящихся въ «гармоничномъ» соединеніи. «Если идея утончена до того, что потеряла свой образъ»,—она «перестаетъ быть изящною, ибо такое явленіе интересуется одинъ только разумъ, но не доста-

<sup>1)</sup> (р. *Бахманъ*. Всеобщее начертаніе теоріи искусствъ. М., 1832 (переводъ М. Чистякова), стр. 55 (§ 37): «Всякое земное изящество есть не что иное, какъ частичка того недосягаемаго, самого въ себѣ, чрезъ себя и для себя существующаго изящества, которое составляетъ одно съ безконечною добротою и истиною. Изящество, истина и доброта суть только различныя явленія одного нераздѣльнаго, абсолютнаго бытія».

<sup>2)</sup> Журналъ безъ оглавленія, составленный неизвѣстнымъ («Объ идеѣ красоты»).

влететь никакой пицци чувству». И «форма, какъ бы ни была прекрасна, если не проникнута мыслию», «будетъ незанимательна и безжизненна». «Посему преобладаніе того или другого элемента совершенно уничтожаетъ изящество явленія». Чтобы быть изящнымъ, произведеніе «должно интересовать какъ умственную, такъ и чувственную сторону нашу» — «въ немъ гармонически должны быть соединены» идея и форма.

*Идея*—«начало жизни», «отблескъ той вѣчной и непредѣльной идеи, которая заключена въ глубинѣ нашего духа». «Какъ въ природѣ одинъ и тотъ же образъ раздробляется на безчисленные явленія, такъ и идея бросаетъ отъ себя безчисленные лучи. Идея бываетъ для насъ живою, а не сухимъ логическимъ понятіемъ», «когда явленія дѣйствуютъ на насъ чрезъ живое впечатлѣніе», «открываютъ намъ другой умственный міръ и намекаютъ на его таинственное значеніе. Идея сія въ отношеніи къ явленіямъ есть начало и сущность ихъ бытія, а въ отношеніи къ уму есть сознаніе отношенія явленій къ высшему началу бытія».—«Какія же свойства должна имѣть идея или подъ какими условіями она можетъ быть доступна нашимъ чувствамъ?»

Первое характерное свойство ея—*высочайшее единство* <sup>1)</sup>, въ которомъ должны сосредоточиваться всѣ внѣшнія формы явленія». Затѣмъ, «хотя идея въ явленіи одна и та же, но въ умѣ нашемъ она можетъ развиваться и совершенствоваться» «чрезъ отдаленіе отъ нея всѣхъ разнородныхъ частей, ей несвойственныхъ и не входящихъ въ составъ ея сущности». На первыхъ порахъ наше «сознаніе» бываетъ «смутно, сложно»; «но чѣмъ болѣе всматриваемся» въ идею, «тѣмъ болѣе атмосфера ея рѣдѣетъ, и идея восходитъ къ своей чистотѣ и первообразному значенію». «Отсюда рождается *простота*, отличительное свойство идеи изящныхъ явленій. Здѣсь отсѣкается всякая двусмысленность, запутанность, многосложность», которыя не могутъ вызвать «эстетическаго интереса». Справедливость послѣдняго замѣчанія подтверждается наблюденіемъ надъ «искусственными произведеніями».—Второе свойство идеи—*всеобъемлемость*. Цѣлый рядъ однородныхъ явленій есть «развитіе одной идеи», и «чѣмъ послѣдняя проще, тѣмъ сфера ея обширнѣе и болѣе всеобъемлюща». Эта «всеобъемлемость» проявляется и въ произ-

<sup>1)</sup> Сходныя мысли можно найти у Бахмана. См. «Всеобщее начертаніе теоріи искусствъ». М., 1832, стр. 18 (§ 14).

веденіяхъ» «неистощимой» природы, ибо «ни одинъ испытатель ея не исчислилъ всѣхъ явленій одного рода». «Заключая въ себѣ первообразъ для безконечныхъ явленій», «каждая идея безконечна». «Безконечность идей», обнаруживающихся въ явленіяхъ природы, «называется эстетическою безконечностью въ произведеніяхъ искусства». «Каждое явленіе возбуждаетъ какую-нибудь идею» и «знаменуетъ ея безконечность», но не каждое явленіе—эстетическое. «Для сего нужно, чтобы явленіе возбуждало идею, объемлющую всѣ совершенства, въ немъ заключающіяся». Такъ не эстетична «Гекуба, представляющая любовь тигрицы, у которой отнимаютъ дѣтей», и эстетична «Мадонна Рафаэлева, въ которой материнская любовь изображена во всей безпредѣльности».—Всеобъемлемость, а также простота и единство могутъ быть для насъ доступны, «когда они представляются» въ «чувственныхъ формахъ». Отсюда третье свойство идеи—*эстетическая изобразимость*. «Много есть образовъ, кои ясно и опредѣленно изображаютъ идею», но не вызываютъ «эстетическаго интереса». «Такъ, напримѣръ, что можетъ быть опредѣленнѣе и точнѣ математической изобразимости»? Но эта «изобразимость не представляетъ ни единства, или простоты, ни всеобъемлемости, или безконечности, требуемыхъ отъ идеи въ эстетическомъ отношеніи». «Эстетическая изобразимость должна быть совершенно другая; она можетъ являться въ неистощимомъ разнообразіи формъ». Въ силу этой изобразимости «идея обращается въ *идеаль*, который вполнѣ отражаетъ простоту и всеобъемлемость. Идеаль есть полный образъ идеи, въ которомъ отражаются всѣ радужные лучи ея жизни», и который «объемлетъ ее со всѣхъ сторонъ». «Способность облекать идею въ формы, безъ уничтоженія простоты и всеобъемлемости, называется *фантазією*, которая есть «зеркало», гдѣ «отражается чувственный образъ, выражающій идею». «Изобразимость» послѣдней «состоитъ въ прямомъ ея дѣйствованіи на творческую фантазію».

Свойства *формы* находятся въ «обратномъ» отношеніи къ свойствамъ идеи. Не въ «простотѣ, или единствѣ», а въ «сложности» «заключается совершенство формы». «Простота» идеи «говоритъ только уму» и «могла бы утомить насъ своею однообразностью, своею безцвѣтною ясностью, если бы она не облакалась многосложностью формъ». «Самая гармонія состоитъ въ томъ, чтобы идею простую и единичную выразить въ многообразныхъ формахъ». «Единство въ разнообразіи» вызываетъ

«высшее эстетическое наслажденіе», которому «ничто такъ не вредитъ», «какъ однообразіе явленій». «Бесплодная пустыня не можетъ дѣйствовать на насъ эстетически, ибо взоръ здѣсь теряется въ безпредѣльности, умъ погружается въ какое-то невольное усыпленіе».—Далѣе, всеобъемлемости идеи можетъ быть противопоставлена «*индивидуальная особенность*» формы, «состоящая въ томъ, что явленіе должно быть самостоятельно, отдѣльно и удобопостижимо». «Въ природѣ все имѣетъ тѣсную связь», и «не иначе можно постигнуть какое-нибудь явленіе, какъ въ отношеніи къ цѣлому»; «части, порознь изображаемыя, никогда не могутъ быть изящными», «равно и цѣлое, составленное изъ отдѣльныхъ, разнородныхъ частей, не можетъ быть предметомъ изящнаго. Поэтому должна быть индивидуальная особость формы».—Наконецъ, идея отличается изобразительностью, а «форма должна быть *знаменательна*», «должна прояснять собою идею». «Это свойство, иначе называемое эстетическою прозрачностью», «требуется, чтобы чувство наше постигало идею, заключающуюся въ явленіи, и чтобы идея являлась подъ формою во всей своей чистотѣ». «Непонятныя явленія» «не возбуждаютъ эстетическаго наслажденія».

Изслѣдованіе «свойствъ прекраснаго, взятыхъ со стороны идеи и формы», приводитъ къ заключенію, что послѣднія «тогда только могутъ представить намъ явленіе изящнымъ», «когда между собою гармонически будутъ соединены», или когда между ними будетъ «взаимная связь». «Условія соединенія идеи съ формою» двоякаго рода: «отрицательныя» и «положительныя». Подъ первыми разумѣются такія условія, безъ которыхъ явленіе существовать не можетъ (*conditio sine qua non*); вторыя «производятъ гармонію положительную».

Одно «изъ отрицательныхъ условій, существенное и необходимое въ каждомъ явленіи», есть «истина—*сообразность идеи съ формою*», между которыми не должно быть «противорѣчія», уничтожающаго изящное. «Въ природѣ, какъ произведеніи Верховнаго Существа, все истинно,—ложь не имѣетъ въ ней мѣста»; но и здѣсь иногда бываютъ явленія, которыя «поражаютъ умъ нашъ своей необычайностью», «выходятъ изъ предѣловъ обыкновенныхъ явленій» и для насъ загадочны. «Такъ человекъ, въ первый разъ увидѣвши сѣверное сіяніе, приходитъ въ смятеніе, ужасается; онъ почитаетъ его несчастнымъ предзнаменованіемъ, ибо ему *кажется*, что явленіе сіе подрываетъ общій порядокъ

бытія»; вслѣдствіе этого «уничтожается эстетическій интересъ». И въ области искусства, которое есть «плодъ свободной дѣятельности духа человѣческаго, весьма легко» «можетъ быть противорѣчіе между идеею и формою». «Нелѣпость и необычайность— плоды разгоряченной фантазіи», — «самыя важныя препятствія для эстетическаго наслажденія», которое «оскорбляется» «малѣйшей невѣрностью въ декораціяхъ и костюмахъ» во время постановки піесы на сцену. Потому всякій художникъ долженъ стараться «не отступать отъ истины».—Удовлетворяя «умственной нашей способности», изящное явленіе «должно удовлетворять и чувству нравственному», которое «требуетъ *внутренней сообразности явленія съ цѣлію*», «возможной не иначе, какъ при внутреннемъ отношеніи частей къ одному цѣлому». «Это служитъ вѣрнымъ признакомъ вещественной доброты»; тогда какъ «безпорядокъ и нестройность признаются подрывомъ эстетическаго чувства». Явленія природы, разсматриваемыя въ ихъ «цѣлости», въ «соединеніи однихъ съ другими», «имѣютъ сообразность съ цѣлію», и потому называются прекрасными; но «эти же самыя явленія», «взятыя отдѣльно», «представляютъ собою одинъ хаосъ», и не «возбуждаютъ эстетическаго интереса»; они кажутся намъ «неизяснимыми», и мы «не можемъ дать отчета въ метафизической ихъ добротѣ». «Несоразмѣрность съ цѣлію» не имѣетъ мѣста въ изящныхъ произведеніяхъ; художникъ долженъ соблюдать «порядокъ, стройность, согласіе».—Послѣднимъ отрицательнымъ условіемъ соединенія идеи съ формою надо признать «*опредѣленность*», уничтожающую «двузначность», или двусмысленность явленія.

Перечисливъ отрицательныя условія упомянутаго «соединенія», переходимъ къ положительнымъ. Прежде всего, «необходима *идеальная вещественность*, подъ которою разумѣется высочайшая возможность»; «основаніе возможности находится въ идеѣ, а идея есть гармонія жизни, начало коей заключается въ Богѣ». «Слѣдовательно, необходимо высочайшее согласіе съ сущностью вѣчной идеи, ибо явленія тогда бываютъ изящны, когда, при первомъ взглядѣ, сознаемъ отношеніе къ вѣчному началу»; поэтому «всякое явленіе должно имѣть достоинство, которое есть признакъ идеальной природы». «Что касается изящныхъ произведеній», то «вещественность ихъ должна выражаться въ такой чистотѣ и такъ должна быть естественна, чтобы мы забывали», что они—дѣло рукъ человѣческихъ, и «находились бы въ

нѣкоторомъ обольщеніи». Формы «почерпаются изъ идеальной возможности», и, такимъ образомъ, «уничтожается все противорѣчащее сему свойству, т. е. всякая маловажность и умышленность въ искусствахъ, все неестественное и напыщенное въ природѣ, гдѣ мы видимъ игру случая».—Второе положительное условіе касается *соразмѣрности*, которая должна «*одушевляться*». «Одного порядка мало»: «если замѣчаемъ въ произведеніи *преобладаніе* строгой симметріи, то оно теряетъ свой эстетическій интересъ». Для возбужденія послѣдняго въ явленіяхъ необходима жизнь, необходима «форма жизни», которая «состоитъ въ свободномъ и легкомъ развитіи дѣйствительности изъ собственного бытія». Такъ только «можно объяснить высокій миеъ о Пигмалионѣ, оживляющемъ мраморъ».—Въ заключеніе, нельзя не отмѣтить, что изящное явленіе всегда «*постигается душою свободно и полно*», всегда «*роскошно и богато мыслию*» <sup>1)</sup>.

#### IV. О высокомъ <sup>2)</sup>.

«Самое торжественное проявленіе изящнаго есть *высокое*». «Представляя прекрасное», искусство «представляетъ намъ полный цвѣтъ земной жизни во всемъ брачномъ ея великолѣпіи; изображая высокое, оно даетъ намъ» предощупленіе «вышей небесной жизни». «По самому буквальному знаменованію его имени, отличительной чертою» высокаго «должна быть возвышенность надъ обыкновеннымъ кругомъ явленій, превосходящая обыкновенную мѣру силъ нашихъ. Такимъ образомъ, область высокаго могутъ составлять только предметы великіе», созерцаніе которыхъ возбуждаетъ «идеальное стремленіе къ безконечному». Прекрасное «дѣйствуетъ на насъ представленіемъ совершеннѣйшей гармоніи или соразмѣрности съ нашею природою»; «нравится намъ потому, что оно совершенно по насъ и по нашимъ силамъ». Высокое «дѣйствуетъ на насъ совершенно обратнымъ образомъ: его занимательность проистекаетъ изъ высочайшей дисгармоніи или

---

<sup>1)</sup> Журналъ безъ оглавленія, составленный Гр. Знаменскимъ («Аналитика изящнаго»).

<sup>2)</sup> За отсутствіемъ лекцій, кромѣ одной: «О явленіяхъ изящнаго, приближающихся къ чувству высокаго», составленной К. С. Аксаковымъ, этотъ отдѣлъ излагается на основаніи статей Надеждина: «О высокомъ» (*Вѣстникъ Европы*, 1829, №№ 3—6).

несоразмѣрности со вмѣстимостью нашей природы; оно нравится намъ потому, что выше насъ и выше силъ нашихъ». «И ежели духъ нашъ, поражаясь величіемъ высокихъ предметовъ, живѣе чувствуетъ собственную малость и безсиліе,—за то они же пробуждаютъ въ немъ и сладкую надежду объять ихъ вполне тогда, когда высшій міръ, ими назнаменуемый, содѣляется вѣчнымъ его достояніемъ. Je kleiner wird er selbst, je grösser seine Liebe». Мы «разгадываемъ въ восторгахъ одушевленія тайную связь» этихъ предметовъ «съ безпредѣльнымъ началомъ всего великаго», «любujemy испытываемымъ могуществомъ силъ нашихъ», гордимся своимъ человѣческимъ достоинствомъ. «На высшей степени своего развитія высокое «соприкасается снова съ прекраснымъ, — и дисгармонія, имъ представляемая, разрѣшается опять въ новую усладительную гармонію». Отсюда выясняются «истинныя границы высокаго: оно должно быть велико, но не чрезмѣру (sic), и потрясеніе, возбуждаемое имъ, непремѣнно должно оканчиваться всегда предощеніемъ прекраснаго». Поэтому несправедливо мнѣніе «остроумнаго» Берке, «низводившаго высокое къ однимъ только ощущеніямъ страха и ужаса. Неоспоримо, что высокое можетъ иногда имѣть въ себѣ нѣчто грозное и даже ужасное, но что ощутимо во всей эстетической чистотѣ своей только тогда, когда облеченное спокойнымъ величіемъ, дивнымъ, но не страшилищнымъ, не низлагаетъ, а восторгаетъ духъ нашъ выше самого себя. Все то, что наводитъ на насъ страхъ, унижаетъ насъ предъ собственными глазами», и такое «униженіе можетъ ли быть намъ по сердцу? Посему-то ужасающее, даже и въ уменьшенномъ размѣрѣ, каковы, напримѣръ, привидѣнія и мертвецы», которые «не имѣютъ въ себѣ ничего высокаго», «не можетъ занимать насъ истинно эстетически своею пугающею необычайностью», такъ какъ оно «уравниваетъ насъ съ дѣтьми», которыя «впотмахъ боятся» <sup>1)</sup>.

---

1) Ср. *Fr. Bouterwek. Aesthetik. Erster Theil*, SS. 148—150: «Man erwidrigt das Erhabene tief unter seine Würde, wenn man es mit dem geistvollen Burke auf Affecten der Furcht und des Schreckens zurückführen will. Unstreitig hat das Erhabene zuweilen etwas Furchtbares, auch wohl Schreckliches. Aber in seiner ästhetischen Reinheit wird es nur da empfunden, wo es mit stiller Majestät, imposant, aber nicht erschütternd, nicht drohend, sondern herzerhebend, den menschlichen Geist gleichsam über sich selbst entrückt... Aber sobald die Reflexion mehr die Richtung auf uns selbst nimmt, als in einem freien

«Высочайшимъ образцомъ» высокаго является природа, эта «безбрежная громада несмѣтныхъ міровъ, носящая въ нѣдрахъ своихъ неистощимую полноту всепроникающей и вседвижущей жизни» и «поглощающая своимъ необъятнымъ величіемъ всѣ ограниченія и предѣлы». И между тѣмъ это величіе природы есть «только исполинская тѣнь, отражающаяся въ пространствѣ и времени, отъ безконечно возвышеннаго надъ всякимъ пространствомъ и временемъ, а слѣдовательно безконечно высшаго бытія, которое благоволитъ являть себя въ созданной имъ вселенной и предъ которымъ она, при всемъ своемъ величіи, есть атомъ ничтожный». «Предощущеніемъ величія Божія, проповѣдуемаго величіемъ творенія», «оканчивается истинно-поэтическое созерцаніе природы», «таинственной завѣсы святилица Божества», отличающейся «характеромъ высочайше эстетической высокости». «Устроеніе вселенной, какъ совершеннѣйшаго произведенія Всесовершеннѣйшаго Художника, таково, что всѣ части ея отображаютъ въ постепенныхъ уменьшеніяхъ безпредѣльный типъ цѣлаго. Каждое звено, составляющее цѣпь ея, отъ великой солнечной системы Сиріуса до пылинки, вращающейся въ лучѣ нашего солнца, есть представитель безконечнаго». Но, вслѣдствіе особенностей «тѣлеснаго организма», наши чувства «слишкомъ малы» для всего великаго «мірозданія» и «слишкомъ велики для дробныхъ частей его». «Только вооруженный микроскопомъ взоръ видитъ въ каплѣ воды океанъ, кипящій множествомъ живыхъ существъ; да и тогда чувство превосходства собственныхъ силъ нашихъ, воззывающихъ, какъ-бы изъ небытія, сей новый міръ, подавляетъ развитіе оцущеній собственно эстетическихъ. Для возбужденія въ насъ идеи о высокости вселенной требуется, чтобы явленія, представляющіяся нашимъ взорамъ, имѣли извѣстную степень великости, относительно къ собственнымъ нашимъ силамъ. Мѣрою сей великости должна быть сама душа наша. Все

---

und freudigen Aufschwung zum Unendlichen übergeht, wird das rein Erhabene zum Grauensvollen; und dieses Grauensvolle wird widrig, wenn Furcht, oder Betrachtung unsrer eignen Kleinheit und Ohnmacht, in der Reflexion die Oberhand gewinnen. Denn wie sollte uns nicht widern vor einer Vosterllung, die uns gewissermassen vor uns selbst erniedrigt und unser Nichts fühlen lässt? Selbst das Schauerliche im Kleinen, das Gespensterhafte, das im Grunde gar nichts Erhabenes hat, würde uns durch seine nächtliche Seltsamkeit nicht ästhetisch interessiren, wenn es uns nur in die Stimmung von Kindern setzte, die sich im Dunkeln fürchten».



то, что разрушаетъ собою обыкновенныя пропорціи, въ коихъ привыкла она созерцать отведенный ей уголокъ вселенной, есть для ней великое», «основа эстетически высокаго».—«Природа является намъ подъ двумя главными формами: *бытія* и *дѣйствія*. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ явленія ея могутъ принимать характеръ эстетической высоты; отсюда происходятъ два главные рода высокаго»<sup>1)</sup>: «*высокое бытія* и *высокое дѣйствія*».

I. «*Высокое бытія* есть великое въ явленіяхъ покоящейся природы. Оно находится тамъ, гдѣ обыкновенныя предѣлы пространства и времени, въ коихъ созерцаемъ мы бытіе природы, исчезаютъ предъ нами», и «представляется въ трехъ частныхъ формахъ, какъ: *неизмѣримо-высокое*, *неисчислимо-высокое* и *неопредѣлимо-высокое*».

A. «*Неизмѣримо* (по Канту, геометрически) - *высокое* есть великое въ пространствѣ, назнменующее идѳю безпредѣльности. Само по себѣ пространство чуждо всякаго эстетическаго достоинства; но когда оно представляется неизмѣримою рамою исполинскихъ громадъ, коихъ величественная необъятность возбуждаетъ въ насъ идѳю о величіи вселенной и о безпредѣльности творческой силы, ее породившей,—тогда запечатлѣвается характеромъ истинной высоты. Отсюда происходитъ, что безпредѣльная пустота, возведенная даже на степень эстетической возвышенности, подобно» «Клопштоковой пустынной области міра, «wo kein Todter begraben liegt und keiner erstehen wird», изумляетъ только фантазію, не восторгая ее къ истинно-эстетическому наслажденію. Обширныя и голыя степи, коихъ предѣлы теряются въ горизонтѣ, возбуждаютъ также утомительное чувство недостатка предметовъ, коими можно было бы наполнить сіе пространство. Даже самая кристалльная поверхность спокойнаго океана повергаетъ душу зрителя, блуждающаго по ней взорами съ эстетическимъ участіемъ, въ преходящее изумленіе... Но единственно высочайшій въ семь родѣ предметъ есть небо,

---

<sup>1)</sup> «Сіе раздѣленіе высокаго», замѣчаетъ Надеждинъ: «совпадаетъ съ Кантовымъ раздѣленіемъ на математически и динамически высокое. Последнее не удержано здѣсь по неточности выраженія, ибо всякое высокое, какъ великое, имѣетъ уже математическое начало».—Ср. *Fr. Bouvier. Aesthetik*, S. 155: «Die Kantische Unterscheidung des Mathematisch-Erhabenen von dem Dynamisch-Erhabenen ist in der Grundlage richtig, aber nicht bestimmt genug. Alles Erhabene hat insofern ein mathematisches Princip, als die Vorstellung von einer Grösse, man wende sic an auf welche Gegenstände man wolle, in ihrer Wurzel mathematisch ist».

устьянное звѣздами. Созерцаніе его восхитительно даже и для тѣхъ, кои не вѣдаютъ или не помышляютъ нимало о томъ, что сіи безчисленныя точки, брезжущія въ глубинѣ безбрежнаго небеснаго океана, суть величественныя міры, изъ неистощимыхъ пучинъ свѣта, отдѣленныхъ отъ насъ милліонами миль, ниспосылающіе взорамъ нашимъ лучи свои, ибо сіи свѣтлыя точки сообщаютъ какъ бы нѣкую жизнь сей пустынной безднѣ и вмѣстѣ пробуждаютъ тайное желаніе разгадать, откуда почерпаютъ свѣтъ свой сіи неугасающія лампы, повѣшенныя въ столь неприступной дали, и какія дивныя тайны назнаменуются ихъ золотарнымъ сочетаніемъ» <sup>1)</sup>.

*Б.* «Неисчислимо (у Канта, ариметически) -высокое есть великое во времени или числѣ, возбуждающее идею вѣчности. Само собою разумѣется, что не всякое несмѣтное множество, превосходящее мѣру нашего исчисленія, носитъ на себѣ характеръ эстетической высоты. Растроганную кучу муравьевъ, безъ сомнѣнія, никто не назоветъ высокимъ предметомъ; напротивъ, еще противоположность между неисчислимостью, указывающею на безконечность, и кишеніемъ ничтожныхъ суесящихся твореній представляетъ нѣчто комическое, переходящее даже иногда въ от-

---

<sup>1)</sup> Ср. *Fr. Bousterwek*. Aesthetik, SS. 156 — 158: «In der Empfindung des Geometrisch-Erhabenen, dessen Grundlage in der menschlichen Vorstellung der Raum ist, müssten imposante Massen, mit regelmässigen oder unregelmässigen Umrissen, ein schwächeres Gefühl des Unendlichen erwecken, also weniger erhaben sein, als eine unabsehbare Leere, wenn die ästhetische Wahrnehmung nicht lieber auf grossen Gegenständen ruhet, in denen das Begrenzte selbst als ein Symbol des Unbegrenzten erscheint. Die Phantasie sucht sich zwar auch den leeren Raum als etwas Wirkliches zu vergegenwärtigen; aber alles Leere ermüdet bald, selbst da, wo es in das Erhabene übergeht, wie in Klopstock's Beschreibung der öden Weltregion, «wo kein Todter begraben liegt, und keiner erstehn wird». Weite und kahle Ebenen, deren Grenze sich im Horizonte verliert, erregen nur ein lästiges Gefühl des Mangels der Gegenstände, mit denen die Phantasie diesen Raum ausfüllen möchte Selbst der glatte Spiegel der ruhigen Meeresfläche setzt den, der ihn mit ästhetischem Interesse anblickt, nur in ein vorübergehendes Erstaunen. Weit erhabener ist das gestirnte Himmelsgewölbe, auch für den, der nicht weiss, oder nicht daran denkt, dass die flimmernden Punkte in der Tiefe des unermesslichen Raums Weltkörper sind, die Millionen Meilen weit aus unerschöpflichen Lichtquellen ihre Strahlen unsern Augen zusenden; denn diese hellen Punkte geben dem scheinbar leeren Raume eine Art von Leben, und legen uns das Räthsel vor, was ihr Leuchten in dieser unerreichbaren Ferne wohl für einen Ursprung haben möge, und was ihr hoher Stand über den irdischen Dingen bedeute».

вратительное. Мириады и миллионы, неимѣющіе никакого высшаго значенія», «столько же чужды высоты, какъ и пустое пространство. Только тогда неисчислимое становится истинно-высокимъ, когда оно выражаетъ необъятное продолженіе времени, теряющагося въ безднѣ вѣчности<sup>1)</sup>. Все долговѣчное, пережившее скудную мѣру земной человѣческой жизни, занимаетъ уже насъ достопочтенною своею древностью. Утлый дубъ, сынъ столѣтій; величественныя развалины стовратныхъ Оивъ, надъ которыми промчались тысячелѣтія, маститые хребты Альповъ, столько же древніе, какъ самъ міръ, и столько же, какъ онъ, неизмѣнные,— пробуждаютъ въ насъ истинно эстетическія ощущенія... Въ произведеніяхъ искусства таинственное предощущеніе вѣчности, облакающей въ форму неисчислимости, можетъ быть источникомъ высочайшихъ картинъ поэтическихъ. Таково, напримѣръ, у Жанъ-Поля Рихтера изображеніе безлѣтнаго времени, начинающагося за предѣлами земной жизни: *Oben am Kirchengewölbe stand das Zifferblatt der Ewigkeit, auf dem keine Zahl erschien, und das sein eigner Zeiger war*».

В. «Оба исчисленные теперь рода высокаго въ *бытіи* сливаются въ *неопредѣлимо-высокомъ*». «Послѣднее объемлетъ собою тѣ явленія природы, въ коихъ всѣ опредѣленныя формы и черты, могущія останавливать и раздроблять мысль нашу, исчезаютъ. Такова глубокая тишина дремучихъ дубравъ», гдѣ «вѣчно-сѣдой мохъ съ невѣдомыхъ вѣковъ невозбудимо спитъ на гробахъ прошедшаго и гдѣ, сквозь мрачныя вершины вѣковыхъ сосенъ, едва пробирается издали гулъ вѣтра, подобно эху органа, звучащаго

---

<sup>1)</sup> Ср. *Fr. Bousterwek. Aesthetik*, S. 160: «Wegen der zu nahen Verwandtschaft des Zahllosen mit den kalten Zahlen hat auch die blosse Vorstellung von einer unzähligen Menge eben so wenig Imposantes, als die wirkliche Erscheinung einer Menge von Dingen, die nicht leicht zu zählen sind. Die Millionen und Myriaden thun in der Poesie selten die Wirkung, die sich die Dichter von ihnen versprechen. In dem Anblicke eines aufgeregten Ameisenhaufens, wenn die unzähligen muntern Thierchen durch einander laufen, hat vermuthlich noch niemand etwas Aesthetisch-Grosses gefunden. Der Contrast zwischen der Unzahl, die sich auf das Unendliche bezieht, und dem Wimmeln kleiner Geschöpfe hat sogar etwas, das sich zum Komischen neigt, und auch wohl in das Widrige übergeht. Da erst wird das Unzählbare erhaben, wo die Gegenstände, die wir nicht zu zählen vermögen, uns schon durch eine andere Art von ästhetischer Grösse interessiren, oder noch mehr, wo Theile der Zeit in Betracht kommen, die sich in die Ewigkeit verliert. Die reine Idee des Ewigen gehört ästhetisch zu den erhabensten, die der menschliche Geist fassen kann».

во славу Неизреченнаго, какъ бы для того, чтобы сдѣлать еще болѣе оцутительнымъ сіе торжественное молчаніе... 'Само собою разумѣется», что такая «неопредѣлимость тогда только получаетъ характеръ эстетической высокости, когда возвышаетъ душу нашу къ предощущенію безконечной жизни», которое прекрасно выразилъ Жуковскій въ своей элегіи «Славянка».

II. «*Высокое дѣйствія* (по Канту, динамически-высокое) есть великое въ явленіяхъ силъ дѣйствующей природы». Силы природы—или «вещественныя (матеріальныя), дѣйствующія безсознательно и слѣпо по уставамъ необходимости»; или «духовныя, просвѣтляемыя самосознаніемъ и управляемыя свободой». Тѣ и другія «состоятъ подъ владычествомъ единой міродержавной силы, совершающей чрезъ нихъ непреложныя судьбы свои. Отсюда высокое дѣйствія можетъ быть представляемо также подъ тремя главными формами, какъ: *высокое въ явленіяхъ силъ вещественныхъ, высокое въ явленіяхъ силъ духовныхъ и высокое въ явленіяхъ силы міродержавной*».

A. «*Явленія силъ вещественныхъ, или матеріальныхъ, содержащихъ бытіе видимаго физическаго міра, облекаются характеромъ высокости тогда, когда величіемъ своимъ назнаменовываютъ безпредѣльное могущество силъ природы. Само собою разумѣется, что величіе сіе должно измѣряться по отношенію къ собственнымъ нашимъ силамъ, ибо для самой природы сооруженіе цѣлой солнечной системы стодитъ не болѣшихъ трудовъ, какъ и образованіе малѣйшей пылинки. Отсюда явствуетъ, что высокими могутъ быть для насъ только тѣ явленія природы вещественной, въ коихъ силы ея представляются какъ-бы отрѣшившимися отъ узъ всеобщаго порядка*». «Таковъ видъ разъяреннаго моря, бурной грозы, клочочущаго вулкана <sup>1)</sup>... Но между тѣмъ

---

<sup>1)</sup> Cp. *Fr. Bouterwek. Aesthetik*, SS. 161—163: «Das Dynamisch - Erhabene der Natur richtet sich in unser Vorstellung nach dem Masse des Gewöhnlichen in der Erscheinung der physischen Kräfte des Menschen. Denn wo sollten wir ein anderes Mass finden, in der Vergleichung physischer Kräfte das Grosse von dem Kleinen zu unterscheiden? Im All der Dinge kostet es der Natur eben so wenig Mühe, ein Sonnensystem zu bauen, als ein Sonnenstäubchen in der Luft schweben zu lassen. Aber dem Menschen erscheint gross, was über seine eignen Kräfte geht, das heisst, über den gewöhnlichen Grad menschlicher Kraft... Noch imposanter sind die Erscheinungen, in denen die Natur ausserhalb aller individuellen Formen in wilder Freiheit mit sich selbst zu kämpfen scheint; zum Beispiel das Meer im Sturme; ein tobendes Gewitter; eine hoch lodernde und grosse Massen zerstörende Feuersbrunst».

сіи ужасныя дѣйствія мятущейся природы сохраняють для насъ эстетическую прелесть только дотолѣ, пока не угрожаютъ самимъ намъ губительною опасностью. Иначе потрясеніе, возбуждаемое ими въ насъ, можетъ возрасти до оцѣпенѣнія, и мы должны будемъ потерять самочувствіе—а сего отвращается наша природа. Ничто не должно унижать насъ столько предъ вещественною природою, чтобы мы не могли уже найти для себя никакой противъ нея опоры. Посему величественная картина бунтующаго океана перестаетъ быть для насъ *высокою*, если на бурномъ ночномъ небѣ не засвѣчено ни одной звѣзды, брезжущей сквозь раздираемыя тучи; если несчастному пловцу, борющемуся съ кипящими волнами, не покинуто и утлой доски для спасенія, или, 'по крайней мѣрѣ, умиленнаго взора надежды, къ небесамъ обращеннаго».

Высокое «возвышаетъ духъ нашъ къ благоговѣйному предощущенію безконечной, всеизяждущей и всеуправляющей творческой силы,—и тогда дикое и грозное бореніе силъ природы разрѣшается для насъ въ ритмическое ликованіе». Когда же «мы, при созерцаніи великихъ дѣйствій природы, остаемся пригвожденными къ одной природѣ»,—«исчезаетъ для насъ высокое», которое такъ прекрасно могъ выразить «великій» Клопштокъ въ «Весеннемъ торжествѣ» (*Die Frühlingsfeier*).

*Б.* «Высокое въ явленіяхъ силъ духовныхъ есть великое въ дѣяніяхъ человѣческихъ, возбуждающее собою идею высокаго достоинства и еще высшаго назначенія человѣческой природы». «Высокое человѣческихъ дѣяній», сообразно духовнымъ силамъ, «можетъ быть представляемо, какъ: *высокое ума, или генія; высокое воли; или характера; высокое сердца, или чувства*».

*Геній.* «какъ высочайшая степень расширенія умственныхъ силъ», «поистинѣ высокъ». «Великіе мудрецы, вдохновенные художники, всеобъемлющіе государственные умы, непобѣдимые вожди побѣдъ—не потому ли и называются геніями, что ихъ возвышенныя и необыкновенныя дѣйствія кажутся не ихъ собственными произведеніями, но внушеніями нѣкакого высшаго духа, таинственно имъ присущаго? Чувство величія сихъ мужей и ихъ дѣяній возрастаетъ въ насъ по мѣрѣ того, какъ мы, измѣряя пространство, отдѣляющее насъ отъ нихъ, сознаемъ болѣе и болѣе собственную нашу малость предъ ними; получаетъ же характеръ эстетической высоты тогда, когда возбуждаетъ въ насъ вмѣстѣ величественную идею человѣчества». «Здѣсь границы, опредѣляющія природу человѣческую, исчезаютъ предъ нами»,

а въ то же время мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли, что эти «великіе мужи были также люди—наши братья и одноземцы; и мы, любуясь ими, любуемся собственной нашею природою, гордимся человѣческимъ бытіемъ нашимъ». Здѣсь «неистоцимый» матеріалъ для созданія «истинно-высокихъ» произведеній, въ родѣ «воззванія» Казимира Делавиня къ Наполеону, который «обрисованъ достойнымъ образомъ», какъ «единственный призракъ фантазмагорическаго величія».

«*Высокое воли, или характера* есть великое въ дѣяніяхъ нравственныхъ, изображающее непреоборимую силу человѣческой свободы и возбуждающее въ насъ чувство достоинства человѣка, какъ существа нравственнаго. Сила воли человѣческой безпредѣльна въ своихъ стремленіяхъ и ненасытима въ желаніяхъ; но сего не довольно еще для сообщенія дѣяніямъ ея характера величія, долженствующаго служить основою эстетической выскости». «Величіе характера слагается изъ силы воли и владычества ея надъ нуждами и пользами, составляющими обыкновенный міръ земной нашей дѣятельности. Ни отважный дикарь, преслѣдующій неутомимо быструю серну на неприступные утесы дикихъ горъ или въ непроходимую глубину лѣсовъ дремучихъ; ни неусыпный купецъ, жертвующій всѣми радостями и наслажденіями жизни для безконечнаго умноженія нулей въ длинныхъ итогахъ приходныхъ книгъ своихъ—не должны имѣть ни малѣйшаго притязанія на великость характера, сколь ни велика и ни постоянна въ своемъ направленіи сила ихъ воли... Свобода, самобытная свобода возвышаетъ человѣка надъ всею природою, и сія свобода, дѣйствующая сама изъ себя, по чистымъ превышеземнымъ понятіямъ», «должна налагать печать истиннаго величія на всѣ человѣческія дѣянія». Эти «понятія, составляющія небесное наслѣдіе духа нашего»,—«высокія идеи *истины, благодти и лютоты*»; изъ нихъ «слагается недосыгаемый идеалъ совершенства человѣческаго, коего первообразъ есть само Божество. Тогда только воля человѣческая является истинно-великою, когда всѣ движенія ея сосредоточиваются въ единомъ неутомимомъ стремленіи къ осуществленію единой великой идеи, такъ что, при созерцаніи ея, ограниченность недѣлимаго существа человѣческаго исчезаетъ изъ виду, и одно представленіе величія природы человѣческой, приближающейся къ величію самого Божества, объемлетъ все чувство. Но и все величіе, при всей своей нравственной возвышенности, остается еще хладнымъ для чувства,

пока не согрѣто будетъ священнымъ огнемъ живой вѣры въ живого Бога. Отсюда объясняется рѣшительное преимущество, принадлежащее *религіозному* величію, предъ чисто *стоическимъ*, даже въ кругѣ эстетическаго міра». Поэтическія творенія «представляютъ обильное множество высокихъ картинъ, срисованныхъ съ великихъ характеровъ»; «такое у Жуковскаго изображеніе воина, радостно погибающаго за отечество («Пѣвецъ во ставѣ русскихъ воиновъ»).

«Если явленія *разума* и *воли* могутъ представлять высокое зрѣлище, то чтò должно сказать о *чувствѣ*, въ коемъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточиваются всѣ лучи бытія человѣческаго и изъ котораго какъ разумъ, такъ и воля почерпаютъ благодатную *полноту*, согрѣвающую ихъ *эстетической жизнью*? И умственные, и нравственные дѣянія человѣческія ознаменованы печатью ограниченности», такъ какъ они—«произведенія *духа*, состоящаго въ необходимомъ соприкосновеніи съ природою, опредѣляющею его или опредѣляемою *имъ* при свободныхъ дѣйствіяхъ. *Чувствомъ* выражается полнота духовной жизни человѣческой, обращающейся, такъ сказать, около собственной своей оси, и потому не вѣдающей никакихъ предѣловъ, кромѣ самой себя. Отсюда безпредѣльная широта и неистощимая глубина чувства, для которой, говоря словами великаго Шиллера, «тѣсенъ весь міръ безконечный». Оно можетъ принимать характеръ *эстетической высокости* во всѣхъ моментахъ своего развитія: и тогда, когда отглашаетъ совершенную гармонію внутренней жизни духа человѣческаго; и тогда, когда выражаетъ борьбу его или съ внѣшними обстоятельствами, или съ собственными помыслами и желаніями; и даже, наконецъ, тогда, когда само разрушаетъ внутреннюю соразмѣрность духовнаго человѣческаго организма своею бурною преобладающею силою. Отсюда происходятъ четыре частныя вида чувственно-высокаго»: «*прекрасно-высокое, трогательно-высокое, патетически-высокое* и *потрясающе-высокое*».

«*Прекрасно-высокое* зрѣлище представляютъ всѣ благородныя ощущенія сердца человѣческаго, развивающіяся въ небесномъ свѣтѣ выспреннаго идеальнаго одушевленія до полноты, не ограничивающейся никакими земными предѣлами. Таково чувство дружбы, когда оно, основываясь» «на таинственной симпатіи душъ, находящихся другъ друга для того, чтобы по одной стезѣ стремиться вдвоемъ къ одной цѣли,—переживаетъ всѣ волненія земной жизни и въ тѣсныхъ предѣлахъ времени представляетъ

живой символъ вѣчности. Такова любовь въ ея идеальной чистотѣ, отрѣщенной отъ грубой примѣси чувственнаго вожделѣнія и отъ поддѣльныхъ румянъ разслащенной сентиментальности». «Связуемая любовью сердца освящаются вѣрою въ высшее божественное блаженство, составляющее конечную пѣль ихъ совокупныхъ надеждъ, желаній и стремленій. Такая любовь есть по истинѣ *предчувствіе неба*». Примѣромъ можетъ служить Петрарка, который видѣлъ «въ очахъ возлюбленной Лауры» «сладкій свѣтъ, указующій путь къ небесамъ», окрылялся взорами ея на «благія дѣянія и великіе подвиги» и «торжественно исповѣдывалъ, что одинъ взглядъ ея возвышаетъ его надъ непосвященной толпой».

«Но не одни только чувствованія, выражающія гармоническую настроенность духа человѣческаго, могутъ принимать характеръ эстетической высоты; самыя болѣзненные и скорбныя ощущенія могутъ составлять обильный источникъ высокаго». «Всѣ страданія, испытываемыя нашими ближними, отзываются въ сердцахъ нашихъ умилительнымъ участіемъ», и это является «основаніемъ эстетической занимательности *трогательнаго*». «Трогательнымъ для насъ можетъ быть все то, что можетъ страдать и чувствовать страданія; но сіи страданія должны имѣть свою мѣру». Поэтому «болѣзненное чувство, возбуждаемое въ насъ трогательнымъ, всегда должно быть растворено, по крайней мѣрѣ, сладкимъ предчувствіемъ радующаго. Таково у Гомера прощаніе Гектора съ Андромахой, оканчивающееся растворенною слезами улыбкою вѣжной супруги». «Трогательное облачается характеромъ высоты, когда силы духа человѣческаго въ такомъ находятся сраженіи со внѣшними обстоятельствами, что человѣкъ, какъ недѣлимое, представляется страждущимъ; но свобода его, непоколебимая въ стремленіи къ благу, являетъ въ немъ человѣчество торжествующимъ». «Невольно возбуждаетъ въ насъ болѣзненное чувство мудрый и добродѣтельный Сократъ, погибающій жертвою коварныхъ навѣтовъ»; «но, съ другой стороны, великость его духа, необоримаго никакими земными страданіями, возбуждаетъ въ насъ чувство высокаго достоинства человѣческаго, такъ что самое чувство состраданія имѣетъ прелесть тѣни, слившейся со свѣтомъ величественной идеи о безсмертіи. Само собою разумѣется, что и здѣсь эстетическое преимущество принадлежитъ тѣмъ ощущеніямъ, въ коихъ торжествуетъ энтузіазмъ собственно религіозный, въ коихъ лютая горечь страданій раство-



ряется небесною сладостию вѣры и упованія». «Знаменитое: Doch! Lessingовой Эмилиі Галотти раздражаетъ душу; но возвышаетъ ее истинно-торжественное окончаніе Шиллеровой Орлеанской дѣвственницы, когда Іоанна, пораженная смертною раною, въ послѣдній разъ подымается съ поддерживающихъ ее рукъ и обращается къ небу съ таинственною своею орифламмою: «Смотрите! радуга на небесахъ! и т. д.»<sup>1)</sup>).

«Не менѣе возвышенное зрѣлище можетъ представлять и божество превышечувственного начала идей съ бурнымъ дыханіемъ страстей, мятущихъ духъ человѣческой», когда «послѣднія, истощивъ всю свою лютую ярость, разбиваются, наконецъ», о «твердыню неодолимаго мужества». Такія «явленія сердца человѣческаго составляютъ область *патетически-высокаго*. Образцовыми произведеніями въ семъ родѣ могутъ быть псалмы Давида ХLI и ХLIИ, въ еврейскомъ подлинникѣ составляющіе одно цѣлое, въ коихъ изображается глубоко и сильно ужасное состояніе души царственнаго пѣснопѣвца, души растерзанной неблагодарностью возлюбленнаго сына и почитающей себя совершенно почти оставленной Богомъ, но побѣждающей, наконецъ, всѣ раздрающія ее бури силою вѣры и упованія». Такія «бурныя явленія души человѣческой возбуждаютъ благоговѣйное изумленіе», такъ какъ сквозь нихъ «просіяваетъ ея божественное величіе, возвышающее ее надъ самой собою. Но вообще тамъ, гдѣ чувственное и страстное торжествуютъ и одерживаютъ побѣду, патетически-высокое преступаетъ свои предѣлы»; «здѣсь начинается область потрясающе-высокаго, составляющаго крайній полюсъ развитія ощущеній, диаметрально-противоположный прекрасно-высокому».

«*Потрясающе-высокое* есть великое собственно въ страстяхъ, выражающее безпредѣльную силу и непреоборимое владычество всенизлагающаго эгоизма. Таково идеальное представленіе гордости, неукротимой въ самомъ глубочайшемъ уничиженіи, воплощенное въ страшномъ образѣ Мильтонова сатаны, когда онъ,

---

1) Ср. *Fr. Bouterwek*. Aesthetik, SS. 150—151: «Grauensvoll und grasslich-erhaben kann sogar eine Holle seyn; aber die Empfindung des Rein-Erhabenen ist immer ein Blick in den Himmel. Auch im tragischen Pathos ist das Erschütternde wohl zu unterscheiden von dem Erhabenen in seiner Reinheit. Das berühmte Doch! in Lessing's Emilia Galotti wirkt erschütternd genug; aber erhaben ist es bei weitem nicht in dem Grade, wie der Schluss von Schiller's Jungfrau von Orleans».

низверженный въ адъ, привѣтствуетъ новое свое жилище» <sup>1)</sup>. «У Альфіери, въ трагедіи «Филиппъ II», благородный Перець одинъ осмѣливается вознести гласъ въ защищеніе злополучнаго Донъ-Карлоса, готоваго пасть жертвою адскихъ подозрѣній тирана и гнуснаго ласкательства вѣроломныхъ совѣтниковъ. Филиппъ, оставшись одинъ, трепещетъ отъ ярости, и лютая душа его изливается въ восклицаніи: «И такая душа можетъ родиться тамъ, гдѣ я царствую!.. Можетъ тамъ, гдѣ я царствую, жить еще!» Такой человѣкъ «естественно находится въ превратномъ отношеніи къ идеѣ достоинства человѣческаго»; поэтому «изумленіе, возбуждаемое имъ, сопровождается всегда ужасомъ. Несмотря на то, онъ и здѣсь представляется великимъ, и величіе его имѣетъ эстетическую занимательность», такъ какъ «возбуждаетъ представленіе великости силъ духа человѣческаго, хотя онѣ развиваются совѣмъ въ превращенномъ направленіи. Страсти, сами въ себѣ, не имѣютъ ничего эстетическаго; но онѣ могутъ получать эстетическое достоинство, когда открываются въ героической отважности и энтузіазмѣ. Только сокровеннаго, всегда кривыми стезями и коварно стремящагося къ своей цѣли злодѣя мы отвергаемъ съ презрѣніемъ какъ нравственно, такъ и эстетически» <sup>2)</sup>.

В. «Теперь,—если отдѣльныя, или, такъ сказать, раздробленныя явленія силъ, содержащихъ бытіе природы, могутъ быть для насъ высокими,—то какое зрѣлище должно представлять намъ проникновеніе во внутренній механизмъ ихъ, движимый всемошною единою верховною *міродержавною силою*? Здѣсь открывается для насъ преддверіе безконечной высоты!—Вѣчный порядокъ, владычествующій во всемъ великомъ зданіи міра; непреложныя законы, опредѣляющіе возвратный путь кометамъ, заблудившимся въ безпредѣльныхъ пустыняхъ неба, и полагающіе предѣлъ бурнымъ порывамъ страстей, растекающихся неудержимо по безбрежному океану сердца человѣческаго; святое единство, къ коему, по неисповѣдимымъ судьбамъ, не-

---

<sup>1)</sup> *Fr. Bouterwek. Aesthetik*, S. 165: «Auch der verwerflichste Ehrgeiz, die Herrschsucht, die Rachsucht, die leidenschaftliche Liebe werden, zwar nicht durch sich selbst, aber durch die heroische Kühnheit, zu der sie entflammen, ein erhabener Stoff der Kunst. Sogar Milton's Satan ist ein ästhetisch-grosser Charakter».

<sup>2)</sup> Тамъ же, 165: «Nur den versteckten, kleinlich-schlauen, heuchlerisch sein Ziel verfolgenden Bösewicht verabscheuen wir ästhetisch, wie moralisch».

исповѣдимыми путями направляются и стекаются всѣ несмѣтныя явленія» природы—«какое безпредѣльное поле ощущеній святыхъ, *высокихъ*, божественныхъ! Для древнихъ сии ощущенія сливались въ единую *высокую идею судьбы*, верховной самодержицы боговъ и человѣковъ. Сія идея, составлявшая положительный догматъ ихъ религіи, обнаруживалась во всѣхъ ихъ произведеніяхъ, преимущественно же въ ихъ трагедіяхъ, развивавшихъ въ тѣсныхъ предѣлахъ искусственнаго представленія безпредѣльную полноту вещественной жизни; и она-то сообщала имъ то мрачное величіе, коимъ отличается древняя сцена. Сіе величіе неоспоримо имѣетъ эстетическое достоинство; но оно слишкомъ таинственно, грозно и безотраднo. Судьба древнихъ есть тиранская сила, для которой мыслящій человѣкъ не дороже ничтожнаго атома; она издѣвается надъ всѣми усиліями и намѣреніями свободы» и «опредѣляетъ жребій людей безъ ихъ вѣдома. Предъ ней изумляются и трепещутъ безъ надежды, безъ утѣшенія! Отсюда чувство, возбуждаемое ею, при всей своей возвышенности, прискорбно и болѣзненно. Духу религіи христіанской предоставлено было просвѣтлить сей ужасающій призракъ небеснымъ свѣтомъ любви благодѣющаго Промысла. Душа, озаренная чистою вѣрою», возвышаясь надъ твореніемъ, «ощущаетъ себя въ присутствіи животворящей силы Божіей, питающей и грѣющей вселенную своимъ материнскимъ дыханіемъ. Тогда всѣ безчисленныя струны бытія разрѣшаются для ней въ высочайшую Божественную гармонію». «О глубина богатства и премудрости и разума Божія!»—воскликаетъ апостолъ: «яко неиспытани судове Его, и неизслѣдовани путіе Его. Кто бо разумѣ умъ Господень? или кто совѣтникъ Ему бысть?.. Яко изъ Того, и Тѣмъ, и въ Немъ всяческая! (Рим. XI, 33—36)».

## V. О гении.

«Изящное есть не что иное, какъ воплощенная идея», и «существуетъ въ искусствѣ», которое «составляетъ исключительное достояніе человѣка», «произведеніе свободной, самобытной его дѣятельности». «Какая же сила духа человѣческаго и по какимъ законамъ» создаетъ «изящное въ искусствахъ»? «Всѣ согласно называютъ» эту «силу въ человѣкѣ гениемъ». «Произведенія гениа—новы, оригинальны»; слѣдовательно, онъ—«сила творчества, а творчество предполагаетъ силу идей и силу образовъ»:

«умъ и фантазію». «Первый или созерцаетъ міръ идеальный» и «изводитъ» изъ него «идеи въ міръ чувственный», «или предметы, данные уже въ мірѣ дѣйствительномъ, возводитъ къ свѣту идеальному и представляетъ ихъ въ высочайшемъ превосходствѣ»; «послѣдняя даетъ соотвѣтственные образы, въ которыхъ бы идеи могли быть созерцаемы въ мірѣ чувственномъ». «Соединенное дѣйствіе ума и фантазіи творитъ, ибо идеальнымъ представленіямъ даетъ вещественное бытіе». Итакъ, геній есть «способность воображать идеи».

Въ этомъ смыслѣ геній можно было бы «приписать каждому, тогда какъ въ толпѣ людей, даже самыхъ образованныхъ, рѣдкіе ознаменованы печатію творчества». «Роëtae nascuntur», гласитъ старинная поговорка: для генія «нужна извѣстная степень совершенства ума и фантазіи, совершенства, на которое должно смотрѣть какъ на особый даръ природы и которое есть удѣлъ немногихъ ея любимцевъ». Эти совершенства—«особенная великость ума, быстрота, сила и живость фантазіи». «Необыкновенно возвышенный взоръ ума въ мірѣ идеальномъ открываетъ новыя и высокія идеи и глубоко проникаетъ въ ихъ отношенія»; «фантазія въ быстромъ полетѣ мгновенно озираетъ весь извѣстный ей» «міръ образовъ»; «обогащается множествомъ» тѣхъ изъ нихъ, которые соотвѣтствуютъ «достоинству» идей; «владеетъ надъ дѣйствительностью ихъ отношеній, быстро перемѣшиваетъ или измѣняетъ» послѣднія, «по законамъ возможности,—и образуетъ, такъ сказать, тѣло новое», «въ которое уже умъ вдыхаетъ духъ жизни—идею». «Высочайшее гармоническое дѣйствіе ума и фантазіи есть состояніе, въ которомъ геній творитъ и которое обыкновенно называютъ *вдохновеніемъ*». «По Шеллингу, здѣсь происходитъ въ человѣкѣ гармоническое сляніе» «свободы съ необходимостью». «Въ минуты творчества онъ бываетъ одержимъ своею идеею, какъ высшимъ какимъ-то духомъ, душа его переходитъ въ твореніе; онъ самъ и творимое, и творящее; подлежащее и предметъ здѣсь тождественны. Свобода его есть необходимость, а послѣдняя есть, обратно, высочайшая свобода. Онъ творитъ такъ, какъ будто бы не могъ не творить», и эта «необходимость есть его чистѣйшая самостоятельность. Онъ творитъ совершеннѣйшее, и идея этого «совершеннѣйшаго его основываетъ». «По Канту, чрезъ творчество генія природа даетъ правила искусству». Онъ «творитъ по понятію и съ цѣлью, но произведеніе его свободно отъ всего, что

имѣть видъ думы, разсужденія, осмотрительности, и кажется, будто онъ дѣйствовалъ безъ сознанія, цѣли и намѣренія; его образцовыя произведенія удовлетворяютъ всѣмъ справедливымъ требованіямъ здоровой критики, но въ нихъ незамѣтно, чтобы поэтъ въ состояніи творчества обращалъ большое вниманіе на формальные законы»; «очевидно, что геній слѣдуетъ только своему генію—высшей природѣ и бываетъ вѣренъ ея законамъ, ни мало объ нихъ не думая». Эта «высшая свободная природа даетъ правила искусствамъ, ибо произведенія ея—«тѣ вѣчные образы изящества, изученіе коихъ часто возбуждаетъ къ подобному же творчеству людей» даровитыхъ и «доставляетъ драгоценныя правила, коими поддерживаются и совершенствуются чада небесной жизни—искусства».

«Необходимыя свойства» генія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, «главнѣйшія черты» его произведеній—*«оригинальность, естественность и всеобщая предлежательность»*. «Истинный геній, по крайней высотѣ человѣческихъ способностей въ избрѣтеніи и мышленіи, всегда даетъ себя знать посредствомъ *свободы*, недостижимой для людей обыкновенныхъ. Для его произвеній не придумасшь никакихъ правилъ; они выше сихъ послѣднихъ, оригинальны. Геній не пренебрегаетъ примѣрами и образцами, коль скоро иныя его удовлетворяютъ, но сильнѣйшая потребность устремляетъ его къ тому, чтобы онъ удовлетворялъ самъ себя». Виргилій «имѣлъ образцомъ» Гомерову «Иліаду», «одинъ художникъ говорилъ, что вся поэзія его живописи была слѣдствиемъ созерцанія картинъ Рафаэля»,—но «всѣ сіи дѣйствія могли сообщить генію» лишь «извѣстную степень энергіи»; когда же геній «начиналъ творить», онъ «клатъ печать оригинальности на свое произведеніе»: «въ лабораторіи духа переплавливалось все заимствованное», и «улетучивалось постороннее вліяніе». Геній развиваетъ свою дѣятельность «съ той сокровенной точки, гдѣ имѣетъ свое начало духовная природа въ человѣкѣ». Поэтому «въ знаніяхъ онъ старается произвести только что-нибудь такое, чего разумъ» «требуетъ первоначально, какъ основанія, а не держится принятыхъ образовъ возрѣнія и чужихъ мнѣній; въ изящныхъ искусствахъ онъ соревнуеть творческому высшему духу природы, не методически слѣдуя правиламъ, но повѣряя себя по своему высшему чувствованію, не подражая образцамъ, но творчески самую природу приѣмля въ себя, сколь можно непревращенно. Далѣе: неестественность и истинный геній совсѣмъ

не совмѣстны. Онъ богатъ своею силою, а чувствованіе его вѣрно законамъ естественности». Поэтому «всякая надутость» и «охота гоняться за чрезвычайнымъ и неслыханнымъ—истинному гению совершенно чужды. Наконецъ, всеобщая предлежательность» его «произведеній есть высочайшая истинность», которую мы, съ перваго взгляда, невольно признаемъ: истинный гений «на собственномъ своемъ пути обрѣлъ уже то, чего мы всѣ въ извѣстныхъ случаяхъ ищемъ» и что для насъ является «еще во мракѣ», а созданныя имъ произведенія—«образцы, кои невольно влекутъ къ подражанію»<sup>1)</sup>.

«Гений есть даръ природы»; несмотря на это, для должнаго развитія гения «потребно воспитаніе и образованіе, соотвѣтственное его высокому назначенію. Наука или самая природа должны способствовать развитію идей ума»; знакомство съ тѣми или иными искусствами «должно обогатить фантазію образами»... Образованіе «сглаживаетъ всѣ неровности», слѣдствія или крайней

---

<sup>1)</sup> Ср. *Fr. Bouterwek. Aesthetik*, SS. 206—208: «Wo aber auch der menschliche Geist in jener seltenen Kraft und Selbstständigkeit erscheine, durch die er wie ein Genius, ein Geist von hoherer Natur. in der Kunst neue Bahnen bricht, und in der Wissenschaft neue Ansichten öffnet; immer thut er sich auf dieser aussersten Hohe der menschlichen Anlagen zum Erfinden und Denken durch eine Freiheit kund, die den gewöhnlichen Naturen fremd ist. Das wahre Genie verschmaht nicht Beispiele und Muster, so weit sie ihm genügen; es bildet sich nach solchen Beispielen und Mustern; aber immer nur, um seine Eigenthümlichkeit sicherer und schöner auszubilden. Sein Denken und Sinnen geht von den verborgenen Punkten aus. wo die geistige Thatigkeit in der menschlichen Natur anfangt. Daher sucht es in den Wissenschaften gerade dasjenige zu leisten, was der Verstand in Beziehung auf diese oder jene Wissenschaft ursprünglich, undum mittelbar durch sich selbst, nicht nach hergebrachten Ansichten und Meinungen, leisten kann; und in der schonen Kunst will sich das Genie nicht methodisch an Regeln, binden, weil Regeln falsch sein können. Seinem Gefühle vertrauend, nicht blindlings, aber ohne angstliche Umsicht, schopft es die höhere Regel, der es folgt, aus dem Bewusstseyn seiner selbst, und aus der Natur, die es so unverfälscht, als möglich, in sich aufzunehmen strebt. Unnatur und wahres Genie sind unvereinbar. Daher ist auch jede Art von Affectation, jedes Haschen nach dem Ausserordentlichen und Unerhörten, dem wahren Genie völlig fremd. Des Ausserordentlichen seiner Wirkungen ist es sich selbst kaum bewusst, weil es nichts weiter will, als überhaupt das Rechte Daraus erklärt sich denn auch, was beim ersten Ansehen sich selbst zu widersprechen scheint, dass die Werke des wahren Genies mit einer bewundernswürdigen Originalität die reinste und allgemeinste Objectivität in sich vereinigen; denn auf dem ihm eignen Wege fand`das Genie, was wir Alle suchen, wenn uns das rechte Ziel vorschwebt».

«чувственности», или крайняго «идеализма», препятствуетъ «громоздить одни образы на другіе» или «идеѣ поглощать форму»; оно «просвѣтляетъ каждую силу и приучаетъ къ правильному дѣйствованію даже въ минуту горячаго паренія»; оно «простирается на *весь* духовный организмъ» и «облегчаетъ полетъ генія», предохраняя его отъ всѣхъ возможныхъ уклоненій съ той дороги, которой онъ долженъ держаться. «Впрочемъ, образованіе, сколько бы ни было совершенно, никогда не произведетъ генія». «То, чтò, при достаточныхъ дарованіяхъ, пріобрѣтается чрезъ большое образованіе, называется талантомъ. Въ произведеніяхъ таланта замѣтна иногда бываетъ необыкновенная способность въ обработкѣ частей, но въ нихъ недостаеетъ самобытной оригинальности», недостаеетъ творчества. «Произведенія таланта нравятся, произведенія генія увлекаютъ»; «талантъ работаетъ, геній живетъ».

Въ чемъ же проявляется «главный законъ для генія», законъ, который «долженъ быть и началомъ для искусства»? — «Душа человѣка есть образъ и подобіе Божества, проявляющаго себя» въ великой природѣ. «Это высокое ея достояніе обнаруживается во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ. Съ самаго дѣтства мы предощущаемъ въ себѣ зиждительную силу, и въ дѣтскихъ забавахъ примѣчается зародышъ искусства. Чѣмъ болѣе возвышается человѣкъ, тѣмъ сильнѣе обнаруживается его стремленіе къ творчеству», пока, наконецъ, онъ не явится «соревнователемъ Божества». Это «соревнованіе духу природы на основаніи потребности прекраснаго» — «законъ для генія и начало для искусствъ». «Геній въ искусствѣ — *поэтъ*», въ какой бы внѣшней формѣ ни проявлялъ свои идеи; онъ начинаетъ съ удовлетворенія «потребности прекраснаго». «Онъ богатъ своею силою, объять красотою своей идеи и быстро летящія минуты восторга будто невольно хочетъ сковать въ какомъ-либо прекрасномъ образѣ». «Изъ понятія о творческой его *свободѣ* и о томъ, въ какомъ отношеніи къ дѣйствительной природѣ находятся искусства», вытекаетъ, что «соревнованіе исключаетъ всякое подражаніе». Последнее — невозможно; «оно, съ одной стороны, выше, — съ другой, ниже человѣка: ниже потому, что дѣлаетъ его рабомъ, списчикомъ дѣйствительности»; выше потому, что «подражаніе имѣетъ достоинство» лишь тогда, когда оно «совершенно сходно съ оригиналомъ», а «это не иначе возможно, какъ при совершенномъ равенствѣ силъ творящихъ. Но природа есть созданіе Вѣчнаго Всехудожника, проявившаго въ ней присносущную полноту своей славы. Кто же дерзнетъ

вступить съ Нимъ въ состязаніе?». . Очевидно, «не въ подражаніи, но въ соревнованіи зиждительному духу природы состоитъ законъ творческаго дѣйствования генія» <sup>1)</sup>).

Итакъ, «искусство есть одинъ изъ прекраснѣйшихъ даровъ благого Провидѣнія, ниспосланныхъ человѣку для того, чтобы возвысить счастье, благоденствіе и прелесть его жизни. Геній, при всей правильности и точности, творитъ какъ будто безсознательно, слѣдуя внутреннему непреодолимому влеченію, какому-то высшему, божественному инстинкту», и только одному «свободному, произвольному одушевленію обязаны своимъ существованіемъ прекраснѣйшія его произведенія, кои возникаютъ изъ глубины духа въ чистотѣ и непорочности, подобно богинѣ, ишедшей изъ тихихъ волнъ океана». Поэтому «съ самыхъ древнихъ временъ признавали величіе и святость искусства»; поэтому «греки чтили худож-

1) Ср. *Fr. Bouterwek. Aesthetik*, S. 192: «Also nicht Nachahmung der Natur, wie man das Wort gewöhnlich versteht, noch weniger Nachahmung der schonen Natur, sondern *ästhetischer Wetteifer mit der Natur ist das Princip und höchste Gesetz der schönen Kunst*.—*Бауманъ*. Вссообщес наертаніе теоріи искусствъ. М., 1832, стр. 25 (§ 18): «Подражаніе бываетъ или рабское, которое занимается точнымъ списываніемъ предметовъ, обращая вниманіе только на внѣшнія ихъ отношенія, какъ-то: на фигуру и наружность, словомъ на частныя ихъ качества; или, дѣлаясь гораздо самостоятельнѣе, оно возвышается до изображенія того, что составляетъ общій характеръ и жизнь всѣхъ вещей—доходить до идей. Тогда подражаніе *становится выше своего названія* и оно-то одно даетъ право на званіе художника; всякій другой—ремесленникъ, какими бы отраслями искусства онъ ни занимался».—Тамъ же, стр. 26—27 (§ 19): «Высшее, благороднѣйшее, основательнѣйшее, достойное разумнаго существа, болѣе истинное понятіе о природѣ есть то, когда мы принимаемъ ее за совокупность всего существующаго (Universum). Тогда открывается, что искусства должны не только заимствовать изъ нея свои матеріалы, но и ее саму брать себѣ за образецъ; ибо внѣ ея предѣловъ нѣтъ ничего дѣйствительнаго. Вся природа есть живой организмъ, и въ нѣдрахъ вселенной разлитъ творческій, зиждительный духъ. Имѣя въ виду сіе возвышенное понятіе, съ болѣею правильною можно утвердить положеніе, что *искусства должны подражать природѣ*, т. е. ея дѣятельной, одушевляющей силѣ; должны, подобно ей, производить живыя, въ самихъ себѣ заключающія начало своего бытія, творенія. Какъ вселенная, созданная по вѣчнымъ неизмѣняемымъ законамъ, опирается на собственномъ средоточіи, покоясь на непоколебимомъ основаніи своего существованія, такъ и всякое изящное произведеніе, выходящее изъ зиждительныхъ рукъ художника, должно быть стройнымъ, самодостаточнымъ. не имѣющимъ нужды въ чужой, посторонней подпорѣ, должно въ маломъ очеркѣ представлять отпечатокъ того высочайшаго изящества которое въ обширномъ объемѣ выражается природою».



никовъ, какъ мудрецовъ, какъ чадъ и любимцевъ боговъ своихъ, и на ихъ изваянія взирали какъ на плодъ вдохновенія, какъ на произведенія», созданныя «при содѣйствіи силъ превыше-человѣческихъ—геніевъ (*genius, δαίμων*)» <sup>1)</sup>.

Лекціи Надеждина составлены подъ вліяніемъ Канта и Бутервека, система котораго положена въ основу курса; съ другой стороны, нельзя не замѣтить отраженія воззрѣній Платона и Шеллинга. Эстетики Аста <sup>2)</sup>, Зольгера и др. также, повидимому, были извѣстны Надеждину. Здѣсь онъ могъ найти мысли, ему симпатичныя, вполне отвѣчавшія его міровоззрѣнію: высокое понятіе объ искусствѣ и поэтѣ. Ему могла нравиться та точка зрѣнія, которая позволяла «смотрѣть на красоту въ мірѣ, какъ на теофанію, какъ на нисхожденіе Божества въ чувственную оболочку, въ которой идея является только для того, чтобы прорвать ее и обнаружить свое высшее происхожденіе, въ противоположность чувственному бытію» <sup>3)</sup>.

Въ прекрасномъ, пишетъ Зольгеръ, сходятся истина и благо; красота состоитъ въ совершенномъ примиреніи противоположностей, противорѣчій: духа и тѣла, свободы и необходимости, божественнаго и земного. Человѣкъ наиболѣе причастенъ красотѣ, ибо въ немъ понятіе и предметъ, душа и тѣло вполне соединяются и переходятъ другъ въ друга. Прекрасное должно, съ одной стороны, быть чѣмъ-то конечнымъ; съ другой—обнаруживать непосредственное присутствіе идеи. Красота возникаетъ тамъ, гдѣ идея сдѣлалась конечной и конечность идей; такимъ образомъ, кажется намъ, обѣ совпадаютъ, и мы воображаемъ, что видимъ третье, въ которомъ божественное и земное становятся однимъ. Божественное въ искусствѣ не представляетъ чего-либо абстрактнаго, но является совершеннымъ сліяніемъ противоположныхъ элементовъ, высшимъ сознаниемъ; оба начала: божественное и

<sup>1)</sup> «О геніи». Журналы, составленные студентами Исаакомъ Ходжаевымъ и Павломъ Прозоровымъ.—Со словъ: «Искусство есть одинъ изъ прекраснѣйшихъ даровъ благого Провидѣнія и т. д.» начинается цитата изъ Бахмана.—Ср. «Всеобщее начертаніе теоріи искусствъ». М., 1832, стр. 16 (§ 12).

<sup>2)</sup> Въ «System der Kunstlehre» Надеждинъ видѣлъ методически строгое, послѣдовательное, связанное и полное развитіе Шеллингова «понятія объ изящномъ и искусствахъ», но не одобрялъ пристрастія Аста къ математическимъ формуламъ (схема треугольника и т. д.) [*Телескопъ*, 1832, № 6, стр. 248].

<sup>3)</sup> *Куно-Фишеръ*. Исторія новой философіи. Шеллингъ, его жизнь, сочиненія и ученіе. Спб., 1905, т. VII, стр. 574.

земное, соединяются въ мистическомъ союзѣ, и Божество обнаруживаетъ себя въ мірѣ. Прекрасное можетъ быть понято только при дѣйствіи всѣхъ душевныхъ силъ; при обыкновенномъ созерцаніи вещей, т. е. природы, нельзя замѣтить ничего, кромѣ ограниченія; лишь въ сознаніи можно найти идею прекраснаго, единство въ противоположностяхъ. Въ каждомъ прекрасномъ предметѣ мы замѣчаемъ идею; потому мы ощущаемъ гармонію нашего сознанія, которое, въ моментъ воспріятія прекраснаго, дѣлаетъ насъ причастными высочайшему божественному бытію. Въ существованіи идеи мы видимъ совершенную жизнь; съ воспріятіемъ прекраснаго соединяется высшее познаніе, отчего уничтожается всякая нужда, и исчезаютъ всѣ противорѣчія. Дѣйствіе красоты состоитъ въ томъ, что она вызываетъ въ насъ чувство единенія съ собою, успокоенія, совершеннаго довольства. Это высшая польза отъ созерцанія прекраснаго, которое нельзя разсматривать какъ средство сдѣлать благое <sup>1)</sup>.

Изъ абсолюта—по мнѣнію Аста—исходитъ вся истина, и онъ является первоосновой всего бытія. Все конечное есть только аллегорія безконечнаго. Божество, созерцая само себя, созерцаемое противопоставляетъ самому себѣ, и отдѣляетъ свое созерцаемое, свое твореніе отъ самого себя, созерцающаго и творящаго; становится объективнымъ, и это объективное представленіе самого себя есть его образъ, вѣчная природа. Проникнутый Божествомъ человѣческій духъ производитъ твореніе, подобное природѣ—созданію Божества, которое оплодотворяетъ художника, чтобы онъ могъ создавать согласно сущности того, что ему открыто. Поэзія представляетъ только символы и подобія абсолюта, такъ какъ послѣдній въ чистомъ видѣ можетъ проявиться посредствомъ самого себя и въ самомъ себѣ. Красота есть символическое проявленіе абсолюта, безконечное въ себѣ, но конечное и человѣческое въ формѣ. Художественное произведеніе должно быть образовано точно такъ, какъ вселенная: должно быть установлено и произведено посредствомъ самого себя безусловно,—потому должно быть безконечно и абсолютно; но форма, какъ ограниченность проявленія,—конечна, такъ [какъ человѣкъ можетъ созерцать и представить абсолютъ только конечнымъ, опредѣленнымъ образомъ. Въ поэзи обнаруживается Божество въ человѣческомъ образѣ и ниспускается съ Олимпа на землю (In der Poesie offenbart sich Gott in

<sup>1)</sup> *K. W. F. Solger. Vorlesungen über Aesthetik. Leipzig, 1829, SS. 72—109.*

der Menschengestalt, und steigt vom Olymp zur Erde herab): является полное согласіе безконечнаго и конечнаго, которыя передъ этимъ, раздѣленные, состязались другъ съ другомъ, — теперь ихъ гнѣвъ примиренъ, и они слились въ безконечной любви. Поэзія, какъ искусство вообще, не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, она сама себѣ цѣль. Прекрасное не есть ни истинное, ни доброе, но идеальный продуктъ и совершенство обоихъ; потому, художественное произведеніе ни истинно, ни полезно, но то и другое въ совершенномъ согласованіи. Прекрасное не можетъ имѣть никакихъ внѣшнихъ законовъ, но оно носитъ законы своего образованія въ самомъ себѣ. Его собственные законы дѣйствуютъ въ моментъ вдохновенія вмѣстѣ съ созерцаніемъ абсолюта. Происходитъ гармонія свободы съ необходимостью. Первые требованія, предъявляемыя къ художественному произведенію, — требованія оригинальности и гениальности: оригинальности, такъ какъ абсолютъ развивается изъ непосредственнаго возбужденія чело-вѣческаго духа, и гениальности, такъ какъ изобразителемъ абсолюта можетъ быть только тотъ, существо котораго уже первоначально проникнуто абсолютомъ, слѣдовательно непосредственно возвѣщаетъ высшее происхожденіе и обнаруживаетъ Божество въ чело-вѣкѣ, тогда какъ талантъ, напротивъ, по своей природѣ, — техническій и эмпирический. «Der Künstler ist Organ und Diener der Gottheit. Er ist das Licht, welches aus dem Chaos der Welt hervorstrahlt, und diese mit dem Aether der Gottheit vermählt, so dass sie sich als ein ewiges Bildniss der göttlichen Welt offenbart. Da der Künstler ferner eine ewige Idee des Absoluten darstellt, so ist er auch, im höheren Sinne des Wortes, Prophet; denn das Absolute, das seine Darstellung verkündet, ist das ewige Ur-seyn aller Dinge, welches also in jeder neuen Bildung wiederkehrt, nur in veränderter Form und Gestaltung. — Demnach ist die Poesie das erste und unmittelbare Element der Religion, so wie die unmittelbarste Offenbarung des Absoluten und Göttlichen» <sup>1)</sup>).

Лекціи Надеждина по исторіи и теоріи изящныхъ искусствъ оказали воздѣйствіе на его слушателей. Философскія воззрѣнія, изложенныя въ стройной системѣ, давали гораздо больше пищи

<sup>1)</sup> *Fr. Ast. System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik.* Leipzig, 1805, SS. 15—58.

уму и сильнѣе возбуждали его пытливость, чѣмъ статьи современныхъ періодическихъ изданій, гдѣ отрывочно, несвязно передавались шеллингианскія идеи. Привлекала вниманіе и археологія. Было любопытно слѣдить за развитіемъ искусства въ глубокой древности, изучать архитектуру Востока, пластику Греціи. Студенты запасались тѣми философскими и историческими книгами, которыя рекомендовалъ имъ профессоръ, усердно изучали его лекціи и писали ему сочиненія. Научные интересы сохранялись и по окончаніи университетскаго курса. Настроеніе молодежи лучше всего отразилось въ перепискѣ Станкевича. Онъ читалъ Геродота, Фукидида, «Ideen» Геерена, «Драматургію» Шлегеля; задавался цѣлю обстоятельно ознакомиться съ «Иліадою», «Одиссеей» и «Символикой» Крейцера; слѣдилъ за выходомъ въ свѣтъ «Логики» Бахмана и статьи: «Объ эстетическомъ образованіи», помѣщенной въ *Телескопъ*. Онъ собирался писать Надеждину или историческое разсужденіе «*О связи изящныхъ искусствъ съ религіей*», или историко-теоретическое «*О театральномъ искусствѣ*»; къ нему сходились коллеги для совмѣстной подготовки къ экзамену Надеждина. Изученіе археологіи вызывало желаніе предпринять путешествіе на Востокъ, — желаніе, сохранившееся и впоследствии. «*Я совершенно съ тобой согласенъ на счетъ Азии*», писалъ пріятелю Станкевичъ: «Сирія, Палестина, Индія—вотъ куда стоитъ поѣхать. Но... вспомни, что мы больше изучали эти земли по древней картѣ, нежели по новой; мы соображаемъ ихъ съ древнею гражданственностью—но сколько воспоминаній и какая должна быть природа»? Съ какимъ чувствомъ предавался юный студентъ занятіямъ, видно изъ слѣдующей замѣтки: «Диссертация Надеждину кипитъ, и если бы не скверная бумага, о которую безпрестанно притупляются перья, то она бы одушевила меня».

Одушевленіе было особенно сильно во время занятій философій. Въ сентябрѣ 1834 года Станкевичъ «прочелъ «Систему трансцендентальнаго идеализма», понялъ цѣлое ея строеніе, тѣмъ болѣе, что оно было» ему «напередъ довольно извѣстно; но плохо понималъ цементъ, которымъ связаны различныя части этого зданія», и «разбиралъ его понемногу». «Это одушевляло» его «къ другимъ трудамъ, ибо только цѣлое, только имѣющее цѣль, могло манить» его; если бы онъ не читалъ «Практической философіи» Шеллинга, онъ бы «никогда не принялся съ такою охотою за исторію». Въ октябрѣ онъ уже «гораздо болѣе понималъ Шеллинга, нежели въ первый разъ, хотя и потѣлъ иногда». «Ему

часто непонятенъ только ходъ мышленія» нѣмецкаго философа но «система» его «уяснилась». Какъ «много интересовъ» ни пробудила въ Станкевичѣ эта система, онъ пришелъ къ убѣжденію, что основательное усвоеніе взглядовъ Шеллинга едва ли возможно безъ изученія Канта, на котораго такъ часто ссылался въ лекціяхъ Надеждинъ, и въ 1835 году, вмѣстѣ съ Ключниковымъ, принялся пополнять пробѣлы своего образованія. «Мы читали», пишетъ онъ Я. М. Невѣрову: «Шеллинга,—и если не поняли вполне его хода, его діалектики, то постигнули основныя идеи, сущность системы. *Чтобы возвести свое горячее убѣжденіе на степень знанія, надобно хорошенько изучить основаніе, на которомъ утверждается новая нѣмецкая философія. Это основаніе—система Канта.* Уничтоживъ догматическія попытки метафизики, онъ указалъ ей новую дорогу. Онъ вывелъ, что чистыя, преждеопытныя понятія нашего ума есть только формы, которыя должны быть наполнены опытностью и внѣ ея теряютъ свое значеніе. Слѣдственно, эти чистыя понятія не могутъ служить органомъ для рѣшенія вопросовъ о душѣ, свободѣ, безсмертіи, предлагаемыхъ обыкновенно въ метафизикѣ. Эти три предмета постигаются практическимъ умомъ, имъ *втрываютъ*. Итакъ, Кантъ, съ одной стороны, навсегда оградилъ убѣжденіе отъ ударовъ скептицизма, а, съ другой,—указалъ новую задачу философамъ: отыскать начало и возможность знанія, какъ прежде отыскивали начало и возможность міра. Шеллингъ взялся за рѣшеніе этого вопроса. Съ строгою послѣдовательностью отыскалъ онъ, что основное начало нашего знанія есть самосознаніе. Оно выше всего, ему нѣтъ причины, оно не доказывается, а чувствуется, и служитъ опорю всякому другому знанію. Изъ этого начала (я—я) онъ долженъ былъ построить все человѣческое разумѣніе по закону необходимости и нашелъ, что между чистымъ, отрѣшеннымъ самосознаніемъ и полнымъ разумѣніемъ лежитъ цѣлая природа, какъ необходимое звено, какъ условіе, подъ которымъ простое самосознаніе можетъ развиваться въ полное разумѣніе. Онъ изслѣдовалъ одно только знаніе, но какъ-будто мимоходомъ коснулся и природы. *До Канта философія была только поэзія или пустая діалектика; съ Канта она стала наукою, ибо изслѣдованіемъ умственныхъ способностей положилъ онъ ей прочное основаніе. Гегеля я еще не знаю. Теперь ты видишь, какъ необходимо изученіе Канта для того, кто желаетъ стать наравнѣ съ лучшими идеями нашего вѣка, понять торжество человѣческаго*

ума, его заслугу въ наше время. А какъ не хотѣтъ этого? не хотѣтъ намъ, которые толкуемъ о жизни, о благѣ, о человечествѣ, о средствахъ быть ему полезнымъ? Но быть полезнымъ—неужели значить указать средства къ пропитанію, къ спокойному житію, къ удобствамъ жизни, къ эгоистическому образованію, которое бы умножало удовольствія жизни? *Не лучше ли внушить ему высокія убѣжденія, сознание своего достоинства, христіанскія истины?* Религіозный оттѣнокъ, которымъ отличались философскіе взгляды Станкевича, вполне понятенъ, такъ какъ въ своихъ лекціяхъ Надеждинъ, слѣдуя примѣру своихъ учителей—профессоровъ духовной академіи, стремился къ примиренію христіанскаго ученія съ новѣйшими выводами нѣмецкой философіи. «Потребность вѣры становится для меня сильнѣе и сильнѣе», сознавался Станкевичъ. «Я теперь понимаю религію! Безъ нея нѣтъ человѣка! Какой свѣтъ восходитъ для души, примиряющейся съ Божествомъ посредствомъ благихъ уставовъ религіи! Вся природа обновляется; тяжелые нравственные вопросы, не разрѣшимые для ума, рѣшаются безъ малѣйшей борьбы; жизнь снова одѣвается въ радужныя ткани, становится прекрасною и высокою»... «Между безконечностью и человѣкомъ, какъ онъ ни уменъ, всегда остается бездна, и одна вѣра, одна религія въ состояніи перешагнуть ее, одна она въ состояніи наполнить пустоту, вѣчно остающуюся въ человѣческомъ знаніи. *Но та система хороша, которая не мѣшаетъ втраваніямъ*, составляющимъ интегральную часть человѣческаго существа, и содержитъ побужденія къ добрымъ подвигамъ»!.. Шеллингъ «показаль, до чего умъ человѣческій можетъ дойти, основавшись» «на чистомъ самосознаніи и созерцаніи. Выше возможна одна только ступень (можетъ быть, еще будутъ системы; но, кажется, полнѣе, смѣлѣе, выше этой, едва ли будетъ)—*проникновеніе этой системы религіею, или религіи—этою системою. Она можетъ развиваться въ чистое христіанство*»<sup>1)</sup>).

Кромѣ Станкевича, постояннымъ слушателемъ Надеждина былъ Бѣлинскій. Въ его «Литературныхъ Мечтаніяхъ» (1834) отразилось непосредственное вліяніе того курса, содержаніе котораго изложено выше; сопоставленіе отдѣльныхъ мѣстъ статьи и лекцій

---

<sup>1)</sup> П. В. Анненковъ. Н. В. Станкевичъ. Переписка его и біографія. М., 1857. Переписка, стр. 3, 36—37, 39, 70, 74, 81, 84, 85, 88—89, 98—99, 101—102, 106—107, 128, 131, 153—155, 156, 158, 187, 190.

даетъ достаточныя основанія для подобнаго заключенія. Плохое знаніе иностранныхъ языковъ усиливало зависимость Бѣлинскаго отъ Надеждина, такъ какъ философскія произведенія, мало вразумительныя даже для болѣе образованныхъ студентовъ, свободно читавшихъ по-нѣмецки, не могли быть ему доступны въ оригиналѣ; его неспособность къ отвлеченному мышленію не позволяла развить эстетическія воззрѣнія въ должной полнотѣ и послѣдовательности. *«Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ— читаемъ въ «Литературныхъ Мечтаніяхъ»— есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единого, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи<sup>1)</sup>»*. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечныя, а кровь—чистый эфиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, то-есть безпрестанно творитъ, чтобы разрушать, и разрушаетъ, чтобы творить»... «Такъ идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи; за наводненіемъ и за лавою ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительною грозой—чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая; гдѣ же ея любовь? *Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею своимъ умомъ и знаніемъ, да приобщится къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствъ безконечной зяждущей любви. Итакъ, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ»...<sup>2)</sup>*. «Если же при

<sup>1)</sup> Курсивомъ отмѣчаются мѣста, къ которымъ можно подыскать параллели въ лекціяхъ Надеждина.

<sup>2)</sup> Въ статьѣ Надеждина: «О высокомъ». высказана подобная же мысль: «Обшиная чувствомъ необятное для понятій нашихъ величіе» высокихъ предметовъ и «разгадывая въ восторгахъ одушевленія тайную связь ихъ съ безпредѣльнымъ началомъ всего великаго, душа наша сознаетъ собственное свое равенство съ ними и любитъ испытываемымъ могуществомъ силъ своихъ, для которыхъ никакое величіе не недоступно. Это возбуждаетъ въ ней святую гордость человѣческимъ бытіемъ своимъ» (ср. Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1900, т. I, стр. 418—421).

твоёмъ рожденіи, природа возложила на твое чело печать генія, дала тебѣ вѣщія уста пророка и сладкій голосъ поэта, если міро-державныя судьбы обрекли тебя быть двигателемъ чловѣчества, апостоломъ истины и знанія»,—«сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отвержай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго». «Какое же назначеніе и какая цѣль искусства? Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы»... «Только въ гармоніи ума и чувства заключается высочайшее совершенство чловѣка! Чѣмъ выше геній поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обвиняетъ онъ природу и тѣмъ съ бѣльшимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни». «Все искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы поставить читателя на такую точку зрѣнія, съ которой бы ему видна была вся природа въ сокращеніи, въ миниатюрѣ, какъ земной шаръ на ландкартѣ, чтобы дать ему почувствовать вѣяніе, дыханіе этой жизни, которая одушевляетъ вселенную, сообщить его душѣ этотъ огонь, который согреваетъ ее <sup>1)</sup>. Наслажденіе же изящнымъ должно состоять въ минутномъ забвеніи нашего «я», въ живомъ сочувствіи съ общею жизнію природы; и поэтъ всегда достигнетъ этой прекрасной цѣли, если его произведеніе есть плодъ возвышеннаго ума и горячаго чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось изъ его души». «Поэзія не ищетъ цѣли внѣ себя. Доколь поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, доколь онъ нравственъ, доколь онъ и поэтъ; но какъ скоро онъ предположилъ себѣ цѣль, задалъ тему, онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ, онъ теряетъ надо мной

---

1) Въ статьѣ Надеждина: «Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія», говорится: «Красота разлита въ природѣ, подобно свѣту, коимъ глазъ всюду наслаждается, не разлпчая радужной гармоніи цвѣтовъ, составляющихъ его цѣлость. Сія гармонія доступна для него только въ призмѣ. Точно также и сіяніе красоты, озлащающее вселенную, оцвѣтляется только тогда, когда уловляется въ опредѣленномъ пзящномъ издѣліи. Сіе оцвѣтленіе имѣетъ для насъ не одну ту выгоду, что, умѣряя ея сіяніе, дозволяетъ разсматривать ее въ миниатюрной какъ бы цѣлости, но и ту еще, что, представляя намъ красоту, какъ дѣло собственныхъ нашихъ рукъ, ободряетъ насъ къ благородному соревнованію и подкрѣпляетъ на поприщѣ творческаго дѣйствованія» (Телескопъ, 1831, № 10, стр. 131—154).



свою чародѣйскую власть, разрушаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ, если, при истинномъ талантѣ, имѣть похвальную цѣль, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей» <sup>1)</sup>).

Въ другой статьѣ: «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя» (1835), Бѣлинскій опредѣляетъ самый «актъ творчества». «Способность творчества есть великій даръ природы; актъ—творчества, въ душѣ творящей, есть великое таинство; минута творчества есть минута великаго священнодѣйствія; *творчество безцѣльно съ цѣлію, бессознательно съ сознаниемъ, свободно съ зависимостью*: вотъ его основные законы». «Легко объяснить», что такое «безцѣльность съ цѣлію, бессознательность съ сознаниемъ. Когда поэтъ творитъ, то хочетъ выразить, въ поэтическомъ символѣ, какую-нибудь идею, слѣдовательно имѣетъ цѣль и дѣйствуетъ съ сознаниемъ. Но ни выборъ идеи, ни ея развитіе не зависитъ отъ его воли, управляемой умомъ, слѣдовательно его дѣйствіе безцѣльно и бессознательно. Теперь, что такое свобода творчества отъ лица творящаго при зависимости отъ него? Поэтъ есть рабъ своего предмета, ибо не властенъ ни въ его выборѣ, ни въ его развитіи, ибо не можетъ творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной волѣ, если не чувствуетъ вдохновенія, которое рѣшительно не зависитъ отъ него: слѣдовательно, творчество свободно и независимо отъ лица творящаго, которое здѣсь является столько же страдательнымъ, сколько и дѣйствующимъ» <sup>2)</sup>).

Прошло нѣсколько лѣтъ со времени появленія статьи о Гоголѣ, и многимъ видоизмѣненіямъ подверглось міровоззрѣніе Бѣлинскаго, не находившаго удовлетворенія, вслѣдствіе страстности и неровности своего темперамента, ни въ одной философской системѣ: Шеллинга онъ замѣнилъ Фихте, который, въ свою очередь, былъ смѣненъ Гегелемъ, такъ мало отвѣчавшимъ на тревожные запросы нравственнаго чувства своей холодной формулой: «все, что дѣйствительно, разумно». Но мѣняя одно философское положеніе на другое, жадно хватаясь за разные выводы то одной, то другой отвлеченной теоріи, въ тщетныхъ поискахъ истины, и съ грустью сознавая, что его «природа враждебна мышленію», что «отвле-

<sup>1)</sup> Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1900, т. I, стр. 318—323.

<sup>2)</sup> Тамъ же, т. II, стр. 214, 216.

ченіе—не его сфера», Бѣлинскій «въ вопросахъ эстетическихъ остается въ общемъ тѣмъ же, что и раньше» <sup>1)</sup>). Въ его стагьяхъ 1840—1841 гг. встрѣчаются мысли, которыя можно найти и въ лекціяхъ Надеждина. «Поэзія», пишетъ Бѣлинскій въ своемъ разборѣ «Горя отъ ума» Грибоѣдова (1840): *«есть истина въ формѣ созерцанія; ея созданія—воплотившіяся идеи, видимыя, созерцаемыя идеи. Слѣдовательно, поэзія есть та же философія, то же мышленіе, потому что имѣетъ то же содержаніе—абсолютную истину, но только не въ формѣ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, а въ формѣ непосредственнаго явленія идеи въ образѣ. Поэтъ мыслитъ образами; онъ не доказываетъ истины, а показываетъ ее. Но поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя—она сама себѣ цѣль; слѣдовательно, поэтическій образъ не есть что-нибудь внѣшнее для поэта, или второстепенное, не есть средство, но есть цѣль»... «Поэтъ никогда не предполагаетъ себѣ развитъ ту или другую идею, никогда не задаетъ себѣ задачи: безъ вѣдома и безъ воли его возникаютъ въ фантазіи его образы, и, очарованный ихъ прелестью, онъ стремится изъ области идеаловъ и возможности перенести ихъ въ дѣйствительность, то есть видимое одному ему сдѣлать видимымъ для всѣхъ» <sup>2)</sup>).*

—Къ тому же излюбленному вопросу объ искусствѣ возвращается Бѣлинскій въ очеркѣ: «Стихотворенія М. Лермонтова» (1841). «Неисчислимы и разнообразны предметы міра», говорятъ здѣсь Бѣлинскій: «но въ нихъ есть единство, и всѣ они—частныя явленія общаго»... «Много прекраснаго въ живой дѣйствительности, или, лучше сказать, все прекрасное заключается только въ живой дѣйствительности; но чтобы насладиться этою дѣйствительностью, мы сперва должны овладѣть ею въ нашемъ разумѣніи, а это возможно только при двухъ условіяхъ: мы должны обнимать ее въ цѣлости и притомъ предметно, такъ, чтобы наша личность, наши отношенія не заслоняли ее отъ насъ. И мы этимъ пользуемся, но только въ рѣдкія минуты восторга, въ неожиданныя мгновенія какого-то внезапнаго внутренняго откровенія; по большей части, мы теряемся во множествѣ частныхъ и, не видя за ними цѣлага, ничего въ нихъ не понимаемъ». Далѣе

<sup>1)</sup> Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1902, т. VI, стр. 554, примѣчаніе 7-ое.

<sup>2)</sup> Тамъ же, т. V, стр. 33—34.

Бѣлинскій касается поэтического ученія Платона, на котораго ссылался въ своемъ курсѣ Надеждинъ. «*Вотъ какъ понималъ красоту «божественный Платонъ» и какъ во все вѣка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные»*, пишетъ Бѣлинскій, быть можетъ, даже вспоминая лекціи своего учителя: «*Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ чело-вѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты»*. «Какъ красота, такъ и поэзія—выразительница и жрица красоты, сама себѣ цѣль, и внѣ себя не имѣетъ никакой цѣли... *Поэзія говоритъ душѣ образами, и ея образы суть выраженіе той вѣчной красоты, первообразъ которой блещетъ въ мірозданіи и во всякъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ, но самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозитъ, какъ свѣтъ въ граненомъ хрусталѣ»*. «*Поэтъ—благороднѣйшій сосудъ дуга, избранный любимецъ небесъ, таинникъ природы, эолова арфа чувствъ и ощущеній, органъ міровой жизни. Еще дитя, онъ уже сильнѣе другихъ сознаетъ свое родство со вселенной, свою кровную связь съ нею; юноша—онъ уже переводитъ на понятный языкъ ея нѣмую рѣчь, ея таинственный лепетъ»*. «*Поэтъ не подражаетъ природѣ, но соперничествуетъ съ нею,—и его созданія исходятъ изъ того же источника, тѣмъ же самымъ процессомъ, какъ и всѣ явленія природы»*. «*Вдохновеніе есть источникъ всякаго творчества; но искусство выше природы настолько, насколько всякое сознательное и свободное дѣйствіе выше безсознательнаго и невольнаго. Но сознаніе, при актѣ творчества, есть не дѣятель, а только какъ бы свидѣтель, дабы творчество было художнику въ наслажденіе и награду. Конечно, всякое дѣйствіе есть уже, необходимо, и сознаніе; но подъ сознаніемъ въ творчествѣ не должно разумѣть дѣятельность разсудка, трудъ соображенія, расчета и механическую работу: вдохновеніе, которое Платонъ называетъ манією,—вотъ единственный дѣятель творчества, а разсудокъ враждебенъ творчеству и мертвитъ его. Кто—говоритъ Платонъ—безъ маніи, внушаемой музами, прихордитъ къ вратамъ*

поэзии, убежденный въ томъ, что искусствомъ (ἐκ τέχνης) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія благоразумнаго, будетъ отличаться отъ поэзіи безумствующихъ»... «Ясно, что Платонъ «благоразуміемъ» называетъ разсудочное, обыкновенное, будничное, такъ сказать, состояніе нашего духа и подъ «безуміемъ» разумѣетъ тотъ божественный паѳосъ, то состояніе вдохновеннаго ясновидѣнія, когда разумъ челоуѣка созерцаетъ таинство высшаго міра, а воля его движетъ горами» 1).

Должно думать, что, съ обнаруженіемъ лекцій Надеждина, ясно доказана несостоятельность того мнѣнія, что въ его сочиненіяхъ «нѣтъ никакой сколько-нибудь цѣльной философско-эстетической теоріи искусства», что «непосредственное вліяніе его на эстетическіе взгляды Бѣлинскаго» надо «свести» «до минимума»; что преимущественно «худому» можно было научиться у такого учителя, что сужденія его отличались «пошлостью», «школярствомъ», «педаантизмомъ», отливались въ форму «семинарской риторики» 2). Ни произведенія Одоевскаго, Веневитинова, Кирѣевскаго, ни «многое множество статей *Мнемозины*, *Московского Вѣстника* и *Московского Телеграфа*» не давали той серьезной научной системы, въ которой проявились философскія воззрѣнія Надеждина. Именно подъ его вліяніемъ студенты стали интересоваться не только Шеллингомъ, но и Кантомъ, причеиъ взгляды ихъ, естественно, принимали религіозный отгѣнокъ, свойственный ихъ профессору; они постепенно уясняли себѣ тѣ теоріи, которымъ суждено было сыграть видную роль въ могучемъ литературномъ движеніи, извѣстномъ подъ названіемъ «романтическаго»; они знакомились съ серьезными трудами по исторіи и теоріи искусства, писали рефераты. Пусть научные принципы, проводимые Надеждинымъ, не были оригинальны; но кто могъ похвалиться особой оригинальностью въ его время? За то въ его лекціяхъ, кромѣ системы, много матеріала, много глу-

1) Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1903, т. VI, стр. 7, 10—12, 14, 18—21.

2) Тамъ же, т. I, стр. 397, 417—418; 421—425, 450.—Ср. необоснованную, но замѣчательно рѣзкую по тону замѣтку Е. А. Боброва: «И. А. Гончаровъ о Н. И. Надеждиѣ», и нашъ отвѣтъ на нее (*Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ*, 1909, кн. 1-я, стр. 114—124; кн. 4-я, стр. 102—105).

бокихъ идей, до которыхъ далеко наивнымъ шеллингистамъ *Московского Вѣстника*; живая рѣчь его увлекала студентовъ, заражала ихъ, бодрила въ умственной работѣ.

Мои лекціи «не погибли», говорилъ Надеждинъ: «онѣ напечатаны въ душѣ слушателей; онѣ разошлись съ ними по всѣмъ концамъ нашего отечества. Каждый внимательный слушатель есть живая книга, гдѣ идеи профессора изображаются яркими, неизгладимыми буквами, гдѣ онѣ не стынутъ, не умираютъ какъ на печатномъ листѣ, а переходятъ въ жизнь. Какое дѣло профессору до публики? Публика должна судить его по живымъ плодамъ, которые должны приносить сѣмена, имъ разсѣваемыя. «Вотъ мои книги!» можетъ сказать каждый профессоръ, съ гордостью указывая на молодыхъ людей, осуществившихъ его идеи»<sup>1)</sup>).

Не вездѣ, конечно, идеи Надеждина воспринимались такъ быстро и развивались такъ успѣшно, какъ среди студенчества, хотя онъ и старался распространять ихъ съ неутомимымъ рвеніемъ, которое сказалось рѣшительно во всѣхъ сферахъ его разносторонней университетской дѣятельности<sup>2)</sup>). Надеждинъ не имѣлъ успѣха, пытаясь возродить пришедшее въ упадокъ Общество любителей россійской словесности.

Въ члены общества Надеждинъ былъ избранъ въ 1834 году. По своей натурѣ не склонный играть роль «номинальнаго закладателя», онъ въ первомъ же собраніи, въ которомъ присутствовалъ, произнесъ рѣчь, настойчиво предлагая принять безотлагательныя мѣры для оживленія медленно угасавшаго общества. Онъ указывалъ на критическій моментъ, который оно переживаетъ: оно должно «не продолжать, а начинать вновь свое существованіе»; оно долго бездѣйствовало, и потому «уже нѣсколько лѣтъ отъ него существуетъ только имя въ адресъ-календарѣ»; всѣ перестали дорожить рассылаемыми обществомъ дипломами. Этого мало! Оно теперь даже не можетъ рассылать дипломы, если бъ и хотѣло, потому что «нечѣмъ ихъ печатать»: «доска, послѣдній остатокъ его существованія, и та погибла! Ее, говорятъ, удер-

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXII, стр. 585—586.

<sup>2)</sup> Надеждинъ былъ членомъ училищнаго комитета (1832—1835), членомъ комитета для испытанія гражданскихъ чиновниковъ (1833—1835), надзирателемъ курсовъ для чиновниковъ, службою обзанныхъ (1834—1835), секретаремъ университетскаго совѣта (1833—1835) и участвовалъ въ изданіи *Ученыхъ Записокъ* университета (*Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 14—15).

жали за долги въ типографіи, и, можетъ быть, такъ же продадутъ съ молотка, какъ продаютъ труды» почтенныхъ членовъ.

Очевидно, общество, «отживъ свой вѣкъ, исполнило свою задачу». При его учрежденіи имѣлось въ виду «распространять свѣдѣнія о правилахъ и образцахъ здоровой словесности» и «доставлять публикѣ обработанныя сочиненія въ стихахъ и прозѣ». Такая цѣль утратила свое значеніе, и обществу необходимо измѣнить свою программу и заняться изслѣдованіемъ исторіи нашей словесности и языка. «Пусть каждый, кто изъявитъ желаніе», говорилъ Надеждинъ: «возьметъ себѣ по выбору ту часть, которая къ нему ближе, которою онъ преимущественно занимался, и обрабатываетъ постепенно ея важнѣйшія явленія, сообразно предположенной точкѣ зрѣнія».

Это дѣльное предложеніе было выслушано, вѣроятно одобрено, но не пробудило въ членахъ общества желанія серьезно работать по примѣру ихъ младшаго товарища <sup>1)</sup>.

Важнѣе участія Надеждина въ трудахъ общества были его визитации, или осмотры низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній Московскаго округа, которыми завѣдывалъ тогда совѣтъ университета подѣ ближайшимъ наблюденіемъ попечителя. Въ теченіе двухъ лѣтъ (1833—1834) Надеждинъ посѣщалъ столичныя и провинціальныя (рязанскія, тверскія, тульскія) училища, вездѣ старался вникнуть въ дѣло, а не относился къ нему поверхностно. По своему педагогическому навыку и проницательности онъ сразу отмѣчалъ полезныхъ и старательныхъ учителей, поощрялъ ихъ, представлялъ къ наградамъ и, наоборотъ, требовалъ наложенія взысканій на лицъ, уклоняющихся отъ исполненія своихъ обязанностей. Ничто не ускользало отъ пытливаго взора визитатора: ни плохое помѣщеніе, ни нерадѣніе почетныхъ смотрителей, ни разстройство хозяйственной части, ни беспорядокъ въ дѣлопроизводствѣ. Кромѣ частныхъ замѣчаній, касавшихся отдѣльных лицъ, Надеждинъ затронулъ въ своихъ отчетахъ вопросы общаго характера: «о преподаваніи нѣкоторыхъ предметовъ, о составѣ гимназическихъ совѣтовъ, о кругѣ ихъ дѣятельности, о средствахъ къ содержанію приходскихъ училищъ».

Осмотрѣвъ московскія заведенія <sup>2)</sup>, онъ обратилъ вниманіе на

---

<sup>1)</sup> *Библиографическія Записки*, 1858, т. I, № 17, стр. 541—544.

<sup>2)</sup> Визитация этихъ училищъ была произведена Надеждинымъ вмѣстѣ съ профессоромъ М. Г. Павловымъ.

недостатокъ въ учебныхъ пособіяхъ и отсутствіе библіотекъ; «на крайне бѣдное жалованье приходскихъ учителей, не представляющее никакой соразмѣрности съ ихъ трудами»; на чрезвычайно малое число приходскихъ школъ сравнительно съ обширностью и народонаселеніемъ Москвы; на отсутствіе въ уѣздныхъ училищахъ «дополнительныхъ курсовъ, относящихся къ промышленности и торговлѣ», весьма полезныхъ для дѣтей изъ купеческаго и мѣщанскаго сословія; на вредъ «механическаго затверживанія наизусть» учебниковъ и на неспособность либо нежеланіе педагоговъ примѣниться къ потребностямъ обучающихся.

Отчеты Надеждина вмѣстѣ съ одобрительными отзывами о нихъ училищнаго комитета были представлены чрезъ попечителя министру. И даже неблаговолившій къ визитатору Уваровъ, ознакомившись съ ними, былъ вынужденъ дважды объявить ему свою признательность и выхлопотать денежную награду въ размѣрѣ тысячи рублей <sup>1)</sup>).

Визитаціи, исполненіе особыхъ порученій совѣта, чтеніе лекцій, практическія занятія со студентами требовали сильнаго умственного и физическаго напряженія, и только изумительная работоспособность и большая выносливость некрѣпкаго, но съ дѣтства пріученнаго къ постоянному упорному труду организма позволяли Надеждину посвящать часы досуга не отдыху, а изданію журнала, который своимъ направленіемъ, талантливіестью сотрудниковъ и трагичной судьбою стяжалъ себѣ громкую извѣстность.

---

<sup>1)</sup> *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 25—40.

## VI.

Ходатайство Надеждина о разрѣшеніи издавать *Телескопъ*. — Программа *Телескопа* и его сотрудники. — Вліяніе иностранной журналистики. — Статьи издателя: публицистическія и литературныя. — Вліяніе М. Т. Каченовскаго на развитие скептицизма Надеждина. — Очерки, посвященные вопросу о русской народности. — Полемика съ Полевымъ, Гречемъ, Булгаринымъ и Сенковскимъ.

«Желая по мѣрѣ силъ моихъ содѣйствовать отечественному просвѣщенію, намѣренъ я съ будущаго 1831 года издавать журналъ, коего программу при семъ прилагая, прошу исходатайствовать мнѣ позволеніе на сіе изданіе», писалъ въ Московскій цензурный комитетъ Надеждинъ осенью 1830 г. <sup>1)</sup>. — Цензурное вѣдомство, не усмотрѣвъ никакихъ мотивовъ для отказа, удовлетворило просьбу молодого доктора изящныхъ наукъ, который сдѣлался редакторомъ *Телескопа* <sup>2)</sup> и *Молвы* и немедленно началъ печатать объявленія о своемъ предпріятіи <sup>3)</sup>.

Въ планѣ изданія Надеждинъ подражалъ уже готовымъ образцамъ, именно тому типу журнала, который былъ созданъ Николаемъ Полевымъ. *Телескопъ* распадался на шесть отдѣловъ: первый — «Современная лѣтопись», т. е. обзорніе важнѣйшихъ историческихъ происшествій; второй — «Изящная словесность»; третій — «Критика»; четвертый — «Науки» (этико-политическія, физико-математическія и историко-философскія); пятый — «Нравы», или «Сцены изъ общественной и частной жизни», и, наконецъ, шестой — «Смѣсь». — Намѣреваясь сдѣлать свой журналъ «указателемъ современнаго просвѣщенія», Надеждинъ «старался доставить

---

<sup>1)</sup> Архивъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Дѣло № 146, 971.

<sup>2)</sup> Журналы съ подобнымъ заглавіемъ существовали во Франціи. Намъ пзвѣстенъ *Le Telescope français*, издававшійся въ 1797 г. (*E. Hatin. Bibliographie de la presse périodique française. Paris, 1866, p. 279*).

<sup>3)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1830, №№ 19 — 20, стр. 313 — 317; *Московскій Вѣстникъ*, 1830, ч. V, стр. 222—226.



въ немъ образованной публикѣ вмѣстѣ и пріятное чтеніе». Онъ «вмѣнилъ себѣ въ непремѣнную обязанность, чтобы помѣщаемыя статьи были предлагаемы подѣ формою сколько возможно легкою и неутомительною для вниманія, даже и тогда, когда, вслѣдствіе обширности предполагаемаго плана, должно будетъ касаться предметовъ высшаго умозрѣнія». «Важной тайнѣ соединять полезное съ пріятнымъ» редакторъ намѣревался учиться у «европейскихъ журналистовъ, преимущественно, французскихъ и англійскихъ»; но «принимая ихъ въ образецъ и руководство», онъ «не ограничился пособіями, у нихъ заимствованными». Надеждинъ хотѣлъ создать журналъ «*собственно русскій*». «Отечественное просвѣщеніе» составляло для него главнѣйшій предметъ, на который онъ постоянно обращалъ вниманіе». «Пользуясь довѣренностью многихъ *собственно русскихъ* ученыхъ, литераторовъ и артистовъ, изъ которыхъ нѣкоторые снискали европейскую извѣстность», редакторъ «ласкалъ себя надеждою, что онъ можетъ подать случай публикѣ ознакомиться со многими опытами *русскаго* трудолюбія и дарованія, представляющими собой положительныя доказательства, что благородная русская гордость не должна ограничиваться одними безотчетными восклицаніями»... И онъ имѣлъ нѣкоторое основаніе питать эту сладкую надежду, потому что заручился «дѣятельными сотрудниками и корреспондентами какъ по разнымъ городамъ Россіи, такъ и въ чужихъ краяхъ».

Подобно Верону, издателю *Парижскаго Обозрѣнія (Revue de Paris)* <sup>1)</sup>, служившаго главнымъ иностраннымъ источникомъ для *Телескопа*, Надеждинъ охотно печаталъ на страницахъ своего журнала и статьи новичковъ въ литературномъ дѣлѣ, только начинавшихъ пробовать свои силы, и произведенія поэтовъ, критиковъ и ученыхъ, уже пользовавшихся популярностью, имѣвшихъ опредѣленную, установившуюся репутацію и громкое имя. Ему, какъ и французскому журналисту, было важно дать возможность проявить свои дарованія юнымъ талантамъ, еще неизвѣстнымъ, но подававшимъ надежды и жаждавшимъ увидѣть въ печати свои, иной разъ незрѣлые, опыты. Поэтому въ *Телескопѣ* и

---

<sup>1)</sup> Людовикъ Веронъ (род. въ 1798 г., ум. въ 1867 г.), докторъ медицины, публицистъ и политическій дѣятель, въ 1829 г. основалъ *Revue de Paris*, гдѣ сотрудничали многіе весьма талантливые молодые писатели, а съ 1831 по 1835 г. завѣдывалъ оперой (*E. Hatin. Bibliographie de la presse périodique française. Paris, 1866, p. 367.*)

*Молва*, наряду съ именами Пушкина и Жуковского <sup>1)</sup>, попадаютъ имена многихъ членовъ кружка Станкевича и вообще студентовъ московскаго университета. Молодежь довѣрчиво и благожелательно относилась къ Надеждину: несла ему на просмотръ и подвергала его суду свои работы. Здѣсь были стихогворенія: оригинальныя и подражанія; переводы изъ выдающихся иностранныхъ сочиненій и, наконецъ, самостоятельныя научныя разысканія. Стихи доставляли Станкевичъ <sup>2)</sup>, К. Аксаковъ <sup>3)</sup>, Красовъ <sup>4)</sup>; переводы съ французскаго и критическія статьи—Бѣлинскій <sup>5)</sup>; переводы съ нѣмецкаго и чешскаго—Огаревъ <sup>6)</sup>, Бакунинъ <sup>7)</sup> и Бодянский <sup>8)</sup>; беллетристику и историческія диссертаціи—С. М. Строевъ <sup>9)</sup>. Сосланный въ Вятку Герценъ черезъ Кетчера при-

1) *Молва*, 1833, № 45: «Князю Дмитрію Владимировичу Голицыну».

2) Стихотворенія: «Ночные духи», «Мгновенье», «Къ мѣсяцу» (подражаніе Гете), «Не сожалѣй». — Кромѣ того Станкевичъ напечаталъ разсказъ: «Нѣсколько мгновеній изъ жизни графа Z\*\*\*», и переводныя статьи: «Лютеръ на Вормскомъ сеймѣ» (Минье) и «Опытъ о философіи Гегеля» (Вильма) [*Телескопъ*, 1831, № 8; 1832, №№ 6, 9; 1834, ч. 21; 1835, №№ 8, 13—15.—*Молва*, 1832, № 70].

3) «Воспоминаніе», «Скала», «Русская легенда», «Степь», «Орель и Поэтъ», «Гроза» (*Телескопъ*, 1835, №№ 12, 17).—«Олеги подъ Константинополемъ» (отрывокъ изъ большой неоконченной поэмы) [*Молва*, 1835, №№ 27—30].

4) «Къ Уралу», «Булатъ», «Еврей», «Лира Байрона», «Чаша»; «Стихи, пѣтые на торжественномъ актѣ Императорскаго Московскаго университета»; «Къ \*\*\*», «Пѣсня», «Звуки», «Грусть», «Она» (*Молва*, 1833, №№ 27, 36, 39, 42, 72, 81.—*Телескопъ*, 1835, №№ 7—8).

5) См. Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1900—1901, тт. I—III.—Изъ большихъ статей критика въ *Телескопѣ* и *Молвѣ* напечатаны: «Литературныя Мечтанія», «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», «Ничто о ничемъ, или отчетъ г. издателю *Телескопа* за послѣднее полугодіе», «О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ *Московского Наблюдателя*» (*Молва*, 1834, №№ 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49—52.—*Телескопъ*, 1835, №№ 7, 8; 1836, №№ 1—6).

6) «Сравнительное представленіе всеобщей пирамиды языковъ (изъ философіи исторіи Ф. Шлегеля)» [*Телескопъ*, 1831, № 15].

7) «I. Г. Фихте. лекціи о назначеніи ученыхъ» (*Телескопъ*, 1835, ч. XXIX).

8) «Обозрѣніе новѣйшей литературы пллирійскихъ славянъ. П. I. Шафарика» (*Телескопъ*, 1836, №№ 9—12).—Ср. «Письмо къ издателю (объ изданіи собранія пѣсенъ галиційскихъ)» [*Молва*, 1834, № 42].

9) «Четверть часа послѣ субботнихъ вечеровъ» (*Молва*, 1833, №№ 88—90).—Надеждинъ перепечаталъ также предисловіе сочиненія Сергѣя Скромненка: «Критическій взглядъ на статью подъ заглавіемъ: «Скандинавскія саги», помещенную въ первомъ томѣ *Библиотеки для Чтенія*» (*Молва*, 1834, № 13, стр. 198).

строилъ въ *Телескопъ* своего «Гофмана»<sup>1)</sup>, и даже Гончаровъ, сторонившійся кружка юныхъ идеалистовъ, вручилъ Надеждину свой первый литературный трудъ: «Отрывокъ изъ романа Евгения Сю «Атаръ Гюль»<sup>2)</sup>).

Составъ сотрудниковъ *Телескопа* былъ вообще довольно разнообразенъ. Редакторъ старался «удовлетворить требованіямъ публики», «дѣлалъ все, что могъ дѣлать», и привлекалъ въ журналъ лучшія силы<sup>3)</sup>.— Въ отдѣлѣ изящной словесности встрѣчаются стихотворенія Полежаева<sup>4)</sup>, Языкова<sup>5)</sup>, Ѳ. Тютчева<sup>6)</sup>, Кольцова<sup>7)</sup>, Хомякова<sup>8)</sup>, Шевырева<sup>9)</sup>; повѣсти Погодина<sup>10)</sup>, Павлова<sup>11)</sup>, Мельгунова<sup>12)</sup>, Панаева<sup>13)</sup>, Кудрявцева<sup>14)</sup>. Отдѣль-

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, № 10.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1832, № 15.

<sup>3)</sup> *Молва*, 1834, № 52, стр. 431.

<sup>4)</sup> «Пѣсня», «Отчаяніе» (*Телескопъ*, 1836, №№ 9, 12).

<sup>5)</sup> «Пожаръ», «Поэтъ», «С. С. П—ой» (*Телескопъ*, 1831, № 17; 1832, №№ 2, 3).

<sup>6)</sup> «Ночныя мысли» (изъ Гете), «Весеннія воды», «Весеннее успокоеніе», «Пѣсня», «Silentium» (*Телескопъ*, 1832, №№ 10, 13, 15.— *Молва*, 1833, №№ 8, 32).

<sup>7)</sup> «Великая тайна», «Косарь», «Пѣснь пахаря», «Пѣснь старика» (*Телескопъ*, 1835, №№ 8, 15.— *Молва*, 1835, № 11).

<sup>8)</sup> «Изола Белла», «Порывъ отставнаго гусара», «На сонъ грядущій», «Думы», «Вдохновеніе», «Благодарю тебя» (*Телескопъ*, 1831, №№ 3, 6, 7, 10, 15; 1834, № 27).

<sup>9)</sup> «Стансы Риму», «Непригожей матери», «Нѣсколько строфъ изъ седьмой пѣсни «Освобожденнаго Іерусалима» (переведенныя октавами, или осмыстишіями), «Женщина». «Окончаніе VII пѣсни «Освобожденнаго Іерусалима» въ октавахъ, или осмыстишіяхъ» (*Телескопъ*, 1831, №№ 2, 5, 12, 19, 24).

<sup>10)</sup> «Васильевъ вечеръ», «Харьковская Ганнуся», «Счастіе въ несчастіи» (*Телескопъ*, 1831, №№ 2—4; 1832, №№ 2—4, 7).— Погодину же принадлежатъ: «Сцена изъ трагедіи «Марѳа, посадница Новгородская», и «Ніоба» (изъ Овидіевыхъ превращеній) [*Телескопъ*, 1831, №№ 1, 3]

<sup>11)</sup> «Аукціонъ» (*Телескопъ*, 1834, № 1).—Павловъ помѣстилътакже рядъ стихотвореній: «Въ альбомъ ...ой», «Къ NN», «Куплеты изъ новаго водевиля: На другой день послѣ преставленія свѣта», «Ф. Д. Х...му»; «К...», «К. Б. Чичериной» (*Телескопъ*, 1831, №№ 4, 11, 21, 24; 1832, № 23.— *Молва*, 1832, №№ 27, 52).

<sup>12)</sup> «Кто же онъ?», Отрывокъ изъ повѣсти: «Да или нѣтъ?» (*Телескопъ*, 1831, № 10; 1834, № 3).

<sup>13)</sup> «Она будетъ счастлива». Эпизодъ изъ воспоминаній о Петербургской жизни (*Телескопъ*, 1836, № 7).

<sup>14)</sup> «Катинька Пылаева, моя будущая жена», «Антонина», «Двѣ страсти» (*Телескопъ*, 1836, №№ 4, 6, 11).

ныя главы изъ «Аскольдовой могилы», «Рославлева» и «Ледяного дома», еще до выхода въ свѣтъ этихъ романовъ, появились въ *Телескопѣ*, такъ какъ Надеждинъ завязалъ сношенія съ Загоскинымъ и Лажечниковымъ <sup>1)</sup>. — Въ отдѣлахъ: «Науки» и «Критика», работало не мало специалистовъ. Д. М. Велланскій помѣщалъ «Отрывки изъ энциклопедіи физическихъ познаній» <sup>2)</sup>; проф. М. Г. Павловъ писалъ о «свѣтѣ и тяжести» и о сельскомъ хозяйствѣ <sup>3)</sup>; юридической частью завѣдывалъ проф. О. Л. Моршкинъ <sup>4)</sup>. Статьи историческія, большею частію, принадлежатъ М. П. Погодину, который знакомилъ читателей съ книгами Берха, Бандтке, Шульгина, Устрялова, съ древностями Москвы и съ «отношеніями Польши къ Россіи» <sup>5)</sup>. Въ области языкознанія хорошимъ специалистомъ былъ самъ Надеждинъ, а вопросы, касающіеся грамматики, не безъ успѣха разрѣшали А. Д. Галаховъ <sup>6)</sup> и И. О. Калайдовичъ <sup>7)</sup>. Словесность была въ вѣдѣніи многихъ

<sup>1)</sup> *Телескопѣ*, 1831, №№ 1, 9; 1833, № 15; 1834, № 16; 1835, № 1.

<sup>2)</sup> «Теоретическое показаніе свѣта и цвѣтовъ. Отрывокъ изъ энциклопедіи физическихъ познаній». — «Письмо къ проф. Павлову (о физиологіи)» (*Телескопѣ*, 1831, № 12; 1834, № 23).

<sup>3)</sup> «Свѣтъ и тяжесть, какъ основныя силы физическаго міра»; «Теорія веществъ, свѣта и тяжести»; «Критическій взглядъ на извѣстнѣйшія теоріи свѣта»; «Теорія силъ планетныхъ не вещественныхъ»; «Теорія силъ планетныхъ вещественныхъ». — «Опредѣленіе и планъ науки сельскаго хозяйства»; «О средствахъ къ усовершенствованію сельскаго хозяйства» (*Телескопѣ*, 1831, № 3; 1832, № 11; 1833, № 8; 1836, №№ 1, 6, 9, 16).

<sup>4)</sup> «Римское право»; Отзывъ о книгѣ Савиньи: «Право владѣнія»; «Общее понятіе о правахъ древнихъ народовъ»; «Историческія разысканія о дворянскомъ сословіи (отрывокъ изъ исторіи законодательства)» (*Телескопѣ*, 1832, №№ 17—18, 21—22; 1833, № 21; 1835, №№ 1—2).

<sup>5)</sup> «Историческія размышленія объ отношеніяхъ Польши къ Россіи»; «Письмо къ издателю о нѣкоторыхъ Московскихъ древностяхъ»; «О церкви Гребневскія Божія Матери, чѣ на Лубянкѣ». — Отзывъ о книгахъ: 1) *В. Н. Берха*: «Царствованіе царя Алексѣя Михайловича»; 2) *Г. С. Бандтке*: «Исторія государства польскаго»; 3) *П. Шульгина*: «Изображеніе характера и содержаніе исторіи трехъ послѣднихъ столѣтій»; 4) *М. Гастева*: «Разсужденіе о причинахъ, замедлившихъ гражданскую образованность въ русскомъ государствѣ до Петра Великаго»; 5) *Н. Г. Устрялова*: «Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ» (*Телескопѣ*, 1831, №№ 5, 7, 9; 1832, №№ 3, 10, 12, 16; 1833, № 13.—*Молва*, 1834, №№ 25, 36).

<sup>6)</sup> «Какъ прежде учили и какъ еще учатъ грамматикѣ». — Отзывы о книгахъ: 1) «Русская грамматика» А. Востокова; 2) «Азбука, приспособленная къ постепенному развитію дѣтскихъ понятій, украшенная полтипажами» (*Телескопѣ*, 1836, №№ 11—14).

<sup>7)</sup> Отзывъ о книгахъ: 1) *А. Востокова*: «Сокращенная русская грамма-

лицъ. О народныхъ пѣсняхъ у славянъ писалъ Ю. Н. Венелинъ <sup>1)</sup>; о сказкахъ—М. Н. Макаровъ <sup>2)</sup>; о шведской литературѣ—Ф. Кони <sup>3)</sup>; объ итальянской поэзіи—Шевыревъ <sup>4)</sup>; о русской—В. П. Боткинъ <sup>5)</sup> и И. В. Кирѣевскій <sup>6)</sup>. Философскіе этюды поступали въ редакцію отъ М. А. Максимовича <sup>7)</sup> и П. Я. Чаадаева <sup>8)</sup>.

Наконецъ, самымъ виднымъ сотрудникомъ *Телескопа* былъ Пушкинъ. Исторія его отношеній къ Надеждину заслуживаетъ особаго вниманія. Эти отношенія были нѣсколько натянутыя и холодныя. Великій поэтъ не могъ забыть рецензій экс-студента Надоумка, особенно разбора «Полтавы» <sup>9)</sup>, и, видимо, не искалъ знакомства со своимъ критикомъ. По мнѣнію Пушкина, «Нико-

---

тика»; 2) *Н. Греча*: «Ключъ къ практическимъ урокамъ русской грамматики» (*Телескопъ*, 1831, №№ 17—18; 1832, № 4).

<sup>1)</sup> «О характерѣ народныхъ пѣсенъ у славянъ задунайскихъ».—Отзывы о книгахъ: 1) *Н. Кирова*: «Краткая всеобщая исторія»; 2) *М. Максимовича*: «Украинскія народныя пѣсни» (*Телескопъ*, 1834, №№ 33—35; 1835, №№ 9—11.—*Молва*, 1834, № 21).—Ср. Письмо къ издателью (*Молва*, 1834, № 12).

<sup>2)</sup> «Листки изъ пробныхъ листковъ для составленія исторіи русскихъ сказокъ» (*Телескопъ*, 1833, №№ 17, 19, 21, 23).—Макарову принадлежатъ еще слѣдующія статьи: «О рѣчи неизвѣстнаго митрополита, найденной археографомъ П. М. Строевымъ»; «Синица (старинная русская застольная пѣсня)»; «Историческая русская пѣсня» (*Телескопъ*, 1833, № 20; 1835, № 17.—*Молва*, 1836, № 5).

<sup>3)</sup> «Нѣчто [о старинныхъ народныхъ шведскихъ пѣсняхъ]; «Шведская журналистика въ 1834 г. (разборъ журналовъ)» [*Телескопъ*, 1834, №№ 17, 28].

<sup>4)</sup> «О возможности ввести итальянскую октаву въ русское стихосложеніе» (*Телескопъ*, 1831, №№ 11—12).—Шевыревъ помѣщалъ также «Письма изъ Рима» и «Отрывки изъ путевыхъ записокъ по Италіи»: 1) «Итальянскіе театры»; 2) «Римскіе праздники»; 3) «Памятникъ Пію VII Торвальдсена»; 4) «Отголосокъ изъ Италіи 1833 г.»; 5) «Водопадъ Терни» (*Телескопъ*, 1831, №№ 1, 7, 9; 1834, №№ 1, 4).

<sup>5)</sup> Отзывы о книгахъ: 1) «Стихотворенія Аполлона де \*\*\*»; 2) «Стихотворенія Христофора Тростина»; 3) «Сумасшедшій, или желтый домъ» (нравственно-сат. ром. XIX в.) [*Молва*, 1836, №№ 14—16].—Боткину же принадлежатъ «Путевыя записки»; «Русскій въ Парижѣ» (*Телескопъ*, 1836, № 14).

<sup>6)</sup> «О стихотвореніяхъ г. Языкова» (*Телескопъ*, 1834, №№ 3—4).

<sup>7)</sup> «Письмо о философіи» (Е. П. Ю—ой) [*Телескопъ*, 1833, № 12].—Ср. «О русскомъ просвѣщеніи» (рѣчь, говоренная въ собраніи Московскаго университета 1832 г. января 12-го) [*Телескопъ*, 1832, № 2].

<sup>8)</sup> «Нѣчто изъ переписки NN (съ франц.)»; «Философическія письма къ г-жѣ \*\*\*. Письмо 1-е. Некрополисъ, 1829, дек. 1-го» (*Телескопъ*, 1832, № 11; 1836, № 15).

<sup>9)</sup> *Современникъ*, 1836, т. I, стр. 84.

димъ Невѣждинъ» былъ человѣкъ не его круга: происходя изъ «сословія слугъ», онъ писалъ свои «статейки» «лакейскимъ тономъ»<sup>1)</sup>, и сблизаться съ подобнымъ «законодателемъ вкуса» было нежелательно. Несмотря на это, случай свелъ поэта съ Надеждинымъ на вечерѣ у Погодина<sup>2)</sup>. Первое впечатлѣніе было не въ пользу издателя *Телескопа*: онъ показался Пушкину «скучнымъ, заносчивымъ» человѣкомъ съ плохими манерами<sup>3)</sup>. Однако знакомство состоялось. Къ тому же, постоянная нужда въ деньгахъ еще съ 1830 г. побуждала поэта прибѣгать, при посредствѣ Погодина, къ Надоумку<sup>4)</sup>. Но къ литературнымъ предпріятіямъ послѣдняго онъ продолжалъ относиться пренебрежительно и, еще не ознакомившись съ первымъ номеромъ *Телескопа*, уже величалъ его «дрянью»<sup>5)</sup>. Между тѣмъ Погодинъ всячески старался украсить «дрянь» произведеніями Пушкина, и это ему удалось. Въ ноябрѣ 1830 г. поэтъ послалъ Погодину своего «Героя» и просилъ напечатать гдѣ угодно съ условіемъ не объявлять его имени. Погодинъ передалъ стихотвореніе Надеждину, и оно появилось въ первой книжкѣ *Телескопа*<sup>6)</sup>. Пушкинъ, кажется, ничего не имѣлъ противъ поступка Погодина, тѣмъ болѣе, что Надеждинъ велъ себя весьма корректно, и къ первому января 1831 г. даже препроводилъ литературному врагу подписной билетъ на свой журналъ въ знакъ своего «искренняго почтенія»<sup>7)</sup>. Пушкинъ не остался въ долгу: доставилъ ему черезъ Погодина только что

1) Сочиненія Пушкина, ред. Л. О. Морозова, изд. Просвѣщенія, т. VI, стр. 261—262.—Ср. *Съверные Цветы* на 1830 г., стр. 231: «Въ критикахъ собственно-литературныхъ мы не будемъ слышать то брюзгливаго ворчанья какого-нибудь стараго педанта, то *непристойныхъ криковъ пьянаго семинариста*».

2) Объ этомъ вечерѣ сохранилось слѣдующее воспоминаніе въ Дневникѣ Погодина: «Ѣа Перевошиковымъ, Пушкинымъ (Максимовичъ тамъ), за Хомяковымъ. Хомяковъ научалъ завести рѣчь съ Надеждинымъ о романтизмѣ, чтобъ заманить въ разговоръ Пушкина съ Надеждинымъ и внушить ему лучшее мнѣніе и наоборотъ, чтобъ заставить Надеждина уважать болѣе Пушкина» (*Н. П. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1890, кн. 3, стр. 31*).

3) Анекдоты XXVIII.

4) Сочиненія Пушкина. Изд. Императорской Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1908, т. II, стр. 150—151.

5) Тамъ же, стр. 203.

6) *Современникъ*, 1837, т. V, стр. 143.

7) Сочиненія Пушкина. Изд. Императорской Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1908, т. II, стр. 208.

вышедшаго «Бориса Годунова» <sup>1)</sup> и вскорѣ непосредственно обратился къ Надеждину, приславъ для его журнала двѣ полемическія статьи, направленные противъ Булгарина <sup>2)</sup>. Сношенія продолжались почти до самой смерти Пушкина, ибо въ 1836 г. онъ благодарилъ Надеждина за *Телескопъ* и отправилъ ему *Современникъ* <sup>3)</sup>. Впрочемъ, дальше полуофіціальной переписки дѣло не шло. Пушкинъ продолжалъ съ предубѣжденіемъ смотрѣть на бывшаго сотрудника *Вѣстника Европы*, но, конечно, никогда не подозрѣвалъ его въ томъ, въ чемъ заподозрѣлъ Бѣлинскій, заявившій, будто Надеждинъ своими «нападками» на поэта «запугивалъ толпу, чтобы заставить удивляться себѣ», и такимъ образомъ приобрѣлъ журнальную извѣстность, «обеспечилъ свой карманъ» и «пользовался на-кредитъ славою отлично-умнаго человека» <sup>4)</sup>. По справедливому замѣчанію Надеждина, Пушкинъ «не отличался терпѣливостью въ отношеніи къ наносимымъ ему оскорбленіямъ, особенно злоумышленнымъ» и ни за что «не простилъ бы» своему критику, если бы замѣтилъ, что послѣдній «строитъ изъ него для себя ступеньку». Въ моменты сильнаго раздраженія Пушкинъ склоненъ былъ видѣть въ немъ «фанатика, грубіана, пожалуй невѣжу» <sup>5)</sup>, но никогда не называлъ его, какъ «полицейскаго Оаддея», человѣкомъ безнравственнымъ, клеветникомъ либо доносчикомъ <sup>6)</sup>. На Булгарина, говорилъ поэтъ: «сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно» <sup>7)</sup>; напротивъ, статьи Надеждина именно сердили Пушкина, усматривавашаго въ нихъ иногда «непростительную опрометчивость сужденій» <sup>8)</sup>.

<sup>1)</sup> Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб. 1908, т. II, стр. 216.

<sup>2)</sup> *Телескопъ*, 1831, № 13, стр. 135—144; № 15, стр. 412—418.—Ср. письмо Н. И. Надеждина къ А. А. Краевскому, отъ 29-го января 1840 г.: «Въ послѣдствіи онъ же (т. е. Пушкинъ) присылалъ ко мнѣ статьи Косичкина, съ собственноручными приписками. Я имѣю отъ него письма» (*Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ*, 1905, кн. 4, стр. 310).

<sup>3)</sup> Письмо къ М. П. Погодину отъ 14-го апрѣля 1836 г.

<sup>4)</sup> Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1901, т. IV, стр. 452—453.

<sup>5)</sup> Письмо Н. И. Надеждина къ А. А. Краевскому, отъ 29-го января 1840 г. (*Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ*, 1905, кн. 4, стр. 308—310)

<sup>6)</sup> Сочиненія Пушкина Изд. Императорской Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1908, т. II, стр. 145, 147, 222.

<sup>7)</sup> Тамъ же, стр. 126.

<sup>8)</sup> Тамъ же, стр. 385—386.

Упрекъ въ опрометчивости, брошенный Пушкинымъ по адресу Надеждина, можетъ быть примѣненъ къ какому-либо отдѣльному случаю, но, въ отношеніи ко всей журнальной дѣятельности редактора *Телескопа*, долженъ быть признанъ несправедливымъ. Именно въ опрометчивости трудно обвинить Надеждина, серьезно смотрѣвшаго на исполненіе своихъ обязанностей и сознававшаго свою отвѣтственность передъ публикой. Не даромъ онъ старался увеличить число своихъ сотрудниковъ; не даромъ, чувствуя невозможность обойтись однѣми русскими силами, онъ сталъ заимствовать матеріалъ изъ иностранной журналистики... И какъ вдумчиво относился онъ къ французскимъ и англійскимъ періодическимъ изданіямъ, какъ внимательно слѣдилъ за перемѣнами, происходившими въ составѣ ихъ редакторовъ, за измѣненіемъ ихъ политическаго направленія!

«Посреди политическихъ преній и крамоль, поглощающихъ преимущественно современную Парижскую журналистику», писалъ Надеждинъ: «изящная словесность, науки и искусства имѣютъ еще нѣкоторыя, болѣе или менѣе исключительно имъ посвящаемыя, періодическія изданія... Ихъ содержаніе, по большей части, отличается разнообразіемъ и общностію, а иногда ограничивается нѣкоторыми предѣлами. Несмотря на мирныя ихъ занятія, политическій образъ мыслей отражается и въ нихъ, со всѣми своими оттѣнками, почему всѣ литературные журналы имѣютъ непременно свой, болѣе или менѣе рѣшительный, цвѣтъ, свое политическое вѣроисповѣданіе, коимъ опредѣляется кругъ ихъ участниковъ и сотрудниковъ. Само собою разумѣется, что перемѣны обстоятельствъ, кои теперь такъ нерѣдки во Франціи, имѣютъ влияніе на сей послѣдній характеръ, и потому постоянство не есть добродѣтель, имъ свойственная»<sup>1)</sup>.

Изъ всѣхъ французскихъ періодическихъ изданій Надеждинъ отдавалъ предпочтеніе двумъ: *Revue de Paris* и *Revue des Deux Mondes*, и преимущественно отсюда выбиралъ статьи для перевода<sup>2)</sup>.

«Между парижскими литературными журналами—читаемъ въ *Телескопѣ*—первое мѣсто приписывается *Парижскому Обзорнію*

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 11, стр. 411—412.

<sup>2)</sup> Матеріалъ для *Телескопа* выбирался еще изъ многихъ газетъ и журналовъ, изъ которыхъ наиболѣе извѣстны *Revue Encyclopédique*, *Journal des Débats* и др.



(*Revue de Paris*)... Содержаніе его составляютъ: повѣсти, отрывки изъ новыхъ произведеній изящной словесности по всѣмъ ея отраслямъ; иногда стихотворенія, отрывки изъ исторіи наукъ, искусствъ и литературы, біографіи знаменитыхъ людей, критическіе разборы особенно замѣчательныхъ произведеній отечественной и иностранной словесности, наконецъ отдѣльный отчетъ о всѣхъ текущихъ новостяхъ, болѣе или менѣе заслуживающихъ вниманіе высшаго круга общества. Въ немъ участвуютъ многіе извѣстные литераторы, особенно: *К. Нодье*, *Ж. Жаненъ*, *Бруккеръ*, *Т. Леклеркъ* (извѣстный своими драматическими пословицами), *Ам. Пишо*, *Жакобъ Библиофиль*, *Базиль-Галль*, *Люганъ* и другіе; иногда помѣщаетъ свои повѣсти *Бальзакъ*, *Амперъ* сообщаетъ отрывки изъ своего путешествія по Скандинавіи; *Герцогиня д'Абрантесъ*— изъ своихъ любопытныхъ записокъ. Журналъ сей продолжается четвертый годъ; и замѣчаютъ, что уже отжилъ свой блестящій періодъ. Славой, которой онъ и доселѣ еще пользуется, обязанъ онъ преимущественно человѣку, поддерживающему теперь оперу съ такимъ удивительнымъ искусствомъ, именно врачу *Верону*. И дѣйствительно, если собрать всѣ медицинскіе факультеты въ свѣтѣ, то едва ли выищется другой врачъ, который бы, подобно *Верону*, умѣлъ такъ удачно дѣйствовать на двухъ, столь мало совмѣстныхъ съ его званіемъ, поприщахъ: управленія оперой и редакціи литературнаго журнала. Пока *Веронъ* былъ главнымъ издателемъ *Парижскаго Обзорнія*, оно было на высочайшей степени уваженія и славы. Теперь кредитъ его ощутительно слабѣетъ; и пріятельскія объявленія, печатаемая при выходѣ каждой его книжки въ *Журналъ Преній*, показываютъ ясно, что публикѣ нужно напоминать о его существованіи. Относительно политики *Парижское Обзорніе* всегда держало сторону умѣренности. Оно одного духа съ *Журналомъ Преній*. *Шатобрианъ* помѣстилъ въ немъ недавно письмо, написанное изъ префектуры полиціи, во время своего ареста. *Сальванди*, чрезъ посредство его, изложилъ свои сѣтованія о язвахъ, терзающихъ Францію, въ краснорѣчивой фантазіи, вдохновленной Мильтономъ.

*Парижскому Обзорнію* соперничествуетъ теперь *Обзорніе Обоихъ Полушарій Свѣта* (*Revue de Deux Mondes*). Журналъ сей выходитъ по два раза въ мѣсяцъ, также книжками, содержащими въ себѣ отъ семи до осьми печатныхъ листовъ. Онъ уступаетъ *Парижскому Обзорнію* наружнымъ изяществомъ, но далеко превосходитъ его внутреннимъ достоинствомъ содержа-

нія. Въ настоящемъ видѣ существуетъ онъ только другой годъ. Прежде издавался онъ подъ именемъ *Журнала Путешествій* (*Journal des Voyages*); и тогда былъ довольно однообразенъ, сухъ, и не пользовался извѣстностью. Съ прошедшаго года, онъ получилъ бѣольшую обширность, принялъ въ составъ свой высшія философическія разсужденія, изящную словесность во всѣхъ отрасляхъ, критику и двухнедѣльные отчеты о всѣхъ замѣчательныхъ литературныхъ и политическихъ новостяхъ, далъ себѣ рѣшительный цвѣтъ и сдѣлался любимымъ чтеніемъ парижской публики. Теперь участвуютъ въ немъ: *Э. Кюне*, *Лерминье*, *А. Дюма*, *Барбье*, *А. де Виньи*, *А. Фонтаней* и многіе другіе. *Ж. Жаненъ* и *Бальзакъ* также ссужаютъ его своими повѣстями. Высшую критику держатъ *Эмиль Дешанъ* и *Густавъ Пландиъ*. Въ отношеніи къ философіи, особеннаго вниманія заслуживаетъ помѣщаемая въ нынѣшнемъ году *Переписка Лерминье съ однимъ Берлинцемъ*, въ коей онъ подвергаетъ, если не всегда основательному, то, по крайней мѣрѣ, довольно рѣзкому анализу, всѣхъ современныхъ представителей французской философіи. Въ разсужденіи политическаго образа мыслей, журналъ сей также держится умѣренности; но дѣйствуетъ гораздо рѣшительнѣе и сильнѣе, чѣмъ *Парижское Обзорніе*» <sup>1)</sup>.

Кромѣ упомянутыхъ журналовъ «важнаго содержанія» и *Журнала Ученыхъ* (*Journal des Savants*), «который отчасти издается на счетъ правительства, и потому можетъ держаться безъ большого участія публики, хотя и вполне заслуживаетъ оное, сохранилось одно только *Энциклопедическое Обзорніе* (*Revue Encyclopédique*); но, изъ рукъ *Жюльена* перешедши въ руки *Карно*, сына прежде бывшаго министра, оно приняло другое направленіе. *Карно* провожалъ отца своего въ Германію и возвратился послѣ его смерти, воспослѣдовавшей въ Магдебургѣ. Онъ знакомъ хорошо съ Германіей и съ ея литературой; посему въ *Энциклопедическомъ Обзорніи* обращается теперь на сію послѣднюю особенное вниманіе. Доколѣ сен-симонисты составляли чисто политическое общество, *Карно* принадлежалъ къ нимъ и, говорятъ, пожертвовалъ въ пользу ихъ значительную часть своего имущества. Но когда они облеклись церковными формами и приняли іерархическій характеръ, онъ отдѣлился отъ нихъ. Теперь въ *Энциклопедическомъ Обзорніи*, которое *Карно* издаетъ

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 11, стр. 412—415.

вмѣстѣ съ *П. Ру (Roux)*, также отступникомъ отъ симонистовъ, отглашаются еще многіе изъ прежнихъ догматовъ сен-симонизма. Также новая эстетическая школа Франціи высказываетъ себя въ немъ, и многіе молодые, отважные писатели, ищущіе проложить новый путь, здѣсь особенно подвизаются. По уничтоженіи *Глобуса (Le Globe)*, *Энциклопедическое Обзорніе* заступило въ семь отношеніи его мѣсто. *Бюллетень Наукъ (Bulletin Scientifique)* барона *Ферюссака* скончался, проживъ восемь лѣтъ; прекращеніе его достойно всякаго сожалѣнія, ибо подобное періодическое изданіе, извѣщавшее подробно и точно о всѣхъ открытіяхъ по части наукъ внутри и внѣ Франціи, составляетъ существенную потребность ученыхъ; и когда *Бюллетень Ферюссака*, при всѣхъ одобреніяхъ и подкрѣпленіяхъ, какъ во Франціи, такъ и въ другихъ странахъ, не могъ держаться, то весьма опасно, что сія неудача отниметъ духъ у всѣхъ другихъ предпринять снова подобное изданіе. Съ нынѣшняго года появился въ Парижѣ новый журналъ, подъ именемъ *Ученой Франціи (La France Littéraire)*; но онъ только еще начался и не скоро получитъ ходъ; при томъ же и цѣль его не довольно ясна.

Мы не упоминаемъ здѣсь о превосходномъ выборѣ статей изъ англійскихъ журналовъ, выходящемъ въ Парижѣ большими книжками ежемѣсячно, подъ именемъ *Британскаго Обзорнія (Revue Britannique)*; ни также о *Германскомъ Обзорніи (Revue Germanique)*, въ коемъ помѣщаются статьи, выбираемыя изъ нѣмецкихъ журналовъ. Оба сіи, весьма занимательныя, періодическія изданія принадлежатъ только по языку къ Французской словесности» <sup>1)</sup>.

Что же представляла собою московская журналистика, когда Надеждинъ задумалъ попытать счастья въ новой роли редактора? 1830-ый годъ, по какому-то странному стеченію обстоятельствъ, оказался роковымъ для многихъ московскихъ періодическихъ изданій, прекратившихъ въ это время свое существованіе. «Грустно начинать новый годъ погребальными пѣснями», писалъ Надеждинъ: «но сѣющіе слезами пожинаютъ радость. Миръ праху

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 11, стр. 418—420. Наряду съ французскими журналами Надеждинъ, не ограничиваясь статьями *Британскаго Обзорнія*, не мало переводилъ изъ *Edinburgh Review*, *Quarterly Review*, *New Monthly Magazine*, *Blackwood's Magazine* и *Westminster Review*.

усопшихъ! Они достигли пристанища, къ которому волны времени, рано или поздно, прибываютъ все, что ни носится по житейскому морю. Молодое поколѣніе увиваетъ цвѣтами память предковъ. Оно только готовится поднять ношу, которую тѣ уже сбросили!.. De Profundis!.. Тяжелъ былъ для Москвы годъ истекшій. Древняя столица Русской земли и Русской журналистики совершенно осиротѣла. Напрасно привычное любопытство ищетъ знакомыхъ именъ въ газетныхъ объявленіяхъ: тамъ все пусто!

Друзья! кипящій кубокъ сей  
Умершимъ безъ аптеки!  
Да будутъ въ памяти людей,  
Коль нѣтъ въ библіотекъ!“

«Морь Московскихъ журналовъ» вдохновляетъ поэтовъ, которые элегически настраиваютъ свою лиру. Въ честь «отшедшихъ въ поля Елисейскія» раздается «плачь могильный».

Журналамъ русскимъ черный годъ,  
Какого не было ни разу;  
Ихъ, говорятъ, десятокъ мретъ,  
И будто отъ дурного глаза.  
Причина эта мнѣ странна,  
Не въ ней я вижу корень бѣдства:  
Однихъ сгубила старина,  
Другихъ сгубило малолѣтство.

Въ «нѣдра сонныхъ водъ лѣнливой, безмятежной Леты» погрузилось не мало журналовъ: и «грустный» *Атеней*, и старый «дѣдъ» *Вѣстникъ Европы*, и «поблекшая» *Галатей*, и «славный боецъ» *Московский Вѣстникъ*... «Вокругъ роится сонмъ тѣней»... Но «всходитъ новая планета» <sup>1)</sup>. Эта планета—*Телескопъ* съ *Молвою*.

Въ своемъ журналѣ Надеждинъ выступилъ передъ москвичами какъ публицистъ, литературный критикъ и авторъ ряда статей, посвященныхъ вопросу о русской народности,—статей, которыя тѣсно связаны съ его позднѣйшими этнографическими разысканіями.

Надеждинъ-публицистъ совершенно незаслуженно развѣнчивается многими современными литераторами, не способными понять, что политикѣ нѣтъ и не можетъ быть мѣста въ области

<sup>1)</sup> *Молва*, 1831, № 1, стр. 1—5; № 7, стр. 1—3.

исторической критики, и потому жестоко клеймящими всѣхъ, даже выдающихся нашихъ дѣятелей, которые имѣли несчастье не исповѣдывать ихъ политическихъ убѣжденій. Какъ на грѣхъ, Надеждинъ былъ монархистъ, и монархистъ убѣжденный. Этого было достаточно, чтобы включить его въ разрядъ опальныхъ писателей, о которыхъ упоминаютъ лишь тогда, когда нуженъ темный фонъ въ исторической картинѣ, когда для «рѣзкаго сопоставленія» контрастовъ необходимо возвысить, хотя бы не по заслугамъ, любимца и унизить черносотенца <sup>1)</sup>.

Какія же идеи проводилъ Надеждинъ? Онъ прежде всего указывалъ, что благо народа заключается въ просвѣщеніи. Развитие послѣдняго, съ его точки зрѣнія, возможно лишь въ мирное время, при строгомъ соблюденіи закона, нарушеніе котораго всегда сопровождается тяжкими потрясеніями общественнаго организма. Миръ и законный порядокъ обезпечиваются сильной властью, т. е. неограниченной властью монарха. Этой власти русскій народъ былъ многимъ обязанъ въ своемъ историческомъ прошломъ...

Свои теоретическія положенія Надеждинъ примѣнялъ на практикѣ при оцѣнкѣ крупныхъ политическихъ событій.

Государственные перевороты и революціонныя движенія, сопровождающіяся кровопролитіемъ, производили на него тяжелое впечатлѣніе и всегда казались ему проявленіемъ разрушающей, а не созидающей стихійной силы. Народное благоденствіе — думалъ онъ — покупается не цѣною многихъ человѣческихъ жизней, а упорной умственной работой — этимъ надежнымъ залогомъ будущихъ успѣховъ въ области просвѣщенія. Съ этой точки зрѣнія смотрѣлъ Надеждинъ на июльскую революцію 1830 г. и ея послѣдствія <sup>2)</sup>.

«Мрачно и грозно, по его словамъ, было начало 1831 года. Во Франціи, горнилъ мятежей, клокотало буйное пламя; его искры сыпались по всѣмъ концамъ Европы и угрожали общимъ пожа-

---

<sup>1)</sup> Какіхъ критическихъ приемовъ придерживались строгіе судьи Надеждина, видно изъ нашей замѣтки о трудѣ М. К. Лемке: «Чаадаевъ и Надеждинъ» (*Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1906, № 7, стр. 158—162).

<sup>2)</sup> Ср. слова Пушкина: «Лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ одного улучшенія нравовъ, безъ насильственныхъ потрясеній политическихъ, страшныхъ для человѣчества» (Сочиненія, изд. Просвѣщенія, ред. П. О. Морозова, т. VI, стр. 364).

ромъ. Волканъ колебался подъ ветхимъ зданіемъ Англіи; Германія глухо волновалась; въ *Польшѣ горѣлъ мятежъ*; Италія вспыхивала безпрестанно; Нидерланды представляли плачевное зрѣлище лютейшаго междоусобія. Но чаша бѣдствій, коей мѣра назначается мудрымъ Промысломъ, наконецъ, переполнилась. Ядъ въ самомъ себѣ нашель противоядіе. Та же Франція, коей колебаніе смутило Европу, вразумила ее своимъ несчастнымъ примѣромъ. *Купивъ цѣной тишины и благоденствія ложный призракъ свободы, угрожающій безпрестанно превратиться въ кровавадное страшлище безначалія, она сама уже чувствуетъ свое ослѣпленіе. Ея новое правительство перемѣнило систему и тонъ дѣйствованія: оно признало бѣшенство пропаганды безумнымъ изступленіемъ и занялось утвержденіемъ внутренняго порядка, глубоко потрясеннаго новой революціей...* «Софизмы, коими защитники іюльской революціи усиливались оправдать законность» «кровавопролитнаго мятежа, при похоронахъ Ламарка», «ниспроверглись; очарованіе развѣялось; пропасть, изрытая мечгой ложной свободы, разсѣлась,— и правительство, возникшее изъ-подъ баррикадъ, подвергаясь опасности быть раздавленнымъ новыми баррикадами, почувствовало необходимость принять снова твердый монархическій тонъ и перестать потворствовать страстямъ черни химерою короля-гражданина. Осадное положеніе, въ коемъ былъ объявленъ Парижъ послѣ іюнскаго возмущенія, можно счесть спасительнымъ переломомъ Франціи. Съ тѣхъ поръ опутительно обнаружилось въ ней возвратное движеніе къ тишинѣ и порядку, чрезъ принятіе дѣятельныхъ мѣръ къ обузданію народнаго буйства и возстановленіе благоговѣнія къ престолу. *Новое министерство мыслить и дѣйствуетъ въ духъ монархическомъ: при созваніи новыхъ палатъ оно получило рѣшительный и постоянный перевѣсъ надъ оппозиціей; партія умѣренныхъ беретъ верхъ надъ партией движенія; главнѣйшіе побудители къ безпорядкамъ въ рукахъ правительства. Такъ, менѣе, чѣмъ въ два года (писано въ 1833 г.), совершился циклъ революціи, въ коей Франція не выиграла ничего, кромѣ бѣдствій междоусобія, внутренняго и внѣшняго разстройства, слезъ и крови. Поучительный урокъ для вселенной!»*

Надеждинъ искренно радуется, замѣтивъ въ Европѣ «наклонность къ возвращенію въ законный порядокъ, единственный оплотъ благоденствія». Онъ готовъ отъ всего сердца привѣтствовать «стремленіе къ мирному и благодѣтельному успокоенію».

«Мятежь вспыхнетъ и задушитъ самъ себя; война загорится и угаснетъ безъ пожара. Бурный разливъ умовъ самъ собою улегается въ естественное ложе, и утомленные, разочарованные народы посиѣшаютъ опочить въ лонѣ тишины и порядка!» Лишь мощная монархическая власть «можетъ держать массу разнородныхъ элементовъ государства силою законнаго тяготѣнія»; лишь она одна можетъ разогнать «черныя тучи, облегающія горизонтъ»; лишь при ней «изступленное жемудрованіе» не будетъ, «во имя просвѣщенія, угрожать всеобщимъ затмѣніемъ!»<sup>1)</sup>.

Ревнитель просвѣщенія и мирнаго прогресса, Надеждинъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ, горячимъ патріотомъ.

Правда, его патріотизмъ называли «кваснымъ», его обвиняли въ желаніи подслужиться правительству, — но едва ли такія нареканія могутъ считаться хорошо обоснованными, едва ли также мы въ правѣ отрицать искренность и правдивость его сужденій хотя бы о польскомъ возстаніи. Онъ не кривилъ душою и не заискивалъ у властей, порицая дѣйствія поляковъ. Подобно Пушкину, онъ былъ не въ состояніи «судить по впечатлѣніямъ европейскимъ», называлъ возстаніе мятежомъ и считалъ его домашнимъ дѣломъ Россіи<sup>2)</sup>. «Мятежь, волновавшій Польшу, наконецъ совершенно укротился», пишетъ онъ. «Непокорная дочь возвратилась опять въ матернее лоно, отъ котораго отторгло ее пагубное ослѣпленіе»<sup>3)</sup>. «Въ стихотвореніи» Пушкина «празднуется Бородинская годовщина, совершенная на ниспровергнутыхъ твердыняхъ Варшавы. Поэтъ счастливо выразилъ истинное свойство Русскаго духа, который любитъ торжествовать кротостію и милосердіемъ; и мы съ полнымъ сочувствіемъ повторяемъ его благородное восклицаніе:

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 1, стр. 8—9; 1833, № 1, стр. 5—13.

<sup>2)</sup> «Для насъ *мятежь* Польши», писалъ Пушкинъ: «есть дѣло семейственное, старинная, наслѣдственная распря; мы не можемъ судить ее по впечатлѣніямъ европейскимъ, каковъ бы ни былъ впрочемъ нашъ образъ мыслей» (письмо кн. П. А. Вяземскому, отъ 1-го іюня 1831 г.).—Въ стихотвореніяхъ поэтъ называетъ возстаніе «*бунтомъ* Варшавы» или просто «бунтомъ»; въ «Мысляхъ на дорогѣ» упоминается «польское *возмущеніе*» («Бородинская годовщина», 1831 г.—Сочиненія Пушкина, ред. П. О. Морозова, изд. Просвѣщенія, т. VI, стр. 643. — *И. А. Шляпкинъ*. Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина. Спб., 1903, стр. 29—30).

<sup>3)</sup> *Молва*, 1831, № 43, стр. 258.

Кто уступилъ, тотъ невредимъ!  
Враговъ мы въ прахъ не топтали;  
Мы не напомнимъ нынѣ имъ  
Того, что старыя скривали  
Хранять въ преданіяхъ нѣмыхъ.  
Мы не сождемъ Варшавы ихъ:  
Они народной Немезиды  
Не узрять хладнаго лица,  
И не услышать пѣснь обиды  
Отъ лиры русскаго пѣвца!<sup>1)</sup>

Но чувство любви къ отечеству не ослѣпляло Надеждина, не дѣлало его пристрастнымъ. Онъ не закрывалъ глазъ на недостатки своихъ соотечественниковъ и, въ иныхъ случаяхъ, склоненъ ставить имъ въ примѣръ иностранцевъ... «Европеецъ учится въ школѣ, въ коллегіи, въ университетѣ, гдѣ дается ему стройный взглядъ на вещи, сообщаются основныя идеи, предлагается знаніе въ системѣ. Вооруженный глубокимъ, основательнымъ ученіемъ, съ прочными началами, съ установленнымъ сгибомъ ума, съ утвержденнымъ угломъ зрѣнія, онъ является на поприще жизни, на поприще мышленія и дѣйствованія»<sup>2)</sup>. Ничего подобнаго нѣтъ у насъ, въ Россіи. «Мы учимся очень худо, такъ худо, что должны стыдиться самихъ себя!» Для того, чтобы «заманить насъ въ классы», необходимо «привѣшивать къ дверямъ классныя чины»; для того, чтобы «усадить насъ за книги», надо «обертывать ихъ въ табель о рангахъ!» «Какъ ни тяжело, а должно сознаться, что искренняя, *безкорыстная* любовь къ ученію есть пока у насъ явленіе весьма рѣдкое; а безъ сей любви никакая наука не дается, «развѣ на прокатъ, для выставки»<sup>3)</sup>. «Въ нашемъ умѣ» есть «затвердѣлость и упорство», «въ нашемъ характерѣ—лѣность и безпечность, въ которыхъ не безъ основанія упрекаютъ народъ русскій». «Мы должны сознаться, что эта затвердѣлость, эта лѣность суть наши важнѣйшіе недостатки, съ которыми трудно бороться. Сто лѣтъ нашей исторіи служить тому яснымъ доказательствомъ. Какія усилія должно было употребить великому Петру, чтобы провести первыя борозды» на нашей «одичалой почвѣ»? До сихъ поръ правительство «принуждено прибѣгать къ столькимъ принудитель-

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1831, № 16, стр. 508.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1836, ч. XXXI, стр. 362.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 1834, ч. XIX, стр. 12—13.



нымъ мѣрамъ, чтобы заставить насъ идти впередъ, соответственно его благимъ намѣреніямъ. Оно манитъ насъ, какъ дѣтей, наградами, чтобы мы только учились... А мы какъ отвѣчаемъ на его призваніе? Большую часть изъ насъ до сихъ поръ ничѣмъ не заманишь въ школу: *большая часть тѣхъ, которые, наконецъ, стали за азбуку, учатся только, чтобы сказать, что они учились.* Мысль вовсе не развивается, умъ коснѣетъ въ прежней недѣятельности. Мы не видѣли еще до сихъ поръ русскаго ума въ самобытной формѣ, русской мысли въ самообразномъ развитіи» <sup>1)</sup>. Наши мыслители, встрѣчающіеся, кстаті сказать, весьма рѣдко, «мыслятъ такъ лѣниво, такъ застѣнчиво!» «Ни по какой отрасли наукъ мы не можемъ представить собственно нами добытой, собственно намъ принадлежащей лепты, которая бы, съ русскимъ штемпелемъ, была пущена во всемірный оборотъ, присовокуплена къ общему капиталу современнаго просвѣщенія» <sup>2)</sup>.—За то у насъ много, даже слишкомъ много «полузнаекъ, которые гораздо хуже, гораздо несноснѣе, гораздо опаснѣе совершенныхъ невѣждъ». «Проглотивъ» три-четыре тома «Энциклопедическаго Лексикона», полузнайка мнитъ, что имѣетъ громадныя познанія. «Просимъ тогда унять его, просимъ убѣдить, растолковать ему, что полученныя имъ свѣдѣнія «неглубоки, легки, поверхностны, несвязны»... Онъ начинаетъ «кричать о всемъ на свѣтѣ, и забрасываетъ васъ словами». Онъ имѣетъ «всю карикатурную фізіономію Репетилова, еще хуже Репетилова, потому что тотъ бѣдненькій зналъ, по крайней мѣрѣ, свою глупость и ничтожество—а это не бездѣлица» <sup>3)</sup>.

Чтобы положить конецъ нашему умственному «закоснѣнію», необходимо обладать *энергіей*. «Безъ сосредоточеннаго напряженія всѣхъ нашихъ силъ могуществомъ твердой воли, ни одинъ шагъ впередъ невозможенъ... Но у насъ во всѣхъ дѣйствіяхъ замѣчается отсутствіе сосредоточенности и напряженія. У насъ, что бываетъ, бываетъ мгновенными порывами, отдѣльными выходками: всѣ мы дѣйствуемъ врознь, по-одиночкѣ, кто во что

---

<sup>1)</sup> Приведенная цитата заимствована изъ статьи Надеждина: «Въ чемъ состоитъ народная гордость?» (*Русская Старина*, 1907, кн. 8, стр. 257). Эта статья предназначалась для *Телескопа*, но, «по причинѣ запрещенія журнала, не вышла въ свѣтъ».

<sup>2)</sup> *Телескопъ*, 1834, ч. XIX, стр. 12.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 1836, ч. XXXI, стр. 365—366.

гораздъ... За что ни примемся, все бросаемъ на половинѣ; къ чему ни привяжемся, разлюбимъ черезъ минуту». «Чтобы разбудить спящую массу» нашихъ «задержанныхъ, но не истощенныхъ силъ, необходима электрическая батарея идей свѣжихъ, могучихъ». И въ этомъ отношеніи правительство всячески старается оказать содѣйствіе народу. «Благодаря его непрерывнымъ попеченіямъ, средства къ образованію ума въ нашемъ отечествѣ безпрестанно размножаются и совершенствуются» <sup>1)</sup>. Открываются новыя высшія учебныя заведенія <sup>2)</sup>, утверждается новый университетскій уставъ (1835 г.).

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1834, ч. XIX, стр. 12—16.—Мнѣніе Надеждина относительно видной роли, сыгранной правительствомъ въ исторіи русскаго просвѣщенія, раздѣляя Пушкинъ. «Не могу не замѣтить», писалъ онъ: «что, со временъ востшествія на престолъ дома Романовыхъ, у насъ правительство всегда впереди на поприщѣ образованности и просвѣщенія. Народъ слѣдуетъ за нимъ всегда лѣнливо, а иногда и неохотно» (Сочиненія Пушкина, ред. П. О. Морозова, изд. Просвѣщенія, т. VI, стр. 326, 642). Въ подтвержденіе своей мысли Пушкинъ приводилъ факты. «Екатерина», говорилъ онъ: «много сдѣлала для исторіи, но Академія *ничего*. Доказательство, какъ правительство у насъ всегда впереди» (*И. А. Шляпкинъ*. Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина. Спб., 1903, стр. 59).—Къ подобнымъ выводамъ пришелъ и Чаадаевъ, просмотрѣвшись къ нашей исторической жизни. Въ «Апологін сумасшедшаго» есть слѣдующее весьма характерное мѣсто: «Мы съ изумительной быстротой достигли извѣстнаго уровня цивилизаціи, которому справедливо удивляется Европа. Наше могущество держитъ въ трепетѣ міръ, наша держава занимаетъ пятую часть земного шара, но всѣмъ этимъ, надо сознаться, мы обязаны только энергичной волѣ нашихъ государей, которой содѣйствовали физическія условія страны, обитаемой нами.—Обдѣланные, отягченные, созданные нашими властителями и нашимъ климатомъ, только въ силу покорности стали мы великимъ народомъ. Просмотрите отъ начала до конца наши лѣтописи,—вы найдете въ нихъ на каждой страницѣ глубокое воздѣйствіе власти, непрестанное вліяніе почвы, и почти никогда не встрѣтите проявленій общественной воли» (*М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 295).—Ср. письмо В. Г. Бѣлинскаго отъ 7-го августа 1837 г.: «Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получить то и другое отъ своихъ царей, такъ какъ уже много получила отъ нихъ того и другого. Вся надежда Россіи на просвѣщеніе, а не на перевороты, не на революціи и не на конституціи. Во Франціи были двѣ революціи, и результатомъ ихъ конституція—и что же? Въ этой конституціонной Франціи гораздо менѣе свободы мысли, нежели въ самодержавной Пруссіи. И это оттого, что свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настанетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія, основаннаго на философіи, на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла» (*А. Пытинъ*. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Спб., 1876, т. I, стр. 180).

<sup>2)</sup> Въ 1834 г. основанъ университетъ св. Владимира.

Университеты могут избавить насъ отъ коренного зла— «скудости мыслей», которая замѣтна въ нашихъ ученыхъ и литературныхъ трудахъ. Наши соотечественники, принявшись за ученіе, могутъ доказать скептикамъ-иноземцамъ, что «въ русской головѣ достанетъ мозгу на многое», если только «это богатое вещество будетъ обрабатываться надлежащимъ образомъ». Кромѣ того, и «наши витязи пріятныхъ досуговъ» воочію удостовѣрятся, что въ другихъ странахъ Европы «школы считаются необходимымъ преддверіемъ жизни», что «Вальтеры-Скотты и Викторы Гюго окончили полные курсы классическаго ученія, что Бальзакъ выстоялъ подъ грозою школьной ферулы, Дюма высидѣлъ въ ночныхъ неусыпныхъ бдѣніяхъ—ту колоссальную славу, коей теперь (т. е. въ 1834 г.) оба наслаждаются».

Но лишь при одномъ непремѣнномъ условіи университеты могутъ благотворно повліять на русское общество,—если они дѣйствительно храмы науки, «святиница отечества». *«Дѣятельность университетскихъ членовъ» должна «ограничиваться одною учебною частію». «Не развлекаясь обязанностями администраціи какъ въ разсужденіи гимназій и училищъ, такъ и въ отношеніи къ самому университету, профессоръ естественно будетъ сосредоточивать все свои дарованія и труды въ своей каведрѣ».*— Необходимо также, чтобы профессоръ былъ матеріально обезпеченъ, «избавленъ отъ нужды работать внѣ университета»,—«и тогда можно надѣяться и ожидать, что впредь, по крайней мѣрѣ, не будетъ предлоговъ къ извиненію университетскихъ членовъ, если они не будутъ усердными наставниками и трудолюбивыми учеными».

Но благихъ результатовъ отъ преобразования нашихъ университетовъ (1835 г.) можно ждать нескоро. «Не вдругъ собираются плоды даже и на нивѣ физической, изъ родотворнаго лона природы, въ одинъ годъ совершающей полное развитіе своей жизни; тѣмъ болѣе на нивѣ нравственной, изъ нѣдръ духа чело-вѣческаго, котораго жизнь исчисляется не годами, а вѣками»<sup>1)</sup>.

---

Надеждину, литературному критику, не посчастливилось такъ же, какъ и Надеждину-публицисту. Порицанія и хула, преслѣдовавшія его при жизни, не прекращались и послѣ смерти. Писа-

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1834, ч. XIX, стр. 12, 14, 16; 1836, ч. XXXIII, стр. 108—109.

тель, упорно проповѣдывавшій, что только одна неограниченная власть монарха «можетъ держать массу разнородныхъ элементовъ государства силою законнаго тяготѣнія»<sup>1)</sup>), слишкомъ низко уронилъ себя въ глазахъ многихъ нынѣшнихъ историковъ литературы<sup>2)</sup>. Политика опять примѣшалась къ наукѣ,—и Надеждинъ-критикъ сдѣлался мишенью для всевозможныхъ нападокъ. Его бранили и порицали съ такою страстностью, съ такимъ задоромъ, какъ будто рѣчь шла не объ умершемъ, а о здравствующемъ писателѣ, который вотъ-вотъ сейчасъ пустится въ полемику. Безпристрастіе историковъ было утрачено; сводились какъ бы личные счеты; раздавались возгласы *pro domo sua* и на злобу дня! Уклоняясь отъ детальнаго анализа произведеній Надеждина, часто ополчались на него самого, старались выставить его въ невыгодномъ свѣтѣ, доказать безнравственность его поступковъ. Чего-чего только ни говорилось по поводу Надеждина: и *Молва*-то, «*бѣя себя въ грудь, восклицала*» въ «*квасно-патріотическомъ*» тонѣ; и издатель-то выказалъ «казенное отношеніе къ общественно - политической жизни», добровольно принялъ на себя обязанность «надзирать» за благонадежностью журналистовъ, любилъ «подсиживать» своихъ противниковъ и писалъ доносы на своихъ конкурентовъ<sup>3)</sup>. «Зная Надеждина, какъ человѣка», говоритъ одинъ изъ его строгихъ судей: «можно а priori вывести основныя черты всей его научно-литературной дѣятельности. У него не было опредѣленныхъ интересовъ, онъ былъ лишенъ искренности, сплошь да рядомъ былъ прямо лукавъ и всегда писалъ по обстоятельствамъ». Примѣромъ могутъ служить его отношенія къ Пушкину. «Въ первыхъ же книжкахъ (*Телескопа*) выступаетъ онъ въ защиту Пушкина, который былъ настоящимъ *bête noire* прежняго Надоумки. Еще какой-нибудь годъ тому назадъ Надеждинъ достигъ апогея своихъ плоскихъ

---

1) *Телескопъ*, 1833, № 1, стр. 13.

2) Эти специалисты писали съ большимъ авторитетомъ, но проявляли иногда малое знаніе журналистики и, въ своихъ *ссылкахъ на первоисточники*, смѣшивали крупныя періодическія изданія (напримѣръ, *Московский Вѣстникъ* и *Вѣстникъ Европы*), когда послѣднія были случайно перепутаны въ той книгѣ, которой они пользовались какъ пособіемъ (см. *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908. стр. 385 —Ср. *Н. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1890, кн. 3, стр. 27, 378; *Вѣстникъ Европы*, 1830, №№ 21—22 стр. 110—124).

3) Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1900, т. I, стр. 427—428, 448.

глумленій надъ Пушкинымъ, посовѣтовавши ему сжечь «Бориса Годунова». А теперь онъ того же «Бориса Годунова» превозноситъ, а прежнія глумленія весьма неискусно объясняетъ тѣми высокими требованіями, какія онъ предъявляетъ къ такому таланту, какъ Пушкинъ. Дѣйствительная причина полной перемѣны фронта заключалась, конечно, въ томъ, что онъ хотѣлъ привлечь на свою сторону и въ свой журналъ любимца публики. «Маневръ Надеждина вполнѣ удался»; онъ залучилъ къ себѣ талантливаго сотрудника, «ссудилъ его деньгами, и тѣмъ, конечно, обезоружилъ вѣчно нуждавшагося и денежно безалабернаго поэта»<sup>1)</sup>.

Такая характеристика Надеждина часто предлагается публикѣ, которая склонна вѣрить тому, что читаетъ. Но бойкость пера и хлесткій тонъ не очень убѣдительны для лица, изучившаго журналистику тридцатыхъ годовъ: при ознакомленіи со статьями Надеждина невольно дѣлаешь обратный выводъ и признаешь справедливость сужденій Чернышевскаго. Эти статьи говорятъ сами за себя.

Литературные очерки Надеждина, помѣщенные въ *Телескопъ*, имѣютъ нѣчто общее съ книгой «De Poësi Romantica» и рѣчью «О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ». Припомнимъ тезисы диссертации. Съ одной стороны, авторъ утверждаетъ: «ubi vita, ibi poësis»; съ другой—говоритъ о синтезѣ классицизма и романтизма. «Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія»,—слѣдовательно, поэзія всегда бываетъ отраженіемъ жизни. Но жизнь не всегда одна и та же: она мѣняется подъ вліяніемъ историческихъ условій. Въ 1830-хъ годахъ она, по мнѣнію Надеждина, отличалась склонностью къ *всеобщности*, при чемъ подъ послѣдней надо разумѣть «соединеніе двухъ крайностей», т. е. «идеальнаго одушевленія среднихъ временъ съ изящнымъ благообразіемъ классической древности». Такимъ образомъ, отражая дѣйствительность, поэзія eo ipso отразитъ въ себѣ и синтезъ классицизма съ романтизмомъ; отражая русскую дѣйствительность въ частности, будетъ народною, русскою.

Обратимся къ статьямъ, напечатаннымъ въ *Телескопъ*.

«Отличительный характеръ нашего вѣка»—говорится здѣсь—«есть совершеннѣйшая гармонія вещества и духа», тогда какъ

---

<sup>1)</sup> Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова, Спб., 1900, т. I, стр. 404, 409.—Ср. М. Лемке. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 394.

«греко-римская древность представляла полный періодъ развитія *вещественной жизни*», а средневѣковье—періодъ жизни *духовной*. «Девизъ» новой поэзіи есть «истина»; поэтому поэзія должна быть «вольнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности», т. е. того «полнаго развитія *полной жизни*», какого не было ни въ античномъ мірѣ, ни въ эпоху рыцарства. «Полная жизнь» состоитъ въ «уравновѣшеніи обоихъ противоположныхъ началъ бытія», и поэзія, изображая это «уравновѣшеніе», или «гармоническое уравненіе», будетъ синтезомъ классицизма и романтизма <sup>1)</sup>).

Но возможенъ ли вообще пресловутый синтезъ? Вполнѣ ли обоснованъ взглядъ Надеждина? Бѣлинскій находилъ мысль о синтезѣ «справедливой», «глубокой» и «хорошо развитой» у Надеждина <sup>2)</sup>, а академикъ А. Н. Веселовскій замѣтилъ: «Она-то и осталась неразвитой» <sup>3)</sup>).

Отвѣтъ на поставленный вопросъ можно дать лишь тогда, когда отыщутся художественныя произведенія, въ которыхъ бы Надеждинъ усмотрѣлъ всѣ элементы новой, или, какъ онъ выражался, «современной поэзіи». Такія произведенія извѣстны. Это романы Вальтера Скотта. Характеризуя послѣдніе, Надеждинъ долженъ былъ на нихъ, какъ на прекрасныхъ образцахъ, наглядно показать особенности желаннаго синтеза... Но здѣсь-то онъ и проявилъ нѣкоторую несостоятельность. Онъ уклонился отъ точнаго опредѣленія синтеза, и, говоря о твореніяхъ Скотта, *замѣнилъ понятія о классицизмѣ и романтизмѣ не тождественными понятіями о поэзіи эпической и лирической*, при чемъ указалъ, что существенные признаки обѣихъ находятся въ романахъ любимаго имъ писателя, которые, по существу, имѣютъ наибольшее сходство съ драмой и представляютъ самую удобную форму для новой поэзіи <sup>4)</sup>. Съ точки зрѣнія Надеждина, В. Скоттъ въ XIX вѣкѣ играетъ такую же роль, какую игралъ въ древности Гомеръ и въ «средніе вѣка» Шекспиръ. «Вальтеръ Скоттъ есть посему настоящій представитель современнаго духа творческой дѣятельности; романъ—маіоратъ нашей поэзіи» <sup>5)</sup>).

1) *Телескопъ*, 1831, № 1, стр. 7—10, 33; № 13, стр. 88—89.

2) Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ ред. С. А. Венгерова. Спб., 1903, т. VI, стр. 232.

3) А. Н. Веселовскій. В. А. Жуковскій. Спб., 1904, стр. 13.

4) *Телескопъ*, 1831, № 13, стр. 88—93.

5) Тамъ же, 1831, № 1, стр. 38.

Подобно Пушкину, превознося англійскаго романиста, Надеждинъ остался недоволенъ французской литературой и, въ то же время, весьма критически отнесся къ русской. И ту, и другую онъ разсматриваетъ, какъ «*выраженіе современнаго состоянія общества*» <sup>1)</sup>. Каково же было состояніе французскаго общества, «плодомъ» коего должна быть «юная словесность»?

«Съ самой іюльской революціи, въ продолженіе почти четырехъ лѣтъ. раздираемая неумолимыми крамолами, терзаемая мятежами, обливающаяся своею кровію, сія злополучная нація обнаруживаетъ въ себѣ судорожную агонію жизни, *уже согнившей*, въ коей насильственныя, конвульсивныя потрясенія возбуждаются свирѣпствующимъ пламенемъ смертной горячки. Всмотритесь попристальнѣе въ нынѣшнюю Францію. Это, въ собственномъ смыслѣ, трупъ, приводимый въ движеніе только гальванизмомъ мятежей и кровопролитій. Всѣ связки ея общественнаго организма порваны; всѣ жизненные соки заражены и испорчены. Въ настоящемъ поколѣніи, толпящемся на авансценѣ французской исторіи, поколѣніи, перегорѣломъ въ столькихъ революціяхъ, родившемся и выросшемъ среди безпрестанной ломки, на ежедневно возобновляющихся развалинахъ, нѣтъ никакихъ твердыхъ и неизблемыхъ идей, никакой вѣры въ прочность и безсмертіе, никакихъ привязанностей къ прошедшему и надеждъ на будущее, никакой религіи, ни нравственной, ни политической! Не удерживаемое никакими оплотами, оно оставалось съ одиѣми своими страстями, кои, свирѣпствуя необузданно, истребили, наконецъ, послѣдній покровъ, возлагаемый приличіями общественной стыдливости на всякую нравственную рану, обнажили сожженный ими трупъ, во всемъ отвратительномъ его безобразіи, подобно какъ землетрясенія, разрывая прелестные ковры луговъ и полей, выворачиваютъ наружу безобразныя нѣдра истерзанной ими земли, въ дикой, ужасающей наготѣ»... И вполнѣ понятно «отчаяніе Барбье, который, освѣтивъ своимъ поэтическимъ факеломъ сіе ужасное зрѣлище, восклицаетъ, наконецъ, въ порывахъ лютейшаго негодованія, на своемъ энергическомъ языкѣ, что теперь не остается ничего болѣе, какъ взять голый камень, положить въ голову и, не думая ни о чемъ, протянуться и околотъ, какъ собакѣ».

---

<sup>1)</sup> Ср. Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ ред. С. А. Венгерова. Спб., 1901, т. V, стр. 488: «Литература должна быть выраженіемъ жизни общества, и общество ей, а не она обществу даетъ жизнь».

«Но нашлись другіе люди съ талантами, болѣе хладнокровные и спокойные, кои имѣли духъ наблюдать сіе зрѣлище съ разныхъ точекъ зрѣнія и собранныя ими впечатлѣнія опрaвлять въ поэтическія рамы. Вотъ происхождение новой французской школы, съ ея мрачными, ужасными, отвратительными картинами. Отсюда само собою объясняется, почему произведенія сей школы большею частію не ладятъ съ нравственнымъ чувствомъ: они слишкомъ *вѣрны нравственному безобразію дѣйствительности, или представляемой*. Вся вина современной французской литературы въ томъ, что она *слишкомъ истинна*!»

«До Революціи развратъ французскаго общества, при всей своей наглости, все еще прикрывался нѣкоторымъ лакомъ наружности. Невѣріе царствовало во глубинѣ сердца; но по улицамъ ходили церковныя процессіи, въ гостиныхъ раздавались богословскіе споры, на площадяхъ зажигались еще инквизиторскіе костры. Разстройство вѣдалось во всѣ вѣтви общественнаго организма; но монархія стояла твердо и неприкосновенно! Духа, конечно, нигдѣ уже не было; но старинныя преданія все еще держались и держали кое-какъ ветхое зданіе разрушающагося общества. Точно также и литература состояла подъ властію преданій, завѣщанныхъ въ поэтическомъ кодексѣ Буало, отца французскаго классическаго православія; и сіи преданія были такъ крѣпки, что, среди всеобщаго разрушенія, произведеннаго революціей, остались невредимы и цѣлы. Тогда какъ гильотина наводняла всю Францію дѣйствительной кровью, сцена театра французскаго боялась малѣйшаго пятнышка крови поддѣльной: Кребильонъ казался для ней слишкомъ ужасенъ; Шекспиръ допускался въ репертуаръ не иначе, какъ обстриженный, выхоленный и раздушенный трудолюбивымъ мастерствомъ Дюсиса. Это продолжалось и во времена Имперіи. *При измѣненіи всѣхъ формъ общественной жизни, только формы литературы оставались неизмѣнно однѣ и тѣ же: тотъ же александрійскій стихъ съ правильно настыченною цезурою; та же слѣпая вѣра въ драматическое тріединство; то же строгое соблюденіе академическаго пуризма; та же чопорность, тѣ же причуды; та же притворная слабонервность воображенія, пугающагося дѣйствительности, въ ея простой, неукрашенной наготѣ, и потому истоющагося въ усиліяхъ облѣпить ее риторическою мишурою.* Причиною сей упорной закоснѣлости въ старыхъ формахъ было *всегдашнее отчужденіе французской словесности отъ общаго движенія прочихъ европей-*



*скихъ литературъ*, происходившее отъ нелѣпаго національнаго тщеславія, составлявшаго издревле родовой порокъ французовъ. Во все продолженіе осьмнадцатаго столѣтія французская литература не знала и не хотѣла ничего знать о томъ, что дѣлалось у сосѣднихъ народовъ. Она думала, что внѣ правилъ Буало и Батте, внѣ образцовъ Расина и Вольтера нѣтъ спасенія, ибо, кромѣ Буало и Батте, не существовало для нея никакихъ другихъ законодателей, кромѣ Расина и Вольтера, никакихъ другихъ представителей литературнаго изящества. Кто жь открылъ ей, наконецъ, глаза? Кто бросилъ въ ея старыя, зачерствѣлыя формы закваску новаго броженія? Чета талантовъ, принадлежащихъ къ обоимъ поламъ рода человѣческаго: г-жа Сталь и Шатобрианъ. Первая вскрыла для Франціи новый, безвѣстный міръ германской литературы, въ то время кипѣвшій всею полнотою свѣжихъ, юношескихъ силъ, только что свергнувшихъ съ себя тяжелыя путы школьнаго рабства. Второй изъ лѣсовъ Сѣверной Америки принесъ первые опыты картинъ природы, снятыхъ прямо съ природы, безъ всякаго искусственнаго посредства, однимъ вѣрнымъ взглядомъ души, не изломаннымъ, не окрашеннымъ цвѣтной призмой педантизма. Къ сей-то геніальной четѣ новая французская словесность должна возводить свое происхождение: Шатобрианъ былъ ея крестнымъ отцомъ; г-жа Сталь—повивальною бабушкой. Вліяніе сочинительницы превосходнаго творенія о Германіи было больше внѣшнее, вспомогательное; но вліяніе творца «Духа христіанства» было внутреннее, въ полномъ смыслѣ родотворное. Рене явилъ въ себѣ первую и уже могучую попытку того глубокаго анализа души, прорывающагося до самыхъ сокровеннѣйшихъ вѣдръ ея, который сдѣлался теперь господствующею, существенною чертою французской словесности. Долго сія искра новаго огня тлѣлась подъ старымъ курящимся пепломъ. Приключенія Имперіи, поглотившія всю дѣятельность Франціи, не оставляли талантамъ ни досуга, ни простора для живой литературной дѣятельности. Уже по возстановленіи Бурбоновъ, успокоившемъ ея политическія конвульсіи, обнаружилось въ ея словесности броженіе новыхъ идей, сначала глухо, потомъ рѣзче и рѣзче, наконецъ въ прошломъ десятилѣтіи, съ бурною, разрушительною силою революціи. И здѣсь также не обошлось безъ внѣшняго, посторонняго вліянія; оно принадлежитъ совокупному дѣйствію германской и англійской литературы, переводамъ Шиллера и Гофмана, В. Скотта и Байрона, со дня на день умножавшимся

во Франціи, въ сію эпоху временнаго умиротворенія политическихъ ея войнъ. Но послѣдній рѣшительный ударъ неоспоримо должно приписать Шекспиру, явившемуся вскорѣ въ полномъ, хотя и прозаическомъ, переводѣ Гизо и въ живыхъ лицахъ англійскаго театра, учредившагося было въ Парижѣ. Всѣми признанные корифеи *юной словесности*, В. Гюго и А. Дюма, сами торжественно признаются, первый въ предисловіяхъ къ своимъ драмамъ: «Кромвелю» и «Маріи Тюдоръ», второй въ поэтической исповѣди своей «Юности», служащей введеніемъ къ полному изданію его сочиненій, что свѣтило британскаго театра было солнцемъ ихъ одушевленія, божествомъ ихъ поэзіи. И дѣйствительно, у него переняли они эту психологическую анатомію, коей недоставало рисунку французской классической литературы, этотъ глубокой взглядъ, впивающійся безжалостно въ сокровеннѣйшія тайны жизни, это вскрыванье внутреннихъ нѣдръ бытія. Но, къ сожалѣнію, сіе новое приобрѣтеніе получило у нихъ другое употребленіе, чѣмъ у Шекспира. Геній британскаго поэта разлагалъ своимъ могучимъ рѣзцомъ явленія жизни для того, чтобы видѣть въ нихъ трепетаніе единой вѣчной идеи человечества, предносившейся (sic) поэтическому его взору во всемъ своемъ величіи: это гаруспицій, читающій въ кровавыхъ внутренностяхъ жертвъ завѣтныя тайны судебъ міродержавныхъ. Напротивъ, французскіе писатели, увлеченные его примѣромъ, но не возвысившіеся до точки его поэтическаго зрѣнія, принялись пилить и рѣзать дѣйствительность единственно для того, чтобъ видѣть ее обнаженною и распластанною; довольствуются только тѣмъ, что ободранныя, разнятыя внутренности выставляютъ на показъ въ хрустальныхъ банкахъ фантастической работы, въ летучемъ спирту поэзіи, взогнанной до высочайшаго градуса изступленія. Вотъ причины, по которымъ *юная французская словесность*, основанная первоначально на *благородной потребности естественности и истины*, составляющей теперь существенную, характеристическую потребность искусства во *всѣхъ его отрасляхъ*, при дальнѣйшемъ развитіи, вмѣсто того, чтобъ быть, подобно поэмамъ Шекспира, высокою психологическою біографіею человечества, составила изъ себя, по счастливому выраженію одного москвича, коллекцію нравственныхъ анатомическихъ препаратовъ!

«Картины безнравственности, выставляемыя нынѣшнею французскою школою, конечно, ужасны; но этотъ ужасъ, по нашему мнѣнію, спасителенъ: это ужасъ, возбуждаемый тѣмъ, чего должно

ужасаться; онъ душитъ насъ, но не соблазняетъ». И «ежели бы юная французская словесность, оставаясь на пути, ею избранномъ, сохраняла, по крайней мѣрѣ, строгую вѣрность истинѣ и не заходила за предѣлы здраваго смысла, то произведенія ея неоспоримо остались бы навсегда занимательными предметами, если не эстетическаго наслажденія, то любопытнаго, назидательнаго изученія. Но, къ сожалѣнью, должно признаться, въ сіи послѣднія времена, забывъ всякую мѣру, она поверглась въ самое дикое неистовство, подобное безумному опьяненію. Особенно это должно сказать о толпѣ подражателей, кои ринулись стремглавъ по стезѣ, протоптанной великими талантами. Въ послѣднихъ произведеніяхъ новой школы жизнь уже не взрѣзывается, а крошится на мясныя части (sic), изъ которыхъ лѣпятся гнусныя, омерзительныя фигуры, не имѣющія ни мысли, ни образа» <sup>1)</sup>.

Порицая французскихъ поэтовъ за нравственную распущенность и разнузданность, Надеждинъ упорно проводилъ мысль, что «соединеніе поэзій съ жизнью» <sup>2)</sup> не заключается въ *пристрастїи* къ изображенію низкихъ людскихъ пороковъ и отвратительныхъ дѣяній. Надеждинъ готовъ признать положеніе В. Гюго: «tout ce qui est dans la nature est dans l'art» <sup>3)</sup>, готовъ согласиться, что и уродливое можетъ быть предметомъ изображенія; но на этомъ уродливомъ, по его глубокому убѣжденію, не должно быть сосредоточено вниманіе художника, тѣмъ болѣе, что много есть такихъ вещей въ природѣ, которымъ лучше оставаться подъ спудомъ, въ тѣни, чѣмъ быть выставленными на показъ безъ должнаго освѣщенія или—что еще хуже—въ освѣщенїи тенденціозномъ <sup>4)</sup>. «Для искусства» «не довольно одной матеріальной вѣрности представленія: оно должно вдыхать жизнь дѣйствительности, просвѣтлять единою мыслию мрачный хаосъ событій. И симъ только оправдывается его свобода самоуправствовать дѣйствительностью, переставлять и измѣнять событія, дабы они ярче и полнѣе выражали предначертанную идею».

«Спрашивается теперь, съ какою поэтической цѣлю» <sup>5)</sup> иногда «выкапывается изъ-подъ спуда исторїи и представляется на сценѣ

<sup>1)</sup> *Телескопъ*. 1834, ч. XXI, № 19, стр. 151—169

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1831, № 1, стр. 39.

<sup>3)</sup> *M. Souriau*. Préface de Cromwell. Paris, p. 223.

<sup>4)</sup> Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 3, стр. 226—227.

<sup>5)</sup> Поэтическая цѣль—«идея, которую художникъ предполагаетъ выразить своимъ произведеніемъ».

со всѣми очарованіями искусства» «отвратительный рядъ ужасовъ, своею позорною дѣйствительностью оскорбляющій невыразимо высокое достоинство природы человѣческой»? «Кто далъ власть художнику для своихъ прихотей громоздить преступления на преступления, ужасы на ужасы, въ священной глубинѣ души человѣческой, созданной по образу и подобию вѣчнаго блага, безпредѣльной красоты? И безъ того губительное дыханіе страстей обезображиваетъ такъ постыдно ея небесное благолѣпіе; генію ли, соревнователю зиждательнаго духа жизни, возвышать ихъ разрушительное, смертоносное дѣйствіе?»<sup>1)</sup> «*Реализмъ*, господствующій нынѣ во Франціи», есть реализмъ особаго рода, реализмъ чрезвычайно опасный. Если бы онъ «одержалъ рѣшительный верхъ», то «на другой день, послѣ неоспоримаго удостовѣренія въ его побѣдѣ, нельзя бъ было вѣрить ни въ Бога, ни въ достоинство души, ибо міръ, который сія поэзія развиваетъ предъ нашими глазами, есть міръ безъ промысла и свободы: это народъ безъ имени, безъ алтаря, безъ закона, который повинуется только мечу и вѣруетъ только въ силу»<sup>2)</sup>.

Такіе взгляды, которые въ 1828—1830 гг. можно было встрѣтить на страницахъ *Вѣстника Европы* въ статьяхъ Надоумка и которымъ Надеждинъ оставался неизмѣнно вѣренъ впоследствии, опредѣлили его отношеніе къ главѣ французской романтической школы.

В. Гюго—«апостоль французскихъ романтиковъ», т. е. тѣхъ литераторовъ и поэтовъ, которые, «выпрыгнувъ за рубежъ возможной уродливости воображенія», «въ чаду фантастическаго своего изступленія» *«хотятъ чего-то другого, кромѣ того, что есть, — и между тѣмъ сами не знаютъ, чего именно»*. Поэзія Гюго «своею дикою оригинальностью, своимъ дерзкимъ нарушеніемъ всѣхъ синтаксическихъ и просодическихъ уставовъ хлещетъ по ушамъ достопочтенныхъ любителей чистоты французскаго языка, величественно заправляющихъ кормиломъ грамматики съ академическихъ креселъ, и, несмотря на то, силой врывается въ душу, сверлитъ умъ, бѣситъ воображеніе, нерѣдко даже чаруетъ и сердце». Гюго мечтаетъ о безусловной поэтической свободѣ и недавно выра-

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1833, № 3, стр. 410, 418.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1833, № 4, стр. 558.—О французской литературѣ XIX вѣка Надсждинъ подробно говоритъ также въ «Дорожныхъ Воспоминаніяхъ», помещенныхъ въ *Телескопъ*, 1836 (ч. XXXII, № 5, стр. 81—119).

зился весьма ясно, что романтизмъ, во имя коего онъ ратуетъ противъ ветхаго классическаго деспотизма, есть не что иное, какъ «либерализмъ литературный», а въ предисловіи къ Кромвелю «замечтался до того, что постановилъ первообразомъ для новой, проповѣдуемой имъ реформаціи въ поэзіи не изящество, а... чудовищность, нелѣпость, безобразіе». «Подобно жрецамъ древняго Рима», В. Гюго способенъ иногда «искать разрѣшенія» своихъ творческихъ «задачъ» въ крови трепещущихъ жертвъ; но это не кровь безмысленныхъ животныхъ, изливавшаяся подъ ножомъ гаруспиціевъ; это жертвы человѣческія, кои самъ языческій Римъ воспретилъ Кароагену между условіями вынужденнаго мира». И «какъ упорно дѣйствительность отказывалась повиноваться сему святотатственному напилью, оскорбляющему высокое достоинство человѣческой природы». Въ пьесѣ «Лукреція Борджіа» «поэтъ принужденъ былъ прибѣгать къ явнымъ преувеличеніямъ, натяжнымъ сплетеніямъ обстоятельствъ, фальшивымъ поддѣлкамъ ситуаций. Посему созданіе его носитъ на себѣ очевидную печать принужденія и неестественности, какъ вообще, такъ и въ частныхъ подробностяхъ». Но крайности, въ которыя впадаетъ Гюго, подобно всѣмъ французамъ, не мѣшаютъ ему временами «покорять свою дикость подъ спасительное иго вкуса». Онъ не прочь подчасъ сдѣлать «значительную сбавку противъ прежней романтической заносчивости» и признать, что «въ литературѣ не должно быть ни этикета, ни анархіи, но царство законовъ»,—однимъ словомъ, проявляетъ склонность «образумиться», и «Эрнани» «представляетъ торжественное доказательство», что если Гюго «свойственно падать, то возставать еще свойственнѣе».

Каждое крупное произведеніе В. Гюго «производитъ великую тревогу въ головахъ его клеветовъ», но далеко не всегда находитъ себѣ справедливую оцѣнку. Примѣромъ можетъ служить «Notre Dame de Paris». Въ «прославляемомъ» романѣ нѣтъ ничего особо выдающагося. Здѣсь «главный герой есть Соборная Парижская Церковь, къ которой авторъ приплелъ по-своему какое-то ужасное происшествіе 1462 года. Важнѣйшія фигуры суть: Квазимодо, дьяконъ церкви Notre Dame, существо почти отвратительное, но оригинальное; Эсмемальда — нѣчто въ родѣ Миньоны, и архидіаконъ Клавдій Фролло — слѣпокъ съ Фауста, неудачный, нелѣпый»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1831, № 1, стр. 32—33; № 2, стр. 238—242; № 3, стр. 400—

Вообще, ознакомившись съ творческой дѣятельностью В. Гюго, нельзя не прийти къ заключенію, что онъ «поэтъ не безъ генія»; но вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо предостеречь читателей отъ излишняго увлеченія произведеніями коновода «удальцовъ, прикрывающихся знаменами романтизма» и большею частію не отдающихъ себѣ отчета въ томъ, «за чтò стоятъ и на чтò вооружаются». И было бы чрезвычайно опасно «трескучіе фантазмагорическіе огоньки, копми В. Гюго любитъ иногда пугать слабо-нервную причудливость», «принимать за игру лучей восходящаго солнца!»<sup>1)</sup>

Сравнивая литературы западно-европейскія съ русской, Надеждинъ поражается богатствомъ первыхъ и бѣдностью послѣдней. «Между тѣмъ какъ иностранныя литературы своею неистощимо разнообразной плодovitостью подавляютъ и путаютъ самую прозорливую наблюдательность, наши литературныя лѣтописи могутъ только изумлять своей необыкновенной скудостью». Но «поле нашей словесности не представляетъ уже совершенно бесплодный пустырь». Временами на этомъ полѣ «возникаютъ прекрасныя цвѣты, живые свидѣтели внутренней жизни». «Откуда жъ это противорѣчіе? Откуда чудная прелесть роскошнаго цвѣтенія среди всеобщей пустоты и бесплодія?»

Странный фактъ вполнѣ объясняется, если принять во вниманіе «современное состояніе» русскаго общества, «выраженіемъ» котораго является литература. Наше общество не любитъ «зани-

---

410; 1832, № 1, стр. 133; 1833, № 3, стр. 409 — 411, 418; № 4, стр. 558. — *Молва*, 1831, № 18, стр. 7; 1834, № 31, стр. 64.

Въ *Телескопѣ* и *Молвѣ* помѣщены слѣдующія сочиненія В. Гюго: «Сцены изъ трагедіи: Гернани», «Парижскій соборъ Богородицы», «Взглядъ на исторію», «Джинны», «Объ изящныхъ искусствахъ и современной драмѣ», «Фантазія» (*Телескопъ*, 1831, № 13; 1832, № 1; 1834, № 23; 1835, №№ 1, 7. — *Молва*, 1835, №№ 51-52).

<sup>1)</sup> Мнѣніе Надеждина о поэзіи В. Гюго нѣсколько напоминаетъ отзывы Пушкина, который, признавая талантливость нѣкоторыхъ сочиненій «любимца парижской публики» (въ родѣ «Le dernier jour d'un condamné»), считаетъ однако послѣдняго «поэтомъ второстепеннымъ», «неровнымъ, грубымъ», авторомъ «нелѣпыхъ», «уродливыхъ драмъ» и «натянутыхъ» стихотвореній (Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1908, т. II, стр. 143, 211. — Соч. Пушкина, ред. П. О. Морозова, изд. Просвѣщенія, т. VI, стр. 175, 178, 430).

маться изнурительными работами предварительнаго воздѣлыванія родной почвы,—работами, медленно и скупо вознаграждаемыми» оно «предпочитаетъ легчайшее и удобнѣйшее занятіе — пересаживать къ себѣ цвѣты европейскаго просвѣщенія, не заботясь, глубоко ль они пустятъ корни и надолго ли примутся». «Это иногда удавалось, и отсюда тѣ блестящія, необыкновенныя явленія, кои изумляютъ наблюдательность, блуждающую въ пустыняхъ нашей словесности. Сія явленія суть или переводы, или подражанія: они не самородныя русскія, хотя часто имѣютъ русское содержаніе и составлены изъ чисто русскаго матеріала. Такъ растенія иноземныя, легѣмыя въ нашихъ садахъ, питаются русскимъ воздухомъ, сосутъ русскую почву, а все не русскія! Тяжело, а должно признаться, что доселѣ наша словесность была — если можно такъ выразиться — барщиной европейскою; она обработки валась русскими руками не по-русски» <sup>1)</sup>. «Что у насъ теперь своего? Поэтическій нашъ метръ выкованъ на германской наковальнѣ; проза представляетъ вавилонское смѣшеніе всѣхъ европейскихъ идиотизмовъ, нараставшихъ поочередно слоями на дикую массу русскаго неразработаннаго слова. Какими произведеніями мы можемъ похвалиться, какъ нашими собственными?»

Театръ у насъ представлялъ всегда жакую пародію французской чопорной сцены; объ эпопеяхъ и говорить нечего; лирическое одушевленіе временъ Очаковскихъ выливалось въ официальныхъ формулахъ, общихъ всей Европѣ; въ балладахъ, коими смѣнилось царство одъ, развертывалась нѣмецкая трескучая фантазмагорія; современныя поэтическія мечты, думы, грезы отзываются или, по крайней мѣрѣ, хотятъ отзываться байронизмомъ».

---

<sup>1)</sup> Ср Сочиненія В. Бѣлинскаго. М., 1860, ч. VIII, стр. 99—100: «Русская литература есть не туземное, а пересадное растеніе. Это обстоятельство даетъ особенный характеръ ей самой и ея исторіи; не понять этого обстоятельства или не обратить на него всего вниманія, значитъ не понять ни русской литературы, ни ея исторіи. Мы начали ея характеристику сравненіемъ—и продолжимъ сравненіемъ же. Одни растенія, будучи перенесены въ новый климатъ и пересажены въ новую почву, сохраняютъ свой прежній видъ и свои прежнія качества; другія измѣняются въ томъ и другомъ, по вліянію на нихъ новаго климата и новой почвы. Русская литература можетъ быть сравниваема съ растеніями втораго рода. Ея исторія, особенно до Пушкина, состоитъ въ постоянномъ стремленіи отрѣшиться отъ результатовъ искусственной пересадки, взять корни въ новой почвѣ и укрѣпиться ея питательными соками».

«Само собою разумѣется, что сіи насильственные наросты не могли укореняться глубоко въ литературной нашей почвѣ и разрастаться богатою жатвою. Напротивъ, они весьма скоро выцвѣтали, блекли и опадали. Ничто не упрочивало имъ продолжительнаго, основнаго существованія: они возникали и увядали по минутнымъ прихотямъ, по эфемернымъ капризамъ моды. Отсюда та непостоянная вѣтренность и измѣнчивость вкуса, къ коей нельзя не упрекнуть нашу словесность. Въ продолженіе столѣтія она безпрестанно мѣняла свой цвѣтъ, тонъ, характеръ. Ломовосовъ пристрастилъ ее къ классической древности, коей изученіемъ воскормленъ былъ собственный его геній; и вслѣдъ за нимъ явились переводы «Иліады» и «Энеиды», Горация и Платона, Ксенофонта и Овидія. Греко-римскіе классики были господствующею страстью нашей словесности во все продолженіе осьмнадцатаго столѣтія. Явился Карамзинъ, и страсть сія получила другое направленіе. Онъ подружилъ насъ съ французскою литературною любезностью, пріучилъ къ ея тону и формамъ,— и вдругъ во всѣхъ концахъ нашей словесности зацвѣли незабудки и розы, запорхали горленки и мотыльки, раздались нѣжные вздохи, полились ручьи перловыхъ слезъ, коихъ изсякающія капли собираются теперь въ полинявшую урну *Далскаго Журнала*. Зазвучали серебряныя струны арфы Жуковскаго, настроенной нѣмецкою мечтательною музою, и все бросилось подстроиваться подъ тонъ, имъ заданный: фантазія переселилась на кладбище, мертвецы и вѣдьмы потянулись страшною вереницею, и литература наша огласилась дикими завываніями, коихъ запоздалое эхо отдается еще нынѣ, по временамъ, въ мрачныхъ руинахъ *Московского Телеграфа*» <sup>1)</sup>).

«Переходъ отъ подражательности къ *народности* обнаружился въ нашей словесности весьма недавно, и то очень слабо. Можетъ быть, пройдетъ еще долгое время, прежде чѣмъ совершится этотъ переходъ, и изъ настоящаго броженія вырабо-

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 1, стр. 147—159.—Ср. тамъ же, 1832, № 9, стр. 122: «Доселѣ во всѣхъ поэтическихъ нашихъ усиліяхъ господствовало вдохновеніе несамобытное, чужое, экзотическое: лучшіе, блистательнѣйшіе цвѣты нашей поэзіи выращены въ оранжерейной атмосферѣ подражанія». «Карамзинъ подражалъ современной французской литературѣ, Жуковский — германско-англійской, Мерзляковъ — древне-классической въ формахъ XVIII вѣка» (*Телескопъ*, 1836, ч. XXXIII, стр. 113).



гается *самобытный* характеръ русской словесности. *Nos est in votis*» <sup>1)</sup>).

Самое видное мѣсто среди современныхъ ему русскихъ писателей Надеждинъ отводитъ Пушкину. Какъ въ прежніе годы, будучи сотрудникомъ *Вѣстника Европы*, признавалъ онъ «моцный, богатый» талантъ творца «Онѣгина», считалъ этотъ талантъ, «неподдѣльнымъ сокровищемъ, съ котораго цѣна никогда спастись не можетъ», и не находилъ возможнымъ «затащить на одну доску» съ Пушкинымъ кого-либо изъ новѣйшихъ литераторовъ <sup>2)</sup>),—такъ и теперь, сдѣлавшись редакторомъ *Телескопа*, Надеждинъ не измѣнилъ своихъ воззрѣній: онъ называлъ дарованіе поэта «несравненнымъ, единственнымъ», его самого—«заслуженнымъ корифеемъ нашей словесности» <sup>3)</sup>), и, выбирая эпиграфы къ *Молвъ*, остановился на извѣстныхъ стихахъ: «Къ чему бесплодно спорить съ вѣкомъ? Обычай—деспотъ межъ людей!» <sup>4)</sup>).

И въ журналѣ Каченовскаго, и въ своемъ періодическомъ изданіи Надеждинъ совершенно одинаково изложилъ «ходъ вліянія Пушкина на публику и ея къ нему отношенія» <sup>5)</sup>). Глубоко убѣжденный въ томъ, что слава поэта «созрѣла прежде, нежели онъ самъ успѣлъ развернуться»; что разные «барышники» «сбирали жидовскіе проценты съ наемныхъ похвалъ своихъ, поддерживая на литературной биржѣ курсъ достоинства Пушкина—изъ собственныхъ расчетовъ и видовъ»; что даровитымъ писателемъ «торговали доселѣ, какъ модною вещью», и что мода на него къ 1830 году «кончилась» <sup>6)</sup>),—Надеждинъ всѣ эти мысли неуклонно высказывалъ всякій разъ, какъ представлялся удобный случай.

«Было время», говорилъ онъ: «когда каждый стихъ Пушкина считался драгоценнымъ приобрѣтеніемъ, новымъ перломъ нашей литературы. Какой общій, почти единодушный восторгъ привѣтствовалъ первые свѣжіе плоды его счастливаго таланта! Какія громозвучныя рукоплесканія встрѣтили Евгенія Онѣгина въ колыбели! Можно было, по всей справедливости, примѣнить къ юному поэту горделивое изреченіе Цезаря: *пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!*

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXIII, стр. 113.

<sup>2)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 8, стр. 296—297; № 9, стр. 66; 1830, № 7, стр. 195, 200: «Талантъ Пушкина я признавалъ всегда талантомъ».

<sup>3)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 9, стр. 121; *Молва*, 1834, № 22, стр. 339.

<sup>4)</sup> Евгеній Онѣгинъ, глава I, строфа XXV.—См. *Молву*, 1832, 1833 гг.

<sup>5)</sup> *Молва*, 1834, № 22, стр. 340.

<sup>6)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 7, стр. 197—199.

Всѣ преклонились предъ нимъ до земли: всѣ единогласно поднесли ему вѣнецъ поэтическаго безсмертія. Усомниться въ преждевременномъ апоѳеозѣ героя считалось литературнымъ святотатствомъ, — и нѣсколько послѣднихъ лѣтъ въ исторіи нашей словесности по всѣмъ правамъ можно назвать эпохою Пушкина. Безъ сомнѣнія, «прихотливый капризъ моды, коей поэтъ былъ любимымъ временникомъ», способствовалъ популярности послѣдняго: но надо сознаться, что имя Пушкина, и безъ этого «каприза моды», имѣло бы всѣ права на почетное мѣсто въ нашей литературѣ: энтузіазмъ, имъ возбуждаемый, не былъ совершенно незаслуженный!» — «Но теперь — какая удивительная перемѣна! Произведенія Пушкина являются и проходятъ почти непримѣтно. Блистательная жизнь Евгенія Онѣгина, коего каждая глава бывало считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескокомъ чрезъ цѣлую главу; и это не производитъ никакого движенія, не возбуждаетъ никакого участія. Третья часть стихотвореній Пушкина, обогащенная обширною сказкою въ новомъ родѣ, котораго геній его еще не испытывалъ, скромно, почти инкогнито, прокрадывается въ газетныхъ объявленіяхъ, на ряду съ мелкою рухлядью цеховаго риѳмоплетнаго руководѣлья; и — о верхъ униженія! — между журнальными насѣкомыми, *Съверная Пчела*, ползавшая нѣкогда предъ любимымъ поэтомъ, чтобы поживиться отъ него хотя росинкой сладкаго меду, теперь осмѣливается жужжать ему въ привѣтствіе, что въ послѣднихъ стихотвореніяхъ своихъ — Пушкинъ отжилъ!!! Sic transit gloria mundi!»...

«Что жъ значить сія перемѣна?.. Приписать ли это внезапное охлажденіе той же вѣтротлѣнной прихотливости моды, которая прежде баловала такъ поэта, или видѣть въ немъ добросовѣстное раскаяніе вразумившагося безпристрастія?»<sup>1)</sup>

Причину охлаждения слѣдуетъ искать, съ одной стороны, въ настроеніи публики, съ другой — въ измѣненіи характера пушкинскихъ произведеній.

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 9, стр. 104—105. — Ср. Сочиненія В. Бѣлинскаго. Москва, 1860, ч. VIII, стр. 452: «Цыганы» произвели какое-то колебаніе въ быстро возраставшей до того времени славѣ Пушкина; но послѣ «Цыганъ» каждый новый успѣхъ Пушкина былъ новымъ его паденіемъ, — и «Полтава», послѣднія и лучшія двѣ главы «Онѣгина», «Борисъ Годуновъ» были приняты публикою холодно, а нѣкоторыми журналистами съ ожесточеніемъ и съ оскорбительнымъ криками безусловнаго неодобренія».

Въ самомъ дѣлѣ, кто читаетъ Пушкина? Его читаетъ «мало-численная» и «маловнимательная къ авторамъ» «горсть людей», у которыхъ «не можетъ образоваться различныхъ мнѣній и, слѣдовательно, сужденій о писателѣ», которые «съ плеча, однимъ махомъ. по двумъ-тремъ пьесамъ, составляютъ свое мнѣніе объ сочинителѣ» и потомъ упорно отстаиваютъ свои, часто легкомысленные, взгляды. Пушкинъ «сдѣлался извѣстенъ у насъ первыми произведеніями его юности», «всегда горячими, пылкими, истинно поэтическими». «Первое впечатлѣніе рѣшило славу его, положило основной камень мнѣнію публики о Пушкинѣ», и въ каждомъ новомъ стихотвореніи его «думали видѣть тѣнь или блескъ того же характера пылкой, стремительной юности, по произведеніямъ которой составляли о немъ понятіе. Но поэтъ, какъ Пушкинъ, не могъ оставаться въ зависимости, даже и отъ общественнаго мнѣнія: онъ шелъ своимъ путемъ, и чѣмъ сильнѣе, самобытнѣе, выше развивался талантъ его, тѣмъ далѣе послѣдующія его произведенія расходились съ тѣмъ первымъ впечатлѣніемъ, которое такъ шумно, такъ торжественно сдѣлалъ онъ, еще незнаемый, изъ садовъ Лицея! Онъ былъ недоволенъ публикою, недоволенъ ея образомъ воззрѣнія на себя, и негодованіе поэта изливалось не разъ въ стихахъ могущественныхъ:

Такъ толковала чернь пустая,  
Поэтъ славному внимая!—

Но публика стояла крѣпко на своемъ, и поэтъ, не внимая ей, идучи своимъ путемъ, болѣе и болѣе отдалялся отъ ея участія. Вотъ, по нашему мнѣнію, единственная разгадка, почему послѣднія, лучшія поэмы его, какъ, напримѣръ, Борисъ, были принимаемы съ меньшимъ жаромъ и участіемъ» <sup>1)</sup>.

Между тѣмъ, къ «Борису Годунову», не оцѣненному публикой, было приковано вниманіе Надеждина еще съ момента появленія отдѣльныхъ сценъ драмы въ разныхъ періодическихъ журналахъ, и на первыхъ порахъ его отношеніе къ замыслу Пушкина было довольно скептическое. Въ то время, когда многіе люди, «выдававшіе себя за романтиковъ», еще не зная новой трагедіи, «кричали, что она затмитъ славу Шекспира и Шилле-

<sup>1)</sup> *Молва*, 1834, № 22, стр. 338—339.

ра»<sup>1)</sup>.—Надеждинъ, неудовлетворенный «Полтавой»<sup>2)</sup>, опасался, что, несмотря на красоты напечатанныхъ сценъ, вся драма, какъ художественное цѣлое, не удастся поэту. И подъ вліяніемъ закравашагося въ его душу подозрѣнія, что Пушкинъ не оправдаетъ возлагаемыхъ на него надеждъ, онъ, можетъ быть, неосторожно замѣтилъ, что автору лучше «сжечь»<sup>3)</sup> «Бориса Годунова», чѣмъ потерпѣть такую неудачу, какую онъ потерпѣлъ съ «Полтавой». Но опасенія, которыя внушала ему Пушкинъ, не мѣшали Надеждину съ большимъ интересомъ ожидать появленія въ свѣтъ того произведенія, которое должно было, съ его точки зрѣнія, наглядно показать силу и характеръ дарованія поэта. Узнавъ о выходѣ пьесы, Надеждинъ одинъ изъ первыхъ увѣдомилъ о томъ подписчиковъ: «Борисъ Годуновъ Пушкина, извѣстный дониндѣ только по отрывкамъ, наконецъ вышелъ. Молва, извѣщая о его появленіи, предоставляетъ *Телескопу* разглядѣть его»<sup>4)</sup>.

И *Телескопъ* «разглядѣлъ» «Бориса Годунова» лучше, чѣмъ другіе журналы<sup>5)</sup>. Вотъ что было въ немъ напечатано. «Борисъ Годуновъ»—не драма, не драматическая поэма, не нѣмецкое Schauspiel, не Autos Historiales испанцевъ, даже не шекспировская хроника, «написанная для театра и посему болѣе или менѣе подчиненная условіямъ сценики»; это—«рядъ историческихъ сценъ», «эпизодъ исторіи въ лицахъ», «новый способъ поэтического представленія событій». Поводъ къ развитію новаго литературнаго вида былъ поданъ романами В. Скотта, которыми «не умедлила воспользоваться» «французская неистощимая живость» въ сценахъ «Исторіи Лиги, со дня Баррикады до смерти Генриха III», породившихъ тьму подражаній.

«Борисъ Годуновъ», какъ всѣ историческія сцены, имѣетъ

<sup>1)</sup> Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1900, т. I, стр. 149.

<sup>2)</sup> Ср. Сочиненія В. Бѣлинскаго. М., 1860, ч. VIII стр. 490 — 491: «Полтава» не производитъ на читателя того одинаго, полного, совершенно удовлетворяющаго впечатлѣнія, которое должно произвѣсти всякое глубоко-концептированное и строго обдуманное поэтическое твореніе».

<sup>3)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 7, стр. 200.

<sup>4)</sup> *Молва*, 1831, № 1, стр. 6.

<sup>5)</sup> Ср. Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1900, т. I, стр. 149: «Въ одномъ только *Телескопъ* «Борисъ Годуновъ» былъ оцѣненъ по достоинству».

«органическую цѣлость», «поэтическій ensemble»... «Не Борисъ Годуновъ, въ своей біографической недѣлимости, составляетъ предметъ драмы, а царствованіе Бориса Годунова—эпоха, имъ наполняемая,—міръ, имъ созданный и съ нимъ разрушившійся—однимъ словомъ, историческое бытіе Бориса Годунова». оканчивающееся не его смертью, а смертью его сына. Существенный недостатокъ драмы, со стороны композиціи, состоитъ въ весьма неудачной раздвоенности интереса, такъ какъ «главное лицо пожертвовано совершенно другому, которое должно бы играть подчиненную роль въ этомъ славномъ актѣ нашей исторіи», т. е. «самозванецъ стоитъ на первомъ планѣ, и Борисъ за нимъ исчезаетъ». Другимъ крупнымъ пробѣломъ является несоблюденіе въ иныхъ мѣстахъ «исторической истины», благодаря чему въ извѣстномъ монологѣ Пимена встрѣчаются мысли, «обличающія въ смиренномъ чудовскомъ отшельникѣ наслѣдника идей Гердеровыхъ». Попадающіяся въ драмѣ излишества и несообразности, въ родѣ сцены въ корчмѣ, гдѣ фарсъ доведенъ до крайнихъ предѣловъ, тоже заслуживаютъ порицанія, а не одобренія..

Напротивъ, довольно хорошо обрисованы Пушкинымъ характеры дѣйствующихъ лицъ. Хотя поэтъ, смотрѣвшій на исторію «подъ карамзинскимъ угломъ зрѣнія», не вполне «угадалъ истинную тайну души Борисовой» и «всю чудесную игру страстей ея»<sup>1)</sup>,

---

<sup>1)</sup> Надеждинъ полагаетъ, что Пушкинъ напрасно придерживался воззрѣній Карамзина. «Сердце Годунова требуетъ еще глубокаго испытанія. Былъ ли это вертепъ злодѣйства, совлекшаго съ себя личину при сознаніи своего всемогущества... или, можетъ быть, пучина властолюбія, неразборчиваго на средства для сокрушенія встрѣчаемыхъ имъ препятствій?. Пушкинъ принялъ средину между сими двумя крайностями, на которой держалъ себя и Карамзинъ — хотя, можетъ быть, сія средина не есть еще золотая. На его глаза, душа Бориса была не что иное, какъ отшельническая пустыня виновной совѣсти, борющейся съ призраками преступленія, кои всюду ее преслѣдуютъ; и съ этой точки зрѣнія, *коей вѣрности я совсѣмъ защищать не намѣренъ* лицо Годунова, если не совершенно отдѣлано, то, по крайней мѣрѣ, рѣзко очеркнуто въ сценахъ Пушкина» (*Телескопъ*, 1831, № 4, стр. 561).

Черезъ четырнадцать лѣтъ Бѣлинскій въ своемъ разборѣ драмы Пушкина высказалъ приблизительно то же, что и Надеждинъ. «Поэту», писалъ онъ: «необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго значенія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ послѣдовалъ Карамзину,—и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматическимъ злодѣемъ, котораго мучить совѣсть и который въ своемъ злодѣйствѣ нашелъ

но личность Годунова «никогда еще не являлась въ столь *выр-  
наль* и *яркомъ* очеркѣ». Особенно удачно выражены «истинныя  
чувствованія Бориса» во второмъ монологѣ, по окончаніи тай-  
наго совѣщанія съ кудесниками,—въ отрывистой рѣчи, послѣ  
убійственнаго описанія смерти Димитрія, и въ угрозахъ князю  
Шуйскому; но есть неправдоподобіе «между бодрымъ разгово-  
ромъ царя съ Басмановымъ и внезапнымъ изнеможеніемъ на  
одрѣ смерти», а «прощальная бесѣда его съ сыномъ составляетъ  
уже слишкомъ длинную и чрезчуръ наставительную предіку».

«Мастерски представленъ» Шуйскій: «безстыдная угодливость  
царедворца выливается ярко на всѣхъ его рѣчахъ и поступкахъ»;  
не выдержанъ характеръ самозванца, который въ первой сценѣ  
«является пламеннымъ энтузіастомъ», въ корчмѣ на литовской  
границѣ — «отчаяннымъ разбойникомъ, изученнымъ всѣмъ при-  
емамъ опытнаго преступленія», а во время свиданія съ Мариной,  
подобно романическому Донъ-Кихоту, «открываетъ своей Дульци-  
неѣ тайну, на которой, какъ на волоскѣ, держится все бытіе  
его»...

Изъ отдѣльныхъ сценъ выдѣляется та, гдѣ выступаетъ юро-  
дивый. «Можно ль было лучше и *вѣрнѣе съ исторіей* — довести  
до недоступнаго слуха грознаго царя грозную вѣсть, что его пре-  
ступленіе не есть тайна для безмолвствующаго народа»<sup>1)</sup>?

Вообще «Борисъ Годуновъ» — какъ бы ни спорили объ его  
«названіи и формѣ» — есть «весьма важное приобрѣтеніе» для на-  
шей литературы: онъ «указалъ путь народной русской драмѣ;  
указалъ точку, съ которой должно драматику смотрѣть на исто-  
рію; подалъ мысль, какъ пользоваться ею, и далъ образецъ та-  
кого языка, какого мы до тѣхъ поръ и не слыхивали»<sup>2)</sup>.

Значительно ниже «Бориса Годунова» ставилъ Надеждинъ дру-  
гое выдающееся произведеніе великаго поэта — романъ «Евгеній  
Онѣгинъ», о которомъ въ *Телескопѣ* напечатанъ отзывъ, весьма  
напоминающій статью Надоумка, помѣщенную въ *Вѣстникѣ  
Европы*<sup>3)</sup>. Въ «Борисѣ Годуновѣ» Надеждинъ «думалъ видѣть

себѣ кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что  
таланту ничего нельзя изъ нея сдѣлать» (Сочиненія В. Бѣлинскаго. Москва,  
1860, ч. VIII, стр. 612).

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1831, ч. I, № 4, стр. 546 — 574.—Ср. наши «Очерки изъ  
исторіи русскаго романтизма». Спб., 1903, стр. 249—251.

<sup>2)</sup> *Молва*, 1832, № 19, стр. 73—74.

<sup>3)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1830, № 7, стр. 183—224.

разсвѣтъ новаго періода художнической жизни» Пушкина, тогда какъ въ послѣдней главѣ романа онъ «нашелъ продолженіе той же пародіи на жизнь, вѣтренной и легкомысленной, но вмѣстѣ затѣйливой и остроумной, коей онъ любовался отъ души въ первыхъ главахъ Евгенія». Здѣсь, писалъ онъ, «та же прихотливая рѣзвость вольнаго воображенія, порхающаго легкокрылымъ мотылькомъ по узорчатому, но бесплодному полю свѣтской бездушнѣй жизни; та же яркая пестрота красокъ и цвѣтовъ, мелькающихъ подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же бѣглое, но цѣпкое остроуміе»; «та же чистота и гладкость стиха, всюду льющагося тонкой хрустальной струею».— Поэтому, читая VIII главу «Онѣгина», Надеждинъ «не испыталъ никакого разочарованія, не подвергся никакому непріятному впечатлѣнію, и если иногда приходило ему въ голову, что поэту, создавшему «Бориса Годунова», время бы быть постепеннѣе, то онъ оправдывалъ его необходимостью: надобно жъ было кончить, чтѣ начато!.. Но, отдавая искренній отчетъ въ собственныхъ своихъ чувствованіяхъ, онъ не думалъ, чтобъ ихъ раздѣляло съ нимъ общее мнѣніе». «Большинство публики, въ минуты перваго упоенія обмороченное вѣроломными кликами шарлатановъ, спекулировавшихъ на общій энтузіазмъ къ *Пушкину*, видѣло въ «Онѣгинѣ» какое-то необыкновенное чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными послѣдствіями. Оно думало читать въ немъ полную исторію современнаго человѣчества, оправленную въ роскошныя поэтическія рамы, ожидало найти въ немъ русскаго Чайльдъ-Гарольда. И могло ли устоять долго это добродушное ослѣпленіе, когда откровенная искренность поэта сама его разрушала безпрестанно? Каждая новая глава «Онѣгина» яснѣе и яснѣе обнаруживала непритязательность Пушкина на исполинскій замыслъ, ему приписываемый. Съ каждою новою строкою становилось очевиднѣе, что произведеніе сіе было не что иное, какъ вольный плодъ досуговъ фантазіи, поэтической альбомъ живыхъ впечатлѣній таланта, играющаго своимъ богатствомъ. Напрасно самое пристрастное доброжелательство усиливалось отыскать въ немъ черты высшаго эстетическаго значенія. Его воздушная легкость ускользала отъ всѣхъ покушеній пріязненной критики, домогавшейся узаконить его въ рангъ художественнаго произведенія, имѣющаго извѣстныя права и подчиненнаго извѣстнымъ условіямъ. «Евгеній Онѣгинъ» не былъ и не назначался быть въ самомъ дѣлѣ романомъ, хотя имя сіе, подъ которымъ онъ явился первоначально, осталось навсегда въ

его заглавіи. Съ самыхъ первыхъ главъ можно было видѣть, что онъ не имѣеть притязаній ни на единство содержанія, ни на цѣльность состава, ни на стройность изложенія; что онъ освобождаетъ себя отъ всѣхъ искусственныхъ условій, коиъ критика въ правѣ требовать отъ настоящаго романа. Въ такъ называемомъ романѣ Пушкина отъ начала до конца мелькаютъ, говоря его же словами:

Ни съ чѣмъ несвязанные сны,  
Угрозы, толки, предсказанья,  
Иль длинной сказки вздоръ живой,  
Иль письма дѣвы молодой.  
И постепенно въ усыпленье  
И чувствъ и думъ впадаетъ онъ,  
А передъ нимъ воображенье  
Свой пестрый мечеть фараонъ (VIII. 37).

Самое явленіе его. неопредѣленно-періодическими выходками, съ безпрестанными пропусками и скачками, показываетъ, что поэтъ не имѣлъ при немъ ни цѣли, ни плана, а дѣйствовалъ по свободному внушенію играющей фантазіи. Смѣло можно было угадывать, что при первой главѣ «Онѣгина» Пушкинъ и не думалъ, какъ онъ кончится; и вотъ собственное его откровенное признаніе въ послѣдней главѣ:

Промчалось много, много дней  
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна  
И съ ней Онѣгинъ въ *смутномъ снѣ*  
Явились впервые мнѣ—  
И даль *свободнаго романа*  
Я сквозь магическій кристалъ  
Еще не ясно различалъ (VIII. 50)

Но сіе признаніе сдѣлано уже слишкомъ поздно... «Раздраженная толпа вымещаетъ теперь свое прежнее чрезмѣрное ослѣпленіе несправедливой холодностью. Послѣдняя глава «Онѣгина» наказывается незаслуженнымъ пренебреженіемъ оттого, что первымъ удалось возбудить восторгъ не совѣмъ заслуженный. Самъ поэтъ, безъ сомнѣнія, это предчувствовалъ, ибо послѣднее прощаніе его съ читателями, коимъ онъ заключаетъ сію послѣднюю главу, растворено юмористическою ѣдкостью, изобличающею тайное недовольство самимъ собой и представляющею разительную противоположность съ тѣмъ разгульнымъ одушевленіемъ веселаго самодовольствія, коимъ проникнуты первыя главы «Онѣгина»:



Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,  
Другъ, недругъ, я хочу съ тобой  
Разстаться нынче какъ пріятель.  
Прости. Чего бы ты со мной  
Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ:  
Воспоминаній ли мятежныхъ,  
Отдохновенья ль отъ трудовъ,  
Живыхъ картинъ иль острыхъ словъ,  
Иль грамматическихъ ошибокъ,—  
Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты  
Для развѣченья, для мечты,  
Для сердца, для журнальныхъ сшибокъ,  
Хотя крупицу могъ найти.  
За симъ разстанемся, прости (VIII. 48, 49).

Приведенные стихи еще болѣе убѣдили Надеждина въ справедливости оцѣнки романа, сдѣланной въ *Вѣстникѣ Европы*. «Созрѣвшій умъ» Пушкина — думалъ критикъ—«проникъ глубже и постигъ вѣрнѣе тайну поэзіи: онъ увидѣлъ, что для генія не довольно создать Евгенія»<sup>1)</sup>.

Не вполне доволенъ былъ Надеждинъ и «Повѣстями Бѣлкина», хотя онъ воздалъ должное таланту поэта. «Повѣсти» — напечатано въ *Телескопѣ*—«отличаются, кромѣ легкаго, живого слога, истиною и какимъ-то особеннымъ безстрастіемъ». «Г. Бѣлкинъ какъ будто не принималъ ни малѣйшаго участія въ своихъ герояхъ, и въ каждой повѣсти приговариваетъ, кажется: «Такъ было, а, впрочемъ, мнѣ дѣла вѣтъ».—Но подмѣтивъ многое въ сердцѣ человѣческомъ, онъ умѣлъ при случаѣ взволновать читателей, возбуждать и щекотать любопытство, не прибѣгая ни къ какимъ вычурамъ. Читая его повѣсти, иногда задумаешься, иногда разсмѣешься, и сіи движенія бывають тѣмъ пріятнѣе, что причины ихъ всегда неожиданны, хотя и естественны; и вотъ въ чемъ заключается талантъ автора. Письмо объ немъ, помѣщенное въ началѣ книжки, очень хорошо. выдержано въ тонѣ и дышать добродушіемъ и искренностію нѣкоторыхъ нашихъ провинціальныхъ помѣщиковъ, но чуть ли оно не лишнее. Мы не узнаемъ изъ него ничего объ г. Бѣлкинѣ такого, что могло бы объяснить намъ его взглядъ на вещи и нужно было бы для чи-

---

<sup>1)</sup> Надеждинъ съ намѣреніемъ подчеркнул, что «повторяетъ старую остроуту» (*Телескопъ*, 1832, № 9, стр. 105—110).—Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1829, № 8, стр. 301.

тателя, начинающаго читать его повѣсти; а наружность его и образъ жизни совсѣмъ не интересны».

«Станціонному Смотрителю» Надеждинъ «отдаетъ преимущество предъ всѣми прочими повѣстями», ибо «здѣсь многія черты схвачены съ природы». «Какъ хорошъ при второмъ свиданіи пасмурный смотритель, въ молчаніи записывающій подорожную и начинающій рассказывать свои несчастія послѣ пунша!»—Но даже въ этой лучшей повѣсти, равно и въ другихъ произведеніяхъ Бѣлкина, есть недостатокъ—«неестественность» нѣкоторыхъ происшествій. Напримѣръ, «какъ могла допустить Дуня, чтобъ ея любовникъ вытолкалъ ея любимаго отца изъ комнаты, или, по крайней мѣрѣ, какъ не постаралась она послѣ уладить дѣло и утѣшить огорченнаго старика»? «Такое жестокосердіе невозможно»!—Неестественно и поведеніе героя повѣсти «Выстрѣлъ». «Какимъ образомъ Сильвіо,—который сначала не хотѣлъ убить своего врага потому только, что сей послѣдній равнодушно ожидалъ смерти, который, услышавъ, что его врагъ женится, и, слѣдовательно, дорожитъ своею жизнію, «сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ тигръ по своей клѣткѣ», и поѣхалъ съ твердымъ намѣреніемъ расплатиться съ нимъ выстрѣломъ въ самую счастливую минуту его жизни,—какимъ образомъ Сильвіо могъ отважиться на новый жеребій, представить случаю свое сладостнѣйшее чувство?—Ну, если бъ графъ попалъ въ него, что было очень легко?—Неужели въ будущихъ угрызеніяхъ графской совѣсти мертвый Сильвіо нашель бы себѣ услажденіе»? «Станнымъ также кажется, что Сильвіо, послѣ такихъ приготовленій, удовольствовался отвлеченнымъ минутнымъ мнѣніемъ: Я видѣлъ твое смятеніе, твою робость».—Не менѣе странно и то, что въ другой повѣсти «Барышня-крестьянка» «молодой Берестовъ могъ влюбиться со второго раза въ крестьянку, или, еще мудренѣе, въ барышню, которая притворялась крестьянкою». «Какъ въ первое свиданіе онъ не узналъ этой крестьянки въ барышнѣ, хотя перереяженной»?—Помимо неестественности, въ сочиненіяхъ Бѣлкина есть «неправильности противъ русскаго быта» («Гробовщикъ»). «На такомъ обѣдѣ, гдѣ будочникъ бы вааетъ въ гостяхъ, засмоленныхъ бутылокъ не откупориваютъ, и полушампанское не лется рѣкою. Нѣмецъ не позоветъ къ себѣ обѣдать только что переѣхавшаго сосѣда. Работница не подастъ гробовщику халата, а онъ возьметъ его самъ, если только халатъ будетъ у него. Точно также и чай былъ вѣрно на рукахъ дочерей».

Надеждинъ указываетъ и на «грамматическія небрежности», допущенныя Пушкинымъ. Неудачны выраженія: «Вы согласитесь, что, имѣя право выбрать оружіе, жизнь его была въ моихъ рукахъ»; «по сосѣдству деревни (вмѣсто: по сосѣдству съ деревнею)», «память одного (вмѣсто: память объ одномъ)»; «управленіе села (вмѣсто: управленіе селомъ)»...<sup>1)</sup>.

Несмотря на указанные недостатки, «Повѣсти Бѣлкина», видимо, понравились Надеждину больше, чѣмъ поэма «Анджело». передѣлка Шекспировой драмы «Мѣра за мѣру». «Простой, самый естественный, безстрастный» «рассказъ происшествій, какъ они были», по его словамъ, есть отличительная черта «произведеній, являвшихся въ свое время не случайно, не по прихоти литературной, а вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, развивавшихъ въ разные періоды времени различные роды стихотвореній: сагу, романсъ, балладу и т. д.». «Возможно ли—задаетъ вопросъ Надеждинъ—подобное воссозданіе какого-либо рода стихотвореній во всякое время по волѣ самаго сильнаго дарованія? Имѣетъ ли право талантъ, не обращая вниманія на современное, его окружающее, постоянно усиливаться воскресить прошедшее, итти назадъ, не стремиться впередъ? Можетъ ли имѣть успѣхъ подобное направленіе? Въ правѣ ли писатель винить публику, если она не раздѣляетъ его стремленія къ минувшему, а въ силу вѣчно неизмѣняемаго влеченія къ будущему, остается равнодушною, непризнательною къ его тягостному бореию съ вѣкомъ, усилію, часто обнаруживающему тѣмъ разительнѣе всю великость его дарованія? Вотъ вопросы, которые въ настоящее время было бы кстати предложить на разрѣшеніе и отвѣчать на которые мы не можемъ въ статьѣ библиографической, хотя въ нихъ то существенно должна заключаться истинная оцѣнка пьесы Пушкина, полной искусства, доведеннаго до естественности, ума, скрытаго

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1831, № 21, стр. 117—125.—Ср. Сочиненія В Бѣлинскаго. М., 1860, ч. VIII, стр. 697—698: «Въ 1831-мъ году вышли «Повѣсти Бѣлкина», холодно принятыя публикою и еще холоднѣе журналами. Дѣйствительно, хотя и нельзя сказать, чтобъ въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все-таки эти повѣсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то въ родѣ повѣстей Карамзина, съ тою только разницею, что повѣсти Карамзина имѣли для своего времени великое значеніе, а повѣсти Бѣлкина были ниже своего времени. Особенно жалка пзъ нихъ одна—«Барышня-крестьянка», неправдоподобная, водеvilльная, представляющая помѣщичью жизнь съ пидлической точки зрѣнія».

въ простотѣ разительной, и, сверхъ того, неотъемлемо отличающейся истиннымъ признакомъ зрѣлости поэта—тѣмъ спокойствіемъ, которое мы постигаемъ въ твореніяхъ *первоклассныхъ писателей*»<sup>1)</sup>.

«Ожидая отъ Пушкина многого для нашей поэзіи», Надеждинъ, не удовлетворенный «Онѣгинымъ», всѣ свои «зыблющіяся надежды приковалъ» къ мелкимъ стихотвореніямъ—«важнымъ документамъ для изученія постепеннаго образованія художнической жизни поэта». Но третья часть стихотвореній Пушкина не «оправдала его мечтаній». «Не то, чтобы дарованіе автора дряхлѣло и истощалось въ силахъ: напротивъ, оно напрягается иногда до исполинскаго заоблачнаго величія, какъ напримѣръ въ поэтической думѣ о Казбекѣ, принадлежащей 1829 году... Но, не оскудѣвая въ силахъ, талантъ Пушкина опутительно слабѣетъ въ силѣ, теряетъ живость и энергію». «Его блестящее воображеніе еще не увяло, но осыпается цвѣтами, лишающимися постепенно болѣе и болѣе своей прежней благовонной свѣжести. Напрасно привычнымъ ухомъ вслушиваешься въ знакомую мелодію его звуковъ: они не отзываются уже тою неподдѣльно-естественною, неистощимо-живою, безбоязненно-самоувѣренною свободою, которая, въ прежнихъ стихотвореніяхъ его, увлекала за собой непреодолимымъ очарованіемъ. Какъ будто рѣзвыя крылья, носившія прежде вольную фантазію поэта, опали; какъ будто тайный враждебный демонъ затянулъ и осадилъ рыянаго коня его». Но поэтъ не слагаетъ оружія, хочетъ «сохранить еще свою дѣятельность». Онъ пробуетъ «всѣ лады поэтическаго одушевленія, дабы найти тонъ для новаго періода» своего творчества: «то подпираясь силою мысли, какъ въ «Пирѣ во время чумы», въ «Моцартъ и Сальери»; то согрѣваясь огнемъ патріотическаго энтузіазма, какъ въ лирическомъ воззваніи къ «Клеветникамъ Россіи» или въ празднованіи «Бородинской Годовщины»... «Наконецъ, по естественному ли

---

<sup>1)</sup> *Молва*, 1834, № 22, стр. 340—341.—Ср Сочиненія В. Бѣлинскаго. М., 1860, ч. VIII, стр. 671—672: «Анджело составляетъ переходъ отъ эпическихъ поэмъ къ драматическимъ; по крайней мѣрѣ діалогъ играетъ въ этой піесѣ большую роль. «Анджело» былъ принятъ публикою очень сухо, и по-дѣломъ. Въ поэмѣ видно какое-то усиліе на простоту, отчего простота ея слога вышла какъ-то искусственна. Можно найти въ «Анджело» счастливыя выраженія, удачные стихи, если хотіте много искусства, но искусства чисто техническаго, безъ вдохновенія, безъ жизни. Короче: эта поэма недостойна таланта Пушкина. Больше о ней нечего сказать».

закону кругообращенія человѣческой дѣятельности, или по обдуманному расчету, основанному на воспоминаніи о прежнихъ успѣхахъ, Пушкинъ возвратился опять на точку, съ коею началъ свое поприще, ухватился за струну, прозвучавшую впервые его славу. Онъ обратился къ русской народной старинѣ, ибо въ ея «волшебной, прозрачной мглѣ разыгрались первыя мечты его поэтической юности». Но, «къ прискорбію». въ новой сказкѣ Пушкина замѣтно «одно принужденное усиліе, *tour de force* могущественнаго, но безжизненнаго искусства. Съ одной стороны нельзя не согласиться, что сія новая попытка Пушкина обнаруживаетъ тѣснѣйшее знакомство съ наружными формами старинной русской народности; но смыслъ и духъ ея остается все еще тайною, не разгаданною поэтомъ. Отсюда все произведеніе носитъ на себѣ печать механической поддѣлки подъ старину, а не живой поэтической ея картины. Несмотря на искусный подборъ словъ и выраженій, въ тонѣ русскихъ народныхъ сказокъ, въ немъ изобличаются безпрестанно слѣды новой работы. Гомерическія повторенія однѣхъ и тѣхъ же рѣчей,—кои въ оригинальныхъ преданіяхъ старины плѣняютъ своей естественною, младенческою наивностью,—производятъ скуку, когда виденъ въ нихъ умыслъ поддѣлывающагося искусства! Какое различіе между «Русланомъ и Людмилой» и «Сказкою о царѣ Салтанѣ»! Тамъ, конечно, меньше истины, меньше вѣрности и сходства съ русской стариной въ наружныхъ формахъ; но зато какой огонь, какое одушевленіе! Невольно забываешь всѣ археологическія притязанія, чтобы любоваться прелестями свѣжей, роскошной поэзіи. Здѣсь, напротивъ, одна сухая, мертвая работа — старинная пыль, изъ которой, съ особеннымъ попеченіемъ, выведены искусные узоры!..<sup>1)</sup> Такимъ образомъ, въ третьей части стихотвореній Пушкина» виденъ «рядъ неудачныхъ попытокъ таланта, разочарованнаго въ юношескихъ своихъ мечтахъ и не умѣющаго найти опоры для своихъ зрѣлыхъ помысловъ и вдохновеній»<sup>2)</sup>.

Но даже «неудачные» опыты выдающагося таланта, въ гла-

---

1) Ср. Сочиненія В. Бѣлинскаго. М., 1860, ч. VIII, стр. 696: «Сказки Пушкина: «О царѣ Салтанѣ», «О мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ», «О золотомъ пѣтушкѣ», «О купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и о работникѣ его Балдѣ», были плодомъ довольно дожнаго стремленія къ народности. Народныя сказки хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ».

2) *Телескопъ*, 1832, № 9, стр. 110—115.

захъ Надеждина, стояли безконечно выше многихъ удачныхъ произведеній современныхъ ему писателей. «Послѣдніе аккорды звучной пушкинской лиры», очевидно, заглушали совмѣстное бряцаніе на томъ же инструментѣ другихъ поэтовъ. Надеждинъ видѣлъ въ Пушкинѣ человѣка съ разносторонними блестящими дарованіями и напередъ былъ увѣренъ въ хорошемъ выполненіи всякой литературной работы, за которую онъ возьмется. «Носятся пріятные слухи», извѣщалъ Надеждинъ читателей *Молвы*: «что А. С. Пушкинъ будетъ издавать въ Петербургѣ газету. Ни имени, ни времени выхода, ни расположенія ея не знаемъ, но искренно радуемся и поздравляемъ русскую публику». Пушкинъ, въ роли издателя «литературной и политической газеты», создастъ новую эру въ исторіи русской прессы. «Итакъ монополія гг. Булгарина и Греча, ко благу русской словесности, пала!» восклицалъ Надеждинъ, и «желалъ всякаго успѣха новому достойнѣйшему конкуренту»<sup>1)</sup>.

Таковы статьи Надеждина о Пушкинѣ. Кто знакомъ съ ними и относится безъ предубѣжденія къ автору, тотъ скажетъ, что онѣ написаны не глумящимся безиринципнымъ семинаристомъ, а глубокимъ почитателемъ поэта. Чѣмъ сильнѣе талантъ, тѣмъ больше можно предъявить къ нему требованій, тѣмъ строже можно цѣнить его творенія. Въ статьяхъ Надеждина нѣтъ «колѣнопреклоненія предъ Пушкинымъ», которое усмотрѣли нынѣшніе историки литературы во «всей вообще дѣятельности Бѣлинскаго»<sup>2)</sup>. «Колѣнопреклоненіе» и не было нужно. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ прошлаго вѣка требовалось иное: слѣдовало указать обществу значеніе тѣхъ произведеній Пушкина, которыя уже не пользовались успѣхомъ, сопровождавшимъ въ былое время его всякую юношескую поэму, всякое лирическое стихотвореніе. Эту задачу и выполнилъ Надеждинъ, одинъ изъ немногихъ, понявшихъ красоты «Бориса Годунова». Онъ могъ ошибаться въ оцѣнкѣ «Онѣгина», но его заблужденія были добросовѣстны; нѣтъ достаточныхъ основаній обвинять его въ завѣдомой лжи, а тѣмъ болѣе въ «полной перемѣнѣ фронта». *И надо же, наконецъ, признать тотъ фактъ, что въ сужденіяхъ издателя Телескопа часто слышались отголоски рѣчей же - студента Надоумка, и что*

<sup>1)</sup> *Молва*, 1832, № 61, стр. 243; № 67, стр. 267.

<sup>2)</sup> Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1900, т. I, стр. 412.

многія мысли несправедливо унижаемаго критика можно встрѣтить въ позднѣйшихъ очеркахъ автора «Литературныхъ Мечтаній».

Въ своихъ критическихъ статьяхъ Надеждинъ предъявилъ къ поэтамъ требованіе народности. «Поэзіи нашей—писаль онъ—не дожидаться обновленія, пока русскій духъ не обратится внутри себя, не отыщеть въ самомъ себѣ источника новой, самобытной жизни!.. Но какъ приняться, какъ начать это великое дѣло? Европейскія литературы возвращаютъ теперь свою народность, обращаясь къ своей старинѣ. У насъ это возможно ли? Таково ли наше прошедшее, чтобы возстановленіемъ его можно было сѣменить нашу будущность»<sup>1)</sup>. Этотъ «важный вопросъ» Надеждинъ разрѣшалъ въ цѣломъ рядѣ очерковъ, гдѣ онъ разсуждалъ о русской «старинѣ» и народности.

Отрицательное отношеніе Надеждина къ русской исторической жизни давало поводъ считать его «ученикомъ» Каченовскаго, но степень вліянія основателя скептической школы на ея приверженца не опредѣлена въ точности и нуждается въ выясненіи.

По словамъ С. М. Строева, въ нашей «исторической критикѣ» начала прошлаго вѣка можно наблюдать любопытное разногласіе изслѣдователей. «Одни говорили, что достовѣрная русская исторія начинается съ VII-го вѣка, другіе—съ IX-го, третьи утверждали, напротивъ, что до нашествія монголовъ весьма мало событій достовѣрныхъ; одни хотѣли съ точностію вывести генеалогію Рюрика отъ Эймунда древняго, жившаго въ VII вѣкѣ, другіе отвергали существованіе и самого Рюрика; одни находили всѣ признаки глубокой древности Іоакимовой лѣтописи, другіе не признавали и Несторовой; одни говорили о *цвѣтущемъ государствѣ Владимира Великаго*, другіе утверждали, что оно начинается только съ Іоанна III-го; одни переважно толковали о законахъ русскихъ при Олегѣ и Игорѣ, другіе отвергали Русскую Правду; одни отъ души вѣрили въ куньи мордки и лапки, другіе смѣялись надъ серебромъ Ярославовымъ; одни со всею ученостію описывали знамя Владимірово, другіе изъясляли «сомнѣнія о бармахъ Мономаха». «Но среди этого хаоса разнородныхъ понятій, наибольшую славою, по справедливости, пользовались мнѣнія, съ такою блестящею ученостію развитыя Шлецеромъ и такъ

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 9, стр. 123.

удачно внесенныя Карамзинымъ въ его безсмертное твореніе». «Извѣстнѣйшіе наши ученые» «находились въ числѣ послѣдователей этихъ великихъ мужей», и «долго никто не осмѣливался открыто возставать противъ авторитета, находившагося подъ эгидою» послѣднихъ. И только послѣ смерти Шлепера и Карамзина наступило, наконецъ, «время совершеннаго переворота въ русской исторіи». «Начало переворота положено» русскими «скептиками», которые «напали» «на мысль позднѣйшаго появленія нашихъ лѣтописей».

Скептики «стали смотрѣть недовѣрчиво на древнюю нашу исторію, стали изслѣдовать: происшествія, ею повѣствуемая, сообразны ли съ общимъ духомъ того времени, къ коему они относятся; не противорѣчатъ ли они общимъ законамъ развитія каждаго государства, каждаго народа, и, наконецъ, возможны ли они въ существующемъ порядкѣ вещей той эпохи, къ коей принадлежатъ? Разсматривая такимъ образомъ древнюю исторію нашу, скептики нашли, что она совершенно не въ духѣ IX и X столѣтій, что она противорѣчитъ общимъ законамъ развитія каждаго государства, каждаго народа; и, наконецъ, вовсе невозможно въ существующемъ порядкѣ вещей той эпохи, къ коей относится. Изъ сего скептики заключили», «что древняя наша исторія недостоверна въ томъ видѣ, въ какомъ, слѣдуя русскимъ лѣтописямъ, доселѣ представляли намъ ее всѣ наши историки и изслѣдователи. Скептики заключили», «что если мы хотимъ имѣть вѣрное понятіе о нашихъ предкахъ IX и X ст., то должны обратиться, во первыхъ, къ писателямъ современнымъ, оставившимъ о нихъ свѣдѣнія», и «во вторыхъ, къ изученію всеобщей исторіи». Изъ критически обслѣдованныхъ свидѣтельствъ современниковъ «мы узнаемъ, въ какомъ состояніи должны были находиться наши предки въ IX и X столѣтіяхъ», а всеобщая исторія «покажетъ намъ», достовѣрны ли эти свидѣтельства <sup>1)</sup>).

Наиболѣе ярко проявился скептицизмъ въ трудахъ М. Т. Каченовскаго. Приступая къ опѣнкѣ его научной дѣятельности, едва ли слѣдуетъ выражать излишнія опасенія въ томъ, что «бывшему квартирмейстеру, кончившему свое образованіе 13 лѣтъ въ харьковскомъ коллегіумѣ, было не легко изучить всѣ тѣ различныя специальности, которыя ему приходилось преподавать въ

<sup>1)</sup> *Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ*, 1834, № 49, стр. 389 — 391: 414 — 415.



теченіе университетской службы» <sup>1)</sup>; гораздо умѣстиѣе припомнить, что «Каченовскій казался учителемъ исторической критики людямъ, за которыми должно признать пониманіе дѣла и знаніе старой русской исторіи» <sup>2)</sup>.

Имя Каченовскаго, говорилъ К. Д. Кавелинъ: «если не навсегда, то надолго будетъ памятно» для нашихъ ученыхъ <sup>3)</sup>. «Каченовскій первый почувствовалъ неудовлетворительность прежняго», «натянутаго, неестественнаго возрѣнія на русскую исторію. Онъ не былъ геніальнымъ человекомъ, но былъ чело вѣкъ съ талантомъ, начитанный, знакомый съ требованіями науки и критики» <sup>4)</sup>. «Въ основѣ его сомнѣній, по мнѣнію К. Н. Бестужева-Рюмина, лежала мысль о постепенномъ ростѣ общества: ему казалось, что въ лѣтописяхъ заключаются представленія о состояніи общества болѣе зрѣломъ, чѣмъ то, какое могло быть въ дѣйствительности»; «своими сомнѣніями онъ заставилъ снова пересмотрѣть вопросы и тѣмъ вызвалъ новое движеніе исторической науки». «Онъ приучилъ искать въ фактахъ связи, общаго смысла; онъ поднялся надъ «низшею критикою», водворенною въ нашей литературѣ Шлецеромъ, къ «высшей критикѣ»; по словамъ С. М. Соловьева, онъ старался «сблизить явленія русской исторіи съ однохарактерными явленіями у другихъ и, что всего важнѣе, преимущественно у славянскихъ народовъ» <sup>5)</sup>. Съ этой стороны онъ явился предшественникомъ и учителемъ самого Соловьева <sup>6)</sup>.

Каченовскій возсталъ противъ «преувеличеній» Карамзина, изобразившаго наше прошедшее «колоссальнымъ, величественнымъ», «старался привести русскую исторію къ ея естественнымъ размѣрамъ, снять съ глазъ повязку, которая показывала многое

<sup>1)</sup> П. Миллюковъ. Главныя теченія русской исторической мысли. М., 1898, стр. 272.

<sup>2)</sup> А. Пытинъ. Характеристики литературныхъ мнѣній. Спб., 1890, стр. 206.

<sup>3)</sup> Ср. К. С. Аксаковъ. Олегъ подъ Константинополемъ. Спб., 1858, стр. III—IV; Имя Каченовскаго «навсегда останется въ лѣтописяхъ русской исторической науки».

<sup>4)</sup> К. Д. Кавелинъ. Собраніе сочиненій. Спб., 1897, т. I, стр. 99—100.

<sup>5)</sup> Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Императорскаго Московскаго университета. М., 1855, ч. I, стр. 402—403 (статья С. М. Соловьева).

<sup>6)</sup> К. Бестужевъ-Рюминъ. Біографіи и характеристики. Спб., 1882, стр. 259.—Ср. отзывъ П. Г. Рѣдына объ «ученыхъ пріемахъ» Каченовскаго.

въ превратномъ видѣ, и возвратить или, правильнѣе привести насъ къ воззрѣнію, равному времени, въ которое совершались событія» <sup>1)</sup>. Онъ не вѣрилъ, чтобы въ первую эпоху нашей исторіи могли быть и «развитое государство», и «законодательная мудрость» <sup>2)</sup>; онъ не могъ смотрѣть на трудъ историка какъ на «художественное словесное произведеніе» и «изображать событія и лица украшенно, часто въ ущербъ простотѣ и правдѣ»; онъ задался цѣлью «выставить каждую изъ эпохъ съ соответствующимъ ей характеромъ, уяснить такимъ образомъ постепенный ходъ исторіи, преемство явленій, естественный, законный выходъ однихъ явленій изъ другихъ, послѣдующихъ изъ предыдущихъ» <sup>3)</sup>.

Но, проводя «здравый взглядъ на исторію», отлично понимая ложность преувеличеній Карамзина. Каченовскій самъ «впалъ въ крайность, которая существенно повредила его дѣлу». «Вмѣсто того, чтобы изъ самой лѣтописи и источниковъ показать младенческое состояніе нашего общества въ IX, X, XI и послѣдующихъ вѣкахъ, онъ старался опровергнуть самые источники» <sup>4)</sup>. «Если — размышлялъ онъ—въ лѣтописи и Русской Правдѣ находятъ подтвержденіе мнѣнія о могущественномъ государствѣ Олеговъ и Владимировъ, если Слово о Полку Игоревѣ точно эпопея, въ смыслѣ классическомъ, если договоръ Олега есть доказательство того, что Руссы были не варвары, если Новгородъ точно велъ значительную торговлю,—если все это есть въ источникахъ, то не слѣдуетъ ли усомниться въ самыхъ источникахъ, тѣмъ болѣе, что всѣ они дошли до насъ въ спискахъ» <sup>5)</sup>.

Вопросъ о достовѣрности нашихъ лѣтописей разсмотрѣнъ въ статьѣ: «О баснословномъ времени въ російской исторіи». Въ этой статьѣ, какъ въ изслѣдованіяхъ о Русской Правдѣ и кожаныхъ деньгахъ, ясно проглядываетъ «созрѣвшая уже у Каченовскаго мысль о необходимости перестройки исторіи по выводамъ Нибура», система котораго плѣнила нашего ученаго «естественностью, чуждой идеализаціи, и духомъ критики» <sup>6)</sup>.

<sup>1)</sup> *К. Д. Кавелинъ. Собраніе сочиненій* Спб., 1897, т. I, стр. 100.

<sup>2)</sup> *Московское Обзорніе*, 1859, кн. I, стр. 54 (статья К. Н. Бестужева-Рюмина).

<sup>3)</sup> *Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Императорскаго Московскаго университета*, ч. I, стр. 401.

<sup>4)</sup> *К. Д. Кавелинъ. Собраніе сочиненій*. Спб., 1897, т. I, стр. 100.

<sup>5)</sup> *Московское Обзорніе*, 1859, кн. I, стр. 54—55.

<sup>6)</sup> *Кіевскія Университетскія Извѣстія*, 1871, № 9, стр. 26—28 (статья В. Пконникова).

«Преданія — писалъ Каченовскій — и самый древній, и самый недостоверный источникъ исторіи. Народы любятъ освящать свое младенчество сверхъестественными происшествіями, божественными посредничествами или даже одними лишь воспоминаніями о доблести и славѣ предковъ, которыми какъ бы возвеличивается судьба отечества. Притомъ же у младенствующихъ народовъ преданія почти всегда облакаются въ поэтическія формы: поэзія — едва ли не первое искусство всякаго народа. Индія не имѣетъ никакой исторіи, кромѣ поэмъ. Греція поставляетъ Гомера главою своихъ историковъ. Германцы во время Тацита воспѣвали еще Арминія. Барды гальскіе довольно извѣстны. Такимъ образомъ и пѣсни Сѣвера передавались потомству въ поэзіи скальдовъ». — «Нужно ли въ наше время говорить о томъ, сколь недостоверна исторія, основанная на подобныхъ преданіяхъ поэтическихъ?»

Высказавъ такія соображенія, Каченовскій приступаетъ къ разсмотрѣнію «отечественныхъ письменныхъ памятниковъ», желая наглядно доказать, что и наша исторія имѣетъ баснословный періодъ.

«Главнѣйшимъ источникомъ древней русской исторіи» считаются лѣтописи. Чтобы вѣрно оцѣнить «достоинство» и «степень важности» послѣднихъ, «должно рѣшить предварительно два вопроса: а) когда сочинены сіи лѣтописи? и б) откуда могли быть заимствованы извѣстія, ими сообщаемыя?»

Наши лѣтописи — «сборники XIII или даже XIV столѣтія, конхъ источники большею частію намъ неизвѣстны». Эти сборники, содержащіе въ себѣ «много неумѣстныхъ вставокъ», представляютъ собою «компиляцію изъ разнороднѣйшихъ частей, перемѣшанныхъ съ негнѣпѣйшими баснями и выдумками». Здѣсь «невѣрно лѣтосчисленіе», и «одни и тѣ же событія описаны двумя, иногда и тремя различными образами». Незачѣмъ пытаться отыскать Несторову лѣтопись. Подобное открытіе, если даже предположить его возможность, не много принесетъ пользы; «вѣроятно, оно опровергнетъ только высокое мнѣніе наше о своихъ лѣтописяхъ». Дѣйствительно, «могъ ли Несторъ, монахъ XI столѣтія, написать что-нибудь, хотя нѣсколько похожее на дошедшіе до насъ сборники?» «Принявъ въ соображеніе тогдашнее состояніе земель славянскихъ, естественно спросить со Шлецеромъ: какимъ образомъ человекъ сей образовался на Днѣпрѣ?» И надо сознаться, что «указанія и разсужденія», которыя, съ точки зрѣнія «вели-

чайшаго знатока исторической критики», «служать достаточнымъ отвѣтомъ на вышеприведенный вопросъ, при хладнокровномъ наблюдѣніи, представляются неудовлетворительными. А) Указанія заимствуютъ онѣ изъ лѣтописей, степень достовѣрности коихъ предварительно имъ критически не опредѣлена. В) Предположеніе о византійскихъ историческихъ книгахъ, зашедшихъ будто бы въ Русь, по случаю крещенія, какъ и всякое предположеніе,—не доказательство. Книги (до изобрѣтенія печатанія) были чрезвычайно рѣдки, и греки не имѣли надобности привозить ихъ къ народу безграмотному. Напротивъ, сходство въ изложеніи, замѣченное Шлецеромъ, между византійскими дѣписателями и дошедшими до насъ сборниками, доказываетъ *позднѣйшее* составленіе сихъ послѣднихъ. *Въ самомъ дѣлѣ не прошло еще ста лѣтъ отъ введенія христіанской вѣры, когда монахи и другіе духовные (въ небольшомъ числѣ) составляли, такъ сказать, еще первое поколѣніе грамотныхъ—и уже является систематическое сочиненіе: Повѣсть временныхъ лѣтъ, откуда есть пошла русская земля, и кто въ ней почалъ первѣе княжити! Или это несправедливо, или—русскія лѣтописи XI ст. въ такомъ видѣ, какъ мы онѣя имѣемъ, дѣлаютъ исключеніе изъ всеобщаго хода образованности народовъ—явленіе безпримѣрное въ исторіи и особливо въ исторіи нашего стѣвера!»*

Обращаясь къ вопросу объ источникахъ, откуда дошедшіе до насъ сборники могли заимствовать извѣстія, ими сообщаемыя, Каченовскій рассуждаетъ слѣдующимъ образомъ: *«Если и допустить невѣроятное мнѣніе о древности сихъ сборниковъ, то все отъ основанія государства до перваго лѣтописца протекло слишкомъ два вѣка. Письменныхъ памятниковъ у народа безграмотнаго предполагать невозможно; слѣдовательно, до конца XI ст. все повѣствованія лѣтописей основаны на преданіяхъ, уже искаженныхъ въ устахъ четырехъ или болѣе поколѣній, на поэтическихъ (часто самыхъ нелѣпныхъ) вымыслахъ, свойственныхъ всякъ младенчеству народамъ. Если же принять, что сборники сіи (какъ и вѣроятно, и справедливо) составлены не ранѣе XIII или даже XIV вѣка, и, кромѣ предполагаемыхъ записокъ XII ст.<sup>1)</sup>, не имѣли другихъ домашнихъ письменныхъ памятниковъ, то должно допустить преданія,*

<sup>1)</sup> Каченовскій не отрицалъ существованія монастырскихъ записокъ XII и даже XI вѣка.

еще болѣе искаженныя, и вымыслы, еще болѣе нелѣпыя, кои ми компиляторы старались замѣнить недостаткомъ положительныхъ свѣдѣній» <sup>1)</sup>).

«Итакъ, имѣемъ ли право произнести приговоръ древней нашей исторіи? Имѣемъ ли право сказать, что въ ней много баснословно-наго, что она недостоверна? Да, къ сожалѣнію! Но нѣтъ ли у насъ, по крайней мѣрѣ, надежды сколько-нибудь приблизиться къ истинѣ?—Это другой вопросъ: 1) исторію славянъ русскихъ должно соображать съ исторіею славянъ вообще, особливо германскихъ, имѣвшихъ, по всей вѣроятности, великое участіе въ образованіи, даже въ населеніи Сѣвера нашего отечества; 2) должно принять въ соображеніе всеобщій ходъ политическаго и гражданскаго образованія въ Европѣ, и, наконецъ, 3) прежде всего критически, безпристрастно оцѣнить домашнія и внѣшнія историческія и географическія извѣстія, относящіяся къ первымъ временамъ бытія народа русскаго, согласить противорѣчія, въ нихъ находящіяся,— и изслѣдовать источники». Это — «вѣрный путь, благоуспѣшнымъ шествіемъ по коему, со временемъ, быть можетъ, уяснится нѣсколько точекъ истины, едва видимыхъ вдали сквозь густой мракъ, покрывающій наше младенчество».

Каченовскій не сомнѣвается, что его взглядъ на древній періодъ русской исторіи можетъ принести пользу будущимъ изслѣдователямъ. «Принявъ мнѣніе о позднемъ составленіи и недостоверности нашихъ лѣтописей, мы не повторяли бы странныхъ вымысловъ: не водили бы славянъ отъ Дуная къ Новгороду, чрезъ непроходимые лѣса и болота, а поискали бы пути ближайшаго и болѣе естественнаго; не баснословили бы о началѣ государства не приписывали бы предкамъ нашимъ небывалыхъ триумфовъ и не выводили бы пустыхъ слѣдствій изъ договоровъ несбыточныхъ; не философствовали бы о политическихъ видахъ Ольги и Святослава; не рисовали бы арабесковъ, представляющихъ (будто бы) картину древней Россіи въ географическомъ, политическомъ, общественномъ и нравственномъ отношеніи (о коихъ мы не имѣемъ вѣрныхъ извѣстій); не составляли бы ложныхъ понятій о древнемъ могуществѣ, богатствѣ и славѣ любезнаго нашего отечества и не растягивали бы безъ нужды границъ онаго, зная, что это

---

<sup>1)</sup> Далѣе Каченовскій рассматриваетъ «лѣтописи» византійцевъ, восточныхъ и западныхъ писателей, и находитъ, что онѣ «мало дополняютъ отечественныя наши извѣстія, еще менѣе объясняютъ ихъ». J

не увеличит истинной славы его въ *настоящее* время; соблюди бы историческую перспективу, соблюди бы истину... Древняя исторія наша, вмѣсто тяжелыхъ волюмовъ, едва заняла бы сотни двѣхъ страницъ; но сіи страницы были бы драгоценны, а не утомительны, для просвѣщенныхъ любителей науки, ибо въ нихъ не вошло бы многое-многое, о чемъ такъ прилежно писали, пишутъ и, можетъ быть, еще долго будутъ писать наши историки» <sup>1)</sup>).

Лекціи и изслѣдованія, въ которыхъ Каченовскій развѣвалъ свои воззрѣнія, создали ему популярность. Но отношеніе къ нему общества было двойное. Въ студентахъ и молодыхъ ученыхъ онъ вызвалъ чувство полного удовлетворенія; въ нѣкоторыхъ записныхъ московскихъ историкахъ—чувство недовольства и даже неприязни. По отзывамъ Бѣлинскаго и К. Аксакова, молодое «поколѣніе, чуждое воспоминаній старины и предубѣжденій авторитетовъ, горячо приняло историческія мнѣнія г. Каченовскаго»: «студенты были увлечены скептическимъ его взглядомъ». Подъ вліяніемъ этого скептицизма К. Аксаковъ, съ одобренія товарищей, даже написалъ пародію, въ которой «преувеличилъ до крайности мнѣнія противниковъ, представивъ Олега государемъ эпохи развитой и просвѣщенной» <sup>2)</sup>). Въ глазахъ Гончарова, Каченовскій былъ «первымъ» профессоромъ, «и по старшинству лѣтъ, и по достоинствамъ»; онъ поражалъ слушателей своими «обширными познаніями въ исторіи и во всемъ, что входитъ въ ея сферу». а главное—своимъ «тонкимъ, аналитическимъ умомъ» <sup>3)</sup>). Студентамъ хотѣлось «все испытать, все проверить», «ничего не принимать безъ труда и ради авторитета»,—и профессоръ шелъ навстрѣчу ихъ желаніямъ: «отвергалъ участіе всякихъ сантимен-

1) *Ученыя Записки Императорскаго Московскаго университета*, 1833, ч. I, стр 273—298; 674—689.

2) *Молва*, 1834, № 52, стр 440 (Ср. Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ редакціей С. А. Венгерева. Спб., 1900, т. I, стр. 380).—*К. С. Аксаковъ*. Олегъ подъ Константинополемъ. Спб., 1858, стр. III—IV.

3) Полное собраніе сочиненій И. А. Гончарова Спб., 1896, т. VIII, стр. 111—115. - Ср. Письмо Н. В. Станкевича къ Я. М. Невѣрову отъ 7-го марта 1834 г.: «Каченовскому стану писать о причинахъ постепеннаго возвышенія Москвы до смерти Иоанна III. Это одна изъ темъ, которыя предложилъ онъ для оканчивающихъ курсъ. Хотя это не любимый предметъ его, но онъ увидитъ, что хорошо, что дурно, и если найдетъ перваго больше, то охотно признаетъ это; а мнѣ выгодно та, что я узнаю русскую исторію» (П. Анненковъ, Н. В. Станкевичъ. М., 1857. Переписка, стр. 84).

товъ въ изученіи исторіи, и разнималъ ее холодной критикой, какъ анатомическимъ ножомъ трупъ».

Не такъ сочувственно, какъ молодежь, взглянули на труды Каченовскаго тогдашніе историки. Несмотря на то, что самъ Карамзинъ избралъ его въ члены Россійской Академіи и призналъ его критику «весьма поучительной и добросовѣстной» <sup>1)</sup>, Полевой и Погодинъ старались всячески убѣдить и публику, и студенчество въ несостоятельности научныхъ мнѣній профессора. Погодинъ весьма «неспокойно» относился къ «скептическому повѣтрію»; въ самомъ названіи новой школы онъ видѣлъ почетное титло, данное ей несвѣдущими журналистами. Онъ снисходительно соглашался признать «ученость, трудолюбіе, любознательность и умъ» Каченовскаго, но зато называлъ его человѣкомъ, неспособнымъ «никогда окинуть взглядомъ цѣлаго», «лишеннымъ всякаго творчества». Погодинъ не хотѣлъ вѣрить въ возможность вліянія Каченовскаго на молодое поколѣніе и «увлеченіе» послѣдняго объяснял *по-своему*. «Студенты», говорилъ онъ: «имѣвшіе къ Каченовскому отношеніе, какъ профессору, декану и, наконецъ, ректору, должны были, *benevolentiae captandae causa*, писать классическія упражненія въ его духѣ и подвели разсужденія изъ общихъ мѣстъ подъ его отрицанія и знаки вопроса... а журналисты назвали ихъ произведеніями скептической школы, направленіе признали скептическимъ,—и пошли гулять по бѣлу свѣту скептики» <sup>2)</sup>.—Эти скептики пришли не по душѣ и Н. А. Полевому.

<sup>1)</sup> Письма Н. М. Карамзина къ И. И. Дмитріеву. Спб., 1866, стр. 261.

<sup>2)</sup> *Кіевскія Университетскія Извѣстія*, 1871, № 11, стр. 19—21 — Ср. М. Погодинъ. Изслѣдованія, замѣчанія и лекціи о русской исторіи. М., 1846, т. I, стр. 325—331.—Не монѣ Погодина «негодовали» на скептиковъ его знакомые и пріятели. Арцыбашевъ, не стѣсняясь въ выраженіяхъ, называлъ ихъ «сумасшедшими», «несносными умниками, сердитыми и несплыми вряями», которые «скоро будутъ сомнѣваться въ существованіи Петра Великаго». «П ра ей Богу давно пора вамъ подать голосъ», писалъ Погодину Краевскій: «мочи нѣтъ отъ пустозвонной болтовни псевдо-историковъ и кропотливаго скептицизма старикашекъ; всѣ, какъ на зло, рѣшились отнять у насъ и древность, и народность, и все святое; пріударьте хоть вы Бога ради на этихъ сопостатовъ: авось прикусятъ языкъ на время. А то имъ вольно горланить, сколько мочи стаетъ: всѣ молчатъ и только смѣются изъ-за угла! Никто не загремитъ перунами истины».—Самъ митрополитъ Евгеній нетерпѣливо ждалъ «расправы со спорщиками», смѣялся надъ сомнѣніями въ подлинности Мстиславовой грамоты и «не вѣрилъ, чтобы имя Нестора было выдуманно». «Скептицизмъ на счетъ Нестора ни мало не убѣдилъ» и Сербиновича. «Скептицизмъ самъ по себѣ, конечно,

Конечно, онъ самъ убѣжденъ «въ томъ, что недовѣрчивость и критика необходимы историку; что могутъ быть сдѣланы въ исторіи важныя, новыя открытія, но здѣсь конецъ его скептицизма»,—«на благоразумной срединѣ». «Столько же *нелѣпо* вѣрить всему, что находится въ лѣтописяхъ нашихъ, и не отличать позднѣйшихъ прибавокъ какой-нибудь Степенной Книги или Царственнаго Лѣтописца, сколь нелѣпо думать, что какой-нибудь Гизель или Калнофойскій сочинилъ наши древнія лѣтописи въ XV—XVI вѣкѣ, или что Русская Правда есть переводъ Ганзейскаго уложенія XV столѣтія. Такъ и въ мнѣніи о первоначальной исторіи Руси: столь же ошибочно будетъ предполагать полное развитіе государственнаго быта во времена Рюрика, удѣловъ и монголовъ, сколь и осуждать всю древнюю русскую исторію на безуміе и небытіе политическое» <sup>1</sup>).

Надеждинъ рѣзко разошелся съ Погодинымъ и Полевымъ въ оцѣнкѣ трудовъ Каченовскаго. Суровый приговоръ, который вынесли осужденному главѣ скептической школы специалисты по русской исторіи, казался ему незаслуженнымъ, несправедливымъ. «Чѣмъ привѣтствованы у насъ критическія разысканія Каченовскаго, обѣщающія важный переворотъ въ древней нашей исторіи? Ихъ осмѣяли, обругали, предали на позоръ толпѣ, обратили въ притчу. Между тѣмъ *сiи* разысканія, даже если бъ и не оправдались послѣдствіями, суть явленіе важное въ лѣтописяхъ нашего просвѣщенія, какъ новый шагъ въ область самобытной критики!» <sup>2</sup>). «Московская историческая школа», «подобно философіи Декарта, матери всѣхъ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій, начинается съ благоразумнаго сомнѣнія и идетъ къ истинѣ путемъ отрицанія. Съ ея скептическими положеніями удивительно какъ соглашаются послѣдствія археографической экспедиціи г. Строева. Отъ соединенія сихъ благородныхъ усилій, освѣщаемыхъ чистыми понятіями объ исторической критикѣ и основательной ученостью, можно ожидать результатовъ поважнѣе и поогромнѣе тѣхъ, кои выведены г. Сенковскимъ изъ исландской саги» <sup>3</sup>).

---

хорошъ, потому что произведенъ на свѣтъ осторожностью», говорилъ онъ: «но эта же самая осторожность должна его руководствовать; иначе онъ забредетъ въ пропасть» (Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1891, кн. 4, стр. 293—296).

<sup>1</sup>) Н. Полевой. Очерки русской литературы. Спб., 1839, ч. II, стр. 48—53.

<sup>2</sup>) Молва, 1833, № 114, стр. 455.

<sup>3</sup>) Тамъ же, 1834, № 13, стр. 206.



Слова издателя *Молвы* показываютъ намъ, какъ высоко ставилъ онъ заслуги Каченовскаго. Но уваженіе, которое питалъ Надеждинъ къ своему руководителю, еще далеко не свидѣтельствовало о томъ, что онъ во всемъ согласенъ съ «достопочтеннымъ профессоромъ».

Каченовскій, какъ извѣстно, съ излишнимъ скептицизмомъ отнесся къ народнымъ преданіямъ: его чрезвычайно смутили открытыя имъ «баснословія». Положеніе: «нѣтъ басни, которая не имѣла бы основаніемъ истины» <sup>1)</sup>, было ему непонятно и чуждо. Если бы онъ усвоилъ такую точку зрѣнія, воспользовался приемами научной критики для отдѣленія правды отъ вымысла въ народныхъ легендахъ, то, безъ сомнѣнія, иначе взглянулъ бы на баснословіе, не сталъ бы отрицать значенія лѣтописей и отнести время ихъ составленія къ XIII и XIV вѣкамъ.

Надеждинъ лучше всѣхъ современниковъ понялъ, въ чемъ состоитъ ошибка Каченовскаго, и въ своихъ статьяхъ умѣлъ отлично подчеркнуть и достоинства, и недостатки скептической школы.

Послѣдователи «новаго направленія критики»—пишетъ онъ—стали «сомнѣваться въ достовѣрности нашихъ лѣтописей, единственныхъ памятниковъ самой древней и самой важной части нашего прошедшаго», «разрушать прежнія работы», съ угрозой «отнять у насъ цѣлыя четыре вѣка исторіи». «Скептицизмъ въ отношеніи къ нашимъ, равно какъ и ко всѣмъ вообще лѣтописямъ не совѣмъ безоснователенъ. Чтобы имѣть полную довѣренность къ сказанію, необходимо убѣжденіе въ его подлинности. Подлинность доказывается, если не существованіемъ самаго оригинала, по крайней мѣрѣ списка, ближайшаго къ нему древностью. Но наши списки двумя стами лѣтъ позже предполагаемаго подлинника. Они изуродованы до безобразія, которое приводило Шлецера въ отчаяніе. Какъ же имъ вѣрять? Какъ называть ихъ древними временниками? Это заключеніе естественно». «Но съ другой стороны скептицизмъ не долженъ простирается слишкомъ далеко». *Не зачѣмъ «обезглавить нашу исторію» и предполагать, что «вовсе не существовало подлинника древней лѣтописи».* «Важно не то, кто писалъ послѣднюю, но когда она написана», и, по нѣкоторымъ признакамъ, можно заключить о ея принадлежности къ XI вѣку и о сочинительствѣ черноризца

<sup>1)</sup> *Молва*, 1834, № 13, стр. 206.

печерскаго; при чемъ крайне неправдоподобно думалъ, чтобы «начало нашихъ лѣтописей было исторической мистификаціей XIV вѣка». Пропуски, повторенія существующихъ списковъ не исключаютъ возможности «возстановить нашу лѣтопись въ ясномъ и вразумительномъ видѣ», чему «блистательный образецъ показалъ Шлецеръ». Но его «рѣшительный догматизмъ», напоминающій методу «библейской экзегетики, гдѣ изъясняется текстъ, котораго каждая строка боговдохновенна», долженъ быть отвергнутъ.

«Есть два рода критики: формальная, или буквенная, и существенная. Для критики формальной все, что не обезпечено дипломатически, есть басня, недостойная исторіи. Критика существенная, основывающаяся на исторической вѣроятности самихъ фактовъ <sup>1)</sup>, снисходительнѣе къ этому полусвѣту, которымъ обыкновенно бывають подернуты древнѣйшія сказанія народовъ. Въ немъ она различаетъ истину, которая лежитъ въ основаніи всѣхъ мифическихъ переливовъ преданія.

Пусть древнія наши лѣтописи состоятъ изъ мифовъ. Отъ

---

1) Ср. *Библиотека для Чтенія*. 1837, т. XX, отд. III, стр. 153 — 154: «Критика до сихъ поръ ограничивалась только разборомъ свидѣтельствъ, а не содержащихся въ нихъ фактовъ, или яснѣе, она основывала всю достовѣрность фактовъ на достовѣрности свидѣтельствъ». «Это большая ошибка и главнѣйшая причина того, что ученѣйшіе выводы нашихъ критиковъ только доказательны, а не убѣдительны. Безспорно, достовѣрность свидѣтельства есть вещь важная: она даетъ факту внѣшнее условіе исторической бытности, котораго отсутствіе или присутствіе иногда равняется очевидности. Но это условіе не имѣетъ ни отрицательной, ни положительной необходимости, рождающей непремѣнное убѣжденіе во всѣхъ случаяхъ. Всякій фактъ самъ въ себѣ имѣетъ внутреннія условія достовѣрности, которыя гораздо важнѣе и выше, которыя часто не зависятъ нисколько отъ достовѣрности свидѣтельствъ; напротивъ даютъ имъ достовѣрность. Эти внутреннія условія составляютъ историческую возможность факта, возможность не отрицательную только, заключающуюся въ отсутствіи противорѣчія, но положительную, состоящую въ полномъ согласіи его съ законами историческаго развитія жизни. Никакой древній манускриптъ, никакой извѣстный авторитетъ не убѣдитъ въ подлинности факта, если онъ представляетъ рѣшительное противорѣчіе съ этими законами; напротивъ, полное согласіе съ ними внушаетъ довѣренность къ факту, хотя бы онъ опирался на *преданія*, не удовлетворяющихъ требованіямъ нынѣшней критики. И эти условія до сихъ поръ упускаются изъ виду, по крайней мѣрѣ, не обращаютъ на себя должнаго вниманія при критическихъ изслѣдованіяхъ; а они то и должны бы составлять область критики, въ собственномъ смыслѣ высшей». «Критика фактовъ» называется *реальной*, «критика свидѣтельствъ» — *формальной*.

этого исторія наша не пострадаетъ ни въ формѣ, ни въ содержаніи».

«Шлецеръ съ горестью говорилъ, что басни, встрѣчающіяся въ нашемъ временникѣ, внушаютъ недовѣрчивость къ нашей древности, подвергаютъ подозрѣнію и даже презрѣнію смыслъ и добросовѣстность нашихъ лѣтописцевъ. Потому, желая спасти честь своего обожаемаго Нестора, онъ всячески заботился сваливать всѣ эти басни на переписчиковъ. Странное ослѣпленіе въ великомъ критикѣ! Какъ будто черноризцы XI вѣка, въ странѣ, которая только что вышла изъ состоянія, уподобляемаго, впрочемъ весьма несправедливо, самимъ Шлецеромъ Калифорніи и Мадагаскару, которой только что дали первые начатки образованія, только что принесли грамоту—какъ будто эти простые, добродушные первенцы новорожденного народа должны непременно такъ же чувствовать, вѣрить, мыслить и рассуждать, какъ рассуждаютъ и мыслятъ, вѣрятъ и чувствуютъ нынче, по прошествіи семисотъ лѣтъ! Какъ будто сказанія ихъ были бы искреннѣе, правдивѣе, достовѣрнѣе, если бы они также были переплавлены въ горнилѣ сомнѣнія, отчищены критикой, какъ нынѣшніе историческіе учебники! Нѣтъ! мы бы тогда скорѣе усомнились въ подлинности древняго временника, сочли бы его подлогомъ не XIV, не XVI, а XVIII или XIX вѣка, когда бъ не находили въ немъ этой дѣтской, простодушной баснословности, этого мифическаго оттѣнка, который есть несомнѣнная печать древности. Шлецеръ не зналъ уже мѣры; у него нѣтъ середины между «важными, честными, любящими истину писателями» и «сказочниками, вряями». А тутъ середина есть; и эта середина очень важна для исторіи. То, что называется мифомъ, не есть важное историческое повѣствованіе, но не есть также и вранье, сказка. Въ мифѣ, даже восточномъ, образовавшемся подъ раскаленнымъ небомъ, въ горячей и необузданной фантазіи, всегда бываетъ основаніемъ истина; тѣмъ болѣе въ баснословныхъ сказаніяхъ нашихъ лѣтописцевъ, гдѣ не примѣтно особеннаго разгоряченія воображенія, гдѣ истина могла быть только распространена и преувеличена молвою. Самъ же Шлецеръ, поразивъ отверженіемъ тѣ сказанія, которыя называетъ «глупѣйшими сказками», заключаетъ, что «однако-жъ въ этихъ сказкахъ есть что-то похожее на правду». Такимъ образомъ, чѣмъ бросать ихъ съ презрѣніемъ, лучше поискать и доискаться этой правды... Отъ этой снисходительности къ мифическимъ преданіямъ исто-

рія ничего не потеряетъ въ формѣ, въ характерѣ, въ достоинствѣ; она получила бы баснословный предосудительный цвѣтъ, если бѣ приняла ихъ въ свой составъ цѣликомъ, безъ оцѣнки, безъ изслѣдованія и объясненія».

«Что касается до содержанія, то исторія наша, при такомъ взглядѣ, не только ничего не потеряетъ, но даже значительно можетъ обогатиться. *Здѣсь припомнимъ о живыхъ преданіяхъ, которыя хранятся въ устахъ народа; какъ они, при свѣтѣ существенной критики, могутъ быть полезны и важны для исторіи!* Въ самомъ дѣлѣ, если сказанія, занесенныя въ наши лѣтописи, которыя также взяты съ голоса живого преданія, могутъ имѣть историческое употребленіе, несмотря на свою баснословность,—почему жѣ отказать въ этомъ правѣ тѣмъ отголоскамъ минушаго, которые сохранены не хартією и чернилами, а устами народа? Въ этомъ отношеніи другіе европейскіе народы уже измѣнили прежній исключительный образъ мыслей, рожденный школьною критикой. Они тщательно собираютъ всѣ свои неписанныя преданія, очищаютъ ихъ и возстановляютъ... Пора и намъ взяться за это важное, еще не тронутое поле». Пѣсни, пословицы, сказки—«вотъ богатства, отъ которыхъ, не боясь упрека въ легковѣрїи, можно ожидать пополненія нашей древней исторіи, оживленія сухихъ лѣтописныхъ преданій! Лишь бы только онѣ нашли своихъ Гердеровъ и Шлегелей, Фоссовъ и Гриммовъ!»<sup>1)</sup>).

Народныя легенды, эти «нелѣпыя вымыслы», по выраженію Каченовскаго, были признаны «сокровищемъ, которымъ славянскія племена имѣютъ полное право гордиться предъ всѣми другими народами», и лѣтописи, «основанныя на преданіяхъ», именно потому интересовали изслѣдователя и не вызывали сомнѣнія въ подлинности, что содержатъ въ себѣ «дѣтскую, простодушную баснословность», «миѳическій отгѣнокъ»—«несомнѣнную печать древности». Очевидно, Надеждину не казались правильными всѣ выводы Каченовскаго. Ученика сблизали съ учителемъ лишь свойственная обоимъ склонность къ скептицизму, стремленіе выработать строгій критическій методъ; они сходились въ общемъ протестѣ противъ «преувеличеній» Карамзина и въ отрицательномъ отношеніи къ русской исторической жизни.

«Есть ли у насъ прошедшее?» «Съ перваго взгляда», писалъ

<sup>1)</sup> Библиотечка для Чтенія, 1837, т. XX, отд. III, стр. 113—134.

Надеждинъ: «такой вопросъ можетъ заставить многихъ улыбнуться; но мы просимъ терпѣливо насъ выслушать. Конечно, по лѣтописцамъ и хронографамъ, народу русскому считается около десяти вѣковъ непрерывнаго быта. Восемь столѣтій уже исповѣдуемъ мы христіанскую вѣру, и почти за шесть вѣковъ можемъ представить письменные документы нашего существованія. Но чтѣ это было за существованіе? Жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячелѣтіе? Оставляя времена «великановъ сумрака», Рюрика и Олега, коихъ самое бытіе оказывается историческою проблемою, взглянемъ на такъ называемый періодъ удѣльной системы, коимъ поглощается первая половина тысячелѣтнаго цикла нашихъ воспоминаній. Чтѣ представляютъ намъ въ эти пять вѣковъ отечественныя преданія? *Дремучій тѣсъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса.* Напрасно живописное краснорѣчіе Карамзина усиливалось опцвѣтить сію мрачную пустоту риторическою прелестію разсказа: его исторія удѣльной Руси не могла возвыситься до живой исторической картины и, при всемъ наружномъ великолѣпіи своего убранства, осталась сухою, мертвою хроникой. Нельзя поставить это въ вину искусству исторіографа: ему не съ чего было списывать! Нельзя жаловаться и на скудость лѣтописей: имъ нечего было записывать! *Нашъ удѣльный періодъ былъ періодомъ хаотическаго броженія разнородныхъ частицъ, изъ которыхъ должна была выработаться жизнь народа русскаго;* но онъ самъ въ себѣ столь же мало заключаетъ историческаго содержанія, столь же мало значить въ жизнеописаніи русскаго народа, сколько девятимѣсячное существованіе въ біографіи каждаго человѣка. Тѣ ошибаются, кои считаютъ междоусобія, наполняющія сей періодъ, признаками напряженія жизни и потому сравниваютъ состояніе Руси удѣльной съ драматическимъ волненіемъ древнихъ греческихъ или среднихъ италіанскихъ республикъ, такъ поэтически изображенныхъ кистью Фукидида и Сисмонди. Нашего удѣльнаго періода нельзя даже сравнивать съ Меровеискимъ періодомъ французской исторіи, заклеяннымъ въ исторіи чертой тунейдства... Это былъ періодъ физическаго образованія массы, изъ которой долженъ былъ выработаться народъ русскій! Жизни въ собственномъ смыслѣ тогда не было и не могло быть, ибо жизнь требуетъ могущественнаго начала духа, коимъ бы прониклась и двигалась тяжелая вещественная масса. Но въ то время, чтѣ могло быть симъ животворнымъ началомъ? Единство поли-

тического состава? Оно не существовало! Единство общих идей? Ихъ не было! Русскіе, во время удѣловъ, не имѣли ни общихъ идей объ отечествѣ, ибо каждый считалъ свою родину своей отчиной: кievлянинъ ненавидѣлъ сѣверянина, рязанецъ—владимирца;—ни общихъ идей о правѣ, ибо всякій князь судилъ и рядилъ по-своему, и такъ называемая «Русская Правда», по строжайшимъ изслѣдованіямъ, оказывается не сокровищницею древняго народнаго русскаго права, а мѣстнымъ обрядникомъ, перенятымъ у чужеземцевъ... Отсюда рѣшительное отсутствіе не только драматическаго движенія, но даже пластической изобразительности въ воспоминаніяхъ нашей древней исторіи. При совершенномъ бездѣйствіи пружинъ, коими возбуждается народная дѣятельность, у насъ не могло выработаться тогда ни одного глубокаго характера, ни одной рѣзкой фizioноміи.

«Такимъ образомъ, изъ тысячелѣтняго цикла нашей исторіи шесть вѣковъ не принадлежатъ собственно къ біографіи народа русскаго», жизнь котораго начинается лишь съ княженія Іоанна III. «Но и здѣсь цѣлые два вѣка протекли еще въ младенческихъ нестройныхъ движеніяхъ организующагося государства. Сіи два вѣка составляютъ посему только введеніе въ настоящую исторію нашего отечества. Въ продолженіе ихъ Россія, съ неимовѣрною скоростью, протекла всѣ періоды органическаго государственнаго развитія, для совершенія коихъ Европейскому Западу потребно было цѣлое тысячелѣтіе. Отсюда сіи два столѣтія представляютъ удивительную фантазмагорію быстрыхъ, внезапныхъ переворотовъ, кои тѣснятъ и обгоняютъ другъ друга. Царствованіе Іоанна IV°, распадающееся на двѣ, столь противоположныя другъ другу, половины, представляетъ въ себѣ любопытное совмѣщеніе, съ одной стороны, блестящей рыцарской эпохи, когда Казань и Астрахань, Ливонія и Сибирь оглашались славными подвигами героевъ русскихъ, съ другой—мрачнаго періода тиранніи, гдѣ могущественная пята царя московскаго задавила на самомъ цвѣту поздній всходъ русскаго феодализма. Наши народныя войны съ поляками во времена самозванца имѣли весь энтузіазмъ, всю святость крестовыхъ походовъ. Установленіе патріаршества усилило іерархическій элементъ въ новой организаціи государства русскаго, который, въ лицѣ Никона, возвысился до отчаянной Гильдебрандтской войны съ самодержавіемъ и, вмѣстѣ съ Никономъ, пожралъ самъ себя. Наконецъ, нашъ Петръ воплотилъ въ себѣ реформацию!.. Всѣ сіи великіе перевороты, столпившіеся въ тѣсномъ

промежуткѣ двухъ столѣтій, натурально не оставляли времени юному исполину русскому подержаться на одной постоянной точкѣ, выработать себѣ опредѣленную физиономію и проявиться въ цѣломъ мірѣ оригинальныхъ характеровъ и дѣйствій. *Въ сіи два столѣтія, лицо его, подобно лицу младенца, мѣнялось безпрестанно: ни одна черта не могла нарѣзаться на немъ глубоко, ни одной характеристической примѣты не могло удержаться долго.* Всѣ движенія его были мгновенныя, летучія; вся жизнь—порывъ, изступленіе!.. Итакъ, гдѣ же начинается полная русская исторія?.. Не дальше Петра Великаго!..» <sup>1)</sup>.

Петръ увидѣлъ, «что народъ его, народъ юный и бодрый, полонъ силъ, кипитъ жизнію; но этимъ силамъ не было простора, этой жизни не доставало воздуха». «Ему тяжело было ждать, пока медленнымъ дѣйствіемъ природы дитя укрѣпится, и само раздвинетъ свою тѣсную сферу, само добудетъ себѣ питаніе. И вотъ, однимъ взмахомъ могучей руки бросилъ онъ это дитя на шумное раздолье Европы, прорубивъ мечемъ глухую стѣну, за которой оно скрывалось! Велики были слѣдствія этой крутой мѣры! Дитя-народъ не легко оторвался отъ домашняго очага, гдѣ ему было такъ привольно: онъ дичился и упрямился. Надо было приневолить его и физически, и нравственно: *надо было выгнать изъ него лѣнь и родитъ недовольство собою, возбудить потребность соревнованія.* Воля Петра сдѣлала то и другое: она дѣйствовала угрозой и насмѣшкой. Скоро цѣль была достигнута: *азиатская лѣнь* спала съ плечъ вмѣстѣ съ широкимъ охабнемъ;

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1832, ч. X, № 14, стр. 233—246.—Ср. *Русскую Старину*, 1907, кн. 8, стр. 256: «Конечно, прошло уже тысяча лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ явилось имя русское на востокѣ Европы. Но эти тысяча лѣтъ развѣ исторія въ смыслѣ этого слова? Это лѣтописи существованія почти только этнографическаго. Народъ русскій въ продолженіе семисотъ лѣтъ только что растягивался физически, наполнялъ свою ландкарту, составлялъ себѣ ту огромную географію, которая теперь изумляетъ вселенную. Съ пятнадцатаго вѣка начинаетъ въ немъ вырабатываться политическая организація подъ сѣнію единодержавія царей московскихъ; тутъ начало собственно русской исторіи. Но это начало, какъ и вездѣ, смутно, дико, безобразно. Хаосъ установился только всемогущимъ «да будетъ!» Петра; слѣдовательно, исторія наша, въ собственномъ смыслѣ, продолжается только одно столѣтіе. Какъ же тянутся намъ до другихъ европейскихъ народовъ, изъ которыхъ самыя младшіе живутъ по нѣскольку сотъ лѣтъ? Сто лѣтъ въ жизни народа—минута; и вотъ почему можно и должно сказать, что «у насъ нѣтъ исторіи».

*азіатское самодовольство* отлетѣло вмѣстѣ съ бороною. Русь двинулась съ Востока—и примкнула къ Западу!.. Но такой *переворотъ былъ слишкомъ поспѣшенъ*. Потерявъ центръ тяжести, Русь не имѣла силъ остановиться въ данномъ ей направленіи; она предалась безусловно эксцентрическому движенію! *Безъ сомнѣнія, геній преобразователя зналъ несокрушимую упругость народнаго духа; зналъ, что будетъ время, когда онъ вступитъ снова въ свои права, гордый не невѣжественнымъ самообольщеніемъ, а благороднымъ сознаніемъ своего совершеннолѣтія, чувствомъ неоспоримаго равенства со своими европейскими братьями,—и вотъ чѣмъ должно объяснять его равнодушіе ко всему, что относилось собственно къ русской народности»* <sup>1)</sup>.

Слѣдствія Петровской реформы не замедлили сказаться въ русской жизни.

Съ одной стороны, иноземное вліяніе, «неоспоримо, принесло намъ великую, неоцѣненную пользу». *«Оно вдвинуло насъ въ составъ просвѣщеннаго міра, отъ котораго отдѣлялись мы глухою, непроходимою стѣною, и дало намъ возможность участвовать въ умственномъ капиталѣ челоуѣчества, накопленномъ совокупными силами народовъ въ продолженіе тысячелѣтій. Но за это, повидимому, даровое пріобрѣтеніе поплатились мы весьма дорого. Открывшаяся передъ нами роскошь европейскаго просвѣщенія ослѣпила нашу неопытность; мы захотѣли немедленно наслаждаться ею, позабывъ, что она стоила Европѣ тѣмочисленныхъ трудовъ, вѣковыхъ усилій. Чтобы пріобрѣсть законныя права на сіе наслажденіе, надлежало обратить богатство европейской образованности въ нашу собственность, приспособить ее къ русскому духу и возрастить собственными силами изъ внутреннихъ соковъ русской жизни. Это требовало трудовъ, которые показали намъ тяжелы и скучны. Вмѣсто того, чтобъ заниматься изнурительными работами предварительнаго воздѣлыванія родной почвы, работами, медленно и скупо вознаграждаемыми, мы предпочли легчайшее и удобнѣйшее занятіе—пересаживать къ себѣ цвѣтны европейскаго [просвѣщенія, не заботясь, глубоко ль они пустятъ корни и надолго ли примутся»* <sup>2)</sup>.

*«Несчастливая подражательность господствуетъ досель во всѣхъ отрасляхъ нашей жизни. Сіе зло, неизбежное въ народѣ,*

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, № 1, стр. 48—50.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1832, № 1, стр. 151—152.



пробуждающемся позже другихъ къ образованію, сперва имѣло, повидимому, благотворное вліяніе, возбуждая нашу дѣятельность, хотя насильственно, къ плодамъ *преждевременнымъ*, но впоследствии, истощивъ насъ сей искусственной скороспѣлостью, сдѣлалось ядомъ губительнымъ, тлетворнымъ»<sup>1)</sup>. «Въ знаніи, такъ же, какъ и во всемъ, мы давно обреклись быть эхомъ, повторяющимъ шумныя движенія европейской дѣятельности. Это подвинуло насъ слишкомъ далеко, дальше, чѣмъ могли бы мы дойти сами, по законамъ естественнаго, самобытнаго развитія; но зато это же самое держитъ насъ постоянно въ явной запоздалости передъ современною жизнью. Какъ ни быстро переносится эхо, оно всегда повторяетъ не то, что есть, а то, что высказалось и совершилось; повторяетъ зады современнаго движенія, которое особенно въ нынѣшней Европѣ такъ быстро, такъ спѣшитъ, такъ мчится впередъ, что настоящее ежеминутно заливається будущимъ, отбрасывается въ прошедшее». Поэтому «мы осуждены жить заднимъ числомъ, донашивать полинялыя обноски европейскихъ модъ и питаться вчерашними остатками европейскихъ идей»<sup>2)</sup>.

Петровская реформа отдала высшій классъ общества отъ народа, разъединила ихъ.

«Въ высшихъ слояхъ нашей общественной атмосферы» преобладаютъ «чужія прививныя понятія, чужія наносныя страсти». «Опускайтесь ниже,—вы начнете различать черты фзіономіи оригинальной, живописной, поэтической, но окованной неподвижностью, неоживленной игрою страстей». «Въ нашихъ среднихъ и низшихъ сословіяхъ» «духъ русскій сохраняется чисте и неповрежденнѣе»<sup>3)</sup>, тогда какъ наше «высшее общество» «нахваталось чужихъ идей, чужихъ привычекъ, чужихъ формъ, не заботясь ихъ усвоить, срастить съ собой, претворить въ себя, какъ растеніе или животное претворяетъ въ существо свое все чуждыя вещества, которыми питается». У насъ въ бель-этажѣ, въ нашихъ великосвѣтскихъ салонахъ «умѣютъ ли говорить по-русски»? «Слова русскія, выгнанныя изъ высшаго общества, достались въ удѣлъ простолюдина; отъ нихъ пахнетъ сермягомъ; ихъ звукъ кажется грубымъ и жест-

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1834, ч. XIX, стр. 9.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1836, ч. XXXIII, стр. 556, 558.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 1831, № 14, стр. 218.

кимъ; отвыкшее ухо не можетъ выносить ихъ, да они ужъ не выражаютъ того, что хотѣлось бы выразить; употребленіе въ низкомъ народѣ привязало къ нимъ и смыслъ низкій! Вотъ почему съ русскимъ языкомъ не разговориться въ гостинной; вотъ почему по-русски нельзя пожелать и добраго утра порядочной, не французской фразой; вотъ почему русскій комплиментъ тяжелъ, русская любезность тупа, русское красное слово плоско и неуклюже; вотъ почему многія русскія слова считаются непристойностью въ хорошемъ обществѣ, тогда какъ французскія, точь въ точь имъ соотвѣтствующія, говорятся безъ всякаго принужденія, безъ всякаго зазора». Преобладаніе французской рѣчи свидѣтельствуеетъ о томъ, что цивилизація высшаго класса «родилась не сама собой, а взята готовая съ чужого голоса» <sup>1)</sup>.

Пристрастіе къ европеизму не только оторвало высшій классъ отъ народа: оно «подавило всякое уваженіе, всякое даже вниманіе къ тому, что именно русское, народное» <sup>2)</sup>. Наша ослѣпленная интеллигенція проглядѣла, что «въ Европѣ, которую мы принимаемъ за образецъ, которую такъ усердно копируемъ всѣми нашими дѣйствіями, народность положена во главу угла цивилизаціи»; она не поняла, что мы сдѣлаемся настоящими европейцами и будемъ «походить на нихъ не однимъ только платьемъ и наружными пріемами», когда «выучимся у нихъ уважать себя, дорожить своей народной личностью». *«Обольстительныя идеи космополитизма не существуютъ въ нынѣшней Европѣ: тамъ всякій народъ хочетъ быть собою, живетъ своей, самобытной жизнью. Ни въ одномъ изъ нихъ цивилизація не изгладила родной фізіономіи; она только просвѣтляетъ ее, очищаетъ, совершенствуетъ... И никто изъ нихъ не стыдится себя, не гнушается собой; напротивъ, всѣ убѣждены твердо и непоколебимо, что лучше ихъ, выше ихъ, умнѣй и просвѣщеннѣй нѣтъ въ свѣтѣ!.. Отчего жъ мы русскіе боимся быть русскими?»...* Безспорно, *«теперь намъ надо еще учиться, да учиться у Европы, но не съ тѣмъ, чтобы потерять свою личность, а чтобы укрѣпить ее, возвысить!»* Древняя Греція также училась у Азіи,

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, № 2, стр. 219—221.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1836, № 2, стр. 256: «Подъ народностью я разумѣю совокупность всѣхъ свойствъ, наружныхъ и внутреннихъ, физическихъ и духовныхъ, умственныхъ и нравственныхъ, изъ которыхъ слагается фізіономія русскаго человѣка».

и долго была подъ наукой; но она не сдѣлалась Азіей, напротивъ сама покорила, цивилизовала Азію! Благодареніе Богу! У русскаго человѣка довольно ума, чтобы не жить всегда чужимъ умомъ; довольно силы, чтобы работать изъ себя и для себя, а не на европейской барщинѣ!. Пусть онъ питается европейскою жизнью, чтобы быть истинно русскимъ» <sup>1)</sup>).

Трезвая мысль объ уродливости нашего «обезьянства» не могла не прийти въ голову лучшимъ представителямъ высшаго класса общества, и они возымѣли «глубокую, настоятельную потребность возстановленія, перерожденія». «Отсюда возрастающій съ нѣкотораго времени стыдъ прежняго, слѣпота пристрастія къ чужому; отсюда суетливость о своемъ, отечественномъ, русскомъ, всюду обнаруживающаяся въ различныхъ видахъ!» <sup>2)</sup>).

Но «благодѣтельный поворотъ къ возрожденію русской само-бытной жизни» возможенъ лишь въ томъ случаѣ, если мы будемъ «сознавать себя, какъ русскихъ», «объяснимъ наше настоящее положеніе въ системѣ рода человеческого, опредѣлимъ должныя отношенія къ окружающей насъ природѣ, къ развивающейся вокругъ насъ жизни» <sup>3)</sup>), при чемъ для разрѣшенія этой задачи сопоставимъ Россію съ Западной Европой и внимательно рассмотримъ характерныя черты обѣихъ.

Что представляетъ собою Западъ? Цѣлый рядъ государствъ, когда-то мощныхъ и славныхъ и культурою, и силою оружія, а теперь клонящихся къ упадку. «Европейскіе народы, *дряхлые, изможденные*, стараются утѣшать себя въ преждевременной старости безразсудными возгласами: «Зато мы пожили, зато мы сдѣлали!» Они «исчертали свитокъ исторіи своими страстями, испачкали заблужденіями, забрызгали кровью», ибо на Западѣ «*власть утверждалась завоеваніемъ, порядокъ былъ сладкимъ плодомъ горькаго насилія*». «Длинная, тысячелѣтняя исторія» Европы дорого ей «стоила». «Въ этой исторіи воспоминанія и преданія, накопленныя вѣками, представляютъ *борьбу разнороднѣйшихъ стихій*; и эта борьба оставляетъ» народы «*въ вѣчномъ колебаніи, въ вѣчномъ раздорѣ, въ вѣчныхъ мукахъ болѣзненнаго разрушенія*. Эта исторія—ихъ гибель: она завѣщала имъ неизгладимую *ненависть сословій другъ къ другу*, безчисленныя неисполнимыя притязанія,

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, № 2, стр. 262.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1834, ч. XIX, стр. 9—10.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 1835, ч. XXV, № 1, стр. 156.

химерическія требованія, мечтательныя нужды». «Бури, потрясенія, ужасы» современной Европы возникаютъ оттого, что «дѣйствительность находится въ безпрестанной борьбѣ съ исторіей, которая въ теченіе вѣковъ родила столько преданій и укоренила ихъ въ духъ и характеръ народовъ». «Преданія иногда несомнѣсны съ настоящимъ; и вотъ ломка, разрушеніе!» Разрушеніе сопровождалось *упадкомъ нравственности, оскуднѣніемъ вѣры и распадомъ семьи*. «Общій развратъ» угрожаетъ Европѣ: средствомъ спасенія могло бы служить *«оживленіе вѣры»*, но, къ сожалѣнію, на послѣднее мало надежды.

Очевидно, «Европа не захотѣла остаться при тѣхъ условіяхъ, которыя были причиной ея возрожденія; она упустила изъ виду, что державной волѣ своихъ государей (Франциска I, Елисаветы, Людовика XIV) она обязана «золотыми вѣками просвѣщенія»; она вздумала «пожить по-своему»—«пародировала древнюю Грецію и древній Римъ, объявила войну своему родному, кровному прошедшему, опрокинула его, смочила кровью для того, чтобы передразнить заблужденія и страсти древнихъ народовъ, забывъ, что они погибли отъ этихъ страстей и заблужденій. И ее постигнетъ та же судьба; и надъ ней свиститъ уже бичъ Немезиды, подъ ударами котораго сокрушился Римъ, сокрушилась Греція». Поэтому, «европейскій бытъ *не можетъ считаться крайней ступенью совершенствованія человеческого, окончательной развязкой, послѣднимъ актомъ всемірной исторіи*»<sup>1)</sup>).

1) Въ *Телескопѣ* Надеждинъ не разъ говорилъ, что «современный европеецъ глубоко чувствуетъ свое внутреннее растлѣніе и заслуженныя бѣдствія», и указывалъ на французовъ, какъ на «злополучную націю, обнаруживающую въ себѣ судорожную агонію жизни, уже согнившей». «Вообще должно сказать», писалъ онъ: «что Франціи, по неисповѣдимымъ совѣтамъ Промысла, въ настоящія времена суждено быть высокимъ урокомъ для всего міра. На ея трупѣ, силою гальваническихъ потрясеній, производятся ежедневно ужасные, но поучительные опыты, коими разрѣшаются окончательно и удовлетворительно важнѣйшія задачи общественнаго устройства и благоденствія. Извѣстно, что сіи задачи, безпрестанно запутываемыя игрою страстей и обстоятельствъ, подавали поводъ къ образованію различныхъ политическихъ утопій, начиная съ Платоновой республики до современныхъ бредней сен-симонизма, гдѣ рѣшеніе ихъ основывалось на мечтахъ разгоряченной фантазіи либо на софизмахъ перемудрившаго ума. Прошедшее (XVIII-е) столѣтіе отличалось особенною страстью къ симъ идеальнымъ призракамъ, кои, не бывъ повѣрены приложеніемъ къ дѣйствительности, ожесточали людей противъ существующаго порядка вещей, маня искусительными химерами несбыточнаго совершенства». «Внутреннее гніеніе нравовъ»—«главная причина

Россія не имѣетъ ничего общаго съ Западомъ. Въ теченіе долгаго времени «мы отдѣлены были отъ маленькаго уголка, называемаго Европою», и «намъ нечего тянуться» до тѣхъ «народовъ, съ которыми мы были всегда разобщены и познакомились тогда, когда не осталось межъ нами и ими никакихъ почти точекъ соприкосновенія; нечего, слѣдовательно, равнять себя съ ними ни въ хорошую, ни въ дурную сторону. Они сами по себѣ, мы сами по себѣ». «Европа старше насъ тысячелѣтіями на пути образованія»; «она имѣетъ совсѣмъ другія условія существованія, намъ несвойственныя», и «потому между ею и нами не можетъ быть никакой параллели». «Европейцы живутъ своею жизнью, которая уже успѣла состарѣться; мы должны жить своею, которая только что начинается». Русскій народъ—«самобытный»; «не слѣпокъ, не копія другихъ народовъ». У него есть свой языкъ, «свои самородные нравы», «своя самообразная фizioномія», хотя еще не вполне опредѣлившаяся<sup>1)</sup>.

Онъ «не принялъ ничего въ наслѣдство» отъ Европы; «даже самое христіанство, первое условіе всякаго просвѣщенія, заимствовало не у ней, а у Византіи, которая была тогда въ такомъ жалкомъ, непривлекательномъ положеніи, что мы сами тотчасъ ее презрѣли, бросили, не приняли за образецъ и правило».

---

ужасныхъ конвульсій Франціи». «Провидѣніе дозволило сей злополучной націи упитаться отъ фіала гнѣва его, дабы служить въ знаменіе народамъ. И этотъ божественный урокъ не долженъ для насъ погибнуть» «Міръ есть великая школа взаимнаго обученія для общаго всѣхъ совершенства, — и счастливы люди, счастливы народы, кои, вразумляясь окружающими ихъ примѣрами, избавляются отъ печальной необходимости покупать мудрость цѣною собственныхъ заблужденій и бѣдствій! Felix, quem aliena pericula faciunt cautum!» (Телескопъ, 1832, № 9, стр. 115; ч. XI, № 19, стр. 273; 1834, ч. XXI, № 19, стр. 153; № 21, стр. 319—325).

<sup>1)</sup> Ср. Телескопъ, 1836, ч. XXXI, № 2, стр. 256—257, 262—263: «Какъ ни рѣзки отгѣнки, положенныя на насъ столь различными вліяніями столь разныхъ цивилизацій, русскій человекъ во всѣхъ сословіяхъ, на всѣхъ ступеняхъ просвѣщенія и гражданственности, имѣетъ свой отличительный характеръ, если только не прикидывается умышленно обезьяною. Русскій умъ имѣетъ свой особый сгибъ, русская воля отличается особенной, ей только свойственной упругостію и гибкостью; точно такъ же, какъ русское лицо имѣетъ свой особый складъ, отличается особеннымъ, ему только свойственнымъ выраженіемъ». Несмотря на это, весьма трудно «представить полное изображеніе русскаго человека въ его своенародной чистотѣ, потому что на самомъ дѣлѣ черты его такъ неясны, такъ неразвиты, такъ залглены вытисными мушками».

*«Народъ русскій до сихъ поръ есть великое патріархальное семейство, существующее въ тѣхъ чистыхъ, первобытныхъ формахъ отеческаго самодержавія и дѣтской покорности, которыя самъ Богъ изрекъ для рода человѣческаго».*—Государственный строй Россіи сложился путемъ *мирнымъ*. Народъ, «еще во тьмѣ язычества, при совершенномъ отсутствіи всѣхъ внѣшнихъ побужденій, по одному внушенію добраго свѣтлаго чувства, которое принадлежало только одному ему, самъ преклонилъ колѣна, смирилъ свои могучія силы и предалъ свою великую и богатую землю спасительной власти единодержавія, да воцарится въ ней порядокъ!» Въ нашей исторіи извѣстно и «второе, еще болѣе славное, еще болѣе торжественное покореніе подѣ спасительную власть единодержавія послѣ блистательнѣйшихъ подвиговъ, которые упойли бы всякій другой народъ справедливою гордостью, справедливою довѣренностью къ самому себѣ!» «Гласъ безоружнаго старца изъ уединенной тиши монастырской кельи раздается по всѣмъ концамъ Руси и приводитъ ее въ электрическое содроганіе; сынъ народа, нижегородскій простолюдинъ, становится вождемъ многочисленнаго воинства; мечъ благороднаго князя, побѣдителя враговъ, освободителя Москвы, любимца Руси, уже касается святаго вѣнца Мономаховъ,—и чѣмъ же оканчивается вся эта высокая драма, гдѣ каждое сословіе народа явилось во всемъ блескѣ, во всей силѣ? Единодушнымъ покореніемъ всѣхъ волю, преданіемъ всѣхъ силъ юному Михаилу» <sup>1)</sup>!

Добровольное отреченіе отъ государственной власти и безусловная покорность монарху—исключительная черта народа, свидѣтельствующая, конечно, объ отсутствіи въ немъ политическаго элемента, объ его негосударственности. Русскій народъ никогда не пытался, подобно западнымъ народамъ, «разрушить святыя узы послушанія», никогда не думалъ «обойтись безъ патріархальной отеческой власти, пожить самъ собою». Въ русскихъ людяхъ нельзя замѣтить стремленія къ народовластію; въ нихъ нѣтъ революціонныхъ инстинктовъ. Само христіанство способствовало развитію природныхъ склонностей и еще болѣе укрѣпило въ народномъ сознаніи важное значеніе неограниченной монар-

---

<sup>1)</sup> Эти же факты приводилъ К. С. Аксаковъ въ подтвержденіе своей мысли о томъ, что «русскій народъ есть народъ не государственный» (Ср. записку «О внутреннемъ состояніи Россіи»).

хія: «освятило державную власть печатью божественнаго права» и «объявило царей помазанниками Божиими».

«Вся жизнь, все бытіе» русскаго народа «сосредоточены» въ его государяхъ, и его величіе создано не имъ самимъ, а его правителями. Мы имѣемъ прошедшее; но *нѣтъ «исторіи русскаго народа», есть «исторія государства русскаго, исторія царей русскихъ».*

Свои успѣхи въ области просвѣщенія, свое постепенное «уравненіе» съ Европой мы должны признать результатомъ энергичной работы царей. «Умственная наша жизнь не есть дѣло наше, а дѣло мудрыхъ, попечительныхъ нашихъ монарховъ». Виновниками развитія нашей промышленности и торговли были также цари; они же смягчили наши нравы, придали изящество «наружному, общежительному быту». Русскій народъ пока ровно ничѣмъ не заявилъ себя; онъ всѣмъ обязанъ государямъ.

У насъ нѣтъ достоинствъ «возмужалыхъ народовъ»; но есть все-таки хорошіе задатки и положительныя свойства: «физическая сила и патріархальныя добродѣтели»: «дѣтская довѣрчивость, дѣтская покорность и дѣтская преданность», постоянство, терпѣніе, чистая вѣра, уваженіе семейныхъ началъ и высота семейныхъ добродѣтелей, единеніе между собой <sup>1)</sup>. «Преимущество» русскаго народа еще въ томъ, что онъ «не принималъ никакого участія въ движеніяхъ Европы», и не имѣетъ исторіи.

*У Европы есть прошедшее, у Россіи есть будущее.* «Мы, какъ младенцы, сохраняемъ чистую дѣвственность душъ, на которой стоитъ только мудрой рукѣ сѣять сѣмена истины и блага; никакія плевелы не могутъ подавить ихъ, потому что некогда и неоткуда было запасть имъ, потому что у насъ не было

---

<sup>1)</sup> Ср. *Телескопъ*, 1831, № 14, стр. 219: «У другихъ націй достопримѣчательныя эпохи всеобщаго движенія бывають обыкновенно слѣдствіями *внутренняго раздѣленія*: всколыханная страстями жизнь раздѣляется на многія гряды волнъ, другъ другу враждебныя, другъ друга поборющія: отсюда междоусобное остервенѣніе, оскверненіе престоловъ и алтарей, разрушеніе всѣхъ общественныхъ связей, пятнающее любопытнѣйшія страницы въ лѣтописяхъ народовъ. Не такъ бываетъ съ народомъ русскимъ. Его всеобщее пробужденіе можетъ быть только слѣдствіемъ *напряженнаго средоточенія всѣхъ силъ его*. Русскій человѣкъ, не умѣющій составлять для себя отдѣльную атмосферу бытія, можетъ потрясаться только общимъ колебаніемъ сферы, къ коей принадлежитъ, можетъ жить полною жизнію только въ *единствѣ жизни отечества*».

еще исторіи, которая засѣяла бы насъ страстями, предразсудками и ложными взглядами». «Съ нашей простой, дѣвственной, младенческой природой, не испорченной никакими предубѣжденіями, не засѣянной никакими враждебными воспоминаніями и преданіями, можно сдѣлать все безъ труда, безъ насилія; изъ насъ, какъ изъ чистаго, мягкаго воска можно вылѣпить всѣ формы истиннаго совершенства».—«Присвоивъ себѣ всѣ благіе плоды просвѣщенія, безъ тѣхъ волненій, безъ тѣхъ мукъ, безъ тѣхъ ужасныхъ потрясеній, которыя изнурили Европу и убили въ ней духовное начало жизни до того, что она уже отчаивается теперь въ своемъ будущемъ<sup>1)</sup>, мы, напротивъ, станемъ юными, бодрыми, могучими на чредѣ міра, и явимъ великій, блистательный примѣръ, какъ изъ святаго единства самодержавія должно возникать образцовое, высочайшее народное просвѣщеніе, величіе и счастье. Этому просвѣщенію, этому величію, этому счастью будетъ завидовать Европа!» «Мы существуемъ для того, чтобы преподать великій урокъ міру! Наше назначеніе не быть эхомъ этой дряхлой издыхающей цивилизаціи, которой, можетъ быть, видимъ мы послѣднія предсмертныя судороги, а развить изъ себя новую, юную и могучую цивилизацію, цивилизацію собственно русскую, которая также обновитъ ветхую Европу, какъ нѣкогда эта Европа, еще чистая и дѣвственная, еще не истерзанная бурями, не состарѣвшаяся въ волненіяхъ, обновила ветхую Азію»<sup>2)</sup>.

По своимъ историческимъ возрѣніямъ Надеждинъ напоминаетъ и западниковъ, и славянофиловъ. «Оба направленія какъ будто скрывались въ немъ въ зародышѣ, и оба впослѣдствіи могли бы найти съ нимъ точки соприкосновенія»<sup>3)</sup>.

Несмотря на всѣ разногласія съ Чаадаевымъ, Надеждинъ согласенъ съ послѣднимъ въ томъ, что «прошлое Россіи равно нулю»; что «въ настоящемъ у нея два громадныхъ преимущества

<sup>1)</sup> Ср. *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, № 2, стр. 257: «Я совѣмъ не вандалъ, который бы желалъ отшатнуться опять въ вѣкъ, задвинутый отъ насъ Петромъ Великимъ».

<sup>2)</sup> Изложенныя мысли развиты въ обнародованныхъ нами статьяхъ Надеждина, написанныхъ по поводу «Философическаго письма» П. Я. Чаадаева (*Русская Старина*, 1907, кн. 8, стр. 237—258).

<sup>3)</sup> А. Пытинъ. *Исторія русской этнографіи*. Спб., 1890, т. I, стр. 263—264.



передъ Западной Европой: незасоренность психики и возможность использовать опытъ старшихъ братьевъ»; что «въ будущемъ ея призваніе—указать остальнымъ народамъ путь къ разрѣшенію высшихъ вопросовъ бытія». Вмѣстѣ съ Чаадаевымъ, Надеждинъ склоненъ думать, что намъ «грозятъ великія опасности», «если мы пойдёмъ не своимъ особымъ, еще невиданнымъ путемъ, этой горной тропинкой народа, не имѣющаго исторіи, а захотимъ итти торной дорогою западныхъ народовъ», и «если мы будемъ игнорировать западный опытъ»<sup>1)</sup>. Отсутствіе вѣры въ древнюю Русь и преклоненіе передъ Петромъ Великимъ—эти главные тезисы ученія западниковъ—ярко обнаружались въ статьяхъ издателя *Телескопа*.

Съ другой стороны, такой критикъ, какъ Аполлонъ Григорьевъ, называлъ Надеждина «однимъ изъ жаркихъ сторонниковъ и ревностныхъ дѣятелей славянофильства»<sup>2)</sup>. Дѣйствительно, подобно славянофиламъ, Надеждинъ критически отнесся къ Западу. Указывая, что государственный строй Европы сложился путемъ завоеваній, онъ говорилъ о ея внутреннемъ разложеніи: о ненависти сословій другъ къ другу, о нравственной распущенности, оскудѣніи вѣры, распадѣ семьи, и вообще отказывался видѣть въ Западѣ примѣръ, достойный подражанія, высшую ступень человѣческаго совершенства. Подобно славянофиламъ, онъ признавалъ обособленное положеніе Россіи, ея самобытность; отмѣчалъ заимствованіе изъ Византіи христіанства въ формѣ православія, мирное образованіе русскаго государства и добровольное отреченіе нашихъ предковъ отъ власти; подчеркнул равнодушіе Петра къ роднымъ обычаямъ, порицалъ отдаленіе высшаго класса общества отъ народа и слѣпую подражательность, и придавалъ большое значеніе положительнымъ русскимъ свойствамъ: терпѣнію, постоянству, чистой вѣрѣ, уваженію семейныхъ началъ и единенію между собою. Наконецъ, подобно славянофиламъ<sup>3)</sup>, онъ не проповѣдывалъ возврата назадъ, къ до-Петровской старинѣ, а желалъ, чтобы Россія воспользовалась плодами западной культуры и, переработавъ ихъ въ свою плоть и кровь, установивъ господство высшихъ русскихъ началъ надъ иноземными, преподала великій урокъ міру.

<sup>1)</sup> М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 161—162.

<sup>2)</sup> А. Григорьевъ. Сочиненія. Спб., 1876, т. I, стр. 489.

<sup>3)</sup> Разумѣемъ И. В. Кирѣевскаго, К. С. Аксакова и нѣкоторыхъ другихъ

Какъ и Бѣлинскій, Надеждинъ можетъ быть названъ «центральной натурой» именно потому, что «въ его разностороннемъ умѣ» «объединялись такія направленія русской мысли, которыя позже обособились до рѣзкой противоположности»<sup>1)</sup>.

Изданіе *Телескопа* причинило Надеждину не мало безпокойствъ и огорченій. Приятное сознаніе извѣстной самостоятельности при проведеніи своихъ взглядовъ въ собственномъ органѣ печати, гдѣ Надеждинъ чувствовалъ себя полновластнымъ хозяиномъ, въ значительной степени отравлялось всевозможными хлопотами и невзгодами. Было нужно обезпечить успѣхъ журнала у публики<sup>2)</sup>, производить различныя финансовыя операціи, ладить съ мѣстнымъ начальствомъ и принимать оборонительныя мѣры противъ литературныхъ недоброжелателей. Кое въ чемъ Надеждину посчастливилось. Составъ сотрудниковъ былъ удачный; число подписчиковъ уже въ 1831 году достигло значительной по тѣмъ временамъ цифры 700<sup>3)</sup>, а впоследствии возрасло еще болѣе; журналъ произвелъ впечатлѣніе во дворцѣ, заинтересовалъ фрейлинъ и обратилъ на себя вниманіе самого императора Николая<sup>4)</sup>. Но, въ то же время, нельзя сказать, чтобы судьба всегда благопріятствовала Надеждину. Онъ какъ-то неудачно распоряжался

1) *Ив. Ждановъ*. Памяти В. Г. Бѣлинскаго. Спб., 1899, стр. 65—66.

2) Извѣстіе о новомъ литературномъ предпріятіи Надеждина было встрѣчено не всѣми одинаково. Князь А. А. Шаховской привѣтствовалъ союзъ Погодина съ Надеждинымъ, заранѣе предвкушая удовольствіе, которое онъ получитъ, разглядывая въ ихъ *Телескопѣ* «нашихъ пчелъ, бабочекъ и прочихъ насѣкомыхъ»; Венелинъ желалъ издателю «много успѣховъ». За то С. П. Шевыревъ «не ждалъ отъ *Телескопа* ничего хорошаго» и сначала держалъ его въ «опалѣ», а члены пушкинскаго кружка были, большею частію, настроены непріязненно и косо смотрѣли на затѣи Надеждина. Даже въ 1832 г., когда «журналъ современнаго просвѣщенія» достаточно зарекомендовалъ себя, князь Вяземскій писалъ А. И. Тургеневу: «Пономарь Надеждинъ ругаетъ публику съ колокольни, куда онъ забрался съ просвириною» (*Русскій Архивъ*, 1873, кн. 4, стр. 0478; *Н. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1890, кн. 3, стр. 265—266; письмо князя П. А. Вяземскаго къ А. И. Тургеневу отъ 18-го января—февраля 1832 г.).

3) *Русскій Архивъ*, 1882, кн. 6, стр. 129, 193.

4) *Н. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1890, кн. 3, стр. 267—268, 277: «*Телескопъ*, скажу тебѣ мимоходомъ», писалъ Веневитиновъ Погодину, «читается во дворцѣ, гдѣ фрейлины всѣ перепуганы твоею страшною повѣстію («Васильевъ Вечеръ»)». — Ср. *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 433.

попадавшими въ его руки деньгами и иногда ставилъ себя въ безвыходное положеніе. Извѣстно, что въ 1831 г. онъ ссудилъ Погодина крупной суммой изъ кассы *Телескопа*, а потомъ не зналъ, на какія средства выпускать книжки журнала.—«Я точно началъ беспокоиться и беспокоюсь о деньгахъ, которыя ты взялъ на двѣ недѣли и до сихъ поръ не только не отдаешь, но и не назначаешь времени, когда отдашь», писалъ онъ въ критическій моментъ Погодину. «Я не говорю о собственныхъ моихъ 3.000 руб. слишкомъ, которыя у тебя болѣе года и которыя я могу подождать еще. Но 7.000 руб. Телескопскихъ и притомъ 1.186 р. 40 к. асс. за бумагу, на которую Т—ій принудилъ меня дать себѣ расписку (ибо бумага отпущена на мое имя), меня очень тревожатъ. Ты какъ будто считаешь меня Крезомъ; такъ выйди изъ заблужденія. *Денегъ въ Телескопской кассѣ остается къ концу года очень немного*; и теперь ужъ затрачено столько, что надо приниматься за тѣ, которыя у тебя. Не ужъ ли прикажешь занимать? да и гдѣ? Я долженъ тебѣ откровенно сказать, что безъ этихъ денегъ обойтись рѣшительно невозможно, и мы требуемъ, чтобы ты ихъ представилъ на руки какъ можно скорѣе, ибо, *въ противномъ случаѣ, подвергнешь и насъ, и журналъ банкротству и сраму*, чего мы отъ тебя ни подъ какимъ видомъ не ожидаемъ. Что это не пустословіе, а дѣло важное. въ этомъ увѣрять тебя мы не находимъ надобности. Употреби всѣ зависяція отъ тебя средства, не прибѣгая впрочемъ къ продажѣ дома, которая ни тебя, ни насъ не спасетъ. А если другихъ средствъ не имѣешь, то заложь домъ, и въ этомъ случаѣ легко тебѣ будетъ достать даже и 15.000 руб., въ чемъ Т—ій обѣщается тебѣ помочь, ибо онъ имѣетъ средства и знакомыхъ. Повторяю тебѣ, любезный, что это совсѣмъ не шутка, и что мы ожидаемъ отъ тебя не словъ, а дѣла» <sup>1)</sup>

Томительная забота о необходимости раздобыть денегъ часто смѣнялась тревогой иного рода. Отвѣтственный издатель *Телескопа*, Надеждинъ пережилъ много тягостныхъ минутъ изъ-за недоразумѣній, происходившихъ между нимъ и петербургскими и мѣстными властями. Эти недоразумѣнія возникли съ выходомъ въ свѣтъ перваго номера журнала, гдѣ была помѣщена статья: «Современное направленіе просвѣщенія», не понравившаяся оберъ-

---

<sup>1)</sup> Рукописи Румянцовскаго музея. Архивъ М. П. Погодина. Письма, IV, 233.

полицеймейстеру С. Н. Муханову, который немедленно потребовалъ надлежащихъ объясненій отъ редакціи. вмѣстѣ съ тѣмъ до друзей Надеждина стали доходить какія-то «невыгодныя о немъ извѣстія»; поговаривали, что самъ князь С. М. Голицынъ недоволенъ направлениемъ *Телескопа* <sup>1)</sup>. А въ 1832 г. московскія власти нашли себѣ неожиданно поддержку въ лицѣ С. С. Уварова, который, прочитавъ въ *Телескопѣ*, что академія наукъ «пишетъ и читаетъ до сихъ поръ, къ стыду нашему, только по-французски и по-нѣмецки», сильно вознегодовалъ на Надеждина и, въ качествѣ президента, ходатайствовалъ передъ княземъ К. А. Ливеномъ объ огражденіи нашего высшаго ученаго учрежденія отъ подобныхъ «оскорбленій». Министръ нашелъ нужнымъ пресѣчь зло въ корнѣ, и «поручилъ московскому попечителю сдѣлать, въ полномъ присутствіи московскаго цензурнаго комитета, строгое внушеніе цензору Цвѣтаеву, замѣтивъ, что по-настоящему онъ подлежалъ бы отрѣшенію отъ должности» <sup>2)</sup>.

Тяжелы были для Надеждина столкновенія съ начальствомъ; но еще тяжелѣе оказалась борьба со старыми литературными врагами, хотя она и не была неожиданностью. Приступая къ изданію *Телескопа*, Надеждинъ, естественно, долженъ былъ подготовиться къ тому, что всѣ журналисты, недовольные имъ, какъ сотрудникомъ *Вѣстника Европы*, ополчатся на него, приложатъ всѣ старанія, чтобы подорвать его кредитъ у публики. Легко можно было заранѣе предвидѣть, что съ появленіемъ первыхъ книжекъ *Телескопа* начнется наступательное движеніе соединенныхъ силъ непріятелей. Полемика была неизбежна,—и она разгорѣлась.

Гречь уже въ началѣ 1831 г. выступилъ противъ Надеждина. Какъ и подобало человѣку практичному, расчетливому и предусмотрительному, онъ всесторонне обдумалъ планъ кампаніи прежде, чѣмъ приступить къ дѣйствіямъ. Не для защиты своихъ произведеній, не изъ корыстныхъ побужденій,—нѣтъ, преисполненный благороднымъ чувствомъ любви и состраданія къ ближнему, рѣшилъ онъ вступить за своего закадычнаго друга и пріятеля Булгарина. Предварительно разузнавъ стороною, что Надеждинъ не въ чести у московскихъ властей и имѣетъ репутацію «нена-

<sup>1)</sup> *Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина*, кн. 3, стр. 264—265, 268.

<sup>2)</sup> *Русская Старина*, 1903, кн. 2, стр. 310.

дежнаго» человѣка, онъ написалъ возраженіе на статью о Булгаринѣ, помѣщенную въ № 9 *Телескопа*, и, кромѣ того, отправилъ жалобу на имя попечителя московскаго учебнаго округа. Надеждинъ, съ точки зрѣнія Греча, совершилъ преступленіе уже по одному тому, что непочтительно отозвался о «быстромъ распространѣніи фамиліи Выжигиныхъ», изъ которыхъ Иванъ якобы «приноровился къ потребностямъ, вкусу и замашкамъ нашего средняго состоянія», «умѣлъ найти чувствительную струну» въ «деревенскихъ помѣщикахъ», въ «миролюбивыхъ купцахъ» и «пронрыливыхъ сидѣльцахъ» и «пошевелить ее пріятнымъ щекотаніемъ». Было также великою дерзостью со стороны Надеждина говорить, что «занимательность представляемыхъ Булгаринимъ карикатуръ состояла не въ вѣрности, а въ уродливости», и сопоставлять твоенія почтеннаго издателя *Сѣверной Пчелы* съ книжонками какго-то А. А. Орлова <sup>1)</sup>.

«Нѣтъ ноера *Телескопа* или его спутницы *Молвы*», писалъ возмущенный речъ: «въ которыхъ не былъ бы задѣтъ или побраненъ Ѳ. В. Булгаринъ. Читателямъ *Сѣверной Пчелы* и *Сына Отечества* извѣстно, что на всѣ эти выходки и брани не отвѣчалъ онъ ни стркою, ни словомъ. Казалось, это долженствовало бы притупить зубу неутомимаго наѣздника? Нѣтъ! Нынѣ въ девятой книжкѣ *Телескопа* она разразилась съ большей противъ прежняго яростью въ рецензіи на новый романъ Булгарина <sup>2)</sup>... Тамъ взяли двѣ глупѣйшія, вышедшія въ Москвѣ (да, въ Москвѣ!) книжонки, сочиненныя какимъ-то Орловымъ, и выписки изъ нихъ смѣшали съ выдержками изъ романа Булгарина, приправили все это самыми площадными и низкими ругательствами и, такимъ образомъ, рѣшили дѣйствительность новаго произведенія». А между тѣмъ у автора «Выжигина» «въ одномъ мизинцѣ болѣе ума и таланта, нежели во мнѣгихъ головахъ рецензентовъ», которые отличаются и «шарлатанствомъ», и «безграмотностью» <sup>3)</sup>.

Но заслуживаютъ поданія не одни рецензенты! Въ жалобѣ, поданной князю С. М. Голыцину, Гречъ расширяетъ рамки своего обвиненія и желаетъ приѣчь къ отвѣтственности цензора, пропустившаго статью Надеждина. Гречъ обращаетъ вниманіе попечителя «на происходящее въ московскомъ цензурномъ комитетѣ

1) *Телескопъ*, 1831, № 9, стр. —104.

2) «Петръ Ивановичъ Выжигинъ». Спб., 1831.

3) *Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ*, 1831, № 27, стр. 59—68.

злоупотребленіе власти и совершенное выпущеніе изъ виду правль высочайше утвержденнаго устава о цензурѣ». Цензоръ Аксаковъ, «разсматривавшій» *Телескопъ*, по словамъ подателя жалобы, «одобряетъ къ печатанію» «самыя гнусныя и непозволительныя ругательства» на Булгарина, «который, не зная издателя *Телескопа*, никогда не выдавъ его и не имѣвъ съ нимъ никакихъ сношеній, не могъ подать ему ни малѣйшаго повода къ оскорбленію его лица и характера». Какимъ образомъ возможно «печатаніе подобныхъ статей въ благонамѣренномъ, *неревольционномъ* государствѣ»? «Г. Булгаринъ, писатель, пользующійся справедливо заслуженною извѣстностью въ Россіи, приносящій честь русской литературѣ и въ чужихъ краяхъ, удостоенный за свои сочиненія неоднократнаго благоволенія государя императора, *обруганъ*» «самымъ площаднымъ и постыднымъ образомъ». «Онъ живетъ теперь въ деревнѣ своей, въ Лифляндской губерніи, и не имѣетъ возможности, бывъ окруженъ холерными карантинами, прибыть сюда для преслѣдованія сего дѣла». Вотъ по этой-то причинѣ «сотрудникъ и товарищъ» Булгарина «долгомъ поставляетъ вступиться» за обиженнаго и проситъ князя Голицына «о прекращеніи сихъ непозволительныхъ ругательствъ надъ честными людьми силою высочайше предоставленной ему власти». «Что будетъ съ просвѣщеніемъ и литературою Россіи», заключаетъ Гречъ свою жалобу: «если *всякій наглець, всякій дерзкій неучъ* будетъ имѣть право всенародно ругать и безчестить писателей, достойныхъ уваженія и благодарности отечества? Сдѣлайте милость, сіятельнѣйшій князь, прекратите сіе зло въ самомъ корнѣ, ибо если помянутыя ругательства дойдутъ до свѣдѣнія самого г. Булгарина, онъ сганетъ искать правосудія выше и, конечно, найдетъ его. Тогда раскаются *гнусные клеветники* и друзья покровители ихъ, цензора, забывающіе долгъ свой, но это будетъ уже поздно».

Всѣ происки Греча, несмотря на его энергію и опытность, на этотъ разъ были напрасны. «Московскій цензурный комитетъ, которому князь Голицынъ передалъ на разсмотрѣніе жалобу Греча, нашель, что въ статьѣ *Телескопа* нѣтъ никакихъ гнусныхъ и непозволительныхъ ругательствъ, какъ выражается г. Гречъ, на сотрудника, друга и товарища его Ѳ. В. Булгарина, никакихъ оскорбленій лицу и характеру сего писателя». Поэтому комитетъ, «съ чувствомъ справедливаго негодованія, усматривалъ въ дерзкихъ выраженіяхъ письма г. Греча не истинную жалобу, а одну

только тяжкую» для себя «обиду», и просилъ передать все дѣло на усмотрѣніе министра народнаго просвѣщенія. Князь Ливень согласился съ московскимъ цензурнымъ комитетомъ и въ докладѣ Государю Императору указалъ на то, что «Гречь, почитая себя въ правѣ жаловаться на цензуру, долженъ былъ бы принести жалобу узаконеннымъ порядкомъ, не позволяя себѣ дерзкихъ выраженій, нарушающихъ должное уваженіе къ членамъ московскаго комитета и его предсѣдателю». Прочитавъ докладъ Ливена, Николай Павловичъ приказалъ министру «призвать Греча къ себѣ, вымыть ему голову и объяснить, что ежели впредь осмѣлится дерзко писать, то вспомнилъ бы, что журналисты сиживали уже на гауптвахтахъ и что за подобныя дерзости можно и подъ судъ отдать» <sup>1)</sup>.

Резолюція императора, вѣроятно, охладила пылъ Греча и его друга: они немного присмирѣли; но, спустя нѣкоторое время, оправившись и опять принялись строить козни Надеждину. Теперь они сдѣлались осторожнѣе: перестали жаловаться высшему начальству, а старались высмѣять либо выбрать надеждинскія сочиненія и устраивали такъ, что непозволительныя статьи *Стверной Пчелы* перепечатывались въ другихъ періодическихъ изданіяхъ.

Объ успѣшности интригъ Булгарина можно судить хотя бы по печальной судьбѣ рѣчи Надеждина: «О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ». Вскорѣ послѣ университетскаго акта, на которомъ была произнесена эта рѣчь, появился весьма неодобрительный о ней отзывъ въ *Пчелѣ*, откуда онъ былъ немедленно перепечатанъ въ *Дамскомъ Журналѣ*.

«Признаюсь», писалъ какой-то московскій житель изъ Кудрина <sup>2)</sup>: «что мнѣ давно не случалось находить изложенія столь неровнаго, безвкуснаго, запутаннаго, высокопарнаго и въ то же время пошлаго! Авторъ старался прикрыть недостатокъ и неправильность мыслей наборомъ словъ, громогласіемъ напыщенныхъ фразъ, въ которыхъ иногда не добьешься толку и часто встрѣчаешь непростительныя промахи противъ самыхъ обыкновенныхъ правилъ языка».—Далѣе слѣдуетъ рядъ выдержекъ изъ рѣчи, снабженныхъ замѣчаніями: «Понимаете ли вы? Я не понимаю!» «Ей-ей, тутъ нѣтъ смысла!» и т. п. «Я не имѣю чести знать автора сего

<sup>1)</sup> *Русская Старина*, 1903, кн. 2, стр. 322—324.

<sup>2)</sup> Вѣроятно, Н. В. Кукольникъ (*Русская Старина*, 1889, № 8, стр. 276).—*Ср. Молву*, 1833, № 114, стр. 453; № 115, стр. 457.

слова», говоритъ рецензентъ: «но слышалъ, что онъ человѣкъ умный и знающій; изъ сочиненія его вижу, что онъ много читалъ. Не должно ли пожалѣть, послѣ этого, что онъ вдается въ странности и нелѣпости, не умѣетъ отличить простаго отъ пошлаго, великаго отъ напыщеннаго, благороднаго отъ чопорнаго? Или наша литература дошла до такой степени упадка, на которой смѣшиваются всѣ правила и понятія; здравый смыслъ, естественность и вкусъ подавляются подъ бременемъ педантскихъ гиперболей и ничтожныхъ словоизвитій.—Желательно бѣ было, чтобы авторъ сей рѣчи догадался, на какую ложную дорогу сбился; желательно, чтобъ онъ внялъ гласу здравой логики и истинной эстетики; но если онъ составилъ уже для себя исключительную систему, или находитъ, что должно такъ разсуждать и писать, какъ онъ разсуждаетъ и пишетъ, то дай Богъ, чтобъ онъ оставался на семь поприщѣ одинъ; дай Богъ, чтобъ онъ не имѣлъ послѣдователей между юными питомцами музы!—Званіе профессора не освобождаетъ его отъ отвѣтственности предъ публикою; напротивъ, налагаетъ на него еще строжайшія обязанности» <sup>1)</sup>).

Высказать профессору, что онъ не исполняетъ или, что еще прискорбнѣе, не въ силахъ исполнить лежащихъ на немъ обязанностей, было очень пріятно его недругамъ, къ которымъ примкнулъ, какъ слѣдовало ожидать, и Николай Полевой, ставшій также однимъ изъ ратниковъ ополченія, начавшаго кампанію противъ Надеждина. Полевой не взлюбилъ *Телескопъ* и не жалѣлъ яркихъ красокъ, чтобы рельефнѣе изобразить его недостатки; онъ пытался убѣдить публику въ невѣжествѣ редактора и въ ничтожности журнала.

О *Московскомъ Телеграфѣ*, обиженно заявляетъ нѣкто Анонимъ: «противники его часто говорили и говорятъ, что онъ умираетъ, что онъ умеръ, что толщина его показываетъ сухотку, чахотку, что веселыя нападенія его на *костромской слогъ и пустословіе недоумокъ* отражаются въ ихъ глазахъ судорогами умирающаго, что книжки его, въ коихъ печатаются статьи Кине, Гершеля, Марлинскаго, суть послѣднія дыханія больного, а не громкое и благородное опроверженіе ихъ ложныхъ предсказаній. Судьбѣ угодно было сыграть жестокою траги-комедію съ этими лже-пророками: они сами скончались до срока, скончались всѣ, до

---

<sup>1)</sup> *Дамскій Журналъ*, 1833, № 42, стр. 42 — 47.—Ср. *Сѣверную Пчелу*, 1833, №№ 208, 209.



единаго, такъ что *Московскій Телеграфъ*» «оставался къ 1831 году единственнымъ журналомъ въ Москвѣ. Но въ то же время выѣхала на журнальное поприще парочная батарея г-на Надеждина, названная *Телескопъ*. Это названіе оказалось еще слишкомъ умнымъ для такого журнала, и съ нынѣшняго года онъ издается подъ заглавіемъ: *1832-й Телескопъ*».

«Сказавъ читателю, что этотъ журналъ издается сочинителемъ извѣстныхъ статей *Вѣстника Европы*, въ которыхъ обвиняли русскихъ писателей то въ проповѣданіи нигилизма, т. е. матеріализма <sup>1)</sup>, то въ срамныхъ картинахъ, то въ нелюбви къ отечеству, и все это болтливымъ, надутымъ, варварскимъ слогомъ, мы могли бы избавить себя отъ дальнѣйшихъ замѣчаній. Но, издавая *Телескопъ*, г. Надеждинъ оказалъ въ своихъ статьяхъ невѣдѣніе, столь простодушно-жалкое, что, читая журналъ его, мы не разъ смѣялись отъ чистаго сердца, и хотимъ заставить улыбнуться нашихъ читателей:

Смѣяться право не грѣшно

Надъ тѣмъ, что истинно смѣшно!»

Обнаружилось, что Надеждинъ «не знаетъ ни русскаго, ни французскаго языка; не знаетъ нѣмецкой литературы и судить о ней по-наслышкѣ, называя Цшокке швейцарскимъ писателемъ; не имѣетъ никакого понятія о французской словесности, ибо онъ нашелъ гекзаметры у Расина и Вольтера, чего нѣтъ и быть не можетъ, ибо этому противится природа французскаго языка. Правда, такого незнанія довольно, чтобы перестать вѣрить журналу г-на Надеждина; однакожь мы взглянемъ на общность, на духъ и направленіе онаго, дабы сдѣлать окончательный выводъ объ этомъ странномъ явленіи».

«Полтора года *Телескопа* доказываютъ, что издатель его не имѣлъ никакой мысли, никакого литературнаго побужденія при этомъ важномъ предпріятіи. «Давай-ка издавать журналъ!» вотъ что было мыслью его. А какъ издавать? Для чего? Объ этомъ придется ему подумать теперь».

«Не говоря уже объ общей цѣли, скажемъ, что нѣтъ ни одной

---

<sup>1)</sup> Сужденіе, безусловно, невѣрное. «Слово *нигилистъ*», пишетъ А. Григорьевъ: «не имѣло у него (Надеждина) того значенія, какое въ наши дни придалъ ему Тургеневъ. *Нигилистами* онъ звалъ просто людей, которые *ничего* не знаютъ, *ни на чемъ* не основываются въ искусствѣ и жизни» (*Эпоха*, 1864, № 3, стр. 154—155).

части, которую бы *Телескопъ* обрабатывалъ съ знаніемъ, съ любовью къ предмету. Напротивъ, каждая часть его скрипитъ и отваливается отъ непрочнаго фундамента. Издатель *Телескопа* хотѣлъ подражать другимъ журналамъ, но остался съ духомъ и средствами покойныхъ *Галатеи* и *Вѣстника Европы*. Все это расцвѣтилъ онъ своимъ несноснымъ слогомъ, своимъ невѣдѣніемъ, своими смѣшными требованіями на ученость, своимъ пристрастіемъ въ сужденіяхъ—и диво ли, что журналъ его такъ плохъ и такъ неуважаемъ? Онъ не представляетъ читателямъ ни одной свѣжей, глубокой идеи; переводя статьи иностранныя, искажаетъ ихъ своими нелѣпѣйшими, несносными переводами; даже передавая извѣстія о современныхъ явленіяхъ, обыкновенно обезображиваетъ и главныя идеи, и подробности» <sup>1)</sup>).

Журнальные враги Надеждина дѣйствовали дружно. Ихъ союзная армія заняла боевыя позиціи и открыла сраженіе, стараясь мѣткимъ огнемъ уничтожить новую «батарею», смѣло выѣхавшую на литературное поприще. Надеждину ничего не оставалось, какъ принять бой и выйти изъ него хоть и съ урономъ, но съ честью. И, покоряясь своей незавидной долѣ, онъ не могъ отогнать отъ себя грустныхъ мыслей о некультурности русскаго общества.

«Писатели не понимаютъ другъ друга; общество не понимаетъ писателей; чернь возстаетъ на ученыхъ; ученые съ презрѣніемъ давятъ чернь своими тяжелыми фразами». Таланты не находятъ себѣ должной оцѣнки. «Теперь явился у насъ какой-нибудь Гомеръ, какой-нибудь Дантъ, мы не заслушаемся его до самозабвенія, не поставимъ въ его славѣ нашей народной гордости, не учредимъ каюедръ для удивленія его величію, для увѣковѣченія его заслугъ; нѣтъ! мы окружимъ его съ дреколіемъ полемическаго злословія, забросаемъ сарказмами и эпитаграммами, или, по крайней мѣрѣ, изъ-подъ-тишка будемъ ѣсть его ядовитымъ глазомъ подозрѣнія, отыскивать въ его славѣ малѣйшія пятнышки, чтобы накопить изъ нихъ цѣлую тучу. Что дѣлать? Это не столько нравственная болѣзнь народнаго характера, сколько болѣзнь ума, естественное слѣдствіе ложнаго состоянія, въ которомъ мы находимся, нашей переобразованности, нашихъ черезчуръ высшихъ

<sup>1)</sup> *Московскій Телеграфъ*, 1832, № 5, стр. 98—100; № 6, стр. 127—128; № 7, стр. 148—150; № 8, стр. 180—181.

взглядовъ, нашей привычки мѣрять все свое *чужимъ* аршиномъ, разсматривать самихъ себя при *чужомъ свѣтѣ*» <sup>1)</sup>. «У насъ обыкновенно жалуются на недостатокъ учености, на скудость *самобытныхъ* мыслителей, на малочисленность *оригинальныхъ* изслѣдованій, системъ, умозрѣній и т. п.». Но, «при настоящемъ порядкѣ вещей», не можетъ и быть иначе. «Современное состояніе нашей образованности» «отнимаетъ всякую возможность если не заниматься трудами истинно учеными (ибо награда ихъ находится въ нихъ самихъ, а не въ бессмысленныхъ возгласахъ черни), то, по крайней мѣрѣ, пріобрѣтать ими заслуженную извѣстность и чрезъ то содѣйствовать славѣ русскаго ума и трудолюбія! Боже мой! Какъ въ другихъ просвѣщенныхъ странахъ Европы глубоко всматриваются въ самыя нелѣпныя мечты своихъ соотечественниковъ, если онѣ носятъ на себѣ печать *самобытной* мыслительности! Самыя бредни сен-симонистовъ подвергаются философическому разбору, открывающему въ ихъ безобразномъ сору крупинки чистаго золота! А у насъ... Просимъ покорно явиться на сцену, хотя бы, на примѣръ, самымъ именитымъ Кузеньямъ и Лерминьел...». «*Безъ связей и покровительства*, которыя бѣ могли оградить ихъ своимъ авторитетомъ, они должны будутъ счесть величайшею для себя наградю, если сочиненія ихъ изъ сострадательнаго презрѣнія оставятъ спокойно лежать не переплетенными кипами въ самыхъ дальнихъ и темныхъ углахъ книжныхъ лавокъ!» <sup>2)</sup>.

Участь русскаго журналиста еще тяжелѣе, чѣмъ положеніе русскаго ученаго. Будучи и профессоромъ, и издателемъ *Телескопа*, Надеждянъ извѣдалъ это на своемъ горькомъ опытѣ. Ему «очень извѣстно, какъ неприяты публикѣ журнальныя сплетни и перебранки, унижающія съ нѣкотораго времени литературу нашу до толкучаго рынка; и потому онъ, рѣшившись говорить правду всѣмъ и каждому, прямо въ глаза, безъ всякихъ обиняковъ и увертокъ, положилъ было себѣ за правило не связываться никогда съ оскорбленнымъ самолюбіемъ своихъ собратій и не отвѣчать ничего на шумные крики, коими оно обыкновенно старается заглушить горькій голосъ истины. Но онъ не зналъ, до чего могутъ иногда забываться люди: ему и въ голову не приходило, чтобы литературныя распри могли обратиться въ оже-

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, № 2, стр. 205, 212.

<sup>2)</sup> *Молва*, 1833, № 114, стр. 454—456.

сточеніе, пренебрегающее не только всѣ общественныя приличія, но и всѣ гражданскія отношенія, и преслѣдующее въ противникѣ не литературныя слабости и промахи, а то, чего нѣтъ священнѣе и неприкосновеннѣе—человѣка!»<sup>1)</sup> Надеждинъ намекалъ на некрасивыя выходки Греча и Булгарина.

Извѣстный «творецъ трехъ русскихъ грамматикъ», склонный къ «обмолвкамъ противъ чистоты языка, принятаго имъ торжественно въ свое завѣдываніе»; литераторъ, «самъ себѣ пишущій хвалы» въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ и «печатающій панегирики пріятелей своимъ сочиненіямъ въ журналахъ, имъ самимъ издаваемыхъ», Гречъ «обратилъ гнѣвъ свой» на *Телескопъ*, гдѣ «вѣрный сотрудникъ» *Сына Отечества*, «авторъ двухъ Выжигиныхъ и одного Самозванца, былъ принятъ неласково». «Такая дерзость, конечно, не могла быть пріятна почтенному родителю Выжигиныхъ, который и безъ того долженъ быть не въ духѣ отъ недочета четырехъ тысячъ пятисотъ читателей, оказавшагося при новомъ Выжигинѣ, по вѣрному исчисленію самого Н. И. Греча<sup>2)</sup>. По счастью, О. В. Булгаринъ живетъ теперь въ Дерптѣ, и Н. И. Гречъ, безъ сомнѣнія, щадя его спокойствіе, по собственному признанію, не посылаетъ къ нему *Телескопа*. Но зато самъ онъ вступился со всею горячностію за уединеннаго отшельника. Порывъ дружбы, не слишкомъ обыкновенный въ наши желѣзныя времена! Жаль только, что онъ простерся до излишняго фанатизма»... Поступокъ издателя *Телескопа* «непонятенъ» для Греча: «какъ смѣть критиковать человѣка, который своими талантами и трудами приноситъ честь своимъ согражданамъ, который и въ чужихъ краяхъ пріобрѣлъ славу, падающую на всю русскую литературу вообще». «Такое ослѣпленіе извинительно въ другѣ, но оно не можетъ быть закономъ для рецензента», который, въ отвѣтъ на эти слова, можетъ повторить только «отзывъ, сдѣланный о Булгаринѣ въ одной нѣмецкой газетѣ, дабы показать публикѣ, какую честь онъ приноситъ своимъ согражданамъ въ чужихъ краяхъ». «Вотъ что напечатано было недавно

<sup>1)</sup> *Молва*, 1831, № 30, стр. 54.

<sup>2)</sup> «Въ своей апологіи Выжигиныхъ Н. И. Гречъ, вѣроятно въ жару запальчивости, проговорился, что Ивана Выжигина разошлось 7.000 экземпляровъ, а Петра только 2.500 (*С. О. и С. А.*, № 27, стр. 61 и 63). Итакъ 4.500 чптателей ухнуло! Но издатель *Телескопа* виноватъ ли въ томъ?» Примѣчаніе Н. И. Надеждина.

въ Litteratur-Blatt (№ 50, 1831) объ его Иванѣ Выжигинѣ: «Здѣсь, вмѣсто одушевленія къ тому, что называется русскимъ, господствуетъ спокойное представленіе всѣхъ злоупотребленій, которыя происходятъ въ Россіи отъ насильственного сочетанія азіатскаго варварства съ европейскою преутонченностію; и за открытіе таковыхъ злоупотребленій земляки (?) должны быть обязаны графу Булгарину, тогда какъ мы изъ нихъ получаемъ весьма точное понятіе о внутреннемъ состояніи нынѣшней Россіи». Если такова честь, доставляемая сочиненіями г. Булгарина его согражданамъ въ чужихъ краяхъ, то оборони насъ отъ ней, Боже! Довольно, что и иностранцы честятъ насъ варварами и азіатцами! Можетъ быть, земляки г. Булгарина, которые признаютъ его графомъ, и должны быть ему обязаны за это но не мы, русскіе».

Надеждинъ намѣренъ обойти молчаніемъ обвиненіе его въ проповѣдываніи «самодержавія народа» и «достойные намеки на кутью, рясу, косичку и другія подобныя вѣжливости, коими украшена статья г. статскаго совѣтника, почтеннаго Н. И. Греча»; но онъ «не можетъ скрыть отъ своихъ читателей блестящей мысли», которою его противникъ «заключаетъ свои замѣчанія»: «Въ одномъ мизинцѣ Булгарина», говоритъ г. Гречъ: «болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ».—«Ай, да мизинецъ! уменъ малютка! Жаль, очень жаль, что почтенный Ө. В. Булгаринъ не мизинцемъ пишетъ свои романы или, по крайней мѣрѣ, не ссудилъ имъ г. Греча на составленіе, въ защиту Выжигиныхъ, статейки, сколько-нибудь достойной сочинителя трехъ грамматикъ и одной учебной книги» <sup>1)</sup>.

«Задуманный другъ» Греча—писатель разносторонній. Онъ стяжалъ себѣ извѣстность, какъ романистъ и издатель *Сѣверной Пчелы*, и, въ нѣкоторомъ отношеніи, можетъ быть приравненъ великимъ поэтамъ. «Каждый геній имѣетъ подражателей. Шиллеръ заплатилъ дань Шекспиру; Шиллеру—Жуковскій; Жуковскому—толпа юношей, одаренныхъ талантами. Чѣмъ выше геній, тѣмъ выше и его послѣдователи. Г. Булгаринъ служить доказательствомъ сей аксіомы. Геній Ивана Выжигина породилъ, наконецъ, достойныхъ себѣ подражателей. Безъ Ивана Выжигина не удалось бы намъ полюбоваться его дѣтьми: Петромъ Выжи-

---

<sup>1)</sup> *Молва*, 1831, № 30, стр. 54—60; 1834, № 36, стр. 143—146.—*Ср. Телескопъ*, 1831, № 1, стр. 129; 1836, № 2, стр. 208, 213—214.

гими и Хлыновскими Степняками Игнатомъ и Сидоромъ, Выжигиными тожь. Какое благословенное семейство!

Кого Господь поищетъ, вознесетъ!

А въ Выжигиныхъ нѣтъ въ Россіи перевода.

Спасибо имъ! роятся годъ отъ года!“

Особыми качествами отличается все, что только ни выходитъ изъ-подъ пера Булгарина: статьи *Съверной Пчелы* замѣчательны не менѣе Выжигиныхъ.

«*Съверная Пчела* неутомимо подвизается на избранномъ ею поприщѣ: запасаясь изъ чужихъ ульевъ политическимъ медомъ, она никакъ не забываетъ отравлять его своей литературной горечью», въ чемъ «весьма помогаютъ ей важныя открытія, которыми она безпрестанно утѣшаетъ своихъ читателей». «Такъ въ 234 номерѣ (1831) рассказывается новость, что люди хуже обезьянъ лазятъ по сучьямъ, а потому де китайцы, вмѣсто ихъ, «пріучаютъ обезьянъ ципать листья съ чайныхъ деревъ» и т. д. Занимательная въ области политики, *Съверная Пчела* считаетъ себя «авторитетомъ въ дѣлахъ литературы». Пусть злые языки твердятъ, что ея сужденія «водяны» и «ничтожны», она не перестаетъ «намекать, что образцы чистаго русскаго слога надо смотрѣть въ статейкахъ г. Булгарина, что языку русскому надо учиться у г. Греча». Убѣжденная въ справедливости своихъ воззрѣній, она даже не находитъ нужнымъ «объяснить», въ чемъ состоитъ эта тайна, этотъ талисманъ, этотъ Соломоновъ перстень, который даетъ издателямъ ея право предсѣдательства въ языкѣ русскомъ». Привыкши къ поклоненію извѣстнаго сорта читателей, *Пчела*—«большая неохотница признаваться въ своихъ грѣхахъ», и способна, не смущаясь, высказывать довольно смѣлыя мысли. Напримѣръ, она «выдаетъ себя почти безпрестанно противницею учености», забывая, что «Булгаринъ издалъ Горация съ философическими примѣчаніями», которыя, хотя и чужія, но тѣмъ не менѣе свидѣтельствуютъ о любви Ѳаддея Венедиктовича къ наукѣ. Сотрудники *Пчелы* проявляютъ иногда «крайнее невѣдѣніе въ вещахъ, о которыхъ они взялись судить», но имъ легко прощаютъ отсутствіе знаній за ихъ искусство наносить «тяжкія раны тупымъ концомъ журнальной клеветы» и за умѣнье ловко владѣть «другимъ, равно вытертымъ въ полемическихъ бояхъ оружіемъ — оружіемъ насмѣшки и кощунства». Отъ этого оружія страдалъ и редакторъ *Телескопа*, имѣющій несчастье «принадлежать къ отверженной кастѣ ученыхъ» и за то «преслѣдуе-

мый съ неутолимымъ ожесточеніемъ» плохими знатоками изящныхъ искусствъ, «записными грамотеями» и храбрыми «рыцарями причастій и дѣепричастій».

«Ветхозавѣтное правило: око за око и зубъ за зубъ»,—вотъ «журнальная тактика», усвоенная *Съверной Пчелой*, которая «пользуется удобнымъ случаемъ, дабы отмстить кровному врагу» и прожужжать хвалебный гимнъ пріятелю. Недаромъ «*Θ. В. Булгаринъ*, другъ и ученикъ *Н. И. Греча*, издателя ланкастеровой методы взаимнаго обученія, руководствуясь сочиненіемъ друга своего и учителя, вздумалъ основать *методу взаимнаго прославленія*. Эта метода оказываетъ удивительные успѣхи: по методѣ *Жакото* можно, говорятъ, выучиться языку въ 9 мѣсяцевъ; по методѣ *Θ. В. Булгарина* можно прославиться въ одинъ, много два мѣсяца... И какъ легко!» Изъ двухъ друзей одинъ «напишетъ романъ», другой—«критику». Одинъ «скажетъ: Романъ г. NN. прекрасенъ, превосходенъ; г. NN. истинный геній! *Вальтеръ Скоттъ шарлатанъ!*» Другой «скажетъ: у насъ есть критика, превосходная критика, образцовая критика, критика г. NNN. по поводу выхода въ свѣтъ моего романа и пр.». «Чего же лучше и легче? Превосходный романъ, образцовая критика!» Одинъ авторъ—«славенъ»; другой—«безсмертенъ». «А тамъ смотришь—сотня, другая и больше экземпляровъ романа раскуплена доверчивыми читателями!» «А тамъ смотришь—дюжина бутылокъ шампанскаго и жареная индѣйка съ трюфелями попали на зубъ пріятеля, нашедшаго истинную критику на земномъ шарѣ <sup>1)</sup>. Разумѣется, пріятель не одѣлится пріятеля! Оба славны и оба сыты—не однимъ дымомъ!» «Да здравствуютъ Оресты и Пилады! Да процвѣтаетъ метода взаимнаго прославленія!» <sup>2)</sup>.

Во временномъ союзѣ съ *Съверной Пчелой* состоитъ *Московский Телеграфъ*. Подобно «*Θемистоклу и Аристиду*, оставившимъ свою личную вражду, пока дѣло шло о благѣ общемъ», *Полевой* и *Булгаринъ* заключили «краткое перемиріе» и «стали подъ одними

<sup>1)</sup> «Въ *Библиотеку для Чтенія* учреждена премія въ пользу того, кто найдетъ настоящую критику на земномъ шарѣ: дюжина бутылокъ шампанскаго и жареная индѣйка съ трюфелями по-перигезски» (*Б. Ч.*, т II, о. V, с. 7) [*Молва*, 1834, № 10, стр. 151].

<sup>2)</sup> *Молва*, 1834, № 36, стр. 145—146.—См. *Телескопъ*, 1831, № 1, стр. X; № 16, стр. 554—555; 1836, № 2, стр. 213—214.—*Молва*, 1831, № 22, стр. 8—10; № 43, стр. 264—265; 1833, № 114, стр. 453—456; № 115, стр. 457—460; № 116, стр. 461—464.

знаменами, въ одни ряды», чтобы противодѣйствовать *Телескопу*. Не случайно и не напрасно начала *Пчела* хвалить Полевого. Онъ, дѣйствительно, поражаетъ своими разнообразными дарованіями и своей работоспособностью: въ одно и то же время издаетъ *Телеграфъ*, сочиняетъ повѣсти и пишетъ «Исторію русскаго народа». «Озабоченный такой обузой разныхъ дѣлъ», Полевой «бѣжитъ сломя голову за вѣкомъ»<sup>1)</sup> и «едва успѣваетъ на воздухѣ ловить европейскія свѣдѣнія». «Какъ Цинциннатъ, взысканный римскимъ народомъ, отъ сохи принялъ кормило государства, такъ и г. Полевой изъ мрака отдаленности, отъ странъ хладной Сибири, гдѣ онъ, по собственному признанію, съ Плутархомъ въ рукѣ гулялъ по зеленымъ тундрамъ (сирѣчь болотамъ), размышляя о Юліи Цезарѣ, Катонѣ, Клеопатрѣ, воображая самого себя на ихъ мѣстѣ (зри повѣсть «Сохатый»), вдругъ перенесенъ, какъ бы магіемъ волшебнаго жезла, отъ сихъ прелестныхъ, но все уединенныхъ и безвѣстныхъ мѣстъ въ богоспасаемый градъ Москву, гдѣ въ нѣсколько мѣсяцевъ выучился французскому, нѣмецкому, польскому, англійскому, санскритскому, халдейскому и многимъ другимъ языкамъ и возсѣлъ на литературномъ трибуналѣ судить живыхъ и мертвыхъ писателей». Ученый—энциклопедистъ: «историкъ, философъ, математикъ, филологъ, стихотворецъ, критикъ и юристъ», Полевой съ беспощадной суровостью обличаетъ въ невѣжествѣ лицъ, обладающихъ меньшей, чѣмъ онъ, эрудиціей. Онъ побѣдоносно заявляетъ, что профессоръ Надеждинъ не знаетъ иностранныхъ языковъ, неправильно называетъ гекзаметромъ двѣнадцатисложный александрійскій стихъ и не догадался поставить точку въ заглавіи своего журнала, что даетъ возможность всякому величать послѣдній 1832-мъ *Телескопомъ*. «Знаменитый изобрѣтатель Грипусъ и Сировъ Барскихъ» не прочь щегольнуть своими лингвистическими и иными познаніями. «Говорятъ, что въ глаголѣ «canoniser» (производимомъ имъ отъ са-

---

<sup>1)</sup> «Сего декабря 5-го дня 1831 года, вышелъ № 22 *Московского Телеграфа*, за ноябрь мѣсяцъ прошедшаго 1830 года. Въ немъ предлагаются раздраженному любопытству читателей между прочими занимательными статьями слѣдующія свѣжія новости: 1) Огрывокъ изъ сочиненія *Г. Астрѣбцова о Умственно-мъ Воспитаніи*, явившагося въ цѣлости прошлымъ лѣтомъ; 2) Глава изъ II части *Послѣдняго Новика*, вышедшей въ свѣтъ прошлою весною. и 3) Анекдотъ о *Мистриссъ Гоннъ, матери Каннинга*, помещенный, прошлою зимою, въ *первой книжкѣ Телескопа*» (*Молва*, 1831, № 49, стр. 361—362).



пол—пушка) нашелъ онъ новое значеніе: разстрѣлять изъ пушекъ, и очень удивился, прочитавши въ нѣкоторой легендѣ, что одинъ благочестивый мужъ, проводившій всю жизнь свою въ умерщвленіи плоти, былъ по смерти своей, вслѣдствіе опредѣленія папы и всего священнаго собора, разстрѣлянъ изъ пушекъ!» Столь важное «открытіе пролило новый свѣтъ на изысканія» Полевого, и, по слухамъ, онъ «пишетъ уже диссертацию, въ которой, принимая въ соображеніе, что у италіанцевъ святой мужъ былъ разстрѣлянъ изъ пушекъ, а у насъ Димитріемъ Самозванцемъ, какъ еретикомъ и колдуномъ, самимъ зарядили пушку, выводитъ любопытныя заключенія о нравахъ обоихъ народовъ, о ихъ просвѣщеніи и о ихъ религіозныхъ понятіяхъ!» «Сія диссертация, какъ говорятъ, составитъ значительную часть IV тома «Исторіи русскаго народа», изданіе которой отнынѣ пойдетъ успѣшнѣе, ибо «добрый и незлопамятный Александръ Аноимовичъ Орловъ рѣшился помогать Н. А. Полевому въ его геніальномъ трудѣ и, вслѣдствіе того, перо романиста промѣнялъ на грифель Кліи».

Необыкновенная ученость Полевого сдѣлала его нѣсколько надменнымъ и самоувѣреннымъ. Съ пренебреженіемъ говоритъ онъ о русскомъ патріотизмѣ, какъ о ненужномъ хвастовствѣ, и объ эпохѣ 1612 года—«одномъ изъ главныхъ коньковъ нашего народнаго самолюбія»; иронически отзывается о пристрастіи русскихъ «къ блестящимъ бездѣлкамъ» и о ихъ склонности «звонить изъ всѣхъ силъ въ колокольчикъ народнаго самохвальства». Слишкомъ разсчитывая на свои силы, онъ открываетъ подписки на цѣлый рядъ своихъ произведеній и, собравъ деньги, иногда не можетъ выполнить своихъ обязательствъ. За одну исторію имъ получена «сумма, простирающаяся, какъ увѣряютъ литературные шпіоны, хотя впрочемъ неофициально, за 60.000 руб.», а вмѣсто обѣщанныхъ двѣнадцати выданы въ 1830 г. только три тома сего сочиненія. Мечты историка о барышахъ отчасти осуществляются, но среди подписчиковъ поднимается ропотъ: распространяется слухъ о «литературномъ банкротствѣ» автора, а «люди грубые» «называютъ его поступокъ обманомъ, подлогомъ»...

Въ своемъ *Телеграфѣ* Полевой «торжественно призналъ и доказалъ фактами, что въ геніи Пушкина выражается современная жизнь человѣчества», а также прекрасно выяснилъ «истинное значеніе поэзіи». «Идеалы... проявленія безконечнаго... пресыщен-

ніе дѣйствительностью... пластика и музыка—какіе взгляды!» За-  
слуги Полевого поистинѣ велики: вѣдь «съ его литературной ка-  
ланчи» была вывалена такая «груда мусора» на Пасичника, Ру-  
даго Панька, и былъ приглашенъ «безыменный Живописецъ,  
который, забравшись въ *Телеграфъ*, оттуда, какъ изъ камеръ-  
обскуры, снимаетъ образыны со встрѣчнаго и поперечнаго, и  
готовится» «размѣстить ихъ въ особой отъ *Телеграфа* гал-  
лереѣ» <sup>1)</sup>).

Слава Полевого начала меркнуть лишь съ выходомъ въ свѣтъ  
*Библиотеки для Чтенія*. Одно оглавленіе *Библиотеки*, напеча-  
танное въ *Сѣверной Пчелѣ*, сулило многое въ будущемъ и не  
могло не затмить всѣ рекламныя объявленія другихъ періодиче-  
скихъ изданій. «И въ самомъ дѣлѣ, мудрено было бы, чтобы  
предпріятіе столь огромное и необычайное, предпріятіе пустить  
всю русскую литературную производительность на крыльяхъ пе-  
риодическаго изданія, не возбудило всеобщаго участія!.. Столько  
блистательныхъ именъ! Такой всеобъемлющій планъ! Такія все-  
мощныя средства! И притомъ, гарантія противъ всякаго одно-  
сторонняго пристрастія, противъ всякой партіи и системы, въ  
литературно-безстрастной личности издателя! Всѣ стихіи *все-  
россійскаго* журнала!.. Какъ было не понадѣяться!.. Весьма не-  
многіе скептики дозволяли себѣ отчасти сомнѣваться; но они  
хранили глубокое молчаніе, опасаясь, чтобы ихъ зловѣщія подо-  
зрѣнія не были сочтены внушеніями завистливаго недоброжела-  
тельства». «Зловѣщія подозрѣнія» однако не были безоснова-  
тельны. «Скептиковъ» смутило «слишкомъ пестрое смѣшеніе  
именъ, наполняющихъ заглавный листокъ *Библиотеки для Чте-  
нія*». «У насъ есть теперь имена несомнѣстимыя, которыя дико  
видѣть другъ возлѣ друга», а въ «программѣ» г. Смирдина «одна  
буква П могла соединить въ одну газетную строчку Полевого,  
Пушкина, Погодина». «Это казалось чудомъ», на которое нельзя

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1831, № 1, стр. XII; № 14, стр. 222; ч. V, стр. 558—559;  
1832, № 11, стр. 374—402.—*Молва*, 1831, № 7, стр. 6—8; № 14, стр. 12—15;  
№ 15, стр. 14; № 19, стр. 2; № 27, стр. 7—9; № 29, стр. 35—39; № 31,  
стр. 74—78; № 32, стр. 91—92; № 35, стр. 141—142; № 38, стр. 189—191;  
№ 40, стр. 217—218; № 41, стр. 229—232; № 43, стр. 263—266; № 48;  
стр. 343—344; № 49, стр. 361—362; № 51, стр. 392—396; № 52, стр. 403—  
409; 1832, № 20, стр. 77—78; № 31, стр. 122—123; № 32, стр. 128; № 34,  
стр. 135; № 46, стр. 183; № 58, стр. 229—232; № 59, стр. 235—236; 1833,  
№ 114, стр. 453, 455; № 115, стр. 459; 1834, № 8, стр. 124.

было «смотреть безъ тайнаго изумленія»: какъ будто «золотой вѣкъ возвращался на землю!» Лишь одно обстоятельство отчасти успокаивало. «Библиотека для Чтенія могла быть *безпристрастнымъ* собраніемъ литературныхъ и ученыхъ статей, складочнымъ мѣстомъ всѣхъ издѣлій письменной производительности, періодической выставкой современной русской словесности. Такъ можно было предполагать и по названію *Библиотеки*, принимаемому въ буквальномъ значеніи, и по изъясненному въ программѣ рѣшительному отреченію ея отъ всякаго духа партіи, отъ всѣхъ полемическихъ распрей». «Но въ такомъ случаѣ *Библиотека для Чтенія* надлежало отказаться отъ всѣхъ притязаній на журнальную личность и самобытность, отъ всякой литературной системы, отъ всякой постоянной, единослѣдственной критики. Съ истинно *библиотечнымъ* хладнокровіемъ она должна была предлагать публикѣ всякое чтеніе, не заботясь управлять ея вкусомъ, предупреждать ея судъ и мнѣніе. Критическія статьи могли входить въ составъ ея, какъ литературные жъ опыты разныхъ писателей, а не какъ декреты особаго, самовластнаго судилища». Въ дѣйствительности оказалось нѣчто иное. Уже въ первыхъ двухъ томахъ смирдинскаго журнала читатели «нашли критику, и критику диктаторскую» <sup>1)</sup>, которая разъяснила, что библиотеки бываютъ не для одного чтенія, но и «для другихъ цѣлей: для литературнаго аукціона репутацій, для ежемѣсячнаго продовольствія пріятелей похвалами, для бедуинскихъ наѣздовъ на непріятелей».

«Два существенныя свойства требуются отъ всякой критики»: «основательность и добросовѣстность».

«Всякая критика есть судъ; а *судъ*, какъ говоритъ русская пословица, долженъ быть *по закону*, слѣдовательно *по началамъ, по основаніямъ*. Такова ли критика *Библиотеки для Чтенія*?.. По русской юриспруденціи вообще, собственное сознаніе вмѣняется паче всѣхъ уликъ; и вотъ *собственное сознаніе Библиотеки*: «Въ нашей критикѣ не найдете вы ни капли критики; а найдете... такъ!—что-нибудь!—нѣчто въ родѣ критики!—то, что пишутъ всѣ люди, воображая себѣ, будто они пишутъ критику» (*Б. Ч.*, т. II, о. V, с. 13). Такую странную откровенность можно бѣ было счесть за юмористическую мистификацію, если бѣ при-

---

<sup>1)</sup> Говоря о критикѣ *Библиотеки для Чтенія*, Надеждинъ имѣлъ въ виду статьи О. И. Сенковскаго (барона Брамбеуса).

сяжный органъ критики *Библиотеки для Чтенія*, скрывающійся подобно хамелеону, подъ разными затѣйливыми наименованіями и девизами, въ другомъ мѣстѣ не позаботился яснѣе и подробнѣе изложить систему своего критическаго судопроизводства. «Я не умѣю»—говоритъ онъ—«чувствовать *по правиламъ*... Я сужу по собственнымъ моимъ впечатлѣніямъ». «Чувствуя и рассуждая не по правиламъ», сотрудникъ *Библиотеки для Чтенія* высказываетъ удивительныя сужденія. «Онъ называетъ Вальтера Скотта «шарлатаномъ» и увѣряетъ, что онъ «приготовилъ публику къ чудовищной манерности», «что, съ изданіемъ его «Квентина Дорварда», пробилъ на землѣ первый часъ неистовой словесности (!?)» (*Б. Ч.*, т. II, о.V, с. 16—18); и онъ же, прочитавъ фантазію: «Торквато Тассо», сочиненную однимъ изъ сотрудниковъ *Сына Отечества и Сѣвернаго Архива*, восклицаетъ: «Великій Кукольникъ» (т. II, о. V, с. 37), поспѣша въ то же время прибавить, что это въ томъ же смыслѣ, въ какомъ онъ», сотрудникъ *Библиотеки для Чтенія*, «восклицаетъ предъ многими мѣстами твореній Байрона: «Великій Байронъ!» «Явно», что подобная критика «точно безъ правилъ».

Но, можетъ быть, будучи безъ правилъ, она все-таки отличается добросовѣстностью?—«Не смѣемъ пускаться въ подробный разборъ пункта столь щекотливаго, ибо дѣла совѣсти—даже и литературной—темны, какъ душа. Но позволимъ себѣ сблизить нѣсколько фразъ, составляющихъ критическое сужденіе объ одномъ и томъ же литературномъ произведеніи, изъ которыхъ читатели сами увидятъ», какъ свято критикъ *Библиотеки для Чтенія* исполняетъ свою «священную» обязанность. Приступая къ разбору новаго романа Булгарина: «Мазепа», онъ восклицаетъ въ необыкновенномъ припадкѣ патетическаго одушевленія: «О Оадей Венедиктовичъ! Гдѣ ты? Бросься скорѣе въ мои объятія! Обними меня въ послѣдній разъ! Простись со мною и съ цѣлымъ свѣтомъ! Взгляни на мои слезы!.. Я тебя люблю и уважаю, но долженъ... долженъ пожертвовать тобою, принести тебя перваго въ жертву литературному правосудію! (*Б. Ч.*, т. II, о. V, с. 14)». «Переверните нѣсколько страницъ,—и вы читаете слѣдующее о романѣ Булгарина: «Надлежало бы напередъ явно отказаться отъ всякаго притязанія на *литературную совѣсть*, чтобъ смѣть сказать, что этотъ такъ смѣло задуманный, такую возвышенную философію, такую нравственность напечатлѣнный (?), вымыселъ не принадлежитъ къ *красотамъ перваго разряда* въ области

изящнаго. Не только въ русской, но и въ другихъ словесно-стяхъ, мало знаю я романовъ, идея которыхъ была бы столь сильна и блистательна» (с. 35).—«Какая странная переиначивость въ показаніяхъ! Никогда физическіе барометры не бывали такъ непостоянны, даже въ загадочный холерный годъ, поставившій въ тупикъ всѣхъ метеорологовъ!»

Для полноты характеристики критическихъ статей *Библіотеки* необходимо добавить, что «тонъ» ихъ—«тонъ, передразнивающій юмористическую веселость и небрежность современной французской критики; тонъ суесловія и арлекинства, щеголяющаго уличными тривіальными поговорками». Трудно съ чѣмъ либо «сравнить слѣдующіе выраженія и обороты»: «Историческій романъ, по-моему, есть побочный сынокъ безъ роду, безъ племени, плодъ соблазнительнаго прелюбодѣянія исторіи съ воображеніемъ»; или «Охъ, ужъ мнѣ эта исторія!.. Господи, прости тяжкій грѣхъ тому, кто пустилъ эту жеманную и придирную (!?) бабу въ романъ, въ изящное».—И невольно возникаетъ вопросъ: «Неужели этотъ критическій тонъ, этотъ журнальный духъ одобряются и раздѣляются всѣми, коихъ имена украшаютъ обертку *Библіотеки для Чтенія?*» <sup>1)</sup>).

---

Полемика Надеждина съ Булгаринымъ, Гречемъ, Сенковскимъ показываетъ, какое обособленное мѣсто занималъ онъ среди современныхъ ему журналистовъ. Обособленность положенія дѣлала его одинокимъ, что было невыгодно; но ради расчета онъ не привыкъ поступаться своими убѣжденіями, и потому открыто высказывалъ свои взгляды даже тогда, когда это было сопряжено съ явнымъ для него ущербомъ. Обладая стойкимъ характеромъ, онъ имѣлъ и другое, несомнѣнно, цѣнное свойство. При всей рѣзкости своихъ сужденій, при всей силѣ обличенія нашихъ пороковъ и отрицаніи нашего прошлаго, онъ былъ всецѣло проникнутъ горячимъ чувствомъ любви къ родинѣ. Что бы ни говорили суровые судьи издателя *Телескопа*, даже въ наиболѣе патетическихъ его тирадахъ трудно уловить фальшивый тонъ, хотя, конечно, нельзя не признать излишней приподнятости и напыщенности иныхъ выраженій. Надеждина упрекали въ квасномъ патриотизмѣ, и упрекали едва ли справедливо. Его вѣра въ великую миссію Россіи и надежда на развитіе богатыхъ задат-

---

<sup>1)</sup> *Молва*, 1834, № 8, стр. 119—126; № 10, стр. 150—158

ковъ многообъщающей русской природы—прегрѣшенія не очень тяжкія. Собственные слова Надеждина лучше всего знакомятъ съ его настроеніемъ. «Что такое патріотическое хвастовство?» писалъ онъ въ *Телескопѣ*. «Хвастаться значить хвалиться вещами, не имѣющими истиннаго достоинства, не заслуживающими истиннаго уваженія. Но развѣ *отечество* можетъ быть когда нибудь ниже чувства, ему приносимаго?.. Не должно ли оно быть дороже всѣхъ сокровищъ, выше всѣхъ похвалъ для истинныхъ сыновъ своихъ? Европейцу можетъ еще показаться *хвастовствомъ* самодовольная гордость дикаго сына Канадскихъ лѣсовъ, признающаго надменно свой родной вигвамъ святилищемъ земного блаженства и свое звѣроправное племя лучшимъ цвѣтомъ челоуѣчества; но и *это хвастовство* безконечно возвышеннѣе *лживыхъ софизмовъ мнимаго космополитизма*, коими обыкновенно прикрывается скудость души, изсушенной эгоизмомъ?»—«Завистливое недоброжелательство враговъ русскихъ давно старается посягать въ насъ недоувѣрчивость къ нашему народному достоинству и унижать насъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ: это имъ нужно! И, по несчастію, есть слабыя души, кои, увлекаясь сими злонамѣренными навѣтами, теряютъ любовь и уваженіе къ святому имени русскому». Но «если каждый легкомысленный французъ, не краснѣясь, предъ лицомъ всего свѣта, *хвастается* своею прекрасною Франціею и своимъ Парижемъ, который простодушно считаетъ зенитомъ вселенной, и который въ настоящія времена должно по справедливости признать надиромъ просвѣщеннаго міра, то русскому ли стыдиться хвалить свою благословенную Россію?» <sup>1)</sup> И—прибавимъ отъ себя—если, хваля отчизну, онъ впадетъ въ нѣкоторыя преувеличенія,—мы не бросимъ въ него камень.

---

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1831, № 14, стр. 234—235.

## УІІ.

Сухово-Кобылины и ихъ отношенія къ Надеждину.—Любовь учителя къ ученицѣ.—Недовольство родныхъ послѣдней.—Поѣздка Надеждина въ Петербургъ.—Отставка.—Поиски новаго мѣста.—Возвращеніе въ Москву.— Неудачное сватовство.—Отъѣздъ за границу.

Сухово - Кобылины занимали видное мѣсто въ московскомъ обществѣ въ концѣ двадцатыхъ и въ началѣ тридцатыхъ годовъ прошлаго вѣка. Глава семьи, Василий Александровичъ, дослужившійся до генеральскаго чина, былъ женатъ на Маріи Ивановнѣ Шепелевой и имѣлъ четверыхъ дѣтей: двухъ дочерей и двухъ сыновей: Ивана и Александра, впоследствіи извѣстнаго писателя, автора «Свадьбы Кречинскаго»<sup>1)</sup>. Богатые, гордившіеся своею принадлежностью къ старинному дворянскому роду и придерживавшіеся великосвѣтскихъ традицій, Сухово-Кобылины не были чужды просвѣщенія, умѣли воспитать свои вкусы и взгляды, а жизнь вели—сообразно положенію—на широкую ногу. Въ ихъ домѣ, кромѣ многочисленныхъ родныхъ и короткихъ знакомыхъ, собирались по вечерамъ извѣстные литераторы, ученые, профессора Московскаго университета. На этихъ собесѣдованіяхъ, повидимому, сообщались послѣднія новости въ области науки и поэзіи, происходилъ живой обмѣнъ мыслей, развивались оригинальныя идеи, велись жаркіе споры<sup>2)</sup>. Однимъ изъ постоянныхъ посѣтителей вечеровъ былъ Надеждинъ, котораго, помимо интересовъ умственныхъ, помимо возможности отдохнуть отъ занятій въ хорошемъ обществѣ, связала съ семьей Кобылиныхъ еще сердечная склонность—любовь къ ихъ старшей дочери.

---

<sup>1)</sup> *Князь А. Б. Лобановъ-Ростовскій*. Русская родословная книга. Спб., 1895, т. II, стр. 389.

<sup>2)</sup> *Историческій Вѣстникъ*, 1892, май, стр. 486; *Русскій Архивъ*, 1882, № 5, стр. 86; *Д. Языковъ*. А. В. Сухово-Кобылинъ. М., 1904, стр. 6; *Библиографическія Записки*, 1892, № 7, стр. 489—490.

Елисаветъ Васильевнѣ было приблизительно шестнадцать лѣтъ, когда она познакомилась съ Надеждинымъ <sup>1)</sup>. Она была отъ природы умна, но не отличалась красотой, хотя лицо ея, особенно глаза были выразительны. Она «воспитывалась дома; исторію россійскую преподавалъ ей профессоръ Морошкинъ, литературу—поэтъ Раичъ, физику—профессоръ Максимовичъ» <sup>2)</sup>. А для довершенія этого образованія потребовалось содѣйствіе Надеждина, вслѣдствіе чего онъ сталъ въ болѣе короткія отношенія къ семьѣ Сухово-Кобылинныхъ. Въ это время мать ученицы, отдавая должное дарованіямъ учителя, искренно ему симпатизировала, и онъ отвѣчалъ ей тѣмъ же. Одиночество, отсутствіе близкихъ, которымъ можно было бы раскрыть душу и повѣдать горе и радость, заставляло Надеждина преувеличивать и идеализировать значеніе въ его жизни Маріи Ивановны. «О! какой рай открылся, было, въ душѣ моеѣ», признавался онъ ей позднѣе: «когда я узналъ васъ, именно васъ—узналъ ближе... Вы, казалось мнѣ, поняли меня, оцѣнили, и дали почувствовать мнѣ самому, что я могу еще что-нибудь значить не для одного себя... О! я не льстил вамъ, когда увѣрялъ васъ, что вы воззвали меня къ жизни... Это скажу я на смертномъ одрѣ моемъ... Я обязанъ вамъ своимъ воскресеніемъ... Первое искреннее, пламенное чувство мое было къ вамъ... Меня даже подозрѣвали, что я влюбленъ въ васъ; съ такимъ восторгомъ я говорилъ о вашей ко мнѣ дружбѣ». Но «жестокая судьба отплатила» Надеждину «за это упоеніе»; идиллія тихой дружбы въ кругу милаго семейства должна была нарушиться,—бурное, тяжелое состояніе борьбы съ самимъ собою и тѣми лицами, которыя были такъ дороги и близки, впоследствии заступило ея мѣсто...

Незгоды, однако, обрушились на Надеждина не сразу. Сначала, вѣроятно, весной 1834 г. Марія Ивановна предложила ему

<sup>1)</sup> Родилась 12-го августа 1815 г., умерла 15-го марта 1892 года.

<sup>2)</sup> «Знакомые». Альбомъ М. И. Семевского. Спб., 1888, стр. 268.—Кромѣ упомянутыхъ лицъ былъ приглашенъ для преподаванія словесности и С. П. Шевыревъ.—Ср. *Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина*. Спб., 1891, кн. 4, стр. 143: «Слава Шевырева начала распространяться по Москвѣ, и къ Погодину, какъ его другу, стали обращаться многія почтенныя семейства съ просьбою уговорить Шевырева давать уроки въ ихъ домахъ. Въ числѣ ихъ съ этою просьбою обратились и Сухово-Кобылинны; но Погодинъ по этому поводу отмѣтилъ въ своемъ Дневникѣ: «Я боялся, что влюбится. Такъ что жъ? Я началъ его испытывать, какъ будто для него» (30 марта 1833 г.)



поселиться въ ея подмосковномъ имѣніи Воскресенскомъ, а потомъ переѣхать къ ней жить на городскую квартиру. Долго отказывался Надеждинъ, котораго упорно отговаривалъ отъ этого шага отецъ, почему-то предусмотрительно видѣвшій въ переѣздѣ сына къ Сухово-Кобылинымъ большое несчастье,—но послѣдній, въ концѣ концовъ, не устоялъ передъ настойчивыми просьбами и далъ свое согласіе. Это согласіе было для него роковымъ, и чудное лѣто, проведенное имъ въ Воскресенскомъ, было тѣмъ яркимъ солнечнымъ лучомъ, который играетъ на небѣ передъ тѣмъ, какъ найдутъ тучи и грянетъ громъ.

Въ имѣніи Надеждинъ имѣлъ возможность сблизиться съ Елисаветой Васильевной. Раньше, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ знакомства, онъ «изъ всѣхъ членовъ семейства Кобылиныхъ замѣчалъ ее наименѣе, былъ холоденъ къ ней совершенно, даже чувствовалъ какое то нежеланіе съ нею сблизиться»; онъ долгое время смотрѣлъ на нее какъ на дѣвочку, и когда жена С. Т. Аксакова смѣялась надъ нимъ, что онъ влюбленъ въ свою ученицу, онъ «самъ этому смѣялся» и отвѣчалъ, что видитъ въ ней лишь «умнаго ребенка». За послѣднюю же зиму, 1834 г., Надеждинъ испытывалъ къ Елисаветѣ Васильевнѣ даже не «прежнее равнодушіе», а «родъ какого-то тайнаго отвращенія»: ему казалось, что она не любила и нарочно избѣгала его, уходя къ своимъ родственникамъ Шепелевымъ, когда онъ являлся на извѣстные вечера. Онъ былъ, потому, больше привязанъ къ ея младшей сестрѣ, прозванной домашними «Душенькой»... Такова была «исторія его пустого сердца» до знаменательнаго лѣта, когда ежедневное общеніе, частыя бесѣды разъяснили многое. Надеждинъ постепенно узнавалъ тѣ душевныя свойства ученицы, которыя были до сихъ поръ отъ него скрыты: онъ сталъ мѣняться въ отношеніи къ ней, она—въ отношеніи къ нему. Онъ пересталъ видѣть въ ней дитя, замѣтилъ, что она выросла; «за чтеніемъ Ламартина» убѣдился, что она «можетъ чувствовать, и чувствовать сильно»: ученица, съ своей стороны, съ бѣльшей симпатіей относилась къ «педанту-профессору», осмѣливалась задавать ему вопросы о томъ: «можно ли довѣряться во всемъ матери?»—и, наконецъ, «торжественно обѣщала ему свою дружбу». Они читали вмѣстѣ разныхъ авторовъ, популярныхъ въ ту эпоху, переживали сладкія минуты. «Я помню», писалъ впослѣдствіи Надеждинъ Елисаветѣ Васильевнѣ: «какъ въ первый разъ—еще за чтеніемъ Ламартина—ты ухватила меня за руку... Тогда все было туманно, безогчетно...

Помнишь ли, какъ мы ѣзжали въ Воскресенское, въ эти божественныя незабвенныя ночи... Я сидѣлъ всегда противъ тебя, и когда случайно дотрогивался до тебя, какой-то благоговѣйный страхъ обнималъ все существо мое... Ты была для меня какою-то святынею—по какому-то неизъяснимому для меня чувству... Или какъ я, бывало, подавалъ тебѣ руку, чтобы помочь сойти съ лошади! Непонятная робость всегда владѣла мною... Помнишь ли, какъ мы читывали съ тобою Шиллера, Жуковскаго... какъ однажды читали «Рыцаря Тогенбурга», я по-нѣмецки, а ты—по-русски... какъ разъ начали читать «Эолову арфу»—и папенька вдругъ пріѣхалъ откуда-то—и мы не дочитали... А еще сказать ли тебѣ? Когда ты изъявила желаніе, чтобы я читалъ съ тобой вмѣстѣ романъ Лафонтена... мнѣ тоже было ужасно какъ робко... особенно въ присутствіи маменьки... Я, бывало, пропускалъ фразы, строки, цѣлыя страницы, проникнутыя наиболѣе чувствомъ. Что-то непонятное мѣшало мнѣ, сковывало языкъ... Не былъ ли это зародышъ чувства, которое боялось само себя?... Чувство незамѣтно вело къ единенію, и въ укромныхъ аллеяхъ Воскресенскаго сада часто происходили условленные встрѣчи. Здѣсь, въ «божественныя» ночи, при «лунномъ свѣтѣ, коимъ природа воззывается къ какой-то чудной безличной жизни», на корѣ завѣтнаго кедра вырѣзалось завѣтное имя; здѣсь лились пылкія рѣчи,—ораторствовалъ Надеждинъ. Онъ говорилъ иногда «довольно темно, оттого, что слова шли изъ самой глубины души», подобно «звуку, раздающемуся на днѣ пещеры», всегда «глухому и мрачному»,—но его понимали и «отвѣчали слишкомъ рѣшительно», «безусловно», «самонадѣянно», «дерзко» вѣря въ счастливую будущность, которая самому Надеждину представлялась въ «проблематическомъ туманѣ». Любимой темой бывалъ вопросъ: «кто можетъ больше чувствовать: женщина или мужчина?» Надеждинъ «держалъ тогда свою сторону»; съ нимъ спорили, ему возражали. «Мужчина созданъ для жизни эксцентрической, внѣшней»—утверждалъ онъ—и потому «не можетъ такъ постоянно, такъ безвыходно запирается *у себя дома*—въ чувствѣ, какъ женщина», которой «нѣтъ другой жизни, какъ только въ самой себѣ», такъ какъ «въ ней нѣтъ и не должно быть ничего кромѣ сердца» и она «не назначена ни для жизни ума, ни для жизни воли». И женщина—счастлива, тогда какъ мужчина обреченъ на участь Фауста или Манфреда, «самъ зиждетъ для себя бѣдствія, влекомый непреодолимымъ рокомъ своего назначенія», «гибнетъ жертвою дерзости,

которая составляет сущность его природы», и «наказывается, подобно спартанскому дитяти, за кражу небеснаго огня—кражу не произвольную, но вынужденную—кражу, которая ему приказана свыше, которая составляет долгъ его». Мужчина болѣе достоинъ сожалѣнія, чѣмъ женщина, хотя менѣе жалуется на свою судьбу; ему «рѣдко удается быть *дома, въ себѣ*»; «но зато когда онъ бываетъ тамъ, бываетъ всѣмъ существомъ своимъ»: «раскаленное желѣзо вовсе не бросаетъ искръ отъ себя... но бойтесь къ нему прикоснуться—оно пламеннѣе самого пламени». И Надеждинъ призывалъ женщину «наградить мужчину, отдавъ должную справедливость наружной жестокости, тупости, холодности чувства»; а впечатлительная дѣвушка воспринимала его мысли, увлеклась его краснорѣчіемъ. Въ такой атмосферѣ, мечтательной и поэтической, жили профессоръ и его ученица; время летѣло быстро, лѣто приближалось къ концу—«угаръ» любви охватывалъ обоихъ,—и когда въ августѣ Надеждинъ, уѣзжая на ревизію провинціальныхъ учебныхъ заведеній, долженъ былъ покинуть Воскресенское—Елисавета Васильевна трогательно «благословила» его на дорогу Ламартиномъ и настойчиво просила не ѣздить поздно по глухимъ мѣстамъ и не подвергать риску жизнь и здоровье.

Въ письмахъ въ видѣ дневника, предназначенныхъ для Кобылиной, отчетливо отразились колебанія и перемѣны душевнаго настроенія Надеждина въ теченіе «визитаціи» <sup>1)</sup>. Разлука вызвала самоуглубленіе и болѣе трезвое отношеніе къ дѣйствительности; при частыхъ и долгихъ переѣздахъ изъ одного города въ другой можно было «перебирать мысленно» совершившіеся факты; «много было думано и передумано, чувствовано и перечувствовано». Всѣ мысли были прикованы къ Москвѣ, гдѣ «осталось все», «чѣмъ оцвѣтляется туманный призракъ ничтожнаго существованія»; каждый слухъ, каждая вѣсть о Москвѣ заставляли трепетать сердце. Становилось ясно, что прежній скептицизмъ, «мертвое, убійственное равнодушіе» поколеблены; «что на душѣ не совсѣмъ мрачно—не прежняя глухая полночь, гдѣ, бывало, хоть глазъ уколи»; «рыбья кровь» начинала «волноваться», «сердце удивительно какъ расшевелилось», «перебѣгало безпре-

---

<sup>1)</sup> Лишь *немногія* мѣста изъ дневниковъ Надеждина, которые мы цитируемъ, были напечатаны въ *Русскомъ Архивѣ* 1885 г., № 8, стр. 573—583.—Ср. *Журналъ Рязанской архивной комиссіи* отъ 30-го марта 1885 г.

станно вверхъ и внизъ, по лѣствицѣ разнообразныхъ ощущеній» «какимъ-то непримѣтнымъ движеніемъ, подобнымъ колебанію ртути въ барометрѣ», который «поднимался очень высоко», — «грудь была просторнѣе, душѣ—свѣтлѣе». Надеждинъ сознавалъ, что «натура, дѣля его скудельный сосудъ изъ черствой глины, не забыла подбросить въ него чувства»; близъ Алексина онъ «вышелъ изъ коляски, сбѣжалъ съ берега, припалъ къ рѣкѣ», «напился и умылся». «Ахъ! моя добрая, моя родная Ока! Она попрежнему чиста, свѣтла, прозрачна! Она все та же, какъ была въ то время, когда я, бывало, лежалъ на берегу ея, въ дѣтской счастливой безпечности, подобно струямъ ея чистъ, свѣтелъ и прозраченъ!.. Если бѣ волны ея имѣли сознаніе и память, то какъ удивилась бы она, отразивъ въ себѣ нынѣ лицо мое? Она бѣ не узнала меня; она бѣ плеснула въ меня съ негодованіемъ, какъ въ дерзкаго незнакомца, возмутившаго незваннымъ приходомъ ея спокойное теченіе! Или, правда, нѣтъ! Я напрасно безпокоюсь! Это не тѣ волны, которыя видѣли меня прежде, во время оно... Тѣхъ давно уже нѣтъ. Онѣ смѣшались съ Каспійскимъ моремъ и теперь, можетъ быть, стонуть, разбиваясь объ утесистые берега его, или глохнуть, запертыя въ подводныхъ пещерахъ. Не одному же мнѣ суждена эта злосчастная доля... Въ природѣ все живетъ и гибнетъ... Но, можетъ быть, эти волны на пути своемъ были перехвачены лучами солнца и газовой дымкой паровъ вознеслись къ небесамъ... можетъ быть, оттуда онѣ возвратились снова на землю жемчужными каплями росы и освѣжили своею благодатною прохладою пышную красоту гордой розы, дѣвственную прелесть скромной лилии... Въ природѣ все гибнетъ и оживаетъ снова... Будетъ ли это со мною?»... Перебои чувства препятствовали самоанализу; на мѣсто мысли являлась греза; сперва одна, потомъ другая.. Было отрадно возстановлять въ своей памяти черты милаго лица, мечтать о счастья; будничная сценка изъ мѣщанской жизни, близъ Нечаева, идеализовалась, казалась, «по крайней мѣрѣ, издали» «семейственною картиною», «достойною русскаго Августа Лафонтена»; попавшаяся на глаза, написанная на окошкѣ постоялаго двора въ Ефремовѣ фраза: «Qu'il est doux de revoir sa bien-aimée après longs mois de l'absence! quoiqu' épouse de l'autre, malgré mille obstacles de te posséder, mon amour effréné trouvera les moyens de...»—«пришлась кстати къ его чувствованіямъ», и онъ «благоговѣнно, съ самою дипломатическою точностью, переписалъ ее» въ свою книжку... Дѣйствительность часто смѣ-

шивается съ иллюзіями; «душа находится» гдѣ-то «далеко отъ тѣла»; настоящее скрещивается съ прошедшимъ; жизнь переплетается со снами, у которыхъ есть своя «азбука», достойная изученія. Когда семья зрителя одоевскаго училища Воейкова вечеромъ провожала уѣзжавшаго Надеждина,—послѣдній, подѣ влияніемъ окружавшей его сельской природы, вдругъ вообразилъ себя въ Воскресенскомъ. «Садясь въ карету, я оглянулся назадъ, чтобы проститься съ дамами», а «сумракъ, въ которомъ онѣ скрывались, довершалъ странное обольщеніе, въ которомъ я находился... я прощался—пишетъ Надеждинъ Кобылиной—съ вами и маменькой (Маріей Ивановной)». Любовныя грезы развивались въ стилѣ Жуковскаго...

Но скептицизмъ, свойственный сильному уму человѣка иной эпохи, не сдавался быстро; онъ предъявлялъ свои протесты. Фантазія легко слабѣетъ, твердилъ внутренній голосъ; мечты легко разсѣиваются, и ихъ нельзя потомъ «возобновить» съ прежней «свѣжестью и полнотою»; «всѣ радости такъ коварны, такъ вѣроломны», и «горе тому, кто съ увѣренностью говоритъ себѣ: «я буду счастливъ!» Это «буду» такъ рѣдко сбывается. Невозможно сочувствовать и тому, «кто съ восхищеніемъ повторяетъ самъ о себѣ: «ахъ! какъ я счастливъ!»; въ такомъ случаѣ надо «мысленно приговаривать: «Господи! продли его заблужденіе!» Гораздо лучше «наслаждаться грустью, чѣмъ радостью», такъ какъ «грусть—подруга вѣрная, неизмѣнная». «Грустить значить сознаться, что для меня *была* счастливая минута, которой теперь нѣтъ: а это не есть ли единственное блаженство, намъ дозволенное?» «Только бывое принадлежитъ намъ, составляетъ наше вѣчное владѣніе, нашу кровную собственность», и вполне естественно состояніе того, кто «извѣрился въ будущемъ», «ни о чемъ не можетъ думать, ничего не можетъ предположить *безусловно*»... И вотъ жизнь наша... жизнь въ истиннѣйшемъ ея значеніи! Это не что иное, какъ безпрестанная *перемѣна*... *Перемѣна*? Слово это ужасно звучитъ «для сердца, созданнаго для вѣчности, жаждущаго вѣчности»...

И снова жажда вѣры, жажда счастья начинала заглушать протесты скептицизма. «Какъ? Неужели нѣтъ возможности окочать для себя эту безпрестанную измѣняемость, этотъ волнующійся потокъ, черезъ который, по выраженію одного древняго скептика-философа, два раза перейти невозможно?.. Черная мысль мелькнула въ душѣ моей... Въ природѣ бываетъ пора, когда дви-

женіе, составляющее ея жизнь, оковывается — оковывается надолго... Это пора зимняго оцѣпенѣнія... Неужели и душѣ нашей только въ зимнюю, лютую пору можно ожидать успокоенія? Неужели одно только состояніе, одно только чувство можетъ быть для насъ прочно, неизмѣнно — чувство холоднаго, безотраднато отчаянія. Да! барометръ останавливается недвижимо тогда лишь, когда ртуть замерзаетъ... Но нѣтъ! нѣтъ!.. Я чувствую себя расположеннымъ вѣрить... Прочь глупая метафизика, разочарывающая прелесть жизни своими черствыми, холодными, костлявыми понятіями! Пусть жизнь наша останется тѣмъ, чѣмъ она есть! пусть сущность ея будутъ составлять движеніе, колебаніе, *перемѣны!* Съ этимъ словомъ можно и должно примириться... Развѣ море — этотъ великій символъ вѣчности въ природѣ — не колышется безпрестанно? развѣ нѣтъ въ немъ ежедневнаго прилива и отлива? И между тѣмъ оно всегда одно и то же! Не вариаци ли составляютъ прелесть, очарованіе музыки? Лишь бы только одна тема, одинъ неизмѣнный мотивъ господствовалъ въ нихъ и управлялъ ихъ игрою! Итакъ пусть душа моя волнуется, пусть играетъ, пусть плещетъ своими чувствованіями! Только, чтобы солнце, золотящее ихъ, не затмевалось... Только, чтобы вихрь, сынъ тучъ, не набѣгалъ на нихъ и не разбивалъ лучезарнаго, животворящаго лика, отражающагося въ каждой ихъ каплѣ!»

Въ Надеждинѣ происходила перемѣна... «Не измѣнилась душа», писалъ онъ: «но измѣнились ея отношенія къ предметамъ прежней любви—измѣнилась и любовь ея!» При вѣздѣ въ Рязанскую губернію онъ не испыталъ прежней радости; напротивъ, былъ спокоенъ. «Рубежь родной стороны» не вызвалъ, какъ въ прежніе годы, «біенія сердца». Это поразило Надеждина, и онъ «постигъ тогда, что любовь истинная, любовь вѣчная можетъ быть не къ вещи внѣшней, матеріальной, бездушной, а къ ея внутреннему смыслу, къ ея идеѣ, къ воспоминаніямъ, съ нею сопряженнымъ, къ надеждамъ, ею возбуждаемымъ»... «Тогда въ моей родинѣ», размышлялъ онъ: «заключалось для меня *все* такъ, какъ для младенца все заключается въ его колыбели... Кто меня любилъ, кромѣ родныхъ моихъ? Кого и я могъ любить, кромѣ ихъ? И я долго жилъ этою младенческою, этою инстинктуальною, этою первою любовью каждаго человѣка... А теперь... Неужели сбывается надо мной высокое божественное изреченіе нашей религіи, возвѣщающее каждому изъ насъ срокъ и пору, когда должно

«оставить отца своего и мать?» «Но холодная дрожь пробѣгаетъ по моимъ жиламъ—но если... если я, разлюбивъ все, что любилъ доселѣ, не «прилѣплюсь» ни къ чему опустѣвшей душою моею?.. Если... боюсь смотрѣть далѣе въ будущность... Мнѣ грустно, что первый листокъ, записанный мной въ предѣлахъ родины, навѣялъ мнѣ сумракъ на душу»...<sup>1)</sup>

Въ такомъ настроеніи вернулся обратно Надеждинъ по окончаніи «визитаціи», а въ концѣ сентября или въ началѣ октября онъ уже переселился въ московскій домъ Кобылиныхъ.

Начались занятія; сердечное очарованіе бодрило и порождало новые духовные интересы. Снова жизнь подъ однимъ кровомъ, снова частыя свиданія съ дорогимъ лицомъ: идиллія Воскресенскаго была перенесена въ Первопрестольную.

Въ это время, какъ бы обручаясь съ Надеждинымъ, Елисавета Васильевна подарила ему свое золотое кольцо... Но блаженство длилось недолго. «Какой-то злой духъ позавидовалъ небесному счастью и возмущилъ его своимъ нечистымъ, смертоноснымъ дыханіемъ». Прекрасный «Эдемъ», въ которомъ жили влюбленные, сталъ разрушаться... Чувство учителя и влеченіе къ нему ученицы, а также эпизодъ съ кольцомъ не остались неизвѣстными родителямъ Елисаветы Васильевны, которые отнеслись къ этому весьма неблагоприятно: возможные послѣдствія казались нежелательными. «*Mésalliance*» былъ слишкомъ очевиденъ: попovichъ и семинаристъ, хотя бы и достигшій профессорской кеедры, былъ не пара молодой, богатой и знатной дѣвушкѣ, которая могла себѣ составить гораздо лучшую, съ точки зрѣнія свѣта, партію. Въ разговорахъ съ Надеждинымъ Марія Ивановна не разъ зондировала почву и старалась вызвать его на откровенность: она разсуждала о женитьбѣ, о В. С. Аксаковой, которую умышленно называла его невѣстой<sup>2)</sup>, и, слыша отъ своего собесѣдника, что онъ вступать въ бракъ не намѣренъ, увѣряла его, что онъ еще можетъ влюбиться, и съ интересомъ разспрашивала, «какую бы желалъ онъ имѣть жену: тихонькую или съ сильной душою». вмѣстѣ съ тѣмъ, она давала понять Надеждину, насколько неудобно сближеніе ея дочери съ его семействомъ:

---

<sup>1)</sup> Дневникъ, 1834, 16—31 августа; 1835, 19, 23 марта.

<sup>2)</sup> Жена С. Т. Аксакова, повидимому, была не прочь породниться съ Надеждинымъ.

необразованные люди должны быть въ тягость развитой и по-свѣтски воспитанной Елисаветѣ Васильевнѣ <sup>1)</sup>).

Рѣчи Маріи Ивановны тревожили Надеждина. Онъ сознавалъ, что находится въ подозрѣніи, что за нимъ установленъ тайный надзоръ. Его безпокойство усилилось, когда и Елисавета Васильевна начала жаловаться на свое непріятное положеніе. Любовь оказалась «тяжелой, свинцовой гирей», которая «давила» и не давала дышать свободно. У Надеждина развивалась болѣзненная мнительность: при всякой встрѣчѣ съ членами семьи Кобылиныхъ, ему казалось, что на него смотрятъ какъ-то особенно, что его тайна *всѣмъ* извѣстна; болѣе всего боялся онъ за судьбу своихъ писемъ, въ которыхъ раскрывалъ свою душу Елисаветѣ Васильевнѣ. «Ради Бога», писалъ онъ ей: «отдай мои письма, или я умру отъ безпокойства; отдай ихъ мнѣ, — я сберегу для тебя... Вотъ планъ моего будущаго поведенія, сколько я могъ объяснить его себѣ. Я буду съ тобою по наружности совершенно холоденъ, холоденъ до принужденности. Иначе и невозможно, сколько я ни старался казаться естественнымъ. Ты оставайся по-прежнему съ маменькой, только будь со мной осторожнѣе. Нельзя быть со мною наединѣ; не выдумывай никакихъ средствъ вызвать меня внизъ <sup>2)</sup>. Когда можно, я самъ сойду. Больше всего берегись, не пиши ко мнѣ, кромѣ самыхъ важныхъ случаевъ, и тогда сама отдай записку. Но ни въ книгѣ, ни въ чемъ другомъ, ради Бога! Я не довѣряю никому, кромѣ Ванюши, который, кажется, больше всѣхъ любитъ меня и тебя» <sup>3)</sup>).

Когда Надеждинъ писалъ приведенныя строки, въ московскомъ

---

<sup>1)</sup> На самомъ дѣлѣ Елисавета Васильевна не тяготилась родными Надеждина. Вотъ отрывокъ изъ его письма отъ 14 (?) февраля 1835 г.: «Благодарю тебя со слезами, ангелъ мой, за любовь твою къ моимъ роднымъ, къ моимъ добрымъ роднымъ... Да! мнѣ ихъ жалко... Особенно отца, который весь живетъ во мнѣ, котораго я составляю гордость и блаженство. Но Богъ не оставитъ меня... и старикъ будетъ счастливъ мною и тобою. Ты его полюбишь, когда узнаешь... О! онъ человѣкъ необыкновенный... Если бъ онъ имѣлъ образованіе — гдѣ бы мнѣ до него! Онъ въ тысячу разъ выше меня всѣмъ... это я говорю тебѣ безъ всякаго пристрастія... Мать у меня простая деревенская женщина; къ ней ты должна будешь имѣть снисхожденіе... А отецъ мой не заставитъ тебя краснѣть, — не постыдитъ тебя. Онъ очень уменъ и, съ сѣдыми волосами, пылокъ, какъ Этна».

<sup>2)</sup> Комнаты Надеждина находились въ верхнемъ этажѣ дома Кобылиныхъ.

<sup>3)</sup> Письмо, 1835, январь.



обществѣ уже стали распространяться «глупые толки» объ его пребываніи у Сухова-Кобылиныхъ. Нѣкоторые изъ знакомыхъ подозрѣвали, не влюбленъ ли онъ въ Марію Ивановну; другіе дѣлали довольно прозрачныя намеки на его отношенія къ Душенькѣ и Елисаветѣ Васильевнѣ. Приверженцы Кобылиныхъ утверждали, что бѣдный профессоръ ищетъ богатой невѣсты; сторонники Надеждина высказывали опасеніе, какъ бы будущіе родственники не «надули» его... Эти толки не сразу дошли до главнаго ихъ виновника, который былъ весьма смущенъ соответствующими разъясненіями «добраго» С. Т. Аксакова, вполне понимавшаго положеніе своего друга. «Бѣлинскій твой», говорилъ Сергѣй Тимоѣевичъ: «недавно открылъ за тайну Константину, подъ страшною клятвою никому не сказывать, что у васъ въ домѣ происходятъ важныя дѣла, что у васъ перехвачена переписка, что она любить тебя, а ты ее»... Надеждинъ «задрожалъ и заплакалъ». «Что таится?» вскричалъ онъ невольно: «Тутъ много правды... Все правда, кромѣ переписки»,—прибавилъ онъ, спохватившись.—«Я догадывался объ этомъ и прежде», отвѣчалъ Аксаковъ: «только не хотѣлъ вынуждать у тебя довѣренности»...—«Какъ же быть теперь?» продолжалъ Надеждинъ: «Вы видите, что здѣсь я подвергаюсь наименьшей опасности... Она все для меня, и эти несчастныя слухи всего болѣе касаются до ней»... Аксаковъ «успокаивалъ его, обѣщалъ ѣхать самъ къ Бѣлинскому, внушить ему, чтобы онъ не распускалъ далѣе подобныхъ слуховъ», предложилъ «предувѣдомить» общихъ знакомыхъ о своей просьбѣ, чтобы Надеждинъ переѣхалъ къ нему, о колебаніи» послѣдняго; наконецъ, онъ «далъ священнѣйшую клятву скрыть все это—даже отъ жены своей». Аксаковъ полагалъ, что привязанность Елисаветы Васильевны должна отличаться постоянствомъ, но что «въ свѣтѣ Надеждинъ непременно будетъ провозглашенъ оболъстителемъ; что всѣ его сношенія съ Кобылиными припишутся расчету»; онъ «одобрилъ намѣреніе» своего друга «ничего не брать» за любимой дѣвушкой, если бракъ состоится, и видѣлъ въ этомъ «единственный способъ спасти честь отъ нареканія» <sup>1)</sup>).

Людское злорѣчіе безпощадно: правые и виноватыя одинаково

---

<sup>1)</sup> Письма, 1835, февраль—мартъ; Дневникъ, 1835, 19 марта.—«Я скорѣе соглашусь разбойничать на большой дорогѣ, чтобы промыслить кусокъ хлѣба, чѣмъ взять отъ нихъ (Кобылиныхъ) полушку», говорилъ Надеждинъ.

становятся его жертвами, думалъ Надеждинъ. Мысль, что «доброе имя» Елисаветы Васильевны «подвергается ужаснѣйшей опасности», приводила его въ содроганіе, и онъ былъ согласенъ съ радостью «отдать послѣднюю каплю крови», чтобы предотвратить это бѣдствіе. Любовь къ Елисаветѣ Васильевнѣ брала верхъ надъ всѣми другими чувствами Надеждина; даже страстное влеченіе къ наукѣ было принесено ей въ жертву. Надеждинъ понималъ, что онъ долженъ «выслужить Елисавету Васильевну, какъ Іаковъ Рахиль, египетскою работою», и былъ готовъ «все сдѣлать, бить на все», «лишь бы она была его спутницей, его ангеломъ утѣшителемъ». Профессура не давала ни хорошихъ матеріальныхъ средствъ, ни положенія въ свѣтѣ: и въ томъ, и въ другомъ до сихъ поръ онъ не нуждался, будучи чуждъ корысти и честолюбія. Но «наружный блескъ» и деньги были необходимы для Кобылиныхъ, и онъ сталъ домогаться того, чѣмъ пренебрегалъ прежде. Онъ задумалъ выйти изъ числа московскихъ профессоровъ и уѣхать на полгода за границу <sup>1)</sup>. Путешествіе поможетъ ему сдѣлать карьеру. «Если онъ возвратится изъ чужихъ краевъ, проклятая ржавчина профессорства совершенно слѣзетъ съ него, достоинства его возвысятся на сто процентовъ, его примутъ съ распростертыми объятіями всюду... Приѣхавъ, онъ пойдетъ по министерству внутреннихъ дѣлъ». Дядьковскій одобрилъ его проектъ; только С. Т. Аксаковъ отговаривалъ. «Вице-губернаторство можно получить скоро», толковалъ онъ: «Но для чего? Жалованья только 6000 руб., и надо поддерживать свое званіе, проживать вдвое больше... Сверхъ того, получить мѣсто вице-губернатора легко, да удержать его трудно. Надо, говорятъ, давать взятки въ Петербургъ, и слѣдовательно брать самому... Иначе придерутся и отставятъ. Вѣдь все стоитъ на воровствѣ, на деньгахъ». Въ рѣчахъ Аксакова было много справедливаго.. но иного пути для достиженія намѣченной цѣли Надеждинъ не видѣлъ; надо было рѣшиться. Въ среду, 6 или 13 февраля, жребій былъ брошенъ. Въ этотъ день поутру, ровно въ 10 часовъ, Надеждинъ помолился Богу, поцѣловалъ «изображенія» родителей, «прося у нихъ прощенія и благословенія», потомъ приложился къ кресту, который носилъ на груди, «прижалъ къ устамъ волосы» Елисаветы Васильевны,—и написалъ просьбу объ отставкѣ. На-

---

<sup>1)</sup> Деньги на поѣздку предлагалъ Надеждину займы откупщикъ—рызачъ Кузинъ, взявшійся увѣдомить обо всемъ отца своего земляка.

писавъ ее, онъ почувствовалъ, что «умеръ для всего, что было»<sup>1)</sup>. Слеза невольно выкатилась изъ глазъ его, когда онъ думалъ о своихъ «старикахъ». «Какой ударъ для нихъ! Они такъ его любятъ!»

Отставка Надеждина вызвала «всеобщее изумленіе». Члены университетскаго совѣта «терялись въ догадкахъ, искали объясненія», не понимая, почему ихъ коллега пожелалъ прекратить столь успѣшно начатую профессорскую дѣятельность и почему онъ не подождалъ конца учебнаго года, а подалъ просьбу передъ масленицей. *Поспѣшность*, съ которой дѣйствовалъ Надеждинъ, конечно, могла показаться странной не только стороннимъ лицамъ, но даже пріятелямъ, посвященнымъ въ его планы: она была вызвана особыми обстоятельствами, наличность которыхъ Надеждинъ былъ вынужденъ отрицать въ бесѣдѣ съ Аксаковымъ.

Смутное предчувствіе грозящей опасности, томившее Надеждина съ января 1835 года, не обмануло его. То, чего онъ «такъ всегда боялся», сбылось: его письма были перехвачены Маріей Ивановной, воспользовавшейся наивностью и довѣрчивостью маленькаго Ванюши, которому суждено было сдѣлаться «первой причиной несчастья» сестры и Надеждина. Въ теченіе нѣкотораго времени послѣдній не зналъ о катастрофѣ. Рѣшивъ уйти изъ университета, онъ, видимо, не намѣревался официально заявить объ этомъ зимою: онъ хотѣлъ предварительно узнать, какъ отнесется къ его отставкѣ Уваровъ. На совѣщаніи у Аксакова былъ разработанъ планъ дѣйствій: Погодину, собиравшемуся ѣхать въ Петербургъ по своимъ дѣламъ, было поручено сообщить министру о болѣзни Надеждина. Дальнѣйшія дѣйствія должны были быть согласованы съ отвѣтомъ Уварова... Но предположенія Надеждина были разрушены.

Однажды утромъ, собираясь въ совѣтъ, Надеждинъ «услышалъ легкой стукъ у дверей и голосъ» Маріи Ивановны. «Сердце у него упало». Она вошла въ его помѣщеніе, заплакала и ска-

---

<sup>1)</sup> Приведенныя слова Надеждина, въ связи съ изложенными нами обстоятельствами, совершенно подрываютъ значеніе ни на чемъ не основанныхъ, повторенныхъ съ чужого голоса обвиненій нашего писателя въ томъ, что онъ, будучи расчетливымъ карьеристомъ, не питалъ любви къ профессурѣ — своему призванію и, «безъ малѣйшаго сожалѣнія, мѣнялъ одну область знанія и дѣятельности на другую». — Ср. разсужденія г. Лемке (Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 389, 393), использовавшаго примѣчанія къ I т. Полнаго собранія сочиненій В. Г. Бѣлинскаго (Спб., 1900, стр. 407 и др.).

зала: «Николай Ивановичъ, я васъ очень любила; я знаю, что Лизанька къ вамъ пишетъ... Отдайте мнѣ ея письма!» Надеждинъ «стоялъ, какъ шальной... потомъ бросился въ кабинетъ... черезъ минуту воротился опять» и началъ отвѣчать весьма несвязно. Подъ вліяніемъ охватившаго его волненія, онъ не отдавалъ отчета въ своихъ словахъ, и твердилъ только одно, что онъ «ѣдетъ, ѣдетъ путешествовать». Марія Ивановна стала «говорить о неприличіи, которое онъ позволилъ себѣ, о своей къ нему довѣренности, которая такъ жестоко была обманута, о безчестіи, которое онъ нанесъ всему семейству» Кобылиныхъ. «Тутъ, несмотря на ея кроткій тонъ, кровь бросилась» Надеждину «въ голову». Онъ началъ указывать на «безкорыстіе, безнадежность своего чувства», «сказалъ, что онъ за все платитъ своимъ существованіемъ», что онъ «ѣдетъ погубить себя, сломать себѣ голову, или»... «Что жъ вы хотите увезти ее?» спросила его собесѣдница.—«Нѣтъ!» отвѣчалъ Надеждинъ: «она сама пойдетъ со мной!» Тогда Марія Ивановна сочла нужнымъ перечислить всѣ препятствія, которыя дѣлаютъ невозможнымъ соединеніе влюбленныхъ, упрекала Надеждина за то, что онъ не искалъ руки ея дочери обыкновеннымъ порядкомъ, не сдѣлалъ предложенія,—и, наконецъ, ушла, обѣщавъ навѣстить его еще разъ.

Такъ «кончилось первое свиданіе». Надеждинъ «помнилъ его, но помнилъ какъ въ туманѣ, помнилъ какъ ужасный сонъ, отъ котораго остались только обломки въ воспоминаніи». «Но смыслъ его канулъ растопленнымъ свинцомъ въ его душу». Полубезсознательно сидѣлъ онъ въ совѣтѣ, и, «по окончаніи засѣданія, вставъ изъ-за стола, сталъ молиться Богу, и тѣмъ возбудилъ всеобщій смѣхъ такому странному разсѣянію»...

На слѣдующій день утромъ къ Надеждину было предъявлено категорическое требованіе прервать всѣ сношенія съ Елисаветой Васильевной. Онъ обѣщалъ не отвѣчать на ея письма <sup>1)</sup> и сжечь всѣ ея дневники и записки. «Заключеніе этого второго разговора было ужасно»; съ Надеждинымъ «сдѣлалось дурно».

Къ вечеру онъ былъ *тайно* увѣдомленъ о нежелательности уничтоженія *всѣхъ* документовъ <sup>2)</sup>. Поэтому, когда Марія Ива-

1) Вслѣдствіе рокового стеченія обстоятельствъ и по желанію Елисаветы Васильевны обѣщаніе было нарушено.

2) Въ запискѣ, писанной Елисаветой Васильевной, заключалась *просьба не отдавать всего*.

новна пришла къ нему, Надеждинъ бросилъ въ топившуюся печку *большую часть* писемъ ея дочери, не давъ прочесть ни одного и показавъ только издали почеркъ <sup>1)</sup>. «Все ли это?» спросила она съ непоколебимою холодностію: «Подумайте, что вы можете дорого заплатить, если что-нибудь скроете!»—«Какъ?» возразилъ онъ.—«Да», отвѣчала она: «у этой дуры есть отецъ, братъ, дядя; они могутъ посадить вамъ пулю въ лобъ!»—«Я этого не боюсь», отвѣчалъ онъ: «Пусть стрѣляютъ, и застрѣлятъ меня. Жизнь не имѣла для меня никогда цѣны».—«Извините», сказала она: «у насъ нѣтъ убійцъ. Васъ заставляютъ стрѣляться!»—«Никогда», отвѣчалъ онъ: «У меня другія понятія о чести—понятія плебейскія. Ни въ брата, тѣмъ болѣе въ сына или въ мужа нашего я стрѣлять никогда не буду. «Это было сказано саркастически и еще болѣе увеличило холодность» бесѣдующихъ. «Что жъ мнѣ теперь дѣлать?» спросилъ онъ: «Приказывайте, я въ вашей волѣ». Отвѣта на вопросъ не послѣдовало. «Не лучше ли будетъ», сказалъ Надеждинъ: «продолжать все попрежнему? Я буду ходить внизъ».—«Но вы будете ее видѣть,—не говорите съ ней!»—«Это невозможно», отвѣчалъ онъ: «Напротивъ, я буду говорить съ ней, и постараюсь ее успокоить».—Марія Ивановна «не согласилась на эту мѣру».—«Знаютъ ли дѣти все происшедшее?» спросилъ онъ.—«Знаютъ!» «Ну! такъ все кончено!» сказалъ онъ: «Мое положеніе будетъ слишкомъ странно. Какъ же я буду съ ними!»... Марія Ивановна «ничего не сказала», и «ушла, не простясь съ нимъ»...

«Такъ начался новый, адскій періодъ жизни» Надеждина. Онъ «не могъ ходить внизъ», не смѣлъ ни за кѣмъ послать, боялся встрѣтить кого-либо. «Съ нимъ было, какъ съ Шильонскимъ узникомъ въ эпоху его безумія». «Всю недѣлю онъ провелъ Богъ вѣсть какъ. Игралъ въ карты съ утра до вечера, игралъ въ большую игру, чтобъ пробудить въ себѣ чувство къ вѣшнимъ впечатлѣніямъ,—и вмѣсто того, чтобъ проигратъся въ пухъ, бездну выигралъ»... «Среди недѣли онъ образумился». «Жить въ домѣ Кобылиныхъ нельзя... душно и странно, въ такомъ положеніи... жить—и не видѣть никого... Отъ однихъ своихъ людей догадокъ и слуховъ не оберешься... Надо съѣхать,—но какъ?» Ходъ этихъ размышленій былъ прерванъ пись-

---

<sup>1)</sup> Часть не уничтоженныхъ писемъ должна находиться у И. А. Шляпкина.

момъ Елисаветы Васильевны. Напуганная угрозами матери, разлученная съ Надеждинымъ, она совершенно растерялась и, не принявъ въ расчетъ великаго поста, сгоряча предлагала ему обвѣнчаться немедленно.

Тогда Надеждину пришлось нарушить данное слово—вновь завязать порванные сношенія. Но возстановить сообщеніе было нелегко: необходимо было прибѣгнуть къ содѣйствію прислуги, которая переносила бы письма въ книгахъ, французскихъ и нѣмецкихъ журналахъ. Къ счастью, одна преданная Надеждину служанка Кобылиныхъ взялась исполнять его порученія. Вѣроятно, черезъ нее Надеждинъ послалъ отвѣтъ на сдѣланное ему предложеніе. «Невозможно, милый другъ», писалъ онъ: «Теперь постъ, и продолжится цѣлыя пять недѣль. Въ это время ни одинъ священникъ ни за что вѣнчать не будетъ. А что жъ мы будемъ дѣлать? Куда дѣнемся? Насъ найдутъ, разлучатъ силою, разбросать въ разныя стороны: тебя—въ монастырь, меня—въ крѣпость... И мы не будемъ имѣть никакого оправданія,—мы не будемъ вѣнчаны. Верхъ останется на ихъ сторонѣ... О мой другъ! душа моя разрывается, чаша бѣдствій нашихъ переполнилась,—но что жъ дѣлать? Умереть всегда есть время, но, можетъ быть, еще и не все погибло. Чего ты боишься за меня? Успокойся, милая! Это однѣ угрозы! Они (Кобылины) стращаютъ тебя, и только! Можетъ ли быть въ нихъ такое звѣрство? Можетъ ли мать твоя, при всей своей ярости, допустить сына своего или брата сдѣлаться гнуснымъ убійцею? Нѣтъ, это невозможно! Я спокоенъ въ этомъ отношеніи; успокойся и ты! Убить насъ можетъ развѣ одно горе... разлука»...

Разлука, хотя и временная, была однако необходима. Надеждинъ не могъ «допустить, чтобы какой-нибудь негодяй, чтобы какая-нибудь пустозвонка произносили» дорогое имя «съ оскорбительной клеветою», и все больше укрѣплялся въ своемъ рѣшеніи подѣ приличнымъ предлогомъ съѣхать отъ Кобылиныхъ. «И тутъ взшло ему въ голову» отправиться въ Петербургъ, «самому просить министра». Онъ «сообщилъ объ этомъ своимъ знакомымъ»; «они долго отсовѣтовывали, говоря, что это излишне; наконецъ, согласились».

Надеждинъ живо представлялъ себѣ предстоящее объясненіе съ Уваровымъ, поѣздку за границу и переходъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ. «Явлюсь къ нашему министру», разсуждалъ онъ: «скажу ему просто, что болѣзнь заставляетъ меня ѣхать въ

чужіе края и потому просить отставки отъ университета, но что я не буду ѣздить даромъ, что охотно исполню всякое порученіе, которое будетъ угодно ему возложить на меня. Легко статься можетъ, что онъ предложитъ мнѣ остаться въ службѣ по министерству и даже дастъ мнѣ денегъ. Я однако не возьму, если онъ дастъ мнѣ какую-нибудь бездѣлку, а лучше поѣду даромъ, но въ службѣ, пожалуй, останусь... Стало, годъ мой не пропадетъ... Возвратясь, я буду при мѣстѣ, которое мнѣ очень легко будетъ перемѣнить... Положимъ, что онъ меня не оставитъ, а просто уволитъ... Нужды нѣтъ! Я ѣду, истрачиваю восемь или десять тысячъ рублей... так!.. У меня почти ничего не остается... что нужды? Останется сердце, чтобы любить, и голова, чтобы работать. Здоровье мое укрѣпится, репутація удвоится. Я приѣду прямо въ Петербургъ, и явлюсь къ министру внутреннихъ дѣлъ, попрошу у него дѣла, работы,—покажу ему свои способности и дѣятельность... 2000 р. жалованья есть самое меньшее, что могутъ мнѣ положить на первый разъ въ такомъ случаѣ. Глаголевъ, нашъ докторъ <sup>1)</sup>, воротясь изъ чужихъ краевъ, сдѣланъ прямо начальникомъ отдѣленія, и теперь директоромъ какого-то комитета. А это просто дуракъ, по увѣренію тѣхъ, которые его знаютъ»...

Куда же хотѣлъ ѣхать Надеждинъ? Онъ рассчитывалъ посѣтить Италію, Францію и Англію <sup>2)</sup>, а лечиться ему рекомендовали въ Швейцаріи, возлѣ Чортова моста, въ Люэшскихъ баняхъ. «Это тѣ самыя», писалъ Надеждинъ Елисаветѣ Васильевнѣ: «которые ты переводила въ *Телескопъ*. Странное стеченіе [обстоятельствъ], не правда ли?» <sup>3)</sup>.

Вѣсть объ отъѣздѣ Надеждина дошла до Маріи Ивановны. Она вновь пришла къ нему, принесла его табакерку, которую отобрала у дочери, и потребовала возвращенія кольца послѣдней. Надеждинъ не согласился исполнить требованіе; онъ заявилъ, что уже истребилъ все, что можетъ компрометировать Кобылиныхъ

<sup>1)</sup> А. Г. Глаголевъ былъ человѣкъ со связями и пользовался расположеніемъ бывшаго министра, князя К. А. Ливена.—См. *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 5—7.

<sup>2)</sup> Съѣздить въ Англію Надеждину не удалось.

<sup>3)</sup> Переводъ «Путевыхъ впечатлѣній» А. Дюма («Люэшскія ванны и Чортовъ мостъ»), помѣщенныхъ первоначально въ *Revue des deux Mondes* (ср. *Телескопъ*, 1835, №№ 2—3), является такимъ образомъ первымъ литературнымъ опытомъ Евгенія Туръ.

въ случаѣ, напримѣръ его смерти. «Но кольцо знакъ вѣмой. Кто узнаеть смыслъ его, и отъ кого оно получено имъ». Надеждинъ «оставлялъ его какъ залогъ любви», и обѣщаль возвратить, если черезъ годъ ему представлено будетъ наглядное доказательство, что Елисавета Васильевна его разлюбила. Онъ сказалъ также, что «во время отлучки своей въ Петербургъ», намѣренъ перевести свое имущество изъ дома Кобылиныхъ, и спросилъ, можно ли ему будетъ проститься со всѣми членами семейства. Марія Ивановна отвѣтила отказомъ, но сама обѣщала прійти къ нему <sup>1)</sup>.

Надеждинъ сталъ дѣятельно приготовляться къ отъѣзду. «Еще въ засѣданіи университетскаго совѣта, происходившемъ 28-го февраля 1835 года, доложено было прошеніе Надеждина объ увольненіи его въ отпускъ въ Петербургъ на двадцать восемь дней по собственнымъ дѣламъ, и въ томъ же засѣданіи слушалась просьба объ увольненіи его отъ службы, причемъ представлено было свидѣтельство профессора І. Е. Дядьковскаго о томъ, что Надеждинъ, «страдающій давняго времени застарѣлою ломотною болѣзнію, не подлежащею леченію обыкновенными фармацевтическими средствами, имѣетъ нужду въ постоянномъ и продолжительномъ употребленіи натуральныхъ водъ, при содѣйствіи притомъ теплаго климата, и что безъ сихъ пособій излеченіе его болѣзни совершенно невозможно». Совѣтъ, опредѣливъ представить о просьбѣ Надеждина попечителю, счелъ своею обязанностию прибавить, что «хотя, съ своей стороны, не считаетъ себя въ правѣ удерживать кого-либо изъ чиновниковъ своихъ противъ ихъ воли въ университетѣ, однако не можетъ не изъяснить въ семъ случаѣ сожалѣнія, лишаясь достойнаго члена»; въ донесеніи же попечителю прописаны были всѣ служебныя заслуги Надеждина <sup>2)</sup>. О судьбѣ донесенія извѣстно изъ письма Е. В. Погодиной къ мужу: «Сейчасъ былъ у меня Надеждинъ; пріѣхалъ проститься; онъ будетъ въ четвергъ, т. е. 14-го марта, слѣдовательно застанетъ тебя въ Петербургѣ. Онъ просилъ тебя приготовить тамъ къ его пріѣзду, распуścić слухъ о его болѣзни, что ты, вѣроятно, уже сдѣлалъ. Надѣется, что министръ не задержитъ его, а скажетъ то же, что попечитель: «Съ Богомъ» <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Письма за февраль—мартъ 1835 г.

<sup>2)</sup> *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1880, № 1, стр. 40—41.

<sup>3)</sup> *Н. П. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина*. Спб., 1891, кн. 4, стр. 311—312.



Погодина ошиблась въ расчетѣ времени; Надеждинъ пробылъ въ Москвѣ на четыре-пять дней дольше: его задержали докучныя распоряженія относительно имущества и разныя другія дѣла.

Настроение Надеждина было подавленное. Онъ «бродилъ, какъ тѣнь»; онъ былъ «заклейменъ печатью ненависти Кобылиныхъ», былъ обреченъ на одиночество. Онъ «не зналъ, какъ вырваться изъ дома, который, бывъ прежде для него раемъ, теперь превратился въ ужаснѣйшій адъ»; и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что «этотъ адъ заключалъ въ себѣ неописанное блаженство, котораго уже долго-долго ему не дожидаться». «Темное сознаніе, что Елисавета Васильевна отъ него недалеко, что онъ живетъ въ одной съ ней атмосферѣ—это темное сознаніе пробудилось съ свирѣпствомъ фурии, когда настала часъ разлуки, такъ имъ ожидаемой въ припадкахъ безумія» <sup>1)</sup>.

11 марта состоялось трогательное прощаніе Надеждина съ горячо любимой ученицей, а черезъ день онъ имѣлъ послѣднее объясненіе съ Маріей Ивановной: чувствовалась потребность досказать недосказанное раньше и излить наболѣвшую душу. «Какъ описать тебѣ эту послѣднюю спену», рассказываетъ Надеждинъ въ дневникѣ, обращаясь къ Елисаветѣ Васильевнѣ: «Охъ! я очень любилъ, люблю и буду любить маменьку... Сначала я говорилъ съ ожесточеніемъ... Она отвѣчала мнѣ прежнимъ неизмѣннымъ тономъ, даже промолвила нѣсколько разъ, что я поступилъ съ ними *безчестно, неблагогородно*... Я не выдержалъ своей роли, я былъ сраженъ, я забылся... Не помню, чтѣ говорилъ я въ неистовствѣ; помню только, что она поднимала меня съ полу и сама рыдала... она рыдала отъ сердца. Я цѣловалъ ея руки; она ихъ не отнимала. Другъ мой! Во всемъ этомъ я вижу нѣкоторую надежду—но надежду ужасную. Ты будешь моею... но это будетъ стоить дорого, очень дорого. Маменька говорила мнѣ, чтобы я *искалъ службы*, напоминала мнѣ, что *у меня есть родные, для которыхъ я долженъ беречь себя*, повторила мнѣ, что она меня все еще любитъ, что она прощаетъ меня *во всемъ—но ни слова больше*... Я бросилъ ей письмо то, которое ты читала, съ пропусками фразъ, которыя тебѣ не нравились... Конецъ этого письма заимствованъ изъ другого, которое ты также читала... <sup>2)</sup>. Она взяла его... Это

<sup>1)</sup> Письмо отъ 11 марта 1835 г.

<sup>2)</sup> Сообщаемъ содержаніе письма въ одной изъ *первоначальныхъ* редакцій отъ 16 февраля 1835 г. «Въ прошлую среду я подалъ прошеніе о моей отставкѣ», писалъ Надеждинъ: «она принята и послѣ слѣдующей среды бу-

уже много! Уходя, она все повторяла: «Богъ съ вами! Я люблю васъ! Богъ съ вами!» Я принялъ эти слова за благословіе

детъ представлена по начальству... Итакъ, всё мои связи съ прошедшимъ кончилися; все, что было приобретено мной для будущности, въ потѣ лица, цѣною кровавыхъ трудовъ — все это уничтожилось въ одно мгновеніе... Теперь я снова возвратился въ прежнее *ничто*, съ котораго началъ бѣдное, алополучное свое существованіе. Не думайте, чтобы это пожертвованіе ничего мнѣ не стоило. Кромѣ того, что оно разрушило пріятнѣйшую мечту нѣсколькихъ лѣтъ моей жизни; мечту, къ которой я чистосердечно намѣревался привязать всю свою несчастную будущность — кромѣ того, эта внезапная перемѣна, этотъ быстрый рѣшительный переворотъ не оставляетъ мнѣ въ перспективѣ ничего, кромѣ безотраднaго мрака... Да! я не люблю ласкать себя суетными надеждами... Будущность, обнаженная теперь предо мною, не имѣетъ въ себѣ ничего утѣшительнаго, ничего обольщающаго. Куда я дѣнусь? Что изъ меня будетъ? Я не могъ развить въ себѣ стихіи честолюбія, которое своими призраками могло бъ увлечь и одушевить меня... Можетъ быть, и есть во мнѣ способности къ службѣ, но нѣтъ рѣшительно силъ на тѣ самопожертвованія, которыя необходимо сопряжены со службою успѣшною... О! вы меня знали прежде; я остаюсь все тотъ же. Мнѣ извѣстна жизнь во всей ея отвратительной наготѣ. Я знаю, что въ ней нельзя иначе двигаться впередъ, какъ ползкомъ; нельзя иначе поддерживаться, какъ подлостью и грабительствомъ. Но я до сихъ поръ не позорилъ своихъ колѣнъ, не осквернялъ своихъ рукъ. Это составляетъ мое утѣшеніе, мою гордость... Да! я гордъ, — безконечно гордъ — вы это угадали! У меня ничего нѣтъ, судьба не дала мнѣ никакихъ правъ, кромѣ права сохранять къ самому себѣ внутреннее уваженіе. Я уже много думалъ и передумалъ. Конечно, я могу выклянать (sic) себѣ почетное мѣсто, гдѣ могу христіански составить себѣ состояніе. Никто въ свѣтѣ не осудитъ меня за это; напротивъ, всякій отдастъ справедливость моимъ достоинствамъ и будетъ дивиться, будетъ хвалить отъ чистаго сердца мое умѣнье жить. Счастливые примѣры ...скихъ могли бы одушевить меня... Но повторяю, я слишкомъ гордъ, чтобы идти по слѣдамъ ихъ. Часто старался я подавить въ себѣ несчастную гордость... Иногда я воображалъ себѣ не безъ наслажденія, какъ я уставлю звѣзду въ глаза низкой толпѣ и буду любоваться ея поклонами; какъ стукну денежками, и всё благоговѣнно смирятся предо мною, позабудутъ и мое происхожденіе, и средства, которыя употребилъ я для своего возвышенія. Но говорю опять съ гордостью, это наслажденіе было минутное; я стыдился потомъ самъ себя, что могъ унизиться до подобныхъ мыслей... Далѣе Надеждинъ говорить, что ему жаль себя единственно изъ-за отца и изъ-за родныхъ, которыхъ онъ былъ «утѣшеніемъ», «единственною опорой», и «не можетъ удержаться, чтобы не очистить себя въ глазахъ» Маріи Ивановны «отъ ужаснѣйшаго подозрѣнія, которое раскасленною мѣдью жжетъ ему душу». Онъ «обманулъ ея полную, безусловную довѣренность — это правда... Но чтобы онъ имѣлъ намѣреніе *завлечь*... о, это ужасно! Нѣтъ! Онъ скажетъ ей на Страшномъ судѣ, предъ лицомъ Грознаго Судьи, что это неправда. Онъ «виноватъ передъ нею»... но есть вина и у ней. «Зачѣмъ дали вы ей это воспитаніе», съ

Когда я говорилъ ей, что меня больше всего убиваетъ мысль, что она считаетъ меня за безчестнаго человѣка, она нѣсколько разъ повторяла: «Я вамъ вѣрю, вѣрю!» Разъ я вскрикнулъ: «Ахъ, что будетъ съ *нею*? она умретъ!» Маменька только рыдала—ни слова!.. Я написалъ въ письмѣ, что считаю себя теперь свободнымъ отъ даннаго ей слова—что буду стараться видѣть тебя, не будучи видимъ тобою... Не знаю, какъ она приняла это. О кольцѣ почти вовсе не было говорено. Только она взяла съ меня слово, что я никому не отдамъ его, если отдамъ—кромя ей самой, въ собственныя руки... Это согласіе оставить въ моихъ рукахъ этотъ залогъ, котораго пѣну она знаетъ, есть опять для меня счастливое предзнаменованіе... Но я все боюсь предаваться надеждѣ».

Послѣдняя ночь въ домѣ Кобылиныхъ была проведена Надеждинымъ особенно томительно. Четырнадцатаго марта утромъ онъ «нашелъ въ печкѣ два письма» на свое имя и «положилъ туда же свою карточку, на которой написалъ нѣсколько словъ карандашомъ»; «оставить больше было нельзя». Опустѣлыя комнаты заперты; Ѳ. Л. Морозкинъ, жившій у Кобылиныхъ, проводилъ Надеждина до саней, Елисавета Васильевна благословляла его изъ окна; уѣзжающій былъ взволнованъ, со слезами на глазахъ взглянулъ на Страстной монастырь и перекрестился. До почтовой конторы, куда онъ направился изъ дома Аксаковыхъ, ему сопутствовали Сергѣй Тимофеевичъ, актеръ Щепкинъ и молодой человѣкъ Сверхковъ, слушавшій лекціи въ университетѣ; въ десять часовъ выѣхалъ длижансъ—и Надеждинъ покинулъ Москву съ грустными думами о томъ, что «принесетъ будущность,

---

отчаяніемъ заключастъ письмо Надеждинъ: «зачѣмъ обработали вы ея душу, какъ чистый драгоценный алмазъ? Зачѣмъ приучили ее чувствовать? Ужели вы—вы, женщина умная и просвѣщенная, —ужели вы не знаете, что не такъ должно воспитывать дѣвушекъ для *свѣта*? Тамъ нужны куклы, а не люди; тамъ нужна безчувственность, а не чувство; тамъ нужно безсмысліе, а не умъ!.. Вы оснастили корабль, распустили на немъ широкіе паруса—и хотите, чтобы онъ гнилъ въ этой грязной, стоячей лужѣ, которую зовутъ *свѣтлымъ*? А! вы сѣяли, и не хотите пожинать плодовъ; вы пробудили чувствованія, и хотите ихъ задушить?.. Нѣтъ! теперь это поздно! Съ вами дѣлается теперь то же, что съ неосторожными правительствами, которыя заботятся о распространеніи просвѣщенія—и потомъ вѣшаютъ просвѣщенныхъ!.. У меня не достаетъ силъ... понятія путаются. О! простите меня, простите! Я одинъ виноватъ во всемъ—но я одинъ понесу на себѣ всю тяжесть моего преступленія»...

которая раскрылась теперь передъ нимъ во всей безотраднѣйшей наготѣ». «Прошедшаго не было; оно было потоптано».

Надеждинъ прибылъ въ Петербургъ лишь черезъ пять дней; онъ «не засталъ никого изъ московскихъ», такъ какъ Погодинъ разѣхался съ нимъ въ дорогѣ. Первые впечатлѣнiя были грустныя: «Что это за жизнь? Что за городъ? И мнѣ надо будетъ жить здѣсь... Надо привыкать къ этой атмосферѣ, надо подлаживаться къ этимъ людямъ... Какъ это тяжело!» Онъ чувствовалъ себя одинокимъ «во всей силѣ этого ужаснаго слова»; онъ «былъ отброшенъ на край свѣта»; «вокругъ мрачная, безотвѣтная пустота», вокругъ—чужое: «и воздухъ, которымъ онъ дышитъ, и небо, которое темнымъ саваномъ виситъ надъ нимъ, и лица, которыя мелькаютъ въ его потухшихъ глазахъ»... Но онъ «создалъ для себя новый, особый мiръ; онъ обложился остатками погибшаго счастья... Передъ нимъ теперь все: *ея* журналъ, *ея* письма, *ея* косыночка, ножикъ, Ламартинъ», «завѣтное кольцо, залогъ вѣчнаго соединенiя»... «все, все, что освящено *ею*, *ея* прикосновенiемъ, *ея* взглядомъ»... «Съ жадностью Гарпагона онъ пересматривалъ всѣ эти сокровища, которыя отнынѣ все его богатство, все счастье... И прекрасное минувшее оживало для него въ сладкихъ воспоминанiяхъ... будущее улыбалось привѣтными надеждами»—онъ «усиливался заглушить себя», и былъ счастливъ... Но зато какъ «страшно, страшно было пробуждаться послѣ этой бесплодной пытки воображенiя и видѣть себя» опять «въ совершенномъ одиночествѣ»... Проза жизни звала къ себѣ...

Девятнадцатаго марта Надеждинъ былъ у министра, который «принялъ его на весьма короткое время», «хладнокровно спросилъ о причинахъ, по коимъ онъ оставляетъ университетъ, и прибавилъ съ тѣмъ же хладнокровiемъ, что препятствовать не будетъ». «Стало, я во всѣхъ отношенiяхъ сдѣлалъ хорошо», пишетъ Надеждинъ: «что выхожу изъ университета... Онъ меня не любитъ въ душѣ и хсть говорить, что жалѣетъ обо мнѣ, но видно по всему, что охотно разстается со мною». «Одинъ молодой чиновникъ департамента юстиции изъ нашихъ московскихъ кандидатовъ, съ которымъ я еще прошлый годъ познакомился, сообщилъ мнѣ вѣрное извѣстiе, что здѣсь о московскихъ молодыхъ профессорахъ, въ числѣ коихъ я занимаю первое мѣсто, имѣютъ весьма дурное понятiе, какъ о людяхъ *неблагонамѣренныхъ* и *опасныхъ*... Одинъ Шевыревъ, благодаря своей женитбѣ, ускользаетъ отъ этой опалы, а Погодинъ тутъ же, несмотря на свое лукавство,

хитрости и дезертирство... Такъ чортъ ихъ возьми! Поскорѣе давай Богъ ноги!..». Профессоръ—«гнуемое званіе у насъ въ Россіи... Вѣдь, тотъ же учитель, только съ латинскимъ именемъ...».

Прошенію объ отставкѣ былъ данъ надлежащій ходъ. Сначала Уваровъ хотѣлъ уволить Надеждина съ чиномъ, но потомъ выяснилось, что «чина дать нельзя, ибо государь велѣлъ остановиться представленіемъ къ чинамъ, по случаю новаго распоряженія». Надеждину было предложено «на выборъ, что онъ хочетъ: денегъ, подарка или высочайшаго благоволенія»; онъ отвѣтилъ, что «не считаетъ себя въ правѣ назначать самъ себѣ награду и предоставляетъ все благоусмотрѣнію» начальства. Являлись также опасенія, что, «вышедши въ отставку безъ чина, онъ можетъ даже потерять настоящей свой классъ»; давали совѣты продолжать службу, на что Надеждинъ отвѣчалъ категорическимъ отказомъ; наконецъ, директоръ департамента вырвалъ у него согласіе «остаться просто по министерству», обѣщая «предварительно извѣдать», «будетъ ли это угодно» министру. Вышло новое осложненіе: Уваровъ «хотѣлъ непременно, чтобы Надеждинъ остался профессоромъ, а просто къ министерству причислить» его «счелъ неудобнымъ». Последнее обстоятельство было для Надеждина «благой вѣстью въ полномъ смыслѣ... Что-то скребло у него на сердцѣ и глухо говорило, что этотъ проектъ не годится»; къ тому же ему очень хотѣлось «сбросить синюю профессорскую шкуру»: «все пятномъ меньше». Несмотря на осложненіе, дѣло довольно скоро «достигло развязки». «Я увольняюсь»,—записано въ дневникѣ 26-го марта—«завтра, можетъ быть, подпишется отставка... По особенной благосклонности, чтобы не потерялось ни минуты моей службы, будетъ предписано университету, чтобы онъ уволилъ меня, какъ скоро я потребую, а чтобы до того числа производилось мнѣ жалованье и служба моя считалась. Между тѣмъ прикажется снять съ меня секретарство и завѣдываніе минц-кабинетомъ. Сверхъ того, министръ представляетъ меня къ денежной наградѣ. Вѣроятно, дадутъ полное жалованье, 2000 р.; это годится на расходы».

Хлопоты, вызванныя намѣреніемъ выйти въ отставку, такимъ образомъ, кончались; но далеко не были закончены другія—по приисканію мѣста въ иномъ вѣдомствѣ. Для этого было необходимо имѣть знакомыхъ, завязать сношенія съ такими лицами, при поддержкѣ и содѣйствіи которыхъ можно было бы занять

постъ вице-губернатора или иной, обеспечивающій въ матеріальномъ отношеніи и создающій положеніе въ «свѣтѣ». И Надеждинъ не терялъ даромъ времени: цѣлые дни онъ проводилъ внѣ дома, то посѣщая прежнихъ коллегъ, товарищей, близкихъ ему по Москвѣ,—то приобретаая новыя связи. Онъ былъ въ духовной академіи, у ректора Виталія; затѣмъ «весь вечеръ просидѣлъ» въ семинаріи у «земляка и даже дальняго родственника» Макарія, озадачившаго его своими свѣдѣніями относительно Кобылиныхъ и рассказавшаго ему о печальной судьбѣ своего брата врача, влюбившагося въ одну богатую, знатную дѣвушку и пережившаго тяжелую сердечную драму; здѣсь же имѣлъ Надеждинъ случай сблизиться съ двумя архимандритами: ярославскимъ и рязанскимъ: «семинаристы скоро сходятся другъ съ другомъ»; у нихъ есть «какое-то франк-масонство». Это «франк-масонство» давало возможность Надеждину легко становиться на короткую ногу съ людьми свѣтскаго круга, но получившими духовное образованіе, въ родѣ члена совѣта военныхъ училищъ Фовицкаго. Познакомился онъ также съ «смертельнымъ врагомъ взятокъ», «страннымъ, но добрымъ и честнымъ» Пинскимъ, отговаривавшимъ его отъ вице-губернаторства, неразрывно якобы соединеннаго со взяточничествомъ, и побуждавшимъ его искать прокурорскаго мѣста у министра юстиціи Дашкова; но гораздо важнѣе и полезнѣе было скоро перешедшее въ теплую дружескую привязанность знакомство съ Димитріемъ Максимовичемъ Княжевичемъ, тогда директоромъ департамента государственнаго казначейства.

Это былъ «человѣкъ, который могъ отворить путь къ любимой мечтѣ». «Онъ завезъ меня», пишетъ Надеждинъ: «къ своему брату Александру Княжевичу, директору канцеляріи министра финансовъ. Эти оба—люди сильные, особенно для производства вице-губернаторовъ. Имъ это то же, что мнѣ бывало сдѣлать учителя. Александръ, съ которымъ я былъ знакомъ уже прежде, принялъ меня очень ласково... Но къ Димитрію сердце у меня лежитъ больше»... «Я имѣю къ нему большую довѣренность и ему хочу поручить будущность». «Поручить будущность» было не легко: Надеждинъ, встрѣчаясь съ Димитріемъ Максимовичемъ и на вечерахъ, и въ англійскомъ клубѣ, почему-то долго «никакъ не могъ поговорить съ нимъ о себѣ откровенно»: онъ не умѣлъ пользоваться случаемъ. «Я опять ничего не говорилъ о себѣ съ Княжевичемъ», заноситъ онъ въ свой дневникъ, 23-го марта: «Все нѣтъ времени, да и смѣлости недостаетъ. Чортъ возьми!

Эта проклятая гордость! Мнѣ все кажется стыдно... просить о себѣ. Но такъ и быть—рѣшиться надобно. Вчера Александръ Княжевичъ спросилъ меня: думаю ли я... опять служить въ министерствѣ народнаго просвѣщенія?—«Нѣтъ!» отвѣчалъ я.—«Это хорошо», сказалъ Княжевичъ: «Я и самъ былъ прежде оставленъ при Казанскомъ университетѣ, но скоро бросилъ... И вотъ, теперь слава Богу!»—Конечно, слава Богу! У него ужъ звѣзда и генеральство; а у Димитрія Княжевича, который за буйство выгнанъ изъ Казанской гимназіи и вовсе не былъ въ университетѣ, уже двѣ звѣзды по обѣимъ сторонамъ груди... «Гдѣ жъ вы намѣрены служить?» спросилъ меня Александръ.—«Гдѣ-нибудь въ губернскомъ городѣ», отвѣчалъ я. Онъ улыбулся. Я тотчасъ догадался, что сказалъ глупость, и поспѣшилъ поправиться, сказавъ, что прежде хочу пожить въ Петербургѣ и выслужить себѣ порядочное мѣстечко, что онъ и одобрилъ... Но все не сказалъ ему ни слова, что надѣюсь на нихъ или тому подобное... Да—скажу послѣ...». Такъ уходилъ день за днемъ; въ это время у Д. М. Княжевича умерла въ Вѣнѣ теща, онъ взялъ отпускъ и предложилъ ѣхать, вмѣстѣ съ собой, за границу Надеждину, для котораго приглашеніе было «пріятнѣйшей новостью», «счастливымъ предзнаменованіемъ»,—и онъ, наконецъ, рѣшился заикнуться о себѣ. Княжевичъ «сначала сказалъ, что онъ еще мало служилъ, и потому мудрено съ перваго раза занять хорошее мѣсто», но, узнавъ о седьмомъ классѣ, въ которомъ состоялъ Надеждинъ, и о желаніи получить назначеніе въ провинцію, съ удовольствіемъ вскрикнулъ: «О! это прекрасно, погодите! мы похлопочемъ!.. Это очень скоро можно сдѣлать». Робкій ходатай не хотѣлъ больше спрашивать. Предстоящее путешествіе «сблизитъ ихъ тѣснѣе»; они узнаютъ другъ друга лучше. «Итакъ—слава Богу! Есть надежда! Только надо будетъ ждать да ждать... Охъ! тяжело это ожиданье!»

Постоянныя хлопоты, прискиванье «нужныхъ» людей томили Надеждину; онъ ощущалъ иногда страстную потребность скинуть съ плечъ бремя заботъ и хоть на часъ забыться среди житейской суеты. Отдохнуть душой можно было у Жуковского, «любезность» котораго «усиливала очарованіе его вечеровъ и подливала теплоты сердцу». Князь В. Ѳ. Одоевскій бывалъ пріятнымъ и милымъ собесѣдникомъ; «музыкантъ» Глинка, сочинявшій тогда «оперу: Иванъ Сусанинъ, изъ русскихъ мотивовъ», «съ особеннымъ чувствомъ» игралъ и пѣлъ нѣкоторые романсы радуш-

наго хозяина и недавно умершаго Дельвига... «Музыка настроивала воображеніе къ сладостной мечтательности»; было пріятно «переселяться въ міръ фантазіи—туда, гдѣ нѣтъ препятствій, раздѣляющихъ» людей «въ сей жизни»; то «кровь кипѣла», то «сладкая гармонія» «превращала бурный восторгъ въ кроткое умиленіе»... Надеждинъ наслаждался, минутами былъ вполне счастливъ; онъ съ вниманіемъ слушалъ Жуковскаго, говорившаго за ужиномъ о заграничныхъ путешествіяхъ, «дававшаго совѣты, исполненные пріязни»,—и, прощаясь съ поэтомъ, не могъ не благодарить его за «небесные звуки лиры», за «прекрасные стихи», которые были «первыми истолкователями чувствъ», испытанныхъ и пережитыхъ «прошлымъ лѣтомъ» въ Воскресенскомъ.

Воспоминанія о быломъ вообще согрѣвали душу, они были «сладки»; прошедшее идеализовалось. «То было время золотой невинности, безпечнаго, безсознательнаго дѣтскаго блаженства. Ах! еслибъ хоть во снѣ возвратилось оно усладить отрадной пѣлбеной мечтою»... «Сама Москва—дорога, ибо она была «колыбелью любви» и «счастія»; когда нѣтъ изъ нея вѣстей, угнетаетъ «такая тоска»; корреспонденція поддерживалась С. Т. Аксаковымъ, который принужденъ былъ писать «намеками»: всѣ письма Надеждина и отъ него «читались на почтѣ», и необходимо было «условиться» и «взять всѣ возможные предосторожности».

«А. Аничковъ» <sup>1)</sup>, извѣщалъ Аксаковъ вскорѣ послѣ отъѣзда Надеждина въ Петербургъ: «сказалъ мнѣ за вѣрную новость, что ты вышелъ изъ университета съ намѣреніемъ жениться на извѣстной особѣ. Я постарался увѣрить его, что новость сія есть старая басня, не имѣющая никакого основанія; внушилъ ему, что распространеніе сихъ сплетенъ, ничего не значащихъ для тебя, можетъ быть весьма невыгодно для другой стороны... Въ четвергъ (14-го марта) Костя (К. С. Аксаковъ) былъ у нашихъ знакомыхъ (Кобылиныхъ). Хозяйка (Марія Ивановна) съ грустью и чувствомъ говорила о тебѣ; о больной (Елисаветѣ Васильевнѣ) никто и не поминалъ. Въ разговорахъ съ Костей его молодой пріятель (А. В. Кобылинъ) хранилъ тоже глубокое молчаніе... Что касается до сочинителя «Литературныхъ мечтаній» (Бѣлинскаго), то я постарался сдѣлать ему чрезъ извѣстнаго

<sup>1)</sup> Общій знакомый Аксаковыхъ и Надеждина.



юношу (К. С. Аксакова) сильныя внушенія, которыя были приняты имъ съ чувствомъ; кажется, его опасаться нечего, но изъ словъ его видно, что онъ знаетъ гораздо болѣе и, какъ будто, отъ тебя самого; онъ (Бѣлинскій) оказалъ большую къ тебѣ преданность» <sup>1)</sup>).

Свѣдѣнія, сообщенныя Аксаковымъ, тревожили Надеждина: переписка, веденная въ домѣ Кобылиныхъ, была тщательно скрыта отъ всѣхъ, между тѣмъ явились намеки на нее, какъ на прочныя «основанія», а не простые слухи. «Вотъ этого», записано въ дневникѣ <sup>2)</sup> съ обращеніемъ къ Елисаветѣ Васильевнѣ: «я уже никакъ растолковать себѣ не умѣю. Бѣлинскій малый благородный и съ чувствомъ—онъ лгать не станетъ, тѣмъ болѣе на меня, которому онъ сердечно преданъ и обязанъ. Отъ меня онъ, натурально, ничего не могъ слышать. Но я подозрѣваю вотъ что... Не нашель-ли онъ когда-нибудь твоей записочки въ твоихъ переводахъ. Ты бывала такъ неосторожна, что посылала ихъ не разъ съ мальчишками, которые бросали ихъ у меня на столѣ. Бѣлинскій хаживалъ ко мнѣ безъ меня. Можетъ быть, не нашель-ли онъ когда-нибудь свертокъ бумаги, развернулъ его безъ всякаго намѣренія, изъ простаго любопытства—и увидѣлъ твою записочку... Онъ будетъ хранить эту случайно доставшуюся ему тайну, коей важность ему теперь растолкована. По возвращеніи въ Москву, я какъ-нибудь его вывѣдаю; и даже, можетъ быть, оставляю его своимъ корреспондентомъ, если только найду его достойнымъ моей довѣренности и ты согласишься на это. Онъ уже знаетъ, если дѣйствительно знаетъ; стало, надо покориться необходимости, которой отворотить невозможно»...

Кромѣ Бѣлинскаго, страшны были, конечно, и сплетни, распускаемыя Аничковымъ и другими. Какъ предотвратить то зло, которое онѣ могли причинить? Надеждинъ, видимо, не разъ ломалъ надъ этимъ голову, терялся—и, не зная, что предпринять, на что рѣшиться, принимался за чтеніе старыхъ московскихъ писемъ Елисаветы Васильевны, чтобы «разогнать мрачныя мысли» и найти новыя силы для борьбы съ препятствіями. Онъ читалъ эти письма по ночамъ, называлъ ихъ «молитвами на сонъ грядущимъ». Бодрили ли эти «молитвы»?

Кобылина упорно «настаивала» на вице-губернаторствѣ; упре-

---

<sup>1)</sup> Письмо отъ 18 марта 1835 г.

<sup>2)</sup> 22 марта 1835 г.

кала Надеждина въ «ложной разборчивости» (при выборѣ мѣста?); выражала безпокойство. что, по возвращеніи въ Москву, онъ захочетъ съ нею видѣться, не принявъ должныхъ мѣръ предосторожности: просила его совѣтовъ относительно своего поведенія, заявляла о своей полной готовности пойти на все ради него и, въ то же время, сознавалась, что никакъ «не согласится» зарабатывать деньги трудомъ и исполнѣ «покорится» родителямъ, если послѣдніе «запретятъ ей имѣть сношенія» съ Надеждинымъ, которому она, повидимому, съ плохо затаеннымъ безпокойствомъ, задавала загадочный вопросъ: «можетъ ли онъ для нея рѣшиться принести жертву?» Въ одномъ письмѣ, между прочимъ, сказано: «Если ты узнаешь, что я веселюсь, — значитъ мы — счастливы!»... <sup>1)</sup>).

Впечатлѣніе отъ чтенія «молитвъ» получалось едва ли не противоположное тому, какого жаждалъ Надеждинъ: настроеніе становилось болѣе унылымъ, думы—болѣе печальными. Оставленіе профессуры и перемѣна службы были ему тягостны; настаиваніе на вице-губернаторствѣ и перспектива вести чиновничью жизнь удручали его; но онъ отказался отъ своей личной воли въ рѣшеніи своей судьбы, все предоставилъ на усмотрѣніе Елисаветы Васильевны. И въ немъ постепенно развивалась ненависть къ развратному «свѣту» съ его условными понятіями о нравственности, чести, долгѣ,—свѣту, стыдящемуся простой, но честной работы, и «дерущему кожу съ крестьянъ, грабящему казну, берущему взятки». «Благородное русское дворянство особенно отличается самою наглою безсовѣстностью»; сойтись съ нимъ во взглядахъ немислимо, но *месть* ему за нанесенныя «жестокія оскорбленія» понятна.. Воспитаніе среди роскоши и барскихъ затѣй оставляетъ слѣды въ чуткой и нѣжной душѣ, предразсудки родителей отзываются на дѣтяхъ, какъ бы чисты и невинны они ни были: Надеждинъ начиналъ колебаться: сможетъ ли Кобылина раздѣлить его участь? Что сулитъ имъ обоимъ будущее?..

Будущее рисовалось ему въ самыхъ мрачныхъ краскахъ. «Охъ! страшно глядѣть впередъ—не для меня, но для тебя», мысленно

---

<sup>1)</sup> Письма и дневники Е. В. Сухова-Кобылиной, находящіяся въ собраніи рукописей проф. И. А. Шляпкина, остались намъ недоступны; содержаніе нѣкоторыхъ мѣстъ изъ этихъ писемъ излагаемъ на основаніи указаній самого Надеждина.

обращался Надеждинъ къ своему «единственному, несравненному, вѣчному другу». «Я сокрушался за тебя... Если ты будешь жить со мною въ этомъ городѣ женою чиновника, ты не будешь имѣть достойнаго тебя общества... Большой свѣтъ не принимаетъ чиновницъ въ свои гостинныя... Чтобы пробраться въ нихъ, надо служить въ гвардіи или быть при дворѣ, по меньшей мѣрѣ, въ 50.000 р. годового дохода. А у насъ—много, если будетъ 2.000 р. на первый разъ. Ужасная бѣдность предстоитъ намъ. Идеаль нашего благосостоянія пока тотъ, чтобы не умереть съ голоду. О мой ангелъ! За что я такъ несчастливъ, что за твою ангельскую любовь, открывающую мнѣ царство небесное на землѣ, долженъ наградить тебя лишеніемъ всѣхъ земныхъ благъ? Зачѣмъ я не богатъ и не знатенъ? *Для тебя только хотѣлъ бы я имѣть все, что даетъ значеніе и вѣсь въ свѣтѣ...* Ты способна къ самоотверженію; но, другъ мой, *легче сдѣлать жертву, чѣмъ принять ее...* А «что, если бѣдность тебѣ будетъ въ тягость? Ты не знаешь всѣхъ ужасовъ, ее сопровождающихъ. *Всѣ желанія твои были всегда удовлетворяемы издѣтства. Я ничего, я привыкъ ко всему. Я началъ жизнь мою босикомъ... Но ты... О! ужасно! Впрочемъ, Богъ милостивъ... Терпѣніе все преодолеваетъ. Мы станемъ работать, будемъ переводить... Да почему и не давать уроковъ?.. Ужели это будетъ для тебя унижительно?.. Отчего же? Здѣсь, въ Петербургѣ, не то, что въ Москвѣ. Здѣсь никто и не узнаетъ, пожалуй, что я даю уроки... Развѣ лучше брать взятки или ябедничать по дѣламъ изъ платы?.. Честный трудъ можетъ только прокормить—не болѣе. Что, напримѣръ, Сперанскій, который занимаетъ почти первое мѣсто въ государствѣ? Только сводитъ концы съ концами... Бѣднѣе меня, если хочешь» <sup>1)</sup>.*

Но примѣръ Сперанскаго не давалъ утѣшенія; Надеждинъ не могъ не понимать всей шаткости своихъ построений: за Елисаветой Васильевной стояли ея родители. Какъ они, уже раздраженные вздорными московскими сплетнями, рѣшатся обречь свою дочь на печальную участь? Положимъ, «маменька» (Марія Ивановна) «очень добра и способна презрѣть всѣ предразсудки въ порывѣ чувства... Но эти толки могутъ пробудить въ ней ложный стыдъ, она станетъ отстаивать» Елисавету Васильевну «на его счетъ, и дѣло можетъ завязаться такъ, что нельзя будетъ и

<sup>1)</sup> Дневникъ, 21, 25, 28 марта 1835 г.

распутать»... Положимъ, «*у нихъ* не одна дочь... Гордость *ихъ* въ другихъ найдетъ достаточное удовлетвореніе»... Но ближайшіе родственники, имѣющіе большое вліяніе и не долюбивающіе Надеждина, въ родѣ дяди Кобылиной «Н. И.» (Шепелева?), создадутъ новыя затрудненія. «Что если они рѣшительно запретятъ ей? Она этого не вынесетъ. Что будетъ съ нимъ? Онъ умретъ—уморитъ съ собой родныхъ своихъ... Какая цѣпь бѣдствій!» Не эту ли «цѣпь бѣдствій» предвѣщаетъ заданный ему, совершенно излишній вопросъ о самопожертвованіи? Должно же быть извѣстно, что онъ готовъ на всѣ жертвы, готовъ заставить «замолчать» гордость, «пресмыкаться во прахѣ» и даже, *если нужно*, отказаться отъ любимаго человѣка, хотя бы это «стоило ему всего бытія его»... И, сомнѣваясь въ Кобылиной, Надеждинъ даетъ ей рядъ совѣтовъ, пытаясь воздѣйствовать на ея образъ мыслей. Онъ рекомендовалъ ей не выѣзжать въ свѣтъ, гдѣ шумъ и блескъ будутъ способствовать разсѣянію, гдѣ «каждый шагъ ея будетъ больше и больше разлучать ихъ». Можно «сопротивляться» родителямъ безъ «ожесточенія», — «быть покорною имъ дочерью во всемъ, кромѣ любви», «просить, умолять ихъ съ нѣжностью, чтобы они не принуждали», — и «у нихъ не достанетъ жестокости приневоливать», «они даже одобрятъ втайнѣ искренность и постоянство», ибо сами «ровно ничего» не «потерпятъ». «*Больша*, не любить выѣздовъ, охотница заниматься, нелюдимка—мало ли какихъ предлоговъ выдумать можно, о которыхъ потолкуютъ сначала, да бросать». А въ теченіе шести-семи мѣсяцевъ (заграничнаго путешествія) надо «пріучить къ своему образу жизни, увѣрить въ своей непреложной рѣшимости»...

Однако Надеждинъ мало рассчитывалъ на успѣхъ заочныхъ совѣтовъ. Отсюда—его тоска по Москвѣ, стремленіе къ личному свиданію. Онъ собирается въ дорогу, торопится взять мѣсто въ дилижансѣ, отходящемъ во вторникъ на страстной недѣлѣ, чтобы вернуться назадъ къ Свѣтлomu Воскресенью и «непремѣнно быть у заутрени у Харитонія»; въ монастырѣ будутъ оставлены «записки» для передачи Елисаветѣ Васильевнѣ. Вырабатывается планъ свиданій и сообщенія черезъ посредниковъ. «Ты напрасно безпокоилась», замѣчаетъ Надеждинъ въ «запискахъ» (т. е. дневникѣ): «о моемъ намѣреніи видѣться съ тобой въ Воскресенскомъ. Это можетъ быть сдѣлано безопасно. Я не буду нигдѣ останавливаться въ деревнѣ. Просто велю кучеру ждать меня гдѣ-нибудь въ лѣсу, и самъ явлюсь на назначенное тобой мѣсто. Въ

первое воскресенье ты будь тамъ утромъ. Въ Москвѣ я могу видѣть тебя въ театрѣ; кажется, будутъ Каратыгины вскорѣ послѣ Святой. Но другое свиданіе, сама знаешь, невозможно. \*\*\* (служанкѣ Кобылиныхъ) непременно надо войти въ сношеніе съ Иваномъ (лакеемъ Надеждина), который очень мнѣ преданъ. Я его оставляю въ Москвѣ у себя. Онъ будетъ ждать меня во время путешествія. Иванъ будетъ только отдавать \*\*\* мои посылки. Я ему не скажу ничего болѣе». «Если весной увезутъ тебя на воды, что дѣлать? Лишь бы \*\*\* не взяли съ собою. Если же возьмутъ, то я оставлю тебѣ письма въ Воскресенскомъ. Приѣду ночью—и зарю ихъ подъ кедромъ, на которомъ вырѣзано твое имя. Тамъ ты, по возвращеніи, найдешь мое послѣднее прощаніе и всѣ сдѣланныя мои распоряженія»...

Пока Надеждинъ создавалъ разные проекты, предусматривая всевозможныя неблагопріятныя случайности,—его угнетало предчувствіе чего-то недобраго. Явилась меланхолія, развивалось суевѣріе, стали волновать болѣзненные свовидѣнія, которыя ему хотѣлось сопоставить съ дѣйствительными происшествіями, совершившимися въ тѣ же самые часы въ домѣ Кобылиныхъ. Онъ «горѣлъ нетерпѣніемъ» увидѣть Елисавету Васильевну, «подышать еще однимъ съ ней воздухомъ, чувствовать себя близъ нея»; казалось, что онъ «сойдетъ съ ума, если долго будетъ жить» въ Петербургѣ, если «останется на одномъ мѣстѣ»; ему «надо трястись, шататься». Такъ «въ холодъ надо ходить и бѣгать, чтобы не замерзнуть»... Недѣля представлялась ему «вѣчностью въ буквальномъ смыслѣ», «дни тянулись съ адскою медленностью»... Вѣстей изъ Москвы не было. «Незнаніе, тысячи предположеній и догадокъ — одна другой убійственнѣе — довершали пытку... Что она? какъ она? Эти вопросы, на которые нѣтъ отвѣта, змѣями сосутъ сердце». «Впрочемъ, иногда эта самая неизвѣстность успокаиваетъ... Если бы что-нибудь важное случилось, Аксаковъ вѣрно написалъ бы... Но сколько можетъ такого случиться, чего онъ не узнаетъ? О Боже!.. Боже! Кто освѣтитъ эту мглу?»

«Мгла» вскорѣ была «освѣщена» письмомъ Аксакова, «начавшаго бояться» за своего друга. «Я считаю вѣрнымъ», увѣдомлялъ онъ: «что ты захочешь поступить со мной *дружески-обязательно*, то есть, приѣдешь прямо ко мнѣ... Хозяйка твоя (Марія Ивановна) была такъ въ этомъ увѣрена, что хотѣла занять твои комнаты и присылала два раза за Бѣлинскимъ, чтобы при немъ вынести

твои вещи въ кладовую и запечатать ихъ двумя печатами. Бѣлинскій почтительно отозвался, что ни печати, ни полномочія не имѣеть. У *нихъ* теперь *все* здоровы, и *больные* выходятъ; читали Гоголя и, говорятъ,—были *очень веселы*... <sup>1)</sup>).

Ударъ судьбы былъ жестокъ, и первыя впечатлѣнія невольно занесены на бумагу: «Я напелъ на столѣ моемъ письмо изъ Москвы. У меня билось сердце, но что-то тайное удерживало читать его. Я прочелъ наконецъ... Ничего, ничего—молчаніе. Фи! какой вздоръ! Такъ что жъ! Я очень счастливъ. Вѣдь, я желалъ веселья... Такъ что жъ—ну! *Очень веселы*... Того и было надобно!.. Ну! Ну! Ничего, ничего—молчаніе! ха! ха! ха! Слава Богу! А я здѣсь все сокрушался, все горевалъ... экой я дуракъ! Ничего, ничего—молчаніе! Да что жъ я пишу? О, бессмысленный! Говорилъ же старикъ Дмитріевъ о чемъ-то или о комъ-то: «сталъ счастливъ—замолчалъ»... Ну! а я развѣ несчастливъ... Такъ я и замолчу... Ничего, ничего—молчаніе!..» <sup>2)</sup>).

Лишь на слѣдующій день Надеждинъ пришелъ въ себя; все стало такъ ясно: «тайной не дорожать»; «неизвѣстность» для *нея* не «мучительна»—«все тѣлесныя и душевныя болѣзни» прошли: помогъ «всемогущій врачъ» Гоголь! Въ результатѣ пережитого—«усталость»; злой рокъ «сыгралъ» человѣческими «намѣреніями»; «надо упиться до-пьяна изъ рѣки забвенія», поспѣшить къ министру и «отъ сердца» благодарить его за отставку.

«Давно уже не былъ я такъ сладко спокоенъ», заключаетъ свой дневникъ Надеждинъ: «Будущность, пугавшая меня доселѣ своимъ мракомъ, своей неизвѣстностью,—вдругъ такъ ярко освѣтилась. Теперь все извѣстно. Ъхать, ѣхать!

Пойду искать по свѣту,

Гдѣ оскорбленному есть сердцу уголокъ!

Карету мнѣ, карету!

Но карета должна еще везти назадъ въ Москву. Такъ что жъ? Конечно, досадно, если я встрѣчу тамъ проименованіе *обольстителя*, котораго *расчеты*, основанные на *молодости* и *неопытности*, благодаря Бога, *разстроены*. Я знаю, что *мнѣ* придется понести на себѣ всю тяжесть московскаго злословія... Да это не надолго. На мѣсяцъ! И притомъ... за минувшее *обольщеніе*, право, можно заплатить и дороже... Охъ! я точно былъ счастливъ.

<sup>1)</sup> Письмо отъ 26 марта 1835 г.

<sup>2)</sup> Дневникъ, 30 марта 1835 г.

Да! я былъ счастливъ! *Я былъ счастливъ моимъ заблужденіемъ!* Это повторяю я и теперь изъ глубины сердца... О!.. ты, которая... Примите мою искреннюю, нелестную, вопіющую изъ глубины души признательность за тѣ небесныя минуты, которыми вы озолотили мрачную жизнь мою... О! будьте всегда веселы, *очень веселы!* Это мое послѣднее, торжественное желаніе, послѣдняя горячая мольба къ Богу! Будьте *веселы истинно!* Вы меня никогда не увидите. Если будете что слышать обо мнѣ,—то противъ моей воли. Дай Богъ, чтобы этотъ несчастный эпизодъ вашей жизни навсегда изгладился изъ вашей памяти. Дай Богъ!.. Но у меня нѣтъ еще силъ сорвать съ груди моей, оторвать отъ сердца то, что такъ сладко было носить и чувствовать, что свыкло съ біеніями сердца— съ трепетаніемъ груди... *Еще нѣтъ силъ...* Я вижу теперь первый листокъ моихъ «записокъ»—и невольно прочелъ первыя строки. Боже мой, Боже! *Какъ пріѣхалъ я сюда и какъ выезжаю?* О! простите мои милые листки! Вамъ ввѣрены *завѣтныя тайны души моей!* Вы останетесь для меня послѣдними памятниками минувшаго... И все минуется на сей землѣ. Зачѣмъ не минуется и душа? Зачѣмъ она создана для вѣчности?.. Начинается недѣля страстей Христовыхъ. Никогда не встрѣчалъ я этой недѣли въ приличнѣйшемъ расположеніи духа. Зачѣмъ скоро свѣтлый праздникъ? Зачѣмъ цѣлый годъ, цѣлые годы,—цѣлую вѣчность не продолжается эта недѣля—высокая эмблема всей жизни человѣческой? Я припоминаю прекрасные стихи Жуковскаго. Они такъ высоко истинны:

О, наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,  
Гдѣ милому мгновенье лишь дано,  
Гдѣ скорбь безъ крыль, а радости крылаты,  
И гдѣ на вѣкъ минувшее одно!  
По что жъ мы здѣсь мечтами такъ богаты,  
Когда мечтамъ не сбыться суждено?

Отнынѣ существованіе мое будетъ разрѣшеніемъ сего вопроса... Прости мое счастье и радость!..» <sup>1)</sup>.

Отчаяніе Надеждина было преждевременно. На слѣдующій день послѣ того, какъ онъ набросалъ въ своемъ дневникѣ скорбныя строки, пришло новое письмо отъ С. Т. Аксакова <sup>2)</sup>. «Вижу

<sup>1)</sup> Дневникъ, 31 марта 1835 г.

<sup>2)</sup> Письмо было отправлено изъ Москвы 28 марта и получено въ Петербургѣ 1 апрѣля.

твое душевное состояніе», писалъ онъ: «и прошу тебя, во имя дружбы,—успокойся! Дѣла не въ такомъ положеніи, чтобъ могли слишкомъ возмущать духъ твой. Писать не хочу многого: скоро увидимся и переговоримъ. Вчера былъ у меня твой человѣкъ, котораго я видѣлъ, и твой Иссаріонъ (что-ли? право не знаю), который не засталъ меня. Оба ругаютъ ужасно нашу знакомую старшую, особливо послѣдній, называя ее даже развратной лицемеркою... А мнѣ кажется, она перехитрила только. Вещей твоихъ я не перевожу до получения третьяго письма отъ тебя... Впрочемъ, если еще что послѣдуетъ со стороны хозяевъ, то прикажу ихъ взять и раздѣлить намъ и Павлову <sup>1)</sup>».

Слова ободренія возымѣли свое дѣйствіе на павшаго духомъ Надеждина. Его потянуло въ Москву. Въ Петербургѣ ничто не задерживало, такъ какъ втораго апрѣля министръ официально согласился на его увольненіе, пославъ предписаніе «сдѣлать распоряженіе о томъ только тогда, когда Надеждинъ, по обстоятельствамъ своимъ, будетъ имѣть надобность въ совершенномъ увольненіи; нынѣ же освободить его отъ всѣхъ, лежащихъ на немъ по университету обязанностей, кромѣ чтенія лекцій» <sup>2)</sup>).

Надеждинъ вернулся въ Москву 6 апрѣля, въ великую субботу, остановился, повидимому, въ квартирѣ Аксаковыхъ, и былъ у Пасхальной заутрени въ церкви, которую посѣщали Кобылины: онъ *издали* видѣлъ ихъ всѣхъ. Несчастное недоразумѣніе, отравившее два послѣдніе дня пребыванія въ Петербургѣ, вполнѣ объяснилось <sup>3)</sup>. Виновникомъ его оказался А. Кобылинъ, сообщившій ложныя свѣдѣнія о сестрѣ Константину Аксакову. «Чувство раскаянія сожгло душу» Надеждина, когда онъ узналъ весь ужасъ положенія той, которую подозрѣвалъ почти въ измѣнѣ. Какъ жестоко онъ ошибся! Уѣзжая въ Петербургъ, онъ «воображалъ, что оставляетъ» Елисавету Васильевну «подъ сѣнью родительской любви, среди грустной, но привязанной къ ней семьи, осуждающей, но не проклинающей ея чувства, раздѣляющей ея страданія, облегчающей ея муки сердечнымъ участіемъ... Онъ вѣрилъ въ родныхъ ея—вѣрнѣе въ ихъ состраданіе не къ нему, а къ ней; и потому покидалъ ее съ полною довѣренностію, что, черезъ годъ разлуки, любовь его найдетъ ее въ грустномъ, но

<sup>1)</sup> Проф. М. Г. Павловъ былъ хорошій знакомый С. Т. Аксакова.

<sup>2)</sup> *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*. 1880, № 1, стр. 41.

<sup>3)</sup> Письмо отъ 11 апрѣля 1835 г.



тихомъ ожиданіи... Ея журналъ ниспровергъ въ прахъ эту увѣренность—и съ ней ниспроверглись всѣ его намѣренія» <sup>1)</sup>).

Извѣстія, полученныя отъ Дядьковского, лечившаго у Кобылиныхъ, были еще ужаснѣе. «Ты виноватъ», говорилъ онъ Надеждину: «ты не долженъ былъ допускать ее страдать эти два мѣсяца. Она была на волосъ отъ сумасшествія, на волосъ отъ смерти!»

Надеждинъ былъ сраженъ всѣмъ, что слышалъ. Еще до бѣсѣды съ Дядьковскимъ, онъ «бродилъ цѣлый день по Москвѣ, пѣшкомъ, и не чувствовалъ усталости; какъ сумасшедшій, натыкался на людей» и едва не былъ раздавленъ экипажами. Слова земляка окончательно его «уничтожили». Онъ бросился къ С. Т. Аксакову. Тотъ плакалъ вмѣстѣ съ нимъ и говорилъ, что «рѣшительный ударъ, хотя бы насильственный, необходимъ немедленно». Къ этому выводу сталъ склоняться самъ Надеждинъ. Она не вынесетъ двухлѣтней разлуки, думалъ онъ. «Если эти два мѣсяца стоили ей такихъ страданій, чего будутъ стоить два года?» «Нѣтъ, невозможно такъ оставаться! Ей и ему, обоимъ невозможно!»

«Слушай», писалъ онъ Елисаветѣ Васильевнѣ: «Я не поѣду безъ тебя путешествовать... Ты поѣдешь со мною, поѣдешь моею женою, волею или неволею, съ согласія или безъ согласія,— это Богъ рѣшить... Отвѣчай мнѣ завтра одно слово, только одно: *да* или *нѣтъ*, и предоставь мнѣ дѣйствовать... Минуты дороги!» «Когда ты скажешь: *да!* Я напишу къ твоимъ отцу и матери формальное предложеніе, просьбу твоей руки... Знаю, что они не согласятся. Но тогда, по крайней мѣрѣ, вся отвѣтственность предъ глазами свѣта съ насъ снимется. Тогда... развязка должна быть насильственная... Ради Бога! Не дѣлай насилія *самой себѣ* при отвѣтѣ... Если ты скажешь мнѣ и: *нѣтъ!* повѣрь, я не буду роптать... Я покорюсь твоей волѣ. Я уѣду въ іюнѣ мѣсяцѣ—и буду скитаться по свѣту Каиномъ... Дай же мнѣ отвѣтъ немедленно. Завтра (15 апрѣля) или послѣ завтра, отъ васъ будутъ перевозить мои вещи. \*\*\* отдастъ какъ-нибудь Ивану лоскутокъ съ однимъ только словомъ»... <sup>2)</sup>.

Послѣ долгаго трепетнаго ожиданія, Надеждинъ получилъ не лоскутокъ, а цѣлое письмо. Въ письмѣ былъ «приговоръ судьбы».

<sup>1)</sup> Письма отъ 12—13 апрѣля и 24 мая 1835 г.

<sup>2)</sup> Письма отъ 12—13, 14 апрѣля 1835 г.

Елисавета Васильевна совѣтовала Надеждину одному ѣхать за-границу, она не отвергала и его проекта, но сознавалась, что ей трудно огорчить побѣгомъ родителей <sup>1)</sup>).

Прочитавъ отвѣтъ, Надеждинъ почувствовалъ, что «горе убило его совершенно». Онъ погрузился въ «мрачное уныніе»: «ни за что не могъ взяться, ни о чемъ не могъ думать». Онъ «не былъ боленъ тѣломъ, хотя знающіе его находили, что онъ очень худъ и желтъ»... Это бы еще ничего! «Но душа его, душа!.. Ахъ, онъ чувствовалъ, что этой половины существа его не доставало ему! Что съ нимъ будетъ?.. Царь небесный! что будетъ съ нимъ?»

Сила воли сдержала бурное проявленіе скорби. Надеждинъ взялъ себя въ руки. Онъ «исполнить ея святую волю»: поѣдетъ одинъ путешествовать... <sup>2)</sup>).

Между тѣмъ враги не дремали. Съ цѣлю уронить Надеждина во мнѣніи Елисаветы Васильевны они распускали о немъ ложные слухи. Онъ спокоенъ, говорили они: посѣщаетъ театры, печатаетъ въ *Молвъ* отчеты объ игрѣ Каратыгина; ему и горя мало, что всецѣло довѣрившаяся ему дѣвушка переживаетъ тяжкія мученія. Александръ Кобылинъ поддерживалъ эти слухи. Семнадцатилѣтній юноша-студентъ былъ весь «напитанъ лютѣйшею аристократіею» <sup>3)</sup>: своими ѣдкими замѣчаніями онъ подливалъ въ огонь масла, разжигалъ вражду къ Надеждину. «Если бы у меня дочь вздумала выйти за неравнаго себѣ человѣка», говорилъ онъ: «я бы убилъ ее или заставилъ умереть взаперти», и такими рѣчами оттолкнулъ отъ себя Константина Аксакова, прекратившаго съ нимъ знакомство.

Какъ ни были маловѣроятны рассказы о Надеждинѣ, сѣмена сомнѣнія все же сѣялись въ душѣ Елисаветы Васильевны; свою тревогу она невольно выразила въ письмахъ... Узнавъ объ этомъ, Надеждинъ взволновался. Если бъ онъ видѣлъ въ Кобылиныхъ любовь къ Елисаветѣ Васильевнѣ, онъ «простилъ бы имъ безумную ненависть, которой они его преслѣдуютъ»... Но они—*ея* «мучители». Ихъ поведеніе возмущаетъ! Они «смѣются, веселятся,

---

<sup>1)</sup> Письмо осталось намъ недоступно. Содержаніе его излагается на основаніи намековъ Надеждина.

<sup>2)</sup> Письма отъ 20—21 апрѣля, 24 мая 1835 г.

<sup>3)</sup> Выраженіе С. Т. Аксакова.—Ср. его письмо къ Надеждину отъ 18 марта 1835 г.: А. Кобылинъ «вретъ пзъ всѣхъ сплз всякую дрянъ».

хочутъ или, что еще отвратительнѣе, плачутъ надъ вымышленными бѣдствіями театральныхъ героевъ, они, у которыхъ нѣтъ слезинки для дѣйствительныхъ страданій, претерпѣваемыхъ на ихъ глазахъ, по ихъ милости»... Они «плачутъ о Елисаветѣ Англійской, а о своей позабыли!» «Какъ можетъ обернуться къ нимъ сердце?» Надеждинъ боялся ихъ возненавидѣть; боялся «совершенной переменѣны всѣхъ прошлыхъ своихъ чувствованій» къ Маріи Ивановнѣ. Въ его головѣ «роилось столько подозрѣній, столько мыслей самыхъ черныхъ и убійственныхъ». Ходъ событій слишкомъ ясно показалъ, кто главная виновница всѣхъ бѣдствій <sup>1)</sup>. И «когда онъ разсуждалъ теперь о прошедшемъ, онъ находилъ, что самъ поступалъ очень глупо, что самъ затруднялъ счастье своимъ безразсудствомъ и легкомысліемъ». Онъ «имѣлъ нелѣпую деликатность увеличивать препятствія, могущія раздѣлять его и Кобылиныхъ; самъ толковалъ о неравенствѣ, которое—говоря правду—существовало только въ его разстроенномъ воображеніи»... Какое тутъ неравенство!.. Кто нынѣ, кромѣ степныхъ помѣщиковъ, думаетъ о родѣ? И что за родъ [Кобылиныхъ]? Что за владѣтельные князья? Иногда Надеждину страстно хотѣлось «отмстить» спесивой дворянкѣ «превосходительствомъ», которое онъ скорѣе можетъ дать ея дочери, чѣмъ «всякій другой столбовой чурбанъ». А, можетъ быть, судьба готовить «мечь еще сладостнѣйшую»: можетъ быть, онъ будетъ нѣкогда въ состояніи оказать услуги братьямъ и сестрамъ своей будущей жены... «Да и теперь я иногда думаю съ гордостью», писалъ Надеждинъ Елисаветѣ Васильевнѣ: «что, несмотря на свое ничтожество и бѣдность, я все гораздо сильнѣе, больше имѣю вліянія, чѣмъ всѣ предки вашего *знаменитаго* рода. Что, напримѣръ, могла сдѣлать мать твоя, со всѣми своими связями, для долговязаго Лукопера? Кто сдѣлалъ его адъюнктомъ и теперь э. о. профессоромъ?.. Я—поповичъ и семинаристъ!.. Право, это утѣшительно думать... Признаюсь, я давно уже негодовалъ на мать твою за то, что она такъ упорно, такъ настоятельно лѣзла въ аристократію... Куда дѣвалась прежняя ея благородная гордость?.. Эта зависть къ князьямъ и графамъ—чѣмъ лучше мѣ-

---

<sup>1)</sup> Къ одному В. А. Сухово-Кобылину Надеждинъ «чувствовалъ полное, глубочайшее уваженіе», дѣня въ немъ «прямоту и истинно русскую честность и благородство».—Ср. письма отъ конца фѣвраля, 21 апрѣля, 1 мая 1835 г.

щанской ненависти простолюдиновъ къ дворянству... Фи! Я никакъ не подозрѣвалъ найти въ семьѣ твоей повтореніе фамиліи Богатоновыхъ...»<sup>1)</sup>.

Надеждинъ не считалъ себя въ правѣ давать совѣты Елисаветѣ Васильевнѣ: онъ предоставлялъ ей полную свободу дѣйствій, и думалъ только, что она должна рѣшительно объясниться съ родителями, «разъ навсегда уничтожить всѣ ихъ надежды и замыслы, сказать, что будетъ ждать счастія своего такъ же, какъ теперь, хотя пѣлюю вѣчность». «Кто можетъ ее принудить? И чего ей бояться? Ее запугали призраками, которыхъ нѣтъ? Ея уединеніе не прибавитъ ничего къ тому, что, благодаря ихъ предусмотрительной заботливости, уже всеѣмъ извѣстно. Напротивъ, оно оправдаетъ ее въ глазахъ свѣта, свяжетъ уста злословію. Всѣ увидятъ, что она жертва любви чистой, пламенной, вѣчной— и заранѣе приготовятся къ *развязкѣ*», которая произойдетъ по возвращеніи Надеждина изъ-за границы. Придется обвиняться противъ воли родныхъ. Сдѣлавшись его женой, Елисавета Васильевна «подпишетъ формальный актъ, которымъ отречется навсегда за себя и за дѣтей своихъ отъ всѣхъ правъ на наслѣдство отца и матери». Надеждинъ былъ заранѣе увѣренъ, что «свѣтъ не удивится» такому поступку. «Всѣ благомыслящіе люди» иронически отнесутся къ невѣжественной спеси Кобылиныхъ. «Весь *ridicule* этой исторіи упадетъ на Марію Ивановну—и тѣмъ болѣе, что она всегда имѣла притязанія на новый образъ мыслей, на европеизмъ»<sup>2)</sup>.

Но изложенная программа дѣйствій—дѣло будущаго. Пока же Надеждинъ долженъ былъ не мало хлопотать въ виду предстоящаго отъѣзда за границу. Надо было отвѣтить Княжевичу, звавшему его къ 5 іюня въ Петербургъ, публиковаться въ числѣ отъѣзжающихъ, составить подробный планъ путешествія и говорить съ Аксаковыми, которые хотѣли сначала отправить своего Константина въ чужіе края, а потомъ передумали. Весьма озабочивала Надеждина и судьба *Телескопа*. Онъ рѣшилъ, было,

---

1) Ср. письмо отъ 28 апрѣля: «Я вижу въ тебѣ какого-то выроodka изъ всей твоей семьи.. Тебя одну Богъ сохранилъ ангельски-чистою, благородно - гордою, небесно - возвышенною между всеѣми твоими!.. Я горю нетерпѣніемъ вырвать, унести тебя изъ этого круга, который не для тебя!.. Нѣтъ! ты не имѣешь семьи, ни по чувствамъ, ни по образу мыслей... Тебя они не поймутъ; п—не дай Богъ, чтобъ ты поняла ихъ!..»

2) Письма отъ 12—13, 14, 20, 21, 22, 28 апрѣля и 1 мая 1835 г.

совсѣмъ прекратить это изданіе, но друзья отговаривали. И. В. Кирѣевскій, С. Т. Аксаковъ, Погодинъ настаивали на томъ, чтобы журналъ «передать, испрося дозволеніе, кому-нибудь другому» <sup>1)</sup>. Такъ какъ сами они отклонили предложеніе принять на себя завѣдываніе *Телескопомъ*. Надеждинъ вынужденъ былъ обратиться съ содѣйствію кого-нибудь изъ своихъ университетскихъ слушателей. «Журналомъ моимъ», говорилъ онъ: «занимаются молодые люди, вышедшіе недавно изъ университета: Станкевичъ, Ефремовъ, Ключниковъ и другіе... Они будутъ продолжать его и безъ меня» <sup>2)</sup>. Официально *Телескопъ* переходилъ въ руки Бѣлинскаго, получавшаго за то годовой окладъ до 3000 рублей <sup>3)</sup>. О перемѣнѣ, происшедшей въ составѣ редакціи, Надеждинъ увѣдомилъ мѣстное начальство. Въ донесеніи на имя предсѣдателя Московскаго цензурнаго комитета, Надеждинъ писалъ, что «долгъ передъ публикою обязываетъ его окончить изданіе журналовъ, на которые собрана уже подписка»; что «онъ распорядился, чтобы оныя» и въ отсутствіе его выходили въ свое время, и что съ этою цѣлію «оставляется имъ временная редакція, въ коей производство дѣлъ поручено живущему въ Москвѣ дворянину Бѣлинскому, къ которому онъ и проситъ комитетъ обращаться въ случаѣ сообщенія каковыхъ либо приказаній».—Донесеніе Надеждина постигла неудача: комитетъ не рѣшился «принимать на свое разсмотрѣніе и одобреніе къ печатанію корректурныя листы» *Телескопа*, безъ особаго разрѣшенія Главнаго Управленія Цензуры. Этого разрѣшенія Надеждину не суждено было дождаться въ Москвѣ: оно послѣдовало лишь въ половинѣ іюля; а до тѣхъ поръ «печатаніе статей, назначенныхъ къ помѣщенію въ журналъ», было пріостановлено, что было весьма непріятно издателю, такъ какъ вызывало справедливый ропотъ подписчиковъ <sup>4)</sup>.

Занятый устройствомъ своихъ дѣлъ, Надеждинъ велъ замкнутый образъ жизни и старательно избѣгалъ встрѣчъ со своими

<sup>1)</sup> Письмо С. Т. Аксакова отъ 26 марта 1835 г.

<sup>2)</sup> Письмо Надеждина къ Е. В. Сухово-Кобылиной отъ 22 апрѣля 1835 г.

<sup>3)</sup> Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1911, т. III, стр. 396.

<sup>4)</sup> Неправильность постановленія комитета отмѣтило и Главное Управленіе Цензуры, указавшее, что не слѣдовало останавливать своевременный выходъ въ свѣтъ номеровъ *Телескопа* (Архивъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Дѣла 1835 г. № 147, 784).

знакомыми, кромѣ самыхъ близкихъ: М. Г. Павлова или Дядьковского. Онъ не посѣщалъ даже театра и лишь раза два былъ въ клубѣ. День за день откладывалъ онъ посѣщеніе университета: онъ «боялся изболѣчить себя и дать подтвержденіе толкамъ». За то переписка его съ Елисаветой Васильевной принимала все большіе и большіе размѣры: онъ повѣрялъ ей каждое движеніе своего сердца, каждую задушевную думу. Онъ заказалъ для нея свой портретъ живописцу Біанки; предостерегалъ ее отъ Ѳ. Л. Морошкина, тайно въ нее влюбленнаго и въ то же время заискивавшаго у ея матери <sup>1)</sup>; сообщалъ ей планъ своего путешествія; договаривался съ ней относительно свиданія...

Свиданіе произошло 1 мая. Долго вспоминалъ его потомъ Надеждинъ. Онъ «не зналъ, рай или адъ было оно для него»; «была ли это пытка блаженства или восторгъ страданія»... Но онъ зналъ, что свершилось «что-то неестественное, что-то сверхчеловѣческое, что-то невыносимое, сожигающее и вмѣстѣ леденящее душу»; онъ зналъ, что Елисавета Васильевна «безмѣрно несчастлива»... Читая письмо, врученное лично ею, онъ почувствовалъ «сладостное, небесное благоуханіе чистѣйшей любви, любви вѣчной и безпредѣльной», но за этой любовью онъ увидѣлъ нѣчто иное—«сырую могилу безнадежнаго отчаянія». Онъ «все понялъ наконецъ»: «она желаетъ смерти». «Она не убѣжитъ съ нимъ, она не можетъ убѣжать»; «не можетъ рѣшиться на эту мѣру, дикую и отчаянную, отвергаемую ея высокимъ

---

1) Ср. письма отъ конца февраля и 21 апрѣля 1835 г.: «Что жъ Ѳедоръ!.. Сказать ли тебѣ? Я подозрѣваю, что онъ тебя любитъ, и любить со всѣмъ изступленіемъ страсти, какое только свойственно бѣдной его душѣ...». Или «Вчера (20 апрѣля) былъ у меня Ѳ[едоръ] Л[укичъ]. Я открылся ему.. Онъ нѣмъ, какъ рыба... «Я ничего не знаю ушами», говорилъ онъ: «я ничего ни отъ кого не слыхалъ; но я знаю все глазами: я все видѣлъ и вижу!» Думаю, что этотъ отвѣтъ внушенъ ему твоею матерью.. Отвѣтъ превосходный.. Лучше нельзя было ничего придумать.. Я говорилъ, я плакалъ, я свирѣпствовалъ—п слышалъ одно молчаніе...». Въ письмѣ отъ 1 мая также характеризуется поведеніе Морошкина: «Тяжелы были мнѣ страданія, вытерпѣнныя тобою по случаю статьи о Каратыгинныхъ... Но вѣдь я предупреждалъ тебя.. Этотъ дьяволъ, Маркобрунъ, и тутъ не упустилъ случая.. Такой клеветы я ужъ никогда не прощу ему.. Онъ очень хорошо знаетъ, кто писалъ статью: наканунѣ выхода *Молвы*, онъ обѣдалъ у насъ, и рѣчь шла объ этой статьѣ; сочинитель нисколько не скрывался.. А онъ?.. Ну да чего добраго ждать отъ этого грубаго мужика, настоящаго семинариста-бурсака во всей формѣ?..».

нравственнымъ чувствомъ». И она не должна «увѣрять его понапрасну въ томъ, чего не можетъ выполнить»... «Она сама себя обманывала, и теперъ обманываетъ,—и будетъ вѣчно обманывать!» Она «способна осудить себя на вѣчное страданье, чтобы остаться въ мирѣ съ своею совѣстью»; она его «никогда не разлюбитъ» — но «будетъ вѣчно страдать и вѣчно повиноваться». «Какъ безчувственный врачъ», Надеждинъ рѣшилъ «сорвать безжалостно перевязку» съ жгучихъ ранъ, «дабы видѣть ясно степень» постигшаго его «бѣдствія». «Ее не отдадутъ за него, не отдадутъ никогда». Марія Ивановна «всемогуща въ семействѣ» Кобылиныхъ; «она—все». Но она «имѣетъ много внутреннихъ причинъ никогда не согласиться» на бракъ дочери. Первая причина—вліяніе общественнаго мнѣнія; вторая—«предразсудки касты»; третья, ненависть къ нему, Надеждину, ибо она сознаетъ, что онъ «не можетъ быть ею доволенъ», что онъ «оскорбленъ» ею и «какъ гражданинъ», и «какъ человекъ, съ которымъ она была прежде связана узами сердечнаго расположенія».

«Что жъ оставалось дѣлать» Надеждину? Онъ «задавалъ себѣ этотъ вопросъ ежеминутно,—и голова его мутилась, сердце замирало»... «Единственный отвѣтъ», который «могъ разсѣчь Гордіевъ узелъ несчастной судьбы», былъ подсказанъ Елисаветой Васильевной. «Я читалъ», сообщаетъ ей Надеждинъ: «спену Шиллера, о которой ты мнѣ писала... Я долго вдумывался въ нее—и наконецъ понялъ весь ея ужасный и высокій смыслъ!.. Мы точно въ томъ положеніи, какъ Фердинандъ и Луиза... Но, милая моя, роли должны быть переставлены... Вѣдь, Луиза-то я!.. Я только могу и долженъ сказать тебѣ то, что она сказала Фердинанду... Другъ мой! Я отнимаю тебя у твоихъ родителей, у твоего состоянія, у всего... Душа моя замираетъ... но это такъ, именно такъ!.. И такъ мнѣ остается—рѣшимость Луизы!» Надеждинъ «держалъ надъ собою ножъ, и готовъ былъ принести себя въ жертву»...

Свиданіе 1 мая оказалось роковымъ. Прекратившая было прежнія застрачиванья и начавшая дѣйствовать ласками и силой убѣжденія, Марія Ивановна пришла въ страшное негодованіе, когда услужливые люди донесли ей о безразсудномъ поступкѣ своенравной дочери, — и опять возвратилась къ старой репрессивной системѣ.

Елисавету Васильевну «стѣснили» до крайности; она была «смята, раздроблена, уничтожена». Ея чувство было «поругано»;

«ея душу рвали калеными клещами». «*Мудрено ли, что въ эти ужасныя минуты ей пришла на мысль отчаянная мѣра, отъ которой прежде содрогалось все существо ея?*» Она извѣстила объ этомъ Надеждина <sup>1)</sup>.

Надеждинъ понималъ, что полученная имъ записка отправлена въ порывѣ отчаянія. «Я радъ», писалъ онъ: «адски радъ тому, что дѣло, наконецъ, объяснилось. Тебя не отдадутъ. Но какъ же мнѣ положиться и на твою рѣшимость бѣжать?.. Обдумай внимательно... Испытай себя и не рискуй безразсудно собою. Я не раскаюсь... но ты? О! твоё раскаяніе сожжётъ всю жизнь мою... Одно могу сказать тебѣ предварительно... Мнѣ должно ѣхать непремѣнно... Въ субботу я уже публикуюсь... Теперь нельзя и думать о нашемъ планѣ... <sup>2)</sup>». Все такъ свѣжо, такъ живо... Все испорчено до нельзя этимъ несчастнымъ свиданіемъ... Сказать ли еще мою мысль... Ты говоришь, что тебѣ не вѣрятъ—а кто этому причину?.. Ты сама пишешь, что притворяешься спокойною, говоришь о постороннихъ вещахъ... Зачѣмъ это? Только себя изнуряешь насиліемъ—и ихъ допускаешь предаваться заблужденію... Не лучше бѣ ли было говорить всегда истину, съ кроткою твердостью?.. Просить безъ угрозы, безъ ожесточенія... Молчаніе твое и потомъ жаркія вспышки всего естественнѣе могутъ быть принимаемы за дѣтство, которое должно пройти».

Одновременно съ этимъ письмомъ, Надеждинъ составлялъ другое на имя Маріи Ивановны: въ немъ онъ формально просилъ руки ея дочери. 10 мая утромъ письмо было послано. «Два часа дожидался онъ отвѣта; наконецъ, получилъ въ слѣдующихъ словахъ, написанныхъ рукою Федора Лукича (Морошкина)»: «Письмо ваше отдано Маріи Ивановнѣ. Василій Александровичъ и Марія Ивановна приказали вамъ сказать, что на письмо ваше они отвѣчаютъ прежнимъ отвѣтомъ, то-есть что между вами и ими все кончено, потому что между вами и ими никакихъ отношеній не можетъ быть и не будетъ».—Очевидно, Кобылины хотѣли увѣрить свѣтъ, что Надеждинъ уже раньше дѣлалъ предложеніе и получилъ отказъ, хотя это совершенно не соотвѣтствовало дѣйствительности.

Вскорѣ Надеждинъ узналъ отъ Дядьковского, что родные Елисаветы Васильевны хотятъ увезти ее въ Крымъ или Одессу;

<sup>1)</sup> Письма отъ 2, 3, 11, 24 мая 1835 г.

<sup>2)</sup> Т. е. о намѣреніи тайно обвиняться и уѣхать за границу.



что она захворала отъ волненій и отъ простуды во время свиданія, и онъ сталъ бояться за ея здоровье. «Можетъ быть, онъ и могъ бы украсть ее, отбить, похитить на дорогѣ къ приготовляемой ей тюрьмѣ, но кто поручится ему, что онъ не заключить ея безжизненный трупъ въ свои неистовыя объятія?» И ему казалось, что лучше ѣхать одному за границу и отложить побѣгу на полгода. Здоровье Елисаветы Васильевны въ теченіе этого времени окрѣпнетъ; ее не будутъ стеречь съ такимъ «звѣрскимъ остервенѣніемъ», ибо некого будетъ опасаться; даже рѣшеніе Кобылиныхъ пробыть три года на югѣ Россіи вѣроятно измѣнится, и они къ зимѣ вернутся въ Москву. Тогда-то, возвратившись раньше срока, онъ «упадетъ какъ снѣгъ на ихъ голову»; и она не отвергнетъ его,—послѣдуетъ за нимъ. Они будутъ счастливы! «О съ какою гордостью, съ какимъ упоеніемъ», писалъ Надеждинъ: «представляю я тебя моей нѣжной подругой!.. Я царь на престолѣ съ тобою!.. Знаешь ли, другъ мой! Третьяго дня вечеромъ, когда я писалъ письмо къ твоей матери, Константинъ, вслѣдствіе моей давнишней, въ шутку сдѣланной просьбы, написалъ акrostихъ къ будущей моей женѣ, то-есть къ тебѣ теперь. Вотъ онъ:

На ней почиютъ вдохновенья,  
Алмазной цѣпью сплетены;  
Дары благого Провидѣнья  
Ей въ изобиліи даны;  
Жизнь съ беззаботною улыбкой  
Даешь ей лучшіе цвѣты,  
И вьются, вьются цѣпью зыбкой  
Надъ нею легкія мечты;  
Алѣетъ утро красоты!

Изъ заглавныхъ буквъ выходитъ Надеждина (Елисавета!)... О, какъ этотъ портретъ будетъ походить на оригиналь, когда мы будемъ вполне счастливы!.. Константинъ славно угадалъ прекрасный идеалъ души моей.. Да будетъ такъ!.. Это вдохновеніе юнаго, невиннаго младенчески сердца—я признаю за пророчество» <sup>1)</sup>).

Но Аксаковъ оказался плохимъ пророкомъ: «судьба непостижимо играла» Надеждинымъ, и не по усыпанной цвѣтами дорогѣ, а по тернистому пути предстояло пройти ему вмѣстѣ съ избран-

---

<sup>1)</sup> Письма отъ 9, 11 мая 1835 г.—Ср. письмо отъ 22 апрѣля.

ницей его сердца. «Неожиданная переменѣна воспослѣдовала». «Обстоятельства располагались такъ чудно и непредвидѣнно». 14 мая Надеждинъ узналъ, что императоръ Николай «издалъ повелѣніе никому не выѣзжать за границу безъ его позволенія». Возможныя послѣдствія этого высочайшаго распоряженія заставили Надеждина призадуматься. *«Если Государь не дастъ ему позволенія, какъ человѣку подозрительному и опасному, это можетъ совершенно убить всю его будущность; тогда ему никто и нигдѣ не дастъ мѣста»*,— мечты о вице-губернаторствѣ никогда не осуществляются. Подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія Надеждинъ отправилъ къ Княжевичу письмо, въ которомъ просилъ его хлопотать ему разрѣшеніе ѣхать за границу, но «когда пообдумался и сталъ нѣсколько хладнокровнѣе, другія мысли овладѣли имъ». Изъ писемъ Елисаветы Васильевны онъ видѣлъ, что она «неохотно отпускаетъ его въ чужіе края», и въ этомъ фактѣ онъ усмотрѣлъ указаніе, ниспосланное свыше. «Можетъ быть, отъѣздъ мой», говорилъ онъ: «не только лишній, но даже имѣлъ бы для насъ вредное вліяніе... Можетъ быть, онъ отдалилъ, затянулъ бы наше счастье... Кто знаетъ, что могло бы случиться въ это время?»

Не лучше-ли «кончить все скорѣе?» Онъ исполнить въ послѣдній разъ профессорскія обязанности: явится въ университетъ, проэкзаменуетъ студентовъ <sup>1)</sup>, а затѣмъ, «взявъ чистую отставку», подготовитъ побѣгъ. Важно лишь знать, гдѣ будетъ она? Если она останется въ Воскресенскомъ, можно будетъ имѣть сношенія чрезъ какой-нибудь изъ тѣхъ способовъ, которые уже примѣнялись на практикѣ. «Тогда все бы зависѣло отъ удобствъ времени и обстоятельствъ»... Но если ее увезутъ,—что предпринять въ этомъ случаѣ? Можетъ ли быть исполнено его намѣреніе въ Крыму или въ Одессѣ? Онъ, «разумѣется, готовъ [слѣдовать] за ней, хоть на край свѣта»... Но какъ она «дастъ ему о себѣ извѣстіе?» «Что будетъ зависѣть отъ него», то все будетъ исполнено. «Но много встрѣтится такихъ вещей, гдѣ одного его будетъ недостаточно»... Пусть же она «рѣшить, что онъ долженъ дѣлать, чего можетъ ожидать»... «Пистолетовъ онъ не

---

<sup>1)</sup> Ср. письмо отъ 11 (?) мая 1835 г.: «Въ понедѣльникъ я, можетъ быть, явлюсь на лекціи. Надо дать экзаменъ студентамъ по моимъ предметамъ. Безъ того не выпускать изъ университета... Что дѣлать! Соберу всѣ свои силы. Я долженъ буду увидѣть Александра и экзаменовать его... пытка!»

боится: вѣдь, они умрутъ вмѣстѣ—не правда-ли? Онъ дорожить жизнію только для *нея*, а съ ней хоть сейчасъ въ могилу».

Такія соображенія изложены въ письмѣ на имя Елисаветы Васильевны, которую Надеждинъ молилъ дать отвѣтъ немедленно, такъ какъ времени осталось немного, и она должна «собрать всю свою твердость и мужество». «Тверди своимъ», совѣтовалъ онъ ей: «что у тебя нѣтъ силъ ждать, что *ты непременно убѣдишь ко мнѣ*. Домогайся одного, чего еще можно домогаться: чтобы тебя отпустили они сами на всѣ четыре стороны... толкнули въ мои объятія... Грози, что ты не будешь скрывать любви своей... не побоишься никого и ничего... Можетъ быть, ты надоѣшь имъ своею твердостью... можетъ быть, они тебя выгонятъ ко мнѣ... О! если бы это случилось... Тебѣ это въ тысячу разъ было бы легче, чѣмъ побѣгъ; а я весь отъ тебя завишу... Твое спокойствіе есть мое блаженство... Мы еще имѣемъ передъ собой два или полтора мѣсяца... Это довольно времени... Если уже непременно увезутъ тебя, найди случай, во что бы то ни стало, извѣстить меня черезъ почту: гдѣ ты? Я прилечу на крыльяхъ любви... Я убью все мое состояніе, войду въ долги,—закабалу, заложу всю мою будущность, чтобы имѣть средства овладѣть тобою... Мы играемъ въ ужасную игру; но это будетъ *coup décisif*: быть или не быть!» <sup>1)</sup>

«Ужасная игра» затянулась. «Пришла страшная вѣсть о новой болѣзни» Елисаветы Васильевны,—«болѣзни, грозящей ей смертью»; это «бѣдствіе» ошеломило Надеждина. Онъ «не чувствовалъ ничего, кромѣ ея страданій, ея опасности; не понималъ ничего, кромѣ необходимости спасти ее во что бы то ни стало» <sup>2)</sup>.

Но спасти было трудно. Недугъ Елисаветы Васильевны, развившійся на почвѣ нервнаго расстройства и выразившійся въ упадкѣ силъ и большой раздражительности, сдѣлалъ ее болѣзненно впечатлительной. Ея разстроенное воображеніе работало надъ неблагодарнымъ матеріаломъ—разными вздорными слухами о Надеждинѣ, о которомъ рассказывались всякія небывицы,—и ей чудилось, что онъ къ ней охладѣлъ, что чувство его непрочное. Плодъ своей фантазіи она принимала за дѣйствительный фактъ, и съ необычайной чуткостью ловила всякое слово о Надеждинѣ,

<sup>1)</sup> Письмо отъ 15 мая 1835 г.

<sup>2)</sup> Письмо отъ 17—20, 24 мая 1835 г.

сказанное домашними, умышленно старавшимися подорвать ее къ нему довѣріе. И довѣріе поколебалось. Она стала грозить Надеждину, что разлюбитъ его и возненавидитъ, и требовала отъ него клятвъ въ вѣрности и искренности его намѣреній. Въ критическую минуту она не хотѣла взять на себя отвѣтственность за послѣдствія побѣга и возлагала ее на Надеждина, которому предоставляла рѣшеніе своей судьбы.

Изъ письма Елисаветы Васильевны Надеждинъ убѣдился, что «губительный ядъ сомнѣнія» успѣлъ отравить ее доброе сердце», что она «не можетъ разсуждать, ничего не видитъ, не видитъ даже, какъ нелѣпо выдуманы клеветы, возмутившія ее умъ»... «Одно только: гдѣ жъ любовь? Стало [быть], «можно любить—и повѣрить первому слуху», «какъ бы онъ ни былъ гнусенъ». Онъ ее не винитъ: она разстроена; но онъ не станетъ оправдываться, не станетъ «клясться въ томъ, что онъ не измѣнникъ, не подлець, не мерзавецъ». Это «унизительно!» Ея любовь — «безцѣнный даръ, за который онъ долженъ вѣчно благодарить Бога». Онъ «ничѣмъ не заслужилъ ее»; «она сошла на него, какъ Благодать сходитъ на избранную, святую душу»... Можно «отнять у него этотъ даръ — и съ нимъ все, чѣмъ живетъ душа его»; но зачѣмъ же «заставлять его слышать, что онъ самъ причина своего отверженія, самъ заслужилъ смерть свою!» Надо помнить одно: «Кто любить, тотъ вѣруетъ! Безъ вѣры нѣтъ любви, есть только изступленіе». Онъ понимаетъ важность наступившаго момента, и проситъ «быть снисходительнѣе къ нему», «раздѣлить съ нимъ тяжесть» и «не возлагать на него одного отвѣтственность за ихъ судьбу». «Все пополамъ... Онъ оставляетъ ей желаніе; себѣ беретъ исполненіе»; онъ не скрываетъ, что лучше ускорить развязку ихъ драмы, но не навязываетъ ей своихъ взглядовъ и хочетъ знать ея «послѣднее мнѣніе». Если она рѣшится, пусть «увѣдомитъ, когда она ѣдетъ и гдѣ»... Онъ «будетъ ждать ее на дорогѣ—и чтò будетъ, то будетъ!» Онъ «предпочитаетъ взять ее съ дороги именно потому, чтобы сдѣлать какъ можно меньше гласности». «Когда мать ея возвратится изъ путешествія, о нихъ уже позабудутъ». «Итакъ все теперь въ рукахъ ея и Божіихъ!» «Если она будетъ имѣть столько силъ, чтобы выполнить» его планъ,—они «умрутъ или будутъ вмѣстѣ!»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Письма отъ 17—21 мая 1835 г.

Увы! силъ Елисаветы Васильевны не хватило на то, чтобы сдѣлать рискованный шагъ: ея отвѣтное письмо «произвело ужасный переворотъ» въ Надеждинѣ. Сначала онъ «былъ въ неистовствѣ, клялъ небо и землю, хулилъ Бога»... потомъ лилъ «слезы тихой горести, сквозь которыя сіялъ лучъ благодатной надежды». Собравшись съ силами, онъ извѣстилъ Елисавету Васильевну о своемъ «окончательномъ рѣшеніи, коимъ совѣсть, долгъ и честь заставляли его заключить весь этотъ длинный рядъ волненій». «Будь сама безпристрастнымъ судьей», писалъ онъ ей: «Кто былъ главнымъ виновникомъ этихъ ужасныхъ катастрофъ, чрезъ которыя переходила ты съ опасностью своей драгоценной жизни?— Я!—Мое присутвіе было для тебя губительнымъ ядомъ: оно не давало тебѣ ни минуты успокоенія; оно перекидывало тебя безпрестанно то въ небо, то въ адъ; оно истерзало всю твою душу!.. Увлечись словами, вырывавшимися изъ души твоей безъ мысли, по собственному твоему признанію, я имѣлъ жестокость схватиться за эти слова, прояснить для тебя смыслъ ихъ, оцвѣтить обольстительною надеждою, превратить наконецъ въ потребность... которая не можетъ быть исполнена... которой не только исполненіе—одно присутвіе въ душѣ твоей есть уже для тебя источникъ лютейшихъ мукъ. сѣмя ужаснѣйшихъ страданій... Да! другъ мой! теперь я понимаю, вижу, осязаю, что еслибъ я осмѣлился воспользоваться твоею настоящею рѣшимостью... я бы произнесъ твой смертный приговоръ—я бы убилъ тебя... Въ настоящую минуту, соединеніе твое со мною не можетъ принести тебѣ счастья... Зачѣмъ ты обманываешь себя? Зачѣмъ вымучиваешь изъ себя рѣшеніе, исполненіе котораго будетъ твоею смертью... Я уже видѣлъ это изъ предыдущаго твоего письма; послѣднее еще болѣе вразумило меня... На каждой строкѣ твоя рѣшимость сопровождается смертнымъ содроганіемъ... Говоришь безусловно — и прибавляешь тысячу: *а если... если...* О! Я понимаю смыслъ этихъ *если*; я былъ бы извергъ, если бы не понялъ ихъ... Сердце твое раздвоено... Будь искренна, другъ мой! признайся сама себѣ: твое рѣшеніе кажется тебѣ *преступленіемъ*... И я поущу тебѣ сдѣлаться преступницей въ собственныхъ твоихъ глазахъ?.. Никогда! Клянусь тебѣ небомъ и адомъ... Лучше умремъ вмѣстѣ... Да! милый другъ! ты хочешь поступить *противъ* своей *совѣсти*: это не возможно... я самъ не доущу тебя... Одно только могло рѣшить меня принять всѣ твои жертвы: отреченіе отъ родныхъ, отъ связей, отъ прежнихъ привычекъ, отъ состоя-

нія, отъ мнѣнія свѣта, отъ всего твоего прошедшаго и настоящаго—одно, я говорю: увѣренность, что соединеніе со мною дастъ тебѣ полное, невозмущаемое счастье — счастье, которое замѣнитъ тебѣ все, вознаградитъ тебя за все, однимъ собою наполнитъ, просвѣтитъ, украситъ всю жизнь твою... Мой долгъ, высокій, священный долгъ—даровать тебѣ это счастье... Но, милый ангелъ,—этой увѣренности я не имѣю и не могу имѣть... И теперь рѣшимость твоя, еще не исполненная, сопровождается безпрестанными, немолкающими угрызеніями?.. Что жъ будетъ по исполненіи?.. Эти угрызенія вопьются въ твое сердце лютыми змѣями; они не дадутъ ему отдохнуть и забыться на груди моей... Не будемъ украшать для себя будущность... Ты боишься проклятія, тогда какъ оно можетъ упасть на тебя только въ видѣ угрозы; что жъ тогда, когда оно разразится надъ тобой всей своей тяжестью, по исполненіи? А это можетъ очень случиться!.. Я не думаю, чтобъ отецъ твой умеръ съ печали, хотя знаю, что онъ во сто разъ чувствительнѣе твоей матери; но съ нимъ можетъ случиться естественнымъ образомъ болѣзнь, можетъ случиться все; что тогда будетъ съ тобою? Ты сама умрешь на рукахъ моихъ!.. Не правда ли?.. Итакъ, какъ же я могу, по совѣсти, какъ честный и благородный человѣкъ, принять твою насильственную рѣшимость, уже и теперь осуждаемую твоею совѣстью?.. Ангелъ мой! Я люблю тебя всѣмъ бытіемъ моимъ... и эта-то самая любовь заставляетъ меня... о! ужасно! ужасно!.. заставляетъ *отказаться* отъ тебя—*на время!!!*... Пускай это *время* будетъ для тебя самой временемъ испытанія... Теперь въ тебѣ борются *два* чувства; а въ борьбѣ нѣтъ и не можетъ быть счастья... Не вѣрь этимъ минутамъ порывовъ, когда любовь достигаетъ въ тебѣ до насильственнаго напряженія, и повидимому торжествуетъ надъ долгомъ... Дай свободу сразиться этимъ двумъ чувствамъ въ тишинѣ... Пусть одно изъ нихъ побѣдитъ — и побѣдитъ прочно!.. Я не думаю, не могу — не хочу думать, чтобы твоя любовь могла уступить... Это невозможно... Но дай же мнѣ увѣриться, что эта любовь наполняетъ *всю* твою душу — безъ исключенія, безъ раздѣленія, безъ всякихъ условій!.. Тогда—совѣсть моя будетъ покойна; тогда я увѣрюсь, что твое счастье невозможно безъ меня, что я *одинъ* могу составить твое блаженство на землѣ—и составлю!.. Тогда, милый другъ мой, ничто меня не удержитъ; я растопчу въ прахъ всѣ препятствія; и мы—хоть минуту—но бу-

демъ вмѣстѣ!.. *Вмѣстѣ*—о какое божественное слово! сколько въ немъ упойтельнаго, невыразимаго блаженства!» <sup>1)</sup>).

Черезъ двѣ недѣли послѣ отправки письма Надеждинъ выѣхалъ въ Петербургъ <sup>2)</sup> съ горькимъ сознаниемъ, что «его доброе имя поругано, обезчещено, распято на лобномъ мѣстѣ злословія»; что «любовь его не есть тайна», что о ней говорятъ и въ клубахъ, и въ театрѣ... «Все ложилось на немъ (*sic*) въ устахъ тѣхъ людей, которые на все смотрятъ со злобою». Онъ соблазнитель, былъ открытъ, выгнанъ изъ дома Кобылиныхъ и затѣвалъ побѣгъ, къ счастью, неудавшійся—вотъ тема, которая на всѣ лады развивалась въ пересказахъ праздныхъ москвичей. Они «рубилъ вправо и влево, вкось и вкривь», и трудно представить разнообразіе толковъ, догадокъ, пересудовъ, которые распространялись по городу <sup>3)</sup>.

«Когда Надеждинъ, теоретически влюбленный», рассказываетъ Герценъ: «хотѣлъ тайно обвиняться съ одной барышней, которой родители запретили думать о немъ, Кетчеръ взялся ему помогать, устроилъ романтическій побѣгъ, и самъ, завернутый въ знаменитомъ плащѣ чернаго цвѣта съ красной подкладкой, остался ждать завѣтнаго знака, сидя съ Надеждинымъ на лавочкѣ Рождественскаго бульвара. Знака долго не подавали. Надеждинъ унылъ и палъ духомъ. Кетчеръ стойчески утѣшалъ его; отчаяніе и утѣшеніе подѣйствовали на Надеждина оригинально, онъ задремалъ. Кетчеръ насупилъ брови и мрачно ходилъ по бульвару. «Она не придетъ», говорилъ Надеждинъ спросонья: «пойдемте спать». Кетчеръ вдвое насупилъ брови, мрачно покачалъ головой и повелъ соннаго Надеждина домой. Вслѣдъ за ними вышла и дѣвушка въ сѣни своего дома, и условленный знакъ былъ повторенъ не одинъ, а десять разъ, и ждала она часъ—другой: все тихо, она сама еще тише возвратилась въ свою комнату, вѣроятно поплакала, но за-то радикально вылечилась отъ любви

<sup>1)</sup> Письмо отъ 24 мая 1835 г.

<sup>2)</sup> 8 іюня М. П. Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникѣ: «Обѣдъ у Аксакова на провожанье Надеждина. Очень разстроень. Поѣхалъ провожать его. Мимо Кобылиныхъ. Она, кажется, подъ окошкомъ. Онъ перекрестился и скинулъ шляпу передъ Страстнымъ монастыремъ». Тогда Погодинъ былъ посвященъ въ тайну Надеждина, рассказавшаго ему «свою исторію»... (*Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1891, кн. 4, стр. 311—312.*)

<sup>3)</sup> Письма Надеждина отъ 14 апрѣля; 1, 17—19 мая 1835 г.—Ср. письмо С. Т. Аксакова отъ 26 марта 1835 г.

къ Надеждину. Кетчеръ долго не могъ простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, съ дрожащей нижней губой говорилъ: «Онъ ее не любилъ» <sup>1)</sup>. Еще въ худшемъ свѣтѣ воспроизведенъ знаменательный эпизодъ въ Запискахъ Н. Н. Мурзакевича. «Надеждинъ», по его словамъ, «жилъ домашнимъ учителемъ въ домѣ богатаго московскаго помѣщика Сухово-Кобылина и давалъ уроки его несовершеннолѣтней дочери. Съ расчетомъ или безъ расчета, страстишки учителя разыгрывались, и кончилось, было, тѣмъ, что, дѣвушка, въ одинъ вечеръ, должна была захватить съ собой материнскій ларецъ, тихонько выйти и обвѣнчаться... Неизвѣстно, почему планъ разстроился и какъ въ семьѣ обнаружился» <sup>2)</sup>.

Такъ иронизировали или клеветали современники Надеждина; въ ихъ словахъ прозрачно отражались досужія московскія сплетни: Герценъ ссылаясь на Кетчера, Мурзакевичъ — на Морошкина и Черткова.

---

<sup>1)</sup> А. Герценъ. Сочиненія. Спб., 1905, т. II, стр. 473—474.—Ср. Сборникъ посмертныхъ статей А. И. Герцена. Genève-Bâle-Lyon, 1874, стр. 6—8.

<sup>2)</sup> Русская Старина, 1887, № 6, стр. 661; 1888, № 2, стр. 407.



### VIII.

Странствія на чужбинѣ.—Возвращеніе въ Россію.—Разлука съ Е. В. Сухово-Кобылиной.—Продолженіе журнальной дѣятельности.—Статья П. Я. Чадаева и запрещеніе *Телескопа*.—Ссылка.

Двѣнадцатаго іюня 1835 г. изъ Петербурга отбылъ пароходъ, направлявшійся въ Любекъ. На этомъ пароходѣ, въ числѣ пассажировъ, находились П. В. Кирѣевскій, больной литераторъ В. П. Титовъ, Д. М. Княжевичъ съ сыномъ, князь Кропоткинъ <sup>1)</sup> и Надеждинъ. За нѣсколько часовъ до отъѣзда послѣдній сдалъ на почту письмо на имя Елисаветы Васильевны. Онъ слалъ ей «послѣднее слово изъ Россіи»: молилъ любить и ждать его, беречь здоровье и надѣяться на лучшее будущее. Онъ уносилъ въ дальніе края «сердце, наполненное одною ею», и завѣрялъ, что, возвратившись, «повергнетъ его къ ея ногамъ въ цѣлости» <sup>2)</sup>.

Четверо сутокъ ѣхалъ Надеждинъ по морю. «Никогда онъ не былъ сосредоточеннѣе въ себѣ, какъ нынѣ». Плаваніе не могло его разсѣять. «Все разнообразіе представляющихся ему предметовъ мелькало передъ нимъ смутною фантазмагорією... Онъ видѣлъ только» Елисавету Васильевну, «думалъ только о ней». Она—«весь его міръ, вся вселенная». «Милый, прекрасный образъ» покинутаго друга «неразлучно сопутствовалъ душѣ его». Въ три съ половиною часа утра 16 іюня пароходъ проѣзжалъ мимо острова Борнгольма, и «при шумѣ волнъ и завываніи вѣтра» спутники Надеждина «запѣли знакомую пѣсню Гревсендскаго незнакомца». «Духъ у Надеждина занимался, кровь цѣпенѣла... О! думалъ ли онъ когда, чтобъ эта пѣсня могла такъ близко примѣниться къ нему, исторгаться такимъ живымъ, скорбнымъ воплемъ изъ души его!»

---

<sup>1)</sup> Родственникъ Д. М. Княжевича.

<sup>2)</sup> Письмо изъ С.-Петербурга отъ 12 іюня 1835 г.

17 іюня Надеждинъ «вышелъ на твердую землю въ Любекѣ». «Море и земля» разъединяли его съ Елисаветой Васильевной, и онъ чувствовалъ, что «каждый шагъ будетъ раздѣлять ихъ все дальше и дальше». Она одна со своими страданіями! Онъ не можетъ облегчить ея горести; смѣшать ея слезы со своими, «страдать и надѣяться вмѣстѣ!» Мрачно настроенный сидѣлъ онъ въ комнатѣ, отведенной ему въ гостиницѣ для пріѣзжающихъ; на башнѣ, которая возвышалась напротивъ его оконъ, пробило двѣнадцатъ, но онъ не спалъ. Эти ночныя бдѣнія были тягостны <sup>1)</sup>).

На слѣдующій день утромъ наши путешественники отправились дальше, и къ вечеру прибыли въ Гамбургъ. Они остановились здѣсь на два дня. Погода испортилась, и выходить на улицу изъ отеля было неприятно. «На дворѣ пасмурно. Изрѣдка моросить дождь. Небо заволокло[съ] сѣдымъ туманомъ». Надеждинъ ощутилъ гармонію между природой и своей «унылой душою». «И его горизонтъ, и его настоящее обвиты тучами». «Улучивъ первую свободную минуту», онъ поспѣшилъ починить кольцо Елисаветы Васильевны. Онъ «боялся отдавать его въ Москвѣ, и взялъ съ собою такъ же, какъ оно досталось ему,—изломаннымъ». Но ему хотѣлось имѣть кольцо «безпрестанно предъ глазами, чувствовать на своемъ пальцѣ, орошать слезами, осыпать поцѣлуями. Онъ хотѣлъ еще въ Любекѣ починить его; но время было такъ коротко, притомъ и голова все еще кружилась отъ горя»... Гамбургскій мастеръ быстро исполнилъ порученную ему работу, и его заказчикъ могъ любоваться кольцомъ на своей рукѣ. Въ первомъ мѣстѣ, гдѣ будетъ остановка подольше, Надеждинъ думалъ приобрѣсти кольцо и для Елисаветы Васильевны. «Пусть оно будетъ ея обручальнымъ перстнемъ!» И мечта «уносила въ будущность и украшала ее прелестно»... Но иллюзія длилась недолго. Мечта блѣднѣла и таяла передъ дѣйствительностью—этимъ «грознымъ, удушающимъ страшилищемъ». «О, мой другъ», восклицалъ Надеждинъ. «Гдѣ ты? Что съ тобою? Здорова ли ты? Я оставилъ тебя... въ такомъ ужасномъ кризисѣ. И съ тѣхъ поръ—никакого извѣстія... О зачѣмъ нѣтъ у меня крыльевъ? зачѣмъ не могу я пожрать въ одинъ мигъ все раздѣляющее насъ пространство—взглянуть, только лишь взглянуть на тебя—и умереть передъ тобою?» <sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> Письмо изъ Любека отъ 17 іюня 1835 г.

<sup>2)</sup> Письмо изъ Гамбурга отъ 19 іюня 1835 г.

Изъ Гамбурга Надеждинъ и его попутчики выбыли въ субботу, 22 июня. Они ѣхали медленно, «на долгихъ»: «въ понедѣльникъ останавливались часа на два въ Брауншвейгѣ»; во вторникъ вечеромъ добрались до Геттингена, гдѣ Надеждинъ «былъ въ университетѣ на лекціяхъ и потомъ заходилъ къ Геерену» 1); четвергъ и часть пятницы провели въ Касселѣ. Отсюда они «помчались въ дилижансѣ» по направленію къ Кельну. Въ воскресенье, около 3 часовъ ночи, Надеждинъ впервые «увидѣлъ Рейнъ при свѣтѣ полной луны». «Она разливала свой таинственный блескъ такъ же роскошно, такъ же великолѣпно, какъ въ тѣ вѣчно незабвенныя ночи, когда онъ ѣзжалъ съ Елисаветой Васильевной въ Воскресенское, когда они были вмѣстѣ, другъ подлѣ друга, такъ близко, когда они любили уже другъ друга, но любили безотчетно, какъ дѣти, сами не понимая... Онъ вспомнилъ «уговоръ»; сталъ «повѣрять чувства свои лунѣ»; избралъ ее, свѣтящую вездѣ, посредницей въ сношеніяхъ съ родиной. Всякій разъ, когда онъ глядѣлъ на луну, «сердце его говорило» съ его возлюбленной; онъ «привѣтствовалъ милый образъ въ зыбкомъ, трепетномъ, неопредѣленномъ мерцаніи... «Въ своемъ теченіи луна идетъ отъ той стороны, гдѣ онъ теперь, въ ту, гдѣ—его милый, безцѣнный ангелъ»,—и съ ней Надеждинъ «посылалъ поклонъ друга, поцѣлуй жениха».

Кельнъ, гдѣ остановка длилась около двухъ сутокъ 2), произвелъ на Надеждина сильное впечатлѣніе. Еще въ Касселѣ, при посѣщеніи Вильгельмсгёге, онъ почувствовалъ обаяніе «прелестнѣйшаго зрѣлища», которое открылось передъ нимъ съ высотъ замка; его сердце, какъ бы оцѣпенѣвшее въ своей тоскѣ, глухое ко всему окружающему, смягчилось подъ вліяніемъ природы. Теперь же, на берегахъ Рейна, «этой знаменитой рѣки, бывшей свидѣтельницею столькихъ подвиговъ любви и вѣрности во времена минувшія»,—«воспоминанія старины» овладѣли Надеждинымъ. Въ Кельнскомъ соборѣ онъ выстоялъ обѣдню. «Величіе храма, пышность священнослуженія, торжественная музыка—все очаровало его, все настроило душу его къ какому-го сладкому уми-

---

1) Ср. *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 65: Въ Геттингенѣ же Надеждинъ «пользовался бесѣдами» «съ знаменитымъ Отффридомъ Мюллеромъ, тогда собиравшимся въ послѣднее свое путешествіе къ памятникамъ древней Греціи».

2) 30 июня и 1 іюля.

ленію»... Онъ молился горячо, молился за Елисавету Васильевну, за ея и свое счастье. Съ трогательной заботой отнесся онъ и къ Титову, котораго ввѣрилъ его попеченію Кирѣевскій, изъ Касселя проѣхавшій въ Дрезденъ. Съ помощью Княжевича, Надеждинъ отвезъ больного земляка въ Ахенъ, гдѣ послѣдній «долженъ былъ брать воды»; затѣмъ вернулся обратно въ Кельнъ, откуда отправился вверхъ по Рейну, черезъ Боннъ въ Кобленцъ <sup>1)</sup>).

Отъ Бонна, около сорока верстъ, путешественники ѣхали на пароходѣ. «Роскошь видовъ» была поразительна. «Скалы, окружающія со всѣхъ сторонъ Рейнъ, усѣяны великолѣпнѣйшими развалинами древнихъ замковъ. Съ каждымъ изъ нихъ связано какое-нибудь преданіе изъ временъ рыцарства» <sup>2)</sup>). Но нигдѣ не былъ такъ растроганъ Надеждинъ, какъ при видѣ прекраснаго островка, «гдѣ, по мѣстному преданію, была сцена [изъ] незабвенной Шиллеровой баллады: Рыцарь Тогенбургъ», которую онъ такъ часто повторялъ съ Елисаветой Васильевной. На островкѣ расположенъ «свѣтой монастырь, который доселѣ свѣтится изъ липъ и тополей—и подлѣ него черная, высокая скала, на вершинѣ которой гнѣздятся доселѣ развалины замка храбраго и вѣрнаго рыцаря». Надеждинъ «искалъ глазами мѣсто», гдѣ скорбный отшельникъ «столько лѣтъ провелъ, не украшенный надеждою, дожидаясь, пока стукнетъ завѣтное окно»... Казалось, тѣнь умершаго носилась надъ островкомъ; «чудился блѣдный, увялый ликъ, съ которымъ нѣкогда нашли его». Надеждинъ три раза прочелъ балладу <sup>3)</sup>. «Что если судьба готовитъ и ему въ будущности ту же участь?»

Въ Кобленцѣ Надеждинъ занялъ номеръ въ гостиницѣ, находившейся у устья Мозели. Изъ открытыхъ дверей балкона ему былъ виденъ красивый ландшафтъ: «Рейнъ, съ противоположнымъ берегомъ, весь облитый роскошнымъ полуденнымъ солнцемъ, разстилался передъ глазами». Вниманіе Надеждина привлекла «изсѣченная изъ скалы» «грозная крѣпость», «гора, съ рощицей наверху, по всему скату покрытая виноградниками... но «осиротѣлая душа его тосковала»: его тянуло въ Эмсъ; тамъ онъ долженъ былъ найти письма изъ Москвы <sup>4)</sup>).

<sup>1)</sup> Письмо изъ Кельна, отъ 1 іюля 1835 г.

<sup>2)</sup> Эти преданія рассказаны Надеждинымъ въ статьѣ: «Путешествіе по Рейну» (*Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, стр. 494—569).

<sup>3)</sup> Ср. *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, стр. 494—562.

<sup>4)</sup> Письмо изъ Кобленца отъ 6 іюля 1835 г.

Въ Эмсѣ Надеждину суждено было обмануться въ своихъ расчетахъ: зайдя на почту, онъ «не нашелъ ничего»... У него мелькнула мысль, что корреспонденція направлена во Франкфуртъ на Майнѣ; онъ помчался туда, но «проклатіе, гнѣвъ небесный всюду преслѣдовали его», и какъ громомъ поразилъ его отвѣтъ: «ничего нѣтъ!».—«Милый ангелъ!.. что значитъ это ужасное молчаніе? Что та[ить въ себѣ] мрачная неизвѣстность?» писалъ Надеждинъ. И онъ «не могъ рѣшиться оставить Франкфуртъ... Надежда еще вспыхивала иногда [слабымъ] огонькомъ, въ душѣ его... Кто знаетъ? Можетъ быть, письмо еще [можетъ прі]йти? Можетъ быть... Онъ старался, приневоливалъ себя выдумывать [тысячу предпо]ложеній—тысячу «можетъ быть»... Не нынѣ, такъ завтра; не завтра, такъ послѣзавтра... По счастью, Княжевичъ имѣлъ мысль посѣтить т[акъ назыв]аемое Рейнгау, гдѣ рождаются лучшія рейнскія вина, для наблюденія надъ [воздѣлы]ваніемъ виноградниковъ... Надеждинъ укрѣпилъ его въ этой мысли; и чтобъ больше выиграть времени, они отправились пѣшкомъ въ горы». Вещи были оставлены во Франкфуртѣ.

«Цѣлую недѣлю пробылъ Надеждинъ въ окрестностяхъ этого города, сдѣлавшагося для него такъ злосчастно драгоценнымъ». Писемъ изъ Москвы не было. Временно улучшившееся настроеніе вновь омрачилось. «Тучи сгустились!» Ждать болѣе было нечего; оставалось взять въ руки страннической посохъ,—и пуститься въ дальнѣйшій путь <sup>1)</sup>.

Около половины іюля Надеждинъ простился съ Франкфуртомъ, и поѣхалъ по направленію къ Страсбургу. Начиная съ этого момента, за отсутствіемъ документовъ, нельзя судить о его настроеніи; можно лишь съ внѣшней стороны описать путешествіе <sup>2)</sup>.

Пріѣхавъ въ Страсбургъ, Надеждинъ прежде всего замѣтилъ, что «столица Рейнской Франціи съ нѣмецкимъ именемъ сохраняетъ неизгладимыя черты нѣмецкаго происхожденія... <sup>3)</sup>. Дивная колокольня, исполинское дитя искусства, рожденнаго и взлелѣяннаго германскимъ гениемъ, изъ глубины облаковъ, пронзаемыхъ ея неустрашимой стрѣлою, братски переглядывается съ готиче-

---

<sup>1)</sup> Письмо изъ Франкфурта на Майнѣ отъ 11 іюля 1835 г.

<sup>2)</sup> Вѣроятно, въ бумагахъ Надеждина, принадлежащихъ проф. И. А. Шляпкину, есть письма, на основаніи которыхъ возможно пополнить наше изложеніе.

<sup>3)</sup> Писано въ концѣ 1835 г.—*Телескопъ*, т. XXXI, № 1, стр. 172—202.

скими зámками, вѣнчающими хребетъ Шварцвальда. Всѣ прочіе зданія, церкви и дома, за исключеніемъ немногихъ вновь построенныхъ, смотрятъ по-нѣмецки. На улицахъ простодушная нѣмецкая флегма мѣшается съ французской веселой живостью; вывѣски и афиши пестрѣютъ двуязычными буквами; даже журналы дѣлятся на два столбца: нѣмецкій и французскій. Но, со всѣмъ тѣмъ, Надеждинъ уже чувствовалъ себя во Франціи. Онъ слышалъ ея языкъ, эту заповѣдную святыню нашихъ гостиныхъ, эту привилегированную вывѣску нашей образованности, это исключительное достояніе нашего высшаго общества, слышалъ на улицахъ и площадяхъ, изъ устъ кучеровъ и торговкокъ... И когда, въ первый вечеръ по прїѣздѣ его въ Страсбургъ, горничная, являсь убирать его комнату, заговорила съ нимъ по-французски—да какъ еще по французски! не хуже нашихъ образованныхъ барышенъ съ двумя стами душъ приданого!»—онъ «испыталъ какое-то особенное чувство прїятнаго удивленія. Онъ понялъ, что находится, наконецъ, въ той дивной землѣ, гдѣ, какъ говаривали нѣкогда съ простодушнымъ восхищеніемъ наши дѣды, образованность такъ велика, что и крестьяне говорятъ по-французски».

По законамъ Франціи, у Надеждина «отобрали въ Страсбургѣ русскій паспортъ и снабдили французскимъ, «гдѣ тщательно означили его происхожденіе, званіе, ремесло, цѣль путешествія, и сверхъ того описали подробно наружныя примѣты, даже привели ростъ его въ число метровъ и сантиметровъ, разумѣется по глазомѣру». Русскій паспортъ былъ посланъ въ Парижъ, куда Надеждинъ поѣхалъ безъ Княжевича, отправившагося черезъ Штутгартъ и Регенсбургъ въ Вѣну <sup>1)</sup>).

Надеждинъ покинулъ Страсбургъ въ двадцатыхъ числахъ іюля. «Гладкое шоссе, обсаженное съ обѣихъ сторонъ густыми орѣховыми деревьями, вилось по прекрасной равнинѣ, покрытой роскошно воздѣланными полями, усѣянной милыми деревеньками. Дилижансъ ѣхалъ скоро, верстъ семь нашихъ въ часъ»; Надеждинъ не имѣлъ времени осмотрѣть города и мѣстечки, которые проходили передъ его глазами. Дорога шла мимо Люневила, Нанси, Туля, Баръ-ле-Дюка, Витри и Шалона на Марнѣ, Эперне и Шато-

---

<sup>1)</sup> Ср. письма отъ 22 апрѣля (изъ Москвы) и отъ 8 сентября 1835 г. (изъ Венеціи).

Тьерри. На третьи сутки по выѣздѣ изъ Страсбурга, показалось предмѣстье французской столицы, и миновавъ «Сен-Мартенскія Ворота», Надеждинъ почувствовалъ, что его «вдругъ ослѣпило и оглушило». «Вотъ настоящій Парижъ! Вотъ это чудовище, такъ прекрасно изображенное Бальзакомъ», подумалъ онъ, и «вскорѣ потерялъ способность различать подробности». «Шумъ, гамъ, крикъ, тѣснота, чуть не давка на улицахъ; все кипитъ, все толчется взадъ и впередъ; пестрота невообразимая! право, настоящій Содомъ и Гоморъ!» Надеждинъ «помнилъ только, что проѣхалъ мимо воротъ Сен-Дени, видѣлъ конную статую Людовика XIV на площади Побѣдъ—и только!—Наконецъ дилижансъ повернулъ въ ворота огромнаго дома», и остановился «на большомъ кругломъ дворѣ». Надеждину «всунули въ руку билетецъ, подхватили чемоданъ его на плечи», и прежде чѣмъ нашъ туристъ опомнился, онъ «уже былъ водворенъ въ гостиницѣ Орлеанской, на улицѣ Сент-Оноре, въ домѣ дилижансовъ Лафита, Гальяра и Комп.»

Внѣшній видъ Парижа не удовлетворилъ Надеждина. «Нѣтъ такихъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ бы городъ представлялся въ живописной панорамѣ, какъ, наприимѣръ, Москва съ Воробьевыхъ Горъ или съ Ивана Великаго, какъ Вѣна съ Каленберга или съ Стефановской башни». Съ сочиненіемъ Гюго въ рукахъ, Надеждинъ «всходилъ на Нотр-Дамскую башню», поднимался «на куполь Пантеона», «былъ на Мон-Мартрѣ, на кладбищѣ Отцала-Шеза»,—и «нигдѣ впечатлѣніе не соответствовало его ожиданіямъ». Надеждинъ нашель, что «физиономія Парижа не живописна», что «ей недостаетъ выпуклостей, которыя преломляли бы взоръ и разнообразили ея плоскую монотонную поверхность, недостаетъ церквей и башенъ, которыя, своими куполами и шпицами, составляютъ истинную красоту города». Какъ археологъ, Надеждинъ не могъ не сожалѣть, что «отъ прежнихъ феодальныхъ твердынь, любившихъ врѣзываться въ облака своими зубчатыми башнями, не осталось почти ничего въ столицѣ Франціи».

При ознакомленіи съ парижской жизнью Надеждину бросилась въ глаза ея «удивительная гласность, открытость, публичность». «Нигдѣ, кажется, не развита менѣе семейная домашняя жизнь; нигдѣ нѣтъ такой холодности къ Ларамъ и Пенатамъ. Парижанинъ живетъ за дверьми своего дома». Приглядываясь къ парижской жизни, Надеждинъ подмѣтилъ «нѣкоторые по-

стоянные отгѣнки, періодическіе приливы и отливы массъ, подчиненныхъ строгой дисциплинѣ житейскихъ потребностей, которыя, смѣняя другъ друга», «дѣлать парижскія сутки на опредѣленныя эпохи, отличающіяся своимъ особымъ движеніемъ, своимъ особымъ шумомъ». И въ краткомъ, но яркомъ очеркѣ Надеждинъ «изложилъ эту стереотипную исторію парижскаго дня» и сдѣлалъ тонкую характеристику парижскаго фланера — зѣваки. Французъ — думалъ Надеждинъ — «не дорожитъ гражданскими обязанностями», жаждетъ «разсѣянія и забавъ», «суетенъ, живъ, легкомысленъ, празденъ, но не бездѣйственъ, не безчувственъ», «чуждъ нѣмецкой флегмы, англійскаго сплина, голландской расчетливости, италіанскаго безмыслія, славянской безпечности, испанскаго фанатизма». Французъ не можетъ существовать безъ газетъ; онѣ «служатъ ему воздухомъ и питаніемъ». «Отнимите эту кипу листовъ, выходящихъ въ Парижѣ, рабочее населеніе его не будетъ имѣть, надъ чѣмъ отдохнуть, зѣваки—чѣмъ заняться. Парижанинъ безъ газетъ не сумѣетъ распорядиться своимъ днемъ, не знаетъ, куда пойти, на что посмотреть, во что одѣться, о чемъ поговорить, гдѣ даже позавтракать и пообѣдать; безъ газетъ онъ умретъ въ антрактѣ великолѣпнѣйшаго спектакля, его желудокъ не сваритъ самаго вкуснаго блюда. Въ Римѣ народъ требовалъ: «хлѣба и зрѣлищъ»; въ Парижѣ общая потребность, общая нужда, общій крикъ: «хлѣба и газетъ!»<sup>1)</sup>).

Помимо парижскаго быта, Надеждина интересовали государственныя и общественныя учрежденія. Наканунѣ Успенія Богородицы, онъ присутствовалъ въ палатѣ депутатовъ и пришелъ къ отрадному убѣжденію, что «во Франціи не угасло чувство религіозное». «Когда президентъ закрылъ засѣданіе среди жаркихъ неконченныхъ споровъ, и на шумъ членовъ: «Итакъ до завтра!»— отвѣчалъ со свойственною ему тонкостію: «Нѣтъ, мы отдохнемъ завтра и послѣзавтра; завтра праздникъ Нотр Дамскій, Успеніе, а тамъ воскресенье! мы ходимъ къ обѣднѣ!»—ни одного сардоническаго звука не раздалось въ самыхъ крайнихъ рядахъ лѣвой стороны».

На другой день Надеждинъ посѣтилъ Нотр Дамскій соборъ. «Служба была великолѣпная; ее совершалъ архіепископъ съ многочисленнымъ духовенствомъ; одинъ изъ лучшихъ композиторовъ сочинилъ новую музыку для обѣдни». Надеждинъ «былъ

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, № 1, стр. 172—202.



пораженъ до изумленія такимъ стеченіемъ народа изъ всѣхъ классовъ общества, такой благоговѣйной тишиной во время службы, такой жадностью святительскаго благословенія (sic), которое г. дю-Келень раздавалъ со всею граціею католическаго прелата». «Проходя въ ризницу, по совершеніи священнослуженія, архі-епископъ, во всемъ блескѣ великолѣпнаго облаченія, вдругъ раздвинулъ стѣснившіеся вокругъ него ряды и возложилъ свою пастырскую десницу на прекрасное дитя, висѣвшее у груди матери», и удивленный Надеждинъ имѣлъ возможность наблюдать, «съ какимъ любопытствомъ подбѣгали зрители взглянуть на это избранное дитя, и какъ будто искали, не осталось ли на его головкѣ лучей святительскаго благословенія». «Здѣсь уже не было никакой подготовки, никакой умышленной зрѣлищности (sic), какъ могли нѣкоторые предполагать при извѣстномъ «Te Deum», пѣтомъ за нѣсколько предъ тѣмъ дней въ той же церкви, въ присутствіи короля и министровъ»<sup>1)</sup>. И Надеждину казалось, что «религіозная стихія мало-по-малу проникаетъ и виѣдряется во всѣ поры общественнаго состава Франціи».

Литераторъ и профессоръ, Надеждинъ, естественно, желалъ поближе ознакомиться съ жизнью и дѣятельностью французскихъ поэтовъ и ученыхъ. Онъ «видѣлъ многихъ изъ нихъ: иныхъ вскользь, мимоходомъ; другихъ въ дѣйстви: на парламентской трибунѣ, на профессорской кафедрѣ, въ Атенеѣ, въ Королевской Библіотекѣ; къ нѣкоторымъ ходилъ на домъ»<sup>2)</sup>. Надеждинъ съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія замѣтилъ, что литература не считается въ Парижѣ «низкимъ, плебейскимъ ремесломъ, несомѣстнымъ съ способностью къ высшимъ государственнымъ занятіямъ», но, при этомъ, онъ не могъ не признать, что «въ высшей сферѣ общественной жизни литература французская совсѣмъ не

---

<sup>1)</sup> Ср. Сто русскихъ литераторовъ. Спб., 1841, т. II, стр. 416--417 (изъ повѣсти «Сила волп»): «Я началъ рассказывать, чтѣ зналъ и чтѣ видѣлъ. Главное событіе, занимавшее тогда Францію, была *адская машина Фізеки, которой я имѣлъ несчастье быть очевидцемъ*. Графиня (Оспедаетто) слушала хладнокровно; но когда я, въ порядкѣ повѣствованія, дошелъ до торжественнаго «Te Deum», воспѣтаго парижскимъ архіепископомъ въ присутствіи короля Луи-Филиппа и его министровъ, она одушевилась».

<sup>2)</sup> Ср. *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 65: «Въ столицѣ Франціи я лично познакомился съ знаменитымъ Рауль-Рошеттомъ, и былъ у него на лекціяхъ, которыя онъ читалъ въ Королевской Публичной Библіотекѣ».

имѣть той силы и важности, какую приписываютъ ей издали», что она «находится въ рабской зависимости отъ политики». «Судьба литераторовъ не имѣетъ внутренняго, самостоятельнаго обезпеченія, зависитъ отъ перваго дохнувшаго вѣтра»; ихъ «общественное значеніе въ кругу согражданъ» соразмѣряется съ ихъ «политическимъ вѣроисповѣданіемъ и поведеніемъ». «Не блистательные курсы въ Сорбоннѣ и не краснорѣчивыя пренія на паркетѣ Трибунала, не «Исторія европейской цивилизаціи» и не «Исторія революціи французской» дали доступъ Гизо и Тьеру къ кормилу правленія, а журнальныя статьи, политическія брошюры, рѣзкій тонъ, отъявленный (sic) образъ мыслей. Краснорѣчіе Шатобриана исторгло слезы въ палатѣ перовъ въ послѣднее ея засѣданіе, и однако Шатобрианъ нашелся принужденнымъ бросить свое перство, потому что къ его краснорѣчію не было уже политической симпатіи» <sup>1)</sup>.

Отъ Надеждина не ускользнуло еще слѣдующее характерное явленіе: «тайное недоброжелательство» крупныхъ собственниковъ и капиталистовъ къ представителямъ науки и литературы; «зависть, весьма естественная въ карманахъ, набитыхъ талантами, къ головамъ съ талантомъ». «Это нерасположеніе подкрѣплялось еще и тѣмъ не совсѣмъ ложнымъ подозрѣніемъ, что литература обнаружила въ себѣ слишкомъ рѣзко разрушительную стихію, враждебную матеріальной собственности». Надеждину «случилось быть свидѣтелемъ одной любопытной сцены на этотъ счетъ». Онъ «былъ въ Трибуналѣ, когда судили Распайля, издателя журнала *Reformateur*». «Распайль былъ арестованъ по важному государственному подозрѣнію, тотчасъ послѣ взрыва адской машины; но въ ту жъ пору и найденъ невиннымъ. Между тѣмъ судья, возвращая ему свободу, слишкомъ неосторожно выразилъ это общее чувство: «Теперь-то попался ты въ руки!» Распайль отвѣчалъ ему еще неосторожнѣе. Изъ этого завязалось дѣло, и, несмотря на краснорѣчивое защищеніе Распайля, его осудили, по

---

<sup>1)</sup> Въ 1836 году Надеждинъ имѣлъ поводъ еще разъ подчеркнуть правильность своего взгляда на непрочность успѣха французскихъ писателей. «Сегодня Капитолій, завтра скала Тарпейская!» писалъ онъ: «Недавнія событія какъ оправдываютъ это! При послѣдней перемѣнѣ французскаго министерства, Гизо изъ великолѣпныхъ палатъ перешелъ опять въ свой скромный профессорскій домикъ, составляющій все его имущество и приносящій 3.000 франковъ ежегоднаго дохода».

буквальному приложенію словъ закона, за оскорбленіе судьи въ исправленіи должности. Это осужденіе не произвело никакого особеннаго участія въ той самой публикѣ, которая разливалась въ слезахъ, слушая справедливый приговоръ убійцѣ ла-Ронсерь».

Съ любопытствомъ присматривался Надеждинъ и къ положенію французской женщины. Онъ нашелъ, что «литературная эманципация прекраснаго пола не находитъ большого сочувствія» въ парижскомъ обществѣ, «хотя женщина тамъ вообще имѣетъ болѣе свободы, меньше привязана къ домашнему очагу, чѣмъ у насъ, ходитъ безъ нарушенія приличія въ кофейные дома и вмѣстѣ съ мужчинами читаетъ журналы». Надеждинъ не разъ наблюдалъ, какъ «народъ надрывается со смѣху въ водевиляхъ, гдѣ такъ остроумно, такъ ѣдко осмѣиваются притязанія женщинъ на сферу, возвышающуюся надъ предѣлами буфета и кухни». «Въ Тюльерійскомъ саду указывали другъ другу, пожимая плечами, съ жалкой улыбкой, на этихъ труженицъ типографій, которыя въ утренніе часы, послѣ проведенной за лампою ночи, проходили подышать чистымъ воздухомъ, освѣжить истощенныя силы; съ блѣднымъ лицомъ и красными глазами, закутанныя въ большую шаль, въ полинялой шляпкѣ, вышедшей изъ моды, безъ корсета, потому что корсетъ жметъ вдохновеніе; безъ перчатокъ, чтобы свободнѣе кусать ногти, на которыхъ остаются слѣды чернилъ; съ корректурой, торчащей изъ ридикюля!.. Эти несчастныя, въ самомъ дѣлѣ, жалки; онѣ промѣняли прекрасное назначеніе добрыхъ женъ и почтенныхъ матерей, назначеніе, данное имъ самою природою и заключающее въ себѣ столько истиннаго блаженства, на работу неблагогодарную, трудъ несовмѣстный ни съ ихъ силами, ни съ ихъ привычками»... «Что-то неприличное, неловкое» «выражается въ чернильныхъ брызгахъ на чепцѣ женщины, если она хвастается этими брызгами. Надеждину было «гораздо пріятнѣе видѣть милыхъ, прелестныхъ художницъ за живописными станками передъ картинами Луврскаго Музея или Люксембургской Галлерей»; «палитра и кисть какъ-то лучше идутъ къ нимъ; красочныя пятна не такъ мараютъ ихъ платье». «Заходя въ неоткрытые (sic) дни въ эти святилища французскаго искусства», Надеждинъ «чувствовалъ особенное наслажденіе въ этомъ смѣшеніи живыхъ головокъ съ головами, смотрящими на нихъ съ одушевленнаго полотна... Но, при видѣ женщинъ-писательницъ ему всегда приходили въ голову стихи Пушкина:

Не дай мнѣ Богъ сойтись на балѣ,  
Иль при разѣздѣ на крыльцѣ,  
Съ семинаристомъ въ желтой шали,  
Иль съ академикомъ въ чепцѣ“ <sup>1)</sup>.

Таковы были впечатлѣнія, вынесенныя изъ Франціи. — Въ половинѣ августа (по новому стилю) Надеждинъ выѣхалъ изъ Парижа и направился въ Швейцарію. Повидимому, онъ побывалъ въ Базелѣ <sup>2)</sup>, который въ это время еще не былъ застроенъ «огромными, великолѣпными зданіями» и сохранялъ «старый негостеприимный, мрачный видъ имперскаго города». Неизвѣстно, осматривалъ ли Надеждинъ мѣстныя достопримѣчательности: готическую церковь, гробницу Эразма Роттердамскаго, Публичную бібліотеку; во всякомъ случаѣ оставаться здѣсь долго онъ не могъ, такъ какъ даже не упоминаетъ о Базелѣ въ своихъ «Очеркахъ Швейцаріи» <sup>3)</sup>, гдѣ онъ подробно описываетъ свое пребываніе въ Люцернѣ и въ другихъ швейцарскихъ городахъ.

Надеждинъ приѣхалъ въ Люцернъ днемъ. «Дилижансъ провезъ его почти черезъ весь городъ, на другую сторону Рейссы, гдѣ находится почтовый дворъ». Наведя справку въ книжкѣ Эбеля <sup>4)</sup>, Надеждинъ рѣшилъ водвориться въ гостиницѣ «Вѣсы». Гостиница была приличная. Чистенькія комнатки, проворная прислуга, добрая хозяйка и удивительная дешевизна—все понравилось Надеждину. Подойдя къ окну, онъ невольно залюбовался прекраснымъ видомъ. Внизу «катились быстрыя струи Рейссы»; «влѣво изумрудное зеркало озера»; «прямо передъ глазами возвышался» Пилатъ и противъ него, къ востоку—«величественный куполъ Риги». «Облака, разсѣваемаыя солнцемъ, прилипли къ исполинскимъ бокамъ горъ, обвились вокругъ нихъ, перехватили ихъ пополамъ и, мало-по-малу рѣдѣя, слились въ одинъ цвѣтъ съ атмосферическимъ воздухомъ».

По предложенію услужливой г-жи Миллеръ <sup>5)</sup>, Надеждинъ взялъ проводника и совершилъ прогулку по Люцерну. Онъ посѣтилъ находящійся въ полуверстѣ за чертою города англійскій садъ полковника Пфифера, чтобы взглянуть на памятникъ,

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXII, № 5, стр. 81--119.

<sup>2)</sup> *Иллюстрація*, 1845, № 20, стр. 307: «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я уже былъ въ Базелѣ».

<sup>3)</sup> *Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду*, 1837, №№ 22—24.

<sup>4)</sup> *Manuel de voyageur en Suisse*, 1835.

<sup>5)</sup> Такъ звали хозяйку.

сооруженный по модели Торвальдсена, въ честь «храбрыхъ швейцарцевъ, погибшихъ въ Парижѣ въ несчастные дни 10 августа и 2 и 3 сентября 1792 г.». Памятникъ поразилъ Надеждина своимъ величіемъ. «Въ скалѣ, къ которой примкнутъ садъ, высѣченъ левъ, символъ благороднаго мужества сыновъ Швейцаріи, пронзенный копьемъ; онъ издыхаетъ, прикрывая собою щитъ, украшенный лиліями, котораго защищать больше не можетъ... Созданіе удивительно какъ просто, но выраженіе исполнено дивнаго величія: обломокъ копья остался въ тѣлѣ умирающаго льва; онъ поднимаетъ свою могучую лапу, какъ будто отражая новый ударъ; полуотверстыя очи, готовыя сомкнуться навсегда, сверкаютъ еще угрозою; на лицѣ написана благородная скорбь и величественное терпѣніе сраженнаго, но непобѣжденнаго мужества». — Надеждинъ «долго сидѣлъ, погруженный въ созерцаніе дивнаго произведенія», «гдѣ богатая нравственная мысль высѣчена изъ нагого камня, гдѣ цѣлый эпизодъ жизни воплощенъ въ безстрастныхъ формахъ ваянія». Старый инвалидъ, оставшійся въ живыхъ товарищъ убитыхъ швейцарцевъ, рассказывалъ ему о трагичныхъ дняхъ въ жизни Людовика XVI и показалъ ему построенную недалеко отъ памятника часовню съ простой и выразительной надписью: «Миръ непобѣжденнымъ» (*Invictis pax*).

Противившись съ ветераномъ, Надеждинъ завернулъ въ соборъ, гдѣ видѣлъ величайшій органъ въ 3000 дудокъ и картину Ланфранка, представляющую Христа на горѣ Элеонской. Изъ собора онъ пошелъ черезъ Рейссу по длинному крытому мосту, называемому Мостомъ Часовни (*Capell-Brücke*), внутренность котораго «украшена картинами, представляющими героическіе подвиги швейцарцевъ и чудеса изъ жизни св. Морица и Леодегарда, покровителей Люцерна». На той сторонѣ рѣки Надеждинъ заинтересовался іезуитской церковью и арсеналомъ, гдѣ собраны «драгоценнѣйшіе памятники великой битвы» при Земпахѣ (1386) и находятся остатки добычъ, принесенныхъ люперницами изъ славныхъ битвъ при Муртенѣ и Грансонѣ (1476).

«Проводивъ захожденіе солнца на Мостѣ Двора (*Hof-Brücke*), соединяющемъ городъ съ соборомъ, Надеждинъ воротился въ гостиницу. Дорогой онъ наслушался краснорѣчивыхъ рассказовъ проводника Мартына о прелестяхъ путешествія по Альпамъ, и «воспользовался многими изъ его замѣчаній, чтобы снарядиться должнымъ образомъ къ пѣшеходству, которое рѣшился начать

съ Люцерна». Свои планы онъ «внесъ на утверженіе къ верховному судилищу г-жи Миллеръ, которая совершенно ихъ одобрила». Сообща они привели въ порядокъ и дорожный гардеробъ. «Такъ какъ Надеждинъ ходилъ уже пѣшкомъ по Рейну, то имѣлъ въ запасѣ много вещей, назначенныхъ въ программѣ туристовъ». Частью этихъ вещей онъ наполнилъ свой ранецъ, «прикрылъ ихъ альбомомъ, неразлучнымъ спутникомъ его путешествія, да для кармановъ оставилъ дорожную чернильницу, стальное перо и Эбеля».

На слѣдующій день Надеждинъ «сложилъ остальное имущество въ чемоданъ и велѣлъ нести его на почту», чтобы переслать въ Беллинцону (*poste restante*), а самъ сѣлъ въ дилижансъ, ходившій между Люцерномъ и Брунненомъ. «Дорога шла восточнымъ берегомъ озера, склоняясь на лѣво по живописному изгибу Кюснахтскаго залива, омывающаго сѣверную сторону Риги». Надеждинъ ѣхалъ совершенно одинъ, и потому ему не трудно было уговорить возницу остановиться на четверть часа въ Кюснахтѣ, чтобы имѣть возможность взглянуть на развалины замка Гесслера.— «Тотчасъ за Кюснахтомъ началась узкая, продолбленная въ каменьяхъ дорога (*die hohle Gasse*)». «Дилижансъ безъ труда поднялся по ней», и «на первомъ холмѣ, подъ густою, мрачною тѣнью дерсвевъ», показалась Часовня Телля (*Tell's Capelle*). Здѣсь «дряхлая старуха, исправляющая должность кистера при часовнѣ, предложила Надеждину книгу, гдѣ путешественники записываютъ свои имена».

Вскорѣ зазеленѣла изумрудная полоса Цугскаго озера, и проѣхавъ версты четыре берегомъ, Надеждинъ прибылъ въ Артъ.

Дождаясь въ трактирѣ «Черный Орелъ» дилижанса, который направлялся изъ Цюриха въ Брунненъ, Надеждинъ свелъ знакомство съ двумя проѣзжими, которые на короткое время сдѣлались его попутчиками. «Одинъ изъ нихъ былъ честный бауэръ, со всѣмъ добродушіемъ и наивностью швейцарской фізіономіи. Другой—аббатъ, лѣтъ пятидесяти, съ легкимъ снѣгомъ на головѣ и лицомъ, исполненнымъ выраженія, особенно въ глазахъ, ярко сверкавшихъ изъ-подъ высокаго лба». Оба спутника любезно разрѣшили Надеждину остановить дилижансъ у развалинъ злополучной деревни Гольдау. Первый изъ нихъ, свидѣтель обвала Руффи, рассказалъ ему объ ужасной катастрофѣ; второй, назвавшийся «священникомъ швейцарскаго полка, бывшаго въ службѣ Карла X», обратилъ его вниманіе на «устье долины Муттенской»,

гдѣ было кровопролитное сраженіе между Суворовымъ и Мас-сеною.

Переночевавъ въ Брунненѣ, Надеждинъ съ аббатомъ въ двух-весельной лодкѣ поплыли въ Флюэленъ, захъавъ по дорогѣ къ Гритли и къ мѣстечку «Прыжокъ Телля». Изъ Флюэлена Надеждинъ прошелъ пѣшкомъ до Альторфа; откуда, уже одинъ, поѣхалъ въ повозкѣ къ Сен-Готарду <sup>1)</sup>.

Отъ Сен-Готарда Надеждинъ направился въ Пиемонтъ. Въ одеждѣ альпійскаго туриста: «въ зеленой блузѣ съ боковыми наружными карманами, швейцарскихъ чоботахъ, подкованныхъ лошадиными гвоздями, да въ соломенной шляпѣ съ широкими, лапоухими крыльями», онъ, вооруженный палкой, не мало бродилъ по горамъ. Достигнувъ почтоваго тракта, онъ сѣлъ въ дилижансъ, который шелъ изъ Мартины въ Домо д'Оссола, и затѣмъ въ наемномъ шарабанѣ доѣхалъ до небольшого мѣстечка Бавено, расположеннаго у Лаго-Маджоре противъ Борромейскихъ острововъ. Въ ожиданіи парохода, ежедневно проходившаго озеро изъ конца въ копецъ и забиравашаго по берегамъ пассажировъ, Надеждинъ нанялъ лодку и посѣтилъ знаменитые острова. Волшебныя красоты природы плѣнили его. Тоска, которую онъ носилъ въ своемъ сердцѣ, ненадолго стихла. Онъ «въ первый разъ вкусилъ божественную сладость Италіи», которая подарила его чудеснымъ, обворожительнымъ взглядомъ, «полнымъ любви, нѣги и сладострастія». Какъ зачарованный, смотрѣлъ онъ на «миніатюрный Борромейскій архипелагъ». «Эти изумрудныя крошки, плавающія въ голубыхъ волнахъ озера, казались ему тѣми баснословными раковинами, въ которыхъ воображеніе древнихъ заставляло прогуливаться царицу водъ, окруженную свитою полногрудыхъ Нереидъ и зеленувласыхъ Тритоновъ». На «Островѣ-Красавцѣ» (Изола Белла). Надеждинъ видѣлъ «покои, гдѣ первый и послѣдній консулъ Французской Республики отдыхалъ послѣ кроваваго пира подѣ Маренго». «Въ саду, на корѣ маститаго лавра, еще не заросло знаменитое имя, вырѣзанное рукою самого героя». «Какъ вспоминалась эта минута узнику, прикованному къ дикой скалѣ океана?» подумалъ Надеждинъ, и «поспѣшилъ разсѣять это чувство, слишкомъ захватывающее духъ, слишкомъ тяжелое для груди».

---

<sup>1)</sup> *Литературныя Прибавленія къ Русскому Ивалиду*, 1837, №№ 22—24.  
lib.pushkinskijdom.ru

По прибытіи парохода, Надеждинъ разстался съ Бавено и поплылъ въ Локарно, а оттуда на лодкѣ — въ Магадино. Изъ Магадино въ «фурѣ, заложеной двумя лѣнвыми клячами» и наполненной разными товарами и народомъ, онъ добрался до Беллинцоны, гдѣ находился его чемоданъ. Забравъ свои пожитки, Надеждинъ хотѣлъ сѣсть въ миланскій дилижансъ, но оказалось, что послѣдній отправляется черезъ два дня. Тогда нашъ путешественникъ задумалъ оставить вещи на почтовомъ дворѣ и «итти навстрѣчу дилижансу, долженствовавшему спускаться съ вершины С.-Готарда». Пѣшкомъ, безъ проводника «пустился онъ вверхъ по Тичино». Переночевавъ «въ Джіорнико, довольно порядочномъ мѣстечкѣ при устьѣ Валле-Левентина», онъ на слѣдующій день, еще рано, поспѣлъ въ Айроло. Здѣсь онъ «не только вдоволь наслушался про Суворова, подвигъ котораго остался вѣковѣчною легендою, но даже имѣлъ время взглянуть на знаменитую въ тѣхъ мѣстахъ скалу, съ русскою будто бы надписью, оставленною Суворовцами». «Когда привели его къ этимъ каракулямъ, онъ смотрѣлъ на нихъ съ энтузіазмомъ Шамполліона и Протефенда; но, при всѣхъ усиліяхъ воображенія, согрѣтаго патріотическою гордостью, ему не удалось открыть въ нихъ ни одной русской черты. Однако, скрѣпя сердце, онъ не счелъ нужнымъ разочаровывать добрыхъ швейцарцевъ и оставилъ ихъ благоговѣть передъ святынею, которая въ роды родовъ будетъ напоминать имъ славу и величіе Русскаго имени».

У этой надписи Надеждинъ встрѣтилъ дилижансъ, въ которомъ вернулся въ Беллинцону, и затѣмъ прослѣдовалъ въ Миланъ <sup>1)</sup>.

У насъ нѣтъ свѣдѣній о дальнѣйшемъ путешествіи Надеждина по Италіи, гдѣ «памятники древности» «сдѣлались для него въ первый разъ предметомъ нагляднаго изученія» <sup>2)</sup>. 8 (20) сентября мы застаемъ его уже въ Венеціи, среди мучительныхъ размышленій о скоромъ возвращеніи на родину и о предстоящемъ свиданіи съ Елисаветой Васильевной; мы узнаемъ, что поездка за-границу хотя и дала ему массу новыхъ впечатлѣній, но не развѣяла его грусти. «Вотъ уже три мѣсяца, ровно три мѣсяца, какъ онъ оставилъ Москву, какъ онъ пересталъ жить подъ однимъ небомъ, дышать однимъ воздухомъ съ своимъ милымъ,

<sup>1)</sup> Сто русскихъ литераторовъ. Спб., 1841, т. II, стр. 399—434, 517—527.

<sup>2)</sup> *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 65.



безцѣннымъ другомъ!» Онъ «не знаетъ, какъ еще живетъ, какъ еще держится на плечахъ его помутившаяся голова», «какъ не разорвалось его бѣдное сердце!». Отсутствие какихъ-либо вѣстей изъ Москвы удручаетъ его. Получены ли его письма? Жива ли она? Здорова ли? Ждетъ ли его? Будетъ ли любить по-прежнему?— «Теперь онъ на пути въ Россію... Черезъ недѣлю будетъ въ Вѣнѣ... черезъ двѣ въ Кіевѣ, — а тамъ.. Охъ! душа замираетъ!»<sup>1)</sup>.

Вѣроятно, въ Вѣнѣ Надеждинъ встрѣтился съ Кирѣевскимъ и Княжевичемъ, и, вмѣстѣ съ ними, пріѣхалъ въ Кіевъ.

Въ одно октябрьское утро М. А. Максимовичъ, занимавшій тогда должность ректора университета св. Владимира, «былъ несказанно обрадованъ, получивъ слѣдующую записку М. П. Погодина: «Пріѣхали; а онъ гдѣ? Ждемъ. Я, Надеждинъ, Княжевичъ, Кирѣевскій и проч. Скорѣе въ объятія. Колонія остановилась въ Зеленомъ трактирѣ». Пріятели свидѣлись. Надеждинъ прожилъ въ Кіевѣ нѣсколько дней, имѣлъ случай познакомиться съ ректоромъ духовной академіи, знаменитымъ Иннокентіемъ (Борисовымъ), обозрѣвалъ городъ и проводилъ цѣлыя ночи въ дружескихъ бесѣдахъ съ Максимовичемъ. Изъ этихъ бесѣдъ послѣдній узналъ, что въ душѣ Надеждина «была тогда *живая эстетика*, которая могла бы дать высокій строй и новос, полное развитіе его *эстетикѣ философской*; но, къ сожалѣнію, онъ сошлился не подъ счастливою звѣздою».

Неизвѣстно, что удержало Надеждина, стремившагося въ Москву, на югѣ Россіи. Мотивы его дѣйствій отъ насъ скрыты. 17 октября онъ отправился въ экскурсію на берега Чернаго моря.—Погода была плохая. «Дорога—гнусная». Одесса была «завалена сугробами»; «половина Буга замерзла подъ Николаевымъ»; «Днѣпръ подъ Бериславомъ переѣзжали по льду». «Въ Крыму—грязь непроходимая, туманы свинцовые... Солнце едва продиралось сквозь тучи»... Но Надеждинъ упорно подвигался черезъ Симферополь къ южному берегу Крыма, а затѣмъ повернулъ къ Таврическому проливу. Во время своего странствія, отъ Одессы до Керчи, онъ изучалъ, насколько было возможно, «памятники, собранные на этой классической почвѣ монументальныхъ развалинъ», и велъ переписку съ Максимовичемъ, «не предвидѣвшимъ добра отъ его возвращенія въ Москву» и «потому зазывавшимъ

---

<sup>1)</sup> Письмо изъ Венеціи отъ 8 (20) сентября 1835 г.

его на службу въ Кіевъ, для пользы и славы новаго университета». «Спасибо, другъ и братъ»,—писалъ въ отвѣтъ на эти приглашенія Надеждинъ,—«за строки, которыми ты встрѣтилъ меня въ Симферополѣ<sup>1)</sup>. Онѣ доказали мнѣ, какъ ты меня любишь... Онѣ оживили мою измученную душу... Въ пустынь этого ужаснаго, ненавистнаго свѣта, сладко найти участіе, и участіе такое сердечное, такое искреннее, такое нѣжное... Я не обманулся въ тебѣ, другъ! Ты понялъ меня, и я тебя понимаю. Не даромъ же говорятъ, что мы похожи другъ на друга. Не даромъ родились мы почти въ одно время. Судьба дивно свела насъ... И, можетъ быть, не по одному этому суждено намъ быть близнецами. Совѣтъ твой мнѣ не по сердцу; но разсудокъ невольно одобряетъ его... Конечно, такъ бы должно; авторитетъ, на который ты ссылаешься, очень важенъ; стало [быть] по неволѣ надо слушаться... Какъ ни печальна была наша дорога сюда во всѣхъ отношеніяхъ; но въ дорогѣ всегда бываетъ мнѣ легче. Движеніе, безпрестанное движеніе разсѣиваетъ меня; но пребываніе на одномъ мѣстѣ меня душитъ. И вотъ почему я боюсь принять предложеніе, сдѣланное мнѣ вашимъ попечителемъ. Одно только утѣшаетъ меня въ немъ—возможность жить вмѣстѣ съ тобою... Но такъ далеко *оттуда*, такъ далеко! Впрочемъ, я еще не отказываюсь рѣшительно. Скажи попечителю, что я дамъ ему окончательный отвѣтъ немедленно по прибытіи въ Москву»<sup>2)</sup>.

Но не суждено было Надеждину снова занять университетскую кафедру, которая «была его настоящимъ призваніемъ». Въ концѣ декабря вернувшись въ Москву, онъ долженъ былъ пережить тяжелую развязку своей сердечной драмы. Мы не знаемъ подробностей этой развязки. Можно предполагать, что М. И. Сухово-Кобылина, устрешенная возвращеніемъ Надеждина на родину, поспѣшила увезти свою дочь куда-либо подальше отъ «опаснаго» для нея человѣка.—Сохранилось письмо, отправленное Надеждинымъ Елисаветѣ Васильевнѣ, уѣзжавшей въ Испанію. «Прощай! Прощай!.. Но не на вѣкъ!» писалъ онъ: «Богу не угодно было соединить насъ! Да будетъ Его святая воля! Терпѣніе и надежда! *Я остаюсь ждать!*

<sup>1)</sup> Письмо отъ 7 ноября 1835 г.—Въ Симферополѣ Надеждинъ останавливался дней на пять, съ 5 по 9 ноября.

<sup>2)</sup> *Москвитянинъ*, 1856, № 3, стр. 225—234; *Полярная Звѣзда*, 1881, № 4, стр. 3—4; *Русскій Вѣстникъ*, 1856, мартъ, кн. I, стр. 65.

Hélas! nous n'avons pas juré de vivre ensemble,  
Mais nous avons juré de nous aimer toujours!

Любовь вѣчная, неизмѣнная! Вѣра безпредѣльная! Прощай!  
Богъ да благословить тебя!

Ко мнѣ адресъ: «Его Благородію, Антону Францовичу Томашевскому, служащему въ Императорскомъ Московскомъ Почтамтѣ (Monsieur Antoine Tomachéwsky à Moscou).

Во всѣхъ большихъ городахъ и въ Мариенбадѣ спрашивай на почтѣ писемъ подъ слѣдующими адресами: Mademoiselle Elise Woskresensky, Madame Anne Twerdowsky, Mademoiselle Eugénie Swetlow, Madame Pauline Raitsch, Mademoiselle Zénéide Iwanowsky, Madame Sara Lénsky.

Всѣ эти адреса будутъ написаны: poste restante. Получать должно самой. Ко мнѣ письма можно и прямо на мое имя, или на А[ксакова], но лучше, какъ сказано. Въ Германіи ихъ просто бросаютъ въ ящикъ съ улицы. Въ Парижѣ сыщи черезъ лонлакея: Monsieur Raimbault, place de la Bastille, № 2. У него будутъ письма. Въ Вѣнѣ—адресоваться къ священнику посольства Меглицкому.

Прощай! Прощай! Богу поручаю тебя! Ты увозишь съ собой жизнь мою»... <sup>1)</sup>.

Разлука была не легка. Казалось, оба влюбленные смутно предугадывали, что «чувство, въ которомъ благій Богъ заключилъ высочайшее земное блаженство», для нихъ «обратилось въ чашу, переполненную желчью»... <sup>2)</sup>.

Надеждинъ «оставался ждать»; онъ не страшился будущаго, но надѣялся, безспорно, меньше, чѣмъ прежде. Желая забыться, онъ съ необычайной энергіей предался журнальной дѣятельности, а въ Кіевѣ послалъ отказъ: въ Москвѣ онъ могъ легче поддерживать сношенія съ Елисаветой Васильевной.

---

<sup>1)</sup> На этомъ мѣстѣ обрывается разысканная нами переписка Надеждина. — Установить точно время отъѣзда Елисаветы Васильевны, за отсутствіемъ документовъ, намъ не удалось.

<sup>2)</sup> Письмо къ М. А. Максимовичу отъ 23 мая 1837 г.—Исторія любви Надеждина нашла себѣ отраженіе въ его произведеніи «Сила воли» и въ повѣсти Евгеніи Туръ «Ошибка» (Ср. нашу статью въ *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія*, 1906, № 2, стр. 300—303).—Дальнѣйшая судьба Елисаветы Васильевны извѣстна: въ Испаніи она вышла замужъ за графа Салиасъ-де-Турнисмира, лѣтомъ 1838 г. вернулась въ Россію, а впоследствии, не безъ успѣха, выступила на литературномъ поприщѣ.

Въ № 50 *Молвы* Надеждинъ помѣстилъ объявленіе «отъ издателя». Обращаясь къ своимъ подписчикамъ, онъ «просилъ благосклоннаго извиненія за крайнее замедленіе въ выдачѣ книжекъ *Телескопа* и перерывъ въ выходѣ листовъ *Молвы*, случившійся послѣ отъѣзда его за границу»<sup>1)</sup>; онъ «объявлялъ по совѣсти», что вина не можетъ падать на него всецѣло, ибо «всѣ зависящія отъ него мѣры къ продолженію обоихъ журналовъ, во время его отсутствія, были приняты имъ заблаговременно», и «ласкалъ себя надеждою, что и сами читатели, по вышедшимъ книжкамъ и листамъ отдадутъ справедливость добросовѣстности сихъ мѣръ»<sup>2)</sup>; онъ обѣщаль, что «отсталыя книжки *Телескопа* будутъ выданы въ теченіе наступающаго (1836-го) года съ возможною скоростію, безъ малѣйшаго уменьшенія въ объемъ и со всевозможнымъ попеченіемъ о занимательности ихъ содержанія»<sup>3)</sup>.

Для исполненія даннаго подписчикамъ обѣщанія Надеждинъ старался оживить журналъ новыми силами. Съ 1836-го года въ *Телескопѣ* появляются первыя повѣсти Кудрявцева, Панаева, очерки Боткина и Герцена<sup>4)</sup>. Кромѣ того, предвидя, что и съ этими сотрудниками все-таки будетъ ощущаться недостатокъ ма-

---

<sup>1)</sup> «То и другое», по мнѣнію Надеждина, «произошло отъ обстоятельствъ, которыхъ невозможно было ни предвидѣть, ни предотвратить». Друзья Бѣлинскаго, обѣщавшіе всѣ «помогать ему понемногу», и сотрудничествомъ и совѣтомъ, не оправдали возлагаемыхъ на нихъ упованій. Станкевичъ, Аксаковъ и Красовъ не принявъ дѣятельнаго участія въ изданіи, и, снабдивъ Бѣлинскаго нѣсколькими произведеніями, оставили его затѣмъ на произволъ судьбы. Временный редакторъ, плохо знакомый съ технической стороной издательства и, притомъ, не имѣвшій достаточно денегъ на расходы по журналу, вынужденъ былъ заполнять номера своими статьями и, съ іюня по декабрь, вмѣсто двѣнадцати книжекъ *Телескопа*, выпустилъ только шесть (съ седьмой до двѣнадцатой).—См. *П. Анненковъ*. Н. В. Станкевичъ. М., 1857, стр. 103—104; Переписка, стр. 133, 135, 141.—*А. Пытинъ*. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Спб., 1876, т. I, стр. 145—146, 153.—Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, подъ ред. С. А. Венгерова. Спб., 1900, т. II, стр. 586—588.

<sup>2)</sup> Надеждинъ подчеркивалъ талантливость Бѣлинскаго.—Похвальные отзывы о Бѣлинскомъ весьма раздражали Погодина, который сдѣлалъ въ Дневникѣ слѣдующую записку: «Непріятное утро у Надеждина, который имѣетъ духъ рассказывать о лаѣ Бѣлинскаго неудержимомъ» (*Н. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1891, кн. 4, стр. 354).

<sup>3)</sup> *Молва*, 1835, № 50, стр. 381.

<sup>4)</sup> Въ 28—30 частяхъ *Телескопа* за 1835 г. встрѣчаются сочиненія и переводы Станкевича, Бакунина, Кольцова, Аксакова

теріала, Надеждинъ усиленно писалъ самъ. Обиліе большихъ статей, подписанныхъ его инициалами, и веденіе двойного изданія свидѣтельствуютъ о чрезмѣрныхъ занятіяхъ редактора. Въ общей сложности имъ помѣщено въ *Телескопъ* съ января по сентябрь 1836 г. до тридцати двухъ печатныхъ листовъ <sup>1)</sup>. Среди этой лихорадочной работы онъ не щадилъ здоровья; въ ней видѣлъ средство отвлечься отъ мучительныхъ думъ,—утолить свою печаль.

Изъ всѣхъ статей Надеждина за это время выдѣляются «Выдержки изъ дорожныхъ воспоминаній» и отзывы объ «Исторіи поэзіи» С. П. Шевырева <sup>2)</sup>. «Впечатлѣнія Парижа» и «Путешествіе по Рейну» <sup>3)</sup> выходили въ свѣтъ тогда, когда Пушкинъ печаталъ въ *Современникъ* «Хронику русскаго». Несмотря на то, что «Парижскія письма» Тургенева «трепетали тогдашними новинками», носили «теплый, внезапный отпечатокъ мыслей, чувствъ, впечатлѣній, городскихъ вѣстей, бульварныхъ, академическихъ, салонныхъ, кабинетныхъ движеній» <sup>4)</sup>, — «Воспоминанія» Надеждина не должны были потускнѣть въ сравненіи съ бѣглыми и оригинальными набросками Эоловой Арфы. Оба произведенія были хороши: каждое—въ своемъ родѣ. Надеждинъ писалъ болѣе систематично, болѣе глубоко, но менѣе остроумно; болѣе научно, но менѣе живо. Отъ настоящаго онъ невольно переносился въ прошедшее: описывая современную Германію, вспоминалъ рыцарскія времена и легенды, преданія, связанные со многими видѣнными имъ мѣстечками. Характеризуя Парижъ, онъ увлекся его литературой и посвятилъ ей любопытную статью, напоминающую профессорскую лекцію <sup>5)</sup>. Надеждинъ не имѣлъ большихъ знакомствъ, подобно Тургеневу; не могъ передать разговоровъ съ французскими знаменитостями, не зналъ подробностей ихъ ин-

<sup>1)</sup> «Впечатлѣнія Парижа», «Бенефисы Щепкина, Мочалова и Львовой-Спиецкой», «Энциклопедическій лексиконъ», «Путешествіе по Рейну», «Исторія поэзіи С. Шевырева», «Для г. Шевырева», «Рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ собраніи Императорскаго Московскаго университета», «Описаніе старопечатныхъ книгъ славянскихъ» П. Строева, «Письмо о богослуженіи Восточной Церкви»; «Не для г. Шевырева, а для читателей»; «Основаніе Физики» М. Павлова (*Телескопъ* и *Молва*, 1836, №№ 1—5, 8—12).

<sup>2)</sup> Статья «Европеизмъ и народность» разобрана въ VI главѣ.

<sup>3)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, стр. 172—202, 494—569; ч. XXXII, стр. 81—119.

<sup>4)</sup> *Современникъ*, 1836, т. I, стр. 262; т. II, стр. 311—312; т. IV, стр. 245.

<sup>5)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXII, стр. 81—119.

тимной, закулисной жизни,—но зато поражалъ пытливостью своего ума и своей эрудиціей, которыя пригодились для изображенія чужеземныхъ обычаевъ. При чтеніи «Хроники» Тургенева передъ нами невольно возстаетъ образъ всюду поспѣвающаго, всѣмъ интересующагося диллетанта и свѣтскаго человѣка, захваченнаго сутолокой уличной и салонной жизни. При чтеніи «Воспоминаній» Надеждина выясняется обликъ вдумчиваго и серьезнаго мыслителя, не сливающагося съ житейской суетой, а наблюдающаго ее со стороны, въ роли зрителя и иногда суроваго критика <sup>1)</sup>).

Взыскательный къ себѣ, Надеждинъ всегда подвергалъ строгой оцѣнкѣ явленія общественной жизни, литературы и науки. Особенно серьезные требованія предъявлялъ онъ къ ученымъ, самоувѣренно выступавшимъ передъ публикой во всеоружіи своихъ знаній, и его беспощадные разборы навлекали на него нареканія самолюбивыхъ авторовъ. Объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ его полемика съ С. П. Шевыревымъ.

Въ № 4 *Телескопа* за 1836 г. была напечатана статья о первомъ томѣ «Исторіи поэзіи», содержащемъ въ себѣ обзоръ индійскихъ и еврейскихъ литературныхъ памятниковъ. Привѣт-

---

<sup>1)</sup> Ср. *Телескопъ*, 1836, № 1, стр. 173: «Я путешествовалъ», пишетъ Надеждинъ: «безъ всякихъ особенныхъ намѣреній, ученыхъ или промышленныхъ. Что представлялось мнѣ, замѣчалъ просто, какъ видѣлъ, какъ чувствовалъ. Можетъ быть, въ этихъ впечатлѣніяхъ читатели не найдутъ ничего новаго, поучительнаго. Но я знаю по себѣ, какъ, бывало, простой рассказъ, простое воспоминаніе увлекало мое любопытство туда, гдѣ я не былъ, къ тому, чего не видалъ я. И если въ тѣхъ, которые сами бывали въ мѣстахъ, мною описываемыхъ, впечатлѣнія мои освѣжаютъ воспоминаніе; если тѣмъ, которые нигдѣ не были, доставятъ нѣсколько минутъ пріятнаго развлеченія,—то моя цѣль достигнута. Я всегда думалъ, что ни одно живое чувство, ни одно сильное впечатлѣніе не должно погребаться въ душѣ, какъ въ шкатулкѣ скупого. Кругообращеніе идей важно не меньше кругообращенія капиталовъ; имъ держится мысленное богатство народа».—Несомнѣнные достоинства «Воспоминаній» Надеждина не помѣшали однако его недоброжелателямъ пройтись на его счетъ, правда, въ частной перепискѣ. «Въ первой книжкѣ (*Современника*), сообщаетъ П. А. Вяземскій И. И. Дмитріеву: «будетъ Парижская хроника учено-литературно-политически-гостиная нашей Эоловой Арфы. Она благонадежныѣ Хроники Надеждина, хотя и не писана съ такой высоты» (Письмо отъ 15 марта 1836 г.). Князь намекалъ на слова своего корреспондента, который, не безъ яду, замѣтилъ, что «Надеждинъ, помня свое церковное происхожденіе, не упустилъ изъ виду слазать на колокольню собора Notre-Dame, чтобы описать Парижъ» (*Русскій Архивъ*, 1868, стр. 646).

ствую выходъ въ свѣтъ «Чтеній» Шевырева, «имѣющихъ важныя, неоспоримыя достоинства», и признавая въ молодомъ адъюнктѣ талантливаго, трудолюбиваго и краснорѣчиваго лектора и писателя, Надеждинъ счелъ долгомъ указать, что новый трудъ «есть прекрасное *литературное* произведеніе, замѣчательный фактъ нашей *изящной, но не ученой* словесности». Книга «чужда всякаго логическаго построенія»; она—«краснорѣчивая глгопись поэзіи, усѣянная по мѣстамъ разсужденіями». Факты, изложенныя Шевыревымъ, не «приведены имъ въ стройную философическую систему»; «очерки индійской и очерки еврейской поэзіи, стоящіе другъ подлѣ друга», «не имѣютъ никакой связи между собою». Замѣтно излишнее восхищеніе красотами поэтическихъ произведеній, но отведено мало мѣста исторіи языка, «изслѣдованію метрическихъ формъ». Въ «Чтеніяхъ» встрѣчаются и ошибки. Религія персовъ названа политеизмомъ и признана «имѣющей нѣкоторое соотвѣтствіе съ системою материалистовъ», тогда какъ она была «двубожіемъ» и «скорѣе относится къ спиритуализму, самому строгому, самому идеальному»; отрицается какое бы то ни было вліяніе индійской поэзіи на собственно европейскую литературу до XIX вѣка, тогда какъ оно отразилось еще на басняхъ Эзопа, на поэмѣ Нонна *Διονυσιακά*; еврейскій параллелизмъ признанъ формой, присущей историческимъ памятникамъ Библии, тогда какъ онъ «преимущественно господствуетъ въ лирическихъ гимнахъ, псалмахъ и видѣніяхъ пророческихъ, равно какъ въ дидактическихъ, поучительныхъ книгахъ» и представляетъ собою «наружную форму еврейской поэзіи, можетъ быть, ея версификацію».—Наконецъ,—что самое главное,—у Шевырева всѣ еврейскіе литературные памятники «представляются какъ будто современными: Моисей, Давидъ, Іовъ, Соломонъ, Исаія, Іезекіиль разсматриваются безъ всякаго отношенія къ ихъ исторической послѣдовательности», и во всей библейской поэзіи отмѣчено «выраженіе одной фазы, одной стихіи народнаго бытія: пастушеской жизни». Между тѣмъ, пишетъ Надеждинъ, отъ первой пѣсни Моисея до послѣдняго пророчества Малахіи протекло не мало вѣковъ, и «въ продолженіе этого времени народъ еврейскій испыталъ столько перемѣнъ: онъ родился, жилъ и состарѣлся». Изъ пастыря онъ превратился въ гражданина, и, при первыхъ пророкахъ, «находился на высокой степени гражданскаго развитія». «Плѣненіе вавилонское положило конецъ этой самобытной общественности». «Оттого и священная поэзія, во-

преки мнѣнію Шевырева, не всегда имѣла характеръ пастырскій, идиллическій. Этотъ характеръ принадлежалъ ей во времена первыя, потомъ смѣнился дидактическимъ, общежительнымъ; наконецъ, превратился въ философскій, созерцательный». Въ концѣ своей статьи Надеждинъ представилъ «схематическое изложеніе исторіи еврейскаго народа и еврейской поэзіи по главнѣйшимъ эпохамъ и періодамъ», и высказалъ мысль, что его замѣчанія «не повредятъ истинному достоинству труда Шевырева». «Братя по занятіямъ и ремеслу», писалъ Надеждинъ: «мы ищемъ одного съ г. Шевыревымъ—просвѣщенія и пользы! Кто скорѣе дойдетъ къ этой цѣли, тотъ долженъ подавать руку спутникамъ. Г. Шевыревъ, вѣрно, не оставитъ вразумить меня, если я ошибаюсь. По крайней мѣрѣ его благородный характеръ есть для меня вѣрное ручательство, что онъ будетъ имѣть столько же снисхожденія къ моей критикѣ, сколько я имѣю уваженія къ его труду» <sup>1)</sup>).

Къ сожалѣнію, Шевыревъ «не такъ понялъ, или, лучше сказать, не такъ принялъ замѣчанія» Надеждина, какъ послѣдній «ожидалъ и надѣялся». Онъ «не отдалъ справедливости намѣреніямъ» своего рецензента, въ «чистосердечной бесѣдѣ» «старался находить какія-то затаенныя мысли», въ «деликатности» видѣлъ «неискренность»,—однимъ словомъ, «не въ добрый часъ прочелъ критику» на свое сочиненіе» <sup>2)</sup>. Онъ отвѣчалъ Надеждину въ *Московскомъ Наблюдателѣ* <sup>3)</sup>, гдѣ пытался доказать, что Надеждинъ не имѣлъ основанія отвергать въ «Исторіи поэзіи» систему и что «построеніе религій Востока, представленное» въ *Телескопѣ*, «невѣрно какъ фактъ историческій» и «какъ фактъ логическій». Рѣзко назвавъ сужденія Надеждина «произвольными, ничѣмъ не доказанными», Шевыревъ заявилъ, что его критикъ «не могъ имѣть вниманія» къ разобранной имъ книгѣ, «потому что не имѣлъ его даже къ тѣмъ книгамъ, которыя изучалъ ex officio». Шевыревъ причислилъ Надеждина къ разряду приверженцевъ «насильственныхъ логическихъ построеній», т. е. людей, «въ умственномъ глазѣ» которыхъ есть особья «пятна», «туманяція ихъ зрѣніе и мѣшающія имъ видѣть явленія ясно, въ ихъ

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXI, стр. 665—716.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 1836, ч. XXXII, стр. 579—580.

<sup>3)</sup> *Московский Наблюдатель*, 1836, ч. VI, стр. 698—709; ч. VII, стр. 252—287, 395—407.



сущности». «Если склонность общить и подводить все под общія вывѣски», говорилъ онъ: «можетъ повсюду вредить жизни науки, то особенно вредна она въ исторіи поэзіи, которая должна развивать живое эстетическое чувство въ слушатеѣ... Подъ безцвѣтность логическихъ формулъ можно подвести весь Ватиканъ, всю Италію, всю Грецію съ ея роскошными произведеніями; но это значитъ превратить живой міръ искусства въ мертвое и хладное кладбище логики, гдѣ формулы ея будутъ служить эпифаніями всѣмъ образцовымъ его произведеніямъ»<sup>1)</sup>.

Надеждинъ не могъ обойти молчаніемъ отвѣтъ Шевырева,— и завязалась полемика. Перенеся споръ въ область философіи, Надеждинъ безъ труда разбилъ доводы не очень искуснаго въ діалектикѣ противника и наглядно показалъ преимущества «философіи исторіи» въ сравненіи съ «исторіей - лѣтописью»<sup>2)</sup>. Хорошо знакомый съ еврейскимъ языкомъ и поэзіей, онъ ѣдко вышутилъ Шевырева, «въ первый разъ взявшагося за еврейскую азбуку» и пытался уличить своего критика въ незнаніи произношенія нѣкоторыхъ еврейскихъ буквъ. Потерпѣлъ поражение Шевыревъ и въ своемъ толкованіи еврейскаго параллелизма, выказавъ незнаніе того, что разумѣли евреи подъ притчей. Въ назиданіе ему, Надеждинъ обстоятельно изложилъ свои мысли о пророческомъ періодѣ еврейской поэзіи, проявивъ при этомъ большую эрудицію, и заключилъ свой очеркъ слѣдующими словами: «Зачѣмъ называть «нѣмецкимъ туманомъ» и «французскимъ безуміемъ» скромное покушеніе внести свѣтъ мысли въ громаду фактовъ, подчинить разнообразію дѣйствительности идеальному единству? Мы не называемъ же беотійскимъ тупоуміемъ, схоластическимъ пустомысліемъ противоположнаго направленія, когда факты валять въ кучу безъ разбора, привязывая къ нимъ, вмѣсто ярлычковъ, несвязныя, хотя бѣ даже и блестящія фразы. Только намѣренное, сознательное ожесточеніе противъ мыслительности можетъ вызвать насъ къ противодѣйствію,—и мы объявляемъ себя непримиримыми врагами всякаго заносчиваго, упорнаго безмыслія»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> *Московский Наблюдатель*, 1836, ч. VII, стр. 252—260, 284—287.

<sup>2)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXII, стр. 625—631.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 1836, ч. XXXIII, стр. 393—432.—Ср. *Молву*, 1836, № 10, стр. 271: «Жизнь *Московского Наблюдателя* обнаружилась въ упорной борьбѣ за честь и славу такъ называемой «Исторіи поэзіи» г. Шевырева; но тутъ

Полемика Надеждина съ Шевыревымъ заинтересовала многихъ. За ней слѣдили съ любопытствомъ и друзья и враги обоихъ ученыхъ. У Шевырева нашелся защитникъ, хотя не вполне искренній, въ лицѣ Булгарина, выжидавшего удобнаго момента, чтобы сдѣлать непріятность Надеждину. «Шевыревъ», напечатано въ *Съверной Пчелѣ*: «издалъ, по крайней мѣрѣ, книгу (какова бы она ни была) о предметѣ, котораго не касались прежде русскіе литераторы. Это уже заслуга въ нашей бѣдной литературѣ. А его оппонентъ? Не лучше ли было бы, вмѣсто того, чтобы тратить драгоценное время на писаніе сотенъ страницъ безплодной полемики, употребить это время на составленіе какой-нибудь учебной книги, въ которыхъ такъ нуждается наша словесность, и къ которымъ, нѣкоторымъ образомъ, обязываетъ его самое его ученое званіе» <sup>1)</sup>).

Выходка *Пчелы* не была единственной. Сенковскій, тоже таившій злобу противъ *Телескопа*, поспѣшилъ свести счеты со своимъ врагомъ. Въ Литературной Лѣтописи *Библиотеки для Чтенія* была въ шутовскомъ видѣ представлена распря *Телескопа* и *Московского Наблюдателя*. «Двое писателей сердятся, бранятся, какъ школьники, острятся, подсмѣиваются, колютъ, щиплютъ одинъ другого, барахтаются въ виду всей публики». Такого рода зрѣлища не вынесла *Библиотека для Чтенія*, и, «великодушно платя за зло добромъ, предлагала имъ себя въ образецъ и примѣръ, совѣтовала быть хладнокровными, прекратить споры, уважать себя и свое мнѣніе» <sup>2)</sup>).

Полемика съ Шевыревымъ была послѣднимъ крупнымъ эпизодомъ въ журнальной дѣятельности Надеждина. Булгаринъ и

еще нѣтъ мыслительнаго движенія; тутъ, напротивъ, царствуетъ горячее ожесточеніе противъ мысли». — *А. Пытинъ*. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Спб., 1876, т. I, стр. 148, 239—241.

<sup>1)</sup> *Съверная Пчела*, 1836, № 221, стр. 882.

<sup>2)</sup> *Библиотека для Чтенія*, 1836, т. XVII, Литературная Лѣтопись, стр. 44—45.—Ср. *Н. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1891, кн. 4, стр. 353—360.—«У васъ», писалъ Березниковъ изъ Археографической Комиссіи П. М. Строеву: «ученые ратоборствуютъ въ *Наблюдателѣ* и *Телескопѣ*, спорятъ о томъ, что виѣ понятія нашей младенчествующей словесности; на примѣръ, полемика Надеждина съ Шевыревымъ о западныхъ литературахъ. Подъ силу ли намъ? Обработаніе древней словено-русской словесности, повидимому, должно бы особенно насъ занимать; кто на нее обращаетъ вниманіе? Кто знаетъ въ этомъ толкъ? Право, въ русской исторіи мы пятимся назадъ: Яковкина у насъ замѣняетъ Погодинъ, а Эмина—Полевой».

Сенковскій, старавшіеся бросить тѣнь на репутацію своего недруга, не подозрѣвали, что дни *Телескопа* сочтены. Не подозрѣвалъ этого и Надеждинъ. Онъ зналъ только одно, что финансовыя дѣла редакціи плохи, и изыскивалъ средства ихъ поправить. Одно изъ этихъ средствъ и привело къ катастрофѣ.

Знакомство Надеждина съ Чаадаевымъ состоялось еще въ 1832 году, вскорѣ послѣ того, какъ въ *Телескопѣ* было помѣщено присланное въ редакцію А. С. Норовымъ <sup>1)</sup> разсужденіе подъ заглавіемъ «Нѣчто изъ переписки NN (съ французскаго)» <sup>2)</sup>. Насколько статья понравилась Надеждину <sup>3)</sup>, настолько Чаадаевъ, съ которымъ онъ столкнулся въ Англійскомъ клубѣ, показался ему несимпатичнымъ. Чаадаевъ «объявилъ, что онъ сочинитель напечатанныхъ отрывковъ и предложилъ ему свое знакомство, намекая, что онъ желалъ бы и впредь участвовать въ журналѣ помѣщеніемъ своихъ сочиненій» <sup>4)</sup>.

«Вслѣдствіе такого предложенія, Надеждинъ сдѣлалъ ему визитъ; но при разговорѣ, относившемся вообще къ наукамъ и способу занятія ими, предубѣжденіе противъ Чаадаева усилилось». Надеждинъ «нашелъ въ немъ очень тяжелого и сухого человѣка, такъ что не только не напомнилъ ему о его предложеніи, но и не сталъ къ нему больше ѣздить». «Съ тѣхъ поръ», разсказываетъ Надеждинъ: «прекратилось всякое сношеніе между мной и имъ. Мы только кланялись, видя другъ друга въ клубѣ; въ другихъ же обществахъ и не встрѣчались вовсе. Чаадаевъ принадлежалъ совсѣмъ къ другому кругу московскихъ литераторовъ,

<sup>1)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 397, 418; *М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 135.

<sup>2)</sup> *Телескопъ*, 1832, № 11, стр. 347—357.— Препровождая издателю статью, Норовъ объяснялъ, что она писана русскимъ и «представляетъ развитіе одной полной, глубоко обдуманной системы». Онъ сознавался, что въ переводѣ утрачена «необыкновенная изящность языка» оригинала, но прибавлялъ, что въ статьѣ «остаётся, по крайней мѣрѣ, интересъ логогрифа: отгадать, что можетъ быть общаго между архитектурой и безсмертіемъ души».

<sup>3)</sup> Онъ высказывалъ предположеніе, что «мыслящіе читатели найдутъ» въ статьѣ «высшую занимательность» (*Телескопъ*, 1832, ч. IX, № 11, стр. 347).

<sup>4)</sup> Нѣсколько раньше, въ 1831 году Чаадаевъ просилъ Пушкина пристроить въ печати на французскомъ языкѣ «Философическое письмо» № 3, но дѣло не сладилось.—См. Сочиненія Пушкина. Переписка. Изд. Академіи Наукъ. Спб., 1908, т. II, стр. 268—270.—*М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 134.

между которыми и мною» «существовало журнальное несогласіе. Въ этомъ кругу журналъ мой не пользовался благорасположенными мнѣніемъ, и, сколько мнѣ извѣстно было по слухамъ, Чаадаевъ былъ не изъ послѣднихъ моихъ противниковъ и охуждателей»<sup>1)</sup>).

Прошло четыре года. Въ теченіе этого времени Чаадаевъ, сгоравшій желаніемъ «дать ходъ идеѣ, которую онъ считалъ себя призваннымъ передать міру»<sup>2)</sup>, сдѣлалъ двѣ - три попытки напечатать «Философическія письма» то у московскаго типографа Августа Семена, то въ *Московскомъ Наблюдателѣ*, то при содѣйствіи А. И. Тургенева<sup>3)</sup>. Всѣ эти попытки оканчивались неудачей: московская цензура отказала въ одобреніи, В. П. Андросовъ потребовалъ неудобныхъ измѣненій въ текстѣ<sup>4)</sup>, знакомые не оправдали возлагаемыхъ на нихъ упованій. Безуспѣшность настойчивыхъ хлопотъ повліяла на Чаадаева: онъ поступился своимъ безмѣрнымъ самолюбіемъ,—и рѣзко измѣнилъ обращеніе съ Надеждинымъ, котораго случайно увидѣлъ въ клубѣ въ іюнѣ или въ іюлѣ 1836 г. Чаадаевъ самъ подошелъ къ нему, началъ разговоръ, «наговорилъ очень много лестнаго» о *Телескопѣ* и снова предложилъ свои услуги въ качествѣ сотрудника. Надеждина «удивила такая переменна въ человѣкѣ, котораго онъ считалъ къ себѣ нерасположеннымъ»; онъ не могъ понять, почему отъ прежней напыщенности и холодности Чаадаева не осталось и слѣда,—не зналъ, чѣмъ объяснить его «радужный и пріятный тонъ» и замѣчательную учтивость. Любезное обхожденіе Чаадаева однако достигло цѣли: Надеждинъ «изъявилъ готовность воспользоваться его предложеніемъ». Черезъ нѣсколько дней, два «Философическія письма», именно третье и четвертое<sup>5)</sup>, были присланы Надеждину, и показались ему «написанными очень умно, достойными замѣчанія по содержанію». Надеждинъ рѣшилъ «поѣхать къ Чаадаеву, чтобы сказать ему свое мнѣніе

---

<sup>1)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 397—398.

<sup>2)</sup> Ср. Сочиненія Пушкина. Переписка. Изд. Академіи Наукъ. Спб., 1908, т. II, стр. 253, 269—270.

<sup>3)</sup> *А. Кирпичниковъ*. Очерки по исторіи новой русской литературы. М., 1903, стр. 131—134.—*М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 134—135.

<sup>4)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 428.

<sup>5)</sup> Нумерація писемъ не совпадаетъ съ нумераціей Гагаринскаго изданія. Письма, бывшія въ рукахъ Надеждина, до насъ не дошли (*М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 64—73, 77).

о письмах», и «въ это посѣщеніе имѣлъ съ нимъ длинный разговоръ». Чаадаевъ совѣтовалъ дать *Телескопу* «нравственно-религіозное направленіе», которое есть «единственное основаніе общественнаго благоденствія и личнаго совершенствованія каждаго человѣка», и этимъ «расположилъ въ свою пользу» Надеждина, «загладилъ прежнія противъ себя предубѣжденія». Чаадаевъ много и долго разсуждалъ на разныя темы, желая ознакомить собесѣдника со своимъ міровоззрѣніемъ. Онъ выказалъ большую «любовь къ общественному порядку и непріязнь къ потрясеніямъ, волнующимъ Западную Европу»<sup>1)</sup>; указалъ главную причину этихъ волненій—въ «отсутствіи вѣры, упадкѣ религіи»<sup>2)</sup>; «съ восторгомъ переносился въ тѣ времена, когда Западная Европа была вполне христіанскою и безусловно преданною евангельскимъ идеямъ дѣтскаго смиренія, дѣтскаго повиненія, и называлъ эти времена золотыми вѣками Европейской исторіи, особенно эпоху крестовыхъ походовъ». Объ Россіи Чаадаевъ говорилъ съ сожалѣніемъ, потому, что «въ такъ называемомъ образованномъ нашемъ классѣ вѣра не имѣетъ той силы, какая необходима для истиннаго просвѣщенія»; разсказалъ, что

---

<sup>1)</sup> Ср. Письмо Чаадаева къ Пушкину отъ 18 сентября 1831 г. «Il y a quelque temps, il y a un an, le monde vivait dans la sécurité du présent et de l'avenir, et récapitulait en silence son passé et s'en instruisait. L'esprit se régénérait dans la paix, la mémoire humaine se renouvelait, les opinions se reconciliaient, la passion s'étouffait, les colères se trouvaient sans aliment, les vanités se satisfaisaient dans de beaux travaux; tous les besoins des hommes se circonscrivaient peu à peu dans l'intelligence, et tous leurs intérêts allaient peu à peu aboutir au seul intérêt du progrès de la raison universelle. Pour moi c'était foi, c'était crédulité infinies. Dans cette paix heureuse du monde, dans cet avenir je trouvais ma paix, mon avenir. Est survenue tout-à-coup la bêtise d'un homme. d'un de ces hommes appelés, sans leur aveu, à diriger les affaires humaines. Voilà que sécurité, paix, avenir, tout devint aussitôt néant... Moi, je me sens la larme à l'œil, quand je regarde ce vaste désastre de la vieille, de ma vieille société; ce mal universel, tombé sur mon Europe d'une manière si imprevue, a doublé mon propre mal» (Сочиненія Пушкина. Переписка. Изд. Академіи Наукъ. Спб., 1908, т. II, стр. 326).—Ср. *М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 98—100.

<sup>2)</sup> Ср. *М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 154: «Старое европейское общество несетъ на себѣ бремя всего своего прошлаго; былыя страсти и волненія оставили глубокіе слѣды въ его психикѣ и доннынѣ властвуютъ надъ нимъ въ видѣ пристрастій, предразсудковъ, косныхъ навыковъ, не дающихъ ему свободно слѣдовать внушеніямъ разума. Оттого его жизнь далеко отстаетъ позади его сознанія».

свои идеи онъ развилъ въ «цѣломъ рядѣ писемъ», однородныхъ съ отправленными въ редакцію *Телескопа*, и, въ отвѣтъ на выраженное Надеждинымъ согласіе «помѣстить ихъ всѣ», «просилъ подождать, пока онъ пересмотритъ переводъ *перваго письма*, которое, по его словамъ, должно служить введеніемъ ко всѣмъ прочимъ».

Надеждинъ ушелъ отъ Чаадаева, очарованный его «обольстительно-умнымъ и благонамѣреннымъ разговоромъ» и снабженный нѣсколькими книгами, изъ которыхъ его новый сотрудникъ совѣтовалъ «сдѣлать переводы для журнала» <sup>1)</sup>.

Внимательно перечитавъ эти книги, Надеждинъ почувствовалъ полное довѣріе къ Чаадаеву. Въ брошюрѣ Экштейна «О вѣрѣ» онъ съ удовольствіемъ замѣтилъ желаніе барона «заставить ищущихъ истины вникнуть глубже въ основные догматы христіанства и увидѣть, какъ эта божественная религія нераздѣлимо связана съ успѣхами нравственности и просвѣщенія» <sup>2)</sup>; въ книгѣ Раумера прочиталъ, что «русскіе счастливѣе многихъ народовъ Европы», ибо «они имѣютъ именно такую конституцію, какая имъ нужна»; что «у нихъ есть (что требуется въ политикѣ точно такъ же, какъ и въ математикѣ) свой центръ, и этотъ центръ ихъ императоръ»; что «формы другихъ государствъ для нихъ непримѣнимы» <sup>3)</sup>. Благопріятное впечатлѣніе, вынесенное изъ знакомства съ этими сочиненіями, увеличилось, когда Надеждинъ еще разъ перечелъ третье письмо Чаадаева, которое было особенно увлекательно и въ которомъ говорилось о «безусловной преданности закону, не нашимъ произволомъ выдуманному, но внѣ насъ находящемуся» <sup>4)</sup>.—Отрицательное отношеніе Чаадаева къ прошлому Россіи не могло поколебать къ нему довѣрія, такъ какъ отчасти согласовалось съ воззрѣніями, не

<sup>1)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 426—427, 430—432.

<sup>2)</sup> *Телескопъ*, 1836, № 12, стр. 435—436.—Заглавіе брошюры: «De la Foi, de son développement et de ses rapports avec la Science» (Paris, 1836).—Отзывъ А. И. Тургенева объ Экштейнѣ см. въ *Московскомъ Телеграфѣ*, 1827, № 1, стр. 91—92.

<sup>3)</sup> Книга Фридриха Раумера «England im Jahre 1835» вышла въ 1836 г. О ней см. *Телескопъ*, 1836, № 15, стр. 384—389; *Русскую Старину*, 1907, № 8, стр. 251.

<sup>4)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 430—431.—*М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 100.

разъ проводимыми въ *Телескопъ*.—Всего этого было слишкомъ достаточно для того, чтобы Надеждинъ рѣшился напечатать фатальную статью.

Печатаемая «Философическое Письмо», Надеждинъ имѣлъ въ виду также «заинтересовать вниманіе публики и тѣмъ дать ходъ журналу» <sup>1)</sup>, ибо «зналъ извѣстность и вѣсь автора въ высшемъ обществѣ» и «ожидалъ впечатлѣнія отъ самаго имени его, котораго онъ нисколько не думалъ скрывать, хотя и не подписалъ подъ статью» <sup>2)</sup>. Обвороченный бесѣдой съ Чаадаевымъ и отзывами о немъ его знакомыхъ, убѣжденный въ его монархизмъ <sup>3)</sup>, онъ не замѣтилъ вольномыслія и политической неблагонадежности и въ первомъ письмѣ. Напротивъ, онъ вычиталъ здѣсь восторженные отзывы Чаадаева о Петрѣ Великомъ, Александрѣ Первомъ, неодобрительныя замѣчанія о «дурныхъ понятіяхъ» и «гибельныхъ заблужденіяхъ» декабристовъ <sup>4)</sup>, нашелъ «возвы-

<sup>1)</sup> Число подписчиковъ на *Телескопъ* могло уменьшиться вслѣдствіе неаккуратнаго выхода книжекъ въ 1835 году. Да и въ предшествовавшіе годы *Телескопъ* не имѣлъ очень большого успѣха, такъ какъ многія помѣщаемыя въ немъ статьи были «не по плечу тогдашней публикѣ», любившей «пряную, жирную журнальную стряпню, идеаль которой осуществлялся въ Петербургѣ *Библиотекой для Чтенія*, создавшей цѣлую школу подражателей и поклонниковъ знаменитаго барона Брамбеуса». «Тамъ», пишетъ М. Н. Лонгиновъ: «были *средства*, «обстоятельствъ, отъ редакціи не зависящихъ», не было; книжки выходили въ срокъ, толстыя, напичканныя всякою всячиной, отлично припоровленной ко вкусу толпы; тонъ журнала, предававшагося всякому дуновенію вѣтра и льстившаго невѣждамъ глумленіемъ надъ истиной, наукой и искусствомъ: все это было причиною его успѣха. *Библиотека* процвѣтала, а *Телескопъ* падалъ и падалъ» —Въ своей статьѣ: «О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 г.», Гоголь также отмѣчаетъ, что *Телескопъ* «много вредилъ себѣ опаздываніемъ книжекъ», и называетъ Сенковского «новымъ счастливецемъ», съ которымъ трудно конкурировать Надеждину (*Русскій Вѣстникъ*, 1862, № 11, стр. 143; *Современникъ*, 1836, т. I, стр. 207—208).

<sup>2)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 440.—*М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 133—134.—Ср. *Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 33: «Статья появилась безъ имени автора, но объ этомъ обстоятельствѣ никто не заботился. Ее прямо звали Чаадаевской статьѣй, какъ будто бы его имя было подъ нею всѣми буквами прописано, и, конечно, нигдѣ и никогда никакое имя своимъ отсутствіемъ болѣе замѣтно не сверкало».

<sup>3)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 411, 431—432.—Ср. Апологію сумасшедшаго (*М. Гершензонъ*. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 295; Апологія. Переводъ С. М. Юрьева и В. П. Денике. Казань, 1906, стр. 19).

<sup>4)</sup> «Нѣкогда великій царь хотѣлъ насъ образовать. и чтобы заохотить къ просвѣщенію, бросилъ намъ мантию цивилизаціи: мы подняли мантию, но не

шенность предмета, глубину и обширность взглядовъ, строгую послѣдовательность выводовъ и энергическую искренность выраженія»,— и «съ удовольствіемъ извѣстилъ читателей, что имѣеть дозволеніе украсить свой журналъ и другими, изъ этого ряда писемъ»<sup>1)</sup>. Надеждинъ не зналъ и потому не могъ учесть значенія того обстоятельства, что его сотрудникъ еще десять лѣтъ назадъ былъ заподозрѣнъ въ тѣсныхъ связяхъ съ декабристами<sup>2)</sup>, и думалъ, что, сдѣлавъ возраженіе противъ излишняго пессимизма Чаадаева въ отношеніи родины<sup>3)</sup>, онъ вполне обезопаситъ себя отъ какихъ бы то ни было нареканій властей<sup>4)</sup>... Но онъ жестоко ошибся.

По мѣткому выраженію Герцена, Письмо Чаадаева было «выстрѣломъ, раздавшимся въ темную ночь»: оно встревожило и «потрясло всю мыслящую Россію»<sup>5)</sup>. Трудно представить, что творилось въ Москвѣ<sup>6)</sup>. «Почти не было дома, въ которомъ не

---

коснулись просвѣщенія. Въ другой разъ, другой великій государь пріобщилъ насъ своему великому посланію, проведши побѣдителями съ одного края Европы на другой; мы прошли просвѣщеннѣйшія страны свѣта и что же принесли домой? Одни дурныя понятія, гибельныя заблужденія, которыя отодвинули насъ назадъ еще на полстолѣтіе» (И. Чаадаевъ. Философическія письма. Казань, 1906, стр. 11 — 12). — Ср. М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 33, 215—216.

<sup>1)</sup> *Телескопъ*, 1836, ч. XXXIV, № 15, стр. 275.—Написанное первоначально для третьяго письма, цитированное примѣчаніе, очевидно, съ точки зрѣнія Надеждина, подходило и къ первому (*М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 430).

<sup>2)</sup> М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 13—15, 24—25, 58—59. — Ср. Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 360.

<sup>3)</sup> *Русская Старина*, 1907, № 8, стр. 237 — 258: «Двѣ статьи Н. И. Надеждина, написанныя по поводу «Философическаго письма» Чаадаева». — Ср. М. Лемке. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 440.

<sup>4)</sup> 20 октября 1836 г., т. е. черезъ пять дней послѣ того, какъ было послано въ Петербургъ донесеніе гр. Строганова съ ходатайствомъ о закрытіи *Телескопа*, ничего не подозревавшій Надеждинъ писалъ, извиняясь передъ публикой въ неаккуратномъ выполненіи обязательствъ по подпискѣ 1835 г. «*Время еще впереди*. Посвятить себя труду, издатель надѣется заглазить прошедшее *будущему* неутомимую дѣятельностью. Man kann, was man will!» (*Телескопъ*, 1835, ч. XXX: «Отъ издателя»).

<sup>5)</sup> А. Герценъ. Сочиненія. Спб., 1905, т. II, стр. 402.

<sup>6)</sup> М. Лемке. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 430: «Я не ожидалъ отъ письма г. Чаадаева того ужаснаго впечатлѣнія, которое произведено имъ», откровенно сознался Надеждинъ.



говорили бы про Чаадаевскую статью и про Чаадаевскую историю». «Большинство безъ дальнихъ околичностей называло статью антинаціональною, невѣжественною и вздорною, не стоящею никакого вниманія, а между тѣмъ, непрерывающимися про нее браничвыми толками и сужденіями само озабочивалось объ окончательномъ опроверженіи и уничтоженіи своего мнѣнія. Просвѣщенное меньшинство находило статью высоко-замѣчательной, но въ конецъ ложною, чему, по его понятіямъ, причиною былъ принятый за точку отправленія и въ основаніе положенный чрезвычайно затѣйливый и сціентифически обманчивый софизмъ. Большинство, изъ котораго бесполезно было бы выключать великолѣпныхъ барынь и людей при крупныхъ чинахъ и съ громкими именами, на словахъ собиралось вооружиться уничтожающимъ презрѣніемъ, а на дѣлѣ обнаруживало распѣтушившееся, самое разъяренно ненавидящее озлобленіе; меньшинство готовилось къ спокойному, благородному, пріятному, исполненному изящной вѣжливости и утонченнаго приличія, научно-критическому опроверженію. Безусловно сочувствующихъ и совершенно согласныхъ не было ни одного человѣка»<sup>1)</sup>.

Весьма вѣроятно, что «религіозно-историческая доктрина» Чаадаева не была усвоена всѣми возставшими противъ него; общедоступнымъ оказалось лишь его сужденіе о Россіи<sup>2)</sup>. Многіе думали, что Чаадаевъ «прочиталъ отходную русской жизни и русскому народу»<sup>3)</sup>,—и это оскорбило національное чувство<sup>4)</sup>.

Поклонники Карамзина не могли примириться съ тѣмъ, «что въ нашей жизни и исторіи нѣтъ никакой аналогіи съ общечело-

<sup>1)</sup> Кромѣ Герцена и его друзей, жившихъ въ ту пору въ Вяткѣ (А. Герценъ. Сочиненія. Спб., 1906, т. II, стр. 402—403). — *Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 31 (статья М. И. Жихарева).

<sup>2)</sup> М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 141—142.

<sup>3)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 31.—Сужденіе неправильное, такъ какъ Чаадаевъ, «сдавленный жалкою, окружающею его существенностію», не утратилъ «сладостнаго вѣрованія въ будущее благоденствіе человѣчества», и полагалъ, что Россія «существуетъ для того, чтобы со временемъ преподавать какой-нибудь великій урокъ міру» (П. Чаадаевъ. Философическія письма. Казань, 1906, стр. 8, 19.—Ср. М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 87).

<sup>4)</sup> *Русскій Архивъ*, 1868, стр. 984—987: «На автора», писалъ Д. Н. Свербеевъ: «возстало все и всѣ съ небывалымъ до того ожесточеніемъ въ нашемъ довольно апатическомъ обществѣ (я говорю только о Москвѣ) и, замѣтимъ, возстало не столько за оскорбленное православіе, сколько за *грубые* упрёки современной Россіи и, главное, высшему нашему обществу».

вѣческимъ, законнымъ развитіемъ, что мы какіе-то илоты, выбранные судьбою для указанія: что можетъ быть съ племенами, отпавшими отъ цѣлости, отъ единства съ человѣчествомъ». «Строгий мыслитель», дерзнувшій «безжалостно и безтрепетно разбить» лучшія «вѣрованія и надежды», долженъ былъ получить соотвѣтствующее возмездіе <sup>1)</sup>).

Въ литературныхъ кругахъ была «ужасная суматоха» <sup>2)</sup>). Москвичи и петербуржцы обмѣниваются письмами. Въ этихъ письмахъ проявилось возбужденное настроеніе: всѣ ожесточены, раздражены. Царитъ какое-то «остервенѣніе» <sup>3)</sup>). «Что надѣлалъ Надеждинъ?» горячился князь В. Ѡ. Одоевскій. «Здѣсь (т. е. въ Петербургѣ) объ этомъ такой трезвонъ по гостинимъ, что ужасъ; и, что всего досаднѣе, вступить нельзя: явная глупость въ самой статьѣ, а еще бѣлая въ напечатаніи оной... У москвичей такое незнаніе о томъ, что дѣлается на Руси! Такое незнаніе струнъ, которыхъ нельзя трогать!» <sup>4)</sup>). «Что за глупость пророчествовать о прошедшемъ?» восклицалъ съ горечью и П. А. Вяземскій. «Пророковъ и о будущемъ сажаютъ въ желтый домъ, когда они предсказываютъ преставленіе свѣта, а тутъ посказаніе о бывшемъ преставленіи народа. Это верхъ безумія! И думать, что народъ скажетъ за это спасибо, за то, что выводятъ по старымъ счетамъ изъ него не то что ложное число, а просто нуль! Такого рода парадоксы хороши у камина для оживленія разговора, но далѣе пускать ихъ нельзя, особенно же у насъ, гдѣ умы не приготовлены и не обдержаны преніями противоположныхъ мнѣній. Даже и опровергать ихъ нельзя, потому что опроверженіе было бы обвиненіемъ, доносомъ. Тутъ вышелъ бы споръ не объ отвлеченномъ предметѣ, а бой рукопашный за свою кровь, за прахъ отцовъ, за все свое и за всѣхъ своихъ. Какъ же можно вызывать на такой бой, заводить такой споръ?» <sup>5)</sup>).

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. Сочиненія. Спб., 1876, т. I, стр. 509 — 510, 519 — 520, 527. — «Публика крайне была оскорблена нѣкоторыми выраженіями моего письма», сообщалъ самъ Чаадаевъ брату (*Вѣстникъ Европы*, 1871, № 11, стр. 326).

<sup>2)</sup> *Русская Старина*, 1889, № 9, стр. 544—545.

<sup>3)</sup> Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 336.

<sup>4)</sup> *Русскій Архивъ*, 1878, кн. 5, стр. 58.—Корреспондентъ Одоевскаго С. П. Шевыревъ также считалъ статью Чаадаева глупой (*Русская Старина*, 1904, № 5, стр. 367).

<sup>5)</sup> Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 342.—Ср. Князь П. А. Вяземскій. Полное собраніе сочиненій. Спб., 1879, т. II,

Несмотря на предостереженіе Вяземскаго, воздержаться отъ спора было немислимо: Чаадаевъ, Свербеевъ, Орловъ, Павловъ проводили вечера у А. И. Тургенева «въ сильномъ и громогласномъ спорѣ» <sup>1)</sup>, а Боратынскій съ Хомяковымъ взяли за перья и стали готовить «уничтожающія и громовыя опроверженія» и «возраженія» <sup>2)</sup>. Самъ Пушкинъ пожелалъ заявить Чаадаеву о своемъ несогласіи съ его взглядами и составилъ письмо, въ которомъ разсѣяно не мало мѣткихъ замѣчаній о судьбѣ нашей родины. И прежде не раздѣлявшій нѣкоторыхъ мыслей Чаадаева <sup>3)</sup>, Пушкинъ теперь счелъ долгомъ указать ему, какъ надо понимать нашу обособленность отъ Европы и какъ слѣдуетъ оцѣнивать наше прошлое. Онъ хотѣлъ убѣдить своего друга, что, по волѣ Провидѣнія, Россія совершила великій подвигъ—спасла западные народы отъ татарскаго погрома, и своимъ мученичествомъ дала возможность процвѣтать европейской культурѣ; что, принявъ отъ грековъ Евангеліе, она отнюдь не усвоила нравовъ презрѣнной Византіи; что, наконецъ, прошлое Россіи есть не блѣдный призракъ, что многія событія, начиная съ войнъ Олега и Святослава и кончая царствованіями Петра Великаго, Екатерины II,

---

стр. 214: «Любезнѣйшій аббатикъ довольствовался чтеніемъ письма въ средѣ московскихъ прихожанокъ своихъ, которыхъ онъ былъ настоятелемъ и правителемъ по дѣламъ совѣсти (directeur de conscience). Безтактность журналистики нашей съ одной стороны, съ другой оболъщенье авторскаго самолюбія, придали несчастную гласность этой конфиденціальной и келейной ультрамонтанской энцикликѣ, пущенной изъ Басманскаго Ватикана». — Еще въ 1832 году Вяземскій набросалъ нѣсколько замѣчаній на Философическое письмо № 3, а въ 1836 году составилъ для С. С. Уварова извѣстную записку, гдѣ доказывалъ, что Чаадаевъ «отрицаетъ ту Россію, которую съ подлинника списалъ Карамзинъ». За истекшіе четыре года отношеніе Вяземскаго къ Чаадаеву измѣнилось къ худшему: раньше князь, хотя самъ держался другихъ воззрѣній, все-таки съ уваженіемъ отзывался о серьезныхъ, глубокихъ убѣжденіяхъ, высказанныхъ авторомъ письма горячо и талантливо; впоследствии же говорилъ только о желаніи Чаадаева «блеснуть парадоксами и попытать силы свои въ упражненіяхъ по части искаженія русской исторіи» (Полное собраніе сочиненій. Спб., 1879, т. II, стр. 221; *Старина и Новизна*, 1897, кн. I, стр. 205—206).

1) Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 336—337.

2) Тамъ же, стр. 336, 356.—*Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 37.

3) Напримѣръ, въ письмѣ отъ 6 іюля 1831 г. Пушкинъ, по прочтеніи письма № 3, высказалъ, что христіанское единство заключается не въ католицизмѣ, а въ идеѣ Христа, которая есть и въ протестантизмѣ (Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1908, т. II, стр. 269).

Александра I, должны поразить будущаго историка. Часто раздражаемый, какъ писатель, и оскорбляемый, какъ человѣкъ съ предразсудками, великій поэтъ, несмотря на это, «клялся честию, что ни за что на свѣтѣ не захотѣлъ бы перемѣнить отечества, ни имѣть другой исторіи, какъ исторію нашихъ предковъ, такую, какъ намъ Богъ послалъ» <sup>1)</sup>.

Намѣреніе Пушкина возражать на «Философическое письмо» было извѣстно его почитателямъ, знакомымъ и единомышленникамъ <sup>2)</sup>, которые, видимо, отнеслись къ этому съ одобреніемъ, такъ какъ сами не могли вполне уяснить себѣ міровоззрѣнія Чаадаева и были возмущены его отзывомъ о Россіи. Возникъ проектъ написать коллективное опроверженіе, которое предполагалось обсудить у Д. Н. Блудова <sup>3)</sup>. Разговоры и толки усиливались. «Порицать Россію за то, что она съ христіанствомъ не приняла католичества», говорилъ Жуковскій: «предвидѣть ретроспективно, что католическою была бы она лучше—все равно, что жалѣть о черноволосомъ красавцѣ, что онъ не бѣлокурый. Красавецъ съ измѣненіемъ цвѣта волосъ былъ бы и наружностью, и характеромъ совсѣмъ не тотъ, каковъ онъ есть. Россія, начала католическая, была бы совсѣмъ не та, какова теперь; допустимъ, пожалуй, что католическая была бы она и лучше, но она не была бы Россіей» <sup>4)</sup>.—Мнѣніе Жуковскаго высказано въ мягкой формѣ; другіе выражались рѣзче. «Главное положеніе Чаадаева несостоятельно»; письмо «обильно бреднями», оно—«па-

---

<sup>1)</sup> Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1911, т. III, стр. 387—389 (Письмо отъ 19 октября 1836 г.).—Пушкинъ не послалъ этого письма Чаадаеву, не желая своими опроверженіями «усиливать скорбь пріятеля, уже испытывающаго заслуженный гнѣвъ Государя» (А. Веселовскій. В. А. Жуковскій. Спб., 1904, стр. 395.—Ср. *И. Шляпкинъ*. Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина. Спб., 1903, стр. 283).

<sup>2)</sup> См. письмо К. О. Россетти (*И. Шляпкинъ*. Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина. Спб., 1903, стр. 283.—Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1911, т. III, стр. 384—385).

<sup>3)</sup> На этомъ совѣщаніи хотѣлъ присутствовать и Ф. Ф. Вигель, писавшій Пушкину: «Я чувствую простуду и въ то же время моральную болѣзнь, какое-то непонятное лихорадочное безпокойство. Нѣжную, обожаемую мать ругали, ударили при мнѣ по щекѣ; желаніе мести и безсиліе меня ужасно тревожатъ» (*И. Шляпкинъ*. Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина. Спб., 1903, стр. 280—283, 293—294.—Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1911, т. III, стр. 395—396, 422).

<sup>4)</sup> *Русскій Архивъ*, 1868, стр. 986—987.

сквиль на русскую націю»,—такія фразы срывались съ усть Д. Н. Свербеева, А. И. Тургенева и Д. В. Давыдова <sup>1)</sup>.

Пока въ литературныхъ кругахъ происходили обмѣнъ мнѣній и споры, раздраженіе московскаго общества дошло до крайнихъ предѣловъ. И «молодые отчизнолюбцы», и «старые патріоты», и «круглые неучи», и широко образованные люди—всѣ «соединились въ одномъ общемъ воплѣ проклятія и презрѣнія» Чаадаеву. Студенты Московскаго университета выражали попечителю желаніе съ оружіемъ въ рукахъ «вступить за оскорбленную Россію», и графъ Строгановъ долго ихъ успокаивалъ <sup>2)</sup>. «Москва была объята пламенемъ», пишетъ маркизь Кюстинъ. Недостаточно было ссылки въ Сибирь, въ рудники, въ каторжныя работы, наказанія кнутомъ и заключенія въ крѣпость, чтобы достойно покарать челоуѣка, «измѣнившаго Богу и своей родинѣ» (*traître à Dieu et à son pays*) <sup>3)</sup>. «Публика томилась ожиданіемъ, что будетъ изъ Петербурга» <sup>4)</sup>,—и «рѣшеніе оттуда долго ждаты себя не заставило» <sup>5)</sup>.

Въ то время, когда въ Москвѣ горячились и нервничали, а въ Петербургѣ Ф. Ф. Вигель «счелъ своею обязанностію» обратиться пастырское вниманіе митрополита Серафима на «богомерзкое» письмо, гдѣ «изрыгаются» дерзостныя «хулы на отечество и вѣру» <sup>6)</sup>,—правительство уже приняло всѣ зависящія отъ него мѣры для наказанія виновныхъ.

По выходѣ пятнадцатой книжки *Телескопа* <sup>7)</sup>, графъ Строгановъ донесъ министру народнаго просвѣщенія о статьѣ Чаадаева и просилъ закрыть журналъ съ новаго года <sup>8)</sup>. Донесеніе встрѣвило Уварова, который сейчасъ же ознакомился съ «Философи-

<sup>1)</sup> Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка. Спб., 1911, т. III, стр. 420.—Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 354.

<sup>2)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 31—32.

<sup>3)</sup> *Le Marquis de Custine. La Russie en 1839.* Paris, 1843, t. IV, p. 372.

<sup>4)</sup> «Здѣсь большіе толки о статьѣ Чаадаева; *ожидаютъ грозы отъ васъ*», писалъ А. И. Тургеневъ князю П. А. Вяземскому (Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 333. Письмо отъ 18 октября 1836 г.).

<sup>5)</sup> *Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 33.

<sup>6)</sup> *Русская Старина*, 1870, № 2, стр. 162—165; № 3, стр. 291—292.—Донось помѣченъ: 21 октября, а письмо митрополита къ гр. А. Х. Бенкендорфу послано лишь 27 октября 1836 г.

<sup>7)</sup> Цензурное разрѣшеніе дано 13 сентября.

<sup>8)</sup> *М. Лемке.* Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 412.—Ср. *Русскую Старину*, 1889, № 10, стр. 137 (здѣсь факты изложены неточно).

ческимъ письмомъ» и своею рукою исправилъ и добавилъ черновой проектъ опредѣленія Главнаго Управленія Цензуры, которое было утверждено въ засѣданіи 19 октября. Согласно этому опредѣленію былъ составленъ высочайшій докладъ, въ которомъ министръ ходатайствовалъ о прекращеніи *Телескопа* съ 1 января 1837 г. и объ удаленіи отъ должности цензора Болдырева <sup>1)</sup>. На этомъ докладѣ, представленномъ на высочайшее усмотрѣніе 20 октября, Николай Павловичъ черезъ два дня положилъ извѣстную резолюцію: «Прочитавъ статью, нахожу, что содержаніе оной смѣсь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишеннаго: это мы узнаемъ непремѣнно, но не извинительны ни редакторъ, ни цензоръ. Велите сейчасъ журналъ запретить, обоихъ виновныхъ отрѣшить отъ должности и вытребовать сюда къ отвѣту» <sup>2)</sup>.

Въ московской квартирѣ Надеждина, а также у Бѣлинскаго былъ произведенъ обыскъ, всѣ бумаги отобраны и въ особомъ тюкѣ препровождены въ Третье Отдѣленіе. Самъ издатель *Телескопа* былъ отправленъ въ Петербургъ, гдѣ пятого ноября водворенъ въ помѣщеніи штаба корпуса жандармовъ. Здѣсь онъ узналъ, что для разслѣдованія дѣла образована особая комиссія <sup>3)</sup>, и получилъ вопросные пункты, на которые долженъ былъ дать отвѣты. Вопросные пункты были составлены Уваровымъ <sup>4)</sup>.

---

<sup>1)</sup> *Русскій Архивъ*, 1884, № 4, стр. 457—458; *Русская Старина*, 1903, № 3, стр. 582 — 584.—*М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 412—413.

<sup>2)</sup> Сообщая объ этомъ высочайшемъ повелѣніи князю М. А. Дондукову-Корсакову, министръ «просилъ поставить на видъ цензорамъ С.-Петербургскаго цензурнаго комитета и издателямъ повременныхъ сочиненій, что несоблюденіе правилъ цензурнаго устава и предписаній высшаго начальства первыми и небрежное исполненіе обязанностей своихъ по даннымъ подпискамъ послѣдними,—будетъ имѣть неминуемымъ слѣдствіемъ такое-же распоряженіе». Предписаніе министра было выслушано и «принято къ свѣдѣнію» въ засѣданіи комитета 27 октября 1836 г. По словамъ А. В. Никитенка, цензоры были весьма перепуганы (Дѣла С.-Петербургскаго цензурнаго комитета 20—28 октября 1836 г. Предписаніе министра отъ 24 октября 1836 г. за № 1333.—А. В. Никитенко. *Дневникъ*. Спб., 1893, стр. 375).

<sup>3)</sup> Комиссія состояла изъ гр. А. Х. Бенкендорфа, А. Н. Мордвинова, С. С. Уварова и гр. Н. А. Протасова.

<sup>4)</sup> А. В. *Никитенко*. *Дневникъ*. Спб., 1893, стр. 374—375.—*Вѣстникъ Европы*, 1871, № 11, стр. 326 (Письмо П. Я. Чаадаева къ брату).—Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 339, 357.—*М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 414, 416, 423, 425.

Министръ давно призналъ *Телескопъ* неблагонамѣреннымъ журналомъ. Еще въ 1832 году, ревизуя московскій учебный округъ, онъ призывалъ къ себѣ Надеждина, рекомендовалъ ему «прекратить дерзкое сужденіе о предметахъ, лежащихъ внѣ его круга» <sup>1)</sup>, и толковалъ объ опасности либерализма <sup>2)</sup>; въ 1834 году имѣлъ непріятную переписку съ Бенкендорфомъ изъ-за помѣщенной въ *Телескопъ* статьи: «Вліяніе Вальтера Скотта на богатство, нравственность и счастье современнаго общества» <sup>3)</sup>—и потому былъ очень обезпокоенъ Чаадаевской исторіей. Надеждинъ, отрицатель древней Руси, казался ему вреднымъ писателемъ <sup>4)</sup>, членомъ какой-то «тайной партіи». Уваровъ подозрѣвалъ, что «Философическое письмо» напечатано «съ намѣреніемъ, и именно для того, чтобы журналъ былъ запрещенъ и чтобы это подняло шумъ, подобный тому, какой былъ вызванъ запрещеніемъ *Телеграфа*» <sup>5)</sup>,—и старательно «искалъ въ семъ явленіи тайныхъ пружинъ, движимыхъ злоумышленными руками» <sup>6)</sup>. Министръ хотѣлъ

<sup>1)</sup> *Н. Барсуковъ*. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1891, кн. 4, стр. 98—99.

<sup>2)</sup> 9 февраля 1832 г. Бенкендорфъ писалъ князю К. А. Ливену: «Рассматривая журналы, издаваемые въ Москвѣ, я неоднократно имѣлъ случай замѣтить расположеніе издателей оныхъ къ идеямъ самаго вреднаго либерализма. Въ семъ отношеніи особенно обратили мое вниманіе журналы *Телескопъ* и *Телеграфъ*, издаваемые Надеждинымъ и Полевымъ» (*М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 396).

<sup>3)</sup> 31 января 1834 г. жандармскій подполковникъ Барановичъ донесъ своему начальнику генералъ-лейтенанту Лесовскому, что «помѣщеніе означенной статьи въ *Телескопъ* вовсе не соответствуетъ ни образу правленія, существующаго въ нашемъ отечествѣ, ни оказываемому правительствомъ попеченію». Генералъ Лесовскій направилъ рапортъ Барановича къ Бенкендорфу (*М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 398—400).—См. *Телескопъ*, 1833, № 18.

<sup>4)</sup> Ср. *П. Миллюковъ*. Главныя теченія русской исторической мысли. М., 1898, стр. 285.—Сл. слова Бенкендорфа: «Le passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir, il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer: voilà le point de vue sous lequel l'histoire russe doit être conçue et écrite» (*Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 38).

<sup>5)</sup> *А. В. Никитенко*. Дневникъ. Спб., 1893, стр. 374—375.—Сл. *Русскую Старину*, 1889, № 9, стр. 544—545.

<sup>6)</sup> *Кн. П. А. Вяземскій*. Полное собраніе сочиненій. Спб., 1879, т. II, стр. 221.—«Фактъ опубликованія» «отвратительнаго произведенія», писалъ Татищевъ Уварову: «очень важенъ для правительства; онъ доказываетъ существованіе политической секты въ Москвѣ; хорошо направленные поиски

всесторонне освѣтитъ дѣло и требовалъ, чтобы Надеждинъ не только подробно разсказалъ о своемъ знакомствѣ съ Чаадаевымъ, но и разъяснилъ, «какимъ образомъ могло укрыться отъ него вредное содержаніе» статьи, «какія причины побудили его къ напечатанію оной» и, главное, къ восхваленію ея въ особомъ примѣчаніи <sup>1)</sup>).

Отставной профессоръ, опальный журналистъ, Надеждинъ безучастно относился къ своему личному благополучію. Карьера уже была испорчена; мечты о семейномъ счастіи разбиты; лишь одна опасность могла приводить его въ смущеніе—вынужденная перемѣна мѣстожителства. Ссылка въ провинціальное захолустье была страшнѣе смерти. Сношенія съ Елисаветой Васильевной могли прерваться <sup>2)</sup>, а вмѣстѣ съ тѣмъ легко могъ быть разрушенъ «рай воспоминаній—единственный рай, который еще не увялъ

---

должны привести къ полезнымъ открытіямъ по этому поводу». Наоборотъ, кн. Вяземскій говорилъ: «Тутъ никакого умысла и помысла *политическаго* не было».

<sup>1)</sup> *М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 415, 425—426, 430.—«Всего удивительнѣе», писалъ митрополитъ Серафимъ гр. Бенкендорфу: «что издатель *Телескопа*, отважившійся напечатать во всеобщее извѣстіе столь негодную, безразсудную и наполненную самою наглою ложью статью, почитаетъ оную, какъ значится изъ собственнаго его на первомъ листкѣ примѣчанія, украшеніемъ своего журнала, находить въ ней возвышенность предмета вмѣстѣ съ глубиною и обширностію взглядовъ и поставляетъ на особенное вниманіе читателей» (*Русская Старина*, 1870, № 3, стр. 292).—Ср. отзывъ о примѣчаніи Ф. Ф. Вигеля: «И есть издатель, который не довольствуется помѣстить статью сію въ журналѣ, но превозноситъ ее похвалами, какъ глубокомысленнѣйшее произведеніе высокаго ума, и онъ грозитъ еще другими подобными письмами! И есть цензура, которая все это пропускаетъ» (*Русская Старина*, 1870, № 2, стр. 164).

<sup>2)</sup> Сохранились письма Елисаветы Васильевны къ Надеждину изъ Гейдельберга, Кельна отъ 23 сентября, 2 октября 1836 г. и семь писемъ изъ Тулузы отъ 2, 4, 7, 11, 18 марта, 3, 21 апрѣля 1837 г. (сообщеніе И. А. Шляпкина).—Письма изъ Тулузы адресованы въ Усть-Сысольскъ; но установить такія сношенія Надеждину было, повидимому, не легко. Живя въ Вологодской губерніи, онъ принужденъ былъ переѣзжать изъ одного мѣста въ другое, и корреспонденція не могла ему доставляться аккуратно. Письма Максимовича и Погодина, отправляемые въ Усть-Сысольскъ, часто пересылались то въ Вологду, то въ Тотьму, то въ Великій Устюгъ (Рукописи Румянцовскаго Музея. Архивъ М. П. Погодина. Письма, VIII.—*Полярная Звѣзда*, 1881, № 4, стр. 6—8).—Вотъ почему, предвидя будущія невзгоды, Надеждинъ не хотѣлъ разставаться съ Москвою, которая была ему дорога и по воспоминаніямъ о прошломъ.



для его души, гдѣ онъ могъ еще забыться». Наконецъ, «знать, что съ нимъ связана другая жизнь, что проклятіе, тяготѣющее надъ нимъ, раздѣляется, что задохнуться въ живой могилѣ надо самъ другъ—вотъ что ужасно, вотъ что хуже самаго ада!» Вѣроятно, эти обстоятельства, указанные Надеждинымъ въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ къ Максимовичу <sup>1)</sup>, заставили его въ ноябрѣ 1836 года трепетать отъ одной мысли о грозящемъ несчастіи. Для предотвращенія тяжкой кары Надеждинъ готовъ былъ на все... И онъ напрягъ всю силу своихъ діалектическихъ способностей, чтобы создать себѣ апологію, которую Свербеевъ назвалъ «хитрой» <sup>2)</sup>, Уваровъ—«коварной», жандармскіе генералы—«изворотливой» <sup>3)</sup>.

Въ отвѣтахъ на предложенные ему вопросы Надеждинъ откровенно и правдиво <sup>4)</sup> рассказалъ о томъ, какъ онъ познакомился съ Чаадаевымъ, какъ получилъ отъ него рядъ статей <sup>5)</sup>,

---

<sup>1)</sup> Письмо изъ Вологды отъ 23 мая 1837 г.—Съ пропусками напечатано въ *Полярной Звѣздѣ*, 1881, № 4, стр. 6—8.—Ср. *Москвитянинъ*, 1856, № 3, стр. 228.

<sup>2)</sup> Д. Н. Свербеевъ зналъ не вполне точно содержаніе показаній Надеждина.

<sup>3)</sup> *Русскій Архивъ*, 1868, стр. 986.—*М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 437, 444.

<sup>4)</sup> Даже М. К. Лемке, взявшій на себя обязанности прокурора въ отношеніи Надеждина, вынужденъ былъ признать его показанія весьма правдоподобными, а показанія Чаадаева—не заслуживающими довѣрія (*М. Лемке*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 428).

<sup>5)</sup> Мы совершенно несогласны съ М. И. Гершензономъ, который призналъ рассказъ Надеждина «не заслуживающимъ никакого довѣрія какъ по общему своему характеру, такъ и по сравненію съ показаніемъ Чаадаева въ нѣсколькихъ частныхъ письмахъ (къ брату и т. п.)», а главное потому, что Чаадаевъ «не имѣлъ никакихъ основаній желать обнародованія *перваго* письма».—Во время дознанія Чаадаевъ проявилъ трусость и малодушіе. Не стѣсняясь въ выраженіяхъ, называлъ онъ свои письма «сумазбродными, скверными» и указывалъ на Надеждина, какъ на главнаго и едва ли не единственнаго виновника ихъ опубликованія. Чаадаевъ пытался обфлить себя и въ глазахъ правительства, и въ глазахъ родного брата, но эти попытки не очень удачны. Его показанія о «Философическихъ письмахъ» не ясны и сбивчивы. По его удостовѣренію, ему и «въ голову прийти не могло явиться передъ публикою въ *дурномъ* переводѣ», а въ то же время онъ «даетъ согласіе» на столь невыгодное для себя предложеніе; онъ категорически утверждаетъ, что не вручалъ статьи Надеждину, а А. И. Тургеневъ пишетъ, что онъ ее «отдалъ въ печать». По своему содержанію, первое письмо лишь немного расходилось со взглядами, высказанными Чаадаевымъ въ 1836 г., и «нынѣшній его образъ мыслей» никоимъ образомъ не могъ «совершенно противорѣчить прежнимъ

какъ намѣревался «заинтересовать вниманіе публики» первымъ «Философическимъ письмомъ» и затѣмъ, «сдѣлавъ на него возраженіе и изгладивъ дурныя впечатлѣнія, поддержать заниматель-

его мнѣніямъ». Большинство основныхъ тезисовъ, кромѣ сужденія о Россіи, осталось непоколебленнымъ. Да и въ сужденіи о Россіи было не мало стараго: «неизмѣннымъ осталось не только его представленіе о ея прошломъ, но и его представленіе объ ея будущемъ, увѣренность въ томъ, что ей предстоитъ пережить—можетъ быть только въ болѣе стройной формѣ— все развитіе христіанскаго, т. е. западно-европейскаго міра». Правда, печатать одно первое письмо Чаадаеву не имѣло смысла; но, съ другой стороны, оно могло служить прекраснымъ *введеніемъ* къ цѣлому ряду другихъ писемъ, которыя были отданы Надеждину и о которыхъ было упомянуто въ *Телескопѣ*.—Изъ письма А. С. Норова къ Чаадаеву отъ 29 іюля 1836 г. видно, что проектъ послѣдняго печатанія статьи былъ извѣстенъ его знакомымъ почти за *два мѣсяца* до выхода въ свѣтъ № 15 *Телескопа*, когда могъ быть набранъ текстъ только № 12 (цензурное разрѣшеніе 13 августа) и когда Надеждинъ встрѣтился съ Петромъ Яковлевичемъ въ Англійскомъ клубѣ. Свѣдѣнія, заимствованныя изъ письма Норова, вполне соответствуютъ свидѣтельству В. П. Андросова, говорившаго, что Чаадаевъ «еще до напечатанія статьи разглашалъ вездѣ, что онъ участвуетъ въ *Телескопѣ* и будетъ помѣщать въ немъ свои сочиненія». Отрицать значеніе свидѣтельства Андросова, которое извѣстно изъ показаній Надеждина, нѣтъ основаній, ибо оно всегда могло быть провѣрено членами слѣдственной комиссіи путемъ опроса редактора *Московского Наблюдателя*. Такимъ образомъ, заявленіе Чаадаева, что онъ «*узналъ о печатаніи статьи тогда только, когда уже получила она одобреніе цензора (13 сентября) и находилась въ корректурѣ*», кажется намъ несоответствующимъ дѣйствительности. Приведенныя слова Чаадаева противорѣчатъ даже его собственному показанію, сдѣланному 1 ноября: «...нынѣ согласился издать въ свѣтъ сумазбродныя, скверныя сіи письма по убѣжденію издателя *Телескопа* Надеждина, бывъ въ твердой увѣренности, что цензура не пропуститъ оныя». Отсюда логически вытекаетъ, что письма были отданы Надеждину *до цензурнаго разрѣшенія*, т. е. не послѣ 13 сентября, а значительно раньше.—Если при этомъ припомнимъ, какъ жаждалъ и до 1836 г. Чаадаевъ выступить въ роли учителя и наставника московскаго общества, какъ упорно онъ домогался разрѣшенія печатанія своихъ произведенія, то нельзя не повѣрить сообщенію Надеждина, что, потерпѣвъ неудачу въ переговорахъ съ Андросовымъ, Чаадаевъ *самъ предложилъ ему свои письма (М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Спб., 1908, стр. 70—71, 118, 124, 130, 133—136, 146—153.—М. Лемже. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 397—398, 402, 418—419, 427—430, 440, 445.—Вѣстникъ Европы, 1871, № 9, стр. 35; № 11, стр. 326—327.—Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 345, 354.—Сочиненія Пушкина. Изд. Академіи Наукъ. Переписка, т. II, стр. 253; т. III, стр. 420.—Телескопъ, 1836, № 15, стр. 275.—А. Курчичниковъ. Очерки по исторіи новой русской литературы. М., 1903, т. II, стр. 131—134).*

ность журнала»<sup>1)</sup>). Кроме того, Надеждинъ старался доказать свою политическую благонадежность и развилъ свой взглядъ на историческія судьбы Россіи, причемъ придавъ ему явно тенденціозную окраску и допустилъ завѣдомо ложные выводы изъ своихъ основныхъ положеній. Изъ отсутствія политическаго элемента въ русскомъ народѣ, изъ его негосударственности, изъ того, что въ своемъ прошломъ онъ *еще не успѣлъ* проявить себя, Надеждинъ вывелъ заключеніе о его полной неспособности къ чему бы то ни было. Онъ заявилъ, что старался *убивать* чувство всякой *отдѣльной* народности, ибо, безъ руководства верховной власти, предоставленный самому себѣ, русскій народъ обреченъ на гибель; говорилъ, что хотѣлъ внѣдрить въ народное сознаніе одно понятіе—понятіе о необходимости дѣтскаго смиренія и дѣтской покорности, ибо безумная народная гордость влечетъ за собою пагубныя политическія волненія. Надеждинъ какъ бы забывалъ, что незачѣмъ въ *добровольно* отречься отъ власти, смиренномъ народѣ искоренять мнимую наклонность къ самонадѣянной гордости и протесту противъ правительства; что, по меньшей мѣрѣ, странно называть ни къ чему неспособной ту націю, добродѣтелями которой онъ самъ восхищается, которая подаетъ столь прекрасныя надежды, должна явить блистательный примѣръ высочайшаго просвѣщенія и преподать великій урокъ міру.—Опытный діалектикъ, Надеждинъ, конечно, съ болью въ сердцѣ сознавалъ, что кривитъ душою, что поступаетъ своими убѣжденіями<sup>2)</sup>, но... онъ преслѣдовалъ свою цѣль—стремился смягчить

---

1) «Этому воспрепятствовало», пишетъ Надеждинъ: «рѣшеніе попечителя графа Строганова, который приказалъ, чтобы объ этой статьѣ ничего нигдѣ помѣщаемо не было. Почему я ограничился приготовленіемъ особой статьи: «О народной гордости», которая написана въ томъ же духѣ, какъ и послѣднее мое возраженіе, только безъ всякаго отношенія къ письму. Статья эта по причинѣ запрещенія журнала, не вышла въ свѣтъ» (*М. Лемке. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 440*).—Оба отвѣта Надеждина Чаадаеву напечатаны нами въ *Русской Старинѣ*, 1907, № 8, стр. 237—258.

Вслѣдъ за распоряженіемъ гр. Строганова, Уваровъ прислалъ кн. М. А. Дондукову-Корсакову предписаніе, въ которомъ, увѣдомляя о появленіи въ *Телескопѣ* «Философическаго письма», «предлагалъ цензорамъ не позволять въ другихъ періодическихъ изданіяхъ ничего относящагося къ этой статьѣ, ни въ опроверженіе, ни въ похвалу ея» (Дѣло цензурнаго комитета, 1836, № 50. Бумага изъ канцеляріи Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 20 октября, № 1317).

2) Въ первомъ отвѣтѣ на статью Чаадаева Надеждинъ такъ же умыш-

приговоръ строгихъ судей... <sup>1)</sup>). Намѣченная цѣль не была достигнута.

Слѣдственная комиссія усмотрѣла въ «письменныхъ и словесныхъ отвѣтахъ» Надеждина ловкіе «извороты», «умышленно-преувеличенный монархическій образъ мыслей» и «притворное» непониманіе смысла письма Чаадаева <sup>2)</sup>, она согласилась съ Уваровымъ, что представленныя имъ «Выписки изъ *Телескопа* 1835 и 1836 гг.» убѣдительно доказываютъ «дурное» направленіе журнала и «подозрительность» редактора,—и потому, признавъ Надеждина «главнымъ виновникомъ дѣла», «полагала отправить его на жительство въ одинъ изъ губернскихъ городовъ Россіи», «съ воспрещеніемъ вѣзда въ столицы».—Свое предположеніе комиссія «повергла на благоуваженіе» императора, который повелѣлъ «выслать Надеждина на житье въ Усть-Сысольскъ, подъ присмотръ полиціи» <sup>3)</sup>.

Ссылка была тяжелымъ ударомъ для Надеждина. Передъ нимъ раскрылась печальная перспектива: перерывъ въ сношеніяхъ съ Елисаветой Васильевной и матеріальныя лишенія, неизбежныя при ассигнованіи казной всего сорока копеекъ въ сутки на его содержаніе,—и онъ немедленно обратился къ шефу жандармовъ съ просьбой «исходатайствовать ему заключеніе въ крѣпость, потому что тамъ онъ, по крайней мѣрѣ, можетъ не умереть съ голоду». Бенкендорфъ выхлопоталъ ему вмѣсто того «разрешеніе писать и печатать подъ своимъ именемъ» <sup>4)</sup>.

ленно сгущалъ краски, рисуя картину полного благоденствія и процвѣтанія современной ему Россіи (См. *Русскую Старину*, 1907, № 8, стр. 237—258).

<sup>1)</sup> М. Лемке. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 430—441.—*Русская Старина*, 1907, № 8, стр. 237—258.

<sup>2)</sup> Насъ удивляетъ, что М. К. Лемке съ такимъ довѣріемъ отнесся къ показаніямъ Надеждина. Комиссія разсуждала гораздо правильнѣе.

<sup>3)</sup> М. Лемке. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 443—447.

<sup>4)</sup> А. Никитенко. Дневникъ. Спб., 1893, стр. 376.—Не имѣя средствъ къ существованію, Надеждинъ уже въ декабрѣ 1836 г. воспользовался дарованнымъ ему правомъ и прислалъ въ редакцію *Библиотеки для Чтенія* статью: «Объ историческихъ трудахъ въ Россіи». Разсмотрѣвшій статью цензоръ А. В. Никитенко, получилъ отъ Л. В. Дубельта удостовѣреніе, что «со стороны Третьяго Отдѣленія нѣтъ препятствія къ печатанію сочиненій г. Надеждина». Но князь Дондуковъ-Корсаковъ не удовольствовался отвѣтомъ Дубельта и испрашивалъ у министра народнаго просвѣщенія особое «наставленіе, коимъ бы должно было руководствоваться при одобреніи» новыхъ произведеній Надеждина. Въ отвѣтъ на этотъ запросъ Уваровъ препроводилъ князю пред-

Четвертаго декабря Надеждинъ былъ освобожденъ изъ-подъ ареста, пятаго—получилъ обратно свои бумаги, и, черезъ три дня, уѣхалъ въ Москву, гдѣ ему разрѣшено было остаться на двѣ недѣли для устройства своихъ дѣлъ <sup>1)</sup>...

Въ Москвѣ его ожидали новыя неприятности. Его не пощадила крылатая молва, безжалостная къ своимъ жертвамъ. Вновь онъ сдѣлался героемъ дня. Прежній оболъститель Сухово-Кобылиной былъ изображенъ въ новой роли врага отечества. «Болдыревъ обмануть Надеждинымъ, увѣрившимъ его, что содержаніе злополучной статьи невинно», говорили знакомые, сослуживцы бывшаго ректора и даже представители власти <sup>2)</sup>; «Надеждинъ—

---

писаніе такого содержанія: «На представленіе вашего сіятельства отъ 10 марта (1837 г.) за № 39 относительно сочиненій Надеждина, могущихъ поступать на разсмотрѣніе здѣшней цензуры, предлагаю, что цензорамъ надлежитъ въ сихъ случаяхъ руководствоваться общими правилами, для цензуры постановленными» (Дѣла Цензурнаго комитета, 1837, №№ 28—29.—Бумага министра отъ 13 марта 1837, за № 85).

<sup>1)</sup> *М. Лелике*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 447.

<sup>2)</sup> Одни утверждали, что Надеждинъ уговорилъ Болдырева пропустить статью *не читая*; другіе рассказывали, что издатель *Телескопа читалъ вслухъ статью* увлеченному карточной игрой цензору и «*наимъренно пропускалъ все рѣзкое, задирательное, пикантное*».—Графъ С. Г. Строгановъ передавалъ О. М. Бодянскому, что Надеждинъ «поступилъ съ другомъ своимъ (Болдыревымъ) нечестно: въ то время, когда тотъ игралъ въ карты, онъ сказалъ ему объ этой статьѣ и на вопросъ: «читалъ ли онъ ее и нѣтъ ли въ ней чего-либо предосудительнаго?»—отвѣчалъ отрицательно. — Наоборотъ, А. И. Тургеневъ увѣдомлялъ князя П. А. Вяземскаго, что Болдыревъ *читалъ* «Философическое письмо». Сообщеніе Тургенева наиболѣе достовѣрно; оно не опровергается и письмомъ Чаадаева къ брату отъ 5 января 1837 г. Всѣ остальные слухи ни на чемъ не основаны и представляютъ собою «лживую легенду». Самъ Болдыревъ не обвинялъ Надеждина въ недобросовѣстныхъ поступкахъ (*Вѣстникъ Европы*, 1871, № 9, стр. 29; № 11, стр. 326.—*Русская Старина*, 1889, № 10, стр. 137.—*Θ. Буслаевъ*. Мои воспоминанія. М., 1897, стр. 19—20.—Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ. Спб., 1899, т. III, стр. 344.—*М. Лелике*. Николаевскіе жандармы. Спб., 1908, стр. 443).—Ср. письмо Надеждина къ М. П. Погодину изъ Великаго Устюга отъ 30 іюня 1837 г.: «Скажу тебѣ, что мнѣ было нѣсколько больно, когда я узналъ о дурномъ отзывѣ обо мнѣ графа Строг(анова) въ Петербургѣ. За чтѣ этотъ человекъ противъ меня—этотъ человекъ, которому я ничего не сдѣлалъ? Впрочемъ, теперь успокоился я и на этотъ счетъ. «Блажени есте, егда поносятся вамъ, и ижденуть васъ, и рекуть всякъ золь глаголь на вы лжуще», говоритъ Спаситель. Графъ расплатился этимъ со мною за то чувство, которое онъ возбудилъ во мнѣ съ перваго разу, какъ я его узналъ Разница только въ томъ, что я не говорилъ объ немъ ничего дурного. Но отъ этого я же въ

давній пріятель измѣнника Чаадаева, который пытался помочь ему увезти неопытную дѣвицу и драгоценности ея матери», — злобно сплетали старья сплетни съ новыми отвергнутые поклонники Кобылиной, затаившіе ненависть къ ея избраннику <sup>1)</sup>... Послѣдній слушалъ толки—и, молча, страдалъ... Срокъ пребыванія его въ Москвѣ кончался.

Потрясенный дознаніемъ и допросами, постарѣвшій и полубольной, Надеждинъ сталъ собираться въ путь, въ глухую, неизвѣстную ему сѣверную окраину. Онъ покидалъ Москву, гдѣ протекли его юношескіе годы, гдѣ появились его первые литературные опыты, гдѣ онъ приобрѣлъ популярность, гдѣ такъ успѣшно началъ и такъ грустно кончилъ свою профессорскую дѣятельность, гдѣ, наконецъ, любилъ и былъ любимъ взаимно, надѣялся на счастье и страдалъ отъ нестерпимой сердечной боли... Московскія радости и невзгоды отходили въ прошедшее; половина жизненнаго пути была пройдена... Впереди—неизвѣстность. Въ утомленной душѣ изгнанника нѣтъ прежней отваги и бодрости, и все чаще и чаще приходятъ ему на умъ слова Шиллера, что лишь «дружба» и «неутомимый трудъ» могутъ «мирить печальнаго съ судьбою»...

---

выигрышъ передъ судомъ совѣсти. Теперь мы съ нимъ квиты» (Бумаги Румянцеваго Музея. Архивъ М. П. Погодина. Письма, VIII).

<sup>1)</sup> *Русская Старина*, 1887, № 6, стр. 660—661.

## УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

- Ааронъ—291, 292.  
Абрантесъ, герцогиня—371.  
Августъ, императоръ—62, 64, 311.  
Агниевъ, Д. И.—8—9, 22—23, 25, 31—32.  
Адольфъ X—182.  
Аксакова, В. С.—465.  
Аксаковъ, К. С.—256, 258—259, 264—265, 269, 328, 364, 411, 416, 432, 435, 467, 482—483, 490, 492, 494, 499, 526.  
Аксаковъ, С. Т.—107—108, 440, 459, 467—469, 477, 482—483, 487, 489—491, 494—495, 505, 525.  
Algarđi, Alessandro—302.  
Алживадъ—298.  
Александръ I—8, 35, 537, 542.  
Александръ Великій—225, 298, 304—305.  
Альфieri, Витторіо—340.  
Амперъ, Жанъ-Жакъ-Антуанъ—163, 172, 371.  
Амфитеатровъ, С. Е.—458.  
Анакреонъ—199.  
Анаксагоръ—75, 191.  
Андросовъ, В. П.—534, 548.  
Аничковъ, А.—482—483.  
Анненковъ, П. В.—254, 256—259, 263, 352, 416, 526.  
Анкегиль - Дюперронъ, Авраамъ - Іакиневъ—274, 277.  
Анкъ Марцій—66.  
Ансьионъ, Фридрихъ—157, 161, 171, 179, 189, 193, 195, 199, 201, 206.  
Антиной—311.  
Антонинъ—309.  
Апеллесъ—109.  
Апулей—97.  
Ареопагитскій, Д.—9, 22—24.  
Аретинъ, Петръ—97.  
Арефьевъ, Ѳ.—44.  
Аристидъ—449.  
Аристотель—36, 38—40, 75, 80, 84, 118, 171, 180, 204, 232.  
Аристофанъ—97.  
Аріостъ. Людовикъ—97, 158, 189.
- Армнній—413  
Аррианъ Флавій—72, 305.  
Архимедъ—315.  
Арцыбашевъ, Н. С.—417.  
Астъ, Фридрихъ—143, 145, 171, 174, 176, 180, 208—209, 237, 244—245, 347—349.  
Ахметъ, паша—72.  
Аеанасій (Дроздовъ), архіепископъ—20.  
Аеанасій (Кальнофойскій)—418
- Баадеръ, Францъ—17.  
Базиль-Галль—371.  
Байронъ, лордъ Джорджъ—39—40, 92—93, 96, 98—100, 103, 110, 121, 232, 239—240, 243, 245, 364, 387, 454.  
Бакунинъ, М. А.—364, 526.  
Бальзакъ, Оноре—371—372, 381, 513.  
Бандтке—366.  
Барановичъ, подполковникъ—545.  
Барбье, Огюсть—372, 385.  
Bardesanes—275—276.  
Барковъ, И. С.—67.  
Барсовъ—264  
Барсуковъ, Н. П.—8, 47, 107, 109, 118, 368, 382, 418, 436, 438, 458, 474, 505, 526, 532, 545.  
Басмановъ, П. Ѳ.—400.  
Батте, Карлъ—118, 227, 242, 387.  
Батюшковъ, К. Н.—26, 42, 94.  
Баумгартенъ—315.  
Баумейстеръ—9.  
Бауръ-Лорманъ, Пьеръ—242.  
Бахманъ, Карлъ-Фридрихъ—9, 145, 149, 152, 171, 209, 262, 264, 320, 322—324, 346—347, 350.  
Беатриче (Портинари)—170, 210.  
Бейль, Генрихъ—136.  
Беконъ, Францискъ—219.  
Бенкендорфъ, гр. А. X.—543—546, 550.  
Бередицковъ, Я. И.—532  
Берни, Франсуа-Іоакимъ—97.  
Берхъ, В. Н.—366.

- Берында, Памва—см. Памва, Берында.  
Бестужевъ, А. А.—52, 96, 100, 442.  
Бестужевъ-Рюминъ, К. Н.—411, 412.  
Беттигеръ, Карль-Августъ—296—297,  
300—304, 309.  
Библиофилъ, Жакобъ—см. Лакруа, Поль.  
Бланки, живописецъ—496.  
Блеръ—242.  
Блудовъ, гр. Д. Н.—542.  
Бобровъ, Е. А.—71, 358.  
Богдановичъ, И. Ф.—13.  
Бодянский, О. М.—364.  
Боккаччо, Джованни—179.  
Болдыревъ, А. В.—248—249, 543, 551.  
Боратынскій, Е. А.—75, 102, 108, 117,  
541.  
Борджія, Лукреція—391.  
Борозна, И. П.—69.  
Bossuet, Jacques-Bénigne—287.  
Боткинъ, В. П.—367, 526.  
Брамбеусъ, баронъ—см. Сенковскій,  
О. И.  
Бруккеръ—9, 371.  
Брутъ, Маркъ-Юній—63.  
Буало Депрео, Николай—118, 222, 227,  
232, 242, 386—387.  
Булгаринъ, Ф. В.—107—108, 114, 117,  
129, 362, 369, 408, 438—441, 446—  
449, 454—455, 532.  
Булчъ, Н. Н.—35  
Бурбоны—387.  
Бургій—9, 24, 25.  
Burke—329.  
Буславъ, Ф. И.—20, 254, 257—258,  
260, 551.  
Бутервекъ, Фридрихъ—137, 145, 147,  
171, 175—176, 178—180, 182, 188—  
189, 192, 204, 262, 313—314, 317, 329,  
331—334, 339—340, 344, 346—347.  
Brunetière, F.—134.  
Бѣлинскій, В. Г.—111, 118, 119, 124,  
129, 223, 224, 227, 244, 251, 254,  
256, 352—358, 364, 369, 380, 382—  
385, 393, 396, 398—400, 405—409,  
416, 436, 467, 469, 482—483, 487—  
488, 490, 495, 526, 532, 544.  
Валенцій, лордъ Георгъ—274, 278.  
Василій Великій—31.  
Вега, Гарсиассо-де-ла—176, 203.  
Вега, Лопе-де—189, 192.  
Weidner—75.  
Велланскій, Д. М.—366.  
Велледа—183.  
Веллей Патеркуль—305.  
Венгеровъ, С. А.—105, 111, 118, 124,  
129, 224, 227, 353, 355—356, 358, 364,  
369, 382—385, 398, 408, 416, 526.  
Веневитиновъ, А. В.—436.  
Веневитиновъ, Д. В.—75, 358, 436.  
Венелинъ, Ю. И.—367, 436.  
Веронъ, Людовикъ—363, 371.  
Веселинъ—291.  
Веселовскій, А. Н.—178, 210, 384, 542.  
Вигель, Ф. Ф.—542—543, 546.  
Виландъ, Христофоръ-Мартынъ—57,  
97.  
Виллани—72.  
Villers, Charles - François - Dominique—  
137.  
Вильгельмъ Сицилійскій—182.  
Вильменъ, Абель-Франсуа—245, 255.  
Вильмъ—364.  
Винкельманъ, Иоганнъ—224, 298—301,  
306.  
Виньи, гр. Альфредъ—372.  
Виргилій—81—82, 176, 188—189, 192,  
199, 284, 343.  
Вите, Людовикъ—136.  
Висковатовъ, С. И.—44.  
Виталий (Щепетевъ), архимандритъ—  
480.  
Владимиръ Мономахъ—409.  
Владимиръ Святой—53, 409, 412.  
Воейковъ, смотритель училища—463.  
Волковъ, А. Г.—69.  
Вольтеръ, Франсуа-Мари Аруэ—97, 226,  
387, 443.  
Вольфъ, Христіанъ—16.  
Востокъ, А. Х.—67, 366.  
Вяземскій, кн. П. А.—3, 41—44, 75, 76,  
96—97, 99, 119, 130, 245, 377, 436,  
528, 540—541, 543, 545, 551.  
Naafner—279—281.  
Гавриловъ, А. М.—248—249.  
Гавриловъ, М. Г.—248.  
Гагаринъ, кн. И. С.—534.  
Гаймъ, Р.—56.  
Галаховъ, А. Д.—55, 366.  
Галичъ, А. И.—75, 174, 210.  
Галламъ, Генрихъ—33, 72.  
Гарденбергъ, Фридрихъ—141—143, 165,  
171, 173.  
Гарднеръ—112.  
Гастевъ, М. С.—366.  
Гатенъ (Hatin), Евгений—362—363.  
Гегель, Георгъ-Вильгельмъ-Фридрихъ—  
17, 198, 351, 355, 364.  
Гедеоизъ, іеромонахъ—31.  
Гееренъ, Арнольдъ-Германъ-Людвигъ—  
72, 262, 275, 276, 277, 279, 280, 281,  
288, 350, 508.  
Гезіодъ—95, 189.  
Гейне, Генрихъ—156, 157, 171.  
Геллій, Авль—176.  
Hemsterhuys, Franz—153.  
Генрихъ III—398.  
Гераклитъ—58.  
Herbelot—289.



Гердеръ, Иоганнъ—122, 399, 422.  
 Герляхъ—57, 61.  
 Германъ—57, 59, 61.  
 Гермогенъ, патриархъ—432.  
 Геродотъ—72, 169, 286, 289, 350.  
 Герценъ, А. И.—254, 364, 505 — 506,  
 526, 538—539.  
 Гершель—442.  
 Гершензонъ, М. И.—380, 435, 533—539,  
 547—548.  
 Геслеръ—520.  
 Gesner—61.  
 Гете, Иоганнъ - Вольфгангъ—40, 82, 93,  
 146, 239, 240, 243, 245, 364—365.  
 Гетчесонъ, Френсисъ—316.  
 Гефестіонъ—305.  
 Гиббонъ, Эдуардъ—33, 72.  
 Гизо, Франсуа—96, 122, 123, 388, 516.  
 Глаголевъ, А. Г.—473.  
 Глинка, М. И.—481.  
 Глѣбовъ, И. Т.—22.  
 Гнѣдичъ, Н. И.—61, 99.  
 Гогартъ—101.  
 Гоголь, Н. В.—355, 364, 452, 488, 537.  
 Godwin—284.  
 Годуновъ, Борисъ—103—106, 369, 383,  
 396—401, 408.  
 Голицынъ, кн. Д. В.—364.  
 Голицынъ, кн. С. М.—438—440.  
 Голубинскій, Ѳ. А.—17—18.  
 Голькары (династія)—276.  
 Гомеръ—13, 56, 57, 58, 87, 88, 116, 120,  
 139, 169, 188, 191, 210, 235, 236, 237,  
 238, 239, 338, 343, 384, 407, 413, 444.  
 Гонимъ—450.  
 Гончаровъ, И. А.—256, 264, 358, 365,  
 416.  
 Горацій—13, 40, 54, 57, 62, 63, 64, 65,  
 66, 67, 68, 69, 75, 81, 82, 102, 108,  
 190, 192, 199, 242, 394, 448.  
 Горнъ, Н.—264, 312.  
 Горчаковъ, В. П.—99—100.  
 Гофманъ, Эрнстъ-Теодоръ—387.  
 Грановскій, Т. Н.—256.  
 Грековъ, Н.—69.  
 Гречъ, Н. И.—107, 114, 117, 127, 129,  
 362, 367, 408, 438—441, 446—449, 455.  
 Грибоѣдовъ, А. С.—356.  
 Григорьевъ, А. А.—435, 443, 540.  
 Гриммы, братья—422.  
 Гротендъ, Георгъ-Фридрихъ—522.  
 Густавъ Адольфъ—219.  
 Гюго, Викторъ—135, 168, 172, 191, 192,  
 381, 388—392, 513.

Давидъ, царь—29, 293, 319, 339, 529.  
 Давыдовъ, Д. В.—543.  
 Даниилъ, пророкъ—290.  
 Дантъ, Алигіери—96, 176, 202, 209—  
 212, 238—239, 444.

Дарю, Петръ-Антонъ—72.  
 Дашковъ, Д. В.—480.  
 Двигубскій, И. А.—131.  
 Des Granges, Ch.-M.—137.  
 Дедадь—296—297, 300.  
 Декартъ, Рене—418.  
 Делавинъ, Казимиръ—100—101, 336.  
 Деллль, Жакъ—227.  
 Дельвигъ, бар. А. А.—99—100, 482.  
 Демарать—305—306, 308.  
 Демаре (Desmarais), К.—164.  
 Денике, Б. П.—537.  
 Державинъ, Г. Р.—11, 13, 26—27, 46,  
 59, 67, 94, 100—101, 242.  
 Дешанъ, Эмиль—372.  
 Димитрій самозванецъ—366, 400, 446,  
 451.  
 Димитрій царевичъ—400.  
 Дипанъ (Diponus)—297.  
 Диогенъ—316.  
 Диодоръ Сицилійскій—72, 286, 289, 296.  
 Дионисій Галикарнаскій—72, 176.  
 Діонъ, Хризостомъ—72.  
 Дмитріевъ, И. И.—13, 40, 42, 44, 67,  
 73, 417, 488, 528.  
 Добронравовъ, М.—8.  
 Доброхотовъ, П. И.—17, 259, 262.  
 Дондуковъ-Корсаковъ, кн. М. А.—544,  
 549—550.  
 Дубельтъ, Л. В.—550.  
 Дю-Келень—515.  
 Дюма, Александръ—372, 388, 473.  
 Дюссъ, Жанъ-Франсуа—386.  
 Дядьковский, І. Е.—32, 45, 247, 468,  
 474, 491, 496, 498.

Euchir—306.  
 Евгений (Болховитиновъ), митропо-  
 литъ—417.  
 Eugrammus—306.  
 Eupolemus—300.  
 Евсевій—283.  
 Eurphanos—304.  
 Екатерина II—380, 541.  
 Елисавета, королева—221, 430, 493.  
 Ereus—297.  
 Ефремовъ, А. П.—495.  
 Eschenbach—61.

Жаненъ, Жюль—371—372.  
 Ждановъ, И. Н.—436.  
 Женгене—180.  
 Жихаревъ, М. И.—539.  
 Жуковский, В. А.—26, 42, 43, 46, 55,  
 94, 97, 100, 334, 337, 364, 384, 394,  
 447, 460, 463, 481—482, 489, 542.  
 Jullien de Paris, Marc-Antoine—372.

Загоскинъ, М. Н.—366.  
 Замотинъ, И. И.—176, 185, 198.

Захарьина, Н. А.—254.  
Зедергольмъ, К. А.—248—249.  
Златоустъ, Иоаннъ—11.  
Злобинъ, М.—8.  
Знаменскій, Г.—264, 328.  
Zoega, Georges—283.  
Зольгеръ, Карль - Вильгельмъ - Фридрихъ—347—348.  
Зонара—72.  
Зороастръ—277.

Ибервегъ-Гейнце—18.  
Иванъ, лакей—487, 491.  
Ивашковскій, С. М.—132, 242, 248—250.  
Игорь, князь—409, 412.  
Иконниковъ, В. С.—412.  
Илиобааль (Гелиобааль), императоръ—275—276.  
Илиодоръ, архимандритъ—23, 30—32.  
Иннокентій (Борисовъ), архіепископъ—523.  
Иннокентій (Гизель), архимандритъ—418.  
Исаия, пророкъ—287, 529.

Иаковъ, патріархъ—468.  
Иезекииль—529.  
Иеремія, пророкъ—290.  
Иоакимъ (Корсунянинъ), епископъ новгородскій—409.  
Иоаннъ III—409, 416, 424.  
Иоаннъ IV—424.  
Иоаннъ, іерей (дѣдъ Н. И. Надеждина)—1, 2, 5.  
Иоаннъ, іерей (отецъ Н. И. Надеждина)—1, 2, 4, 6, 19, 22, 459, 466, 476.  
Иовъ—529.  
Иорнандъ—176.  
Иосифъ Флавій—284, 286.

Кавелинъ, К. Д.—411—412.  
Каинъ—491.  
Калайдовичъ, И. Ѳ.—366.  
Калнофойскій—см. Аенасій.  
Кальдеронъ, Педро -- 176, 189—190, 208, 238.  
Камашевъ-Средній, И. Н.—238, 241.  
Каменевъ, Г. П.—71.  
Камилль, Маркъ Фурий—65.  
Камозенъ, Луисъ—41, 238.  
Каннингъ, Джорджъ—450.  
Кантъ, Иммануиль—9, 16, 25, 85, 87, 90, 142, 255, 331—332, 334, 342, 347, 351, 358.  
Капнистъ, В. В.—67.  
Карамзинъ, Н. М.—3, 9, 13, 26, 40—43, 59, 73—74, 120—122, 394, 399, 405, 410—412, 417, 422—423, 539, 541.  
Каратыгина (Колосова), А. М.—487, 496.  
Каратыгинъ, В. А.—487, 492, 496.

Карль Великій—180.  
Карль X—520.  
Карль XII—102, 110.  
Карно—372.  
Карниолнъ-Пинскій, М. М.—480.  
Карпе—9.  
Кассіодоръ 72.  
Катенинъ, П. А.—99.  
Катонъ—450.  
Катуллъ—199.  
Каффаро—72.  
Каченовскій, М. Т.—35, 40—45, 47, 72, 107, 109, 111, 113, 116—117, 129, 131—133, 247—248, 362, 395, 410—416, 417—419, 422.  
Квинтилианъ—66.  
Кедринъ (Sedgenus. G.)—72.  
Кедрова (Надеждина), И. И.—3.  
Кетчеръ, Н. Х.—364, 505—506.  
Кикинъ, А. И.—22.  
Киве, Эдгаръ—372, 442.  
Кирилль (Богословскій-Платоновъ), епископъ—20, 23, 28, 30.  
Кировъ, Н.—367.  
Кирпичниковъ, А. И.—534, 548.  
Кирѣевскій, И. В.—358, 367, 435, 495.  
Кирѣевскій, П. В.—507, 510.  
Клапротъ, Генрихъ-Юлій—44.  
Клауренъ—44.  
Клеопатра—450.  
Клопштокъ, Фридрихъ - Готлибъ -- 97, 139, 146, 331—332, 335.  
Клюшниковъ, И. П.—351, 495.  
Княжевичъ, А. М.—480—481.  
Княжевичъ, Д. М.—480—481, 494, 500, 507, 510—512, 523.  
Княжнинъ, Я. Б.—227.  
Козегартенъ, Людвигъ-Феодуль—54, 71.  
Колубовскій, Я. Н.—18.  
Кольриджъ, Самуэль-Тэйдоръ-- 137.  
Кольцовъ, А. В.—365, 526.  
Комовскій, В. Д.—211.  
Кони, Ѳ. А.—367.  
Константинъ Багрянородный—72.  
Константинъ Великій—311.  
Корнель, Пьеръ—13, 36, 227—228.  
Костенецкій, Я. И.—247.  
Костровъ, Е. И.—242.  
Кочубей—102—103.  
Коцебу, Августъ—40.  
Краевскій, А. А.—106, 369, 417.  
Красильниковъ, С.—22.  
Красовъ, В. И.—364, 526.  
Кребильзонъ, Просперъ—386.  
Крейцеръ, Георгъ-Фридрихъ—59, 350.  
Кропоткинъ, князь—507.  
Крыловъ, И. А.—100, 116.  
Крюковъ, М. П.—44.  
Ксенофонтъ—29, 394.  
Ktesias—286.

- Кудрявцевъ, П. Н.—365, 526.  
 Кузень, Викторъ—75, 96, 122, 445.  
 Кузинъ, откупщикъ—468.  
 Кукольникъ, Н. В.—441, 454.  
 Куно-Фишеръ—49, 138, 141, 172—173,  
 192, 236, 347.  
 Куриаци—307.  
 Курій Дентатъ—65.  
 Кутневичъ, В. И.—17.  
 Кювье—91.  
 Кюстинъ, маркизъ—543.  
 Кюхельбекеръ, В. К.—210.  
 Лавдовскій, Н. — 256, 258, 263 — 264,  
 282.  
 Лагарпъ, Жанъ-Франсуа—37, 118, 242.  
 Лажечниковъ, И. И.—366.  
 Лакруа, Поль—371.  
 Ламаркъ, Максимилианъ—376.  
 Ламартинъ, Альфонсъ — 69 — 71, 459,  
 461, 478.  
 Ланфранко, Джіованни—519.  
 Ла-Ронсьеръ—517.  
 Лаура (у Петрарки)—338.  
 Лафонтенъ, Августъ—462.  
 Лафонтенъ, Жанъ—100, 158, 460, 462.  
 Левъ X—221.  
 Лежай—9.  
 Лейбницъ, Готфридъ-Вильгельмъ—321.  
 Леклеркъ, Мишель-Теодоръ—371.  
 Лемке, М. К.—375, 382—383, 436, 469,  
 533, 534, 536—538, 543—551.  
 Леодегардъ—519.  
 Леонардъ—40.  
 Лерминье, Эдуардъ—372, 445.  
 Лермонтовъ, М. Ю.—356.  
 Лесовскій, генералъ—545.  
 Лессингъ, Готтгольдъ—227, 235—236,  
 339.  
 Ливень, кн. К. А.—132, 438, 441, 473,  
 545.  
 Ливій, Титъ—29.  
 Лизиппъ—83, 304—305.  
 Лобановъ-Ростовскій, кн. А. Б.—457.  
 Лобекъ, X.—58.  
 Ломоносовъ, М. В.—3, 13, 26, 46, 94,  
 242, 394.  
 Лонгиновъ, М. Н.—537.  
 Луканъ—242.  
 Лукіанъ—303.  
 Лукрецій Каръ—176, 189, 243.  
 Лунивъ, А. А.—22.  
 Львова-Синецкая, М. Д.—527.  
 Любомудрова (Надеждина), А. И.—3.  
 Люганъ—371.  
 Людовикъ XIV—430, 513.  
 Людовикъ XVI—519.  
 Людовикъ-Филиппъ, король—515.  
 Лютеръ—57, 364.  
 Магометь—118, 180.  
 Мазепа, гетманъ—103, 110, 454.  
 Майковъ, В. И.—242.  
 Макарій (Зиминъ), іеродиаконъ—19, 480.  
 Макарій (Миролюбовъ), архієпископъ—  
 15, 23, 31.  
 Макаровъ, М. Н.—367.  
 Mackintosh, James—137.  
 Максимовичъ, М. А.—32, 256, 367—  
 368, 458, 523—525, 546—547.  
 Малахія, пророкъ—529.  
 Mamurius Veturius—306.  
 Марлинскій, А. А.—см. Бестужевъ,  
 А. А.  
 Мартынъ, проводникъ—519.  
 Массена—521.  
 Меглицкій, священникъ—525.  
 Мейнерсъ—9.  
 Мелгуновъ, Н. А.—365.  
 Мендоза, Діэго—176.  
 Мерзляковъ, А. Ѳ.—26, 46, 67—68, 132,  
 247—248, 255, 394.  
 Меценатъ (Maecenas)—65.  
 Микель-Анджело—146, 202, 302.  
 Миллеръ, г-жа—518, 520.  
 Миллеръ, Лукіанъ—69.  
 Миллстонъ, Джонъ—188, 213, 339—340,  
 371.  
 Милоковъ, П. Н.—411, 545.  
 Мининъ, Козьма—432.  
 Минье, Франсуа—364.  
 Миронъ—301.  
 Михаилъ Θεодоровичъ, царь—432.  
 Михаилъ Ярославичъ, князь—52.  
 Михайловъ, И.—264, 319.  
 Michaut, G.—137.  
 Мнишекъ, Марина—400.  
 Модестовъ, А. Д.—10.  
 Моисей—29, 73, 287, 291—292, 529.  
 Мольеръ, Жанъ—36, 158, 227.  
 Мордвиновъ, А. Н.—544.  
 Mogéti, L.—285.  
 Морицъ—519.  
 Морозовъ, П. О.—5, 368, 375, 377, 380,  
 392.  
 Морошкинъ, Ѳ. Л.—366, 458, 474, 493,  
 496, 498, 506.  
 Мочаловъ, П. С.—527.  
 Муравьевъ, М. Н.—26.  
 Мурзакевичъ, Н. Н.—506.  
 Муръ, Томасъ—243.  
 Мухановъ, С. Н.—438.  
 Мюллеръ, Карлъ-Отфридъ — 276—277,  
 281—283, 285—286, 288—289, 292,  
 297, 300—306, 309, 509.  
 Мюссе, Альфредъ—135, 137.  
 Навуходоносоръ, царь—287—288, 290.  
 Налетовъ, Н.—264, 285, 310.  
 Наполеонъ I—82, 101, 336.

Неѣровъ, Я. М.—351, 416.  
 Нелединскій-Мелецкій, Ю. А.—13.  
 Несторъ, лѣтописецъ—409, 413, 417, 421.  
 Неустроевъ, А. Н.—59, 71, 73.  
 Нечаевъ, С. Д.—1, 3—4.  
 Нибуръ, Бартольдъ-Георгъ—96, 412.  
 Нибуръ, Карстенъ—274—275, 287, 290.  
 Никаноръ (Клементьевскій), митрополитъ—15.  
 Никитенко, А. В.—260—261, 544—545, 550.  
 Николай I—252, 436, 441, 479, 500, 542, 544, 550.  
 Никонъ, патриархъ—424  
 Новалисъ—см. Гарденбергъ.  
 Новосадскій, Н. И.—58, 61.  
 Nodier, Charles—371.  
 Ноннъ—529.  
 Норовъ, А. С.—533, 548.  
 Нума Помпилий—306.  
 Оболенскій, В.—74.  
 Овидій—12—13, 199, 365, 394.  
 Огаревъ, Н. П.—364.  
 Одоевскій, князь В. Ѳ.—358, 481, 540.  
 Озеровъ, В. А.—227.  
 Олегъ, князь—409, 411—412, 416, 423, 541.  
 Ольга, княгиня—415.  
 Орловъ, А. А.—439, 451.  
 Орловъ, В. И.—67—68.  
 Орловъ, М. Ѳ.—541.  
 Орфей—29, 54, 57—61, 92, 113—114, 225.  
 Отфридъ, монахъ—176.  
 Павзаний—58, 300.  
 Павловъ, М. Г.—253—255, 360, 366, 490, 496, 527.  
 Павловъ, Н. Ф.—365, 541.  
 Павлъ, Люцій-Эмилиъ—65.  
 Памва Берында—128.  
 Панаевъ, И. И.—365, 526.  
 Paruta, Paolo—72.  
 Пассекъ, Т. П.—254.  
 Пахимеръ, Георгъ—72.  
 Пахомовъ, Матей—73.  
 Перовощиковъ, Д. М.—368.  
 Перикль—298.  
 Петрарка, Франческо—61, 176, 188, 190, 192, 202, 214, 338.  
 Петровъ, В. П.—242.  
 Петръ, апостолъ—264.  
 Петръ I—103, 366, 378, 417, 424—427, 434—435, 537, 541.  
 Пизистратъ—299.  
 Пикте, Адольфъ—164, 168, 172, 189—190.  
 Пиндаръ—13, 29, 116, 188.

Пинскій — см. Карниолнъ - Пинскій М. М.  
 Пирронъ, Алексисъ—97.  
 Пиппо, Амедей—371.  
 Пнеагоръ, Регіумскій—302.  
 Пій VII—367.  
 Пнеагоръ, философъ—82, 114.  
 Пландъ, Густавъ—372  
 Платонъ—11, 24, 73—80, 199, 298—299, 320, 322, 347, 357—358, 394, 430.  
 Платонъ (Березинъ), архимандритъ—20.  
 Платонъ, скульпторъ—297.  
 Плетеневъ, А.—264, 286.  
 Плиній—72, 176, 301, 303—307.  
 Плотинъ—17, 82.  
 Плутархъ—305, 450.  
 Поату, графъ—187.  
 Побѣдоносцевъ, П. В.—40, 132, 248—249.  
 Погодина, Е. В.—474.  
 Погодинъ, М. П.—8, 47, 107, 118, 160, 365—366, 368—369, 382, 417—418, 436—438, 452, 458, 469, 474, 478, 495, 505, 523, 526, 532, 545—546, 551—552.  
 Подолпнскій, А. И.—102.  
 Пожарскій, князь Д. М.—432.  
 Познанскій, Ю.—69.  
 Полевой, Кс. А.—104, 111.  
 Полевой, Н. А.—75, 104, 106—107, 111, 113—115, 120—124, 174, 195, 224, 241—242, 245—247, 362, 417—418, 442, 449—451, 532, 545  
 Полежаевъ, А. И.—365.  
 Полибій—29.  
 Поликетъ—300, 301, 304.  
 Помпильянъ, маркизь Жанъ - Жакъ—227.  
 Помяловскій, И. В.—68.  
 Понцій—188.  
 Поповскій, Н. Н.—67, 242.  
 Порсена—307.  
 Портеръ, Робертъ—287.  
 Порфирій, философъ—275—276.  
 Практиель—301—303.  
 Прозоровъ, П.—255—256, 258, 260, 264 347.  
 Проперцій—199.  
 Протасовъ, гр. Н. А.—544.  
 Протопоповъ, Д.—34.  
 Птоломей—281.  
 Пушкинъ, А. С.—40, 42—44, 46—48, 68, 75, 93, 96—100, 102—111, 116—117, 119, 124, 130, 224, 243, 364, 367—370, 375, 377, 380, 382—383, 385, 392—393, 395—396, 397—399, 401—403, 405, 406—408, 451—452, 517, 527, 533—535, 541—542, 548.  
 Пыпинъ, А. Н.—179, 254, 256, 380, 411, 434, 526, 532.

- Раевскій, Н. Н.—100.  
 Рачъ, С. Е.—см. Амфитеатровъ, С. Е.  
 Расинъ, Жанъ—13, 36, 227—228, 387, 443.  
 Распайль, Франсуа—516.  
 Рассадинъ, И. П.—236.  
 Рауль-Рошеттъ, Дезире—72, 305—310, 515.  
 Рауреръ, Фридрихъ—536.  
 Рафаэль—146, 202, 264, 325, 343.  
 Рахиль (библейская)—468.  
 Регуль, Маркъ-Аттилій—65.  
 Рекъ (Rhocus)—297—298.  
 Reimbault—525.  
 Рижскій, И. С.—9, 24.  
 Рихтеръ, Жанъ-Поль—54, 71, 100, 165, 286, 333.  
 Rich, Claudius James—287, 289.  
 Ришелье, Арманъ—222.  
 Робеспьеръ, Максимилианъ—222.  
 Рожеръ, король—182.  
 Ролленъ, Карлъ—5.  
 Романовы—380.  
 Россетъ, К. О.—542.  
 Ростиславовъ, Д. И.—6, 20—21, 23.  
 Ру (Roux)—373.  
 Рубенъ, Петръ-Павелъ—170.  
 Rouge, J.—141.  
 Руссо, Жанъ-Батистъ—227.  
 Рылѣевъ, К. Ѡ.—52, 100.  
 Рѣдкинъ, П. Г.—411.  
 Рюрикъ, князь—409, 418, 423.  
 Рюсъ—44.  
 Саа де Миранда, Францискъ—176.  
 Савьяни, Фридрихъ-Карлъ—366.  
 Саптовъ, В. И.—75.  
 Салиасъ-де-Турнемиръ, гр. А. Е.—525.  
 Сальвади, гр. Нарциссъ-Ахиллъ—371.  
 Самаринъ, Ю. Ѡ.—34, 264.  
 Самарины—22, 32, 45.  
 Sanchuniathon—283.  
 Сауль, царь—293.  
 Сафо—187, 199.  
 Свербеевъ, Д. Н.—539, 541, 543, 547.  
 Сверчковъ—477.  
 Святославъ, князь—415, 541.  
 Свифтъ, Джонатанъ—97.  
 Северъ, Септимій—311.  
 Семевскій, М. И.—158.  
 Семень, А. И.—534.  
 Сенковский, О. И.—362, 418, 453, 455, 532—533, 537.  
 Сень-Бевъ, Карлъ-Августъ—69.  
 Сень-Крузъ, Вильгельмъ-Эмануилъ—287.  
 Сень-Симонъ, гр. Клодь-Генрихъ—372—373, 430.  
 Серафимъ (Глаголевскій), митрополитъ—543, 546.  
 Сербиновичъ, К. С.—417—418.  
 Сергій, епископъ—13—15.  
 Сергій (Орловъ), иеродиаконъ—19.  
 Сидоровскій, И.—73.  
 Sismonde de Sismondi, Jean-Charles—33, 72, 137, 175—176, 178, 180—182, 208, 423.  
 Ситковскій, П. Г.—22.  
 Скавръ, Маркъ-Эмилиј—65.  
 Скарронъ, Поль—97.  
 Скиллисъ (Scyllis)—297—298.  
 Скоттъ, Вальтеръ—39—40, 137, 381, 384, 387, 398, 449, 454, 545.  
 Скронсно, С.—см. Строевъ, С. М.  
 Смиллисъ—300.  
 Смирдинъ, А. Ф.—452.  
 Смирновъ, Е.—264, 273.  
 Смирновъ, М.—264, 290, 294.  
 Смирновъ, С.—16—18, 21.  
 Снегпревъ, И. М.—44, 132, 242, 248—250.  
 Снедорфъ—57, 60.  
 Сократъ—90, 298, 338.  
 Соловьевъ, С. М.—411.  
 Соломонъ, царь—29, 179, 291—292, 448, 529.  
 Сомовъ, О. М.—44, 107—108.  
 Соузи, Робертъ—93.  
 Софокль—121, 128, 187, 189—190, 192, 199.  
 Сохацкій, П. А.—40.  
 Spenlé, E.—142, 172—173.  
 Сперанскій, М. М.—8, 485.  
 Спиноза, Барухъ—17.  
 Срезневскій, И. И.—22, 259.  
 Сталь, баронесса—137, 157, 161, 163—165, 171, 205, 387.  
 Станкевичъ, Н. В.—251, 254, 256—259, 263—265, 350—352, 364, 416, 495, 526.  
 Стендаль—см. Бейль, Генрихъ.  
 Степановъ—69.  
 Stephanus—61.  
 Стобей—275—276.  
 Страбонъ—72, 289.  
 Строгановъ, гр. С. Г.—538, 543, 549, 551.  
 Строевъ, П. М.—367, 418, 527, 532.  
 Строевъ, С. М.—364, 409.  
 Суворовъ-Рымникскій, кн. А. В.—522.  
 Сумароковъ, А. П.—227.  
 Сумароковъ, П. П.—40.  
 Souffiau, Maurice—135, 170, 388.  
 Сухово-Кобылина, Е. В.—457—480, 482—496, 497—511, 522, 524—525, 546, 550—552.  
 Сухово-Кобылина (рожд. Шепелева), М. И.—457—458, 460, 463, 466—467, 469—471, 473—477, 482, 485—487, 491, 493—494, 496, 497, 499, 502, 504, 506, 524.  
 Сухово-Кобылинъ, А. В.—457, 471, 482, 490, 492—493, 500.

- Филонъ (изъ Библа)—283.  
 Филоея, іеромонахъ—13.  
 Фихте, Іоганнъ-Готлибъ—16, 255, 355,  
 364.  
 Fiamingo—302.  
 Фіэски, Жозефъ—515.  
 Флоріанъ, Жанъ-Пьеръ—55, 227.  
 Фовицкій, И. М.—480.  
 Фонтаней, А.—372.  
 Фоссъ, Іоганнъ-Генрихъ—56, 67—68,  
 422.  
 Францискъ I—221, 430.  
 Фридрихъ II—182.  
 Фрина—303—304.  
  
 Херасковъ, М. М.—3, 13, 26, 74, 227,  
 242.  
 Хвостовъ, гр. Д. И.—1, 4, 5.  
 Хирамъ, художникъ—292.  
 Хирамъ, царь—292.  
 Ходжаевъ, И.—264, 347.  
 Хомяковъ, А. С.—365, 368, 541.  
 Хоніатъ, Никита—72.  
  
 Цвѣтаевъ, Л. А.—132, 438.  
 Цезарь, Кай Юлій—82, 395, 450.  
 Ziesing, Théodore—137, 164.  
 Цинциннатъ—450.  
 Цицеронъ, Маркъ-Туллій—23, 80, 112,  
 245.  
 Цшокке—443.  
  
 Чаадаевъ, П. Я.—367, 375, 380, 434,  
 435, 507, 533—551.  
 Чернышевскій, Н. Г.—49, 106—107, 109,  
 111, 113, 115, 117—118, 383.  
 Чертковъ, А. Д.—506.  
 Чистовичъ, И. А.—3.  
 Чистяковъ, М. Б.—152, 209, 323.  
 Чудинъ, дворянинъ—1.  
 Чумаковъ, Ѳ. И.—132.  
  
 Шамполіонъ, Жанъ-Францискъ—522.  
 Шатобріанъ, Франсуа-Ренэ—371, 387,  
 516.  
 Шафарикъ, Павелъ-Іосифъ—364.  
 Шаховской, кн. А. А.—436.  
 Шевыревъ, С. П.—107, 263, 365, 367,  
 436, 458, 478, 527—532, 540.  
 Шекспиръ, Вильямъ—37, 55—57, 87—  
 88, 96, 158, 170, 172, 176, 187, 189,  
 192, 235—239, 384, 386, 388, 397, 405,  
 447.  
 Шеллингъ, Фридрихъ-Вильгельмъ—  
 16—17, 82, 87, 242, 250, 253, 259, 342,  
 347, 350—352, 355, 358.  
 Шеншинъ—264.  
 Шепелевъ, Н. И.—471, 486.  
 Шепелевы—459.

- Шиллеръ, Фридрихъ—13, 40, 49, 82, 84—85, 138, 141—142, 157, 164—165, 171—173, 186—188, 190, 192, 337, 339, 387, 397, 447, 460, 497. 510. 552
- Шлегель, Августъ-Вильгельмъ—39, 40, 55—56, 61, 88, 135, 137, 153, 156, 161, 165, 171, 175, 180—182, 190—191, 198, 205, 208, 245, 350, 422.
- Шлегель, Фридрихъ—141, 143, 165, 171, 175—176, 185, 211—212, 245, 364, 422.
- Шлецеръ, Августъ-Людвигъ—409—411, 413—414, 419—421.
- Штутцманъ, Иоганнъ-Иосифъ—145, 147, 149, 171, 193—194, 244—245.
- Шляпкинъ, И. А.—183, 377, 380, 471, 484, 511, 542, 546.
- Шуйскій, Василій—400.
- Шульгинъ, И. П.—366.
- Щепкинъ, М. С**—477, 527.
- Эбель—518, 520.
- Эвриппидъ—82, 112, 188—189, 191—192, 199.
- Эгингардъ—176.
- Эзопъ—529.
- Экштейнъ, бар. Фердинандъ—536.
- Элианъ—112
- Эмшій—см. Павль
- Эминъ, О. А.—532.
- Эпаминондъ—298.
- Эразмъ Роттердамскій—518.
- Эсхилъ—189, 199.
- Эсхинъ—11.
- Ювеналъ**—75, 112.
- Юнгъ, Эдуардъ—243.
- Юрьевъ, С. М.—537
- Юстинианъ Великій—33.
- Языковъ, Д. Д.**—365, 367, 457.
- Якоби, Фридрихъ-Генрихъ—17.
- Яковкинъ, П. О—532.
- Ярославъ Мудрый, князь—409.
- Ястребцовъ, П. М.—150.
- Θалесъ**—95.
- Θемистокль—449.
- Theodorus—297.
- Θеокритъ—113.
- Θсофилактъ (Русановъ), архіепископъ—6—8, 13—15.
- Θукидидъ—29, 300, 350, 423.

## О П Е Ч А Т К И.

<i>Страница.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Слѣдуетъ:</i>
33	17	сверху	доски
"	21	"	никогда
39	22	"	вѣка,
75	12	снизу	D. Junii
"	10	"	313).
84	11	"	sich
85	26	"	самообразованность,
129	3	сверху	слѣдуетъ
169	2	"	земному
287	13	снизу	célébres
304	15	сверху	κλασιγέλως
320	1	снизу	№ 6
326	22	"	являнія
344	15	"	undum
464	19	"	животворящаго
475	7	"	письмо то
496	15	"	Или:
512	14	сверху	по французски
517	2	снизу	писательницъ
521	9	"	(Изола Белла).
536	14	"	но вѣ
			самообразцовость
			слѣдуютъ
			земному,
			célébres
			κλασιγέλως
			№ 8
			явленія
			und um
			животворнаго
			письмо—то
			Или:
			по-французски
			писательницъ,
			(Изола-Белла)
			а вѣ